

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра международной журналистики

**РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  
ДЕРЖИТЕ ШАГ...**

**1917–2017**

**К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

**Учебник-хрестоматия**

**Часть II**

Бишкек 2018

УДК 801.8(076.6)  
Р 32

Рецензенты:

*Б.Т. Койчуев*, д-р филол. наук, профессор,  
*Н.Л. Слободянюк*, канд. филол. наук, доцент

Редакторы:

*Е.И. Загребина*,  
*А.В. Куликовский*, канд. филол. наук, доцент

Авторы-составители:

*А.С. Кацев*, д-р филол. наук, профессор,  
*А.Т. Омурканова*, канд. филол. наук, доцент

Р 32 РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДЕРЖИТЕ ШАГ... 1917–2017: К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: учебник-хрестоматия. Ч. II / авт.-сост. А.С. Кацев, А.Т. Омурканова. – Бишкек: КРСУ, 2018. – 576 с.

Художественные произведения революционной эпохи – практическое воплощение теоритических изысканий этого времени. Документальные, документально-художественные, автобиографические, художественные – старые и новые литераторы, единые в своём стремлении запечатлеть миг противостояния. В разных жанрах обновленной литературы. Таланты, обуреваемые стремлением воссоздать современность. Апокалипсическую.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.....</b>	<b>4</b>
АЛЕКСАНДР БЛОК. ДВЕНАДЦАТЬ.....	4
А. БЛОК. СКИФЫ.....	12
Е. ЗАМЯТИН. ВЕЛИКИЙ АССЕНИЗАТОР.....	14
В. ЗАЗУБРИН. ДВА МИРА.....	15
В. ЗАЗУБРИН. ЩЕПКА.....	175
В. ЗАЗУБРИН. ОБЩЕЖИТИЕ.....	206
П. БЛЯХИН. КРАСНЫЕ ДЯВОЛЯТА.....	224
В. ШКЛОВСКИЙ. ЗОО, ИЛИ ПИСЬМА НЕ О ЛЮБВИ.....	270
И. БАБЕЛЬ. НОВЫЙ БЫТ.....	306
И. БАБЕЛЬ. МОЗАИКА.....	308
И. БАБЕЛЬ. О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ (Нечто современное).....	309
В. ВЕРЕСАЕВ. В ТУПИКЕ.....	311
Л. СЕЙФУЛИНА. ПРАВОНАРУШИТЕЛИ.....	434
БОРИС ПИЛЬНЯК. МАТЬ СЫРА–ЗЕМЛЯ.....	453
В. КАВЕРИН. КОНЕЦ ХАЗЫ.....	477
М. БУЛГАКОВ. БАГРОВЫЙ ОСТРОВ.....	530
<b>КЫРГЫЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ (историческая справка) .....</b>	<b>544</b>
ЭШЕНААЛЫ АРАБАЙ УУЛУ. ЭРКИН-ТОО.....	
КЫРГЫЗ КАЛКЫ (СВОБОДНЫЕ ГОРЫ. КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД) .....	546
СЫДЫК КАРАЧЕВ. УУЛУ ОКТЯБРЬ КҮНҮ (ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ).....	548
С. КАРАЧЕВ. ОКУУ ХАМ ЭЛ МЕКТЕПТЕРИ (ОБ УЧЕНИИ И НАРОДНЫХ ШКОЛАХ).....	549
КАТЫН–КЫЗДАР ТЕҢДИГИ (О РАВЕНСТВЕ ЖЕНЩИН).....	551
<b>ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.....</b>	<b>553</b>
АЛДАШ МОЛДО. ҮРКҮН (ОТРЫВОК).....	553
К. ТЫНЫСТАНОВ. СЕГОДНЯ.....	556
К. ТЫНЫСТАНОВ. СПРОСИ-КА, ДРУГ МОЙ, СПРОСИ!.....	556
К. ТЫНЫСТАНОВ. ДЖАНЫЛ МЫРЗА.....	558
А. ТОКОМБАЕВ. ОКТЯБРДЫН КЕЛГЕН КЕЗИ (ВРЕМЯ ПРИХОДА ОКТЯБРЯ).....	573

# ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

## АЛЕКСАНДР БЛОК. ДВЕНАДЦАТЬ

### Поэма

1

Черный вечер.  
Белый снег.  
Ветер, ветер!  
На ногах не стоит человек.  
Ветер, ветер –  
На всем божьем свете!

Завивает ветер  
Белый снежок.  
Под снежком – ледок.  
Скользко, тяжело,  
Всякий ходок  
Скользит – ах, бедняжка!

От здания к зданию  
Протянут канат.  
На канате – плакат:  
«Вся власть Учредительному Собранию!»  
Старушка убивается – плачет,  
Никак не поймет, что значит,  
На что такой плакат,  
Такой огромный лоскут?  
Сколько бы вышло портянок для ребят,  
А всякий – раздет, разут...  
Старушка, как курица,  
Кой-как перемотнулась через сугроб.  
– Ох, Матушка-Заступница!  
– Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!  
Не отстает и мороз!  
И буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос.

А это кто? – Длинные волосы  
И говорит вполголоса:  
– Предатели!  
– Погибла Россия! –  
Должно быть, писатель –  
Вития...

А вон и долгополый –  
Сторонкой – за сугроб...  
Что' нынче невеселый,  
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало  
Брюхом шел вперед,  
И крестом сияло  
Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле  
К другой подвернулась:  
– Ужь мы плакали, плакали...  
Поскользнулась  
И – бац – растянулась!

Ай, ай!  
Тяни, подымай!

Ветер веселый  
И зол и рад.  
Крутит подолы,  
Прохожих косит,  
Рвет, мнет и носит  
Большой плакат:  
«Вся власть Учредительному Собранию»...  
И слова доносит:

...И у нас было собрание...  
...Вот в этом здании...  
...Обсудили –  
Постановили:  
На время – десять, на’ ночь – двадцать пять...  
...И меньше – ни с кого не брать...  
...Пойдем спать...

Поздний вечер.  
Пустеет улица.  
Один бродяга  
Сутулится,  
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!  
Подходи –  
Поцелуемся...  
Хлеба!  
Что впереди?  
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба  
Кипит в груди...  
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди  
В оба!

## 2

Гуляет ветер, порхает снег.  
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,  
Кругом – огни, огни, огни...

В зубах – цыгарка, примят картуз,  
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!

Тра–та–та!

Холодно, товарищ, холодно!

– А Ванька с Катькой – в кабаке...  
– У ей керенки есть в чулке!

– Ванюшка сам теперь богат...  
– Был Ванька наш, а стал солдат!

– Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Катька с Ванькой занята –  
Чем, чем занята?..

Тра–та–та!

Кругом – огни, огни, огни...  
Оплечь – ружейные ремни...

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!  
Пальнем–ка пулей в Святую Русь –

В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

## 3

Как пошли наши ребята  
В красной гвардии служить –  
В красной гвардии служить –  
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе–горькое,  
Сладкое житье!  
Рваное пальтишко,  
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови –  
Господи, благослови!

#### 4

Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит –  
Електрический фонарик  
На оглобелях...  
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской  
С физиономией дурацкой  
Крутит, крутит черный ус,  
Да покручивает,  
Да пошучивает...

Вот так Ванька – он плечист!  
Вот так Ванька – он речист!  
Катьку–дуру обнимает,  
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,  
Зубки блещут жемчугом...  
Ах ты, Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая...

#### 5

У тебя на шее, Катя,  
Шрам не зажил от ножа.  
У тебя под грудью, Катя,  
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!  
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила –  
Походи–ка, походи!  
С офицерами блудила –  
Поблуди–ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!  
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера –  
Не ушел он от ножа...  
Аль не вспомнила, холера?  
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,  
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерьем гулять ходила –  
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!  
Будет легче для души!

## 6

...Опять навстречу несется вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!  
Петруха, сзади забегай!..

Трах–тарарах–тах–тах–тах–тах!  
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач – и с Ванькой – наутек...  
Еще разок! Взводи курок!..

Трах–тарарах! Ты будешь знать,  
.....

Как с девочкой чужой гулять!..  
Утек, подлец! Ужо, постой,  
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? – Мертва, мертва!  
Простреленная голова!

Что', Катька, рада? – Ни гу–гу...  
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!

## 7

И опять идут двенадцать,  
За плечами – ружьеца.  
Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее  
Уторапливает шаг.  
Замотал платок на шее –  
Не оправиться никак...



– Что, товарищ, ты не весел?  
– Что, дружок, оторопел?  
– Что, Петруха, нос повесил,  
Или Катьку пожалел?

– Ох, товарищ, родные,  
Эту девку я любил...  
Ночки черные, хмельные  
С этой девкой проводил...

– Из–за удали бедовой  
В огневых ее очах,  
Из–за родники пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый,  
Загубил я сгоряча... ах!

– Ишь, стервец, завел шарманку,  
Что ты, Петька, баба, что ль?  
– Верно, душу наизнанку  
Вздумал вывернуть? Изволь!  
– Поддержи свою осанку!  
– Над собой держи контроль!

– Не такое нынче время,  
Чтобы нянчиться с тобой!  
Потяжеле будет бремя  
Нам, товарищ дорогой!

– И Петруха замедляет  
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,  
Он опять повеселел...

Эх, эх!  
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,  
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба –  
Гуляет нынче голытьба!

## 8

Ох ты, горе–горькое!  
Скука скучная,  
Смертная!  
Ужь я времячко  
Проведу, проведу...

Ужь я темячко  
Почешу, почешу...

Ужь я семячки  
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком  
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

## 9

Не слышно шуму городского,  
Над невской башней тишина,  
И больше нет городского –  
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке  
И в воротник упрятал нос.  
А рядом жметя шерстью жесткой  
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос.  
И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост.

## 10

Разыгралась чтой–то вьюга,  
Ой, вьюга', ой, вьюга'!  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,  
Снег столбушкой поднялся...

– Ох, пурга какая, спасе!  
– Петька! Эй, не завирайся!  
От чего тебя упас  
Золотой иконостас?  
Бессознательный ты, право,  
Рассуди, подумай здраво –  
Али руки не в крови  
Из–за Катькиной любви?  
– Шаг держи революцонный!  
Близок враг неугомонный!  
Вперед, вперед, вперед,  
Рабочий народ!

## 11

...И идут без имени святого  
Все двенадцать – вдаль.  
Ко всему готовы,  
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные  
На незримого врага...  
В переулочки глухие,  
Где одна пылит пурга...  
Да в сугробы пуховые –  
Не утянешь сапога...

В очи бьется  
Красный флаг.

Раздается  
Мерный шаг.

Вот – проснется  
Лютый враг...

И вьюга' пылит им в очи  
Дни и ночи  
Напролет...

Вперед, вперед,  
Рабочий народ!

## 12

...Вдаль идут державным шагом...  
– Кто еще там? Выходи!  
Это – ветер с красным флагом  
Разыгрался впереди...

Впереди – сугроб холодный,  
– Кто в сугробе – выходи!..  
Только нищий пес голодный  
Ковыляет позади...

– Отвяжись ты, шелудивый,  
Я штыком пощекочу!  
Старый мир, как пес паршивый,  
Провались – поколочу!

...Скалит зубы – волк голодный –  
Хвост поджал – не отстает –  
Пес холодный – пес безродный...  
– Эй, откликнись, кто идет?

– Кто там машет красным флагом?  
– Приглядишься–ка, эка тьма!

– Кто там ходит беглым шагом,  
Хоронясь за все дома?

– Все равно, тебя добуду,  
Лучше сдайся мне живьем!  
– Эй, товарищ, будет худо,  
Выходи, стрелять начнем!

Трах–тах–тах! – И только эхо  
Откликается в домах...  
Только вьюга долгим смехом  
Заливается в снегах...

Трах–тах–тах!  
Трах–тах–тах...

...Так идут державным шагом,  
Позади – голодный пес,  
Впереди – с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз –  
Впереди – Иисус Христос.

Январь 1918

## **А. БЛОК. СКИФЫ**

Панмонголизм! Хоть имя дико,  
Но мне ласкает слух оно.  
*Владимир Соловьев*

Миллионы – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.  
Попробуйте, сразитесь с нами!  
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы,  
С раскосыми и жадными очами!

Для вас – века, для нас – единый час.  
Мы, как послушные холопы,  
Держали щит меж двух враждебных рас  
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал  
И заглушал грома' лавины,  
И дикой сказкой был для вас провал  
И Лиссабона, и Мессины!  
Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перлы,  
И вы, глумясь, считали только срок,  
Когда наставить пушек жерла!

Вот – срок настал. Крылами бьет беда,  
И каждый день обиды множит,  
И день придет – не будет и следа  
От ваших Пестумов, быть может!

О старый мир! Пока ты не погиб,  
Пока томишься мукой сладкой,  
Остановись, премудрый, как Эдип,  
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия – Сфинкс! Ликуя и скорбя,  
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя  
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть любовь,  
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё – и жар холодных числ,  
И дар божественных видений,  
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,  
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё – парижских улиц ад,  
И венецьянские прохлады,  
Лимонных рощ далекий аромат,  
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,  
И душный, смертный плоти запах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжелые крестцы  
И умирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны  
Придите в мирные объятия!  
Пока не поздно – старый меч в ножны,  
Товарищи! Мы станем – братья!

А если нет – нам нечего терять,  
И нам доступно вероломство!  
Века, века – вас будет проклинать  
Больное позднее потомство!  
Мы широко по дебрям и лесам  
Перед Европою пригожей  
Расступимся! Мы обернемся к вам  
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!  
Мы очищаем место бою  
Стальных машин, где дышит интеграл,  
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы – отныне вам не щит,  
Отныне в бой не вступим сами,  
Мы поглядим, как смертный бой кипит,  
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн  
В карманах трупов будет шарить,  
Жечь города, и в церковь гнать табун,  
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз – опомнись, старый мир!  
На братский пир труда и мира,  
В последний раз на светлый братский пир  
Сзывает варварская лира!

30 января 1918

## **Е. ЗАМЯТИН. ВЕЛИКИЙ АССЕНИЗАТОР**

Впервые: Дело народа. 1918. 21 июня (подпись: Мих. Платонов).

Губернаторы русские все были прирожденные поэты. У всякого, кроме его канцелярского дела, было еще дело для души: кто насаждал в губернии вольнопожарные дружины; кто заводил оркестры во всех городских садах и бульварах; кто – американские мостовые Мак–Адамса; кто – столовые и больницы для бесхозяйственных собак. И в губернии, где скакали в солнечно–сияющих касках вольнопожарные дружины, – непременно развороченные мостовые и грязища; в губернии, где кормили и лечили бесхозяйственных собак, – непременно дохли от голода люди по градам и весям. Такое уж дело поэзия: берет всего человека, и ежели для него поэзия в собачьих больницах – плевать ему на весь мир, кроме собачьих больниц.

Для одного такого прирожденного поэта–губернатора была поэзия в ассенизации. Приехал, по канцелярии пробежал мимоходом. Доклады разные слушал – так себе слушал: в одно ухо вошло – в другое вышло.

Кончил доклады – вырос мой губернатор, выпрямился: Наполеон, глаза сверкают.

– А что у вас, позвольте спросить, сделано по ассенизации?

Господи, что же: бочки – как бочки, золотари – как золотари. Что же тут может быть?

– Как что может быть?

И прочитал Великий Ассенизатор лекцию... не лекцию – поэму об ассенизации. В ассенизации все, и от ней все качества. Поставить ассенизацию на должную высоту – и не будет славнее губернии...

И начались казенные реформы. Были выписаны из Ливерпуля патентованные стальные бочки Годкинса, ассенизационные помпы Вартангтона. Заведена была для золотарей особая форма: с кожаным круглым фартучком, кожаными рукавицами и кожаной шапочкой. И в светлые ночи запоздавший гуляка мог лицезреть самого Великого Ассенизатора в круглом кожаном фартучке, вдохновенно мчавшегося на патентованной бочке Годкинса...

Великий Ассенизатор, как и все поэты, ради своей поэзии был самоотвержен. И скоро пошел от него такой дух, что чиновники, не совсем безносые, переводились подальше – губернаторша уехала к родителям, губернаторский дом опустел. Но Великий Ассенизатор неукоснительно и самоотверженно продолжал свое дело.

Городовые, тюремные надзиратели и делающие карьеру молодые люди – все были записаны (добровольно, конечно) в добровольный обоз. И по ночам мчались на патентованных бочках.

В Великую Среду, когда к Пасхе производилась по губернаторскому распоряжению чистка со сбором всех сил: городских, тюремных надзирателей и молодых людей, – арестанты из губернского острога все до единого очень спокойно ушли. А на Фоминой неделе ушли Великого Ассенизатора.

Впрочем, кому неизвестно, что отставные губернаторы не пропадают, а возрождаются, как птица Феникс из пепла? Великий Ассенизатор, великий ассенизационный поэт получил теперь в управление не губернию, а Россию.

И вот снова – все в ассенизации. Патентованные бочки Годкинса гремят по России, по полям, по людям: что поля и люди перед великой задачей патентованного ассенизационного обоза? Самоотверженный ассенизатор все глубже пропитывается запахом ассенизационного материала, и все слышней знакомый дух охранки и жандарма. Но Великий Ассенизатор по чем попало – по–прежнему мчится на бочке, в круглом кожаном фартучке и в кожаных рукавицах.

Спору нет: ассенизация нужна. И может быть, был исторически нужен России сумасшедший ассенизационный поэт. И может быть, кое–что из нелепых дел Великого Ассенизатора войдет не только в юмористические истории <империи> Российской.

Но сумасшедшие ассенизационные помпы слепы: мобилизацией для Гражданской войны выкачиваются последние соки из голодных рабочих; высасываются из слабых остатки веры в возможность устроить жизнь без пришествия варягов.

И все нестерпимей несет от ассенизаторов знакомым жандармско–охранным букетом – и все, не совсем безносые, бегут вон, зажавши остатки носов.

Для Великого Ассенизатора близка Фомина неделя.

21/8 июня 1918

## **В. ЗАЗУБРИН. ДВА МИРА<sup>1</sup>**

*Роман–хроника «Два мира» известного сибирского писателя В. Я. Зазубрина (1895 – 1938) посвящен событиям гражданской войны в Сибири, когда Красная Армия и партизаны Тасеевской республики, отстаивая завоевания революции, громили колчаковские банды и утверждали Советскую власть.*

*В романе ярко, достоверно и самобытно показаны картины освобождения Сибири от белогвардейщины; столкновение «двух миров» – старого и нового. Роман впервые был опубликован в 1921 году и является первым большим произведением советской литературы, получившим высокую оценку В. И. Ленина и М. Горького.*

### **1. КОГОТЬ**

Земля вздрагивала.

Тела орудий, круто задрав кверху дула, коротко и быстро метали желтые, сверкающие снопы огня. Тайга с шумящим треском и грохотом широко разносила гул выстрелов, долго, визгливо и раскатисто звенела стальным воем снарядов, лопавшихся далеко на улицах, на земле и над крышами Широкого.

Прислуга на батарее, молодые краснощекие, скуластые солдаты, работали с буднично спокойными лицами, изредка равнодушно ругались, перебрасываясь грубой шуткой. Противник был не страшен: он не имел артиллерии. Сидевший на наблюдательном пункте поручик Громов в бинокль, не отрываясь, следил за селом и часто кричал в трубку телефона короткие, холодные слова команды. Ветра не было. Сухой, горячий воздух висел над тайгой, напитываясь запахом душистой смолы, игольчатой зелени и пороховым дымом. На дереве сидеть было неудобно и жарко. Ноги у офицера затекли, руки устали держать тяжелый бинокль. Толстые губы, с подстриженными черными усами, засохли и потрескались. Фуражка надвинулась на самый лоб, из–под козырька текли теплые, липкие струйки пота, грязными каплями висли на сухом, горбатым носу, на гладко выбритом четырехугольном подбородке, капали на зеленый френч.

<sup>1</sup> Печатается по: В. Зазубрин. Два мира // [http://royallib.com/book/zazubrin\\_vladimir/dva\\_mira.html](http://royallib.com/book/zazubrin_vladimir/dva_mira.html)

Мертвые стеклянные глаза бинокля, поблескивая, сверлили зеленую даль большой таежной поляны, на которой скупилось Широкое, бегали по улицам села, щупали густую цепь противника, лежащую у поскотины.

– Прицел!.. Трубка!..

Толстые губы дергались, и по тонкому стальному нерву телефона бежали отрывистые фразы, слова, цифры, полные скрытого смысла.

– Прицел!.. Трубка!.. – повторял телефонист на батарее.

– Прицел!.. Трубка!.. – кричали бегающие у орудий солдаты в грязных гимнастерках, с расстегнутыми воротами и красными погонями на плечах.

– Готово!

– Первое!.. Второе!.. Третье!..

Орудия судорожно подпрыгивали, давясь, с болью, оглушающе харкали и плевались длинными кусками огня и раскаленными, воющими сгустками стали. Верхушки деревьев гнулись, как от ветра.

– Прицел!.. Трубка!.. – кричала натянутая жила телефона.

Спокойно поблескивал черный бинокль. Послушно, с точностью заведенного механизма, солдаты щелкали замками, совали в орудия снаряды, стреляли.

На опушке тайги стоял сухой треск ломающегося валежника. Серо-зеленая цепь белых вела частую стрельбу из винтовок, четко стучала длинными очередями пулеметом. Партизаны, окопавшись у самой поскотины Широкого, молчали. Вооруженные более чем наполовину дробовиками, почти не имея патронов, они берегли каждую пулю, не стреляли, выжидая, пока противник подойдет ближе и можно будет бить его, беря на мушку, без промаха. Пули со свистом сочно впивались в жерди и колья поскотины, зарывались в черные бугорки окопов, тысячами визгливых сверл буравили воздух. Бойцы лежали сосредоточенно, спокойно. Глубокие складки залегли у каждого между бровей, и глаза, потемнев, резко чернели на напряженных, чуть побледневших лицах. Когда в цепи пуля задевала кого-нибудь и слышался стон или крик, то все молча обертывались в сторону раненого и быстрыми, тревожными взглядами следили, как возились с ним санитары.

Снаряды рвались далеко за цепью, в селе. Белые облачка шрапнели клубились над Широким, и тяжелый дождь крупными каплями картечи с треском низал дощатые крыши, дырявил заборы, ворота, звенел осколками выбитых стекол. На улицах в прыгающих, крутящихся столбах черной пыли огненными красными лоскутами рвались гранаты. Ключья огня вспыхивали, и тухли спереди и сзади десятка запоздалых подвод, спешивших к северному концу села. Поручик Громов не мог взять верного прицела. Крестьянские телеги, тяжело скрипя, медленно ползли между домов, трещавших от взрывов. На возах в беспорядке, наспех высоко были навалены сундуки, самовары, цветные половики, подушки, на самом верху металась и громко плакали ребятишки, охали, крестились, всхлипывали женщины.

Гранаты давали или перелет, или недолет. Шрапнель рвалась слишком высоко, и ее пули, ослабев, сыпались на обоз, никому не причиняя вреда. Круглый кусок горячего свинца упал на беленькую головку семилетнего Васи Жаркова. Мальчик вскрикнул, испуганные большие черные глаза, широко раскрывшись, остановились. На полные розовые щеки брызнули искрящиеся капли слез.

– Мамка, больна! Ай-яй! – Вася заплакал, схватился за голову.

Полная женщина в белом платке, с вытянувшимся землисто-серым лицом прижала к себе дрожащего сына.

– Матушка-владычица, богородица пресвятая, спаси и помилуй нас, – громко, навзрыд причитала мать.

Старики с трясущимися коленями широко шагали возле возов, дергались поминутно всем телом в сторону от рвущихся снарядов, подгоняли храпевших и бившихся лошадей.

Поручик Громов стал нервничать. Его бесило, что семьи партизан безнаказанно уходили из села. Офицер менял прицел, промахивался, раздраженно ерзал на сучке, ругался.

Граната с воем лопнула в самой середине обоза. Задние колеса телеги Жарковых прыгнули вверх. Мать и сын, молча, не вскрикнув, свалились, обнявшись, на дорогу. Рядом тяжело рухнула большая туша лошади с оторванной головой. Пыль вокруг убитых сразу стала красной.



Черный бинокль радостно дернулся в руках Громова и, блеснув на солнце, остановился, стал ощупывать теплую кучу костей и мяса. Офицер с легким волнением весело уронил в трубку:

– Хорошо! Два патрона! Беглый огонь!

Бах–бах! Бах–бах! Бах–бах! Бах–бах! – быстро бросила батарея восемь снарядов. Разбитые телеги сгрудились в кучу; лошади, издыхая, дергали ногами; с вырванными животами, оторванными ногами и руками, с разбитыми черепами валялись люди. Кто–то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи. Русые, пушистые волосы ребенка слиплись, стали красными. Головки убитых детей среди груды разломанных телег, дохлых лошадей, мертвых и раненых людей пестрели нежными цветками голубеньких, черных, синих глазенок, сверкающих еще не высохшими слезами.

Красное пятно росло, расплзлось по дороге.

Батарея перенесла огонь. На улицах стало тихо. Дома молча смотрели черными слепыми дырами выбитых окон. Едва приметный, легкий парок струился над убитыми. Крестьяне сидели с семьями в подпольях.

Снаряды стали рваться над поскотиной. Белая цепь, усиленно треща винтовками и пулеметами, поползла вперед. Партизаны молчали. Лохматая голова е вьющимися черными волосами, в фуражке набок поднялась над окопчиком.

– Товарищи, без моей команды не стрелять! – отчетливо и резко прозвенел голос отца Васи Жаркова.

Энергичный, изогнутый подбородок командира повернулся вправо и влево, глаза быстро и внимательно скользнули по цепи. Партизаны, слегка повертываясь на бок, передавали приказание вождя.

– Передача! Без команды не стрелять! Без команды не стрелять!

Пестрая цепь повозилась немного, стрелки осмотрели затворы у винтовок и бердан, курки у шомполок и централок и опять затаились.

Белые, не встречая сопротивления, продвигались быстро. Офицеры стояли в цепи во весь рост, громко командовали. Батарея перестала стрелять, боясь задеть своих. Не дойдя до противника шагов полтора, белые поднялись, бросились в атаку.

– Ура–а–а! Ура–а–а! Ура–а–а! – громче всех ревел высокий, худой командир батальона и, поднимая в руке большой черный кольт, бежал впереди цепи. Жарков встал, метнул быстрый взгляд на клочок луга, отделявший партизан от белых, коротко бросил:

– С колена! Крой!

Зеленые гимнастерки, черные, синие, белые рубахи, серые деревенские самотканые кафтаны, шляпы, фуражки, шапки поднялись с земли. Четко щелкнули затворы, мягко хрустнули курки.

– Тр–рр–а–а–а–х! Ба–ба–бааах! Рррах! – разноголосо и гулко хлестнул залп.

Длинноногий командир батальона уронил кольт, согнулся дугой, упал лицом в траву и завизжал. Целый заряд ржавых гвоздей и толченого чугуна угодил ему в живот. В белой цепи, сомкнувшейся полти вплотную, зазияли огромные дыры. Неподвижная, твердая как камень, темная линия красных ударила снова из сотен ружей. Едкий, рвущий визг свинца и железа стегнул еще раз атакующих. Редкие, расстроенные кучки белых повернули назад, побежали к тайге. На лугу стонали раненые, громко визжал и катался по траве командир батальона с разорванным животом.

– Ложись, – удержал Жарков свою цепь, порывавшуюся преследовать отступавших.

Белые снова пустили артиллерию, под ее прикрытием стали спешно подтягивать резервы.

Красные лежали спокойно, отдыхая от напряженных минут атаки. Белые оправившись и привели в порядок свои части только к вечеру, но боя не завязывали. Командир карательного отряда полковник Орлов решил наступать на Широкое ночью. Как только стемнело, Жарков, сняв с позиции своих стрелков, повел их в село. На улицах было безлюдно и тихо. Раненых подобрал. Только темная куча убитых лежала на месте. Около пахло горелыми тряпками, порохом и кровью. Жарков еще в цепи узнал о смерти жены и ребенка. Усилием воли он удержал самообладание и теперь, торопясь, обходил, не останавливаясь, разбитый обоз. Минуты были дороги. Белые могли окружить. Беззвучно ступая в мягких броднях, угрюмо опустив головы, молча оставляли партизаны Широкое.

Около двенадцати часов ночи белые сразу открыли по всей линии пулеметный и ружейный огонь. Ответа не было. Наученные днем, красильниковцы двигались вперед медленно, осторожно. В атаку поднялись и пошли нерешительно, шагом, часто стреляя на ходу. Огненная петля с двух сторон охватила молчавшее село. Крикнули «ура» и побежали уже у самой поскотины. Шумно топая, паля из винтовок, с ревом ворвались в тихие улицы. Задыхаясь, наткнулись на остаток обоза, спугнули мертвый покой убитых, кучей затоптались на месте. Луна осветила два ряда домов с темными дырами окон. Из обломков, валяющихся среди дороги, смотрели на победителей опухшие, перекошенные смертью, почерневшие лица женщин, стариков и маленькие личики детских трупиков, подернувшиеся пылью. Старик Федотов, выставив вперед острый клин седой бороды, широко оскалив зубы, колол толпу тусклым взглядом мертвых глаз.

Толстый полупьяный поручик Нагибин брезгливо морщился и, широко растопырив ноги, разглядывал убитых. Заметил детей, жену и сына Жаркова.

– Со щенятами, значит. Всех угробили. Правильно, поручик Громов. О–д–о–б–р–я–ю.

Офицер повернулся к толпившимся сзади солдатам.

– Стана–а–вись!

– Становись! Стройся! Третий эскадрон! Первая рота! – кричали по селу офицеры.

Нагибин стал выстраивать свою роту. Отряд собирался в одно место.

Полковник Орлов с эскадром гусар в конном строю и батареей въехал в Широкое. На главной улице стояли стройные шеренги солдат. Лиц в тени нельзя было разобрать. Концы штыков маленькими звездочками поблескивали па лупе, искрящейся цепочкой связывали томные колонны отряда.

Капитан Глыбин поскакал навстречу Орлову, прижимая руку к козырьку.

– Смирна–а! Гаспада офицеры!

Орлов круто осадил свою белую кобылу, тонкие ноги ее дрогнули, жирный круп подался назад.

– Здорово, молодцы!

– Здравей желай, гсдин полковник!

– Поздравляю вас с победой! Спасибо за службу!

– Рады стараться, гсдин полковник!

Дружный ответ красильниковцев прокатился по селу. В дальнем конце улицы эхо дважды повторило: «Рады! Рады!» – и все затихло.

Белые блестящие погоны полковника и кривая казачья шашка, вся в серебре, отливали голубоватым светом. Высокая кобыла беспокойно перебирала тонкими ногами, фыркала нежными, розовыми ноздрями, поводила ушами, косила глаза на кучу убитых. Орлов, слегка пригибаясь к луке, щекотал шпорой бок лошади, заставляя ее подойти ближе, наступить на труп.

– Дура, испугалась. Вот так боевой конь, – улыбаясь, обертывался полковник к адъютанту.

Мертвецы молчали. Жаркова лежала ничком, лица ее не было видно. Вася спрятал свою голову у нее на груди. Старуха Николаевна перегнулась через сундук, черные щеки ее и открытый рот резко выделялись на белой подушке. Окровавленная, разбитая голова Прасковьи Долгушиной тяжело давила живот трехлетнего Пети Комарова, лежавшего с широко раскинутыми ручонками около большого самовара. Из–под опрокинутой телеги торчали желтые босые ноги Степаниды Харитоновой, на ее груди, придавленный острым углом ящика, застыл шестимесячный ребенок.

Темное облако закрыло луну. Блестящая цепочка штыков, погоны полковника и его шашка потухли. Черная лопата бороды Орлова поднялась кверху. Офицер несколько секунд смотрел на небо.

– До рассвета еще часа два, – вслух подумал он и, нагнувшись с седла к солдатам, крикнул: – Господа, до утра село в нашем распоряжении. К восходу солнца чтобы здесь не осталось ни одного большевика!

Темные колонны зашевелились, колыхаясь, стали пропадать в темноте.

Орлов со штабом отряда расположился в доме священника. Толстая попадьа, с простоватым широким лицом, гладко причесанная, в длинном сером платье, накрывала на стол. Денщик полковника из походного сундука вынимал бутылки с водкой и коньяком. Орлов со ску-

чающим лицом, позевывая, слушал своего помощника капитана Глыбина. Глыбин говорил что-то о сторожевом охранении, о большевиках, об убитых и раненых солдатах. Полковник едва схватывал обрывки фраз, концы мыслей. Сегодня он весь день провел на жаре, в седле, основательно устал. Его взгляд, тяжелый, подернутый налетом безразличия, следил за пухлыми руками попадьи, ловко расставлявшей на чистой скатерти тарелки с солеными грибами, огурцами, с ворохами белоснежного хлеба, сдобных шанег, сметаны. Орлов взял большой, холодный, сочный груздь, помял его немного во рту и жадно проглотил. Налил чарку водки, выпил и опять потянулся к грибам.

– Пейте, капитан!

Глыбин оборвал деловой разговор, басом кашлянул в кулак, пододвинул к себе рюмку. Черное, давно не бритое лицо капитана с жирными, трясущимися щеками расплылось в довольную улыбку. Глаза растянулись узкими щелочками. Жесткие усы оттопырились.

На улицах кучками бродили солдаты. Кованные железом приклады винтовок с треском стучали в двери темных, молчаливых домов. Высокий рыжий фельдфебель из роты Нагибина со своим шурином, маленьким, кривоногим, унтер-офицером, и двумя солдатами ломился в ворота Николая Чубукова.

– Отпирай, сволочь! Перестреляю всех. Язви вас в душу.

Ворота под напором четырех мужиков трещали, скрипели. Хозяин дома выскочил на двор.

– Погодите маленько, братцы, я мигом открою, – голос Чубукова от страха дрожал и обрывался.

– Какие мы тебе, большевику-собаке, братцы, – орал фельдфебель.

– А я знаю рази, кто ж вы? – оправдывался хозяин, распахивая ворота.

– Вот знай теперь, кто мы!

Круглый, тяжелый кулак унтер-офицера стукнул в подбородок старика. Чубуков щелкнул зубами и замолчал. Фельдфебель, широко распахивая дверь, первый вломился в избу.

– Большевики есть? – стукнула о пол винтовка.

Посуда зазвенела на полке. Проснулся и заплакал ребенок. Молодая женщина, бледнея, затрясла люльку, хотела запеть, но голос у нее осекся, язык тяжело завяз во рту. Старуха, жена Чубукова, вышла из-за печки.

– Господь с вами, ребяташки, какие у нас большевики.

– А это кто? Чья жена? Партизанка?

– Что вы, господа, какая там партизанка. Дочь она моя, а зять здесь же, дома, никакой он не партизан, не большевик, – робко говорила сзади Чубукова.

Мужик с черной бородой, в потертой гимнастерке без погон слез с полатей.

– Я, господа, не большевик, я солдат-фронтовик, георгиевский кавалер, ефлейтур.

– Ага! Ну, а жена-то у тебя все-таки большевичка! Фельдфебель нагло засмеялся, оскалив ряд кривых черных зубов. Зять Чубукова попробовал было ухмыльнуться, но у него только скривились губы, лицо побледнело, на глазах навернулись слезы. Фельдфебель шагнул к женщине, оторвал ее руку от люльки и потянул к себе. Женщина взвизгнула, заплакала, стала вырываться.

– Не дело задумали, господин, – загородил дорогу чернобородый.

– Дело не дело, не твое дело, – крикнул унтер и больно ткнул в лицо ефрейтору дулом нагана.

Фельдфебель тащил рыдавшую женщину в сени. Ребенок звонко плакал.

– Господин, что же это такое? Матушка пресвятая заступница.

Старушка упала на колени, с отчаянием стала креститься па передний угол, кланяться низко до полу. Чубуков тяжело сел на постель. Серые, большие глаза старика были полны тоски и отчаяния. В сенях на полу слышался глухой шум возни.

– Вася, помоги! Ой, не могу я! Вася, не дай опозорить!

Фельдфебель злобно ругался и затыкал разорванной кофтой рот женщины. Чернобородый метнулся к выходу. Унтер-офицер развернулся и сильно стукнул его револьвером по щеке. Мужик со стоном упал на пол. Дуло нагана воткнулось ему в рот.

– Только пошевелинься, сокрушу!

– Толкачев, иди-ка поддержи ее, не дается, сука, – позвал рыжий из сеней.

Молодой солдат с тупым, равнодушным лицом, громыхнув винтовкой, вышел за дверь. Чернобородый рычал и громко всхлипывал, катаясь по полу. Старуха молилась. Ребенок взвизгивал охрипшим голосом.

Несколько солдат ворвались в школу. Молоденькая учительница с белокурой головой и большими голубыми глазами встретила красильниковцев на пороге.

– Что вам нужно, господа?

Глаза девушки смотрели с недоумением и страхом. Восемнадцатилетний доброволец Костя Жестиков, быстро схватив учительницу за руки, громко поцеловал. Солдаты захохотали. Жестиков нагнулся немного и, быстрым движением разрывая юбку девушки, повалил ее на пол.

– Стой! Что здесь такое?

В школу забежал поручик Нагибин. Доброволец бросил учительницу, вскочил с пола. Поручик увидел на секунду белое, нагое тело девушки, разорванное платье, огромные, полные ужаса глаза.

– Вон отсюда! – Офицер затопал ногами. Солдаты неохотно повернулись к двери, стали выходить. Учительница с трудом поднялась и, пошатываясь, пошла в другую комнату. Перед глазами офицера снова манящей белизной блеснуло нагое женское белое тело.

– Подождите, куда же вы?

Учительница ускорила шаги, почти побежала. Сильное, дурманящее, хмельное желание наполнило мозг Нагибина. Он быстро догнал девушку и, не слыша ее отчаянного крика, жадно схватил за талию. Теплота обнаженной кожи пахнула в лицо поручику.

Гибкое, как ветка, тело забилося в крепких руках мужчины.

Солдаты в соседней комнате разломали прикладами и штыками сундучок с вещами учительницы. Костя Жестиков, топча сапогами подушку в чистой наволочке и белое одеяло, сброшенное с постели, шарил руками под матрацем.

– Нет ли у нее оружия, у стервы, – ворчал доброволец.

Солдаты, разломав сундук, смеясь выбрасывали на пол женское белье.

– Ишь, Нагибин – то наш, хорош гусь, нечего сказать. Нам не дал, а сам взялся, брат.

Ни черта, ребята, останется и нам, – утешал Костя, сбрасывая с этажерки книги.

По улице свистели пули, хлопали выстрелы. Солдаты по малейшему подозрению стреляли в первого встречного. В домах плакали женщины, трещали разламываемые сундуки, скрипели засовы амбаров и кладовок.

Победители расправлялись.

К Орлову через каждые десять–пятнадцать минут приводили арестованных, заподозренных в большевизме. Полковник сильно охмелел. Разбираться долго ему не хотелось. После двух–трех вопросов он свирепо таращил пьяные глаза, рычал:

– Большевики, мерзавцы! Отправить их в Москву!

Арестованных выводили на двор и, быстро раздевая, рубили шашками. С одной из последних партий привели женщин. Попадья, плакавшая в углу, подошла к Орлову.

– Господин полковник, это не большевички, я знаю.

– Молчать! Я лучше знаю, кто они. Мои молодцы зря не арестуют. Может быть, ты сама большевичка? А? Я почему знаю?

Попадья испуганно попятилась и вышла в другую комнату. Полковник посмотрел на плачущих женщин, махнул рукой.

– В Москву!

На дворе, пока их зарубали, они боролись, визжали, кусали гусарам руки. Полковник и Глыбин пили коньяк. Четырехугольники окон стали светлеть. Кончая последнюю бутылку, Орлов крикнул вестового.

– Шарафутдин, позови мне начальника комендантской команды.

Прапорщик Скрылсв явился быстро и, вытянувшись, остановился в дверях. Произведен он был недавно, с новым положением своим еще не освоился, перед полковником трепетал больше, чем всякий рядовой.

– Скрылев, кажется, рассвет близко?

– Так точно, господин полковник, уже светает.

– Гм–м! Зажигайте село.

Полковник сказал это спокойно, как будто дело шло о кучке старого хлама, а не о богатом Широком, о том самом Широком, в котором были две начальные школы, одна высшая начальная, библиотека в десять тысяч томов, народный дом и лесопилка. Попадья упала в ноги офицеру:

– Господин полковник, не разоряйте нас, не губите. Щеки попадья тряслись, она ловила грязные сапоги Орлова и целовала их. Лампадка перед иконой Христа потухла и зачала. Полковник встал. В комнате было почти совсем светло.

– Шарафутдин, коня!

Капитан Глыбин, адъютант, корнет Полозов и еще несколько офицеров, пивших с полковником, звеня шпорами, пошли к выходу. Садясь на лошадь, Орлов приказал адъютанту:

– Корнет, передайте Скрылеву, чтобы тушить не давал. Всех, кто будет мешать поджогу или спасать свое имущество, расстреливать на месте.

Учительница очнулась. Лежала она на полу совершенно голая. Рядом валялись лохмотья ее разорванного платья, окурки. Пол был истоптан десятками ног, заплыван зеленой, зловонной слюной. Небольшой квадратный листок бумаги с портретом какого-то офицера привлек ее внимание. Девушка приподнялась на локте и, не отдавая себе отчета, не приходя вполне в сознание, стала читать текст, помещенный под литографией

## **К НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ**

18-го ноября 1918 года Временное Правительство распалось. Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне – Адмиралу Русского Флота – Александру Колчаку.

Тело учительницы было все в синяках, кровоподтеках. Грудь ломило. Голова еле держалась. Мозг работал слабо. Девушка еще не чувствовала всей глубины ужаса своего положения, не отрываясь, быстро читала, не понимая содержания прочитанного.

Принял крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройстве государственной жизни, объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который ни пожелает, и осуществить великие идеи Свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал КОЛЧАК 18 ноября 1918 г. Омск.

Подпись под манифестом была слитографирована с оригинала. Девушка задрожала, увидев хищный росчерк начальной буквы фамилии диктатора. Верхний крючок острым концом загибался над всей строчкой и на конце его брызги чернил были похожи на почерневшие, засохшие капельки крови. Черный коготь стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками. С листка бумаги он забрался в голову девушки, вонзился в мозг, раздирающей, острой болью наполнил оскорбленное тело. Учительница захохотала, вскочила на ноги. Коготь проколол ей череп, проткнул потолок, крышу школы, остроконечной дугой седого дыма загнул над полом. Школа начинала загораться. Девушка ничего не видела. Острый, кровавый, коготь проколол насквозь, едкой болью рвал грудь, живот и голову. Комната стала наполняться дымом. Учительница с хохотом и воем бегала из угла в угол, сбрасывала с полок библиотеки книги, махала руками. Коготь выколол ей глаза. Слепая, она упала на груды книг, корчась от жару, хватала и рвала толстые тома Толстого. Село было все в огне. Огромный столб черного дыма ветер гнул в сторону, и он похож был на хищный коготь – росчерк начальной буквы страшной фамилии.

## **2. МЫ ОФИЦЕРЫ**

В притоне китайской, японской, еврейской и русской спекуляции, в городе, где кровавый диктатор Сибири изготовлял свои деньги, где процветали два питомника и рассадника кон-

трреволюции – два военных училища, – сегодня было особенно весело. Сегодня колчаковцы ликовали. Сегодня состоялся выпуск из обоих военных училищ. Более полутысячи юнкеров было произведено в офицеры. Большинство произведенных были старые юнкера, сбежавшие к гостеприимному и хлебосольному адмиралу со всех концов России. Тут были гордые Павловы, «тонные», спесивые тверцы и елисаветградцы, «шморгонцы», владимирцы, лихие рубаки – юнкера царской сотни – и славные сподвижники атамана Семенова. Были среди выпущенных и невоенные, шпаки, шляпы, полтинники, гробы, как называли их кадеты, считавшие себя военными с пеленок. Шпаки были большей частью из студентов–белоподкладочников. Почти все они – военные по призванию, военные со дня рождения и военные случайные – одни открыто и смело, другие молча, в мечтах стремились к одним идеалам, верили в старых, несокрушимых китов черносотенного мирозерцания – в православие, самодержавие и русскую народность. Людей, настроенных оппозиционно к существовавшему в Сибири порядку, среди юнкеров почти не было. Надежные бойцы вливались в армию. Было чему радоваться контрреволюционерам.

Город ожил.

Улицы, кабаки, рестораны, кафе и бульвар на берегу Ангары в этот день пестрели группами нарядных офицеров. Синие, красные, черные, с лампасами, с кантами галифе и бриджи, английские френчи, тонкие шевровые сапожки на высоких каблучках, большие белые кокарды, лихо примятые фуражки, звон шпор, бряцание оружия, золото новеньких погон. Золото, золото, блеск без конца. Шутки, смех. Медовые месяцы контрреволюции.

Компания вновь произведенных расположилась в небольшом ресторане на бульваре. Миниатюрные рюмочки были полны тягучего, сладкого и крепкого бенедиктина. В чашках дымилось черное кофе. Настроение у всех было приподнятое. Безусый подпоручик Петин бил себя в грудь кулаком и тонким срывающимся голосом кричал:

– Я офицер! Я офицер! Ха, ха, ха!

Потягивая маленькими глотками кофе, пожилой студент Колпаков рассуждал:

– Да, подпоручик – это хорошо. Две звездочки. Не капитан с гвоздем, прапорщика несчастный. Подпоручик – настоящий офицер.

Все смеялись, громко разговаривали, стараясь перебить друг друга. Каждому хотелось высказаться, поделиться чувством какой-то особенной радости, так знакомой людям, только что выдержавшим долгий и трудный экзамен. Никто не отдавал себе отчета в том, что через несколько дней или недель все они могут очутиться на фронте, стать лицом к лицу со смертью. Фронт был далеко, о нем мало думали. Все были пьяны сознанием своей самостоятельности и независимости.

Прежде чем стать офицерами, десять месяцев провели юнкера в стенах военного училища. Десять месяцев пробыли они в тисках страшной, железной дисциплины. Юнкер был тем козлом отпущения, на котором многие офицеры срывали свою злость, вознаграждали себя за все неприятности, какие им приходилось получать в солдатской среде. Солдаты держали себя довольно свободно: перед офицерами не дрожали и не тянулись так, как при старом режиме. Офицерам хотелось видеть армию во всем блеске прежней царской палочной дисциплины, и что им не удавалось ввести в роты, батальонах, то они с особым рвением насаждали в степях военных училищ. Что невозможно требовать с солдата, то легко взыскать с юнкера. Юнкер должен быть образцом исполнительности, аккуратности, дисциплинированности. Юнкер – это идеальный солдат–автомат. Юнкер – это будущий офицер. Придирки и капризы офицеров, «цуканье» начальства из юнкеров – все должен был вынести на своих плечах питомец военного училища.

Десять месяцев учебы, муштры и цука. Для многих они не прошли даром, многие совершенно обезличились, стали блестящими, шлифованными, послушными винтиками жестокого механизма армии.

Подпоручик Мотовилов хлопал по плечу Петина и смеялся раскатисто–громко, сверкая крепкими, здоровыми, белыми зубами.

– Андрюшка, ты подумай только, мы – офицеры. Ха, ха, ха! Мы – офицеры. Раньше были разные господа фельдфебели, полковники Ивановы, перед которыми нужно было тянуться, а теперь – к черту всех! Сами с усами!

Петин обнял Мотовилова за талию.

Нам и дня ведь не осталось

Производства ожидать

С высоты аэроплана  
На все теперь нам начихать.

Оба смеялись, смеялись долго, до слез, как школьники. Вспомнили своего ротного командира, полковника Иванова, прозванного Нудой за его нудный характер, за нудную, бестолковую муштровку, которой он изводил юнкеров, за его привычку всегда говорить: «Ну–да, ну–да, таким образом».

– Андрюшка, помнишь, как Нуда мою лошадь заставлял пешком ходить? Ха, ха, ха!

Петин улыбнулся.

– Чего ты мелешь, Борис? Как это лошадь пешком?

– Не мелю, а факт, это было. Не помню, чего–то сделал я на маневрах. Нуда решил наказать меня. Подлетает он ко мне и орет: «Ну–да, ну–да, Мотовилов, таким образом, вы пойдете пешком». Помнишь, он спешил юнкеров в наказание? Я говорю: «А как же, мол, лошадь, господин полковник? Кому ее сдать?» А он, балда, подумал и говорит: «А–а–а, таким образом, вы пешком и лошадь ваша пешком».

Офицеры смеялись. Тягучими, хмельными струйками лился ликер и, смешиваясь с крепким, горячим кофе, сильно туманил головы. В ресторане стало тесно и скучно.

– Господа офицеры, предлагаю сделать перебежку в направлении на «Летучую мышь», – поднялся Колпаков.

Загремели шашки, зазвенели шпоры, зашумели отодвигаемые стулья. Мелкими, ровными шажками подбежал лакей и, почтительно вытянувшись, остановился. Петин небрежно бросил на стол несколько тысячных билетов.

– Сдачи не нужно. Возьми себе! Лакей отвесил глубокий поклон.

Смеркалось уже, когда шумная компания офицеров пришла в шантан. Окна зрительного зала были завешены плотными, темными шторами. Горело электричество. На сцене, кривляясь, визжала шансонетка:

Когда чехи Волгу брали,

Вспомни, что было

Комиссары удирали –

Наверно, забыла

Зрители ревели, в пьяном восторге аплодировали. Толстые, короткие, волосатые пальцы, в тяжелых золотых кольцах комкали бумажки, небрежно бросали на сцену. Зал был полон. Лысые головы. Красные шеи. Шляпы с широкими полями и яркими перьями. Фуражки с офицерскими кокардами. Золотые, серебряные погоны. Глаза слипшиеся, мутные, с жирным блеском. Обрюзгшие, слюнявые кончики губ. Спирт. Пудра. Табак. Пот. Офицеры разместились за одним из свободных столиков. Потребовали вина. К столу подошла цыганка–хористка с лукавыми глазами.

– Офицерики, молоденькие, золотенькие, угостите шоколадом.

Черный кавказец Рагимов взял хористку за руки, усадил рядом с собой на стул.

– Садысь, садысь, дюща мой. Канфет будэт. Ходы на мой квартал, все будэт.

– Нет, нет, на квартиру нельзя!

Цыганка затрясла кудрями. Подошла старуха, мать хористки.

– Подпоручики, сахарные, медовые, золотые, положите рублик серебряный на ручку, всю правду скажу, всем поворожу.

Петин порывлся в портмоне, отыскал серебряный полтинник, бросил его цыганке.

– Голубчик ясный, офицерик молоденький, добренький, счастливый ты. Второй раз уж надеваешь золотые погоны.

– Верно, я старый юнкер. При Керенском носил погоны, большевики сняли, теперь опять надел.

– Второй раз одел, второй раз и снимешь!

Петин побледнел. Злая усмешка мелькнула в глазах цыганки.

– То есть как сниму?

– А так и снимешь. Попадешь к красным в плен, снимешь, солдатом назовешься. Потом убежишь от них. Чего испугался? Говорю, счастливый ты.

Подпоручик успокоился, дал цыганке розовую бумажку. Офицеры пили. Мотовилов глядел на хористку масляными глазами, напевал вполголоса, покачиваясь на стуле:

По обычаю петроградскому  
И московскому  
Мы не можем жить без шампанского  
И без табора, без цыганского.

Молодая цыганка пила коньяк, громко щелкала языком, щурила глаза, закусывая лимоном. К офицерскому столу начали подсаживаться накрашенные дамы, бесцеремонно требовать фрукты, вино, конфеты. Подпоручики принимали всех. Шансонетка визжала:

Костюм английский,  
Погон российский,  
Табак японский,  
Правитель омский.  
Пьяными голосами, вразброд весь зал орал:  
Ах, шарабан мой, Шарабан.  
А я мальчишка Шарлатан.

Спекулянт–китаец кричал на картавом, ломаном языке:

– Это халасо! Халоса песнь! Англии крстюма, японсока лужья, наса тавала. Шипка халасо! Луска капитана одна неможна большевик ломайла. Все помогайла большевик ломайла.

Недалеко от офицеров, в полутемном углу, за маленьким столиком пили ликер худой, желчный штабс–капитан из контрразведки и тучный спекулянт. Штабс–капитан был раздражен. Его сухие, тонкие губы дергались, кривились под острым носом, глаза вспыхивали нетерпеливыми огоньками.

– Да говорите же вы коротко, толком, что вы имеете мне предложить? Не тяните ради бога! Спекулянт, не торопясь, спокойно пил вино, излагал свои соображения.

– Я вам говорю, что с сахаром у нас дело не выйдет. Нет расчета. Японцы и семеновцы в этом отношении непобедимые конкуренты. Посудите сами, куда нам тут соваться, когда в каждом японском эшелоне или у любого семеновца цена на сахар ровно в два раза ниже объявленной омским правительством. Вы ведь отлично знаете, что они никакой монополии не признают, торгуют, как заблагорассудится.

– Ну, что же вы предлагаете?

– Я уже говорил вам, что самое удобное это будет сахарин. Вы, капитан, на этом деле заработаете ровно миллион. Поняли? Миллион. Ха, ха, ха!..

Мясистым рот широко раскрылся, глаза потонули в жирных лучистых складочках кожи. Живот трепыхался, как студень.

– Ха–ха–ха! Недурно, господин капитан? Идет? А?

– Ваши условия? В чем выразится мое участие?

– О, очень немного, капитан. Капитан даст нам только маленькую бумажку от своего авторитетного учреждения, и все. Очень немного, капитан.

Табак густыми клубами вис над головами. Тапер барабанил на пианино. В зале стоял гул. Подвыпившие гости шумели. Хлопали пробки. Офицеры пили бутылку за бутылкой. Колпаков встал, поднял бокал.

– Господа, выпьем за нашу победу. Выпьем за разгром Совдепии, за то время, когда на обломках коммунизма, на развалинах комиссародержавия мы воздвигнем царство свободы, законности и порядка. Да здравствует Великая Единая Россия! Ура!

– Ура! – крикнули Рагимов и Иванов и подняли свои бокалы.

По лицу Мотовилова пробежала тень.

– Не люблю я, Михаил Венедиктович, ваших завиральных идей и всего этого либерального словоблудия. Какое там к черту царство свободы! Кричите царство Романовых, и кончено. Вот это дело, я понимаю.

– Не будем спорить!

Колпаков махнул рукой, стал пить. Рагимов шептался с Петиним, бросая на дам жадные, откровенные взгляды.

– Валяй, валяй, какого черта, – кивал головой Петин.

Рагимов встал, быстро выхватил шашку, рубанул по электрическому проводу. Свет погас. За столом поднялась возня. Дамы визжали притворно испуганными голосами. Скатерть сползла со стола, зазвенела разбитая посуда. Буфетчик волновался за стойкой, нетерпеливо крича кому–то:



– Ах, давайте же скорее свечи! Да где у нас свечи, черт возьми?

По телефону был вызван дежурный офицер из управления коменданта. Подпоручиков переписали, составили протокол. Потом у дверей встали солдаты. Начался повальный обыск, осмотр документов. Тех, у кого не оказывалось удостоверений личности, офицер отводил в сторону и, пошептавшись, отпускал, шурша кредитками. Молодые офицеры из «Летучей мыши» выбрались утром совершенно пьяные. Дорогой шумели, орали печени, останавливали извозчиков, стреляли в воздух. У Колпакова был недурной баритон.

Мне все равно –  
Коньяк или сивуха.  
К напиткам я уже привык давно.  
Мне все равно.  
Мальчик Петин пытался поддержать:  
Готов выпиться и свалиться –  
Мне все равно.  
Тонкий голосок перешел в бас и сорвался.  
Мне все равно –  
Тесак или сабля.  
Нашивки пусть другим даются,  
А подпоручики напьются.

Колпаков, Мотовилов, Рагимов, Иванов пели, идя по середине скверной мостовой, покачиваясь и спотыкаясь в выбоинах.

– А плоховато мы все–таки, господа, обмываем погоны, – оборвал песню Мотовилов.

– Эх, вот старший брат у меня в Павлондии<sup>1</sup> кончал. Вот где они ночью так ночью устроили офицерскую.

– Черт возьми, а у нас ведь и ночи–то офицерской не было, – отозвался Петин.

– Да, все это как–то скоропалительно случилось. Мы ждали производства через два месяца, а тут вдруг телеграмма – в подпоручики, готово дело. Э, какое у нас училище: ни традиции, ни обстановки, казарма, солдафонщина. Ах, Павлондия, Павлондия!

Мотовилов с завистью стал рассказывать, какие офицерские ночи устраивались в Павловском училище.

– Вы знаете, господа, это делается так. Сегодня, скажем, вечером начальство заседает, обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого–то выпуска юнкеров. А юнкера, завтрашние подпоручики, в эту же ночь встанут и, надев полное офицерское снаряжение на нижние белье, босиком, под звуки своего оркестра, торжественно, церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы, ничего, любили подсматривать из–за занавесок в щели приоткрытых дверей, любовались на молодцов. Когда обойдут все училище, возвращаются в роты, тут уж начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают – кровати на спинки со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксой начистят, кого в желоб умывальника шарахнут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотят. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит. Офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском, так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебеля в своих кальсонах маршируют, а там вахмистры в дамских панталончиках, со шпорами на босую ногу.

Мимо проезжали три извозчика. Офицерам надоело идти пешком.

– Стой! – крикнул Петин.

Извозчики хлестнули лошадей, хотели ускакать,

– Пиу, пиу! – взвизгнули два револьвера. Извозчики испуганно остановились.

– Сволочи, офицеров не хотят везти. – Тяжело садился в пролетку Мотовилов.

– Пошел! Через все иерусалимско–жидовские улицы, на Петрушинскую гору!

На улицах было уже совсем светло. У казармы N–ского сибирского полка стоял дневальный.

– Остановись! Стой! – закричал Мотовилов. Извозчики встали. Офицер выскочил из экипажа, подбежал к солдату:

– Ты почему это, сукин сын, честь не отдаешь? А? Не видишь, мерзавец, офицеры едут!

<sup>1</sup> В Павловском военном училище в Петрограде

Солдат дернулся всем телом назад, стукнулся от сильного тычка в зубы головой об стену.  
– Доложи своему взводному командиру, что подпоручик Мотовилов тебе в морду дал.  
Понял?  
– Так точно, понял!  
Глаза солдата горели огненной ненавистью, рука у козырька дрожала.

### 3. МОЛЕБЕН

Красные языки хищного зверя лизали Широкое. Черный дым затянул все улицы. С треском обрушивались постройки. Скот ревел, мычал, метался в пылающих дворах. Разбитые телеги среди села горели ярко, как сухая лучина. Убитые вспухли от жара, дымясь и шипя, корчились. Глаза у Васи Жаркова вылезли из орбит, выпятились сваренными, слепыми белками. Русая головка совсем почернела. От желтых босых ног Степаниды Харитоновой остались черные головни. Борода у Федотова сгорела, лицо стало круглым, как сковорода, щеки лопнули, мертвая кровь кипела в рубцах горелого мяса. Крестьяне огромной толпой со стоном и слезами топтались беспомощно за селом. Женщины и дети громко плакали.

Полковник Орлов со штабом стоял за поскотиной и смотрел на пожар. Спокойно, развалившись в седле, говорил, ни к кому не обращаясь.

– Да, иного пути нет. Верховный правитель прав, говоря, что большевизм нужно выжечь каленым железом, как язву. Адмирал прав, давая нашему атаману полномочия спалить, стереть с лица земли, в случае надобности, всю эту губернию.

Молодой гусар, с погонами вольноопределяющегося, подскакал к Орлову, подал ему небольшой клочок бумаги. Полковник пробежал донесение своего помощника:

Аллюр... Медвежье. 9 час. 30 минут пополуночи... Доношу, что Медвежье занято нами без боя. По показаниям местных жителей, красных у них нет и не было. Сторожевое охранение мною... Разведка в направлении.

Капитан Глыбин.

– Отлично! Господа, новость! Белая кобыла круто повернулась.

– Медвежье занято нами без боя. Красные удрали. Лошадь полковника засемила тонкими ногами, танцую пошла по дороге на Медвежье. Штаб отряда и эскадрон с трехцветным знаменем двинулись за командиром. Копыта четко били пыльную дорогу. Серые качающиеся столбы взметывались следом, долго клубились в воздухе. Ехавший в последних рядах Костя Жестиков оглянулся назад. Толпа крестьян молча, долгими, тяжелыми взглядами провожала всадников. Полковник нетерпеливо поднял лошадь на галоп. Пыль поднялась выше, целой тучей. Толпа исчезла, только зарево и дым пожара были видны ясно.

Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта.

– Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных.

Полковник со штабом остановился в школе. Штабные офицеры и канцелярия заняли все классы и квартиру учительниц. Учительницы запротестовали, стали просить Орлова не выселять их. Полковник нагло улыбался и возражал, шепелявя, скандируя и кривляясь:

– Скажите пжальста, они не могут спать где-нибудь в коридоре, на полу. В них, видите ли, течет три капли благородной крови. Хе, хе, хе! Хотя, впрочем, я человек добрый, если вам будет жестко...

Полковник сказал сальность.

– Не правда ли, корнет? – обратился он к адъютанту.

Адъютант вытянулся, щелкнул шпорами, почтительно улыбнулся.

– Так точно, господин полковник!

– Разговор кончен, вопрос решен, – обернулся полковник к учительницам. – Вас я выселяю, можете поместиться у сторожихи. Школу определенно закрываю. Во-первых, потому, что она нужна мне для канцелярии, квартир; во-вторых, я полагаю, что детей разной красной дряни учить грамоте не стоит. Ведь она им годится, когда они подрастут, только для того, чтобы писать прокламации, разводить антиправительственную пропаганду, это неинтересно нам. Итак, я кончил. Вон отсюда!

Учительницы пошли к дверям.

– Виноват, одну минутку, – снова обратился к ним Орлов. – С завтрашнего дня вы готовите мне обед, понятно?

– Нет, не понятно, – ответила невысокая, крепкая Ольга Ивановна.

– Обед готовить мы вам не обязаны и не будем!

– Ну, конечно, конечно, разве можно сделать что–нибудь для честного защитника родины? Разве можно сварить обед старому офицеру? Вот какому–нибудь красному негодяю, своему любовнику, вы, пожалуй бы, все сделали, не только обед, но и ужин бы состряпали, а после ужина...

Полковник снова сказал гадость. Ольга Ивановна побледнела.

– Я попрошу «благородного» полковника быть повежливее! – запальчиво бросила она ему.

Полковник расхохотался:

– Корнет, корнет, ха, ха, ха! Слышите? Эта вот учителька, эта мужичка, хамка, ха, ха, ха, учит меня вежливости, меня, дворянина, полковника, воспитанника кадетского корпуса. Ха, ха, ха! Да вы, оказывается, оригинальная штучка! Ну–ка, я вас посмотрю поближе.

Он вскочил со стула, хотел схватить учительницу за талию. Ольга Ивановна сделала шаг назад, подняла руку.

– Еще одно движение и вы получите по физиономии. Полковник покраснел, злоба мелькнула у него на лице. Но он моментально овладел собой, улыбнулся с деланной любезностью.

– Ой, ой, какие мы сердитые! Мы, оказывается, кусаемся?

И вдруг снова стал серьезным.

– Ну–с, медмуазели, или как вас там, шутки в сторону. Больше уговаривать вас я не намерен. Приказываю вам завтра же приготовить мне обед. Не приготовите – выпорю. А теперь – марш на место!

Полковник принадлежал к числу тех офицеров, которые работали в армии не за страх, а за совесть. Он был ослеплен ненавистью к красным, его жестокость не знала рамок. Он принялся искоренять большевиков со всем рвением фанатика–черносотенца.

Почти все село собралось на площади. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы оцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Звонили колокола, неслось молитвенное пение; священник набожно и истово крестился, поднимая глаза к небу, просил у бога ниспослания мира всему миру и многолетия верховному правителю. Народ пугливой толпой колыхался на площади. Предчувствие чего–то страшного и неотвратимого томило массу. Многие плакали. Полковник, опираясь на эфес кривой сабли, простоял почти весь молебен па коленях. Свита не отставала от начальства, Люди в блестящих мундирах, с золотыми и серебряными погонами, вооруженные до зубов, тщательно крестились. После молебна полковник встал на сиденье своего экипажа.

– Мужики! Разговаривать долго с вами я не буду. Говорить нам не о чем. Вы знаете хорошо, что я – верный слуга отечества, враг изменников и грабителей – большевиков. Среди вас много есть этих извергов рода человеческого, не признающих ни бога, ни правителя. С ними я и думаю сейчас же расправиться.

Лица вытянулись. Глаза резко обозначились сотнями черных больших точек на бледно–сером лице толпы. Безотчетный, смертельный страх колыхнул массу. Люди попятнулись назад. Предостерегающе щелкнули шатуны пулеметов. Пулеметчики заняли места у машин. Площадь застыла. Полковник улыбнулся, зычно бросил:

– Спасибо, молодцы–пулеметчики!

– Рады стараться, господин полковник!

– Что, боитесь, каналы? – заорал Орлов на толпу, – видно, совесть–то у вас не совсем чиста. На колени, прохвосты, все на колени, сию же минуту!

Многоликая пестрая масса женщин, детей и мужчин потемнела, с плачем и стоном опустились на колени. Платочки, шапки, фуражки закачались на минуту и остановились. Площадь снова стала мертвой, тихой.

– Шапки долой!

Головы обнажились. Сотни рук мелькнули. Легкая рябь, как на воде, наморщила разноцветные ряды медвежинцев.

– Первый эскадрон, ко мне! – скомандовал полковник.

Гусары в пешем строю змейкой проползли через толпу, выстроились в две шеренги. Винтовки метнулись в руках. Черные, круглые отверстия стволов качнулись, двумя рядами повисли перед лицом толпы.

– Сознавайтесь, кто из вас большевики? Кто из вас помогал красным? Кто сочувствует им? Толпа молчала.

– Честные люди, к вам обращаюсь: укажите негодяев, им не место среди вас.

С тяжелой одышкой человека, страдающего ожирением, прижимая рукой крест к груди, высокий, упитанный отец Кипарисов подошел к Орлову.

– Я вам, господин полковник, всех их сейчас укажу. Вот они все у меня переписаны.

Священник достал из кармана длинный лоскут бумаги. Толпа стала совсем черной, пригнулась тяжело к земле.

– Иванов, Непомнящих, Стародубцев, Белых. Этих двух первых, вот чего – расстрелять, а этих двух, вот чего – пока только можно выпороть.

Кипарисов читал долго, обстоятельно, пояснял, кого нужно расстрелять, а кого только выпороть. Толстый кривой палец в широком черном рукаве размеренно поднимался и опускался. По его указанию, гусары бросались в толпу, вырывали из нее поодиночке, по два, кучками. Площадь колыхалась, глухо стонала. Лавочник Иван Иванович Жогин протискался к полковнику.

– Господин полковник, разрешите доложить, – и, не дожидаясь ответа, боясь, что его не станут слушать, быстро заговорил:

– Батюшка забыл еще четырех большевиков указать вам.

– Кровопивец! – крикнул кто-то в толпе. Жогин обернулся.

– Ага, это ты, Бурхетьев? Знаю тебя, большевика, и твоих товарищей: Степанова, Галкина и Чернова.

Всех четверых схватили. Полковник кивнул адъютанту.

– Корнет, прошу приступить.

– Слушаюсь, господин полковник!

Бледных, с запекшимися, перекошенными губами, поставили у каменной церковной ограды. Их было сорок девять. Против них развернулся веер красных погон, круглых кокард. Черные дыры винтовок двумя рядами, покачиваясь, щупали головы и груди приговоренных.

– Господин полковник, разрешите начинать?

– Пжальста, – небрежно бросил Орлов.

– По красной рвани пальба эскадрон, эскадрон... Площадь взвизгнула, застонала. Лица стали белыми, как платочки на головах женщин.

– Подождите, подождите, корнет! – остановил полковник.

– Уж очень вы скоро. Прямо без пересадки да и на тот свет. Надо дать им время подумать. Может быть, и раскается кто? В свое оправдание еще кого не укажет ли?

Белая стена камня, белая полоса лиц, пригвожденная черными точками глаз. Неподвижно молчали. Лишь один не выдержал, старик Грушин, застонал:

– Кончайте скорее, палачи.

Лопнула белая полоса. Выпал белый камень, пришипленный двумя черными пятнами. Жена партизана Ватюкова забилась, рыдая, на земле.

– Приколоть ее, – махнул рукой адъютант. Черная, тонкая, граненая железка разорвала в горле женщины предсмертный крик.

– Мамку закололи, – завизжал в толпе ребенок.

– Не визжи, поросенок, подрастешь, и тебя приколем, – прикрикнул на него Орлов.

Площадь умерла. Людей не было. На карнизах церкви возились и ворковали голуби, чиркали воробьи. Живые были только они. Солнце остановилось. Жгло нещадно. Сотни голов наполнились расплавленным металлом. Отяжелели, распухли. В глазах прыгали огненные брызги.

– Ну–с, видимо, желающих раскаяться нет? Закоренелые негодяи все. Корнет, продолжайте.

Что-то дернуло коленопреклоненную площадь. Оборвалось что-то. Пригнулись еще. Лица были почти у земли.

– Товарищи большевики, смирна–а–а, равнение на пули, но тот свет карьером ма–а–арш! Шашка, тонко свистнув, сверкнула. Черные круглые дырки винтовок, все два ряда, желтыми огоньками загорелись, стукнули. Полоса белых камней, на стене из белого камня, рассыпалась, рухнула на землю. Расстрелянные подпрыгнули. Упали навзничь. Полковника душил смех.

– Молодец, корнет, молодец, тонный парень, тонняга, корнет. Ха, ха, ха! На тот свет карьером... Ха, ха, ха! К Владимиру тебя, к Владимиру с мечами и бантом представлю, каналью.

– Покорнейше благодарю, господин полковник!

Залп опрокинул толпу на землю. Женщины судорожно бились, рыдали. Старики, старухи молились. Мужики стонали. Молодежь сжимала кулаки, кусала губы. Орлов взглянул на площадь. Ткнул пальцем.

– Ребята, вот этой молодойде десяти порций. Погорячей, шомполами. Пусть помнит лихих гусар атамана Красильникова.

Серая пыль площади. Белые пятна. Живые, полуголые. Свист. Железные прутья. Кровавые рубцы. Кровь. Красное мясо. Колокольный звон лгал. Радости не было. У церковной ограды дергались ноги. Рука крючила пальцы. Белые камни вспотели. Красный пот глядел полосами, брызгами, каплями. Мертвых было сорок девять. Окровавленных шестьдесят. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны. Пестрая толпа с болью еле встала, зашаталась. А колокол все лгал.

#### ***4. НЕЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ***

Слезы росы еще не высохли на белых астрах, сорванных утром. Крупные капли прозрачной влаги падали с умирающих цветов на полированную крышку рояля, рассыпались сверкающей пылью. Высокая хрустальная ваза светилась льдистыми, гранеными краями. Тонкие, длинные, нежные пальцы с розовыми ногтями едва касались клавиш. Звонкие струйки звуков скатывались с черных массивных ножек, волнами расплескивались по сияющему паркету большой светлой гостиной. Мягкие кресла, диван с суровыми, прямыми спинками мореного дуба, тяжелые, темные рамы картин были неподвижны. Барановский, сдерживая дыхание, напряженно застыл на низком бархатном пуфе. Татьяна Владимировна импровизировала. Ее глаза, большие, темно–синие, мерцали вдохновением. Матовое, бледное лицо с тонким прямым носом и высоким лбом было слегка приподнято. Густые, темные волосы высокой прической запрокидывали назад всю голову. Офицер смотрел на девушку, любовался и с тоской думал, что он сегодня с ней последний раз. Завтра нужно было ехать на фронт. Последний раз. Может быть, никогда больше они не встретятся. Татьяна Владимировна встала, полузакрыв глаза, устало протянула Барановскому руки. Подпоручик вскочил с пуфа и стал медленно, осторожно прикасаясь губами, целовать тонкие, немного похолодевшие пальцы.

– Татьяна Владимировна, я не хочу уезжать от вас.

Черные, широко разрезанные глаза офицера были влажны. Пухлые, еще не оформившиеся губы сложились в кислую гримасу.

– Милый мальчик!

Взгляд девушки ласкал подпоручика теплыми, синими лучами. В соседней комнате, в столовой, гремели посудой. Накрывали к завтраку.

– Но ведь я же не могу без вас! Поймите, не могу. Я застрелюсь.

Татьяна Владимировна посмотрела на офицера пристально, серьезно,

– Иван Николаевич, не будьте ребенком. Вам уже двадцать лет. Вы должны ехать.

– Почему я должен, а не кто–нибудь другой?

– Все должны, Иван Николаевич, и вы, и другой, и третий. Если бы все остались дома, то тогда красные ведь не замедлили бы пожаловать сюда и со всеми нами расправиться.

Но почему же я именно должен, когда я так люблю вас?

Татьяна Владимировна пожала плечами, улыбнулась.

– Ребенок. Совсем ребенок!

Вошел лакей.

– Кушать подано.

В столовой за столом сидели отец Татьяны Владимировны, старик профессор, и молодой человек, худосочный, угреватый, с мутными оловянными глазами, в студенческой тужурке. Остроконечный клинышек седой бороды, лысина, пенсне профессора приподнялись.

– Здравствуйте, Иван Николаевич. А это наш знакомый, Алексей Евгеньевич Востриков, студент института восточных языков.

Барановский пожал маленькую сухую руку профессора и еле дотронулся до липкой, холодной ладони Вострикова. Профессор с Востриковым вели разговор о русской торговле и промышленности, о причинах их упадка.

– Все–таки, Алексей Евгеньевич, я не могу согласиться с вами, что в ближайшее время нам нельзя рассчитывать на полный пуск всех фабрик.

Барановский и Татьяна Владимировна сели рядом.

– Напрасно, профессор. Вы слишком оптимистически смотрите на вещи. Скажите, разве в условиях ожесточенной гражданской войны можно рассчитывать на что–нибудь серьезное в этом деле?

– Безусловно, нет! Но ведь Советская Россия скоро прекратит свое существование.

Востриков иронически улыбнулся.

– Нет, профессор, до этого еще далеко. Конечно, я уверен, что рано или поздно Совдепия падет, но пока, пока мы воюем, следовательно, нужно жить и вести хозяйство, приспосабливаясь к обстановке борьбы.

– То есть, ставя точку над і, вы, Алексей Евгеньевич, утверждаете, что торговли сейчас, в полном смысле этого слова, быть не может, будет только спекуляция. Промышленность крупная, фабричная не пойдет, будет процветать мелкое кустарничество.

– Вот именно, большего пока что мы не сможем. Я вам скажу из личного опыта, надеюсь, вы можете мне верить, как порядочному спекулянту.

Барановский с удивлением поднял глаза на Вострикова. Профессор улыбнулся.

– Не удивляйтесь, поручик, – поймал студент мысли офицера. – Я самый настоящий спекулянт. Вы смотрите – студенческая тужурка? Это для виду. Я только на бумаге студент Владивостокского института восточных языков. Правда, я кончил гимназию с золотой медалью, но учиться сейчас и некогда, и невыгодно. Я студенческие документы использую только для свободного проезда от Иркутска до Владивостока и обратно. Я даже, если хотите, из тех же соображений и, кроме того, чтобы освободиться от военной службы, выправил себе монгольский паспорт.

Барановский засмеялся. Востриков, улыбаясь, говорил:

– Вот и смейтесь, любуйтесь – перед вами монгольский подданный, студент института восточных языков, человек, которого никто не смеет побеспокоить и который преблагополучно делает оборот в два миллиона рублей в день.

Профессор счел долгом пояснить офицеру:

– Вы, Иван Николаевич, не верьте ему. Алексей Евгеньевич – человек чересчур резкий и откровенный, страдающий привычкой все немного преувеличивать. Никакой он не спекулянт, а просто великолепный коммерсант, и все.

Востриков смотрел на Барановского мутным, прицеливающимся, взвешивающим взглядом старого торгаша, тряс головой.

– Нет, поручик, я хочу сказать вам всю правду. Вы вчера только училище кончили, полны, следовательно, самого пустого мальчишеского обалдения и глупой радости. Вы сейчас все в розовом свете себе представляете. Так вот, знайте, что торговли у нас нет, крупного, порядочного товарообмена нет, есть только мелкие спекулятивные сделки, есть крупные аферы, которыми не брезгают даже министры, вот и все.

Профессор с укором качал головой.

– Вы едете на фронт, так вот знайте, что до тех нор, пока большевизм не будет сметен, стерт с лица земли, везде, вот даже здесь, в белой Сибири, будет чувствоваться его разлагающее влияние. Старые основы нравственности и законности поколеблены. Люди начинают терять границы добра и зла. Да, даже здесь, у нас, где ведется борьба за восстановление России, большевизм чувствуется.

– В этом я согласен с вами, Алексей Евгеньевич, – закивала бородка профессора.

– Кровавый, страшный призрак коммунизма, ставшие над Россией, на все бросает свои мрачные, зловещий тени. Красный ужас лишает людей рассудка. Вы правы, люди теряют границы дозволенного и неподозволенного. Мы являемся свидетелями небывалой, неслыханной духовной прострации.

Нет, вы подумайте только, поручик, какая у нас может быть сейчас торговля, товарообмен, как может наладиться хозяйственный аппарат, когда у нас что ни шаг, то верховный правитель, атаман; каждый требует у тебя: «Дай». Каждый за малейшее послушание карает, как изменника, – кого, чего, чему – неизвестно. Гм, торговля, промышленность. – Востриков желчно засмеялся. – Разве я могу получить хоть вагон товара без толкача? Никогда. Я должен ехать сам с своим грузом и толкать, проталкивать его через каждую станцию. Японцам дай, семеновцам дай. Железнодорожникам, до стрелочника включительно, дай. Не дашь, не поедешь. Тысячу рогаток поставят. А семеновцы так просто товар заберут. Каждый раз едешь и не знаешь, довезешь или нет? Разоришься или наживешь? Но когда я прорвусь через все преграды, привезу товар на место, тут уж, извините, процентик я наложу не по мирному времени. Я рискую, я и беру. Сто, двести процентов мне мало, я накладываю четыреста, восемьсот, тысячу. Я вздуваю цену до последней возможности.

– Но ведь это же не... не... хорошо, – Барановский хотел сказать нечестно, но не мог.

– Зачем вы так делаете? – наивно спросил он спекулянта.

Востриков расхохотался:

– Ну и дитятко же вы, голубчик. «Нехорошо!» Поймите, что я коммерсант со дня рождения, по натуре коммерсант. И если нельзя сейчас, как говорится, честно торговать, так будем спекулировать. Будем приспособливаться. Не сидеть же сложа руки, когда дело к тебе само лезет.

Профессор закурил сигару. Барановский сидел, беспокойно поглядывая на Татьяну Владимировну. Ему не хотелось поддерживать разговор с Востриковым, он мечтал провести последние часы перед отъездом наедине с любимой девушкой. Офицер нервно вертелся на стуле. Сыр ему казался пресным, масло горьким, кофе недостаточно крепким. Часы на стене отчетливо и гулко пробили два. Офицеру скоро нужно было уходить. Татьяна Владимировна заметила его тоскливый, беспокойный взгляд.

– Вам, Иван Николаевич, кажется, уходить скоро? Пойдемте в сад. Я хочу показать вам в последний раз наши цветы.

Подпоручик покраснел, смутился, вскочил со стула, чуть не опрокинул свой стакан. В саду Татьяна Владимировна усадила Барановского на широкий зеленый диван перед большой круглой клумбой.

– Иван Николаевич, я хочу поговорить с вами серьезно.

– Ради бога, я всегда готов вас слушать.

– Вы должны не только слушать меня, но и слушаться.

– Слушаюсь, Татьяна Владимировна, слушаюсь.

– Если вы хотите, чтобы ваша Таня была счастлива – идите на войну. Вернитесь оттуда или живым, или мертвым, но героем. Идите, если не хотите, чтобы грязные солдатские сапоги затоптали наш чудесный паркет. Если хотите, чтобы мы жили покойно, с необходимыми для всякого культурного человека удобствами, а не были бы сжаты в одну комнату, в кухню, как свиньи, уплотнены, как сельди в бочке, – идите! Если хотите, чтобы ваш кумир был одет достойным образом, в тонкие, нежные ткани, чтобы на его ножках были такие же башмачки, – идите!

Татьяна Владимировна выставила острый кончик лакированной туфельки.

– Иван Николаевич, вы человек интеллигентный, нам дорого, несомненно, все, что создано веками работы поколений, веками работы мысли лучших людей, нам дорога наша культура. Ради спасения всего этого вы должны поставить на карту свою жизнь. Торжество большевизма – это торжество отвратительного, хамского солдатского сапога. Если вы не хотите жить в коммунистическом стадище баранов, равных в своем ничтожестве и тупоумии, если вы стоите за власть немногих, по мудрых, культурных, то идите на фронт без колебаний. Помните, что там, где в жизни мечется огромное, полновластное стадо зверей, там нет свободы, там нет красоты, там вонь хлева или конюшни, баранья тупость и бестолковое топтанье на месте. Нет,

надо покончить с этим немедленно. Этот бараний топот доносится и сюда. Запах скотского навоза коммунистических стойл пробирается к нам, и люди, нахватавшись его, делают зверями, начинают думать только о крови, о сытой добыче.

Татьяна Владимировна говорила горячо. В ее голосе звучали потки гнева и глубочайшей веры в свою правоту. Барановский взял ее за руки. Девушка посмотрела ему в глаза.

– Вы любите эти руки? Вы хотите, чтобы они остались такими же нежными? Хотите, чтобы эти пальчики пахли духами, а не салом кухонных тряпок? Хотите?

Барановский молча целовал руки Татьяны Владимировны, жадно вдыхал аромат тонких духов и нежной женской кожи.

– Прощайте, Иван Николаевич, вам время идти. Девушка взяла офицера за голову, провела рукой по его щетинистой прическе, посмотрела в большие черные глаза, на пухлые губы со жгучим пушком пушка под мясистым носом, на ямочку подбородка и тихо, долгим поцелуем, прижалась к его лбу.

– Идите. Профессору я передам поклон. Барановский, опустив голову, роняя на песок дорожки крупные слезы, пошел к калитке.

– Подождите, дайте на минутку мне вашу шашку. Подпоручик остановился, с недоумением посмотрел на девушку, неловко вытащил из ножен сверкающий клинок. Татьяна Владимировна на секунду быстро прикоснулась губами к черной рукоятке.

– Видите, я поцеловала ваш меч. Не опустите его, не продайте. Я буду вашей женой, когда вы с ним вернетесь из завоеванной Москвы.

Домой в казармы, на Петрушинскую гору, Барановский шел быстро, не глядя под ноги, спотыкаясь на скверных, деревянных тротуарах. Левой рукой офицер держал дорогой теперь эфес шашки, правую прижимал к лицу и с тоской вдыхал едва уловимый, тонкий аромат молодого женского тела и духов, оставшийся от прикосновений нежных пальцев с розовыми, шлифованными ногтями.

## **5. ПОБЕДЯТ ЛЮДИ**

На другой день офицерский эшелон отправлялся на фронт. Проводить уезжающих пришли родные, знакомые. Прибыл с блестящей свитой командующий войсками округа, приехали управляющий губернией, городской голова, пришли офицеры, бывшие воспитатели окончивших училище. Проводы были торжественные. Представители власти выступали с речами. Командующий округом, пожилой генерал, говорил старые, избитые слова о долге перед родиной, о чести мундира. В заключение провозгласил «ура» за здоровье «обожаемого» вождя армии, адмирала Колчака. Офицеры, вымуштрованные за десять месяцев, собаку съевшие на ответах начальству, рявкнули дружное и громкое «ура». Оркестр заиграл гимн «Коль славен наш господь в Сионе<sup>1</sup>».

Головы обнажились. После командующего выступал управляющий губернией правый социалист–революционер Ветров. Ветров говорил долго о правах мелкого собственника – крестьянина, о правах гражданина свободной Республики, попранных «накипью социализма» – большевиками. Прилипал на защиту родины от гуннов двадцатого века, клялся, оставаясь в тылу, не покладая рук бороться с красной крамолой. Речь кончил, как и генерал, здравицей за диктатора. Офицеры, как по команде, деревянными, казенными голосами прокричали три раза «ура». Вместо городского головы, кадета Ковалева, выступил представитель городского самоуправления маленький, щупленький меньшевик Прошивкин. Он начал свой монолог торжественным заявлением о том, что меньшевики бдительно стоят на страже завоеваний революции и интересов рабочего класса, что они, меньшевики, давно бы привели пролетариат к полному освобождению, если бы не большевики, отодвигающие приход желанной свободы своими социалистическими экспериментами. Чем дольше говорил Прошивкин, тем больше вдохновлялся.

– Господа офицеры, – кричал он, – вы идете на славный подвиг! Вы идете на борьбу с комиссародержавием! Вы обнажаете свой меч против двуединой монархии Ленина и Троцкого, этих предателей рабочего класса. Выше головы, господа офицеры.

<sup>1</sup> «Коль Славен,..» при Колчаке считался национальным гимном



Сотни белых кокард, золотых и защитных погон заискрились. Офицеры улыбались откровенно насмешливо, рассматривая худенькую, тщедушную фигурку оратора.

– Да преисполнятся сердца ваши гордым сознанием того, что вы идете за правое дело, за торжество идей равенства и братства, за освобождение трудящихся от большевистской каторги. Ура!

– Ура! Ура! Ура! – послушно кричали офицеры. Погоны поблескивали на солнце. Некоторые с усталыми, скучающими лицами морщились, ворчали, что они вовсе не намерены драться за какую-то свободу.

Представитель местного купечества Кулагин начал играть напыщенными фразами.

– Доблестные защитники родины, с отеческой скорбью благословляем мы вас на тяжкий подвиг ратный. Идите, дети, и отомстите за поруганную честь святой Руси. Матери, жены и сестры ваши со слезами надежды провожают вас на последний решительный бой с подлым и коварным врагом. Они будут ждать вас обратно победителями. Знайте, дорогие дети, если не устоите вы против супостата, погибнет Россия. На поругание и разграбление интернациональным бродягам предадут большевики добро наше, родину нашу, многострадальную Русь.

Подпоручику Петину надоели речи, он вышел из строя, пробрался через густую толпу провожающих на свободный конец перрона. К нему подошла его знакомая институтка Тоня Бантикова.

– Это вам, Андрюша, от меня, – сказала она, подавая офицеру букет белых роз. – Вы такой герой, такой храбрый: едете драться с большевиками и не боитесь.

Институтка смотрела на подпоручика ясными, восхищенными глазами.

– Вы победите их? Да?

Петин улыбнулся и, пощипывая верхнюю губу, говорил, что ничего страшного в большевиках нет, что скоро их, вероятно, совсем разобьют.

– Ах, вот хорошо-то будет, – оживилась Тоня. – Тогда я не буду бояться по ночам. А то мне все снится, что большевики идут, страшные такие. Наша классная дама говорила, что они страшные. Правда, Андрюша, что они убивают даже детей и девушек?

Петин тербил голую губу, не зная, что ответить Тоне.

– Гм, гм, возможно, что и так, от них всего можно ждать.

– Ах, какой ужас! – институтка молитвенно сложила руки, подняла глаза к небу.

Кулагин кончил:

– Идите с богом, защитники наши, знайте, что мы, оставаясь здесь, ничего не пожалеем для блага родины. Заложим жен и детей, распродадим имения наши, но не сдадимся супостату. Ура!

– Ура! Ура! Ура!

Толпа всколыхнулась, зашумела. Оратор слез с табурета. Стекла вокзала были подернуты серым налетом пыли. На стенах штукатурка обвалилась. Платформа, черная, асфальтовая, лежала под ногами, закиданная клочками бумаги, окурками, ореховой шелухой. Офицеры, утомленные длинными речами, еле подняли глаза на старика профессора с длинными седыми бровями, и пенсне, с бородкой клинышком, забравшегося на табурет. Профессор взглянул на блестящую, дисциплинированную толпу офицеров, покорным, внимательным кольцом окружавшую импровизированную трибуну.

– Милые дети! – голос старика с теплой лаской и силой скользнул по сердцам.

Глаза профессора, отца Татьяны Владимировны, осветились доброй улыбкой, лохматые брови приподнялись, мелкие складочки наморщили лоб.

– Милые дети, позвольте в заключение и мне, старику, только что вырвавшемуся из большевистской нерол и, рассказать вам о тех, с кем вы едете воевать. Позвольте мне, как отцу, как деду, умудренному опытом, Предостеречь вас, поставить в известность о той огромной, страшной опасности, которая нависла сейчас не только над нашей родиной, но и над всем миром.

В голосе оратора звучала влекущая, ласковая сила. Солнце осветило пыльные окна станционного здания, засверкало на блестящих погонах, заискрилось в оживившихся глазах слушателей. Паровоз, шипя и гроыхая, поставил около перрона длинный состав.

– Дни страшного суда истории над народами Европы завершились суровым и жестоким приговором: великая европейская война закончилась полным их провалом и посрамлением. Обе воюющие стороны повторяли, что их задача – дать мир миру и сделать войну на будущее время невозможной. Мысль явно утопическая, потому что из войны ничего, кроме войны, родиться не может. Великая европейская война была с самого начала проявлением зоологического начала в человечестве, и гуманитарные мечты – только прикрасою. Теперь прикрасы облетели, а сущность осталась. И вот мы видим, что только что окончившаяся мировая война таит в себе зародыши великого множества новых войн, маленьких и больших. Народы начинают новую борьбу за раздел добычи, доставшейся после победы над Германией и ее союзниками. Но вся эта новая борьба народов ничто в сравнении с той беспощадной, междоусобной войной, которая началась в России и грозит вспыхнуть во всех странах мира. Логическое завершение войны «до победного конца» не есть всеобщий мир, а именно – это перенесение войны вовнутрь государств, в каждый город, в каждую деревню, в самый интимный мир человеческой семьи. В современных событиях перед нами разворачивается картина всеобщего массового безумия. Миром овладели зоологические страсти. Роковые противоречия всемирной культуры встали перед нами во весь свой рост. Все народы в мире боятся опасности, угрожающей от других народов, и вооружаются друг перед другом, готовятся к новым войнам. Боясь войны, готовят почву для нее. Отсюда то психологическое настроение, из которого выросли все ужасы войны междоусобной. Веками изживали христианские народы противоречие. Они исповедовали заповеди любви, но только для домашнего употребления, внутри государства, а рядом с этим в международных отношениях следовали морали каннибалов. В конце концов душа не выдерживает этих противоречий. Можно ли допускать, чтобы человек был кровожадным тигром по ту сторону границы, и в то же время требовать, чтобы он был кротким агнцем по сю сторону? Это психологически невозможно. И вот мы видим, что мировая война, разнуздавшая зверя в международных отношениях, тем самым подготовила его вторжение и в отношения внутренние. Это доказывается всеми современными переживаниями.

Офицеры стали переглядываться. Речь профессора начинала казаться им подозрительной. Но оратор поспешил рассеять их сомнения очень удобоваримыми выводами о большевизме и зверях–большевиках.

– Достаточно послушать рассказы солдат, вернувшихся с войны, чтобы понять, как и почему эти люди превратились в кровожадных большевиков. Война воспитала их в мысли, что по отношению к врагу все позволено, и послужила для них школой холодной, расчетливой жестокости: убийство стало для них делом легким и обычным. И как только массы поверили, что враг не вне, а внутри государства, весь обычный кодекс войны стал применяться к этому внутреннему врагу. Избиение «буржуев» и офицеров, грабительские реквизиции «по праву войны» стали делом повседневным. Война разнуздала зверя в человеке. Отсюда и происходит тот груз, который увлекает современные государства в бездну. Отсюда – неудержимое влечение современных народов к большевизму. Все катятся к нему, словно по наклонной плоскости, мало того, способствуют его успехам своими действиями. В итоге за последние годы все в мире делалось и делается в пользу большевиков. Как будто для них народы вооружились, для них вели мировую войну, а теперь заключают тот жестокий грабительский мир, который может быть только им полезен. Большевизм не есть что–то случайное и внешнее, это какая–то роковая болезнь, которая таится в крови народов. И мы видим, какая. В большевизме стал явным тот «образ звериный», который уже задолго до войны жил в душе народов, вынашивался всею жизнью современного государства. Тут перед нами обнажается провал мировой культуры. Веками работала она над человеческим обществом и все–таки потерпела жестокую неудачу в самом главном: человек остался все тем же хищником, каким он был в доисторическую эпоху, но при этом хищником во всеоружии средств современной техники. Взаимные отношения народов продолжают покоиться на кровавом принципе борьбы за существование. У кого сильнее челюсть, тот и прав. Человек–тигр, вот тип, который приобрел во многих странах преобладающее значение, захватил власть (вспомним Троцкого, Дзержинского). В этом и заключается торжество большевизма. Большевизм – Немзида современной культуры, обнажение таившейся в ней темной силы зла. Сознательное отречение

от духа – вот что составляет сущность большевизма и вообще современного духовного склада человеческого общества. Материализм торжествует везде. Он же привел человечество к мировой войне. В Совдепии материализм приобрел значение догмата веры. Неудивительно, что поэтому большевики не могли удержаться на точке зрения религиозной свободы, лицемерно ими проповедуемой. Подлинное отношение большевиков к религии выражается не в равнодушии, а в ненависти, в расстрелах, издевательствах и мучениях священников, ибо самое существо большевизма есть активная вражда против духа. Этой же враждой обуславливается отрицание всяких духовных связей общежития. Самые национальные отличия между людьми, по мнению большевиков, призрачны именно потому, что это отличия духовные. Реальны, существенны, с их точки зрения, только отличия материальные, экономические. Большевики на свете признают только две нации – буржуазию и пролетариат.

Профессор стал излагать сущность классово-борьбы. Офицеры стояли, как изваяния. Никто не пошевелился, не проронил слова. Горячая, содержательная речь оратора захватывала безраздельно общее внимание.

– В большевистском общежитии нравственные и правовые нормы заменяются просто-напросто массовым аппетитом.

Профессор перешел к характеристике отношений между классами в Советской России.

– Повальный грабёж и море пролитой крови, массовые казни «буржуев» и воспрещение приобретать целый ряд предметов первой необходимости тем, кто не стоит на «советской платформе». Недаром Ленин сказал, что тот, кто не полезен Советской Республике, может умирать. Невольно вспоминается апокалиптический зверь: «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их; и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет сие начертание или имя зверя, или число имени его». Есть что-то сатанинское в том оплевании человеческого достоинства, в том низведении человека до скотского уровня, которое составляет характерную черту большевизма. Выбросить за борт всякие духовные начала, построить жизнь на чисто материалистических началах, разрушить нацию, семью, церковь – вот программа наших врагов, врагов общечеловеческой мировой культуры. Царство большевиков не человеческое, а звериное. Но восторжествует ли звериное начало в человечестве? Вот вопрос, на который мы должны ответить, и мы отвечаем, что нет, нет и нет, тысячу раз нет. Большевизм возник и вырос в мировую величину на почве всеобщего падения нравов. Освобождение от него поэтому возможно только путем духовного подъема. Угасание духа было тесно связано с возрастанием материального благосостояния человеческого общества. Теперь всеобщее обнищание, разруха, голод способствуют пробуждению духовной жизни людей. Обещанный большевиками рай земной оказался звуком пустым. Обманутые массы, обобранные, разоренные, измученные террором, бросились в тоске на поиски утраченных духовных святынь. Люди массами пошли в церковь. Мы, господа, в тылу у большевиков одерживаем изо дня в день крупнейшие победы. Говорят, что никогда еще Москва не видела таких крестных ходов, как в настоящее время. Мы живем в эпоху великих мировых контрастов. С одной стороны, сам сатана сорвался с цепи. А с другой стороны, на борьбу с разнуздавшейся силой зла мобилизовались все духовные силы, какие есть в человеческой душе. В дни глубочайшей скорби и ужаса рождается в мир высшая красота духовного подвига. В церковь вновь показывается забытый миром лик Христов. Опять, как в языческом Риме, льется кровь мучеников. Сотни служителей церкви сложили и кладут свои головы на плахах большевистских чрезвычайок. В то самое время, когда большевистское общественное строение разлагается, те духовные связи, которыми раньше держалась Россия, начинают восстанавливаться. Церковь – вот где побеждается классовая рознь; для нее нет ни буржуа, ни пролетария. Там человек чувствует себя поднятым на высоту сверхклассового мира. В церкви вы увидите и рабочую блузу, и пиджак, и шляпу, и ситцевый платок – все густо перемешано. Вот где можно увидеть единый русский народ, который, казалось, погиб в особенно острые дни гражданской войны. Народное самосознание оживет в этом духовном общении всех классов, в нем русский человек снова находит утраченную родину. Теперь вопрос ставится ребром: что восторжествует в мире – человеческое или звериное? История дает нам ясный ответ. Человечество может быть спасено только через подъем в высшую надчеловеческую сферу.

Как только человеческая жизнь сдвигается с своих религиозных основ, она тотчас утрачивает все специфически человеческое и роковым образом подпадает темной власти звериного царства. Человек не есть высшее в мире существо. Он выражает собою не тот конец, куда мир стремится, а только срединную ступень мирового подъема. И вот оказывается, что на этой срединной ступени остановиться нельзя. Человек должен сочетаться или с богом, или со зверем. Он должен или пережить себя, подняться над звездами, или провалиться в пропасть, утратив свое отличие от всего, что на земле ползает и пресмыкается. На свете есть две бездны, те самые, о которых некогда говорил Достоевский, и среднего пути нет между ними. Все народы мира должны решить ясно и определенно, к которой из двух они хотят принадлежать. Перед человечеством теперь только два пути – путь звериного царства, путь смерти, куда большевизм увлекает мир, и другой путь, куда поворачивается теперь русское народное самосознание, есть путь воскресения. Когда весь мир еще находится под угрозой прихода большевистского звериного царства, наша родина выходит из него, поднимается в лучезарный мир истины, добра и человечности. Да будет благословен ваш тернистый путь, милые дети! Смело на подвиг! Победа будет за людьми! За нами!

Профессор кончил, устало поправил пенсне. Толпа стояла несколько секунд заворуженная. Целый поток аплодисментов залил перрон.

– Bravo! Bravo! – кричали офицеры.

– Гимн!

Оркестр заиграл «Коль славен». Все сняли фуражки.

Станционный сторож два раза ударил в колокол. Матери стали крестить сыновей. Поцелуи, объятия. Женщины плакали. Офицеры садились в поезд. Пестрое лицо толпы металось у длинной красной змеи эшелона, потемнев, беспокоясь. Высокий черноусый Мотовилов стал на площадку вагона, поднял руку. Толпа примолкла, обернулась к подпоручику.

– Господа, от имени всех уезжающих приношу глубокую благодарность за то внимание, какое было оказано нам сейчас. Говорить много я не буду. Нет. Я позволю себе только вспомнить здесь слова незабвенного генерала Лавра Георгиевича Корнилова, сказанные им во время революции. Вот они: «Довольно слов, господа, мы слишком много говорим. Довольно!»

Раздался третий звонок, паровоз резко свистнул, и поезд плавно двинулся вперед.

– Bravo! Bravo! Правильно! Ура! Ура! Ура! – кричали провожающие.

Мелькали фуражки, шляпы, зонтики, платочки. Тоня шла рядом с площадкой, на которой стоял Петин.

– Андрюша, когда вы убьете первого большевика, то снимите у него с фуражки красную звезду и пришлите мне на память. С германской войны Кока мне каску привез, я была очень рада. Ведь интересно иметь какую-нибудь вещь врага. Не забудете, Андрюша?

– Нет, Тонечка, не забуду. Обязательно пришлю. Поезд пошел быстрее.

– До свидания, Тонечка, до свидания, – офицер посылая смутившейся институтке воздушные поцелуи.

Через несколько секунд станция и перрон с пестрой толпой скрылись из виду. Паровоз развил скорость полного хода. Мимо, навстречу, бежали красные вагоны с запасных путей, низенькие домишки пригорода, зеленые поля.

Дорога была опасная. Красные партизаны часто пускали воинские поезда под откос, делали набеги на станции. Офицерам выдали винтовки, и они во все время пути поочередно дежурили на остановках, боясь нападений. Ехали весело, вина и закусок было много. В некоторых вагонах пьянство стояло непробудное. Сразу как-то все почувствовали, что приближается что-то страшное и огромное, перед чем ступеньваются, меркнут все мелочи дня. Поезд быстро катился на запад.

– Теперь ничего не нужно делать, не нужно думать, пей и попей, – говорил Колпаков и гибким баритоном с искорками искреннего чувства запевал:

Приюты науки опустели,  
Студенты готовы в поход.  
Так за отчизну к заветной цели  
Пусть каждый с верою идет.

Искренность Колпакова подкупала офицеров, и все они настраивались грустно, задумчиво, всем им начинало казаться, что они идут защищать действительно дорогую и близкую их сердцу отчизну от какого-то злого и страшного врага. Хор пел:

Теперь же грозный час борьбы настал, настал,  
Коварный враг на нас напал, напал.  
И каждому, кто Руси сын, кто Руси сын,  
То путь на бой с врагом один, один.

Социалист–революционер подпоручик Иванов мечтательно смотрел в даль убежавших лесов и оврагов.

– Какие хорошие слова. Приятны науки... Студенты... За отчизну... За свободную отчизну с Учредительным Собранием...

Мотовилов презрительно плюнул и поморщился:

– Учредилка. Социалисты паршивые. Свобода. Русскому народу нагайку, а не свободу нужно. Жандармов побольше да Царя-батюшку. В этом все наше спасение.

– В насилии нет спасения. Штыками не заставишь думать иначе. Самая хорошая идея кажется пустой или вредной, если ее навязывают. Пусть народ сам изберет себе образ правления. Навязывать же ему царя или совдепы – одинаково пагубно для дела возрождения России.

Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал, он вспомнил, что Мотовилов воспитанник кадетского корпуса, что кадета логикой не убедишь... Мотовилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая:

Как Россию погубить?  
У Керенского спросить.  
Офицеры подтягивали бессмысленный припев:  
Журавель, журавель, журавель,  
Журавушка молодой.

Из другого вагона несло нецензурное Алла-вер-ды, и далеко в конце поезда сильный тенор хорунжего Брызгалова звенел под звук колес:

Если б гимназистки в мишени превратились,  
Тогда бы юнкера стрелять в них научились.

Весь вагон ревел, подхватывая ухарский припев юнкерской песни:

Всегда, всегда с полночи до утра,  
С вечера до вечера и снова до утра.

Маленький, кривоногий Никитин, высоко подняв руку, дирижировал:

Эх, тумба, тумба, тумба,  
Мадрид и Лиссабон.  
Тумба, тумба, тумба,  
Сапог и граммофон.

Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстро бегущих звуков, тревожили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутились за эшеленом. Как на экране, мелькали станции. На станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем: между двух телеграфных столбов с перекладиной висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами, в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешский и румынский эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольский стек, объяснял офицерам:

– Это трех большевик. Двух повешен за ломанью рельсы, а барышня телеграфистка за то, что опоздала с передачей важной телеграмм.

Легкий ветерок играл косами телеграфистки, трепал коричневое платье, покачивал тела повешенных. Лица казненных были спокойны, только девушка в предсмертной муке нахмурила брови и сильно прикусила язык, который резким черным пятном торчал изо рта. Мотовилов был в восторге. Он смотрел сияющим взглядом то на чеха, то на висельников.

– Вот это я понимаю, молодцы чехи, пощады не дают красной сволочи.

Чех самодовольно улыбнулся.

– Ми чех, ми не руск, ми воюем честна. Руск арме плох, он бежит от красных, бежит к красным.

Мотовилов горячо возражал:

– Нет, господин капитан, вы ошибаетесь. Не вся русская армия и русские офицеры плохи. Не спорю, есть среди нас скоты – «афицера», прапорье несчастное, те, пожалуй, бегут, те главнокомандующими и у красных служат. Но есть среди нас и настоящие офицеры, они не побегут. Разве наш Красильников плох?

Чех засмеялся, стоявший рядом с ним румынский офицер щелкнул языком:

– О, Красильникоф-то карош, карош! Комендант покачивал головой.

– Мало руск карош, руск народ свинья неблагодаренный. Чех его освобождал, чех большевик прогнать, а руск отступает теперь. В России все плох. Порядок нет. Солдаты – большевики. Женщин руск развратный, з нашими чехами эшелонами ездят.

Долго чешский капитан говорил о недостатках России. Офицеры угрюмо молчали. В душе у многих поднималось горькое чувство обиды. Возражать боялись. Дежурный по станции пошел к паровозу с «путевкой». С чувством облегчения бросились подпоручики в вагоны. Колпаков мрачно смотрел в угол, ероша волосы. Потом взял бутылку водки, со злобой ударил по дну рукой, выбил пробку и налил себе огромную кружку.

Поезд тронулся.

## **6. ВСЕ ПОЙДЕМ**

В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жизнь. Партизаны спешно укрепляли Пчелино. Густой туман сырým, серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разостланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длинным, черным валом. Дозоры подозрительно щупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья.

Красное знамя, потемнев, тяжелыми складками повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины. Подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партами стеснилось собрание представителей боевых отрядов, местных крестьян и шахтеров из Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновение, наливались кровью и снова чернели. Говорил бородастый шахтер Мотыгин.

– Товарищи, ток што мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, как они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев, а им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им советская-то власть встала. Не хочется им, чтобы рабочие и крестьяне сами собой управляли, охота повластвовать, барскую свою спесь показать.

Собрание слушало. Шахтер вспыхнул, загорелся, заговорил часто и сбивчиво.

– Нет, не быть тому! Не дадимся, товарищи! Отстоим советскую власть,

– Не дадимся! Отстоим!

– Они хотят, товарищи, опять нас в окопы, опять стравить с кем-нибудь, чтобы нашими руками жар загребать.

– Не пойдем! Не желаем! Долой войну!

– Коли не желаем, товарищи, так всем надо, всем, как одному, за оружие браться.

– Все! Все пойдем! С вилами! С кулаками!

– У белых гадов оружия хватит – отыдем.

Мотыгин замолчал. В классе стало тихо. Красноватые клинья резали толпу.

– А, мож, есть промеж нас, товарищи, трусы? Мож, кому бела власть лучше кажется?

Клинья погасли. Жировик замигал тускло, с дрожью. Голова шахтера темным комом расплылась, пропала в темноте. Темнота загрохотала.

– Не дело говоришь, Мотыгин. Говори, да не завирайся! Бела власть! Широкое спалили! Дочку изнасиловали! Нас разорили! Попадью с ребенком зарубили! Жену прикололи. Все

Медвежье перепороли! Девочек всех опозорили! Ни старому, ни малому от них пощады нет! Бела власть! Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем? Жить как? Уничтожить! Уничтожить гадов! Шомполами порют. Вешают! Уничтожить всех до единого! Пощады никому не давать! Уничтожить! Уничтожить! Уничтожить! Все пойдем!

Винтовки стучали тяжелыми прикладами. Пол и парты скрипели. Стало совсем тесно. Мотыгин сел. Старик Чубуков вышел из толпы.

– Товарищи, нечего нам тут сумлеваться, есть промеж нас трусы или нет.

Шум прекратился.

– Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще, я думал, коли я никого не трогаю, так и меня никто не тронет, ан вышло совсем не то. Дочь родную... – старик затрясся, побледнел, – дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасиловали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли, потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту же ночь сестренку Машу, четырнадцатилетнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь, и старуха с нами. Дочки-то нет: замучили изверги. Теперь я говорю, что и силен Колчак, а мир сильнее его. Миром мы не одного такого уберем. Мир – сила. Мир все может. Надо только всем крестьянам пояснять как следует. Пусть слепых не будет. Пусть все узнают, что белые банды вытворяют, что они сделают с нами, коли власть свою удержат.

– Правильно! Правильно!

Чубукова сменил бывший священник из Широкого Иван Воскресенский. Он был без рясы, коротко острижен, с шомпольной одностволкой за плечами. Собрание смотрело на него, немного недоумевая. Воскресенский почувствовал это.

– Дорогие товарищи, не удивляйтесь, что ваш пастырь духовный крест сменил на ружье. Когда-то Христос, кроткий и любвеобильный, взял плеть, чтобы изгнать торгующих из храма. Я простой, грешный человек и больше терпеть не могу. Не могу я больше говорить о смирении, о всепрощающей любви.

Темнота застыла. Каплями масла на раскаленную плиту падали слова Воскресенского. Чад острой ненависти к белым застилал глаза, захватывал дыхание. Бывший священник был наружно спокоен, но говорил со сдержанным волнением и силой.

– Не могу, когда вижу, как телом и кровью Христа отцы Кипарисовы торгуют, как они его именем истязают и распинают целые села. Палачи жену мою и ребенка шашками зарубили за то, что осмелилась противиться поджогу. Да разве я могу после этого оставаться там служить молебны о даровании побед и многолетия убийцам моего ребенка и жены? Разве я могу смириться? Нет, я хочу мстить. Я думаю, что моя месть – святая месть. Моя месть пусть сольется с вашей. Я все силы свои, все знания отдам на общее дело борьбы. Мы все здесь сошлись одинаковые – у каждого есть замученные, убитые родные, близкие. Товарищи, клянусь вам, что я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов. Поклянемся все, товарищи, что мы будем мстить до конца, до победы. Терпеть больше нельзя. Если мы не положим предела бесчинствам этих вампиров, они в крови утопят всех трудящихся, загонят нас в кабалу темного рабства. Не будем рабами, не дадимся в когти новоявленным рабовладельцам!

– Не дадимся! Клянемся! Все клянемся!

Черные руки трясли винтовками, шомполами и берданами.

– Клянемся! – кое-кто поднимал пальцы, сложенные как для присяги.

– Клянемся!

Сердца слились в один огненный комок. Зубы закрипели.

– Наступать надо! Нечего дожидаться! Вперед! Бить их, гадов! Наступать! Чего ждать! Наступать! Наступать!

Председатель встал, стукнул кулаком.

– Товарищи, внимание!

Жировик стал тухнуть. Черная толпа затихла.

– Всем галдеть зря нечего. Сейчас товарищ Суровцев обскажет вам все, что нужно. Прочтет приказ Военно-Революционного районного штаба, тогда увидите, как и кому нужно действовать.

Высокий, сутуловатый Суровцев с копной густых кудрявых волос длинной темной тенью заслонила гаснущий огонек жировика.

– Товарищи, я думаю, нам нечего говорить о том, что мы согласны или не согласны воевать с белыми. Я думаю, что каждому из нас ясно и понятно, что вопрос борьбы с этими палачами есть вопрос жизни и смерти. Мы живем и будем жить постольку, поскольку ведем и будем вести борьбу. Теперь не может быть речи о какой-нибудь капитуляции, мире.

– Мир будет, когда этих гадов не будет!

– Товарищи, к порядку!

Жарков привстал со стула. Винтовки сердито стукнули.

– Борьба может закончиться только поражением одной из сторон, поражением, а следовательно, и ее полным уничтожением. И на самом деле, как я могу помириться с негодяем, изнасиловавшим мою сестру, засекшим мою мать, заколовшим мою жену, повесившим моего брата, расстрелявшим моих детей. Мира быть не может.

– Смерть гадам!

– Товарищи! – Жарков покачал головой. – Мы должны бороться, боремся и будем бороться.

– До конца! До победы! Осиновый кол им, гадам, в могилу!

– И вот районный штаб поставил своей ближайшей задачей организовать борьбу более правильно, планомерно, в больших размерах, в более широком масштабе. Силы живой, бойцов, у нас хоть отбавляй. Мы получаем подкрепления каждый день. Каждая новая расправа красильниковцев, их новый налет на какую-нибудь деревню, село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей. Сегодня перед вами выступал старик Чубуков, он будет активным борцом, он только что понял, что нейтральным в этой борьбе остаться нельзя, что нужно примкнуть либо к людям, либо к человекоподобным зверям. Нет сомнения, что скоро все крестьяне нашего уезда решат вопрос о войне точно так же, как решил его Чубуков. Итак, нам нужно позаботиться, чтобы влить в определенные формы, рамки разрастающееся восстание против золотопогонных убийц и мародеров. Нужно позаботиться, чтобы семьи бойцов, которые вынуждены следовать за нашими отрядами, были поставлены в хорошие условия, чтобы им были обеспечены и хлеб, и кров. Наконец, нужно позаботиться, чтобы и вся наша армия ни в чем не нуждалась, и в первую голову в оружии и патронах.

– Вот это дело! Правильно!

Темнота всколыхнулась. Суровцев, народный учитель-самоучка, бывший политический каторжанин, пользовался среди партизан большой популярностью и авторитетом.

– Районный штаб, товарищи, в своем последнем приказе по войскам Таежного повстанческого района предлагает в целях, только что мною указанных, следующее...

Суровцев говорил спокойно, твердо, отчеканивая каждое слово, каждую букву:

– Первое. Батальонам Мотыгина и Черепкова развернуться в полки трехбатальонного состава и именоваться: первому – 1-м Таежным полком, второму – 2-м Медвежинским; командирами остаются командиры батальонов. Отрядам Сапранкова, Силантьева и Вавилова слиться в 3-й Пчелинский полк под командой товарища Силантьева. Конные отряды Ватюкова и Кренца свести в отдельный кавалерийский дивизион. Командование возлагается на товарища Кренца. Комендантской команде штаба развернуться в запасный учебный батальон, выделив из своего состава новую комендантскую команду, команду связи и саперную команду. Командование возлагается на товарища Гагина. Из всех не имеющих оружия и небоеспособных беженцев составить рабочую дружину под начальством товарища Неизвестных.

Второе. Выделить немедленно из действующих частей всех специалистов – слесарей, токарей, механиков – и поручить им организацию мастерской для литья и точки пуль, снаряжения патронов, изготовления ручных гранат и починки оружия.

Третье. Создать при штабе агитационный отдел, на который возложить помимо устной агитации в нашей армии, среди местного населения и в рядах противника, в его тылу, издание листовок и газеты, используя для этого имеющиеся две пишущие машинки. Руководство отделом поручить товарищам Суровцеву и Воскресенскому.

Четвертое. Создать Совет Народного Хозяйства, в распоряжение которого передать все запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и перевозочные сред-



ства. На него же возлагается обязанность снабжения армии всем необходимым, вплоть до огнестрельных припасов. Ему поручается открытие полевого госпиталя и летучки и устройство и обеспечение семей бойцов и беженцев. Председателем Совета Народного Хозяйства назначается товарищ Говориков.

Жириков потух. Запахло горелым салом и копотью. Тень Суровцева пропала в темноте. Суровцев продолжал развивать планы штаба. Перед собранием развевалась картина стройной, большой, крепкой организации.

За селом дозоры наткнулись на противника. В тайге коротко вспыхнули и зашумели выстрелы.

Тра! Трах! Та! Та!

Трах! Бух! Бах! – ответили дробовики партизан.

Трах! Та! Та! Та! Та! Трах!

Партизаны замолчали, залегли, послали в село донесение... Белые дальше идти не решились, окопались, подтянули цепи почти на линию дозоров. Из школы молча, быстро лился широкий живой поток. Наскоро строились. Тревожно чернели длинные стволы шомполок, острые стрелки штыков. Беззвучно прошли по мягкому, пыльному, длинному половику, затоптали зеленый ковер, залегли за черным валом. Без выстрела, широко раскрытыми глазами искали в потемках других, неизвестных, волнующих своей близостью и молчанием.

На заре у белых за цепью гроыхнуло. Снаряд провизжал в свежем туманном воздухе и ткнулся в землю не разорвавшись. Жарков верхом на лошади стоял у крайней избы, разглядывал тонкую линию окопчиков противника. Выдвигающий механизм работал плохо, в одной половине бинокля стекла были выбиты пулей. Жарков, зажмуривая глаз, морщился. Пчелино с трех сторон густыми цепями охватывали чехи, румыны и итальянцы. Партизан смотрел в бинокль и не понимал, почему белые нарядились в широкополые мягкие шляпы. В патронные двуколки у итальянцев были впряжены ослы. Жарков засмеялся.

– Ну, на ишаках<sup>1</sup> да в шляпах в бой заехали – много не навоюют.

Подъехали Кренц и Мотыгин.

– Смотрите–ка, друзья, белые–то как принарядились. Бинокль перешел к Кренцу.

– Это итальянцы, – сказал он.

– Ага, союзнички, значит, пожаловали, – мрачно улыбнулся Мотыгин.

– Ну что ж, милости просим. Не обессудьте, господа хорошие. Чем богаты, тем и рады. Встретим, как можем.

– Вот что, Кренц, – Жарков повернулся к командиру конного дивизиона, – заехай–ка ты им в тыл да пугни как следует, посчитай шляпы у этой ишачей команды.

У белых опять гроыхнуло. Легкое облачко шрапнели, крутясь, со свистом, серым кудрявым барашком повисло над краем села.

## **7. «ПАПАНЯ ПЛЯСИТ И ДЛАЗНИТСЯ»**

Борьба разгоралась. Красные партизаны от неорганизованных, разрозненных выступлений и набегов маленькими отрядами перешли к действиям крупными боевыми соединениями, вели планомерные наступления, маневры, захватывали станции железных дорог, портили пути сообщения в глубоком тылу у врага, спускали под откос воинские поезда противника, устойчиво держали фронт, занимая подолгу целые волости, близко подходили к городам. Многочисленные, но трусливые отряды русских и иностранных белогвардейцев преследовали партизан нерешительно, в тайгу далеко заходить боялись, предпочитая срывать свою злобу на мирном населении, старались запугать всех свирепыми приказами, дикими расправами и массовыми публичными казнями беззащитных, безоружных людей.

На улицах Медвежьего был расклеен приказ атамана Красильникова:

«За последнее время в деревнях и селах губернии большевики усилили свою преступную деятельность, пытаясь подорвать в народе веру в великое будущее России, стараясь склонить население на сторону предавшей родину советской власти. Безобразные факты, чинимые большевиками, – крушение поездов, убийство лиц администрации – все это заставляет отвер-

<sup>1</sup> Ишак – осел

гнуть те общие моральные принципы, которые применимы к врагу на войне. Тюрьмы полны жожаками и семьями этих убийц. Начальникам гарнизонов вверенного мне района приказываю содержащихся в тюрьмах большевиков, разбойников и ихних родственников считать заложниками. О каждом факте, подобном вышеуказанному, доносить мне и за каждое преступление, совершенное в данном районе, расстреливать из местных заложников от 3-х до 20-ти человек. Все села и деревни, независимо от величины и количества населения, в коих будут обнаружены большевики, будут сожжены и уничтожены, имущество конфисковано. Села и деревни, в коих население само выступит против большевиков и будет их изгонять, будут не тронуты. В сожженных селах и деревнях женщины, дети и старики, неспособные носить оружие, получают правительственную помощь и приют.

Медвежинцы, проходя мимо белых лоскутков бумаги, косились со страхом, угрюмо роняли головы. В селе, кроме отряда полковника Орлова, стояли итальянцы, румыны и чехи. В итальянском штабе было два представителя французских войск – красивый, седоусый полковник и молоденький, почти мальчик, лейтенант.

В день боя под Пчелиным Орлов сидел на квартире у француза полковника. Офицеры пили кофе. Француз хвалил Сибирь, говорил, что она нравится ему своеобразной, суровой, дикой красотой, уверял, что если Франция вздумает прислать сюда свои дивизии, то он первый изъявит желание служить в одной из них, никогда не подумает о переводе на родину. Орлов, хорошо владевший французским языком, отвечал, что в Сибири действительно много своеобразной прелести, но находил ее страной некультурной, населенной темными, невежественными крестьянами, живя с которыми изо дня в день вместе можно огрубеть. Кофе было крепкое, сливки густые и свежие. Белые калачи и шаньги благоухали на столе запахом только что испеченного хлеба. Собеседники ели с аппетитом. Разговор с Сибири перешел па сибирских женщин. Француз спрашивал Орлова, правда ли, что, по рассказам русских же, в Сибири птицы без голоса и женщины без сердца. Орлов смеялся и рассказывал о своих многочисленных романтических интрижках с сибирячками, уверял, что сибирские женщины гораздо интереснее российских. Француз жадно посматривал на полное, раскрасневшееся лицо хозяйской дочери Кати, возившейся у русской печки, намекал Орлову, что сегодня дома из хозяев никого, кроме девушки, нет, что он очень этим доволен. Орлов не понимал деликатных намеков коллеги, продолжал беспечно болтать. Француз нервно дергал длинные седые усы. Глаза его, большие, черные, с пушистыми ресницами, со скукой останавливались на лопате бороды Орлова, покрываясь влажным блеском, скользили по крепкой фигуре Кати.

– Она прекрасна, эта дикарка.

Француз встал, возбужденно прошелся по комнате, круто, решительно повернулся на каблуках, остановился перед Орловым.

– Полковник, оставьте меня с ней вдвоем. Вы понимаете... Вы понимаете... Я хочу, я хочу... Это ничего, я думаю? – француз дрожал. – Ведь она же настоящая дикарка. Вы понимаете, я хочу, я хочу... Это ничего, я надеюсь. Я очень извиняюсь... Но...

Орлов вскочил со стула, угодливо заулыбался, затряс бородой:

– Пожалуйста, пожалуйста, полковник. Ради бога, не извиняйтесь. Будьте как дома.

Оба полковника щелкали шпорами, раскланивались.

– Мы, русские, на это смотрим проще, без всякой философии. Желаю успеха. До свидания. Вас никто не побеспокоит.

Орлов скрылся за дверь. Француз подошел к Кате, схватил ее за талию. Девушка сердито отшвырнула его руку.

– Ну, ты, мусью, не балуй у меня!

Глаза офицера стали совсем масляными, прищурились, рот полуоткрылся, с красной нижней губы потянулась блестящая, тонкая, вонючая нитка слюны.

– Прелестная дикарка, ты понимаешь, я хочу тебя поцеловать.

Катя подняла к самому носу француза круглый, полный кулак.

– Только сунься, старый черт, образина басурманская!

Француз обеими руками обнял девушку.

– Прелестная дикарка, я хочу... Твердый как камень кулак ткнул полковника в глаз, в губы, в ухо. В голове француза зашумело, из носа потекла кровь. Катя со злобой совала кремнистый кулак в гладкую, холеную физиономию.

Полковник Орлов шел к себе в школу. На главной улице, перед домом Кузьмы Незнамова, толпился народ. Во дворе громко плакали ребятишки, с воем рыдали женщины. Чехи вытаскивали от Незнамовых столы, стулья, шубы, сундуки, грузили на высокие зеленые фуры. Вся семья Кузьмы – жена, двое ребятишек и старуха мать, всхлипывая, дрожали на крыльце. Сам Кузьма стоял на дворе бледный, без шапки, с иссеченным в кровь лицом. Чешский офицер показывал плеткой на заржавленную берданку, найденную в подполье, и кричал:

– Сознайсь, ты есть большевик? Сознайсь, все равно повесим.

– Вот хоть сейчас убейте, не большевик я. Берданку, это точно – спрятал, но для охоты, а не для чего–нибудь такого.

Чех поднял руку, плетвь изогнулась. Кривой, кровавый рубец вспыхнул на лице Кузьмы.

– На вот тебе, сволочь.

– Хоть убейте, не большевик я.

– Сволочь!

Лицо вспухло, окровавилось. Незнамов упал на землю. Жена плакала навзрыд. Старуха тряслась, как в лихорадке, по лицу у нее текли крупные слезы. Трехлетний Петя и пятилетняя Маша смотрели широко раскрытыми глазенками. Два чеха солдата стали привязывать короткую петлю к колодезному журавлю. Десяток любопытных со страхом жались в воротах. Глаза, округленные боязнь, чернели неподвижными зрачками. Корнет Полозов и французский лейтенант спокойно наблюдали за истязанием.

Лейтенант, играя моноклем, говорил Полозову:

– Мы не разрушаем, не идем против русских народных обычаев. Ведь нагайка и виселица – это в русском духе. Конечно, во Франции это могло бы показаться устарелым, но здесь таковы нравы, таковы обычаи. С русскими нужно бороться по–русски.

Корнет любезно улыбнулся и спешил уверить лейтенанта:

– О да, вы правы, лейтенант. С большевиками, с этими дикими зверями, можно говорить только их языком.

Обессилевшего Кузьму подвели к журавлю, надели на шею петлю. Костя Жестиков, случайно бывший во дворе, подбежал к виселице.

– Стойте, господа, я провожу его на тот свет. Доброволец прыгнул на спину Незнамову, ухватился за шею. Чехи со смехом быстро подняли обоих на воздух. Кузьма высунул огромный синий язык, вытаращил глаза, лицо у него почернело, ноги задрогали, руки схватились за веревку. Жестиков, повернув к зрителям покрасневшее от напряжения лицо, кричал:

– Последний крик моды, господа, танец повешенного. Спешите видеть, господа.

Жена зашаталась, упала на колени.

– Палачи, будьте вы прокляты!

Голос женщины с отчаянием разрезал онемевший двор. Петя показывал маленькой ручонкой на страшную пару, качающуюся в воздухе, и, улыбаясь, говорил Маше:

– Папаня плясит и длазнится.

Маша смотрела серьезно и не могла понять, что делает отец и почему плачет мать.

– Всыпать ей! – крикнул офицер.

Женщину стащили с высокого крыльца, ткнули лицом в землю. Один чех сел ей на голову, двое схватили за ноги. Толстый, с широким, тупым подбородком унтер–офицер жирными белыми пальцами брезгливо поднял у женщины юбку. Два рослых солдата в новеньких гимнастерках и кепи, похожих на петушиные гребешки, с двух сторон рванули нагайками женское тело. Кровь брызнула с первых ударов. Нагайки стучали, как цепи. Голоса у Незнамовой не было. Она глухо хрипела. Ребятишки плакали. Старуха стояла, разинув рот, слезы у ней бежали непрерывно. Лейтенант подошел ближе, нагнулся немного, взглянул в монокль на окровавленный, вздрагивающий зад женщины.

– Я думаю, что если бы мы привезли сюда гильотину, то русский народ возмутился бы, подумал бы, что мы навязываем ему силой свою культуру. Национальное самолюбие было бы оскорблено этим. Но мы же ведь ничего не делаем здесь такого, что не соответствовало бы русскому духу, обычаям, нравам. Правда, корнет?

– О да, о да, действия иностранных войск безупречны.

Полозов почтительно изгибался, заискивающе смотрел в глаза лейтенанту. Черный, кудрявый пудель француза крутился под ногами, вилял хвостом, взвизгивал. Незнамова вынули из петли. Костя ткнул его шашкой в висок.

– Чтобы не раздышался, мерзавец.

Жестиков вытер шашку о брюки повешенного. С соседнего двора привели женщину с серым лицом и черными губами. Чех конвоир что-то забормотал офицеру. Офицер выслушал, махнул рукой. Женщину подвели к петле. Товарищ Жестикова, Ника Пестиков, в беленькой рубашке с красными погонами вольноопределяющегося, подошел к приговоренной.

– Теперь моя очередь кататься, – засмеялся он Косте.

Костя улынулся.

– Валяй.

Новая пара поднялась вверх. У женщины лопнули связки шейных позвонков. Она умерла мгновенно. Пестиков кричал сверху:

– Снимай, эта не пляшет. Не из веселых попалась. Зрачки десятков глаз неподвижно застыли. Лица стали каменными, их точно покрыли штукатуркой. Незнамова потеряла сознание. Ее все пороли. Кусочек запекшейся густой крови упал на белый, крахмальный обшлаг сорочки лейтенанта. Француз скривил гладко выбритую губу, длинным, заостренным ногтем стал соскабливать красное пятно. Пятно расплылось шире. Офицер запачкал палец, раздраженно дернул маленькой головой в высоком кепи, повернулся, пошел со двора, кивнул корнету.

– Трощий, Трощий, поди сюда! Поди сюда! – позвал француз свою собаку.

– Поди сюда, Трощий, скверный пес! Поди сюда, скверное животное!

Пудель вилял хвостом, прыгал на задних лапах.

– Трощий, ты не убежишь к своим в тайгу? Нет, Трощий?

Собака терлась о сапоги, визжала, мешала офицеру.

– Пойдем, пойдем!

По улице ехали зеленые фуры, нагруженные доверху крестьянским скарбом. Чехи вывозили в город конфискованное имущество большевиков и их родственников, заподозренных в большевизме. Медвежинцы молча смотрели из окон. С другого конца села навстречу чешским фурам скрипели телеги с ранеными итальянцами из-под Пчелина.

## **8. Я НАДЕЮСЬ НА ВАС**

Офицерский эшелон шел без задержек. Через несколько дней он был в Новониколаевске. Новониколаевский вокзал перенес офицеров в настоящее Царство Польское. Конфедератки, белые султаны блестящих гусар, малиновые околыши, белые орлы. Звон шпор смешивался с шипящей польской речью. Польские солдаты и офицеры держались вызывающе, чувствовали себя полновластными хозяевами.

Молодые подпоручики лихо откозыряли седоусому поляку полковнику. Полковник не ответил на приветствие.

– Скотина, – не выдержал Барановский.

Гусар, звеня шпорами, волоча кривую саблю, прошел мимо русских офицеров, внимательно оглядел их, сильно наступил Барановскому на ногу. Барановский вскипел:

– Гусар! Послушайте, гусар! – закричал он. – Что за безобразие? Чему вас учат? Вы не только не приветствуете русского офицера, но даже не трудитесь извиниться перед ним, когда наступаете ему на ногу.

Гусар остановился, обернулся к говорившему, смерил его презрительным взглядом.

– Цо? Честь? Ха, ха, ха! – круто повернулся, загремел саблей по перрону.

– Ян, Ян, чекай, – остановил он своего товарища.

Офицеры видели, как гусар насмешливыми глазами показывал на них, и до их слуха из шипящего потока фраз долетали отдельные слова.

– Руске быдло... Пся крев... Руске быдло...

Офицеры возмущались и смотрели на поляков с нескрываемой злобой. Даже довольный всем Мотовилов ругался:

– Черт знает что такое! Как держит себя эта зазнавшаяся польская шляхта. И посмотрите, как одеты они, ведь на них шикарнейшее офицерское сукно.

Поезд шел. По дороге попадались польские, чешские, румынские, итальянские, сербские, французские, английские, американские эшелоны. Офицеры ворчали.

– Наприглашали всякой рвани в Россию и думают, что хорошо сделали. А эти разные французишки только пьянствуют тут, дерут в три горла да всякое барахло сбывают нам. В тылу их сколько хочешь, а на фронте ни одного не найдешь. Герои тоже, ловкачи крестьян пороть да баб насиловать.

Приехали в Омск. В столице белой Сибири эшелон задержался. Здесь должно было произойти распределение вновь произведенных по армиям и группам. Деньги почти у всех вышли, и офицеры со скучающими лицами бродили по пыльным улицам. Подпоручиков раздражало засилье иностранной военщины в городе. Особенно много было американцев и японцев, главным образом офицеров. Японцы в мундирах цвета хаки, фуражках с красным околышем и золотой звездой вместо кокарды держались с видом снисходительных победителей. Американцы по вечерам запруживали улицы и бесцеремонно приставали с любезностями положительно ко всем женщинам, проходящим без мужчин.

Омск был переполнен русскими и иностранными войсками и беженцами. По городу носились военные автомобили под всевозможными национальными флагами. Учебные заведения были наполовину закрыты, помещения их обращены в казармы и квартиры для беженцев. В городе свободных квартир не было, а беженцы все прибывали. Беженцы ехали на лошадях, на пароходах, в поездах. Непрерывным потоком заливали они Омск и, переполнив центр города, растекались по окраинам, по окрестностям. Бежали главным образом люди имущие и все, кого связывали с белыми общие интересы, – семьи офицеров, чиновники и их семьи, духовенство, торговцы, промышленники, спекулянты, помещики и деревенские кулаки. Правительство относилось к беженцам покровительственно, но многого для них сделать, конечно, не могло, не могло даже удовлетворить всех квартирами, и люди располагались в палатках на городских площадях, бульварах, останавливались около самого Омска и жили под открытым небом. Правительственная и «независимая» черносотенная печать подняла большой шум по поводу наплыва беженцев в столицу Сибири.

– Вот, смотрите, смотрите, колеблющиеся, малoverные, – великая волна народная катится с запада.

Тысячи людей, побросав свои родные гнезда, разорившись, идут на восток, идут с женами, детьми. Что же заставляет их принять тяжкий крест скитальцев? – злорадно спрашивали газеты и, захлебываясь от радости, кричали:

– Благодетели всех трудящихся – большевики, кровавый призрак коммунизма – вот что гонит их.

– Пусть замолчат теперь писаки слева, что народные массы отошли от нас, – торжествовали публицисты его высокопревосходительства.

– Вот он, народ, измученный, ограбленный, идет за нами, идет, моля бога о даровании победы доблестной армии нашей. Она одна только сможет вернуть ему его родные пепелища.

И, впадая в пафос, поднимали глаза к небу, били себя в грудь кулаками:

– Как Моисей вывел из Египта народ свой и привел его в землю обетованную, так и ты, славный адмирал, спасешь людей этих, выведешь народ свой на путь счастья и благоденствия. Исторические дни. Совершается великий поход народа.

Заручившись благословением и одобрением печати, колчаковские администраторы чинили суд и расправу. Рабочий класс был весь целиком взят под подозрение. На рабочих смотрели как на предателей, готовых каждую минуту поднять знамя мятежа. Контрразведка купалась в крови запоротых и расстрелянных. Глухое недовольство поднималось в мощной толще рабочих масс. Рос и креп революционный дух пролетариата, и его ропот, часто открытый и грозный, тревожил покой диктатора. Офицеры, ездившие из эшелона со станции в город, нередко ловили на себе острые, ненавидящие взгляды засаленных блуз и курток...

За день до отъезда из Омска молодых офицеров принял сам Колчак. Прием состоялся во дворе особняка, занимаемого адмиралом на набережной Иртыша. К выстроившимся офицерам четкой, легкой походкой вышел сутуловатый, бритый господин в английском костюме,

с русским Георгием на груди и адмиральскими погонами. Типичный морской волк. Морщинистое, энергичное лицо, горбатый нос и угловатый, выдающийся подбородок. Офицеры застыли. Руки замерли у козырьков.

– Господа офицеры, поздравляю вас с производством, – с легким старческим пришептыванием обратился Колчак к подпоручикам.

– Надеюсь, что вы окажетесь достойными носить славный мундир русского Офицера. Вы идете на фронт. Знайте, вы идете драться за воссоздание Великой Единой России. Я, приняв тяжелое бремя власти, еще раз повторяю вам, что не пойду по пути реакции, но не пойду и по гибельной дороге партийности. Мое дело воссоздать Великую Единую Россию во главе с правитель...

Адмирал закашлялся, замахал рукой.

– ...с правительством по выбору народа. В этом огромном деле надеюсь на вашу помощь. Наша молодая армия сейчас находится в тяжелом положении, она отступает, не умея делать этого. Отступать, господа, труднее, чем наступать. Я надеюсь, что вы, пробывшие в училищах около года, поможете армии своими знаниями, которые у вас, несомненно, есть. Я надеюсь на вас, господа. Постарайтесь!

Диктатор приложил руку к козырьку, легко шагая, исчез в дверях своего дома. Золотые погоны, белые кокарды, шашки колыхнулись.

– Рады стараться, ваше высокопревосходительство! Уставшие, холодные руки с трудом опустились вниз.

Егерь с зелеными погонами стоял у чугунной ограды на часах. Ворота распахнулись, выпустили офицеров. Караульный унтер-офицер внимательно осмотрел большой замок. Егерь стоял неподвижно. Черная решетка легла от ограды на двор.

## **9. БРАТ НА БРАТА**

У–у–у–у! У–у–у–у! У–у–у–у! – глухо и раскатисто вздыхали тяжелые орудия. Офицеры на подводах ехали в штаб дивизии. Подводчик Мотовилова при каждом выстреле пугливо охал, вздыхал, крестился:

– О господи, страсти какие, как гром ровно. Сила какая, господи, господи!

Мотовилов, улыбаясь, говорил подводчику: Это наши красным морду бьют.

Подводчик близорукими, прищуренными, старческими глазами смотрел вдаль.

– Кто же ее знает, каки наши, каки чужи. По мне все наши, все мы люди, все крещены, все русски. И чего деремса, бог весть. Выдумали каких-то красных да белых и дерутся.

Мотовилов злобно смотрел на старика.

– Сибирь проклятая, им все равно, им все свои. Не видали они еще красных–то, вот и говорят так. Сволочь!

Офицер с досадой плюнул, закурил папироску. Дорога была ровная, гладкая, накатанная после недавних дождей. Черной лентой прорезала она тучные луга, пашни и поскотины. Урожай был хороший. Хлеб жиром отливал на солнце. Мотовилов смотрел на огромные сибирские поля, вспоминал знакомые деревни, так резко отличавшиеся от российских своими большими, светлыми избами, крытыми железом, и недоумевал, почему сибиряки, народ зажиточный, по своему имущественному положению и интересам близко стоящие к помещику, собственнику, так враждебно настроены против белых. Добрые сибирские лошаденки бежали ровной, быстрой рысью. Ходок, полный сена, мягко покачивал. Расслабляющая, ленивая истома овладела седоком. Мотовилов так и не мог сосредоточиться на интересовавшем его вопросе, не находил ответа. На берегу большого круглого озера показалось село.

– Вот и Щучье, – сказал подводчик.

Мотовилов молча сосал папироску. Въехали в село, встреченные дружным лаем десятка собак всех пород и возрастов, проехали две–три улицы и остановились на площади среди села, перед большим домом с красным флагом у крыльца. Офицеры недоумевающе переглянулись. Колпаков слегка побледнел.

– Что за черт! Да они нас к красным привезли?

В окно высунулась большая черная борода с проседью, лохматая голова и плечо с погоном полковника.

– Нет, господа офицеры, ошибаетесь. Не к красным, а к белым, да еще к каким.

Голова скрылась. Из окна слышался громкий, раскатистый хохот. Подпоручики облегченно вздохнули и пошли в штаб представляться. Борода оказалась принадлежащей полковнику Мочалову, начальнику дивизии. Полковник Мочалов, человек весьма веселый, встретил вновь прибывших, как старых знакомых.

– Ха, ха? ха! – хохотал он, вставая навстречу смущенным подпоручикам.

– Так к красным, говорите, попали? Ха, ха, ха!

Ах вы, колчентята, колчентята молодые! Сидели вы в тылу и ничего не знали. Не слышали вы, видно, что наша N–ская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем, дерется не за что-нибудь, а за Учредительское Собрание, за свободу, за революцию. Ха, ха, ха! – раскатывался полковник.

Лица у многих вытянулись от удивления, только один Иванов улыбался. Начальник дивизии смотрел на смущенные, недоумевающие лица офицеров и снова раскатывался взрывами смеха.

– Ха, ха, ха! Капитан, – обратился он к своему начальнику штаба, – посмотрите на этих юнцов. А? Какова заквасочка-то? Из молодых, да ранние. Едва красную тряпочку увидели, как уже и стоп, в тупик стали. Вот они какие, колчентята–то! Это не наши веселые прапорочки, керенки, это что–то такого особенного, с перчиком.

Мочалов помолчал немного, затянулся несколько раз из короткой английской трубочки, сделался серьезным.

– Ну–с, шутки в сторону, господа. Предупреждаю вас, что наша дивизия несколько отличается от других частей и своим составом и дисциплиной. Наша дивизия состоит почти исключительно из рабочих–добровольцев N–ского завода. Знаете такой на Урале? Ну–с вот, рабочие восстали против красных потому, что некоторые комиссары принялись насаждать социализм с револьвером и нагайкой в руках, а плоды земные распределяли так, что было заметно, как пухли от них комиссарские карманы. Ну, а тут еще эсеры подлили масла в огонь со моей агитацией за Учредилку, вот наши N–цы и поднялись. Итак, господа, наши добровольцы воюют за свободу, за Учредительное Собрание, поэтому в строю они держатся свободно. Дисциплину как беспрекословное подчинение единой воле начальника они признают только в бою. Вне боя они с вами, как с товарищами, как с братьями будут обращаться. Не обижайтесь на это. Зато уж будьте покойны: в бою они вас не выдадут, за шиворот к красным не потащат.

– Капитан, – снова обратился Мочалов к начальнику штаба, – всех их в первый N–ский полк.

Капитан молча наклонил голову.

В тот же день офицеры явились в полк. Солдаты встретили молодых офицеров тепло и радушно. Сразу же окружили их тесным кольцом. Начались расспросы о том, как идут дела в тылу, скоро ли придут на помощь союзники. На свои силы как будто не надеялись. Жаловались, что другие части, особенно из мобилизованных сибиряков, всегда подводят в бою, всегда приходится из-за них отступать.

– Мы деремся, деремся, наступаем, гоним красных, – говорил рыжебородый пожилой солдат, – а смотришь, сибиряки паршивые побежали у тебя на фланге, ну, приходится и нам отступать.

– Командиров у нас вот тоже мало, – начал молодой унтер–офицер. – Чего же у нас ротами фельдфебеля да ундера командуют. А что ундер может? Все уже не то, что настоящий офицер. Образованность много значит. Мы вот теперь вам рады, как братьям родным.

Бородатые, усатые, добродушные лица улыбались, утвердительно кивали головами. Рыжебородый добавил:

– Что верно, то верно. Офицера нам нужны. Потому – специальность. Скажем, как мастер на заводе али фабрике, так и офицер в бою.

Офицеры чувствовали себя легко среди тесной толпы солдат. Всем им казалось, что они с этими людьми знакомы уже давно. Мотовилов размяк. Долго и ласково смотрел он на рыжебородого, потом положил ему руку на плечо, спросил:

– А ну скажи, дядя, ты ведь женат, наверно, и детишки есть?

Рыжебородый удивленно немного приподнял брови:

– Как же, и жена, и трое ребят есть. Вместе воюем. Жена во втором разряде ездит.

– Да ну? – удивился офицер.

– Вы что, господин поручик, удивляетесь? – вмешался унтер–офицер. – У нас все почти что так на войну выехали, со всем семейством. Как в бою, так врозь, а как в резерв отойдем, так и вместе. Тут у нас и блины, и оладьи пойдут. И бельишко помогут бабы, и починят. У нас в дивизии насчет этого хорошо. У нас как одна семья все живут. Жалко только – мало уж нас старых Н-цев-то осталось.

– Ну, а из–за чего воевать–то пошли?

Лица оживились. Глаза вспыхнули гневом. Заговорили все сразу. Шумно, перебивая друг друга, стали доказывать, что не воевать с красными нельзя, что жизнь при них невозможна. Говорили горячо, бестолково. Офицеры молча слушали, улыбались. Из всего бурного потока слов они поняли ясно и определенно, что Н-цы знают, за что воюют, что воевать вместе с ними хорошо, безопасно. Разошлись Н-цы поздно вечером возбужденные, с растревоженными воспоминаниями о доме, о родном заводе, где родились и выросли, откуда пришлось уйти и куда так сильно тянуло.

Молодой, безусый пермяк Фома, вестовой подпоручика Барановского, ждал своего командира у костра. Барановский пришел веселый, оживленный.

– Ну, как живем, Фомушка? – громко крикнул он и сел к костру.

Фома встал, взял под козырек.

– Да садись, садись, чего там, – сказал офицер.

– Ничего, господин поручик, – улыбаясь, сел Фома. – Вот картошки вам сварил. Не хотите ли покушать?

Вестовой поставил перед Барановским котелок дымящегося, ароматного картофеля.

– Молодец, Фомушка. Ну давай, брат, вместе. Бери ложку!

Фома из вежливости было отказался, но потом стал усердно помогать своему командиру. Котелок быстро опустел.

– Эх, чайку бы теперь, – вслух подумал Барановский.

Фома засмеялся.

– Чай готов, господин поручик!

– Ну да ты, брат, настоящее сокровище, а не вестовой.

– Вот я и яголки к чайку набрал, – добавил Фома, подавая офицеру большую кружку костяники.

После картофеля жажда была сильная, и чай, подкисленный ягодой, казался особенно вкусным. Барановский медленно тянул из кружки горячую влагу и пристально смотрел в потухающий костер. Вестовой заметил взгляд командира, повернулся к костру, посмотрел на тухнувшие головни.

Поглядите, господин поручик, как на бой похоже.

– Что, Фомушка, на бой похоже? – не понял офицер.

– Да вот костер этот. Ночью эдак бывает. Как угольки, горят выстрелы и, как угольки, тухнут. Офицер посмотрел в глаза солдату.

– Ты доброволец, Фомушка?

– Конечно, доброволец, господин поручик.

– Почему конечно, Фомушка?

– Да как же, у нас весь завод пошел против красных. Потому они декались над нами, как звери.

– Как декались?

– Очень просто, грабеж полный производили. Скотину отбирали, хлеб, сено, ульи разбивали да мед не только лопали в три горла, а и телеги свои им смазывали. Разве это не деканье?

Фома заговорил быстро, сердито поглядывая на Барановского, как бы досадуя на то, что офицер до сей поры не знает таких простых вещей.

– Так ты из–за этого и пошел добровольцем?

– А то как же, вот и пошел. Разве можно им, разбойникам, власть давать, они со свету сживут. А брат–то у меня комиссар, – неожиданно вспомнил вестовой. – Комиссаром в Пе-



трограде служит, как узнал он, что я с белыми ушел, так домой письмо прислал, что Фома, дескать, мол, не брат мне больше, а враг нутренной.

Барановский вспомнил, что у него на Волге остался семнадцатилетний брат и мать, что брата теперь, наверное, мобилизовали, и что, возможно, он встретится с ним в бою.

– Фомушка, а ты не боишься с братом в бою встретиться?

Фома добродушно улыбнулся.

– Чего бояться, господин поручик? Какой он мне брат? Враг он, враг и есть, и не заметишь, как убьешь.

Барановский вздрогнул. В памяти всплыл образ высокого мальчика, нежного, ласкового брата Коли. «Враги?.. Нет, никогда Коля ему не будет врагом. Это немыслимо».

– Фомушка, а у меня тоже есть брат у красных.

– Ну вот, оба мы одинаковые. Значит, брат на брата, – равнодушно как-то сказал Фома и позевнул.

– Спать надо, господин поручик, – добавил он совсем уже сонным голосом.

Барановский покорно лег на приготовленную постель из сена. Фома поместился рядом. Лес тихо шумел верхушками. Солдаты давно уже спали. На дальнем конце поляны, у груды тухнувших углей, стоял дневальный. Серая шинель его, темная сзади и на плечах, спереди была облита багровым жаром. Тонкой, кровавой паутиной поблескивали штыки винтовок, составленных в козлы. Ночь была темная и холодная. Облака черными, мохнатыми клубами плыли по небу. В голове офицера роились и медленно, как тяжелые тучи, тянулись мрачные мысли. Он никак не мог помириться с тем, что нежный брат Коля – враг ему, что, может быть, завтра он с перекошенным от злобы лицом будет пускать в него пулю за пулей. Сырой холод сибирской ночи забирался Вод шинель, ледяными, влажными лапами хватался за грудь. Барановскому не спалось.

– Фома, – толкнул он вестового, – а может быть, мы завтра в бою с братьями встретимся?

Фома уже спал и долго не мог понять вопроса, мычал в ответ и сонно переспрашивал:

– А? Что? Как? – пока наконец понял и ответил спокойно: – Все может быть.

Багрово-красная полоса света показалась на востоке, когда Барановский стал тяжело забываться. Засыпая, он видел в кровавом тумане рассвета искаженное злобой лицо брата Коли, и мысль, неясная и смутная, как сумрак зари, бродила в мозгу:

«Враги. Братья – враги! Брат на брата!»

## **10. ДОЛОЙ ВОЙНУ**

Утром полк встал на позицию. Подпоручик Барановский со своей ротой был поставлен для охранения правого фланга полка в небольшом лесочке. Часов в десять утра, когда солнце было уже высоко, красные повели наступление по всему участку N-ской дивизии. Наступили медленно, нерешительно, осторожно нащупывали противника, старались обнаружить его слабые места. С их стороны работала легкая батарея, посылавшая редкие очереди шрапнели. Наступающие цепи были далеко, стреляли редко, перебегали целыми отделениями и взводами. Во время их перебежек белые усиливали огонь, и пулеметы выпускали небольшие очереди. Барановский сидел в лесу около небольшого пня и чутко прислушивался к начинавшейся музыке боя. Легкий ветерок тянул вдоль фронта, и свист пуль от этого был особенно мелодичен. Он совершенно не походил на обычный визгливый звук полета пули. Пули летели редко, и похоже было на то, что какие-то маленькие птички с нежным посвистыванием пролетают над головой. Иногда они летели поодиночке, иногда быстро проносились целыми стайками. Барановский слушал и улыбался, потом вдруг сам заметил свою улыбку и подумал: «Вот она, смерть-то, какой красивой, певучей иногда бывает. Так, пожалуй, и умрешь смеясь. Залетит эдакая певунья в висок, и крышка. Останется от жизни человека только несколько строк в очередном номере газеты, что, мол, вот подпоручик такой-то, пал в бою тогда-то, под деревней такой-то, и все».

Цепи наступающих медленно, но упорно приближались. Перестрелка усиливалась. Часто и нервно стали строчить пулеметы. Зарботала белая артиллерия. Снаряды с визгом и воем летели через головы пехоты, глухо лопались над цепями противника. Красная батарея начала нащупывать белую. Белая стала отвечать. Завязалась артиллерийская дуэль. Пехота смеялась. Солдаты, улыбаясь, говорили:

– Слава те господи, артиллерия с артиллерией сцепилась. Пускай друг другу ребра ломают, только бы нас не шевелили.

Мотовилов ходил сзади цепи своей роты и считал разрывы снарядов.

Ба–бах! Ба–бах! Ба–бах! – стреляла белая.

Мотовилов загибал четыре пальца и прислушивался. Через некоторый промежуток времени слышался характерный звук разрывов:

Пуф! Пуф! Пуф! Пуф!

Офицер разгибал все четыре пальца и, смеясь, кричал:

– Слышали, ребята, как наши–то наворачивают? Все четыре лопнули. Хороши английские подарочки. Это тебе не социалистические, по восемь часов деланные.

Мотовилов был почему–то убежден, что в Советской России все работают только восемь часов в день, он думал даже, что и красные части дежурят в первой линии не более восьми часов в сутки.

Ба–бах! Ба–бах! Ба–бах! Ба–бах! – отвечала красная.

Мотовилов настораживался.

– Ага, тоже четыре. А ну–ка, сколько лопнет?

– Пуф–виуж! Пуф–виуж! П! П! – падали снаряды красных.

– Эге, скудно, товарищи, – орал офицер, – только два. Скудно! Скудно!

– Бах! Бах! Бах! Бах! – неожиданно слева часто заговорила вторая белая, и тут же правее, позади нее, ухнуло первое орудие тяжелой мортирной.

– Б–у–у–у–х! Буль, буль, буль! – басисто булькая и визжа, пролетел шестидюймовый, глухо рывкнув, лопнул на том берегу реки, поднял облака черного дыма и пыли. Красная батарея замолчала. Н–цы кричали:

– Красным жара! Не по вкусу гостинцы–то пришлись?

Красная батарея, нащупанная противником, занимала новую позицию. Медленно, одиночными перебежками ползли вперед красные цепи. Н–цы открыли частый огонь. Пулеметы трещали без умолку. Барановский сидел у пня, смотрел в спину дремавшего перед ним стрелка. Ему казалось, что стоит он на большом городском дворе, а кругом на домах сидят кровельщики и со всей силой бьют молотками по раскаленному полуденным солнцем железу крыш.

– Трах! Грах! Грох! Грох! – гремели кровельщики. Воздух делался нестерпимо горячим, душным. Тело нервно вздрагивало. Руки покрывались липкой испариной. Во рту сохло. Сердце пугливо, неровными скачками колотилось в груди. Барановский сделал несколько глотков из фляжки. Вода была теплая, пахла болотом. Офицер поморщился. Стрелки спокойно лежали в цепи. Одни курили, повернувшись вверх животом, другие сладко дремали, положив головы на винтовки, некоторые совсем спали, некоторые вели между собою тихие беседы. Рыжебородый, пуская колечки махорки, говорил молодому отделенному:

– Вот что хошь делай, Ваня, хошь трусом меня называй, хошь как, а не могу я перед боем успокоиться. Ведь не впервой уж, кажись бы, ан нет. Сердце замирает, екает. Жена чего–то мерещится, детишки. Все думаю – убьет. Ох, боюсь, Ваня. Пожить еще охота.

Отделенный позевывал:

– Ничаво, Петрович, это только до первого выстрела, а там все забудешь.

– Что верно, то верно, парень. Как зашумит, зачертит это вокруг тебя, так все забудешь. В бою я ни о чем не думаю. Правда, правда! Вот только намердись под Зюзиным, как бежали мы в атаку, так мальчонка ихний попался на поле, доброволец, шибко раненный. Лежит он этак и жалостливо стонет. А на глазах слезы. Ох, маленько у меня сердце захолонуло. Сын ведь он мне, думаю. Ах, совсем ведь мальчонка был. Помер, наверно.

Рыжебородый тяжело вздохнул. Рота бездействовала, была укрыта от взоров противника. Смутное предчувствие близкого боя томило молодого офицера. Безотчетная тоска сжимала грудь, колола сердце. Ледящийся холодок пробегал по спине. Нервы натянулись. День был облачный, серенький, прохладный, а подпоручику казалось, что погода невыносимо жаркая и, день душный, как перед грозой. Неожиданно появился Фома с котелком горячего супа:

– Господин поручик, обедать пора. До нас еще не скоро дело дойдет, подзаправиться не мешает.

Фома стоял перед офицером с котелком и куском хлеба в руках, смотрел на него живыми узенькими глазами. Напряженность одиночества разорвалась. Спокойствие вестового моментально передалось офицеру. Плотная, крепкая фигура вестового как бы говорила офицеру, что бояться, в сущности, нечего, что жить нужно всегда и везде не унывая, что всякие страхи и печаль только причиняют лишние страдания. Барановскому стало немного стыдно, что он малодушничал, пока сидел один,

– А ну, давай, Фомушка, похлебаем супчику. Спасибо тебе, родной, за заботу твою.

Вернулось спокойствие, появился аппетит. Суп казался очень вкусным. Подъехал ординарец с приказанием от командира батальона. Офицер быстро прочел з небольшой клочок бумаги, молча кивнул головой. Солдаты в цепи беспокойно завозились. Спавшие проснулись. С тревогой смотрели на командира. Цепь угадывала, что приказание получено боевое. Толстый, белобрысый взводный первого взвода, доброволец Благодатное, судорожно позевывал. Нервно тряс головой.

– Ах ты, господи, когда это кончится? В германску три года отбрыкал и тут опять другой год. А ведь есть, которые сидят в тылу и пороха не нюхали. А–а–а бр! – взводный еще раз позевнул.

– Бррр! Ааа! Скучна!

– Сейчас наступать, видна, пойдём? – спросил Благодатнова молодой сибиряк, несколько дней только служивший в N-ском полку.

– Н–да, а–а–а, по–видимости што так. Фу ты, провалиться бы тебе, весь рот зевота разодрала!

Взводный утер рукавом заслезившиеся глаза.

– Значит, дома побываю. Наше село-то вон видать. Всего десять верст.

– Побываешь, коли красных вышибем. Стрелки стали вставать из окопчиков, мочиться. Мочилась почти вся рота. Барановский торопил:

– Скорей, скорей, ребята, оправляйтесь! Время не ждет.

Рота змейкой поползла на опушку. Позиция Барановским была выбрана удачно – наступающие попали под жестокий фланговый огонь его роты. Красные заколебались, цепи их немного смешались, малодушные побежали назад. Электрический ток пронесся по цепи белых, и вся она, без команды, движимая стихийным порывом, вскочила, заревела:

– Ура–а–а!

Красные молча поднялись и побежали. Сейчас же перед бегущими появились на лошадях командиры, комиссары. Блеснули револьверы. Цепь остановилась, повернулась к атакующим. Белые не добежали до красных шагов тридцать. Остановились. Дышали тяжело. Колючий забор штыков застыл. Бледные щеки, небритые подбородки. Холодный пот капал на гимнастерки. Глаза, удивленные и тревожные, хватали противника, прыгали, метались, ждали удара. Через минуту должно было случиться огромное, важное. Нужно было только сдвинуться с мертвой точки. Отодрать от земли прилипшие свинцовые ноги. Кинуться вперед. В горле колючим комком взяли храпящие вздохи. Барановскому казалось, что он слышит глухой стук сердца и шум крови, быстрыми струйками бегущей под кожей.

«Сердца – это машины, – думал офицер. – Вот они стучат: тук, тук, тук, тук, и кровь, как вода по трубам, послушно бежит по телу. Вот сейчас штыки вонзятся в живое мясо, – молниями метались мысли Барановского, и, как водопроводные трубы, лопнут жилы, потоками хлынет на траву горячая красная кровь».

Секунды. Молчание. Неподвижность.

– Товарищи, вперед! Ура! – рыжая лошадь комиссара бросилась, уколота шпорами.

Острый колючий забор рассыпался. Белые дрогнули, побежали. Жириновский бежал со своей ротой и удивлялся своему спокойствию. Бежал он ровно, не торопясь, как на ученьи, с поразительной ясностью видел напряженные лица солдат и офицеров. А когда мимо него, сопя, задыхаясь и путаясь в длинной шашке, пробежал сломя голову толстый капитан, командир батальона, то ему даже стало смешно. Сзади хлестало дружное «ура» красных и крики:

– Кавалерию вперед! Белые банды бегут! Кавалерию вперед!

Тысячи ног тяжело топали по полю. Красные остановились. И сейчас же воздух наполнился резким свистом и жужжанием пуль. Некоторые из бегущих стали торопливо, ничком, падать на землю. Валяясь, стонали, кричали:

– Братцы, ранило! Не оставьте! Санитар! Санитар! Раненых подбирать было некогда. Командиры вскочили на лошадей.

– Ст–о–о–ой! Ст–о–о–ой! Ст–о–ой! Нагайки. Сочно, со свистом рассыпались шлепки ударов. По лицам, по плечам. Бегущие остановились, залегли. Вспыхнула перестрелка. Стреляли, дыша жаждой уничтожения дрогнувшего врага. Отвечали, мстя за унижительное бегство. Раненые, брошенные дорогой, попали под перекрестный огонь. На них никто не обращал внимания. Они лежали среди поля, отчаянно, но тщетно моля о помощи, глухо стелая от боли. Некоторые из них пытались выползти из сферы огня, но пули быстро находили их, и они затихали, спокойно вытягивались на мягкой отаве... Другие старались спрятать хоть голову за бугорок, беспокойно шарили вокруг себя, ища закрытия, и вдруг перевертывались на спину, широко раскидывали руки, делались неподвижными. С обеих сторон заработала артиллерия. Поток расплавленного, огненного металла залил поле. Тяжело дыша, задыхаясь от напряжения и усталости, стрелки зарывались в землю. Лица запылились, стали совсем черными, пот испестрил их грязными, длинными полосами. Поле сражения стало похоже на огромный, грохочущий, огнеликий завод с тысячами черных рабочих, борющихся со жгучей массой боя, пытающихся овладеть ей, отлить ее в свою форму, выковать из нее оружие победы. С визгом и воем налетали на цепь снаряды и то рвались в воздухе, осыпая людей сотнями пуль, то зарывались в землю и лопались там, разлетаясь на мелкие осколки, сметали все на своем пути, рвали в клочья живое человеческое мясо, дробили кости. Барановский лежал сзади своей роты, крепко стиснув зубы, широко раскрыв глаза. Все тело его дрожало мелкой нервной дрожью, протестуя, крича всеми мускулами о том, что оно хочет еще жить, что ему противно это поле, где смерть гуляет так свободно.

– Виужжж! П! П! П! Виуу! – лопалась шрапнель.

– Сиу! Сиу! Сиу! Сиу! – сплошной массой летели пулеметные пули.

– Дзиу! Дзиу! Диу! Диу! – прорезали их свист отдельные винтовочные. Многоликое, мечущееся, огнедышащее чудовище носилось по цепи, скрежетало злобно зубами, свистело, визжало, гремело. С шипением, храпом и ревом набрасывалось на людей, острыми стальными когтями рвало их беззащитные тела. Одному запустило стальной коготь в грудь – человек схватился за рану, низко уронил голову, изо рта у него полилась кровавая пена; другого рвануло за бок, распоролo огромную зияющую дыру; кого–то стукнуло всем кулаком по голове, и от нее осталась сплюснутая красная масса; кому–то тяжело наступило на ноги, хрустнули кости, лопнули жилы, и кровь ручейками потекла на траву. Огромный, огненный, желтый глаз блеснул рядом с офицером, рывкнула страшная пасть, впиалась стрелку в живот железом зубов, распоролa его и, обливая подпоручика кровью, засыпая землей, бросила на него труп. Барановский поспешно столкнулся с собой убитого, отполз в сторону, посмотрел назад. По всему лугу от первой линии раненые шли, хромя, одни или поддерживаемые товарищами, лежали на носилках торопливо идущих санитаров. За ними по траве тянулись красные полосы и пятна крови, и их зеленые гимнастерки и штаны пестрели яркими кровавыми заплатами. Стоны изуродованных людей жалобными нотками вливались в шум сражения, больными, режущими аккордами звенели на туго натянутых струнах нервов. Рыча, ревя, воя, грохоча, носилось по первой линии. Иногда оно неожиданно широко размахивалось своей железной лапой, притыкало к земле раненого, ползущего далеко за цепью, или валило санитаров с носилками, обращая их в одну секунду в мертвую кучу костей и мяса. Люди с напряженными, серьезными лицами рылись в земле, стреляли, бегали, подтаскивали патроны, переползали из одного окопчика в другой. Барановскому представлялось, что все они делают какую–то огромную и важную работу, трудятся в поте лица, до изнеможения. Офицер думал, что так и должно быть, что нужно именно так работать, чтобы спасти себя от неумолимого, бездушного чудовища. Смерть не обращала внимания на копошащихся в земле людей, давила их, как муравьев, и с безумством расточителя била драгоценные хрупкие чаши, рвала живые человеческие жилы, расплескивала по полю красное вино.

Мысли стали путаться в голове молодого офицера, под крышечкой черепа десяток кузнецов стучал молотками, кроваво-серый туман застилал глаза. Минутами он не видел ни зеленого луга, на котором шел бой, ни своей роты. При каждом выстреле, разрыве снаряда его тело вздрагивало, трепетало, как струна чуткого музыкального инструмента. Добровольцы дрались со злобным упорством. Энергичный, горячий натиск красных вызвал ответный сплоченный отпор.

– Ни черта, они не собьют нас, – ворчал Благодатнов.

– Не на сибиряков напоролись. Ошибутся товарищи.

Молодому рябому Кулагину прострелило плечо. Передавая патроны и винтовку соседу по окопчику, раненый говорил:

– Ну, смотри, Пивоваров, чтобы я из лазарета прямо домой попал. Не подгадь, дружок, набей за меня морду товарищам.

Пивоваров, спеша, собирал патроны.

– Счастливым ты, в лазарет пойдешь, отдохнешь. Эх, скорее бы кончить канитель эту.

– Конечно, кончить надо. Поднажмите, и готово дело. Наступать надо.

Белая цепь раскаленной, искрящейся стальной полосой жгла волны красных. Бой длился весь день. Огонь стал затихать, сделался редким, вялым только к вечеру. Стальная полоса начала остывать, изредка вспыхивала кое-где острыми язычками огня. Остывшая, твердела еще больше. Красные, поняв, что попали на стойкую, сильную часть, перенесли свое внимание на соседнюю Сибирскую дивизию, состоящую сплошь из мобилизованной молодежи. Необстрелянные солдаты стреляли плохо, нерешительно, резко, почти не причиняя вреда наступающим. Высокий комиссар в черной кожаной куртке поднялся в цепи, стал кричать сибирякам:

– Товарищи, перестаньте стрелять, что мы друг друга бить будем? Разве мы не братья родные? Разве нам интересна эта бойня? За кого вы деретесь, товарищи? За тех, что стоят сзади вас с нагайками?

Сибиряки прекратили огонь, подняли головы, стали прислушиваться.

– Часто начинай! Часто начинай! – истерично кричал какой-то ротный командир.

Рота молчала. Офицер выхватил револьвер, начал и упор расстреливать своих стрелков. Солдат на левом фланге повернулся в сторону командира, прицелился и убил его наповал.

– Товарищи, идите к нам. Довольно крови. Тащите своих золотопогонников сюда, мы им найдем место.

Комиссар шел свободно к белым, за ним медленно подтягивалась красная цепь. Молоденький, черноусый прапорщик приложил к плечу длинный маузер и выстрелил. Вся цепь обернулась на короткий хлопок. Пуля изорвала рукав тужурки комиссара. Сибиряки, как один, вскочили, подхватили под руки офицеров, пошли навстречу красным. Молоденький прапорщик валялся вверх лицом, дрыгал ногами, гимнастерка на проколоте груди у него сразу намокла, покраснела. Началось братание. Безудержная радость закружила головы. Войны не было. Вопрос был решен легко и быстро. Врагов не было. Не было смерти. Одним порывом, одним ударом жизнь взяла верх, сотни людей вспыхнули одним желанием. Глаза горели. Огромная зеленая толпа, смеясь, обнялась, возбужденная, радостная хлынула в сторону N-цев.

– Товарищи, к нам! Довольно крови! Долой войну!

Острая, дрожащая злоба угрюмым молчанием накрыла окопы N-цев. Пулеметчики застыли у пулеметов. Новые друзья густой толпой шли к N-ам. Сухой, резкий крик команды внезапно пререзал молчание:

– Первый пулемет, огонь!

И весь полк, не дожидаясь своих командиров, по этой команде открыл яростную стрельбу пачками. Сразу затрещали все пулеметы, и свинец ручьями полился на людей, шедших к таким же людям с братским приветом мира. Испуганно шарахнулась назад толпа, люди в животном страхе побежали, давя друг друга, накальваясь на свои же штыки, падая, путаясь в кучах раненых и убитых. Огненным потоком лился свинец, и под его губительными струями покорно и беспомощно ложились десятки тел, и люди в страшных муках судорожно корчились и кричали дикими голосами. Барановский, ошеломленный расстрелом толпы солдат, шедшей с мирными предложениями, совершенно растерялся и стоял сзади своей роты, не зная, что делать. В глубине его души кто-то настойчиво твердил, что это – подлость, зверство, что так делать было нечестно, и вместе с тем кто-то другой ехидно спрашивал:

– Ну, хорошо, их не расстреляли бы? Тогда что с вами они, господа офицерики, сделали бы? А?

Офицер не находил ответа и нервно тер себе рукой лоб. Бой затих совершенно. Братавшиеся были почти все перебиты. Несколько человек попало в плен, и только небольшая кучка успела отойти в сторону своих вторых линий. Среди захваченных в плен оказался командир красной роты, отрекомендовавшийся Мотовилону бывшим царским офицером. Мотовилов с усмешкой спрашивал пленного:

– Ну и что же этим вы хотите сказать? Вы думаете, что это оправдывает вас, говорит в вашу пользу?

– Я полагаю, вы понимаете, что я не мог не служить в Красной Армии, так как был мобилизован как военный специалист, – защищался красный командир.

Мотовилов закурил папироску и, не торопясь отстегнув крышку кобуры, вынул наган.

– Если вы офицер, тем хуже для вас, вы совершили величайшую подлость, пойдя против своих же братьев-офицеров, вы своими знаниями способствовали созданию Красной Армии. Этого мы вам никогда не простим и такую сволочь будем уничтожать беспощадно.

Брови у пленного дернулись, черными изогнутыми жгутами мелькнули на лбу. Рот раскрылся. Беспомощно махнули руки. Бледное пятно лица упало на траву. В волосах загорелась кровавая звездочка. Мотовилов опустил дымящийся револьвер. Остальные пленные, раздетые донага, с дрожью жались друг к другу. Только два китайца бесстрастно смотрели куда-то выше головы офицера.

– Ты кто? – теплый ствол нагана ткнулся в желтую грудь.

– Наша, советский ходя.

– Сколько получаешь?

– Путунде. Не понимай, – китаец тряс черной щетиной жестких волос.

– Сколько офицеров расстрелял, сволочь?

– Путунде. Советский ходя, путунде!

Мотовилов широко размахнулся, ударил китайца по лицу. Быстро обернулся к другому, ткнул в зубы. Глаза китайцев снова стали бесстрастными, лица окаменели. У одного из носа капала кровь.

– Ну что, достукались, сибирячки?

Мотовилов злорадно разглядывал неудачных перебежчиков.

– Сейчас я вас расстреляю. Пленные покачнулись, побледнели.

– Я не сибиряк, господин офицер. Я давно в Красной Армии. Меня не надо расстреливать. Я хочу в плен!

Гольй человек с рыжими усами сделал шаг вперед.

– Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет. Расстреляю, и все.

– Не имеете права: я пленный.

– Взводный второго взвода!

– Я!

Пожилой унтер-офицер подошел к подпоручику.

– Покажи вот этой сволочи, какие она имеет права.

– Всех, господин поручик, сразу? – угадывая намерения командира, спросил взводный.

– Ясно, как апельсин, всех!

Семь стрелков встали против пленных. Щелкнули затворы. Стукнул короткий залп. Один китаец присел и захохотал. Его рука попала в мозги убитого товарища. Сумасшедший поднял на ладони серо-красный сгусток, вывалившийся из разбитой головы. Кровь текла у него по пальцам, капала на траву. Рядом цвели яркими красными маками расколотые черепа красноармейцев. Китаец покачивался всем туловищем вправо и влево и тихо, не опуская руки с куском мозга, хихикал:

– Хи, хи, хи! Хи, хи, хи!

– Вот гадина, еще хитрит, прячется, приседает тутока! – Взводный резким, прямым ударом приклада разбил узкий лоб под щетиной жестких, иссиня-черных волос. Помешавшийся опрокинулся навзничь, вытянулся, лицо у него залилось кровью.

## 11. СЫН НА ОТЦА

Высокий комиссар в кожаной куртке, уцелевший от пуль N-цев, сидел за столом в большой избе и допрашивал пленного офицера.

- Ваша фамилия и чин?
- Подпоручик Бритоусов.
- Вы какой дивизии?
- 4-й Уфимской стрелковой, генерала Корнилова,
- Полка?
- 15-го стрелкового Михайловского.

Комиссар обернулся к своему секретарю.

- Товарищ Климов, дайте мне именные списки 4-й дивизии.

Секретарь подал толстую тетрадь. Комиссар стал быстро перелистывать.

– 13-й Уфимский... 14-й Уфимский... 15-й Михайловский, так, есть. Командир полка полковник Егоров... Второй батальон – поручик Ситников... Третий батальон – капитан Каргашин... Вы какого батальона-то?

Офицер стоял бледный. Ноги у него незаметно тряслись мелкой, нервной дрожью, спина и плечи под английским френчем с вырванными погонами согнулись. Он был поражен осведомленностью красных.

- Я второй роты, первого...
- Ага, вот, есть, Бритоусов, говорите?
- Да.

– Совершенно верно, Бритоусов Евгений Николаевич, командир второй роты, подпоручик. Правильно.

Офицер качнулся всем телом, оперся рукой о стол, блестящим остановившимся взглядом уставился на комиссара.

– Послушайте, – губы у него пересохли, – послушайте, к чему вся эта комедия, весь этот допрос? Я давно уже приготовился, расстреливайте. Только об одном прошу, если в вас есть хоть капля сострадания к человеку, которого судьба случайно сделала вашим врагом, не мучьте ради бога. Убивайте скорее.

Комиссар засмеялся. Бритоусов из белого стал черным.

– Ну что же, смейтесь, я в ваших руках. Мучьте, истязайте, большего от вас ждать, конечно, не приходится, Наслаждайтесь муками вашей жертвы.

Комиссар перестал улыбаться.

– Подождите, что вы разнервничались, чего вы выдумываете? Я вовсе не намерен вас расстреливать.

– Наконец, это подло. Одной рукой подписывать смертный приговор человеку, а другой делать любезные жесты. Это недостойно человека.

Пленному не хватало воздуха. Молов встал, большие черные усы с опущенными концами делали его сердитым и суровым.

– Ну, прошу немного повежливее. Сначала узнайте все как следует, а потом уж брюзжите, хнычьте. Не меряйте, господин белогвардеец, всех на свой аршин. Не думайте, пожалуйста, что если вы расстреливаете всех коммунистов, то и мы делаем то же с офицерами. Вот вы теперь имеете возможность на собственной шкуре убедиться, что это не так. Вы будете отправлены в тыл. Не скрою, вас пропустят через фильтр, через чистилище – Особый Отдел, и если не будет установлено, что ваши лапки запачканы кровью, что вы принимали участие в карательных экспедициях, расстрелах, то вы получите все права гражданина Советской Республики, даже больше, вы будете приняты на службу в Красную Армию, где, если захотите, сможете отдать долг рабочим и крестьянам, искупить свою вину перед трудящимися.

Офицер не верил ни одному слову комиссара. Он овладел собой, стоял с гордым, надменным лицом.

- Вы кончили?
- Кончил, – ответил Молов и сел на стул.
- Кончайте же как следует, прикажите вашим китайцам поставить меня поскорее к стенке. Молов засмеялся.

– Ну, вы, видимо, господин хороший, не в своем уме маленько. Вижу, вас не убедишь. Сейчас я вас отправлю в штаб дивизии. Климов, скажи, чтобы нарядили двух конвоиров.

Секретарь вышел.

– Теперь последний вопрос. Скажите, что бы вы сделали со мной, если бы я вот, комиссар полка, токарь петроградский, Василий Молов, коммунист, попал к вам?

Бритоусов злобно щурил глаза.

– Сделали бы то же, что вы делаете со всеми офицерами, конечно, только звезды бы не стали вам вырезать на руках, как вы нам погоны. Гвоздей бы тоже не стали вгонять в плечи. Молов весело возразил:

– Это хорошо, если бы со мной сделали то же, что я с вами.

Конвой вошел, и офицера увели. Молов взглянул на часы и стал стелить себе постель. Спать хотелось сильно.

За селом черным стальным канатом протянулась по зеленому лугу красная цепь. В полуверсте от нее, на самом берегу Тобола, лежали полевые караулы. Густой туман стоял над рекой, сырой, колеблющейся стеной разделял врагов. У красных и у белых было темно и тихо в первой линии. Лишь далеко, в тылу, у тех и других пылали яркие костры. Части, стоящие в резерве, грелись у огня, кипятили чай. Семеро красноармейцев, полевой караул Минского полка, шепотом разговаривали, сидя в небольшой лощинке. Спирька Хлебников, шестнадцатилетний доброволец, повернувшись спиной к противнику и накрыв голову шинелью, сосал сигарку.

– Ты, черт озорной, докуришься, влепят тебе пулю в харю.

Лицо Спирьки, худое, грязное, с маленькими синими глазами, ставшими черными в потемках, покрывалось медно-красным налетом. Тонкий острый нос покраснел. Сигарка шипела подмоченным табаком.

– Ничаво. Ен не увидит. Я под шинелкой.

– Смотри, дьявол, из-за тебя всем попадет.

– Ничаво. Колчака таперь спит, ему за день-то ого-го как насыпали, сколь верст рысью прогнали.

– Похоже, не устоять Колчаку?

Длинная шинель, рваные сапоги, фуражка, смятая блином, повернулись на спину. Дым махорки дразнил весь караул. Спирька самоуверенно мотнул головой. С конца сигарки посыпались искры.

– Знамо дело, не устоять. Кишка тонка у буржуя, вот што.

– Деникин вот только здорово прет.

– Ни черта, и Деникина спихнем в Черное море чай пить.

Серая, мочальная борода устало ткнулась в колени.

– Домой бы, товарищи, скореея.

Сигарка пыхнула в бороду запахом горелой бумаги и табаку, потухла.

– Домой, мать твою за ногу. Ступай садись на крылец, встречай гостей. Придут к тебе стары господа, по головке погладят.

Спирька отхаркнулся, плюнул.

– Ты что, борода, землицу-то помещичью небось прибрал к рукам?

– Я што, мы всем миром. Без земли нельзя, пропадешь.

– Всем миром. Ну и не рыпайся, коли без земли, говоришь, пропадем. Колчак али Деникин тоже за землю и слободу воюют, только для себя, а не для нас. Ну, а нам таперя доводится самим за себя стоять, вот что.

Черные, засаленные брюки в высоких сапогах и лоснящаяся от грязи кепка завозились около Спирьки.

– Мы Колчака видали. Перво-наперво, как пожаловал он к нам, так семьсот человек прямо на месте, в мастерских, к стенке поставил. Пускай кто хочет с ним живет, милуется, а мы не согласны.

Штыки зацепились, стукнули.

– Эй, товарищи, легче с винтовками-то.

– Для чего же было революцию подымать?

– Раз уж взялись поставить свою власть, так и крышка, войой, пока из последнего буржуя душу вынешь. Борода тяжело вздохнула, потянулась:



– Шестой год, товарищи, воюю.

– Хошь шесть, хошь двадцать шесть, а войну кончить нельзя. Кончим, когда всех господ прикончим. Поторопишься, хуже будет. Опять, идолы, явятся, на шею сядут. Тут хоть за себя воюем, штобы останний раз, значит, и крышка. Больше штоб никаких воинов не было.

Борода уткнулась в землю, засопела.

– Это правильно, они завладают властью, опять с германцем али с кем грызться начнут.

– Так и знай.

– Слюни, товарищи, неча распускать. Буржуев, попов, – генералов, сухопутных адмиралов надо поскорее в бутылку загнать. Тут, товарищи, дело ясное: или они нас, или мы их – мира быть не может. Волк с овцой не уживутся.

– У меня отец с буржуями сбежал. Попадись он мне, не спущу, потому эта война на уничтожение. Кто кого.

– Врешь, Спирька, рука не подыметя на отца–то!

Спирька задорно поднял голову.

– Не подыметя, как же. Ежели он, старый черт, на старости лет добровольцем попер, так што я на него смотреть буду. С добровольцем разговор короткий: бултых, и готово.

Борода, вздрагивая, храпела. Рваный сапог из-под длинной шинели оскалил зубы. У Спирьки лицо потемнело. Засаленные брюки зябко вздрагивали. В карауле стало тихо. В глубоком тылу у белых загорелась на горизонте красная полоса, узкая и бледная, она разрасталась, делалась ярче.

Огненный шар выкатился из–за земли, разорвал на реке серую занавеску. Спирька чихнул, выполз из ложины. На другом берегу стояли во весь рост два офицера, махали белыми платками. Караул поднялся на ноги, протирая глаза и кашляя, уставился на белых. Мотовилов говорил Петину:

– Сейчас я их возьму на пушку.

Офицер громко крикнул через реку:

– Здорово, минцы!

– Здравствуй, здравствуй, погон атласный! – сипло ответила лоснящаяся кепка над смуглым треугольником помятого снам лица.

– Здравствуй, здравствуй, – передразнил Мотовилов. – Разве так по–военному отвечают? Не видите, что ли, что с вами подпоручик разговаривает?

Красные засмеялись, дружно рявкнули:

– Здравия желаем, господин поручик!

– Ну вот, это дело, видать, что минцы народ вежливый.

– Да уж минцы лицом в грязь не ударят. Го–го–го!

Мотовилов злорадно улыбнулся.

– Ну, конечно, Минский полк, 27-я дивизия, всегда против нас. Интересно, где 26–я? Сейчас попробую, не клонет ли?

– Эй, друзья, а как товарищ Гончаров<sup>1</sup> себя чувствует?

– Так он не наш.

– Знаю, что не ваш, а 26–й, да, может быть, вы недавно видели его?

– Видели, как не видать; Вчера в Ключах встретились.

– Ага, штаб 26–й вчера был в Ключах, рядом, значит, и эта обретается. Отлично, – говорил вполголоса Мотовилов.

– Ну, а что товарища Грюнштейна<sup>2</sup> давно не слышать?

– О, Грюнштейн теперь шишка большая!

– Хватит, ясно, как апельсин, 26-я и 27-я дивизии 5-й Армии. Можно донесение писать.

– Что, господа офицеры, сегодня не воюем? – спросили красные.

Петин тонким голосом крикнул:

– А что, разве вам охота подраться? Я сейчас прикажу открыть огонь.

Минцы замахали руками.

– Нет, нет, сегодня можно и отдохнуть.

<sup>1</sup> Военный комиссар 26-й дивизии

<sup>2</sup> Член Революционного Военного Совета 5-й Армии

Офицеры пошли к своим цепям. На берегу вышел из кустов белый караул. Враги стояли некоторое время молча. Широкоплечий унтер-офицер с черной бородой хлопнул рукой себя по боку.

– Спиридон, мерзавец, это ты?

Спирька сразу узнал отца.

– Я, тятя, я!

Красные и белые, с глазами, разгоревшимися от любопытства, смотрели на отца с сыном.

– Это, значит, на отца сынок руку поднял? А? Ты ведь доброволец, щенок?

– Доброволец, тятя!

– Я его дома оставил, думал, матери по хозяйству поможет, а он вон што, против отца пошел!

– Не я, тятя, супротив вас пошел, а вы супротив меня, супротив всего народу с офицерьем сбежали, в холуи к ним записались!

Отец вскипел:

– Ты поговори у меня еще, молокосос! Сию же минуту переходи сюда! Бросай винтовку!

Спирька засмеялся, потрепал себя рукой пониже живота:

– А вот этого не хошь, тятя? Хо–хо–хо!

– Го–го–го! Ловко, Спирька, отца угощаешь! – загоготали красные.

Чернобородый задыхался от гнева:

– Проклянну, Спиридон, опомнись!

– Нам на ваше проклятье начихать, тятя!

Отец высоко поднял руку:

– Не сын ты мне больше! Проклят ты, проклят во веки...

– А ведь не пальнешь в тятю–то, Спирька, чать жалко.

Кровь бросилась в лицо Спиридону. Он вспомнил, как отец всегда с базара привозил ему пряники, вспомнил, как тот мальчишкой часто таскал его на руках, учил ездить на лошади, провожал с ребятами в ночное.

– Доброволец он, за буржуев, не отец он мне. Проклял он меня. Не отец так не отец.

Спиридон для чего-то старался заранее мысленно оправдать себя. Сын быстро щелкнул затвором, стал на колени и выстрелил. Пуля сшибла у отца фуражку. Отец трясущимися руками поднял свою винтовку, ответил сыну. Красные и белые молча наблюдали за борьбой. Чернобородый совсем растерялся, стрелял не целясь, винтовка плясала у него в руках.

– Сынок, – бормотал он, досылая патрон, – сынок, хорош сынок...

Спиридон с четвертой пули распорол отцу бок. Унтер-фицер вскрикнул, комком свернулся на земле. К раненому подбежали санитары.

– Будь проклят ты, отцеубийца. Отцеубийца проклят, проклят, хрфлфрхррр...

Кровь пенилась в горле и во рту Хлебникова. Спиридон с остервенением стрелял в санитаров, поднимавших отца на носилки. Красные отняли у него винтовку.

– Стой, дьявол, из-за тебя бой еще подыметя.

Братание и разговоры шли по всей линии на участке N-ской дивизии. Белые, смеясь, кричали красным:

– Как, неприятели, переводчиков нам не нужно, и так сговоримся?

Красные гоготали, орала в ответ:

– Мать вашу не замать, отца вашего не трогать, сговоримся чать!

Толстяк Благодатнов стоял, засунув руки в карманы брюк.

– Земляки, какой губернии? – кричали в другом месте.

– Московской!

– А вы?

– Мы-то?

– Да!

– Мы Вятской!

– Так и знал, что либо Вятской, либо Пермской. Самые колчаковские губернии!

– Товарищи, айда к нам!

– Нашли дураков!

- Валите к нам!
- У вас хлеба нетука!
- Хватит! Сибирь заберем, хватит!
- Не подавитесь, товарищи!
- Ни черта, скоро на Ишим подштанники стирать вас погоним!

Молодой комиссар батальона пытался распропагандировать белых.

– Товарищи, за что вы воюете? – спрашивал он. Звук его голоса громко раскатывался по воде.

- Воюем, чтобы всех комиссаров переколотить!
- Что вам комиссары плохого сделали?
- Грабители!
- Кого они ограбили?
- Всех разорили! Житья от них нет! Война из-за них!
- Почитайте–ка вот наши книжки! – красноармеец, засучив штаны, полез в воду.
- А вы посмотрите наши!

Навстречу ему спустился с крутого берега худой татарин. Тобол в этом месте был очень мелок. Враги сошлись на несколько сажен, перекинулись свертками газет и брошюр. На реке стоял разноголосый раскатистый шум. Сотни людей кричали одновременно.

Полковник Мочалов разрешил N-цам разговаривать с красными, вполне полагаясь на них, как на добровольцев. Полковник питал некоторые надежды на разложение частей противника. Но, увидев, что толку из всего этого крика выходит мало, он приказал прекратить братание. Две батареи неожиданно рывкнули сзади, тучки шрапнели брызнули на красных свинцовым дождем.

– Что, буржуи, словом не берет, давай железом!

Красные быстро легли в окопы.

– Не пройдет номер, господа хорошие, мордочки вам набьем! Набьем белым гадам!

Белые солдаты неохотно открыли огонь из винтовок. Братание всколыхнуло у многих воспоминания о германском фронте, соблазн немедленного окончания войны был очень велик. Тобол гремел, стучал, свистел. Бой начался.

Несколько шрапнелей залетели в село. Хозяева квартиры Молова бросились прятаться в голбец<sup>1</sup>. Молов с Климовым пили чай.

Женщины заплакали, стали кричать.

– Господи, когда это кончится? Всех нас перебьют. Господи, господа, мужа в германску войну убили, теперь нас с ребятишками прикончат.

– Ничего, ничего, хозяйюшка, сидите спокойно, сюда не достанет.

Люк в подполье не был закрыт, женщина кричала оттуда:

– Ох, товарищи, всем уж эта война надоела. Неужто вам все воевать охота?

Молов и Климов улыбнулись.

– Из-за того и воюем, что война надоела. Последний раз, хозяйюшка, воюем, чтобы всякую войну уничтожить.

– Ох, не пойму я чего–то! Войну кончить хотите, а сами воюете. По–нашему, чтоб войну кончить, так замиренье надо сделать.

– Нет, хозяйюшка, с Колчаком нельзя замириться. Он не захочет.

– Кто вас тут разберет? Белы вот стояли, говорили, что вы не хотите замиренья. Комиссары, мол, не хотят.

– Белые врут, хозяйюшка, вот разобьем мы их, тогда увидишь, что мы правду говорили. Войны не будет больше.

Седой старик крестился и вздыхал в подполье:

– Дай вам бог, дай бог, ребятушки! Дай бог!

Вошел вестовой красноармеец, в зеленой гимнастерке и рыжих деревенских штанах, со звездой на рукаве и фуражке.

– Товарищ Молов, там пополнение пришло, может, говорить чего будете? Хотя все добровольцы.

<sup>1</sup> подполье

Молов заторопился со стаканом.

– Обязательно, обязательно надо побеседовать. Я сейчас. Пусть подождут на площади.

На площади, в холодке под березами, обступавшими церковь, расположилось пополнение, сплошь добровольцы: челябинские рабочие и крестьяне окрестных сел и деревень. Добровольцы не были обмундированы. Черные, промасленные кепки и куртки мешались с серыми и коричневыми кафтанами. Винтовки и подсумки были у всех.

Молов подъехал на лошади и, не слезая с седла, обратился к добровольцам с небольшой речью:

– Дорогие товарищи, я не буду утомлять вас разговором о том, за что и во имя чего мы воюем. Я думаю, это вам давно известно.

Тон был взят верный. Куртки, шляпы, кепки, кафтаны зашевелились.

– Кабы не было известно, не пошли бы! Добровольцы мы!

Концы тяжелых черных усов комиссара приподнялись, по лицу, сверкнув в глазах, пробежала улыбка.

– Я это знаю, товарищи, и приветствую вас, приветствую ваше желание скорее покончить с одним из свирепых палачей рабочего класса и крестьянства, с новым сибирским царем – Колчаком.

За селом перестрелка усиливалась.

– Товарищи, сейчас мы пойдем в бой, так знайте, что враг уже смертельно ранен. Его сопротивление – сопротивление издыхающего зверя, бьющегося в предсмертных судорогах.

Добровольцы стояли спокойно, молча слушали комиссара. Рыжий, крепкий Коммунист Молова скреб левой ногой, качал мордой, дергая поводом руку седока.

– Вот, товарищи, у меня в руках рапорт белого офицера, перехваченный нами. Некоторые места из него я прочту вам, и вы увидите, что я прав, что дела у белых из рук вон плохи.

Молов вытащил из полевой сумки клочок бумаги, стал читать:

– Наша дивизия, несомненно, больна. – Это, товарищи, пишет начальник штаба белой дивизии, капитан Колесников, – пояснил комиссар слушателям. – При текущих условиях жизни она не только не оздоровится, может угрожать полным истреблением офицерского состава. Причины, разлагающие ее, коренятся в следующем:

1) Несомненно, в рядах полков свили свои гнезда умелые работники советской власти, которые ведут за собой идейно всю маломыслящую массу. Арест и расстрел якобы главарей весьма сомнителен в том смысле, что расстреляны главари, а не просто наиболее решительные и смелые из проникнутых духом большевиков.

2) Громадный некомплект офицеров.

3) Почти полное отсутствие добровольцев.

4) Необходимость ставить по избам ведет к разложению частей.

5) Работа контрразведки не только не полезна, но даже вредна, ибо она дает солдатам знать, что за ними следят. Прапоры, поставленные во главе полковых пунктов, безграмотны в деле разведки, агентов нет, руководить некому, денег нет.

6) Егерский батальон – опора дивизии – не вооружен, не обмундирован.

7) Люди одеты оборванцами, без признаков формы.

8) Занятия носят характер нудный, утомительный. Знаменитые «беседы» никуда не годятся.

9) Литература и пресса убоги и совершенно не соответствуют ни духу солдата, ни его пониманию, ни укладу жизни. Сразу видно, что пишет барин. Нет умения поднять дух, развеселить и доказать. Жалкие номера газет приходят разрозненными, недостаточными, непонятными по стилю. Нет руководств по воспитанию духа а сейчас дух – все.

10) Порка кустанайцев в массовых размерах повела к массовым переходам на сторону красных.

11) Население совершенно не принимается в расчет, и наезды гастролеров, порющих беременных баб до выкидышей за то, что у них мужья красноармейцы, решительно ничего не добиваются, кроме озлобления и подготовки к встрече красных, а между тем в домах этого населения стоят солдаты, все видят, все слышат и думают.

– Хитер, собака, тонко чувствует. Валяй, валяй, товарищ военком, дальше. Занятно! – высокий рабочий крутил головой.

– Не мешай, слушай! – закричали на него.

Заработала красная батарея. Наблюдатель метался по колокольне, кричал в трубку телефона. Молов стал читать громче.

12) Духовенство далеко и не видно его непосредственного воздействия.

– Попы рясы, видно, подобрали, да тью–лю–лю, – не унимался рабочий.

– Да помолчи ты, черт, – сосед дернул резонера за рукав.

13) Пропаганды с нашей стороны и агитации никакой. Сводится все к отбытию номера и полному бездействию, с одной стороны, в то время, когда все пылает, горит и полно злобы и мести, с другой стороны, заливают не только части, но и весь район своей вызывающей, но понятной народом литературой.

– Дальше, товарищи, этот капитан предлагает своему начальству ряд мер к устранению всех перечисленных недостатков; вот наиболее интересные из них:

1) Для борьбы с агитацией большевиков во главе дивизионной контрразведки должен быть поставлен старый, опытный офицер-жандарм.

2) Влить в полки добровольцев, не жалеть денег на их вербовку и увеличенный по сравнению с мобилизованными оклад жалованья.

3) Сеть контрразведки должна быть не только в полках, но и во всем районе расположения частей.

4) Привлечь к шпионажу женщин и вообще местное население.

5) Немилосердное истребление главарей; после порки отправлять на фронт не следует.

6) Уничтожать деревню полностью в случае сопротивления или выступления, но не пороть. Порка – это полумера.

7) Открыть полевые суды с неумолимыми законами.

8) Конфисковать имущество красноармейцев.

– Ну и так далее, товарищи, все в том же духе. Как видите, все сводится к жандармской слежке, расстрелам, конфискации, сожжению и истреблению целых деревень и сел. Политика мудрая!

Черные усы насмешливо приподнялись.

– Нам остается только приветствовать откровенность капитана Колесникова. Чем прямолинейнее будут действовать эти господа, чем яснее они выявят свои хищные рожи, тем скорее трудящиеся, рабочие и крестьяне поймут, что не бороться с белыми нельзя, поймут, что торжество этих гадов принесет с собой все прелести каторжного, крепостного, палочного режима. Дела плохи, товарищи, у белых. Большинство рабочих и крестьян уже раскусили Колчака, поняли, что он за фрукт, и переходят на нашу сторону массами. В тылу у диктатора восстания. Тайга горит огнем партизанских фронтов и республик. Еще напор, дружное усилие, и мы опрокинем белую гадину, свалим ее в мусорную яму.

Шрапнель стала рваться над колокольней. К комиссару подъехал командир полка с адъютантом.

– Вы скоро кончите, товарищ Молов? Добровольцы беспокойно посматривали на белые облачка, клубами таявшие высоко над золотым крестом.

– Получен приказ выступить на первую линию. Молов повернулся к командиру:

– Я кончил, Николай Иванович, кончил. Можете вести полк. Сейчас я только раздаю вот им литературу.

Комиссар отстегнул от седла тюк газет и листовок.

– Вот, товарищи, берите эти штучки, они не менее важны, чем ручные гранаты. Они для всех хороши. Белых взрывают, разлагают, своих подогревают, спаивают в одно стальное. Берите, читайте, бросайте по избам, при случае пускайте в ряды белых.

Красноармейцы распахивали по карманам номера армейской газеты «Красный Стрелок», торопливо пробегали листовки с яркими, смелыми призывами к борьбе, к строительству новой жизни. Обоснованная, короткая, но горячая речь комиссара зажгла сердца добровольцев. Огненной лавой влилось пополнение в поредевшие ряды полка, внесло в них свое оживление, сразу накалило, подняло дух.

– Товарищи, вперед!

Командир полка повел полк на выстрелы. Сильные волей ощутили прилив новых сил, бодро, твердо пошли за командиром и комиссаром, ехавшими перед полком. Малодушные и уставшие резче почувствовали свое бессилие. Так огонь плавит металл и сжигает шлак и сор. Винтовки с заостренными штыками рвали воздух. Пестрый, раскаленный поток мускулов, нервов, пороха и свинца катился по узкой улице. Зелень, луга метнулись в глаза, сверкнула сияющая полоса Тобола.

– От середины в цепь!

Голос командира звучал уверенно и властно. Сомнений быть не могло. Полк послушно развернулся, длинной цепочкой опоясал луг у края деревни. Белые батареи заторопились, застучали, как кузнецы молотами. Шрапнель, визгливо злясь, закувыркалась над головами красных бойцов.

– Цепь, вперед!

Может быть, не все шли охотно в бой, может быть, даже коммунисты, но каждый чувствовал на себе тяжесть силы, огромной, давящей, толкающей вперед робкие ноги, силы всего многомиллионного коллектива, проснувшегося, поднявшегося на борьбу пролетариата, силы всех угнетенных и эксплуатируемых масс. Огромное, неумолимое поступательное движение колосса коллектива втягивало в крутящийся водоворот борьбы не только золото и драгоценные камни, но и щебень, и мусор, грозя раздавить изменников и малодушных.

Цепь железными, пылающими волнами катилась по лугу.

## ***12. ПОЧЕМУ ОНИ ЗЛЯТСЯ?***

Солнце уже садилось, когда со стороны красных показались густые цепи и несколько батарей одновременно открыли беглый огонь по белым. Красные шли уверенно, смело. Барановский не заметил, как цепь противника быстро накатила на его роту. Офицер с удивлением смотрел на наступающих. Подпоручик Барановский только вторые сутки был в первой линии и к концу дня стал плохо разбираться во всем происходящем вокруг, почти потерял способность критиковать свои действия. Рота молчала, ожидая приказаний командира. Многие солдаты с недоумением оглядывались на молодого офицера, удивлялись, почему он не приказывает стрелять. Красные наступали с сильным ружейным и пулеметным, огнем. Перебегали поодиночке. Огромная рука тянулась к окопам N-цев, упруго дрожала всеми мускулами. Цепь наступающих приближалась. Барановский стоял за цепью и смотрел то на красных, то поднимал голову вверх и наблюдал, как падали с верхушек деревьев сбитые пулями ветки и листья, сыпалась кора. Одна пуля, тонко пропев, впилась в большую сосну, совсем близко от левой щеки офицера. Подпоручику показалось, что кто-то горячо и быстродохнул ему в лицо. Он вздрогнул, перевел свой взгляд на цепь противника. Она была совсем уже близко. Офицер видел, как люди в зеленых гимнастерках, в черных рубахах и брюках навыпуск, в рыжих деревенских шляпах и фуражках со звездами на околышах заряжают винтовки, работают затворами, прицеливаются, пускают в его роту пулю за пулей.

«Стреляют. В нас стреляют, – думал Барановский, и почему-то это ему казалось очень странным. – Ведь они такие же люди. Ну вот совсем как мои солдаты», – носилось у него в голове. И он стоял, глубоко засунув руки в карманы шинели, напряженно вглядывался в лица наступающих, искал в душе ответа на мучительный вопрос, почему люди с такой злобой бьют людей. Что-то связывало волю офицера, он никак не мог отдать приказание стрелять. Взводный офицер, пожилой прапорщик, подбежал к нему.

– Господин поручик, разрешите открыть огонь. Противник совсем рядом!

Барановский точно проснулся.

– Ах, огонь, да, да, огонь, – растерянно забормотал он.

Прапорщик побежал к своему взводу, на ходу крикнул:

– Часто начинай!

Рота открыла огонь. И опять Барановскому показалось, что кровельщики заколотили молотками по крышам, а воздух стал душным и тяжелым, как на фабрике или заводе, вблизи машин, больших, стучащих, горячих, дышащих огнем.

Наступающие кузнецы стучали молотками, раздували огонь, в неудержимом порыве шли вперед.

– Ура–а–а!... Ура–а–а!.. А–а–а!

Рука загибалась, сталью мускулов охватывала, жала Н-цев. Дрожащий, звонкий голос сквозь треск выстрелов прорвался с правого фланга:

– Взводный! Обходят нас! Обходят!

Цепь сорвалась и побежала. Барановский в оцепенении стоял на месте, смотрел, как бежали на него наступающие с винтовками наперевес и с лицами, перекошенными злобой. Подпоручик опять спрашивал себя и удивлялся: «Почему они так злятся? Откуда такая злоба?»

– Коли! Коли его – офицер! – донеслось до слуха Барановского, и совсем близко от себя он увидел двух красноармейцев, с тонкими, как жала, штыками. Точно кто повернул офицера кругом, толкнул в спину, и он побежал легко и быстро, как молодой олень, совершенно не чуя под собою ног. Сзади, в вечерних сумерках, вспыхивали выстрелы, и пули жужжали близко–близко от лица, обдавая его быстрым, коротким, горячим дыханием. Барановский бежал и видел, как впереди него и слева и справа мелькали темные фигуры солдат его роты, видел, как днем, что многие из них торопливо падали на землю, дрыгали ногами, махали руками или валились как снопы и сразу застывали в мертвой неподвижности. Как сотни дятлов, налетели на лес пули и долбили деревья острыми металлическими носами, и визжали, и свистели тысячами голосов в буйном вихре уничтожения. В чаще кустов завяз раненый и кричал непрерывно тонким голосом, полным ужаса смерти:

– Братцы, не оставьте! Не оставьте!

### ***13. ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕГО***

Маленькие окна, смотревшие на задний двор, подернулись серой пылью. Высокая помойка черным грязным ящиком загораживала их наполовину. В комнате было почти темно. У печки, на лавке, плакала сгорбленная фигура. Худые, согнутые плечи дрожали под рваной рыжей шалью. Слезы мочили синюю облезлую юбку.

– Ты, Анна, зря не реви. Я тебе прямо скажу, толку не будет. Раз решено, что уйду, значит, уйду.

– Что ты, сбесился, что ли, на старости лет? Что ты делаешь с нами? Как мы жить будем?

– Посobie дадут.

– Что мне твое пособие. А как убьют, так что мне в пособии–то толку?

– Сын подрастет, кормить будет, да и советская власть не оставит, обеспечит на всю жизнь.

Русые волосы Вольнобаева, почерневшие от копоти, торчащим пучком падали ему на брови. Корявые руки с сухими пальцами нервно сжимали колени.

– Пойми ты, не могу я не идти. На собрании первый орал, что все пойдем, а теперь вдруг в кусты спрячусь. Никогда!

Женщина всхлипывала, утиралась кончиками головного платка.

– Всю германскую войну с мальчишкой одна-одинешенька мучилась, еле дождалась тебя, каменного. И теперь вот опять, – голова женщины бессильно тряслась, – носу не успел показать домой, бежишь. Подумай ты, бесчувственный, зачем пойдешь? Кто тебя тянет? Ну, в германскую мобилизовался, ничего не сделаешь. А тут что? Ведь никто не тащит. Сам лезешь.

– Замолчи, дура, ни черта ты не понимаешь!

– Папа, не ходи на войну.

Митя подошел к отцу, опустил головку. Большие глаза ребенка блестели слезами. Рабочий прижал к себе сына, обожженной, грубой рукой стал ласкать. Мать плакала. В вечерних сумерках комната совсем утонула. Окна двумя тусклыми квадратами прорезали черную стену.

– Нельзя, сынок, не иди. Все, кто может, должны идти.

– Папа, не ходи, тебя убьют.

– Может быть, и не убьют, сынок, а идти нужно. Ты, может быть, не поймешь меня, но я скажу тебе, родной, что мы, рабочие, должны идти, чтобы в будущем, по крайней мере хоть детям нашим, вам вот, жилось лучше. Ну посмотри, сынок, как жили мы до сих пор. Всегда впроголодь, день и ночь на работе. Квартира – вот подвал этот. Захвораешь, как собаку выгонят, рассчитают. Теперь счастье улыбнулось нам. Мы захватили власть, и мы должны ее удержать и укрепить.

Жесткая рука Вольнобаева задевала за мягкие волосы Мити.

– Мы, сынок, зла никому не желаем. Мы и воюем–то только потому, что господа заводчики и фабриканты не захотели помириться со своим новым положением разоренных богачей. Мы хотим, Митя, так жизнь устроить, чтобы все были довольны, все были богаты, у всех было всего вдоволь. Мы хотим, чтобы все жили в больших, светлых, просторных комнатах, домах, чтобы люди работали не восемнадцать часов в сутки, чтобы они свое свободное время могли бы провести по–человечески. – Жена стала всхлипывать совсем тихо. Митя слушал отца, не отрываясь, смотрел в маленькое пыльное окно.

– Если мы разобьем всех наших врагов, то я смогу быть спокойным, сынок, за твою судьбу. Я буду знать тогда, что ты не станешь надрываться на фабрике с утра до ночи. Нет. Ты пойдешь учиться. Двери школы будут для тебя открыты.

Мальчик забыл, для чего он подошел к отцу, его детское воображение было возбуждено мечтами взрослого человека.

– Папа, у меня будет много книг? И с картинками?

– Много, сынок, много, всяких, и с картинками, и без картинок.

– Ах, это очень интересно.

– Да, да, сынок, еще немного, и мы будем хозяевами жизни. Мы пойдем, мы, старики, пойдем умрем, чтобы вам только, детки, жилось хорошо.

Вольнобаев вздохнул. Мать заплакала громко. Митя надул губки.

– Зачем ты, папа, хочешь умирать? Не надо.

– Да я и не хочу, сынок, я так это, к слову пришлось.

– Я с Митей на рельсы лягу. Коли поедешь, так через нас переедешь.

Вольнобаев встал, тяжело ступая, подошел к жене.

– Анна, не дури, много терпела, немного–то уж подожди. Вернись, не пожалеешь, что съездил. Перестань реветь сию же минуту. Надо собрать кое-что в дорогу.

Утром рано пришли несколько товарищей Вольнобаева, записавшихся вместе с ним добровольцами на фронт. В комнате стало шумно и тесно.

– Ну што, Вольнобаиха, реवेशь, поди? – спрашивал низкий, широкоплечий Трубин.

– Хорошо тебе, лешему, зубы-то скалить, коли у тебя ни кола ни двора, ни жены – никого нет.

– Може, у меня тоже кто есть, да што?

– Ничего, нечего лясы–то точить. Людям слезы, а ему смех.

– Очень даже это глупо с вашей стороны, товарищ Вольнобаева, плакать. Другая бы на вашем месте радовалась, что муж у нее такой герой.

Трубин ударил по плечу Вольнобаева, завязывавшего дорожный мешок:

– Эх, Степа, не понимают нас бабы. Нет у них этого кругозора, широты–то нет. Дальше своей юбки ничего не видят. Эх–хе–хе!

– Да, далеко еще до того времени, когда нас все поймут!

Степан с усилием стягивал веревки.

– А понять должны ведь, Степа. Когда-нибудь поймут, оценят. Не все же на нас будут плевать да дураками крестить. Правда, Степан?

Рыжий Мельников бурчал в угол:

– Нечего спрашивать, и так ясно. В настоящем мы боремся, нас многие не понимают, даже вот жены и те, но будущее наше. – Кудрявый Клочков сел на лавку.

– Стоит ли, товарищи, говорить о том, понимают нас или нет. Пусть кто как хочет, так и смотрит на нас. Мы свое дело знаем и доведем его до конца.

– Да.

– Непременно.

– Или умрем, или победим.

– Нет, мы победим. Мы будем жить. Мы будем счастливы. Мы боремся за лучшее будущее.

Вольнобаев кончил сборы, разогнул спину, потянулся.

– Два мира, товарищи, сошлись в смертельной схватке. Сомнений нет: победит новый. Мы, мы, товарищи.



Рабочий подошел к сыну, еще не встававшему с постели:

– Ну, прощай, сынок. Будь здоров, жди отца. Приеду, вернусь – заживем с тобой на славу. Ты в школу будешь ходить по утрам, я на работу, а вечером читать вместе будем, в театр пойдем, в клуб. Идет?

– А книг привезешь, папа?

– О сынок, книг будет много, каких только хочешь.

– Я хочу, папа, учиться паровозы делать.

– Хорошо, сынок, приеду – всему научимся. Все будем делать. Делать нам много надо, родной. Мир весь, жизнь всю заново построить. Ну, прощай, подрастешь, все поймешь.

Вольнобаев поцеловал мальчика в губы. Рабочие стали выходить из комнаты, затопали по лестнице.

– Прощай, Анна! Провожать не ходи, лишние слезы.

Анна прижалась к мужу:

– Степа, отпиши поскорее, пропиши, где будешь, да на побывку приезжай.

Женщина говорила слабым, упавшим голосом, она примирилась за ночь с неизбежностью разлуки, будущими днями томительной неизвестности за судьбу близкого человека.

Город еще спал. Крепкий стук сапог будил утреннюю тишину улиц. Черные фигуры добровольцев с мешками за плечами толпой шли к сборному пункту. Лица были строги и серьезные. Глаза уверенно смотрели на дорогу. На стенах домов, на заборах белели листики. Черные строчки горели огнем. Звали к бою. Последнему, страшному, неизбежному и освобождающему. Добровольцы пошли в ногу. Сомкнулись плотней. Город спал. Из темных щелей полуоткрытых окон на улицу лился вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот. Клочков шел и, улыбаясь, щурился на красный кусок неба.

– Там восток?

– Восток.

– Мы туда.

– Он будет наш.

– Мы победим! Клочков обернулся назад, сверкнул рядом белых зубов.

– А хорошо, товарищи, эдак идти. Мне петь хочется и стихи писать. Душа вот прямо рвется, дрожит. Хорошо!

Доброволец глубоко вздохнул. Солнце всходило.

#### ***14. ГЕНЕРАЛЫ И ПОЛКОВНИКИ-КОММУНИСТЫ***

После ряда крупных боев на участке N-ской дивизии наступило затишье. Люди отдыхали. Первый N-ский полк стоял в дивизионном резерве. Мотовилов с Барановским лежали на солнце около винтовок, составленных в козлы. Фома на костре кипятил чай. Саженьях в двухстах от офицеров плотное кольцо солдат окружило аэроплан, у которого возился авиатор француз.

– Я, Иван, в германскую войну вольнопером служил, видал виды, но скажу тебе прямо, что так гадко, как здесь, я себя никогда там не чувствовал, так у меня нервы еще не трепались, – говорил Мотовилов. – Обстановка этой войны – сплошной кошмар. Черт знает что такое – вступаешь в бой и не знаешь, кто у тебя сосед справа, кто слева. Нет уверенности, что там устойчиво, что тебя не обойдут. Хорошо, если из штаба сообщат хоть об одном соседе. Ну, а о другом – то мы сами догадаемся. Как только скажут, что сосед справа неизвестен, уж так и знай, либо Николай угодник, либо красные.

Аэроплан плавно поднялся вверх, разорвав кольцо солдат, треща мотором, полетел в сторону первой линии. Барановский молча курил, смотрел на облака, серыми клочками пуха плывшими по небу.

– Вообще ничего в этой войне нет похожего на ту. Артиллерии мало, о позиционной борьбе и речи нет, техника вообще слаба, но страху гораздо больше. Я никогда, например, в германскую войну не боялся попасть в плен, а тут холодею от одной мысли только засыпаться к красным. Какая тут к черту техника, обученность солдат, когда и мы, и комиссары во время боя стоим в цепи, расхаживаем, даже на лошадях ездим, и ничего. Попадают в нас

очень редко. Нервность какая-то чувствуется у всех, стойкости почти никакой, панике все поддаются очень легко. Нет, тут в этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины. Все теперешние наши победы и поражения построены на чем-то внутреннем, неуловимом. Я прямо даже затрудняюсь объяснить, что это такое. Почему мы иногда бежим после двух-трех минут перестрелки и другой раз держимся днями в самой отвратительной обстановке? Помнишь, под Шелеповым три дня в болоте лежали под каким обстрелом?

Барановский не ответил. Фома снял котелок, стал разливать чай. Пили долго, молча. Мотовилов клал себе в кружку сахар по несколько кусков. Аэроплан вернулся из разведки, с треском опустился на прежнее место. От нечего делать офицеры побрели к нему. Француз снял теплую шапку, стоял с открытой головой и, поправляя пенсне, рассказывал на ломаном языке обступившим его солдатам о своих впечатлениях во время полета:

– Видите пуль, пуль. Красный пуль!

Летчик показывал на крылья своей стальной птицы, сплошь изрешеченные пулями.

– Жаль гранат не взял. Револьвер пук, пук!

Пухлая белая рука француза трясла черный браунинг с закопченным стволом. Агитатор вытащил из рукоятки пустую обойму.

– Все пуль пук, пук. Красных пук, пук. Жаль, жаль гранат не было. Много красный, можно было пук, пук.

Барановский брезгливо опустил концы губ.

– Не люблю я этих французов. Каждый из них приехал с собственным аэропланом, приехал, как на охоту, дикарей русских пострелять. Черт знает что такое. Видишь, его послали возвания раскидывать на фронте, а он увлекся, стрелять стал из револьвера. Жалеет, что гранат не было, гадина упитанная. Не перевариваю этих жуиров, искателей приключений, охотников за черепами.

– Нечего здесь философствовать, Иван, по-моему, чем больше с нашей стороны дерется, тем лучше. А как и кто, не все ли равно.

Солдаты разглядывали машину, щупали круглые дырки в тонких пленках крепких крыльев.

В обед офицеры поехали в штаб дивизии на доклад пленного командира красной бригады. По приказанию Мочалова, пленный информировал офицеров о строительстве Красной Армии, об условиях, жизни в тылу, в Советской России. Эти вопросы живо интересовали офицеров, и каждый с нетерпением ждал очереди своей группы. Ездили на доклад по несколько человек, группами, так как всех нельзя было снять из части. Мотовилов ехал с Барановским в одном ходке, на собственной лошади, захваченной его ротой в последнем бою. Мотовилов ехал и злорадствовал:

– Вот, воображаю, порядочки-то у красных. Вот уж, наверно, балаган-то развели товарищи.

– Не думаю, – неопределенно возражал Барановский.

– Чего там, не думаю, – сердился Мотовилов, – забыл разве? Не жили, что ли, мы при них в 17-м году?

– Теперь не 17-й, а 19-й, Борис.

– Все равно, один черт. Я думаю, что и в 19-м году кашевар не сможет командовать полком, а волостной писарь вести дипломатическую переписку с соседними державами.

– Не знаю, – задумчиво тянул Барановский. Мотовилов разозлился.

– Это черт знает на что похоже, Иван. Неужели ты думаешь, что эти сиволапые всему выучились за два года? Разве я когда-нибудь поверю тому, что можно в два года выучиться командовать армией и управлять огромной страной? Ерунда! Никогда этого не может быть!

Офицер злобно ткнул кулаком в спину своего вестового, сидевшего на козлах.

– Куда ты, олух, едешь? Я же тебе приказывал к школе, а ты к попову дому поехал, болван.

Кучер сделал небольшой круг на площади и остановился у дверей школы.

Докладчик, пожилой полковник, уже пришел и стоял за кафедрой, сверкая новенькими золотыми погонами.

– Скотина, уже успел нацепить два просвета, – ворчал Мотовилов, садясь за парту, и

мысленно продолжал: «Я бы ему, мерзавцу, никогда не позволил погоны надеть. Пускай носил бы свои красные тряпки, чтобы видели все, что он за птица. Я бы ему красную звезду в пол-аршина на спину нашил и заставил бы так ходить».

Докладчик начал:

– Господа офицеры, прежде чем приступить к развитию моей сегодняшней темы – Советская Россия и Красная Армия, – должен предупредить вас, что я даром слова не обладаю, а потому прошу задавать мне вопросы обо всем том, что я пропущу или не сумею передать связно.

– Заправляет Петра Кириллова Зеленого: «Говорить не умею!» – поди насобачился на митингах–то в Совдепии, – язвил вполголоса Мотовилов.

– Ну–с, мы, конечно, здесь, господа, одни, без свидетелей, и стесняться не будем. Смело вскроем наши недостатки, разберемся в них, проведем небольшую параллель между нами и ими, – полковник показал рукой на запад. – Должен сказать, господа, что воюете вы скверно. Уж я подставлял, подставлял вам свои фланги, думаю, пускай потреплют товарищей. Нет, как нарочно, с вашей стороны полнейшая бездеятельность. Тогда я плюнул и просто один, со штабом, приехал к вам.

– Врешь, – довольно громко сказал Петин.

– Однако, не обижайтесь, господа. Это я сказал только потому, что хотел пояснить вам, как ваш покорный слуга попал из Совдепии в Сибирь.

Полковник слегка наклонил голову и приложил руку к груди. Аудитория молчала.

– Начнем с главного. Вся Советская Россия объявлена осажденным военным лагерем, а раз так, то вся жизнь в стране регулируется строжайшей железной дисциплиной. (Офицеры обменивались недоумевающими взглядами). Не удивляйтесь, господа, – заметил докладчик, – Советская Россия совсем не то, что знали вы в 17–м году. Из хаоса разрушения на обломках старого теперь воздвигается новое здание государственного порядка. И надо отдать дань должного нашим противникам–большевикам: в деле государственного строительства они преуспевают. Единая руководящая идея кладется ими в основу всей жизни Республики, все для победы над буржуазией и разрухой, все для борьбы. В этом они, пожалуй, похожи на немцев, которые в свое время говорили: «Все для отечества, все для кайзера». Если хотите, господа, они и проводят в жизнь, осуществляют свои идеи с немецкой методичностью и упорством. В этом отношении отличаются особенно коммунисты, которые стали теперь совершенно непохожими на прежнего русского человека с ленцой и почесыванием затылка. Работа, работа и работа – вот их лозунг! Страна – военный лагерь, ну, а в лагере ведь живут солдаты, следовательно, в Советской России все граждане – солдаты, только не боевой армии, а трудовой. Так они и называются: солдаты или работники Великой Армии Труда.

– Скажите, полковник, – перебил докладчика какой–то капитан, – трудовая армия разбита так же, как и красная, на роты, батальоны?

– Как вам сказать, не совсем так. Трудящиеся там организованы в профессиональные союзы, и вот эти–то профессиональные союзы считаются такими ротами, батальонами, бригадами, которые выполняют разные боевые задачи на трудовом фронте.

– Значит, профессиональные союзы есть вторая советская армия теперь? – спросил опять капитан.

– Вот именно так. Да, да это верно, – подтвердил полковник. – Профессиональные союзы теперь являются экономическим фундаментом Республики. Все они выполняют определенные задачи центра, так что работа по изготовлению разного рода продуктов носит строго организованный характер. Все производство организовано в общегосударственном масштабе и регулируется, конечно, с одной стороны, потребностями Республики, а с другой – наличностью запасов топлива, сырья, рабочей силы. В последние трех там большой недостаток. Но все же, поскольку имеется в их распоряжении всего этого, постольку там и идет работа. Фабрики пущены. Не все, правда, и не полным ходом, но все же прежней безалаберности в этой области нет. Ни о какой товарищеской дележке фабричных механизмов, как то наблюдалось в 17–м, начале 18–го годов, и помину нет. Митинговый большевизм уже изжил себя. Самое важное, господа, то, что производство организовано у них, конечно, не вполне еще, но уже во всяком случае оно в крепких руках государственной власти. Я считаю, господа, огромным

завоеванием и победой красных тот факт, что промышленность, производство в Советской России в целом не пали и не падают. И если не двигаются вперед, то удерживаются от гибели главным образом за счет трудового героизма масс, за счет повышения их сознательности. Когда адмирал Колчак был по ту сторону Урала, а генерал Деникин развивал свое наступление, Советская Россия буквально варилась в собственном соку: ни топлива, ни хлеба, ни сырья не было, и все же красные отбили наступление и с юга, и с востока, и с севера. Сделали это они потому, что на их стороне были трудовые массы, потому, что к тому времени у них было так или иначе налажено производство и распределение и организован, отлично организован, аппарат государственной власти. Да, господа, у красных теперь, несомненно, есть сильный, недурно организованный государственный аппарат, промышленность и армия. На последнем вопросе, вопросе о Красной Армии, ее организации я останавливаюсь подробнее.

Офицеры сидели, внимательно слушая, и не знали, верить или не верить полковнику. Многим из них казалось невероятным, чтобы в Совдепии мог быть какой-нибудь порядок, а тем более дисциплина, да еще трудовая.

– Для борьбы с разрухой у Советской России есть трудовая армия, для борьбы с буржуазией, выражаясь модно, с Антантой, – Красная Армия. Красная Армия, как и трудовая армия, спаяна железной дисциплиной, причем дисциплина там не только, как говорится, сверху, но и снизу. Командирам, комиссарам в бою и в строю беспрекословное подчинение, заслушание или умышленное неисполнение приказаний, невыполнение боевой задачи – тягчайшая кара, вплоть до расстрела. Кроме того, неисполнительного, неаккуратного красноармейца тянут свои же товарищи. Здесь нужно отметить роль коммунистов: они именно, организованные в ротные ячейки, и являются такими сознательными воинами, которые тянут за собой всю красноармейскую массу, налаживают эту дисциплину снизу. Красная Армия тем и отличается от всех других, что в ней дисциплина не только сверху, внешняя, но и внутренняя, снизу, сознательная. Дисциплинированность масс в армии наших врагов создается общими усилиями командного состава и самих красноармейцев, и основывается она не только на насильственных мерах воздействия, но и на поднятии культурного уровня солдат. В Красной Армии организован, как нигде, аппарат по политическому воспитанию солдатской массы, по поднятию ее сознательности. Государство затрачивает на культурно-просветительную и политическую работу в армии огромные средства. Красная Армия вся оплетена сетью политических и просветительных организаций, учреждений с громадным кадром работников. Прежде чем пустить стрелка в цепь, красные обрабатывают его, обучают не только военному делу, но и политической грамоте. Воспитание солдат там сводится к тому, чтобы каждый из них, когда ему будут командовать направо, налево или вперед, не только бы слепо выполнял приказание командира, но был бы убежден, знал бы твердо, что ему нужно именно идти туда, а не сюда. Красные так воспитывают своих солдат, что когда им скажут о назначении их на фронт, о выступлении на позицию, то каждый знает, что туда идти ему нужно, что идти и драться он обязан и не за страх только, а и за совесть. В этом огромная, страшная сила Красной Армии.

Полковник, человек военный до мозга костей, говоря о сильной и организованной армии, невольно любовался ей, от этого речь его делалась живей, начинала захватывать слушателей. В школьном классе было тихо. Все с напряженным и все возрастающим вниманием следили за докладом.

– Для культурно-просветительной работы в армии красные мобилизовали лучших работников, стянули лучшие партийные силы. Для постановки же чисто технической, военной стороны дела привлечены специалисты старой школы. Почти весь наш генеральный штаб теперь работает в Красной Армии.

– Прохвосты! Продажные шкуры! – закричало несколько голосов с мест.

Полковник немного смутился, покраснел, опустил голову, стал искать в карманах портсигар.

– Все специалисты великолепно обеспечены, в их распоряжении удобные и большие квартиры, выезды, прислуга, им платят огромные оклады. Для привлечения их к работе красные не скупятся на расходы.

– Покупают подлецов, как продажных тварей, – опять крикнул кто-то с места.

– Но есть, господа, и среди военспецов, как их называют красные, среди военных специ-

алистов, люди, работающие в армии не из-за материальных выгод, не из страха, а по убеждению, есть среди них и настоящие коммунисты, члены Российской Коммунистической партии.

– Ерунда. Не может быть. Полковники, генералы – коммунисты! Ха, ха, ха! – заволновались, зашумели слушатели.

– Негодяи, предатели, от них всего можно ждать. Пошли в Красную Армию – ползут и в партию. До чего мы дожили! Генералы без погон, члены партии большевиков и дерутся против таких же генералов, дерутся за власть, за торжество этой серой скотинки. Боже мой, боже мой!

Подполковник Иванищев схватился руками за голову, обращаясь к докладчику, стал извиняться:

– Виноват, полковник, перебил вас, но, знаете, сил нет слушать, когда говорят о таком подлом предательстве.

Докладчик закурил папиросу и молча, как бы соглашаясь с говорившим, кивал головой.

– Опыт старых специалистов широко используется красными. Они заставляют их не только работать непосредственно в армии, но и создавать кадр новых красных специалистов и командиров. Красные военные училища, или школы командного состава и красная академия генерального штаба там работают вовсю. Нужно сказать, господа, что в деле организации и строительства армии красные оказались на высоте своего положения. Широта размаха, предприимчивость, поощрение всякой разумной инициативы в какой бы то ни было области – вот отличительные черты наших противников. Куда бы вы ни взглянули, господа, какую бы область их работы ни взяли – везде вы поражаетесь грандиозностью и глубиной замысла.

– Ну, а скажите, господин полковник, – поднялся Мотовилов, – кашевары у красных командуют полками?

Полковник улыбнулся.

– С этим дело обстоит так: выборность командного состава отменена в армии, так что красноармейцы, если бы и хотели видеть своего кашевара в роли командира полка, не могли бы этого сделать, так как назначают на такие должности людей, знающих военное дело. Но, однако, это не исключает совершенно возможности вчерашнему кашевару стать начальником дивизии. И в Красной Армии есть несколько теперь уже славных имен командиров, выдвинувшихся своей талантливостью из рядов солдатской массы. Здесь красные занимают совершенно правильную позицию: с одной стороны, дают возможность талантам, самородкам применить свои силы, а с другой – создают кадр командиров и работников путем обучения в школах, на курсах.

– А офицеры жида есть у красных? – любопытствовал подпоручик Петин.

– Командиры евреи, конечно, есть, их даже очень много. Евреи, господа, в Красной Армии – большая сила. Нам пора уже забыть старые анекдоты, что евреи стреляют из кривых ружей. Я вам скажу, господа, по личному опыту, что евреи очень серьезные враги, дельные, энергичные, смелые. Когда, например, у меня комиссар был русский, я чувствовал себя ничего. Мы с ним сжились, свыклись, официальностей у нас никаких не было. Откровенно говоря, я его заставлял частенько под свою дудочку поплясывать. Но потом его сменили за слабохарактерность – так, кажется, было мотивировано смещение. Его убрали, а ко мне прислали жида, этот прямо задушил меня, буквально не спускал с меня глаз, я шагу не мог сделать без его ведома.

В класс вошел начальник штаба и, извинившись перед докладчиком, передал офицерам приказание начальника дивизии немедленно отправиться в полк, так как было получено распоряжение сегодня же к вечеру перейти в наступление. Офицеры неохотно встали. Докладчик, сходя с кафедры, напомнил слушателям:

– Не забывайте, господа, что теперь на фронте вы имеете дело не с бандой товарищей, а с хорошо организованной армией. У красных теперь, повторяю и подчеркиваю, есть государство и армия.

На крыльце офицеры немного задержались, окружив полковника, задавали ему вопросы:

– Скажите, вот мы теперь имеем дело с серьезным врагом, ну, а как же бороться с ним? И неужели в Совдепии все обстоит так благополучно, как говорите вы? – спрашивал полковник Иванищев.

– Далеко нет, господа, – отвечал докладчик. – Я и не говорю этого, вернее, я не успел поговорить об этом с вами. Разве можно обойти молчанием то обстоятельство, что у красных с голода животы подводит? Или, например, разве не благодатная почва для нашей агитации незаглушенные собственнические инстинкты советского крестьянина? Много можно, господа, найти в Советской России такого, за что легко уцепиться и начать борьбу. У меня, собственно говоря, даже разработан небольшой план борьбы с красными в их тылу, но, к сожалению, я не имею времени его вам развить пошире, поговорить на эту тему.

Офицеры стали садиться на лошадей. Мотовилов опять ехал вместе с Барановским.

– Полковник этот просто–напросто красный шпион, провокатор, подосланный к нам. Я бы его, мерзавца, после доклада сейчас же повесил. Черт знает, что за медные лбы сидят у нас в штабах. Не понимаю. Явного шпиона пускают так свободно гулять да еще позволяют ему разводить агитацию.

– Ну, ты, Борис, уж очень подозрителен и нетерпим. Нужно же иметь смелость, наконец, чтобы оценить врага по достоинству. Недооценка противника – скверная вещь, – возражал Барановский.

Ехали шагом, дорога была скверная, колеса вязли в грязи по ступицу. Шел мелкий дождь, и лошадь с трудом вывозила из огромных выбоин тяжелый ходок. Офицеры замолчали. Барановский смотрел на водяные пузыри, вскакивавшие в лужицах от ударов дождевых капель, и думал о том, что услышал сейчас в школе, что так глубоко врезалось в память.

– Я всю эту интеллигенцию, все офицерье, которое работает у красных, истребил бы поголовно. Предатели. Не будь их, мы давно бы загнали обратно в хлевы послушное и бестолковое стадо большевиков. Негодяи! – Мотовилов плюнул и злобно выругался. – Ну, погоняй, олух царя небесного, – закричал он на кучера.

## ***15. ЯРКИЕ ЛОСКУТКИ***

Ночью пошли в наступление. Барановский за время своего пребывания на фронте втянулся в боевую и походную жизнь, привык не рассуждая идти в огонь и воду, привык обходиться без бани, без чистого белья, без теплой комнаты, привык спать днем и бодрствовать ночью и обедать утром, на заре, перестал замечать копошащихся в платье и белье насекомых, заводившихся даже под погонами. Подпоручик спокойно шел сзади густой цепи своей роты по картофельному полю. В голове мыслей не было, думать не хотелось, какое–то тупое равнодушие, покорность скотины, которую гонят на убой, овладели офицером. Он шел, заранее зная, что через несколько минут произойдет встреча с противником, что скоро заблестят огоньки выстрелов, засвистят пули, и люди будут со злобной яростью кидаться друг на друга, кто–нибудь кого–нибудь погонит, разобьет, бой утихнет, а потом разбитый получит подкрепление и снова кинется на победителя, снова загорится перестрелка, и так каждый день. Так было все время до сегодня, и Барановский был убежден, что так будет до тех пор, пока его ранят или убьют.

– Хоть бы скорее стукнуло, и баста, – вслух сказал офицер.

Роты Мотовилова и Барановского соприкасались флангами. Мотовилов, идя совсем недалеко от Барановского, услышал сказанную им фразу.

– Да, это ты верно сказал, Ваня. Царапнуло бы по ноге и отлично. Я согласен хоть с раздроблением кости. Все равно. Поехал бы тогда на восток лечиться, пришел бы в училище и точно бы прошелся на костылях перед бывшим начальством.

Два офицера шли в темноте и долго вслух мечтали о том, как бы получить ранение и уехать в тыл отдохнуть. Деревня, занятая противником, была уже близко. Мотовилов замолчал и быстро пошел на другой фланг своей роты. Цепь пошла тише, осторожней. Щелкнули затворы. Ноги стали заплетаться через борозды. Испуганно и гулко треснули выстрелы красных секретов, за ними предостерегающе захлопали полевые караулы. Застучали макленки. Огоньки заблестели по полю, яркой, светящейся цепью рассыпались вдоль деревни. Белые остановились, залегли, брызнули, засверкали тысячами ответных огоньков. С басистым рокотом и ревом ухнул в деревню первый снаряд и сразу же поджег какую–то избу. Яркие языки лизнули крышу, метнулись вверх, осветили улицу багровым, мятущимся светом. Заревели коровы, заблеяли

овцы, и люди засуетились, заметались в страхе. Снаряды стали сыпаться очередями, разворачивая, поджигая все новые и новые дома. Пожар усилился, деревня пылала, как большой костер, а по сторонам от нее вправо и влево вспыхивали огоньки выстрелов, и казалось, что это мелкие угольки летят с треском с пожарища, огненным дождем рассыпаются по полю. Без звука, без крика встали белые цепи и пошли в атаку, как верные псы зубами, защелкали пулеметы и, высунув свои горящие, длинные языки, жадно лизали темноту ночи. Точно ветер налетел на длинную цепь светящихся угольков, начал тушить их и разбрасывать по сторонам. Люди, тяжело топая, бежали вслед за летящими, перепутавшимися, смешавшимися в кучу угольками. Ветер сердито ревел и разметывал по полю целые головни огня. Стали рваться ручные гранаты. Деревня была взята. Рота Мотовилова захватила в плен комиссара полка, в одну минуту раздела его донага, вывернула все карманы.

– Иван, Иван, – кричал на ходу Мотовилов, – мои–то ничего себе кусочек подцепили – комиссара, денег николаевских здоровущую пачку вытащили, кожаное обмундирование сняли, браунинг, бинокль.

Барановский спешил за цепью: нужно было быстро захватить и соседнюю деревушку.

– А куда самого комиссара–то дели? – закричал он.

– Черт их знает, не то живого, не то мертвого, видел только, как они его в горящую избу шарахнули.

Следующая деревушка была взята коротким, быстрым ударом. Красные, не ожидая такой стремительности наступления, беспечно спали в избах. Рота Барановского ворвалась в улицу первой. Офицер, едва поспевая за стрелками, видел, как они бросали в окна гранаты, забежали в дома и оттуда слышался дикий визг, точно там резали свиней. Солдаты Барановского, заскакывая в избы, принимали на штыки красноармейцев, прыгавших в одном белье с полатей, с печек и валили их окровавленные тела кучами на пол, под ноги обезумевших от ужаса женщин и детей. Некоторые красные выбегали на улицу, но в белом нижнем белье их хорошо было видно и их кололи десятками. Улица была захвачена N–цами с двух концов. Застигнутые врасплох, люди металась через заборы, плетни, но быстрые, тонкие жала штыков догоняли их, и они висли белыми тенями на изгородях, падали на дорогу. Пройдя деревню, остановились на ее западной окраине, окопались. Барановский приказал своему полуротному собрать сведения о количестве выбывших из строя, а сам лег около плетня, думая немного уснуть. К нему подошел высокий, широкоплечий стрелок Черноусов:

– Вот так жара, г–н поручик, красным–то была. Я сам семерых в одной избе только приколол. Забежал я, значит, а они тамоко еще спят, потом как начали с полатей прыгать, а я их на штык, на штык. Одного в пузо кольнул, так на всю избу зашипел дух–то из него. «Пшшш», – представил Черноусов, как он выпускал из красноармейца дух. – А хозяйка–то визжит, бабюшки мои, ребятишки орут, а я их валю, я их валю, как свиней, в кучу, на пол. Ну и потеха!

Солдат махнул рукой, стал закуривать.

– Не кури, – запретил Барановский. – Заметят, так будешь знать, как ночью в цепи курить.

Справа неожиданно звонко хлестнул огненный жгут. В несколько мгновений фланг N–цев был смят. Цепь метнулась влево, запуталась, прижатая к плетню, вынуждена была принять стремительный штыковой удар противника. Зарево пожара красным пологом трепалось в небе. Барановский, выбегая перед ротой навстречу врагу, вдруг увидел на плечах атакующих яркие лоскуты красных погон.

– Что за дьявольщина? Свои? – молнией метнулась мысль в голове офицера.

Он хотел крикнуть, остановить свою цепь, разъяснить всем, что здесь недоразумение, что свои сейчас начнут истреблять своих. Голоса не было, он слабым стоном, хрипло, вылетел из груди и сейчас же, никем не замеченный, был растоптан, заглушен ревом бойцов:

– Ура! Ура! А–а–а!

Подпоручик видел, как офицеры и солдаты с той и другой стороны с яркими лоскутами погон на плечах бежали друг на друга, как сумасшедшие, с широко раскрытыми, слепыми глазами. Тяжелый сапог больно рванул за волосы на затылке. Подпоручик с усилием приподнялся на локтях. Голова ныла. Цепи сошлись. Винтовки трещали, ломались в руках от встречных ударов. Штыки с хрустом прокалывали грудные клетки, с шипением распарывали животы. Смертельно раненные с воем валились на землю. Мнимые враги узнали друг друга только через несколько минут после жестокой схватки. Когда цепь N–цев снова легла у плет-

ня, многих стрелков в ротах не хватало. Мотовилов получил Царапину штыком в левую щеку. Сидя рядом с Барановским, он ругался и прижимал платком горящий шрам.

– Вот тебе и связь. Черт знает что такое. Кавардак.

Барановский лежал и, думая о кровавой стычке, вспоминал слова своего лектора по тактике:

– Внешние знаки отличия, форма, господа, в глазах малокультурной солдатской массы имеет огромное значение. Разные яркие лоскутки, тряпочки, галунные нашивки в виде погон, петлиц, кантов, шнурков, ордена, кокарды, звезды влекут к себе сердца серых мужичков. Мы должны воспитать солдат в духе любви и преклонения перед этими побрякушками. Мы должны убедить солдата, что только в его полку, лучшем полку из всей армии, есть красные петлицы с черным или белым кантом. Мы должны убедить его, что он счастливее, если носит на штанах золотой галунный кант. И верьте, господа, если мы убедим его в этом, если сумеем заставить поверить нам, то в бою, на войне этот солдат за эти яркие лоскутки сложит без рассуждений свою голову, докажет, что его полк – лучший полк, единственный по доблести в армии, ибо он носит петлицы с черным кантом. Фетишизм живет в душе народа, это, господа, надо учесть и использовать широко и полно.

«Яркие лоскуты! – мысленно повторял подпоручик. – Яркие лоскуты! И из-за них, надев их, люди глупеют. Есть что-то в этом индюшине, безмозглое. Но какая жестокая и верная теория. Яркие лоскутки, а за них жизнь!».

Перед рассветом разведчики привели двух пленных. Один левой рукой поддерживал правую с отрубленной кистью, у другого во все лицо красным ртом зияла сабельная рана, и кровь, смешиваясь с грязью, текла на гимнастерку. Оба они были мокры до костей и выпачканы в глине.

– Откуда это вы достали таких? – спросил Мотовилов.

– Из озера вытащили, господин поручик. Идем, слышим стон в тростнике. Мы цап – и поймали их. Говорят, что от казаков спрятались. Казаки их, значит, недорубили.

Мотовилов брезгливо смотрел на пленных.

– Ребята, – обратился он к ним, – может быть, вас пристрелить лучше? Чего вам мучиться?

Не то от холода, не то от страха молча дрожали красные и жались друг к другу.

– Вы еще молчите, мерзавцы, не хотите отвечать офицеру, я вот вам сейчас!

Мотовилов стал отстегивать крышку кобуры револьвера. Один побледнел так, что даже сквозь слой грязи было видно, другой с рассеченным лицом, совсем еще мальчик, заплакал.

– Ну, ну, испугался, щенок, – засмеялся офицер и, повернувшись к разведчикам, приказал: – Тащите эту дрянь в штаб полка.

Когда пленных увели, Мотовилов, стоя возле Барановского, возмущался, что казаки так скверно рубят.

– Не могли, черти, насмерть-то зарубить, упустили двух мерзавцев.

Фома ворчал недовольно:

– Стоит их в плен брать. Тоже, христосики смиренные, в слезы пустились, а как в окопе лежали, так только стукоток, поди, стоял, как отщелкивали нашего брата. Нет, мы вот этто три дня на один полк ихний лезли, никак взять не могли, а как обошли их да заграбастали с фланку, так они все лапки подняли, мы, мол, братцы, давно к вам хотели перебежать. Сволочь! – Фома плюнул. – Конечно, мы их всех перекололи!

На рассвете разведка донесла, что красные густыми цепями приближаются к деревне.

– А много их? – спросил капитан, командир батальона.

– Видимо-невидимо, господин капитан, – не задумываясь, ответил разведчик.

Солдаты в цепи подняли зайца и, смеясь, как ребятишки, бегали за ним. Черноусое показал Мотовилову на высокие столбы пыли, стоявшие далеко в стороне красных.

– Смотрите, господин поручик, как копоть-то коптит у красных. Лезервы, похоже, подвоят. Полезут, наверно, здорово.

Солдат разыгравшихся с трудом удалось уложить в окопчики, привести полк в боевую готовность. По цепи было передано приказание приготовиться.

Красные не заставили себя долго ждать, двумя большими цепями пошли они на деревушку, занятую N-цами. Капитан посмотрел в бинокль.



– Ого! – сказал он, обращаясь к стрелкам, – много в кожаных куртках есть, видно, коммунисты. Смотри, ребята, тужурки не порть, целясь под козырек.

И, постояв немного, скомандовал:

– Тридцать! Редко начина–а–ай!

– Тридцать! Тридцать! Редко начинай! – передавали стрелки по цепи команду.

## **16. ВСЕМУ МИРУ ИЛИ ТЕБЕ**

Гнет атамановщины в районе Медвежьего, Пчелина и Широкого становился с каждым днем все сильнее. Порки, расстрелы чередовались с виселицами, конфискации и сожжением целых сел и деревень. Жизнь в местах расположения иностранных войск и группы атамана Красильникова стала опасной самому безобидному, чуждому всякой политики землеробу. Все крестьянство подозревало в сочувствии и содействии большевикам. Суда и следствия не существовало, их заменяло усмотрение начальства. Голословный оговор, анонимный донос или подозрение являлись достаточным основанием для приговора к смерти десятков людей.

Крестьяне бросали свои хозяйства, дома и с семьями уходили в тайгу, пополняли партизанские отряды. Остающиеся дома были запуганы до последней степени, до потери рассудка и здравого смысла.

В трех верстах от Медвежьего, в Черемшановке, на кладбище толпился народ. На краю большой, только что вырытой могилы стояли шесть мужчин и женщина, приговоренные к расстрелу. Отделение чехов заряжало винтовки. Коренастый рыжебородый мужик в белой рубахе, с усилием шевеля холодными, синими губами, говорил чешскому офицеру:

– Господин офицер, как же это вы так меня прямо без суда и следствия и в яму. Ведь понапрасну вы это. Надо обследовать бы сначала. Зачем губить человека? Мы думаем, таких прав нет, чтобы, значит, без суда и следствия, и готово дело.

Чех презрительно шурил глаза с белыми ресницами, надменно поднимал лицо.

– Ми – чешский комендант, ми имеем право повесить, расстрелять, арестовать.

Толпа, облепившая соседние могилы, стояла тихо, мигая черными, испуганными, неподвижными глазами. Жена рыжебородого, Дарья Непомнящих, сидела на зеленой могиле с грудным ребенком. Стоять она не могла, ноги у нее дрожали и подкашивались. Плакать она перестала. Слез не было.

– Ну, прощайся! Сейчас будем расстрелять! Приговоренные закивали головами. Родные бросились к ним.

– Нельзя! Офицер поднял руку:

– Не разрешается. Можно сдалека. Все равно! Женщина упала на колени, била себя в грудь.

– Господин офицер, последний разок дайте у мужа на груди поплакать. Ой–ой–ой! Как жить я буду, сиротинушка! Соколик ты мой ясный, Петенька. Разнесчастный мой ты, Петенька! Ой, ой, ой!

Лицо чеха стало раздраженно–холодным, нетерпеливая гримаса дернула розовые губы.

– Довольн! Нельзя! Ми начинаим!

Ребенок на руках у Дарьи проснулся, разбуженный криком матери, заплакал. Рыжебородый потерял жену из виду. Черные дырки винтовок ударили его по глазам. Солнце померкло. Мужик ослеп. Лица родных, толпу он перестал видеть. Могила за спиной стала глубже, шире, дышала сыростью. Осужденная женщина шумно вздохнула, захватила полную грудь воздуха. Тяжелый запах земли закружил ей голову. Она покачнулась. Брат, стоявший рядом, нежно обнял ее, поддержал и, целуя в похолодевшую щеку, тихо сказал:

– Держись, Маша! Вдвоем не страшно. Мужчина говорил ласково, но глаза его уже были мертвы, блестели острым стеклянным налетом, зрачки расширились и остановились. Офицер что–то шептал солдатам, показывая глазами на женщину, те кивали головами. Белая перчатка поднялась над фуражкой чеха. Приговоренные одновременно, медленно, с усилием, точно их кто потянул за шеи, подняли лица, уперлись тяжелыми взглядами в тонкую чистую руку в рукаве с белым обшлагом. Перчатка шевелила на ветру пустыми пальцами. Дула вин-

товок вздрогнули, расплылись в одну огромную черную дыру. Острый огненный нож сверкнул из железного мрака, проткнул грудь шестерых. Сбросили в яму руки и ноги, слабые, как плоть, и головы, закинувшиеся на спину. Женщина едва удержалась на ногах, присела на корточки и, опираясь о землю руками, ртом хватала воздух, как рыба, вытащенная на берег. Чех подошел к ней.

– Видель, сволочь! Больше не будешь бунтовать? Иди, сука, домой и расскажи всем, что большевиком быть плохо есть!

Женщина не поняла ни одного слова. Толпа опустила плечи. Кое-кто сел на землю. Головы валились на грудь. Дарья лежала без сознания. Ребенок плакал:

– Ааа! Уаа! Ауа! Ауа!

– Где есть старост? – крикнул офицер.

– Я здесь! – седая борода Кадушкина тряслась от страха.

– Закопайте этих разбойников. Хоронить родным не давайт. Ми проверим после!

Чехи торопились. Закинули винтовки за плечи. Сели на лошадей.

– Ми проверим, если хоть одного не будет в яме, то все село будет сожжен.

Офицер скомандовал по-чешски. Кавалеристы подняли сразу лошадей на рысь. Толпа шарахнулась на две стороны, дала дорогу.

Молчание сковало людей. В стороне Пчелина шел бой. Глухое ворчанье орудий раскатывалось по земле. Крестьяне вздохнули

– Чего же, ребята, зарывать надо!

Кадушкин мял в руках фуражку. Подойти к яме, заглянуть в нее было страшно и тяжело. Лопаты торчали на черном бугре, глубоко воткнутые в рыхлую землю еще расстрелянными. Перед смертью чехи заставили их вырыть себе могилу. Рыжебородый, раненный в бок, поднялся, сел. Теперь он хорошо видел окровавленные лица мертвых товарищей.

– Братцы, помогите!

Толпа вздрогнула, метнулась к яме, нагнулась над ней.

– Петя, милый, ты жив!

Радость надежды легко подняла женщину с земли.

– Братцы, выручите! О-о-о-х!

Кадушкина трясло.

– Михал Михалыч, надо веревки достать, вытащить мужика–то моего. Сам он, однако, не в силах будет вылезть.

Кадушкин молча жевал беззубым ртом. В подслеповатых глазах его пряталось что-то хитрое и трусливое. Мужики о чем-то задумались, не двигались с места, молчали. Лица слились в одно белое пятно. Мысль беспощадная куском льда залегла в голове толпы. Лбы покрылись холодным потом. Петр, истекая кровью, згбко вздрагивал. Толстая, жирная глιστα, разрезанная лопатой, крутилась у него на сапоге. Раненый старался не смотреть на нее, но она упорно лезла в глаза, росла, извиваясь толстым жгутом. Молчание и неподвижность толпы заледенили воздух. Стало холодно, как зимой. Дарья посмотрела кругом, сердце у нее упало, заколотилось, в ушах зазвенело, она поняла:

– Что вы, звери, опомнитесь! – закричала женщина и задохнулась.

Толпа, единодушная в своем решении, серая, безглазая, навалилась ей на грудь. Тишина треснула, как льдина.

– Рассуди, Дарья, всему миру, всей деревне пропадать или ему одному? Чехи узнают, не помилуют за это.

– Ироды, звери, креста на вас нет!

Дарья уронила ребенка, грудью упала на землю.

– Кидайте и меня к нему, зарывайте вместе.

– Михал Михалыч, вы чего это? Неужто меня живьем зарыть хотите?!

Рубаха рыжебородого густо намокла кровью, губы совсем почернели. Староста развел руками:

– Уж гляди сам, Петра, что с тобой делать? Отпустить тебя – всем пропасть. Подумай сам, всему миру али тебе пропадать?

Нижняя губа у Петра задергалась, слезы потекли на бороду. Он с тоской обвел взглядом черные стены ямы, поднял лицо кверху. Седая борода старосты тряслась над могилой. Мужики стояли угрюмые, твердые, неумолимые, как камни. Теплый, дурманящий запах свежей крови стеснял дыхание. В яме было душно. Рана горела. Голова кружилась у Петра. Держал он ее с усилием и, несмотря на жару и духоту, дрожал, тихо щелкая зубами. Ребенка подняла и отошла с ним в сторону соседка Непомнящих. Мертвые в могиле лежали спокойно. Земля под ними стала теплой и мокрой. Кровь текла ручейками из разодранных спин и затылков. Лица вытянулись, пожелтели.

– О–о–о–х! Как же быть? Я бы в тайгу ушел.

– Зря городишь, Петра! Из–за тебя всем пропадать, что ли? Стыдно тебе, Петра! Пострадай за мир! Пострадай, Петра! Пострадай! Мы бабу твою не оставим!

Толпа кричала, волновалась засыпала словами раненого, как комьями земли.

– Ироды, палачи!

Дарья иступленно взвизгивала, рвала на себе кофту, каталась по земле. Петр окоченел от холода. Небо в узкой щели ямы потемнело. Яма стала тесной. Сырые, черные стены сдвинулись, сжались.

– О–о–о–х! Воля ваша. Дайте хоть напиток последний раз. Горячего бы. Чайку бы.

Петр был побежден. Сопротивление одного, беззащитного человека, хватающегося за жизнь, было сломлено упорством толпы.

– Это можно, сейчас, мы сейчас, – засуетился староста.

Кадушкина успокоило согласие Петра, он старался убедить себя в душе, что иначе поступить нельзя, что они делают правильно, если даже сам обреченный на смерть соглашается с ними.

– Ребята, там кто–нибудь сбегайте за кипятком. Николай Козлов, свояк Петра, живший рядом с кладбищем, принес туес горячего чая.

– На, Петра. Эх, сердешный, за што страдаешь? И то што у меня самовар баба согрела.

Николай с участием смотрел на свояка, качал головой. Петр пил долго, медленно, маленькими глотками. Женщины крестились в толпе и шептали:

– Господи, пошли ему царство небесное. Мученику за нас, грешных. Господи, прости ему все согрешения вольные и невольные!

Петр напился, со стоном подал туес обратно. Николай нагнулся, встал с коленей.

– Петя, не надо! В тайгу пойдём! Не хочу я!

– Замолчи, Дарья! – староста сердито посмотрел на женщину. – И так немоготу, а она тут верещит еще. Смотри, народ–то как потерянный стоит.

Глиста вертелась, издыхая. Из толстого разрезанного куска червя размазывалась по сапогу грязная, липкая жидкость. Петр закрыл лицо руками, зарыдал.

– За–за–за–ры–ры–ры–ва–а–а–айте!

– Ты, Петра, ляг, ляг, ничком. Оно лучше так, без мучений задавит.

Кадушкин трясущимися руками выдергивал из земли лопату. Петр ткнулся в живот мертвеца. Мужики засуетились, не глядя вниз, отвертываясь друг от друга, опустив головы, торопливо стали сталкивать в могилу сырую, рыхлую землю.

– Надо, ребяташки, утапывать, утапывать. Он так кончится без мучений.

Староста прыгнул в яму, закиданную менее чем наполовину. Петр, задыхаясь, приподнялся под землей. Кадушкин едва удержался на ногах, ухватился за край могилы. Несколько мужиков стали топтать легкую землю. Петр бился в предсмертных судорогах. Земля слегка колебалась под ногами могильщиков. Что–то белое, не то палец, не то кусок рубахи, торчало среди черных комьев. Кадушкин отвернулся, полез наверх.

– Давайте еще, ребяташки, подсыплем землицы!

Белое утонуло в черном. Толпа быстро, почти бегом пошла с кладбища. Смотреть ни на что не хотелось. Собаки, лаявшие из–под ворот, и куры, рывшиеся в пыли улицы, знали все. Стены домов, темные от времени, щели в заборах, сучки в них, вывалившиеся белыми круглыми дырками, кочки на дороге, клочки пыльной травы кучей лезли в глаза. Раньше их не замечали. Люди торопились. Надо было поскорее спрятаться. Забиться домой, запереться на все затворы.

Дарья изорвала на себе всю кофту, растрепала волосы, ползала на четвереньках, выла и разрывала руками засыпанную и притоптанную яму. В глазах у нее стояли мужики с лопатами. Земля под мужиками тряслась, и они прыгали с ноги на ногу, широко раскинув руки, стараясь сохранить равновесие.

– Петя, я сейчас! Я тебя отрою!

Женщина скребла землю и выла, протяжно, с безнадежной тоской:

– Отрою–ю–ю! Ю–ю–ю! У–у–у–!

## **17. ПИЛИ, ПИЛИ**

Осажденные в Пчелине партизаны не выдержали соединенного натиска итальянцев, чехов, румын и красильниковцев. Отражая ежедневно бешеные атаки белых, они израсходовали почти все патроны и вынуждены были отдать село, после четырнадцати дней отчаянной борьбы отступить в тайгу.

Конная разведка белых быстро проскакала по всему селу, закружилась на околице. Пешие дозоры заползли в улицы, осмотрели все переулки, обшарили дворы. С музыкой и песнями, четырьмя пестрыми колоннами вошли победители в пустое Пчелино. Почти все крестьяне ушли с партизанами. Дома остались старики, старухи, ребятишки и люди, вконец запуганные белым террором или, в силу своих личных интересов, сочувствующие им. Офицеры ехали верхом на лошадях впереди своих частей. На углах было расклеено воззвание Агитационного Отдела Революционного Военного районного таежного штаба повстанцев. Полковник француз на породистой лошади подъехал к белому листку, стал читать:

## **К КРЕСТЬЯНАМ И РАБОЧИМ ТАЕЖНОГО РАЙОНА**

Товарищи крестьяне и рабочие! Враги трудящихся, белые разбойники, цепляясь перед скорым концом за свою власть, выдумывают всякие способы, чтобы посеять в наших рядах смуту, продлить братоубийственную войну. Они обманывают вас, говоря, что воюют за восстановление какого–то порядка в стране. Они нагло лгут, эти кровососы, когда говорят, что большевики уничтожают всех поголовно, без разбора. Они сотнями пудов рассылают повсюду свою литературу, в ней они пишут о несуществующих зверствах большевиков.

Нет, не мы убийцы, а те, кто стремится к праздной и веселой жизни, кто хочет быть паразитом, – это Колчак со своей наемной сволочью. Он со своими министрами при вступлении на свой колчаковский престол сказал, что не пойдет по пути реакции, а будет заботиться о благе народа. Но вы все, товарищи, увидели теперь, к какому бедствию привела нас власть зверя Колчака. Вы все узнали, что Колчак – кровопийца, грабитель и низкий человечиска. Он принес нам разрушение. Он растоптал права трудового народа. Он посеял между нами вражду и разделил нас, трудящихся, на два враждебных лагеря. Он натравил брата на брата, отца на сына и сына на отца. Он и все его звери, генералы и офицеры, повесили, расстреляли, заporоли, зарубили десятки тысяч невинных людей, даже беззащитных женщин. Они, прикрываясь различными названиями – реквизицией, контрибуцией, – открыто и беззастенчиво производили грабеж. Этими зверями сожжены тысячи сел и деревень, разграблены у крестьян деньги и сельскохозяйственные машины, вещи, мебель, одежда. Все это эти мерзавцы делали сознательно. Не могли они, паразиты, не знать, что с разорением крестьянского населения уничтожается народное богатство и разоряется сама страна. Армия, именующая себя защитницей народных прав, расхищает народное достояние. Пьяное, распутное офицерство на народные деньги шьет себе щегольские костюмы, нацепляет на себя золотые погоны. Награбленные и снятые с расстрелянных одежды надевают на продажных развратниц своего круга.

Зверствам белогвардейцев нет конца. Не удовлетворяясь расстрелами, они придумывают самые ужасные казни. Рубят пашками, вешают, забивают нагайками, шомполами, колот штыками, топят в воде, изнуряют голодом. Ведя на казнь осужденного, глумятся над ним. Издеваются над трупами. Вешают на воротах, на колодезных журавлях. На место казни матерей приводят осиротелых детей и на глазах у них проделывают самые отвратительные зверства. Грабя крестьянское имущество, они ненужные для себя вещи рвут, ломают, разбрасывают по улицам. В домах разбивают окна, раскидывают крыши, разрушают печи, портят мебель, жгут

книги и библиотеки, уничтожают все необходимые школьные принадлежности, разрушают сцены народных домов. Это проделывают люди, которые взяли на себя якобы роль возродителей России. Звери, хулиганы, тунеядцы, кровососы – вот им название, и никакого другого названия для них нет. А продажные шкуры, попы, змеиным ядом лжи разжигают среди солдат человеконенавистнические страсти и, служа в церквах молебны о даровании победы этим палачам, именуют всю колчаковскую свору христоробивым воинством.

Воззвание было склеено из двух кусков. Нижняя часть, написанная на другой машинке, другим шрифтом, была кое-где порвана, некоторые строчки стерлись. Француз нагнулся ниже, с усилием разбирая слово за словом, краснел и бледнел от злости.

Бороться с этими гадами нам сейчас тяжело, трудно. Но знайте, товарищи рабочие и крестьяне, что рано или поздно победа будет в наших руках. Мы не одни, товарищи. С запада белых гонит Рабоче-Крестьянская Красная Армия (она уже захватила Челябинск). Во всем мире рабочие и крестьяне поднимаются на борьбу со своими поработителями. И хотя колчаковская сволочь и пишет, что беспорядок, гражданская война только у нас в России, а везде, мол, тишь да гладь, но мы знаем (белогвардейские газеты проговариваются иногда), что революционное движение сейчас разгорается во всех странах. Мы знаем, что скоро чехи, румыны, итальянцы и другая продажная иностранная сволочь будет увезена из России, т. к. у них на родине, как они говорят, появилась, язва большевизма. Кроме того, господа культурные убийцы и грабители никак не могут разделить распятой ими Германии, готовы из-за добычи вцепиться друг другу в горло. Близится час, когда Социальная Революция во всем мире сбросит в помойную яму истории всех этих негодяев и палачей трудящихся, шарлатанов, паразитов нашего труда – Колчаков, Клемансо, Асквитов, Вильсонов.

Долой эту международную сволочь!

Товарищи крестьяне и рабочие, вы знаете, что из себя представляют эти звери в образе людей! Вы хорошо познакомились с идеями, которые проповедует колчаковская банда, и с ее деяниями. Жить с ними нельзя. Теперь вопрос ставится ребром: или мы – трудящиеся, или они – паразиты? Кто-нибудь из нас должен быть уничтожен. Если вы все это поняли, товарищи, то встаньте все, как один, на борьбу с этими кровопийцами, сомкнитесь в крепкие ряды и своей мощной богатырской силой мозолистой руки сметите навсегда гнет этих тунеядцев.

Довольно рабства и насилия!

Покажите, что вы не рабы, что вы не дадите себя угнетать, что вы сумеете отстоять свои права и человеческое достоинство. Докажите своим вековым угнетателям, вампирам, что вы имеете одинаковое право на жизнь. Докажите им, мерзавцам, что вы родные дети жизни, а не пасынки ее. Довольно им наслаждаться жизнью, в довольстве и неге проводить ее. Заставим их, товарищи, трудиться, как и мы трудились. Пусть узнают, паразиты, как тяжела доля трудового народа.

Долой угнетателей и дармоедов! Да здравствуют мозолистые руки!

Да здравствует Таежная Социалистическая Федеративная Советская Республика!

Да здравствует Советская Власть!

Агит. Отд. при Революционном Военном штабе повстанческих войск Таежного района.

Полковник поморщился, обернулся к адъютанту и, показывая рукой на воззвание, приказал:

– Lieutenant, arrachez cet e merde! Je n'ais pas tout compris, mais probablement, quelque chose de hardi et outragent.<sup>1</sup>

Адъютант маленькой рукой, затянутой в кожаную перчатку, попытался сорвать листок. Воззвание было приклеено прочно, не поддавалось усилиям офицера. Лейтенант сделал несколько нетерпеливых движений, занозил себе два пальца, разорвал перчатку.

– Que diable t'emporte!<sup>2</sup>

Шашка вылетела из ножен. Воззвание было вырублено, искрошено в клочки с деревом вместе.

В селе белые задержались не более двух часов. Передохнули, напились чаю и снова бросились преследовать отступавших партизан. Полковник Орлов в своем донесении Красильникову писал перед выступлением из Пчелина, что он двигается на север ликвидировать демора-

<sup>1</sup> Лейтенант, сорвите эту гадость! Я не все понял, но, кажется, что-то дерзкое и оскорбительное.

<sup>2</sup> Черт тебя возьми!

лизованные и рассеянные по тайге банды большевиков. Французы – седоусый полковник и молоденький лейтенант – ехали с итальянским штабом отряда сзади всей колонны в новеньком рессорном экипаже на резиновом ходу. Ноздри полковника раздувались от удовольствия, глаза блестели. Он жадно дышал свежим, душистым воздухом тайги. Сосны, пихты, ели, кедры махали зелеными лапами над головами офицеров.

– Quelle excellence! Quelle beauté!<sup>1</sup>

Полковник оглядывал от корня до вершины вековые стройные стволы таежных красавцев.

– Quelle richesse! Quelle richesse!<sup>2</sup>

Адъютант утвердительно кивал головой, поправляя пенсне, свалившееся с носа от сильных толчков на выбоинах и корнях в глубокой колее дороги.

Маневрами больших масс противника у партизан были отрезаны все пути отступления. Они были прижаты к стене девственной, непроходимой тайги. Сотни телег с семьями, гурты скота, обоз раненых и больных, подводы с продовольствием и огнеприпасами, конный дивизион Кренца, все три полка, учебный запасный батальон, комендантская команда, команда связи, саперная команда собрались в одном месте на зеленой таежной поляне. Штаб стоял охваченный плотным кольцом стрелков. Положение создалось тяжелое. Необходимо было немедленно принять определенное решение. Люди молча, опустив головы, думали. Жарков, закусив губу и наморщив лоб, смотрел режущим, неподвижным взглядом в лица бойцов. На поляне было почти тихо. Ребятишки только нарушали угрюмое безмолвие, и коровы мычали жалобно, протяжно, как на пожаре. Малодушной мысли о плене не было ни у кого. Огненной ненависти к белым, казалось, хватило бы для того, чтобы выжечь на своем пути всю тайгу, пойти на самые страшные жертвы и лишения, биться до последнего патрона, до последнего целого штыка и живого бойца, но не сдаться.

Трое конных разведчиков подъехали к Жаркову с донесением, что белые в пяти верстах колонной движутся следом за отходящим заслоном 1-го Таежного полка. Жарков потрянул головой, выпрямился. Близость врага заставила усиленно заработать мысль, сердце быстрее погнало по жилам кровь. Мускулы напряглись. Он уже знал, что нужно делать. Он отчетливо представил себе план предстоящего боя и дальнейшего отхода.

– Товарищи, – голос вождя звенел, – белые гады гонятся за нами, они недалеко.

Бабы стали унимать ребятишек, мужики, толкаясь, столпились вокруг штаба, бойцы–партизаны стояли плечо к плечу, задевая друг друга ружьями.

– Сейчас нужно будет приготовить им встречу! Ружья застучали, толпа колыхнулась, зажженная опасностью.

– Все равно пропадать! Пусть сунутся! Мы готовы!

Мы им еще покажем!

Жарков замахал рукой:

– Товарищи, без рассуждения. Я вас не спрашиваю, готовы вы или нет. Партизан должен быть всегда готов. Кто ежели не готов или не желает, тот не партизан, ему не место промеж нас! 1-му Таежному полку немедленно выступить навстречу своему заслону и, соединившись с ним, остановить белогвардейцев на линии Сохатинного колка. 3-му Пчелинскому вдоль всей этой поляны, вон там, – Жарков показал рукой, – приступить к рубке засеки и рытью окопов. 2-му Медвежинскому – батальон на правый фланк, позадь Таежного, два батальона – на левый фланк. Кренц, тебе задача: во что бы то ни стало забраться в тыл гадам и захватить у них патронов. Без патронов пропадем. Учебникам, комендантской и беженцам пилить и рубить тайгу в направлении на Чистую. Рубите не больно широко, так, чтоб телеге проехать. Пилить и рубить без остановки, попеременно и день, и ночь. Пропилим, уйдем на Чисту, на плотках спустимся к Черной горе. Не пропилим, придется все побросать. Без продуктов да без обоза не навоюешь много. Ну, валите, ребята! Время нет!

Таежный полк выстроился, тремя змейками пополз вперед, щупая конными и пешими дозорами молчаливую тайгу. Поляна зашевелилась. Люди принялись за работу. Все хорошо знали железную руку Жаркова, знали, что он не пощадит изменника, но и знали, что зря приказывать и делать он также не будет. Первый топор, сочно тяпнув, впился в сосну. Его

<sup>1</sup> Какая прелесть! Какая красота!

<sup>2</sup> Какое богатство! Какое богатство!

поддержал целый десяток других. Звонко зашипели пилы. Тайга наполнилась шумом и стуком. Бабы и девки растаскивали бурелом. Медвежинский полк валил верхушками на поляну огромные деревья. Саперы сейчас же заостривали сучья, оплетали их колючей проволокой. Жарков сам промерил ширину поляны.

– Две тысячи шагов. Здорово. Запомним, – мысленно рассуждал партизан, становясь на опушке.

Таежный полк подошел к Сохатинскому колку, когда заслон, уже окопавшись на нем, ждал приближения белых. Мотыгин положил весь полк в цепь.

Белые шли беспечно, как победители. Орлов не допускал мысли о серьезном столкновении с красными. Цепь партизан перехватывала узкую дорогу, по которой шла колонна красильниковцев. Мотыгин, спрятав бойцов в тайге, без выстрела пропустил конный дозор противника, потом, как только он проехал, сомкнул цепь и ветрел белых метким, неожиданным залпом. Орлов не растерялся, нагайкой стал разгонять в цепь солдат, струсивших и побежавших толпой.

– Стой, сволочь! Запорю! В цепь! – ревел полковник.

– Пара красных наскочила, а они уже в штаны напустили! Господа офицеры, по местам! – Успокаивающе щелкнули первые выстрелы. Белые оправились. Стали вытаскивать раненых.

– Часто начинай! – приказал Орлов. Защелкали пачками. На самой дороге, обозлившись, запел пулемет. Партизаны уткнулись головами в окопчики, не стреляли.

Полковник и лейтенант, услышав стрельбу, недоумевающе переглянулись, стали прислушиваться. Кучер остановил лошадь. К экипажу подошел офицер–итальянец.

Кренц с одним эскадроном выехал во фланг иностранному отряду.

– Смотрите, товарищи, – шептал он кавалеристам, – наши с женами, детишками тайгу руками рвут, а эта сволочь в ланде раскатывается.

Партизаны вытащили из ножен клинки. На молодое, безусое лицо командира легла черная тень, он подался всем туловищем вперед, воткнул шпоры в бока лошади.

– Ура–а–а!

Среди сучьев, темной зелени и желтых стволов сверкнули блестящие, острые языки стали. Французы и итальянцы не успели ничего понять. К лейтенанту на колени упало кепи полковника, сброшенное с головы ударом шашки вместе с крышкой черепа. Адьютант удивился, что кепи, светло–синее всегда, вдруг стало красным. В следующее мгновение сам он, взмахнув руками, уронил голову под колеса, ткнулся обрубком шеи кучеру в спину, облил кровью весь экипаж. Итальянец метнулся в сторону, но у него сейчас же разорвалась шляпа, вывернулась красной, теплой подкладкой. Весь отряд итальянцев был деморализован. Солдаты, бросая винтовки, бестолково метались от кавалеристов. Короткие накидки у них раздувались за плечами, шляпы падали. Партизаны секли итальянцев, как капусту. Менее чем в минуту колонна была разогнана, перерублена. Кренц не позволил снимать обмундирование с убитых, торопил бойцов. Захватив около сорока цинков патронов, два пулемета, десятка три винтовок, партизаны бросились обратно. Подошедшие к месту налета румыны открыли вслед им огонь. Кавалеристы ускакали, потеряв троих ранеными и одного убитым.

Черный кудрявый пудель закрутился у трупа своего хозяина, взвизгивая, стал лизать мертвые, похолодевшие, пухлые руки...

Мотыгин, услышав перестрелку в тылу у белых, понял, что Кренц благополучно заехал в хвост наступающим. Предприимчивый партизан моментально учел моральное значение нападения кавалеристов, решил использовать некоторое замешательство красильниковцев.

– Товарищи, вперед! Ура–а–а!

Мотыгин первый бросился в атаку. Белые побежали. Партизаны огнем в спину вырвали у них из цепи несколько десятков солдат, подобрали винтовки убитых, сняли с них подсумки, обмундирование, сапоги и снова отошли на свои позиции к Сохатинскому колку.

Беженцы и партизаны учебного батальона с шумом и грохотом врзались в тайгу.

– Товарищи, пили! Пили! На фронте бой! Патронов у нас мало! Скорее! Скорей!

Старики, женщины, парни и девушки и взрослые мужчины работали с ожесточением. Вековая, твердая как камень лиственница сопротивлялась больше всех. Широкоголовые кедры, глухо стоная, ложились под ноги, кланялись пышными шапками. С треском падали сосны и

ели. Благоухая ароматом смолы, подкашивались пихты. Живое огненное сверло впивалось в душистое, желто–зеленое тело тайги, рвало его, прорезая широкую прямую борозду.

– Пили, товарищи! Пили!

У корней в зеленоватом полумраке бился пестрый клубок. Дарья Непомнящих пилила со стариком Чубуковым. Ребенок у нее умер.

– Устала, поди, Дарья?

Чубуков остановил пилу, вытер рукавом потное лицо.

– Какой там устала. Пилить надо, дедушка. Всех они нас, ироды, в землю закопают, коли не уйдем.

Дарья нагнулась, сморщившись, проглотила слезы. Пила зазвенела. Деревья трещали, падая, разгоняли людей в стороны, грохочущим ревом прощались с живыми братьями, недорубленные вздрагивали всем стволом, трясли иглами.

– Пили, товарищи! Пили!

Орлов был взбешен неудачей. Собрав свою цепь и дав немного отдохнуть солдатам, он бросился в контратаку. Партизаны, как и всегда, подпустили белых на близкое расстояние, сильным огнем остановили их, заставили лечь, окопаться. Красильниковцы стреляли пачками до сумерек. Ночью Жарков приказал Таежному полку оставить позицию, отойти в резерв. Сторожевое охранение выставил 3–й Пчелинский полк, он же занял укрепленные окопы вдоль всей поляны. Медвежинцы, напившись чаю, принялись за прорубку дороги. Стрелки, сменившиеся из первой линии, легли спать. Костры горели ярко. Коровьи и лошадиные морды, жевавшие траву, стали медно–красными, тяжелыми. Женщины, которым нельзя было отойти от ребятишек, готовили ужин на весь отряд. Высокими, качающимися тенями наклонялись они над огнем, мешали длинными ложками в больших котлах и ведрах. Несколько собачонок жадно ловили носами запах разваривающегося мяса, жались к кострам. В чаще тайги треск и грохот не умолкал. Саперы по пояс в ледяной родниковой воде и вязкой тине настилали гати и мостки через таежные ручьи, болотца и речушки. В темноте, на ощупь, люди расчищали себе дорогу.

Чубуков не успел вовремя отбежать в сторону, срезанное дерево, свалившись, вывихнуло ему ногу. Старика унесли к обозу. Дарья бросила пилу, с саперами лазила по воде, помогала укладывать бревна. Ночью пилили медленнее, осторожнее... Прежде чем свалить дерево, кричали:

– Берегись!

Ждали, пока все отойдут, переспрашивали, повторяли предостережение. Жарков, с трудом вытаскивая из тины бродни, ходил вокруг саперов, давал указания, распоряжался, помогал выкатывать длинные стволы только что срубленных деревьев. Людей видно не было. В темноте стоял острый запах пота. Стук топоров и свист пил напоминал фабричный шум машин. Казалось, что в самой гуще дикого леса полным ходом работает большой завод с потушенными огнями. Ни окон, ни здания разглядеть было нельзя. Деревья падали.

– Товарищи, пили! Пили! – Жарков кричал, сквозь гром работы подбадривал бойцов.

– К утру, товарищи, поляну–то очистить надо?

В тайге далеко и на поляне другой Жарков, невидимый, огромный и властный, раскати-сто повторял:

– Пили, товарищи! Пили!

Все мысли сосредоточивались на одном:

– Пропилить! Пропилить!

– Товарищи, пили!

Сверло с грохотом впивалось в разбуженную тайгу. Узкая полоска новой дороги росла. Завод стучал, звенел. Потом пахло сильнее, чем смолой.

К рассвету весь обоз, подвода за подводой, осторожно заполз в узкую щель просеки. На поляне остались черные головни потухших костров. Скот, зажатый между телег, ревел, срывался в воду с мокрых, скользких бревен мостков. Женщины жались с ребятишками на возах. Комары миллионами набрасывались на беглецов. Впереди пилили. Тайга медленно расступалась, давала дорогу. Жарков с командиром Пчелинского полка задержался на поляне.



– Смотри, Силантьев, держись до последу. Если станет невтерпеж, вздумаешь отступить – предупреди.

– Об этом не думайте, товарищ Жарков, постоим, как сила возьмет.

– Нам чтобы врасплох с пилами да с топорами не влопаться.

– Не сомневайтесь.

– Ну, смотри, брат, не подгадь. Счастливо тебе.

Жарков повернул лошадь, поехал к обозу. Со стороны Сохатинского колка трещали выстрелы. Полевые караулы партизан встречали разведчиков белых. Весь день красильниковцы небольшими разведывательными партиями путались по тайге. Кучки партизан из засады нападали на них, обращали в бегство. Ночь прошла спокойно. Но работа не останавливалась. Узкая щель раздирала тайгу, наполнялась людьми и животными, кипела шумным, горячим потоком.

– Пили! Пили!

Пчелинцев сменили медвежинцы. Черепков промерил поляну, наставил кое-где вешки, думая бить наверняка, прицел назначать сразу безошибочно. Полевые караулы и маленькие засады были сняты. Партизаны залегли за укрепленной засекой в окопах.

Гусар в красной бескозырке осторожно подъехал к краю поляны, остановив лошадь, всматривался в темную чащу. Партизаны зашевелились, приподняли головы.

– Товарищ Черепков, дозвоьте уконтрамить его, – шептал молодой парень Петр Быстров.

В зеленой тени глаза Петра светились, безусое, круглое лицо напряженно вытянулось.

– Погоди, ближе подъедет.

Гусар нерешительно тронул шпорами бока лошади. За ним выехали еще двое. Ехали шагом, озираясь по сторонам, часто оглядывались. Красные бескозырки яркими пятнами качались над головами пегих лошадей.

– Трах! Трах! Трах! – почти одновременно хлопнули три винтовки.

Две лошади упали. Одна грудью, другая села на зад, свернулась набок, забила ногами. Третья сбросила мертвого всадника, захрапела, побежала к партизанам. Ее поймали. Красные блины шлепнулись на траву. Один гусар, прихрамывая, бросил винтовку и шашку, заковылял назад.

– Трах!

Гусар лег, махнул руками, затих. Быстров и человек пять партизан побежали подбирать оружие, снимать седла с убитых лошадей, обмундирование с гусар. С другого конца поляны злобно рывкнул залп. Опушка зашумела, защелкала. Красные побежали обратно. Длинная, ровная цепь, стреляя на ходу, вышла из-за деревьев. Не получая ответа, белые шли нервно, торопливо. Они благополучно миновали вешки на тысячу шестьсот шагов, тысячу двести, восемьсот.

– Приготовиться!

Кривой сучок с пучком соломы. Шестьсот.

– Пулемет, огонь!

Животы стало рвать. Красильниковцы, подгибая колени к подбородку, кувыркались на землю.

– Часто начинай!

Цепь рвалась, путалась. Залегла. Сзади подползала резервная, густая, еще не обстрелянная. В иглах сваленных деревьев клубился пороховой дым, мешал. Сотни глаз зорко вглядывались, беззвучно, одновременно, ровно мигали. За спиной у партизан грохот не ослабевал. Топоры стучали, как пулеметы. Пилы со свистом грызли толстые стволы. Рубахи и кофты промокли потом насквозь.

– Пили, товарищи! Пили!

Пули залетали в обоз. Ранило корову. Ветки, сбитые сверху, падали на головы. От телег с патронами протянулась к первой линии длинная цепь. Несколько человек, сидя на возах, заряжали патроны для бердан и централок. Вперед шли тяжелые, с порохом и кусками свинца, холодные. Назад передавали легкие, горячие, пустые, пахнувшие дымом. Дарья ползла от окопчика к окопчику, собирала стреляные гильзы. Жены бойцов подтаскивали цинки, разда-

вали пачки винтовочных патронов. Ранило Кузьму Черных, Степана Белкина, Ивана Корнева, Пустомятова, Ватюкова, Лукина. Их несли, и за ними по узкой дороге адела узкая полоска крови.

– Траах! Баррах! Бах! Тах! Та, та, та! Та, та, та! Упругая красная цепь отталкивала белую обратно.

Как оспа, изъели окопчики зеленое лицо поляны.

– Цепь, вперед! Ура!

– Та, та, та! Та, та, та! Брах! Бах! Тах! Трах! Запутались в засеке, повисли на проволоке, забились, как мухи в тенетах.

– Та, та, та! Та, та, та! Трах! Трах! Трах!

– Товарищи, пили! Пили!

Побежали назад. Задохнулись, упали на траву, расползлись по черным ямкам.

– Бах! Бах! Уррр! Виужжж! Баххх!

– Эге, артиллерию пустили! – Черепков наморщил лоб.

– Товарищи, без приказа не отступать!

На проволоке, на сучьях мотались мертвые. Белые стали убирать убитых и раненых. Гранаты пыхали огнем, раскидывали, разламывали засеку. Проволока рвалась и висла клочьями. Дым мешал.

– Та, та, та! Та, та, та!

Надо бы торопиться. В первой линии стало душно, воздуху не доставало. Щель редела. Коровы мычали. Лошади бились, храпели, ржали. С топорами, с пилами люди ползали под корнями.

– Пили! Пили!

– Ура! А–а–а!

– Врешь, наколешься! Черепков стоял в цепи во весь рост.

– Крой, товарищи! Чаше! Чаше!

– Трах! Бах! Ва! Бах! Та, та, та!

– Так их! Еще разок сбегайте, господа, до ветра! Белые снова отошли. Артиллерия стальными кулаками стучала по земле, разгребала сучья.

Ночью ползком стали красться к разрушенной засеке. Далеко в тайге с грохотом рухнула последняя сосна. Жаркий, потный клубок выкатился на реку.

– Пропилили! Пропилили!

Засека молчала, безлюдная, покорная. Орлов топал ногами, плевался. Раненых и убитых у него было более пятисот человек.

– Сбежали, трусы, прохвосты! Подлецы! Только из–за угла воюют! Прохвосты!

Идти дальше было опасно. Белые легли в окопчики партизан, стали перекидывать насыпи на другую сторону.

– Пропилили! Пропилили!

В холодные чернила реки скатывались длинные толстые стволы таежных старожил. Несколько плотов к утру подняли всю Таежную Республику с армией и, тихо покачивая, понесли вниз по течению, к Черной горе. Вода в реке стала красной как кровь. Заря разгоралась. Повязки на раненых намокли, покраснели. Убитые, двадцать три человека, лежали серьезные и спокойные за свою судьбу. Их везли схоронить, как героев. На поругание врагам они отданы не были. Мертвецы были довольны. Воздух свежий, душистый, легко поднимал грудь.

– Пропилили! Пропилили!

Коровы и лошади с тревогой косились на воду круглыми большими глазами. Ребятишки спали как мертвые. Взрослые дремали или храпели. Командиры бодрствовали. Работали рулевые. Плоты плыли.

Пятеро конных, оставшихся на берегу, гуськом пробирались через тайгу на юг, к железной дороге; забравшись поглуше, лошадей стреножили. Дремали по очереди.

– Если поезд спустим, расстреляют наших баб–то, Семен? Заложники ведь они.

– Расстреляют.

– У меня отца расстреляют.

– Ну и пусть, хоть всех родных, по крайней мере будем знать, что за нас их убили, за наше дело.

– Спустим.

– Решено.

Дальше тронулись вечером. Совсем в темноте уже нащупали чуть блестящие стальные жилы. Будочник трясся от страха. Ключи отдал сразу. Наскоро развинтили два длинных звена. Отъехали, стали ждать. Стальная кровь тихо, но четко забилась в мертвых, порванных жилах.

– Тук! Тук! Тук! Тук!

Два красных глаза неслись под уклон. Черный, огромный, с хохотом подпрыгнул на одной ноге, его длинный хвост огненными пятнами скрутился в кольцо. Черный кувыркнулся, зарыл глаза в землю, подавился хохотом, шипя лопнул и сразу онемел. Хвост только у него слабо дышал, шевелился и стонал. Убитых и раненых было много. Пятеро повернули коней на север.

На Черной горе пылали костры. В котлах и ведрах кипел чай из брусничника и березового корня. Хлеба не было. Совет Народного Хозяйства выдал всем по полфунта муки. Детям роздали остатки сахара и рису. Под навесами из коры и в таких же шалашах спали раненые. Жарков стоял на самой верхушке каменной лысины, вглядывался в темноту. Он ждал возвращения пятерых. Гора огненной шишкой вздулась среди черной тайги. Чистая внизу о чем-то говорила с камнями.

## ***18. ПРОСПИТСЯ – ОПЯТЬ БУДЕТ ПОДПОРУЧИК БАРАНОВСКИЙ***

Н-ская дивизия отошла на две недели в резерв. Н-цы расположились в большом селе Утином на берегу двух длинных, кривых озер, поросших тростником, по ту сторону которых сейчас же за поскотиной стояла небольшая березовая роща, а левее ее стелились сочные зеленые ковры лугов. Озера были полны диких уток и всякой болотной дичи, а в роще, как овцы, бегали зайцы и черные косачи спокойно сидели на березах. Офицеры немедленно по приходе в Утиное принялись за охоту. Лес, луга, озера огласились раскатистыми выстрелами. Любителей было много, и все с жаром взялись за охоту, привлекаемые обилием дичи. Солдаты обратили свое внимание в другую сторону – принялись за рыболовство, доставали у крестьян сети и по целым дням лазили по озерам, ловя золотистых жирных карасей. Люди посолідней, семейные, интересовались больше скромными домашними удовольствиями – топили бани, целыми часами парились в них со всем семейством, а потом сидели в светлых и просторных горницах домовитых сибиряков и подолгу пили горячий душистый чай. Сидели за чаем с особенным наслаждением, так как на столе ласково шипел большой, сверкающий медью самовар, а любимую китайскую травку можно было пить из блюдечка, не торопясь, что ярко напоминало дом и недавнюю мирную жизнь. Бабы принялись за стирку, штопанье, чинку. По утрам суетились у печек, разводя стряпню. Ротные кухни ремонтировались, и продукты солдатам выдавались на руки. Готовить приходилось самим. Продуктов давалось много, вволю, да к тому же и в селе можно было достать что угодно по очень сходным ценам. Хозяева продавали все, что могли. Было из чего постряпать бабам, и они старались вовсю. Солдаты, сытые и отдохнувшие, ходили, как именинники. Молодежь совместно с местными парнями и девушками устраивала вечеринки, и звуки гармоники и веселых песен оглашали Утиное с вечера до рассвета. Было начало августа, ночи становились сырыми, холодными. Н-цы стали поговаривать о теплом белье. Начальник хозяйственной части вернулся из Омска как раз вовремя, привез английское обмундирование на весь полк. Обтрепавшиеся Н-цы получили шерстяные английские френчи, брюки, теплое белье, носки, вязанные американские фуфайки, шарфы, шлемы, перчатки и толстые суконные шинели. Оделись и принялись хохотать. Люди не узнавали друг друга: все стало похоже на англичан. Когда какая-нибудь рота, одетая во все английское, выстраивалась и лица, как и всегда в строю, теряли свои характерные черты, то со стороны нельзя было разобрать, англичане это стоят или русские. Фома тоже оделся во все английское, и Барановский хохотал над ним до упаду, глядя на его неуклюжую фигуру и типичное русское лицо с вздернутым мясистым носом.

– Фомушка, да ты настоящий англичанин. Я теперь тебя буду звать Томом. Какой ты Фома? Ты Том, настоящий Том.

Фомушка хорошенько не понимал, что говорил командир, но обмундирование ему ужасно нравилось, и он довольно улыбался. N–цы, получив вещи, очень удивлялись, что за границей так хорошо одевают солдат.

Молодой татарин Валиулин, из роты Мотовилова, с кучей полученного обмундирования бежал по улице и чуть не сшиб с ног командира, шедшего ему навстречу с подпоручиком Колпаковым.

– Валиулин, это что? – сердито крикнул Мотовилов, с его языка готово было сорваться жестокое «Два наряда», но лицо солдата сияло такой добродушной улыбкой, что офицер тоже улыбнулся.

– Уй, гаспадын паручик, виноват. Мы вас не видал. Моя сирдца рад стал, бульна харошь мундированья получал.

– Ну, иди, – отпустил его Мотовилов.

– Черт их знает, как дети маленькие: дай им игрушку, и они все забудут. Забудут о том, что сегодня они получают щегольский английский костюм, а завтра их в этом же костюме и за этот именно костюм погонят, как баранов, на фронт, где, может быть, в первом же бою их изорвет снарядом в клочья вместе с их новеньким френчем, – рассуждал Колпаков.

– Ничего, – отвечал Мотовилов, – это хорошо. Чем темнее масса, тем лучше. Чем охотнее идет она на разные такие приманки, тем выгоднее для нас. Ну что же, отдадим мы англичанам за эти френчи сколько–нибудь золота, и ладно, зато будем знать, что наш солдат доволен, а раз доволен, то он и дерется хорошо. Это главное. Солдата нужно только одеть и накормить, и он пойдет. Он пойдет и завоюет нам власть. Ради этого не стоит жалеть кучи золота или чего–нибудь в этом роде. Да–с.

Офицеры замолчали, закурили, пошли до ближайшего угла и повернули влево, решив зайти к Барановскому, вспомнив, что он вчера ходил на охоту и что у него, наверное, будет жареная дичь. Офицеры не ошиблись. Барановский охотился вчера весьма удачно, вернулся домой с хорошим полем. Сегодня он сам возился у печки, жаривая дичь. Молодой офицер обладал недурными познаниями в области кулинарии и при случае был не прочь блеснуть ими.

– Ага, пришли. Ну вот и отлично. А я за вами хотел уж Фомушку посылать, – встретил хозяин гостей.

– Хочу сегодня именины свои справлять. Обед закатил министерский.

– Да ты разве именинник? – удивились пришедшие.

Барановский засмеялся.

– Да нет, я именинник буду еще в декабре, да черт его знает, где в то время будешь, а пока есть возможность, так надо оправить.

– Молодец, молодец, Ваня, – заревел Мотовилов.

– Руку, именинник. Со днем ангела тебя. Чего там ждать, когда праздник придет, у нас, у людей военных, коли есть чего жрать, так и праздник. Это здорово ты, Иваган, придумал. Правильно. Одобряю.

Сзади Барановского стояла хозяйка дома и с ласковой улыбкой смотрела на суетившегося у печки офицера.

– Что, хозяйюшка, хорош повар–то? – лукаво подмигнул Колпаков.

Хозяйка, молодая вдова, стыдливо закрылась кончиками головного платка, покраснела.

– Да уж чего и говорить, не повар, а золото. А уж знает–то все до тонкости, что, как и куда. Ох, гляжу я, не похожи вы на белых–то, – вдруг неожиданно добавила она.

– Почему не похожи? – засмеялись офицеры.

– Да уж чего там, знаю я белых. Стояли у нас и полковники, и капитаны, так к ним не подступишься. Слова не скажут тебе путем, все как–то срыву да грубо. Сами уж чтоб чего сделать, боже упаси, все денщиков заставляют. А вы что: и с народом разговариваете, а они вон и стряпают сами.

– Ну, хозяйюшка, нам до капитанов–то еще далеко.

– Нет, уж не говорите, и солдаты у вас ласковые, обходительные, и порядок у вас есть. Зря не делаете вы. Ну вот в точности как у красных.

– Что ты сказала? – нахмурился Мотовилов.

– Говорю, мол, на красных вы похожи. Они у нас неделю стояли, так очень хорошие люди.

Ну, а ваши–то есть не дай бог.

Хозяйка махнула рукой. Мотовилов сердито молчал.

Колпаков заметил:

– Правду, видно, говорил полковник–то пленный, что красные теперь не те, что раньше, у них теперь порядок, дисциплина. От этого–то их мирное население и встречает хорошо.

– Ну проходите, проходите в переднюю, я сейчас кончу, – обратился к офицерам Барановский.

Подпоручики прошли в переднюю половину избы и сели на широкий деревянный диван. Вскоре после их прихода прибежал веселый, возбужденный Петин и с порога еще закричал:

– Господа, новость. N–цы вчера чуть было самого Тухачевского не поймали.

Офицеры оживились. Мотовилов не расслышал как следует, ему показалось, Петин сказал, что Тухачевский захвачен в плен. Как пружина, вскочил он с дивана, схватил пришедшего за руки, начал трясти его изо всей силы и, захлебываясь от радости, засыпал вопросами.

– Где? Когда? Кто? Как?

– Говорю тебе, вчера перебежал один красноармеец к N–цам, ну и сказал им, что Тухачевский в Михайловке. N–цы, как звери, бросились в наступление, совместно с казачьим полком прорвали в два счета фронт, отрезали с тылу Михайловку, а Тухачевский у них под носом на автомобиле проскочил.

– Фу, черт, – разочарованно вздохнул Мотовилов. – Так, его, значит, не захватили?

– Конечно, нет.

– Ну, это, брат, неинтересно.

– Тебе, может быть, и неинтересно, а N–цы и сейчас не могут успокоиться, жалеют, что не пришлось им с самого Тухачевского обмундирование содрать.

Колпаков пускал колечки дыма.

– Забавная эта традиция у нас в армии, господа: как попался красный в плен – крышка, до ниточки обнимают всего. Оставят буквально почти в чем мать родила. Зимой ли, летом – все равно, тут хоть мороз–размороз будь. Точно по принципу Крылова: с волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой.

Мотовилов возразил:

– Это не забавно, а целесообразно. Обмундирования мало, значит, его нужно отнять у врага.

Пришел новый знакомый, однополчанин штабс–капитан Капустин, очень веселый человек, имевший недурной тенорок и умевший порядочно играть на гитаре. Пришел еще кое–кто из молодежи, не было только подпоручика Иванова: ему пуля раздробила ногу, и он уехал в лазарет. Перед обедом разговорились о положении дел на фронте. Кто–то сообщил, что у Деникина все обстоит как нельзя лучше, что он уже в трехстах верстах от Москвы. Мотовилов говорил:

– Хорошо бы, господа, попасть к Деникину. У него ведь армия не нашей чета, добровольческая. Вот там бы можно было повоевать.

Барановский с обедом отличился. Меню было очень разнообразное. Прежде всего с графином хорошей водки была подана холодная закуска – поросенок со сметаной и хреном, студень и соленые грибы. Когда гости пропустили по «маленькой», был подан пирог с рисом и курицей. После пирога появился настоящий малороссийский борщ. Борщ сменили жареные тетерева, утки, заяц и жирный домашний гусь. После жаркого был подан пудинг и кофе. Все было приготовлено, как в первом классе ресторана. Офицеры после однообразных щей и каши, которыми потчевали их ежедневно денщики, были в восторге от такого разнообразия блюд и хвалили наперебой искусство Барановского. Барановский, как настоящий именинник, был героем дня. Отпив с полстакана кофе, штабс–капитан Капустин сделал дурашливо–плачущее лицо, взял гитару и, слегка тренькая на ней, тонким, жалобным тенорком запел:

Эх, заварили чехи кашу,

Провоевали Волгу нашу.

Офицеры, возбужденные несколькими рюмками водки, затянули припев:

Ах, шарабан мой,  
Щарабан,  
Денег не будет,  
Тебя продам.

Барановский замахал руками.

– Да бросьте вы, господа, этот «Шарабан». Только и знают, что орут эту белиберду.

Русски с русскими воюют,  
А чехи сахаром торгуют.

Не унимался Капустин:

Ах, шарабан мой,  
Шарабан,  
А я, мальчишка,  
Вечно пьян.

– Антон Павлович, – с укором посмотрел на него Барановский.

– Ну, ладно, ладно, не буду. Коли хозяин не велит, так быть по сему. Не любите, значит, вы белогвардейское творчество. «Шарабан» – то ведь во времена белогвардейщины на Волге создался.

Капустин тряхнул кудрями, закинул голову назад, лихо пробежал рукой по струнам, крикнул:

– Не хотите белогвардейскую, так вот вам пермскую, народную:

Д'наша горкя,  
Д'ваша горкя,  
Только разница одна.  
Кто мою Матаню тронет,

Тот отведает ножа.

– У–у–ух–ты!

Все засмеялись. Капустин замолчал и с серьезным видом стал допивать стакан. Колпаков развалился на стуле и, сладко затягиваясь папиросой, стал вслух вспоминать то время, когда он беззаботным ветрогоном, студентом юридического факультета, носился по Казани.

– Хорошее это время было, господа, когда я учился в университете. Учиться я начал осенью шестнадцатого, а в марте семнадцатого вы ведь знаете, какую радость пришлось пережить.

Колпаков был кадет и немного либеральничал. Мотовилов, Петин и другие офицеры, настроенные монархически, засмеялись.

– Радость, действительно. Нечего сказать. Балаган такой на всю Россию господа социалисты подняли, такой порядок навели, что хоть святых выноси.

– Ну, господа, не будем спорить. Вы – монархисты, а я ка–де, и в этом мы никогда не сойдемся.

– Как вы сказали? Ка–ве–де? – пошутил Капустин.

– Ка–де, – серьезно повторил Колпаков. – Да, я ка–де, вы монархисты, и все мы делаем одно общее дело, дело освобождения России от ига большевизма. Вот та платформа, на которой мы пока сходимся.

– А я вот только одну партию и признаю – ка–ве–де, – продолжал смеяться штабс–капитан. Колпаков пристально посмотрел на Капустина.

– Так вы, капитан, сами, значит, живете так – куда ветер дует?

– Именно. Именно так. Как это вы угадали? – закривлялся офицер.

Колпаков серьезно смотрел ему в глаза. Капустин схватил гитару:

На Кавказе между гор  
Есть одна долина.  
Что ты смотришь на меня?  
Я не мандолина.

Колпаков расхохотался:

– С вами не сговоришь.

– Нет, господа, а все–таки, становясь на объективную точку зрения... – начал он опять.

– Брось ты свои умствования революционные, – перебил его Петин. – Начнет это беско-

нечное «с объективной точки зрения», субъективно смотря на дело, анализируя весь пройденный нами путь и синтезируя все сделанные нами пакости, и пойдут, и пойдут. Давайте лучше споем. Правда, капитан?

– Я всегда готов, – отозвался Капустин. Прапорщик Гвоздь предложил спеть малороссийскую.

Все согласились. Гвоздь начал:

Гей вы, хлопцы, добри молодци,  
Чого смутни, не весели?  
Хиба в шинкарки мало горилки,  
Пива и меду не стало?  
Офицеры дружно поддержали:  
Повни чары всим нальвайте,  
Щоб через винця лылося!  
Щоб наша доля нас не цуралась,  
Щоб лучче в свити жилося!

Песня понравилась всем, и все пели охотно. Каждый в глубине души чувствовал, что доля его незавидная, что всех их жизнь порядочно пощипала. Долго в избе лились грустные звуки мотива и, мягко вторя им, звенела гитара. Хозяйка стояла в дверях передней, не спускала с Барановского глаз, часто смахивала с своих длинных ресниц блестящие слезинки. Фомушка подал на стол кипящий самовар, поставил банку варенья, положил несколько плиток шоколада и коробку карамели.

– Откуда у тебя, Ваня, такое богатство? – спросил Колпаков.

– Как откуда? Да сегодня же подарки получили. Омские дамы послали сладости, а Колчак по две смены белья. Начхоз когда выдавал, то говорил, что Колчак это лично от себя офицерам шлет.

– Ну, наш батальон не получал еще, значит, – сообразил офицер.

Офицеры, смеясь, стали садиться к столу.

– Я хочу, господа, все-таки сказать несколько слов о том, что мирная жизнь лучше, интересней боевой.

Все молчали, занятые чаепитием. Видя, что никто не возражает, Колпаков продолжал:

– Ну что, сидел бы вот я теперь дома с хорошей книгой или свежей газетой, шипел бы около меня самоварчик, и в ус бы я не дул. Пожалуй, ничего бы и жениться. Жил бы себе мирно, тихо, не признавал бы никаких командиров, никаких приказов по полку. Знал бы я, что я Михаил Венедиктович Колпаков, и баста. А то вот теперь выпекли из меня подпоручика, дали роту и лишили вольной волюшки.

Мотовилов потянулся за карамелькой, презрительно бросил:

– Эх, Михаил, попом бы тебе быть, а не офицером.

Колпаков не обиделся.

– Пожалуй, я бы не прочь, хоть сейчас, попом, дьяконом, чертом, кем угодно готов быть, только не офицером. Ох, тяжелы эти погоны золотые. Да и что они дают в конце концов? Вот ты офицер, командир роты, в снег, в грязь, в непогодь, в дождь шлепаешь по лужам с ротой. Валяешься в мокрой грязи, зарываешься, как крот, в землю, подставляешь свою башку каждый день под все виды огня и каждый день имеешь девяносто девять и девять сотых за то, что тебя ухлопают или изуродуют. А главное, будь всегда на высоте своего положения, будь каким-то сверхчеловеком: ты и струсить не моги, ты устать не смей и ошибиться тебе нельзя, потому что солдаты на тебя смотрят, с тебя пример берут, а начальство тебя дерет как сидорову козу опять-таки потому, что ты офицер. Завидная доля, нечего сказать!

Многие в душе соглашались с Колпаковым, понимали его. Многих офицеров тяготила та страшная служебная зависимость младшего от старшего, та сугубая субординация, с которой приходилось сталкиваться каждый день, в условиях которой нужно было жить. К тому же походная и боевая жизнь с ее длительными переходами пешком, по грязи или снегу, днем и ночью, без пищи, без воды, без смены белья не привлекала никого. Многие с удовольствием мечтали о теплой, светлой комнате, о стакане чая в кругу родной семьи, о чистом белье, о спокойном, нормальном сне. Штабс-капитан Капустин задумчиво помешивал ложечкой в стакане и говорил о том, как хорошо теперь у них на Волге:

– К осени Волга у нас полноводной делается. Право так, спокойно она, как дородная красавица, идет между берегов. С берегов леса да горы смотрятся в ее глубокие очи, приветливо кивают своими верхушками могучие дубы, развесистые белые березы и широкие, кряжистые, как купцы, вязы, и осина серебристая при виде ее дрожит и трепещет всеми своими листочками. Колпаков засмеялся:

– Вы чего это, капитан, в лирику пустились? Кажется, гоголевский Днепр перефразируете? – Капустин взглянул на него ласковыми, добрыми глазами.

– Разве? Э, ей-богу, это нечаянно. Это у меня от души, господа, вырвалось. Должен вам сказать, господа, что я хотя и штабс-капитан, но человек не военный и не злой я, нет. Нет у меня этого драчливого задора военного. Противна мне война и всякая военщина. Служил я раньше преподавателем естественных наук в женской гимназии и реальном, никогда я политикой не интересовался, зоология для меня была интересней всяких социологий, политических экономий и историй революционных движений. Знал я только букашек да мошек, ездил на охоту. Занимался препарированием всякой всячины. Грешил немного геологией. Есть у меня в этой области даже работа. Жил себе человек тихо, мирно. А тут вдруг этот чешский переворот, и забрали меня, голубчика, за то, что я имел несчастье в германскую войну школу прапорщиков кончить и штабс-капитаном стать. Я было это по-обывательски нейтралитетом хотел отговориться, ссылаясь, что эта война просто, мол, за власть. Пригрозили расстрелом. И вот пошел я на войну. Но даю вам честное слово, господа, что пошел я без всякой злобы на большевиков, не знал я их, да и сейчас не знаю и сейчас не понимаю, за что, собственно, мы деремся. Деремья мы под красным флагом, кричим о какой-то свободе. Красные тоже говорят, что революцию спасают. Ничего не разберешь. А как вспомнишь Волгу, свой кабинет, свои работы, так и хочется сказать: пошли вы все к черту с вашими большевиками, меньшевиками и революциями. Дела мне нет до вас. Не мешайте работать.

Капустин замолчал, стал торопливо закуривать. Ноздри его слегка раздувались, глаза были серьезны, горели огоньками возбуждения. Мотовилов мерил капитана презрительным взглядом и, обращаясь к Петину и другим своим единомышленникам, заговорил, подчеркивая и отчеканивая каждое слово:

– Вот тебе и славные N-цы, каковы, господа, в недурную компанию мы попали? Полюбуйтесь, пожалуйста, не угодно ли: вот господин Колпаков, либерал до мозга костей, имеющий намерение сменить офицерский мундир на поповскую рясу и спрятаться от страшных большевиков за юбку своей попадьи; вот штабс-капитан, друг букашек, таракашек и сам божий бычок, до сего времени не знающий, за что он воюет, и в простоте душевной думающий, что с красными можно столковаться о мире.

Капустин побледнел, выронил папиросу. Волнуясь и задыхаясь, он остановил Мотовилова:

– Послушайте, подпоручик, какое вы имеете право так издеваться над людьми, чем вы, собственно, лучше нас, в чем ваше преимущество? Кто это вам позволил обливаться презрением?

Мотовилов нагло улыбнулся.

– Кто позволил? Вот это мило. Презирать вас я имею полное право, ибо я сознательно и убежденно веду борьбу с красными, борюсь с ними, как с разрушителями государства, как с продавцами России. Я иду на смертный бой за воссоздание Великой Единой России во главе с самодержавным монархом. – Мотовилов закурил. – Да, с самодержавным непременно, и таким, какого еще не было раньше. Я верю, что только он воссоздаст армию и поставит офицерство на должную высоту. Вот что дает мне право презирать вас, шпаков, позволяет мне плевать в ваши заячьи душонки. Эх вы, крохоборы, дальше своего носа ничего не видящие.

Офицер встал, глаза его сверкали гневом, грудь поднималась порывисто и часто, он сердито бросил окурочек, заходил по комнате.

– Правильно, Мотовилов, правильно, крой полтинников, – загудели его единомышленники.

Что-то тяжелое и напряженное повисло в комнате. Недавние собутыльники разделились на два враждебных лагеря. Офицеры, ранее, до отхода в резерв, связанные общими боевыми задачами, думавшие только об отдыхе и еде, еще ладили между собой. В училище тоже



все были спаяны железной дисциплиной, о политике почти не говорили, побаивались друг друга. Теперь же каждый почувствовал себя более или менее самостоятельно, к тому же несколько рюмок вина развязали языки. Барановский в училище молчал и считался весьма исполнительным и надежным юнкером. В полку он тоже себя ничем не проявлял, был как все – офицер как офицер. Но, будучи человеком не глупым и чутким, он переживал в душе за последнее время сильную ломку. Судя по докладу пленного командира бригады, по рассказам местных жителей, по литературе, оставляемой красными в деревнях, у него складывалось весьма хорошее мнение о Советской России. В его воображении не раз вставал образ титана пролетария, рвущего свои оковы в неудержимом, всесокрушающем порыве к освобождению, вышедшего на защиту своих прав с винтовкой и молотом в руках. Не столько умом, ясно и определенно, сколько в душе, смутно, он начинал чувствовать, что правда на стороне красных. Что никто другой, а именно они борются за освобождение всего человечества от ига войн, рабства и насилия. С каждым днем приглядываясь к тому, как ведут себя белые на фронте, судя об их поведении в тылу по рассказам крестьян, он приходил к убеждению, что их дело, дело армии Колчака, – несправедливое дело. Ему начинало казаться, что Колчак только пока лицемерно лжет, говоря, что ведет борьбу за власть народа, за Учредительное Собрание, им же разогнанное в Уфе. Чем дольше Барановский служил в белой армии, тем больше убеждался, что белые просто–напросто хотят залить кровью, закидать трупами ту огромную трещину, которая появилась на жирном чреве золотого истукана – идола старого, подлого мира, мира лжи, насилий и угнетения. Мотовилов был неприятно удивлен, когда Барановский, всегда такой вежливый и сговорчивый, подошел к нему и, смело смотря в глаза, с нервной дрожью в голосе спросил:

– Ну, скажи, Борис, скажи ты, считающий себя человеком, а не букашкой, думающий, что у тебя большая человеческая, а не звериная душонка, где правда твоей жизни? На что опираешься ты, когда говоришь с таким презрением и злобой о красных или о людях, не желающих ввязываться в гражданскую войну? Скажи?

– И ты, Брут?

– Ну, Борис, я никогда не считал тебя своим другом.

– Ах так. Что же, я скажу, пожалуй.

Мотовилов стал медленно закуривать, стараясь выиграть время для того, чтобы обдумать лучше ответ.

– Так вот, видишь ли, по моему мнению, в жизни торжествует только сила. Не верю я и не интересуюсь никакими правдами в жизни. По–моему, где сила, там и всякая ваша правда. Торжествует всегда только сильный. Это основной закон жизни. Ну вот, голубчик, я и думаю, что сила–то, а значит, говоря по–вашему, и правда–то на нашей стороне, ибо нас поддерживает вся культурная Европа. К нашим услугам все усовершенствования и открытия науки, с нами лучшая европейская интеллигенция, у нас огромные запасы необходимых продуктов, а главное, хлеба. Армия наша дисциплинирована, вооружена до зубов. Наши снаряды не советским чета. Наши солдаты идут в бой, зная, что жить с красными нельзя. Конечно, эту дрянь, сибиряков, я не считаю, – оговорился офицер. – А там банда, а не армия, которую гонит в бой кучка комиссаров–проходимцев. А вооружение их, а обмундирование? А тыл, где люди пухнут с голоду? Э, да что говорить. Это всем известно. Кроме того, я думаю, что русский народ монархичен по своей натуре. Без идола ему не обойтись. Ему обязательно надо кому–нибудь поклоняться и чтобы его кто–нибудь порол нагайкой.

Барановский громко засмеялся.

– Ну, Боря, хоть и большая у тебя душа, как ты думаешь, а умишко–то куриный. Сказать, что русскому народу, тому самому народу, который вот уже два года ведет жестокую борьбу со всем миром, который разбивает одного генерала за другим, сбрасывает в море разных союзников, сказать, что этому народу нужны царь и нагайка, по меньшей мере смешно. Сказать, что Красная Армия банда – клевета. И ты сам знаешь, что Красная Армия теперь имеет дисциплину лучше нашей, что она организована не хуже, может быть, даже лучше любой европейской армии. Что она сильна, это ты испытал на своей шее: слава богу, с Волги–то она нас в Сибирь загнала. Нет, брат, там не кучка комиссаров–проходимцев, а настоящие вожди. У нас посмотришь, кто во главе дел, – старые чинуши, отжившие свой век. Ни мысли у них

яркой и живой, ни творческой инициативы. Жизнь бежит вперед, а они пытаются загнать ее в старые рамки. Она не слушается, хлещет половодьем через берега и плотины, а старцы дрожат и бессильно разводят руками. Совсем не то там. Там, брат, широта размаха, планы грандиозные и дела великие. Ты говоришь, что с нами европейская интеллигенция, т. е. опять–таки люди, насквозь проникнутые рутинерством, люди, которые могут строить новое только на старый лад. А у красных теперь весь богатый запас революционной и творческой энергии народа получил свободный выход и приложение. Да у них и интеллигенция есть, только своя. Нет, брат, сила на их стороне, и посмотришь, разобьют они нас.

Мотовилов презрительно молчал. Петин вызывающе смотрел на говорившего.

– Так вам, Иван Николаевич, осталось только к красным перебежать, ведь вы же форменный большевик.

– И перебегу, – с силой и злобой ответил Барановский, круто повернулся и вышел из избы.

Колпаков спокойно констатировал:

– Пьян как сапожник, и больше ничего. Проспитесь и опять будет подпоручик Барановский.

Барановский прошел в огород и, прислонявшись к изгороди, стал смотреть на кривые блестящие стекла озер. Грудь его дышала глубоко и ровно, и весь он был полон легкой радостью. Ему было приятно, что он наконец смело и прямо бросил людям в лицо свои мысли. Он чувствовал себя внутренне удовлетворенным. «Как хорошо в глаза сказать правду, резко так сказать, как ножом обрезать», – подумал офицер.

Сзади послышались шаги. Барановский обернулся. Спотыкаясь и торопясь, шла к нему хозяйка. Подошла, остановилась и молча опустила голову.

– Вы что, Настенька? – Барановский привык к ней и звал ее просто по имени.

– Да я вот за вас испугалась. Сердитый вы такой выбежали из горницы. Думаю, как бы не сделал чего с собой.

Хозяйка стояла, не поднимая головы, она была без платка, луна хорошо освещала ее русые, пышные волосы. Барановский смотрел на нее, вспоминая, что у нее хорошие, ласковые голубые глаза, чистое, бледное лицо, яркие губы и маленький, немного вздернутый нос. И вся она не была похожа на грубых деревенских женщин, было в ней что–то хрупкое, нежное. Офицер сделал шаг в ее сторону, и она, вздрогнув, вдруг порывисто обняла его, прижалась к его груди. Барановский осторожно отвел ее голову и крепко поцеловал в губы...

Гости посидели немного после ухода Барановского, потом поднялись все сразу и, громко разговаривая, стуча сапогами, стали расходиться.

## **19. НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО**

N–ская дивизия обратила на себя внимание диктатора, он верно оценил ее как одну из лучших и надежнейших частей. N–ской дивизии верховным правителем было пожаловано георгиевское знамя и срок стоянки в резерве продлен еще на полмесяца. По случаю такого радостного события, как получение георгиевского знамени, в дивизии был устроен праздник. Почти все офицеры и солдаты принимали эту награду как должное, были весьма довольны и польщены. Некоторые же смотрели на это дело совершенно с другой стороны. Барановский был из числа тех, которые посмеивались в душе над хитростью Колчака, так ловко сменившего у N–ской дивизии ненавистное красное знамя на полосатое, желто–черное, георгиевское. Злые языки говорили, что если бы у N–цев было белое знамя, то адмирал, пожалуй, и не надумал бы наградить их георгиевским, а тут уж волей–неволей пришлось, так как нельзя же было терпеть дольше, чтобы в армии его высокопревосходительства было проклятое красное знамя, этот символ борьбы раба за свое освобождение. Праздник прошел оживленно, весело не потому, конечно, что солдаты были особенно рады высокой награде, а потому, что всем была известна приятная новость о продлении срока стоянки в резерве. После всех церемоний, богослужения, парада и дефилирования церемониальным маршем N–цы получили армейские подарки – сигареты, какао, рыбные консервы и консервированные сосиски. Какао было получено в больших банках, для выдачи его рассыпали в бумагу, и от этого произошло немало курьезных недоразумений. Некоторые солдаты, не попробовав и не узнав, что это им выдали, приняли какао за перец, высыпали его в суп, а потом ходили и жаловались, что у американцев ужасно скверный перец без запаха и совсем не горький.

Расходились с парада с песнями. Мотовилов и Барановский, отправив свои роты с помощниками, стояли на углу главной улицы, смотрели на проходившие мимо части дивизии. Татарский батальон пел по-своему. Песня татар была похожа на ворчание большого зверя. Временами она переходила в злобный шепот, затихала и вдруг разрасталась в рев, звенела сталью кривых мечей и кинжалов.

Афисер погон кайса<sup>1</sup>

Больше Барановский с Мотовиловым не могли ничего понять. Слова сливались в сплошную тарабарщину.

Ал-а-ла-ла-ла-ла-ла!

– Вот у этих не сорвешься, брат. Хорошо дерутся. Мотовилов разглядывал скуластые, широкие лица солдат.

– Ну, тоже аллаяров<sup>2</sup>

– Меньше, чем в чисто русских частях.

Учебная команда шла редким, широким шагом. Концы штыков стояли над головами солдат ровной щетиной.

Калинушку ломала, ломала, ломала, ломала. Чубарики чубчи ломала.

Учебники ногу держали хорошо. Ряды их не гнулись. Дистанция между отделениями была отрезана, как по мерке.

...ломала, ломала, ломала.

Было что-то широкое в этой песне, спокойное и ленивое. Барановский стоял, слушал, и в его воображении встали залитые солнцем тучные заволжские степи, необъятные поля спелой пшеницы и тишина над всем этим простором. Тихо, жарко, нет мыслей и желаний.

...бросала, бросала, бросала, бросала.

Первая рота третьего батальона шла со своей песней.

Вдоль по линии Кавказа,

Там сизой орел летал,

Православный генерал...

Мотив был немного смешной, прерывистый. Стрелки пели заикаясь, спотыкаясь на каждом слоге.

В-д-о-л-ь по лини-и-и-и Кав-каза

Легкая пыль поднималась из-под ног роты. Солнце грело сильно. Барановский снял фуражку и задумался, слушая четкий шаг, старые, знакомые слова песни. Он почувствовал себя перенесенным в обстановку мирного времени. Ему начинало казаться, что он не в Утином, в сорока верстах от фронта, а где-то далеко в тылу, что вообще даже нет войны, ни красных, ни белых.

Правосла-а-авный генера-а-ал

Нам такой приказ давал.

«Ничего не произошло. Ни революции, ни войны, ничего нет», – думал офицер. Мотовилов говорил:

– Приятно, Иван, все-таки посмотреть на наших добровольцев. Дисциплина, порядок. И всем им это нравится. Ведь они и восстание-то подняли за порядок. Их борьба – это бунт против анархии. Мне почему-то хочется сравнить наши части и шатию Керенского. Помнишь?

На солнце ничем не сверкая,  
В оружьи какой теперь толк?  
По улицам пыль поднимая,  
Идет наш сознательный полк.

Мотовилов восстанавливал в памяти пародию на песню гусар.

Марш вперед, трубят в поход,  
Вольные солдаты.  
Звук лихой зовет нас в бой, –  
Не пойдем, ребята.

– Сволочь! Надо было переложить этот всероссийский кавардак. Как метко все-таки, Иван, здесь схвачены яркие черты керенщины. Это – самый ее сок, душа. Не пойдем, ребята.

<sup>1</sup> Офицер погоны надел

<sup>2</sup> Аллайр – ругательное слово для татарина. Дословно перевести – разбитый бог.

Что нам родина, честь нации. Все к черту, все пустяки. Слава богу, больше этого нет и не будет. Хорошо. Любо посмотреть.

Мимо шла комендантская команда.

Права–а–славный генер–а–а–л.

На другой день после праздника зашел к Барановскому за деньгами местный кузнец, ковавший ему лошадь. Барановский с Фомой и Настей сидели за столом и пили чай. Офицер предложил кузнецу стакан чаю. Кузнец был очень удивлен таким приемом и стал отказываться, называя Барановского «ваше благородие». Барановский смеялся, говоря, что родился ничуть не благороднее его, а просто, как и все.

– Брось ты это, дядя, а зови–ка меня просто Иваном Николаевичем.

Кузнец недоверчиво крутил головой.

– Да ты чего, Никифор, ломаешься? – сказала Настя. – Садись, выпей стаканчик. Он у нас простой. Садись!

Она перевела свои сияющие лаской глаза на офицера. Никифор положил шапку, перекрестился на передний угол и нерешительно сел на край стула. Настя налила ему чаю в чашку с золотыми разводами и надписью «В день ангела» и подвинула крынку густого, жирного молока. Барановский, указывая на мешочек с сахаром, предложил гостю:

– Пожалуйста, с сахаром.

Кузнец махнул рукой.

– Мы уж отвыкли от него, спасибо. Забыли уж когда и пили–то с ним.

– Ну вот теперь попейте.

Никифор налил чай на блюдечко и стал пить, откусывая сахар маленькими, чуть не микроскопическими кусочками. Выпил чашку и, подавая ее Насте, вспомнил:

– А я, однако, наврал вам насчет сахару–то. Ведь недавно я пил с ним. Вот как красны–то у нас были, так угощали.

Барановский обрадовался.

– Как у вас тут, интересно, красные жили? Расскажите, что они говорили про нас, про войну, вообще, какие у них порядки?

Никифор замялся, начал говорить общие фразы:

– Известно, чего говорили, как уж враги, так, значит, враги.

Настя резко обернулась к кузнецу:

– Ты, Никифор, не мнись, а говори толком, что, как и чего. Не гляди на него, что он в погонах, он хоть и офицер, а вовсе не белый.

Фома, ничего не знавший о той перемене взглядов, какая произошла у Барановского в последнее время, не подозревавший о его близости с Настей, фыркнул и опрокинув свой стакан, закатился долгим смехом. Ему было очень смешно, что Настя называла его командира не белым. Он смеялся над глупостью деревенской бабы.

– А ты, Фома, не фыркай. Не понимаешь ничего и молчи. Ишь, раскатился, – прикрикнула на него Настя.

Фома, видя, что командир молчит, не поддерживает его, не останавливает хозяйку, немного обиделся:

– Конечно, вы много понимаете. Вам сверху–то видней.

Фома закурил и вышел на улицу. Никифор молча дул в блюдечко. Настя опять обернулась к нему:

– Слышишь, Никифор, нечего сопеть–то. С тобой, «как с человеком, хотят поговорить, а ты, как медведь – молчишь.

– Я тебе, Иван Николаевич, прямо скажу, – обратилась она к Барановскому, – этот кузнец у нас первоюший большевик в селе. Сейчас он, видишь, христосиком прикинулся и на икону крестится и тебя вашим благородием называет, а послушал бы ты, как он этих ваших благородий–то прохватывал. О красных порядках он очень даже хорошо знает и все может тебе рассказать.

Кузнец перестал пить чай, побледнел и заспешил с оправданиями:

– Ты что, Настасья, белены, что ли, объелась, какой же я большевик? Неужто вы бабьей болтовне доверите, ваше благородие?

Барановский стал успокаивать его, говоря, что никакого значения словам Насти он не придает и что ему безразлично, кто он – большевик или нет, а ему важно только и интересно познакомиться с порядками у красных.

Долго говорил офицер, стараясь осторожно подойти поближе к кузнецу, вызвать его на откровенность. Никифор, видя, что офицер не арестовывает его, не кричит, не ругает, а говорит ласково, тихо, стал успокаиваться. И Настя опять принялась убеждать его, чтобы не боялся, смеясь уверяла, что белены она не объелась. Никифор неуверенно начал говорить. Скажет слова два, помолчит, выпьет блюдечко чаю, опять заговорит. Барановский умело поддерживал разговор, и мало-помалу кузнец увлекся, принялся с жаром рассказывать офицеру о всем, что пришлось ему увидеть и услышать у красных.

– Там, я вам скажу, порядок так порядок, – горячился Никифор. – Уж этого баловства никакого нет. Чтобы там крестьянина обидеть, даром что взять, боже упаси. А если какой найдется охальник, так сейчас его к стенке. Очень строго насчет этого. Ну, с командирами они как с товарищами обращаются, так и называют – товарищ командир. Но уж в строю, командир как командир. Приказал, и кончено. Насчет обмундирования у них не больно важно. Супротив вашего им далеко. У вас, посмотришь, солдаты как купцы одеты, и подарки им, и всякая такая штука. Хоть сегодня я посмотрел: на празднике чего только не надарили им. Сразу видать, что у вас богачи, миллионщики делом-то всем ворочают, хотят народ-то, задобрить, подкупить, чтобы он значит, за них стоял. У красных насчет этого потуже. Правда, харч у них хороший, но до вашего далеко, потому у них за спиной голодная Рассея, там ведь тоже всех накормить надо. А насчет всего прочего взять-то им негде, потому там все бедняки дерутся и управляют государством-то сами рабочие и крестьяне. Известно, нашему брату откуда взять такое богатство? Может, когда война кончится, наладится работа на фабриках, и все будет, а пока что туговато, – обстоятельно объяснял кузнец. – Дерутся они, значит, за освобождение этой самой пролетарии от буржуазии. Хотят жизнь по-новому устроить. Барановский слушал внимательно.

– А скажите подробнее, как они это хотят жизнь-то по-новому устроить?

Никифор многозначительно поднял палец вверх:

– О, это у них очень умственно, планно так разработано. Только не все они так-то говорят, а есть у них партийные, коммунисты, так вот они все сказывают насчет этой коммунии, новой-то жизни. Говорят, дескать, мол, между людьми не должно быть никаких войн, ссор и боев. Все, мол, должны жить в мире, а пока, дескать, существует всякая собственность, то будет существовать зависть, а раз зависть, то и вражда, и брань, и драки. Каждому ведь захочется иметь больше да лучше. А они вот и хотят собственность-то уничтожить, сделать всех вроде как бы пролетариатами, а имущество разное – землю, скот, фабрики, заводы – все сделать общественными. Оно так умственно и выходит: и будто нет у меня ничего своего и есть все, потому я имею право всем с общего, так сказать, котла пользоваться. И никому не завидно, потому все равны и у всех все поровну есть. А коли недород какой случится, коли хлеба не будет, то уж у всех его не будет, а не то что раньше: один с голоду пухнет, а другой от обжорства жиреет.

– Ну, а как они работать-то думают, скажем, хоть на фабрике? Как прибыль делить думают?

– У них прибыли этой, значит, никакой нет, а есть только материал, который изготавливают, и уж этот-то материал и делят всем. А работают все сообча, всем обществом, коммунией-то, значит, и сообча всем пользуются. И много, говорят, в Рассей этих у них коммунии развелось и живут, сказывали, согласно все, как одна семья, потому распорядок весь умственно, планно сделан.

Барановский смотрел на смуглое, со следами копоти лицо кузнеца, на его серые, умные глаза, слушал его голос, сильный, звучащий нотками непоколебимой веры в новую жизнь, в «коммунию», и в его пылком воображении раскрывались грандиозные картины жизни нового прекрасного мира.

Кузнец ушел. Настя принялась убирать со стола. Барановский сидел в глубокой задумчивости, разбираясь в массе мыслей, возбужденных отрывочными рассказами Никифора. Офицер теперь представлял себе более ясно, что красные идут за определенную идею, за осуществление

идеалов социализма, и сейчас же, делая сопоставление, разбираясь в том, за что дерутся белые, Барановский не находил подходящего ответа. Слишком разнокалиберен был состав как белой армии, так и вообще людей, в той или иной степени причастных к борьбе с красными. Одни думали, что идут за революцию, какую – неизвестно, другие шли определенно за реставрацию монархии, третьи – черт знает за что, четвертые – просто потому, что их силой гнали в бой, потому что не разбирались, на кого поднимают руку. Барановский всем существом своим чувствовал, что больше он не в силах идти на фронт, и ломал себе голову, как бы избавиться от скверной роли, навязанной ему судьбой, руководителя, инструктора убийства, истребления себе подобных. Подошла Настя, села рядом, положила ему голову на плечо. Он обнял ее.

– Милый, не ходи ты на войну, – начала Настя, – убьют тебя там. Да и за кого ты пойдешь драться? За что? А с кем? Ведь ты сам говоришь, что у красных порядки хорошие. Не ходи, дорогой ты мой, останься у меня. У нас мужики народ дружный, спрячем тебя, никто не найдет. А как красные придут, вот ты и свободен будешь.

– Я давно об этом думал, Настя. У меня даже хранится приказ Троцкого, где он говорит, чтобы всех белых перебежчиков принимали и делили бы с ними хлеб–соль. Там у него есть такая фраза: «Увидев, на чьей стороне правда и сила, не только солдаты Колчака, но и многие из его офицеров будут честно работать в Советской Республике». И вот я думаю бежать к красным и боюсь. Ведь и ваши–то крестьяне, пожалуй, чего доброго, выдадут, если здесь остаться?

– Голову даю на отсечение – не выдадут. Барановский задумался, горько улыбнулся.

– А ты думаешь, красные–то меня так и примут с распростертыми объятиями? Как же. Троцкий–то пишет хорошо, а как масса–то красноармейская думает? Скажут, золотопогонник, и поставят к забору.

Настя молчала, и слезинки быстро капали у нее из глаз. Она сильно привязалась к Барановскому, полюбила его: он был первый у нее в жизни мужчина, который подошел к ней по-человечески. Ей нравились его мягкость и доброта. Настя никак не могла понять, за что бы красные могли расстрелять Барановского, когда он такой хороший и совершенно не похож на белого. Барановский, мучимый сомнениями, начал ходить из угла в угол. Настя сидела, низко уронив голову, и плакала. Барановский в сотый раз мысленно повторял, что против красных он идти не может. Но где выход? Сдаться в плен – опасно. Сбежать и от красных, и от белых, но куда? Барановский нервно хватался за голову и бегал по комнате. Для молодого офицера наступили мучительные дни сомнений и колебаний.

Время летело быстро. Срок отдыха дивизии близился к концу. Офицеры в полку развлекались как могли. Ко многим из них приехали жены, вызванные телеграммами. В местной школе часто устраивались семейные вечера с танцами, картами и выпивкой. Скуки ради флиртовали все отчаянно. Подпоручик Петин был удостоен высоким вниманием самой супруги командира полка. Молодой офицер ходил, как обалделый, опьяненный своим успехом. О своей победе Петин рассказывал в среде товарищей с бахвальством мальчишки, примешивая к этому и некоторую долю серьезных соображений материального характера. Зеленый подпоручик мечтал уже об аксельбантах адъютанта и весьма недвусмысленно намекал, что его, пожалуй, скоро представят в поручики. Офицеры завидовали ему и злились и мстили тем, что во всеуслышание говорили о его связи с Ларисой Львовной, женой командира полка. Но не одна Лариса Львовна стала предметом злых сплетен и нападок досужих болтунов. С женами других офицеров обстояло не лучше. Жена командира восьмой роты была замечена в весьма вольной позе с командиром второго батальона. Жена командира второго батальона часто уединялась с командиром первого батальона. Командир восьмой роты почему–то перестал охотиться, а в рошу стал ходить с женой начальника хозяйственной части, и так далее в этом роде. Сложная любовная интрига переплела весь полк. Люди, не интересовавшиеся любовными утехами, подвизавшиеся на зеленом поле, в объятиях зеленого змия, не раз, сидя за картами, говорили, что за время этой стоянки в резерве в полку все стали родными. Все происходившее в полку не ускользало от внимания местных жителей, крестьян, и они, посмеиваясь, говорили о том, как весело и беззаботно живут господа, и очень удивлялись, что они отбивают друг у друга жен.

– Точно нарощно, сговоримшись, все это они делают, – недоумевали мужики.

– Один ахвицер отбил у другого жену, ан, смотришь, и у няво–то своя с другими улетела. Чудеса!

Кузнец Никифор, сердитый и черный, стоял среди кучки односельчан и говорил, что никакой в этом потехи нет, а что крестьянину даже противно смотреть на все эти гадости.

– Ты целый день горб гни, а они только пьянствуют, баб друг у друга воруют да хлеб переводят, а откуда они берут его? С чьего поля? Все с нас, дураков. Эх, так бы я их всех. У–у–у!

Никифор сжал кулаки и грозил в сторону школы, откуда неслись звуки веселых танцев.

Срок отдыха истек, и дивизию потребовали на фронт. В день выступления из Утиног Н–цев подняли до рассвета. Ночь была холодная, ветреная, шел мелкий, затяжной осенний дождь. На улицах нога вязла в липкой и жидкой грязи. Люди зябко кутались в поднятые воротники шинелей. Мотовилов со своей компанией стоял на крыльце ротной канцелярии, дожидаясь, пока фельдфебель выстроит роту. Оделся он немного щеголевато, легко, не по сезону, холод пробирал его, но он был в хорошем настроении и, чтобы согреться, мелко приплясывал на крыльце, подпевая себе вполголоса:

Кто народу дал свободу?  
Кто его вывел из тюрьмы?  
Остальные офицеры тоже прыгали с ноги на ногу.  
Солдатики, ваши братики  
Московские шулера.  
Кто с кухарками флиртует?  
Кто их жарко так целует? –

продолжал Мотовилов.

– Первый батальон, смирна–а–а, господа офицеры! – заревел батальонный. Офицеры вытянулись.

– Господа офицеры! Здорово, лихие Н–цы, – поздоровался командир полка.

Сонными голосами, вразброд ответили Н–цы. Настя не вышла на улицу провожать Барановского, боясь, что ее слезы заметят односельчане. Они простились дома. Настя, глухо рыдая, припала лицом к окну, не сводила глаз с темного силуэта офицера. Она видела сквозь тяжелую муть рассвета, как Фома подвел ему лошадь, как он сел в седло. В ушах ее долго звенели последние его слова: «Девятая рота, шагом марш!» А в глазах мелькали сгорбившиеся, озябшие фигуры солдат, тяжело шагающих по вязкой и глубокой грязи улицы.

## ***20. НЕ БЕСПОКОЙСЯ, МИЛОЧКА***

На улицах под ногами, как в отхожем месте, расплываясь, чавкала липкая, жидкая грязь. Круглыми, мутными, вонючими плевками серели лужи. Небо, забросанное скомканной грязной бумагой, мокрыми тряпками, нестиранным, рваным бельем, слезилось, роняло вниз холодные нити мертвой слюны. Было скользко и холодно. Толпа на тротуарах двигалась тихо, осторожно ступая, засучив концы брюк, высоко поднимая юбки, засунув руки в карманы, спрятавшись в воротники, надвинув шляпы. На заборах, в витринах магазинов плакали, кисли от дождя белые бумажки:

Братья христиане! Настал час, когда мы должны спросить себя, идем ли мы с Христом или против него?

Толпа, слепая, озябшая, ползла мимо, не замечая.

Кто с большевиками или помогает им, тот снимает с себя крест и идет против Христа и церкви его.

Они шли. Почти все с крестами. На золотых цепочках, на серебряных, на шнурках. Но не все ли равно? На фронте положение было безнадежное. Ну, безнадежное, ну и что же? К чему кресты, Христы? Не поможет. Нет. Все равно. Закрытые шляпами, зонтиками, они не хотели думать. Все равно. В дождь хорошо сидеть у огня. Под теплым одеялом. Дремать.

Если мы – христиане, то не страшны нам большевики, как не страшны бесы силе креста. Позорно христианину, осененному силой креста, бояться силы бесовской.

Позор. Зачем же? Нет, это не нам. Зачем бегут с фронта. Это им. Бесы. Сила бесовская. У камина светло. Не страшно. Везде перед иконами лампы неугасимые. Не страшно. Холодно. Скучно. Только.

Не сумев защитить Родины, защитим хотя бы семьи наши. Для сего образуем дружины креста.

Злоба трясет мелкой дрожью. Сколько. Проклятый Брест. И опять. Опять. Они бегут. Неужели новый позор? Не пускать их. Наставить кругом пулеметы. Загородить трусам дорогу. Семьи. Разрушают уют. Загадят комнаты. На улицу выкинут. Холодно. Скользко. Нас не будет. Уничтожат всех. Кафе манили их. Там тепло, уютно.

Родина–мать изнывает в крови и страданиях. Ножи палачей повисли над ней... Руки убийц терзают ее и хотят стереть самое имя «Россия». Будут немцы, китайцы, французы, – России и русских не будет.

Стена кусками роняла размокшую бумагу. Ветер подхватывал черно–белые кружева воззваний, тискал в грязь, швырял на тротуары. Вывески скрипели. Недалеко стучал завод. Сотни рабочих чинила пулеметы. Люди в погонах, с винтовками стояли у них за спиной.

Спешите же в наш стан, в русский стан, стан демократии.

Толпа ползла. Из ресторана пахло жареным мясом. Бифштекс с кровью очень вкусен. В подвале, забившись в угол, грызла руки жена Иванова. Его вчера расстреляли на дворе завода. По подозрению.

Нас ждут там, ждут как спасителей. И мы должны идти.

Брызги грязи липли на сапоги, на короткие английские шинели. Винтовки с ложами из черного ореха резали плечи. Огромные вещевые мешки и сотни патронов гнули к земле. Скользко и сыро. Песня путалась, обмазанная грязью, глохла.

Эту войну не мы начали, а большевики. Они и погибнут.

В кафе хорошо. Фронт еще далеко. Ну и хорошо. Там голодают. В далеком красном, там. Пусть. Не умеют жить. Мы умеем. Мы все можем. Мы накормим всех. Не хотят, не надо. Будем смеяться.

Живем сытее вас, спокойнее вас, хотя у вас всякие усовершенствования – Совнархозы, Центроспички, Комбеды, только вот есть вам нечего.

Сцепщик, трусливо озираясь, нырял под вагоны. Черные руки с усилием накидывали тяжелые цепи. Красные вагоны прыгали, покачивались. Из окон и дверей хохотали. Сильно несло спиртом. Визжали женщины. Добровольцы уходили на фронт.

Правы советские газеты, говорящие, что в России в смертной схватке встретились два мира. Два мира, мир справедливости и мир измены и хулиганства, мир христианский и мир антихриста, мир адмирала Колчака и мир шляпного торговца Лейбы Троцкого–Бронштейна.

Колокола говорили нежно, едва слышно. Ладан застилал глаза.

– Господу помолимся!

Живот у батюшки был круглый. Риза блестела золотом. Ветер не унимался. Белые лохмотья трепались на стенах.

Что большевики обещали и что дали:

Обещали: Дали:

Мир Гражданскую войну

Натравили рабочих на крестьян

Волю Двухединую монархию

Ленина и Троцкого

Хлеб Голод

Большевики обманули. Мы не обманем. Мы все дадим.

Стремясь обеспечить крестьян землей на началах законных и справедливых, Правительство с полной решительностью заявляет, что впредь никакие самовольные захваты ни казенных, ни общественных, ни частновладельческих земель допускаться не будут и все нарушители чужих земельных прав будут предаваться законному суду.

Лошади были сытые, зады у них лоснились. Широкая спина кучера мягко покачивалась. Бутовы ехали на вокзал.

– Ты, Шуручка, не беспокойся. Поездка в Японию обеспечит нас на всю жизнь.



– Митя, я не беспокоюсь, но зачем это сейчас? Ведь мы сыты – и хорошо. Лучше быть вместе теперь. Смотри, все бегут из Омска. Я боюсь, что ты не успеешь вернуться. Они придут. Ах, это ужасно.

– Не беспокойся, милочка. Их отгонят. Я вернусь. Все будет хорошо. Не беспокойся, милочка..

Рессоры плавно опускали и поднимали экипаж. У вокзала стояла вереница пролетов, телег, тарантасов. Уезжающих на Восток было много. На запасных путях беженцы жгли костры. Грязное белье на небе набухло. Вода текла с него ручьями. По улицам было трудно идти. Скользко. Холодно. Платформа черная блестящая. На больших ресницах Бутовой висели горячие капельки. Не дождь. Слезы.

– Не беспокойся, милочка.

## **21. ПОКАТИЛИСЬ ВНИЗ**

Стоял октябрь.

Голые белоствольные березы беспомощно гнулись под напорами сильного осеннего ветра. Легкие первые снежинки кружились в воздухе, тихо ложились на озябшую землю. Иногда ветер разрывал тонкие снежные одежды земли, обнажая его грудь, сплошь покрытую багрянцем опавших листьев, а людям, измученным долгими боями, грязным и дрожащим от холода, казалось, что из-под снега огромными яркими пятнами выступает пролитая ими кровь и молчаливо напоминает об изуродованной, загаженной человеком жизни. С каждым днем снег становился все глубже, с каждым днем он все плотнее закрывал израненное, изорванное снарядами и пулями тело земли. Стоял октябрь, фатально счастливый для красных месяц. В этом году они опять, как и в прошлых двух, в октябре были победителями. На фронте дела белых становились все хуже и хуже. В старых добровольческих полках, основательно потрепавшихся в боях, чувствовалась упадок духа и усталость. Молодые сибирские части были настроены враждебно по отношению к правительству Колчака и не только уклонялись от боев, но даже перебегали на сторону красных целыми ротами, батальонами. Финансовые операции, закон о земле, карательная политика сибирского правительства, умело использованные красными в целях агитации, делали свое дело.

Наступление от Петропавловска до Кургана и захват берега Тобола были последним успехом белых, последней предсмертной судорогой армии Колчака. На Тоболе, получив смертельный удар, белая армия начала безостановочное, беспорядочное отступление. Отступление без всякого нажима со стороны противника, который едва поспевал за отходящими. Отход армий прикрывался незначительными, бутафорскими арьергардными боями. Каждому, от рядового до генерала, было ясно, что дело проиграно, что армия Колчака скоро прекратит свое существование. Не понимал, видимо, этого только один генерал Сахаров, который предложил Колчаку организовать защиту Омска, настаивая на том, что столица Сибири не должна быть сдана. Колчак согласился. Конечно, ничего из этой затеи не вышло, и Омск был сдан почти без боя теми самыми образцовыми егерскими частями, на которые так надеялся диктатор. Взятие Омска нанесло последний сокрушительный удар армии Колчака. Грозный призрак коммунизма стал в Сибири реальным воплощением дня. С запада наступала на белых крепнувшая с каждым днем Красная Армия, с севера, юга и востока наседали на них, перегораживая путь отступления, красные партизаны. Местные жители без принуждения не давали отступающим ни крошки хлеба, ни фунта мяса, ни одной подводой. Белая армия заметалась, как зверь в капкане.

Тяжкий молот классовых противоречий разбивал в куски разлагающееся тело белогвардейщины, тысячами разил белых, гнал их безостановочно. Красная Армия наступала, побеждала, брала одну губернию за другой. И чувствовалось, что берет верх она не численным превосходством, не техническим преобладанием. Было что-то в ее железном марше страшное и неотвратимое, как судьба, что-то необъяснимое, но огромное и властное, вселявшее панику в ряды белых.

Белая армия расползалась по всем швам и соединениям. Оборвалась связь между корпусами, несогласованно действовали дивизии, полки отрывались десятками и растекались поротно, повзводно или просто кучками. Дисциплина совершенно пала. Никто никого не слушал-

ся, никого не признавал, каждый действовал по своему усмотрению и за свой страх. Начался массовый переход на сторону красных. Сдавались поодиночке и целыми частями. Сдавались, таща с собой громадные запасы обмундирования, снаряжения, боевых припасов, продовольствия. Не желавшие сдаваться, вернее, боявшиеся сдаться, отходили в глубь страны. Отступали главным образом офицеры и добровольцы и люди, просто захваченные потоком движения, шедшие по инерции.

После Омска можно было отступать только по одной дороге, на которой сошлись и смешались все части когда-то хорошо организованной армии. Тут шли каппелевцы, ижевцы, уфимцы, действовавшие в последнее время на левом фланге армии; с ними в одном потоке откатывались воткинцы, оперировавшие ранее на правом фланге, тут был и какой-то степной корпус, и прифронтовые полки, и тыловые части, управления, учреждения, эвакуировавшиеся за недостатком вагонов на лошадях; тут же отходили только что прибывшие на фронт добровольческие дружины святого креста и полумесяца, бежали и жалкие остатки сибирских дивизий, таявшие с каждым днем, так как солдаты сибиряки отходили только до родных сел, где и оставались. К отступавшей массе военных примешивались волны беженцев, ехавших с войсками на Восток. Казенные фургоны, орудия, зарядные ящики, сани, кошевки, телеги, верховые лошади, солдаты, офицеры, женщины, дети, чиновники гражданских учреждений, полки кавалерии, гурты скота, обозы подводчиков – местных жителей, казачьи части – все смешалось в одну массу и в хаотическом беспорядке стремительно откатывалось на Восток. Широкой черной лентой ползла волна отступающих, пожирая и уничтожая все на своем пути. На десятки верст вправо и влево от железной дороги, по главному тракту и небольшим проселочным дорогам, деревни, села, заимки, города были битком набиты белыми. Армия как организованная боевая и хозяйственная единица перестала существовать, но масса людей, входивших в ее состав, осталась, нуждаясь по-прежнему в пище, одежде, перевозочных средствах. Огромную дезорганизованную массу людей, конечно, некому было кормить, снабжать всем необходимым, и она, голодная и холодная, подгоняемая сильным врагом, свирепела, как зверь, жадно накидывалась на города, села, деревни, заимки, громила склады обмундирования, вина, продовольственные магазины, тащила с крестьянских полей последнюю охапку сена, соломы, выгребала из амбаров и кладовок местных жителей все запасы муки, зерна, картофеля, масла, убивала массами крестьянский скот, птицу, жгла на своих кострах все, что можно было, обрекая остающееся на местах население на голод и холод. По ночам огромное багровое зарево стояло на всем пути отдыха бывшей армии Колчака – то люди, не захватившие квартир, вынужденные ночевать на снегу, жгли костры, прячась около них от жестоких сибирских морозов. Среди отступавших начались массовые заболевания тифом. Целые обозы в сотни подвод с больными и обмороженными тянулись в города. Лазареты не в силах были принять всех, и масса больных бросалась на дорогах в санях или просто на снегу, где смерть быстро и верно излечивала их, раз и навсегда освобождала от всех страданий. Фуража не хватало, и загнанные и голодные лошади сотнями падали на дороге. Трупы замерзших людей и дохлых лошадей, как страшные веши, обозначали путь отступления. Точно смертоносный смерч несся на Восток, крутясь по городам и селам, оставляя после себя ужас смерти и разрушения, устилая свой путь трупами людей и животных, черными полосами пожарищ.

На остановках, во время ночевки, теснота была невероятная. Люди набивались в избы так, что в них буквально можно было только стоять. Холодные и усталые солдаты, ища защиты от ветра и снега, забивались в хлева, амбары, конюшни, располагались на гумнах, у зародов сена или соломы. Самые несчастливые, приехавшие позднее всех в деревню, отпрягали лошадей на улице, раскладывали большие костры и тут же спали в санях, тесно прижавшись друг к другу.

Барановский, Мотовилов и Колпаков с остатками своих рот оторвались от полка и ехали вместе, составив, по выражению Колпакова, «ударно удирающий» батальон. Барановский ехал, занятый своими мыслями, ни во что не вмешивался, с каким-то безучастием и покорностью подчиняясь распоряжениям энергичного Мотовилова, фактически ставшего командиром всех трех сведенных рот, потому что и Колпаков, человек с ленцой, с удовольствием свалил с себя все хозяйственные заботы. Ударно удирающему батальону не везло: он третьи

сутки ночевал на улице. Запасы продовольствия истощились. Хлеба не было, мяса тоже, оставалось только несколько бочек масла, которое люди грызли на морозе с луком, захваченным на одной из хохлацких заимок. С последней остановки Мотовилов выехал злой и угрюмый, с твердым намерением во что бы то ни стало захватить в следующей деревне квартиру и в тепле хорошенько выспаться. Мотовилов ехал и мысленно рассуждал о том, как надо жить, и приходил к своему старому выводу, что нужно брать все силой, что живет только сильный. Ему вспоминалась только что оставленная деревня, где они и могли бы втиснуться кое-как в избу, но солдаты не пустили их, и они вынуждены были ночевать на морозе. Офицер краснел от одного воспоминания о том унижении, какое пришлось им пережить на последней остановке. Иззябшие и голодные, после шестидесятиверстного дневного перехода, они стали просить каких-то солдат, занявших избу, пустить их погреться. Из избы в ответ на вежливое «пожалуйста» офицеров раздалась грубая площадная ругань и крики:

– Много вас тут найдется, катитесь дальше! Самим сесть негде!

Один пьяный, с оборванными погонями, в английской шинели, вышел из избы, и, громко икая и покачиваясь, глядя на офицеров мутными глазами, дыша им в лица винным перега-ром, засмеялся:

– Что, господа офицеры, плохи дела-то? Не пускают. Н-да-с, прошли золотые денечки. Теперь мы все равны. Все бегунцами стали. Ик, ик! Все бегунцы. Н-да... ик, ик!

Солдат сильно покачнулся и, чтобы не упасть, схватился руками за угол избы, закинул голову назад, попытался запеть, но у него из горла вырвался прерывистый, заглушенный вой, и весь он, лохматый и грязный, был похож на дикого зверя. Замолчав, пьяный выпрямился и, обращаясь к офицерам, продекламировал:

Офицерик без погон,

Вспомни, что было.

Мотовилов молча размахнулся и сильно ударил пьяного кулаком в ухо, тот без звука рухнул на снег, потеряв сознание. Офицеры вышли со двора. Барановский с нервно подергивающимся лицом спрашивал:

– Ну зачем это, Борис? Зачем?

– Дурак ты, – коротко ответил Мотовилов. Теперь, сидя в санях и вспоминая эту сцену, офицер со злобой думал о «серой скотине». После нескольких часов езды Мотовилов остановил свой батальон на вершине холма, у подошвы которого стояло село. С холма хорошо было видно, что село кишит людьми и обозами.

Свободных квартир в нем, несомненно, не было. Офицер подошел к саням с пулеметом и твердым, властным голосом приказал пулеметчику:

– Снимай пулемет. Ставь на дорогу.

Кольт зачернел на снегу, вытянув свое дуло в сторону села.

– Заряжай! – командовал Мотовилов. – Церковь видишь? – спрашивал он пулеметчика. – По вершине креста, с рассеиванием, – продолжал командовать Мотовилов. – Пулемет, очередь!

Двадцать пять пуль со свистом пролетели над селом, и сердитый стук пулемета разнесся по всем улицам. В селе поднялась суматоха. Люди, измотавшиеся вконец за долгое отступление, не разбираясь ни в чем, услышав только стрельбу, решили, что подошли красные, в панике метнулись из села. Обозы сплелись в запутанный клубок, сгрудились на узких улицах в несколько рядов, не могли разъехаться, выехать в поле. Мотовилов, смеясь, наблюдал в бинокль, изредка выпуская из пулемета небольшие очереди. Обозники рубили постромки и гужи, садились на лошадей и удирали верхом, бросая сани со всяким добром. Минут в пятнадцать село было очищено совершенно, и Мотовилов въехал в него с батальоном, приказав людям набрать из брошенных обозов необходимые продукты и вещи поценней. Солдаты, обрадованные легкой добычей, со смехом принялись за разборку брошенного, хваля находчивость своего командира. Жадный и запасливый каптенармус из роты Колпакова бегал между саней и, задыхаясь, кричал солдатам:

– Ребята, ничего не бросай. Там если чай или что, тащи. Масла тоже надо взять. Лошадей достанем. В дороге все годится.

Офицеры заняли один из лучших домов. Мотовилов с видом победителя сидел в переднем углу. На столе дымилось большое блюдо разогретых мясных консервов, брошенных какими-то штабными. Фомушка трясся от душившего его смеха, вскрывая банку забытых консервированных фруктов.

– Ты что, Фомушка? – устало спросил Барановский.

– Да как же, господин поручик, тутока за версту кто-то в небо палит, а тысячи людей бегут. Ну и трусы, – раскатывался и фыркал вестовой.

Трофеи превзошли все ожидания. Взято было масло, мясо, консервы, сахар, чай, мука, крупа, рис, овес, полвоза валенок, десяток полушубков, белье. Н-цы в этот день основательно поужинали и в теплых избах расположились спать. Но к утру стали подходить новые обозы, и людей в избы налезло опять так много, что на рассвете офицеры едва выбрались из квартиры, с трудом шагая по груде человеческих тел, лежащих на полу в тяжелом забытии. Ехать по большой дороге не было никакой возможности. Обозы шли по ней в четыре ряда, сплошным потоком, растянувшись на десятки, а может быть, и сотни верст. Движение было крайне медленное. Впереди идущие то и дело останавливались, задерживая из-за какой-нибудь поломки саней или порчи сбруи тянувшийся сзади хвост на несколько верст. Люди стояли, злобно ругаясь и крича:

– Ну, понужай там, понужай!

Мотовилов решительно повернул со своим батальоном влево, заметив небольшую полевую дорожку, и к концу дня весьма удачно вывел его на глухую, брошенную хозяином немцем богатую заимку. Обозов на заимке было мало. Большая рабочая казарма с нарами была свободна, батальон разместился в ней. В казарме была плита с двумя вмазанными в нее котлами и русская печь. Н-цы пришли в восторг от таких удобств. Солдаты шутили, отогреваясь в теплом помещении.

– Вот, ребята, повезет так повезет. Вторую ночь под крышей ночуем, – говорил кто-то, залезая на верхние нары.

Вестовые и несколько солдат отправились за дровами. Вернулись они, таща части разломанных фур, телег и даже принесли шикарное дышло от какого-то экипажа, покрытое черным лаком. Вестовой Мотовилова принес пару хороших венских стульев и несколько гравюр, снятых им со стены в доме хозяина.

– Это для чего? – спросил его Мотовилов.

– На разжигу, господин поручик. Лучины нет, – простодушно объяснил вестовой и принялся небольшим топориком рубить спинку стула.

Мотовилов махнул рукой:

– Валяй, ребята, жги, руби, только красным не оставляй.

Колпаков с глубокомысленным видом счел долгом присоединиться к мнению коллеги.

– Правильно, Борис Иванович, правильно. Помните, Кутузов, отступая, жег все на своем пути, чтобы французам не досталось? Безусловно, мы должны поступать так же. На войне как на войне!

Полотно гравюр с масляной краской и сухие ножки стульев горели хорошо. Дрова быстро разгорались и, потрескивая, стали бросать в казарму полосы мятущегося, желтого света. Фома явился после всех, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Офицеры встретили его спрашивающими, любопытными взглядами. Вестовой подошел к огню и вытряхнул из мешка окровавленных гусей, индеек, кур, уток.

– Bravo, Фома. Хо-хо-хо! Ого-го! – загоготал довольный Мотовилов, щупая жирную, откормленную птицу.

– Где это ты словчил, молодчага? Фома вытирал рукавом нос:

– На дворе тутока, господин поручик. Смотрю, солдаты откуда-то гусей да пырышек тащат. Я подследил. Оказывается, из хлевушка такого, особенно для птицы устроен. Я туда, а там птицы этой видимо-невидимо. Ножик был при мне, я и давай полосовать. Чать красным не оставлять? – закончил вестовой.

– Верно, Фомушка, однако, ты куда логичнее своего командира рассуждаешь, – заметил Колпаков.

Мотовилов повернулся к нарам.

– Ребята, тут гусей и индюшек до черта. Кто хочет, вали, режь. Сейчас их в котел и гусятинный суп на весь батальон сварганим. А ты, Фома, не зевай, тащи еще. Годится в дороге, – вполголоса приказал он вестовому.

Фома схватил мешок и побежал из казармы, а за ним десятка полтора солдат. Немного спустя они поодиночке возвратились, таща гусей, кур, уток. Фома вернулся опять с полным мешком, но принес одних только индеек.

– Эти вкуснее всех, – объяснил он.

Несколько солдат с хохотом втащили в казарму отчаянно визжавшую большую породистую свинью, повалили ее около печи и тут же всадили ей в горло длинный японский штык. Потом притащили и зарезали шесть поросят. Мотовилов только одобрительно гоготал, поощряя солдат.

– Вали, вали, ребята. Не все же нам лук без хлеба жрать. Пора и мясом побаловаться.

Вестовые суетились у огня. Фома жарил пару индеек, а другие двое пекли блины. Несколько гусей были быстро ощипаны и брошены в котел. К полуночи по казарме распространился вкусный запах супа и жаркого. Ужин был готов. Прежде чем подать на стол индеек, Фома куда-то исчез и вернулся через несколько минут с двумя стеклянными банками в руках. В одной была маринованная свекла, в другой брусничное варенье.

– К жареному, господин поручик, – сказал он и засмеялся.

– Ну и сокровище у тебя вестовой, Ваня. Кладовую взломает, семь замков сшибет, а достанет все для своего барина.

Барановский молча ложился на нары.

– А ужинать-то, господин поручик? – спросил Фома.

– Я не хочу, Фомушка, – тихо ответил офицер и закрылся шубой. – Я спать хочу.

Фомушка немного обиделся.

– Ну, господин поручик, я старался, старался для вас, а вы спать.

Мотовилов с аппетитом ел индейку, жалея, что нет его приятеля Петина, убитого в последних боях, который так любил покушать.

Утром при выстраивании батальона Мотовилову бросилась в глаза фигура его фельдфебеля, важно сидевшего в санях на мягком кресле, обитом малиновым плюшем.

– Где достал?

– У немца, господин поручик. Все равно пропадет, – как бы оправдываясь, ответил фельдфебель.

Мотовилов добродушно засмеялся:

– Ничего, ничего, это хорошо. Смотри только не слети. Вон какую каланчу соорудил.

Обоз тронулся, держась стороной от главного тракта. Вечером приехали в небольшую деревушку. На этот раз в избу попали только офицеры. Солдатам пришлось разместиться в хлеве и конюшне вместе со скотом хозяина. Изба была полна народу. Люди стояли, сидели, лежали на скамьях, на полу, толкая и давя друг друга. В более лучших условиях находилась компания офицеров-артиллеристов, сидевших за столом с батареей бутылок и игравших в карты. Вся семья хозяев – муж, жена, старуха бабушка и несколько ребятишек забились на полати и печь. Хозяйка сидела на краю печи с грудным ребенком на руках.

– Здравствуй, хозяйюшка, – с трудом пробиваясь к столу, сказал Барановский. – Чем угощать будешь гостей непрошенных?

Хозяйка, запуганная голодными озлобленными людьми, лезущими в избу без конца и счета днем и ночью и требовавшими с нее каждый день хлеба, молока, муки, не поняла шуточки офицера, заплакала.

– Батюшка мой, да какие же у нас угощенья? Ведь вот третью неделю войско идет бесперечь, бесперечь, – причитала она сквозь слезы.

– Все у нас посьели. Хлебушко весь повыгресли. Двух коровушек зарезали. Овечек всех взяли. Ой-ой-ой! – рыдала женщина. – Самих, видишь, на печь затолкали, и больше места нам нету. В избе ступить негде. А на печке мы от жару пропадаем. Каждый солдат, как придет, так печку затапливает и лепешки стряпает. Того и гляди изба сгорит. Ребеночек один от жару помер. Ой-ой-ой, горе наше горькое.

– Да ты чего это, хозяйюшка, расплакалась, ведь я пошутил, – успокаивал ее Барановский.

Бородатый мужик слез с полатей на печь и заговорил с каким-то отчаянием:

– Какие теперь шутки, господин офицер. Нас они, шутки-то эти, как ножом по сердцу режут. Вы подумайте только, как жить-то? Чего я весной делать буду, коли у меня последнюю лошадь взяли? А мне вон одра хромого раненого подкинули. Разве это хорошо, господин офицер?

Барановский смущенно опустил голову, не зная, что сказать крестьянину.

Мотовилов злобно цедил слова:

– Н-и-ч-е-г-о! Придут красные, ваши избавители, которых вы ждете, как манны небесной, и все вам дадут. Они вас облагодетельствуют. Подождите уж немного, сибирячки милые.

– Нам все равно, что красны, что белы, только бы жить дали. А ведь это, сами видите, господа офицеры, не жизнь, а каторга. Как варнак какой на печи день и ночь жарюсь. Хозяйка и от печи отступилась – все солдаты стряпают, а нам времени нет, да и не из чего. Все забрали.

Мужик тяжело вздохнул и смахнул рукавом горькую слезу. Мотовилов не унимался:

– Вон что, он на печи садит, да жалуется, а люди недели на морозе, да молчат.

– Борис, оставь, как тебе не стыдно, – упрекал Мотовилова Барановский.

– Коллеги, чего вы там слезливые антимионии с хозяевами развели? Есть о чем говорить. Все они хнычут, а поищи как следует, у них все найдется, только припрятано хорошо. Садитесь-ка лучше к нам. Сыграем по маленькой, – пригласил офицеров какой-то пожилой капитан.

– Бог вам судья, – сказал мужик и опять полез на полати.

Колпаков и Мотовилов сейчас же согласились, сели к столу. Барановский поколебался минуту и, решив наконец, что азартная игра развлечет его, присоединился к играющим. Банк метал молоденький поручик с черненькими усиками. Банкомет метал удачно, убил порядоч-но карт. Дошла очередь до Барановского. Офицер закурил и, не глядя на кучу денег, сказал:

– Все.

Руки банкюмета дрогнули. Он дал карту и проиграл. Банк перешел к Барановскому. Ему сильно повезло. Бумажки, шурша, непрерывно текли к нему. Многие офицеры основательно проигрались, волновались, бледнели и усиленно пили спирт. Барановский не пил, только курил папироску за папироской. Играл он небрежно, равнодушно, игра не захватывала его. В клубах табачного дыма тусклыми пятнами мелькали лица игроков. Банкомет не следил за партнерами, и проигравшийся в пух молоденький поручик с черненькими усиками несколько раз как бы по рассеянности не ставил своих проигрышей. Некоторые проиграли все свои деньги, но игру не бросали, думая отыграться. На столе появились золотые монеты, часы, портсигары. Барановский бил карту за картой. Около него уже стояла порядочная пирамидка золота и звонко тикали массивные серебряные часы. Фомушка стоял сзади Барановского, жадными, блестящими глазами смотрел на стол, дрожа от радости. За несколько месяцев службы он привязался к своему командиру, даже больше, питал к нему какую-то особую нежность, как к младшему беззащитному брату. Барановский с своей непрактичностью и мягкостью характера возбуждал в Фоме жалость, и ему было всегда приятно заботиться об этом большом ребенке. Фома ни на минуту не забывал, что молодой подпоручик был первым офицером, заглянувшим ему в душу и согревшим ее теплом ласки и участия. Стоя за спиной Барановского, он и радовался его выигрышу, и боялся, как бы он не проигрался под конец. Счастье не покидало молодого офицера, он выигрывал неизменно. Капитан, пригласивший офицеров играть, поднялся со скамьи.

– Ну, последняя ставка. Или пан, или пропал, но больше играть не буду. Ставлю своего вороного, если выиграю, то вы мне платите тридцать пять тысяч николаевскими. Идет?

– Идет, – вяло отозвался Барановский и дал карты. Капитан на секунду потерял самообладание, сильно стукнул кулаком по столу. Жировик упал набок, горящее сало потекло на бумажки, подожгло их. Все, кроме самого банкюмета, бросились тушить. Когда огонь был снова зажат, то от банка осталось очень мало, исчез куда-то и серебряный портсигар с золотой монограммой. Барановский брезгливо поморщился и встал.

– Я кончил, господа.

– Как? Почему? Обыграл всех, да и уходить? – не сдержался черноусый.

Барановский смерил его взглядом и спросил:

– Сколько вы проиграли, поручик?

– Семнадцать тысяч.

– Получите.

Офицер швырнул на стол пачку кредиток. Поручик, не смущаясь, опустил их в карман, насмешливо поблагодарив:

– Мерси.

Игра кончилась. Капитан, пошептавшись с своими коллегами, вышел на двор, а за ним вестовой стал выносить вещи. Барановский слышал, как заскрипели ворота, захрустел снег под санями. Капитан пожалел своего вороного. Барановский смеялся. Ему противна была жадность людей и их трусость, с которой они цеплялись за деньги, не брезгуя даже кражей. Мотовилов и Колпаков, проигравшиеся вдребезги, сидели с бледными, осунувшимися лицами. Барановский сел с ними рядом. Офицер был в хорошем настроении. Ему было приятно от сознания того, что он своей удачной игрой заставил подрожать человеческие душонки. Барановскому всегда везло в картах, и он любил иногда поиграть в блестящей компании своих товарищей по оружию, любил вытащить из-за брони мундиров их души, потрогать за самые больные места, усилить жажду приобретения и, вдруг прекратив игру, уйти, оставив всех со скверным чувством проигравшихся скупцов.

– Ну, что, дюша любезный, продулся? – дурашливо спросил Барановский Колпакова.

– Ни копейки, все спустил. Башка трещит ужасно. Спирт скверный попал. Жар во всем теле, горю, как в огне, – ответил Колпаков.

– Нишаво. Твоя сколько проиграл?

– Около сорока тысяч, Иван Николаевич.

– А твоя не обидится, когда моя твоя деньги отдавал обратно?

Колпаков молчал. Мотовилов, сильно захмелевший, пытался улыбнуться.

– Я не обиделся бы, Ваня, если бы ты вернул мне мои тридцать тысяч.

Колпаков решительно тряхнул головой:

– Какого черта в самом деле, что за счеты между своими? Ну, поиграли, немного кровь порасшевелили, и будет. Я согласен!

Барановский обрадовался:

– Ну вот, ну вот и отлично.

И стал быстро считать деньги. Фомушка с разочарованием вздохнул и вышел на двор кипятить чай. Дую на шипящие, сырые щепки костра, он думал о своем командире и никак не мог понять, зачем тот отдал свой выигрыш обратно.

«Ведь если бы они его обыграли, так небось не подумали бы, все бы до копеечки сорвали», – мелькало у него в голове.

Воздух в избе был полон удушающего, сгущенного зловония, шедшего от грязных, кишящих паразитами, спящих людей. Табачный дым висел под потолком облаками. Старуха на полатах задыхалась в едких клубках махорки, кашляла и стонала. Громко плакал ребенок. Солдаты храпели на полу. Некоторые бредили. Офицеры кое-как напились чаю и тронулись в путь до рассвета. Остаться дольше в избе не было сил. Когда вестовые стали выносить вещи, хозяйка обратилась к офицерам с просьбой:

– Господа офицеры, посмотрите вон того солдатика, что лежит на постели. Он никак помер? Все метался да колобродил сильно, а теперь чего-то затих?

Барановский положил руку на лоб солдату и сейчас же отдернул ее. Неприятное ощущение холода трупа заставило его вздрогнуть.

– Умер. Фомушка, вынесите его на двор. – Хозяйка перекрестилась.

– Царство ему небесное. Мать, поди, старуха осталась. Ох-хо-хо!

Уходя, Барановский сунул в руку хозяйке несколько золотых. Женщина раскрыла рот от удивления.

Колпаков жаловался на сильное недомогание. Температура у него была страшно высокая. Мотовилов, пощупав лоб и пульс больного, безнадежно махнул рукой.

«Тиф», – подумал он.

Больного положили на одни сани с захворавшим татаринном Валиулиным и сдали их на попечение санитару. Мороз стоял крепкий, с легким ветром. Было холодно. Больные то метались в жару, то дрожали, синели от озноба.

Мотовилов подошел к их саням.

– Уй, господин поручик, холодна, – жаловался Валиулин.

Офицер пообещал татарину достать шубу. Навстречу порожняком шел обоз подводчиков, возвращавшийся домой. Подводчики сидели спиной к ветру, закутавшись в теплые дохи и тулупы.

– Обоз, сто–о–ой! – заорал Мотовилов и вытащил наган. Первый подводчик сразу остановил лошадей и, бросив вожжи, соскочил с саней, встал на колени, умолял офицера не задерживать их.

– Господин офицер, вторую неделю как из дома, лошади пристали, сами которые сутки голодом. Сделайте божеску милость, отпустите.

– Встань, дурак. На кой черт ты мне нужен, – сказал Мотовилов. – Мне доха твоя только нужна. Живо раздевайся.

Мужик заплакал.

– Господин офицер, сделайте божескую милость, не обижайте, последняя. Ребятишки, жена... – бессвязно лепетал подводчик, щелкая зубами от страха.

Офицер направил на него револьвер:

– Снимай! Застрелю, как собаку!

Крестьянин со стоном встал:

– О господи, да что же это такое? – снял и бросил на дорогу свою доху.

– Ну, а вы что стоите? – налетел Мотовилов на толпившихся сзади подводчиков. – Раздевайтесь сию же минуту!

Высокий худой старик с большой бородой упал на колени:

– Ваше высокоблагородие, явите такую милость, не обижайте меня, старика. Замерзну ведь я без шубы–то, не доеду. Пожалейте моих сирот внучат, у них ни отца, ни матери.

– Без разговоров раздевайся, старый черт, чалдон проклятый. Не привыкать тебе к морозу–то.

Старик покорно снял тулуп. Остальные крестьяне молча, с мрачными лицами, снимали шубы и бросали на снег. Фельдфебель Мотовилова соскочил с своего кресла и быстро стал распрягать у одного из подводчиков лошадь.

– Что вы делаете? Креста на вас нет. Совсем людей разоряете! – закричал мужик.

– Замолчи! – прикрикнул на него фельдфебель и стал припрягать его лошадь себе в пристяжку.

– Вестовому Колпакова понравились крепкие сани старика, и он забрал их под офицерские вещи, оставив хозяину полуразвалившиеся дровни. Старик стоял среди дороги и разводил руками.

– Боже мой, что же это такое делается?

– Шагом ма–а–арш! – скомандовал Мотовилов, и батальон пошел дальше.

К рассвету обозы стали скапливаться на дороге, быстро образовалось несколько рядов. Движение сделалось неравномерным. Обозы то медленно ползли сплошной вереницей, то разрывались, останавливались или летели вскачь, стараясь обогнать друг друга. Приблизительно около полудня обозы остановились, Мотовилов покричал, покричал обычное в таких случаях:

– Понужай, понужай! – и заснул. Валиулин и Колпаков, покрытые дохами, метались в бреду. Татарин был более спокоен, он только–кричал:

– Тыганда, шрапнель! Кувала! Кувала! – Его, видимо, давили воспоминания о последних боях с поспешными отходами с позиций. Офицер бредил атаками. Он выскакивал из саней, кидался в сторону с дороги, увязая по поясу в снегу, и, махая руками, командовал:

– Восьмая рота, за мной! Ура! Ура!

Когда его укладывали опять в сани, то он просил у какой–то Лели «маленький–маленький кусочек ласки» или со слезами на глазах декламировал:



Я ребенок больной,  
Я так ласки хочу.

Потом снова начинал звать свою роту, снова кричал «ура» и выскакивал из саней под крепкую ругань санитаря, которому надоело вытаскивать его из снега.

– У, дьявол, хоть бы сдох, что ли, скорей, – ворчал санитар.

Младший офицер, прапорщик Гвоздь, пошел вперед узнать, где и от чего произошла задержка. Оказалось, что верстах в двух впереди был большой овраг с единственным узеньким мостиком. Обозы подошли к нему в три ряда. Подошедшие первыми спорили, какому ряду идти вперед. Прапорщик Гвоздь вмешался в общий спор, защищая интересы своего ряда. Слово за слово спор стал разгораться, какой-то солдат толкнул прапорщика в грудь, пытаясь въехать на мост. Горячий Гвоздь не выдержал, выхватил револьвер и застрелил солдата. Товарищ убитого быстро сорвал с плеча винтовку и выстрелом в упор разmozжил офицеру голову. Кто-то воспользовался суматохой и въехал на мост.

– Понужай, понужай! – заорали тронувшиеся обозники.

Другие ряды попытались задержать счастливых, но было уже поздно. Обоз пошел. На убитых никто не обратил внимания, и они так и остались лежать в снегу, около самого берега оврага. Мотовилов проснулся, когда мост был уже пройден. Офицер оглянулся назад, пересчитал свои подводы и спросил фельдфебеля:

– Фельдфебель, кажется, у нас чего-то маловато стало и подвод и людей?

– А как же, – ответил фельдфебель, – конечно, меньше. Почти что в каждой деревне одного, а то двух оставляем – то больных, то мертвых, то замерзших.

– Отчего это мрут так?

– Все больше от тифа, господин поручик.

– Да, да, тиф, тиф! Скверная штука тиф. – Офицер зевнул и устало опустил голову.

## 22. АГА! АГА!

На внутреннем фронте, так же как и на внешнем, белые терпели поражение за поражением. Партизаны заняли район в несколько волостей. В Пчелине над зданием школы развевался красный флаг с инициалами – Т.С.Ф.С.Р. Пчелино играло роль всего повстанческого района, всей Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики. Село было обращено в укрепленный лагерь. Глубокие окопы двумя поясами охватывали его со всех сторон. Далеко впереди за ними, на широких полянах, на дорогах сплошной лентой лежали кверху зубьями бороны, запорошенные снегом. Тонкой паутиной путалась колючая проволока. Бугры и покатоности на подступах к позициям были утоптаны, залиты водой, заморожены. В темные прорезы бойниц смотрели толстые, зеленые максимы, черные, поджарые, ребристые кольты. Из оконца большого блиндажа, выходившего на Медвежинский тракт, торчало широкое горло самодельной железной пушки – гордости 1-го Таежного полка.

За время с отхода на Черную гору в организации управления Республикой и армией произошло много перемен. Вместо прежнего Военно-Революционного районного штаба был избран главнокомандующий, который единолично разрешал все споры оперативного, боевого характера. Остальные дела перешли к созданному на выборных началах из представителей бойцов и мирного населения Армейскому Совету. Был организован государственный контроль – контрольно-ревизионная комиссия. Таежный район военных действий стал называться Северным Таежным фронтом.

Острая нужда в обмундировании, оружии и огнеприпасах заставила партизан наладить и пустить в ход свои мастерские и химическую лабораторию. В Пчелине работали полным ходом швальня, шубная мастерская, изготавливавшая полушубки и собачьи дохи, сапожная, пимокатная, шорная, кожевенный и солеваренный заводы и, наконец, химическая лаборатория и починочная оружейная мастерская. В лаборатории снаряжались патроны, изготавливались ручные гранаты, фугасы, подрывные снаряды для порчи мостов и линии железной дороги. Недостаток командиров побудил организовать инструкторскую школу, которая работала очень успешно второй месяц. Заведовал школой перебежчик, колчаковский прапорщик. В армии было уже много пулеметов, захваченных у белых. Для более правильного и удобного

использования их сформировалась пулеметная команда. Школы грамоты, имевшиеся в селах, входивших в состав республики, были открыты, учителя все взяты на учет и в порядке трудовой повинности обязаны вести занятия. При совете работал военно-революционный трибунал. В ротах, батальонах и в полках существовали свои суды. Больница и лазарет содержались в порядке, несмотря на то что врач и два фельдшера с половиной медикаментов перебежали к белым. Агитационный отдел фронта вел усиленную агитацию среди крестьян, звал к немедленному свержению власти Колчака. Отделом регулярно выпускалась газета «Военные Известия Северного Таежного фронта», в которой помимо воззваний давались определенные сводки о положении дел на фронте и сообщения о событиях и настроениях в тылу у белых и в их армии. Армия и беженцы были на полном иждивении Совета Народного Хозяйства, который снабжал всех продовольствием, одеждой, обувью и медикаментами. Совет же Народного Хозяйства закупал через своих агентов в тылу у белых оружие, патроны, порох, свинец, медикаменты, бумагу, перевязочные средства. Денежный фонд республики был довольно велик, составил он из добровольных пожертвований и внутреннего займа, выпущены были так называемые товарищеские заемные письма. Фуражные и продовольственные запасы составлялись частью также из пожертвований, частью с помощью реквизиции у богатого населения или просто захватывались, отбивались в боях у врага. Вся черная тыловая работа – рытье окопов, постройка укреплений, заготовка топлива – велась пленными белогвардейцами, содержащимися в концентрационном лагере.

В школе шло очередное заседание Армейского Совета.

Место секретаря занимал Воскресенский. Говорил председательствовавший Жарков.

– Товарищи, сейчас мы получили радостную весть.

Жарков немного волновался, говорил с усилием. Лицо его освещалось нервным возбуждением. Кулаки, сжатые, он медленно поднимал и опускал. Бритый, помолодевший Воскресенский улыбался, смотря на плотные, ровные ряды голов насторожившихся партизан.

– Разбойничье гнездо разорено. Белое воронье разлетелось. Паук Колчак бежал. Омск взят Красной Армией.

Стены затрепыхали, звонко вскрикнули стекла в окнах, пол заколебался.

– Ура! Да здравствует советская власть!

– Да здравствует Красная Армия!

– Смерть палачам! Колчачишка не убежит! Поймаем! Попадется, кровосос! Ура! Ура!

Попадется!

Делегаты сорвались с мест, опрокидывая скамьи, толкаясь, столпились около стола президиума, махали руками.

– На журавец его, паука, плясать заставить! Неделю шомполами пороть! Мост через Чистую взорвать надо! Поймать убийцу! Поймать! Ловить! Не упустить! Рассказывай подробней! Как их, гадов, поколотили!

Крепкие кулаки Жаркова бессильно разжались, стучать он больше не мог.

– Товарищи, к порядку! К порядку! Председатель поднял обе руки:

– Товарищи, послушайте. Есть еще новости! Товарищи!

Волна покатила обратно. Ликующий порыв массы, стиснутый стенами тесного класса, стал задыхаться, гложуть. Делегаты, громко разговаривая, рассаживались по местам.

– Товарищи, прекратите разговоры! Внимание! Собрание затихло.

– Час окончательной победы близок. Еще немного, и мы войдем в город, в притон кровопийцы Красильникова.

– Правильно!

– Буржуйские банды бегут, сами не зная куда. Они, товарищи, совсем бессильны. Железное кольцо советских войск сжимает их, душит. Вся Сибирь восстала. Колчаковская сволочь еще удерживает за собой железную дорогу.

– Сшибить их с линии!

– Удрать им, конечно, нужно. И вот они, гады, ухватились за последнее средство: распускают по селам и деревням свои подлые воззвания «К беженцам», «Призыв к женщине», надеются, видно, что крестьяне забудут, значит, ихнее мародерство, порки и виселицы, развесят уши.

– Ошибутся господа! Ошибутся! Правильно!

– Вот что они пишут, товарищи: «Погибнет Россия, погибнете и вы. Погибнут ваши мужья, дети и отцы. Они будут ими расстреляны». Это, значит, нами. «В лучшем случае будут рабами большевиков».

– Рабами не рабами, а заставим, гадов, исправить все, што они испакостили! Поработают, белоручки!

– Если палачи заговорили уж так, кинулись защиты и помощи у баб искать, дело их, значит, конченное. Скоро всем им амба будет.

– Правильно! Амба! Амба!

Делегаты не могли сидеть спокойно, не могли оставаться только слушателями. Радость близкой и окончательной победы волновала сердца. Воскресенский смотрел на партизан серыми, ласковыми, близорукими глазами. На душе у него было тихо, светло и немного грустно. Жену и ребенка он не забыл еще. Жарков овладел и собой и собранием, говорил уверенно, не торопясь.

– «Родина гибнет» – пишут гады в своих газетах. На это мы отвечаем им, что у рабоче–крестьянского класса, угнетенного и измученного разбойничьим правительством, родины нет, слово «отечество» нужно только вам для прикрытия разных темных делишек. Для нас родина – весь мир, и скоро мы восстанем во всем мире против буржуазии. Мы в германскую войну сумели через окопы и проволоку сговориться с немецкими товарищами, сговоримся и теперь с заграничными братьями.

– Правильно!

– Сговоримся и раздавим вас, гадов, никуда вы от суда народного не убежите.

– Врут, голубчики! Не убегут! Переловим!

– Гады, гады, вы даже умереть–то не умеете по–человечески: подыхая, стараетесь отравить нас своей ложью. Нет, никакого снисхождения вы не заслуживаете, вас проклиняет весь род человеческий.

– Палачи! Кровопийцы! Паразиты!

– Последняя твердыня буржуев – Омск пал. Белым волкам теперь остается только разбегаться по лесам, скрываться. Наша святая обязанность вылавливать их и уничтожать без пощады.

– Уничтожить! Уничтожить всех! Пощады нет им! Они нас не щадили!

– Товарищи, тише! Слушайте, товарищи, теперь еще одну новость.

Собрание притихло, снова насторожилось.

– Белые живоглоты не только думают одурачить нас своими воззваниями, но они еще имеют нахальство оскорблять нашу честь партизан своими мирными предложениями. Колчаковская власть из губернии обратилась к нашей республике с мирной нотой.

– Чего? Как? Ты не врешь?

Жарков нахмурился.

– Я не думаю шутить, товарищи, на заседании. Вот сейчас товарищ Воскресенский, как секретарь, значит, огласит вам эту ноту.

– Мир! Ха! Ха! Ха! Хе! Хе! Ого! Го! Го! Ого! Ха! Ха! Ха! Мир! Нашли дураков! Ха! Ха! Ха! Когда бежать некуда, так и мир! К стене буржуев прижали! Пардона запросили! Ха! Ха! Ха! Читай, Воскресенский! Читай! Ха! Ха! Ха!

Воскресенский встал со стула, поднял в руках большой лист. Насмешливая улыбка двумя складочками залегла у партизана по обоим концам губ. Глаза, опущенные вниз, смеялись. Делегаты перестали шуметь.

– «К повстанцам Таежной Социалистической Федеративной Советской Республики», – начал Воскресенский.

– Не кой–как, к республике. Ну, вали, вали!

С каждой выпущенной пулей народное богатство России уменьшается по–теперешнему на десять рублей. С каждой загубленной жизнью земля лишается своего пахаря, завод лишается своего работника, школа своего учителя, семья своего кормильца, государство теряет своего гражданина.

– Хорошо поет, не знай, где сядет! Лицемеры! Прохвосты!

Суровцев, сидевший у окна,, положив на подоконник записную книжку, набрасывал проект ответа белым:

В разорении страны, прежде всего, виновато так называемое Сибирское Правительство с своей спекулятивной финансовой вакханалией и карательной политикой, политикой истребления лучших, активнейших своих граждан, сожжения и уничтожения целых областей.

Мы прекрасно понимаем, из какого источника протекают ваши крокодиловы слезы о «загубленной жизни», о «бедном пахаре», о «рабочем, лишенном работы», о «страждущем учителе» и т. д.

Воскресенский читал следующий пункт ноты:

Чем дальше идет братоубийственная борьба, тем она жесточе, тем больше мы, русские, обескровим нашу мать Родину, тем большее историческое преступление мы свершаем против своего государства, против самих себя.

Партизаны молчали. Рука Суровцева быстро бегала по бумаге.

Не вам говорить об «историческом преступлении». Вы кощунствуете, ссылаясь на историю, вы не можете представить себе ее иначе, как в виде продажной женщины, которую можно использовать за медный грош. Что же касается государства, то у трудящихся свой государственный идеал, идеал Советской Республики, но не ваш растленный идеал государства–паразита и денежного мешка.

Все наши неурядицы и междоусобицы только радуют наших иностранных врагов. Да и наши заграничные «друзья» от нашей внутренней распри только выигрывают: мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. Каждый день борьбы разрушает все больше нашу промышленность, и мы в будущем вынуждены будем сдавать за бесценок за границу наши продукты, чтобы получить оттуда гнилую сарпинку и другие низкопробные фабрикатy.

Да, международные шакалы не прочь поживиться, половить рыбку в кровавой луже, точно так же, как и наши отечественные «благодетели». Крокодиловы слезы и показной страх за разрушение промышленности – все это ваше либерально–поповское кликушество никого не обманет, ибо всем известно, что в разрушении промышленности виноваты вы, затеявшие гражданскую войну.

Чем дальше тянется кровавая распря между нами, русскими, тем Россия ниже опускается в глазах других народов, и когда–то гордое слово – русский, вызывает теперь у наших врагов и «друзей» улыбку презрения.

В этом пункте красноречиво замалчиваются такие явления, как сожжение сел, деревень, грабеж крестьянского имущества, издевательство над личностью крестьянина, закапывание живыми, зарывание насмерть, смерть на виселице, расстрел женщин и детей и тому подобные расправы колчаковских правителей. Кто же является в этом кровавом споре обвиняемым во всех злодействах, о которых умалчивает ваша пресловутая юстиция? Имейте мужество, не виляя, дать прямой ответ на эти вопросы. Эти вопросы – вопросы сфинкса, и вы на них не можете ответить, и потому вы должны быть пожраны сфинксом революции. Воистину своим молчанием вы вырываете себе могилу.

Чем дольше продолжается кровавый пир, тем дальше мы отходим от намеченных революцией идеалов равенства, братства, свободы, тем дольше мы тормозим созыв истинного хозяина русской земли – Учредительного Собрания.

– Ха! Ха! Ха! Куда метнул! Это Красильников с Орловым, что ли, будут всех нагайками в Учредилку загонять! Равенство! Свобода! Ха! Ха! Ха! Это на журавце, в петле свобода–то? Ха! Ха! Ха!

Воскресенский ждал, пока перестанут шуметь.

Суровцев писал:

История показывает, что буржуазия неоднократно топтала ею же выдвинутые великие идеалы равенства и братства, как только рабочие пытаются осуществить их полностью на практике. Русская буржуазия в лице, с позволения сказать, своего Сибирского Правительства идет по стопам западной буржуазии, которая во имя равенства, братства, законности и порядка расстреляла десятки тысяч парижских коммунаров в 1871 году. Культурные звери, до каких пор вы будете кощунствовать, произнося эти слова? И это после того, как вы создали миллионы мучеников, кровь которых вопиет о мщениях. Ха... Учредительное Собрание...

Мы прекрасно видим вашу удочку, мы не караси—идеалисты, чтобы добровольно идти на вашу сковородку. Не обманете.

Воскресенский выпил стакан воды.

— Много гады написали, слюной, товарищ Воскресенский, не истеки.

Партизан улыбнулся, махнул рукой. Насмешливые складочки залегли глубже.

Хищные волки рыскают в поле и гложут трупы лучших сынов России, черные вороны клюют их глаза.

— Колчак со своими бандитами!

С каждой новой жертвой, с каждым новым убийством все больше ожесточается сердце людей. Люди тоже становятся хищными зверями, преступниками, в силу этого исторического рока и наряду с нашим экономическим обнищанием открывается неизмеримая бездна нашего морального падения.

Русские люди, очнитесь!

Прервем язык ружейных выстрелов. Год междоусобной распри нас ни к чему не привел и не приведет. Взаимно оружием друг друга мы не убедим и не уничтожим, а только обессилим на радость наших иноземных «друзей» и врагов.

— Эге, прослабило буржуя! Напустил в штанишки! Ага! Не убедим! Ага, сдаешься, сволочь! Нет, мы тебя убедим! Мы тебя уничтожим! Мы тебя убедим, коли ты с нами заговорил так! Сволочь! Ага! Ага! Ага!

Собрание качнулось всем телом вперед. Заостренные злобой глаза массы впились в бумагу в руке Воскресенского. Воскресенский почувствовал тяжелый взгляд собрания. Прилив гнева и ненависти передался и ему. Насмешливые складочки растянулись в нервную гримасу. Лицо немного побледнело. Глаза стали серьезными.

Поищем путей более разумных, чтобы сказать друг другу, чего мы хотим. Приступим к мирному улаживанию нашего семейного спора. Поговорим как люди, а не как звери, о наших задачах, о наших целях. Может быть, мы и не так далеки друг от друга в наших стремлениях, есть возможность объединения, сплочения всех вокруг непартийных программ и лозунгов во имя великой идеи воссоздания великой демократической России через Учредительное Собрание. Взаимно мы должны быть снисходительны друг к другу и друг друга не судить.

Злоба сжимала грудь массы, мешала дышать.

— Ага! Ага! Ага! Чует кошка, чье мясо съела! К стенке вас всех, палачей! К стенке! Ага! Ага!

Суровцев писал листок за листком, стараясь кончить скорее. Воскресенского он не слушал, так как перед ним лежала копия ноты.

Здесь говорится об улаживании нашего семейного спора. И тут лицемерие автора ноты, представителя колчаковского правительства, достигает геркулесовых столбов! Г. Бондарь не настолько наивен; мы полагаем, что он изучил социальные науки во Франции; знаем также, что он участвовал в вооруженном восстании в Красноярске в декабре 1905 года, знаем его, что он был убежденным террористом. Следовательно, он прекрасно знает, что революционный пролетариат и трудовое крестьянство, с одной стороны, и буржуазия — с другой, такая же семья, как сожительство волка с овцой. И тем не менее ему приходится лгать на каждом шагу, глубокомысленно толкуя о нашем «семейном споре». Поклонник колчаковского кнута-державия, мы вам не верим. Ренегат, вы слишком низко пали. Вы предлагаете нам говорить о наших задачах и целях. Наша задача и цели, как небо от земли, далеки от ваших грабительских целей и задач, и объединение на этой почве да еще вокруг так называемых непартийных лозунгов и программ представляет из себя жалкую уловку.

Суровцев заторопился. Из—под карандаша побежали крупные кривые буквы:

Что касается до Великой Демократической России, то она осуществится только через труп Колчака. Мы должны быть снисходительны друг к другу, друг друга строго не судить... Что за жалкие слова. В этих словах видна ваша фигура пресмыкающегося гада, который молит о пощаде. И это вы мечтаете о пощаде после того, как вы сами же подписали смертный приговор. И это вы делаете попытку войти в мирные переговоры после всех сделанных вами чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют ужасы средневековья. Поздно. Будьте прокляты!

Воскресенский начал предпоследний пункт:

Уже командующий войсками округа объявил полную амнистию, полную безнаказанность всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. Можете верить в искренность и высокие побудительные причины этого шага.

– Довольно! Это оскорбление! Довольно! Долой белых гадов! Мерзавцы! Мы не позволим марать честь партизан гнусными предложениями. Они ответят у нас за это! – разгневанная масса зашумела. Дальше читать не стали. Вынесено было постановление поручить написать ответ агитационному отделу. Перешли к очередному вопросу порядка дня. На трибуну вышел чернобородый Сапранков. В последнем бою он был ранен в левую руку, носил ее на белой повязке. Волосы на голове у него, давно не мытые, смятые малахаем, торчали во все стороны, вились узлами. Лицо обветренное отливало бронзой.

– Товарищи, теперь аккурат настало время, когда нам надобно сурьезно подумать об установлении строгого порядка в нашей армии. Все может стать, что скоро нам придется схлестнуться с белыми гадами в последний раз, схлестнуться, значит, начистую, до сшиба. Или мы их, или они нас. Мы уже знаем, что подходят к нашей местности сильные ихние добровольческие дивизии.

– Правильно, Сапранков, надо подвинтить гайки!

– Товарищи, к порядку. Ораторов прошу не перебивать.

Жарков внимательно посмотрел на собрание.

– Наша армия, товарищи, армия восставшего народа, сильна тогда, когда она дисциплинирована, значит. Наша Республика устоит от напора разбойников, если все мелкие штабы, еще кое–где орудуящие самостоятельно, подчинятся нашему главнокомандующему товарищу Мотыгину. Вот мое мнение. Акромя того. Да. Самогонку, значит, долой, чтобы ни один из нас и ни–ни, никогда ни в одном бы глазу не был. Мы, таежные, должны заявить, что с пьяным работать не будем и не желаем погибнуть в пьяном состоянии. Пусть напивается до омерзения банда белых разбойников, но нам, истинным бойцам за свободу, стыдно и преступно делать то, что делает банда разбойников Колчака. Мы должны быть примером в глазах трудового народа и защищать свободу с трезвой головой. Всякое хулиганство надо вывести из нашей среды. За самовольство, за аресты, обыски, расстрелы без разрешения и приговора трибунала стрелять, как собак. Крестьян обижать мы не должны, и таких хулиганов, которые бы нашлись у нас, мы должны уничтожить. А теперь у нас это может быть, потому што мы теперь победители и к нам налезло много и дерьма.

Горячие, дружные аплодисменты проводили Сапранкова на место. Вопросы, затронутые партизаном, были очень важны. Преступный элемент, идущий обычно по ветру, за последнее время в связи с успехами красных стал усиленно пролезать в ряды идейных борцов.

Лохматые папахи, малахаи, стриженные головы, усатые, бородатые, бритые и безусые задумались. Жарков молчал. Воскресенский заносил в протокол предложение Сапранкова, сильно наклонившись над бумагой. Суровцев черкал что–то у себя в записной книжке, ерошил волосы.

В селе мастерские работали. Из трубы лаборатории летели искры. Топился свинец. В оружейной звонко стучали молотки и зубила, визжало сверло. Десятка два пленных белых солдат пилили дрова во дворе пимокатной. В избе, занятой агитационным отделом, щелкала машинка. Широкий белый лист гнулся через резиновый вал.

Омск пал. Деморализованные банды белых бегут.

.....

Долой подлое колчаковское самодержавие! Долой негодяев, убийц, грабителей, палачей! Долой буржуазию!

Да здравствует Всемирная Революция!

Да здравствует Интернационал и Всемирная Советская Республика!

Война до победного конца над белым дьяволом, до полного уничтожения буржуазии всего мира!

Вперед, товарищи, не выпускать оружия из рук!

На кожевенном заводе вынимали из зольников кожи. Совет думал.

### 23. ЗЛОЙ СТАРИК

Эпидемия тифа усиливалась. Истощенные, измученные тяжелым отступлением люди валились под ударами болезни, как мухи. Лекарств не было. Лазареты, летучки, околотки перестали работать. Заботиться о больных и раненых никто не хотел, так как каждый думал только о себе, каждый думал только о том, как бы выбраться целым и невредимым из страшного потока пьяных, грязных, вшивых, больных, озверевших людей. Смердящие зловонием гниющих ран, кишасшие паразитами люди в слепом безумии бежали на Восток.

Барановский захворал возвратным тифом и ехал то в полном сознании, то бредил целыми сутками. Мотовилов остался совсем один. Закутавшись в доху, он часами неподвижно сидел в санях, угрюмо смотря на бесконечную дорогу. Скверные мысли вертелись в голове офицера. Иногда у него являлось острое, раздражающее желание взять револьвер, приложить холодное дуло к виску и сразу перестать думать, чувствовать, жить. Рука тянулась к деревянной рукоятке нагана и, едва коснувшись ее, отскакивала в сторону, как обожженная. Мотовилов вздрагивал, легкий холодок знобящими мелкими волнами пробегал по телу. В воображении всплывали картины смерти. Офицеру было особенно противно, что с него, когда он умрет, снимут теплую доху, полушубок, обмундирование, может быть, даже и белье и самого, голого, беспомощного бросят на снег или стащат в яму и наскоро забросают мерзлыми большими комьями земли, которые своими острыми, угловатыми краями врежутся в него и раздавят своей тяжестью, расплюснут, как лепешку.

«Не хочу», – мысленно говорил Мотовилов и тоскливо вглядывался в темнеющую даль зимнего вечера.

Деревни еще не было видно, но она была уже близко; офицер угадывал это по тому особенному нервному беспокойству, которое вдруг овладело всеми едущими. Мотовилов подзывал Фому:

- Фомушка, не зевай. Насчет квартиры постарайся.
- Никак нет, не прозеваем, господин поручик.

Вестовой быстро стал обходить и обгонять подводы, торопясь попасть на головные сани. Въехали в деревню. Фома успел найти квартиру. Быстро завернул он свой обоз в первый переулок и, остановившись у первой угольной избы, стал приглашать Мотовилова осмотреть помещение. Мотовилов пошел. Фома, провожая его, говорил:

- Она, хвартера–то, ничаво, только упокойница тутока есть.

Задняя половина избы была забита солдатами, сидевшими плотной массой на полу. Воздух, спертый и тяжелый, пропитанный едким табачным дымом, с непривычки захватывал дыхание. Кто–то курил, и огонек сигарки освещал вспышками света рыжие усы и кончик носа. Скрипела люлька, и женский голос тянул заунывную, однообразную песню:

- А–а–а–а–а–а–а!

– Затворяй дверь. Холодно. О–о–о–й, о–о–о–й. Холодно, – заныл больной солдат, едва офицер с вестовым вошли на порог.

Фома открыл дверь в горницу. В переднем углу на высокой скамье без гроба лежала мертвая старуха. Прерывистый, дрожащий свет лампадки освещал строгое восковое лицо со сжатыми губами и заострившимся носом. Один глаз покойницы был закрыт, другой сверлил вошедших неподвижной острой черной точкой своего зрачка. Мотовилов отвел взгляд в сторону. Горница была пуста. Никому, видимо, не нравилось соседство со старухой.

- Ни черта, – сказал офицер вестовому. – Тащи сюда Колпакова и Барановского.
- Холодно, холодно. О–о–о–й, ох, ох, – застонал опять больной.

Барановский был в сознании. С усилием передвигая ноги, вошел он в избу, опираясь на руку вестового. Колпаков лежал в беспомысленности. Его внесли на руках. В горницу стали набираться солдаты. Зябко ежась от холода, тихо садились они на пол, плотно прижимаясь друг к другу. Фома принес банку наполовину отогретых консервов и кусок грязного, закопченного хлеба.

– Извините, господин поручик, закоптил хлеб–то маленько. Дров нет, на навозе да на соломе разогрел.

Мотовилов махнул рукой. В избе кроме двухспальной кровати с кучей спавших на ней ребятишек и скамьи, занятой покойницей, ничего не было. Офицер посмотрел кругом, ища места, где бы можно было поужинать. Мертвая старуха была невысокого роста, конец длинной скамьи, на которой она лежала, оставался свободным. Мотовилов решительно поставил банку на скамью, вынул складную вилку и принялся закусывать, стараясь не смотреть на новые остроконечные чулки старухи.

– Ваня, а ты не хочешь поесть? – спросил он Барановского.

Барановский молчал, вглядываясь равнодушным взглядом в лицо покойницы.

– Все сдохнем, – глухо сказал он.

– Они не хотят, господин поручик. Я предлагал им. Кушайте одни, – ответил за Барановского Фома.

Колпаков плакал в бреду, как мальчик.

– Иван Иванович, за что вы мне двойку поставили? – умоляющим голосом, всхлипывая, спрашивал больной. – Ведь я же знаю все наречия на ять.

Колпаков бормотал, как школьник, хорошо выученный урок:

– Возле, ныне, подле, после, где, отменно, вне, совсем, вдвойне, втройне, вчерне, наедине. Иван Иваныч, я и на е знаю, поставьте мне три, ну хоть с минусом. Иван Иваныч, – молил больной офицер. – Вовсе, прежде, еще, крайне, втуне, вообще. Коренные слова знаю, знаю, – вдруг весело закричал Колпаков и зачастил: – Белый, бледный, бедный бес побежал за редькой в лес... Ой, папа, не бей! Я не останусь на второй год. Я выдержу переэкзаменовки.

Больной снова заплакал. Мотовилов молча ел. Бред Колпакова напомнил ему то время, когда он учился в кадетском корпусе. Офицер вспомнил, как блестящим кадетом с погонями лица щеголял он на институтских балах, кружа голову наивным, доверчивым институткам.

«Фу, черт, в такой–то дыре бал вспомнил», – подумал Мотовилов, отгоняя от себя неожиданные воспоминания.

Колпаков приподнялся на полу, сел и блуждающим взглядом обвел комнату. Заметив покойницу, больной вздрогнул, с ужасом отшатнулся и закричал дико, громко:

– Я жив, я жив. Зачем меня с мертвецами положили? Ха–ха–ха, – истерически захохотал он. – Хороши друзья, живого человека схоронили. Я живой, а они меня в одну яму с мертвецом столкнули. Не хочу я умирать. Возьмите меня отсюда. Жить! Жить!

Фома стал успокаивать больного. Офицер, не умолкая, истерично кричал:

– Жить! Жить! Жить!

Разбуженные криком, проснулись, завопили на полу солдаты, заплакал ребенок. Заскрипела люлька:

– А–а–а–а–а–а!

Мотовилов раздраженно нахмурил брови.

– Фома, сию же минуту с Иваном вытащите эту старуху на двор.

Хозяйка, услышав приказание офицера, перестала качать люльку, слезла с печи:

– Что вы делаете? Крещены вы аль нет? Мертвому и то покою не даете, – запротестовала женщина.

Офицер посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом. Хозяйка как–то сразу замолчала, глаза у нее испуганно раскрылись.

Старуху вынесли на двор, положили около избы, прямо на снег. Колпаков успокоился, пошарил вокруг себя руками, нащупал горячее лицо спящего солдата и, ложась, улыбнулся.

– Живой. И я живой.

Мотовилов лег на освободившуюся скамью. Ночью шел снег с ветром. Старуху почти всю занесло. Из–под сугроба торчали только ее ноги в остроконечных чулках, острый нос и замерзший глаз. Мотовилов утром, выходя из избы, взглянул на мертвую и отвернулся, потом дорогой у него все стояли в глазах чулки с острыми носками и космы седых волос, как пудрой, пересыпанные снегом. Офицер ехал и считал, сколько верст осталось еще до Читы. Считал долго, путался, забывая расстояния от одного города до другого. К счету верст примешивался счет пройденных деревень, городов, счет убитых и раненых однополчан. Погода была теплая. Нежно ложились на лицо мягкие снежинки. Мотовилов стал дремать. Проснулся он, когда было уже совсем темно. Батальон подходил к большому селу, пылавшему багровым заревом



десятков костров. Улицы села были забиты обозами. Люди черными, мятущимися тенями мелькали на ярком фоне огненных языков. N-цы с трудом проехали по главной улице и остановились на площади, сплошь загроможденной санями, лошадьми, орудиями. Площадь была вся в огнях. Сотни людей копошились у костров, готовили ужин, чай, таяли снег, грелись, закуривали, дремали. Мотовилов остановился с батальоном в нерешительности среди площади у самой церкви.

К вечеру стало подмораживать, подул холодный ветер. Ночевать на улице не хотелось. Ехать дальше не было сил, да и надежды на то, что в следующей деревне будут квартиры. Церковь была не заперта, внутри ее мерцал огонь. Мотовилов вошел, снял шапку. Старый дьячок гнусаво читал псалтырь над двумя покойниками. Несколько свеч дрожащими, прыгающими бликами играли на позолоте иконостаса, освещая суровые лица святых.

– Вскую шаташася языцы и людие поучашася тщетным, – бормотал дьячок.

Офицер подошел к нему:

– Скажите, отче, как у вас тут, в церкви, переночевать можно? Случалось, ночевали здесь наши?

Дьячок остановился и, поправляя очки, сказал:

– Случалось, клали здесь раненых.

– Ну вот, так и мы, значит, с больными остановимся.

Дьячок не ответил, уткнулся в псалтырь.

– Отступите от меня вси делающие беззаконие... – точно упреком Мотовилову звучали строки псалма.

Офицер постоял немного, посмотрел на спокойные лица покойников, сам не зная для чего перекрестился. Выйдя к своим, приказал заехать в церковную ограду.

– Кашевары, живо ужин. Кто свободен, заходи в церковь. Фома, тащите больных и вещи.

Офицер вернулся в храм. Прошел вдоль стен, осмотрел все углы – мебели не было. Зашел в алтарь, чиркнул спичку: за престолом стояли два широких дивана, два кресла и стол для просвинок.

– Отлично, здесь и расположимся, – решил Мотовилов.

Фома с Иваном внесли Барановского.

– Сюда, сюда, Фомушка. И его и Колпакова на диваны положите. Здесь вот, – офицер отворил правую дверь алтаря.

Стали входить солдаты, большинство не снимало шапок. За долгий путь люди перестали разбираться в том, где они останавливаются, важно было только попасть в теплый угол. Шаги вошедших глухо стучали под сводами храма. Трепетали, колебались огоньки свеч. Неприветливо смотрели сверху темные лица икон. Дьячок перестал читать, обернулся назад и, укоризненно покачивая головой, прогнусил:

– Шапки–то снять бы надо, господа. Не в кабак ведь пришли.

Солдаты сконфузились, неловко стали снимать папахи, креститься. Мотовилов вынул из чемодана свечку.

– Господин поручик, печку бы затопить надо, да дров нет, – обратился к нему Фома.

Офицер задумался.

– Вот что, Фомушка, – решительно сказал он. – Там около входа есть свечной ящик и стойка. Бери топор и руби их. Вот тебе и дрова, а будет мало, так вот эти книги сожжем.

Мотовилов показал на большую кучу книг, сложенных в углу алтаря. Фома заработал топором, подняв страшный треск и грохот в церкви. Дьячок взглянул на солдата, всплеснул руками и побежал в алтарь:

– Господин офицер, что вы делаете? Храм божий рушите.

Мотовилов посмотрел на тщедушного рыжего человека в черном подряснике.

– Ах ты, кутейник, блинохват паршивый, тоже еще учить меня хочешь, чего мне делать. Брысь отсюда!

Дьячок, испуганно крестясь, вышел из алтаря, Фома затопил печь. Бойкие язычки огня быстро лизали полированные сухие доски.

– А ну–ка, Фомушка, прибавь книжечек–то. Светлее будет.

Вестовой стал тискать в печь псалтыри, часословы, молитвенники, старые поминания. Мотовилов подвинул кресло к самой печке и, грея ноги, стал наблюдать за огнем. Какая-то книга развернулась и, корчась от жару, смотрела на офицера черным узором своих строк.

– Древле убо ел несущих создавый мя и образом твоим божественным почтый, преступлением же заповеди паки мя возвративый в землю, от нея же взят бых... – читал Мотовилов в горящей книге.

«Это как же понимать? – соображал офицер. – Значит, сдохнешь, сгниешь и обратишься в землю. Так, это правильно, но до этого еще далеко. Нужно еще пожить».

Фома принес ужин. Мотовилов сел к столу. Кто-то с силой хлопнул входной дверью и застучал по полу мерзлыми сапогами. В алтарь вошла женская фигура, закутанная в оленью шубу.

– Здравствуйте, офицерик, – обратилась она к Мотовилову и, снимая с головы длиннотый сибирский малахай, бойко заговорила, как старая знакомая:

– А мы ехали, ехали, перемерзли все. Думали в селе где-нибудь остановиться – все занято. Смотрим, в церкви огонь и люди ходят, ну и мы сюда. А я вот, видите, как бабочка, к вам прямо в алтарь на огонек и залетела.

Женщина села в свободное кресло и засмеялась, сверкая большими блестящими глазами.

– Как, не обожгусь тут я у вас, не опалю около огонька-то вашего свои крылышки?

Что-то лукавое бродило по лицу незнакомки. Мотовилов вскочил с кресла.

– Ах, черт возьми, да вы не из робких, видно. Разрешите представиться, – офицер сделал легкий поклон и подал руку.

– Подпоручик Мотовилов.

Маленькая, крепкая ручка ответила:

– Сестра милосердия Воронцова.

– Ваше имя?

– Антонина Викторовна.

– Великолепно, Антонина Викторовна, значит, мы ужинаем вдвоем?

– У вас ужин? Отлично. А у меня есть вино. Я сейчас.

Воронцова вышла на амвон и закричала сильным грудным голосом на всю церковь:

– Николай, Николай, вы здесь?

– Здесь, – ответил сильный бас.

– Принесите мою корзинку сюда да вносите скорей больных.

Барановский начал бредить:

– Таня, на вашем платье кровь. Таня, Таня, смотрите, каждый ваш шаг, каждое движение оставляет за собой кровавые следы. Что такое, вы вся в крови? А ваши ручки? Боже мой, вы убили кого-то? Таня, Таня, что вы наделали?

Воронцова вернулась.

– Кто это звал меня? – спросила она.

– Это больной в бреду. Не вас, а Таню.

– А, больной. Ну, а вы не больной?

– Нет, – сказал Мотовилов и засмеялся.

– Так чего же вы стоите, как соляной столб? Помогите мне раздеться.

Мотовилов засуетился, стал снимать с Воронцовой шубу и, заметив ее красивые золотистые волосы, пропел вполголоса:

Люблю я женщин рыжих,  
Нахальных и бесстыжих.

Антонина Викторовна выскользнула из мехов и погрозила офицеру. Мотовилов ловко поймал ее руку и поцеловал. Вестовой внес в алтарь корзинку. Воронцова вынула из нее большой флакон прозрачной жидкости, показала ее Мотовилову.

– Это *spiritus vini cum formalini*. Поняли! Винный спирт с формалином. Чистого нет. Ну, да и этот не вреден. От формалина только легкая застопорка сердечных клапанов может быть, и все.

Сели за стол. Захлопали входные двери: вносили больных. В церкви стало шумно. Дьячок перестал обертываться и возмущаться, ровным, гнусавым голосом читал псалтырь. Цер-

ковь стала наполняться. Входили все новые и новые люди. На полу уже негде было ступить. Дьячка стиснули со всех сторон спящие, больные солдаты. Люди черной копошащейся массой лежали на полу. Кое-кто курил. Больные кашляли, плевались, бредили, метались в жару, вызывая злобную ругань и тычки здоровых соседей. Здоровые, раненые – все смешалось в одну огромную, стонущую, хрипящую, харкающую, бормочущую, зловонную грудку тел. Равнодушно сверху смотрели каменные лица святых. Гнусавыми волнами носились стихи псалмов:

– Дал еси веселие в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея.

Мотовилов с Воронцовой пили спирт.

– По-моему, Борис Иванович, нам вовсе незачем ехать к Семенову, – говорила Воронцова. – Нам нужно, не доходя до Нижнеудинска, повернуть на Белогорье и уйти в Монголию, а оттуда в Китай, а там – и поминай как звали. Что Семенов, пустяки, его тоже разобьют, – убеждала сестра офицера.

Мотовилов соглашался, так как в глубине души у него давно созрело желание уехать за границу, избавиться от тяжелой обязанности подставлять свой лоб под пули.

– Но только за границей нужно золото, золото и золото. Иначе пропадешь, – продолжала развивать свои планы Воронцова.

– А где его взять?

Какая-то мысль блеснула в глазах офицера. Он встал, стукнул себя по лбу.

– Эврика! Фома!

Фома дремал на коврике около царских врат.

– Фомушка, убери с престола все чаши и крест ко мне в чемодан, а то большевики придут, осквернят. Когда будем наступать, тогда привезем попу обратно.

Вестовой раскрыл большой кожаный чемодан и сложил в него все золото с престола. Дьячок читал:

– Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст, гортань их, языки своими льщаху...

Воронцова смотрела на Мотовилова и смеялась:

– А вы не глупый малый. Только к чему лгать и стесняться? По-моему, вестовому вы просто могли сказать, что, мол, на это нам молиться теперь не годится, пора уж горшки покрывать или объяснили бы ему, что раньше у вас был бог, вы ему верили, по крайней мере делали вид, что верите, прикрывали им все свои дела и делишки. Имели вы тогда успех, били красных, ну, а если теперь они вас разгромили, так, значит, бога нет, или обманул он просто-напросто вас и тех, кого вы его именем посылали в бой. Обманул старикашка, ну и, конечно, прекратить с ним всякие сношения, отобрать у него все имущество, как у обанкротившегося должника.

Мотовилов возражал:

– Мы ведь еще в Монголию-то не уехали, значит, пока что бог нам нужен. Вот перевалим через границу, тогда уже все пошлем к черту.

– Нет, по-моему, никогда не стоит стесняться своих мыслей и чувств. Вот оттого, что мы много скрываем друг от друга, лжем, загромождаем себе жизнь всякими условностями, она у нас и складывается часто скучно, скверно.

Воронцова медленно выпила рюмку разведенного спирта.

– Нужно быть всегда откровенным, прямым, смелым. А условности все долой, к черту.

Сестра шаловливо тряхнула головой и запела:

Захочу – полюблю,

Захочу – разлюблю,

Я над сердцем вольна.

Глаза Антонины Викторовны сверкнули плутоватыми огоньками. Женщина дышала сильно и часто. Мотовилов чувствовал близость ее разгоряченного тела, вздрагивал от возбуждения.

– Вот, Борис Иванович, насчет этих условностей возьмем такой пример. Сидите вы сейчас и смотрите на меня, как баран на новые ворота. Я знаю, вы с удовольствием заключили бы меня в свои объятия, но не решаетесь, мешает что-то. Я вот не такая. Я хочу сейчас сесть к вам на колени и сяду.

Воронцова быстро встала и, обняв Мотовилова, села к нему на колени.

– Ну что, испугались?

Глаза сестры горели, резко очерченные губы были совсем рядом с усами офицера. Она тяжело дышала. Мотовилов крепко прижал к себе Воронцову и стал целовать.

– Жизнь коротка. Нас могут завтра же убить, как бродячих собак, – задыхаясь, говорила она. – Живите ж, пока живется. Берите жизнь.

Мотовилов встал и понес Антонину Викторовну в боковой пустой и темный алтарь. Барановский вскочил с дивана, пробежал по алтарю, упал в дверях на колени. Вся церковь полна была стонами и бредом больных. Офицер сжал кулаки, поднял кверху руки и, грозя иконе бога–отца, закричал:

– Ты видишь? Видишь наши муки, злой старик? Как глуп я был, когда верил в милость и доброту твою. Страдания людей тебе отрада? Нет, не верю я в тебя. Ты бог лжи, насилия, обмана. Ты бог инквизиторов, садистов, палачей, грабителей, убийц. Ты их покровитель и защитник.

Офицер заскрипел зубами, зарыдал.

– Будет. Поцарствовал ты, довольно. Будет. Гибнут создавшие тебя, погибнешь с ними и ты.

Барановский ничком без чувств упал на пол.

– Запрягай! – приказывал кому–то тифозный.

– Понужай, понужай! – торопился кто–то в другом углу.

Татарин в большой черной папахе кидался на стену и в ужасе визжал тонким надтреснутым голосом:

– Кувала! Кувала!

Колпаков кричал из алтаря:

– Господа, за что? За что?

Равнодушно, молча темнели лики святых, освещенные трепетными огоньками свеч. Дьячок монотонно гнусил псалтырь:

– Гу–гу–гу–гу–гу...

Вся церковь металась в безумии бреда. Седой старик с высоты купола бесстрастным взглядом смотрел на муки людей.

## **24. ОПЯТЬ СТАРИК**

Колпаков умер, и его бросили на одной из остановок в тех же санях, в которых он ехал больной. Хоронить было некогда. Тиф гулял по рядам белых, укладывая их в могилы тысячами. Ехать становилось чем дальше, тем труднее. Угрюмыми, молчаливыми стенами стояла тайга по обеим сторонам узкого пути бегущих, скрывая в своей глуши отряды красных партизан, часто нападавших на отходящие обозы. Большая армия потеряла всякую способность к сопротивлению. Люди были так панически настроены, что стоило только прогреметь несколькими выстрелами, чтобы создать полнейшую растерянность среди отступающих. Едва заслышав стрельбу, обозы кидались вскачь, но скверная дорога быстро утомляла лошадей, подводы насакивали друг на друга, запутывались, образовалась пробка. Недолго думая, обозники рубили гужи, садились верхом и скакали без оглядки. Батальон Мотовилова таял с каждым днем. У него осталось всего сорок штыков. Мотовилов стал мрачным, раздражительным. Ему казалось, что солдаты не по болезни остаются в каждой деревне, а просто потому, что не хотят идти дальше.

«Если я растеряю в конце концов всех людей, то будет скверно. Один до Монголии не доберешься», – думал офицер и сейчас же, стараясь отогнать от себя дурные мысли, подзывал кого–нибудь из солдат и заводил разговор:

– Ну, скажи, Черноусов, ты красным не думаешь сдать? А?

– Что вы, господин поручик, – возмущался солдат, – за кого вы меня принимаете? Чай, мы добровольцы. Что нам, что вам – конец один будет, коли к красным попадем. Знаем мы их приказы–то. Мобилизованные – по домам, офицеры и добровольцы – по гробам. Нет, уж мы к Семенову, а нет, так пулю сам себе в лоб пушу.

Мотовилов успокаивался и говорил солдату, что при встрече с партизанами теряться не нужно, что нужно отбиваться до последнего патрона.

– Да уж будьте благонадежны, господин поручик. Наши не сплосают, чать не впервой нам.

Ночь начинала покрывать тайгу темно–синим, почти черным покровом, усыпанным яркими мерцающими огнями звезд. Обозы еле ползли в один ряд узкой дорогой, часто останавливаясь, стояли на одном месте по нескольку часов. Лошади с трудом то выбирались из огромных выбоин с тяжело нагруженными санями, то снова ныряли, скрывались в них вместе с дугой. Батальон шел непрерывно четвертые сутки, останавливаясь только для кормежки лошадей. За четверо суток прошли всего сорок верст. До деревни оставалось верст двадцать. Утомленные люди засыпали на санях, и Мотовилову приходилось следить, чтобы какой–нибудь подводчик не уснул, не разорвал бы обоз, так как лошади без кнута не шли и, едва их переставали подгонять, останавливались.

– Господин поручик, вы бы отдохнули, легли. Я останусь за вас, – сказал фельдфебель Мотовилову.

Мотовилов как–то сразу почувствовал страшную усталость.

– Спасибо, фельдфебель, останься. Я уже вторые сутки не сплю.

Офицер лег в сани, накрылся тулупом и забылся тревожным, кошмарным сном. Ему снилось, что в тайге поднялась сильная буря. Ураган носится между деревьев, с грохотом и треском валит их в снег и ревет, то густо и глухо раскатываясь по земле, то со свистом летя по вершинам. Тайга ожила, заговорила тысячами голосов, засверкала сотнями горящих волчьих глаз. Мотовилову казалось, что волки бегают вокруг обоза, сверкают своими огненными глазами, воют протяжно и резко, щелкают зубами. Потом офицер увидел, что и его солдаты стали, точно волки, сверкать глазами, а фельдфебель завыл отрывисто и громко. Лошади захрапели, понеслись, не разбирая дороги, во весь опор. Офицер проснулся, открыл глаза и увидел, что обоз, сгрудившись в одну кучу, стоит среди большой таежной поляны, а кругом в тайге вспыхивают огоньки выстрелов, пули свистят над мечущимися тенями людей, с чмоканьем хлопаются в сани. Фельдфебель звонким голосом командовал:

– Батальон, пли! Батальон, пли!

Как волчьи зубы, щелкали затворы. По концам винтовок бегали яркие желтые огоньки, похожие на сверкающие глаза хищного зверя. Кто–то кричал отчаянно:

– Понужай, понужай, братцы!

Слышались голоса:

– Товарищи, сдаемся! Не стреляй!

Стонали раненые. Гул выстрелов, громкие крики людей, храп загнанных и раненых лошадей смешивались в сплошной рев и вой. Со стороны тайги огоньки приближались, вспыхивали чаще. На снегу зачернели длинные тени всадников. Как мельничные крылья, махали их руки, рассыпая всюду холодную сталь ударов, и без звука, без стопа падали под их тяжестью темные фигуры с поднятыми кверху руками. Черная тайга в суровом молчании смотрела на людей, двумя высокими стенами огораживая дорогу с обеих сторон. Зажатые в узком лесном коридоре, метались в ужасе люди, вязли в глубоком снегу, падали, сраженные пулями. Вестовой, думая, что Мотовилов еще спит, тряс его за плечо:

– Господин поручик, проснитесь, красные. Проснитесь!

Мотовилов вскочил с саней.

«Живой не сдамся, но уж и их, чертей, поколочу. Надо дороже продать свою жизнь», – вихрем неслись у него в голове мысли.

Барановский был в сознании, чувство смертельной опасности стеснило ему грудь, откуда–то набрались силы, он встал с саней. Мотовилов бежал мимо него к фельдфебелю.

– Боря, надо бросать все и отступать. Ведь нас прикончат, – крикнул ему Барановский.

– Сейчас, сейчас, Ваня, – не останавливаясь, ответил тот.

Батальон, отстреливаясь, удачно ушел от плена, потеряв несколько человек убитыми и ранеными, бросив обоз. После боя Мотовилов пересчитал людей. В строю осталось двадцать девять. Барановский снова впал в беспамятство, и Фома нес его с другим вестовым на носилках, наскоро связанных из сосновых веток. По разбитой дороге идти было очень трудно.

Солдаты выбивались из сил, а Фома еле передвигал ноги. Шли тихо, с остановками. Сидя на снегу, подолгу курили.

– Ну и жара была нам, господин поручик, – говорил Черноусов, попыхивая сигаркой.

– Да и сейчас не холодно, – пошутил кто-то в толпе, снимая со взмокшей головы папаху.

– Надо лошадей доставать, господин поручик, Пешком пропадем.

Мотовилов соглашался:

– Непременно лошадей. Утром же достанем. Покурили, отдохнули, пошли. Сделали еще версты три и остановились. Двигаться дальше не было сил. Разложили костер. Люди набирали в котелки снег и вешали их над огнем. Жажда мучила всех. У запасливого Фомы в боковой сумке нашлось фунта два муки, из которой он немедленно начал стряпать заваруху. Мотовилов съел несколько ложек пресного мучного киселя и махнул рукой:

– Ну ее к черту, заваруху эту. Преснятина противная.

«Надо идти дальше. Деревня недалеко», – подумал офицер и вслух сказал: – Ребята, до деревни недалеко. Идти надо!

Фома с другим вестовым спеша доели заваруху и снова взялись за носилки. Батальон пошел. Покачиваясь от усталости, как пьяные, вошли Н-цы в деревню. Рассвет был близок. Обозы начинали выходить из деревни. Н-цы заняли только что освободившийся овин, разложили в нем три костра. Овин был большой и круглый, с высокой крышей, продырявленной посредине. Дым клубами выходил через отверстие, седой пеленой закрывая начинавший светлеть темно-синий звездный свод неба. Измученные люди тремя клубками свернулись вокруг костров. Разгоряченные утомительным переходом по разбитой дороге и глубокому снегу, мокрые от пота, солдаты спали как убитые. Не спалось только одному командиру, да Барановский громко разговаривал в бреду. Отогревшиеся паразиты зашевелились под потной рубашкой у Мотовилова; его тело горело от их укусов, как обожженное крапивой. Офицер вертелся с боку на бок, чесался, никак не мог заснуть. Барановский говорил кому-то:

– Вы знаете Японию! Это дивная страна. Страна восходящего солнца. Как красиво – восходящего солнца. Там солнце яркое-яркое, ласковое. Япония – счастливая земля. Солнце заливает ее теплом и светом, а безбрежный океан, шумя и волнуясь, дышит на нее свежей прохладой. Солнце, море, цветы, вечно зеленые деревья. Как хорошо там. Боря, ведь мы уедем в Японию? – не приходя в сознание, спрашивал Барановский.

Мотовилов услышал последнюю фразу и, подкладывая в тухнувший костер дрова, ворчал:

– Да, да, приезжай в Японию. Там тебе рады. Сейчас оседлают, верхом на шею сядут и возить себя заставят. Там тебе покажут кузькину мать. Куда все твои цветочки, лепесточки полетят. Папу, маму позабудешь, как звали.

Костры догорали. Через отверстие в крыше, в щели стен заглядывал слабый свет. Ночь уходила, бросая последние багровые отблески тухнувших углей на плотную грудку спящих солдат. Барановский бредил:

– Настенька, я не останусь у тебя. Убьют меня красные. Скажут: золотопогонник – и к забору... Ну, прощай, прощай, Настенька, надо к роте идти, – торопился больной.

Помолчав минуту, Барановский приподнялся, сел на носилках и, грустными глазами смотря на костры, говорил. И нельзя было понять, бредит он или находится в сознании.

– Жизнь уходит. Я чувствую. Я вижу, Борис, как какая-то туманная, легкая завеса отделяет меня от всех вас. Я умру скоро. Как жаль, ведь я так еще молод... Двадцать лет... Боже мой, и уже смерть. И сколько нас таких, молодых и сильных, лишенных радости жизни, думающих только о ней, костлявой. Уйди, проклятая!

Мотовилов подошел к больному, ласково погладил его по голове:

– Не волнуйся, Ванечка, ляг. Какая там смерть? Ты поправишься. Экий молодец умирать собрался. Мы еще повоюем.

– Нет, Боря, не беспокойся, я наполовину уже нездешний. Ты говоришь, воевать? – лицо больного передернулось нервной гримасой. – Нет, нет, не хочу я больше этого ужаса. Не хочу смотреть, как люди рвут людей на клочья. Как рычат они противно А кровь, кровь. Захлебываются все...

– Ванечка, успокойся. Ну, чего это ты?

Мотовилов с ласковой настойчивостью попытался положить Барановского на спину. Больной раздраженно задержал плечами.

– Не хочу лежать. Подожди, скоро лягу навсегда.

Офицер приложил руку к глазам, как бы закрываясь от солнца.

– Ага, Свистунов едет, – и громко на весь овин закричал: – Ординарец, лошадь командиру батальона! Боря, скажи, где здесь дорога в Японию?

– Не знаю, Ванечка.

– Ах ты, господи, да кто же знает, где дорога? Ведь вот сколько их, все путаются, перемешиваются. Не разберешь, какая же в Японию, – и, обращаясь к какой-то хозяйке, говорил: – Хозяюшка, скажи, милая, как от вашей Крутоярки проехать в Японию? Где у вас тут дорога? Хозяюшка, а ты молочка дашь нам к чаю?

– Ничего не понимаю, все дороги в одну сторону – плачущим голосом жаловался больной. – Ох, боже мой, за что такие страдания? У, злой старик, ты издыхаешь. Тебе досадно, что мы молоды, что мы жить хотим, и ты загнал нас в этот хлев и мучаешь. Сам подымаешь, так и всех других погубить хочешь. – Злая улыбка кривила губы Барановского. – Нет, старый дьявол, не погубить тебе людей. Ты сдохнешь, а мы будем жить. Хозяюшка, да скоро, что ли, ты молока-то дашь? – больной устало закрыл глаза и лег. Проснулся Фома и, почесываясь, стал греть у огня озябший бок.

– Фомушка, пожрать бы чего, – нерешительно сказал Мотовилов.

– У нас ничего нет, господин поручик, пойду вот схожу на улицу, обозов много стоит, может быть, выпрошу чего у каптеров.

Вестовой надвинул шапку на уши и тяжелой походкой неотдохнувшего человека пошел к выходу. Костры почти совсем потухли. На улице было светло. Солдаты зябко жались друг к другу, вертелись с боку на бок, чесались. Некоторые, продрогнув, вскакивали, начинали плясать. Фома вернулся злой, с пустыми руками.

– Ни один черт крошки хлеба не дал.

– Ты еще молод, Фома. Поучись-ка вот у меня, – смеялся молодой отделенный, замешивая в котле тесто. Фома обернулся к нему.

– Ты где это взял?

– Ха-ха-ха! Взял. Гусь ты, Фома. Рази нашему брату можно брать так?

– А што у сибиряка не взять? Они все за красных.

– Ну нет, брат, воровать я не согласен. Я купил за два оглядка. Ха-ха-ха!

– Где? – любопытно спросил Фома.

– Тамока, поди поищи, – неопределенно махнув рукой, посоветовал отделенный и, вытащив из огня раскаленный камень, стал наливать на него жидкое тесто. Сняв две первых лепешки, он предложил их Мотовилову, тот с радостью взял и стал есть полусырое тесто, подгоревшее с одного бока. До двух часов дня просидели Н-цы в овине. Кое-кто наворовал картошки, муки, масла. Кое-как поели. Перед выступлением из деревни Фома разыскал у хозяина спрятанную лошадь и сани, приспособил все это для перевозки своего больного командира. Хозяин, надеясь, что лошадь ему вернут, если он поедет с подводой, оделся и вышел из избы. За ним с кучей ребятишек вышла и хозяйка.

– Ты нам не нужен, – сказал Мотовилов.

– Господин офицер, а как же лошаденку-то мне отдадите? – заискивающе спросил крестьянин.

– Лошадь я у тебя реквизирую за то, что ты ее прятал, думая лишить нашу армию одной лишней подводой, то есть, короче говоря, ты прохвост, большевик и действуешь в их пользу.

– Барин, пожалейте ребятишек малых, не берите сивку, – заголосила баба и, упав на колени, хватала офицера за полы шубы. Вслед за матерью заплакали и ребятишки.

Мужик ухватился за повод и кричал:

– Как хотите, господин офицер, хоть убейте, лошадь не отдам, последняя. Разорете совсем ведь.

Мотовилов был взбешен сопротивлением. Грубо оттолкнув ползающую на коленях женщину, он подбежал к крестьянину и со всего размаху ударил его нагайкой по лицу. Мужик схватился руками за глаза, взвизгнул и упал на снег.

– Батюшки, глаза выхлыснули? – закричала женщина и бросилась к мужу.

Батальон пошел. Оглядываясь назад, Мотовилов видел, как на крик хозяйки выскочили соседи и несколько баб принялись громко выть, причитая. Верстах в трех от деревни дорога поворачивала сначала вправо, потом влево, образуя нечто вроде большого колена. Командир решил, что самое лучшее будет напасть на обоз в месте сгиба дороги, так как тогда задние и передние подводы за поворотами ничего не будут видеть и, услышав стрельбу, постараются удрать. Мотовилов расположил батальон за ближайшими деревьями и стал пропускать обозы, выбирая наиболее подходящие для нападения. После нескольких десятков минут ожидания с засадой поравнялись подводы беженцев на шикарных лошадях и остатки какого-то штаба или штабной канцелярии. Пули взвизгнули над головами беженцев. Мотовилов с револьвером выскочил из-за деревьев.

– Ура! Сдавайтесь! Сдавайтесь!

Черноусов схватил под уздцы высокого тонконового вороного.

Н-цы черным кольцом облепили обоз.

– Сдавайтесь!

Пожилой полковник с рыжей бородкой клинышком, в большой белой папахе дрожащей рукой отстегивал крышку кобуры.

– Жорж, скорее убей нас!

Жена полковника прижимала к себе семилетнего сына. Глаза женщины с ужасом перебежали от цепи Н-цев на руку мужа. Блестящий никелированный браунинг мягко стукнул у виска. Длинная шуба и длинноухая шапка откинулись в сторону, свалились из саней. Револьвер опять стукнул. Мальчик не успел заплакать, скатился под сиденье. Рыжая бородка острым клинышком поднялась кверху, папаха слетела. Полковник перегнулся на спинке кошевки. Остальные сдались. Победитель развязно предложил пленникам выйти из саней. Люди, дрожащие от страха, молча повиновались. Женщины плакали. Офицер начал сортировать вещи своих жертв. В снег полетели чемоданы с бельем, ящики с посудой, пишущие машинки, канцелярские книги, бумаги. Оставлено было только съестное. Разгрузив обоз, Мотовилов приказал переложить Барановского в другие сани.

– Вот вам две подводы под вещи.

Офицер взглянул на кучку дрожащих пленников, нагло оскалил зубы:

– Расстреливать мы вас не будем.

Дорога впереди очистилась. Мотовилов повел батальон рысью.

## **25. У НАС МАЛО ПАТРОНОВ**

Снег белой искрящейся накипью садился на зеленые иглы деревьев, пенясь, стекал по корявым темно-красным стволам, пушистыми, легкими клубами расползался под корнями. Холодные, мягкие потоки заливали тайгу и кривую узкую дорогу. Раненых убрали. Замерзшая кровь рассыпалась пунцовыми лепестками мертвых цветов. Убитые лежали кучкой. Поручик Нагибин и прапорщик Скрылев с синими, помертвевшими каменными лицами медленно раздевались. Семеро партизан, опершись на винтовки, ждали. Черная доха Петра Быстрова серебрилась инеем.

Длинные усы Ватюкова побелели от мороза. Тяжелые широкие шубы делали людей похожими на неуклюжие обрубки. Нагибин, скрывая трусливую, произвольную щелкающую дрожь зубов, снимал с себя английский френч с потертыми суконными погонями. Скрылев, прыгая на одной ноге, стаскивал брюки. У обоих офицеров кальсоны внизу были завязаны тонкими тесемочками. Оба полуголые, еще теплые, пахнущие потом, согнувшись, долго возились с ними. Партизаны молча ждали. Быстров стал складывать в сани офицерские костюмы, теплые бешметы на кенгуровом меху, белье. Нагибин, совсем голый, переминался с ноги на ногу, дул в замерзшие руки. Скрылев тер себе уши.

– Ну, натешились, товарищи? Кончайте.

Поручик глазами рвал на клочья спокойных, неумолимых врагов, тяжелыми мохнатыми глыбами окаменевших в пяти шагах. Синие щеки и носы офицеров покрылись белыми пятнами. Скрылев не в силах был больше удерживать нижнюю челюсть, рот у него широко



раскрылся, зубы щелкали. Под ногами у офицера, в снегу, дымясь теплым паром, желтела круглая воронка.

– У нас патронов мало. Стрелять мы вас не будем. Белый кусок ваты упал с усов Ватюкова.

– Бегите к своим. Добегете, ваше счастье. Не добегете, не взыщите.

Офицеры повернулись. Оба с трудом вытащили ноги из снега, побежали. И Скрылеву и Нагибину казалось, что бегут они страшно быстро, ветер свистел у них в ушах. Деревья мелькали мимо, валились набок. Партизаны наблюдали. Босые ноги высоко отскакивали от снега, как от раскаленной плиты. Толстый кулак, обросший колючей щетиной, воткнулся Нагибину в горло. Крутая снежная гора выросла перед офицером, опрокинулась на него, повалила навзничь. Скрылев свернулся калачиком рядом. Кулак раздирал легкие. Ничего, кроме снега, офицеры не видели. Снег засыпал их.

– Готовы, как мух сварило.

Партизаны сели в сани, поехали в село. Навстречу ползли две санитарные подводы.

– Как, товарищи, раненых, поди, нет больше?

– Нет, убитые только остались. Все равно подбирать надо.

– Конечно, надо. Сейчас подберем, костер уже готов.

Лошади остановились у кучи мертвецов. Партизаны, тяжело ступая по рыхлому снегу, путаясь в дохах, поднимали убитых за ноги и за руки, бросали в широкие розвальни. Стукнувшись затылком о мерзлую мертвую голову Пестикова, Костя Жестиков пришел в сознание, приподнялся.

– Господа, скорее меня в лазарет. Я доброволец. Я сильно ранен. Скорее, господа, а то нас бандиты накروют.

Старик Чубуков переглянулся с зятем.

– Слышь, живой доброволец.

– Какие бандиты? – притворившись, с нотками безразличия спросил Чубуков.

– Известно какие, красные партизаны.

– Ну, брат, до них далеко. Их угнали и не видать.

– Угнали, это хорошо. Только скорее, господа, а то я истеку кровью.

Жестиков оживился, поднял воротник, засунул руки в рукава. Ранен он был в бедро. Кровь промочила у него все брюки, натекла в валенки.

– Сейчас, сейчас, мы вас за полчаса доставим. Партизаны сели в сани, дернули вожжи. Кругленькие мускулистые минусинки пошли мелкой рысцой. Зять Чубукова сидел рядом с Жестиковым. Черная борода партизана тряслась, на лицо добровольцу падали с нее холодные мокрые комья снега.

– Давно вы эдак добровольцем–то воюете?

– С самого первого дня переворота. Да до переворота я еще в офицерской организации состоял.

– Гм... Награды, поди, имеете?

– Нет, у нас полковник скуп на этот счет. Хотя меня все–таки представили к «Георгию».

– Ага, ишь ты!.. Гярой, значит!

Жестиков самодовольно улыбнулся; бедро заныло, доброволец поморщился.

– Да, я повоевал. Свой долг исполнил, теперь и отдохнуть имею право.

– Конешно, конешно. Обязательно отдохнуть. Партизан отвернул в сторону лицо, загоревшееся злобой. Жестиков болтал без умолку:

– Пусть кто другой повоеует так, как я. Красная сволочь долго будет помнить господина вольноопределяющегося Константина Жестикова. Широкинцы уж наверняка меня не забудут. Ах, и почертили мы там. Девочка какая мне попалась!..

К горлу партизана что–то подкатилось, не своим глухим голосом он спросил добровольца:

– Это в Широком–то?

– Да.

– Какая?

– Совсем, знаешь ли, молоденькая, лет пятнадцати, четырнадцати, не больше. Невиненькая еще была. Как ее звали?

Жестиков задумался на минуту:

– Да, Маша, Маша Летягина.

Партизан задрожал, услышав имя своей сестры.

– Мы ее с Пестиковым в курятнике прижали. Она там пряталась. Потеха. Кур всех перепугали. Девчонка наша ревет. Я говорю ей: ложись, мол, добром, а она разливается, она разливается. Но, однако, сразу поняла, в чем дело, говорит мне: «Дяденька, я еще маленькая». А Пестиков, чудак такой, он всегда с шутками да прибаутками, отвечает ей: «Ничего, ничего, Маша, расти, пока я штаны расстегиваю». Хи–хи–хи!

Жестиков тихо засмеялся, схватился за рану.

– Ох, нельзя смеяться–то, больно.

Партизан размахнулся и тяжело стукнул раненого по зубам.

– Заткни свою глотку, погань!

– Ты чего это?

Жестиков еще не понимал, в чем дело.

– На каком основании?

Партизан плюнул ему в глаза, бросил вожжи.

– Вот тебе, гаду, основания! Вот тебе основания! Вот тебе партизанское спасибо!

Жесткие кулаки в косматых шубенках заходили по лицу красильниковца.

– Партизаны, а–а–а, карауул!

Жестиков подавился обломками своих зубов.

– На вот тебе, сволочь!

Чубуков остановил лошадь. Летягин, черный от гнева, топтал Жестикова ногами.<sup>7</sup>

– Ты чего это, Иван?

– Тятя, он ведь Маньку–то нашу изнасилничал. Жестиков снова потерял сознание.

– Ну?

– Сам расхвастался, гад.

Иван, тяжело дыша, соскочил с саней.

– Никак околел? Айда, Иван. Время неча терять.

– Айда!

Партизаны погнали лошадей. Лицо у Жестикова стало плоским, как доска. Небольшой нос был сломан и сплюснут. Кровь дымилась и, капая с избитого, мерзла коралловыми гроздьями на воротнике, на спине мертвого Пестикова. Желтые, с полураскрытыми ртами тряслись убитые. Летягин еще раз плюнул на Жестикова. Дорога круто повернула влево, расплзлась широкой белой плешью поляны. Убитых уже жгли. Огромный костер пылал недалеко от дороги. Трупы были сложены слоями. Слой дров, слой тел. Лежащие на самом верху крючились от жару. Над зубчатой огненной короной поднимались темные руки, ноги, обуглившиеся головы мелькали, скрывались в огне. Черный дым тяжелым, ровным столбом качался над костром. Трое партизан с длинными железными рычагами ходили вокруг огня, подправляли разваливающиеся плахи. Чубуков с Летягиным остановили лошадей. Стали раздевать Жестикова. Один отошел от костра, принялся стаскивать с убитых валенки. Тесть с зятем подтащили добровольца к костру, приподняли за руки и за ноги, раскачали, забросили на верх горящих тел.

– Гоп!

Летягин крикнул, стал оттирать снегом руки, запачканные кровью.

– Товарищи, подсобите мне. Одному не управиться, застыли здорово.

Пожилой, рыжеусый партизан снял шапку, тяжело вздохнул. Около него чернела куча валенок, полшубков. Жестиков очнулся, хватил полные легкие дымом, подпрыгнул, хотел встать, но бедро у него было разбито, он смог только приподняться на четвереньки.

– В–и–и–у–у–у–й!

Свиной визг тонким, едким ударом кнута метнулся в тайгу, завяз в густой безмолвной чаще.

– Эх, живой попал! – Партизан бросил кочергу, вытащил из–за пазухи длинный, тяжелый «смит».

– Чего человеку мучиться.

– Не тронь.

Черный, высокий Летягин отвел руку товарища.

– У тебя что, патронов много, что ли? По падали не стреляют. Заслужил он этого. Сдохнет и так!

«Смит» нерешительно ткнулся за пояс. Не сильно, но отчетливо щелкнув, у Жестикова лопнули глаза. Волосы добровольца пылали, скипаясь в черную, вонючую пену. Язык огня, лизавший голову, был похож на яркий ночной колпак с острым концом и мохнатой дымчатой кисточкой наверху. Раскаленные щипцы разодрали живот и грудь. Жестиков скрючился кольцом, ткнулся в угли. Чубуков с Летягиным постояли немного молча, пошли помогать рыжеусому раздевать убитых.

– Еще бы чернозубого этого, рыжего дьявола поймать, который жану–то опозорил, – вслух подумал Летягин.

Потом они еще два раза ездили за трупами, снимали с них все до нитки, голых кидали в огонь. Привезли и бросили туда же замерзших Нагибина и Скрылева. Дрова подкладывали всю ночь. Трупы горели ровным синим огнем, почти не давая дыму.

– Ишь, как горит человек. Ровно керосин али спирт.

Партизаны курили, сидя на снегу. По черным сгоревшим человеческим головням бегали тихие синие огоньки. Снег кругом был залит прыгающими пятнами синьки и крови. Тайга, совсем непроглядная, темным валом обложила поляну. Мороз залазил партизанам под дохи, толкал их ближе к костру.

Утром в селе ударил колокол. Большой, тяжелый, широкогорлый. Ему ответил маленький, тонкоголосый. Вся колокольная заговорила грустно, тихо. Медные вздохи разбудили тайгу.

– Что это такое? Будто в Пчелине попа не было, а звон. Да никак похоронный? Кого–то хотят честь–честью проводить на тот свет. Но где взяли попа?

Чубуков недоумевал, разводил руками. Костер еще горел.

В комнате Агитационного Отдела Жарков спорил с Воскресенским:

– Слышишь, звонят, – говорил Жарков, – и ты должен будешь сейчас пойти в церковь, надеть ризу, отпеть семерых наших партизан и окрестить двух ребятишек у беженцев. Это уж ты как хочешь, а сделать должен.

Воскресенский раздраженно пожимал плечами:

– Я не понимаю, зачем эта комедия? Разве я для того снимал с себя сан, чтобы опять здесь восстановить его. Нет, я не хочу.

– А я тебе говорю, что ты должен. Меня старики еще вчера просили, чтобы, значит, все устроить по–христиански. Я согласился. Пойми, Воскресенский, что сознательных большевиков у нас не больно много, а попутчиков случайных сколько хочешь, их у нас сила, на них держимся. Ничего не попишешь, приходится им угодать.

– Как это все–таки противно.

– Потерпи, Иван Анисимович, соединимся с Красной Армией, тогда не станем и со стариками считаться.

В комнату вошла старуха просвирня, стала креститься на передний угол.

– Здравствуйте, крещены которы. Здорово живете.

– Здравствуй, матушка.

– Ну, который из вас батюшка–то, сказывайте? Воскресенский слегка покраснел.

– Я, а что?

– Ждут вас уж в церкви–то. Покойничков принесли. Пожалуйте.

Жарков, смеясь, отвернулся к окну.

– Иди, Иван Анисимыч.

Воскресенский махнул рукой, стал одевать доху. Церковь была полна. Партизан боком прошел через толпу, скрылся в алтаре. Золотая твердая риза сидела неловко, мешком. Воскресенский уже отвык от неудобных одежд духовного пастыря. Яркие большие кресты из толстой ткани смешно лезли в глаза. Стриженный, бритый, скорее похожий на католического ксендза, чем на православного священника, Иван Анисимович вышел на амвон, перекрестился, перекрестил народ.

– Во имя отца и сына и святого духа.

Толпа поклонилась, вздохнула, замахала руками. Отпевание началось. Убитые лежали в

белых сосновых гробах.

– Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.

Родные погибших плакали, клали земные поклоны. На улице развернутым фронтом, с красными знаменами выстроились две роты. Одна Таежного, другая Медвежинского полка. Воскресенский незаметно для себя вошел в роль священника, служил не торопясь, молитвы читал внятно, с чувством. Старики и старухи, за долгое время скитаний по тайге стосковавшиеся по церкви, стояли довольные, с ласковыми, прояснившимися глазами. Скорбными, дрожащими вздохами падали в сердце толпы слова молитвы.

– И сотвори им в–е–е–чную па–а–а–мять! Люди опустились на колени, с плачем молили:

– Сотвори им в–е–е–чную п–а–а–а–мять.

Когда гробы были вынесены на паперть, партизаны запели:

Вы жертвою пали в борьбе роковой

Любви беззаветной к народу... Вы отдали все, что могли, за него...

Старики и старухи крестились, всхлипывали:

Со святыми упокой, Христе, души усопших рабов твоих.

Нет, они не были рабами. Красные продырявленные пулями знамена отрицательно трясли своими полотнами: нет, нет. Партизаны, сжимая винтовки, снимали шапки.

О павшие братья, мы молимся вам...

Колыхнувшись, убитые пошли в последний поход. На кладбище Воскресенский вышел из церкви без ризы, в коротком меховом пиджаке и папахе. Поправил револьвер на широком ремне, быстро зашагал, догоняя похоронную процессию.

## 26. ЭТО

В деревнях, заимках, селах Таежного района белые создали тысячи мучеников. Кровавый посев давал красные всходы. Партизанское движение росло, крепло, ширилось. Крестьяне и рабочие, внешне спокойные и покорные, в сердцах носили огонь ненависти и жажды мести. Красный гнев клокотал палящей лавой. Красное было розлито всюду. Красной полосой легла на белый стан Таежная Республика. Красные точки и пятна сочувствующих и помогающих партизанам кишели в тылу у белых, в их рядах. Каждый шаг белогвардейцев, верный и неверный, тайный и явный, был известен партизанам. Крестьяне, женщины, старики, подростки, девушки добровольно осведомляли красных о всем, что творилось у белых, умело, незаметно разлагали их ряды, привлекали на свою сторону мобилизованных, обманутых.

В рождественский сочельник, перед рассветом, от Медвежьего к тайге по чистому полю, поскрипывая лыжами, быстро скользили двое. Среднего роста, крепкий, широкоплечий, с длинной серебряной бородой, в малахае и белой дохе – Федор Федорович Черняков и высокий, костлявый, бритый, с короткими, обкусанными, торчащими щетиной усами, в рыжем телячьем пиджаке и таком же картузе – Никифор Семенович Карапузов. Старики гнулись под тяжестью больших мешков, привязанных за спиной. Они везли партизанам медикаменты, купленные в городе. Лыжи глубоко уходили в снег, нападавший за ночь. Идти было трудно. Под теплыми мехами на спине и на груди у лыжников рубахи отсырели от пота.

– Закурить бы надо, Федор Федорыч, – остановился Карапузов.

– Оно бы, конечно, хорошо, Никифор Семеныч, да как бы не заметили нас?

– Ну, в этаку темень да рань. Поди, спят все без задних ног.

Карапузов вытащил из–за пазухи короткую самодельную трубку. Черняков достал кисет. Сбоку в темноте фыркнула лошадь. Старики вздрогнули, насторожились. На дороге отчетливо хрустели конские копыта, едва слышно брякало оружие. Несколько красных точек, покачиваясь, плыло к тайге.

– Смотри, курят. Ведь это орловские молодцы в разведку поехали, – шептал Черняков.

Разъезд гусар шагом шел по дороге на Пчелино. Корнет Завистовский, безусый восемнадцатилетний мальчик, опустил голову и, развалившись в седле, мурлыкал под нос:

Свое мы дело совершили –

Сибирь Советов лишена...

Молодой офицер перед выездом из села выпил немного спирту, был весел. Новенькая, мягкая, длиннополая черная барнаулка грела хорошо. Косматая тресковая папаха закрывала оба уха.

– Так и есть, они.

– Давай дернем в сторону с версту и прямо Пчелинским логом ударимся на спаленную сосну.

Старики спрятали табак, повернули влево. Лыжи хрустнули, тихо взвизгивая, заскользили по белому пушистому ковру. В сумерках рассвета долго, осторожно шли по тайге. Задевая за сучья, роняли вниз чистые белые хлопья. У разбитой, опаленной молнией сосны остановились, сняли с плеч мешки, закурили. Между деревьев медленно светало.

– Ну, однако, пора стучать.

Черняков выдернул из-за пояса топор, стал редко, с силой бить им по сухому стволу. Ударив десять раз, остановился. В тайге шумело эхо. Затрещал бурелом.

– Что это, медведь, что ли? – спросил Карапузов.

– Какой теперя медведь. Медведь лежит. Карапузов сконфуженно махнул рукой.

– Фу, смолол. Хотя, мож, его спугнули? Иль, мож, это зюбрь<sup>1</sup>?

– Нет, зюбрь не так ходит. Зюбря не услышишь. Он идет – только хруп, хруп. Шагов пяток сделает, да и встанет, послушает и опять – хруп, хруп. А этот вон как трещит. Сохатый<sup>2</sup>, окромя некому.

Черняков опять застучал. Треск стал глуше, затихая, удалялся.

– Тяп–шшш! Тяп–шшш! Тяп–шшш!

Тайга просыпалась. Где-то далеко слабо отозвались:

– Тяп! Тяп!

Старик перестал стучать.

– Ага, десять тоже, – сосчитал он удары.

– Наши. Сейчас будут.

Черняков засунул топор опять за пояс, сел на сваленное дерево. Карапузов вытирал рукавом вспотевший лоб.

– Здорово мы с тобой, Федор Федорыч, отмахали.

– Да, подходя.

В чаще замелькали пестрые лохматые дохи. Несколько партизан бесшумно на лыжах подбежали к старикам.

– Здорово, товарищи!

– Здравствуйте!

– Ну, чего принесли, старички?

– Лекарства кое-какого, товарищи. Бинтов маленько.

– Дело хорошее.

Ватюков разглаживал свои длинные усы. Быстрое нагнул, стал ощупывать мешки. Доха у партизана распахнулась, среди меха сверкнула золотом гимнастерка, расшитая выпуклыми крестами.

– Это чего у тебя, Петра?

Черняков смотрел на необыкновенный костюм партизана. Быстрое засмеялся.

– Риза отца Кипарисова. Мы его на позапрошлой неделе уконтрамили<sup>3</sup>. Ну, добру не пропадать же. Я сшил себе гимнастерку. Крепкая штука, долго проносится.

Парень, улыбаясь, оправлял пояс, показывал старикам свою обновку.

– Чего банды поговаривают насчет войны? – спросил Ватюков.

Карапузов оживленно заговорил:

– Мне Пашка сказывал, вы знаете его, сын-то мой, что мобилизованные ждут только удобного случая, чтобы перебежать. Дела бандитов совсем плохи. Красная Армия близко. Гибель свою они уже чувят. Куируются здорово. В городе ихних беженцев полно. Офицерье свои семьи за границу, на Восток отправляют.

Гусары возвращались из разведки. Дорогой красильниковцы часто грелись из фляг со спиртом, ехали с песней:

Марш вперед, друзья, в поход,

Штурмовые роты.

<sup>1</sup> Изюбрь, или марал (благородный олень)

<sup>2</sup> Сохатый – лось

<sup>3</sup> Уконтрамить – убить

Впереди вас слава ждет,  
Сзади пулеметы.

Партизаны услышали, примолкли.

– Надо щелкнуть петушков красноголовых<sup>1</sup>.

Ватюков стал распоряжаться:

– Черемных и Панкратов, вы берите мешки и в Пчелино. А мы на них. С двух сторон надо охватить. Вали, Быстров, заходи сзади. Я спереду. Возьми себе четверых. Остальные со мной.

Небольшой отряд разорвался надвое, лавой брызнул в разные стороны, с легким скрипом скрылся за высокой желтой стеной тайги. Черемных и Панкратов навалили себе мешки на плечи.

– Вы, товарищи, передайте там от нас Жаркову–то с Мотыгиным, чтобы не сомневались, наступали бы на Медвежье, мы поддержим. Силешки у белых почти уже, можно сказать, и не осталось. Видимость одна только, – говорил Черняков.

– Обязательно! Уже это бесприменно будет передано. Конечно, наступать надо, кончать гадов.

Партизаны повернули лыжи назад, к Пчелину, на старый след.

– Ну, прощайте, товарищи. Счастливо вам!

Черняков и Карапузов постояли немного на месте, проводили взглядами две фигуры с мешками на спинах.

– Пойдем восвояси, Федор Федорыч.

– Пойдем, – старики тихо пошли домой.

Обходя кучи бурелома, оглядываясь в сторону дороги, останавливаясь, прислушивались, затаив дыхание.

– Трах! Трах! Тах! Тарарах!

Лыжники свалили лошадь у гусар, ранили одного и одного убили. Путь был отрезан. Красильниковцы метнулись обратно. Корнет Завистовский едва владел собой. Страх, холодный, тяжелый, задавил офицера. Быстров с четырьмя вылетел из чащи, перегородил дорогу.

– Трах! Трах!

И спереди и сзади. И в затылок и в лоб.

– Пиу! Пиу!

Лыжников была небольшая кучка. Но казалось, что их страшно много, что вся тайга кишит ими. Гусары остановили лошадей. Завистовский уронил повод.

– Сдавайся! Сдавайся!

Партизаны легко и быстро двигали лыжами, винтовки держали наготове.

– Слезай с коней! Бросай оружие!

Высокая черная лука казачьего седла мелькнула в последний раз перед глазами офицера. Соскочив с лошади, он стал отстегивать португею, солдаты снимали из-за плеч винтовки, клали их на дорогу. Лыжники схватили лошадей под уздцы, отвели в сторону. Гусары, скупившись, встали нерешительно, опустив руки.

– Добровольцы есть?

Пестрые дохи угрожающе стали рядом, вплотную. Красильниковцы молчали, сухо щелкнули затворы, винтовки уткнулись в головы пленных.

– Ну?

– Мы все мобилизованные. Один корнет доброволец.

– Ага!

Партизаны переглянулись.

– Солдаты, отойди к сторонке.

Гусары отошли вправо. Офицер остался один лицом к лицу с врагами. Завистовский стоял с трудом. Ноги ныли, дрожали. Корнет не мог понять, от страха это или от усталости.

– Раздевайся! Будет, погулял в погонах!

Сердце провалилось куда-то, перестало биться. Мохнатые дохи растопырились, заслонили собой солнце, дорогу и тайгу.

– Я замерзну, братцы. Холодно, не надо.

<sup>1</sup> Красильниковцы-гусары носили красные бескозырки

Дохи ошетились, зашевелились, засмеялись.

– Черт с тобой, замерзай. Нам ты не нужен, нам шуба да обмундирование твоё нужны.

Завистовский с трудом понял наивность своей просьбы. Но умирать не хотелось. Старуха мать встала перед глазами как живая. Он – единственный сын, он – последняя надежда. Без него она не выживет, не перенесет тяжесть утраты.

– Товарищи, у меня мама. У нее больше никого нет. Пощадите!

Офицер говорил глухим, задушенным, срывающимся голосом, с усилием поворачивал во рту сухой язык. Злая усмешка тронула лица партизан.

– Ты когда ставил к стенке моего отца, не спрашивал, однако, сколько у него сыновей?

Завистовский готов был расплакаться. Твердость и спокойная ненависть красных давили его.

– Нечего лясы точить, раздевайся.

Корнет не двигался с места, лицо у него стало темно-синим. Ватюков раздраженно теребил свои усы.

– Ну, долго тебя, золотопогонника, просить? Раздевайся, а то сами начнем сдирать, хуже будет.

Последняя искорка надежды потухла где-то на дороге под лохматыми унтами<sup>1</sup> партизан.

– Слышишь, мол?

– Я сейчас, сейчас, товарищи, я сам.

А жить хотелось страстно. Тайга стояла молчаливая, спокойная. Ровной лентой стелилась узкая дорога. И лица партизан были самые обыкновенные. Ничего особенного вообще не было. Все было как и всегда. Но зачем-то нужно умирать. Жизнь стала вдруг в несколько секунд красивой, влекущей. Выходило так, что раньше ее как будто не было, не замечалась она. Зато теперь она стала дорога, необходима. Смерть казалась глупой, никому не нужной, страшной. Избежать ее очень просто. Вот стоит только этому длинноусому сказать пару слов, и он будет жить, его не расстреляют.

– Товарищи...

– Лучше не скули. Сказано раздевайся, и кончено. Пестрые дохи недовольно, сердито переминались с ноги на ногу. Умирать не хотелось. Все протестовало против смерти. Оттянуть хоть на сколько минут.

– В последний раз, товарищи, дайте покурить.

– Кури.

Ноги больше не могли стоять. Офицер тяжело всем задом сел в снег. Вытащил портсигар. Лошади лизали снег. От них шел легкий пар, с острым запахом конского навоза и пота.

– Только поскорей поворачивайся.

Завистовский закурил. Вот и дым самый обыкновенный, и табак такой же, как час тому назад, когда не было еще этой необходимости умирать, папироса только очень коротка. Догорит и придется... Нет, это нелепость какая-то. Всего только восемнадцать лет! Зачем же смерть? Надо подумать. Между бровей закладываются две глубокие морщинки. Глаза напряженно смотрят на красную точку на конце папиросы. Она приближается к мундштуку с каждой затяжкой. Значит, и та неотвратимая, ужасная тоже? А если не затягиваться? Дохам скучно. Папироса все дымится.

– Ну, ты чего же, курить так кури, а нет так нет.

– Последний раз, товарищи, дайте покурить как следует.

Ну что им стоит каких-нибудь пять минут. Прожить еще пять минут – огромное счастье. Надо следить за папироской, чтобы сильно не разгоралась. Табак очень сух. Горит быстро, страшно быстро. Дохи обозлились.

– Ну, тебя, видно, не дождешься. Бросай папироску! Голова офицера свалилась на левое плечо. Держать ее тяжело. Руки повисли. Спина согнулась. Мускулы раскисли. Папироска выпала изо рта, зашипев в снегу, потухла.

– Раздевайся!

Неужели все кончено? Пленные гусары отвертывались к лошадям. Но как это случилось? Почему нужно было сегодня ехать в разведку? А мама, мама-то как? Острый нож колет сердце, грудь. Едкие, огненные слезы капаят на снег. Мама! Мама!

<sup>1</sup> Унты – меховые сапоги.

– Товарищи, у меня мама. Мамочка. Пошадите, Христа ради.

Руки хотят подняться и не могут. Голова совсем не слушается. Как хорошо плакать. Все-таки легче.

– Товарищи, мамочка, мамочка. Милые товарищи, дорогие, славные. Ну миленькие, родные, простите. Я у вас конюхом буду, за лошадьми ходить. Я лакеем буду, сапоги стану вам чистить. Милые, пошадите. Ведь у меня мамочка. Ма–а–а–моч–ка!

Зачем это так дергается все тело? Отчего так больно грудь и щиплет глаза?

– Фу, черт, измотал совсем.

Доха рассердилась вконец. Человека убить нелегко и так, а он ревет еще. Надо скорее. Иначе рука не поднимется. Может быть, мерещиться потом будет. Без команды приподнялись винтовки. Офицер заметил. Глаза залило совсем чем-то красным. И это сейчас. Сейчас случится это. Это. Осталось только оно это. За ним неизвестно что. Самое страшное, пока это еще не произошло. Когда это будет, то ничего, легко станет. Главное – перешагнуть это. Страшно. Зачем это? Надо жить. Жить! Долой это! Сил нет. Нет слов. Язык сухой, сладкий.

– Товарищи, простите. Не надо это. Товарищи милые, как же мамочка-то? Миленькие, простите.

Затворы щелкнули. Винтовки равнодушно, слепо тыкались перед глазами, покачивались едва заметно. Сейчас будет это. Еще секунда, и все кончено. Это.

– Мамочка! Ма–а–м–а–м–о–ч...

– Пли!

Черная барнаулка покраснела. Колени поднялись кверху, дергались. Раздевать не стали. Там, где только что произошло это, быть тяжело. Лучше не смотреть, уйти скорее. Сегодня это было не как всегда. Дорога стала очень узкой, тесной. Идти по ней свободно было нельзя. Друг друга задевали, толкали. Тут еще пленные мешаются, напоминают о нем. Лучше бы уж всех. Лыжи сняли. Они стучали очень громко, подкатывались под ноги. Мешали. Для чего их на веревках тащить за собой? Если бросить? Мешают страшно. И тайга почему-то очень молчаливая. Мертвая, совсем мертвая. Там прячется это. Это за каждым деревом. Как надоело это.

– Скорее бы кончилась война. Опротивело.

Ватюков морщился, плевал в сторону, тряс головой.

– У–у–у! Тьфу! Гадость!

– Ну, этого мальчишку долго не забудешь. Быстров прибавил шагу.

– Конечно, мать у всех мать.

Дорога с глубокими колеями затрудняла движение. Партизаны спотыкались. Почему-то было очень скверно на душе у всех. Это было и раньше, но не так сильно и остро. А теперь это давило.

## ***27. СЕГОДНЯ МЫ ВСЕ РАВНЫ***

Окна Медвежинской школы были ярко освещены. На улицу пробивались сквозь двойные рамы глухие звуки пианино. В светлых четырехугольных пятнах мелькали силуэты танцующих. У полковника Орлова были гости. Сегодня к нему приехали из города несколько офицеров в обществе двух сильно накрашенных дам. Обе были вдовы офицеров одного из сибирских полков, недавно убитых. Фамилий их никто как следует не знал. Все звали их по имени и отчеству. Одну, курносоватую блондинку среднего роста, с большим ртом и узкими глазами, в зеленом платье, – Людмилой Николаевной. Другую – высокую, полную, с пунцовыми губами, правильным носом, подкрашенными карими глазами и пышной прической завитых каштановых волос, – Верой Владимировной. Легкое светлое бальное платье открывало у нее наполовину грудь и руки до плеч. В большом классе было тесно. Адьютант играл на пианино. Подвыпивший полковник развязно шутил с дамами, танцевал, преувеличенно громко стуча каблуками и звеня шпорами. Нетанцующие офицеры разделились на две группы, разместившись за столами по разным углам комнаты. У сидевших в дальнем правом углу около стола, уставленного бутылками спирта, вина и закусками, лица покраснели и вспотели, воротники мундиров и френчей были расстегнуты. Бритый, белобрысый ротмистр Шварц старался перекричать пианино, стук и шмыганье ног танцующих.



Эх вы, братцы, смело вперед!  
В нас начальники дух воспитали,  
И Совдеп нам теперь нипочем.

Офицеры вторили нестройно, вразброд, пьяными голосами:  
Уж не раз мы его побивали  
И опять в пух и прах разобьем.

Полковник закричал с другого конца комнаты:

– Господа офицеры, к черту патриотические песни и политику. Сегодня мы будем жить только для себя. Довольно, надо когда–нибудь и отдохнуть! Корнет, матчиш!

Скучающие звуки вырвались из–под клавиш. Орлов схватил Веру Владимировну, канканируя, понесся с ней по комнате. Вера Владимировна вертела задом, трясла грудью, откидываясь всем телом назад, прыгала на носках, наклонялась вперед, высоко поднимала ноги, извивалась в руках офицера, выкрикивала тяжело дыша:

Матчиш я танцевала  
С одним нахалом  
В отдельном кабинете  
Под одеялом...

Офицеры перестали петь, разговаривать, блестящими сузившимися глазами ощупывали тонкие ноги женщины в ажурных чулках, ловили взглядами белые кружева ее белья. Совершенно пьяный сотник<sup>1</sup> Раннев вытащил из кобуры револьвер. Ему надоела смуглая физиономия Пушкина в темной массивной раме. Пуля попала в угол портрета, разбила стекло. Офицеры подняли стрелявшего на смех.

– Попал пальцем в небо! Қовыряй дальше!

Безусый юнец, хорунжий<sup>2</sup> Брызгалов, бросил презрительный взгляд в сторону Раннева, выхватил свой маленький браунинг, всадил пулю поэту между бровей.

Брызгалову аплодировали, пили за его здоровье. Осмеянный сотник, наморщив лоб, встал, подошел к пианино, медленно вытянул из ножен шашку, со злобой рубанул по крышке инструмента. Полозов толкнул в бок офицера.

– Ты чего это, черт, с ума спятил? Пошел отсюда.

Патруль, встревоженный выстрелами в школе, пришел узнать, в чем дело. Шарафутдин в передней успокоил солдат.

– Нищаво, эта гаспадын афицера мал–мало шутка давал.

Патруль ушел. Адъютант играл без отдыха. Людмила Николаевна и Вера Владимировна с легкостью бабочек порхали из рук одного офицера к другому. Отдыхать во время небольших перерывов дамам не давали на стульях, мужчины бесцеремонно сажали их к себе на колени. Они не сопротивлялись, смеясь, трепали офицерам прически, усы и бороды. Ротмистр Шварц, покачиваясь, волоча за собой блестящую никелированную саблю, подошел к полковнику.

– Какого черта, полковник, у вас так мало дам? Две каких–то пигалицы, и только. Нельзя ли...

– Ладно, ладно, – перебил Орлов. – Сейчас будут.

– Адъютант, корнет, женщин нам, женщин!

Адъютант закричал:

– Шарафутдин, киль мында<sup>3</sup>.

– Я, гаспадын карнет.

– Ханым бар?<sup>4</sup>

Шарафутдин плутовато улыбнулся. Острые черные глаза татарина заблестели в узких жирных щелочках. Толстые масляные губы раздвинулись.

– Бар<sup>5</sup>, гаспадын карнет.

– Бираля<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Сотник – казачий поручик

<sup>2</sup> Хорунжий – казачий подпоручик

<sup>3</sup> Поди сюда

<sup>4</sup> Женщины есть?

<sup>5</sup> Есть

<sup>6</sup> Давай

Группа более трезвых офицеров в левом углу класса играла в железку. Среди них был один невоенный, заводчик, беженец с Урала, приехавший из города, Веревкин Сидор Поликарпович. Заводчик приехал в отряд Орлова со всем имуществом, погруженным на восьми возах. В городе оставаться дальше становилось опасно, положение белых было безнадежное. В поезд, в один из эшелонов, уходивших на Восток, Веревкин не сумел попасть, ехать на лошадях самостоятельно побоялся, решил присоединиться к отряду полковника Орлова, своего старого знакомого. Играл Сидор Поликарпович не торопясь, спокойно, с сожалением вздыхая, говорил об убытках, причиненных ему войной, удивлялся, почему погибло в России дело Колчака.

– Ведь правительство адмирала совершенно правильно опиралось на мелкого собственника. Оно великолепно защищало интересы частного землевладения, вообще частной собственности. Не понимаю, чего еще, какую еще власть нужно сибирякам? Ведь здесь же совсем нет этого знаменитого российского пролетаризировавшегося бесштанного крестьянства. Здесь все мужики крепкие, скопидомы, хорошие хозяева. И вот, поди же ты, идут против нас.

– Каналья стал народ, измельчал, оподлился, распустился. Забыто все: и религия, и уважение к власти, ко всякой, какой угодно, даже к советской, – говорил Глыбин.

– Вы думаете, у красных лучше? Все один черт. Никто никого не признает. Бей, громи, грабь и всех и вся. Вот чем, вот какими интересами живет теперь русский народ. Анархия, полнейшая анархия кругом.

– Мое, – открывая карты, сказал Веревкин.

– У вас сколько? – полубопытствовал Глыбин. Веревкин показал.

– Ага! Берите.

– Но ведь нужны же какие–нибудь рамки, берега для разбушевавшейся стихии анархического разгрома, мятежа. Ведь в этом диком потоке разрушения и взаимного истребления в конце концов может сгнубить и самая идея воссоздания России, и сам народ, ослепленный красной ложью, утопит не только нас, но и себя.

Сидор Поликарпович пристальным, спрашивающим взглядом обводил партнеров, разглаживая широкую русую бороду, поправляя на правой стороне груди университетский значок.

– Неужели уж нет больше надежды на то, что власть останется в наших руках? Неужели все вы, господа, все наше многострадальное офицерство должны будете до конца жизни влачить жалкое существование изгнанников? А Красильников, ведь это историческая фигура, неужели и он?

Глыбин неопределенно протянул ответ:

– Да, Красильников – личность.

Веревкин оживился. Вокруг мясистого носа Сидора Поликарповича засветились ласковые складочки, коричневатые мешочки дряблой кожи под выцветшими–голубыми глазами стали меньше, наморщились.

– По–моему, господа, Красильников является наиболее яркой, красочной фигурой, наиболее видным представителем вашей славной офицерской семьи, – говорил Веревкин. Офицеры молча брали и бросали карты, двигали кучки бумажек.

– Простите, господа, я не хочу преуменьшать достоинств каждого из вас и умалять ваши заслуги перед родиной, по–моему, все вы в большей или меньшей степени являетесь его подобием, так сказать, его разновидностью. Красильников, по–моему, идеальный русский офицер, он соединяет в себе широту русского размаха с европейской методичностью и чисто азиатской жестокостью и беспощадностью, которые именно так нужны в деле искоренения большевизма.

– Черт знает, опять бита!

Глыбин швырнул пачку кредиток.

– Сколько?

– Ваша.

Игра шла. Слушали Веревкина рассеянно. Сидор Поликарпович любил поговорить.

– Атаман – художник своего дела. Он не чинит просто суд и расправу, а рисует картину страшного суда здесь, на земле, над всеми непокорными, бунтующимися. Возьмите его пу-

бличные казни, его танец повешенных, когда десятки людей сразу, по одной команде, взвиваются высоко над крышами домов и начинают, вися на журавцах, выделывать ногами всевозможные па, а тут же рядом согнано все село, стоит коленопреклоненное и смотрит. Жены, матери, отцы, дети повешенных – все тут. Атаман сам ходит в толпе, приказывает всем смотреть на казнь. Тех же, кто проявляет недостаточно внимательности или, по его мнению, нуждается во вразумлении, растягивают, порют шомполами и нагайками. И так часами длится экзекуция, а Красильников ходит тут же и, как лектор световыми картинками, демонстрирует свои беседы с народом живыми сценками из злосчастной судьбы большевиков. В наше время, когда нравственность и религия приходят в упадок, нужно именно такими сильнодействующими средствами внедрять их в сознание масс. Нужно заставить эту серую скотинку хоть чего-нибудь бояться, хоть кого-нибудь признавать. Красильников это отлично понимает, учитывает, а так как он человек с железными нервами и волей, то немедленно проводит все это в жизнь.

Лицо Веревкина сияло восхищенной улыбкой, точно кровавый атаман стоял сейчас здесь, и он любовался им.

– А его рабочая политика? Ах, это восторг! Мы уже давно, кажется со времен Лены, не получали со стороны правительства такой активной поддержки, какую имеем теперь в лице атамана. На заводах, фабриках, в шахтах он церемонится еще меньше, чем в деревнях. Там разговор короткий. Малейшее подозрение: большевик – за горло, на землю и пулю в лоб.

Офицерам надоели рассуждения Веревкина. Каждому из них все это было уже давно известно, да к тому же они не особенно интересовались отвлеченными вопросами внутренней политики. Их кругозор не выходил за пределы мелких, будничных интересов дня, дальше вопросов о повышении, перемещениях по службе, чинов, орденов и других мелких выгод они не шли. Пожилой худосочный прапорщик Лихачев надтреснутым голосом тянул скучный и вялый разговор о том, что он при Керенском уже был прапором, в гражданскую войну дважды ранен, а все еще прапор. Его перебивал поручик Громов:

– Э, чего вы там скулите, керенка несчастная, я вот по крайней мере николаевский поручик и сейчас все поручик. Но я горжусь этим. У меня чин настоящий, царский. Тогда ведь не так-то легко было достучаться до поручика. А теперь что – из мальчишек полковников наделали. Не хочу я этого, не надо мне ваших чинов.

Капитан Глыбин бубнил басом себе в кулак:

– У меня вот ни одного крестички нет, если не считать паршивенького Станиславишку. За бой под Чижмами, когда мы Уфу захватили, командир полка обещал мне клюкву<sup>1</sup>, да так подлые штабные душонки и запихали под сукно мое представление.

Шарафутдин появился в дверях и, подмигивая корнету, манил его пальцем. Корнет подошел к нему.

– Гаспадын карнет, есть три баб, только ревит бульна. Ристованный баб. Красноармейский баб, – зашептал денщик.

– Ни черта, Шарафутдинушка, тащи их сюда, мы их живо утешим.

Шарафутдин с другим денщиком Мустафиным стали тащить за руки и подталкивать в спины трех молодых женщин.

– Ходы, ходы, гаспадын офицера мал-мала играть будут. Вудка вам дадут. Бульна ревить не нады. Якши<sup>2</sup> будет.

Женщины плакали, закрывали лица концами головных платков. Ротмистр Шварц вскочил со стула.

– Ага, красноармеечки, женушки партизанские, добро пожаловать. Вот мы вас сейчас обратим в христианскую веру. Вы у нас живо белогвардейками станете.

В соседней комнате что-то трещало, звенели разбитые стекла, шуршала бумага. Мрачный сотник Раннев рубил шкафы школьной библиотеки и рвал книжки. Жажда разрушения овладела офицером. Оскорбленное самолюбие искало выхода. Руки горели.

– Шарафутдин, Мустафин, холуйня проклятая, где вы? – кричал Раннев.

Молодое красивое лицо с небольшими усиками было перекошено злобой.

<sup>1</sup> Орден Анны 4-й степени

<sup>2</sup> Хорошо

– Натяните вам бумаги на сигарки.

Он выбрасывал с полок книги, топтал их, рвал и кричал:

– Берите, холуи, годится покурить.

Несколько офицеров подошли к арестованным женам партизан.

– Ну, чего вы, молодухи, расхныкались. Ведь не страшнее же мы ваших волков красных?

– Чего с ними долго разговаривать! – заорал Орлов, – Господа офицеры, не будьте бабами! Энергичней, господа! Жизни больше! Не стесняйтесь! Сегодня здесь нет начальства. Сегодня мы все равны! Да здравствует свобода!

Шварц схватил полную женщину в коричневом платье, стал искать у нее застёжки. Лихачев бросил карты, подбежал к худенькой, невысокой, в красной кофточке. Глыбин уцепился за широкую черную юбку.

– Раздевать их!

Женщины визжали, отбивались.

– Матушки, позор какой! Матушки! Ой! Ой! Ой!

Орлов бросился к Вере Владимировне.

– Я сама, сама, вы еще платье разорвете.

Женщина быстро расстегнула все кнопки у кофточки, сбросила легкую ткань под ноги. Орлов трясущимися руками стал расшнуровывать у нее корсет. Людмила Николаевна, совершенно голая, вскочила на стол. Жены партизан, рыдая, катались по полу, стараясь закрыть свою наготу изорванными юбками.

– Господа офицеры, от имени женщин заявляю протест. Свобода так свобода! Равенство так равенство! Вы должны сейчас же сбросить свои тленные одежды!

– Правильно! Прравильно! Bravo! Bravo!

Офицеры с ревом срывали с себя мундиры, расстегивались. Веревкин с замаслившимся помутневшим взглядом нерешительно теребил себя за ворот рубахи.

– Матушки! Ой! Ай! Ай! Ой! У–у–у–у–! У–у–у! Жирный живот полковника белой, трясущейся массой вывалился из–за тугого широкого пояса брюк. Женщин было меньше, чем мужчин. Вокруг каждой закрутился горячий, потный клубок голых тел, дрожащих, с перекошенными похотью лицами, с полураскрытыми слюнявыми ртами, усатыми, бритыми, бородачатыми, безусыми.

– Женщин мало!

– Женщин!

– Нам не хватает!

Вера Владимировна вырвалась из самой середины голой толпы, со смехом побежала от погнавшего за ней Орлова. Нагое белое тело с округленными упругими формами мелькало по комнате, туманило мысль, наполняя всех мужчин одним страстным, непреодолимым желанием. Орлов в одних носках, тяжело топая, наскочил животом на стол, опрокинув посуду, со звоном упал на пол. Веру Владимировну схватил Полозов. Людмилу Николаевну возил на себе ротмистр Шварц. Босые ноги женщины торчали впереди голой груди кавалериста.

– Мало женщин!

– Ой! Ой! Ой! У–у–у! Помогите!

– Здесь живут четыре учительки!

– К ним! Взять их! – Десяток ног затопал по коридору. Голые, мокрые от пота навалились на запертую дверь. Дверь упруго тряслась, трещала. С этажерки посыпались книги. Ольга Ивановна решительно схватила со стола подсвечник, выбила стекла в обеих рамах. Царапая и режа руки, учительницы вылезли на улицу. Дверь с дрожью рухнула на пол пустой комнаты. Из разбитого окна клубами валил холодный пар. В классе кричал полковник:

– Господа, это безобразие! Надо организовать вечер! Господа! Господа!

Голые, со спутавшимися волосами люди оглохли. Орлов схватил шашку и, махая острым клинком, набросился на клубок белых червей. Темные и рыжие пятна шерсти на животах, на головах путались в глазах полковника.

– Зарублю! Смирна! Сволочь! Смирна! Сверкающая сталь, обернувшись боком, сыпала на горячие тела холодный горюх ударов.

– Смирна, сволочь!

Живот у Орлова трясся жидким студнем, волосатая грудь дышала с шумом. Крепкая, обросшая шерстью рука поднималась и опускалась, как шестерня.

– Смирна, сволочь!

– Ой! Ой! Ой! У–у–у... Позор какой! А–а–а!

## 28. «УФИМЬСКОЙ СТРЕЛЬКА»

Серо–свинцовая муть рассвета плавала в воздухе. Село спало. Снег мягкими, мокрыми хлопьями падал сверху. Было тепло и тихо. Ночной дозор остановился на кладбище. Солдаты, прислонившись к ограде, курили, разговаривали вполголоса. Высокий рябой уфимский татарин говорил молодому сибиряку Павлу Карапузову:

– Слышна, брат, красный бульна близка подходит.

Абтраган<sup>1</sup>.

– Чего ты плетешь, Махмед? Какой абтраган? За что меня красные бить будут, если я насильно мобилизованный? Да я только до первого боя, сам к ним перебегу.

Махмед недоверчиво крутил головой, сосал сигарку,

– Уфимьской стрелка красный не берет плен. Уфимьской стрелка абтраган.

Карапузов убежденно возражал: – Возьмут, брат, красные возьмут.

– Уй, красный Рассею бирал, Сибирь забирает, как жить с ним?

Вспышки сигарки освещали рябое скуластое лицо татарина с черными щетинистыми усами.

– Муй брат китайска поход ходил – тирпил, японска война ходил – тирпил, германска война с сыном ходил, лошадам отдавал – тирпил, ну русская свобода никак, говорит, тирпиль невозможна. Эта красный свобода сапсим всих разорял.

Молодое пухлое лицо Карапузова насмешливо улыбалось.

– Зря ты, Махмед, говоришь. Красные только буржуев разоряют. Буржуйам они, верно, спуска не дают. Конечно, если у тебя брат буржуй, так ему красных не нужно, для него они плохи. А тебе что? Ты буржуй, что ли? Нет ведь?

– Уй, брат, боюсь красных, абтраган.

– Чудак ты, Махмед, по–твоему выходит, белые лучше для тебя?

– Мы белый не видал, не знаем. Белый у нас мало стоял, отступал.

– То–то и дело–то, кабы ты знал их, так тогда не говорил бы так.

Недалеко раздался сухой, короткий треск, точно кто–то быстро стал ломать ветки деревьев.

– Диу, дзиу, джиу, дзиу, – запели над головами говоривших пули.

– Эге, это наши, – сказал Карапузов.

– Какуй наши, то красный.

– Ну да, красные; вот я и говорю, наши. Ты думаешь, белы, что ли, наши? На кой черт сдались мне эти кровопивцы? Язви их душу!

Торопливо, захлебываясь, застучал белый пулемет. Ему вторил частый, беспорядочный огонь винтовок. Сзади деревни глухо и тревожно ухнуло дважды дежурное орудие, и снаряды с воем и визгом полетели в серую мглу предрассветных сумерек.

– Дзиу, дзиу, диу, диу, – редко, но уверенно свистели пули красных.

Два орудия белых изредка посылали из–за деревни свои снаряды, но в их вое и визге было больше жалобных, плачущих ноток, чем злобы и силы. Ружейно–пулеметная стрельба не ослабевала. Бой разгорался. Карапузов забрался на кладбищенскую изгородь, долго вглядываясь в мутную даль зимнего утра, вертел головой, прислушивался к звукам боя.

– Махмед, айда к красным, – спрыгнул он на землю.

– Уй, боюсь, брат. Абтраган.

Лицо у Махмеда вытянулось, глаза со страхом прятались в землю, голова опустилась. Карапузов схватил татарина за рукав, с усилием потянул к себе.

– Айда, Махмед, ты ведь не буржуй. Чего тебе красных бояться? Айда!

Щеки Карапузова, полные, розовые, круглыми пятнами стояли перед уфимцем.

<sup>1</sup> Боюсь

– Мулла наш бульна пугал красным. Присяг бирал с нас.  
– Ну, черт с тобой, «уфимский стрелка», шары твои дурацкие, язви тебя.  
Сибиряк плюнул. Снял с винтовки японский штык, отточенный на конце, не торопясь срезал себе погоны.  
– К черту, довольно!  
Две зеленых тряпочки полетели в снег.  
– Ай! Ай! Ай!  
Татарин хлопал себя по боку, качал головой.  
– Ай! Ай!  
Снова примкнутый штык мягко шелкнул пружиной. Не взглянув на рябого, Карапузов закинул за плечи винтовку, пошел в сторону усиливавшейся перестрелки.

## **29. НИ ЧЕРТА**

Хорунжий Брызгалов и поручик Ивин стояли с эскадром в резерве. Брызгалов тянул из фляжки спирт, морщился, кричал. Разговаривали о первых восстаниях против советской власти.

– Смотрю я, господин поручик, на здешний народ, на сибиряков, и думаю, что сволочь здесь сидит на сволочи. Все большевики. Тут пули жди и спереди и сзади. Эх, вот в наших казачьих областях, там совсем не то. Казаки народ дружный. Взять хоть наших уральцев. Они за крест и бороду стояли. Все староверы, все бородачи, как один. А дрались как? Голыми руками броневики у красных крали. Рубились как? Боже мой, как ворвутся, так все метут, как метлой, – и старого, и малого, и комиссаров, и рядовых, и врачей, и сестер, и подводчиков.

– Бросьте вы, пожалуйста, кошму свою хвалить. Знаем мы этих станичников. Герои тоже, в тылу, за спиной у пехоты, а как на фронте набьют им морду, так они так пятки смазывают, так маштачков подхлестывают, что только пыль столбом летит.

Брызгалов недовольно дернул губами, но возражать не стал.

– Пришлось мне в самый переворот, во время свержения советской власти, – быть в О. Какой подъем там был, какое единение. Казалось, что проклятой революции пришел совсем конец. Мы, юнкера, прямо уверены были, что никаких больше учредилок и советов не будет, а будет Его Императорское Величество, и баста.

Ивин ядовито улыбнулся.

– Какое хорошее это было время, с каким увлечением лупили мы эту красную рвань. Патронов у нас было мало, так больше шашками рубили. Или поставишь целую шеренгу в затылок, выровняешь почище да первому в лоб и ахнешь, а пуля так всю шеренгу и снижет. Забавно.

Брызгалов сделал несколько глотков из фляжки.

– Казни и наказания у нас обставлялись с особенной торжественностью. Мы старались придать им характер справедливого суда народного. Для этого население всегда оповещалось, неофициально правда, что «сегодня состоится казнь большевика такого–то». Помню, очень интересно прошла казнь бывшего заведующего народным образованием, какого–то студента. Вывели его из тюрьмы ночью. Народу собралось масса. Конвоиры – конные казаки с факелами; как только вывели его, так сейчас же и раздели, совсем донага. Повели.

Брызгалов закурил. Несколько раз затянулся.

– Да, повели, а толпа плюет ему в лицо, кидает в него камнями. Один камень, видно, здорово стукнул его по голове, он упал. Казаки его сейчас же в нагайки взяли да стали слегка шашками подкалывать. Живо встал, пошел. Толпа все свирепеет. Факелы зловеще освещают лица. Страшно даже стало. Один какой–то гражданин хватил студента тростью по переносице. Он опять упал. Казаки опять давай стегать нагайками, подкалывать шашками – не встает. Тогда один факельщик взял, да и положил ему горящий факел пониже живота. Шерстью паленой запахло, мясом горелым. Вскочил, брат, моментально и пошел. Однако уже стал качаться, как пьяный. Но куда он ни качнется, его встречают острые концы шашек. Он вправо – его колют. Он влево – его колют.

Шел он так, шел, весь кровью облился, как краснокожий индеец стал. Упал. Ему опять факел приложили. Нет, не встал, только ногами задрыгал, как лягушка, когда через нее ток пропускают. Жгли, жгли, кололи, пороли – не встает. Мясом только сильней запахло. Я уже хотел пристрелить его, как вдруг толпа с ревом кинулась и буквально растоптала, разнесла его на клочки. После в небольшой ящик сложили кучу грязного мяса и костей.

– Молокосос вы, батенька, порядочный. Такие–то вот типы, как вы, в своем сверхусердии и создали большевизм у нас в тылу, все дело–то и провалили, – презрительно сказал Ивин.

Брызгалов обиделся:

– Да, рассказывайте. Эти–то молокососы в то время, когда вы философствовали да сидели сложа руки, всю революционную дрянь–то и вывели. Мы пощады никому не давали, не только большевикам, комиссарам, но и просто советским служащим. Мы рассуждали так: раз служил у красных, значит, помогал им, а раз так, то башку долой. Рубили всех: машинисток, конторщиков, рассыльных. Всех в одну кучу, как капусту.

– Ну вот, теперь и жните, что посеяли.

– А что же очень нос–то на квинту вешать? – задорно поднял голову хорунжий.

– Ну, разобьют нас? Ну что же. Сам себе пулю пушу в лоб, и ладно. По крайней мере буду знать, что не даром жил, кое–что для родины сделал.

– За это вы не беспокойтесь. Наше поражение давно предрешено. Мы не сумели использовать восставших волжан, уральцев, уфимцев. Мы забыли, что все они восстали против красных потому только, что за людьми не разглядели идеи, приняли разных уголовных преступников, проходимцев, пролезших к власти, за подлинных сеятелей идей большевизма. Кажалось, нам нужно бы учесть это. Мы должны были понять, что массы идут защищать нас по недоразумению. Мы должны были быть очень хитрыми и осторожными, чтобы дурачить их до конца, уверять и делать вид, что идем защищать какую–то свободу. Но мы поступили совсем иначе. Мы вообразили себя победителями, распоясались и начали насиловать и грабить в тылу жен, сестер, отцов, матерей и братьев тех самых солдат, которые на фронте по своему недомыслию защищали наши шкуры и карман.

В первой линии огонь усиливался.

– Э, да что говорить, чепухи, безобразия, недомыслия у нас хоть отбавляй. Ведь вот, к слову сказать, наш закон о земле прямо–таки политическая глупость. Красные его у себя полностью перепечатавали и кричали во всю ивановскую, что вот, мол, товарищи, смотрите, за что белые воюют. А наши финансовые операции? Позор!

Офицер махнул рукой. Брызгалов молчал, с тревогой прислушиваясь к перестрелке. Ему казалось, что огонь белых начал ослабевать, стал совершенно беспорядочным. Наблюдатель, сидевший на дереве, соскочил вниз.

– Господин поручик, так что красные с правого фланка обошли наших, а пяхота, которая была у нас на фланке, по своим же жарит. Наши бегут.

Нервная гримаса скривила лицо Ивина.

– По коням! Садись! – Брызгалов допивал фляжку.

– Ни черта, мы их сейчас сомнем.

Ивин неохотно выехал вперед эскадрона.

– Шагом маарш!

Эскадрон стал подтягиваться к месту боя. Выехали на опушку. Красные были хозяевами положения. Их пулеметы дождем обсыпали отходящие цепи белых. Цепи партизан продвинулись значительно вперед, и эскадрон выехал им как раз во фланг.

– Шашки вон! – машинально как–то командовал Ивин.

– Ура–а–а! – первый закричал Брызгалов, сильно хлестнул нагайкой своего вороного.

Эскадрон бросился в атаку. До вражеских цепей ему нужно было проскакать с полверсты по снежной равнине. Красные заметили гусар, встретили их дружными залпами. Первыми же пулями, Брызгалов был убит. Взмахнув руками, он свалился с седла, но нога у него увязла в стремени, и вороной, испуганно храпя, поволок его в сторону красных. Под Ивиным ранило лошадь, она свалилась набок, придавив ему ноги, и он никак не мог из–под нее выбраться. Расстояние между темной, плотной цепью красных и лавой эскадрона сокращалось медленно. Снег оказался очень глубоким. Лошади гусар вязли по брюхо. Ряды атакующих редели замет-

но. Не дойдя до противника, эскадрон повернул обратно. Атака не удалась. Ивин видел, как в лесу последним скрылся толстый вахмистр. Офицер приложил револьвер к виску, нажал гашетку. Дернувшись в сторону, голова поручика расцвела алым цветком маленькой кровавой ранки. Лицо стало одного цвета со снегом. Лошадь храпела, харкала кровью, но встать не могла.

### 30. ВИЛЫ

Медвежье враждебно насторожилось, высыпав на улицы, ждало. Крестьяне кучками прислушивались к приближающейся перестрелке, открыто иронизировали над отходящими обоими белых.

– Что, господа хорошие, пограбили, да и будет. Пора и восвосяи. Пятки смазываете. А кто платить–то за вас будет? А?

Обозники угрюмо молчали, торопливо подгоняли лошадей, со страхом оглядывались назад. Полубатарей передвинулась дальше за деревню, открыла по наступающим беглый огонь.

– Виуужжж! Виуужжж! – неслась над селом шрапнель за шрапнелью, и немного спустя, в полутора верстах, за околицей появлялись белые облачка дыма, слышался звук, похожий на громкий плевок.

– П! П! П!

По улице проехали подводы с ранеными. Окровавленные солдаты, наскоро перевязанные, метались в санях, стоная и вскрикивая при каждом толчке. Старухи вздыхали, охали, крестились. Толпа сосредоточенно молчала. Люди знали, что многие или даже большинство раненых были насильно загнаны на фронт.

– Та–та–та–та–та, тах, та, тах–тах, – задышался где–то близко максим, точно нервный, уставший человек дышал часто и пугливо, отмахивался бессильной рукой от наседавшего врага.

– Бум, бум, бум, бум, бум, – баском вторил ему кольт.

– Бум, бум, бум, бум, – редко стучал пулемет, и похоже было на то, что кто–то тонет в глубром пруду и, поднимаясь со дна, глухо лопаются на поверхности большие пузыри.

– Бум, бум, бум.

– Трах, трах, трах, – ломали сухие ветки винтовки.

– Диу, диу, диу, – звонко в морозном воздухе пели пули.

– Наша берет, скоро белым амба будет, – сказали в толпе.

Настроение крестьян поднималось. Лица становились возбужденнее. В руках у некоторых появились пистонные ружья, вилы, топоры, заржавленные клинки, вытащенные из–под спуда.

Шарафутдин на трех подводах вез полковничье имущество.

– Ребята, чего это мы орловского холуя отпускать будем с нашим же добром? Бей его!

Молодой парень вскинул к плечу одностволку. Грянул выстрел, и Шарафутдин, схватившись руками за окровавленное лицо, упал с саней.

Путаясь в длинных шинелях, по селу бежали пять гусар, самовольно оставившие поле сражения. Крестьяне задержали их, отобрали патроны и винтовки.

– Ура! Ура! Ура–а–а–а–а!

– Наши пошли в атаку, – закричал старик Черняков.

– Ребята, которые с вилами, к воротам становись, а которые с ружьями – на заплоты. Не дадим сбежать белым гадам.

Как солдаты командира, слушались крестьяне Чернякова. Улица опустела, затаилась выжидающая. Цепи белых дрогнули, смешались и в беспорядке, почти не останавливаясь, побежали к селу. Полковник Орлов носился среди бегущих на своей белой кобыле и хлестал нагайкой гусар направо и налево.

– Гусары, пехота вы вонючая, а не гусары! Стой! Стой! Застрелю! – орал он.

– Господа офицеры, что вы делаете? Куда бежите, как бабы?

Никто не слушал его. Солдаты и офицеры в животном страхе бежали по улице, бросая винтовки, патроны.



– Бах, бах, – загремели дробовики из-за заплотов.

– Ура! – закричал Черняков и выскочил из ворот с длинными вилами. Путь отступления был отрезан. Бегущие остановились. Две людские стены сошлись вплотную и сцепились в последней смертельной схватке. Вилы были длиннее винтовок. Крестьяне валили орловцев как снопы. Яркое зимнее солнце выглянуло из-за туч. На конце улицы засверкали клинки конных партизан. Отчетливо заалели красные банты, ленты и знамя. Судьба штыкового боя решилась в несколько секунд. Белые, смятые с двух сторон, были уничтожены. Бело-желтый ковер улицы запачкался красными пятнами. Полковника Орлова захватили живым. Партизан снимал с него револьвер и шашку. Белая кобыла полковника валялась поперек дороги, судорожно дергая тонкими длинными ногами; из живота ее, пропоротого вилами, двумя ручьями бежала кровь, большим пятном расплываясь по снегу. За конным дивизионом Кренца по тракту стала входить пехота. Впереди шел 2-й Медвежинский полк, левее его и сзади по проселку двигался 1-й Таежный, 3-й Пчелинский подходил резервом сзади всех. Председатель Армейского Совета Жарков и главнокомандующий Северным Таежным фронтом Мотыгин ехали верхом вместе с первыми цепями. Со стороны Светлоозерного ползла черная масса восставших шахтеров. Шахтеры шли с красными знаменами, вооруженные винтовками, самодельными пиками, вилами, дробовиками. Легкораненые с красными мокрыми повязками на головах, на руках шли в строю. Шахтеры, партизаны и крестьяне Медвежьего тремя бурлящими волнами сшиблись на середине села, заплескались, зашумели. Хмельная радость освобождения разлилась по избам. Все Медвежье высыпало на улицы. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и подростки, парни и девушки. От радости плакали. Смеялись, целовались, жали друг другу руки. Убитые валялись под ногами. На них не обращали внимания. Через мертвых шагали, наступали им на руки, на ноги, на лица. Спотыкались, попадая валенками в мягкие, еще теплые животы. День был яркий, солнечный. Снег сверкал на улицах и домах Медвежьего.

### **31. КОСТЕР ПОТУХ**

Избенка была построена из тонкого теса и горбылей. Ветер лез в нее со всех сторон через широкие щели. Пол заменяла утрамбованная земля. Окна, наполовину выбитые, замерзли, облипли снегом. Мотовилов стоял в раздумье на пороге.

– Нет, здесь холоднее, чем просто у костра, – решил он.

– Фомушка, ломайте эту хибарку и в огонь. Разложим костер побольше, тепло будет. Видишь, постройка – то какая дрянная, в ней только, значит, летом жили.

Барановский лежал в санях, невнятно бредил. Фома с Иваном сняли с петель дверь, вырвали рамы, разобрали небольшое крыльцо, изрубили все в щепки, разложили костер. В темноте, мимо по дороге, звонко скрипели полозья. Обозы лентой шли не останавливаясь. Н-цы отпрягли лошадей, набросали им снопов овсяной соломы, взятой тут же из огромного зарода. Солдаты улеглись плотным кольцом вокруг огня. Мотовилов, отворачивая лицо от жара, грел руки. Красные отблески обливали пальцы кровью. Дрожащие кровавые пятна пачкали шинели и полушубки Н-цев, лица и шапки. На огонь вышла из темноты длинная лошадиная морда с двумя оглоблями. Подъехал верховой, с трудом слез на снег, прихрамывая подошел к костру.

– Кто здесь старший, господа?

Мотовилов спрятал руки в рукава, обернулся к говорившему, прищурившись стал вглядываться в его лицо.

– Я старший, а что?

– Разрешите мне переночевать у вашего костра?

Мотовилов кивнул на своих солдат.

– Смотрите, сколько у нас народу. Негде.

– Ради бога, как-нибудь. Я офицер. У меня жена вон в санях лежит, после тифа. Двое детей.

– Ведь вы же видите, что у нас нет места, – немного раздраженно ответил Мотовилов.

В темноте заплакал ребенок. Незнакомый офицер неожиданно встал на колени, заговорил, сдерживая дрожь отчаяния:

– Умоляю вас ради бога, заклинаю всем святым, позвольте остаться у огня. Мы зачечнели. Ребятишки совсем замерзают. В последней деревне никто, никто... – голос оборвался, офицер задрожал, – никто не пустил нас в избу. Боже мой, мы четвертые сутки под открытым небом, измучились вконец. Умоляю вас!

Мотовилов быстро встал.

– Что вы, что вы делаете? Встаньте сию же минуту. Оставайтесь, как–нибудь потеснимся. Где ваши дети?

Длинный черный тулуп и белая папаха с усилием поднялись с колен.

– Вот.

Дети, два трехлетних мальчика–близнеца, закутанные в меха, были втиснуты в большие переметные сумы, притороченные к седлу. Мотовилов помог офицеру снять их со спины лошади. Детей и женщину положили к самому огню. Мальчики плакали.

– Молочка. Е–е–есть.

– Сейчас, сейчас, детки, – суетился около них отец.

– Коля, молоко в передке саней, в большом мешке. Офицер стал раскалывать над котелком большой мерзлый круг молока.

В легких санках, с кучером на козлах, остановился у костра какой–то полковник.

– Какая часть? – громко крикнул он, не вылезая из саней.

Черноусов не торопясь ответил:

– 1–й N–ский полк.

– Сию же минуту очистите эту заимку, костер можете не тушить, – приказал полковник.

– Что–о–о? – сразу разозлился Мотовилов. – На каком основании? Кто вы такой?

– Я начальник У–ской дивизии. Сейчас подходят наши боевые части. Здесь будет первая линия. Красные совсем рядом. Ваш чин? – в свою очередь спросил полковник.

– Подпоручик.

– Так вот, подпоручик, потрудитесь немедленно исполнить мое приказание, иначе я вас арестую.

Мотовилов рассвирепел совершенно. Он не верил ни одному слову полковника. Он сразу догадался, что его хотят взять на испуг, воспользоваться хорошим, большим костром и заимкой, полной корма и хлеба.

– Хоть ты и полковник, а мерзавец, – отрезал подпоручик.

Полковник вскочил, подбежал к Мотовилову, задыхаясь от гнева.

– Молокосос, я сейчас прикажу тебя расстрелять за невыполнение боевого приказа. Ты ответишь за оскорбление штаб–офицера.

Мотовилов злорадно расхохотался.

– Ха! ха! ха! Расстрелять! Ловчила какой нашелся. Дураков ищешь? На пушку взять хочешь? Не на таких напал.

Полковник затопал ногами.

– Замолчи! Вон отсюда сию же минуту. Мотовилов отчетливо сделал шаг вперед, размахнулся, ударил начальника дивизии по лицу.

– Вот тебе, прохвосту, боевой приказ!

Полковник качнулся всем телом вправо, едва удержался на ногах. Подпоручик ловко вновь ударил его, ткнул ногой в живот, сшиб под себя. Нагнувшись, с силой ударил лежащего в зубы и в нос.

– Подлец!

Полковник уткнулся лицом в снег, заплакал громко, навзрыд, слезами обиды и бессильной злобы. Обмануть не удалось.

– Набаловались, изнежились, негодяи, в штабах сидя, так теперь и в тайге намереваются за чужой счет устроить свою особу.

Полковник, вздрагивая, выл, как побитая собака. В темноте его не было видно. Обозы скрипели, невидимые, но живые и шумные.

– Пулеметчики, не отставай! – кричал кто–то.

– Не растягивайся! Подтянись! Не отставай, пулеметчики!

Полковник плакал. Кучер подошел к нему, нагнулся.

– Господин полковник, вставайте, поедем дальше. Женщина грела в котелке молоко, разговаривала с мужем.

– Коля, когда же будет конец этому кошмару? Будет ли когда-нибудь конец этой тайге?

Офицер тер снегом себе щеки.

– Не знаю. Будет, конечно.

– Но выберемся ли мы? Ведь мы буквально докатились до последней черты. Ну смотри, что это такое? Подпоручик бьет полковника. Вчера нас обобрали свои же казаки. На ночевках в деревнях из квартир друг друга штыками выбрасывают!

– Да, – неопределенно и равнодушно соглашался офицер.

Женщина мешала ложкой мерзлые комья молока.

– Ужас, смерть кругом. Красные – смерть. Свои – грабеж, смерть. Крестьяне – тоже смерть. Ты слышал, что здесь на днях в Ильинском, ночью, сонных наших солдат целую роту мужики топорами прямо у себя в избах зарубили?

– Слышал, – все с тем же безразличием отвечал офицер.

Женщина только что вышла из лазарета одного из ближайших оставленных городов. Ехала с мужем всего несколько сот верст, в обстановке страшного зимнего отхода – без квартир, почти без каких бы то ни было средств, без всякого порядка – еще не привыкла. Все поражало ее. Молчать ей было тяжело. Мотовилов вмешался в разговор.

– Вы, мадам, давно так едете?

Женщина обернулась к подпоручику. Мотовилов увидел лицо, красное с одной стороны, освещенное костром, темное – с другой. Получалось впечатление, что физиономия ее разрезана надвое. Красная, освещенная сторона, слегка обмороженная, сильно опухла.

– Нет, я с Новониколаевска только. Но довольно и этого. Ах, какой ужас, какой ужас! Вы знаете, что творилось при отходе из Новониколаевска?

Женщина обрадовалась новому собеседнику.

– Там разбили винный склад. Спирт был спущен в Обь. В прорубях он плавал толстым слоем поверх воды. Его растаскивали ведрами. Казаки напоили в прорубях лошадей, перепились сами. По улицам эта орава ехала с песнями, с руганью. Лошади у них лезли на тротуары, не слушались поводов, сталкивались с встречными проезжими. Казаки громили магазины, грабили частные квартиры. Офицеров своих эти негодяи перебили, обвинив их в проигрыше войны, даже в самом ее возникновении. Ах, кошмар!

Женщина затрясла головой. Мотовилов курил длинную, грубую деревенскую трубку.

– Ну, я давно привык к этим фокусам казачков. Я вам скажу, что казаки, что жида – один черт, самый подлый в мире народ. Как пограбить, на чужбинку проехать – они тут как тут. До расплаты же только коснись, сейчас в кусты – я не я и лошадь не моя. Во время первых восстаний против советской власти они впереди – пороли, рубили, вешали, истязали, а как дело обертывается в другую сторону, так офицерам руки вяжут и к красным с повинной, с поклоном. Негодяи. Помню, проходили через ихние станицы, придираются на каждом шагу. Сучка брошенного не возьми у них – сейчас в станичное управление, к атаману, мародерство, мол. А как сами идут мужицкими деревнями, так стон стоит от грабежа. Сволочь. Настоящие жида, трусливые, как зайцы, и блудливые, как кошки.

Подъехало еще несколько саней. Завозились с распряжкой. Полный офицер среднего роста в английской шинели подошел к костру.

– Господа, разрешите у вас одну головню взять на разжигу?

Мотовилов позволил. Офицер нагнулся через лежащих солдат, железной лопаткой подхватил пылающий кусок дерева. Пара углей упала на шинель Фоме. Вестовой завозился, быстро смахнул угли с задымившейся материи.

Стрелки зябко прятали уши в воротники.

– Черт вас тут носит.

Над тайгой свистел ветер. Иглы деревьев звенели, как струны. Мороз был сильный. Отец и мать поили сыновей разогретым молоком. Дети, голодные, пили жадно, чмокая губами, кашляя, обливаясь теплой, вкусной жидкостью.

– Исцо, мама, исцо, – маленький человечек, закутанный с головы до ног, тянулся крохотными ручонками в пушистых рукавичках.

– Пей, пей, сынок.

Накормленные горячим, согрешившись и молоком и у огня, ребятишки быстро уснули на меховом одеяле около груди горящих головешек. Мать с отцом сидели рядом. Женщина положила голову мужу на плечо. Глаза у обоих, усталые, широко раскрытые, почти неподвижные, казались мертвыми. Лица были раскалены докрасна яркими отблесками костра.

– Колик, милый Колик, надо скорее уехать куда–нибудь от этого кровавого безумия. Ведь есть же счастливые страны, где не льется кровь, где люди остались людьми, где живут мирно и тихо. Колик, я думаю, в Японии хорошо?

– Вероятно, – вяло согласился мужчина.

– Мы бы могли там устроиться. Я бы стала, оба мы стали бы работать. Хорошо. Там очень много солнца и море, говорят, ласковое, теплое.

– Вопрос весь в том, удастся ли выехать отсюда? Боюсь, что нас догонят красные или захватят партизаны.

– Нет, нет, я не хочу.

Женщина обняла офицера, прижалась ближе.

– Плен – смерть для моего Колика. У меня возьмут мою радость, мое счастье. Ведь если Мамонтову<sup>1</sup> попадешься, растерзает. Нет, нет, это невозможно. Лучше смерть, чем плен.

– Да, смерть лучше. Во всяком случае, она ничуть не хуже, чем жизнь, вот эта наша, теперешняя.

Ребенок всхлипывал во сне. Слова любви и ласки в нежном голосе женщины, маленькие дети среди озлобленных, грубых, холодных, вшивых, грязных солдат и офицеров походили на цветы, распутившиеся на навозе.

– Колик, ты знаешь, сегодня какая ночь? Какое число?

– Нет. Я не различаю теперь дней. Все одинаковы.

– Сегодня Новый год.

– Вон что, – офицер с горечью усмехнулся.

– Новый год.

– Знаешь, говорят, что кто как встретит новый год, так и проживет его. Скверная примета. Колик, неужели это будет продолжаться еще целый год?

– Все равно.

Офицер стал дремать. Женщина не спускала больших остановившихся глаз с огня. У соседей с костром дело не ладилось, он не разгорался. Офицер в английской шинели снова подошел к Н–цам, стал греть над огнем большой каравай белого хлеба, надетый на штык. Мотовилову не спалось, он скучал.

– Вы какой части? – спросил подпоручик незнакомого.

– Ага! Аа–ах! – Мотовилов громко зевнул. Скуки ради задал праздный вопрос:

– Ну, каково настроеньице у вас, коллега?

Английская шинель живо вертелась около огня, поворачивала хлеб.

– Представьте себе, несмотря на все, я чувствую себя превосходно. У меня появилась твердая уверенность, что наша неудача только временная.

Мотовилов, удивленный, поднял голову.

– Ну? – недоверчиво переспросил он.

– Да, да, я не шучу. Я даю голову на отсечение, что через полгода, много через год, милые сибирячки, так ратующие сейчас за красных, пойдут против них, с нами. Надо было нам давно пустить коммунистов в Сибирь. Без боев, сохранив армию, по крайней мере добровольческие части, отойти к границам Монголии и выждать там, пока здесь чалдонье познакомилось бы с разверсткой, с разными совдепскими монополиями. Вот это было бы дело.

– Ну, а потом что?

– Потом известно что, сибирячки, познакомившись с советскими порядками, стали бы восставать, а мы бы стали наступать. Сибирячки–то ведь наши в душе–то, они только заблудились маленько. Вот тогда мы уж Сибирь захватили бы окончательно. Она бы послужила

<sup>1</sup> Один из крупных вождей алтайских партизан

нам несокрушимой опорной базой для дальнейшей борьбы с Совдепией и по ту сторону Урала.

– Ну, а теперь?

– Теперь тоже ничего. Положение хоть и скверное, но не безнадежное. Мы сделаем то же самое, но только с меньшим количеством людей, но зато с наиболее стойкими. Мы подождем где-нибудь в Монголии. А отступая, будем пакостить красным елико возможно. Разрушим и железную дорогу, и фабрики, и заводы. Должен вам сказать, у меня, как у подрывника, сердце радуется, как посмотришь, что мы за линию оставляем за собой. Ни одного живого моста. Ни большого, ни маленького. Снимаем стрелки. Жезловые аппараты. Телеграф. Телефон. Все к черту. Посмотрите, в эшелонах на платформах драгоценнейшие части уральских заводов. Везем и их. Туго придется, взорвем. Не отдадим обратно. Я уверен, что мы так разгромим все на своем пути, что красные в десять лет не поправят. – Офицер снял хлеб со штыка, стал пробовать его.

– Вот это-то нам только и нужно. Разверстка, разруха как свалится на шею тугоому сибиряку, как уцепят его за горло железной петлей, тогда он вззоет. Тут-то мы и явимся. Чего, мол, господа хорошие, хотите: нас грешных, нас, которые спасут вас, или комиссаров с голодной смертью вкупе. Выбирайте.

– А ведь это идея.

– Еще бы. Погодите, будет и на нашей улице праздник.

Английская шинель пошла к своим, пропала в темноте. Обозы скрипели непрерывно.

– Не отставай, братцы!

– Не растягивайся!

– Понужай! Понужай!

Мотовилов заснул. Ночью мороз окреп. Ветер, не утихая, лез людям за воротники, в худые валенки, холодные сапоги, больно дергал за уши, за носы, хватался за щеки. Спали Н-цы плохо. Костер все время поддерживали. Утром проснулись разбуженные ружейной трескотней, поднявшейся впереди, на дороге. Обоз остановился, метнулся обратно.

– Трах! Трах! Трах! Шшш! Шшш! – шумело эхо.

«Пустяки, никаких красных не может быть. Свои же, наверное», – подумал Мотовилов.

Ребятишки плакали. Кончики маленьких носиков и щечки у них почернели. Вчера отец с матерью не заметили белых пятен, не оттерли. За ночь у костра в тепле началась гангрена. Муж и жена с тоской смотрели на детей. Женщина со страхом оглядывалась в сторону беспорядочной, нервной перестрелки.

– Трах! Шшш! Шшш! Трах!

Мотовилов с Фомой лопатами кидали горящие головни на стог соломы и на огромный зарод немолоченного хлеба. Хлеб вспыхнул, как порох. Барановский приподнялся в санях.

– Что такое? Что ты делаешь, Борис?

– Жгу хлеб, – коротко бросил офицер, торопясь с лопатой углей к избенке.

– Зачем это? Кому это нужно? Мотовилов злобно огрызнулся:

– Пошел к черту! Нужно для дела нашей победы. Для всей России. Сожгу тысячу пять пудов пшеницы, по крайней мере пять тысяч коммунистов на месяц останутся без хлеба. Вот что.

– Какая ерунда! Дикость! У меня мать там. Может быть, ей из этого чего-нибудь достанется.

– Сопляк, замолчи. Слюнтяй! Лежи!

Н-цы запрягали лошадей с быстротой пожарных. Муж и жена несколько секунд молча смотрели друг другу в глаза. У офицера тряслись губы. У женщины быстро капали слезы. Ребятишки плакали.

– Уа! Ааа! Больна! Мама! Уа! Уа!

Мать зарыдав, упала ничком в снег. Отец стремительно, с отчаянием выхватил револьвер, быстро нагнулся, поднял за воротник маленького, толстенького человечка, сорвал с него мягкую козью шапочку, отвернулся.

– Папа! Уа! Ага! Уа!

Ножонки в крохотных валеночках болтались в воздухе. Черный ствол, смазанный маслом, едва не выскользнул из дрожащей руки. Рукоятка по самый курок воткнулась в русую головку. Под рукой хрустнула тонкая корочка льда. Только вода потекла теплая и красная. Другого поднять не смог. Сил уже не было. Стукнул в лобик прямо на одеяле, на снегу. Хрустнула еще одна корочка. Ноги не слушались. Пришлось стать на колени. К жене подползти на четвереньках. Рука плясала. Рукоятка, намазанная теплым, густым и липким, прыгала в ледяных пальцах.

Чтобы не промахнуться, воткнул дуло в прическу. Опалил затылок. Снег покраснел. Но не мог же он сразу кругом стать таким красным. Наверно, он всегда был таким, и из туч, сверху, сыпались красные хлопья. Странно, что этого никто не замечал раньше. Высокая мушка завязла в волосах. Вырвал с усилием. После выстрела ствол все-таки был очень холодный. В висок не хотелось. Офицер распахнул шубу, поднял гимнастерку и рубаху, грязную, в серых, ползающих точках. Грудью накололся на маленький кусочек никелированного свинца. Удивительного в этом не было ничего. Н-цы видели побольше. Хлеб и солома пылали. Избенка загоралась. Впереди красных не было. Морской батальон напал на сотню казаков, отобрал лошадей. Только и всего. Дорога стала чистой, пустой. Когда уезжали, где-то в селе били в набат. Далеко стояло, трепыхалось, зарево. По привычке немного волновались. Набат с детства был знаком. Навстречу шли крестьяне. Пешком. Лошадей у них отобрали. Может быть, они подошли, заезженные. Сани на себе не потащишь. Но подреза – ценная вещь. Крестьяне тащили длинные, толстые железки. Было немного смешно. Кругом миллионы. А они чудачки с копейками. Не расстаются. Скопидомы.

У заимки вокруг другого потухшего соседнего костра все спали. Заснули навсегда. Костер потух давно. Английская шинель лежала, прижавшись к плюшевой дамской шубе. Черный плюшевый бок истлел. Случайный уголь. Дыра была большая, широкая. Темные, землистые отмороженные пальцы торчали из ощерившегося сапога. Не нужно спать. Не давать тухнуть костру. Ведь валенки были худые. Шинель вовсе не теплая. И шуба.

Н-цы ехали спокойно, шагом. Слева тянулась проволока телефона. На повороте ее держали два голых замерзших красноармейца, воткнутые ногами в снег. На одном богатырка краснела звездой.

– Ага, хоть мертвого, мерзавца, заставили служить в белой армии.

Мороз был очень сильный. Ветер не меньше.

– Карр! Карр!

Пара черных камней упала около потухшего костра.

– Каррр!

Один, поумнее, сел ребенку на голову. Теплый мозг легко глотается. Другой долбил глаза плюшевой шубы с котиковой шапочкой и горностаевой оторочкой. Глаза уже замерзли. Зато мозг как сейчас с плиты. Уж очень его много. И вкусен, вкусен. А сочен как. Красная подливка текла через черные, жесткие зазубрины клюва. Чугунная птица спешила, давилась. Черные лохмотья закружились в воздухе.

– Каррр! Каррр!

Хватит всем. А костер совсем потух. Давно. Давно уж потух.

### **32. МЫ – ОБЛОМКИ СТАРОГО**

На линии железной дороги у белых дела обстояли не лучше, чем в тайге. Весь путь, как мог только видеть глаз, был забит эшелонами, войсками, штабами, беженцами, продовольствием, интендантским имуществом, снаряжением, вооружением. По обеим сторонам рельсов, прямо на снегу, кучами валялось новое английское обмундирование в соломенной упаковке: белье, валенки, зимние английские шинели на меху, с воротниками. Вороха обмундирования и белья перемешивались с горами ящиков с патронами, снарядами. Тут же валялись автомобили, аэропланы, орудия, туши мяса, мешки муки, сахару, бочки масла и трупы расстрелянных арестантов, которых некому и некогда было конвоировать, и их просто без суда и следствия убивали в вагонах, выбрасывали на полотно дороги.

Н–цы, выйдя к железной дороге, принялись за нагрузку своего обоза. Грузили исключительно продовольствие, а обмундирование и белье сменяли тут же, забегая для переодевания по два, по три человека в будку стрелочника. Через несколько минут грязных, оборвавшихся Н–цев нельзя было узнать. Все надели новенькие меховые шинели, папахи, теплые малахай, сменили белье, валенки, шаровары, френчи. Оделись как с иголки. Каптенармус роты Колпакова, увязывая большой воз, смотрел на дорогу и думал, что хорошо бы было все это добро свезти к себе домой, сложить в амбары, кладовки, запереть на замок, а потом понемногу, не торопясь, расходовать.

«На всю бы жизнь хватило. И работать бы не надо, – мысленно высчитывал он. – Одного масла–то на сколько верст раскидано».

Завязав воз, жадный каптенармус побежал к эшелонам, рассчитывая найти там чего–нибудь поценнее. Но сколько он ни открывал брошенных вагонов, из каждого на него смотрели десятки замерзших стеклянных глаз мертвых солдат. Больные или раненые, они были оставлены в нетопленных товарных вагонах.

– Эх, народу–то сколько померло, – спокойно сказал каптенармус и повернулся к своему обозу.

Подъехали к станции. Мотовилов пошел в первый класс. Платформа была завалена трупами замерзших больных и раненых. Убирать их было некому, и они так и лежали, никому не нужные, всеми забытые. На концах платформы снег намел целые сугробы, и из–под них кое–где торчали руки, ноги или головы мертвецов. Тут же бродили и живые люди. Много было женщин в дорожных шубах и дохах, детей. На первом пути стоял огромный эшелон с беженцами. На кострах, рядом с вагонами, кипятились чайники и котелки. Офицер шел, иногда перешагивая через трупы, валяющиеся по дороге. Шел, не удивляясь, спокойно думал, что в жизни всегда приходится шагать через трупы мертвых, замученных, павших в жестокой борьбе за существование. В зале первого класса была та же картина, с той только разницей, что там на полу были еще и живые люди, лежавшие вперемежку с мертвыми. Пол, диваны, стулья, столы, буфетная стойка были покрыты сплошной серой массой людей, копошившихся в страшной грязи, съедаемых паразитами. Все чесались, стонали, охали, курили, кашляли, плевали. Воздух был пропитан смрадом заживо гниющих тел и экскрементов тут же испражняющихся больных. Какой–то тифозный бредил:

– Красные, красные! Бежим! Бежим!

Офицер остановился в дверях. Ему хотелось получить сведения о городе. Поискав глазами, к кому бы обратиться, Мотовилов тронул за плечо сидящего недалеко от входа на диване офицера в погонах капитана. Капитан качнулся всем телом вперед, стукнулся лицом об стол и диким иступленным голосом стал молить о помощи:

– Братцы, помогите, смерть пришла. Смерть. Смерть. Смерть! – хрипло вырывалось из груди больного.

Мотовилов почувствовал себя нехорошо. Усатый человек с отупевшим мутным взглядом, в фуражке железнодорожника, прошел мимо офицера.

– Послушайте, послушайте, – обрадовался тот живому человеку. Ему хотелось спросить о городе, но с языка сорвалось совсем другое.

– Что это у вас здесь такое?

– Сами видите, – равнодушно ответил железнодорожник.

Мотовилов догнал его:

– Скажите, почему это эшелоны все с паровозами под парами и стоят на месте? Почему бросают с поездов ценное имущество, патроны?

Железнодорожник разнервничался. Вопросы офицера показались ему наивными.

– Да что вы, с неба что ли свалились?

– Нет, я из тайги выехал, – немного обидевшись, поправил Мотовилов.

– Стоят, потому что идти некуда. Весь путь забит до Иркутска. Бросают вещи, потому что шкуры свои спасают. Услышат где–нибудь стрельбу и, не разбираясь что, как, почему, выскакивают из эшелона, бегут на несколько верст вперед. Увидят, что стоит поезд груженный под парами, что перед ним, может быть, верст на десять путь свободен, ну сейчас же выкидывают все из него, садятся сами, а машиниста заставляют ехать. Так вот и двигаются вперед, раскидывают свое добро.

– Едем в город, – сказал командир, подходя к своему батальону.

Выехали на тракт. По тракту бесконечной лентой тянулись подводы с больными. Мотовилов хотел переждать, пока пройдут все они, насчитал двести подвод и плюнул.

– Въезжай в середину, – приказал он своему кучеру.

Обоз больных был разорван. Санитары ругались, хотели силой выкинуть N-цев обратно, но те взялись за винтовки, и безоружные люди уступили вооруженным. Мотовилов ехал впереди батальона. Перед глазами у него надоедливо мелькало лицо мертвеца, сидящего на последних санях. Мертвый солдат сидел спиной к лошади, высоко подняв голову, смотрел на небо стеклянными глазами, улыбался. Мотовилов отвертывался от неприятного соседа, но что-то тянуло глаза в его сторону, и офицер снова начинал смотреть на мертвеца. Подпоручика раздражало постоянное выражение лица трупа. Когда бы он ни взглянул на него, тот улыбался. Офицер подолгу вглядывался в лицо замерзшего – неизменная улыбка не сходила с мертвых губ. Мотовилов стал нервничать.

«Ну чего он смеется? Неужели ему было весело умирать? О чем он думал, когда испускал последний вздох?» – спрашивал себя офицер.

– Санитар, – крикнул Мотовилов, – у тебя умер один. Выбрось его. Лошадям легче будет,

Санитар взглянул на труп, вскочил в сани и с усилием толкнул его на дорогу. Мертвец перестал улыбаться. Голова его глубоко ушла в снег. Мотовилов вздохнул с облегчением. Потом он видел, как санитары осматривали сани и сбрасывали в снег еще теплые тела. Дорога по обеим сторонам чернела пятнами людских и конских трупов, грудями разломанных саней и фургонов.

Было уже темно, когда N-цы приехали в город. На улице щелкали винтовочные выстрелы. Стреляли пьяные солдаты. Со стороны винного склада несся гул. Мотовилов решил запастись спиртом. У винного склада шумела пьяная толпа погромщиков, состоявшая из солдат и местных подонков. Офицер тщетно пытался пробраться в помещение склада, упругая масса тел отбрасывала его назад, как пробку.

– Батальон, в ружье, – скомандовал Мотовилов.

Заработали приклады. Дорога в склад была расчищена. Весь пол склада завален был бутылками и четвертями с водкой. Мотовилов ходил по ворохам вина, разыскивая спирт, но его почти весь растащили. Офицер нашел всего только две бутылки. В подвал набивались непрерывно. В бутылках рылись жадно, как собаки в падали. Друг на друга косились, ругались. Каждый хотел набрать больше. Погромщики орали около склада, накидывались на выходящих из подвала с вином, отнимали у них бутылки, вступая из-за добычи в драку, пускали в ход все, что попадалось под руку. Два солдата сцепились из-за спирта со злобной руганью. Один из них, пониже ростом, размахнулся выхваченной бутылкой и ударил своего противника по щеке. Разбитое стекло глубоко врезалось в лицо высокому, и кровь со спиртом потекла на шинель.

– На вот тебе, орясина долговязая. Не тебе и не мне. Никому не обидно, – крикнул маленький и стал энергично прокладывать себе дорогу в склад.

Рев толпы смешивался со звоном разбитой посуды и редкими хлопками выстрелов. Люди, как озверелые, лезли в двери склада.

– Ну ребята, довольно, – крикнул Мотовилов и, вытащив револьвер, пошел к выходу.

Пьяные, перекошенные физиономии, торопливо шарахались от черного длинного нагана, давали дорогу. Набрав вина, Мотовилов повернул к центру города, думая найти там квартиру. Навстречу попадались местные жители, сгибавшиеся под тяжестью тюков с обмундированием, везшие на салазках бочки с маслом, мануфактуру.

– Господин поручик, надо взять матерьялов, годится дорогой-то на хлеб менять, – напомнил командиру Фома.

– Верно, Фомушка. Молодец! Как приедем в деревню, да разложим там товары красные, так все девки, бабы наши будут. Айда, ребята, гони к интендантскому.

Мотовилов успел уже выпить, поэтому был весел. Около интендантского склада бурлила толпа громил, пьяных жаждой наживы. Особенно старались местные жители, надрывавшиеся под тяжестью награбленного. Мотовилов сам не пошел в склад, послал туда каптенармуса и фельдфебеля с солдатами. Какая-то старуха еле волокла по снегу несколько связанных вместе кусков сукна.



– Ой, батюшка, помоги на спину поднять, – обратилась она к офицеру.

Голос старухи дрожал и срывался. Дышала она тяжело.

– Ой, замучилась, еле вытащила. Ребятишки у меня, у дочери, голые. Ой, нужда, одеть нечего.

Мотовилов засмеялся:

– Ай да бабуся, тащи, тащи. Это дело хорошее. По крайней мере красным не останется. А ну, давай я помогу тебе!

Офицер легко положил увесистый тюк старухе на спину. Старуха пригнулась совсем к земле и тихо пошла по улице, благодаря за помощь.

– Ну, спасибо тебе, батюшка, дай бог тебе доброго здоровья.

Каптенармус сиял. Мануфактуры в складе было много, и он брал для батальона, на выбор, лучшие материи.

Н–цы складывали себе в сани куски тонкого сукна, диагонали, цинделевского сатинета, батиста, бумазеи и шелка. Солдаты сверх шинелей надели новенькие непромокаемые плащи, попавшиеся им в этом же складе.

– Эх, только при отступлении оделись как следует. Что раньше бывало!.. На фронте оборванцами ходили. Когда мы через Белу переправлялись, красные так и команду подавали: «По оборванцам часто начинай», – вспомнил Фома.

– А все оттого, что измена кругом. Видишь ты, добро какое в складах держали, а нам чего давали? Английское обмундирование только в Утином выдали. Вон уж когда, – рассуждал вестовой.

Нагрузив мануфактуры, батальон пошел искать себе квартиры. Расположились в большом доме богатого купца, бежавшего на Восток. Дом был брошен на прислугу. Мотовилов в шубе и в валенках прошел прямо в гостиную, не раздеваясь сел в мягкое кресло. Фома положил Барановского в соседней комнате на широкий турецкий диван, заботливо укрыв дохами.

– Фомушка, – увидел его Мотовилов, – в разведку насчет всего этого и прочего. Чтобы ужин был на ять.

– Слушаюсь, господин поручик.

Вошел фельдфебель почти пьяный и, приложив руку к виску, хотя и был без шапки, доложил:

– Так што, господин поручик, там две барыни–беженки и офицер с ними, просятя ночевать. Ух, одна барыня и хороша!

Фельдфебель, сладко зажмурившись, затряс головой. Мотовилов обрадовался.

– Проси, проси скорей.

Офицер оказался однокашником Мотовилова, это был кавказец Рагимов. Старые знакомые заключили друг друга в объятия.

– Ну, как живем, дюша мой? – спрашивал Рагимов, отряхивая снег с папахи.

– Да, стой, – спохватился он, – забыл тебе представить моих дам. Эта вот Амалия Карловна фон Бодэ, жена капитана генерального штаба, – говорил Рагимов, подводя Мотовилова к полной блондинке. – А это Александра Павловна Бутова, супруга некоего фабриканта, в Японию преблагополучно удравшего. Прошу любить и жаловать!

Мотовилов расшаркался. Дамы, решив привести в порядок свои туалеты, удалились в соседнюю комнату. Офицеры остались вдвоем. Рагимов снял шубу.

– Да ты уже поручик? – удивился Мотовилов. – И, кажется, георгиевский кавалер? – дрогнувшим голосом спросил он. В его душе зашевелилось неприятное чувство зависти.

– Как же, как же, дюша мой. Я у красных батарею отнял. Ну, Колчак нам звезда третий давал и крест. Мы человек кавказский, резать много любим. Отчаянный народ!

Рагимов самодовольно щелкнул языком. Мотовилова мучила зависть. Ему было досадно, что он, сын гвардии полковника, кадет, окончивший корпус виц–унтер–офицером, а училище старшим портупеем, служивший в славной Н–ской дивизии, ничего не имеет, а вот выскочка Рагимов успел и чин и «Георгия» схватить.

«Хоть бы мне «Владимира» иметь и то хорошо. Шикарный крестик, красный, как кровь, с мечами и черно–малиновым бантом», – бродили у него в голове честолюбивые мысли.

– Ну, а это что за дамы с тобой? – Мотовилов перевел разговор на другую тему.

– Одна – Амалия Карловна, жена нашего начальника штаба, моя любовница. Другая – Александра Павловна, брошенная своим мужем жена, особа скучающая. Можешь заняться ей. Познакомился я с ними потому, что ехали в одном эшелоне, даже в одном вагоне. Ехали мы так, ехали, да в один прекрасный день красные кавалеристы наскочили на нас. Конечно, можно бы было отстреляться. Мужчины у нас в эшелоне и военные, и не военные – все были вооружены. Ну, выскочили мы из эшелона, постреляли, постреляли, смотрим, а наши купчихи и другие удирающие субчики уже пятки смазывают. Пришлось и нам. Хорошо, деревня была близко. В первом же дворе я достал подводу да вот с дамами – то и ускакал. Ну, вот тебе и все, – закончил Рагимов.

Вошел Фома.

– Так что, господин поручик, достал кое-чего.

– Где, Фомушка?

– Варенье у хозяев нашлось, да мы еще тут съездили с Иваном на Большую улицу, там солдаты магазины разбили, так мы конфет набрали, вина сладкого, меду, сыру, колбасы.

– Молодец, Фома. Назначаю тебя старшим вестовым.

– Покорнейше благодарю, господин поручик.

– А ты почему думаешь, что вино – то сладкое?

– Да мы попробовали маленько, – ухмылялся Фома.

– Ну, ладно. Теперь пулей, Фомушка, в кухню и насчет ужина.

Вошли дамы. Завязался общий разговор. Говорили на тему о том, куда ехать и стоит ли вообще дальше ехать. Фома накрывал на стол. Рагимов говорил, что дальше он не поедет, что он останется здесь и сдастся красным. Мотовилов удивился:

– Как, ты, поручил, георгиевский кавалер, хочешь сдаться в плен?

– Э, дюша мой, довольно. Мы воевали. Честно рэзали. Наша не бэрет. Пойдем к тем, чья берет.

– Но ведь это же подло, Рагимов. Это недостойно офицера.

– К чему громкие слова, Борис, «подло, нечестно, непатриотично». Помнишь, ты в училище еще развивал теории о том, что жить будет только сильный, что жизнь – борьба. Ну вот я и борюсь за свою шкуру, но не как все, с красивыми фразами долга перед родиной или революцией, под гром литавров, с развевающимися знаменами. Нет, я более откровенен. По-моему, и родина, и революция – просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какую бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание. Капиталист гнет рабочих в бараний рог, выжимает из них пот и кровь, а сам кричит, что это он делает для блага родины, во имя закона и порядка, которые он сам сочинил и установил для обеспечения своего кармана. Большевики объявили священную войну буржуазии всего мира и кричат, что подняли знамя социальной революции. К черту знамена и революции! Не лучше ли просто сказать: идем душить буржуев, потому что если мы их не передушим, то они одних из нас с кашей слопают, а из других масло будут пахтать. Я, брат, не буржуй и не пролетарий. Я – среднее. И для меня безразлично: у буржуя служить или у пролетария, у белых, у красных, у черных, у зеленых. Я буду работать одинаково добросовестно и черту и богу, лишь бы платили хорошо да предоставили соответствующие жизненные удобства. Я торгую своими знаниями. В них все нуждаются – и красные, и белые. Служил я у белых, был поручиком, носил погон с тремя звездами, был командиром батальона. Теперь белой армии скоро не будет. Я перейду к красным, нашью себе три квадратика и тоже буду командовать батальоном. Раньше я лупил красных, и, как видишь, хорошо лупил (Рагимов показал на свой беленький крестик). Теперь я буду лупить белых. Хорошо буду лупить. Попадись ты мне в бою, не пощажу.

– Ты какое-то чудовище, Рагимов.

– Э, опять громкие фразы. Я тебе говорю, что меня совершенно не интересует то, кто будет мне платить, лишь бы платили. Мне безразлично, кто сидит на троне: царь в короне или Ленин в кепке.

Дамы со скучающими лицами едва поддерживали разговор. Обе они были настроены непримиримо. Фон Бодэ трясла своей маленькой головкой и говорила, что она никогда не согласится жить в Советской России.

– Я не плебейка. Я получила хорошее воспитание. Я не могу жить с этими мужиками. Я не могу себе представить, как пережила бы я этот ужас унижения, когда вас насильно заставляют работать. Заставляют делать самую грязную работу. Фи!

Немка брезгливо передернула плечами.

– Да, да, в Совдепии так, – подтвердила Бутова. – Там заставляют работать поголовно всех. Да и к тому же отбирают все ваше имущество, накопленное и приобретенное вами с таким трудом. Нет, благодарю покорно, нищей быть, с сумой ходить я не намерена. И меня просто удивляет, как это мосье Рагимов думает, что он хорошо будет жить у красных.

Мотовилов, заметив, что дамы скучают, стал угощать их вином. Дамы оживились и весьма охотно взялись за рюмочки с кюрасо. Бутова томно смотрела на Мотовилова и говорила, что она ужасно скучает, что ее мучит одиночество, что она потеряла надежду увидеть своего мужа. Офицер усиленно наливал ей в рюмку крепкое вино и говорил общие утешительные фразы о том, что скоро все переменится, что скоро придут японцы и от большевиков только мокро останется. Говорил, что вообще не стоит много думать, а надо жить просто, без рассуждений, и если случится среди месяцев тоски и скуки веселый день, хорошая встреча, то надо использовать их вовсю.

– Счастье так мимолетно, так коротко. Его нужно ловить, – убеждал Мотовилов.

Бутова смотрела на смуглое, энергичное лицо офицера, на его крутой, упрямый лоб и думала:

«А он недурен и не глуп».

Рагимов пил жадно, наливая себе рюмку за рюмкой английской горькой. Амалия Карловна подняла бокал:

Да здравствует веселье,

Да здравствует вино,

Кто пьет его с похмелья,

Тот делает умно!

Барановский пришел в сознание.

– Фомушка, где ты? – позвал он вестового. Мотовилов услышал, подошел к больному.

– Ну что, Ваня, лучше тебе? Больной отрицательно покачал головой.

– Ты не встанешь к столу? У нас Рагимов. Сегодня встретились случайно.

– А, Рагимов, – безразлично как-то вспомнил Барановский и добавил: – Нет, не могу. Слабость, сил совсем нет. Ты лучше дай мне сюда чего-нибудь поесть.

– Фома, – крикнул Мотовилов и, когда вестовой вошел, сказал: – Дай своему командиру поесть.

Фома обрадовался.

– Вы очкнулись, господин поручик? – обратился он к Барановскому.

Офицер слабо улыбнулся:

– Очкнулся, Фомушка, очкнулся.

– Ну, слава богу, сейчас я вам дам поесть.

Мотовилов налил большую рюмку мадеры и сам принес ее больному.

– Выпей, Ваня, лучше будет.

Барановский выпил и попросил еще. Фомушка поставил перед больным тарелку бульона, сухари и бутерброд с сыром и маслом. Барановский поел с аппетитом. Ослабевшее сердце, поддержанное двумя рюмками мадеры, заработало сильнее.

– Фомушка, сядь около меня, – попросил офицер. Вестовой сел.

– Ну, расскажи, Фомушка, чего нового есть у вас?

– Хорошего мало, господин поручик. Все едем. Отступаем. О японцах чего-то не слышать, а до Семенова вряд ли дойдем. Говорят, что Красноярск занят красными партизанами и будто бы белых на их сторону много перешло и все они вместе задерживают и разоружают обозы.

– Чем скорее, тем лучше, Фомушка. Ну, попадем к красным, что-нибудь одно: либо расстреляют, либо в тюрьму посадят. По крайней мере будем знать, что все кончено, что завтра ехать никуда не нужно, что за тобой никто не гонится.

– Господин поручик, а за что же мы воевали? Неужто все труды наши прахом пойдут и нам придется красным подчиняться? Да разве с ними уживешься?

– Уживешься, Фомушка. С настоящими красными уживешься. Ты, Фомушка, не видел еще их, хороших–то. У вас на заводе были не красные, а так, дрянь разная, которую они потом сами и расстреляли. Настоящие красные – люди нового мира и никогда старому, прогнившему не победить их. Мы с тобой – обломки старого, мы люди обреченные, конченные. Мы неизбежно должны погибнуть и погибнем. Да, Фомушка, были у вас на заводе какие–то негодяи, выдавали себя за красных, обижали вас. Вы их прогнали легко и быстро, а пришли настоящие красные и погнали вас. Нет, не победить нам.

Фома огорченно говорил:

– Вы говорите: мы – старый мир, а мы вовсе не за старый режим шли, мы за Учредительное Собрание, за народную власть.

Барановский улыбнулся. Амалия Карловна пела:

Пускай умрем мы.

Эко диво!

Ведь умирали раньше нас.

Жизнь так превратна.

Так бурлива,

Что смерти жди ты каждый час.

Мотовилов, Рагимов и Александра Павловна вторили:

Нальем, друзья, бокалы полнее,

И будем мы так чаще пить.

С вином ведь кровь кипит сильнее,

С вином нам как–то легче жить.

– Вот в том–то и дело, Фомушка, что красное знамя–то у вас было, да вам его Колчак на полосатое, георгиевское сменил. Восстали–то вы за народную власть, а стали защищать не народную, а адмиральскую. Обманули вас, Фомушка. Вашими руками чужие дяденьки для себя каштаны из костра вытаскивали.

– Что же делать нам, господин поручик? Воевать не за что, бежать некуда, в плен не возьмут, – со слезами в голосе говорил вестовой.

– Поедем дальше, Фомушка, а там будь что будет.

Рагимов был почти пьян. Тяжело ворочая языком, он говорил Мотовилову:

– Да, Борис, живут и побеждают только сильные. Я иду к сильным. Белая армия летит в пропасть – скатертью дорога. Со своей стороны я не прочь дать ей пинка под спину, чтобы заслужить расположение победителей. Я держусь принципа: падающего толкни.

Мотовилов не слушал, занятый флиртом с Бутовой. Рагимов встал со стула и, стуча себе в грудь кулаком, декламировал:

Я комиссар,

В груди пожар!

Я комиссар,

В груди пожар!

Бутова была пьяна. Мотовилов, сидя рядом с ней, обнимал ее за талию и целовал долги–ми, горячими поцелуями высокую белую грудь, полуобнаженную глубоким вырезом кофточки. Александра Павловна смеялась и трепала офицера за волосы.

– Нехороший шалун. Что он делает? – как маленькому ребенку, говорила она Мотовилову.

Амалия Карловна смотрела на Рагимова горящими, зовущими глазами. Рагимов сел и начал расстегивать у нее кофточку. В комнате стало душно.

### **33. ЛУЧШЕ Я САМ СЕБЯ**

Стекла зазвенели в окнах.

Мотовилов проснулся. Бутова, разметавшись, спокойно спала на диване. Предутренний свет, смотривший в окна, серыми пятнами освещал ее усталое лицо с большими черными кругами у глаз. Одеядло свалилось со спящей, и она лежала раздетая, в белой ночной сорочке

без рукавов, с большим вырезом на груди. Мотовилов сел на постели. Белый мрамор рук и груди Бутовой красиво оттенялся локонами иссиня-черных кудрей. Офицер, встав на постели, нагнулся, хотел поцеловать высокую, упругую грудь женщины, но вдруг быстро выпрямился, задрожал от брезгливости. По белой атласной коже Бутовой, по ее кружевной сорочке, медленно ползали жирные грязно-серые насекомые. Стрельба в городе усиливалась. Мотовилов прислушался и уловил привычным ухом характерную двухстороннюю трескотню винтовок.

– Восстание, – вслух сказал он и встал.

Барановский кричал:

– Фомушка, запрягайте скорей.

Вскочив с дивана и потеряв сознание, забормотал в бреду:

– Япония! Япония! Ура! Мы спасены! Япония! Япония!

Мотовилов с презрением посмотрел в сторону больного.

– Как противны мне такие людишки, как презираю я этих мягкотелых неженков. Они палец о палец не ударят, все философствуют. То нехорошо, это нехорошо, это подло. Мотовилов, по-ихнему, грабитель, мародер, а сами преспокойно кушают награбленное им. Красные, по-ихнему, хороши, но перебежать на их сторону открыто и смело они боятся или, может быть, просто рассуждают, что, мол, плыви мой челн по воле волн. И живут ведь так, плавают без руля и без ветрил по бурливому океану жизни, сами не зная, что им нужно. Ведь вот прохвост Рагимов знает, что ему нужно. Я тоже знаю, что мне нужно. А он что? А они что? – обернулся офицер к Барановскому. – Живые трупы. Разве победишь с ними? Разве они способны бороться? Будь они прокляты, эти мягкотелые нытики. В общем, черт с ними.

Мотовилов был нетрезв, мысль его работала скачками.

– Как жаль, что все так скверно кончилось. Красноярск в руках красных партизан. Вся Сибирь горит огнем восстаний. Путь отступления отрезан. Ну что же, конец так конец. Уж лучше я сам себя убью, чем эта сволочь.

Офицер вытащил револьвер. Бутова взвизгнула и полуодетая побежала из комнаты.

Все плыло, как в тумане, перед глазами подпоручика. В голове надоедливо вертелось четверостишие:

Каждый, жизнь целуя в губы,  
Должен должное платить  
И без жалоб, стиснув зубы.  
Должен молча уходить.

«Мой отец, гвардии полковник Мотовилов, честно сложил свою голову за веру, царя и отечество на полях Галиции. Сын гвардии полковника Мотовилова, подпоручик Мотовилов, хочет быть достойным своего отца. Подпоручик Мотовилов в плен не сдастся, сапоги у красной жидовни лизать не будет. Предоставляю сделать это вам, подпоручик Барановский, когда партизаны схватят вас, как куренка, за шиворот».

Офицер злобно засмеялся, подошел к больному, грубо толкнул его ногой в бок.

– Смотри, ты, размазня. Старая гвардия умирает, но не сдается.

Мотовилов вложил дуло револьвера себе в рот. Холодная железка стукнула по зубам. Язык брезгливо дернулся, лизнув масляную смазку. Серо-красный сгусток мозга и крови прилип к стене.

Н-цы под командой фельдфебеля уходили из города. Фома был очень удивлен, когда увидел в толпе восставших поручика с «Георгием», но уже без погон и креста, с красным бантом во всю грудь. Рагимов носился по пестрой толпе солдат и рабочих, командовал, распоряжался, стрелял в отступавших Н-цев, кричал:

– Товарищи, смелее! Вперед! Белые банды бегут.

Н-цы, погоня лошадей, отстреливаясь, выскочили из города. Фоме пуля пробила мякоть ноги, пониже колена. Он сидел на санях рядом с Барановским и перевязывал себе рану. Ехали быстро. Как страшные вехи, трупы солдат и лошадей чернели на пути отступления. С боковых дорог выходили на тракт все новые и новые бесконечные вереницы обозов. Подул ветерок, поднимая столбы мелкого, легкого снега. Стало холодней. Н-цы закутались в воротники своих шинелей. Снег начал падать и сверху. Обозы шли. Тайга молчала.

### 34. ЕСТЬ У НАС ЛЕГЕНДЫ, СКАЗКИ

Красные вагоны, обклеенные снежной бумагой, молчали. Ветер, присвистывая, белой метлой скреб полотно дороги, заметал, путал блестящие нитки рельсов.

Черный паровоз нахватал полные глаза легкой, холодной пыли. Отфыркивался. Железная рука семафора загораживала путь. Красный, с закопченной головой, курил из огромной трубки, пуская клубы дыма, зяб в двух верстах от станции.

Генерального штаба генерал-майор Ватагин хорошо знал, что если чехи его возьмут в свой эшелон, то он спасен. Генерал шел к длинному составу пешком, через снежное поле, вяз по пояс, задыхался, потел. Усталости не было. Смерть сильнее. Она пожаром полыхала за спиной. Ватагин не думал о месте в жаркой теплушке. Огромное счастье попасть на тормоз. Руки в рваных перчатках вцепились в холодное железо. Высокие ступеньки четко встали перед лицом. Сейчас. Нет. Белый, мохнатый загородил дорогу.

– Куда! Нельзя!

– Ради бога.

– Пшоль!

– Я генерального штаба. Я генерал.

– Генерал, зачем бежишь? Боишься драться, русск свинья. Тебе бы чех все делал. Пшоль!

– Красные рядом! Спасите! Умоляю! Христа ради. Над головой изогнулась черная короткая змея.

– Нагайкой хочишь?

– А–а–а! А–а–а!

– Пшоль!

Снег оказался очень жестким. Больно стукнул по затылку. Хотя это неважно. Лежать можно было свободно. Генерал вытянулся вдоль рельсов вверх лицом. Белый, мохнатый чех на тормозе ничего не видел. Паровоз только фыркал, отплевывался и курил. Острая бритва раскаленной железкой покраснела вдоль длинного бока поезда, колющими искрами брызнула в тонкие доски. Обожгла. Тараканами от света метнулись наружу. Свинцовый кипяток свистнул над головами, ошпарил. Корчиться стали, кувыряться. В плен взяли только раненых. Много было женщин. Они хотели с мужьями уехать в Чехию. Разобрать некогда.

Спирька Хлебников стал обшаривать карманы. Клочков полез в вагон. Красноармейцы раздевали убитых. Вольнобаев покачивал головой.

– Эх, бабья–то сколько наклали.

Женщины лежали все вместе, кучей. Их было не меньше сотни. Чехи заторопились домой. С русскими не считались. Отбирали у них паровозы, выкидывали из поездов. Что русские? Красные ведь тоже русские и белые русские. Русские с русскими разберутся. Скорее. Домой. Бежали на Восток, путались в стальной паутине дороги, вязли в снегу. Нет времени отойти спокойно. Красные молнии мечутся по бокам. И впереди. Да, они уже далеко впереди. Может быть, придется пойти на соглашение. Поклониться есть чем. Бросить красным подачку. Его, самого главного. Он со своим поездом задыхается тут же. Вот хорошо. Его. Надо иметь в виду.

Богдана Павлу сменил новый консул, доктор Гире. Дальновидный. Начал заигрывать с земцами. А его что? Его надо придерживать на всякий случай. И пускать вперед и не пускать.

Он волновался. Весь эшелон его нервничал. Вызывали чехов для объяснений. Они были любезны, но отвечали уклончиво.

В столовой салон-вагона он говорил с майором Вейроста.

– Майор, я прошу вас не задерживать мой поезд. Говорят, что красные близко. Дамы нервничают. Надеюсь, не задержите.

Чех предупредительно улыбался, кивал головой.

– Конечно, я сделаю все, что в моей власти.

Колчак сердился, но был бессилён.

– Но, майор, это не ответ. Я прошу вас сказать мне определенно, когда будет отправлен наш поезд?

Дамы готовы были расплакаться. Они сидели за столом. Тут же. Майор Вейроста повертывал холеное лицо к нему, к присутствующим. Немного странно, что ему не верили. Разве чешский офицер будет лгать.

– Не беспокойтесь, ваш поезд будет отправлен при первой возможности.

У Колчака бритое лицо, распаханное летами, седеющая голова. Сухие, крепкие пальцы комкали салфетку. Взгляд тяжело упал на жирную белую щеку майора.

– А, наконец, я не понимаю вас. Тогда говорите прямо, что надежды на наше немедленное отправление нет. Так?

Вейроста верен себе. Точно исполняет предписание своего начальства.

– Мы сделаем все возможное.

Больше терпеть невозможно. Чех просто издевается.

Диктатор горд. Едва кивнул майору. Обед оставил. Вышел. Заперся в своем куце. Тяжелые плюшевые диваны мешали. Душно. Неужели конец? Власть, конечно, ушла из рук. Но жизнь? И она разве? Адмирал видел смерть не раз. Та была бледная, белая. Встречал ее спокойно. Не тронула. Теперь другая. Красная. Страшна. Как раньше не замечал, что она неизбежна. Ее не прогонишь. С кем? Кто поможет? Порядка не было. Людей нет и не было. Никто не слушался. Всякий свое. О России не думали. О себе. Только. Ну кто, кто они? На пружинах мягко. Глаза надо закрыть. Вот, можно вспомнить...

Атаман Анненков не хотел даже дать сведений, сколько у него штыков. Грубый. Не вы мне дали их, не вам и считать. Партизанщина. И сейчас тоже. Чехи о себе. Железнодорожники требуют взятку. Давал много. Обещают. Потом обманывают. Не отправляют. Эшелон стоит. Никто не слушается... Рядом кто стоял? Иван Михайлович. Мальчик с виду, в душе черный. Сил много. Но авантюрист... Пепеляев, Виктор Николаевич. Тоже еще у кадетов в цека. Недалек, ограничен, хотя и прямолинеен... Вологодский, старая шляпа... Старынкевич, хитрый иуда. Продал свою партию с Областной Думой и Уфимское совещание. За власть отдаст все. И себя. Россию, безусловно... Георгий Ганс... Кто его знает, не то целует он, не то яду сыплет тебе в стакан... Тольберг... Проныра... Людей нет. Зачем было ввязываться в это дело? Хорошо, один откажется, другой откажется. Кому-нибудь надо же Россию спасать. Наконец, это нечестно. Ну, вот и пошел. Ввязался.

За окном плясала метель. Мерзлыми космами жестких волос шлепала по стеклу. Смеркалось. Ехидная рожа Гайды. Нет покоя.

«Да, ваше высокопревосходительство, уметь управлять кораблем – это еще не значит уметь управлять всей Россией».

И вот хватило наглости у человека. Прямо в глаза так и вылепил. Хотя немного он прав. Сделать многого не сумели. Взять, например, Осведверх. Агитация. Кому она на руку только? Да. Лучше, безусловно, не думать об этом. На этот случай хорош профессор Болдырев. О философии хорошо толкует. Одному страшно. Бархатные мягкие диваны давят. Как могильные плиты. Воздуха совсем нет. И теснота ужасная.

Пришел профессор. Зажгли огонь. Метель все равно пялила в окно свою белую рожу и косматую гриву. Ну ее. Профессор вздумал тоже говорить об этом. Какой несносный. Не просили же его об этом. Остановить неловко. Говорит.

– Положение нашей армии таково, что не только на победу – надежды нет на простую остановку фронта. Мы в полосе заговоров и восстаний. Но эсеры не выступят, потому что они одни бессильны. Опасны они тем, что могут войти в соглашение с чехами, которым анархия мешает эвакуироваться. Эсеры и меньшевики не страшны, только их участие в оппозиции плюс для красных и минус для правительства. Кадеты бессильны. Промышленники и биржевики откололись и раскололись. Одних отталкивает непримиримость по отношению к Семенову, других – политика по отношению к японо-русским делам. А кольцо восстаний все суживается. Города и земства открыто говорят о борьбе. Настроение военных паническое. Настроение обывателя равнодушно-озлобленное.

Довольно об этом. Есть мысли, которые живут вне времени и пространства. Чистые мысли. Жить надо ими. Этого касаться не надо.

В столовой старуха Рор говорила с полной брюнеткой:

– Я не понимаю, почему они так ненавидят нас? Почему они гонят нас, почему отобрали у нас дома, все имущество? Ведь это же грабеж. Все, что мы имели, досталось нам с мужем от моего отца после его смерти. Отец приобрел все честным трудом. Я не понимаю, в чем моя вина перед ними. За всю жизнь я никому не сделала зла. Я со всеми была вежлива и даже прислуге никогда не говорила ты. Я всегда участвовала во всех благотворительных базарах в пользу бедных.

Старуха с негодованием пожимала плечами. Брюнетка соглашалась:

– Ах, это ужасно, ужасно. И вы знаете, эти звери не щадят никого. Они не считаются с тем, сделали ли вы им что плохое или нет.

– Ужасно! Ужасно!

По бокам дороги, вдоль всей линии, ползли обозы. Больные, здоровые, раненные, живые и мертвые. Вшивые, голодные.

– Нет, лучше не будем говорить об этом. Мне хочется закрыть все шторы, чтобы не видеть этого кошмара, этих мук нашей бедной армии.

Брюнетка закрыла лицо руками. Пальцы атласные, с кольцами. Сквозь них не видно.

– Да, да, не будем говорить об этом. Может быть, даст бог, все устроится.

Ротмистр Беков всегда выручал. Веселый человек. Кавказский. Огонь. Кинжал в серебре. Пояс. Строен. Ловок. Патроны на груди. Глаза огромные, черные. Нос хорош. Усы. Зубы – две пластинки. Белые–белые. Сапожки мягкие. Ноги быстрые, легкие.

Эх, есть у нас легенды, сказки, сказки.

Обычай наш кавказский, кавказский.

Прыгает ротмистр по ковру. Машет кинжалом. Гнет тонкую талию.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Он уже плывет. Едва ступает. Кинжал сверкает. Выхватил другой. Поменьше. Сталь звенит.

Есть у нас легенды, сказки, сказки.

Дамы улыбались. И старуха красавица Рор и брюнетка. И женщина в лисьем горжете с двухлетней девочкой. Их много было там. Это было уж ночью. Обозы остановились, жгли костры. Мерзли у огня. Вши ужасно надоели. Назойливое зарево кровью мочило шторы. Нечего обращать внимание. Думать не надо. У костров грызли черствый, мерзлый хлеб. Спали сидя. К чему все это? Когда «есть у нас легенды, сказки».

Ротмистр устал. Девочка попросила апельсин. Офицер бросился к себе в купе. У него много апельсинов. Он умеет доставать. У чехов.

– Тебе очистить?

– Я сама.

– Ну, ну.

– Шоколаду, может быть, хочешь, крошка?

– Хоцю.

– На вот, кушай.

Сам вышел проститься. Он был очень вежлив. Адмиральские погоны совсем еще новенькие. Орлы на них черные. И куртка черная. По–английски любил он говорить. Знал хорошо.

– Покойной ночи.

Очень мило. Обязательно чего–нибудь добавит. Какое–нибудь пожелание.

– Бог поможет – все будет хорошо.

Говорил так. Думал иначе. О чехах, о чехах. Ненавидел их он.

«Чехи на фронт не пойдут, хоть плати им платиной вместо золота, потому что они, во–первых, сволочь и трусы, во–вторых, достаточно награбили и дорожат своей шкурой, торопятся домой. Голове тяжело. Уснуть, пожалуй. Думать не стоит».

– Покойной ночи.

Шторы в окнах плотно закрыты. Полусвет. Тепло. Уютно. Чисто. Почему–то только вот обитые бархатом диваны давят, как могильные плиты. Ничего подобного в действительности нет, конечно. Это только так кажется. А кровь в окнах? Об этом не надо говорить. Не надо замечать. Ротмистр очень мил. Неутомим.



Есть у нас легенды, сказки, сказки.  
Обычай наш кавказский, кавказский.

Может быть, там, за линией, в стороне, на морозе, никого и нет. Никто, может быть, и не замерз, не умер. Ах, зачем об этом думать. Бог даст, все устроится. Мы отступаем. Мы слабее красных. Не в силе он, а в правде. Да, мы правы. Да. Опять об этом же. Как бы избавиться, не думать. Очень просто. Вино есть великолепное. И ротмистр мил, мил бесконечно. Он уже откупорил бутылку. Пьем. Дам много и офицеров. Все штабные. Отчего не провести время. Пьем.

Так жили.

А красные уже далеко забежали вперед. Диктатору доложили, что в Иркутске почти Совдеп. Узнали об этом днем. Он бросил беседу с Болдыревым. О философии. Вышел в салон. Приложил руку к козырьку.

– Господа офицеры, благодарю вас за службу. Вы свободны. Кто хочет, может идти к новому правительству, кто хочет, пусть остается и разделит со мной мою участь.

Смерти он никогда не боялся. Теперь привык и к красной. Был очень спокоен и тверд.

Железная дорога не артерия. Она вена. Артерии сбоку, в стороне. В вене черная, отработанная, почти гнилая кровь. В артериях чистая, свежая, горячая, красная. Била потоками, кипела.

Так было.

### **35. ВЕЗЕМ ПОЖАР**

Покраснела зеленая шаль тайги. Покраснело толстое снежное одеяло на земле. Покраснели кудрявые, серо–белые овчины на небе. Красная стена загородила дорогу. Красный ужас морозом сжал сердца бегущих. Ткнувшись в красное, несокрушимое, обозы сгрудились, сдались, покорные, жалкие в своем бессилии.

Н–цы с длинной кишкой подвод приплелись в город, занятый партизанами, тупые, равнодушные ко всему, без сопротивления положили оружие. Барановский с Фомой попали в лазарет.

Красное победило.

По белой России забили красные ручьи. Тонкими струйками бежали они по проселкам, в реки сливались на больших дорогах, шумели и хлестали половодьем на трактах, на железной линии.

Заместитель Молова Давид Гаммершляг, командир роты Степан Вольнобаев и красноармеец Андрей Клочков шли рядом, впереди полка. Сзади на головных санях играло с ветром красное знамя. Все были в желтых полушубках, шапках с ушами и валенках. У Клочкова на шее мотался огромный алый шарф. Двое молча улыбались. Было чему. Третью тысячу верст шли без отдыха, без поражений. Клочков оглядывался на пегого мерина в первых санях. Запах пота и навоза напоминал о тихом, родном. Красноармеец, невнятно бормоча, ткал канву стиха.

Двигай, пеганый, скоро  
Пройдет метель,  
Остались далеко горы,  
Бредет апрель.  
Клочков был поэт.  
Очистится небо ясным,  
Не будет тьмы.  
Далеко покровом Красным  
Уедем мы.

– Ты чего, Андрей, бормочешь?

Красный шарф трепался на ветру.

– Хорошо, Степа. Помнишь Челябинск? Так же шли. На Восток. Теперь он наш. Жалко, Трубина убили. Хорошо.

Сильней упирай шипами –  
Несется пар,  
Вывертывай лед кусками, –  
Везем пожар.<sup>1</sup>

– Степа, сибиряки, наверно, и не чувят, какой грохот поднимем мы у них тут со своим приходом.

Немного тяжеловатый, полный, белокурый, с пушистыми светлыми усами Вольнобаев, высокий, сухой, рыжий, горбоносый Гаммершляг не отвечали. Слова не нужны. Был мороз, снег хрустел под ногами полка, под полозьями саней. Пар валил от лошадей. Красный N–ский полк подходил к Медвежьему.

Звоном колокольным ударило при входе в улицу. Золото икон и хоругвей блеснуло на встречу. Пирогам, шаньгам, свежим хлебом запахло. Широко расступились дома. Огромная толпа на площади. В середине зачем–то черный с крестом Мефодий Автократов. И звон. Ведь тогда тоже был звон. Тогда он лгал. А теперь? Разве радовался? Опрокинуть все это. Залить своим. Теснее ряды. Лица тверды и суровы. Снег хрустит.

Вставай, проклятьем заклеименный...

Проснитесь, вставайте. Не надо его с крестом.

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья...

В ногу. Все как один. Лица зарумянились ветром. Знамена кричат. Красный шарф Клочкова протестует.

Мы наш, мы новый мир построим...

Кто они? Что несут на штыках? Что написано у них на знаменах?

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

А Он? Есть Он? Колокол лезет со своей болтовней, напоминает о Нем. Чепуха. Долой Его! Нет Его! Куда Ему против нас. Не верим мы!

Никто не даст нам избавленья –

Ни бог, ни царь и ни герой...

Но как же все–таки? Родные вы, близкие, ждали вас. Только понять невозможно. Никогда не слыхали. Слушайте, слушайте нашу песнь:

Добьемся мы освобожденья

Своей лишь собственной рукой...

Иных путей нет. Сомнений быть не должно. Так поют угнетенные рабы во всем мире. Так поем мы, освободившиеся. И верим. Убеждены:

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

С Интернационалом

Воспрянет род людской.

Только. Да. Разве это не так? Не видите? Вот он, Интернационал. Мы. Мы. Смотрите. Гаммершляг – бывший военнопленный немецкий еврей. Вольнобаев – русский столяр. Клочков – кузнец наш. Он поэт. Вот у него какой красный шарф. Рядом товарищ Ван Ю–ко, желтолицый, косоглазый. Косу остриг. Черный, упрямый, краснотубый Сегеш – мадьяр. Бледный, белый, высокий, широкий Смалькайс – латыш. Курносаватый Петров. Интернационал. Мы. Мы.

Наконец он замолчал. Язык его повис холодной сосулькой в широкой круглой дыре. Ушел и он, черный, с крестом. Золото икон скрылось. Красные знамена торжествовали.

– Ура! Да здравствует Красная Армия!

– Да здравствуют красные партизаны! Да здравствует Советская Сибирь!

– Ура! Ура! Ура!

Наконец–то они пришли. Нет больше белых. Нет Таежной Республики. Вся Сибирь – Социалистическая Федеративная Советская Республика. Толпа с радостным любопытством разглядывала красноармейцев.

<sup>1</sup> Стихи поэта–рабочего А. Шульгина

Штаб таежного фронта давно уже стоял в городе. В Медвежьем случайно был Суровцев. Ревком поручил ему выступить с первым словом приветствия. Партизан вышел на трибуну.

– Товарищи, мы, красные партизаны Сибири, с чистой совестью приветствуем вас. В то время, когда вы шли от берегов Волги, мы здесь не сидели сложа руки. Перед кровавым диктатором голов покорно не склонили. Мы ушли в глушь тайги, как смогли, организовались там и бросили гордый вызов шайке палачей трудящихся, душителей революции. И мы боролись с ними, уничтожали их без пощады.

– Правильно! Смерть белым гадам! Правильно.

Партизаны и крестьяне были единодушны в своем негодующем приговоре над вчерашними хозяевами страны.

– Смерть гадам!

Толпа закачалась, потемнела, взволнованная воспоминаниями.

– Теперь, когда вы здесь, когда мы соединились, раздавив общими усилиями белую гадину, мы приветствуем вас, как своих старших товарищей и соратников. Мы знаем, что за годы борьбы вы окрепли, закалились, приобрели огромный опыт и знания. Мы знаем, что теперь Красная Армия сильна, что теперь нам не страшны никакие враги. Но если кто осмелится вновь встать против нас, если найдутся у нас новые враги, то на борьбу с ними, на борьбу до конца красные партизаны готовы выступить хоть сейчас.

– Правильно! Готовы! Нет пощады буржуйам! Все пойдем!

– Да здравствует Красная Армия!

– Ура! Ура! Ура!

Красноармейцы улыбались.

– Да здравствует единая Красная Армия рабочих и крестьян!

С ответной речью выступил Гаммершляг. Говорил по-русски он совершенно свободно, с едва уловимым акцентом.

– Товарищи партизаны, рабочие и крестьяне Сибири, мы приветствуем вас, как стойких защитников власти трудящихся. Ваши заслуги перед революцией неопределимы. Вы сумели понять истинный смысл событий. Вы не дали обмануть себя ни сладкоречивым меньшевикам, ни эсерам. Вы не подчинились кровавому диктатору. Вы правильно поняли характер Октябрьской революции как революции пролетарской. Глубоко верно вы решили, что начавшаяся война двух классов – буржуазии и пролетариата – не может кончиться ранее того, как одна из сторон будет сломлена, побеждена. Вы не пошли на соглашение со своими угнетателями. В глубоком тылу у врага, почти без оружия, без средств, вы подняли знамя восстания, вступив в неравную борьбу с вооруженными до зубов культурными зверями. В неравной схватке вы не уступили врагу ни пяди, вы с честью выполнили до конца свой долг революционера. История не забудет ваш труд и вашу кровь.

Партизаны стояли довольные.

– Но знайте, товарищи, борьба еще не кончена. Наш враг – буржуазия, многоголовая страшная гадина, когда ей разможат одну хищную пасть, она щелкает зубами другой, ей другую – она третьей.

– Сокрушим! Посшибам!

– Колчак уничтожен, Деникин разбит, но враги есть еще. Мы уверены, что буржуазия еще не раз попытается задушить нас вооруженной рукой. Еще не одного Колчака и не двух Деникиных придется нам разбить.

– Разобьем!

– До тех пор, пока рабочие и крестьяне других стран будут бездействовать, будут покорно гнуть спины под властью капиталистов, мы должны быть готовы каждую минуту отразить нападение мировых хищников. Пока пожар коммунистической революции не охватит весь земной шар, пока власть не перейдет в руки пролетариата, трудящихся во всем мире, мы должны иметь сильную армию. Она есть у нас. Наша рабоче-крестьянская Красная Армия – угроза всему буржуазному миру. Вам, товарищи, остается только влиться в нее, пополнить ее ряды. Честь вам и место, герои-партизаны, в рядах славной Красной Армии.

– Мы готовы! Пусть только хоть один буржуй зашевелится! – поднялся старик Черняков, снял шапку, потрянул серебром кудрей. – Товарищи, да рази мы, да рази я... (старик волновал-

ся, не вполне владел собой). Да никогда! Чтобы, значит, опять под этими гадами жить. Двух сыновей шомполами заporоли.

На глазах Чернякова заблестели слезы, голос задрожал:

– Двух сыновей до смерти. Почти у каждого, однако, ведь так. Сколько сирот понаделали белые гады, сколько народу погубили. Товарищи, мы все, все пойдем. Уж, значит, чтоб до конца. Мы знаем, что пока эти кровососы живы, так нам и жизнь не в жизнь.

Черняков разволновался, не мог больше говорить, махнул рукой. Слушатели поддержали оратора дружными аплодисментами и криками:

– Верно, дедушка! Верно!

Чернякова на трибуне сменил сутуловатый, черноусый шахтер Коптев.

– Нет угла такого! Всю Россию окровавили! Гады!

– Товарищи, нам, побывавшим под властью Колчака, нечего говорить о необходимости борьбы с буржуазией. Убеждать нас не надо. Мы на своей шее вынесли весь гнет белогвардейщины и знаем теперь отлично, что может рабочему дать власть разных атаманов и генералов. Нельзя спокойно говорить об этих кровопийцах.

Шахтер сжал кулаки, нахмурил брови, сделал паузу.

– Что они наделали, мерзавцы. Ведь всю страну залили кровью. Сколько погибло народу. Сколько заporото, повешено, засечено. Нет той деревни, того города, завода, фабрики, копей, где бы не было замученных ими. Я не знаю, есть ли хоть одна семья в Сибири, в которой не было бы жертв золотопогонных негодяев, сиятельных убийц. Моя жена, когда меня арестовали, пошла с двумя ребятишками к палачу в золотых погонах просить о моем освобождении. А он, негодяй, зверь, он ее...

Коптев согнулся. Усы тряслись и губы прыгали.

– Он ее при ребятишках, при ребятишках изнасиловал. Обезумевшая, она бросилась из комнаты, а в сенях ее сгреб денщик. И он тоже. Холуй, гадина пресмыкающаяся, он тоже, как и его барин, тут же в сенях, на полу, на глазах у детей. А ребятишки стояли и плакали. Мать–то с ума сошла потом, а дочка семилетняя мне все рассказала, когда меня, выпоротого, отпустили из тюрьмы. Пожалуй, расскажи об этом в обществе благородных негодяев – не поверят. Как же можно, они – люди культурные. Ух, эту культуру ихнюю...

Рабочий потряс кулаками, стиснул зубы.

– Эту культуру я бы всю истер в порошок. Эту культуру, которая дает право вылощенному хлыщу насиловать наших жен, а нас самих пороть, вешать, стрелять без счета и конца. Нет уж, довольно, будет. Попили они нашей кровушки, эти звери культурные.

– Будет! Будет! Довольно с них!

– Шахтеры Светлоозерного не выпустят винтовок из своих рук, пока где–нибудь будет жив еще хоть один такой негодяй. По первому зову советской власти мы готовы вступить в ряды нашей Красной Армии.

– Хоть сейчас! Идем!

На трибуну снова вошел Черняков, от имени ревкома объявил митинг закрытым, пригласил красноармейцев обедать.

– Вы, товарищи, наголодались там, в Росее–то, а у нас хлеба хватит. Заходите, товарищи, в любой дом.

Площадь стала пустеть. Хозяйки выходили из домов, наперебой приглашали к себе красноармейцев. Толпа, растекаясь по улицам, уводила с собой гостей. Широко распахивали избы двери, встречали теплым, ласковым запахом мягкого хлеба, мясных щей, жареных поросят и гусей.

– К нам, товарищи!

– К нам, к нам!

Спирька Хлебников тяжело ввалился в светлую просторную горницу. Шапку не снял. Сел в передний угол. Бросил на стол черный длинный револьвер и кошелек, распухший от золота. У чехов взял. У генерала Ватагина.

– Хозяйка, я хулиган. Корми меня – заплачу.

– Что ты, батюшка, зачем нам деньги. Мы рады вам и так.

Старуха кланялась.

– Не спрашиваем мы, кто рад нам али нет. Мы идем. Я хулиган. Не дают – беру. Дают – плачу. Гони, хозяйка, все на стол.

Клочков на своей квартире встретился с беженцами. Испуганные, они забились в угол избы, со страхом смотрели на красноармейцев. У них было трое ребят. Клочков принес из сани фунтов пять сахару, полведра масла, мешок рису. По дороге насобирали. У белых отняли.

– Берите, товарищи, это все народное.

Беженцы отказывались. Клочков настаивал. Увидел, что дети плохо обуты, притащил им маленькие валеночки. В брошенном эшелоне подобрал.

В других избах красноармейцы раздавали хозяевам мануфактуру, чай, спички, обувь. Всего было много. Некуда девать. Сани ломались.

– Берите, товарищи, это все народное.

К чему все это. Мир весь завоевали. Мир наш. А тряпки – чепуха. Их не надо лишних. Они взяты белыми у этих же крестьян.

– Берите, товарищи, это все ваше, народное.

Четверо – Ван Ю–ко, Смалъкайс, Сегеш, Петров – сидели вместе. Хозяева суетились у стола. Накрывали скатертью. Чай подали со сметанными шаньгами, с творогом, с маслом, с топленым молоком. Гуся жирного, огромного распластали в жаровне. Хлеба снежно–белого горку набросали. Блинчики, легкие, нежные, горячей стопкой поставили.

– Кушайте, товарищи.

### **36. КРОВЬ КРОВЬЮ**

Бегущие остановились. Некуда было бежать. Измученные, обмороженные, раненые, больные прятались в лазареты. Набивались теснее, чем селедка в бочке. Копошились, как черви в язвах, падали. Вместе клали. По трое – на две койки. По двое – на одну. На нары, под нары, на пол в проходах, в коридорах без тюфяков, матрацев, на тонкую соломенную подстилку. Белых. Красных. Офицеров. Комиссаров. Солдат. Красноармейцев. Мобилизованных. Добровольцев.

Окна были выбиты. Пар холодными клубами лез. Его тряпками затыкали. Все равно лез. Мерзлая морда, седобородая, седоусая, щерилась на стеклах. Холодно. Карболка. Йодоформ. Гнилые раны. Испражнения. Испарина. Лампочек мало. Темно. Врачи и сестры ходили спотыкаясь через больных и от усталости. Спать некогда. С верхних нар падали вши врачам на головы, за воротники, сестрам за пазухи, ползали под ногами, на халатах. Захворал – ложись. Сваливали в кучу. Все одинаковы. Все в сером. Коротко острижены.

Выздоровливали мало. Умирала каждый день, каждую ночь сотнями. Нет – тысячами в яму.

На нижних нарах ничего не видно. Гнилой кровью только несло. Стонал каппелевец с отмороженными ногами, отвалившимися по колени. Барановский с Моловым лежали рядом под одним одеялом. Выздоровливали. Бредили иногда. По ночам поднималась температура. У Молова борода. У Барановского черный, мягкий пушок на щеках. Оба похудевшие. Глаза большие. Больные на ты. Смешно иначе. На одной постели. Разговаривали сутками. Спорили. Усталые, забывались. Отдыхали. И снова. Говорили. Говорили. Никого не замечали. Нужно было много выяснить. Сошлись с разных полюсов. Молов не разговаривал – учил, пророчествовал. Он верил глубоко. Убежден был. Барановский слабо сопротивлялся. Хватался за осколки, склеивал, собирал. Ничего не выходило.

Было это днем или ночью – все равно. Стены отсырели, плакали. С потолка капали слезы. В окнах черные заплаты. Больные, кажется, спали. Дежурные санитары и сиделки ходили, боролись с дремотой. Лампочки еле горели. Молов сидел на нарах, поджав ноги. Барановский лежал около и не видел комиссара. Голос Молова стучал в темноте топором. Барановский придавлен. Топор стучит, но он не согласен. Надо протестовать.

– Новый мессия... хм... палач твой мессия. Не хочу... Довольно крови. Слышишь, довольно. Ты слушаешь?

В потемках не видно. Голос отвечает;

– Слушаю, говори.

– Когда я был еще у белых, я говорил, что вы, красные, люди нового мира, что вы несете с собой счастье освобождения и мира всему человечеству. Я всегда вас противопоставлял белым, думая, что вы действительно борцы за светлую идею всемирного братства и равенства народов. Я всегда вспоминал вас, когда видел у нас какую-нибудь мерзкую жестокость.

Барановский говорил торопясь. С мысли на мысль скакал. Надо все сказать. Накопилось много.

– Ведь в белых ничего уже не осталось человеческого. Я с ужасом в душе давно уже отвернулся от них, понял, что ихнее дело – черное дело. Я сдавался в плен с надеждой, что у вас этого нет, что я попаду совсем в другой мир, где не будут греметь залпы по безоружным, поставленным к стенке, где не будет порок, виселиц, где будет порядок, мир и тишина. Ведь крестьяне так хвалили вас. И вдруг теперь я слышу, что ты говоришь, как о своем идеале, о каком-то звере, кровожадном и мстительном. Боже мой, как тяжело, какая мука.

Офицер стонал. Крови видел много. Она давит. Она преследует.

– Где же люди? Куда они девались? Есть на земле хоть уголок, где бы не лилось это страшное, красное, теплое, липкое? Неужели все думают только о борьбе и мести? Нет, довольно крови.

Молов молчал. Палата бредила. Кровь гнила.

– О-о-о-х!

Нельзя понять. Кто это? Один, двое или все?

– О-о-о-х!

– О-о-о-х!

– Сестрица милая, поцелуй меня.

Просит в бреду. Не знает, что ноги у него отвалились. Отмерзли. Разлагаются.

– Поцелуй, сестрица!

– О-о-о-х!

Конечно, не один так стонал. Не сочтешь, сколько.

– О-о-о-х!

– Комиссар, ты слышишь? Тебе мало этого? Ты хочешь еще? Без конца хочешь мучить людей, мстить им, бить их? Ты крови хочешь? Слушай, слушай.

– Милая, приласкай, поцелуй. Сестрица!

– О-о-о-х!

– Слышишь, комиссар, это не один он, больной, просит ласки. Его устами – все человечество, уставшее, измученное. Довольно крови, черных убийств. Ласки дай людям, если ты новый мессия.

– О-о-о-х!

Теперь его очередь. Смеялся и негодовал.

– Кто виноват в этом? Кто свалил сюда эту кучу обезумевших, изуродованных, больных людей? Кто обратил их из жизнерадостных, живых в гниющие трупы?

Отвечать не давал.

– Вы, гнилые, гниющие, распространяющие трупную отраву, заражающие других. Вы, которые не можете жить без убийств и войн. Вы, лицемерно хныкающие о любви к ближнему. Вы все сделали это. И ты хочешь, чтобы мы, в октябре вышедшие на дорогу счастья всего человечества, на борьбу за немедленное прекращение всех войн, за мир всего мира, на баррикады для последнего и страшного боя с вами, вековыми угнетателями, рабовладельцами, ты хочешь, чтобы мы были снисходительны к вам, виновникам всех бедствий наших, всего кошмара капиталистического «рая». Нет. Никогда. Своих палачей мы миловать не будем. Они нас в щеку, мы их в другую, за горло, на землю и колени им в грудь. Что же ты думаешь, мы простим ваших карателей, тех самых, которые насильовали наших жен, сестер, матерей, пороли, вешали отцов, братьев? Нет. Палачей, инквизиторов нам не надо. Палач, раз став им, никем другим быть не может. Каратель уже не человек, он зверь кровожадный, правда, только одетый в щегольский европейский костюм, сшитый по последней моде. Куда их? В яму. Иначе они будут мешать нам строить новое, прекрасное. Во имя светлого грядущего, во имя избавления от страданий вот всех этих несчастных, во имя прекращения раз и навсегда всех войн и установления действительного братства народов да здравствует священная война с буржуазией, да здравствует красный террор. Я за кровь. Я за Чека, за ее очистительную, железную метлу.

Комиссар горел. На нижних нарах стало жарко. Его горячее дыхание все слышали. Шевелились. Ловили жадно. Говори. Говори. Где выход? Где избавление? Надоело страдать. Довольно мук. Довольно крови.

– О–о–о–х!

– Ты говоришь, довольно крови. Согласен, довольно крови. И для того, чтобы она не лилась из всех трудящихся, из нас, надо выпустить ее из буржуазии. Понял? Нужно уничтожить класс капиталистов, уничтожить все классы, создать общество бесклассовое. Только тогда не будет крови и тюрем.

Барановский потрясен. Уничтожить целый класс. Всех. И Татьяну Владимировну. И профессора. И его мать. И Колю, брата. За что? За то, что они думают иначе. Кому они сделали плохо? Разве Таня убила кого–нибудь? Это ее–то нежные пальчики? Клевета. Зверство. Бесчеловечно.

– Ты, комиссар, всех считающий зверями, сам не замечаешь на себе шкуры тигра? Чем виноваты люди, что они плохо воспитаны, что они заблуждаются? Их научить надо, поддержать, показать настоящий путь к миру и счастью всех, всей вселенной.

– Ха–ха–ха!

Разве можно смеяться в лазарете. Испугались больные. Белые задрожали. Кто это хохочет?

– О–о–о–х!

– Ха–ха–ха! Учить? Вас учить! Ха–ха–ха! Мы, рабочие, должны просвещать вас, интеллигентов. Нет, учить вас нечему, вы сами отлично знаете. Купить вас – да, это еще можно. Купить ваши знания. Заставить работать на нас, это мы можем. И мы делали так. Здесь ваша трусость и жажда наживы прямо пропорциональны вашей высокой образованности. Гнилые людишки, вы даже свои классовые интересы не можете как следует отстоять. Каждый из вас по отдельности и весь ваш класс в целом – гниль. И мы в этой гнили выбираем кое–что, используем частью как удобрение для посева будущего, частью как вспомогательный материал для постройки нового. Ты ведь знаешь, что в нашей армии старые царские офицеры. Из них найдется не так–то много искренне желающих нам добра. Но мы заставили их работать. Расстреливая, устрашая одних, подкупая других, мы добились того, что они даже у вас в тылу работали в нашу пользу. Ты помнишь встречу с капитаном Вишняковым? Помнишь, в Утином? Ведь он наш шпион.

Барановский не дышал. Только дрожал. Смертный приговор давит.

– И вас всех белогвардейцев мы используем. Мы соберем, свалим вас в кучи, в подвалы Чека и особых отделов и опытными руками отберем еще годных, еще не совсем сгнивших. Карателей, безусловно, безоговорочно в яму. Остальных возьмем. И заставим работать. И, может быть, со скрежетом зубным, но вы, господа, будете служить у нас, нам работать, на нас, для нас. Да!

Белым тяжело. Не Барановскому только. Всем. Единая, страдающая. Огромная палата раскололась пополам. Половина затряслась. Перед могилой. Молов беспощаден. Роем. Роем. Глубже. Бьет. По головам. По головам. Не словами. Топором.

– О–о–о–х!

– Выучить, воспитать. К черту ваше учение и воспитание, вашу культуру. Разве можно учить одному и делать другое. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не убий – это заветная многолетнюю–то бойню. Лицемеры. У вас все так. Вы кричите одно, а делаете совсем другое. Вы до революции со вздохами и закатыванием глаз пели: «Весь мир насилия мы разрушим до основания», а когда пришлось на деле его разрушить, когда с заступом могильщика явился тот, кто и должен закопать старый мир, уничтожить его, вы испугались, захныкали, сложили лапки и затоптались на месте. Как бы, мол, не погибла культура. Октябрьская революция вскрыла вашу подлинную, трусливую, подлую душонку. Идеино вы обанкротились: всем теперь видно ваше духовное убожество. Культура, культурные люди... С тех пор, как началась империалистическая бойня с ее сорокадвухсантиметровой артиллерией, с душливыми газами, с разгромом музеев, памятников искусства, созданных десятилетиями, столетиями мирного труда, с ее уничтожением, сожжением целых областей и истреблением миллионов человеческих жизней, с тех пор, как вы благословили все это, назвав войной за мир всего мира, о какой культуре будете еще бормотать, о каком воспитании, образовании? За

последнее время вы учили молодежь только одному – искусству убийства. Только. И вы хотите продолжать и в дальнейшем двигать жизнь по этой своей «культурной» дороге, по дороге вашего «прогресса»? Нет, довольно. Больше мы вам этого не позволим.

Барановский неподвижен. Возражать нельзя. В груди комиссара огонь клокочет. Больные, раненые слушали, сдерживали стоны.

– Культура... Вы думаете, если мы пришли чумазые, грязные, с фабрик, заводов, с полей, так сейчас и распластаетесь перед вами, перед вашей образованностью. Так и так, мол, господа хорошие, благодетели наши, народ мы темный, поучите нас, поуправляйте нашей свободной страной. Ошибаетесь, голубчики. Мы пришли, мы совершили величайшую в мире революцию не для того, чтобы смотреть, как чужие дяденьки нашим именем будут вершить судьбу миллионов нам подобных вчерашних рабов. Нет, мы сами себе хозяева, хозяева жизни. Мы все возьмем сами. Мы пришли и разберемся в созданных вами культурных ценностях, мы переоценим их и возьмем лишь то, что действительно ценно. Все остальное в помойку.

– Ты варвар, вандал.

– Называй как хочешь. Нам это не помешает разрыть до основания, до самых сокровенных глубин весь ваш мир, перестроить его заново. Варвар. А что же, по-твоему, мы должны в полной целостности, невредимости оставить все ваши подлые порядки? Никогда. Разве мы можем терпеть дольше, чтобы фабрикант по-прежнему жирел, еле таскал брюхо, а рабочий был бы тощ, как комар, и в тридцать лет выглядел стариком. Или, может быть, ты скажешь, что вообще рабочего и крестьянина не надо допускать к управлению государством, так как они темны и необразованны? Может быть, ты найдешь более удобным оставить крестьян по-старому без земли и сохранить за ними право работать не менее любой ломовой клячи?

Барановский сердится. Почему комиссар так груб и узок? Не об этом он хотел говорить. Не о том, кто будет владеть землей, кто управлять государством. Это его мало интересует. Ему хочется выяснить вопрос о ценностях иного порядка и об интеллигенции. Комиссар не останавливался.

– Мы люди дела, труда прежде всего, мы думаем, что каждый обязан завоевать себе право на жизнь работой. Живет и будет жить теперь только тот, кто трудится. С этой именно точки зрения мы и будем оценивать все живое наследство, оставленное нам старым строем, то есть каждого гражданина в отдельности.

– Значит, меня вы уничтожите?

– Почему?

– Белые мне противны. Вас я не понимаю. Ошибся в вас. Не сумею жить у вас. Я лишний. Молову смешно.

– Лишний. Лишние люди. Нет, у нас не будет таких. Мы всем найдем работу. Лишние люди... Какая это на самом деле глупость. Кругом дела угол непочатый, а тут находятся господа, которые не знают, куда девать свой досуг. И ведь было у вас так. Столетиями шло так, что в огромной богатейшей стране, где на каждом шагу – только копни – клад, где ступить негде, чтобы не попасть на золото, были люди голодные и безработные. И вместе с тем были сытые и праздные, ничего не делающие, тоскующие сами не зная о чем, не знающие, куда девать свой досуг, интересничающие своей праздностью, меланхолическим, скучающим взглядом, показательной разочарованностью. Я говорю о людях в плащах Чайльд-Гарольда, о всех этих Онегиных, Печориных и ихних братцах родных Рудиных, Неждановых. Вот здесь – то и сказалась подлость и непригодность вашего общественного устройства. Они лишние, им делать нечего, потому что кто-то за них все делает. Кто-то кормит их, обувает, одевает, катает на рысаках. Кто-то, работая день и ночь, создает им огромный досуг. Теперь мы говорим: довольно! Мы смеемся над вами, срываем с вас плащи поэтической лени и говорим: не трудящийся да не ест. Врете, господа белоручки, возьметесь за ум, за дело, если кушать захочется. Да, лишних людей у нас не будет, мы всем найдем работу, всех выучим и заставим работать.

Комиссар закашлялся. От каппелевца несло гнилью. Гнили многие. Барановский не возражал. Мысли запутались. Растерялись. Он собирал их.

– О-о-о-х!

– Настало время разрушить, растереть в порошок созданный вами порядок жизни. Иначе человечество обречено на вырождение. При капиталистическом строе ведь вырождаются все



классы. Буржуазия – от праздности и обжорства, рабочий класс и крестьянство – от чрезмерной работы и недоедания. Интеллигенция, чувствующая свою зависимость от правящего класса капиталистов, – фактически приказчик толстосумов, – воспитанная в ваших школах, где вытравлялось все оригинальное, талантливое, ноет, погружается в безнадежную тоску, делается дряблой, безвольной, ни на что не годной. . . Гнилые люди. Вы гниете все вместе и каждый по отдельности. Родится новое, молодое поколение, получая от отцов целиком богатейшее наследство – неумение жить, алчность к наживе, непреодолимую склонность к безделью. Единицы из вас с предпринимательской творческой инициативой. Все остальные – гниль, гниль физическая и духовная.

Палата бредила или нет. Слышно не было. Никто как будто не стонал. Но слушали. Жадно. Все. Молоч не говорил. Разил.

– Буржуазия, интеллигенция вырождаются не только физически, но и нравственно. Рабочий класс и крестьянство главным образом и почти исключительно – физически.

Молов остановился. Перевел дыхание.

– Спроси тебя, где же выход? Как спасти хоть часть человечества, здоровую часть его – трудящихся? Как предотвратить их дальнейшее не только физическое, но неизбежно и нравственное вырождение. Ты, конечно, захнычешь об образовании, воспитании. Мы же говорим, что выход один – сокрушающим молотом революции разбить в прах весь ваш прежний, подлый порядок, капиталистический строй и создать свой, новый, где не будет ни рабов, ни господ, где будут все равны, где не будет предоставлено возможности одним жиреть за счет других. Долой ваш старый, гнилой мир, мир насилия и угнетения. . . Довольно вам, гнилым, пакостить жизнь, топтать в грязь ее лучшие цветы, отравлять своим дыханием падали чистый воздух. Довольно. Мы пришли уничтожить вас.

Барановский сопротивлялся. Слабо. Сил нет. К борьбе не способен. Испугался. Умирать не хочется. Комиссар страшен. В его голосе коса смерти. Звенит.

– Но зачем же всех уничтожать? Чем я виноват, что меня мобилизовал Колчак, что я родился в семье генерала, а не рабочего. За что же меня убивать?

Молов смеялся. Но и в смехе острая сталь.

– Чудак, да мы и не думаем уничтожать вас всех физически, каждого лишать жизни. Не такие уж мы кровожадные, как тебе кажется. Мы убиваем только тех, кто лезет сам на нас с ножом. Вообще же всех наших классовых врагов, людей, враждебных нам только по убеждению, мы уничтожаем, если так можно выразиться, экономически. Только. То есть отнимаем у них фабрики, заводы, землю, дома, лишаем их возможности жить за счет эксплуатации чужого труда. Заставляем их стать гражданами трудовой Республики. Нужно тебе сказать, что, совершая Октябрьский переворот, мы не думали вводить смертную казнь. Помнишь, мы безнаказанно отпустили юнкеров Керенского, сопротивлявшихся нам, и членов Временного правительства. Но раз вы сами, господа, снова полезли на нас со всех сторон, то уж извините.

Барановскому скучно. Все это кровь. Все о крови. Борьба. Без конца. Надоело. Не хочет он драться. Не хочет войны. Ему отдохнуть. Комиссар остановился.

А гнилью все пахло. И стонали, стонали, бредили.

– О–о–о–х!

– Зачем белую сволочь выше меня положили? Я старый красноармеец, меня под нары, а белого гада на нары. Я его сброшу. Я его сброшу. Я – старый красноармеец.

– Сестра, чего он, гад, льет на меня сверху?

– Сестра! Сестрица! О–о–о–х!

– Какой я белый? Мобилизовал Колчак. Что поделаешь.

Темно. Ничего не видно. Слышно только, льется с верхних нар. Капает. Теплое, зловонное. Люди не помнят, не знают. Где они. Встать не могут. Тиф. Барановский спит. Бормочет:

– Татьяна Владимировна, паркет затоптан. Затоптан. Мама, я у красных. Я с тобой, Настенька, я приеду к тебе, Настенька, ты слышишь? Комиссар, у тебя всегда в груди пожар? Комиссар?

– О–о–о–х!

Трое красных и четверо белых плачут. Лежат рядом. Бредят или нет? Темно. Не поймешь.

– За что дрались? Зачем дрались? О–о–о–х! Карболкой воняет, йодоформом, испражнениями.

Рядом с комиссаром тепло. У него пожар. Огонь. Одеяло только узко и коротко. Трудно под одним. Холодно. Ближе. Ближе надо. Обнялись. И белые. И красные.

– О–о–о–х!

Ни дня, ни ночи не было. Было только тяжело всем. Страдали все. Седой щерился на стеклах окон. На нарах люди.

– О–о–о–х!

Барановский спал долго. Встал, наверное, утром. Стекла замазались красным. Был, кажется, рассвет. Подошел к окну. Ноги дрожали. Ухватился за подоконник. Сестра положила руку на плечо. Взглянула в глаза ласково.

– Поправляемся?

Голос. Нет, не голос. Музыка. Ведь она родная. С ней хорошо.

– Сестрица, возьмите в конторе мои деньги и купите мне шоколаду. Не откажите, милая.

– На ваши деньги коробку спичек не купишь, их аннулировали.

Барановскому страшно немного.

– А как же я без денег–то? Куда я пойду? Да и с деньгами–то. Я боюсь. Совсем ведь другой мир. Я ничего не знаю в нем.

Женский голос успокаивает:

– Бояться нечего, устройтесь отлично. Будете служить в Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите – служу. Замолчали. Смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. Обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо.

Сестру позвал больной. Белые и красные зябли, жались друг к другу.

– О–о–о–х!

Между теплыми, еще живыми, лежали холодные, мертвые. Неподвижных, застывших выносили на носилках. На мороз. Живые боялись. Как бы их. По ошибке.

– Я живой, сестрица. Живой.

– Живой, живой. Скоро гулять пойдешь. Выпей бульона.

Рука теплая, как у матери. Гладит по голове. Святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил. Он еще болен.

– Мы вас выметем красными метлами. Выметем. Метут. Метут.

Барановскому тяжело. Одиночество. И эта неизвестность. Что там? За стеклами. Ледяная штора закрывает это там. Там новое. Красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем. И некому. Они ели свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красное с непривычки волнует. Но глаз не отрывает от щелки.

Недалеко, в другом городе, диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы Чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали, кровь кровью.

### **Послесловие**

Жить в Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите – служу. Замолчали. Смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. Обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо.

Сестру позвал больной. Белые и красные зябли, жались друг к другу.

– О–о–о–х!

Между теплыми, еще живыми, лежали холодные, мертвые. Неподвижных, застывших выносили на носилках. На мороз. Живые боялись. Как бы их. По ошибке.

– Я живой, сестрица. Живой.

– Живой, живой. Скоро гулять пойдешь. Выпей бульона.

Рука теплая, как у матери. Гладит по голове. Святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил. Он еще болен.

– Мы вас выметем красными метлами. Выметем. Метут. Метут.

Барановскому тяжело. Одиночество. И эта неизвестность. Что там? За стеклами. Ледяная штора закрывает это там. Там новое. Красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем. И некому. Они ели свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красное с непривычки волнует. Но глаз не отрывает от щелки.

Недалеко, в другом городе, диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы Чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали, кровь кровью.

### ***ЗАЧИНАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РОМАНА***

Советская литература накопила немало художественных ценностей. К ним относятся и «Два мира» – первый советский роман, написанный сибирским писателем Владимиром Яковлевым Зазубриным.

Книга Владимира Зазубрина вышла в свет в 1921 году. Она была издана в Иркутске к четвертой годовщине Октябрьской революции в походной военной типографии Политуправлением 5-й Армии и Восточно-сибирским военным округом, или, как тогда говорили, Пуармом 5 и ВСВО. «Два мира» явились по существу одним из первых в советской литературе художественных произведений о гражданской войне, написанных по неостывшим следам только что отгремевших событий. В литературе тогда не было ни «Разгрома», ни «Чапаева», ни «Железного потока», ни «Тихого Дона». Тема революции и гражданской войны лишь начинала завоевывать права гражданства и почти целиком исчерпывалась поэмой А. Блока «Двенадцать», рассказами и повестями Вс. Иванова «Партизаны», И. Касаткина «Лесные братья», П. Низового «Крыло птицы».

Талантливая и беспощадно правдивая книга В. Зазубрина сразу же привлекла к себе всеобщее внимание. Старейшин советский писатель Борис Лавренев вспоминает: «Я помню, с каким волнением и радостью мы, молодые, не имеющие еще опыта искатели, встречали в те дни первые цветы нашей литературы. Помню, как в Политуправлении Туркфронта в 1921 году был до дыр зачитан всеми работниками первый (кстати, незаслуженно забытый) советский роман В. Зазубрина «Два мира».<sup>1</sup>

В одном из первых печатных откликов роман справедливо был признан «живой панорамой классовой смертельной схватки», первой попыткой «использования агитационной мощи художественной литературы». Отмечая у автора «незаурядный талант художника», рецензент далее указывал, что, несмотря на отдельные недостатки – импрессионизм письма, элементы натурализма, плакатность и пр., – Зазубрину удалось создать «хорошую и нужную книгу», нарисовать «широкую, в общем правдивую, порой захватывающую картину из великой борьбы двух миров в Сибири, создать живые памятники этой борьбе».<sup>2</sup>

Глубокое сочувствие и живой отклик нашел роман в красноармейской среде. Солдаты, командиры и политработники Красной Армии были первыми читателями книги В. Зазубрина. «Два мира» зачитывались до дыр, вызвали десятки инсценировок на красноармейских и рабочих сценах. Печатный орган Политуправления Красной Армии журнал «Политработник»,

<sup>1</sup> Борис Лавренев. На новой ступени, «Литературная газета», 1957, No 123

<sup>2</sup> В. Правдухин. Зазубрин В. «Два мира», «Сибирские огни», 1922, No 1, с. 166 – 168.

№ 2 за 1922 год посвятил первому роману о борьбе с колчаковщиной восторженную статью, назвав книгу «яркой картиной колчаковского режима и борьбы с ним партизан», картиной, написанной «молодым, но сильным талантом». «Политработник» писал: «Книгу надо читать всем. Ее надо прочитать каждому красноармейцу, каждому рабочему и крестьянину. Ее надо перевести на все языки и как клеймящий документ бросить буржуазии, смеющейся утверждать о культуре и гуманности».<sup>1</sup> Не менее высокую оценку встретила книга сразу же после своего появления в печати и у А. В. Луначарского. Последний буквально через несколько месяцев после ее выхода в свет обратился к автору со специальным письмом, в котором он писал об «огромном удовольствии», доставленном ему чтением романа. А. В. Луначарский с присущей ему энергией сразу же решил написать на «Два мира» рецензию для журнала «Печать и революция», он же предложил редактору «Красной нови» А. Воронскому перепечатать роман в ближайших номерах журнала и одновременно ознакомил с ним В. И. Ленина. «Я, – писал А. В. Луначарский, – сообщил роман, как очень любопытную эпопею, В. И. Ленину, который его прочитал, но мнения его пока не знаю; когда узнаю – напишу Вам».

С точки зрения самого Луначарского, «Два мира» «чрезвычайно удавшееся» произведение. По его мнению, роман излишне перегружен ужасами, хотя, возможно, это и оправданно, так как «он отражает столь полные ужаса события». Революция, по Луначарскому, должна быть показана в литературе во всей своей неприкрытой правде, ее события не следует обертывать в «золотые бумажки». Эти события сами по себе должны агитировать и убеждать. «Мы, конечно, – заявляет он, – имеем полное право говорить всю правду. Вы это и делаете. Для душ сильных, революционных или склоняющихся к революции роман будет крепким призывом». Автор письма признается, что в «художественном отношении есть блестящие главы и страницы».<sup>2</sup>

В. И. Ленин, ознакомившись через Луначарского с романом «Два мира», отозвался о них, по словам А. М. Горького, следующим образом: «Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга».<sup>3</sup>

Эта «хорошая, нужная книга» в середине двадцатых годов вызвала плодотворную и оживленную дискуссию как среди рядовых читателей, так и в прессе. Особенно интересна подборка высказываний о романе «Два мира» крестьян одной из сибирских коммун, сделанная сельским учителем А. Топоровым и опубликованная в первом номере журнала «Сибирские огни» за 1928 год. А. Топоров читал его коммунарам вечерами глубокой осенью 1927 года (с 22 ноября по 5 декабря). Судя по многочисленным высказываниям слушателей, роман этот произвел на них колоссальное, потрясающее впечатление».<sup>4</sup>

Коммунары после длительной и бурной дискуссии пришли к единодушному выводу о том, что «Два мира» – «широчайшая и жуткая художественная история колчаковщины в Сибири. Это лучшая из всех известных нам книг, изображающих белый террор в нашем крае в 1918 – 1919 годах и всенародный мятеж против Колчака». По словам А. Топорова, «никакое другое произведение современной художественной литературы, прочитанное и разобранные в нашей аудитории, не зажгло у нас столько озлобления и ненависти против угнетателей трудового народа, сколько вызвали их «Два мира».

Рассказав о том, как жадно воспринимался коммунарами роман, насыщенный «незаурядной» художественной мощью, увлекательностью фабулы, все пронизывающей «страстью революционной романтики», А. Топоров замечает: «Во время читки «Двух миров» порой мне казалось, что я не читал, а бросал в публику стрелы. Так многочисленны и дружны были ответные взрывы восклицаний коммунаров».

Материалы обсуждения романа, собранные и опубликованные А. Топоровым, воочию свидетельствовали о той колоссальной впечатляющей силе воздействия, которое оказывала книга Зазубрина на рядового массового читателя. Не случайно А. М. Горький советовал напечатать эти выступления крестьян в виде послесловия к «Двум мирам», рассматривая их как «эхо, мощно отозвавшееся на голос автора», как «подлинный глас народа».<sup>5</sup> Волнующая своей не-

<sup>1</sup> Цит. по кн. В. Зазубрин. Два мира, 4-е изд., Новосибирск, 1928, с. 9.

<sup>2</sup> Там же

<sup>3</sup> А. М. Горький. Предисловие к кн. Владимира Зазубрина «Два мира», ГИХЛ, М., 1935, с. 3.

<sup>4</sup> А. Топоров. Деревня о современной художественной литературе, «Сибирские огни», 1928, № 1.

<sup>5</sup> М. Горький. Предисловие к кн. Владимира Зазубрина «Два мира», ГИХЛ, М., 1935, с. 3.

прикрашенной и страшной правдой о деградации старого мира, книга В. Зазубрина не могла оставить к себе равнодушным не только рядового читателя, но и журналистские круги того времени. О нем писал А. Воронский в своей статье «О мудрой точке» в альманахе «Наши дни»<sup>1</sup> и, наконец, с подробным анализом «Двух миров» мы встречаемся в статье Ф. И. Тихменева, опубликованной во втором номере журнала «Сибирские огни» за 1928 год. Тихменев сумел очень верно и тонко уловить и оценить историческое и обусловленное временем художественное своеобразие романа, его острую идейную направленность в тот период, когда борьба еще по существу продолжалась. Критик прав, когда он пишет: «Борьба еще не остыла, и роман начинался, как снаряд. И выпущен этот снаряд Пуармом 5, тем самым, который только что вышел на бруствер окопов и железной логикой мысли крушил врагов, еще не сокрушенных его железом. «Два мира» – это литературный кирпич революции, вложенный в советское здание в нужный момент гражданской войны»<sup>2</sup>.

Напомнив о том, что 1921 год, год выхода в свет романа, был для Сибири годом разгрома кулацких восстаний, критик справедливо замечает, что автор «не мог вынашивать и ждать», так как необходимо было наиболее оперативно в наглядной и убедительно простой форме содействовать победе революции в новых обострившихся условиях. На страницах книги чувствуется горячее дыхание революции, на них сохранились, по образному выражению критика, оттиски ее жестких и корявых пальцев, нетерпеливо перевертывавших еще не совсем дописанные страницы. И, несомненно, оправданным оказался в отношении романа В. Зазубрина исторический прогноз Ф. И. Тихменева, высказавшего в своей статье следующую справедливую мысль: «И чем далее отодвигается от нас героическая, но «страшная» эпоха, тем с большой охотой читает и будет читать жуткую книгу родов революции новый советский читатель. Как глубоко верное отображение колчаковщины,<sup>3</sup> она на сто процентов выполнила и выполнит для него свою историческую социальную роль».

Одним из страстных пропагандистов и почитателей «Двух миров» был А. М. Горький. Еще в 1928 году он настойчиво советовал молодежи познакомиться с романом Зазубрина. «Очень советую вам, товарищи, – писал он, – читать книгу писателя Зазубрина «Два мира»: в этой книге он удивительно правдиво изобразил дикую расправу белогвардейцев с крестьянами Сибири»<sup>4</sup>.

К талантливому и яркому произведению В. Зазубрина А. М. Горький обращался неоднократно в своих печатных выступлениях, письмах, речах и т. д. Так, в 1930 году, говоря о достижениях молодой советской литературы, он сетовал на то, что наша критика не дала еще должной и необходимой как с художественной, так и с идейной стороны оценки произведениям, посвященным гражданской войне, книгам, написанным на этом «героическом и трагическом материале». Он прямо заявлял: «Надолго останутся в новой истории литературы яркие работы Всеволода Иванова, Зазубрина, Фадеева, Михаила Алексева, Юрия Либединского, Шолохова и десятков других авторов, – вместе они дали широкую, правдивую и талантливейшую картину гражданской войны»<sup>5</sup>.

В другой раз, снова возвращаясь к мысли о необходимости хорошо знать историю гражданской войны, хорошо знать о подвиге народа и его жертвах во имя свободы, он опять-таки напомнил о «талантливости и красоте» таких книг, как «Тихий Дон» М. Шолохова, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Большевики» М. Алексева, «Два мира» Зазубрина, заметив, что некоторые из этих произведений «еще недостаточно высоко оценены»<sup>6</sup>. Для Горького В. Зазубрин неизменно оставался «весьма даровитым писателем, успешно и усердно работающим над собой»<sup>7</sup>, чей роман «Два мира» «всегда должен быть на книжном рынке». В одном из писем к Р. Роллану Горький охарактеризовал автора «Двух миров» как «очень талантливого молодого литератора»<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Альманах «Наши дни» 1925, No 5.

<sup>2</sup> «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 214.

<sup>3</sup> «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 214

<sup>4</sup> М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 24, М., 1963, с. 464

<sup>5</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 25, с. 253

<sup>6</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 30, с. 135

<sup>7</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 27, с. 267

<sup>8</sup> М. Горький. Собр. соч., т. 30, с. 87

Великий пролетарский писатель не ограничился приведенными нами высказываниями. Он сопроводил книгу сибирского писателя своим весьма сочувственным предисловием, в котором писал: «В 21–м году я видел эту книгу на столе В. И. Ленина:

– Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга.

Мне тоже кажется, что социальная полезность книги этой значительна и совершенно неоспорима. Написал ее человек весьма даровитый»<sup>1</sup>.

Мы сознательно привели здесь целый ряд фактов, свидетельствующих прежде всего о том поистине огромном познавательном и воспитательном значении, какое приобрела тотчас же после первого своего появления в печати книга Владимира Зазубрина. К сожалению, в сороковые, пятидесятые годы как сам роман, так и его автор были незаслуженно забыты, забыты настолько, что современный читатель и особенно молодежь не имеют ни малейшего представления о «Двух мирах» – первом крупном художественном произведении о гражданской войне, о бесчеловечных зверствах колчаковщины и героической борьбе народа.

Напомнить читателю о заслугах одного из литераторов старшего поколения, одного из зачинателей советской литературы, чей роман и поныне обжигает сердца суровой, волнующей правдой, живо воскрешая героическое прошлое нашей родины, мы и ставим своей целью.

Владимир Яковлевич Зазубрин (настоящая его фамилия Зубцов) родился в 1895 году на Волге, в семье железнодорожного служащего. Учился будущий писатель в реальном училище. Юношей в 1916 году он был схвачен и арестован царской охранкой за участие в революционном движении. В тюрьме Зазубрин начинает вести дневник, мечтает серьезно заняться литературой, он обдумывает и вынашивает замысел крупного произведения, надеясь написать роман. В эти же годы им был послан «как–то даже рассказ в одну из «Правд», но его не пропустила цензура»<sup>2</sup>.

В период гражданской войны в Сибири Зазубрин был мобилизован в армию Колчака, откуда ему вскоре удалось бежать и перейти на сторону Красной Армии. В 1921 году он вступил в Коммунистическую партию. В это время появляется в печати его первое крупное произведение – роман «Два мира». Как вспоминал впоследствии сам писатель, трудиться над книгой приходилось в редкие минуты отдыха, урывая время от изнурительной журналистской работы – Зазубрин тогда был армейским политработником, он редактировал ежедневную красноармейскую газету, издававшуюся Пуармом 5, «Красный стрелок».

Гораздо позже, уже в 1928 году, автор «Двух миров», говоря о себе в третьем лице, живо воспроизвел ту атмосферу, в которой создавался первый советский роман. «Конечно, в гражданскую войну и в годы военного коммунизма, – рассказывает он, – некогда было писать. Но в 1920 году, очнувшись после трех недель тифозного бреда, мой товарищ в тифозном же бараке взялся за перо. В 1921 году он издал свой первый роман. Гонораров тогда еще не было. Тем не менее ему выдали в качестве премии 5 000 000 рублей. Пять миллионов рублей! Мой товарищ не был особенно расчетливым человеком, он не положил денег в сберкассу или на свой текущий счет, а истратил их сразу же все на дрова, купил три воза настоящих березовых дров. Помню, мы с ним жарко натопили комнату, и он немедленно же сел за новый роман»<sup>3</sup>.

С 1923 по 1928 год Зазубрин был секретарем журнала «Сибирские огни» и одним из ведущих руководителей Сибирского Союза писателей, в создании и организации которого он принимал активнейшее участие. Вообще следует заметить, что ему принадлежит немалая заслуга в собирании художественных сил Сибири, в поддержке талантливой писательской молодежи.

В своем докладе, посвященном пятилетию «Сибирских огней», художник в красочной и образной, речи нарисовал правдивую картину становления сибирской советской литературы. Живо и непринужденно рассказал он о том, как вокруг литературного костра, зажженного «Сибирскими огнями», собирались талантливые люди из разных уголков обширного края, как на этот притягательный огонек шли Вс. Иванов, А. Караваева, Л. Сейфуллина, В. Итин, Г. Пушкин и др.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> М. Горький. Предисловие к кн. Владимира Зазубрина «Два мира». ГИХЛ. М., 1935. с. 3

<sup>2</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни». 1928, No 2, с. 243

<sup>3</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 243

<sup>4</sup> В. Зазубрин. Проза «Сибирских огней», «Сибирские огни», 1927, No2, с. 185 – 201

На базе «Сибирских огней» возник в марте 1926 года Сибирский Союз писателей, насчитывавший в своих рядах свыше сотни литераторов, положивших в основу своей работы известную резолюцию ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы». Будучи одним из вдохновителей Союза, В. Зазубрин повел страстную, непримиримую борьбу за единство и консолидацию сил сибирской советской литературы, против всяких проявлений групповщины в литературной среде. Он был ярким врагом «сектантов» от литературы, последовательно и настойчиво боролся за здоровые формы литературной организации, за «нормальные отношения» между литераторами. Он с горечью и гневом говорил о том, что «писатели нередко растрачивали силы в бесполезной групповой борьбе», вместо того чтобы всецело отдаться творческой работе<sup>1</sup>. Блестящий и талантливый полемист, В. Зазубрин не раз отбивал злопыхательские нападки на молодую литературу Сибири всевозможных рапповских критиков и ортодоксов типа Родова. Он по праву гордился тем, что «Сибирские огни» и Сибирский Союз писателей много сделали для культурного роста Сибири, хорошо сознавая, что литература здесь – «явление большого культурного порядка»<sup>2</sup>. Полемизируя со своими литературными противниками, писатель от лица многих сибирских литераторов имел все основания заявить: «...Скромные маленькие крупинки в общее дело строительства литературы мы все же вносили, вносим и будем вносить»<sup>3</sup>.

Много сделал В. Зазубрин не только по собиранию разрозненных сил литературы Сибири, но и для повышения ее уровня, идейно-художественного мастерства. Он оказывал большое влияние на развитие литературы и непосредственно как художник слова, автор прославленного романа «Два мира», и как вдумчивый критик и товарищ по профессии. Старейшая советская писательница Лидия Сейфуллина, вспоминая о своей начальной писательской учебе, о поисках своего места в литературе, рассказывает: «Роман В. Зазубрина «Два мира» произвел на меня огромное впечатление»<sup>4</sup>. (К слову сказать, Л. Сейфуллина, одна из первых организаторов «Сибирских огней», много сделала наряду с Правдухиным и другими, чтобы привлечь В. Зазубрина к работе в только что организованном журнале).

Прекрасно понимая общественную роль литературы и искусства, высокое назначение художника слова, В. Зазубрин неустанно призывал собратьев по перу к совершенствованию своего мастерства, идейной четкости и ясности. «Стиль, – говорил он, вспоминая крылатое изречение Бюффона, – это не только человек, но эпоха»<sup>5</sup>. Писать, по его словам, нужно «просто и мудро», добиваясь предельной ясности и лаконичности. Романы и повести надо строить так, чтобы они были «достойными и страны, и эпохи»<sup>6</sup>. А это можно сделать только тогда, когда проникнешься духом своей родины, когда органически впитаешь в себя идеи века, идеи пролетарской революции и социализма. Напоминая о том, что нигде в мире писатели не окружены таким вниманием и заботой правительства и народа, как у нас в СССР, художник требовал от сибирского писателя, чтобы его книга цвела «всей гаммой цветов Сибири»<sup>7</sup>.

Задачи современной литературы он видел «в бескорыстном служении делу Октябрьской революции»<sup>8</sup>. По его мнению, писатель не может быть нейтральным в ожесточенной идеологической борьбе эпохи. Место художника или в лагере революции или же в стане ее врагов. Он полностью разделял ленинский лозунг, выдвинутый еще в годы гражданской войны: кто не с нами, тот против нас. «Преступление, – говорит писатель, – именно сейчас быть безучастным»<sup>9</sup>. В идеях ленинизма, в идеях пролетарской революции В. Зазубрин видел неиссякаемый источник творческого вдохновения. «Наш писатель – боец и строитель», – говорит он в другом месте<sup>10</sup>. Автор «Двух миров» сурово критиковал тех писателей, которые за нэп-

<sup>1</sup> В. Зазубрин. Писатели и Октябрь в Сибири, «Сибирские огни». 1927, No 6, с. 186

<sup>2</sup> Там же, с. 190

<sup>3</sup> Там же

<sup>4</sup> Лидия Сейфуллина. Памятное, пятилетие, «Сибирские огни». 1927, No 1, с. 218

<sup>5</sup> В. Зазубрин. Литературная пушнина, «Сибирские огни», 1927, No 1, с. 212

<sup>6</sup> «Сибирские огни», 1927, No 2, с. 201

<sup>7</sup> Там же, с. 187

<sup>8</sup> «Сибирские огни», 1927, No 6, с. 191

<sup>9</sup> Там же

<sup>10</sup> В. Зазубрин. Литературная пушнина, «Сибирские огни», 1927. No 1, с. 209

манскими буднями, за этим «мелководьем» не видели революционной перспективы, утратили непосредственное чувство нового. Он не одобрял тех, кто склонен был «преувеличивать обмельчание дня» и «принимать его за обмельчание революции»<sup>1</sup>. В. Зазубрин не раз сетовал на то, что в литературе Сибири не нашел еще своего должного воплощения подлинный герой современности – образ коммуниста, не нашла своего яркого отражения и роль Коммунистической партии. Идеал положительного героя для него был воплощен в образе В. И. Ленина. Ссылаясь на известные воспоминания А. М. Горького о Ленине, он замечает: «Вот такого коммуниста – многогранного, живого, с его «адски трудной деятельностью» у нас еще в литературе, товарищи, нет»<sup>2</sup>. Явно недостаточно, по его мнению, было уделено внимания в литературе и Красной Армии, заслужившей более пристальное к себе отношение со стороны художников слова.

Примечательно и то, что В. Зазубрин уже в двадцатые годы настойчиво добивался от литературы расширения ее кругозора, усиления ее интернациональных связей. Он призывал сибирских писателей вспомнить о «ближайших соседях» – Индии, Китае, Монголии, Тибете и других странах Азии, где зреет колоссальная революционная энергия; именно здесь настоящий художник может найти неиссякаемый материал и «широчайшие возможности для творчества»<sup>3</sup>.

Наконец, важно указать в духовном облике писателя и на такую его черту, как сознание величайшей ответственности художника перед человечеством за судьбы мира. Отмечая в своем юбилейном докладе, посвященном десятилетию Октября, что сибирские писатели единодушны в своей готовности встать на защиту СССР, когда это будет нужно, В. Зазубрин четко и ясно заявил: «Мы... единодушны в искреннем желании отстаивать мир, до последней возможности бороться с теми, кто его хочет нарушить»<sup>4</sup>. Это высказывание тем более необходимо отметить, что оно было сделано в тот момент, когда внешняя и внутренняя реакции активизировали свою деятельность, когда образовался единый антисоветский фронт от Керзона до Троцкого.

До самозабвения влюбленный в жизнь, страстный рыболов и охотник, В. Зазубрин был человеком темпераментным и необыкновенно общительным. Личные и литературные связи его огромны. Он любил выступать с докладами о литературе, с чтением своих произведений в рабочих и красноармейских клубах. В новосибирской печати середины и конца двадцатых годов нередко можно было встретить сообщения такого рода: «В клубе Н-ской дивизии ГПУ с докладом «Чека и ГПУ в литературе» выступил т. Зазубрин, впервые прочитавший отрывки из нового своего романа «Щепка»<sup>5</sup>, или: «С докладами на литературных вечерах у красноармейцев выступали В. Зазубрин и В. Итин»<sup>6</sup>.

В 1927 году Зазубрин участвовал в работе XV партсъезда, о котором он оставил чрезвычайно интересные эскизные зарисовки.

Его заметки о съезде написаны рукою вдумчивого и наблюдательного художника. Живые человеческие характеры, бытовые, неповторимые детали метко схвачены писателем в беглых, но выразительных зарисовках Петровского, Ворошилова, Буденного, Орджоникидзе, Рудзутака, Феликса Кона, Литвинова и других делегатов съезда. Он справедливо полагал, что литератору необходимо быть на съезде партии, так как «Съезд – это колоссальный аккумулятор энергии масс», где «собирается коллективный опыт масс»<sup>7</sup>.

Художнику особенно было приятно отметить, что на этом историческом съезде, наметившем перспективы первой пятилетки, взявшем курс на коллективизацию сельского хозяйства, билась вечно живая ленинская мысль, чувствовалась его воля. Создавалось «впечатление, – говорит писатель, – будто он несколько минут тому назад выступал и сейчас куда-то ушел»<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> В. Зазубрин. Проза «Сибирских огней», «Сибирские огни», 1927. No 2, с. 200

<sup>2</sup> В. Зазубрин. Проза «Сибирских огней», «Сибирские огни», 1927, No 2, с. 200

<sup>3</sup> Там же

<sup>4</sup> Зазубрин. Писатели и Октябрь, «Сибирские огни», 1927, No 6, с. 187

<sup>5</sup> См. заметку «Писатели у красноармейцев», «Сибирские огни», 1928. No 2. с. 267

<sup>6</sup> Там же, с. 268

<sup>7</sup> В. Зазубрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 246, 250

<sup>8</sup> Там же, с. 248



Зазубрин признавался, анализируя свои впечатления от съезда: «Мне как-то хорошо от сознания того, что вся эта многотысячная толпа – люди одной партии и единой воли»<sup>1</sup>.

В конце 20-х годов Заzubрин, будучи председателем Сибирского Союза писателей и одним из редакторов «Сибирских огней», поддерживает оживленную связь с А. М. Горьким. В то время как отдельные сибирские литераторы из троцкистской группы «Настоящее» обливали грязью и клеветой великого пролетарского писателя, Заzubрин и его товарищи посвящают Горькому специальный номер «Сибирских огней», в котором публикуются приветственные статьи и воспоминания о крупнейшем пролетарском художнике В. Итина, Г. Вяткина, поздравительные телеграммы, письма самого А. М. Горького и другие материалы.

В приветственной статье, открывающей горьковский номер журнала, Заzubрин с большой теплотой и признательностью говорит о Горьком как «мужественном бойце, ласковом, внимательном друге и товарище», как человеку, которому «многим обязана» литература Сибири. «Молодая литература Сибири, – пишет он, – никогда не забудет нужных, правдивых, ободряющих слов М. Горького, сказанных ей вовремя»<sup>2</sup>.

Большая общественная и журналистская работа отнимала у писателя массу времени, необходимого для интенсивного творческого труда. Но огонь творчества никогда не угасал в Заzubрине. В двадцатые годы он много и упорно работал над романом о чекистах. Идея нового произведения зародилась у него после знакомства и последующих бесед с одним из работников ГПУ. «Когда он мне рассказал, – говорит писатель<sup>3</sup>, – о своей тягчайшей работе, я понял, что напал на нетронутые золотые россыпи материала»<sup>3</sup>.

Роман этот под названием «Щепка» создавался на тихой маленькой улочке, напоминающей деревенскую своими низенькими домиками с крепкими воротами и ставнями, засыпанными снегом. Но любимому произведению Заzubрина, потребовавшему от художника более пяти лет напряженнейшего труда, так и ни суждено было увидеть свет. Книга осталась незавершенной в рукописи, и не случайно. Дело в том, что В. Заzubрина как художника всегда отличала острота в постановке наиболее болезненных вопросов, но эти болезненные вопросы писатель подчас освещал в искаженном свете, не находя правильного их разрешения. Показательны в данном случае его произведения, написанные еще до романа «Щепка» – «Общежитие» и «Бледная правда». Обе эти вещи были опубликованы на страницах «Сибирских огней» в 1923 году.

Путь В. Заzubрина в литературе был сложным и противоречивым. Художник мечтал сделать, говоря его словами, хоть скромную, маленькую, но свою заzubринку на огромной шкале культурных завоеваний Октября. Он лелеял мечту написать книгу «о простых вещах и простых людях», книгу, где не было бы крови и ужасов. Ему была знакома величайшая радость художника, завершившего свое творение, которое заставит читателя жить его радостями, болеть его болью. «Мы бываем, – говорит он, – самыми счастливыми людьми на всей земле, когда ставим последнюю точку на последней странице своей новой книги и когда видим, что рука читателя, ее читающего, радостно вздрагивает и на лбу у него мелькают облачка раздумья»<sup>4</sup>.

На долю Заzubрина такое счастье, если не считать романа «Два мира», выпадало скупой и редко. В конце 1928 года он вынужден был покинуть Новосибирск и перебраться в Москву. В Новосибирске вокруг писателя была создана «настоященцами» болезненная и нездоровая обстановка, его стали травить, исключили из Союза Сибирских писателей, в организацию которого он вложил столько труда и энергии. До 1937 года Заzubрин заведовал одним из отделов журнала «Колхозник». В начале 30-х годов им был опубликован новый роман «Горы». Однако и этот последний труд писателя мало что прибавил к славе автора «Двух миров». В нашей большой литературе В. Заzubрин остался творцом первого советского романа, выдержавшего в свое время за сравнительно короткий срок 10 изданий.

«Два мира» явились первым непосредственным откликом на события, которые еще не успели отойти в прошлое и стать историей. Роман вышел в то время, когда, по словам писа-

<sup>1</sup> Там же, с. 247

<sup>2</sup> В. Заzubрин. Максим Горький, «Сибирские огни», 1928, N 2, с. 4

<sup>3</sup> В. Заzubрин. Заметки о ремесле, «Сибирские огни», 1928, N 2, с. 243

<sup>4</sup> В. Заzubрин. Заметки о ремесле. «Сибирские огни», 1928, No 2, с. 246

теля, «автор и все его художественные «корреспонденты» буквально еще не успели износить ботинок, в которых они месили липкую и теплую грязь полей сражения»<sup>1</sup>.

Указанное обстоятельство наложило неизгладимый отпечаток на все произведения В. Зазубрина, обусловило его идейно–художественное своеобразие. Приступая к работе над книгой, автор поставил перед собою вполне определенную задачу – «дать красноармейской массе просто и понятно написанную вещь о борьбе «двух миров» и использовать агитационную мощь художественного слова»<sup>2</sup>.

Такое вполне осознанное стремление к использованию «агитационной мощи художественного слова» обусловило и известную поспешность в обработке материала, притом основная работа в газете отнимала массу времени, и поэтому книга вышла до некоторой степени, по мнению писателя, сырой и незавершенной. На страницах романа постоянно чувствуется рука как художника, так и политработника, которые «не всегда были в ладу», иногда в нем политработник брал верх над художником, отчего художественная сторона работы подчас страдала. Но, как справедливо полагал еще в 1923 году писатель, книга и в своем первоначальном виде «сможет дать... некоторое представление о колчаковщине в Сибири»<sup>3</sup>. Позднее автор сознательно отказался от каких бы то ни было исправлений текста, считая, и не без основания, что «нельзя исправлять записей, сделанных по свежей памяти и по рассказам очевидцев», не успевших еще износить тех башмаков, в которых они шагали по полям сражений.

Таким образом, роман В. Зазубрина не просто художественное произведение, а одновременно и взволнованный, страстный, написанный кровью сердца живой человеческий документ, возникший по горячим следам и оставленный потомству одним из непосредственных участников изображаемых событий.

Книга, посвященная показу героической борьбы трудового народа с бандитскими ордами Колчака, стойкости и самоотверженности простых русских людей, была адресована писателем сотням и тысячам безвестных героев гражданской войны. Не случайно роману «Два мира» предпослано волнующее и торжественное посвящение. Уже само это торжественно–приподнятое, необычайное посвящение сразу же вводит читателя в атмосферу книги – атмосферу грозную, трагическую и героическую в своей основе.

«Два мира», названные автором романом, по существу не укладываются в традиционное представление о романе. Напрасно мы стали бы здесь искать сюжетные линии и их развитие, художественную разработку тех или иных характеров в нашем обычном представлении. Книга В. Зазубрина скорее своеобразная хроника, где развитие действия соотнесено с развитием больших исторических событий в их календарной последовательности. Логика развития характеров, сюжета у него подчинена другой логике – железной и неумолимой логике классовой борьбы в ее наивысшем выражении. Его роман представляет из себя по существу множество интенсивно нагнетаемых и, как правило, страшных кровавых сцен, внешне как будто мало связанных друг с другом; иногда их без ущерба для развития сюжета можно даже поменять местами. Но эти разрозненные сцены и эпизоды сцементированы единым идейным замыслом, общей направленностью книги, воскрешающей правду о колчаковщине, правду о нелегком торжестве революции и ее героических участниках и творцах. В итоге причудливая художественная мозаика воссоздает цельную и яркую картину гражданской войны в Сибири, где отдельные эпизоды воспринимаются как части единого в своей композиционной завершенности художественного полотна, грандиозной художественной панорамы.

Повествование в книге В. Зазубрина все время идет на контрастах, читатель постоянно ощущает эти два взаимоисключающих потока – борьбу двух миров – революции и контрреволюции, народа и его поработителей. Вместе с тем в изображении лагеря контрреволюции художник в свою очередь не скупится на контрастные, часто прямолинейно–плакатные краски, настойчиво выявляя разницу между разглагольствованиями колчаковцев о гуманности, свободе, культуре, цивилизации и пр. и их внутренней, настоящей сущностью. В нашей литературе мало найдется книг, в которых разоблачение зверств

<sup>1</sup> В. Зазубрин. Предисловие к четвертому изданию. Два мира, Новосибирск, 1928, с. 6

<sup>2</sup> Там же, с. 6

<sup>3</sup> В. Зазубрин. Предисловие ко второму изданию. Два мира, Новосибирск, 1928, с. 6

белогвардейщицы было бы дано с такой обнаженной, потрясающей душу правдой. Издевательства, насилия, расстрелы, повешение, закапывание живьем, грабеж, поджоги целых деревень, массовые порки, убийство стариков и малолетних, необузданные, дикие пьяные оргии, торговля родиной, мародерство и беззастенчивая спекуляция, полная моральная деградация – вот те страшные вехи, которые оставили на пути своего следования Колчак и его сатрапы, вот что подметил в сибирской белогвардейщине зоркий взгляд художника и разоблачение чего составляет, пожалуй, наиболее сильную сторону его книги.

Уже буквально с первых же страниц романа перед читателем возникает фигура толстогубого поручика Громова с гладко выбритым четырехугольным подбородком, фигура человека, который методично, с дьявольским хладнокровием расстреливает деревенских беженцев – стариков, женщин, ребяташек. «Разбитые телеги сгрудились в кучу; лошади, издыхая, дергали ногами; с вырванными животами, оторванными руками и ногами, с разбитыми черепами валялись люди. Кто-то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи. Русые пушистые волосы ребенка слиплись, стали красными. Головки убитых детей среди груды разломанных телег, дохлых лошадей, мертвых и раненых людей пестрели нежными цветками голубеньких, черных, синих глазенок, сверкающих еще не высохшими слезами».

С беспощадным реализмом, зачастую переходящим в натуралистически–обнаженное изображение нечеловеческих жестокостей, художник рисует кровавую вакханалию белогвардейских карателей – красильниковцев, анненковцев и других. С особой тщательностью в романе выписаны «подвиги» полковника–карателя Орлова и его банды. Вот на глазах стариков родителей, в присутствии мужа и детей насилуют молодую крестьянку, вот измываются над девочкой–подростком, вот солдатня врывается к девушке–учительнице и оскверняет ее, вот избивают старика и т. д. – все в том же духе. Первая глава, носящая символическое название «Коготь», заканчивается характерным идейно–художественным штрихом: избитая, опозоренная и обесчещенная учительница, очнувшись, замечает на затоптанном и заплеванном полу воззвание адмирала Колчака к населению России, воззвание, в котором незадачливый адмирал обещает народу помочь «осуществить великие идеи свободы», заявляя, что он, Колчак, не пойдет «ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности», клянется установить в стране «законность и правопорядок». На этот лживый манифест «верховного правителя Сибири» упал зловещий отблеск пожарищ, насилий и пыток, чудовищного кровопролития. Писатель нашел точный и верный фокус, позволивший ему раскрыть в истинном свете драматизм происходящего, которое является своего рода прологом и выразительным комментарием к этому манифесту. Он нашел и в чисто художественном плане верную и выразительную психологическую деталь. Обезумевшей от надругательств девушке хищный росчерк слитографированной фамилии омского диктатора с разбрызганными каплями чернил представляется когтем с почерневшими, засохшими капельками крови; этот зловещий черный коготь хищника постепенно в ее затуманенном сознании «стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками».

Огнем и мечом истребляет полковник Орлов непокорное крестьянство Сибири, выжигая и уничтожая целые селения, оставляя после себя обгаренные кровью пепелища. Автор говорит о нем: «Полковник принадлежит к числу тех офицеров, которые работали в армии не за страх, а за совесть. Он был ослеплен ненавистью к красным, его жестокость не знала рамок. Он принялся искоренять большевизм со всем рвением фанатика–черносотенца».

Но, возможно, Орлов – исключение, патологическое уродство? История гражданской войны свидетельствует как раз об обратном. Образы кровавых белых карателей запечатлены и в художественной литературе, и в многочисленных документах эпохи.

Типичность образа Орлова нагляднее и ярче всего проявляется при сопоставлении его с обликом других персонажей из белогвардейского лагеря, нарисованных писателем. Перед читателем, как в калейдоскопе, проходят защитники старого мира всех мастей. Роднит их одно – звериная, зоологическая ненависть к восставшему народу, сближает единственное заветное желание – поскорее вернуть свои прежние привилегии. Эти затаенные мечты все время прорываются наружу у героев Зазубрина. И о том, что писатель здесь опять–таки не погрешил против исторической правды, говорят стихи утонченной в прошлом поэтессы – декадентки Зинаиды Гиппиус, заявившей в годы революции: «Скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Чувства, испытываемые Зинаидой Гиппиус к народу, близки и понятны белогвардейцам, изображенным Зазубриным.

Кто же они, эти почитатели и хранители «святынь»? Это спекулянты и колчаковские офицеры, вступающие с ними в сделку, это бежавшие от советской власти под крылышко Колчака профессора, лицемерно произносящие длинные речи о гуманности и одновременно под покровом своего словоблудия скрывающие ту же зоологическую ненависть к народу, который они в минуту откровенности призывают беспощадно уничтожать, профессора, отводящие душу в дружеских беседах с теми же спекулянтами; кадеты, меньшевики, эсеры и пр., и пр. Выразительную галерею этих типов дополняют бывшие фабриканты, заводчики и военные «союзнички» России по первой мировой войне – французы, американцы, англичане, итальянцы, не говоря уже о поляках и особенно чехах. В ряде сцен романа живо воспроизведены расправы интервентов над мирным населением. Так, в главе «Победят люди» автор, приведя длинную краснобайскую речь профессора о победе человека над зверем, речь, обращенную к отъезжающим на фронт офицерам, переносит читателя на станцию Тайшет, где расквартированы были чешский и румынский эшелоны, и первое, что видит читатель, – это самодовольно улыбающийся чешский комендант, стоящий возле трех повешенных. В другой раз он заставляет читателя пережить всю сцену казни, учиненной чешскими офицерами без суда и следствия над группой крестьян. Не уступают чехам в мародерстве, насилиях и жестокостях и французы, и американцы, и японцы, не говоря уже о колчаковцах, продавших свою родину иностранным интервентам. С наибольшей художественной силой и убедительностью автором разработан образ подпоручика Мотовилова – потомственного кадрового офицера. Подпоручик Мотовилов такой же убежденный фанатик черносотенного толка, как и полковник Орлов. Мотовилов не скрывает своих махрово–монархических убеждений. Он грубо обрывает офицера Колпакова, когда тот заговорил о «великой России, свободе, законности и порядке». Ему противно это «либеральное словоблудие». «Какое там к черту царство свободы! – заявляет Мотовилов. – Кричите царство Романовых, и кончено. Вот это дело, я понимаю». Ему ничего не стоит ударить по лицу солдата, старика крестьянина. Мотовилова восхищает расправа чехов над его же соотечественниками. Он презирует всякие человеческие чувства, особенно ему ненавистна жалость. Подпоручик признает только право сильного. В действительности это приводило к оправданию беззакония, открытого бандитизма, толкало на грабежи и убийства.

Под стать Мотовилону и какой–нибудь Костя Жестиков, садистски наслаждающийся жестокостями, насилующий малолетних, убивающий и губящий десятки жизней. Не лучше их и беспринципный Рагимов, которому безразлично, на чьей стороне правда. Он готов слушать, по его словам, «и черту, и богу, лишь бы платили хорошо».

Своеобразное место в «Двух мирах» занимает фигура офицера–подпоручика Барановского. В отличие от Мотовилова его разьедают сомнения в правильности избранного им пути.

Уходя на фронт, Барановский выслушивает напутствия любимой им девушки – нарядной и изнеженной дочки профессора. Татьяна Владимировна настолько ослеплена ненавистью к красным, к большевикам, что, не задумываясь, готова пожертвовать жизнью любимого человека ради спасения своего благополучия. Народ для нее – «стадище баранов». Она стоит за власть немногих, но «мудрых, культурных людей».

Непосредственное общение с людьми типа Мотовилова, долгие размышления над происходящим постепенно убеждают Барановского в совершенной им трагической ошибке. Он чувствует себя чужим среди белых и вместе с тем не решается, боясь, как офицер, гнева народного, смело и решительно перейти на сторону красных. И только в пылу опьянения он с горечью высказывает свои затаенные мысли.

Белая идея оказалась кровавой, античеловеческой идеей. Не случайно возникает перед больным Барановским в его бредовых видениях образ некогда любимой им женщины, обгазированной кровью невинных жертв.

Потрясающее впечатление оставляют картины, изображающие отступление и деморализацию колчаковской армии. Вся гниль, вся нечисть, все звериное и скотское, что несло в себе белое движение, теперь всплыло на поверхность, стало разлагаться и смердеть. Даже природа, окружающая разваливающуюся армию Колчака, утратила всю свою прелесть и красоту. Бывшие хозяева России не только внутренне опустошены, разбиты, но они не нужны и враждебны всему окружающему.

Этому агонизирующему, страшному старому миру в романе противостоит нарождающийся новый мир. Художник и здесь не погрешил против правды. Он не замалчивает в своих героях недостатков, порой жестокости, рецидивов собственнической психологии и пр. Особенно это сказалось в главе «Всему миру или тебе», где крестьяне, предводительствуемые хитрым и трусливым старостой, из-за боязни расправы заживо закапывают в могилу одного из своих односельчан.

Пробуждение к активной борьбе многомиллионного сибирского крестьянства, широта и размах партизанского движения встают перед читателем в ряде колоритных и живописных сцен романа. На всенародную борьбу за правое дело поднимаются не только крестьяне, так или иначе пострадавшие от колчаковской тирании, но и отдельные представители господствующих классов, решивших, подобно бывшему священнику Воскресенскому, навеки связать свою судьбу с судьбой родины и родного народа. Постепенно начинают прозревать и рядовые колчаковцы, особенно те из них, кто насильственно был призван в белую армию, – тысячи обманутых эсерствующей и меньшевистской демагогией представителей трудящихся.

Нелегко и сложен путь этих простых русских людей, совершивших трагическую ошибку, к постижению правды.

Значительное место в романе занимают образы партизан, картины возмущения и гнева народного. Правда, справедливость требует отметить, что в художественном отношении образы партизан, особенно руководителей, таких, как комиссар Молов, командир Жарков и других, разработаны значительно бледнее и схематичнее, чем представителей противоположного лагеря. Художнику в изображении партизанского движения более удалось так называемые массовые сцены – сцены собраний партизан, сцены боев. Особенно выразительно сделана глава «Пили, пили...», ярко передающая все напряжение и остроту схватки горстки партизан с вооруженным и многочисленным противником. Весь драматизм положения партизанского отряда, прижатого к непроходимой тайге, героическое прокладывание под постоянным огнем противника дороги через сплошную стену леса оставляют у читателя сильное и неизгладимое впечатление, воскрешая в памяти аналогичную сцену из «Разгрома» А. Фадеева.

Атмосферу эпохи живо передает в романе и необычная манера повествования. Часто автор не высказывает своего прямого, непосредственного отношения к происходящему. Создается впечатление, что он только бесстрастно фиксирует события, предоставляя читателю самому делать вывод. Но этот объективизм художника мнимый, кажущийся. Весь пафос книги, расположение светотеней в ней направлены на утверждение правды революции, ее неизбежного торжества.

Художественное своеобразие книги ярко проявляется и в ее языке, во всем стилистическом строе. Колоритно выписанные рукою художника сцены и картины перемежаются частыми публицистическими комментариями.

Время врывается в повествование многочисленными частушками, песнями: и революционными, и народными, и офицерскими, и открыто белогвардейскими. Вот некоторые из них: «Русски с русскими воюют, а чехи сахаром торгуют». Или знаменитые частушки, которые с визгом исполняет шансонетка в одном из колчаковских кафешантанов: «Костюм английский, Погон российский, Табак японский, Правитель Омский».

Колорит эпохи оживает не только в песнях и частушках, но и в многочисленных приказах, воззваниях и указах белогвардейских генералов и атаманов, которыми автор обильно уснащает свое повествование. Следует заметить, что введение в художественный текст деловых документов только усиливает цельность впечатления, острее оттеняя правду изображаемого.

Своеобразна и авторская манера строить фразу, особенно при изображении массовых сцен. Эта манера роднит В. Зазубрина с нашей литературой начала двадцатых годов, когда многие молодые писатели – и Лавренев, и Фадеев, и др. – прошли через так называемую рубленую прозу. Определенную дань отдал этому и автор «Двух миров», для стиля которого характерна короткая, рубленая фраза. «Звоном колокольным ударило при входе в улицу. Золото икон и хоругвей блеснуло навстречу. Пирогоми, шаньгами, свежим хлебом запахло. Широко расступились дома. Огромная толпа на площади. В середине зачем-то черный с крестом Мефодий Автократов. И звон. Ведь тогда тоже был звон. Тогда он лгал. А теперь? Рачве радовался? Опрокинуть все это. Залить своим. Теснее ряды. Лица тверды и суровы. Снег хрустит».

Таким образом, в стилевом, композиционном и сюжетном отношении роман «Два мира» представляет из себя сложный сплав различных и, на первый взгляд, разнородных элементов, где рубленая проза перемежается ярко выраженной публицистикой, живая зарисовка сменяется пространной речью или столь же пространным спором, как в конце романа спор между Моловым и Барановским, задорная частушка – революционным гимном, документ приказа или инструкции – массовой сценой, картины истязаний и расстрелов – сценами митингов и собраний, необузданными оргиями, эпизодами сражений, панического бегства и т. д., и т. д. И вместе с тем эта кажущаяся пестрота подчинена общему идейному замыслу – дать наглядную картину гражданской войны и разгрома колчаковщины в Сибири.

С этой важнейшей задачей художник, как видим, справился прекрасно. Он создал поистине новаторское произведение, впервые с такой полнотой изобразившее участие широких народных масс в революции. Поэтому с полным правом автор «Двух миров», анализируя свой собственный писательский опыт и опыт своих товарищей по перу, мог позднее сказать: «Революция научила нас писать по-новому. Она научила нас оперировать массами, заставила писать по принципу «смещения планов»<sup>1</sup>.

Книга В. Зазубрина – явление не только историческое. Она и в наши дни звучит необычайно современно. Это не только правдивый рассказ о рождении нового мира, о подлинно народном характере Октябрьской революции, но и гневный протест художника против «преlestей» буржуазной «свободы», порядков и нравов «свободного мира». Его роман наглядно показывает, что несут с собой белые знамена контрреволюции.

Рассказывая о виденном и пережитом, писатель вскрывает истоки народного гнева против поработителей. В одном месте романа он пишет: «Гнет атамановщины в районе Медвежьего, Пчелина и Широкого становился с каждым днем все сильнее. Порки, расстрелы чередовались с виселицами, конфискациями и сжиганием целых сел и деревень. Жизнь в местах расположения иностранных войск и группы атамана Красильникова стала опасной самому безобидному, чуждому всякой политики землеробу. Все крестьянство подозревалось в сочувствии и содействии большевикам. Суда и следствия не существовало, их заменяло усмотрение начальства. Голословный оговор, анонимный донос или подозрение являлись достаточным основанием для приговора к смерти десятков людей. Крестьяне бросали свои хозяйства, дома и с семьями уходили в тайгу, пополняли партизанские отряды. Остающиеся дома были запуганы до последней степени, до потери рассудка и здравого смысла».

В главе «Все пойдем» художник свои наблюдения и размышления переплавил в волнующую картину народного гнева, его перехода от пассивности к активной борьбе с ненавистным врагом.

Так «Два мира» В. Зазубрина из волнующего документа героической эпохи превращаются в обвинительный и беспощадный приговор миру насилия и лжи, миру реакции и контрреволюции.

Первоначально роман был задуман как своеобразная трилогия, в которой «Два мира» должны были составить первую часть. В 1922 году писатель опубликовал на страницах журнала «Сибирские огни» отрывки из второй и третьей книг задуманной им эпопеи. В этих отрывках он рассказал об установлении советской власти в районах, освобожденных от Колчака, о налаживании хозяйственной и культурной жизни, о первых попытках создания крестьянских коммун. Из них же мы узнаем о дальнейшей судьбе отдельных персонажей «Двух миров», в частности о трагической и нелепой гибели подпоручика Барановского, погибающего случайно, по недоразумению, вместе с другими пленными белогвардейцами. Об этом рассказано в главе с характерным названием «Под колесами».

Подпоручик Барановский с его поисками справедливости, неизжитыми иллюзиями абстрактного буржуазного гуманизма пал жертвой собственных противоречий, оказался под колесами неумолимой в своем ходе истории.

В главе «Чудо» из третьей части романа художник поведал о том, как в новых условиях, в условиях окончательной победы народа, классовая борьба принимает новые формы, как замаскировавшиеся враги прибегают к скрытым, изощренным и не менее жестоким приемам борьбы с советской властью. В главе «Чудо» снова появляется зловещая фигура, эпизодиче-

<sup>1</sup> В. Зазубрин. Писатели и Октябрь в Сибири, «Сибирские огни», 1927, No 6, с. 185

ски мелькавшая на страницах «Двух миров», попа Автократова с его неистребимой ненавистью к победителям.

Как известно, писатель в дальнейшем отказался от продолжения своей книги, очевидно полагая, что главное им уже было сделано в «Двух мирах».

Роман В. Зазубрина останется в нашей литературе как первая серьезная попытка осмысления художником событий большого исторического значения, как яркая и волнующая страничка гражданской войны и одновременно как один из первых опытов, первых шагов в становлении советской прозы. Книга В. Зазубрина доносит до нас живое, горячее дыхание героической эпохи. Она и поныне учит революционной бдительности, ненависти к врагам родины, уважению и любви к великому русскому народу и его славным революционным традициям, его духовной мощи, здоровью, красоте и силе.

(В. Трушкин)

## В. ЗАЗУБРИН. ЩЕПКА<sup>1</sup>

На дворе затопали стальные ноги грузовиков. По всему каменному дому дрожь.

На третьем этаже на столе у Срубова звякнули медные крышечки чернильниц. Срубов побледнел. Члены Коллегии и следователь торопливо закурили. Каждый за дымную занавесочку. А глаза в пол.

В подвале отец Василий поднял над головой нагрудный крест.

– Братья и сестры, помолимся в последний час.

Темно-зеленая ряса, живот, расплывшийся книзу, череп лысый, круглый-просвирка заплесневевшая. Стал в угол. С нар, шурша, сползали черные тени. К полу припали со стоном.

В другом углу, синяя, хрипел поручик Снежницкий. Короткой петлей из подтяжек его душил прапорщик Скачков. Офицер торопился – боялся, не заметили бы. Повертывался к двери широкой спиной. Голову Снежницкого зажимал между колен. И тянул. Для себя у него был приготовлен острый осколок от бутылки.

А автомобили стучали на дворе. И все в трехэтажном каменном доме знали, что подали их для вывозки трупов.

Жирной, волосатой змеей выгнулась из широкого рукава рука с крестом. Поднимались от пола бледные лица. Мертвые, тухнущие глаза лезли из орбит, слезились. Отчетливо видели крест немногие. Некоторые только узкую, серебряную пластинку. Несколько человек – сверкающую звезду. Остальные – пустоту черную. У священника язык лип к небу, к губам. Губы лиловые, холодные.

– Во имя отца и сына...

На серых стенах серый пот. В углах белые ажурные кружева мерзлоты.

Листьями опавшими шелестели по полу слова молитв. Метались люди. Были они в холодном поту, как и стены. Но дрожали. А стены неподвижны – в них несокрушимая твердость камня.

На коменданте красная фуражка, красные галифе, темно-синяя гимнастерка, коричневая английская португепя через плечо, кривой маузер без кобуры, сверкающие сапоги. У него бритое румяное лицо куклы из окна парикмахерской. Вошел он в кабинет совершенно бесшумно. В дверях вытянулся, застыл.

Срубов чуть приподнял голову.

– Готово? Комендант ответил коротко, громко, почти крикнул:

– Готово.

И снова замер. Только глаза с колющими точками зрачков, с острым стеклянным блеском были беспокойны.

У Срубова и у других, сидевших в кабинете, глаза такие же – и стеклянные, и сверкающие, и остротревожные.

– Выводите первую пятерку. Я сейчас.

Не торопясь набил трубку. Прощаясь, жал руки и глядел в сторону.

<sup>1</sup> Впервые опубликовано в 1923 году. Печатается по: В. Зазубрин. Щепка // [http://royallib.com/book/zazubrin\\_v/shchepka.html](http://royallib.com/book/zazubrin_v/shchepka.html)

Моргунов не подал руки.

– Я с вами – посмотреть.

Он первый раз в Чека. Срубов помолчал, поморщился. Надел черный полушубок, длинную рыжую шапку. В коридоре закурил. Высокий грузный Моргунов в тулупе и папаше сутулился сзади. На потолке огненные волдыри ламп. Срубов потянул шапку за уши. Закрыв лоб и наполовину глаза. Смотрел под ноги. Серые деревянные квадратики паркета. Их нанимали на ниточку и тянули. Они ползли Срубову под ноги, и он сам, не зная для чего, быстро считал:

– ...Три... семь... пятнадцать... двадцать один...

На полу серые, на стенах белые – вывески отделов. Не смотрел, но видел. Они тоже на ниточке.

...Секретно–оперативный... контрревол... вход воспр... бандитизм... преступл...

Отсчитал шестьдесят семь серых, сбился. Остановился, повернул назад. Раздраженно посмотрел на рыжие усы Моргунова. А когда понял, – сдвинул брови, махнул рукой. Застучал каблуками вперед. Мысленно твердил: «...Манти–менты... санти–менты... санти...»

Злился, но не мог отвязаться.

– ...Санти–менты... менты–санти...

На площади лестницы часовой. И сзади этот зритель, свидетель ненужный. Срубову противно, что на него смотрят, что так светло. А тут ступеньки. И опять пошло.

– ...Два... четыре... пять... Площадка пустая. Снова:

– ...Одна... две... восемь...

Второй этаж. Новый часовой. Мимо, боком.

Еще ступеньки.

Еще.

Последний часовой. Скорее. Дверь. Двор. Снег. Светлее, чем в коридоре.

И тут штыки. Целый частокол. И Моргунов, бестактный, лепится к левому рукаву, вяжется с разговором.

Отец Василий все с поднятым крестом. Приговоренные около него на коленях. Пытались петь хором. Но пел каждый отдельно.

– Со свя–ты–ми упо–ок–о–о–о...

Женщин только пять. А мужских голосов не слышно. Страх туго набил стальные обручи на грудные клетки, на глотки и давил. Мужчины тонко, прерывисто скрипели:

– Со свя–ты–ми... свят–ты–ми...

Комендант тоже надел полушубок. Только желтый. В подвал спустился с белым листом–списком.

Тяжелым засовом громыхнула дверь.

У певших нет языков. Полны рты горячего песку. С колен встать все не смогли. Ползком в углы, на нары, под нары. Стадо овец. Визг только кошачий. Священник, прислонясь к стене, тихо заикался:

– ... упо–по–по–о–о...

И громко портил воздух.

Комендант замахал бумагой. Голос у него сырой, гнетущий – земля. Назвал пять фамилий–задавил, засыпал. Нет сил двинуться с места. Воздух стал как в растревоженной выгребной яме. Комендант брезгливо зажал нос.

Длинноусый есаул подошел, спросил:

– Куда нас?

Все знали – на расстрел. Но приговора не слышали. Хотели окончательно, точно. Неизвестность хуже.

Комендант суров, серьезен. Так вот прямо, не краснея, не смущаясь, глаза в глаза уставил и заявил:

– В Омск.

Есаул хихикнул, присел.

– Подземной дорогой?



Полковнику Никитину тоже смешно. Согнул широкую гвардейскую спину и в бороду:

– Хи–хи...

И не видел, что из–под него и из–под соседа генерала Треухова ползли по нарам топкие струйки. На полу от них болотца и пар.

Пятерых повели. Дверь плотно загородила выход. Лязгнул люк во двор. Шум автомобилей яснее. И был похож он на стук комьев мерзлой земли в железную дверь подвала. Запертым показалось, что их заживо засыпают.

– Ту–ту–ту–ту–ту. Фр–ту–ту. Фр–ту–ту.

Капитан Боженко встал у стены. Подбоченился. Голову поднял. Под потолком слабенькая лампочка. Капитан подмигнул ей.

– Меня, брат, не найдут.

И на четвереньках под нары.

Из угла поручик Снежницкий показывал всем синий мертвый язык. От коменданта Скачков его спрятал. А себе горло не перерезал. Вертел в руках стекло и не решался.

Маленький огненный волдырек на потолке неожиданно лопнул. Гной из него черной смолой всем в глаза. Тьма. В темноте не страх–отчаяние. Сидеть и ждать невозможно. Но стены, стены. Кирпичный пол. Ползком с визгом по нему. Ногтями, зубами в сырые камни.

Срубову и пяти выведенным показалось, что узкий снежный двор накаленный добела металлический зал. Медленно вращаясь на дне трехэтажного каменного колодца, зал захватил людей и сбросил в люк другого подвала на противоположном конце двора. В узком горле винтовой лестницы у двоих захватило дыхание, закружились головы–упали. Остальных троих сбили с ног. На земляной пол скатились кучей.

Второй подвал без нар изогнут печатной буквой Г. В коротком крючке каменной буквы, далеко от входа, мрак. В длинном хвосте – день. Лампы сильнее через каждые пять шагов. На полу все бугорки, ямки видны. Никогда не спрятаться. Стены кирпичными скалами сошлись вплотную, спаялись острыми четкими углами. Сверху навалилась каменная пусто–брюхая глыба потолка. Не убежать. Кроме того, конвоиры–сзади, спереди, с боков. Винтовки, шашки, револьверы, красные, красные звезды. Железа, оружия больше, чем людей.

«Стенка» белела на границе светлого хвоста и неосвещенного изгиба. Пять дверей, со–рванных с петель, были приставлены к кирпичной скале. Около пять чекистов. В руках большие револьверы. Курки – черные знаки вопросов–взведены.

Комендант остановил приговоренных, приказал:

– Раздеться.

Приказание, как удар. У всех пятерых дернулись и подогнулись колени. А Срубов почувствовал, что приказание коменданта относится и к нему. Бессознательно расстегнул полушубок. И в то же время рассудок убеждал, что это вздор, что он предгубчека и должен руководить расстрелом. Овладел собой с усилием. Посмотрел на коменданта, на других чекистов–никто не обращал на него внимания.

Приговоренные раздевались дрожащими руками. Пальцы, похолодевшие, не слушались, не гнулись. Пуговицы, крючки не расстегивались. Путались шнурки, завязки. Комендант грыз папиросу, торопил:

– Живей, живей.

У одного завязла в рубаше голова, и он не спешил ее высвободить. Раздеться первым никто не хотел. Косились друг на друга, медлили. А хорунжий Кашин совсем не раздевался. Сидел скорчившись, обняв колени. Смотрел отупело в одну точку на носок своего порыжевшего порванного сапога. К нему подошел Ефим Соломин. Револьвер в правой руке за спиной. Левою погладил по голове. Кашин вздрогнул, удивленно раскрыл рот, а глаза на чекиста.

– Че призадумался, дорогой мой? Аль спужался? А рукой все по волосам. Говорит тихо, нараспев.

– Не бойсь, не бойсь, дорогой. Смертушка твоя еще далече. Страшного покудова ще нету–ка. Дай–ка я те пособлю курточку снять.

И ласково и твердо–уверенно левой рукой расстегивает у офицера френч.

– Не бойсь, дорогой мой. Теперь рукавчик съем. Каши» раскис. Руки растопырил покорно, безвольно. По лицу у него слезы. Но он не замечал их. Соломин совсем овладел им.

–Теперь штаники. Ниче, ниче, дорогой мой.

Глаза у Соломина честные, голубые. Лицо скуластое, открытое. Грязноватые мочала на подбородке и на верхней губе редкой бахромой. Раздевал он Кашина как заботливый санитар больного.

– Подштаннички...

Срубов ясно до боли чувствовал всю безвыходность положения приговоренных. Ему казалось, что высшая мера насилия не в самом расстреле, а в этом раздевании. Из белья на голую землю. Раздетому среди одетых. Унижение предельное. Гнет ожидания смерти усиливался будничностью обстановки. Грязный пол, пыльные стены, подвал. А может быть, каждый из них мечтал быть председателем Учредительного

собрания? Может быть, первым министром ревставрированной монархии в России? Может быть, самим императором? Срубов тоже мечтал стать Народным Комиссаром не только в РСФСР, но даже и МСФСР. И Срубову показалось, что сейчас вместе с ними будут расстреливать и его. Холод тонкими иглами колот спину. Руки теребили португеею, жесткую бороду.

Голый костлявый человек стоял, поблескивая пенсне. Он первым разделся. Комендант показал ему на нос:

– Снимите.

Голый немного наклонился к коменданту, улыбнулся. Срубов увидел тонкое интеллигентное лицо, умный взгляд и русую бородку.

– А как же тогда я? Ведь я тогда и стенки не увижу.

В вопросе, в улыбке наивное, детское. У Срубова мысль: никто никого и не собирается расстреливать. А чекисты захохотали. Комендант выронил папиросу.

– Вы славный парень, черт возьми. Ну ничего, мы вас подведем. А пенсне–то все–таки снимите.

Другой, тучный, с черной шерстью на груди, тяжелым басом:

– Я хочу дать последнее показание.

Комендант обернулся к Срубову. Срубов подошел ближе. Вынул записную книжку. Записывать стал не вдумываясь в смысл показания, не критикуя его. Был рад отсрочке решительного момента. А толстый врал, путался, тянул.

– Около леска, между речкой и болотом, в кустах... Говорил, что отряд белых, в котором он служил, закопал где–то много золота. Никто из чекистов ему не верил. Все знали, что он только старается выиграть время. В конце концов приговоренный предложил отдалить его расстрел, взять его проводником, и он укажет, где зарыто золото.

Срубов положил записную книжку в карман. Комендант, смеясь, хлопнул голого по плечу:

– Брось, дядя, вола крутить. Становись.

Разделись уже все. От холода терли руки. Переступали на месте босыми ногами. Белье и одежда пестрой кучей. Комендант сделал рукой жест–пригласил.

– Становитесь.

Тучный в черной шерсти завыл, захлебнулся слезами. Уголовный бандит с тупым, равнодушным лицом подошел к одной из дверей. Кривые волосатые ноги с огромными плоскими ступнями расставил широко, устойчиво. Сухоногий ротмистр из карательного отряда крикнул:

– Да здравствует советская власть!

С револьвером против него широконосый, широколицый, бритый Ванька Мудыня. Махнул перед ротмистром жилистым татуированным матросским кулаком. И с сонным плевком через зубы, с усмешкой:

– Не кричи–не помилуем.

Коммунист, приговоренный за взяточничество, опустил круглую стриженую голову, в землю глухо сказал:

– Простите, товарищи.

А веселый с русской бородкой, уже без пенсне, и тут всех рассмешил.

Стал, скроил глупенькую рожицу.

– Вот они какие, двери–то на тот свет–без петель. Теперь буду знать.

И опять Срубов подумал, что их не будут расстреливать. А комендант, все смеясь, приказал:

- Повернитесь. Приговоренные не поняли.
- Лицом к стенке повернитесь, я к нам спиной.

Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

Пока наконец голые поняли, чего хотят от них одетые, Срубов успел набить и закурить потухшую трубку. Сейчас повернутся и – конец. Лица у конвоиров, у коменданта, у чекистов с револьверами, у Срубова одинаковы – напряженно – бледные. Только Соломин стоял совершенно спокойно. Лицо у него озабочено не более, чем то нужно для обыденной, будничной работы. Срубов глаза в трубку, на огонек. А все – таки заметил, как Моргунов, бледный, ртом хватал воздух, отвертывался. Но какая – то сила тянула его в сторону пяти голых, и он кривил на них лицо, глаза. Огонек в трубке вздрогнул. Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками. У расстрелянных в судорогах дергались ноги. Тучный с звонким визгом вздохнул в последний раз. Срубов подумал: «Есть душа или нет? Может быть, это душа с визгом выходит?»

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загиб подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

В следующей пятерке был поп. Он не владел собой. Еле тащил толстое тело на коротких ножках и тонко дребезжал:

- Святой боже, святой крепкий...

Глаза у него лезли из орбит. Срубов вспомнил, как мать стряпала из теста жаворонков, вставляла им из изюма глаза. Голова попа походила на голову жаворонка, вынутого из печи с глазами – изюминками, надувшимися от жару. Отец Василий упал на колени:

- Братцы, родимые, не погубите...

А для Срубова он уже не человек – тесто, жаворонки из теста. Нисколько не жаль такого. Сердце затвердело злобой. Четко бросил сквозь зубы:

– Перестань ныть, божья дудка. Москва слезам не верит. Его грубая твердость толчок и другим чекистам. Мудыня крутил сигарку:

- Дать ему пинка в корму – замолчит.

Высокий, вихляющийся Семен Худоногов и низкий, квадратный, кривоногий Алексей Боже схватили попа, свалили, стали раздевать, он опять затянул, задребезжал стеклом в раскохшейся раме:

- Святой боже, святой крепкий... Ефим Соломин остановил:

- Не трожьте батюшку. Он сам разденется.

Поп замолчал – мутные глаза на Соломина. Худоногов и Боже отошли.

- Братцы, не раздевайте меня. Священников полагается хоронить в облачении.

Соломин ласков.

– В лопотине – то те, дорогой мой, чиже. Лопотина, она тянет. Поп лежал на земле. Соломин сидел над ним на корточках, подобрал на колени полы длинной серой шинели, расстегивал у него черный

репсовый подрясник.

– Оно этто нече, дорогой мой, что раздеем. Вот надоть бы тебя ще в баньке попарить. Когда человек чистый да назначищенный, тожно ему лекше и помирать. Чичас, чичас всю эту бахтерму долой с тебя. Ты у меня тожно, как птаха, крылышки расправишь.

У священника тонкое полотняное белье. Соломин бережно развязал тесемки у щиколоток.

– В лопотине тока убийцы убивают. А мы не убиваем, а казним. А казнь, дорогой мой, дело великая.

Один офицер попросил закурить. Комендант дал. Офицер закурил и стаскивая брови, спокойно шурился от дыма.

– Нашим расстрелом транспорта не наладите, продовольственного вопроса не разрешите. Срубов услышал и разозлился еще больше.

Двое других раздевались, как в предбаннике, смеясь, болтали о пустяках, казалось, ничего не замечали, не видели и видеть не хотели. Срубов внимательно посмотрел на них и понял, что это только маскарад – глаза у обоих были мертвые, расширенные от ужаса. Пятая, женщина, – крестьянка, раздевшись, спокойно перекрестилась и стала пол револьвер.

А с папироской, рассердивший Срубова, не захотел повертываться спиной.

– Я прошу стрелять меня в лоб.

Срубов его обрезал:

– Системы нарушить не могу – стреляем только в затылок. Приказываю повернуться.

У голого офицера воля слабее. Повернулся. Увидел в дереве двери массу дырочек. И ему захотелось стать маленькой, маленькой мушкой, проскользнуть в одну из этих дырок, спрятаться, а потом найти в подвале какую-нибудь щелку и вылететь на волю. (В армии Колчака он мечтал кончить службу командиром корпуса – полным генералом.) И вдруг та дырка, которую он облюбовал себе, стала огромной дырой. Офицер легко прыгнул в нее и умер. Зрачок у него в правом открытом глазу был такой же широкий и неровный, как новая дырка в двери от пули, пробившей ему голову.

У отца Василия живот – тесто, вывалившееся из квашни на пол. (Отец Василий никогда не думал стать архиереем. Но протодьяконом рассчитывал.)

За ноги веревками потащили и этих в темный загиб. Все они – каждый по – своему – мечтали жить и кем – то быть. Но стоит ли об этом говорить, когда от каждого из них осталось только по три, по четыре пуда парного мяса?

Следующую пятерку не приводили, пока не была засыпана кровь и не убраны трупы. Чекисты крутили сигарки.

– Ефим, как жаба, ты завсегда венгаешься с ними? – квадратный Боже спрашивал. Соломин тер пальцем под носом.

– А че их дражнить и на них злوبيшься? Враг он когда не пойманный. А тутока скотина он бессловесная. А дома, когда по крестьянству приходилось побойку делать, так завсегда с лаской. Подойдешь, погладишь, стой, Буренка, стой. Тожно она и стоит. А мне того и надо, половчяя потом – то.

Расстреливали пятеро – Ефим Соломин, Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Алексей Боже, Наум Непомнящих. Из них никто не заметил, что в последней пятерке была женщина. Все видели только пять парных окровавленных туш мяса.

Трое стреляли как автоматы. И глаза у них были пустые, с мертвым стеклянистым блеском. Все, что они делали в подвале, делали почти произвольно. Ждали, пока приговоренные разденутся, встанут, механически поднимали револьверы, стреляли, отбегали назад, заменяли расстрелянные обоймы заряженными. Ждали, когда уберут трупы и приведут новых. Только когда осужденные кричали, сопротивлялись, у троих кровь пенилась жгучей злобой. Тогда они матерились, лезли с кулаками, с рукоятками револьверов. И тогда, поднимая револьверы к затылкам голых, чувствовали в руках, в груди холодную дрожь. Это от страха за промах, за ранение. Нужно было убить наповал. И если недобитый визжал, харкал, плевался кровью, то становилось душно в подвале, хотелось уйти и выпить до потери сознания. Но не было сил. Кто – то огромный, властный заставлял торопливо поднимать руку и приканчивать раненого.

Так стреляли Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих.

Один Ефим Соломин чувствовал себя свободно и легко. Он знал твердо, что расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как необходимо резать скот. И как не мог он злиться на корову, покорно подставляющую ему шею для ножа, так не чувствовал злобы и по отношению к приговоренным, повертывавшимся к нему открытыми затылками. Но не было у него и жалости к расстреливаемым. Соломин знал, что они враги революции. А революции он служил охотно, добросовестно, как хорошему хозяину. Он не стрелял, а работал.

(В конце концов для нее не важно, кто и как стрелял. Ей нужно только уничтожить своих врагов.)

После четвертой пятерки Срубов перестал различать лица, фигуры приговоренных, слышать их крики, стоны. Дым от табаку, от револьверов, пар от крови и дыханья—дурнящий туман. Мелькали белые тела, корчились в предсмертных судорогах. Живые ползали на коленях, молили. Срубов молчал, смотрел и курил. Оттаскивали в сторону расстрелянных. Присыпали кровь землей. Раздевшиеся живые сменяли раздетых мертвых. Пятерка за пятеркой.

В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал сверху:

— Тащи!

Трупы с мотающимися руками и ногами поднимались к потолку, исчезали. А в подвал вели и вели живых, от страха испражняющихся себе в белье, от страха потеющих, от страха плачущих. И топали, топали стальные ноги грузовиков. Глухими вздохами из подземелья во двор...

Тащили. Тащили.

Подошел комендант.

— Машина, товарищ Срубов. Завод механический.

Срубов кивнул головой и вспомнил снопоогненный зал двора. Вертится зал, перекидывает людей из подвала в подвал. А во всем доме огни, машины стучат. Сотни людей заняты круглые сутки. И тут ррр—ах—рр—ррр—ах. С гулким лязгом, с хрустом буравят черепа автоматические сверла. Брызжут красные непрогорающие опилки. Смазочная мазь летит кровяными сгустками мозга. (Бурят или буравят ведь не только землю, когда хотят рыть артезианский колодец или найти нефть. Иногда ведь приходится проходить целые толщи камня, жилы руд, чтобы добуриться или добуравиться до чистой земли, необходимо пройти стальными сверлами костяные пласти черепок, кашеобразные трясины мозгов, отвести в сточные трубы и ямы гейзеры крови.) Кровью парной, потом едким человечьим, испражнениями пышет подвал. И туман, туман, дым. Лампочки с усилием тарачат с потолка слепнущие огненные глаза. Холодной испариной мокнут стены. В лихорадке бьется земляной пол. Желто—красный, клейкий, вонючий студень стоит под ногами. Воздух отяжелел от свинца. Трудно дышать. Завод.

— Ррр—ах—ррр—ррр—ах! Тащили.

— А—ах—и—и. В—и—н—и!

— Имею ценное показание. Прекратите расстрел.

Трах—ах—рр.

Тащили.

— Ну, раздевайся. Раздевайся. Становись. Повернись.

— А—а—а—а. О—о—о.

Р—а—ахах.

Тащили.

— Да здравствует государь император. Стреляй, красная сволочь. Господи, помилуй. Долой коммунистов. Пощадите. Пострелял и вас, краснорожие.

Ррр—ррр.

Тащили.

— Невинно погибаю. У—у—у.

— Брось.

Ррр.

Тащили.

Умоля—я—ю.

Ррр—у—у—xxx.

Тащили.

Ванька Мудыня, Семен Худоногов, Наум Непомнящих мертвенно—бледные, устало растегивающие полушубки с рукавами, покрасневшими от крови. Алексей Боже с белками глаз, воспаленными кровавым возбуждением, с лицом, забрызганным кровью, с желтыми зубами в красном оскале губ, в черной копоти усов. Ефим Соломин с деловитостью, серьезной и невозмутимой, трущущий под курносый носом, сбрасывающий с усов и бороды кровяные запекшиеся сгустки, поправляющий захватанный козырек, оторвавшийся наполовину от зеленой фуражки с красной звездой. (Но разве интересно Ей это? Ей необходимо только

заставить убивать одних, приказать умирать другим. Только. И чекисты, и Срубов, и приговоренные одинаково были ничтожными пешками, маленькими винтиками в этом стихийном беге заводского механизма. На этом заводе уголь и пар—Ее гневная сила, хозяйка здесь Она — жестокая и прекрасная.) И Срубов, закутанный в черный мех полушубка, в рыжий мех шапки, в серый дым незатухающей трубки, почувствовал Ее дыхание. И от ощущения близости той новой напряженной энергии рванул мускулы, натянул жилы, быстрее погнал кровь. Для Нее и в Ее интересах Срубов готов на все. Для Нее и убийство—радость. И если нужно будет, то он не колеблясь сам станет лепить пули в затылки приговоренных. Пусть хоть один чекист попробует струсить, отступить,— он сейчас же уложит его на месте. Срубов полон радостной решимости.

Для Нее и ради Нее.

Но случались растопорки. Молодой красавец гвардеец не хотел раздеваться. Кривил топки аристократические губы, иронизировал:

— Я привык, чтобы меня раздевали холуи. Сам не буду. Наум Непомнящих злобно ткнул его в грудь дулом нагана.

— Раздевайся, гад.

— Дайте холуя.

Непомнящих и Худоногов схватили упрямого за ноги, свалили. Рядом почти без чувств генерал Треухов. Хрипел, задыхался, молил. В горле у него шипело, словно вода уходила в раскаленный песок. Его тоже пришлось раздевать. Соломин плевался, отвергивался, когда стаскивал штаны с красными лампасами.

ТЬфу! Не продыхнешь. Белье—то како обгадил.

Гвардеец, раздетый, стал, сложил руки на груди и ни шагу. Заявил с гордостью:

— Не буду перед всякой мразью вертеться. Стреляй в грудь русского офицера.

Отхаркался и Худоногову в глаза. Худоногов в бешенстве сунул в губы офицеру длинный ствол маузера и, ломая белую пластинку стиснутых зубов, выстрелил. Офицер упал навзничь, беспомощно дернув головой и махнув руками. В судорогах тело заиграло мраморными мускулами атлета. Срубову на одну минуту стало жаль красавца. Однажды ему было также жаль кровного могучего жеребца, бившегося на улице с переломленной ногой. Худоногов рукавом стирал с лица плевков. Срубов ему строго:

— Не нервничать.

И властно и раздраженно:

— Следующую пятерку. Живо. Распустили слюни.

Из пятерки остались две женщины и прапорщик Скачков. Он так и не перерезал себе горла. И уже голый все держал в руках маленький осколок стекла.

Полногрудая вислозадая дама с высокой прической дрожала, не хотела идти к «стенке». Соломин взял ее под руку:

— Не бойсь, дорогая моя. Не бойсь, красавица моя. Мы тебе ничо не сделаем. Вишь, тут—ка друга баба.

Голая женщина уступила одетому мужчине, С дрожью в холеных ногах, тонких у щиколоток, ступала по теплой липкой слизи пола. Соломин вел ее осторожно с лицом озабоченным.

Другая—высокая блондинка. Распущенными волосами прикрылась до колен. Глаза у нее синие. Брови густые, темные. Она совсем детским голосом и немного заикаясь:

— Если бы вы зн—знали, товарищи... жить, жить как хочется...

И синевою глубокой на всех льет. Чекисты не поднимают револьверы. У каждого глаза—угли. А от сердца к ногам ноющая, сладкая истома. Молчал комендант. Неподвижно стояли пятеро с закопченными револьверами. А глаза у всех неотрывно на все. Стало тихо. Испарина капала с потолка. Об пол разбивалась с мягким стуком.

Запах крови, парного мяса будил в Срубове звериное, земляное. Схватить, сжать эту синеглазую. Когтями, зубами впиться в нее. Захлебнуться в соленом красном угаре... Но Та, которую любил Срубов, которой сулил, была здесь же. (Хотя, конечно, какое бы то ни было противопоставление, сравнение Ее с синеглазой немыслимо, абсурдно.) А потому — решительно два шага вперед. Из кармана черный браунинг. И прямо между темных дуг бровей, в белый лоб никелированную пулю. Женщина всем телом осела вниз, вытянулась на полу. На лбу, на русских

волосах змейкой закрутились кровавые кораллы. Срубов не опускал руки. Скачков – в висок. Полногрудая рядом без чувств. Над ней нагнулся Соломин и толстой пулей сорвал крышку черепа с пышной прической.

Браунинг в карман. Отошел назад. В темном конце подвала трупы друг на друга лезли к потолку. Кровь от них в светлый конец ручейками. Уставший Срубов видел целую красную реку. В дурманящем тумане все покраснело. Все, кроме трупов. Те белые. На потолке красные лампы. Чекисты во всем красном. А в руках у них не револьверы – топоры. Трупы не падают – березы белоствольные валятся. Упруги тела берез. Упорно сопротивляется в них жизнь. Рубят их – они гнутся, трещат, долго не падают, а падая, хрустят со стоном. На земле дрожат умирающими сучьями. Сбрасывают чекисты белые бревна в красную реку. В реке вяжут в плоты. А сами рубят, рубят. Искры огненные от ударов.

Окровавленными зубами пены грызет кирпичные берега красная река. Вереницей плывут белоствольные плоты. Каждый из пяти бревен. На каждом пять чекистов. С плота на плот перепрыгивает Срубов, распоряжается, командует.

А потом, когда ночь, измученная красной бессонницей, с красными воспаленными глазами, задрожала предутренней дрожью, кровавые волны реки зажглись ослепительным светом. Красная кровь вспыхнула сверкающей огненной лавой. И не пол трясся в лихорадке – земля колебалась. Извергаясь, грохотал вулкан.

Трр–ах–ррр–ух–ррр.

Размыты, разрушены стены подвала. Затоплены двор, улицы, город. Жгучая лава льется и льется. На недосыгаемую высоту выброшен Срубов огненными волнами. Слепит глаза светлый, сияющий простор. Но нет в сердце страха и колебаний. Твердо, с поднятой головой стоит Срубов в громе землетрясения, жадно вглядывается В даль. В голове только одна мысль – о Ней.

II

Бледной лихорадкой лихорадило луну. И от лихорадки, и от мороза дрожала луна мелкой дрожью. И дрожащей, прозрачно искристой дымкой вокруг нее ее дыхание. Над землей оно стучалось облаками грязноватой ваты, на земле дымилась парным молоком.

На дворе в молоке тумана рядами горбились зябко–синие снежные сугробы. В синем снегу, лохмотьями налипшем на подоконники, лохмотьями свисавшем с крыш, посинели промерзшие белые трехэтажные многоглазые стены.

И в бледной лихорадке торопливости лица двоих в разных желтых (ночь, впрочем, и черных) полушубках, стоящих на грузовике, опускающих в черную глотку подвала петли веревок, ждущих с согнутыми спинами, с вытянутыми вперед руками.

Подвал издыхает или кашляет:

– Тащи–т–и–и.

И выдохнутые или выплюнутые из дымящейся глотки мокроты или слюной тягучей, кроваво–сине–желтой, теплой тянутся на веревках трупы. Как но мокроте, по слюне, ходили по ним, топтали их, размазывая по грузовику. Потом, когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынущие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик. И стальными ногами топал и глубоко увязал в синем снегу, ломая спины сгорбившихся сугробов, и хрусте снежных костей, в лязге железа, в фыркающей одышке мотора, в кроваво–черном поту нефти и крови грузовик уходил за ворота. Шел серый в сером тумане на кладбище, сотрясая улицы, дома, поднимая с кроватей всезнающих обывателей. К замерзшим стеклам притыкались, плющились заспанные носы. И в дрожании коленок, в дроже кроватей, в позвякивании посуды и окон заспанные загноившиеся глаза раскрылись от страха, заспанные вонючие рты шептали бессильно–злобно, испуганно:

– Чека... Из Чека... Чека свой товар вывозит...

И на дворе тоже ногами (только не стальными, а живыми, человечьими, при этом сильно уставшими) ломали с хрустом синие горбы сугробов–Срубов, Соломин, Мудыня, Боже, Непомнящих, Худоногов, комендант, двое с лопатами и конвоиры (конвоирам уже некого было конвоировать). Соломин шел со Срубовым рядом. Остальные сзади. У Соломина кровь на правом рукаве шинели, на правой стороне груди, на правой щеке – в лунном свете, как сажа. Говорил он голосом упавшим, но бодрым, говорил, как говорят люди, сделавшие большую, трудную, но важную и полезную работу.

– Каб того высокого, красивого, в рот–то которого стреляли, да спарить с синеглазой – ладный бы плод дали.

Срубов посмотрел на него. Соломин говорил спокойно, деловито разводил руками. Срубов подумал: «О ком это он?» Но понял, что о людях. Усталыми глазами заметил только, что у чекиста на левой руке связка крестиков, образков, ладанок. Спросил машинально:

– Зачем тебе их, Ефим? Тот светло улыбнулся.

– Ребятишкам играть, товарищ Срубов. Игрушек нонче не купишь. Нету–ка их.

Срубов вспомнил, что у него есть сын Юрий, Юрасик, Юхасик. Сзади со смехом матерились. Вспоминали расстрелянных.

– Поп–то расписался... А генерал–то... Срубов устало зевнул. Обернулся бледный.

– Таких веселых, как в пенсиях, завсегда лекше бить. А уж которы воют...

Это Наум Непомнящих. Боже и согласен и нет.

Говорили с удалью, с лихо поднятыми головами.

Усталый мозг напрягся с усилием. Срубов понял, что все это напускное, показное. Все смертельно устали. Головы задирали потому, что они, свинцовые, не держались прямо. И матерщина только чтоб подбодриться. Всплыло в памяти иностранное слово–допинг.

До кабинета Срубов шел очень долго. В кабинете заперся. Повернул ключ и внимательно посмотрел на дверную ручку–чистая, не испачкана. Оглядел у лампы руки– крот; не было. Сел в кресло и сейчас же вскочил, нагнулся к сиденью–тоже чистое. Крови не было ни на полушубке, ни на шапке. Открыл несгораемый шкаф. Из–за бумаг вытащил четверть спирта. Налил ровно половину чайного стакана. Развел отварной водой из графина. Болтал замутненную жидкость перед огнем. Напряженно оглядывался через стекло–красного ничего не было. Жидкость постепенно стала прозрачной. Поднес стакан ко рту и опять в памяти –допинг.

Только когда выпил и прошелся по кабинету–заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкавшейся в остроугольный треугольник.

И сейчас же с письменного стола нахально стала пялиться бронза безделушек, стальной диван брезгливо поднял тонкие гнутые ножки. Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел – разозлился.

– Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал. Со злобой, с болью схватил четверть, стакан, тяжело подошел к дивану. «Ишь жметяся, аристократ. На вот тебе». Нарочно сапоги не снял. Растянулся и каблуками в ручку. На пепельно голубой обивке грязь, кровь и снежная мокрота. Четверть, стакан рядом на пол поставил. А самому .хочется с головой в реку, в море и все, все смыть. Уже лежа еще полстакана в рот жгучего, неразведенного. И в мозгу, пьянящем от спирта, от подвального угара, от усталости, от бессонницы почти пьяные, почти бессвязные мысли:

– Почему, собственно, белая сорочка Маркса?

Ведь одни из них–поумереннее и полиберальнее–хотели сделать Ей аборт, другие–пореекционнее и порешительнее–кесарево сечение. И самые активные, самые черные пытались убить и Ее и ребенка. И разве не сделали так во Франции, где Ее, бабу, великую, здоровую, плодovitую, обесплодили, вырядили в бархат, в бриллианты, в золото, обратили в ничтожную, безвольную содержанку.

Потом, что такое колчаковская контрреволюция? Это небольшая комната, в которой мало воздуха и много табачного дыма, водочного перегара, вонючего человеческого пота, в которой письменный стол весь в бумагах–чистых и исписанных, в бутылках–пустых и непчатых со спиртом, с водкой, в нагайках – ременных, резиновых, проволочных, резиново–проволочно–свинцовых, в револьверах, в бедутах, в шашках, в гранатах. Нагайки, револьверы, гранаты, винтовки, бедуты и на стенах и на полу, и на людях, сидящих за столом и спящих под ним и около него. Во время допроса вся комната пьяная или с похмелья набрасывается на допрашиваемого с ремнями, с резинами, с проволокой, со свинцом, с железом, с порожними бутылками, рвет его тело на кло-чья, порет в кровь, ревет десятками глоток, тычет десятками пальцев с угрозой на дула винтовок.

Колчаковская контрразведка–еще другая комната. В той письменный стол в зеленом сукне и бумагах. За столом капитан или полковник с надушенными усами, всегда вежливый, всегда деликатный–тушит папиросы о физиономии допрашиваемых и подписывает смертные приговоры.



Ну, вот вам и белая сорочка Маркса, брезгливый диван, чопорная чистота безделушек на столе.

Ну да, да, да, да, да... Да... Да... Да... Но... Но и но...

Сладко пуле—в лоб зверя. Но червя раздавить? Когда их сотни, тысячи хрустят под ногами и кровавый гной брызжет на сапоги, на руки, на лицо.

А Она не идея. Она—живой организм. Она—великая беременная баба. Она баба, которая вынашивает своего ребенка, которая должна родить.

Да... Да... Да...

Но для воспитанных на римских тогах и православных рясах Она, конечно, бесплотная, бесплодная богиня с мертвыми античными или библейскими чертами лица в античной или библейской хламиде. Иногда даже на революционных знаменах и плакатах Ее так изображают.

Но для меня Она—баба беременная, русская широкозадая, в рваной, заплатанной, грязной, вшивой холщовой рубаше. И я люблю Ее такую, какая Она есть, подлинную, живую, не выдуманную. Люблю за то, что в Ее жилах, огромных, как реки, пылающая кровавая лапа, что в Ее кишках здоровое урчание, как раскаты грома, что Ее желудок варит, как доменная печь, что биение Ее сердца, как подземные удары вулкана, что Она думает великую думу матери о зачатом, но еще не рожденном ребенке. И пот Она трясет свою рубашку, соскребает с нее и с тела вшей, червей и других паразитов—много их присосалось—в подпалы, в подвалы. И вот мы должны, и вот я должен, должен, должен их давить, давить, давить. И вот гной из них, гной, гной. И вот опять белая сорочка Маркса. А с улицы к окну липнет ледяная рожа мороза, ломит раму. И за окном термометр, на который раньше смотрел купец Иннокентий Пшеницын, падает до минус сорока семи Р.

В кабинете Иннокентия Пшеницына, теперь Срубова, мутный рассвет. Но дом Иннокентия Пшеницына, теперь Губчека, не знает, не замечает рассветов, сумерек, ночей, дней—стучит машинками, шелестит бумагой, шаркает десятками ног, хлопает дверьми, не ложится, не спит круглые сутки.

И в подвалах No 3, 2, 1, где у Иннокентия Пшеницына хранились головы сыру, головы сахару, колбасы, вино, консервы, теперь другое. В No 3 в полутьме на полках, заменяющих нары, головами сыра—головами арестованных, колбасами—колбасы рук и ног. Как между головами сыра, как между колбасами, осторожно, воровито шмыгают рыжие жирные крысы с длинными голыми хвостами. Арестованные забылись чуткой дрожащей дремотой. Чуткой дрожью усов, ноздрей, зорким блеском глаз щупают крысы воздух, безошибочно определяют уснувших более крепко, грызут у них обувь. У подследственной Неведомской отъели мех с высоких теплых галош.

И крысы же в подвале No 1, где уже убраны трупы, с визгом, с писком в драку, лижут, выгрызают из земляного пола человечью кровь. И языки их острые, маленькие, красные, жадные, как языки огня. И зубы у них острые, маленькие, белые, крепче камня, крепче бетона.

Нет крыс только в подвале No 2. В No 2 не расстреливают и не держат долго арестованных, туда сажают только на несколько часов перед расстрелом.

И в сыром тумане мороза, в мути рассвета на белом трехэтажном доме красными пятнами вывеска—черным по красному написано: «Губернская Чрезвычайная Комиссия». Ниже в скобках лаконичнее, понятнее (Губчека). А раньше золотом по черному: «Вино. Гастрономия. Бакалея. Иннокентий Пшеницын».

Над домом бархатное, тяжелое, набухшее кровью красное знамя брызжет по ветру кровавыми брызгами обтрепанной бахромы и кистей.

И, сотрясая улицы, дома и кладбище, везет чекистов с железными лопатами последний серый грузовик в кроваво—черном поту крови и нефти. Когда он, входя в белый подъезд, топает тяжелыми стальными ногами, белый каменный трехэтажный дом дрожит,

### III

Ночами белый каменный трехэтажный дом с красивым флагом на крыше, с красной вывеской на стене, с красными звездами на шапках часовых вглядывался в город голодными блестящими четырехугольными глазами окон, щерил заледеневшие зубы чугуновых решетчатых ворот, хватал, жевал охалками арестованных, глотал их каменными глотками подвалов,

переваривал в каменном брюхе и мокротой, слюной, потом, экскрементами выплевывал, выхаркивал, выбрасывал на улицу. И к рассвету усталый, позевывая со скрипом чугунных зубов и челюстей, высовывал из подворотни красные языки крови.

Утрами тухли, чернели четырехугольные глаза окон, ярче загоралась кровь флага, вывески, звезды на шапках часовых, ярче кровавые языки из подворотни, лизавшие тротуар, дорожку, ноги дрожащих прохожих. Утрами белый дом навязчивей, настойчивей металлическими щупальцами проводов щупал по городу дома с пестрыми вывесками советских учреждений.

– Говорят из Губчека. Немедленно сообщите... Из Губчека. В течение двадцати четырех часов представьте... Губчека предлагает срочно, под личную ответственность... Сегодня же до окончания занятий дайте объяснение Губчека... Губчека требует...

И так всем. И все дома с пестрыми вывесками советских учреждений, большие и маленькие, каменные и деревянные, растопыривали черные уши телефонных трубок, слушали внимательно, торопливо. И делали так, как требовала Чека – немедленно, сейчас/ко, в двадцать четыре часа, до окончания занятий.

А в Губчека–люди, вооруженные винтовками, стояли на каждой площадке, в каждом коридоре, у каждой двери и по дворе, люди в кожаных куртках, в суконных гимнастерках, френчах, вооруженные револьверами, сидели за столами с бумагами, бегали с портфелями по комнатам, барышни, ничем не вооруженные, красивые и дурные, хорошо и плохо одетые, трещали на машинках, уполномоченные, агенты, красноармейцы батальона ВЧК курили, разговаривали в дыму комендантской, прислуга из столовой на подносе разносила по отделам жидкий чай в рыжих глиняных стаканах с конфетами из ржаной муки и патоки, посетители в рваных шубах (в Чека всегда ходили в рванье. У кого не было своего–доставали у знакомых) робко брали пропуски, свидетели нетерпеливо ждали допроса, те и другие боялись из посетителей, из свидетелей превратиться в обвиняемых и арестованных.

Утрами в кабинете на столе у Срубова серая горка пакетов. Конверты разные–белые, желтые, из газетной бумаги, из старых архивных дел. На адресах лихой канцелярский почерк с завитушками, с росчерком, безграмотные каракули, нервная интеллигентская вязь, старательно выведенные дамские колечки, ровные квадратики шрифта печатных машинок. Срубов быстро рвал конверты.

– Не мешало бы Губчека обратить внимание... Открыто две жены. Подрыв авторитета партии... Доброжелатель.

– Я, как идейный коммунист, не могу... возмутительное явление: некоторые посетители говорят прислуге–барышня, душечка, тогда как теперь советская власть и полагается не иначе, как товарищ, и вы, как... Необходимо, кому ведать сие надлежит...

Срубов набил трубку. Удобнее уселся в кресле. Пакет с надписью»совершенно секретно», «в собственные руки». Газетная бумага. Разорвал.

«Я нашел вотку в 3–ай роти командер белай Гат...»

Дальше на белом листе писчей бумаги рассуждения о том, что сделал в Сибири Колчак и что делает советская власть. В самом конце вывод: «...и поетому ево (командира роты) непременно унистит, а он мешаит дела обиденения рабочих и хрестьяноф, запричаит промеж крастно армейциф товарищетская рука пожатию. Врит политрук Паттыкин.»

Срубов морщился, сосал трубку.

Акварелью на слоновой бумаге черный могильный бугорок, в бугорок воткнут кол. Внизу надпись: «Смерть кровопийцам чекистам...»

Брезгливо поджал губы, бросил в корзину.

«Товарищ председатель, я хочу с вами познакомиться, потому что чекисты очень завлекательны. Ходят все в кожаных френчах с бархатными воротниками, на боку завсегда револьверы. Очень храбрые, а на грудях красные звезды... Я буду вас ожидать...»

Срубов захохотал, высыпал трубку на сукно стола. Бросил письмо, стал смахивать горящий табак. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Алексей Боже. Положил большие красные руки на край стола, неморгающими красными глазами уставился на Срубова. Спросил твердо, спокойно:

– Севодни будем?

Срубов понял, но почему–то переспросил:

- Что?
- Контрабошить.
- А что?

Четырехугольное плоское скулистое лицо Боже недовольно дернулось, шевельнулись черные сросшиеся брови, белки глаз совсем покраснели.

- Сам» знаете.

Срубив знал. Знал, что старого крестьянина с весны тянет на пашню, что старый рабочий сучает о заводе, что старый чиновник быстро чахнет в отставке, что некоторые старые чекисты болезненно томятся, когда долго не имеют возможности расстрелять или присутствовать при расстрелах. Знал, что профессия кладет неизгладимый отпечаток на каждого человека, вырабатывает особые профессиональные (свойственные только данной профессии) черты характера, до известной степени обуславливает духовные запросы, наклонности и даже физические потребности. А Боже – старый чекист, и в Чека он был всегда только исполнителем–расстреливателем.

– Могу ты нет никакой, товарищ Срубов. Втора неделя идет без дела. Напьюсь, что хотите делайте.

И Боже, четырехугольный, квадратный, с толстой шеей и низким лбом, беспомощно топтался на месте, не сводил со Срубова воспаленных красных глаз.

У Срубова мысль о Ней. Она уничтожает врагов. Но и они Ее ранят. Ведь Ее кровь, кровь из Ее раны этот Боже. А кровь, вышедшая из раны, неизбежно чернеет, гнивет, гибнет. Человек, обративший средство в цель, сбивается с Ее дороги, гибнет, разлагается. Ведь она ничтожна, но и велика только на Ее пути, с Ней. Без Нее, вне Ее она только ничтожна. И нет у Срубова жалости к Боже, нет сочувствия.

- Напешься – в подвал спушу.

Без стука в дверь, без разрешения войти, вошел раскачивающейся походкой матроса Ванька Мудыня, стал у стола рядом с Боже.

- Вызывали. Явился.

А в глаза не смотрит – обижен.

- Пьешь, Ванька?

– Пью.

- В подвал посажу.

Щеки у Мудыни вспыхнули, как от пощечины. Руки нервно обдергивали черную матросскую тужурку. В голосе боль обиды.

– Несправедливо эдак, товарищ Срубов. Я с первого дня советской власти. А тут с белогвардейцами в одну яму.

- Не пей.

Срубов холоден, равнодушен. Мудыня часто заморгал, скривил толстые губы.

– Вот хоть сейчас к стенке ставьте–не могу. Тысячу человек расстрелял–ничего, не пил. А как брата укокал, так и пить зачал. Мерещится он мне. Я ему–становись, мой Андрюша, а он–Ваньша, браток, на колени... Эх... Кажну ночь мерещится...

Срубову нехорошо. Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберешь. Ванька пьет. Боже пьет, сам пьет. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? И что знает Она? А, Она? И пот взаимоотношения, роль нрава. Хаос. Хаос. Замахал руками.)

- Идите, плите. Нельзя же только так открыто.

А когда дверь закрылась, уткнулся в письмо, чтобы не думать, не думать, не думать.

«Я человек центральный, но... тем более он ответственным работником... Керосин необходим Республике... и выменивать полпуда картошки на два фунта керосина для личного удовольствия...»

И одни за другим поплыли заявления о двух фунтах соли, фунте хлеба, полфунте сахару, десяти фунтах муки, трех гвоздях, пары подошв, дюжины иголок, которые кто–либо у кого–либо выменял, купил (тогда как теперь советская власть и разрешается все приобретать только по ордерам с соответствующими подписями, за печатью, с надлежащего разрешения). А если все это было получено по ордеру, то указывалось на незаконность выписки самого ордера, неправильность выдачи.

Три–четыре дельных указания – контрразведчик скрывается под чужой фамилией, систематически расхищается пушнина со склада Губсопнархоза, каратель пролез в партию. И опять доброжелатели, зрячие, видящие, нейтральные, посторонние, независимые. В шорохе бумаги–угодливый шепоток. Они любили «довести до сведения кого следует». Они подобострастно брали Срубова за рукав, тащили его к своей спальне, показывали содержимое ночных горшков (может быть, человек пьяный был и, может быть, доктора могут исследовать и установить). Они трясли перед ним грязное белье свое, чужое, своих родных, родственников, знакомых. Как мыши, они проникали в чужие погреба, подполья, кладовки, забирались в помойки., и все время заискивающе улыбались или корчили рожи благородных блюстителей нравственности и все кивали головками и спрашивали:

– А как, по–вашему, это? А как это? А? Ничего? Не пахивает контрреволюцией? А вот посмотрите сюда? А вот здесь подозрительно. Нет? А?

В конце концов они спокойно отходили в сторону и равнодушно заявляли, что это их не касается, что их нравственный долг только довести до сведения того, кому «ведать сие надлежит».

Срубов наискось красным карандашом накладывал резолюции. Подписывался размашисто двумя буквами А. С. Рвал пакеты. Читал нетерпеливо, быстро, через строчку. На его имя приходили больше анонимки, пустячные мелкие заявления добровольных осведомителей. Серьезные сведения, донесения секретных агентов – непосредственно в агентурное отделение товарищу Яну Пепелу.

Срубов не кончил. Надоело. Встал. По кабинету крупными шагами из угла в угол. Трубка потухла, а он грыз ее, тянул. Липкая грязь раздражала тело. Срубов передернул плечами. Растегнул ворот гимнастерки. Нижняя рубашка совершенно чистая. Вчера только надел после ванны. Все чистое и сам чистый. Но ощущение грязи не проходило.

Дорогой письменный стол с роскошным мраморным чернильным прибором. Удобные богатые кресла. Новые обои на стенах. Холодная, сверкающая чванная чистота. И Срубову неловко в своем кабинете.

Подошел к окну. По улице шли и ехали. Шли суетливые совработники с портфелями, хозяйки с корзинами, разношерстные люди с мешками и без мешков. Ехали только люди с портфелями и люди с красными звездами на фуражках, на рукавах. Тащились между тротуарами дорогой с нагруженными санками советские кони–люди.

Через всю эту движущуюся улицу от его кабинета тянулись сотни чутких нервов–проводов. У него сотни добровольных осведомителей, штат постоянных секретных агентов и вместе с каждым из них он подглядывает, подслушивает, хитрит. Он постоянно в курсе чужих мыслей, намерений, поступков. Он спускается до интересов спекулянта, бандита, контрреволюционера. И туда, где люди напакостят, наносят грязь, обязан он протянуть свои руки и вычистить. В мозгу по букве вылезло и кривой лестницей вытянулось иностранное слово (они за последнее время вязалась к нему) а–с–с–е–н–и–з–а–т–о–р. Срубов даже усмехнулся. Ассенизатор революции. Конечно, он с людьми дела почти не имел, только с отбросами. Они ведь произвели переоценку ценностей. Ценное раньше–теперь стало бесценным, ненужным. Там, где работали честно живые люди, ему нечего было делать. Его обязанность вылавливать в кроваво–мутной реке революции самую дрянь, сор, отбросы, предупреждать загрязнение, отравление Ее чистых подпочвенных родников. И длинное это слово так и осталось в голове.

...Мудыня, Боже–оба закаленные фронтовики, верные, истинные товарищи. У обоих ордена Красного Знамени. Иван Никитич Смирнов знал их еще по восточному фронту и про них именно он сказал: «С такими мы будем умирать...» Но водка? А сам? И какое значение все мы–я, Мудыня, Боже, ну все, все... Да, какое значение имеем все мы для Нее?

И это письмо отца. Два дня как получил, а все в голове. Не свои, конечно, мысли у отца... Представь, что ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью осчастливить людей, дать им мир и покой, но для этого необходимо замучить всего только одно крохотное здание, на слезах его основать это здание. Согласился бы ты быть архитектором? Я, отец твой, отвечаю–нет, никогда, а ты... Ты думаешь на миллионах замученных, расстрелянных, уничтоженных воздвигнуть здание человеческого счастья... Ошибаешься... Откажется будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного...

Нетерпеливо кашлянул нетерпеливый Ян Пепел, Срубов вздрогнул. К столу подошел, в кресло сел, пригласил сесть Пепела машинально. Слушал и не слышал того, что говорил Пепел. Смотрел на него пустыми отсутствующими глазами.

Когда Пепел сказал, что было нужно, и поднялся, Срубов спросил:

– Вы никогда, товарищ Пепел, не задумываетесь над вопросом террора? Вам когда-нибудь было жаль расстрелянных, вернее, расстреливаемых?

Пепел в черной кожаной тужурке, в черных кожаных брюках, в черном широком обруче ремня, в черных высоких начищенных сапогах, выбритый, причесанный, посмотрел на Срубова упрямыми, холодными голубыми глазами. И свой тонкий с горбинкой правильный нос, четкий четырехугольный подбородок кверху. Кулак левой руки из кармана булыжником. Широкая ладонь правой на кобуре револьвера.

– Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас есть философий.

Больше ничего не сказал. Не любил отвлеченных разговоров. Вырос на заводе. Десять лет над головой, под ногами змеями шипели ремни, скрипели зубы резцов, кружил голову крутящийся бег колеса. Некогда разговаривать. Поспевай повертывайся. Скуп стал на слова. Но приобрел ценную быстроту взгляда. Перенес в душу железное упорство машины. С завода ушел на войну, а с войны–в революцию на службу к Ней. Но рабочим остался. И на службе, в кабинете слышал шипящее ползанье приводных ремней, щелканье зубчатых колес жизни. В кабинете, как в мастерской, за столом, как за станком. Писал безграмотно, но быстро. Стружками летела бумага с его стола на стол машинистки. Трещал звонок телефона, хватал трубку. Одно ухо слушает, другое контролирует стук машинки. Перебой, остановка – кричит:

– Ну, пошла, пошла машина. Живо! И в телефон кричит:

– Карошо. Слушаю.

На ходу распоряжения агентам, на ходу два–три слова посетителям. Быстро, быстро. Некогда сидеть, много думать у машины. На полном ходу завод.

Вот и сейчас, после Срубова, у себя посетителя схватил глазами как клещами, в кресло усадил – в тиски сжал. И пошел, потел вопросами, как молотками.

– Что? Благонадежность? Карошо. А советвласть сочувствуете? Вполне? Карошо. Но будем логичны до конца...

И Пепел написал на бумаге то, чего не хотел сказать при машинистке.

«Кто сочувствует советвласти, тот должен ее помогать давать. Будите у нас секретный осведомитель?»

Посетитель оглушен, бормочет полуотказ, полусогласие. А Пепел уже его заносит в список. Сует ему написанный на машинке лист–инструкцию секретным осведомителям.

– Согласны? Карошо. Прочтите. Дадим благонадежность. Конечно, он ему и не думает доверять, как не доверяет десяткам других сотрудников. И работу каждого из них он обязательно проверяет, контролирует. За два с лишком года работы в Чека у него выработалась привычка никому не верить.

А в кабинет к Срубову шмыгающими, липнущими шажками, кланяясь, приседая, улыбаясь, заполз полковник Крутаев. Обрюзгший, седоусый, лысый, в потертой офицерской шинели, сел по одну сторону стола.

Срубов по другую.

– Я вам еще из тюрьмы писал, товарищ Срубов, о своих давнишних симпатиях к советской власти.

Полковник непринужденно закинул ногу на ногу.

– Я утверждал и утверждаю, что в моем лице вы приобретаете ценнейшего сотрудника и преданнейшего идейного коммуниста.

Срубову хотелось плюнуть в лицо Крутаеву, надавать пощечин, растоптать его. Сдерживался, грыз усы, забирал в рот бороду. Молчал, слушал.

Крутаев слащавой улыбкой растянул дряблые губы, вытащил из кармана серебряный портсигар.

– Разрешите? А вы?

Полковник привстал, с раскрытым портсигаром потянулся через стол. Срубов отказался.

– Сегодня я вам докажу это, идейный товарищ Срубов и проницательнейший предгубчека. Срубов молчал. Крутаев руку в боковой карман шинели.

– Полюбуйтесь на молодчика.

Подал визитную фотографическую карточку. Одутловатое, интересное лицо, погоны капитана. Владимир с мечами и бантом.

– Ну?

– Брат моей жены. Срубов пожал плечами.

– В чем же дело?

– А его фамилия, любезнейший товарищ Срубов.

– Кто он?

– Клименко. Капитан Клименко—начальник контрразведки армии. Срубов не дал кончить.

– Клименко?

Крутаев доволен. Старческие тухнувшие глаза замаслились хитрой улыбкой.

– Видите, можно сказать, родного брата не щажу. Срубов записал подробный адрес Клименко. Фамилию, под которой он скрывался.

Уходя, Крутаев небрежно бросил:

– Да, уважаемый товарищ Срубов, дайте мне двести рублей.

– Зачем?

– В возмещение расходов на приобретение карточки.

– Ведь вы же ее у себя дома взяли.

– Нет, у знакомых.

– У знакомых купили?

Крутаев закашлялся. Кашлял долго. На лбу у него надулись синие жилы. Толстый лоб побагровел. Глаза заслезились, покраснели. У Срубова руки на мраморном пресс—папье. В голове—поднять, размахнуться и полковнику в висок. Тот, наконец, прокашлялся.

– Помилуйте, товарищ Срубов, у прислуги купил. Ровно за двести рублей.

Бросил на стол две сторублевки. Крутаев взял и подал руку. Срубов показал глазами на стену: «РУКОПОЖАТИЯ ОТМЕНЕНЫ».

Крутаев опять слащаво растянул губы. Расшаркался в низком поклоне. Стоптанными галошами, прилипая к полу, зашмыгал к двери. А Срубову все хотелось запустить ему в сгорбленную спину пресс—папье.

В раскрытую дверь из коридора шум разговора и топот — чекисты шли в столовую обедать.

Вечером было заседание комячейки. Мудыня и Боже, полупьяные, сидели, бессмысленно улыбались. Соломин, только что вернувшийся с обыска, сосредоточенно тер под носом, слушал внимательно. Ян Пепел сидел с обычной маской серого безразличия на лице. Ежедневно хитря, обманывая и боясь быть обманутым, он научился убирать с лица малейшее отражение своих переживаний, мыслей. Срубов курил трубку, скучал. Докладчик — политработник из батальона ВЧК, безусый парень говорил о программе РКП в жилищном вопросе.

Рядом в читальне беспартийные красноармейцы из батальона ВЧК играют в шашки, шелесят газетами, курят. А переводчица Губчека Ванда Клембровская играет на пианино. Красноармейцы прислушиваются, качают головами.

– Не поймешь, чего бренчит.

Звуки каплями дождя в стену, в потолок, глухой капелью по лестницам. Срубову кажется, что идет дождь. Дождь пробивает крышу, потолок, тысячами всплесков стучит по полу. Вспомнил Левитана, Чехова, Достоевского. И удивился: почему? И, уже уходя с собрания, понял: Клембровская играла из Скрябина.

#### IV

Руки прятали дрожь в тонких складках платья. Полуопущенные ресницы закрывали беспокойный блеск глаз. Но не могла скрыть Валентина тяжелого дыхания и лица в холодной пудре испуга.

А на полу раскрыты чемоданы. На кровати выглаженное белье четырехугольными стопочками. Комод разинул пустые ящики. Замки в них ощерились плоскими зубами.

– Андрей, эти ночи, когда ты приходишь домой бледный, с запахом спирта и на платье у тебя кровь... Нет, это ужасно. Я не могу,— Валентина не справилась с волнением. Голос ломался. Срубов показал на спящего ребенка:

– Тише.

Сел на подоконник, спиной к свету. На алом золоте стекол размазалась черная тень лохматой головы и угловатых плеч.

– Андрюша... Когда-то такой близкий и понятный... А теперь вечно замкнутый в себе, вечно в маске... Чужой... Андрюша, – сделала движение в сторону мужа. Неуклюже, боком опустилась на кровать. Белую стопку белья свалила на пол. Схватила за железную спинку. Голову опустила на руки. Нет, не могу. С тех пор, как ты стал служить в этом ужасном учреждении, я боюсь тебя...

Андрей не отозвался.

– У тебя огромная, прямо неограниченная власть, и ты... Мне стыдно, что я жена...

Не договорила. Андрей быстро вытащил серебряный портсигар. Мундштуком папиросы стукнул о крышку с силой, раздраженно. Закурил.

– Ну, договаривай.

В стенных часах после каждого удара маятника хрипела пружина, точно кто шел по деревянному тротуару, четко стучал каблуками здоровой ноги, а другую, больную, шаркая, подволакивал. Маленький Юрка сопел на своей высокой постельке. Валентина молчала. Стекла в окнах стали серыми с желтым налетом. Комод, кровати, чемоданы и корзины оплыли темным опухольями. По углам нависли мягкие драпри теней, комната утратила определенность своих линий, расплывчато округлилась. Андрей видел только огненную точку своей папиросы

Другая такая же тыкалась ему в сердце, и сердце обожженное болело.

– Молчишь? Ну так я скажу. Тебе стыдно, что разная обывательская сволочинка считает твоего мужа палачом. Да?

Валентина вздрогнула. Голову подняла. Увидела острый красивый глаз папиросы. Отвернулась.

Андрей, не потушив, бросил окурочек. Глаз закололо маленькой огненной булавкой с полу. Закололо больно, как и у Андрея сердце. Валентина закрыла лицо ладонями.

– Не обыватели только... Коммунисты некоторые...

И с отчаянием, с усилием, еле слышно последний довод:

– И мне надоело сидеть с Юркой на одном пайке. Другие умеют, а ты предгубчека и не можешь...

Андрей сапогом тяжело придавил папиросу. Возмущился. Захотелось наговорить грубостей, захотелось унижить, оплевать ее, оплевавшую и унижившую своей близостью. Срубову стало до боли стыдно, что он женат на какой-то ограниченной мещанке, духовно совершенно чуждой ему. Щелкнул выключателем. Чемоданы, вороха вещей, случайно сваленных в одну комнату. И сами так же. Потому чужие. Сдержался. промолчал. Стал припоминать первую встречу с Валентиной. Что повлекло его к этой слабенькой некрасивой мещанке? Да, да, она унизила его, оскорбила своей близостью потому, что она выдала себя совсем не за ту, какой была в действительности. Она искусно улавливала его мысли, желания, искусно повторяла их, выдавая за свои. Но разве потому только сходятся с женщиной, что ее убеждения, ее мысли тождественны убеждениям и мыслям того, кто с ней сходится? Пятый год вместе. Какая-то нелепость. Ведь было вот что-то еще, что повлекло к ней? И это что-то есть еще и сейчас, когда она уже решила окончательно уйти от него. Что было это что-то. Срубов не мог объяснить себе.

– Так ты, значит, уезжаешь навсегда?

– Навсегда, Андрей,

И в голосе даже, в выражении лица – твердость. Никогда ранее не замечал.

– Ну что ж, вольному воля. Мир велик. Ты встретила человека, и я встречаю...

А самому больно. Отчего больно? Оттого, что уцелело это что-то по отношению к Валентине? Сын. Он общий. Обоим родной. И еще обида. Палач. Не слово – бич. Нестерпимо, жгуче больно от него. Душа нахлестана им в рубцы. Революция обязывает. Да. Революционер должен гордиться, что он выполнил свой долг до конца. Да. Но слово, слово. Вот забиться бы куда-нибудь под кровать, в гардероб. Пусть никто не видит. И самому чтоб-никого.

У

Срубов видел Ее каждый день в лохмотьях двух цветов – красных и серых. И Срубов думал.

Для воспитанных на лживом пафосе буржуазных резолюций – Она красная и в красном. Нет. Одним красным Ее не охарактеризуешь. Огонь восстаний, кровь жертв, призыв к борьбе – красный цвет. Соленый пот рабочих будней, голод, нищета, призыв к труду – серый цвет. Она красно-серая. И наше – Красное Знамя – ошибка, неточность, недоговоренность, самообольщение. К нему должна быть пришита серая полоса. Или, может быть, его все надо сделать серым. И на сером красную звезду. Пусть не обманывается никто, не создает себе иллюзий. Меньше иллюзий – меньше ошибок и разочарований. Трезвее, вернее взгляд.

И еще думал:

– Разве не захватано, не затаскано это красное знамя, как затаскано, захватано слово социал-демократ? Разве не поднимали его. не прятались за ним палачи пролетариата и его револю-

ции? Разве оно не было над Таврическим и Зимним дворцами, над зданием самарского Кому-ча? Не под ним разве дралась колчаковская дивизия? А Гайдеман, Вандервальде, Керенский...

Срубов был бойцом, товарищем и самым обыкновенным человеком с большими черными человеческими глазами. А глазам человеческим надо красного и серого, им нужно красок и света. Иначе затоскуют, потускнеют.

У Срубова каждый день—красное, серое, серое, красное, красно—серое. Разве не серое и красное—обыски—разрытый нафталиновый уют сундуков, спугнутая тишина чужих квартир, реквизиции, конфискации, аресты и испуганные перекошенные лица, грязные вереницы арестованных, слезы, просьбы, расстрелы—расколотые черепа, дымящиеся кучки мозгов, кровь. Оттого и ходил в кино, любил балет. Потому через день после ухода жены и сидел в театре на гастролях новой балерины.

В театре ведь не только оркестр, рампа, сцена. Театр—еще и зрители. А когда оркестр запоздал, сцена закрыта, то зрителям нечего делать. И зрители—сотни глаз, десятки биноклей, лорнетов разглядывали Срубова. Куда ни обернется Срубов—блестящие кружочки стекол и глаз, глаз, глаз. От люстры, от биноклей, от лорнетов, от глаз — лучи. Их фокус—Срубов. А по партеру, по ложам, по галерке волнами ветерка еле уловимым шепотом:

— ...Предгубчека... Хозяин губподвала... Губпалач... Красный жандарм... Советский охранник... Первый грабитель...

Нервничает Срубов, бледнеет, вертится на стуле, толкает в рот бороду, жует усы. И глаза его, простые человечески глаза, которым нужны краски и свет, темнеют, наливаются злобой. И мозг его усталый требует отдыха, напрягается стрелами, мечет мысли.

«Бесплатные зрители советского театра. Советские служащие. Знаю я вас. Наполовину потертые английские френчи с вырванными погонами. Наполовину бывшие барыни в заштопанных платьях и грязных, мятых горжетах. Шушукаетесь. Глазки таращите. Шарахаетесь, как от чумы. Подлые душонки. А доносы друг на друга пишете? С выражением своей лояльнейшей лояльности распинаетесь на целых писчих листах. Гады. Знаю, знаю, есть среди вас и пролезшие в партию коммунистички. Есть и так называемые социалисты. Многие яз вас с восторженным подвыванием пели и поют—месть беспощадная всем супостатам... Мищение и смерть... Бей, губи их, злодеев проклятых. Кровью мы наших врагов обагрим. И, сволочи, сторонитесь, сторонитесь чекистов. Чекисты—второй сорт. О подлецы, о лицемеры, подлые белоручки, в книге, в газете теоретически вы не против террора, признаете его необходимость, а чекиста, осуществляющего признанную вами теорию, презираете. Вы скажете—враг обезоружен. Пока он жив — он не обезоружен. Его главное оружие — голова. Это уже доказано не раз. Краснов, юнкера, бывшие у нас в руках и не уничтоженные нами. Вы окружаете ореолом героизма террористов, социалистов—революционеров. Разве Сазонов, Калшев, Балмашев не такие же палачи? Конечно, они делали это на фоне красивой декорации с пафосом, в порыве. А у нас это будничное дело, работа. А работы—то вы более всего боитесь. Мы проделываем огромную черную, черную, грязную работу. О, вы не любите чернорабочих черного труда. Вы любите чистоту везде и во всем, вплоть до клозета. А от ассенизатора, чистящего его, вы отвертываетесь с презрением. Вы любите бифштекс с кровью. И мясник для вас ругательное слово. Ведь все вы, от черносотенца до социалиста, оправдываете существование смертной казни. А палача сторонитесь, изображаете его всегда звероподобным Малютой. О палаче вы всегда говорите с отвращением. Но я говорю вам, сволочи, что мы, палачи, имеем право на уважение...»

Но до начала так и не досидел, вскочил, потел к выходу. Глаза, бинокли, лорнеты с боков, в спину, в лицо. Не заметил, что громко сказал—сволочи. И плюнул.

Домой пришел бледный, с дергающимся лицом. Старуха в черном платье и платке, открывавшая дверь, пылливо—ласково посмотрела в глаза:

— Ты болен, Андрюша?

У Срубова бессильно опущены плечи. Взглянул на мать тяжелым измученным взглядом, глазами, которым не дали красок и света, которые потускнели, затосковали.

— Я устал, мама.

На кровать лег сейчас же. Мать гремела в столовой посудой. Собирала ужин. Но Срубову хотелось только спать.

Видит Срубов во сне огромную машину. Много людей на ней. Главные машинисты на командных местах, наверху, переводят рычаги, крутят колеса, не отрываясь смотрят в даль. Иногда они перегибаются через перила мостков, машут руками, кричат что—то работающим ниже и все показывают вперед. Нижние грузят топливо, качают подду, бегают с масленками. Все они черные от копоти и худы. И в самом низу, у колес, вертятся блестящие диски—ножи. Около них сослуживцы Срубова—чекисты. Вращаются диски в кровавой массе. Срубов приглядывается — черви. Колоннами ползут на машину, мягкие красные черви, грозят засорить, попортить ее механизм. Ножи их режут, режут. Сырое красное тесто валится под колеса,



втаптывается в землю. Чекисты не отходят от ножей. Мясом пахнет около них. Не может только понять Срубов, почему не сырым, а жареным.

И вдруг черви обратились в коров. А головы у них человечьи. Коровы с человеческими головами, как черви,—ползут, ползут. Автоматические диски—ножи не успевают резать. Чекисты их вручную тычут ножами в затылки. И валится, валится под машину красное тесто. У одной коровы глаза синие—синие. Хвост—золотая коса девичья. Лезет по Срубому. Срубов ее между глаз. Нож увяз. Из раны кровью, мясом жареным так и пахнуло в лицо. Срубому душно. Он задыхается.

На столике возле кровати в тарелке две котлеты. Рядом вилка, кусок хлеба и стакан молока. Мать не добудилась, оставила. Срубов проснулся, кричит:

— Мама, мама, зачем ты мне поставила мясо? Старуха спит, не слышит.

— Мама!

Против постели трюмо. В нем бледное лицо с острым носом. Огромные испуганные глаза. Всклокоченные волосы, борода. Срубому страшно пошевелиться. Двойник из зеркала следит за ним, повторяет все его движения. И он, как ребенок, зовет:

— Мама, мама.

Спит, не слышит. Тихо в доме. Шаркает больная нога маятника. Хрипят часы. Срубов холодеет, примерзает к постели. Двойник напротив. Безумный взгляд настороже. Он караулит. Срубов хочет снова позвать мать. Нет сил повернуть языком. Голоса нет. Только тот, другой, в зеркале беззвучно шевелит губами,

## VI

Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член Коллегии Губчека, подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубому, тому самому Павлу Петровичу, московскому чернобородому доктору в золотых очках, который пригостишку гимназистика Каца шутя трепал за рыжие вихры и звал Икон и которого . Кац звал Павлом Петровичем.

И перед расстрелом, раздеваясь в сырой духоте подвала, Павел Петрович говорил Кацу:

— Ика, передан Андрею, что я умер без злобы на него и на тебя. Я знаю, что люди способны ослепляться какой—либо идеей настолько, что перестают здраво мыслить, отличать черное от белого. Большевизм— это временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало сейчас большинство русского народа.

Гольый чернобородый доктор наклонил набок голову в вороненом серебре волос, снял очки в золотой оправе, отдал коменданту. Потер рука об руку, шагнул к Кацу.

— А теперь, Ика, позволь пожать твою руку. И Кац не мог не подать руки доктору Срубому, глаза которого были, как всегда, ласковы, голос которого, как всегда, был бархатно мягок.

— Желаю тебе скорейшего выздоровления. Поверь мне как старому доктору, поверь так, как верил гимназистом, когда я лечил тебя от скарлатины, что твоя болезнь, болезнь всего русского народа, безусловно, излечима и со временем исчезнет бесследно и навсегда. Навсегда, ибо в переболевшем организме вырабатывается достаточное количество антивещества. Прощай.

И доктор Срубов, боясь потерять самообладание, отвернулся, торопливо, сгорбившись, пошел к «стенке».

А член Коллегии Губчека Исаак Кац, который был обязан сегодня присутствовать при расстрелах, едва удержался от желания убежать из подвала.

И в ночь расстрела доктора медицины Павла Петровича Срубова член Коллегии Губчека Исаак Кац телеграммой был переведен на ту же должность Члена Коллегии Губчека в другой город, в тот, где работал Андрей Срубов. И в первый же день своего приезда Исаак Кац сидел на квартире у Андрея Срубова и пил с Андреем Срубовым кофе. А мать Срубова, бледная старуха с черными глазами, в черном платье и в черном платке, варила кофе, вызывала сына из столовой и в темной прихожей шепотом говорила:

— Андрюша, Ика Кац расстрелял твоего папу, и ты сидишь с ним за одним столом.

Андрей Срубов ладонями рук ласково касался лица матери, шептал:

— Милая моя мамочка, мамунечка, об этом не надо говорить, не надо думать. Дай нам еще по стакану кофе.

И сам не хотел говорить, не хотел думать. Но Ика Кац считал неудобным не говорить и говорил. Говорил, помешивая, позвякивая ложечкой в стакане, внимательно разглядывал свою руку, красноватую в рыжих волосах, в синих жилах, опуская рыжую кудрявую голову, наклонясь над дымящимся кофе, вдыхая его запах—крепкий, резкий, мешающийся с мягким запахом кипящего молока.

— Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом—ОИБ. Мечтал о таких «оибках» по всей Сибири, хотел объединить в них распыленные силы интеллигенции, настроенной антисоветски. Во время следствия он их звал оибистами...

Говорил, а лица не поднимал от стакана. Срубов слушал, медленно набивал трубку, не смотрел на Каца, чувствуя, что ему не хочется говорить, что говорит он только из вежливости. Срубов убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он как коммунист—революционер должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно. А глаза тянуло к руке, красными короткими пальцами сжимавшей стакан с коричневой жидкостью, к руке, подписавшей смертный приговор отцу. И, с улыбкой натянутой, фальшивой, с усилием тяжелым разжимая губы, сказал:

— Знаешь, Ика, когда один простодушный чекист на допросе спросил Колчака, сколько и за что вы расстреляли, Колчак ответил: «Мы с вами, господа, кажется, люди взрослые, давайте поговорим о чем—нибудь более серьезном». Понял?

— Хорошо, не будем говорить.

Срубова передернуло оттого, что Кац так быстро согласился с ним, что на его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие. И когда Кац замолчал, стал пять, громко глотая, у Срубова мысли быстро—быстро, одна за другой. Мысли как оправдание. Перед кем? Может быть перед Ней, может быть, перед самим собою. В глазах Срубова боль и стыд, и желание, страстное, непреодолимое—оправдываться. И если нет смелости вслух, то хотя бы про себя, мысленно оправдываться, оправдываться, оправдываться.

«Я знаю твердо, каждый человек, следовательно, и мой отец,—мясо, кости, кровь. Я знаю, труп расстрелянного—мясо, кости, кровь. Но почему страх? Почему я стал бояться ходить в подвал? Почему я таращу глаза на руку Каца? Потому что свобода есть бесстрашие. Потому что быть свободным значит, прежде всего, быть бесстрашным. Потому что я еще не свободен вполне. Но я не виноват. Свобода и власть после столетий рабства—штуки не легкие. Китайке изуродованные ноги разбинтуй—падать начнет, на четвереньках наползает, пока научится по—человечьи ходить, разовьет свои культяпки. Дерзаний—то, замыслов—то, порывов—то у нее, может быть, океан, а культяпки мешают. Культяпки эти, несомненно, и у Наполеона были, и у Смердякова. И у кого из нас не изуродованные ноги? Учиться, упражняться тут, пожалуй, мало переродиться надо, кожей другой обрасти».

Кац кончил пить. Не опуская стакана, вслух подумал или сказал Срубову:

— Конечно, что говорить, плакать, философствовать. Каждый из нас, пожалуй, может и хныкать. Но класс в целом неумолим, тверд и жесток. Класс в целом никогда не останавливается над трупом — перешагнет. И если мы с тобой рассиропимся, то и через нас перешагнут.

А в это время в Губчека, в подвале № 3 дрожь коленок, тряска рук, шелканье зубов ста двенадцати человек. И комендант, у которого из—под толстого полушубка красные галифе, у которого розовое бритое лицо и в руках белый лист—список, приказывает ста двенадцати арестованным собираться и выходить с вещами. И дрожь, и тряска, и пересыхание глоток, и слезы, и вздохи, и стоны именно оттого, что приказано выходить с вещами. Сто двенадцать участвовали в восстании против советской власти, захвачены с оружием в руках и знают, что их всех расстреляют, думают, если выводят с вещами—выводят на расстрел. И вот сто двенадцать в черных, рыжих овчинах, пахучих шубах, полушубках, в пестрых собачьих, оленьих, козловых, телячьих дохах, пиджаках, в лохматых папах, в длинноухих малахаях, в расшитых унтах, в простых катанках, сложив горой вещи в просторной комендантской, идут из подвала, из сырости, из мрака, от крыс, от колебаемых и сырых полок, от страха, от томления предсмертного, от дней полузабытья, от ночей бессонницы, идут в зрительный зал клуба Губчека и батальона ВЧК по светлым широким мраморным ступеням лестниц, по площадкам,

на которых часовые, как изваянья, а воздух насыщен электрическим светом, нагрет сухим дыханием калориферов. Длинный, пестрый, стоголовый пахучий зверь с мягким шумом катанок и унтов послушно прополз за комендантом в третий этаж, пестрой шкурой накрыл все стулья зрительного зала.

На красном полотнище занавеса сцены надпись: «ОБМАНУТЫМ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ МСТИТ».

По складам, с трудом разобрали и с затаенной радостной надеждой вздохнули, зашевелились, зашептали. Но в зеленых гирляндах сосновых веток по стенам другие надписи, страшные, пугающие, противоречащие:

«СМЕРТЬ ВРАГАМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ». «СМЕРТЬ АНТАНТЕ И ЕЕ СЛУГАМ».

На пестрой шкуре дрожь, от дрожи складки. И шепот громче, взволнованнее.

– Сме–е–ерть... См... сме–сме–рть... сме–сме–смерть... В зале запах пота, заношенного белья, портянок, кислых овчин, махорки. Комендант приказал открыть форточку. И пестрый лохматый зверь жадно раздул ноздри, захватил полную грудь свежей сырости тающего снега, крепкого хмеля первого холодного пота земли. Беспokoйно, с тоской завозился зверь, затрещали, заскрипели стулья. Потянуло здорового, сильного к земле, захотелось впитаться в ее черную грудь, припасть к ней большим, потным, мокрым, на работе взмокнувшим телом.

И Срубов и Кац, когда вошли в залу, увидели на лицах, в глазах арестованных крестьян серую тоску, поняли, что от безделья, от подвальной духоты, от тягостного ожидания смерти, что по земле, по работе она. Срубов быстро, упругими широкими шагами вышел на подмостки сцены. Высокий, в черной коже брюк и куртки, чернобородый, черноволосый, с револьвером на боку, на красном фоне занавеса, он стал как отлитый из чугуна. Смело посмотрел в глаза укрощенному, пестрому сильному зверю. Первое слово–обращение сказал с радостью укротителя, уверенного в победе:

– Товарищи...

Негромко, медленно, чуть нараспев. Как погладил по упрямой жесткой шерсти. Вызвал легкую щекочущую дрожь во всей пестрой шкуре. Как укротитель, спокойно открывающий клетку укрощенного зверя, Срубов спокойно объявил:

– Через час вы будете освобождены.

Радостью огненной, сверкающей блеснули сто двенадцать пар глаз. Взволнованно, радостно зарычал пестрый зверь. А из форточки непрерывным потоком хмель тающего снега. Сильнее, шире раздуваются ноздри, кружит головы весенний угар. И Срубов захмелел от хмельного дыхания близкой весны, от хмельной звериной радости ста двенадцати человек. Расперли грудь большие, набухшие радостью огненные клубы слов. Рассыпались солнечным, слепящим дождем искр по пестрой шкуре зверя, шелкая, подпаливая шерсть, забегали колющими красными, синими, зелеными огоньками.

– Товарищи, Революция–не разверстка, не расстрелы, не Чека. В море огня мелькнула черная обуглившаяся фигура расстрелянного отца и исчезла, сгорела.

– Революция – братство трудящихся.

После концерта, спектакля освобожденный пестрый зверь с довольным ворчанием, с топотом, сотнями ног побежал в раскрытые ворота на улицу.

И радостью, беспричинной хмельной звериной радостью жизни опьянели чекисты. И в ту ночь невиданное увидел белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми у ворот и дверей.

Вышли за ворота с хохотом, с громкими криками сотрудники Губчека. Предгубчека мальчишкой забежал вперед, схватил горсть снега, смял и Ваньке Мудыне н рожу. Ванька захлебнулся смехом, взвизгнул.

– Я вам сейчас, товарищ Срубов, председательскую залеплю. Мудыню поддержал мрачный Боже. Срубову сразу в спину и шею два белых холодных комка. Срубов в кучу чекистов еще ком, и чекисты, как школьники, выскочившие на большую перемену на улицу, с визгом принялись лупиться снегом. Ком снега–ком смеха. Смех–снег. И радость неподдельная, беспричинная, хмельная, звериная радость жизни.

Срубова облепили, выбелили с головы до ног. Попало в лицо и неприкосновенным лицам – часовым.

Простились, разошлись усталые с мокротой за воротниками, с мокрыми покрасневшими горящими руками и щеками.

Срубов на углу пожал руку Каца, посмотрел на него прояснившимися, блестящими черными глазами.

– До свидания, Ика. Все хорошо, Ика. Революция—это жизнь. Да здравствует Революция, Ика.

И дома Срубов с аппетитом поужинал. И, вставая из-за стола, схватил печальную, черную женщину—мать, закружился с ней по комнате. Мать вырывалась, не знала, сердиться ей или смеяться, кричала, задыхаясь от бешеных туров неожиданного вальса.

– Андреи, ты с ума сошел. Пусти, Андрей... Срубов смеялся.

– Все хорошо, мамочка. Да здравствует Революция, мамочка!

## VII

Допрашиваемый посередине кабинета. Яркий свет ему в глаза. Сзади него, с боков—мрак. Впереди, лицом к лицу,—Срубов. Допрашиваемый видит только Срубова и двух конвоиров на границе освещаемого куска пола.

Срубов работал с бумагами. На допрашиваемого никакого внимания. Не смотрел даже. А тот волнуется, тербит хилые, едва пробивающиеся усики. Готовится к ответам. Со Срубова не спускает глаз. Ждет, что он сейчас начнет спрашивать. Напрасно. Пять минут—молчание. Десять. Пятнадцать. Закрадывается сомнение, будет ли допрос. Может быть, его вызвали просто для объявления постановления об освобождении? Мысли о свободе легки, радостны.

И вдруг неожиданно:

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Спросил и головы не поднял. Будто бы и не он. Все бумаги перекладывает с места на место. Допрашиваемый вздрогнул, ответил. Срубов и не подумал записать. Но все—таки вопрос задан. Допрос начался, Надо говорить ответы.

Пять минут—тишина. И опять:

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый растерялся. Он рассчитывал на другой вопрос. Запнувшись, ответил. Стал успокаивать себя. Ничего нет особенного, если переспросили. Новая пауза.

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Это уже удар молота. Допрашиваемый обескуражен. А Срубов делает вид, что ничего не замечает.

И еще пауза. И еще вопрос:

– Ваше имя, отчество, фамилия?

Допрашиваемый обессилен, раскис. Не может собраться с мыслями. Сидит он на табуретке без спинки. От стены далеко. Да и стену не видно. Мрак рыхлый. Ни к чему не прислониться. И этот свет в глаза. Винтовки конвойных. Срубов, наконец, поднимает голову. Давит тяжелым взглядом. Вопросов не задает. Рассказывает, в какой части служил допрашиваемый, где она стояла, какие выполняла задания, кто был командиром. Говорит Срубов уверенно, как по послужному списку читает. Допрашиваемый молчит, головой кивает. Он в руках Срубова.

Нужно подписать протокол. Не читая, дрожащей рукой, выводит свою фамилию. И только отдавая длинный лист обратно, осознает страшный смысл случившегося—собственноручно подписал себе смертный приговор. Заключительная фраза протокола дает полное право Коллегии Губчека приговорить к высшей мере наказания.

...участвовал в расстрелах, порках, истязаниях красноармейцев и крестьян, участвовал в поджогах сел и деревень.

Срубов прячет бумагу в портфель. Небрежно бросает:

– Следующего.

А об этом ни слова. Что был он, что нет. Срубов не любит слабых, легко сдающихся. Ему нравились встречи с ловкими, смелыми противниками, с врагом до конца.

Допрашиваемый ломает руки.

– Умоляю, пощадите. Я буду вашим агентом, я выдам вам всех... Срубов даже не взглянул.

И только конвойным еще раз. настойчиво:

– Следующего, следующего.

После допроса этого жидкоусого в душе» брезгливая дрожь. Точно мокрицу раздавил.

Следующий капитан–артиллерист. Открытое лицо, прямой, уверенный взгляд расположили. Сразу заговорил. Долго у белых служили? С самого начала.

– Артиллерист? Артиллерист.

Вы под Ахлабинным не участвовали в бою? Как же, был.

– Это ваша батарея возле деревни в лесу стояла?

– Моя.

– Ха–ха–ха–ха!..

Срубов расстегивает френч, нижнюю рубашку. Капитан удивлен. Срубов хохочет, оголяет правое плечо.

– Смотрите, вот вы мне как залепили.

На плече три розовых глубоких рубца. Плечо ссохшееся:

– Я под Ахлабинным ранен шрапнелью. Тогда комиссаром полка был.

Капитан волнуется. Крутит длинные усы. Смотрит в пол. А Срубов ему совсем как старому знакомому.

– Ничего, это в открытом бою.

Долго не допрашивал. В списке разыскиваемых капитана не было. Подписал постановление об освобождении. Расставаясь, обменялись долгими, пристальными, простыми человеческими взглядами.

Остался один, закурил, улыбнулся и на память в карманный блокнот записал фамилию капитана.

А в соседней комнате возня. Заглушенный крик. Срубов прислушался. Крик снова. Кричащий рот–худая бочка. Жмут обручи пальцы. Вода в щели. Между пальцев крик.

Срубов в коридор.

К двери.

**ДЕЖУРНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ**

Заперто.

Застучал, руки больно.

Револьвером.

– Товарищ Иванов, откройте! Взломаю.

Не то выломал, не то Иванов открыл.

Черный турецкий диван. На нем подследственная Новодомская. Белые, голые ноги. Белые клочки кружев. Белое белье. И лицо. Уже обморок.

А Иванов красный, мокро–потный.

И через полчаса арестованный Иванов и Новодомская в кабинете Срубова. У левой стены рядом в креслах. Оба бледные. Глаза большие, черные. У правой на диване, на стульях все ответственные работники. Френчи, гимнастерки защитные, кожаные тужурки, брюки разноцветные. И черные, и красные, и зеленые.

Курили все. За дымом лица серые, мутные.

Срубов посередине за столом. В руке большой карандаш. Говорил и черкал.

– Отчего не изнасиловать, если ее все равно расстреляют? Какой соблазн для рабьей душонки.

Новодомской нехорошо. Холодные кожаные ручки сжала похолодевшими руками.

– Позволено стрелять–позволено и насиловать. Все позволено... И если каждый Иванов?..

Взглянул и направо и налево. Молчали все. Посасывали серые папироски.

– Нет, не все позволено. Позволено то, что позволено. Сломал карандаш. С силой бросил на стол. Вскочил, выпятил лохматую черную бороду.

– Иначе не революция, а поповщина. Не террор, а пакостничанье. Опять взял карандаш.

– Революция –это не то, что моя левая нога хочет. Революция... Черкнул карандашом.

– Во–первых...

И медленно, с расстановкой:

– Ор–га–ни–зо–ван–ность. Помолчал.

– Во–вторых...

Опять черкнул. И также:

– Пла–но–мер–ность, в–третьих...

Порвал бумагу. – Ра–а–счет.

Вышел из–за стола. Ходит по кабинету. Бородой направо, бородой налево. Жмет к стенам. И руками все поднимает с пола и кладет кирпич, другой, целый ряд. Вывел фундамент. Цементом его. Стены, крышу, трубы. Корпус огромного завода.

– Революция–завод механический.

Каждой машине, каждому винтику свое.

А стихия? Стихия – пар, не зажатый в котел, электричество, грозой гуляющее по земле.

Революция начинает свое поступательное движение с момента захвата стихии в железные рамки порядка, целесообразности. Электричество тогда электричество, когда оно в стальной сетке проводов. Пар тогда пар, когда он в котле.

Завод заработал. В него. Ходит между машинами, тычет пальцами.

– Вот наша. Чем работает? Гневом масс, организованным в целях самозащиты...

Крепкими железными плиточками, одна к одной в головах слушателей мысли Срубова.

Кончил, остановился перед комендантом, сдвинул брови, постоял и совершенно твердо (голос не допускает возражений):

– Сейчас же расстреляйте обоих. Его первого. Пусть она убедится. Чекисты с шумом сразу встали. Вышли, не оглядываясь, молча. Только Пепел обернулся в дверях и бросил твердо, как Срубов:

– Это есть правильно. Революция–никакой философий. У Иванова голова на грудь. Раскрылся рот. Всегда ходил прямо, а тут закосолапил. Новодомская чуть вскрикнула. Лицо у нее из алебаstra. Ничком на пол, без чувств. Срубов заметил ее рваные высокие теплые галоши (крысы изъели в подвале.)

Взглянул на часы, потянулся, подошел к телефону, позвонил:

– Мама, ты? Я иду домой.

За последнее время Срубов стал бояться темноты. К его приходу мать зажгла огонь во всех комнатах.

### VIII

Срубов видел диво – Белый и Красный ткали серую паутину будней.

Его, Срубова, будней.

Белый тянул паутину от учреждения к учреждению, от штаба к штабу, клал узкие, крепкие петли вокруг бывшего трехэтажного каменного дома, стягивая концы в одно место, за город, в гнилой домишко караульщика губземотдельских огородов. Белый плел паутину ночами, по темным задворкам, по глухим переулкам, прятался от Красного, думал, что Красный не видит, не знает.

Красный вил паутинную сетку параллельно сетке Белого–нить в нить, узел в узел, петлю в петлю, но концы стягивал в другое место– в белый трехэтажный каменный дом. Красный вил и днем и ночью, не прерывал работу ни на минуту. Прятался от Белого, был уверен, что Белый не видит, не знает.

У Белого и у Красного напряженная торопливость работы, у каждого надежда на крепость своей паутины, расчет своей паутиной опутать, порвать паутину другого.

А именно в торопливости, напряженности, настороженности–в близкой путанице паутины своей и чужой–будни Срубова. Не спать неделями или спать, не раздеваясь, на стуле за столом, на столе, в санях, в седле, в автомобиле, в нагоне, на тормозе, есть всухомятку, на ходу, принять, встретить, опросить, проинструктировать десятки агентов, прочесть, написать, подписать сотни бумаг, еле держать голову, еле таскать ноги от усталости – будни. И так вот, не раздеваясь, засыпая за столом в кресле или ложась на час, на два на диван, в непрерывной грязной лавине людей, в белых горах бумаги, в сине–серых облаках табачного дыма Срубов работал восьмью сутками. (Вообще же служба в Чека красно–серое, серо–красное. Красный и Белый, Белый и Красный. И бесконечная путаница паутины–третий год.)

И вот когда все приготовления сделаны, все распоряжения отданы, паутина чужая прочно оплетена паутиной своей, когда сотрудники с ордерами, с мандатами посланы куда следует и сделают все, как следует и когда следует, когда в белом трехэтажном доме тихо и пусто (только в нижнем этаже оставлена рота батальона ВЧК), когда в ночь с восьмого на девятое нужно ждать результатов горячечной работы последней недели, когда до начала облавы, обысков, арестов осталось ровно два часа, когда хочется спать, глаза красны–раскрыть на столе папку

черного сафьяна и одним пальцем рыться в стопках бумажных клочков, обрывков, перечитывать клочки, обрывки мыслей, подпирать рукой тяжелую голову, зевать, курить.

Большой лист графленой бумаги.

«Во Франции были гильотина, публичные казни. У нас подвал. Казнь негласная. Публичные казни окружают смерть преступника, даже самого грозного, ореолом мученичества, героизма. Публичные казни агитируют, дают нравственную силу врагу. Публичные казни оставляют родственникам и близким труп, могилу, последние слова, последнюю волю, точную дату смерти. Казненный как бы не уничтожается совсем.

Казнь негласная, в подвале, без всяких внешних эффектов, без объявления приговора, внезапная, действует на врагов подавляюще. Огромная, беспощадная, всевидящая машина неожиданно хватается свои жертвы и перемалывает, как в мясорубке. После казни нет точного дня смерти, нет последних слов, нет трупа, нет даже могилы. Пустота. Враг уничтожен совершенно.»

Бланк–председатель Губернской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контр... Далее вырван неровный лоскут. На уцелевшей полоске записано:

«I. В 9 ч. в. свидание с Арутьевым.

2. Спросить завхоза, почему в этом м–це выдали тухлое сало.

3. Завтра общегородское собрание.

4. Юрасику на штанишки и чего–нибудь сладкого».

Подписанный протокол обыска. На чистом конце синим карандашом: «Террор необходимо организовать так, чтобы работа палача–исполнителя почти ничем не отличалась от работы вождя–теоретика. Один сказал–террор необходим, другой нажал кнопку автомата–расстреливателя. Главное, чтобы не видеть крови.

В будущем «просвещенное» человеческое общество будет освобождаться от лишних или преступных членов с помощью газов, кислот, электричества, смертоносных бактерии. Тогда не будет подвалов и «кровожадных» чекистов. Господа ученые, с ученым видом, совершенно бесстрашно будут погружать живых людей в огромные колбы, реторты и с помощью всевозможных соединений, реакций, перегонок начнут обращать их в вакуум, и вазелин, в смазочное масло.

О, когда эти мудрые химики откроют для блага человечества свои лаборатории, тогда не нужны будут палачи, не будет убийства, войн. Исчезнет и слово «жестокость». Останутся одни только химические реакции и эксперименты...» Из блокнота.

1. Сдать в газету приказ о регистрации нарезного оружия.

2. Посоветоваться с Начосо.

3. Мысли о терроре систематически записывать. Когда будет время–написать книгу.

4. Поговорить с профессором Беспалых об электронах.

Обрывок глянцевиной бумаги для черчения. Чертеж автомата–расстреливателя.

На внутренней стороне использованного пакета мелко красными чернилами:

«Наша работа чрезвычайно тяжела. Недаром чаще учреждение носит название чрезвычайной комиссии. Бесспорно, и не все чекисты люди чрезвычайные. Однажды высокопоставленный приятель сказал мне, что чекист, расстрелявший пятьдесят контрреволюционеров, достоин быть расстрелянным пятьдесят первым. Очень мило. Выходит, так–мы люди первого сорта, мы теоретически находим террор необходимым. Хорошо. Примерно получается такая картина–существуют насекомые–вредители хлебных злаков. И есть у них враги–такие же насекомые. Ученые–агрономы напускают вторых на первых. Вторые пожирают первых. Хлебц целиком попадает в руки агрономов. А несчастные истребители больше не нужны и к числу спокойно кушающих белые булочки причислены быть не могут».

Но если голова тяжела, глаза красны и сон свинцом наваливается на плечи, на спину – сложить, закрыть черную папку грудью, лицом, бородой на нее и спать, спать, спать.

А за окнами в синем мраке шмыгающий топот ног, хруст льдинок невидимых лужиц, гул голосов, шорох толпы, гудящие волны идущих к заутрене. На соборной колокольне колокол, самый большой и старый, серо–зеленый от старости, черным железным языком лениво лизал медные серо–зеленые губы, ворчал: «0–0–0–мим–0–0–омим–0–0–омим...»

В кабинете табак, духота, яркий свет электрической люстры и дрожь непрерывная, звонкая дрожь молоточка телефонного звонка. К Срубову в оба уха ползли металлические мухи: «Ж-ж-ж-др-р-р-др-р-р-р-ж-ж-ж...»

Добились своего—разбудили. Голова еще тяжелей, веки слиплись. Горько, сухо во рту. Но мысль сразу верная, ясная—началось.

И началось. Левая рука не отпускает трубку от уха. По телефону донесения, по телефону—распоряжения. На столе карта города. Глаза на ней. Правая рука ставит крестики над захваченными районами, конспиративными квадратами, складами оружия, рвет, сечет короткими косыми черточками тонкую запутанную паутину Белого. У Срубова на губах горькая, ироническая усмешка.

Над городом сырая синь ночи, огни иллюминированных церквей, ликующий пасхальный звон, шуршащие шаги толп, поцелуи, христосование. Христос воскрес! И над городом с горькой усмешкой, со злыми глазами стоит Она—оборванная, полуголодная, властно, тяжело, босой ногой наступает на сусальную радость христосующихся, на белые сладкие пирамидки творога и куличей. Потухли горшки, плошки на церковных карнизах, заглох звон, затих шорох шагов, топот сбежавших, спрятавшихся по домам. Над городом молчание, напряженная тишина, жуть, и в черной синеве весенней ночи синева Ее зорких гневных глаз.

Срубов не усидел в кабинете. Отозвал с облавы Каца, усадил в свое кресло и на автомобиле помчался по городу. Торжествующим ревом с фырканьем, сверкая глазищами фонарей, заметался по улицам сильный стальной зверь. Но Белого не было. Белый забился на задворки, в темные углы, в подполье.

Остался в памяти арест главаря организации—караульщика губземотдельских огородов Ивана Никифоровича Чиркалова, бывшего колчаковского полковника Чудаева. Полковник держался гордо, спокойно. Не утерпел, съязвил:

— Христос воскрес, господин полковник. И, сажая к себе в автомобиль, добавил:

— Эх, огородник, сажал редьку—вырос хрен.

Чудаев молчал, натягивая на глаза фуражку. Испуганные дамы в нарядных платьях, мужчины в сюртуках, сорочках. Соломин невозмутимо спокойный, шмыгающий носом, разрывающий нафталиновый покой сундуков.

— Сказывайте, сколь вас буржуев. Кажинному по шубе оставим. Лишки заберем.

И еще, когда осматривал кучи отобранного оружия, гордо, радостно забилось сердце, крепкая красная сила разлилась по всем мускулам.

Остальное—ночь, день, улицы, улицы, цепочки, цепи патрулей, ветер в ушах, запах бензина, дрожь сиденья автомобиля, хлопанье дверцы, слабость в ногах, шум, тяжесть в голове, резь в глазах, квартиры, комнаты, углы, кровати, люди—бодрствующие, со следами бессонницы на серых лицах, заспанные, удивленные, спящие, испуганные, чекисты, красноармейцы, винтовки, гранаты, револьверы, табак, махорка и серо—красное, красно—серое и Белый, Красный и Красный, Белый. И после ночи, дня и еще ночи нужно было принимать посетителей, родственников арестованных.

Просили все больше об освобождении. Срубов внимателен и равнодушен. Сидит он, хотя и в кресле, но на огромной высоте, ему совершенно не видно лиц, фигур посетителей. Двигаются какие—то маленькие черные точки — и все.

Старуха просит за сына, плачет.

— Пожалейте, единственный...

Падает на колени, щеки в слезах, мокрые. Утирается концом головного платка. Срубову кажется ее лицо не больше булавочной головки. Кланяется старуха в ноги. Опускает, поднимает голову—светлеет, темнеет электрический шарик булавки. Звук голоса едва долетел до слуха:

— Единственный.

Но что он может сказать ей? Враг всегда враг—семейный или одинокий—безразлично. И не все ли равно—одной точкой больше или меньше.

Сегодня для Срубова нет людей. Он даже забыл об их существовании. Просьбы не волнуют, не трогают. Отказывать легко.

— Нам нет дела, единственный он у вас или нет. Виноват— расстреляем.

Одна булавочная головка исчезла, другая вылезла.



– Единственный кормилец, муж... пять человек детей.

Старая история. И этой так же.

Семейное положение не принимается в расчет.

Булавка краснеет, бледнеет. Лицо Срубова, неподвижно каменное, мертвенно-бледное, приводит ее в ужас.

Выходят, выходят черные точки–булавки. Со всеми одинаков Срубов–неумолимо жесток, холоден.

Одна точка придвинулась близко, близко к столу. И когда снова отошла, на столе осталась маленькая темная кучка. Срубов медленно сообразил–взятку сунул. Не спускаясь со своей недостигаемой высоты, бросил в трубку телефона несколько слов–ледышек. Точка почернела от испуга, бестолково залепетала:

– Вы не берете. Другие ваши берут. Случалось...

– Следствие выяснит, кто у вас брал. Расстреляем и бравших к вас.

Были и еще посетители–все такие же точки, булавочные головки. Во все время приема чувствовал себя очень легко–на высоте непомерной. Немного только озяб. От этого, вероятно, каменной белизной покрылось лицо.

Родные, родственники, близкие могли, конечно, униженно просить, дрожать, плакать, стоять в очереди с бедными узелками передач, передавать арестованным сладкие пасхи, сдобные куличи, крашенные яйца–белый трехэтажный каменный дом неумолим, тверд. Жесток, строго справедлив, как часовой механизм и его стрелки.

Родные могли еще приходиться со сдобным и сладким, когда арестованные, сфотографированные с меловым номером на груди, уже прошли свой путь из подвала No 3 в тюрьму, из тюрьмы связанными в подвал No 2, из него в No 1 и, следовательно, на кладбище, когда на дворе в помойке дымились черновики их дел, уже сданных в архив (черновики, обрывки, выметенные за день из отделов, в Губчека всегда жглись), когда желтые, жирные, голохвостые крысы огрызали крепкими зубами, острыми красными язычками вылизали их кровь.

Белый трехэтажный каменный дом с красным флагом, с красной вывеской, с часовыми равнодушно скалил чугунные зубы ворот, высовывал из подворотни красные кровяные языки в белой слюне известки (в теплое время кровь, натекшую с автомобилей, увозящих трупы, всегда присыпали известью). Он не знает горя ни тех, кто работает в нем, ни тех, кого приводят в него, ни тех, кто приходит к нему.

## IX

На заседании Коллегии окончательно выяснилась такая схема белогвардейской организации:

Группа А–пятнадцать пятерок, активнейшие строевые колчаковские офицеры, главным образом из числа служащих советских учреждений. Ее задача взять партшколу и артсклад. Группа Б–десять пятерок, бывшие офицеры, бывшие торговцы, мелкие предприниматели, лавочники, служащие в солдатах, несколько человек из комсостава Красной Армии. Задача–взять телеграф, телефонную станцию, Губисполком. Группа В–семь пятерок, сброд. Задача–вокзал.

После захвата назначенных пунктов и выделения достаточного количества постов для их охраны, соединение всех групп, ставка на переход некоторых красноармейских частей, атака Губчека, бой с войсками, верными советской власти.

Организация, кроме тридцати двух пятерок, имела много сочувствующих, помогающих, исполняющих вторые роли.

На заседании Коллегии Срубов чувствует себя очень хорошо. Он на огромной высоте. А люди–где–то далеко, далеко внизу. И с высоты именно он увидел, как на ладони, всю хитрую путаницу паутины Белого, разорвал ее. Срубов полон гордого сознания своей силы.

Следователь докладывает:

– ...активный член организации, его задачей...

Слушали все внимательно. В кабинете совершенно тихо. У Каца насморк. Слышно, как он сдержанно сопит. Прерывисто мигает электрическая лампочка.

Следователь кончил. Молчит, смотрит на Срубова. Срубов ему вопрос:

– Ваше заключение?

Следователь трет руку об руку, поводит плечами, ежится:

– Полагаю, высшую меру наказания. Срубов кивает головой. И ко всем:  
– Имеется предложение–расстрелять. Возражения? Вопросы? Моргунов покраснел, макнул усы в стакан с чаем.

– Ну, конечно.

– Стрельнули, значит?

Срубому весело. Кац, сморкаясь, подтвердил:

– Стрельнули.

– Следующего.

Следователь проводит рукой по черной щетине волос, начинает новый доклад.

– Поставщиком оружия для организации являлся...

– Этого как, товарищи?

Кац опустил голову, полез в карман за носовым платком. Пепел сосредоточенно закурил. Моргунов задумчиво помешивал ложечкой в стакане чай. Казалось, что никто ничего не слышал. Срубов помолчал. Потом громко решительно сказал за всех:

– Принято.

Фамилии, фамилии, фамилии, чины, должности и звания. Один раз Моргунов возразил, стал доказывать:

– По–моему, этот человек не виноват... Срубов его остановил решительно и злобно:

– Ну, вы, миндаль сахарный, замолчите. Чека есть орудие классовой расправы. Поняли? Если расправы, так, значит,–не суд. Персональная ответственность для нас имеет значение безусловное, но не такое, как для обычного суда или Ревтрибунала. Для нас важнее всего социальное положение, классовая принадлежность. И только.

Ян Пепел, энергично подняв сжатые кулаки, поддержал Срубова.

– Революция–никакой философии. Расстрелять. Кац тоже высказался за расстрел и стал усиленно сморкаться. Срубов на огромной высоте. Страха, жестокости, непозволенного –нет. А разговоры о нравственном и безнравственном, моральном и аморальном – чепуха, пред-рассудки. Хотя для людишек–булавочек весь этот хлам необходим. Но ему, Срубому, к чему? Ему важно не допустить восстания этих булавочек. Как, каким способом–безразлично.

И одновременно Срубов думает, что это не так. Не все позволено. Есть границы всему. Но как не перейти ее? Как удержаться на ней?

Бледнело лицо. Между бровей складки. Срубов не слушал докладчика–следователя. Думал, как остановиться на предельной точке дозволенного. И где она? На чем–то очень остром стоял одной ногой, другой и руками пытался сохранить равновесие. Удавалось с трудом. И только, кажется, уже к концу заседания обеими ногами стал устойчиво, твердо. Очень обрадовался, нашел способ удержаться на предельной черте. Все зависит, оказывается, от остро-конечной, трехгранной пирамидки. Ее, конечно, присутствие и обнаружил у себя в мозгу. Она железной твердости и чистоты. Ее состав – исключительно критикующие и контролирующие электроны. Улыбаясь, погладил себя по голове. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка. Успокоился.

Под протоколом подписался первым. Четко, крупными кольцами с нажимом подписал Срубов, от «о» протянул тонкую ниточку и прикрепил ее к концу толстой длинной палки, заменив-шей букву «в». Вся подпись–кусочек перекрученной деревянной стружки, нацепленной на кол. Члены коллегии на секунду замешкались. Каждый ждал, что кто–нибудь другой первый возьмет перо.

Ян Пепел решительно схватил ручку Срубова. Против слова «Члены» быстро нацарапал–Ян Пепел.

Срубов мрачно сдвинул брови. От белого листа протокола в лицо холод снежной ямы. Живому неприятно у могилы. Она чужая. Но она под ногами. Между фамилией последнего приговоренного и подписью Срубова–один сантиметр. Сантиметром выше–и он в числе смертников. Срубов даже подумал, что машинистка при переписке может ошибиться, поставить его в ряд с теми.

А когда собрались расходиться, внимание привлек стриженный затылок Каца. Невольно пошутил:

Какой у тебя, Ика, шикарный офицерский затылок–крутой, широкий. Не промахнешься.

Кац побледнел, нахмурился. Срубову неловко. Не глядя друг на друга, не простившись, вышли в коридор.

Последний лист бумаги (последние вспышки гаснущего рассудка), положенный Срубовым в черную папку, был мятый, неровно оторванный, с кривыми узловатыми синими жилами строк.

«Если расстреливать всю Чиркаловскую–Чулаевскую организацию пятерками в подвале, потребовалось бы много времени. Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы–могилы. Боже просил разрешения разграфить (зарубить шашками)–отказали. Стреляли сразу десять человек из револьверов в затылки. Некоторые приговоренные от страха садились на край канавы, свешивали в нее ноги. Некоторые плакали, молились, просили пощадить, пытались бежать. Картина обычная. Но кругом была конная цепь. Кавалеристы не выпустили ни одного–порубили. Крутаев выл, требовал меня–»Позовите товарища Срубова! Имею ценные показания. Приостановите расстрел. Я еще пригожусь вам. Я идейный коммунист». И когда я подошел к нему, он не узнал меня, бессмысленно тарачил глаза, ревел–»Позовите товарища Срубова!» Все–таки пришлось расстрелять его. Обнаружилось у него уж слишком кровавое прошлое, надоели заявления на него, да к тому же, все, что мог дать нам, он дал.

Но все же меня поразило, привело в восторг большинство этих людей. Видимо, Революция выучила даже умирать с достоинством. Помню, еще мальчишкой я читал, как в японскую войну казаки заставили хунхузов рыть могилы, сажали их на край и поочередно, поодиночке отрубали им головы. Меня восхищало это восточное спокойствие, невозмутимость, с которым ожидали смертельного удара. И теперь я прямо залюбовался, когда освещенная луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как неживая, как ряд гипсовых алебастровых статуй. Особенно твердо держались женщины. И надо сказать, что, как правило, женщины умирают лучше мужчин.

Из ямы кто–то закричал: «Товарищи, добейте!» Соломин спрыгнул в яму на трупы, долго ходил по ним, переворачивал, добивал. Стрелять было все–таки плохо. Ночь была хотя и лунная, но облачная.

Когда луна осветила окровавленные лица расстрелянных, лица трупов, я почему–то подумал о своей смерти. Умерли они–умрешь и ты. Закон земли жесток, прост–родись, роди, умирай. И я подумал о человеке–неужели он, сверлящий глазами телескопов эфир вселенной, рвущий границы земли, роющийся в пыли веков, читающий иероглифы, жадно хватающийся за настоящее, дерзко метнувшийся в будущее, он, завоевавший землю, воду, воздух, неужели он никогда не будет бессмертен? Жить, работать, любить, ненавидеть, страдать, учиться, накопить массу опыта, знаний и потом стать зловонной падалью... Нелепость...

Возвращались мы с восходом солнца. Проходя к автомобилю, я наступил ногой на муравейник. Десятки муравьев впились мне в сапоги. Я ехал и думал: козявка и та вступает в смертельный бой за право жить, есть, родить. Козявка козявке грызет горло. А мы вот философствуем, нагромодили разных отвлеченных теорий и мучаемся. Пепел говорит: «Революция–никакой философии». А я без «философии» ни шагу. Неужели это только так и есть... родись, роди, умри?»

## XI

Потом была койка в клиниках для нервнобольных. Был двухмесячный отпуск. Было смещение с должности предгубчека. Была тоска по ребенку. Был длительный запой. Много было за несколько месяцев.

И вот теперь этот допрос. Срубов худой, желтый, под глазами синие дуги. Кожаный костюм надет прямо на кости. Тела, мускулов нет. Дыхание прерывистое, хриплое.

А допрашивает Кац. Лицо у него–круглый чайник. Нос–дудочка острая, опущенная вниз. Хочется встать и с силой ткнуть большим пальцем в ненавистную дудочку, заткнуть ее. И ведь сидит, начальство из себя разыгрывает за его же столом. Ручку белую слоновой кости схватил красной лапой, в чернилах всю вымазал. А допрос–пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там–лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека. И все дудочкой кверху, кверху, как в самое сердце сует ее, ковыряет.

Рвет Срубов бороду. Зубы стискивает. Глазами огненными, ненавидящими Каца хватает. По жилам обида кислотой серной. Жжет, вертит. Не выдержал. Вскочил и бородой на него:

– Понял ты, дрянь, что я кровью служил Революции, я все ей отдал, и теперь лимон выжатый. И мне нужен сок. Понял, сок алкоголя, если крови не стало.

На мгновенье Кац, следователь, предгубчека, обратился в прежнего Ику. Посмотрел на Срубова ласковыми большими глазами.

– Андрей, зачем ты сердишься? Я знаю, ты хорошо служил Ей. Но ведь ты не выдержал?

И оттого, что Кац боролся с Икой, оттого, что это было, больно, с болью сморщившись, сказал:

– Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?

Срубов махнул рукой и по кабинету. Кости хрустят в коленях. Громко шуршали кожаные штаны. На Каца не смотрит. Стоит ли обращать внимание на это ничтожество? Перед ним встала Она – любовница великая и жадная. Ей отдал лучшие годы жизни. Больше – жизнь целиком. Все взяла – душу, кровь и силы. И нищего, обобранного отшвырнула. Ей, ненасытной, нравятся только молодые, здоровые, полнокровные. Лимон выжатый не нужен более. Обьедки в мусорную яму. Сколько позади Ее на пройденном пути валяется таких, выпитых, обессиленных, никому не нужных. Видит Срубов ясно Ее, жестокую и светлую. Проклятия, горечь разочарования комком жгучим в лицо Ей хочет бросить. Но руки опускаются. Бессилен язык. Видит Срубов, что Она сама – нищая, в крови и лохмотьях. Она бедна, потому и жестокая.

Но инвалид, обьедок еще жив и жить хочет. А мусорщик с метлой уже пришел. Вон сидит – дудочка кверху. Нет, он не хочет в яму. Его решили уничтожить. Не удастся. Он сумеет скрыться. Не найдут. Жить, жить... Пусть остается на столе фуражка. С хитрой ядовитой улыбкой к Кацу:

– Гражданин предгубчека, я еще не арестован? Разрешите мне выйти в клозет?

И в дверь. И по коридору почти бегом. А Кац, ставший опять Кацем, предгубчека, краснеет от стыда за минутную слабость. С силой крутит ручку телефона, справляется у начальника тюрьмы, есть ли свободная одиночка. Закуривает, ждет Срубова, твердо, спокойно подписывает постановление об его аресте.

Но Срубов уже на улице. На тротуарах людно и тесно. По середине дороги длинные костлявые ноги разбрасывал широко. Руками махал. Волосы на ветру торчком в разные стороны. Любопытные останавливались и показывали пальцами. Ничего не видел. Помнил только, что надо бежать. Несколько раз сворачивал за углы. Названия улиц, номера домов не играли роли. Важно было только скрыться. Задыхался, падал, вставал и снова дальше. Хлопали, открывались какие-то двери. Росла надежда, что побег удастся. Не догонят...

И вдруг неожиданно, как несчастье, черная непроницаемая стена загородила дорогу. А за спиной двойник. Он, оказывается, гнался все время следом. Не оглядывался – не видел. Теперь он доволен – догнал. Вон ртом хватает воздух, как рыба, и рожу кривит.

Срубов не понимал, что он у себя на квартире стоит перед трюмо.

Страха перед двойником не было на этот раз. Моментально решил его уничтожить. Топор от печки сам прыгнул в руки. Со всего размаха двойника по лицу. Насквозь – от правого глаза к мочке левого уха. А он, дурак, в последнюю секунду еще засмеялся, захохотал. Так с хохотом и рассыпался по полу сверкающими кусками.

Один враг уничтожен. Теперь стена. Напрасно воображают поставить его к ней. Расстрелять его никому не удастся. Он обманет всех. Пусть думают, что он раздевается, а он ее топором. Прорубит и убежит.

Сзади в дверях бледное испуганное лицо матери.

– Андрюша, Андрюша.

Осыпалась штукатурка. Желтый бок бревна. Щепки летят. Еще и еще сильнее. Топор соскочил с топорница. Черт с ним. Зубы – то на что. Зубами, когтями прогрызет, процарапает и убежит.

– Андрей Павлович, Андрей Павлович, что вы делаете? Кто это тянет его за плечи. Надо посмотреть. Может быть, двойник опять поднялся с полу. Не насмерть его значит убил. Срубов пристально смотрит в глаза маленькому коренастому черноусому человеку. Ага, квартирант Сорокин. Обывателишка, в собесе служит. Надо держать себя с достоинством, подальше от этой дряни. Гордо поднял голову:

– Прошу, во-первых, не фамильярничать, не прикасаться ко мне грязными ручишками.

Во-вторых, запомните, я коммунист и христианских имен, разных Андреев блаженных и Василиев первозванных или как там... Ну да, не признаю. Если вам угодно обращаться ко мне, то пожалуйста – мое имя Лимон...

Отчего-то сразу устал. Голова кружится. Сил нет. Угорел, что ли? Проехать бы на автомобиле за город. Пожалуй, надо ПОПЧУИТЬ этого обывателишку. Оказывается, согласен, даже рад. И мать тоже тут, улыбается, головой кивает.

– Прокатись, Андрюша, прокатись, родной.

В прихожей разрешил надеть на себя пальто. На голову самое легкое кепи. Чем легче, тем лучше. В дверях обернулся. Мать что-то плачет. Вся дрожит, трясется.

– Мама, не забудь сегодня Юрику на завтрак котлетку... Ничего не ответила, плачет. Автомобиль двигался почему то не бензином, а конной тягой. Да и тащила его какая-то заморенная клячонка. Ну, все равно. Главное, чтобы сидеть. И Сорокин ничего, можно даже поговорить с ним.

– Сорокин, вы знаете, я ведь с механического завода. Рабочий. Двадцать четыре часа в сутки.

Все-таки сидеть трудно. Может быть, можно лечь? Надо спросить.

– Сорокин, кровать далеко? Я смертельно устал.

Ну и тип этот Сорокин. Чурбан с глазами. Молчит. Плохой кавалер – за талию сгреб, как медведь.

Из-за угла люди с оркестром, с развернутым красным знаменем. Оркестр молчит. Резкий, четкий стук ног.

В глазах Срубова красное знамя расплывается красным туманом. Стук ног – стук топоров на плотях (он никогда не забудет его). Срубову кажется, что он снова плывет по кровавой реке. Только не на плоту он. Он оторвался и щепкой одинокой качается на волнах. А плоты мимо, обгоняют его. Вдоль берегов многоэтажные корабли. Смешно немного Срубову, что сотни едущих, работающих на них с плотными красными лицами, с надувшимися напряженными жилами поднимают к небу длинные, длинные карандаши труб, чертят дымом каракульки на небесной голубой бумаге. Совсем дети. Те ведь всегда в тетрадках каракульки выводят.

Туман зловонный над рекой. Нависли крутые каменным берега. Русалка с синими глазами, покачиваясь, плывет навстречу. На золотистых волосах у нее красная коралловая диадема. Ведьма лохматая, полногрудая, широкозаядая с ней рядом. Леший толстый в черной шерсти по воде, как по земле, идет. Из воды руки, ноги, головы почерневшие, полуразложившиеся, как коряги, как пни, полосы женщин переплелись, как водоросли. Срубов бледнеет, глаза не закрываются от ужаса. Хочет кричать – язык примерз к зубам.

А плоты вес мимо, мимо... Вереницей многоэтажные корабли. Оркестр поравнялся с пролеткой Срубова. Загремел. Срубов схватился руками за голову. Для него ни стук ног, ни бой барабанов, ни рев труб – земля затряслась, загрохотал, низвергаясь, вулкан, ослепила огненная кровавая лава, посыпался на голову, на мозг черный горячий пепел. И вот, сгибаясь под тяжестью жгучей черной массы, наваливающейся на спину, на плечи, на голову, закрывая руками мозг от черных ожогов, Срубов все же видит, что вытекающая из огнедышащего кратера узкая кроваво-мутная у истоков река к середине делается все шире, светлей, чище и в устье разливается сверкающим простором, разливается в безбрежный солнечный океан.

Плоты мимо, мимо корабли. Срубов собирает последние силы, стряхивает с плеч черную тяжесть, кидается к ближнему многоэтажному великану. Но гладки, скользки борты. Не за что уцепиться. Срубов соскочил с пролетки, упал на мостовой, машет руками, хочет плыть, хочет кричать и только хрипит:

– Я... я... я...

А на спине, на плечах, на голове, на мозгу черный пепел жгучей черной горой давит, жжет, жжет, давит.

И в тот же день.

Красноармейцы батальона ВЧК играли в клубе в шашки, играли, щелкали орехи, слушали, как Ванда Клембовская играла на пианино «непонятное».

Ефим Соломин на митинге говорил с высокого ящика.

– Товарищи, наша партия Рэ–Ка–Пы, паши учителя Маркса и Ленина–пшеница отборна, сортирована. Мы коммунисты–ничо себе сродна пшеничка. Ну, беспартийные–охвостье, мякина. Беспартийный–он понимает, чо куда? Никогда. По яво убивцы и Чека мол одно убийство. По яво и Ванька убиват, Митька убиват. А рази он понимает, что ни Ванька, ни Митька, а мир, что не убивство, а казнь–дела мирская...

А Ее с битого стекла заговоров, со стрихнина саботажа рвало кровью и пухло Ее брюхо (по библейски–чрево) от материнства, от голода. И, израненная, окровавленная своей и вражьей кровью (разве не Ее кровь–Срубов, Кац, Боже, Мудыня), оборванная, в серо–красных лохмотьях, во вшивой грубой рубахе, крепко стояла Она босыми ногами на великой равнине, смотрела на мир зоркими гневными глазами.

( Предисловие было написано для предполагавшегося издания повести в 1923 г. Но повесть не была напечатана, поэтому и предисловие не увидело свет (Прим. Изд.).

1923 г.

## **В. ЗАЗУБРИН. ОБЩЕЖИТИЕ**

### **Страничка первая**

#### **Дом № 35**

Он – голубой и с мезонином. Стоит на углу Октябрьской и Коммунистической улиц. Ранее принадлежал вдове статского советника Обкладовой. Теперь – национализован. Занят общежитием сотрудников Губисполкома.

От прежней хозяйки в доме остались широкие, деревянные кровати, кожаные кресла и диваны, кривоногие столы и тюлевые занавесочки на окнах (не на всех), туи и олеандры на подоконниках и едва уловимый запах залежавшегося старого платья, нафталина, ладана.

Больше ничего.

Живут в доме новые люди – сотрудники Губисполкома. На доме нет соответствующей вывески. Но есть другая, около входных дверей, эмалевая, массивная, как белая каменная плита:

**Доктор**

**Лазарь Исаакович**

**ЗИЛЬБЕРШТЕЙН**

**Кожные и венерические**

Часы приема ранее были указаны. Теперь заклеены серой бумагой. Вывеска видна изда- лека. Даже ночью.

Комнаты в доме все пронумерованы.

#### **Комната № 1**

Это мезонин.

Занимает его советский поп–баба – завзагсом (заведующая отделом записей актов граж- данского состояния) – Зинаида Иосифовна Спинек.

Зинаида Иосифовна Спинек лежит с Петром Петровичем Крутиковым. Постель широ- кая, матрац мягкий, пружинный, одеяло теплое. Огненным пузырем дуется, ворчит за кроват- ю железное раскаленное брюхо кривоногой печки. В комнате тепло, темно, тихо.

За окнами, с шелестом черных мокрых юбок, идет ночь. Черная ночь идет за город, за реку, на черные мокрые безмолвные просторы полей. За поля каждый день уходит солнце, там запад, и туда же каждые сутки уходит ночь.

Ночь идет пятая в октябре.

Петр Петрович Крутиков зевает, говорит вполголоса:

– Хорошо бы мне, Зинушка, перебраться к вам в общежитие.

Зинаида Иосифовна Спинок тоже зевает и говорит тоже вполголоса.

– Нельзя вам, Петя, вы служите в Губторге. Наше общежитие только для сотрудников Губисполкома.

(Спинок меняла мужчин часто и поэтому даже в постели говорила всем вы).

Спинок и Крутиков хотят спать. Шуршит шелковое, стеганое, двухспальное одеяло. Четко щелкают пружины матраца – Зинаида Иосифовна и Петр Петрович укладываются уютнее.

В комнате тихо, тепло, темно.

Спинок и Крутиков тихо засыпают.

### *Комната № 2*

Внизу, первая направо от входной двери, против кухни.

Над столом светлая груша электрической лампочки. На столе краюшка черного хлеба, хлебные крошки, кусок вареного мяса, раскрытая книга Бухарина – «Исторический материализм». Над книгой лохматая льняная голова, широкое красное лицо с мягким бесцветным пухом на верхней губе. Но не Бухарин в голове лектора Губпартшколы товарища Русакова. Товарищ Русаков думает, что Анна Павловна Скурихина, ухаживавшая за ним во время его долгой болезни, его соседка по комнате и жена его начальника – женщина необыкновенная. Вот уже две недели, как почувствовал товарищ Русаков, что жить без Анны Павловны он не может.

Но товарища Русакова от Анны Павловны отделяет толстая капитальная перегородка и муж.

### *Комната № 3*

Рядом с комнатой товарища Русакова. Анна Павловна, только что освободившаяся из объятий мужа, разводит в большой стеклянной кружке квасцы. (Ей кто-то сказал, что если с квасцами, то детей не будет.)

Вениамин Иннокентьевич Скурихин – коммунист, завхоз Губпартшколы, человек дисциплинированный, аккуратный, чистоплотный, много читавший по гигиене, человек безусловно образованный (хотя и учился в духовной семинарии), – стоит в одних тиковых полосатых кальсонах перед умывальником и тщательно намыливает руки.

В комнате полумрак. Электрическая лампочка обвязана тонкой черной тряпкой.

На маленькой беленькой постельке спит семилетняя Милочка. Косичка у Милочки на подушке – тонким черным хвостиком зверька.

Вениамин Иннокентьевич долго мылится, моется, долго обтирается мохнатым полотенцем. Упруго шагает по мягкому ковру к постели. Жена уже лежит. Вениамин Иннокентьевич молча ложится рядом и через минуту храпит.

Жена лежит с открытыми глазами. Жена с тоской думает, что утром это будет опять. За восемь лет у нее были одни роды и каждый год не менее трех аборт. Анна Павловна отдыхала только тогда, когда у мужа бывали любовницы.

Анна Павловна приподнимается на одной руке, другой достает из-под матраца маленькую иконку. Анна Павловна отвертывается от мужа к стене, горячими пальцами сжимает иконку, прижимается к ней горячими губами, мочит ее солеными слезами, шепчет:

– Господи, помоги мне. Господи, пошли моему мужу сильную любовницу. Господи, облегчи.

Вениамин Иннокентьевич спит крепко. Беспокойно мечется во сне Милочка. Крутится на белой подушке тоненький черненький хвостик зверушки. В комнате полумрак и шуршащее тиканье маятника.

Анна Павловна молится, уткнув лицо в щель между постелью и стеной.

### *Комната № 4*

В ней темно. Одеяло у Вишняковых, как и у Спинок, двухспальное, стеганое. Но не шелковое и очень старое. Подкладка у одеяла продралась, грязная вата лезет клочьями. От одеяла пахнет потом, застарелой постелью.

В черной щели между одеялом и простыней, в клочьях грязной ваты лежат два холодных тела – мужа и жены Вишняковых. Где–то рядом в тьме комнаты сопят трехлетний Тоша и четырехлетний Гоша.

Вишняковы лежат час, два. Ворочаются с бока на бок, задевают друг друга боками, руками, ногами. Наконец, лицо Вишнякова перекашивает брезгливая, сладострастная гримаса.

Сон подходит медленно, медленно начинает наталкивать в череп грязную вату. Рыхлые серые клочья делаются упругими, давят мозг. Сознание гаснет.

Вишняковы спят.

### *Комната № 5*

Две, собственно. Но под одним номером. Живет в них доктор Лазарь Исаакович Зильберштейн с женой Бертой Людвиговной. Одна комната у доктора – спальня. Другая кабинет и приемная.

В спальне две кровати. На одной спит Берта Людвиговна. Доктор сидит в кабинете.

Доктор уже несколько лет работает над половым вопросом. На столе у него белые вороха анкет. Глаза доктора, черные большие, вспыхивают сухими огоньками сосредоточенной мысли.

Левая рука крутит острый клинышек волос на подбородке. Волосяные кольца блестящими пружинками свешиваются на лоб. Быстро, как ткацкий станок, снует по бумаге перо.

Испытывают... Женщины... Мужчины...

Удовольствие...

Равнодушие...

Отвращение...

Различно...

Доктор делает сводки.

Идеалы...

Женщины... Мужчины.

Брак...

Длительно любовные...

Случайное сближение...

Проституция...

Бегают челнок–перо. В белую бумажную основу вплетаются черные нити строк. Дрожат, свешиваются на лоб кольцевые блестящие пружинки волос. В глазах сухие огоньки мысли.

Лампа горит ярко. Доктор работает долго.

### *Кухня*

По стенам и за печкой шуршат тараканы. На широкой деревянной лавке спит прислуга Спинец – Паша. В темноте белеют голые, мускулистые руки, закинута за голову. Пахнет около Паши черным хлебом и луком.

На печке в квашне сопит и вздыхает тесто.

### *Коридор*

Тьма. Пахнет уборной, аптекой, пеленками, ладаном. Слышно, как у Вишняковых плачет ребенок.

### *Страничка вторая*

Ночь не всегда уходит. Часто она просто переодевается, снимает с себя черное платье.

Ночь не ушла. Ночь заспанным, серым лицом в белой рубашке прижимается к окнам голубого дома с мезонином.



В доме ходят женщины в белых ночных рубашках, с бледными мятыми лицами. Лохматые мужчины фыркают у умывальников.

Раньше всех встает Паша.

Паша задирает юбку выше толстых мускулистых икр, засучивает рукава, моет кухню.

Когда Паша еще моет кухню и из комнат еще никто не выходит – коридором, бесшумно, на носках прошмыгивает маленький кругленький Крутиков.

На службу первым уходит Зильберштейн. Высокий, прямой, в широкополой шляпе, в длинном пальто громко стучит по коридору сапогами и палкой, с силой хлопает дверью.

Федя Русаков жжется жестяной кружкой, пьет чай с черным хлебом и маслом. Уходя, кричит в раскрытую дверь кухни:

– С добрым утром, Паша!

Паша улыбается во весь рот, закрывает глаза широкой ладонью. Но отвечает громко:

– С добрым утром, товарищ Русаков!

Голоса Русакова и Паши по сонному, застоявшемуся воздуху дома – свежим утренним холодком. Русаков шлепает по мостовой железом солдатских ботинок. Паша громыкает ведром. Половая тряпка, скрученная тугим жгутом, скрипит. Руки и лицо Паши красны от напряжения.

Спинек, розовая, моется до пояса. Обтирается одеколоном. Перед зеркалом долго расчесывает золотистые волосы, красит губы, пудрится, подводит синим карандашом синие блестящие глаза.

Вишняков медленно тянет через зубы теплый чай. Вера Николаевна непричесанная, грузная, в грязном капоте, сидит за самоваром. Вишнякову противна жена, ее руки с пухлыми, негнушимися пальцами и черными каемками ногтей.

Дети дерутся в углу за кроватью. Четырехлетний черненький Гоша тянет за вихор трехлетнего беленького Тошу. Тоша ревет. Гоша визжит.

Кровать смята. Одеяло и простыня серой кучей.

Вишняков морщится.

– Неужели нельзя до чая?

Щеки Веры Николаевны трясутся, краснеют.

– За вами за всеми не наприбираешься! Вас трое, а я одна.

Вишняков вскакивает.

– Дура! Я служу. Должно же быть разделение работы. Наконец, мне просто некогда.

У Веры Николаевны сильнее трясутся щеки, мутнеют глаза.

– Ну, найди себе умную!

Вишняков срывает с вешалки шинель.

– Дура!

Дверь захлопывается и тихо, со скрипом, приоткрывается.

Вера Николаевна торопливо щелкает ключом. Ребятишки хватают ее за ноги. Вера Николаевна дрожит, сдерживает слезы. Но из мутных глаз текут по щекам теплые потоки.

Скурихин, выбритый, причесанный, в новеньком выглаженном коричневом френче, в черных галифе, в вычищенных сапогах высовывается в коридор.

– Нюша! Нюшоночка! Чаю, чаю скорей!

Анна Павловна в кухне гремит самоварной трубой.

Лошадь Скурихину уже подана.

Дома остаются: Паша, Вера Николаевна, Анна Павловна и Берта Людвиговна. Четыре женщины в одной кухне.

Конечно, им тесно.

У Паши перекисает. У Веры Николаевны пригорает. У Анны Павловны не проваривается. У Берты Людвиговны бежит. У всех кипит, шипит, плещется, чадит.

В одной кухне в клубах пара, дыма, копоти четыре женщины. А вот Анна Павловна думает, что Вера Николаевна страшная грязнуха. Вера Николаевна думает, что Берта Людвиговна невыносимо груба. Берта Людвиговна думает, что Анна Павловна и Вера Николаевна совершенно бестактны. Паша прокликает всех трех – ей совсем негде поставить кастрюлю с супом.

Горшки, чугушки, кастрюльки, баночки, кадочки, кружечки, квашонки камнями несутся в чадном, горячем, шипящем потоке с плиты в печку, из печки на стол, на лавки, с лавок, со стола на печку, из печки снова в печку, на плиту. Горшочно–чугунно–кастрюльный поток гремит в кухне, захлестывает, затирает четырех женщин. Женщины машут руками, толкают камни–горшки, защищаются.

И для того, чтобы пообедать восьми взрослым и троим детям, четыре женщины должны плыть полдня.

Четыре женщины, как веслами, работают ухватами, сковородниками, кочергами, хлебными лопатами, в чаду, в дыму, в пару плывут потные, засаленные.

Сизо–серый туман ест глаза. На окнах мутные потеки. В кухне полумрак и огненная красная языкая пасть печки.

А в комнатах – неубранные постели, невынесенные горшки, неметеные, немые пытые полы. Нужно идти в комнаты и на потные руки, шеи, лица, головы собрать пыль с мебели и полов. И еще нужно обязательно до обеда взять корыто, наложить в него грязного белья, распарить его кипятком и в кислом пару растирать, растереть в кровь руки, еще раз раскалить лицо и голову.

Каждый день печка, плита, корыто и утюг выжигают, выпаривают со щек женщин румянец, тусклят краски глаз. Усталые женщины подают усталым мужчинам обед.

Единственная женщина, освобожденная от работы в кухне, из всех живущих в общежитии, – Спинек. С 10 утра до 4 дня сидит Спинек в своем отделе в Губисполкоме. В большие, толстые книги она записывает вступающих в брак, родившихся, умирающих.

В большом городе идет большая жизнь. Тысячи людей рождаются, женятся, рождают, умирают. И все они (кроме умерших и новорожденных) должны являться в Губисполком к Зине Спинек, заявлять ей о своем желании жениться, сообщать, что у них родился ребенок или умерли старики родители. Спинек серьезная, в синем платье с глухим высоким воротником сухо, но подробно расспрашивает каждого о его происхождении, роде занятий, возрасте, имени и фамилии. Спинек знает, кто, когда и на ком женился, знает, кто, когда и у кого умер, кто, когда и у кого родился. Но ей не интересно это, ей надоели чужие радости и горе. И идущим к ней не всегда хочется говорить, что у них родился ребенок, что они любят друг друга.

Но так устроена жизнь, что все совершающееся в ней должно быть записано в книгах.

Доктор Зильберштейн в своей больнице тоже ведет книги. Доктор Зильберштейн отмечает, сколько каждый день у людей в большом городе проваливается носов, изъедается глоток, гниет мышца и костей. Доктор записывает, сколько больных лечится, сколько умирает. Как и Спинек, Зильберштейн расспрашивает каждого о происхождении, профессии, возрасте, имени, отчестве и фамилии.

Город большой. В городе тысячи людей и тысячи из них записаны в книгах доктора Зильберштейна.

Доктор Зильберштейн из книг делает выборки, сводки и составляет таблицы.

### **Влияние Революции на половое чувство**

У женщин... У мужчин...

Оставила без изменений...

Усилила... Ослабила...

### **Влияние Революции на рост венерических заболеваний**

И чем больше идет людей к доктору Зильберштейну, тем длиннее у него колонки цифр и числа из двузначных, трехзначных вырастают в четырехзначные, и тем увереннее, тверже ходит доктор, выше держит голову. Каждый день доктор все больше убеждается в правоте своих гипотез.

Гипотезы доктора Зильберштейна таковы:

1) Человечеству грозит всеобщее заражение сифилисом и, следовательно, вырождение.

2) Спасти от вырождения человечество может только полным уничтожением семьи (этого главного рассадника венерических болезней), функции мужа и жены должны отпасть. Оплодотворение должно быть только искусственным.

3) Общество, в лице ученых специалистов, и только общество, правомочно решать вопросы зачатий и рождений. Здоровье человечества слишком опустошено, разорено всевозможными болезнями, чтобы можно было допускать такую роскошь, как беременность по личному желанию.

4) Человечество будет спасено, если ученые будут производить отбор здоровых женщин и искусственно оплодотворять их.

Доктор Зильберштейн пишет книгу, которая должна указать человечеству правильный путь. Доктор Зильберштейн, кроме почти законченной гениальной книги, имеет еще прекрасную жену. Жена доктора вполне разделяет убеждения мужа. Муж и жена Зильберштейны давно, по взаимному соглашению, не выполняют функций мужа и жены. (Хотя у Берты Людвиговны есть любовник – Скурихин; но Лазарь Исаакович этого не знает).

Доктор Зильберштейн и его жена вполне счастливые люди.

Лектор Губпартшколы Вишняков счастлив только когда стоит за кафедрой, когда перед ним сотни голов курсантов, когда к нему из самых дальних углов аудитории белой веревочкой тянутся бумажки вопросов.

Скажите, пожалуйста, товарищ лектор, в будущем будет ликвидирована любовь?

Если не будет брака, то опять женщина попадет в орудие производств?

Поясните, отчего ребенок зарождается внутри женщины, а не мужчины?

При коммунизме будет собственность на жену?

Товарищ Вишняков, могут коммунисты иметь двух или трех жен зараз?

Могут ли быть дети без соприкосновения мужчины и женщины, т.е. искусственно?

Будут ли женщины в конце замужними или всеобщими?

Вишняков читает о коммунизме. Всю ненависть к семье, семейной жизни вкладывает Вишняков в свои лекции. О грядущем обществе говорит как о бесклассовом, как о бессемейном. Разворошенная, взбудораженная слушает аудитория.

После лекции в коридоре Вишнякова останавливает Скурихин.

– Слушал я тебя, Вишняков. Зря ты все это. Чепуховый это вопрос, ненужный. Кому делать нечего – пожалуй, можно. После занятий набрать сочувствующих и наяривать. А на лекциях зря.

Скурихин человек занятый. Много не разговаривает. Вишняков не успевает возразить. Скурихин уже в другом конце коридора.

Скурихин останавливает какого-то курсанта. Голос у Скурихина звонкий, властный. На горбатом носу блестит золотое пенсне.

В угловой аудитории Федя Русаков кончает лекцию об историческом материализме и думает, что сегодня обязательно надо объясниться с Анной Павловной.

Обедают в общежитии все в один час. После обеда часто ходят на собрания, на лекции, на доклады. На лекциях, на докладах, на собраниях говорят о постройке большой красивой просторной жизни.

Страничка третья

Скурихин поднимается вверх к Спинек. Спинек сидит в широком кресле, в свободном пестреньком платьице с открытой шеей. Скурихин берет вялую полную холодноватую руку, медленно подносит к губам.

– Зинаида Иосифовна, вы любите Крутикова?

У Спинек дергаются брови. Спинек отвертывается.

– Нет, не люблю.

Скурихин блестит пенсне, глазами, зубами, иссиня-черными, гладко причесанными волосами.

– Тогда я не понимаю...

Спинек смотрит в сторону. Глаза у нее немного косят. Спинек говорит равнодушно-спокойно:

– Должна же я с кем–нибудь жить.

Скурихин берет стул, садится рядом со Спинек.

– Зинаида Иосифовна, но ведь дрянь же этот Крутиков, тряпка серая.

– Да, дрянь.

Скурихин пододвигается ближе, заглядывает в глаза.

– Вы знаете меня, Зинаида Иосифовна?

Спинек улыбается, смотрит выше головы Скурихина.

– Вы умный...

Скурихин снова берет руку Спинек. Пальцы Скурихина горячи. Блеск серых глаз, усиленный блеском пенсне, становится напряженнее и острее. Скурихин с усилием выдавливает через стиснутые зубы:

– Прогоните Крутикова.

Спинек привыкла, что сильный мужчина всегда сменяет слабого, сильнейший сильного. Спинек говорит безразличным ровным голосом:

– Хорошо.

Скурихин обнимает Спинек, целует. Спинек не убирает губ, но губы ее неподвижны, глаза пусты. Скурихин прижимается к женщине. Спинек спокойно отводит руки Скурихина.

– Вениамин Иннокентиевич, я больна.

Скурихин встает, минуту возбужденно шагает из угла в угол.

– Зинаида Иосифовна, я приду через три дня. Хорошо?

Грудь у Скурихина поднимается высоко и быстро. Спинек встает, чертит пальцами по клеенке стола, смотрит в пол.

– Хорошо.

Скурихин идет к жене доктора Зильберштейна. Доктора Зильберштейна нет дома. Доктор Зильберштейн совершает очередную вечернюю прогулку. Берта Людвиговна и Скурихин ложатся на постель доктора Зильберштейна.

Федя Русаков сидит с женой Скурихина, смотрит на нее влюбленными глазами.

Анна Павловна штопает мужу чулки.

Паша гремит в кухне посудой, поет:

### **Уважала, уважала, уваженье не берег...**

Вишняков начерно набрасывает статью для «Коммуниста».

«...Любовь при непрерывной, длительной совместной жизни в одной комнате, спанье в одной постели быстро испарится.

Что может быть отвратительнее нашей супружеской спальни?

Мопассан прав – брак есть обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью.

Разве женщина может чувствовать что–либо, кроме отвращения к мужчине, который поработил ее, заставил быть орудием наслаждения? Любви нет при таких условиях. Здесь только гнусное насилие и скотство. Скотство двойное, сугубое, если и женщина, по привычке спариваться с Иваном или с Петром, спаривается с ним изо дня в день холодно, как машина. К черту такой брак, когда женщина отдается в силу заключенного договора! Отдается вяло, без страсти, и рождаются чахлые ползающие создания... Жалкое машинное производство.

Такой брак подлость, насилие, скотство, разврат и обман. Обман, если люди с плохо скрываемым отвращением все же опять вместе. Современная супружеская постель – эшафот, на котором после долгих мук гибнет лучшее человеческое чувство – любовь.

Мы развращены. Природа не создала нас такими. (Звери не наслаждаются, а рожают. Звери не лакомятся, а питаются).

Мы сами своим подлым устройством жизни обратили добро во зло. Нам природа дала женщину–мать, женщину–друга, сестру, а мы обратили ее в рабу и проститутку. Органы, данные нам для продолжения рода, мы обратили в орудия разврата и наслаждения. И природа жестоко наказала нас за это рядом страшных и гадких болезней

Современные отношения между мужчиной и женщиной имеют корни в далеком прошлом, они тянутся к Библии, к Домострою, к Своду Законов Российской Империи и желтому билету проститутки...»

Вишняков на минуту кладет перо. Жена сидит за другим концом стола, хрустит блестящими ножницами, кроит ребятишкам рубашки. Вишнякову кажется, что глаза ее, большие, карие, похожи на глаза заезженной большой лошади.

#### Страничка четвертая

Скурихин, на всякий случай, не рвет окончательно с женой доктора Зильберштейна. Жена доктора Зильберштейна беременна.

Скурихин идет к Спинек. Анна Павловна слышит, как скрипит лестница мезонина, вздыхает облегченно.

– Слава богу!

Федя Русаков рядом с Анной Павловной сидит на низкой табуреточке. Голубые глаза Феде большие, кажутся еще больше оттого, что он смотрит на Анну Павловну снизу вверх.

– Анна Павловна, вы помните, как я тогда лежал в тифу...

Анна Павловна наклоняется к Феде. У нее усталые светло-карие глаза матери, говорящей с ребенком.

– Помню, Федя. Вы тогда были очень милым большим беспомощным ребенком.

Русаков кладет лохматую голову на острые колени Анны Павловны. Голос Русакова делается глуше.

– Анна Павловны, я очень одинок.

Анна Павловна шершавой рукой медленно ворошит волосы Русакова, молчит.

В кухне гремит посуда. Паша поет.

За стеной Вишняковы пьют чай. Дети спят. В комнате тихо. Вера Николаевна пьет из блюдечка, сопит. (У нее насморк.)

Говорить Вишняковым не о чем. Чай пьют молча. Вишняков с ненавистью смотрит на жену.

Обе комнаты доктора Зильберштейна закрыты, заперты. Берта Людвиговна лежит на постели, на снежно-чистой простыне. Лазарь Исаакович стоит перед ней в белом больничном халате.

– Берта, ты должна быть счастлива, что судьбе было угодно избрать тебя для такого высокого назначения.

Доктор Зильберштейн настроен торжественно.

– Я сейчас произведу над тобой опыт, который решит судьбу всего человечества.

Берта Людвиговна спокойно смотрит на мужа выпуклыми глазами.

– Я счастлива, Лазарь. Я благодарю судьбу, давшую мне такого мужа.

Доктор Зильберштейн гремит на столе колбами, пробирками, стеклянными трубочками, наклоняется над женой.

Русаков глубже прячет лицо в коленях Анны Павловны.

Анна Павловна обеими руками поднимает голову Русакова, целует его в лоб. Голубые прозрачные глаза Русакова темнеют, делаются синими. Русаков встает на колени, тянется к Анне Павловне, целует ее в губы. Русаков тяжело дышит. Его поцелуй горяч. Анна Павловна вздрагивает.

– Федя, не надо. Федя, уйдите.

Русаков грузно встает. Стоит, покорно опустив руки. Анна Павловна дрожит. В глазах у Анны Павловны страх и что-то еще, что коробит Русакова.

– Федя, прошу вас, уйдите, мне надо побыть одной.

Русаков молча, тяжело ступая, уходит, медленно притворяет дверь. Анна Павловна долго сидит, положив руки на колени, опустив голову. Потом берет бумагу, ручку и начинает писать.

«Федя, я хочу Вам сказать о том, как много прекрасных, чистых, глубоких, захватывающих переживаний дало мне общение с Вами.

Я никогда не забуду ночей, проведенных у Вашей постели, когда я, потрясенная до глубины души Вашим бредом, готова была кричать от ужаса, мне казалось, что вся сумма человеческого горя придавила меня.

Чувство бесконечной нежности охватывало меня, когда Вы, как ребенок, тянулись ко мне руками, когда Вы в бессознательном состоянии прислушивались к моим нежным словам, поддаваясь ласке, успокаивались.

Весь не растрченный запас материнских чувств нашел выход. Вы были для меня милым, бесконечно дорогим ребенком. Не буду говорить о той радости, том удовлетворении, какое дало мне Ваше выздоровление. А потом начались наши беседы. Я узнала наслаждение, какое дает возможность касаться душою души другого. Как люблю я Вашу большую душу.

Не сумею передать того прекрасного весеннего, что звучало в моей душе. Мое чувство было таким ярким, таким радостным. Ни тени ревности, ни жажды обладания не было в нем. От всего низкого, узкого было оно чисто. Какое счастье открыть в своей душе возможности, о которых не знал...

Но сегодня...

До сегодня, милый Федя, я думала, что люблю Вас полно и глубоко и что мы сможем дать друг другу светлое...

Я буду откровенна, Федя. Сегодня я поняла с особенной остротой и ясностью, что нам надо разойтись. Женщиной для Вас я быть не могу. Я ограблена, Федя. Физическая близость с мужчиной мне противна. Мой муж искалечил меня... Оставьте меня, милый. Я буду помнить и любить вас далекого. Когда мне станет душно среди людской пошлости, мелочности, подлости, душа затоскует о человеке, я вспомню Вас. Когда холодное жуткое одиночество, как ледяная пустыня, обступит меня, я вспомню, как Вы нежно и чутко подошли ко мне со словами ласки и участия.

Целую Ваш умный лоб.

*Анна «*

Анна Павловна прячет письмо под кофточку, на груди, ждет удобного момента, чтобы передать Русакову.

И Русаков не может откладывать объяснения до следующего дня. Русаков не знает, будет ли завтра Анна Павловна одна. Русаков тоже пишет.

Двое людей, отделенные перегородкой в четверть аршина толщины, пишут друг другу письма, ловят друг друга в коридоре, торопливо суют в горячие руки маленькие бумажные клочки.

### **Маленькая страничка**

«Что можно написать на этом клочке. Язык слов слишком беден для выражения лучших и интимных чувств. Нужно быть большим художником слова, чтобы читатель тебя понял и почувствовал всю гамму чувств, тебя переполняющих.

Я часто задаю себе вопрос, какая сила рождает это чувство – любовь? Из каких неисповедимых источников она появляется, хватается человека за сердце и ворочает им, превращает его в мягкое послушное тесто?

Мне иногда бывает очень тяжело. И тогда мне хочется, чтобы в моей руке была Ваша, и тогда мне все было бы нипочем. Как было бы хорошо, не говоря ни слова, с закрытыми глазами, держась за Вашу руку, идти по какому-нибудь полю и молчать, молчать, молчать.

Вы разбудили во мне скрытую жажду радости. Целуя Вас, я чувствовал, что пью эту радость большими жадными глотками, как будто я прошел целую пустыню.

На наших встречах не легло ни тени неискренности и деланности. Все это было так просто, как будто это было всегда.

Встреча с Вами мне дана в награду за какое-то хорошее дело или как компенсация за возможное ожидающее меня несчастье.

Анна Павловна, я не могу вздыхать и томиться, не хочу лгать Вашему мужу, я хочу живой радости свидания и близости. Если Вы любите меня, то мы должны сказать об этом открыто. Вы должны разойтись с мужем. Скажите мне прямо и просто – да или нет?

*Ваш Федор «.*

## Страничка пятая

Живущие в общежитии и уходящие из него на день днем делают большое нужное дело. Скурихин читает нужные лекции, делает нужные доклады, пишет в газете нужные статьи.

Вишняков и Русаков читают не менее нужные лекции, делают доклады. Вишняков пишет не только в газете, но и в журнале.

Спинек на службе считается добросовестной толковой работницей. Спинек нужна в Губисполкоме.

Доктор Зильберштейн, неоспоримо, необходимый, нужный работник. Доктор Зильберштейн человек с огромной инициативой. Доктор Зильберштейн не только предохраняет носы живущих в городе от проваливания, но и делает новые, вместо провалившихся. Кроме того, он пишет гениальную книгу, производит опыты над своей женой и ходит в губком РКП и губком РКСМ с предложением ввести принудительный еженедельный осмотр. И доктор Зильберштейн очень огорчается, когда его предложения отвергают оба губкома. Доктор Зильберштейн совершенно не понимает, почему партия так ревниво оберегает своих членов от всяких идеологических влияний и совершенно игнорирует опасность влияний физических, половых.

Скурихин, Вишняков, Русаков, Спинек, доктор Зильберштейн днем, несомненно, нужные люди. А ночью? Разве доктор Зильберштейн откажется идти на другой конец города к больному? И разве коммунисты Скурихин, Вишняков, Русаков не схватят винтовки и не прибегут на площадь по первой партийной тревоге? Или Спинек откажется от дежурства в Губисполкоме?

Конечно, доктор Зильберштейн пойдет к больному. Скурихин, Вишняков, Русаков пойдут с винтовками на Советскую площадь. Все пойдут – когда вызовут.

Но если никуда не вызывают и за окнами с шелестом черных мокрых юбок шлепает по грязи черная ночь? Если двухспальные стеганные одеяла грязны и в комнатах пахнет нафталином, старым залежавшимся грязным бельем и лампадным маслом. Тогда – каждый делает, что хочет и как хочет.

Ночь скрипит железом крыши. Скрипит лестница мезонина. Вишняков поднимается к Спинек. Жена Вишнякова провожает мужа злобным взглядом в приотворенную дверь.

– К шлюхе пошел, коммунист идейный.

Вишняков стучит в дверь к Спинек. Спинек закидывает руки за голову и идет к двери. Вишняков входит неуклюжий, в тяжелых солдатских сапогах, в потертом английском френче. От Вишнякова пахнет дегтем. Спинек в белом платье, с короткими широкими рукавами, напудренная стоит перед Вишняковым. Вишняков видит ровный алебастр рук женщины, обнаженных до плеч, тугой сверток золотых волос на голове. Спинек улыбается, декламирует:

Ветер проникнул в замочную скважину  
и сказал – «приходи!»  
Дверь тихонько распахнулась  
и сказала – «иди»...

Вишняков опускает глаза, не знает, куда девать длинные руки.

– Это ваш девиз?

Спинек кладет обе руки на плечи Вишнякова. Глаза Спинек косоватые, блеклые, пусты, смотрят в сторону.

– Виктор Алексеевич, последнее время я много думала о вас.

Вишняков краснеет, неловко поводит плечами. Спинек опускает руки, садится. Вишняков рад, что может спрятать под столом свои сапоги и заплатанные брюки. Лицо у Вишнякова худое, с острыми углами скул. Нос неправильный, большой. Глаза узкие, черные. Черные подстриженные усы. Вишняков некрасив. Вишняков знает, что стыдного в этом ничего нет. Но ему все-таки стыдно. Вишняков трет переносицу, закрывает рукой нос. Спинек крутит на пальце золотое обручальное кольцо. Брови ее дергаются. Вишняков не может поймать ее взгляда.

И вот, если внизу в темной комнате под стеганным, рваным, засаленным одеялом лежит усталая жена и глаза ее – глаза заезженной лошади. Если в доме тихо, так что слышно, как медленно, с монотонным бульканьем стекает с крыши вода. Если рядом сидит золотоволосая, синеглазая, бледная женщина и платье ее бело и легко. Тогда человек думает о чуде, и тогда он смел, красив.

Взгляды Спинек и Вишнякова на минуту встречаются. Вишняков нагибается к Спинек через стол и, не давая глазам женщины ускользнуть в сторону, говорит с силой:

– Вам нужен ребенок. Вы думали об этом?

Спинек бросает небрежно, рассеянно:

– Да.

Мужчина ласков. Глаза его смотрят прямо. Его голос тверд.

Женщина знала много мужчин... Ни один не спрашивал, чего она хочет. Все заявляли только о том, чего они хотят. Этот первый спросил, чего хочет она.

В доме тихо. Тихо, молча сидит большой мужчина, внимательно смотрит в глаза. И женщина, у которой было много мужчин, но которая всегда была одинокой, начинает мечтать о чуде.

Спинек говорит уверенно, радостно, и темная пустота ее глаз заливается блестящей влагой.

– Я хочу ребенка.

Скрипят внизу ставни. Снизу начинает скрипеть лестница. Без стука в дверь входит Скурихин. Вишняков нервно дергается на стуле, встает. В этот момент он ненавидит Скурихина. Глубоко под крышкой черепа просыпается тысячелетнее, голое, волосатое. Ноги делаются по-звериному упруги. Хочется на упругих звериных лапах подойти к Скурихину, зарычать, заскрипеть зубами и лапой, мощной, тяжелой, схватить за горло.

Вишняков, теребя короткую черную щетину на голове, идет к двери.

Спинек остается со Скурихиным. Скурихин хочет ее обнять. Спинек толкает Скурихина. Скурихин удивлен.

– В чем дело? Почему?

Спинек отходит к окну. Глаза ее опять пусты. Она смотрит на город, на реку, на поля. Ничего не видит. Небрежно отвечает:

– Так, ни почему.

Скурихин краснеет, как от пощечины. Он самолюбив. Но все же спрашивает:

– Совсем?

Спинек не обертывается.

– Да, совсем.

Спинек первый раз отказывает мужчине. Она чувствует себя необычайно сильной. Спинек думает о ребенке. Она уже видит его, ласкает.

Скурихин, багровый, круто повертывается, скрипит лестницей. Скурихин идет в кухню, запирает за собой дверь. Паша сопротивляется растерянно. Скурихин зажимает ей рот, кладет на лавку.

Доктор Зильберштейн стучит по коридору сапогами и палкой. Доктор Зильберштейн идет на очередную прогулку. На улице он широким вздохом набирает полную грудь черного сырого воздуха и думает, что жизнь прекрасна. Сегодня он узнал, что его опыт блестяще удался, у него жена беременна. Доктор Зильберштейн окончательно убежден в своей гениальности. Доктор Зильберштейн счастлив.

## Страничка шестая

Мокрый белый снег падает на черную мокрую площадь. Вишняков идет со службы. На площади красные флаги. И оттого, что сыплется снег, флаги краснее.

За все пять лет Революции Вишняков в первый раз остро и полно чувствует живую улыбку красных флагов. Вишняков улыбается снегу, флагам, насвистывает, насвистывая, входит в дом.

Жена усталая встает с кровати, смотрит большими злыми глазами заезженной лошади.

– Свистишь? Доволен? Бросилась на шею шлюха. На каждого кидается.



Вишняков подходит к жене, тихо берет ее за руку, смотрит в лицо.

– Зачем ты так говоришь о женщине? Почему ты не скажешь, что мужчина бросается на каждую? Ведь ты же женщина.

После обеда Спинец играет на пианино. Вишняков сидит рядом.

Платье на Спинец синее, новое. Новая материя блестит. Блестят синие глаза Спинец. Золотом отливают волосы. Светится матовая белизна рук, шеи, лица. Снежные квадратики клавиш сверкают под пальцами.

Мимо окна летят тяжелые мокрые снежинки. (Снег идет первый в эту осень.) С крыш течет. Но крыши белы.

Вишнякову кажется, что и музыка Спинец белая – белые прозрачные звучащие кристаллы. И белая радость в груди у Вишнякова.

Спинец устало откидывается на спинку стула. Вишняков берет ее руку, целует

– Вам нужно работать, Зина. У вас талант.

Спинец молчит. Глаза ее снова пусты.

Вишняков тянется к Спинец, смотрит внимательно, ласково.

– Когда я слышу твою игру, Зина, мое чувство к тебе делается глубже, тоньше. Меня как-то особенно окрыляет сознание, что ты – талант.

У Спинец дергаются брови. Но лицо неподвижно. Голос спокоен, холоден. Спинец говорит – бросает серые, бесцветные камешки – слова.

– Да? Разве? Почему?

Вишняков встает, начинает ходить из угла в угол.

– Ведь мы всегда в любимой женщине ищем что-то особенное. Какое же счастье любить ту, у которой, как у тебя, есть это особенное! Зинусь, ведь ты – талант... Может быть, больше.

Спинец как не слышит. Спинец думает о своем.

– Виктор Алексеевич, но у вас ведь жена, семья... И всегда мужчины говорят каждой женщине, что она особенная, необыкновенная, что они первый раз такую видят и любят первый раз с такой силой.

Вишняков морщится, молчит, хватается за голову, быстрее кружится по комнате.

– А почему вы равнодушны к своей жене, к своим детям? Ведь это будет то же самое.

Вишняков быстро подходит к стулу, садится, стучит кулаком по крышке пианино. Глаза Вишнякова черны и злы.

– Есть такие слова «хочу» и «должен». Я любил свою жену. Потом я перестал любить жену. Но механическая близость сохранилась. Родился ребенок, другой. Я уже должен их любить.

Вишняков хватается Спинец за руку, говорит, стискивая зубы:

– Пойми, что я люблю тебя.

Спинец неподвижна, холодна. Сколько мужчин говорили ей это слово – люблю. Сколько мужчин целовали ее, целовали ее губы, глаза, лоб, голову, руки, грудь, все, все тело. Все зацеловано, захватано, все было, повторялось и повторяется вновь.

– Виктор Алексеевич, так все и всегда говорят.

Вишняков вскакивает.

– И Скурихин?

Вишняков ревнует Спинец ко всем мужчинам, бывшим у нее до него. (Ведь каждый мужчина хочет быть первым, единственным, неповторимым. Каждая женщина хочет стать первой и последней.)

Спинец дергает бровями.

– Да, вроде этого...

– У–у–у. Проклятье!

Вишняков рычит, бежит, сжимает кулаки.

Спинец встает, улыбается, поправляет прическу.

– Виктор Алексеевич, пойдете на бульвар. Вам нужно успокоиться.

Частая чугунная решетка бульвара – длинная черная расческа в снежной седой голове. Снег, неглубокий, мокрый, тает.

Следы Вишнякова и Спинец черны и четки. На бульваре пусто.

Бульвар на берегу реки. Река чугунно–черная.

В беседке темно. Хотя пол в снегу.

На твердом, деревянном полу обжигающий белый холод снега и жгущий, белый жар упругого тела женщины.

– Милая.

– Я твоя милая?

– Первый раз сказала – ты.

Мимо беседки беззвучно пролетает большая белая птица. Крылья и голова у птицы круглые. Птица пушистым снежным шаром летит над чугунной чернотой реки.

Но когда идут домой – Спинек снова говорит «вы», снова холодна, замкнута. Спинек недоверчиво думает, что он, как все. Спинек не хочет выделять Вишнякова. Выделить, полюбить – отдать не только тело. А он уйдет, как и все. Будет больно. Не надо.

Спинек твердеет, идет с поднятой головой, со стиснутыми зубами.

Вишняков берет под руку, заглядывает в глаза.

– Зинусь, почему ты такая холодная, чужая?

Спинек говорит глухо:

– Так, ни почему.

– Ты любишь меня, Зинусь?

Спинек отвечает так, как отвечала многим мужчинам:

– Ну, да, я вас люблю. Вы мне нравитесь.

Но в глазах у нее пусто. И эта пустота пугает Вишнякова.

Подходят к дому. Снег почти стаял. На улице черно.

Расходятся как чужие. Рука Спинек холодна, безжизненна. Вишняков входит в комнату. Комната кажется ему совсем черной.

### Страничка седьмая

Вишняков сидит за столом, дома. Вишняков знает, что у Спинек гости. Но Вишнякову необходимо немедленно говорить со Спинек. И Вишняков пишет.

«Я пишу Вам... Разве любовь может быть без писем?»

За окном снег. Снег сыплется с серого неба, мешается с серым дымом города, падает на серые крыши, заборы, землю. Белое на сером быстро становится серым. Серое, серое, серое.

Нет радости – подлинной, зимней, сверкающей, снежной.

Зима. Зима всегда – белое слепящее веселье, бодрящая сила.

Сыплется снег. Бесчисленные снежинки совершают свой неизменный путь от облаков до земли. На серое, на черно–серое падает белое. И серое, черно–серое, грязное, затоптанное делается чистым искристо–белым, хмельно–радостным, неповторяемо новым.

Путь снежинок предопределен веками, в нем неизбежное, неотвратимое, извечное. Неизбежно белому упасть на черное, дать черному белую сверкающую радость и по исполнении положенных сроков – оплодотворить и умереть, уступить место новому, зеленому.

Нет еще подлинной слепящей зимней радости в наших отношениях. (Зимнее – верное, крепкое, ясное.) Дни наших встреч – снежинки. Чистые, белые снежинки еще падают на серое, чужое, еще мешаются с серым дымом прошлого. Но неотвратим, белокрепок лет снега времени. Еще немного, и белый снег завалит, забелит, засеребрит все осеннее, прошлое. (Осеннее ведь всегда прошлое. Осенью всегда думают о прошедшей весне или лете).

Я вижу эти дни – зимние, верные, крепкие, ясные. Ты в сумерках будешь лежать и слушать монотонное ворчание огня в железной кривоногой печке. Ты будешь ждать меня большая, сильная, ласковая.

Я буду приходить вечером. Мы закроем двери. Красная ласковая теплая печка будет беззлобно ворчать у нас в ногах. В окна мы увидим звездное небо и снежные сине–белые сверкающие просторы полей.

Белы, крепки, чисты будут наши тела и горячи, как снег. (Ведь снег не студит, а жжет.)

Снежинки – дни наших встреч.

Будет падать снег времени. Будет расти большое, снежное, слепящее, зимнее чувство. (Помни – зимнее, всегда верное, крепкое, ясное)

Я убежден, будет у нас белая, большая, неповторимая радость.

И это будет не простая побелка старой, закопченной комнаты. Нет. Пусть вновь потемнеют стены нашей комнатки, пусть местами обвалится штукатурка, пусть в дыры обвалов, иногда помимо нашей воли, выглянет прошлое. Пусть. Оно будет мертво. Умрет и старая, серая, молчаливая комната. Новое, живое, маленькое существо огласит ее звонким торжествующим криком. Новое, живое маленькое одним криком перестроит заново всю комнату, в новые большие окна покажет нам, что мир велик, что жизнь прекрасна, что лучшее в ней – любовь. И счастливые, мы будем тогда вспоминать синее, звездное, зимнее небо, снежно-белые просторы полей, ворчанье раскаленной печки, тишину нашей белой комнаты, немую радостную муку наших тел, бившихся в страстном творческом поцелуе.

Пусть идет снег времени. Пусть совершают свой путь снежинки – дни наших встреч.

Я знаю, все проходит, умирает. Умрут, растают снежинки – дни наших встреч. Но черно-серая земля разлуки не будет голой. Новое, живое, маленькое существо будет бегать по ней, радостно кричать о торжестве жизни, о ее бессмертии.

Снег падает. Падают снежинки–дни.

Жду, когда настанет день, в который мы встретимся, и тела наши будут телами богов, творящих мир. Верю, что наш поцелуй будет бессмертен.

*Твой В. «*

К столу подходит жена. Вишняков краснеет, закрывает красным листом промокательной бумаги белый листок письма. Жена кривит губы. Щеки у нее трясутся. В глазах слезы.

– Прячешь? Зинке письмо пишешь?

Вишняков нервно вытаскивает белый листок, складывает вдвое, прячет в карман. Голос у него дрожит.

– Да, Зине.

Жена бледнеет, грузная, в широком капоте тяжело садится на стул. Стул хрустит.

– С несколькими бабами путаешься.

Вишняков вскакивает, срывает с вешалки шинель. Жена громко сморкается, всхлипывает, закрывает лицо носовым платком. Большое полное тело женщины студнем дрожит на стуле. Стул скрипит.

Вишнякову противна жена. Вишняков стоит у дверей. Дергает себя за рукав, морщится.

В Губпартшколе, в лекторской комнате, Вишняков пишет второе письмо Спинек. Первое лежит у него в кармане. Вишняков решает передать оба вместе. Не писать Спинек он не может. Видеться со Спинек, писать ей стало для него потребностью.

«Еще хочу я сказать тебе о боли своей за тебя.

Ты подумала, что я стану относиться или относиться к тебе с брезгливостью после того, как узнаю или узнал, что ты была близка с X, У и др.

Как мне было тяжело, как была ты несправедлива.

Л. Андреев говорил: «Купивший женщину – зверь».

Я добавляю:

– Обокравший женщину – зверь вдвойне.

Зина, сколько обкрадывали тебя. И как всех их я ненавижу. Они приходили к тебе с лестью и ложью. Уходили удовлетворенные, с зевками скуки, бросали имя твое под ноги улице, как окурок, как шелуху съеденного ореха. Улица топтала, трепала твое имя. А они сыто посмеивались, шурили звериные глазки, подмигивали тебе вслед, шептали по секрету приятелям:

– Знаете, эта... Она недурна в постели... только есть у нее недостаток...

Бросить имя женщины улице – значит, более чем обокрасть ее – надругаться над нею.

Тебя обкрадывали, над тобой надругались люди. Тебя обокрала и природа. И вот к тебе именно такой подхожу я с величайшей болью и любовью. Тело твое оскорбленное беру, как святыню. Хочу, чтоб любовь моя была так же чиста, как чисты и ты и тело твое, очищенное огнем жажды материнства. Нет, нет, не к тебе с брезгливостью подхожу, а к ним, их презираю. Если б мог я вырвать грязный, липкий, длинный, черный язык улицы, я бы вырвал и бросил бы тебе его под ноги.

Растопчи!

Но что я говорю тебе? Разве мы вместе уже не топчем его?

В окно на меня смотрит яркое, но ясное солнце. Ясно у меня на душе. И еще раз я говорю тебе это нестираемое, ясное слово – «люблю».

### Страничка восьмая

В городе – Рабочий Дворец. В Рабочем Дворце ставят «Травиату». В городе говорят о «Травиате».

И поэтому, вероятно, в Губпартшколе, в перерыве между лекциями, Скурихин спрашивает Вишнякова:

– Вишняков, ты знаешь, как по-русски «Травиата»?

Вишняков прислушивается к далекому жужжанию невидимого аэроплана. Смотрит на белые крыши домов. Думает о себе и Зине. Вишнякову хочется взять Зину под руку и идти с ней по длинным кривым улицам города, чувствовать теплоту ее тела, слушать бодряще неу- молкаемое жужжание аэроплана. Вишняков отвечает рассеянно:

– Нет, не знаю.

Скурихин не знает, зачем спрашивает Вишнякова. И, не зная, зачем и для чего, начинает объяснять:

– Травиата – значит, падшая...

Вишняков смотрит на Скурихина узкими, черными, ненавидящими глазами. Вишняков ревнует Скурихина к Спинек с особенной силой. Скурихин слишком близко. Скурихин всегда может встретиться со Спинек. Может быть, они и встречаются. Вишнякову тяжело жить со Скурихиным в одном доме, встречаться на службе.

В городе ставят «Травиату». В городе говорят о «Травиате». В городе насвистывают, напевают из «Травиаты».

«Травиата (падшая, заблудшая)».

Зина нашла нужным поставить скобки и перевести.

«...Когда долго протягиваешь руки в пустое пространство, то делаешь это робко или небрежно. Робко, если все-таки на что-то надеешься. Небрежно, если ничего не ждешь.

Иногда сбываются и очень маленькие надежды.

Из пустого пространства начинает светиться свет. Он всегда бывает зловещим, потому что скоро гаснет, а когда гаснет – не оставляет после себя ничего.

Этот свет дает очень кратковременную и очень зловещую радость. Радость, потому что свет всегда оставляет за собой пустое пространство.

Такова радость людей, озаренных северным сиянием.

Вот они залиты кровью, вот они пламенеют и вот уже опять ничего – льды, льды, пустыня, пустыня...

В тело женщины природой вложено очень много сил. Она тратит их на деторождение. В теле бесплодной женщины их скопится слишком много, они не душат, они ее обременяют, они гасят ее сознание – она все время чувствует свое тело.

Бывают минуты, когда отягощенное сознание хочет погаснуть, чтобы не помнить, не знать, не стать потом светлым, ясным и легким.

Бывают минуты, когда сознание не хочет быть ни светлым, ни ясным, ни легким, ни темным, ни отягощенным, когда оно ищет только забвения пустого, темного пространства, когда оно хочет раствориться и погаснуть совсем в зловещей, кровавой, пламенеющей радости забвения.

И бывают минуты, нет, долгие дни и годы, когда оно гаснет и не возрождается и живет полумертвым.

Я хочу освобождения сознания, оно должно быть освобождено от тела, тело должно выполнять свои законы, оно должно родить.

Но сознание требует не только своего завершения, оно хочет своего продления и ему не все равно, от кого родит тело.

Мне никогда еще ни от кого не хотелось родить: не потому, чтобы я вообще хотела не этого, и не потому, чтоб я не думала об этом, и не потому, чтоб я никого не любила.

Сознание хотело своего продолжения не вниз, не по горизонтали, а вверх.

Но от вас я хочу ребенка.

Люблю ли я вас? Вы сливаетесь для меня с самым ценным – это больше. Я боюсь вас. Вы для меня перелом всей жизни. Вы сами чувствуете и говорите это. Вы та ступень, выше которой мне не ступить и на которую я еще не ступила и, может быть, не ступлю.

Да, я травиата. На этот путь меня толкнула природа, и на этот же путь я вступила сама.

Я не хочу оправдания. Но я не хочу быть травиатой. Я устала от зловещей, гнетущей радости льдов. Не нужно черно–красного. Дайте маленькое, зеленое, как обещали».

### Страничка девятая

Спинек идет к доктору Зильберштейну. Вишняков остается в ее комнате.

Доктор Зильберштейн осматривает Спинек долго и тщательно. Спинек неловко лежать на жесткой кушетке. Спинек стыдно, что у нее голый живот, что доктор Зильберштейн внимательно рассматривает его и спокойно мнет сухими холодными пальцами.

Когда Спинек одевается, доктор моет руки и говорит:

– Маленькая операция, и у вас будет ребенок. Но, скажите, вы хотите сойтись с мужчиной?

Спинек удивлена, смущена. Спинек молчит, краснеет. Доктор Зильберштейн сухо блеснит черными глазами. На лбу у него дрожат черные пружинки волос.

– Вы можете иметь ребенка без мужчины Я открыл способ...

Спинек решительно отказывается.

– Это, может быть, и очень добродетельно, доктор, но и очень скучно.

За дверью Спинек фыркает. На лестнице звонко хохочет. В комнате кладет руки на плечи Вишнякова и хохочет, хохочет.

Доктор Зильберштейн слышит смех в мезонине. Но доктор Зильберштейн уверен, что его открытие перевернет мир. Доктор Зильберштейн даже не сердится на Спинек. Он только медленно говорит:

– О, вы еще придете к доктору Зильберштейну!

И спокойно погружается в работу.

Спинек играет на пианино. Вишняков ходит по комнате, мечтает:

– Ребенок должен быть гениален. Мать талантлива, мать – музыкант, отец талантливый оратор и журналист...

Вишняков подходит к Спинек, целует ее волосы. Спинек улыбается, подставляет губы. Вишняков берет обеими руками золотую голову, целует губы, лоб, глаза...

Дома Вишняков совершенно не замечает жену. Работает Вишняков много и радостно.

В общежитии почти все счастливы.

Счастлив Вишняков. Счастлива Спинек. Счастлива Берта Людвиговна. Счастлив доктор Зильберштейн. Счастлива Паша (Паша беременна). Счастлив Скурихин (физически Паша ему нравится больше, чем Спинек).

Несчастливы только трое.

Анна Павловна, порвавшая с Федей. Федя, отвергнутый Анной Павловной. И Вера Николаевна.

Но пахнет в общежитии по–старому – ночными горшками, нафталином, грязным бельем, ладаном.

### Страничка последняя

В общежитии четыре беременных женщины – Берта Людвиговна, Вера Николаевна, Паша и Спинек.

Три из них каждый день на кухне. От этого в кухне еще теснее. И женщины ругаются больше.

Освобождена от кухонной работы и, следовательно, от ругани одна Спинец.

Спинец, счастливая, розовая, стоит перед зеркалом. Спинец часто часами стоит, сидит или лежит и смотрит на свой живот. Иногда она видит, как бьется в нем ребенок. Спинец уже любит своего ребенка, ночами видит его во сне. В Спинец проснулось тысячелетнее, самоцье.

Вишнякова Спинец зовет Виктором, думает о нем всегда с нежностью.

Он для нее первый, единственный и неповторимый.

Спинец счастлива.

В окнах теплые желтые полосы солнца. Рот форточки открыт. Комната глотает свежую, холодную сырость. Спинец слышит глухой стук капли. Снег тает.

Утро идет двадцать первое в марте.

И вот, случайно раскрыв рот, Спинец видит, что за белым снегом зубов, в мясе десен, на языке у нее такие же темные воронки и темные пятна, как на улице в сугробах тающего снега.

Спинец несколько секунд сидит с опущенными руками, с полуоткрытым ртом, с глазами, выдавленными из орбит и расширенными ужасом.

Спинец бежит на лестницу, истерично хохочет, кричит:

– Виктор! Виктор! Ха–ха–ха!

Вишняков выбегает из своей комнаты полуодетый, в туфлях, бежит наверх. Вера Николаевна смотрит вслед мужу, видит Спинец, хватается за сердце, бледнея, бессильно садится прямо на пол у порога. Из кухни высовывается красное лицо Паши. Паша скалит зубы, фыркает. Доктор Зильберштейн, уже вышедший на службу, обертывается у дверей, пожимает плечами.

Спинец хватается удивленного Вишнякова за руки, хохочет.

Глаза Спинец полны слез. Слезы текут по щекам женщины, по груди, кружочками блестят на полу.

– Ха–ха–ха! Нас обокрали.

Вишняков думает, что у Спинец ночью были воры.

– Что украли? Когда? Успокойся.

Спинец хохочет громче, тяжело падает на пол. Вишняков поднимает ее, кладет на кровать.

– Ви–тя... Милый... Ха–ха!..

Стискивая зубы, давя смех истерики, Спинец кричит:

– Сифилис!

Лицо у Вишнякова делается серым. Голос хрипл и глух.

– Когда, от кого заразилась?

– Не зз–ннаю...

У Спинец щелкают зубы. Тело дрожит.

Мужчина и женщина долго молчат. У Спинец тело в холодном поту. Холодный пот на лбу у Вишнякова.

Скрипит лестница. Дверь широко распахивается. Задыхаясь, входит Вера Николаевна. Лицо у Веры Николаевны совершенно белое.

– Шлюха! Развратник!

Вишняков устало поднимает голову, морщится, машет рукой.

– Оставь, теперь все равно. У нас у всех сифилис.

В Губпартшколе, в перерыве между лекциями, Вишняков подходит к Скурихину. Вишняков улыбается. Но голос у него дрожит.

– Товарищ Скурихин, помните, вы спрашивали меня, как сказать по–русски – травиата?

Скурихин просматривает конспект лекции. Скурихин отвечает неохотно.

– Ну?

Вишняков говорит шепотом:

– А теперь я вас спрошу, как будет по–русски люес? Не смешивайте с пулеметом Люеса. Хотя это дырявит не хуже пулемета.

– Ну?

– У Спинец сифилис.

Скурихин не пошел на лекцию, уехал домой.

Вечером в общежитии воют и рвут на себе волосы – Вера Николаевна, Анна Павловна и Паша. Берта Людвиговна ничего не знает.

Спинек тихо плачет. Вишняков сидит рядом. Мужчина и женщина медленно гладят черную рукоятку браунинга.

Но застрелиться никто не смог.

Доктор Зильберштейн делает аборты Вере Николаевне, Спинек и Паше. Спинек, Паша, Вера Николаевна, Анна Павловна, Вишняков, Скурихин ходят на уколы к доктору Зильберштейну. Доктор Зильберштейн торжественно думает:

«О, вы скоро убедитесь в верности и необходимости моего открытия. О, вы придете ко мне».

Доктор Зильберштейн совершенно не знает, что его жена больна, что он слишком поздно произвел над ней свой опыт. Скурихин не решается сказать правду Берте Людвиговне.

Дни идут.

Спинек, Вишняковы, Скурихины думают сменить квартиры. Но квартир нет. И все живут вместе, в одном общежитии.

Утром мужчины и Спинек уходят на службу. Женщины ходят с бледными, мятыми лицами, не причесанные, не одетые, стряпают, убирают комнаты. Обедают все в один час. Вечерами ходят на лекции, на доклады, на собрания и... на уколы к доктору Зильберштейну. И белой могильной плитой на дверях общежития – массивная эмалевая вывеска.

**Доктор  
Лазарь Исаакович  
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН  
Кожные и венерические**

Приговоренные к смерти, запертые в одной камере, всегда откровенны, дружны.

Поэтому, вероятно, Вишняков заходит вечером к Скурихину. Скурихин лежит на постели. Анна Павловна у стола штопает мужу носки.

Вишняков ложится рядом со Скурихиным. Вишняков говорит первый:

– Но ведь мы же работали, Веня? Я дважды ранен в войне с Колчаком.

Скурихин соглашается.

– Да, мы работали и работаем. Я заведую хозяйством Губпартшколы и читаю лекции.

Вишняков вздыхает.

– Но ведь это ужасно, Веня?

Скурихин смотрит через окно на небо, на звезды.

– При всякой работе полагается некий процентик на амортизацию. Вот мы с тобой и попали в этот процентик при работе по перестройке общества.

На дворе, на улице тает снег. Снег почернел, покрылся язвами проталин. Невидимые теплые потоки ведут разрушительную работу. С крыш глухо сползают снежные пласты. Стучит капель. Звенят, ломаются ледяные сосульки.

Скурихин повертывается на бок, кладет руку на грудь Вишнякову.

– А Зильберштейн все-таки дурак. Не с того бока начинает.

На кровати лежат долго. Лица людей серы, как снег весной. Черными проталинами в весеннем снегу – черные дыры глаз и рта. Вишняков щупает переносицу.

– Веня, тепло ест снег, ломает лед. Может быть, и наши тела так же ест, ломает болезнь? Может, мы не слышим только, как разваливаются наши кости.

Вишняков опять щупает переносицу.

Спинек играет на пианино, громко смеется. Она не одна. У нее гость – новый управдел Губисполкома.

Спинек спрашивает его:

– Скажите, какие билеты будут выдавать советским проституткам – желтые или красные?

Управдел удивлен, поднимает мохнатые брови. Спинек хохочет.

Но все же в общежитии есть счастливые.

Берта Людвиговна, беременная, не знающая о своей болезни. Доктор Зильберштейн, ничего не знающий. И Федя.

К Феде ходит черноглазая, черноволосая, кудрявая, краснотелая курсантка Катя Комиссарова. Федя и Катя хохочут, гремят стульями, возятся, когда общежитие уже спит. У Феде долго в комнате горит огонь.

На улице в весеннем тумане голубой дом с мезонином округляется, делается темным. Голубой дом с мезонином похож на яблоко. Освещенное окно Феединой комнаты – румяное пятнышко.

### **Отрывок**

В Губпартшколе вечер воспоминаний. В аудитории электричество. Аудитория полна.

Вишняков бледный, с синими кругами под глазами, стоит за кафедрой, мнет бумажку – план доклада.

Голос Вишнякова срывается Руки дрожат, лоб в холодном поту.

– Товарищи, мы сейчас вспоминали страшные зверские расправы самодержавия. Но я хочу сказать о еще более страшном. Старое буржуазное общество оставило нам кошмарное наследие – венерические болезни. Венерические болезни, товарищи, зло социальное, явление социального характера.

Курсанты молчат, слушают.

– Я вам хочу сказать, товарищи, как можно заразиться сифилисом, как я им заразился.

Аудитория улыбается. Сотни глаз светятся смехом. Вишняков бледнеет еще больше. Колени у него дрожат. Вишняков надрывно выкрикивает:

– Товарищи, это очень страшно. Необходимо отнестись серьезно.

Аудитория – головы, головы, головы, русые, черные, стриженные наголо, подстриженные, с прическами, лица розовые, красные, смуглые, бледные – пестрый кусок материи.

Глаза – ниточки блестящего, цветного бисера. Губы – красные лоскутки в красном вишневом соку.

В улыбке блестит бисер глаз, набухают кровью лоскутки губ. Смех с шелестом с угла на угол трясет пестрый кусок материи.

Аудитория не понимает Вишнякова, ей не страшно – она здорова.

Вишняков опускает голову, плечи, теряет нить мысли. Вишняков с опущенной головой, с согнутой спиной, с бессильно оттопыренным задом, держится обеими руками за кафедру. Он похож на искривленное графическое изображение процента.

Расшитый искристым бисером глаз и красными лоскутками губ шелестит, колыхается волнами пестрый кусок материи.

## **П. БЛЯХИН. КРАСНЫЕ ДЯВОЛЯТА<sup>1</sup>**

### **ОТ АВТОРА**

Юные друзья мои, читатели! Повесть «Красные дьяволята» была написана мною в 1921 году в вагоне–теплушке по дороге из Костромы в Баку. Вместо трех дней я ехал ровно месяц. На самодельном столике наготове лежал маузер...

Гражданская война подходила к концу, но грабежи и налеты бандитских шайк на поезда и продбазы продолжались. Нам не раз приходилось по тревоге хвататься за оружие и выскакивать из вагона. Поезда часто останавливались: не хватало топлива для паровозов, и пассажиры сами помогали добывать дрова, уголь. Страна изнемогала от голода, разрухи и болезней. Но советский народ терпеливо переносил все невзгоды и героически сражался с остатками интервентов и контрреволюции. Вместе со старшим поколением билась за власть Советов и наша молодежь, юноши и девушки и даже дети–подростки. Сотнями и тысячами шли они добровольцами в ряды Красной Армии, показывая образцы невиданной храбрости и любви к Родине.

<sup>1</sup> Печатается по: П. Бляхин. Красные дьяволята // [http://royallib.com/book/blyahin\\_pavel/krasnie\\_dyavolyata.html](http://royallib.com/book/blyahin_pavel/krasnie_dyavolyata.html)



В 1920 году я не раз встречался с такими орлятами. Об их отваге и самоотверженности рассказывали поистине чудеса.

О боевых делах и приключениях тройки юных героев, прозванных «красными дьяволятами», я и написал свою первую повесть. Она была издана в Баку в 1922 году. Это была одна из первых книг о гражданской войне, кровавый след которой еще не успел остыть. Наши юные читатели горячо приняли книгу.

В 1923 году вышел в свет кинофильм «Красные дьяволята», поставленный в Грузии по моей повести и сценарию режиссером И.Перестиани.

Советские зрители, особенно молодежь и дети, встретили фильм с восторгом я немедленно отозвались сотнями писем на имя командарма Первой Конной армии С.М. Буденного с просьбами принять их Добровольцами, как «красных дьяволят». Многие просили товарища Буденного сообщить им и точные адреса этой тройки. В некоторых клубах появились группы «красных дьяволят».

В свое время кое-кто упрекал меня в том, что боевые дела и приключения «красных дьяволят» порой кажутся невероятными и непосильными для таких юнцов (16–17 лет). Но вот двадцать лет спустя, в годы Великой Отечественной войны, я опять встретил «дьяволенка» нового поколения – это Вася Бобков. Васе пятнадцать лет. Он в форме солдата. Через плечо автомат. На груди орден Красной Звезды. Вася Бобков – отличный стрелок и храбрый воин. Он не раз ходил в разведку. В бою заменял при случае пулеметчика. Мог быть и хорошим наводчиком орудия. На его счету было двадцать пять убитых гитлеровцев! Ну, разве этот юный вояка не мог быть четвертым «дьяволенком» в моей повести?! А сколько таких пареньков было на разных фронтах Великой Отечественной войны!

Правда, в повести есть элементы некоторой фантастики и преувеличений, но они выражают героические настроения нашей молодежи, готовой положить и жизнь свою за дело коммунизма, за счастье народа.

## НАБЕГ

Темная южная ночь тихо таяла. Бледнели и гасли звезды. За черной полосой леса розовел восток. Словно огромная чаша горячего борща, курилась туманами жирная украинская земля. Приближалось утро.

Но село Яблонное все еще спало крепким мужицким сном. Дремал даже старик-сторож, стоя у дверей церкви с колотушкой под мышкой. Вокруг все было тихо и спокойно, как в доброе старое время. Только неугомонные петухи певуче перекликались из конца в конец беспечного села.

Ой, не спать бы вам в эту ночь, мужики!..

На опушке леса на горячем вороном коне появился маленький всадник в мохнатой папахе, заломленной на затылок. Приподнявшись на стремянах, он, как вор, огляделся по сторонам. Хищное лицо его с черными колючими глазками настороженно вытянулось, ноздри раздулись, словно у хорька, почуявшего дичь. Он вдруг выхватил шашку и со свистом рубанул ею воздух.

– Гей, за мной, хлопцы!

Из леса тотчас вылетел отряд конников и, веером рассыпавшись по широкому полю, ринулся на село.

Тяжело загудела земля. Стаи испуганных птиц взвились к небу.

Церковный сторож уронил колотушку и в страхе перекрестился:

– Що такэ, матерь божья? Ратуйтэ, православные!..

Но уже было поздно: стреляя на скаку, лавина всадников с диким воем и свистом неслась по улицам злосчастного села. Захваченные врасплох сельские жители в панике выбегали из хат и тут же падали, сраженные пулями или зарубленные шашками. Бандиты не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

– Бей! – бабым голосом визжал маленький всадник, размахивая шашкой.

Бандиты врываются во дворы и хаты, грабят пожитки, свертывают головы гусям и курам, угоняют овец и коров.

Но, странное дело, хаты кулаков и деревенских богатеев налетчики не трогали. Не тронули и дом священника отца Павсикакия.

Вскоре пламя пожара озарило страшную картину разгрома.

Верный своему долгу, старик–сторож поднялся на колокольню и ударил в набат.

Маленький всадник, видимо, атаман шайки, помчался к церкви. За ним скакали длинный, как жердь, бандит с помятым цилиндром на голове и мрачный рябой детина с обрезом за спиной...

Набат гудел, усиливая тревогу, призывая на помощь...

В церкви уже орудовали грабители: они рвали на части парчовые ризы, обдирали золотые иконы, набивали сумки церковной утварью.

Атаман шайки на всем скаку ворвался в распахнутые настежь двери храма.

– Вон! Сто чертив вашему батьку! – заорал он, награждая своих соратников ударами плети. – Вон, а то рубать буду!

Ворча и ругаясь, бандиты бежали к выходам.

В алтаре из–под престола выскочил перепуганный насмерть священник. С крестом в руках он подбежал к атаману и приложился к его ноге, как к иконе:

– Отец родной... батька наш... дай тебе боже доброго здоровья! Спас дом божий...

– Но–но, нечего мед разливать, – проворчал атаман, поворачивая коня к выходу. – Своих попов мы не трогаем, пригодятся.

Поп чуть не захлебнулся от восторга и преданности;

– Да боже ж мий!.. Да я... да мы...

– Ну и баста! – отрезал бандит. Шутя хлестнул попа плетью по спине и вылетел из церкви.

Поп почесал ушибленное место, истово перекрестился.

– Слава тебе, господи, слава тебе!.. Вот, собака!

Набат внезапно оборвался...

Два бандита с трудом оторвали старика–сторожа от колокола, схватили его за ноги и за руки, бросили с колокольни. Он упал под ноги вороного коня. Конь шархнулся в сторону, едва не выбив из седла атамана.

Глянув на убитого старика, он расхохотался;

– Что, дозвонился, старый пес?

В этот момент к атаману подлетел крайне встревоженный конник:

– Беда, батько, – у Совета перепалка! Голова незаможников<sup>1</sup> отстреливается – Ванька Недоля!

Атаман взвыл:

– Живьем, живьем взять! Шкуру спущу!..

Осажденные толпой, отец и сын Недоля стреляли из окон дома. Трое убитых уже валялись у крыльца. Решив, что взять сельсовет штурмом не удастся, бандиты обложили здание соломой и подожгли.

Когда к месту боя прискакал атаман, сельсовет уже был объят пламенем со всех сторон.

Через несколько минут дверь дома распахнулась, и вместе с клубом дыма на крыльцо выскочил могучий старик с винтовкой в правой руке. Левой он поддерживал тяжело раненного сына–матроса.

Шайка встретила их торжествующим ревом, лавой окружив крыльцо.

– Живьем, живьем взять! – завизжал атаман. – Я им Покажу Советскую владу<sup>2</sup>!..

Взяв винтовку за конец ствола и действуя ею, как дубиной, грозный старик двинулся прямо на толпу. Бандиты и страхе расступились по обе стороны.

– Сдавайся, старый черт! – ревели они, птясь от старика.

Матрос тяжело опирался на руку отца, с трудом передвигал ноги. Лицо его было залито кровью.

Первый смельчак, попытавшийся приблизиться к старику, грохнулся на землю с разбитой головой.

Рев усилился, но круг стал шире.

<sup>1</sup> Председатель Комитета деревенской бедноты

<sup>2</sup> власть

По знаку атамана рябой бандит заехал сзади и прямо с седла метнул шашку в спину старика. Тот упал навзничь:

– Да здравствует власть Советов!

Упал и матрос.

Шайка ринулась на беззащитных уже бойцов.

– Назад, хлопцы! – приказал атаман. – Матроса взять в лес, а с отцом я сам поговорю...

Бандиты неохотно расступились. Атаман спрыгнул с седла, подошел к истекающим кровью пленникам. Старик лежал неподвижно, как мертвый, не выпуская из рук винтовки.

– Подох, собака! – зло прошипел атаман. – А то бы я показал тебе незаможных селян...

Вдруг откуда-то сверху два камня со свистом пронеслись в воздухе. Один камень больно царапнул щеку атамана, а другой попал в холку вороного коня. В то же время на другом конце села раздались испуганные крики;

– Партизаны! Партизаны!..

Бандиты поспешно вскочили на коней и, стреляя куда попало, понеслись вон из села.

По приказанию атамана рябой бандит поднял матроса на седло и умчался вслед за шайкой в лес.

Вскоре село опустело. На улицах валялись только Трупы убитых, да бегали взад и вперед перепуганные овцы.

С крыши ближайшего к сельсовету дома проворно силились двое ребят и с криком бросились к могучему старику, лежавшему посередине дороги, у сгоревшего здания сельсовета:

– Ой, батька наш, батька!

## ДВЕ МАСКИ

Страна Советов пылала в огне гражданской войны. Со всех сторон к сердцу России – Москве – двигались многочисленные орды контрреволюции, С востока, севера и юга угрожали иностранные интервенты, снабжавшие белые армии оружием и продовольствием. В Крыму засел Врангель, войска которого прорывались на Украину, в район Екатеринославщины.

А здесь, в тылу молодой Красной Армии, бесчинствовали кулацкие шайки, возглавляемые разными батьками и атаманами.

Городские рабочие и деревенская беднота самоотверженно боролись за Советскую власть, помогали Красной Армии и нашим партизанам всем, чем могли. Сотни и тысячи молодых добровольцев пополняли ряды славных бойцов за дело свободы и социализма.

В эти грозные годы, в кольце врагов, советскому народу жилось тяжело, голодно и холодно. После войны промышленность была разрушена, поля не засеяны, хлеба не хватало даже для снабжения Красной Армии. Деревенские кулаки–богатеи прятали свой хлеб и продукты в ямах и потаенных местах, занимались спекуляцией и жестоко грабили городское население, спускавшее за хлеб и картошку последние пожитки.

В те дни, к которым относится действие нашей повести, такое же положение было и в городе Екатеринославе.

В Гуляй–Поле и по всей Екатеринославской губернии разгуливали и грабили мирных жителей банды знаменитого на Украине батьки Махно. Действуя в тылу Красной Армии, эти банды приносили неисчислимый вред советскому народу: устраивали еврейские погромы, грабили базы снабжения, убивали советских работников, особенно большевиков и красных партизан. Деревенские богачи и буржуи всячески помогали им в борьбе против Советской власти. Они хотели вернуть старый режим, царя и помещиков.

Был вечер. На густо–красном горизонте тяжело громоздились и лезли к зениту грозные тучи. По широкому шляху из Екатеринослава длинной вереницей тянулись мужицкие телеги и тачанки. Они возвращались с большого воскресного базара. На возах громоздились пустые кадушки и макитры<sup>1</sup>, кухонная посуда, граммофонные трубы, зеркала и ведра, столы и стулья – словом, все, что можно было выменять у голодающих горожан за хлеб, молоко и картошку.

<sup>1</sup> большая глиняная квашня

Крестьяне явно спешили домой. Не желая остаться в одиночестве, задние возчики усердно нахлестывали и понукали криками своих коней:

– Та ну, швидче, ковурый!

– Гей, Петро! Чи здыхае твоя кобыляка, чи шо?

– Трохым, геть со шляху, чого став, бач, лис близко!

Грозовые сумерки уже ползли по земле, окутывая дорогу зловещим полумраком.

Подъезжая к лесу, мужики незаметно вытаскивали из-под соломы короткие куцаки<sup>1</sup>, иные нащупывали за пазухой револьверы, готовили ножи. Они явно чего-то опасались, со страхом поглядывая на темные овраги и в сторону леса.

Только одна расписная тачанка, запряженная парой коней и нагруженная до отказа разным барахлом, не торопясь катилась в хвосте обоза. На ее задке, увязанное веревками, гулко громыхало старое пианино.

Лениво пошевеливая вожжами, конями правил здоровенный мужичище, с красным заплывшим лицом и толстой золотой цепочкой на рыхлом брюхе.

Рядом, словно курица на яйцах, сидела его жена. С первого взгляда было ясно, что это почтенные и богатые люди,

Вероятно, по случаю выгодной спекуляции мужик изрядно выпил и теперь беспечно на свистывал украинские песенки. Это очень беспокоило его жинку, которая то и дело тыкала «чоловика» кулаком в спину:

– Та ну, красный пес, гони швидче! Бач, як тэмно?!

– Тэмно? А нехай соби тэмно, – невозмутимо отвечал «красный пес» и не думал торопиться, – мини що: дорогу я знаю, село знаю, ворота знаю – усе знаю. Хиба ж я пьян, чи що? Бач, у мэнэ яка цидуля е?

Пьяный кулак выразительно шлепнул ладонью по пустой кубышке, из которой торчала ручка нагана;

– Хлоп, и в голове дырка.

Жинка разъярилась еще больше:

– Вот дурна дитына! Хиба ж ты не чув, що тут сам Махно гуляе? Гони, кажу, швидче!..

– Батько Махно? – живо отозвался мужик. – А нехай соби гуляе, дай ему боже... Вин же на радяньску владу идэ, щоб ий кишки повытягло!

И кулак разразился забористой бранью по адресу Советской власти. Наругавшись вдоволь, он вдруг бросил вожжи, смачно шлепнул ручищей – по жирной спине своей жинки:

– А хошь, Олена, я для батьки Махно «Боже царя» спою? Хошь? Ей-богу, спою и на музыке натрынькаю...

Мужик повернулся к пианино и лихо забарабанил кулаками по крышке:

– Бо-о-о-же, царя храни, сильный дер...

– Стой!

– Стой!..

– Руки вверх! – внезапно загремело над ухом кулака. И его кони в мгновение ока оказались свернутыми в обочину, а перед глазами блеснуло черное дуло револьвера. – Оружие и деньги! – грозно крикнул незнакомец, направляя пистолет в лоб кулаку.

В ужасе воздев руки к небу, мужик растерянно забормотал:

– Деньги?.. Яки деньги?.. – Но, глянув в лицо грабителя, он вдруг увидел красную маску, разрисованную белыми полосками и черными пятнами.

– О, боже ж мий! Нэчиста сила! – взревел суеверный мужик, мешком падая на свою половину.

А перепуганная Олена уже лежала ничком, спрятав голову в большую макитру с остатками сметаны.

У тачанки появился еще один грабитель в такой же страшной маске.

– Да они совсем окачурились от страха, – сказал первый, опуская дуло пистолета. – А ну-ка, обыщи их, Овод!

Второй грабитель проворно обшарил воз и кулака.

– Есть оружие, брат Следопыт! – радостно крикнул он, выхватывая из кубышки наган.

<sup>1</sup> винтовка с обрезанным дулом, обрез

– Даешь поход! – отозвался грабитель, названный Следопытом, и тотчас спрыгнул с колеса тачанки.

Две красные маски мгновенно исчезли в ближайшем овраге, а перепуганная чета еще долго лежала на месте, боясь шелохнуться. Наконец мужик осторожно приподнял голову и огляделся по сторонам. Вокруг все было тихо.

– Дэ ж воны? – изумился он, крестясь. – Мабуть наваждение було, чи оборотень який? Дывысь, Олена!..

И только теперь мужик заметил, что на плечах его жинки, вместо головы, торчала огромная макитра:

– Олена! Гей, Олена! Та дэ ж твоя дурна голова? Ты сказылась, чи шо?..

Услышав знакомый голос, Олена медленно подняла голову вместе с макитрой. По ее груди и шее стекала сметана.

Мужик невольно расхохотался;

– Бачтэ, яка штука!

Олена с трудом стащила свой нелепый колпак. Но, увидев хохочущего мужа, она побагровела от ярости и с такой силой трахнула его макитрой по голове, что черепки разлетелись во все стороны.

– Жинку чуть не заризали, а вин регоче, рыжий сатана!

Однако, опомнившись, они оба сразу схватились за вожжи и, нахлестывая коней, понеслись по шляху, прочь от страшного места.

## КТО ОНИ?

Глухая ночь спустила на мир свой черный полог. Вдали угрожающе ворчал гром, вспыхивали белые молнии, словно от страха, трепетали вершины дубов...

Но что это?..

Далеко над лесом пролетела красная горящая искра, за ней другая, третья... В темной чаще заиграли языки пламени.

Кто же дерзнул зажечь огонь в этом угрюмом лесу в такую тревожную ночь и так далеко от жилых селений?..

У костра под могучим дубом сидели на корточках уже знакомые нам грабители в страшных масках.

– Слушай, брат Следопыт, – сказал один, подбрасывая сухие сучья в огонь, – для чего ты крикнул: «Оружие и деньги!», когда нам нужно было только оружие? Мы же не грабители.

Второй засмеялся:

– А так страшнее. Видал, как кулак глаза выкатил? Я думал, он лопнет от страха. Военная хитрость, брат Овод.

– Ну, нет, это он твоего пистолета испугался...

– Да, пистолет лихой, – согласился тот, кого звали Следопытом, и бросил в огонь большой черный «пистолет», дубовый ствол которого походил на детскую пушку.

Овод снял маску. Она оказалась простой красной тряпкой, разукрашенной белилами и ваксой, с двумя дырками для глаз.

– Не пора ли, брат, начать совет вождей? – спросил он, засовывая револьвер за пояс штанов. – В поход мы, кажись, готовы.

– Ну, что ж, начинать так начинать, – ответил Следопыт и тоже сорвал с лица маску.

При колеблющемся свете костра теперь уже можно было разглядеть безусые лица двух подростков, ничуть не похожих на лесных грабителей. Один из них, названный Следопытом, был одет в красную рубашку, подпоясан простой веревочкой. На ногах большие, видимо, отцовские, сапоги. Крепкий, широкий в плечах и груди, он казался сильным не по летам. Рыжие волосы буйными вихрами торчали во все стороны, а живые серые глаза смотрели дерзко и весело.

Второй паренек был, видимо, слабее первого, но ловкий и гибкий, как лоза. Черные волосы то и дело сползали на его высокий, умный лоб, заставляя частенько встряхивать головой. Мягкое красивое лицо и особенно светлая улыбка годились бы скорее для девушки, чем для парня с револьвером за поясом. Одет он был так же, как Следопыт, обут в опорки на босу ногу.

Следопыт, не торопясь, вытащил из-за голенища сапога длинную резиновую кишку с трубкой на конце.

– Для начала выкурим трубку мира, брат Овод, – важно сказал он, набивая трубку чем-то вроде табака.

Овод молча кивнул головой.

Следопыт закурил. Выпустил первый клуб дыма и так закашлялся, что на глазах выступили слезы.

– Тьфу ты, пакость какая! Аж в нос шибануло!

– Ничего не поделаешь, – отозвался Овод, – таков порядок в совете вождей. Твое слово, брат Следопыт...

Следопыт вытер глаза рукавом рубахи и начал:

– Слушай, брат Овод. Одиннадцать лун тому назад Черный Шакал вырыл томагавк войны, а проклятая Голубая Лисица разоряет наши родные вигвамы и села. Бледнолицые собаки не щадят ни жен, ни детей наших и даже стариков предают лютой смерти у столба пыток. Не пора ли и нам взяться за томагавки? Или мы трусливые бабы, что сидим дома у костров мира? Смерть бледнолицым собакам!

Оратор грозно потряс кулаком в воздухе и передал конец кишки своему приятелю. Тот в свою очередь глотнул дыму и тоже закашлялся.

– Голубая Лисица замучила нашего брата Федю у столба пыток, – сказал он. – Мы должны разыскать ее хоть на дне моря, заковать в железные цепи и отправить на суд Великого Вождя краснокожих...

– Ой, нет, сначала мы всыпем ему пятьдесят горячих, а потом уж и в цепи, – перебил Следопыт. – Я обещал батьке...

– Можно и так, – согласился Овод. – Значит, завтра в поход?

– Ура-а, в поход! – подхватил Следопыт и, совсем как мальчишка, перевернулся через голову, ударив каблуками сапог по костру.

Сноп золотых искр взвился к небу, осветив на мгновение и дуб, и полянку, и юных вояк. А затем тьма стала еще гуще и ночь чернее.

Так неожиданно закончился совет вождей... Однако пусть читатель не думает, что все это лишь простая игра юных фантазеров «в индейцев» или еще что-нибудь в таком же роде. Не всякому понятное решение совета вождей явилось началом таких дел и приключений, что они составят все содержание нашей повести. А впрочем, вернемся немного назад и расскажем, как эти ребята задумали свой поход и что их толкнуло на отчаянный трюк с красными масками...

## **КРАСНЫЕ ДЬЯВОЛЯТА**

Отец наших героев Иван Недоля жил в селе Яблонном на Украине. Все его имение состояло из старой лакомившейся хатенки да худой сивой кобылы. Зимой он ходил на заработки, а летом ковырялся на своем жалком клочке земли и батрачил у деревенских кулаков. В 1914 году он вместе со старшим сыном Федором ушел на войну бить немца.

Домой Недоля вернулся уже после Октябрьской революции. Он пришел на село в рваной шинели, заметно прихрамывая на левую ногу, но с винтовкой в руках. На его широченной груди сияли два георгиевских креста, а за пазухой лежала пачка большевистских газет и первые декреты Советской власти о земле и мире, С этого дня Иван стал самым горячим большевистским агитатором на селе.

– Земля – народу! – кричал он на сельских сходках, Потрясая винтовкой. – Хлеб – Красной Армии! Смерть – белякам и буржуям!..

В разгар гражданской войны на Украине он организовал Комитет незаможных селян и крепко взял в переделку кулаков-мироедов.

Федор попал на флот.

Семья Ивана – жена и двое ребят-близнецов – по-прежнему уютилась в кособокой хатенке. Ребята – Дуняша и Мишка – старались быть похожими на отца и на свой лад помогали ему в борьбе за власть Советов.

Гражданская война разбила село на два враждебных лагеря: на бедняков и кулаков, на красных и белых, на тех, кто за Советскую власть и против нее,

Дети бедноты и кулачества тоже разделились на две партии и отчаянно воевали между собой, шли «стенка на стенку».

Мишка и Дуняша чуть не каждый день возвращались домой, покрытые синяками.

Старушка мать плакала. Отец посмеивался:

– Так–так, хлопцы, значит, вам опять всыпали?

– Всыпали своими боками, – хмуро отвечал Мишка. – Мы им тоже наклюкали, дай боже...

– А кто ж это вас разукрасил так?

– Кулачье разное да Митька Косой – попов сын.

– А вы что? Пятки казали?

Мишка вспыхивал от обиды:

– Ну, это ты брось, батька, я им такие фонари наставил!

– И я тоже, – подхватывала Дуняша, показывая отцу рваную кофточку, – мы вместе бьем их...

– За что ж вы воюете, хлопцы мои? – продолжал допрашивать отец уже серьезно.

– А они нас «красными дьяволятами» обзывают. Ну, мы и... того, в кулаки их...

– А потом они Советскую власть ругают и тебя тоже.

Отец был доволен:

– Молодцы, ребята! За Советскую власть всем беднякам биться надо! И «красные дьяволята» – хорошая кличка, лишь бы не белые...

Мать горестно всплескивала руками:

– Что ж ты делаешь, старый, дети в крови приходят, а он еще нахваливает!

Но «дети» давно уже решили воевать за Советскую власть по–настоящему, с оружием в руках, как взрослые. Под руководством отца они изучали военный строй, ружейные приемы, стрельбу из винтовки и револьвера.

К великому удовольствию Ивана, в стрельбе Мишка скоро превзошел его. Из револьвера на десять шагов он попадал в яблоко, а из винтовки почти не знал промаха. Неплохо «рубал» он и старенькой шашкой, одним махом срезая голову «белогвардейцу», слепленному из глины. Но из всех военных дел Мишке больше всего нравилась разведка. Всерьез готовясь к этому делу, он исползал на животе окрестности села, порвал все свои штаны и рубашки, по голым стволам лазил на вершины самых высоких сосен, часами сидел там, «выслеживая врага» и корректируя воображаемый огонь Красной Армии

Дерзко поправ обычай своего пола, Дуняша мало в чем уступала своему брату и была с ним неразлучна, как тень.

Ребята помогали и матери по хозяйству: ходили в лес за дровами и хворостом, таскали воду с реки, обрабатывали огород, чистили картошку... Впрочем, кроме картошки, у Недоли ничего и не было. Хлеб пополам с мякиной и лебедой они получали из сельсовета по осьмушке на человека да изредка по фунту муки через Комитет незаможных селян.

Так же, как отец, ребята не унывали. Они свято верили в светлое будущее трудящихся, в окончательную победу Советской власти и всей душой любили Владимира Ильича Ленина, о котором так много рассказывали им отец и брат Федор. Ленин представлялся им как добрый отец всего трудового народа, как великий вождь и чудо–богатырь земли русской. Недаром между собой они называли его Великим Вождем краснокожих воинов...

У брата и сестры были две страсти; война и книги. Читали они запоем все, что подвертывалось под руку. Но больше всего любили книги о боевых подвигах и приключениях, о путешествиях за моря и океаны, о героической борьбе краснокожих индейцев Америки за свою свободу и независимость.

Любимыми героями Мишки были «последний из могикан» – Ункас и старый охотник – Следопыт. А так как Следопыт был замечательным разведчиком, Мишка присвоил себе и его кличку.

Дуняша долго не могла найти для себя подходящего имени. Но однажды сельский учитель, охотно снабжавший их книгами, подарил Дуняше чудесный роман Войнич «Овод». Ребята прочитали его залпом и были потрясены необыкновенным мужеством и самоотверженностью Овода.

На истрепанные страницы, где описывалась трагическая смерть Овода, не раз падали горькие слезы Дуняши, а Мишка отворачивался в сторону, подозрительно посапывая носом. Как настоящий мужчина, он старался скрывать свою слабость.

Чтение этой книги закончилось тем, что Дуняша дала Мишке клятву быть такой же самоотверженной, как Овод, и так же, как он, мужественно встретить смерть, если придется погибнуть в борьбе за власть Советов, за свободу. Мишка торжественно одобрил клятву сестры и тут же назвал ее Оводом.

В сознании ребят современные события и герои гражданской войны так причудливо переплетались с книжными образами, что они уже и сами не знали, где кончается чудесная сказка и вымысел, а где начинается подлинная суровая жизнь. В разговорах между собою они создали даже свой особый язык, заимствованный у индейцев Фенимора Купера и Майн Рида, понятный только им одним. Красноармейцев они называли краснокожими воинами, белых контрреволюционеров бледнолицыми собаками. Белогвардейский генерал Врангель получил кличку Черного Шакала, бандита Махно окрестили именем злого и коварного апаха – Голубой Лисицей. Знаменитый командарм Первой Конной армии Буденный носил у них имя храброго предводителя одного из индейских племен – Красного Оленя и т.п. А Ленина, как мы уже говорили, иначе и не называли, как Великий Вождь краснокожих воинов: в их представлении это была высшая степень любви и уважения.

Время шло. Гражданская война разгоралась. Ребята продолжали готовиться к боевым делам и уже стали осаждать своего батьку просьбами отпустить их добровольцами в армию краснокожих воинов. Разумеется, они войдут под начало только самого Красного Оленя, то есть Буденного. В то время слава Первой Конной уже гремела по всей России, заражая сердца молодежи жаждой подвига.

Отец одобрительно посмеивался, но все же советовал ребятам подрасти еще немного, а потом уж...

Дуняша и Мишка ждали этого дня с величайшим нетерпением. Но тут случилось событие, сразу опрокинувшее все их надежды и планы. С фронта неожиданно прибыл старший брат – матрос Федор, чтобы организовать на селе заготовку хлеба для Красной Армии. Отец, как председатель Комитета незаможных селян, пришел ему на помощь и при содействии бедноты стал выкачивать у богатеев–кулаков припрятанный хлеб.

И вот в тот день, когда продотряд выехал в соседнюю деревню и в Яблонном не осталось никого из вооруженных, в село ворвалась уже известная читателю банда и учинила кровавый разгром. Это была одна из шаек злейшего врага Советской власти – батьки Махно. Тогда они увезли раненого Федора в лес и там замучили насмерть.

Получив тяжелую рану в спину, отец наших героев все же оправился и через два месяца встал на ноги. Его хатенка сгорела. Иван Недоля устроил свою семью у знакомого рабочего в городе Екатеринославе, а сам решил уйти к красным партизанам.

Прощаясь с Мишкой, отец сказал:

– Вот что, сынок, если я сам не встречу и не убью Махно, то постарайся разыскать его хоть ты и всыпь ему таких горячих, чтобы он вовек не забыл нашей деревни...

Неизвестно, шутил ли отец или говорил всерьез, но Мишка гневно блеснул глазами и сурово ответил:

– Не бойся, батька, это ему даром не пройдет. Я найду его хоть под землей! Скажи только, сколько ему всыпать?

Отец невольно улыбнулся:

– Да влепи хоть полсотни, и то будет добре.

– И я с Мишкой пойду! – вмешалась Дуняша, бросаясь на шею отцу. – Махно замучил нашего Федю.

Напоминание о смерти старшего сына передернуло старика. Он расцеловал детей и плачущую жену, смахнул с ресницы тяжелую слезу и быстро вышел вон, прихватив винтовку.

С тех пор отец как в воду канул – ни слуху ни духу. Все думали, что он погиб. Только жена не хотела верить и ждала его домой изо дня в день, полная тоски и горя.

После ухода отца ребята решили, что они уже достаточно выросли и вполне готовы для боевых дел (а как же, ведь им уже перевалило за пятнадцать лет!). Одна беда – у них не было



оружия. Винтовку и револьвер забрал отец, а старенькая шашка в расчет не принималась. «Не оружие, а бабье веретено», – уверял Мишка. Как же быть? После долгих споров и обсуждений ребята решили отобрать оружие у какого-нибудь кулака или бандита, а потом двинуться в «поход». Как и чем закончилась эта попытка, читатель уже знает из предыдущей главы.

Костер на полянке догорал. Ребята сидели под дубом, обсуждая разные детали предстоящей военной кампании.

В первую очередь они решили пробраться в лагерь Красного Оленя – Буденного, недельку–другую повоевать с бледнолицыми собаками, поработать для практики разведчиками, а потом уж направиться на поиски проклятой Голубой Лисицы, то есть Махно, и разделаться с ним по-своему.

Как видно, ребята затеяли нешуточное дело. Они свято верили, что все пойдет как по маслу и врагам революции несдобровать! Жаль только, что им не удалось достать пару хороших маузеров, с которыми, по их мнению, можно было победить весь мир: шутка ли – двенадцать пуль в одной обойме! Да вот нехорошо еще, что старуха мать одна остается дома. Захиреет с горя.

– Тяжело будет нашей матке–то, – грустно заметил Овод, вытирая полую рубахи заплаканные глаза, – не выдержит она голодухи, зачахнет без нас...

– Не зачахнет, – сурово возразил Следопыт, чувствуя, что и сам вот–вот разревется. – Экая ты беспонятливая, война–то ведь не кухня, не с горшками драться. Солдаты всегда уходят, а матери остаются...

– Да я что же, я ничего... Я говорю только, что тяжело будет старухе, – оправдывался Овод, стараясь приободриться.

– Значит, завтра чуть свет в поход?

– Уже сегодня. Вишь, светает.

– Руку, товарищ!..

Ребята крепко обнялись. А затем дали клятвенное обещание всегда быть вместе, не оставлять друг друга в беде и биться за власть Советов не на жизнь, а на смерть.

Сидя плечом к плечу и продолжая мечтать о будущих подвигах и приключениях на красном фронте, они незаметно задремали.

Костер давно погас... Ночная тьма поднялась к небу, черные тучи рассеялись, и огненные мечи восходящего солнца торжественно возвестили спящему миру: «Пора вставать, идет утро!..»

## У КРАСНОГО ОЛЕНЯ

На берегу извилистой речонки, по оврагам и деревушкам, раскинулся лагерь Конной армии Буденного. После многодневного утомительного марша бойцы и кони отдыхали. Впрочем, этот отдых был вынужденным: на пути конницы встретились сильные части белогвардейской пехоты, окопавшейся вдоль опушки леса с артиллерией и пулеметами.

Штаб армии расположился в крестьянской хате на окраине села. На крыльце стояли два буденовца с винтовками – это охрана. В штаб то и дело пробегали ординарцы с донесениями или с приказами, выскакивали обратно, садились на коней и неслись прочь.

В хате за большим столом, склонившись над полевой картой, сидели сам Буденный и могучий седовласый полковник с пышными и длинными усами, похожий на гоголевского Тараса Бульбу.

– Так вы говорите, полковник, что фланг противника – самое слабое место? – спросил Буденный, скосив глаза на старого казака.

– Эге ж, – коротко ответил тот, потряхнув чубом. – Ось тут такая низина, по которой можно ударить в конном строю. – Он ткнул пальцем в отметку на карте.

Буденный усмехнулся:

– А вот здесь, на холмике, стоят «максимки» и могут порезать твоих коней, как коса траву. Полковник почесал в затылке:

– Ось тут?.. Могут поризать... Як же буде?..

– Ударим в лоб, – решил Буденный, – вот по этой долине.

Полковник удивился:

– В лоб? Ни, так не можно.

– В лоб! – повторил Буденный, вставая. – Это слишком дерзко, зато неожиданно для врага. А для конницы внезапный удар – половина победы. Ваш полк махнет первым перед рассветом. Еще раз пошлите разведку...

– В лоб так в лоб, – спокойно согласился полковник и, вынув из кармана коротенькую трубку, стал набивать ее махоркой.

В дверь кто-то постучал.

– Войдите! – крикнул Буденный.

Дверь распахнулась, и brave казак, взяв под козырек, вытянулся в струнку у входа.

– Ты что, Гарбузенко?

– Шпиенов привели, товарищ командующий.

– Шпионов? Вот кстати. Где ж вы их схватили? – живо спросил Буденный.

– В лесу, около речки.

– А почему вы думаете, что это шпионы?

– Да вони дюже подозрительны: кажут, шукалы Буденного, и такое балакают, що не дай боже. Мабуть, вони пьяны, чи шо, – отвечал, переходя на украинский язык, красноармеец,

– Вы обыскали их?

– А то як же!

– Что ж нашли?

– Та оцю книжку та наган.

– Хорошо, давайте их сюда.

– Слухаю! – буденовец повернулся на каблуках и, приоткрыв дверь, позвал: – Гей, Петро, тяги их до командира!

В палатку, подталкиваемые сзади, вкатились два старичка с длинными бородами неопределенного цвета. Один походил на деда мороза, слепленного детскими руками: низенький, квадратный, с всклокоченной бородой, немного съехавшей набок; второй был тощий и прямой, как палка. Старички подошли к столу и с любопытством стали оглядывать палатку.

На столе рядом с картой лежал маузер.

При виде оружия квадратный старичок живо толкнул в бок тощего, шепнув вполголоса:

– Гляди-ка, маузер!

– Маузер, – тоже шепотом ответил тот, сделав еще шаг к столу.

Полковник, зорко следивший за каждым их движением, быстро схватил маузер и чему-то ухмыльнулся.

Окинув старичков пытливым взглядом, Буденный оперся подбородком на эфес своей сабли и сухо спросил:

– Вы откуда, старики, пожаловали в наши края?

– Мы-то? – переспросил квадратный старичок, оправляя бороденку. – А кому какое дело? Мы ж не такие дурни, чтобы всякому болтать, как и что.

Буденный изумленно вскинул брови:

– Вот это номер!.. Вас же арестовали около самого штаба!..

– А ну что ж, – отрезал старичок. – мы пробирались к Красному Оленю, а нас и цапнули эти чудаки...

– Что за вздор, какой олень?

– Красный.

Тощий старичок дернул квадратного за рукав и на ухо шепнул:

– Они же не знают!..

– И верно! – спохватился квадратный. – Мы, значит, к Буденному шли и вот – влопались.

– Ну так говорите, что вам нужно от него. Я и есть Буденный.

Старички ахнули в один голос:

– Сам Буденный?

– А ведь похож! Ей-богу, он! – обрадовался квадратный, подталкивая вперед тощего. – Ну, валяй, рассказывай, брат Овод, а то я опять наверчу что-нибудь.

Тощий старичок подвинулся ближе к Буденному:

– Вы на нас не сердитесь, товарищ Буденный. Мы, вот я и мой братень Следопыт, то есть Мишка, из села Яблонного, а батька наш Иван Недоля ушел в партизаны, брата Федора замучили бандиты Голубой Лисицы, значит Махно, а мы с Мишкой решили вступить добровольцами к вам...

– В ряды краснокожих воинов, – вставил квадратный старичок.

– Не перебивай, пожалуйста, – отмахнулся тощий и продолжал:

– Под вашей командой мы хотим немного попрактиковаться в военных делах...

– Побить бледнолицых собак, – опять не утерпел квадратный, – а потом разыщем проклятую Голубую Лисицу и всыпем ей полсотни горячих. Пусть знает, гадюка, как села жечь! Во!..

– Вы что–нибудь понимаете здесь, полковник? – сердито спросил Буденный. – Красный Олень, бледнолицые собаки. Голубая Лисица... Что за тарабарщина такая?..

Овод хотел уже разъяснить, в чем дело, но тут старый буденовец подошел к старичкам и, вдруг схватив их за бороды, дернул вниз:

– Бачтэ, яка кумедия!

И перед изумленными взорами красных конников и Буденного во всей красе предстали наши герои – Следопыт и Овод. Все прыснули со смеху, а за ними рассмеялись и ребята.

– Это еще что за фокусы?! – прикрикнул Буденный.

Ребята сразу притихли, не совсем понимая, почему сердится Красный Олень, когда все получилось так великолепно.

– Никакого тут фокуса нет, – робко возразил Овод, – мы это для отвода глаз прицепили и вот явились к вам...

– А на что вы мне нужны? – отрезал Буденный. – У вас еще молоко на губах не обсохло, а вы воевать задумали.

– Как, на что? – удивился Следопыт, выступая вперед. – А кто вам Голубую Лисицу поймает?..

– И потом, иметь такого разведчика, как Следопыт, – вовсе не худо, – поддержал Овод. – Он может проползти на пузе хоть двадцать верст, а шашкой рубает не хуже любого казака.

Мишка сердито фыркнул и задрал голову вверх.

Буденный не выдержал:

– Вот забавные хлопцы! Куда ж мы их денем, полковник?

– Принять на службу и отдать под мою команду, – невозмутимо посоветовал полковник, – а я их прощупаю.

– Хорошо, пусть будет по–вашему, – согласился Буденный. – Только проверьте сначала, что это за сорванцы такие.

– Слухаю! Гайда за мной, хлопцы!

– А где ж наше оружие? – спросил Мишка. – Мы его в бою взяли...

– Возвратить! – коротко бросил Буденный, снова наклоняясь над картой.

По–военному отдав честь Буденному, ребята вышли вслед за полковником.

## Ю–Ю

Был уже вечер, и на голубом небе одна за другой зажигались звезды.

Ребята шли по деревне, полные радости и надежд, – они станут буденовцами!

Мишка старался идти в ногу с полковником, который молча посмеивался, наблюдая за юнцами. Мимо них то и дело проносились верховые. Во дворах ржали и фыркали кони. Порой слышался лязг штыка или шашки, окрики патрульных, лихая песня. Там и сям горели костры, вокруг которых сидели на корточках воины в ожидании ужина. Лагерь глухо рокотал и гудел, словно гигантский улей.

По пути ребята увидели несколько хат, снесенных до основания артиллерийским огнем. Только черные остовы труб и печей зловеще торчали среди кучи развалин, производя жуткое впечатление.

У наших героев невольно сжались сердца: вот она где, настоящая–то война! Вот они, настоящие красные бойцы и тот самый фронт, куда тянуло их с такой неодолимой силой!

Пройдя развалины, Мишка и Дуняша увидели кучку деревенских ребят. Они шумели и над кем-то громко смеялись. Центром внимания оказался молодой китаец с буденовкой на голове, который старался выбраться из толпы.

– Ходя! Ходя! Косолапый ходя! – кричали озорники, дергая его за полу длинной шинели. А когда китаец поворачивался, чтобы схватить обидчика, они с хохотом отскакивали прочь.

Желтое лицо китайца посерело от гнева. Он яростно метался в куче озорников.

Овод возмутился издевательствами над китайцем и тотчас шепнул что-то на ухо Мишке.

– Есть, дать взбучку! – ответил Мишка. И не успел полковник сообразить, в чем дело, как наши приятели с криком «ура» врезались в толпу ребят, раздавая удары направо и налево. От быстроты и неожиданности натиска толпа в испуге разлетелась в разные стороны.

Опрокинув двух-трех озорников, Мишка и Овод подбежали к китайцу и в воинственной позе стали по бокам.

– Прочь, бледнолицые собаки! – крикнул Мишка, выхватывая револьвер. – Не будь я Следопыт, если не влеплю кому-нибудь пулю в лоб! А ну, подходи, кто желает!..

Желающих не оказалось...

– Молодцы, хлопцы! – смеясь, похвалил старый казак. – Быть вам буденовцами! Ведь это кулацкое отродье напало на Ю-ю.

– Рады стараться, товарищ полковник! – по-военному гаркнули ребята.

Прижимая руки к груди, китаец низко кланялся своим заступникам и почтительно лопотал:

– Спасибо, капитана!.. Караша, капитана, моя твоя товалиса!

Он схватил руку Мишки и крепко встряхнул ее в знак дружбы и преданности. Потом резко обернулся вслед убежавшим озорникам и погрозил кулаком:

– Твоя шайтан! Моя твоя бить будет!

– Как тебя звать, товарищ? – спросил Овод, в свою очередь пожимая руку китайцу.

– Моя звать Ю-ю, товалиса, Ю-ю...

Из разговора с полковником выяснилось, что Ю-ю давно уже находился в армии Буденого, исполняя различные поручения штаба полка, а иногда бывая и в разведке. До прихода в армию он работал в китайской прачечной в Москве, потом был акробатом в цирке и даже уличным фокусником при старом шарманщике. Гражданская война пробудила в нем страстное желание покинуть свою неблагодарную работу и броситься в огонь кровавых событий. Он смутно понимал, что борьба русских крестьян и рабочих за Советскую власть есть дело всех угнетенных, и стихийно потянулся к красным, под знамена свободы и революции.

По просьбе наших ребят полковник согласился устроить их всех вместе и взять под свое покровительство. Задорные юнцы сразу полюбили суровому воину, известному среди буденовцев под кличкой Деда. Особенно понравился ему Овод, поразительно похожий на его красавца сына, сложившего голову в борьбе с белобандитами.

Все направились к хате, занимаемой полковником.

– Следуй за нами! – приказал Мишка Ю-ю. – Теперь ты будешь моим оруженосцем.

– Слюхай, капитана! – охотно отозвался Ю-ю, взяв под козырек.

Вскоре все четверо уже сидели за большим столом в хате полковника.

– Ну-с, хлопцы, что ж мы будем делать? – начал полковник, попыхивая трубкой и оглядывая своих гостей.

– Воевать! – решительно отрезал Мишка. – А пока не худо бы поесть досыта...

– Мы уже пять дней одними сухарями пробавлялись, – подтвердил и Овод, стараясь смягчить слишком прямой ответ Мишки.

– Добре, хлопцы, можно и поснидать.

На столе вскоре появился незатейливый солдатский ужин, который голодные ребята мигом уничтожили.

На первый случай судьба им улыбнулась, и все устраивалось так, как мечталось. Было решено, что некоторое время они «попрактикуются» в военном деле, поучатся у опытных красноармейцев, как держать себя в бою, как ходить в разведку, ухаживать за конями и прочее.

На другой день ребятам уже выдали старенькое военное обмундирование и короткие драгунские винтовки. Правда, все это было немножко великовато и смешно топорщилось во все стороны, но юнцы сразу почувствовали себя настоящими боевыми буденовцами, готовыми

идти в огонь и воду. Теперь они были уверены, что обещание, данное отцу, будет скоро выполнено.

Оглядев себя в боевом наряде, Мишка уверенно сказал Оводу:

– Теперь берегись, Голубая Лисица, душу вытрясем! Во!..

– Не говори «гоп», пока не перескочишь! – охладил пыл Мишки более благоразумный Овод. Однако и он не мог предвидеть, какие трудности и беды ждут их на пути к заветной цели.

Так началась боевая жизнь юных фантазеров.

## **В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ**

В суровой, полной опасностей и лишений обстановке время летело незаметно. Прошла неприятная, мокрая, с непролазной грязью осень 1919 года. Прошла и страшная зима с ее лютыми морозами и почти непрерывными боями против многочисленных полчищ белых, наседавших со всех сторон, проникших до Орла и Воронежа. Это были самые критические дни гражданской войны, когда Конная армия под командованием бывшего унтер-офицера самоучки Буденного разгромила два корпуса белых генералов Мамонтова и Шкуро, шесть лучших конных кубанских корпусов генерала Павлова, очистила от белых весь Дон, Кубань, Северный Кавказ, проделала воистину легендарный тысячеверстный переход до Киева, захваченного белополяками, а по пути беспощадно уничтожала бандитские шайки Махно и других «батьков».

Невозможно описать все героические подвиги Конной армии в эти памятные дни и нельзя представить себе те бедствия и трудности, которые пришлось ей пережить и преодолеть. Это не столько битвы с врагами, сколько голод и жуткие морозы, паразиты и болезни, невылазная грязь и бездорожье.

Все это видели и перенесли наши юные герои. Правда, они заметно похудели и загубели, обтянулись их лица, руки стали жесткими, но зато они закалились телом и духом, окрепли, возмужали. Теперь они поняли, что война – это не только славные подвиги, но и бесконечно трудное и страшное дело, требующее много сил, ума, железной стойкости и самоотверженной любви к своей Родине.

За эти дни все трое не раз участвовали в боях, ходили в разведку с опытными буденовцами, научились прекрасно владеть конями и ухаживать за ними. Их боевые успехи, выносливость и отвага поражали даже старых вояк. А полковник души в них не чаял и всякий раз, когда начинались бои, дрожал за жизнь ребят, словно это были его собственные дети.

Теперь Конная армия проходила по украинской земле, где бесчинствовали банды Махно, и в Мишке снова вспыхнула надежда разыскать и поймать Голубую Лисицу. Но, перед тем как отправиться на поиски, ребята решили добиться от полковника самостоятельного поручения, чтобы проверить свои силы и способности как разведчиков. Дед долго упирался, но, наконец, уступил и обещал при первом же случае удовлетворить их желание. Такой «случай» не заставил себя долго ждать.

Однажды полк Деда получил приказ выбить противника из небольшого леска на левом фланге Конной армии. Перед наступлением надо было основательно прошупать позиции белых глубокой разведкой, чтобы нанести удар в наиболее уязвимое место. И вот одновременно с группой опытных разведчиков полковник, скрепя сердце, решил отправить в самостоятельную разведку и нашу тройку.

– Только смотрите, хлопцы, зря не храбритесь, – напутствовал их Дед, – ходите так, чтобы вас даже заяц не слышал. Разнюхайте, где там у них пушки стоят, где пулеметы, да подсчитайте их, а мимоходом гляньте, не прячется ли где белая конница, и живо назад...

Получив боевое задание, друзья, по установившемуся обычаю, немножко поспорили, как его лучше выполнить. В качестве Следопыта Мишка, естественно, принял командование первой самостоятельной разведкой, тем более, что он обладал каким-то особенным нюхом и удивительной способностью быстро ориентироваться в обстановке и применяться к местности.

За час до рассвета, в сопровождении неутомимого и преданного Ю–ю, друзья отправились в путь, вооруженные с головы до ног. Кроме винтовок и револьверов, каждый имел по несколько ручных гранат.

Все живое спало крепким предутренним сном. Даже хищные ночные птицы редко нарушали покой природы, беззвучно пролетая над головами разведчиков и мгновенно исчезая во мраке. Густой туман, словно седые космы старой ведьмы, тянулся по сырой земле и кустарникам, мутной пеленой заволакивал лес, скрывал овраги и рытвины, превращал все вокруг в клубящуюся пустыню, полную загадок и страха. За каждым кустом, в каждой яме и рытвине, казалось, притаился кто–то враждебный, подстерегающий красных разведчиков. Но Следопыт отважно шагал впереди с наганом наготове. Не отставая ни на шаг, за ним шел Овод, а сзади с «карабаем» в руках скользил, как тень, Ю–ю. Его пояс был весь увешан гранатами.

В таком порядке без всяких приключений ребята прошли последние караулы и посты нашего расположения и вскоре оказались между двумя неприятельскими армиями.

Пройдя таким же смелым, уверенным шагом еще с полверсты, Мишка вдруг остановился. Овод тотчас ткнулся носом в его затылок, а Ю–ю налетел на Овода.

– Тихо! – приказал Мишка. – Садись!

Ю–ю и Овод тотчас опустили на сырую траву.

Мишка осмотрелся по сторонам, проверил направление и стал искать ориентир, по которому можно было бы двигаться дальше, без риска заплутаться.

Вокруг простиралась голая степь, кое–где пересеченная оврагами. Вдали виднелся какой–то темный холм, за ним тянулась полоса леса. Мишка решил идти прямо на этот холм, а оттуда наметить новый ориентир.

– Ложись и следуй за мной! – шепотом скомандовал Мишка.

Все трое прикинули к земле и беззвучно, как настоящие пластуны, поползли друг за другом.

Время от времени Мишка останавливался, приподнимая голову, и острым взглядом озирает окрестности. Видимо, подражая своему герою Следопыту, он изредка падал на траву и, приложив ухо к земле, чутко ловил все звуки и шорохи, стараясь угадать их источник.

Овод в точности копировал Мишку, а Ю–ю просто ложился на живот и терпеливо ждал дальнейшей команды. Он полагал, что его дело – точно и быстро исполнять приказания, а об остальном должен заботиться его бесстрашный «капитана», в таланты которого он верил свято и нерушимо.

Но все было тихо и сумрачно.

Таинственный холм, до которого добрались, наконец, разведчики, оказался большой купой деревьев и кустарника. Дальше виднелся лес, а перед ним предполагалась первая линия обороны противника.

– Передохнем, – тихо скомандовал Мишка, скользнув, как ящерица, в кустарник.

Так же бесшумно за ним прошмыгнули остальные.

Осторожный Мишка тщательно обследовал ближайшие кусты и, наткнувшись на большую яму, решил расположиться в ней.

Разведчики еще не успели занять «позиции», как Мишка, чуть слышно шикнув, припал ухом к земле.

Все притаились в яме, с замиранием сердца ловя звуки. Однако ни Ю–ю, ни Овод не слышали ничего подозрительного. С легким шумом перелетали с ветки на ветку певчие птицы. Где–то далеко трещал коростель, из глубины леса доносилось страстное воркование горлинки.

Через минуту Мишка поднял голову:

– Нишкни, ребята! Я слышу какой–то подозрительный шорох, – он указал в сторону леса, – а потом что–то стукнуло, будто железка о железку задела. На всякий случай приготовьтесь к делу.

Овод и Ю–ю расположились справа и слева от своего командира, положив карабины на край ямы и приготовив гранаты.

Мишка неподвижно лежал на животе, всматриваясь в гущу тумана. Вдруг он проворно схватил карабин и снова скомандовал:

– Готовься к бою! Без команды не стрелять!

Овод прильнул щекой к холодному ложу. Ю-ю, как Будда сидевший на дне ямы, невозмутимо положил руку на затвор «карабая». Ни один мускул не дрогнул на его желтом лице. Только в щелках глаз блеснул опасный огонек.

Непонятный шорох приближался к яме. У притаившихся ребят пробежал по коже неприятный холодок, жутью сжимались сердца.

Что бы это значило?

Но вот справа от ямы, в трех–четыре шагах от ребят, вынырнула из тумана серая фигура солдата с винтовкой в руке. Стараясь не шуметь, солдат быстро полз на животе. За ним тускло блеснул штык, другой, третий...

Разведчики не успели еще сообразить, в чем дело, как все исчезло в тумане, словно это были призраки. И опять стало тихо.

– Как это понимать? – прошептал Овод на ухо Следопыту.

– Очень просто, – зло ответил Мишка. – Мы опоздали с наступлением. Бледнолицые собаки предупредили нас. Это прошла первая цепь. Вот так влипли в историю! – Следопыт в затруднении почесал затылок.

Когда создавалось запутанное положение, Овод обычно находился скорее и нередко выручал из беды. Так случилось и на этот раз.

– Вот что, брат Следопыт, – тихо сказал он, – во что бы то ни стало мы должны предупредить наших, предупредить сию же минуту, иначе наш полк разгромят бледнолицые собаки.

Следопыт сердито фыркнул:

– Это и я знаю. Но как предупредить – вот вопрос? Впереди идет цепь, за ней ползет другая, а потом...

– А вот как, – возразил Овод, – я и Ю-ю останемся здесь и, как только вторая цепь пройдет мимо нас, ударим вслед огнем из карабинов и пуганем гранатами... И тут начнется такой тарарам...

– Ну, а дальше что? – нетерпеливо перебил Следопыт.

– Дальше ты сию же секунду поползешь за первой цепью, во время паники проскользнешь к нашим и...

– Есть! – отрезал Следопыт, хватая карабин. – Принимай команду, Овод, и действуй...

И он мгновенно исчез вслед за цепью неприятельских солдат.

Ю-ю хотя и плохо понял, о чем говорили его друзья, сохранял полное спокойствие, ожидая приказаний нового начальника.

Вскоре появилась вторая цепь белых.

Овод приказал Ю-ю открыть огонь по левому флангу, а сам ударил по правому.

– Трах–тах–тах! – внезапно прокатился залп из двух карабинов, сразу разорвав тишину и как бы пробудив спящую землю.

– Бах! Б–бах!..

Несколько беляков справа и слева с воем завертели на земле. Вторая цепь, не ожидавшая нападения сзади, в ужасе заметалась, не понимая, кто и откуда стреляет.

Беглым огнем выпустив по обойме, Овод и Ю-ю засыпали бегущих солдат гранатами.

Услышав пальбу и взрывы позади себя, первая цепь сразу остановилась. Солдаты решили, что обойдены красными с тыла, в панике повернули назад и открыли беспорядочный огонь по второй цепи белых. Те начали отстреливаться, отходить обратно к лесу.

Началась невообразимая паника. В густом тумане люди бестолково носились взад и вперед, сталкивались, били друг друга, стреляли в упор белые в белых, катались по земле. Там и здесь злобно лязгали штыки, сверкали шашки, слышались предсмертные стоны и крики.

Бегущих беляков Овод и Ю-ю встречали гранатами.

Через пару минут обе цепи прокатились обратно к лесу, сея панику в глубине неприятельского расположения.

Овод тотчас сообразил, что путь свободен, и дал знак Ю-ю прекратить пальбу и следовать за собой. Ребята бегом помчались в обратный путь.

Вскоре отряд буденовцев ураганом налетел на белых и окончательно смял их ряды. Потом с шашками наголо ринулась уже целая лава конников.

– Ура! – крикнул Овод. – Следопыт сделал свое дело...

– Караша капитана! – одобрил и Ю–ю, высоко подбросив вверх свой карабин и ловко поймав его за ствол.

Вдали тяжело загромыхали пушки, затрещали пулеметы. Лес опоясался огнем, пылью и дымом.

Буденовцы заняли позиции противника, разбив два полка белых, захватив пленных и богатый обоз.

К полудню боевая тревога улеглась окончательно. Полк начал готовиться к дальнейшему походу. Наши друзья остались целы и невредимы. Только фуражка Следопыта оказалась простреленной в двух местах, да Ю–ю получил пулевую царапину в ногу, на что он плюнул самым пренебрежительным образом.

Старый полковник с гордостью рассказал бойцам о первом подвиге юных разведчиков.

Буденовцы тотчас разыскали ребят, с криками «ура» подняли на руки и так лихо «качнули», что едва не вытрясли их внутренности.

Вечером ребят позвали в штаб.

Широко улыбаясь, их встретил сам Буденный и каждому в отдельности крепко пожал руку.

– Молодцы, казаки! – и, обращаясь к полковнику, спросил вполголоса: – Чем бы наградить этих орлят?

– А мы награды не требуем, – ответил за всех Овод, вытянув руки по швам, – мы за Советскую власть стараемся, товарищ командующий.

Полковник просиял:

– Бачтэ, яки мои хлопцы?

Похвалив ребят за преданность Советской власти, Буденный многозначительно заметил:

– Но, я полагаю, вы не откажетесь получить по маузеру?

– Вот это дело! – воскликнул Следопыт. – Какой же буденовец откажется от порядочного оружия!

Таким образом, давняя мечта юных вояк осуществилась: все трое получили по маузеру. Впрочем, Ю–ю отказался, полагая, что лучше «карабая» оружия не бывает.

Эти события еще выше подняли авторитет наших героев. Они стали получать задания все более важные и ответственные.

Однажды буденовцы заметили, что их любимая тройка куда–то скрылась. Проходили дни, а ребята не возвращались. В разведку, что ли, ушли?..

На вопросы любопытных полковник только покачивал головой да хитро ухмылялся:

– Откуда мне знать?

Куда же, в самом деле, пропали молодые разведчики?

## ШПИОН

Темной ночью по глухим лесным тропам и дорогам двигались черные фигуры вооруженных всадников. Лишь изредка фыркали боевые кони, да поскрипывали на ухабах плохо подмазанные тачанки, нагруженные оружием и съестными припасами. Видимо, чего–то опасаясь, люди говорили и даже переругивались вполголоса, сердито шикали друг на друга.

Отряд остановился в глубине леса и быстро раскинулся лагерем на большой круглой поляне, примыкавшей к обрывистому оврагу.

Вокруг, словно на страже, стояли могучие дубы. Посредине поляны возникла холщовая палатка для командира. Всадники спешили и расположились прямо на земле, под кустами и деревьями. Костров не зажигали.

У входа в палатку стояли двое с шашками наголо.

– Слышь, Перепечко, – полушепотом заговорил один, обращаясь к соседу, – сегодня наш батько зол, як черт.

– Будешь зол, коли половина войска зарублена красными, – отозвался Перепечко.

– Балакають, що у нас измена появилась, або шпиен який.

– Мабуть, и так. Вони так швидко налетели, що сам батько еле ноги унис...

– Тс–с–с! Вот он идет!..



Мимо часовых с толстым портфелем в руке быстрыми семенящими шажками прошел маленький человек в черной мохнатой папахе, надвинутой на лоб. Вслед за ним, согнувшись вдвое, полез в палатку длинноногий, как аист, бандит с цилиндром на голове.

Войдя в палатку, батька сердито швырнул портфель под ноги часового, стоявшего около черного знамени:

– Стеречь, как маму! Иначе – душа вон, и баста!

Часовой ловко подхватил портфель, сунул его в железный сундук и снова вытянулся у знамени с шашкой на плече.

Бандит в измятом цилиндре проворно сел за походный стол и тотчас вынул карандаш и толстую записную книжку:

– Я слушаю, батько, диктуйте...

– Пшел к чертям! – огрызнулся батька, шагая взад и вперед по палатке с плетью в руке. – Ты, скотина, мой адъютант и не видишь, что у тебя делается под носом.

– А что у меня там делается, батько? – испуганно спросил адъютант, шмыгнув пальцем по верхней губе.

– А то, что в нашем войске засел шпион, сто чертив твоему батьку!..

– Шпион?! – всполошился адъютант. – Быть того не может! У нас хлопцы все на подбор...

– Цыть, когда я говорю! – прикрикнул Махно бросая на стол скомканную бумажку. – На кануне разгрома у меня пропала важная депеша, а на ее месте я нашел вот эту чепуху.

Адъютант проворно развернул бумажку и прочитал вполголоса: «Берегись, коварная Лисица! Твой лохматый скальп скоро украсит вигвам Великого Вождя краснокожих воинов. Мы тебе покажем, как села жечь, бандитская морда! За красных дьяволят – Следопыт».

– Что за дьявольщина такая! – развел руками адъютант. – Значит, за нами в самом деле кто-то следит и доносит красным о каждом движении. А ты уверен, батько, вон в том казачке, что охраняет нашу казну? – кивнув в сторону часового, прошептал адъютант на ухо атаману.

– Цыть, Голопуз! – оборвал его Махно. – Этот мальчишка – сын убитого красными старшины и предан нам, как собака.

– Молчу, молчу! – осекся Голопуз, захлопывая рот ладонью. – Я ж только соображаю...

Махно остановился посредине палатки и, по-наполеоновски сложив на груди руки, приказал:

– Пиши, адъютант!

Голопуз поспешно схватил карандаш.

– Атаману Черняку от батьки Махно братский привет, – начал диктовать атаман, ощупывая свои карманы. – Слухай, Черняк: живо собирай свое войско и ровно к пяти часам утра будь у Чертова дуба, да хорошенько сховайся. Ударим сразу с двух сторон!..

– Однако где же его донесение? – вдруг оборвал себя Махно, продолжая обшаривать карманы... – Ах, вот оно! Ишь ты, забыл, куда засунул.

Махно выхватил из заднего кармана брюк маленькую бумажку и вдруг побледнел, в ужасе выкатив глаза.

– Эт-то что такое?.. Эт-то ж не то?!

Трясущимися руками он расправил бумажку и вполголоса прочитал: «Сегодня ночью атаман Черняк будет разбит красными. На днях получишь хорошую баню и ты, проклятая Лисица, не будь я Следопыт»...

– Опять он, сатана бесхвостый! – неистово заорал взбешенный бандит. – Шкуру спущу! Засеку насмерть и баста!

И Махно так хватил плетью по столу, что Голопуз подскочил, как ужаленный, выронив из рук карандаш и тетрадку.

– Как попала ко мне в карман эта пакость?! Я вас научу охранять своего атамана, прохвосты! Вон, глиста поганая!..

Голопуз ринулся к выходу. Махно толкнул его ногой в спину и сам выскочил из палатки.

Когда палатка опустела, казачок осторожно шагнул к выходу и, чуть-чуть приподняв угол полотноща, выглянул наружу.

Вокруг было спокойно. Часовые стояли на месте.

Двигаясь, как тень, казачок вернулся к знамени, проворно открыл железный сундук и, вынув портфель Махно, сунул его в свою сумку:

– Теперь пора тикать. Кажется, этот длинный журавль что-то пронюхал.

Схватив бумажку, казачок быстро набросал записку: «До скорого свидания, грозный атаман. Как ни вертись, а от нас не уйдешь, грабитель. По поручению Следопыта – Овод – Мельниченко».

Заранее радуясь предстоящему бешенству бандита, Овод свернул записку треугольником и положил в железный сундук – пусть повеселится!

Костры давно уже погасли. Часовые сладко дремали.

Весь лагерь спал крепким сном.

Бесшумно шагая между спящими бандитами, Овод благополучно пересек поляну и по узкой тропке направился в глубину леса. Здесь он без труда нашел тачанку атамана и, смело подойдя к караульному, сказал:

– Слушай, Сероштан, оседлай живее пару лучших коней: батька требует.

– Чего там седлать, – лениво отозвался казак, – два коня у нас всегда наготове, вон они под дубом стоят.

Бандит хорошо знал махновского казачка и, ничего не подозревая, неторопливо отвязал коней и передал их Оводу.

– Бери и тикай!

Овод мигом вскочил в седло, взял второго коня за повод и шагом поехал в сторону лагеря. Зная пароль, он без особого риска миновал последнюю стражу и вскоре исчез в лесной глуши...

Сероштан между тем возвратился к тачанке, раза два зевнул, позавидовал тем, кто спал, и предался воспоминаниям...

Но как Овод очутился в «казачках» у самого Махно – вот вопрос? К сожалению, сейчас уже нет времени для ответа. Оводу дорога каждая секунда. Его вот-вот могут хватиться и, конечно, пошлют погоню...

## ПОГОНЯ

Проехав шагом около полуверсты и выбравшись на знакомую дорогу, Овод пустил коней крупной рысью. Вот уже близко опушка леса, меж деревьев просвечивает небо. Овод натянул поводья и, осмотревшись по сторонам, крикнул, подражая филину.

В ответ из лесной глуши зловеще закаркал ворон. через минуту у самой морды лошади, словно из земли, вырос Следопыт, а за ним появился и Ю-ю с карабином в руках. При виде Овода он широко и радостно улыбнулся.

Лошади в испуге шарахнулись в сторону, едва не сбросив седока.

– Экий ты, леший, как кошка ходишь, – рассмеялся Овод, бросая повод второй лошади Следопыту. – Принимай скорее, и марш!

– Что, погоня? – хладнокровно спросил Мишка, одним махом вскакивая в седло.

– Погони еще нет, но она будет. Голубая Лисица в таком бешенстве, что перебьет всю свою банду, если мы не будем пойманы.

– Тогда летим. Садись за мной, Ю-ю.

– Караша, капитана, – тихо отозвался Ю-ю, вскакивая на круп коня позади Мишки.

– За мной, – скомандовал Мишка, взмахнув плетью.

Горячие кони помчались по дороге, взметая вихри пыли.

Лес вскоре кончился. Впереди извилистой лентой тянулся сердитый Днепр.

Беглецы круто повернули вверх, по течению, к известному им броду. По расчетам Мишки, до него оставалось пять-шесть верст, не более. И, если им удастся благополучно перебраться на ту сторону реки, дело будет выиграно, там уже недалеко до военной зоны красных.

Быстроногие махновские кони понравились Мишке, и он на скаку крикнул Оводу:

– Если увидишь Голубую Лисицу, передай ей спасибо за хороший подарок!

Овод рассмеялся:

– Я оставил ей благодарственную записку, будет довольна!

Над Днепром поднялась огромная багровая луна.

– Эка вынесло тебя не вовремя, – сердито проворчал Мишка, стегнув коня, – за десять верст заметят!

В ушах засвистел ветер, из-под копыт лихих коней сыпались искры. Но вскоре Мишка замедлил бег и стал искать груды камней, обозначающую брод.

Луна, как назло, спряталась за облако, и густая тьма сразу окутала реку.

Не заметив брода, ребята промчались еще с версту вдоль берега. Но вдруг Мишка так круто осадил лошадь, что она взвилась на дыбы, а Овод оказался на десяток шагов впереди.

– Что случилось? – тревожно спросил он, равняясь с Мишкой.

– Тихо! – Мишка прислушался. – Погоня!

А луна, словно издеваясь над ребятами, во всей красе снова выплыла из-за облака, заливая Днепр и все вокруг чудесным сиянием.

– Вон брод! – радостно вскрикнул Мишка, показывая на знакомую кучу камней, мимо которой они промчались в темноте. Но позади уже слышался топот многочисленных копыт, а через мгновение ребята увидели бешено мчавшийся отряд бандитов. Скакать дальше вдоль берега не имело смысла: рано или поздно нагонят. Единственный выход – первыми перейти брод и попытаться задержать погоню. Все это Мишка сообразил в одну секунду и отдал команду:

– Сыпь до брода!..

Беглецы вихрем промчались навстречу врагам и, круто повернув коней, ринулись в воду.

Заметив ребят, махновцы пронзительно взвизгнули и тоже устремились к броду. Однако беглецы уже были на том берегу.

Вылетев из воды на кручу, Мишка отчаянно свистнул и дал шпоры коню:

– Вперед, буденовцы!

Но в этот момент махновцы с седел дали залп по беглецам.

Обе лошади грохнулись на землю, отбросив в сторону своих седоков.

– Вот когда мы влопались! – сердито проворчал Мишка, вскакивая на ноги и хватаясь за маузер.

– Ну, нет, – возразил Овод, – мы еще посмотрим. Во всяком случае, махновские бумаги мы должны спасти во что бы то ни стало

Во всем подражая Мишке, Ю-ю спокойно снял с плеч свой «карабай». Он редко принимал участие в обсуждении обстановки, но действовал всегда решительно и мужественно, точно выполняя любое приказание командира.

– Ложись, и за мной! – скомандовал Мишка.

Он прополз шагов пятьдесят вдоль берега и залег за огромным камнем. Ю-ю и Овод последовали его примеру.

– Так как же быть с бумагами? – спросил Следопыт, лежа на животе и зорко наблюдая за противником.

Овод снял сумку с плеча и, передавая ее Ю-ю, сказал:

– Эту сумку Ю-ю немедленно доставит нашим, а мы задержим бандитов у переправы.

– Да, ты прав, всем спастись не удастся, – тотчас согласился Следопыт. – Но не лучше ли тебе самому пойти с бумагами, а мы с Ю-ю дадим бой...

– Нет-нет! – решительно перебил Овод. – Ведь мы дали клятву не покидать друг друга в беде... а беда уже надвигается, – и он кивнул головой в сторону брода.

Махновцы заметили свалившихся коней, дали по ним еще три-четыре залпа и смело пустились в реку, идя по два в ряд.

Мишка пожал руку Оводу и приказал Ю-ю немедленно отправляться в путь:

– Умри, но сумку доставь нашему полковнику или самому Буденному!

– Слюхай, капитана! – Ю-ю с некоторым колебанием взял таинственную сумку. Он понял, что ему велят оставить своих друзей в самый опасный момент, когда его «карабай» мог бы пригодиться. Но приказ есть приказ. Козырнув командиру и поклонившись Оводу, он молча перебросил сумку через плечо и быстро пополз прочь от берега.

Проводив Ю-ю теплым взглядом. Овод вздохнул:

– Какой он славный товарищ... Прощай, дорогой!..

– Ну-ну, – нахмурился Следопыт, – рано прощаться. Готовься к бою, видишь – идут!

Первая пара махновцев была уже на середине реки. Мишка насчитал шесть пар «с хвостиком», значит, тринадцать здоровенных бандитов против двух буденовцев.

– Пора начинать музыку, – сказал Мишка, прицеливаясь, – надо снять первую пару: ты правого, я левого... Пли!..

Гулкий залп прокатился над рекой.

Оба махновца свалились в воду. Раздался крик. Бандиты сразу остановились, открыв беглый огонь по мертвым коням, за которыми, как им казалось, спрятались беглецы,

Маневр Мишки оказался удачным. В то время как махновцы один за другим падали с седел, ребята, невредимы, лежали за камнем.

Потеряв еще двух убитыми, бандиты в панике повернули обратно.

– Ослы! – заметил Мишка, выпуская им вслед одну пулю за другой. – Им надо было переть напролом, потерь было бы столько же, а нас бы, конечно, пристукнули.

– Не беспокойся, Мишук, мы, кажется, и так не уйдем: гляди-ка, что там творится.

На помощь бандитам примчался еще один отряд. Он сразу спешил и вместе с остатками первого отряда открыл по невидимым юнцам ожесточенную стрельбу, осыпая градом свинца большой отрезок берега. Пули запели и над камнем, скрывавшим ребят. Они не отвечали.

– Да, пожалуй, ты прав, – признался Мишка, – пешком нам не уйти: впереди – голая степь, а наши кони на том свете... А тут еще эта дурища светит во все лопатки!

Он сердито погрозил кулаком в небо, по которому величаво и медленно катилась луна.

Обстрел вскоре прекратился. Бандиты снова сели на коней и редкой цепью двинулись через переправу.

– Теперь они уже перейдут реку, как пить дать, – проговорил Мишка. – Ну, начинай, брат...

И буденовцы опять открыли огонь по бандитам. Однако те не остановились, а только прищипорили коней и вскоре выбрались на берег. Здесь они выхватили шашки и с диким воем устремились к трупам коней. Бандиты надеялись захватить там отчаянных юнцов.

– А ловко мы их надули! – засмеялся Мишка, словно не понимая опасности. – Кажется, штук семь отправили раков ловить.

Бандиты покружились вокруг мертвых коней, а потом рассыпались в разные стороны в поисках притаившихся ребят. Часть ринулась к камню.

Друзья поняли, что смерть или постыдный плен неизбежны. Овод порывисто поцеловал Мишку:

– Прощай, братишка мой, умрем вместе.

– Зачем умирать, мы еще подеремся, – ответил Мишка, закладывая последнюю обойму в маузер. – За Советскую власть!.. За Ленина! Пли!

Двое бандитов, близко подскакавших к камню, слетели с седел. Испуганные кони шархнулись прочь, волоча по камням своих хозяев.

Беглецы были обнаружены.

С торжествующим ревом махновцы, сверкая шашками, всей ордой двинулись на двух подростков.

Овод еще раз обнял своего храброго брата и приставил дуло маузера к сердцу.

– Прощай!..

Все это произошло так быстро и неожиданно, что Следопыт успел лишь подхватить свою сестру на руки, уронив маузер. Разъяренная банда махновцев обрушилась на безоружных, нанося им удары, кто чем мог...

– Стой, хлопцы! – спохватился командир отряда, вспомнив, что ему приказано поймать и доставить беглецов живьем.

С большим трудом ему удалось разогнать взбесившихся головорезов и прорваться к ребятам. Они лежали неподвижно, как мертвые, залитые кровью, в растерзанных одеждах.

– Собакам собачья смерть! – злобно проворчал рябой бандит. – Однако кто же из них шпион? Они оба так изувечены, что и разобрать трудно.

– Взять обоих! – приказал командир. – Но сначала отберите портфель с бумагами.

Бандиты осмотрели сумку Следопыта, со всех сторон ощупали Овода, но никаких бумаг не нашли.

– Бумаг нет.

– Как, нет? – растерянно пролепетал командир. – Ну, быть беде: батька всем нам шкуру спустит.

Рассыпавшись вдоль берега, махновцы осмотрели седла мертвых коней, каждый камень, каждый кустик, но бумаги исчезли.

Рябой бандит обмыл лица ребят водой и только тогда опознал Овода – Мельниченко. Командир велел везти его с особой осторожностью, на случай, если он окажется жив.

– А что делать с этим щенком? – спросил рябой, свирепо толкнув сапогом безжизненное тело Мишки. – Приколоть, что ли, на всякий случай?

– Взять и его в лагерь, а там разберем.

И отряд махновцев отправился в обратный путь, захватив пленников.

Рябой грубо бросил Следопыта поперек седла и медленно двинулся вслед за бандой. Изредка поглядывая на бледное лицо юноши, он злобно ворчал:

– Я тебя довезу, гадюка!

Переехав брод, он незаметно отстал от отряда и, наконец, остановился на крутом обрыве. Слез с лошади и, сбросив беспомощного Мишку на землю, раздел его догола:

– Я тебе покажу, красная собака, как махновцев бить!

С этими словами бандит схватил голого Мишку на руки и, раскачав, бросил с обрыва в кипящие буруны.

– Катись, дьяволенок!

И, словно желая проверить, куда упало тело, бандит нагнулся над обрывом и глянул вниз...

В то же мгновение какая-то черная фигура беззвучно выросла за его спиной. В воздухе сверкнул кинжал, и бандит свалился в Днепр вслед за своей жертвой.

## КТО СКОРЕЕ

Оставив своих друзей, Ю-ю торопливо полз к молодому дубку, одиноко стоявшему у проселочной дороги, в стороне от реки. На его спине болталась сумка с махновскими бумагами. Время от времени Ю-ю останавливался, осторожно приподнимал голову, оглядывался назад. Его мучило сознание, что пришлось покинуть товарищей в такую страшную минуту. А он так привязался к ним, что ради спасения отважного «капитана» и его удивительной сестренки готов был положить свою голову.

Да, Ю-ю случайно открыл их тайну и теперь смотрел на Дуняшу с глубочайшим уважением и восторгом. Однако китайчонок ни единым движением не выдавал своих чувств, оставаясь с виду все таким же невозмутимо спокойным и молчаливым. И вот он вынужден уходить, оставив на растерзание бандитам своих славных соратников.

– Никараша, капитана, никараша, – укоризненно шептал он, покачивая головой. – Зачем такое?.. Ай, никараша...

Добравшись до дубка, он прилег под ним и стал наблюдать за ходом боя. Он видел, как падали в воду махновцы и в какой панике они бросились обратно, к берегу.

– Маладца капитана! – одобрил Ю-Ю.

Но каков был его ужас, когда второй отряд, невзирая на меткие пули друзей, все-таки перебрался через реку и всей массой набросился на ребят.

Ю-ю мгновенно вскочил на ноги и хотел уже бежать на помощь друзьям, но сумка с бумагами свалилась с плеча, напомнив о суровом приказе Следопыта – доставить ее во что бы то ни стало полковнику.

Ю-ю был в отчаянии. А когда на его глазах началось дикое избиение ребят; он в бессильном гневе разорвал свою гимнастерку и, потрясая карабином, кричал по адресу махновцев:

– Собака! Бандит! Мой карабай на твой башка стреляй будет!..

К счастью, за шумом свалки криков Ю-ю никто не слышал. Вскоре он увидел, как неподвижные тела его товарищей были брошены в седла и вся банда отправилась в обратный путь.

Ю-ю понял, что его верные друзья и защитники погибли. Сердце бедного юноши сжалось от тоски и горя. Захлебываясь от рыданий, он упал на траву и долго и горько жаловался кому-то на свою жестокую судьбу.

– Ай, капитана, мой карош капитана! – повторял он, катаясь по земле. – Пропал наш Овод!.. Совсем пропал!.. Зачем остался Ю–ю?..

Ю–ю казалось, что вместе с друзьями погас последний луч, который так тепло согривал его душу. Но вдруг, пораженный какой–то новой мыслью, Ю–ю ударил себя ладонью по лбу и вскочил на ноги.

– Ай, никараша мой башка! – С этими словами он схватил свой карабин и бегом пустился к броду.

Пока командир был жив, Ю–ю считал невозможным нарушить его приказ, но теперь он убит, и ему уже все равно, дойдет бумага немедленно или немножко позже... А главное, надо узнать о дальнейшей судьбе товарищей, быть может, кто–нибудь жив еще, и тогда...

Рискуя каждую минуту сорваться в бурную пучину или попасться на глаза бандитам, Ю–ю с трудом перебрался через брод и издали последовал за отрядом. Вскоре он заметил, что один из махновцев почему–то задержался у обрыва и слез с коня. Ю–ю тоже остановился, спрятавшись за куст.

Бандит снял с седла безжизненное тело и, положив его на землю, присел на корточки. Ю–ю подполз ближе и осторожно приподнял голову. В предутренних сумерках он смутно видел, как бандит сорвал с человека одежду и, приподняв обнаженное тело на руки, подошел к самому краю обрыва. Вот он качнул его и бросил в Днепр. Ю–ю весь содрогнулся: ему показалось, что в воздухе промелькнула всклокоченная голова Мишки.

Выхватив кинжал, Ю–ю одним прыжком очутился за спиной бандита, а через мгновение тот, пораженный насмерть, уже летел вслед за своей жертвой. Ю–ю глянул с обрыва. Внизу пенились и ревели волны, разбиваясь об отвесную скалу.

Ю–ю бегом спустился к берегу и, внимательно оглядывая каждый камень, пошел вдоль излучины вниз по течению. Здесь река, сделав крутой поворот, катилась спокойно. Поиски не дали результатов: на пути встречались только голые камни, скатанные водой. Ю–ю тяжело опустился на землю и, полный отчаяния, уставился неподвижным взглядом в темные воды Днепра.

Что делать?

Но вдруг ему почудилось, что кто–то тихо стонет вблизи. Он живо вскочил на ноги и осмотрелся по сторонам – никого нет... Через секунду стон повторился, казалось, он шел из самой глубины реки.

По спине суеверного Ю–ю пробежал холодок: уж не утопленник ли подает голос?

Преодолевая страх, Ю–ю подошел к самой воде и за большим серым камнем увидел чье–то голое тело, омываемое волнами. Мокрая голова лежала на мелкой гальке, лицом вверх. До слуха онемевшего на месте Ю–ю донесся шепот:

– Овод... где Овод?..

Дрожа от волнения, Ю–ю бросился в воду, схватил Мишку на руки и, выйдя на берег, осторожно уложил его на песок.

– Мой тавалиса... мой капитана, – радостно лопотал он, насухо вытирая друга.

Мишка постепенно приходил в себя. Наконец он приподнял голову и мутными глазами уставился в лицо Ю–ю, видимо, не узнавая его:

– Где Овод?.. Где Дуняша? – еле слышно спросил он.

Ю–ю беспомощно развел руками:

– Моя не знай, капитана, бандит пришел, взял...

Следопыт долго не мог понять, что с ним случилось, где он находится и почему он голый. Только острая боль в раненой ноге вдруг напомнила ему о расправе бандитов и самоубийстве Овода. Он вспомнил, как нежно обняла его Дуняша, прощаясь перед смертью, как она поставила дуло маузера к своей груди, но дальше все пропадало в тумане. Какой–то вой, крики, страшный удар в голову...

В первое мгновение ему захотелось плакать от сознания своего бессилия. Но мысль о том, что Овод захвачен в плен и, быть может, еще жив, и ждет его помощи, заставила Мишку собрать последние силы. С трудом приподнявшись на локте, он стал расспрашивать Ю–ю обо всем, что он видел.

Из короткого рассказа китайца Мишка узнал только, что их долго били, потом бросили на коней и увезли через Днепр, а жив ли Овод – неизвестно...

Глаза Следопыта вспыхнули гневом. Надо не плакать, а действовать! Если Овод не умер, проклятый Махно предаст его таким пыткам, каких не выдержит даже взрослый человек, а ведь она еще девочка...

При помощи Ю-ю Следопыт поднялся на ноги, осмотрелся и тщательно ощупал свои ребра и голову – кажется, все цело.

– Вот идиоты! – заметил он. – Двадцать ослов не могли одного Мишку убить!.. Вот только нога что-то того... Далекое убежище...

Покрытая ранами правая нога Мишки опухала. Ю-ю тотчас разорвал свою рубашку и ловко перевязал ногу. Но при новой попытке двинуть раненой ногой Следопыт побледнел и свалился на руки Ю-ю. Тот подхватил его и понес к оставленной бандитом лошади.

Придя в себя и увидев перед носом морду коня, Мишка изумился:

– А это что за привидение?

Ю-ю скупно рассказал о стычке.

– Молодец, Ю-ю! – похвалил Следопыт своего славного оруженосца.

Ю-ю счастливо улыбнулся и подал Мишке его одежду, сорванную бандитом. Мишка оделся.

Но как быть дальше? Гнаться сейчас за Оводом – дело совершенно безнадежное, тем более, что каждую минуту бандиты могли хватиться оставшего махновца и начать поиски. Идти пешком не давала большая нога...

Немного подумав, Следопыт решительно скомандовал:

– На коня!

Преодолевая мучительную боль, при помощи Ю-ю Следопыт взобрался в седло. Ю-ю уселся за его спиной.

– Ну, а теперь вперед! – приказал Мишка. – Загони коня, но доставь меня к нашему полковнику живым или мертвым. Если буду кричать, не обращай внимания. Только держи крепче и не давай падать.

– Есть, капитана! – Ю-ю понял, что от быстроты бега зависит жизнь несчастной Дуняши, попавшей в руки свирепых бандитов. Он изо всей силы хлестнул и без того горячего коня плетью. Тот бешено рванулся вперед. Мишка скрипнул зубами от боли. И они лихим карьером понеслись вдоль Днепра к броду.

Луна бледнела. Ночная тьма быстро таяла, отступая в лесную глушь.

Далеко за Днепром вихрилась пыль. Словно стрела, выпущенная из лука, боевой конь летел навстречу ветру, раздувая ноздри. Лево́й рукой Ю-ю поддерживал Мишку, правой нахлестывал коня и пронзительно кричал на всю степь:

– Га-га-ааа!..

## НЕЧИСТАЯ СИЛА

В то время как наши друзья мчались в лагерь Буденного, батько Махно нервно бегал по поляне. Он был взбешен до последней степени: какой-то молокосос так ловко водил за нос грозного атамана, что его банда дважды подряд оказалась жестоко битой. Это ли не конфуз! На сей раз мнимый сын старшины Мельниченко захватил важную переписку Махно с атаманами других банд и план общего наступления на Екатеринослав. Если беглец не будет пойман и бумаги попадут к красным, провал этой кампании неизбежен.

Махно, как волк в клетке, носился взад и вперед, до крови кусая губы. Он ждал бумаг. Наконец до его слуха донесся топот коней.

– Скорей позвать есаула! – нетерпеливо крикнул Махно, хлестнув по цилиндру подвернувшегося адъютанта.

– Я здесь, батько!

И молодой командир отряда вытянулся перед Махно, взяв под козырек.

– Бумаги! Подай бумаги! – потребовал атаман, протягивая руку.

– Бумаг нет, – дрожа всем телом, ответил побелевший есаул.

– Что ты сказал? Не–е–ет?! – неистово заревел атаман. – Запорю насмерть! Семь шкур спущу, мерзавец!..

Вспыхнув от гнева и незаслуженной обиды, есаул дерзко Ответил:

– Забываешься, батько! Я дворянин и не позволю орать на меня!

– Цыть, мальчишка! Взять его!..

На крик Махно явился мрачный одноглазый бандит с толстой плетью за поясом – палач банды. Он мигом скрутил есаулу руки назад и, как щенка, потащил в лес.

– Высыпать ему сто горячих! – крикнул вслед Махно.

Вскоре из леса послышался свист плетей, яростные проклятия и угрозы есаула.

Один из бандитов принес на руках окровавленного Овода и бросил его к ногам атамана, как победный трофей экспедиции.

При виде неподвижного тела мнимого Мельниченко Махно снова вспылел:

– Как, убит? Я ж приказал доставить живьем!

– Хиба ж я знаю? Може, сдох, а може, и живой, – спокойно возразил бандит, – я ж не дохтур...

– Та–а–ак, – зловеще протянул Махно, разглядывая бледное лицо Овода, – если этот зменийш окажется мертвым, половину вашего отряда вздерну на деревья.

– Та воны ж настоящие дьяволята, тряся их матэри! – оправдываясь, выругался бандит. – Двое щенят семерых казаков угробили та трех поранили.

Этот неприятный сюрприз заставил Махно подскочить на месте и разразиться такой забористой бранью, что даже у выдавших виды бандитов глаза полезли на лоб.

– А где же второй щенок? – спросил Махно, немного отдышавшись. – Ты говоришь, их было двое.

– Того Сероштан вез. Гей, Сероштан, тyani к батьке своего шибеника!

На крик никто не отозвался.

Каково же было изумление всей банды, когда стало известно, что и Сероштан и пленник бесследно пропали.

– Вот нечистая сила! – в страхе ворчали суеверные махновцы, не знали, чем объяснить таинственное исчезновение. – Мабуть, то переворотень був який, чи шо...

А Махно настолько растерялся, что велел немедленно связать и без того неподвижного Овода и под усиленной охраной отправить на новую стоянку. Хитрый бандит понял, что пропажа бумаг и неизвестного мальчишки может привести к неожиданному нападению, и решил тотчас переменить место.

Вскоре вся шайка мчалась по тайным тропам и дорогам в указанный атаманом район.

## **ТЯЖКОЕ ИСПЫТАНИЕ**

Овод очнулся в какой–то темной конуре. Снаружи слышался непонятный рокот. Открыв глаза и озирая мокрые, покрытые плесенью стены, он долго не мог сообразить, что с ним произошло. Но постепенно мысли Овода прояснились. Он понял, что каким–то чудом уцелел в страшной свалке у переправы и теперь, видно, находится в плену у лютого атамана: от него уж не будет пощады. Жалко, не удалось покончить с собой. В горячке боя он забыл вложить в револьвер новую обойму и упал не от собственной пули, а от удара бандита.

Овода охватила тревога за брата. Где он? Жив ли? Может быть, и он в плену? Тогда их обоих ждет лютая пытка и смерть на виселице.

Овод содрогнулся. Он хорошо понимал, что ему предстоят такие страшные муки, каких, быть может, не знал и действительный Овод, прекрасный образ которого встал теперь перед ним. Да, он постарается умереть так же мужественно, без слез и мольбы о пощаде. Ведь он умирает за Советскую власть, за ту власть, которая принесет свободу и счастье всем беднякам его милой Родины... И Мишке, и Ю–ю... Если они еще живы.

Вдруг огромная лягушка прыгнула на голые ноги Овода. Он испуганно метнулся в сторону и, пронзенный с головы до ног мучительной болью, снова потерял сознание.

Очнувшись, Овод снова не мог понять, что же еще случилось? Может быть, это сон? А может быть, это... свобода? Весь забинтованный и отмытый от крови, он лежал на чистой по-



стели в белой уютной комнатке. Как вестник жизни и счастья, светлый луч утреннего солнца падал из маленького окна на глиняный пол. Ну, конечно, это свобода. Он у своих.

Открылась дверь. В комнату вошла высокая стройная девушка и ласково склонилась над Оводом:

– Не хочешь ли пить, солдатик? – спросила она, подавая кружку с холодной водой.

Дрожащими губами Овод жадно припал к кружке, чувствуя, как вместе с водой в его тело вливаются новые силы.

– Где я? – еле слышно спросил он, словно боясь спугнуть чудесное видение.

– Ты у друга, – так же тихо ответила девушка, глядя на Овода теплыми карими глазами. –

Но дальше не спрашивай: я не в силах помочь тебе...

Только теперь Овод услышал уже знакомый ему странный рокот за окном: значит, он находится в том же месте и в тех же руках.

Вдруг дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился сам батька Махно в сопровождении одноглазого бандита.

Злой, тусклый глаз палача заставил Овода содрогнуться: он вдруг ясно понял, что его раны перевязаны лишь для того, чтобы возвратит его к жизни на новые муки, а может быть, и на смерть.

– Прошу оставить нас, красавица, – вежливо поклонившись девушке, сказал Махно.

Бросив тоскливый взгляд в сторону Овода, девушка молча вышла.

Атаман сел на широкую дубовую скамью около Овода и молча оглядел его с головы до пят: так смотрит сытый кот на пойманную мышь.

Сняв с плеча кожаную сумку, одноглазый бросил ее в угол и молча встал у двери.

В сумке что-то зазвенело...

– Итак, – зловеще спокойным тоном начал Махно, – с кем я имею удовольствие разговаривать? Надо полагать, не с Мельниченко?

– Нет, я дочь бедняка-крестьянина из села Яблонного, которое сожгла ваша банда, – просто ответила девушка, решив выдержать испытание до конца.

Махно, словно ужаленный, вскочил на ноги:

– Как!? Ты... ты... девчонка?! И ты осмелилась проникнуть в мой штаб? А знаешь ли ты, что ждет тебя за шпионаж?

– Пытка и смерть, – спокойно ответила Дуняша.

– Ты не ошиблась, гадюка. У нашего одноглазого дьявола давно уже не было работы.

Дуняша невольно глянула на палача. Отвратительно ухмыляясь, он сидел на корточках и корявыми, как клешни, руками рылся в кожаной сумке. Его сверлящий глаз тускло поблескивал. У Дуняши упало сердце. Но она тотчас взяла себя в руки и отвернулась к стене.

– Ну, так вот что, подлая девчонка, – снова заговорил Махно, хватая Овода за волосы и поворачивая лицом к себе. – Если ты хочешь быть повешенной сразу без особых хлопот и неприятностей, сейчас же сообщи нам, куда делись украденные тобой бумаги и тот мальчишка, который был вместе с тобой.

– Как? – вскричала девушка. – Следопыт бежал?!

Дуняша ликовала: Мишка жив, на свободе!.. Теперь она готова на любые муки...

Услышав ненавистное имя Следопыта, Махно понял, что его бандиты упустили самого главного врага шайки. Он задрожал от ярости:

– Отвечай, звереныш, иначе из твоей спины вырежут кожу для моих сапог!

– Да что ж тут отвечать! – воскликнула девушка. – Ваши бумаги в надежных руках, а где теперь Следопыт, спроси у ветра в поле...

Лицо Махно позеленело.

– А... ты еще смеешься, змея! Эй, кривой черт, поучи-ка ее, как надо отвечать атаману... Только смотри не зарежь насмерть, а то сам угодишь в Черную балку.

– Слухаю, батько. Я буду дергать по ниточке, так что не умрет даже муха, а толк будет...

Привычным движением палач подхватил Дуняшу на руки и, положив на скамью, захлестнул широкими ремнями. Потом, не торопясь, вынул из своей страшной сумки острый блестящий клинок странно изогнутой формы.

– От этой штуки и не такие щенки выли, – ворчал палач, хватая девушку за кисть руки.

Дуняша закрыла глаза...

Махно быстро отошел к окну и закурил папиросу. Жадно затягиваясь и выпуская изо рта кольца дыма, он следил за каждым движением крабьих рук палача. Тяжкие муки беззащитной жертвы, видимо, доставляли ему наслаждение. Его серое лицо подергивалось судорогой, на тонких губах застыла кривая усмешка.

Время шло. Попытка продолжалась. Палач глухо ворчал, изрыгая проклятия. Но ни единого звука, ни слова мольбы о пощаде не услышал Махно от девушки. Только побелевшее лицо ее покрылось холодным потом, да искусанные губы залились кровью...

– Довольно! – прохрипел пораженный стойкостью девушки Махно. – Пшел вон!

Он боялся, что Дуняша умрет, не открыв своей тайны.

Ворча, как побитый пес, одноглазый отошел.

Дуняша очнулась и, тяжело вздохнув, застонала от невыносимой боли...

Махно довольно улыбнулся:

– Ну, что, красный дьяволенок, будешь отвечать батьке Махно?..

– Буду, – еле слышно ответила девушка.

– Вот и добре, – похвалил бандит. – Если ты честно ответишь на мои вопросы и расскажешь, где теперь находится штаб Буденного, ты будешь помилована. Катись ко всем чертям... и баста!..

Дуняша с трудом повернула голову, тяжело глянула в испитое лицо мучителя и твердо сказала:

– Убей меня, но своих братьев я не выдам бандиту!

В то же мгновение над головой Дуняши сверкнула шашка взбешенного Махно.

– Стойте! Стойте! – раздался вдруг испуганный крик, и девушка, которая поила Овода, бросилась в ноги Махно: – Пощадите! Пощадите его, милый атаман, – умоляла она, хватая за руки обезумевшего от ярости бандита.

Описав над Дуняшей кривую, шашка медленно опустилась и ткнулась концом в пол.

Мрачное лицо Махно прояснилось. Он торопливо поднял девушку за плечи и, заглянув ей в глаза, сказал:

– Хорошо, моя красавица. Ты дашь мне выкуп, и я помилую эту дерзкую девчонку...

– Что вы сказали? Это – девчонка?! – гневно сверкнув глазами, воскликнула девушка. – Неужто грозный атаман воюет с такими младенцами?!

Махно снова потемнел:

– Я уже сказал, что дарю ей милость: она будет просто повешена, как военный шпион... и баста! – Он сделал знак палачу: – На Черную балку!

– О, какой же ты зверь! – простонала девушка, загораживая Дуняшу. – Нет–нет! Я не дам ее!..

– Не плачь, сестра, – прошептала Дуняша, – мне смерть не страшна. Я умираю за святое дело. Прощай!

Девушка прильнула губами к тонкой бессильной руке Дуняши, залилась слезами.

Палач грубо оттолкнул ее, схватил пленницу на руки и понес из комнаты...

Дверь за ними захлопнулась, как крышка гроба.

## **В ЧЕРНОЙ БАЛКЕ**

Теплый летний день тихо угасал. Ветерок приносил из степи крепкий аромат трав. Невозмутимый покой царил над миром.

Но люди–звери продолжали творить свое злое дело. На дне глубокого темного оврага, именуемого Черной балкой, под корявым сучком обожженного молнией дуба лежал бедный Овод. Из мрачной глубины балки он видел только кусочек угасающего неба, и его душа тоскливо тянулась вверх, в эту синюю даль, полную красоты.

И впервые за всю свою боевую жизнь стойкий и крепкий Овод почувствовал себя маленькой, беззащитной девочкой, попавшей в неумолимое колесо кровавой войны, и вот теперь, сию минуту, она будет безжалостно раздавлена вдали от родных мест, на дне черной ямы. А ведь она желала народу добра и счастья. Она мечтала о том, чтобы знамя Советов засияло над миром, возвещая всем угнетенным зарю свободы и братства... Как чудесно заживут бедняки, когда придет этот желанный час!

И, забыв на мгновение о неотвратимой казни, Дуняша счастливо улыбнулась, вспомнив милого своего Мишку и верного друга Ю–ю с его неразлучным «карабаем». Вспомнила и живо представила себе их безутешное горе, когда дойдет до них весть о ее смерти. А что будет с доброй их матерью, которая ждет не дождется своих дорогих птенцов?!

И тяжкие слезы сами собой покатались по исхудавшим щекам измученной девушки. Ей так страстно хотелось жить.

– Ну, пора, – словно сквозь сон услышала она пропитой голос, – надо спешить...

И огромная туша склонилась к расprostертой на земле Дуняше. Одноглазый палач продел ее голову в веревочную петлю. Потом она увидела, как конец веревки перекинули через сук. Сук был заметно потерт посередине.

«Знать, не меня одну вешали здесь проклятые бандиты», – гневно подумала она, машинально поправляя петлю, съехавшую на подбородок. И только теперь Дуняша остро почувствовала, что ее минуты сочтены, что она никогда больше не увидит ни знойного летнего солнца, ни голубого неба, ни пестрых пахучих цветов, ни верных друзей. Ее сердце сжалось предсмертной тоской и сознанием полного бессилия.

Никакой надежды на спасение не было. Помощник палача – плюгавый низкорослый бандит – лениво переваливаясь с ноги на ногу, уже подходил к своей жертве... А через минуту мертвое тело будет одиноко качаться над этой ужасной ямой, слетятся хищные птицы и...

– Кррр! Кррр! – донеслось до ее слуха зловещее карканье ворона.

Услышав знакомый сигнал, девушка встrepенулась и, как эхо, отозвалась криком филина.

Палач отпрянул:

– Что это? С ума, что ль, она спятила?..

– Мабуть, и так, – спокойно отозвался помощник, поднимая руку, чтобы достать конец веревки, перекинутой через сук.

Дуняша подняла голову и глянула в направлении звука. Но вокруг никого не было, только на противоположной стороне оврага что–то серое шмыгнуло в кустах, слегка шелохнув ветку.

«Что ж это? Неужели вороны уже слетаются к оврагу в предчувствии легкой добычи?» – тоскливо подумала Дуняша, вновь поднимая глаза к небу, где уже загорались бледные звезды.

– Прощайте, звезды! – тихо прошептала Дуняша. – Приласкайте за меня рыжего Мишку, поцелуйте Ю–ю...

– Та ну же, тягни! – сердито крикнул палач. – Какого дьявола канителишься, каракатица!

Помощник лениво подпрыгнул, но конец веревки повис так высоко, что он коснулся его только концом пальца.

– А, будь ты проклята, змеюка! С ней и перед смертью морока...

Он подпрыгнул еще раз:

– Ну вот и готово!..

Веревка стала натягиваться...

Дуняша в ужасе закрыла глаза. Крик ворона повторился. Дуняша, собрав все силы, резким движением сбросила с головы петлю.

От неожиданности тянувший за веревку подручный палача потерял равновесие и свалился.

В то же мгновение в вечернем воздухе прокатился залп из двух карабинов, и оба злодея, пронзенные пулями, завертелись ужами в предсмертной агонии.

Не успела Дуняша прийти в себя, как кто–то уже крепко обнимал ее и покрывал лицо поцелуями.

– Дуняша, милая Дуняша!.. Жива!.. Да очнись же, это я, Мишка!..

Девушка обвила руками кудлатую голову брата. Она еще не верила своим глазам.

Но кривой палач лежал неподвижно под дубком. Его подручного Ю–ю проворно сваливал в ту самую яму, которая была приготовлена для Дуняши.

Поняв наконец, что она спасена от лихой смерти, Дуняша прильнула головой к широкой груди Следопыта и залилась горячими радостными слезами.

Потом она позвала к себе верного Ю–ю и крепко расцеловала его, благодаря за спасение и помощь.

Растроганный Ю–ю, не знавший никогда ласки, встал на колени перед лежавшей девушкой и, сложив на груди руки, молча поклонился ей до земли. В эту минуту он готов был ради нее отдать себя на растерзание, пойти на самую лютую казнь. Но бедный язык Ю–ю ничего не мог выразить, и только черные блестящие глаза его подернулись влагой, и какой–то комок подкатил к горлу. Он быстро поднялся и, схватив труп палача за ноги, поволок его к яме...

– Брось эту погань! – сердито буркнул Мишка. – Пусть их вороны хоронят. Нам пора в путь!..

– Да–да! – подхватила Дуняша. – Возьмите меня скорее отсюда, а то бандиты могут хватиться!..

Мишка лукаво улыбнулся и, посмотрев на часы, сказал:

– Не бойся, Овод, через полчаса здесь заварится такая каша, что им будет не до нас.

– Что за каша?

– Да ничего особенного, я привел с собой десятка три добровольцев, которые согласились потрепать махновскую шайку... А теперь марш, марш в дорогу!

– Но как вы меня возьмете, ведь я еще не могу ходить?

– Не беспокойся, это уже наше дело. Ну что, Ю–ю, готово?

– Есть, капитана! – отозвался Ю–ю, подавая носилки, сделанные им из ветвей того дуба, на котором махновские бандиты хотели повесить Овода.

Осторожно уложив больную, наши герои медленно пошли по дну оврага, прочь от страшного места.

На этот раз ночь им благоприятствовала: небо сердито хмурилось, угрожая дождем.

Овраг кончился.

Следопыт тихонько свистнул. Из–за темной купы ближайших деревьев появился буденовец с винтовкой в руках:

– Несете, хлопцы?

– Несем.

– Жив ли?

– Жив.

– Вот будет рад наш Дед! Давай скорей на тачанку.

Красноармеец подошел к носилкам, радостно поздоровался с Оводом и вместе с Ю–ю понес его к тачанке.

– Сено положено? – спросил Следопыт.

– Целый ворох.

– Тогда едем!

Овод и Мишка, у которого еще побаливала нога, устроились на тачанке, а неутомимый Ю–ю и боец, взяв винтовки на ремень, пошли следом.

Проехав верст семь–восемь по глухим местам, они услышали позади себя отчаянную ружейную трескотню.

– Ну, началась потеха! – радостно потирая руки, воскликнул Мишка. – Дальше мы можем ехать спокойно. Голубая Лисица решит, что она попала в капкан, и даст тягу к старому лесу, где им знакома каждая тропинка.

И действительно, вскоре перестрелка стала затихать, удаляясь, а затем и совсем прекратилась.

Дорогой Мишка подробно рассказывал Оводу, как он с помощью Ю–ю вырвался из лап бандитов, как они мчались в полк Деда, как проследили потом шайку Махно и разыскали, наконец, Черную балку...

А Овод особенно подробно рассказал о девушке, осмелившейся заступиться за него перед зверем Махно.

– А где это было? – заинтересовался Следопыт.

– На водяной мельнице. Я узнала об этом, когда палач вынес меня из комнаты.

Следопыт в раздумье почесал затылок:

– Так ты говоришь, девушка назвала себя твоим другом?

– Назвала...

– А Махно обругала зверем?

– Зверем.  
– И тот не убил ее?  
– Нет, даже назвал ее милой красавицей.  
– Гм... странная штука. Тут что-то есть этакое, – нахмурив лоб, изрек Мишка, – А девка все-таки молодчага. И смазливая, говоришь?..  
– Как в сказке, – улыбаясь, ответил Овод.  
– Ишь ты...

Путники незаметно продвигались вперед и к восходу солнца уже нагнали свой полк.

Трудно себе представить радость и удивление старого полковника и буденовцев, когда они услышали о возвращении уже похороненного всеми Овода. Узнав подробности о пытке и геройском поведении Овода, его пришел навестить сам Буденный. А вскоре он послал рапорт высшему командованию с просьбой о награждении орденами наших героев.

На другой день Конная армия Буденного всесокрушающей силой двинулась вперед, очищая от врагов советскую землю. К великому огорчению Деда, Овод был еще так слаб, что его пришлось оставить в ближайшем госпитале, а вместе с ним остались, конечно, и его друзья – Следопыт и Ю-ю.

Расставаясь с ребятами, старый полковник обнял и расцеловал каждого по очереди.

– Берегите себя, хлопцы, – наказывал он, моргая покрасневшими глазами, – зря на рожон не лезьте и бейте беляков с умом. Я вас в партизанский отряд сдам. Нас уж вы не догоните...

Любимый буденовский полк ушел вместе с армией, ушел и Дед...

И опять трое юных бойцов-разведчиков закружились в кипящем котле кровавой войны.

А пока три друга ищут свое место в строю, расскажем читателю, как Овод попал в штаб Махно.

Во время одной из стычек буденовцев с махновскими бандитами Овод заметил на поле боя тяжело раненого деревенского парня: он горько плакал над трупом старого бандита. Парень был без оружия, в крестьянской одежде. На вид он казался не старше Овода. Из допроса в штабе полка выяснилось, что это сын убитого старшины Мельниченко, верного друга и соратника Махно. Он возглавлял одну из его шаек, которая и была уничтожена буденовцами. Уцелел только этот парень. По его словам, отец впервые взял его с собой, с тем, чтобы передать самому Махно в качестве ординарца. По документам и письмам, найденным в кармане старого Мельниченко, рассказ парня подтвердился.

Такой случай Овод решил немедленно использовать и, посоветовавшись с друзьями, составил план действий. Нарядившись в одежду пленного парня, с документами отца явиться к Махно под именем сына убитого старшины, втереться к нему в доверие и остаться при штабе. Мишка и Ю-ю будут держать связь с полком и доставлять добытые сведения.

С некоторым сомнением и неохотой полковник одобрил план красных дьяволят.

Вскоре наши разведчики проследили банду Махно. Переодетый Овод, «весь в слезах» и проклиная красных, явился к атаману. Он просил принять его в банду, чтобы отомстить буденовцам за смерть отца.

Весть о разгроме шайки Мельниченко разъярила Махно, но просьбу его «сына» он решил удовлетворить, а в знак согласия ожег его плетью и приказал зачислить казачком при своей особе.

Скрипнув зубами, Овод стерпел «ласку» бандита и поклялся отплатить ему сторицей. А как он выполнил свою клятву, читатель уже знает.

## ТАИНСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Через десять дней после описанных событий, глубокой ночью, по дороге из города выехал большой красный автомобиль. Он был изрешечен пулями, осколками снарядов, но летел, как буря, поднимая облака пыли и наполняя безбрежную степь тревожным гулом. Вслед за ним мчался отряд вооруженных всадников.

В автомобиле сидели трое военных в кожаных куртках. Один из них, небольшого роста, широкоплечий, поместился на откидной скамеечке, держа наготове маузер и зорко вглядываясь в темноту ночи. Двое за его спиной тихо переговаривались между собой:

– Признаться, я очень опасаясь засады.

– Да. Я тоже думаю, что надо быть начеку...

– В самом деле: никому не известный бандит вызывает на свидание командира красных партизан, обещая помощь против Махно. Согласитесь, что все это очень странно и пахнет провокацией.

– На всякий случай за нами следует полуэскадрон надежных рубак...

– Это, конечно, хорошо. Впрочем, неожиданного нападения я не боюсь: с нами едет такой разведчик, о котором говорят, что он чует махновца за сто верст...

Путники смолкли. И только глухой рокот мотора да отдаленный гул лошадиных копыт нарушали тишину ночи.

Вдали показались черные контуры леса. Автомобиль спустился в ложбинку.

– Стойте, – сказал невысокий военный, приподнимаясь с сиденья.

Автомобиль остановился.

– Что случилось, товарищ?

– Надо прощупать овраг перед опушкой. Ждите сигнала: если завоет волк, немедленно мчитесь обратно и верните отряд, а если все будет благополучно, я дам знать лично...

Говоривший бесшумно выскочил из автомобиля и сразу исчез, словно нырнул в черную воду.

– Вот дьяволенок! – воскликнул один из оставшихся военных. – Пропал, как кузнечик в траве...

– Я даже не успел заметить, в какую сторону этот парень направился...

– Недаром он носит кличку Следопыта...

– Говорят, у него есть соратники и такие же ловкие, как он.

– Да. И я очень доволен, что согласился принять их в наш полк. Эти отчаянные ребята так ненавидят Махно, что готовы искать его хоть на дне моря.

Беседа была прервана прибытием конного отряда.

– Приготовьтесь к бою и стойте в этой ложбине, – приказал командир красных партизан, выходя из машины.

Прошло еще минут сорок в напряженном ожидании...

– Все в порядке! – сообщил Следопыт, бесшумно вырастая за спиной командира, вздрогнувшего от неожиданности. – Садись, ребята!

Наши друзья – Овод и Ю–ю вскочили вслед за Мишкой в машину.

– Вот так штука! – удивился командир. – Да вы же настоящие невидимки!

– Вперед!

Оставив конных в засаде, автомобиль помчался к опушке леса. Из оврага навстречу им, держа руку на эфесе шашки, вышел человек в полувоенной одежде.

– Это он, – шепнул Следопыт на ухо командиру.

Автомобиль остановился. Нащупав пистолет, командир выскочил из машины и пошел к человеку.

– Я весь к вашим услугам, командир. Если угодно, я бы мог...

– Вы меня извините, – перебил командир партизан, – но вашему слову мы не можем довериться без достаточных оснований. Согласитесь сами, что есаулы не так часто изменяют своим атаманам...

– Вы правы, конечно, но, к сожалению, никаких доказательств сейчас я не могу вам представить. Вы можете проверить меня только на деле.

– Каким образом?..

– Я могу хоть сейчас дать вам самые точные сведения о предстоящих операциях шайки Махно, и вы можете разгромить ее в любое время. Меня же оставьте в качестве заложника, а в случае предательства расстреляйте, вот и все...

– Хорошо, – согласился, наконец, осторожный командир. – Вы можете сейчас поехать со мной в город?

– Нет, этого не следует делать. Завтра утром я должен быть у Махно на приеме и освобожусь лишь часам к десяти.

– В таком случае я жду вас завтра к двенадцати часам дня.

Условившись о месте встречи, они быстро разошлись.

Усаживаясь в автомобиль, командир вдруг заметил отсутствие Следопыта:

– А куда делся ваш старший?

– Пошел проследить есаула, – ответил Овод, вместе с Ю–ю вылезая из машины, – а кстати, проведать что–нибудь о расположении банды.

– Как? Он опять полез в пасть Махно? – удивился командир. Овод улыбнулся:

– Не беспокойтесь, товарищ командир, Следопыта не так–то легко скушать.

– А вы едете с нами?

– Никак нет.. Мы с Ю–ю подождем его здесь, а завтра вечером, когда ваш полк двинется против Махно, мы будем на месте...

– Почему вы думаете, что мы выступим именно завтра? – спросил командир, не зная, чем объяснить уверенность Овода.

– А потому, что завтра шайка попытается разгромить продовольственную базу Красной Армии в Н–ском, и вы сделаете большую оплошность, если не предотвратите удара.

– Соображение верное, – согласился командир, – однако зачем нам связываться с этим подозрительным есаулом, если вы сами так хорошо осведомлены о замыслах шайки?

– Он может сообщить ценные подробности, нам еще не известные... Ну, мы уходим, товарищ командир. До свидания!.. За мной, Ю–ю!

– Есть, товалиса!

Ребята исчезли.

В сопровождении конного отряда красный автомобиль помчался обратно. Надо было немедленно готовить генеральный бой с многочисленной бандой Махно.

В партизанский отряд знаменитого командира Николая Цибули ребята попали без особых затруднений. Как только Овод покинул госпиталь, их приняли с большой охотой, ибо слава о подвигах тройки дьяволят уже вышла за пределы буденовской армии. А рекомендации старого полковника еще более подняли авторитет юных разведчиков. Они были счастливы, когда узнали, что полк Цибули получил приказ от высшего командования разгромить шайку Махно. Втайне надеясь поймать самого атамана и свести с ним свои счеты, ребята принимали горячее участие в розысках шайки и подготовке к решающему бою.

В ожидании Следопыта Ю–ю и Овод просидели в овраге до самого утра. Их начала уже одолевать тревога, Но карканье ворона, раздавшееся поблизости, возвестило о благополучном возвращении Мишки.

По установившейся традиции ребята ничем не обнаружили своих опасений и любопытства. Усевшись на траве по обеим сторонам Следопыта, они разложили перед ним немудреную закуску. Покончив с едой, Следопыт рассказал друзьям о результатах своей экспедиции в лагерь Махно. Есаул действительно вернулся в шайку, которая расположилась за лесным массивом, в большом селении. По некоторым признакам и по подслушанным разговорам Следопыт вывел заключение, что в банде назревает раскол. Часть махновских соратников была недовольна чересчур «самодержавным» поведением Махно, который расправлялся с ними, как хотел, по любому поводу нередко засекая насмерть наиболее строптивых. Недовольны были бандиты и несправедливым распределением награбленного добра. Но наибольшее раздражение вызвали последние неудачи шайки и явная бесплодность всех попыток подорвать Советскую власть на Украине. Часть молодых махновцев поговаривала даже о переходе на сторону красных. Расправа Махно с есаулом подлила масла в огонь.

– Мне кажется, что при первой же серьезной стычке с красными часть банды покинет Махно, – заметил Следопыт, кончая рассказ. – Особенно, если увидит в наших рядах есаула...

С этими словами разведчик растянулся под деревом, решив передохнуть до восхода солнца.

– А Голубую Лисицу я все–таки высеку, – пробормотал он, уже засыпая.

Овод прилег рядом с Мишкой, а Ю–ю, как обычно, поджал под себя ноги и уселся у изголовья своих друзей с «карабаем» наготове. Он ни на минуту не смыкал глаз. Его взгляд по долгу останавливался на спокойном лице Дуняши. Острые глаза Ю–ю теплели, губы расплылись в счастливую улыбку. Он еще не отдавал себе отчета в том, как горячо и чисто любит эту девушку. Но, если спросить его, что есть в мире самого дорогого и прекрасного, он назвал бы Дуняшу.

## РАЗГРОМ

Под вечер следующего дня конный отряд красных партизан Цибули в полном вооружении, с двумя батареями полевых пушек вышел из города и быстрым маршем направился к местечку вблизи продовольственной базы.

Наши разведчики давно уже были на месте предстоящего сражения и нетерпеливо ждали прибытия полка партизан.

Обычно спокойный и сдержанный. Следопыт на этот раз нервничал. Сегодня он надеялся встретиться с Голубой Лисицей лицом к лицу и рассчитаться с ней за отца и брата, за сожженную деревню, за грабежи и убийства. Он то и дело осматривал своего боевого коня, проверял маузер и небольшую, но острую, как бритва, шашку. Рядом с ним в полной боевой готовности крепко сидел в седле невозмутимый Ю-ю. Он держал наготове свой «карабай». Овода Мишка отослал в санитарный отряд полка.

Наконец долгожданный час настал.

В сумерки партизаны прибыли на место и расположились вдоль опушки леса, укрываясь в тени деревьев.

В эту ночь Махно решил неожиданным наскоком ударить на Н-скую базу, разгромить ее и взорвать ближайший мост через реку. Это нарушило бы связь тыла с действующими против Врангеля частями Красной Армии. Он хорошо знал, что крупных воинских соединений поблизости не было и, следовательно, подмоги база вовремя не получит. Хитрый бандит действовал наверняка, заранее торжествуя победу.

Предупредив базу о грозящей опасности, командир партизан Цибуля решил укрыть свой отряд в ближайшем перелеске и в конном строю ударить в тыл махновцам.

После полуночи взволнованный Следопыт донес Цибуле, что банда Махно численностью примерно в восемьсот сабель выступила из дубовой рощи. Она шла налегке, без пулеметов и пушек, не ожидая большого сопротивления.

Цибуля задумался:

– Так, та-аак... У них восемьсот, у нас триста, да пулеметы, да пушечки, да удар в затылок... Как думаешь, Иван, побьем врага?

– Побьем так, что пух и перья полетят! – отозвался могучий всадник, выдвигаясь вперед.

Следопыт оглянулся на знакомый голос и обмер на месте:

– Батяка!

Иван рванулся к Следопыту, едва не опрокинув командира:

– Мишка! Сынок!..

И помощник командира, не сходя с седла, обнял знаменитого разведчика – Следопыта. Но радоваться свиданию было некогда.

– По ко-ооня-аам! – разнеслась команда.

Через минуту весь отряд стоял в напряженном ожидании, готовый по первому сигналу двинуться на врага.

Мимо опушки промчалась батарея, потом все стихло, словно вокруг было мертвое поле.

Отец и сын встали рядом.

– Ты, сынок, держись за мной с левой руки и не отставай, – предупредил Иван, в глубине души боявшийся за жизнь Мишки. Он понимал, что бой предстоит нешуточный.

Мишка задорно тряхнул головой:

– Не бойсь, батяка, мы тоже не лыком шиты!.. А ты, друг Ю-ю, держись слева от меня да гляди, чтобы я тебя не зашиб ненароком...

– Слухай, капитана! – живо отозвался Ю-ю, тотчас выполняя приказание Следопыта.

Тяжелый гул сотен лошадиных копыт и звериный рев бандитов разорвали тишину. Выскочив из леса, шайка ураганом неслась по широкому полю прямо на базу. Махновцы были уверены, что захваченная врасплох охрана базы будет смята одним ударом, а там – разгром и богатая пожива...

Но вскоре сгоравшие от нетерпения партизаны услышали дружный залп из винтовок, треск пулеметов и беглый огонь орудий, бивших навстречу банде прямой наводкой.



Встречный огневой удар оказался таким сокрушительным, что первые ряды нападающих – и кони, и всадники – пали, как сраженные молнией, загородив путь задним. Грозный вой махновцев перешел в неистовые вопли, в стоны и проклятия.

Нетерпение Мишки и всех партизан, притаившихся в засаде, достигло высшего напряжения.

Вдруг над лесом с треском разорвалась красная ракета. Канонада сразу замолкла, будто кто-то незримый одним махом заткнул огненные глотки пушек, пулеметов и ружей.

– Карьером, марш, ма–а–арш! – скомандовал Цибуля, подняв шашку над головой...

И во фланг отступающей орде махновцев, уже расстроенной метким огнем, ринулись партизаны. Их удар был так внезапен и страшен, что шайка Махно мгновенно оказалась смятой и, завывая от ужаса, бросилась врассыпную.

В предрассветном сумраке, словно зарницы, сверкали сотни сабель, сыпались удары, падали сраженные люди, дико ржали, вздымаясь на дыбы, озверевшие кони, трещали выстрелы.

Впереди всех, рассыпая удары направо и налево, мчались трое – отец с сыном и Ю–ю. Они искали Махно.

В горячке боя Ю–ю в первые же минуты оторвался от своего «капитана» и дрался в одиночку, действуя своим «карабаем», как палицей.

– Вот он! – крикнул вдруг Иван и, пришпорив коня, помчался наперерез большой группе, скакавшей к лесу.

Мишка взвизгнул и врезался в самую гущу бандитов, сшибая их грудью своего скакуна. Кольцо бандитов дрогнуло, на мгновение расступилось и пропустило Ивана и Мишку.

– Вот где ты, собака! – крикнул Иван, взмахнув шашкой над головой скакавшего Махно. Но в то же мгновение сбоку налетел всадник, и рука Ивана вместе с шашкой покатила на землю. Махно в страхе пригнулся и еще сильнее пришпорил коня.

Выстрелом Мишка снял с седла бандита, изуродовавшего отца, и возобновил погоню за атаманом, но подходящий момент был уже упущен: бандиты окружили Махно и плотной толпой неслись к лесу.

Увлеченный погоней, Мишка не заметил, что он один скачет за добрым десятком махновцев, размахивая своей маленькой шашкой.

Это вскоре заметили и бандиты. Внезапно повернув коней, они окружили Следопыта, и прежде чем Мишка успел сообразить, что случилось, его шашка со звоном отлетела прочь.

– Взять живьем! – раздался чей-то властный голос.

Стиснутый с обеих сторон конями и обезоруженный, Мишка, помимо воли, мчался вперед. «Вот так штука! – думал он. – Хотел поймать Лисицу, и сам попал ей в зубы».

Увлекая за собой Мишку, банда скрылась в глубине леса.

## **В ЛАПАХ МАХНО**

В селе Яблонном сегодня было необычайно шумно и весело. Десятки пьяных с бутылками самогона в руках шатались по улицам, горланя песни. В кулацких хатах шел пир горой, тут и там закипали ругань и драки. Что за диво? Никакого праздника, даже самого маленького, в этот день не было, а кутили так, словно праздновали «Николу зимнего». Странно было и то, что ворота бедняцких хат были закрыты, а их хозяева старались не попадаться на глаза гулякам.

Но самый богатый пир был у первого кулака на селе Митро Забубенко, куда собралась вся местная знать: бывший урядник Нечипорук, церковный староста, трое самых богатых кулаков, старый мельник и поп Павсикакий. А вперемешку с ними на широких скамьях и в креслах сидели пестро одетые гости. Хозяева усердно накачивали их самогоном.

В центре всеобщего внимания был щуплый мужичонка с хмурым, отекившим от пьянки лицом и острым взглядом маленьких черных глаз.

Развалившись в переднем углу, он задрал ноги на край дубового стола ипил водку стакан за стаканом, как воду. Хмель, видимо, его не брал. Через головы собутыльников он смотрел в потолок и зло ворчал:

– Будь я проклят, если когда-нибудь попадался так глупо в ловушку!.. Это опять его проделка!.. Семь шкур спушу!

Он хлестнул плеткой по столу, разрезав пополам жирную кулебяку и опрокинув графин с самогоном.

Рядом с переодетым Махно (а вы уже, конечно, догадались, что это был он) сидел на конце скамейки старый мельник. Он с хитрецей поглядывал на соседа и шептал ему на ухо:

– Да что вы сердитесь, атаман. Вы еще не раз порубаете красных... А теперь бы отдохнуть малость, к нам на мельницу заглянуть.

Махно встрепенулся:

– А что? Ждет Катюха?

– Да боже мой! Ночи не спит.

– А ты не брешешь, старый пес? Коли правда, озолочу!.. Если соврал, попробуешь, чем это пахнет. – Махно сунул плетку под самый нос мельнику. Тот в испуге отшатнулся.

Махно развеселился и заверещал на всю хату:

– Гей, Голопуз, где тот щенок, что скакал за нами, как бешеный?

– Вин туточки, батько! – живо отозвался Голопуз, с трудом поднимаясь из-за стола. – В чулане лежит до твоего приказы...

– Тащи его сюда, каналью!

– Слухаю, батько!

В глазах Махно забегали злые огоньки.

– Посмотрим, что он запоет здесь...

Гости расступились. Связанного Следопыта вывели на середину хаты и поставили перед атаманом.

Прекратив пирушку, все с интересом оглядывали его с головы до пят, как заморскую диковинку. Мишка был в потрепанном красноармейском обмундировании.

– Эй ты, сопляк, – начал атаман, не меняя позы, – кой черт тебя гнал за нами? На виселицу захотел?..

– Если я сопляк, то ты свинья, которую посадили за стол, а она и ноги на стол, – спокойно отрезал Мишка, с любопытством оглядывая странное сборище.

– Цыть, кутенок! Я – Махно! – гаркнул бандит, думая запугать пленника.

Мишка, только теперь узнавший Махно, побелел от гнева:

– Благодарю бога, что мои руки связаны, а то бы я показал тебе, как села жечь, бандитская харя!

Зная бешеный нрав Махно, гости ждали расправы.

Но пьяный бандит неожиданно расхохотался:

– Вот так гусь! А ну-ка, развяжите ему руки...

Удивленного Мишку мигом освободили от веревок. Он не торопясь стал растирать затекшие руки и только теперь, заметил, что окружавшие его «мужики» были вооружены револьверами, шашками, кинжалами. «Переодетая банда», – сообразил Следопыт.

– Ну, что ж ты не казнишь Махно? – усмехаясь, спросил бандит, кладя руку на эфес шашки. – Трусишь, каналья?

Мишка вспыхнул:

– Ты сам трус и разбойник, по которому давно виселица плачет!

Махно выхватил пистолет и, выстрелив через голову Мишки, зло усмехнулся:

– Вот это я понимаю, сам стоит под виселицей и нам же угрожает. Что с ним делать, хлопцы?..

– Повесить на первом суку, – отозвался чей-то голос.

– Зачем вешать, – возразил другой, – парубок дюжий, не робкого десятка. Нехай переходит к нам.

– Эй, малец, – крикнул третий бандит, – иди на службу к батько Махно. Удалым ребятам у нас хорошо живется.

Мишка гордо выпрямился и ударил себя кулаком в грудь:

– Я буденовец и грабить с вами народ не желаю. А Махно я выпорю при первом удобном случае...

От такой дерзости даже видавший виды Махно на минуту опешил. А потом заорал:

– А ну, Битюк, всыпь ему полсотни горячих и повесь за ногу на ворота!.. И баста! Пусть знает, как разговаривать с атаманом.

Мишка побелел от ярости и очертя голову бросился на Махно, пытаясь схватить его за горло.

– Стой, тигра лютая!.. – Бандит, названный Битюком, схватил Мишку за ворот и потащил к порогу.

– Вот змеиное отродье, – сердито проворчал Махно, – увеличить ему порцию вдвое!

– Слухаю, батько!

– Ну, берегись, мохнатый черт! – уже стоя на пороге, кричал Мишка. – Я тебя еще найду!

Битюк толкнул его в спину:

– Катись, шибеник!

Но Мишка дал ему такую «сдачу» кулаком в бок, что казак охнул, согнувшись пополам...

Махно опять расхохотался:

– А лихо дерется петушок! Он, пожалуй, побьет твоего дурня, Битюк?..

– Ни, не побьет, – ответил казак, с трудом разгибаясь и снова хватая Мишку. – Я ему сейчас шкуру сдеру.

– Стой! Шкуру потом, – приказал пьяный Махно, – зови сюда свое отродье!..

Битюк сердито толкнул Мишку обратно к столу, а сам выскочил из хаты.

Предвкушая какую-то веселую забаву, бандиты освободили место посередине хаты и взяли Мишку в кольцо.

– Поглядим, каков ты есть в кулаке!..

– Где ему, Битюк в бараний рог его скрутит!

– А може, и нет...

Мишка настороженно озирался. У ближайшего бандита за поясом он заметил пистолет и решил при случае воспользоваться им для обороны. Нет, теперь уж он живым в руки не дастся!

– А ну, дай дорогу! – раздался окрик с порога.

Бандиты расступились, и перед Мишкой очутился здоровенный верзила лет восемнадцати. На голове копна растрепанных волос, нос картошкой. Он встал посередине хаты, неуклюже переминаясь с ноги на ногу.

Атаман, видимо, решил повеселиться и потешить свою побитую банду.

– Ша, хлопцы! – он еще раз хлестнул по столу плетью.

Все притихли.

Махно обратился к верзиле:

– Видишь этого чижики, Битюк?

– Бачу, – ответил парень, поворачиваясь лицом к Мишке.

– А побить его можешь?

– Кого?.. Цего?..

– Ну да, на кулаки взять!

– А на що? – удивился верзила. – Вин же воробушек.

Банда разразилась хохотом.

Мишка вспыхнул от обиды:

– Но-но, ворона, не очень задирай! В другом месте я б тебе показал «воробушка»...

– Так бей его, Битюк! – взвизгнул Махно, – Это ж буденовец!

Бандиты дружно заулюлюкали:

– Дай ему трепку!

– Ату его!

– Ну што ж, могу, – согласился молодой Битюк, не торопясь снимая куртку и засучивая рукава рубахи.

Мишка заложил руки за спину:

– А я не желаю! Что я вам – цирк?..

Махно вскочил:

– Дерись, звереныш! Если ты побьешь Битюка, катись на все четыре стороны!.. И баста!

– А ты не брешешь? – усомнился Мишка.

– Что-оо? – взбеленился Махно. – Слово атамана свято, как у господи бога. Начинай, Битюк!..

– Ладно, коли так, – отозвался Мишка, вставая в боевую позицию, – только как будем драться – по правилам бокса или куда попало?..

– Бокса? – верзила вытаращил глаза, – Яка бокса? Та я ж тебя и без боксы пришибу, як червя. – Он сделал шаг вперед.

– А ну, давай, верблюд! – подзадоривал Мишка, спокойно стоя на месте. – Попробуй пришибить буденовца!

– Бей его, Битюк! – завывли бандиты, плотной стеной окружая бойцов. – Цель в ухо!..

Битюк сжал свой огромный кулачище и размахнулся изо всей силы... Мишка мгновенно пригнулся, кулак просвистел в воздухе, верзила пошатнулся и, получив крепкий удар в челюсть, отлетел в сторону.

– Получай задаток, кабан! – крикнул Мишка.

Бандиты ахнули:

– Вот так звезданул петушок!

– Давай, давай, Битюк!

– Катай его!

Разъяренный Битюк в бешенстве бросился на Мишку, нанося беспорядочные удары куда попало. Ловко отражая нападение, Мишка с поразительной быстротой бил противника по рукам, заставляя его плясать вокруг себя, как медведя на цепочке.

Махно и бандиты хохотали от удовольствия, свистом и криками подбадривая Битюка.

Но тот, уже избитый в кровь, вторично отскочил от Мишки, задыхаясь от бессильной ярости.

– Ну, я ж тебя убью, собака! – прохрипел Битюк и, наклонив мохнатую голову, быком ринулся на Мишку, направляя удар в живот.

Но Мишка, как кошка, отпрыгнул в сторону и с такой силой трахнул Битюка кулаком по затылку, что тот всей тушей грохнулся на пол и забороздил носом.

Бандиты взвыли.

Не дав противнику опомниться, Мишка вскочил ему на спину и придавил коленом шею:

– Ну что, верблюд, сдаешься, или еще наддать?..

– Та вже ж, шоб твои очи повылазили! – прохрипел Битюк.

– То–то же, вперед буденовцев не трогай!

И, толкнув Битюка ногой в зад, Мишка направился к выходу:

– До скорого свидания, разбойники!

Но Битюк–отец загородил ему дорогу:

– Куда прешь?..

– Как, куда? Ваш батька обещал мне свободу, если я побью твоего дурня.

На лице Махно появилась злорадная усмешка:

– Верно, Битюк, дай ему сотню хороших плетей и пусть уходит, если сможет... И баста!

Смертельно оскорбленный, Мишка бросился на казака с пистолетом и попытался выхватить у него оружие. Но Битюк–отец успел перехватить Следопыта и поволок его во двор.

Здесь Мишка увидел картину, достойную времен Тараса Бульбы.

Посредине двора красовалась поставленная «на попа» бочка с выбитым дном. Вдребезги пьяные бандиты, кто чем мог, черпали из нее самогон и, запрокинув головы, пили, пока не валились с ног. Трое уже спали, развалившись посредине двора. Один отчаянно отплясывал гопака под губную гармошку. Другие во всю силу легких горланили песни.

В конце двора стоял большой сарай, около которого весело фыркали две верховые лошади гнедой масти и одна черная, как вороново крыло. Прислонившись спиной к запертой двери сарая, тяжело дремал сторож, вероятно, тоже пьяный. Сюда–то и привел Битюк Следопыта.

– Эй, Петро, отчини дверь, – потребовал Битюк, толкнув ногой сторожа.

Сторож недовольно пробурчал что–то себе под нос, с трудом нашел карман и, вынув ключ, начал возиться у замка.

– Вот проклятая дирка! – ругался сторож, тыкая ключом мимо замка. – Засорилась, чи що?

Пока пьяный сторож возился с замком, Мишка огляделся и заметил, что в десятке шагов от сарая в высоком заборе не хватает одной доски.

Сторож продолжал канителиться с замком, ругая на чем свет стоит неуловимую «дирку».

Битюк, крепко державший за руку Мишку, разозлился:

– Да ну, пьяная морда, дай сюда ключ!

Оттолкнув плечом сторожа, Битюк схватил правой рукой ключ, тем самым освободив одну руку Мишки. А через мгновение он уже опрокинулся на спину, получив страшный удар в челюсть.

Одним прыжком Мишка очутился около вороной лошади, которую давно уже держал на примете. Вскочить в седло и дать шпоры коню для него было делом одной секунды. И прежде чем Битюк очухался и поднял крик, он уже мчался к забору, боясь только, как бы конь не задел ногами за доску. Но лошадь, словно птица, распласталась в воздухе, и, чуть коснувшись земли по ту сторону забора, понеслась дальше.

Повернувшись на лету, Мишка крикнул бандитам:

– Гей, вороны, вспоминайте Следопыта!

Вслед беглецу раздались беспорядочные выстрелы и отчаянные вопли Битюка. Но пули свистели мимо.

Когда Махно узнал, что в его руках был знаменитый Следопыт, удравший на его собственном скакуне, бандит пришел в неопишемую ярость. Он тут же, на глазах пьяной толпы, пристрелил сторожа, приказал запороть насмерть злосчастного Битюка, а в заключение так стукнул по шее попавшего под руку попа, что Павсикакий отлетел на целую сажень, с треском ударившись в забор.

О погоне не могло быть и речи; все знали, что коней, равных по силе бега махновскому, не найти по всей Украине.

## ГДЕ СЛЕДОПЫТ?

Ю-ю и Овод не знали, чем объяснить исчезновение Следопыта. Вместе с сестрами и санитарями они обошли поле брани, осмотрели всех убитых и раненых, но Следопыта не нашли.

Куда он мог деваться?

Продолжая поиски, наши герои отошли далеко от центра боя и почти у самого леса увидели кучу человеческих тел и двух мертвых коней. Какой богатырь бился здесь, окруженный врагами?! Еле уловимый стон донесся до их слуха. Они бросились на голос: не Мишка ли?

В центре кучи, придавленный мертвым конем, лежал партизан могучего сложения, с красной лентой на шапке. Он был весь залит кровью, только смертельно бледное бородатое лицо его казалось чистым, словно умытым. В левой руке он держал длинную, почерневшую от крови шашку, а правая была обрублена по самое плечо. Вокруг партизана валялись трупы бандитов, рассеченные богатырской рукой.

Овод кинулся к партизану и встал на колени.

Партизан медленно открыл голубые глаза. Секунду смотрели они друг на друга, не узнавая...

– Дуняша? – прошептал вдруг партизан дрогнувшим голосом. – Ты?

Дуняша вскрикнула:

– Отец! Что они с тобой сделали? – припала к отцу и заплакала.

Иван тяжело вздохнул:

– Ничего, дочка, я тоже порубал их довольно... Прощай, моя голубушка... Умираю... за власть нашу...

– Нет, нет, папаня, ты не умрешь! – воскликнула Дуняша, выхватывая из сумки бинты. – Я перевяжу тебя...

– Поздно, – еле слышно прошептал Иван, закрывая глаза. – Обними за меня мать и Мишку... Бейтесь и вы за лучшую долю... за Советы...

С воинскими почестями похоронили Ивана Недолу в большой братской могиле, на зеленом холме, у самой кромки дубового леса.

А Следопыта все не было...

Получив отпуск из отряда и запасшись провизией, Ю-ю и Овод отправились на поиски своего жоака.

Но где его искать?

По словам Ю–ю, Мишка умчался вслед за Махно к опушке леса, а что было дальше, он не видел. Овод решил направиться в лес, хотя надежда на встречу была очень слабой. Он знал, что лес тот тянется далеко на восток, что именно в его темных дебрях бродили когда–то махновцы и что на его северной окраине раскинулось родное село Яблонное.

Взяв направление на север, ребята углубились в лес. Сначала они шли по следам банды, бежавшей с поля боя. След был хорошо виден: взбитая копытами коней земля, поломанные сучья и ветки деревьев, клочья разорванной одежды. Но вскоре следы разделились и пошли в разные стороны.

Куда ж направиться?..

Был уже поздний вечер, когда ребята вышли на широкую поляну. Здесь Овод решил устроить привал до утра: утро вечера мудренее...

Расположившись под кустом, разведчики вытащили из сумок еду, но есть не могли. Потеря отца и брата тяжело поразила Овода, а Ю–ю страдал за пропавшего «капитана» и глубоко сочувствовал горю Дуняши. Все же он не терял бдительности и, зорко озираясь по сторонам, держал карабин наготове.

Вдруг из глубины леса, с противоположного края поляны, вылетел растрепанный всадник, без фуражки, в порванной куртке, с окровавленным лицом. Он мчался прямо на ребят.

Ю–ю мгновенно вскинул к плечу карабин:

– Стой, стреляй будет!..

– Стой! – повторил и Овод, поднимая маузер.

Всадник с такой силой осадил над кустом вороного коня, что тот взвился на дыбы. А через секунду он уже был на земле и с криком: «Здорово, орлы!» – кинулся в объятия Ю–ю и Овода. Это был Мишка.

– Ты весь в крови, брат Следопыт, – встревожился Овод. – Что случилось?

– Чепуха! Лицо поцарапал, когда скакал лесом. Эх, и конь лихой! Как ветер несется!

Весть о гибели отца поразила Мишку в самое сердце. Но он не заплакал, нет. Он крепко обнял своих друзей и, как бы давая клятву, произнес:

– Жив не буду, а бандита поймаю!

## ОХОТА ЗА ГОЛУБОЙ ЛИСИЦЕЙ

День был ясный, голубой. Солнце ласково припекало, но в воздухе веяло прохладой. В селе Яблонном было тихо и спокойно: от вчерашней гульбы не осталось и следа. Крестьяне были заняты своим делом. Только два плохо одетых мужичка бесцельно бродили по улицам, мимоходом заглядывали во дворы, болтали с прохожими. Если бы кто–нибудь следил за ними, он бы заметил, что странные мужички с особой осторожностью и любопытством обошли вокруг дома, где прошлой ночью кутил Махно, потом осмотрели двор попа Павсикакия и, видимо, чем–то раздосадованные, медленно пошли в конец села. Здесь они наткнулись на сожженную хату, от которой остались только развалины печи да черная труба.

Мужички остановились, сняв шапки.

– Вот наша хата, – печально сказал один, тяжело вздохнув.

– Ничего, – ответил другой, – когда прикончим белых, построим новую. А подлюю Лисицу мы все–таки найдем, не будь я Следопыт...

Да, это были наши герои. Оставив Ю–ю с вороным конем в гуще леса, они решили побывать в своем селе. Следопыт надеялся застать всю банду на месте, но Махно и след простыл.

Из разговоров с крестьянами ничего определенного выяснить тоже не удалось. Одни говорили, что «батько» ушел вербовать новое «войско» на Гуляй–Поле, другие уверяли, что он махнул «под Херсон», третьи полагали, что Махно заболел и скрывается где–нибудь «у своих», а большинство сердито отнекивалось:

– А на черта вин мини здався!

Словом, след Махно затерялся.

– Настоящая лисица!.. – ворчал Мишка. – А все–таки мы его найдем!

До вечера они обошли еще одну соседнюю деревню, но и там не нашли конца ниточки, по которой можно было бы добраться до Махно.

Волей–неволей к ночи им пришлось вернуться в лес, к Ю–ю. Мишка был раздосадован неудачей, но поиски решил продолжать.

– А не сходить ли нам к Черной балке, где банда стояла лагерем? – предложил он. – Ведь Махно ушел не один...

– Нет, нет! – запротестовал Овод, содрогнувшись от ужаса. – Подальше от этих проклятых мест!

– Тиха, капитана! – прошептал вдруг Ю–ю, поднимая руку. – Там буль–буль есть... Зачем такое?..

Он указал в глубину леса. Все замолкли, напряженно прислушиваясь.

– Верно, – сказал Следопыт, – там что–то курлыкает, вроде как тетерев бурчит...

Овод усомнился:

– Нет, не похоже... Может, ветер шумит?

– Какой там ветер, – отмахнулся Мишка, – сейчас такая тишь, ни один лист не шелохнется. Во всяком случае, проверим. У меня здесь что–то наклеывается, – он покрутил пальцем вокруг лба. – За мной, ребята!

Мишка смело пошел вперед, за ним направился Овод, а Ю–ю, как всегда, замыкал шествие, ведя коня под уздцы. Местность постепенно понижалась, лес становился гуще, дохнуло холодком и сыростью. Вскоре? Мишка остановился и, подождав своих соратников, сердито фыркнул:

– Ерунда! Зря мы сюда свернули – это речонка урчит по оврагу.

– Речонка?..

Овод прислушался и вдруг схватил за руку Следопыта:

– Ой, ребята, да ведь это же мельница шумит!

– Водяная мельница? – живо отозвался Следопыт. – Уж не та ли, в которой тебя мучили?

Овод побледнел:

– Может, и та...

Следопыт хлопнул себя по лбу:

– Ну и дурак я!

– Почему? – удивился встревоженный Овод.

– Ведь эту девушку Махно называл милой красавицей?

– Называл. Ну так что?

– И он по ее просьбе не отрубил тебе голову?

– Не отрубил.

– И сам поднял девушку с колен?

– Сам...

– Да что ж ты предлагаешь?

– Я–то? – Мишка в затруднении почесал затылок. – Пошли дальше! Только тихо, как мыши. А ты, Ю–ю, немножко отстань и веди коня... Да накрой ему морду курткой, чтобы не фыркал!..

– Есть, капитана! – охотно отозвался Ю–ю.

– Ты куда это? – шепотом спросил Овод.

– На мельницу...

– Зачем?

– Авось что–нибудь выйдет... Ты говоришь, девушка назвалась твоим другом?

– Да. Она так меня называла.

– Замечательно... Пошли, пока не стемнело.

Следопыт пригнулся, раздвинул ветки кустарника и бесшумно нырнул в чащу. Овод и Ю–ю последовали за ним в прежнем порядке.

Прислушиваясь к шуму воды, они шли довольно долго вдоль какой–то низины, заросшей дубовым кустарником и ивняком. Потом спустились в извилистый овражек, по дну которого бежал ручей. Вначале им казалось, что мельница должна быть где–то совсем близко, но рокот воды то резко усиливался, то неожиданно затихал и нарастал снова.

Мишка начинал сердиться. С каждой минутой ускорял шаг. Овод едва поспевал за ним, но даже и не подумал просить передышку. Он ни в чем не хотел отставать от брата. Что же

касается Юю, то о нем можно было не беспокоиться. Он мог с одинаковой скоростью шагать хоть целые сутки без передышки и никогда, не терял своего неизменного спокойствия и выдержки.

– Тсс! Кажется, совсем близко, – прошептал Следопыт,

Гул водяной мельницы доносился совершенно отчетливо.

– Ждите меня здесь, а я пойду посмотрю, что там делается, – сказал Следопыт и исчез во тьме.

Мишка шел по узкой тропе, она вскоре вывела его из леса. Перед ним лежала обширная поляна, на склоне которой прилепилась маленькая деревушка.

Взяв маузер наизготовку, Следопыт направился в деревню. Но его предосторожность оказалась напрасной; деревня точно вымерла. Нигде ни единой души, ни одного огонька в хатах, ни одной собаки во дворах – ничего живого. Только ветерок печально посвистывал в разбитых окнах. Настороженно прислушиваясь и заглядывая во все дворы, Мишка беспрепятственно прошел деревню.

Где-то пропел петух...

– Странно, – подумал Мишка, – людей нет, а петух остался.

За околицей он остановился и осмотрелся по сторонам. Вдали из мрака ночи блеснул огонек.

– Ага, кто-то есть!..

Следопыт смело направился на огонек, который манил его в темную низину, где урчала речонка. Идти пришлось недолго. Внизу, у самой кромки берега, поросшего густым кустарником, показалось какое-то неуклюжее черное здание,

– Мельница! – обрадовался Следопыт.

Подойдя ближе, он заметил небольшое оконце, закрытое толстой ставней. Из щели струилась желтая полоска света. Следопыт ползком направился к окну. Миновав небольшую открытую площадку, он тихо поднялся на ноги и заглянул в щель.

На широкой скамье понуро сидела молодая девушка. Бледное худое лицо ее скупно освещал огонек лампочки, подчеркивая бездонную глубину карих глаз и густые соболиные брови. Длинная коса черной змеей сползала с плеч.

– Она! – прошептал Мишка, дрогнув от радости.

Девушка сидела неподвижно, в глубокой задумчивости.

Мишка невольно залюбовался ею и позабыл, зачем он сюда явился. На длинных ресницах девушки блеснула слезинка и медленно скатилась на руку.

О чем она плакала? Тоска ли одиночества грызла ее сердце, погиб где-нибудь ее милый, или кулак-отец измывается над нею?..

Мишка хотел было отойти от окна, но тут скрипнула дверь, и в комнату вошел старик, запорошенный мучной пылью.

Девушка вздрогнула и подняла голову.

– Все хныкаешь? – сказал старик, останавливаясь перед нею, – Или не нравится добрый молодец?

– Оставь меня, отец! – резко ответила девушка, – Ты хочешь погубить меня.

Мельник захихикал:

– Кого ж тебе еще нужно? Может, принца ждешь или графа? Сюда и ворон-то редко залетает...

– Никого мне не нужно... Но идти на поругание этому зверю не хочу! – Девушка закрыла лицо руками и заплакала.

Маленькие выцветшие глаза мельника блеснули из-под нависших мохнатых бровей:

– Эй, не дури, Катюха! Не нам с тобой рассуждать об этом. Он теперь сила и богат. – Старик пошарил за пазухой, вынул кожаный кошель и высыпал на стол с десяток золотых монет.

– Вот они! Самые настоящие, царские! А ты ревешь, дурища. В шелках ходить будешь.

– Не нужно мне его проклятого золота – оно в крови! – Девушка в гневе отшвырнула монеты и выскочила из комнаты.



Старик трясущимися руками собрал золотые, шамкая беззубым ртом, опять ссыпал их в кошель и сунул за пазуху.

Мишка отскочил от окна и двинулся в обратный путь. Он понял, что мельник против воли дочери хочет выдать ее замуж за какого-то богача. Хорошо бы помочь ей выпутаться из беды! Но как? Надо поговорить с Оводом. В таких мудреных делах он лучше разберется. Как-никак, а он тоже – девушка...

Размышляя таким образом, Следопыт возвратился в лес.

## В МУЧНОМ МЕШКЕ

В то время, когда Следопыт спешил к лесу, на противоположном конце деревушки показался всадник. Он, видимо, тоже торопился и бешено нахлестывал плетью покрытого потом и пеной коня.

– Вперед, вперед, старая кляча!

Всадник рванул поводья и, едва не свалив покрытого пеной коня, спрыгнул на землю около мельницы. Подбежав к тяжелой двери, он постучал в нее три раза рукояткой пистолета.

В ответ раздался старческий кашель, и дверь тотчас отворилась.

Униженно кланяясь гостю, мельник повел его в ту комнату, где недавно сидела девушка, так поразившая Следопыта своей красотой.

– Минуточку обождите, одну минуточку, – залебезил старик, усаживая незнакомца, – она сейчас явится.

Гость хлопнул мельника по плечу:

– Ну, как? Согласилась? Иль все еще упирается? Боится меня?..

– Зачем же бояться, хе-хе, такого красавца и вдруг бояться?.. Ждет не дождется, даже во сне видела... Браги не хотите ли с дороги? Или винца хорошего?

– Можно, можно, – благосклонно согласился гость.

Старик живо принес бутылку вина и кувшин с брагой. Потом подошел к внутренней стене комнаты и тихонько стукнул корявым пальцем.

Гость насторожился...

После долгой паузы дверь снова скрипнула и на пороге появилась дочь мельника. При виде гостя она в страхе отшатнулась и растерянно остановилась на месте.

– Что ж ты не здороваешься, Катюшенька? Или язык отнялся от радости? – ласково засюсюкал старик и, незаметно ущипнув дочь за руку, зло прошипел ей на ухо: – Смотри, дурища, изведу!..

Девушка вздрогнула и чуть слышно поздоровалась с гостем:

– Добрый вечер!

– Здравствуй, здравствуй, красавица! – Незнакомец взял девушку за руку и усадил рядом с собой на скамью.

– Я насчет закусочки побегу, а вы здесь поворкуйте...

Семена ногами и продолжая хихикать, старик скрылся за дверью.

Гость и хозяйка с минуту молчали. Явная холодность красавицы смущала незнакомца; он не знал, с чего начать разговор, а она не поднимала головы,

Однако грубая натура взяла свое: он вдруг схватил девушку за плечи, с силой рванул к себе и поцеловал.

Задрожав от страха и отвращения, девушка отскочила в сторону:

– Не трогайте меня! Ради бога, пощадите!..

Гость на минуту смутился. Потом сердито спросил:

– Зачем же старик брал деньги? Разве я плохо наградил его? Вот получи и ты, красотка! – небрежным движением он бросил на стол кожаный кошелек, который тяжело звякнул.

– Нет! Нет! – в ужасе вскрикнула девушка. – Возьмите ваше нечистое золото, только сжальтесь надо мной и уходите.

Гость хитро прищурил маленькие колючие глазки и вынул из кармана бархатную коробочку.

– А как тебе эта штучка нравится? – В руках гостя сверкнуло богатое ожерелье.

Девушка отступила еще дальше:

– Не возьму ни за что на свете!

– Так что ж тебе нужно, черт возьми! – вспылал гость. – Или забыла, с кем разговариваешь? Да знаешь ли ты, что любая красавица Украины с радостью станет женой батьки Махно!

– Я все хорошо знаю, – предчувствуя беду и бледнея, возразила девушка, – но я не могу отдать свою руку бандиту,

Махно позеленел от ярости:

– Молчать, подлая тварь! Да я тебя раздавлю, как змею, и баста! – он схватил ее за косу...

Девушка вскрикнула и без чувств повалилась наземь.

– Ладно! – зло прошипел он. – Не хотела покориться добровольно, возьмем силой...

С полумертвой девушкой на руках Махно вышел наружу и скорым шагом направился к лошади.

Чья-то легкая тень беззвучно отскочила от окна, притаившись в кустах.

Махно благополучно дошел до коня. Уложил девушку поперек седла, и стал развязывать уздечку.

За спиной бандита внезапно появились две фигуры. В то же мгновение на его голову упал широкий мешок и сразу опустился до пят. Прежде чем Махно успел сообразить, что случилось, и выхватить шашку, он уже лежал на земле, крепко скрученный веревками, задыхаясь в мучном мешке.

– Вот это лихо! – воскликнул знакомый атаману голос. – Теперь уж ты не уйдешь, бандитская харя! Возьми его, Ю-ю!

– Есть, капитана!

Махно почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его за ноги и, как тушу барана, потащили вниз по мокрой траве.

Овод и Следопыт осторожно сняли девушку с седла и, опустив на землю, стали приводить в чувство.

Между тем Ю-ю дотянул мешок до вороного коня, стоявшего внизу у речонки, и швырнул под куст.

Махно слышал, как рядом с ним стукнул о землю приклад карабина и все смолкло. Хитрый бандит решил попробовать подкупить своего стража:

– Эй, парень! – глухо, сквозь мешок заговорил он. – Развяжи веревки и заработаешь пять золотых.

– Моя нет! – коротко отозвался Ю-ю.

– Бери десять!

– Моя нет...

– Пятьдесят!

– Пошла на черт! – отрезал страж.

– Хочешь тысячу, мошенник? – поторопился набавить Махно, полагая, что против такой суммы никто не устоит.

Ю-ю смачно плюнул:

– Тьфу на твой тыща!

– О, черта твоему батьку! – выругался Махно. – Чего ж ты хочешь, дурак?

– Дурак мешок сел!

Махно разъярился:

– Берегись, собака! Если ты меня не выпустишь, мои молодцы снимут с тебя семь шкур. И баста! Я – сам Махно!

Ю-ю засмеялся:

– Мой знал, кого мешок тащил. А твой молчать, шайтан! – и Ю-ю так сунул бандита прикладом, что тот охнул и сразу смолк.

Вскоре пришли и остальные: Мишка, Овод и дочь мельника – Катюша.

– Я повезу Катюшу, а ты возьмешь в седло мешок с бандюгой, – опять услышал странно знакомый голос Махно. – Ю-ю придется пешком пробежаться.

- Есть, капитана! – весело отозвался Ю–ю. – Мой не отстанет.
- Умоляю вас, бежим скорее! – в страхе просила дочь мельника.
- Нужно торопиться, друзья, – поддержал Овод, – скоро утро.

Жуткий холодок пробежал по спине бандита: ему почудилось, будто он слышит голос той самой девушки, которая была повешена в Черной балке по его приказанию. Нет, этого быть не может – мертвые не воскресают!

Разговор продолжался:

– Ты, Овод, поезжай пока шагом, а мы с Ю–ю останемся на минуту здесь, – приказал Мишка.

– А в чем дело? – спросил Овод, подсаживая на седло дочку мельника.

– Ничего особенного, надо старый должок отдать...

Овод с девушкой уехали вперед.

Следопыт взял плетъ и, подойдя к мешку, слегка ткнул его носком сапога:

– Ну–ка, Ю–ю, поверни его тыквой кверху.

– Есть, капитана! – с удовольствием отозвался Ю–ю, выполняя приказание.

– А теперь считай до пятидесяти, да смотри не сбейся...

Вряд ли надо рассказывать, с каким удовольствием принимал надменный атаман порцию горячих. Мишка старался изо всех сил:

– Не грабь народ! Не трожь красных дьяволят! Не лезь к буденовцам!..

Бандит заскрипел зубами и разразился такой забористой бранью, что Ю–ю впервые расхохотался от всей души. А Мишка продолжал всыпать.

На тридцатом шлепке Мишка услышал крик Овода:

– Скорей по коням!..

С большим сожалением Мишка прекратил экзекуцию:

– Ладно. Двадцать штук досыплю на месте.

## ПОДАРОК РЕСПУБЛИКЕ

В городе Е. было необыкновенно оживленно и шумно. К главной площади по всем улицам и переулкам двигались потоки людей. На площади стоял уже знакомый нам отряд красных партизан в полном боевом снаряжении. Сегодня он уходил на фронт бить Врангеля. Рабочие организации и граждане города провожали партизан с красными знаменами, песнями и музыкой.

Залитая потоками яркого солнца и красным заревом многочисленных знамен, площадь горела и бурлила. Людское море колыхалось вокруг высокой, наскоро сбитой трибуны.

Митинг был в разгаре.

Говорил рабочий рельсопрокатного завода:

– Советская власть, товарищи, в опасности! Черный ворон – Врангель – все еще сидит в Крыму. Если мы не сбросим его в море, он опять полезет на Украину, а за ним, глядишь, и буржуй вернется, и помещик, и прочие белые гады. Не бывать тому, товарищи!

– Бей Врангеля! – кричала в ответ толпа.

– Вот и я тоже говорю, – продолжал оратор. – Партия зовет нас под ружье! Сам Ленин зовет! Все за оружие, товарищи! Смерть буржуйам! Урра–аа!

– Урра–ааа! – загремело над площадью, и громкое эхо разнеслось по всему городу.

Вслед за рабочим на трибуну поднялся командир партизанского отряда Цибуля, перепоясанный патронными лентами.

В заключение своей горячей речи Цибуля дал клятву, что его полк не вернется назад до тех пор, пока ни одного беляка не останется на родной земле. Он упомянул также и о полном разгроме махновских банд и выразил сожаление, что сам Махно все еще не пойман...

Но вдруг Цибуля прервал свою речь на полуслове.

В облаках пыли к площади во весь опор мчался вороной конь с двумя всадниками. С развевающейся по ветру косой впереди сидела девушка, которую поддерживал сзади рыжий парень в изодранной одежде. Далеко позади скакал еще один всадник с большим мешком поперек седла, а на диво всем, придерживаясь одной рукой за стремя, рядом с конем стремительно бежал буденовец.

Партизаны на всякий случай приготовились к бою. Толпа затихла. А когда приблизился вороной конь, она поспешно, раздвинулась, очищая, дорогу.

Рыжик всадник осадил коня у самой трибуны и крикнул с седла:

– Здравствуйте, товарищи!

Цибуля и партизаны увидели отчаянного Следопыта живым и невредимым!

За ним подоспел и Овод с таинственным мешком поперек седла, с неутомимым Ю–ю у стремени.

Знаменитых разведчиков встретили криками «ура». Все трое оказались в могучих объятиях друзей и товарищей.

Сам командир сбежал с трибуны и помог неизвестной девушке сойти на землю. Мишка вытянулся в струнку и громко отрапортовал:

– Дозвольте доложить: поиск проведен успешно. Мы привезли подарок Советской республике!

Цибуля улыбнулся:

– Уж не эту ли красу–царевну вы считаете подарком?

– Никак нет! Наш подарок почище будет! – Следопыт подмигнул своим друзьям.

– Где же он? – удивился Цибуля. – Я не вижу.

– В мешке сидит!

– В мешке?!

Все окружающие прыснули со смеху. Предвкушая что–то необыкновенное, народ тесным кольцом окружил разведчиков.

Командир приказал:

– В таком случае тащите ваш подарок на трибуну.

– Есть тащить на трибуну! – отозвался Следопыт. – А ну–ка, Ю–ю, отвяжи мешок!

Ю–ю мигом исполнил приказание, ловко взвалил странный мешок на плечи и понес на трибуну. За ним поднялись разведчики и командир Цибуля.

Следопыт скомандовал:

– Бросай подарок на середину!

– Есть, капитана! – Ю–ю весело улыбнулся и швырнул мешок на пол.

Мешок громко крикнул, потом зашевелился и вдруг сам собою стал подниматься.

Старушка, стоявшая рядом с трибуной, шарахнулась в сторону:

– Мать пречиста, мешок встает!..

Глухо ворча, мешок действительно встал.

Командир вспылил:

– Это еще что за шутки, медвежонка, что ли, приволокли?

– Зачем медвежонка, тут целый медведь, – невозмутимо ответил Следопыт, развязывая узел.

Любопытство толпы нарастало. Передние ряды вплотную придвинулись к трибуне, а задние полезли на плечи соседей.

Наконец таинственный мешок раскрылся и медленно пополз вниз.

Следопыт отрапортовал Цибуле:

– Вот он – подарок! Получайте, товарищ командир!

И перед изумленными взорами народа предстал какой–то немудрящий человечешка с поднятыми дыбом волосами, весь покрытый мучной пылью, растрепанный и жалкий.

– Это еще что за птица? – спросил командир, не узнавая злого врага Украины.

– Это изменник родины, бандит и грабитель – батька Махно!

Толпа ахнула:

– Махно! Махно! – как ветер, пронеслось по рядам. – Смерть бандиту!..

Махно узнал не только Следопыта, но и Овода, недавно повешенного им в Черной балке...

– Что за наваждение такое? – прохрипел он, пятясь назад. – Опять эта проклятая девчонка!

– Да–да! Это – я! – ответил Овод, подходя ближе. – Иногда и мертвые воскресают, чтобы отомстить живым...

Бандит в ужасе озирался по сторонам. Ему казалось, что он сошел с ума и теперь бредит дикими нелепыми образами: воскресшая девушка, партизаны, толпы народа, сотни знамен, шум и крики – настоящий кошмар!..

Командир пожал руки всем разведчикам и обратился к народу:

– Товарищи! Наши славные разведчики и в самом деле привезли ценный подарок Советской России: они захватили в плен одного из самых гнусных бандитов – атамана кулацкой банды Махно. Хвала и честь юным героям!..

– Урра–ааа! – загремело над площадью.

Махно готов был растерзать всех на мелкие кусочки, но мог только скрежетать зубами в бессильной ярости и злобе. А тут еще стояла дочь мельника и смотрела на его жалкую фигуру, насмешливо улыбаясь...

На трибуну вошел буденовец и передал Цибуле какую–то коробку.

– Все три здесь? – тихо спросил тот.

– Так точно, товарищ командир!

Цибуля поднял руку, призывая к порядку.

Сотни глаз впились в командира.

– Товарищи! – торжественным тоном начал он. – Я счастлив всенародно заявить здесь, что Коммунистическая партия и Советская власть высоко оценили боевые заслуги и самоотверженность наших отважных разведчиков. Разрешите от имени Республики вручить этим славным героям заслуженные награды...

Цибуля медленно вынул из коробки три блестящих ордена и поднял их над головой.

Долго сдерживаемое напряжение толпы прорвалось. Ураган рукоплесканий и криков «ура» рванулся к небу. Над головами замелькали платки, полетели вверх шапки, а ребяташки, словно стая грачей, посыпались со всех столбов и заборов.

Каждый старался протолкнуться вперед, к трибуне, и хоть одним глазком посмотреть на отчаянных буденовцев, сумевших посадить в мешок самого батьку Махно. Но, кажется, больше всех радовалась дочка мельника, которая давно уже стояла на трибуне, не сводя глаз со своего спасителя – Следопыта.

А когда командир собственноручно приколот к его широкой груди орден Боевого Красного Знамени, Катюша не выдержала и на глазах толпы расцеловала смущенного Мишку.

Нет, Дуняша не решилась поцеловать Ю–ю, но девушка так крепко пожимала ему руки, так нежно поздравляла его с чудесной наградой, что на глазах их верного друга выступили слезы – слезы невыразимого счастья.

## В. ШКЛОВСКИЙ. ZOO, ИЛИ ПИСЬМА НЕ О ЛЮБВИ<sup>1</sup>

(перв. изд. – 1923)

Человек один идет по льду, вокруг него туман. Ему кажется, что он идет прямо. Ветер разгонит туман: человек видит цель, видит свои следы.

Оказывается – льдина плыла и поворачивалась: след спутан в узел – человек заблудился.

Я хотел честно жить и решать, не уклоняться от трудного, но запутал свой путь. Ошибаясь и плутая, я очутился в эмиграции, в Берлине.

История эта рассказана мною в книге «Сентиментальное путешествие», которая у нас два раза издана; сейчас ее не переиздаю.

Все это было в 1922 году. За границей я тосковал; через год по хлопотам Горького и Маяковского мне удалось вернуться на родину.

Книга, которую вы сейчас прочтете, написана в Берлине, у нас она издается в четвертый раз.

1965

### ТРИ ПРЕДИСЛОВИЯ

#### ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Книжка эта написана следующим образом.

Первоначально я задумал дать ряд очерков русского Берлина, потом показалось интересным связать эти очерки какой-нибудь общей темой. Взял «Зверинец» («Zoo») – заглавие книги уже родилось, но оно не связало кусков. Пришла мысль сделать из них что-то вроде романа в письмах.

Для романа в письмах необходима мотивировка – почему именно люди должны переписываться. Обычная мотивировка – любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма пишутся любящим человеком к женщине, у которой нет для него времени. Тут мне понадобилась новая деталь: так как основной материал книги не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке, – «Письма не о любви».

Тут книжка начала писать себя сама, она потребовала связи материала, то есть любовно-лирической линии и линии описательной. Покорный воле судьбы и материала, я связал эти вещи сравнением: все описания оказались тогда метафорами любви.

---

<sup>1</sup> Послесловие редакции. Жизнь и творчество автора «ZOO» — тема отдельной публикации. Здесь же мы вынуждены ограничиться лишь краткими сведениями из его биографии: Шкловский Виктор Борисович (1893—1984), русский литературовед, критик, теоретик литературы, прозаик, журналист, сценарист, теоретик кино. Родился 12 (24) января 1893 года в Санкт-Петербурге. 23 декабря 1913 года в литературно-артистическом кабаре «Бродячая собака» Шкловский прочел доклад «Место футуризма в истории языка», из которого выросла затем концепция развития литературы, разрабатываемая им в течение жизни. Осенью 1914-го, вскоре после начала Первой мировой войны, он уходит добровольцем в армию. Впоследствии напряженная научная работа не помешала Шкловскому принять самое активное участие в февральской революции 1917 года. Георгиевский крест 4-й степени Виктор Шкловский получил из рук Л.Г. Корнилова. Резкое неприятие большевизма заставило Шкловского сблизиться с правыми эсерами. Он принимает активное участие в антисоветском заговоре, в частности, в подготовке переворота. Позже отправляется в Киев, где участвует в неудачной попытке свержения гетмана Скоропадского. В начале 1919-го Шкловский возвращается в Петроград. Этому обстоятельству немало способствовало то, что партия эсеров, руководство которой призвало к отказу от вооруженного сопротивления, была амнистирована. Тем не менее, 4 марта 1922 года, возвращаясь ночью домой, он заметил, что окна его и соседней комнат освещены. Без вещей, с одними санками, на которых вез дрова, он отправился к знакомым. Прожив в Петрограде еще десять дней, Шкловский по льду Финского залива бежит в Финляндию. Его жена, взятая в качестве заложницы, находится некоторое время в заключении. В эмиграции, с конца 1922 года Виктор Шкловский начинает хлопотать о возвращении на родину. Значение Шкловского для русской культуры трудно переоценить. Умер В.Б. Шкловский 5 декабря 1984 года в Москве. Печатается по: <http://www.marie-olshansky.ru/ct/zoo.shtml>

Это обычный прием для эротических вещей: в них отрицается ряд реальный и утверждается ряд метафорический.

Сравните с «Заветными сказками».

Берлин, 5 марта 1923 года

## ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАРОЙ КНИГЕ

Мое прошлое – ты было.

Были утренние тротуары берлинских улиц.

Базары, осыпанные белыми лепестками цветущих яблонь.

Ветки яблонь стояли на длинных базарных столах в ведрах.

Позднее, летом, были розы на длинных ветках, – вероятно, это вьющиеся розы.

Орхидеи стояли в цветочном магазине на Унтер-ден-Линден, и я их никогда не покупал.

Был беден. Покупал розы – вместо хлеба.

Давно унесли отрезанное от сердца. Мне только жалко того прошлого: прошлого человека.

Я оставил его (прежнего себя) в этой книге, как оставляли в прежних романах на необитаемом острове провинившегося матроса.

Живи виноватый: здесь тепло. Я не могу тебя перевоспитать. Сиди, смотри на закат. Письма, которых не было в первом издании, были действительно написаны тобою, но ты их тогда не послал.

1924. Ленинград

## ТРЕТЬЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне семьдесят лет. Душа моя лежит передо мною.

Она уже изнасилась на сгибах.

Та книга ее согнула тогда. Я ее выпрямил.

Сгибали душу смерти друзей. Война. Споры.

Ошибки. Обиды. Кино. И старость, которая все же пришла. Мне легче, что я не знаю мест, по которым ты ходишь, не знаю твоих новых друзей, старых деревьев около твоей мельницы.

Память разошлась кругами. Круги дошли до каменного берега. Прошлого нет.

К берегу ушли круги, кольца любви.

Не сяду у моря, не буду ждать погоды, не позову свою рыбку с золотыми веснушками.

Не сяду ночью у моря, не буду черпать воду старой коричневой фетровой шляпой.

Не скажу: «Отдай мне, море, кольца».

Уже и ночи я дождался. Убраны с неба непонятные звезды.

Одна Венера, заглавная звезда вечера и утра, вернулась в небо. Верен любви: люблю другую.

Утром, в час, когда уже можно отличить белую нитку от голубой, я говорю слово – Любовь.

Солнце вылилось в небо.

Утру песни не бывает конца, только мы уходим.

Посмотрим по книге, как по воде, на каких перевалах бывало сердце, сколько от прошлого осталось крови и гордости, называемых лиризмом.

1963 год. Москва

P.S. Аля уже несколько десятилетий французская писательница, прославленная своей прозой и стихами, ей посвященными.

## ЭПИГРАФ ЗВЕРИНЕЦ

О, Сад, Сад!

Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.

Где немцы ходят пить пиво.

А красотки продавать тело.

Где орлы сидят, подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера днем.

Где верблюд знает разгадку Буддизма и затаил ужимку Китая.

Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.

Где наряды людей баскующие.

А немцы цветут здоровьем.

Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а клюв – осенней рожице, немного осторожен для него самого.

Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.

Где обезьяны разнообразно сердятся и выказывают концы туловища.

Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: есть, хоууа! поесть бы! и приседают, точно просят милостыню.

Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказа сторожа.

Где нетопыри висят подобно сердцу современного русского.

Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.

Где низкая птица влачит за собой закат, со всеми углями его пожара.

Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого магометанина и читаем сущность Ислама.

Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды.

И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога...

Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов смотреть на небо, ожидая грозы.

Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий...

Где утки одной породы поднимают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный молебен утиному – имеет ли оно ноги и клюв – божеству.

Где пепельно-серебряные цесарки имеют вид казанских сирот.

Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю спрятавшегося монгола.

Где волки выражают готовность и преданность.

Где, войдя в душную обитель попугаев, я осыпаем единодушными приветствиями «дюррак!».

Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после прыгает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном, грузном теле показывается с колючей щетиной и гладким лбом голова Ницше.

Где челюсть у белой черноглазой возвышенной ламы и у плоскорогого буйвола движется ровно направо и налево, как жизнь страны с народным представительством и ответственным перед ним правительством – желанный рай столь многих!

Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем затаен Иоанн Грозный.

Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, глазом имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.



Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака и этой птицы один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле.

Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю.

Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное в Часослов Слово Полку Игореву.

Велимир Хлебников  
Садок Судей 1-й  
1909 г.

## ПОСВЯЩАЮ

Эльзе Триоле

И ДАЮ КНИГЕ ИМЯ ТРЕТЬЯ ЭЛОИЗА

•

## ПИСЬМО ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

Оно написано всем, всем, всем. Тема письма: вещи переделывают человека.

Если бы я имел второй костюм, то никогда не знал бы горя.

Придя домой, переодеться, подтянуться – достаточно, чтобы изменить себя.

Женщины пользуются этим несколько раз в день. Что бы вы ни говорили женщине, добивайтесь ответа сейчас же; иначе она примет горячую ванну, переменит платье, и все нужно начинать говорить сначала.

Переодевшись, они даже забывают жесты.

Я очень советую вам добиваться от женщины немедленного ответа.

Иначе вам придется часто стоять растерянным перед новым неожиданным словом.

Синтаксиса в жизни женщины почти нет.

Мужчину же изменяет его ремесло.

Орудие не только продолжает руку человека, но и само продолжается в нем.

Говорят, что слепой локализует чувство осязания на конце своей палки.

К своей обуви я не испытываю особенной привязанности, но все же она продолжение меня, это часть меня.

Ведь уже тросточка меняла гимназиста и была ему запрещена.

Искренней обезьяна на ветке, но ветка тоже влияет на психологию.

Психология же коровы, идущей по скользкому льду, вошла в поговорку.

Больше всего меняет человека машина.

Лев Толстой в «Войне и мире» рассказывает, как робкий и незаметный артиллерист Тушин во время боя оказывается в новом мире, созданном его артиллерией.

«Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха... Напротив, ему становилось все веселее и веселее...»

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, покрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), – из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту... Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядро».

Пулеметчик и контрабасист – продолжение своих инструментов.

Подземная железная дорога, подъемные краны и автомобили – протезы человечества.

Случилось так, что мне пришлось провести несколько лет среди шоферов.

Шоферы изменяются сообразно количеству сил в моторах, на которых они ездят.

Мотор свыше сорока лошадиных сил уже уничтожает старую мораль.

Быстрота отделяет шофера от человечества.  
Включи мотор, дай газ – и ты ушел уже из пространства, а время как будто изменяется только указателем скорости.  
Автомобиль может дать на шоссе свыше ста километров в час.  
Но к чему такая быстрота?  
Она нужна только бегущему или преследующему.  
Мотор тянет человека к тому, что справедливо называется преступлением.  
К счастью, русский шофер обычно хороший работник.  
Он ездит по дорогам, напоминаящим волны, чинит машину в степи, когда мороз и бензин леденят руки. Но вместе с тем шофер не рабочий; на машине он одинок.  
Его машина опьяняет его, быстрота опьяняет, выносит из жизни.  
Не забудем о заслугах автомобиля перед революцией.  
Не сразу Волынский полк решился выйти из казарм.  
Русские полки бунтовали обычно стоя.  
Декабристы были разбиты на месте.  
Волынцы оставили казармы, но были в нерешительности. Навстречу выходили другие.  
Полки сходились и останавливались.  
Но уже били камнями в двери гаражей, и рабочие на захваченных трубящих машинах вылетали в город.  
Вы пеной выплеснули революцию в город, о автомобилях.  
Революция включила скорость и поехала.  
Гнулись рессоры, гнулись крылья машин, машины металась по городу, и там, где их было две, казалось, что их было восемь.  
Я люблю автомобили.  
Тогда раскачалась вся страна. Революция перешла через пенный период и ушла пешком на фронт.  
Оружие делает человека храбрее.  
Лошадь обращает его в кавалериста.  
Вещи делают с человеком то, что он из них делает. Скорость требует цели.  
Вещи растут вокруг нас, – их сейчас в десять или в сто раз больше, чем двести лет тому назад.  
Человечество владеет ими, отдельный человек – нет.  
Нужно личное овладение тайной машин, нужен новый романтизм, чтобы они не выбрасывали людей на поворотах из жизни.  
Я сейчас растерян, потому что этот асфальт, натертый шинами автомобилей, эти световые рекламы и женщины, хорошо одетые, – все это изменяет меня. Я здесь не такой, какой был, и кажется, я здесь нехороший.

## ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Написано оно женщиной к ее сестре в Москву из Берлина.  
Сестра ее очень красивая, с сияющими глазами. Дано письмо как вступление.  
Слушайте женский спокойный голос.  
На новой квартире я ужилась. Подозреваю, что хозяйка у меня из ех–веселящихся, соответственно и характер у нее не злобный и не придирчивый. Разговаривают в моих краях только по–немецки; откуда ни идешь, приходится пробираться под двенадцатью железными мостами. Такое место это, что без особой нужды не заедешь. Знакомые с Унтер–ден–Линден по дороге заходить не будут!  
При мне состоят все те же, поста не покидают. Тот, третий, ко мне окончательно пришился. Почитаю его своим самым крупным орденом, хотя влюбчивость его мне известна. Пишет мне каждый день по письму и по два, сам мне их приносит, послушно садится рядом и ждет, пока я их прочту.  
Первый все еще посылает цветы, но грустнее. Второй, которому ты меня неосторожно поручила, продолжает настаивать на том, что любит. Взамен требует, чтобы со всеми своими неприятностями обращалась к нему. Такой хитрый.

Автомобильная такса сейчас умножается в 5000 раз.

Несмотря на покойное житье здесь – тоскую по Лондону. По одиночеству, размеренной жизни, работе с утра до вечера, ванне и танцам с благообразными юношами. Здесь я от этого отвыкла. И слишком много горя кругом, чтобы об этом можно было хоть на минуту забыть.

Пиши скорее про все свои дела. Целую тебя, милую, самую красивую, спасибо еще раз за любовь и ласку.

Аля

3 февраля 1923 г.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ

О любви, ревности, телефоне и о стадиях любви.

Кончается оно замечанием относительно походки русских.

Дорогая Аля!

Я уже два дня не вижу тебя.

Звоню. Телефон пищит, я слышу, что наступил на кого-то.

Дозваниваюсь, – ты занята днем, вечером.

Еще раз пишу. Я очень люблю тебя.

Ты город, в котором я живу, ты название месяца и дня.

Плыву, соленый и тяжелый от слез, почти не высываясь из воды.

Кажется, скоро потону, но и там, под водою, куда не звонит телефон и не доходят слухи, где нельзя встретить тебя, я буду тебя любить.

Я люблю тебя, Аля, а ты заставляешь меня висеть на подножке твоей жизни.

У меня стынут руки.

Я не ревнив к людям, я ревнив к твоему времени.

Я не могу не видеть тебя. Ну что мне делать, когда любовь нельзя ничем заменить?

Ты не знаешь веса вещей. Все люди равны перед тобой, как перед господом. Ну что же мне делать?

Я очень люблю тебя.

Сперва меня клонило к тебе, как клонит сон в вагоне голову пассажира на плечо соседа.

Потом я загляделся на тебя.

Знаю твой рот, твои губы.

Я намотал на мысль о тебе всю свою жизнь. Я верю, что ты не чужой человек, – ну, посмотри в мою сторону.

Я напугал тебя своею любовью; когда, вначале, я был еще весел, я больше тебе нравился. Это от России, дорогая. У нас тяжелая походка. Но в России я был крепок, а здесь начал плакать.

4 февраля

## ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Алино же второе.

В нем Аля просит не писать ей о любви. Письмо усталое.

Милый, родной. Не пиши мне о любви. Не надо.

Я очень устала. У меня, как ты сам говорил, сбита холка. Нас разъединяет с тобой быт. Я не люблю тебя и не буду любить. Я боюсь твоей любви, ты когда-нибудь оскорбишь меня за то, что сейчас так любишь. Не стони так страшно, ты для меня все же свой. Не пугай меня! Ты меня так хорошо знаешь, а сам делаешь все, чтобы испугать меня, оттолкнуть от себя. Может быть, твоя любовь и большая, но она не радостная.

Ты нужен мне, ты умеешь вызвать меня из себя самой.

Не пиши мне только о своей любви. Не устраивай мне диких сцен по телефону. Не свирепей. Ты умеешь отравлять мне дни. Мне нужна свобода, чтобы никто даже не смел меня спрашивать ни о чем. А ты требуешь от меня всего моего времени. Будь легким, а не то в любви ты сорвешься. А ты с каждым днем все грустней. Тебе нужно ехать в санаторий, мой дорогой.

Пишу в кровати, оттого что вчера танцевала. Сейчас пойду в ванну. Может быть, сегодня увидимся.

Аля

5 февраля

#### ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

О холоде, предательстве Петра, о Велимире Хлебникове и его гибели.

О надписи на его кресте. Здесь же говорится: о любви Хлебникова, о жестокости нелюбящих, о гвоздях, о чаше и о всей человеческой культуре, построенной по пути к любви.

Я не буду писать о любви, я буду писать только о погоде.

Погода сегодня в Берлине хорошая.

Синее небо и солнце выше домов. Солнце смотрит прямо в пансион Марцан, в комнату Айхенвальда.

Я живу в другой стороне квартиры.

На улице хорошо и свежо.

Снега в Берлине в этом году почти не было.

Сегодня 5 февраля... Все не о любви.

Хожу в осеннем пальто, а если бы настал мороз, то пришлось бы называть это пальто зимним.

Не люблю мороза и даже холода.

Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался.

Пел петух.

Холода в Палестине не сильны. Там, наверное, даже теплее, чем в Берлине.

Если бы та ночь была теплая, Петр остался бы во тьме, петух пел бы зря, как все петухи, а в евангелии не было бы иронии.

Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном; толпами пришли бы ученики Иисуса на перекрестке к кострам и стали бы в очередь, чтобы отречься.

Прости меня, Велимир Хлебников, за то, что я греюсь у огня чужих редакций. За то, что я издаю свою, а не твою книжку. Климат, учитель, у нас континентальный.

Лисицы имеют свои норы, арестанту дают койку, нож ночует в ножнах, ты же не имел куда приклонить свою голову.

В утопии, которую ты написал для журнала «Взял», есть среди прочих фантазий одна – каждый человек имеет право на комнату в любом городе.

Правда, в утопии сказано, что человек должен иметь стеклянную комнату, но думаю, что Велимир согласился бы и на простую.

Умер Хлебников, и какой-то пыльный человек в «Литературных записках» вялым языком сказал что-то о «неудачнике»<sup>1</sup>.

На кладбище на могильном кресте написал художник Митурич:

«Велимир Хлебников – Председатель Земного Шара».

Вот и нашлось помещение для странника, не стеклянное, правда.

Вряд ли ты, Велимир, захотел бы воскреснуть, чтобы снова скитаться.

А над другим крестом было написано: «Иисус Христос царь иудейский».

Трудно тебе было ходить по степям и то служить солдатом, то сторожить ночью склады, то, полупленником, в Харькове участвовать в шумном выступлении имажинистов.

Прости нас за себя и за других.

За то, что мы греемся у чужих костров.

Прежде думалось, что Хлебников сам не замечает, как он живет, что рукава его рубашки разорваны до плеч, решетка кровати не покрыта тюфяком, что рукописи, которыми он набивает наволочку, потеряны. Но перед смертью Хлебников вспоминал о своих рукописях.

Умирал он ужасно. От заражения крови.

Кровать его обставили цветами.

Поблизости не было доктора, была только женщина–врач, но женщину он не подпустил к себе.

Вспоминаю о старом.

Дело было в Куоккале уже осенью, когда ночи темны.

Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора.

Дом богатый, мебель из карельской березы, хозяин белый, с черной бородой и умный. У него – дочери. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят.

Такой птицей сидел он, с опущенными крыльями, в старом сюртуке, и смотрел на дочь хозяина.

Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи.

Отрекался от них всех, кроме «Девьего бога».

Спрашивал ее, как писать.

Дело было в Куоккале, осенью.

Хлебников жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни.

Я приехал туда, разыскал Хлебникова и сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца.

Дело было такое простое.

В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как несессер, но мы все не можем найти в нем своего места. Жизнь примеривает нас друг к другу и смеется, когда мы тянемся к тому, кто нас не любит. Все это просто – как почтовые марки.

Волны в заливе были тоже простые.

Они и сейчас такие. Волны были как ребристое оцинкованное железо. На таком железе стирают. Облака были шерстяные. Хлебников мне сказал:

– Вы знаете, что нанесли мне рану?

Знал.

– Скажите, что им нужно? Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят? Я сделал бы все. Я записал бы иначе. Может быть, нужна слава?

Море было простое. В дачах спали люди.

Что я мог ответить на это Моление о Чаше?

Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви! Здесь никому ничего не надо. Вход только по контрамаркам. И быть жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по–арамейски, ни по–русски. Она как гвозди, которыми пробивают.

Оленю годятся в борьбе его рога, соловей поет не даром, но наши книги нам не пригодятся. Обида неизлечима.

А нам остаются желтые стены домов, освещенные солнцем, наши книги и вся нами по пути к любви построенная человеческая культура.

И завет быть легким.

А если очень больно?

Переведи все в космический масштаб, возьми сердце в зубы, пиши книгу.

Но где та, которая любит меня?

Я вижу ее во сне, и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к ее ногам, и выпадаю из сна.

<sup>1</sup> (это Горнфельд)

## ПИСЬМО ПЯТОЕ,

содержащее описание Ремизова Алексея Михайловича и его способа носить воду на четвертый этаж бутылками. Здесь же описаны быт и нравы великого обезьяньего ордена. Сюда же я вставил теоретические замечания о роли личного элемента как материала в искусстве.

Ты знаешь, у обезьяньего царя Асыки – Алексея Ремизова – опять неприятности: его выселяют из квартиры.

Не дают спокойно пожить человеку, как он хочет. Зимой в 1919 году жил Ремизов в Петербурге, а водопровод в его доме взял да и лопнул.

Всякий человек растерялся бы. Но Ремизов собрал у всех знакомых бутылки, маленькие аптекарские, винные и всякие другие, какие попались. Построил он их ротой в комнате на ковре, потом брал по две и бежал по лестнице вниз за водой. При таком способе воду нужно носить для каждого дня неделю.

Очень неудобно, но – забавно!

Жизнь Ремизова, – он сам ее построил, собственноручно, – очень неудобная, но забавная.

Росту он малого, волос имеет густой и одним большим вихром–ежиком. Сутулится, а губы красные–красные. Нос курносый, и все – нарочно.

А паспорт весь исписан обезьяньими знаками. Еще до того, как лопнул водопровод, ушел Ремизов от людей, – он уже заранее знал, что они за птицы, – и пошел к великому обезьяньему народу.

Обезьяний орден придуман Ремизовым по типу русского масонства. Был в нем Блок, сейчас Кузмин состоит музыкантом Великой и вольной обезьяньей палаты, а Гржебин – тот кум обезьяний и в этом ордене состоит в чине и звании зауряд–князя, это на голодное и военное время.

И я принят в этот обезьяний заговор, чин дал себе сам «короткохвостый обезьяненок». Хвост я себе сбрил сам, перед тем как уйти в Красную Армию в Херсоне. Так как ты зауряд–иностранка и твои чемоданы не знают, что владелицу их вскормила сибирячка, румяная Стеша, то нужно сказать тебе еще и то, что обезьяний народ имеет настоящего царя. Заслуженного.

У Ремизова есть жена, очень русская, очень русая, крупная, Серафима Павловна Ремизова–Довгелло; она в Берлине как негр какой–нибудь в Москве времен Алексея Михайловича, царя, такая она белая и русская.

Сам Ремизов тоже Алексей Михайлович. Говорил он мне раз:

– Не могу я больше начать роман: «Иван Иванович сидел за столом».

Так как я тебя уважаю, то вот тебе открытие тайны.

Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы.

Писатель не может быть землешаком: он кочевник и со своим стадом и женой перемещается на новую траву. Наше обезьянье великое войско живет, как киплингская кошка на крышах – «сама по себе».

Вы ходите в платьях, и день идет у вас за днем; в убийстве и в любви вы традиционны. Обезьянье войско не ночует там, где обеды, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры.

Их дело – создание новых вещей. Ремизов сейчас хочет создать книгу без сюжета, без судьбы человека, положенной в основу композиции. Он пишет то книгу, составленную из кусков, – это «Россия в письменах», это книга из обрывков книг, то книгу, наращенную на письма Розанова.

Нельзя писать книгу по–старому. Это знает Белый, хорошо знал Розанов, знает Горький, когда не думает о синтезах, и знаю я, короткохвостый обезьяненок.

Мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству из–за той же необходимости нового материала в искусстве. Соломон Каплун в новом рассказе Ремизова, Мария Федоровна Андреева в плаче его над Блоком – необходимость литературной формы.

Обезьянье войско несет свою службу. Ходом коня наискось я пересек твою жизнь, как это было и есть – ты знаешь; но, Алик, ты попадешь в мою книгу, как Исаак на костре, сложенном Авраамом. А знаешь ли, Алик, что лишнее «а» в имя Авраама бог дал ему из великой любви? Лишний звук оказался хорошим подарком даже для бога.

Знаешь ли ты это, Алик?

Впрочем, ты не будешь жертвой, это я обменной жертвой, барашком, впутался рогами в кустарник.

Комната Ремизова вся в куколках, в чертиках, а Ремизов сидит и шипит на всех «тише, – хозяйка» и поднимает палец. Он не боится хозяйки – он играет.

Тягостен вольным обезьянам путь по тротуарам, жизнь чужая. Женщины человеческие непонятны. Быт человеческий – страшный, тупой, косный, не гибкий.

Мы быт превращаем в анекдоты.

Строим между миром и собою маленькие собственные мирки–зверинцы.

Мы хотим свободы.

Ремизов живет в жизни методами искусства.

Кончаю писать, мне нужно бежать в кондитерскую за тортом. Сейчас ко мне придет кто-то, потом нужно нести торт, потом еще зайти к кому-то, потом искать денег, продавать книгу, разговаривать с молодыми писателями. Ничего, в обезьяньем хозяйстве все пригодится. Вавилонское столпотворение для нас понятней парламента, обиды нам есть где записывать, розы и морозы у нас ходят в паре, потому что – рифмы.

Я не отдам своего ремесла писателя, своей вольной дороги по крышам за европейский костюм, чищенные сапоги, высокую валюту, даже за Алю.

## ПИСЬМО ШЕСТОЕ

О тоске и плене нашего прародителя. Кончается письмо запоздавшим предложением начать издавать для него газету.

Звери в клетках Zoo не выглядят слишком несчастными.

Они даже родят детенышей.

Львят выращивали кормилицы–собаки, и львята не знали о своем высоком происхождении.

День и ночь мечутся в клетках гиены.

Все четыре лапы гиены поставлены у нее как-то очень близко к тазу.

Скучают взрослые львы.

Тигры ходят вдоль прутьев клетки.

Шуршат своей кожей слоны.

Очень красивы ламы. У них теплое, шерстяное платье и голова легкая. Похожи на тебя.

На зиму все закрыто.

С точки зрения зверей это не большая перемена.

Остался аквариум.

В голубой воде, освещенной электричеством и похожей на лимонад, плавают рыбы. А за некоторыми стеклами совсем страшно. Сидит деревцо с белыми ветками и тихо шевелит ими. Зачем было создавать в мире такую тоску? Человекообразную обезьяну не продали, а поместили в верхнем этаже аквариума. Ты сильно занята, так сильно занята, что у меня все время теперь свободно. Хожу в аквариум.

Он не нужен мне. Zoo пригодилось бы мне для параллелизмов.

Обезьяна, Аля, приблизительно моего роста, но шире в плечах, сгорблена и длиннорука. Не выглядит, что она сидит в клетке.

Несмотря на шерсть и нос, как будто сломанный, она производит на меня впечатление арестанта.

И клетка – не клетка, а тюрьма.

Клетка двойная, а между решетками, не помню, ходит или не ходит часовой? Скучает обезьян (он мужчина) целый день. В три ему дают есть. Он ест с тарелки. Иногда после этого он занимается скучным обезьяньим делом. Обидно и стыдно это. К нему относишься как к человеку, а он бесстыден.

В остальное время лазит обезьян по клетке, косясь на публику. Сомневаюсь, имеем ли мы право держать этого своего дальнего родственника без суда в тюрьме. И где его консул?

Скучает небось обезьян без дела. Люди ему кажутся злыми духами. И целый день скучает этот бедный иностранец во внутреннем Zoo.

Для него не выпускают даже газеты.

P.S. Обезьян умер.

## ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

С благодарностью за цветы, присланные с письмом.

Это третье Алино письмо.

И пишу тебе письмо. Милый татарчонок, спасибо за цветы.

Комната вся надушена и продушена, спать не шла, так было жалко от них уйти.

В этой нелепой комнате с колоннами, оружием, совой я чувствую себя дома.

Мне принадлежит в ней тепло, запах и тишина.

Я унесу их, как отражение в зеркале; уйдешь – и нет их, вернулась, взглянула – они опять тут.

И не веришь, что только тобою они живут в зеркале.

Больше всего мне сейчас хочется, чтобы было лето, чтобы всего, что было, – не было.

Чтобы я была молодая и крепкая.

Тогда бы из смеси крокодила с ребенком остался бы только ребенок, и я была бы счастлива.

Я не роковая женщина, я – Аля, розовая и пухлая.

Вот и все.

Целую, сплю.

Аля

## ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

О трех делах, мне порученных, о вопросе «любишь?», о моем разводящем, о том, как сделан Дон–Кихот; потом письмо переходит в речь о великом русском писателе и кончается мыслью о сроке моей службы.

Ты дала мне два дела:

1) не звонить к тебе, 2) не видеть тебя.

И теперь я занятой человек.

Есть еще третье дело: не думать о тебе. Но его ты мне не поручала.

Ты сама иногда спрашиваешь меня: «любишь?»

Тогда я знаю, что происходит проверка постов. Отвечаю с прилежанием солдата инженерных войск, плохо знающего гарнизонный устав:

«Пост номер третий, номер не знаю наверное, место поста – у телефона и на улицах от Gedächtniskirche до мостов на Jorckstrasse, не дальше. Обязанности: любить, не встречаться, не писать писем. И помнить, как сделан Дон–Кихот».

Дон–Кихот сделан в тюрьме по ошибке. Пародийный герой был использован Сервантесом не только для совершения карикатурных подвигов, но и для произнесения мудрых речей. Сама знаешь, господин разводящий, что нужно куда–нибудь послать свои письма. Дон–Кихот получил мудрость в подарок, больше некому было быть мудрым в романе; от сочетания мудрости и безумия родился тип Дон–Кихота.

Многое я мог бы еще рассказать, но вижу чуть скругленную спину и концы маленького собольего палантина. Ты надеваешь его так, чтобы закрыть горло.

Я не могу уйти, оставить пост.

Разводящий уходит легко и быстро, изредка останавливаясь у магазинов.

Смотрит сквозь стекло на туфли с острыми носками, на длинные дамские перчатки, на черные шелковые рубашки с белой каемкой, как дети смотрят сквозь стекло магазина на большую красивую куклу.

Я так смотрю на Алю.

Солнце встает все выше и выше, как у Сервантеса: «оно растопило бы мозги бедного гидальго, если бы они у него были».

Солнце стоит у меня над головой.

А я не боюсь, я знаю, как сделать Дон–Кихота.

Он крепко сделан.

Смеяться же будет тот, кто всех сильней.

Книга будет смеяться.

И вот, пока я держу свой пост у телефона и трогаю его рукой, как кошка лапой слишком горячее молоко, вставлю в своего Дон–Кихота еще одну мудрую речь. По Берлину ходит большой человек. Я знаком с ним, несколько раз даже обменивался с ним по ошибке кашне.



Когда он говорит, то совершенно неожиданно переходит от спокойного голоса к шаманскому воплю.

Такого шамана раз привезли в Москву, в Исторический музей. Имея за собой вековую шаманскую культуру, шаман не смутился. Взял бубен и шаманил перед профессорами, видел духов и упал в экстазе.

А потом уехал в Сибирь шаманить уже не при профессорах.

В человеке, о котором я говорю, экстаз живет как на квартире, а не на даче. И в углу комнаты лежит, в кожаный чемодан завязанный, вихрь.

Фамилия его Андрей Белый.

В миру – Борис Николаевич Бугаев.

Профессорский сын.

Уэллс всегда описывает жизнь так, что видно, как вещи руководят человеком.

Вещи переродили человека, машина особенно.

Человек сейчас умеет только их заводить, а там они идут дальше сами. Идут, идут и дают человека.

С наукой дело обстоит совсем серьезно.

Необходимость разума и необходимость в природе разошлись.

Был верх и низ, было время, была материя.

Сейчас ничего нет. В мире царит метод.

Человек придумал метод.

М е т о д.

Метод ушел из дому и начал жить сам.

«Пища богов» найдена, но мы ее не едим.

Вещи и самые сложные из всех вещей – науки – ходят по земле.

Как заставить их работать на нас?

И нужно ли?

Будем лучше строить бесполезные и необозримые, но новые вещи.

В искусстве метод тоже ходит отдельно.

Человек, пишущий большую вещь, – как шофер на трехсотсильной машине, которая как будто сама тащит его на стену. Про такие машины говорят шоферы: «Она тебя разнесет».

Много раз смотрел я на Андрея Белого – Бориса Бугаева – и думал, что он почти робкий, предупредительно согласный со всем человек.

Вокруг темного лица седыми кажутся полуседые волосы. Тело, очевидно, крепкое.

Видишь, как рукава заполнены руками.

Глаза прорезаны с угловатостью.

Метод Андрея Белого – очень сильный, непонятный для него самого.

Начал писать Андрей Белый, я думаю, шутя.

Шуткой была и «Симфония».

Слова были поставлены рядом со словами, но не по-обычному художник увидел их. Отпала шутка, возник метод.

Наконец, он нашел даже имя для мотивировки.

Имя это – антропософия.

Антропософия – вещь небольшая и созданная для сведения концов.

При Екатерине строили Исаакиевский собор, а при Павле свели своды кирпичом, не считаясь с пропорциями.

Только чтобы не беспокоиться.

И знать – собор кончен.

Сейчас любителей загибать параллельные линии и сводить концы с концами очень много.

Антропософия – очень неподходящее слово для сегодняшнего дня.

Силовые линии пересекаются сейчас не в нас.

Построение нового мира даже скорее сейчас зрелище для нас, чем наше дело.

В ступенчатых «Записках чудака», в которых разум поэта–прозаика бродит и стремится, но не видит, в неудачном, но очень значительном «Котике Летаеве» Андрей Белый создает несколько плоскостей. Одна крепка, почти реальна, другие ходят по ней и являются как бы ее тенями, причем источников света много, но кажется, что вот те многие плоскости реальны, а

эта крайняя случайна. Реальности души нет ни в той, ни в других, есть метод, способ располагать вещи рядами.

Вот мудрая речь, которой я занимаю себя на посту. Стою, скучаю, как молодой солдат, считаю прохожих. Ласковыми словами уговариваю себя:

– Потерпи, думай о чем-нибудь другом, о других больших и несчастных людях. А в любви нет обиды. И завтра, может быть, опять придет разводящий.

А срок моего караула?

Срока нет – я попал вдоль службы.

## ПИСЬМО ДЕВЯТОЕ

Об одном берлинском наводнении; по существу дела все письмо представляет собою реализацию метафоры: в нем автор пытается быть легким и веселым, но я наверное знаю, что в следующем письме он сорвется.

Какой ветер, Алик! Какой ветер!

В такой ветер в Питере вода прибывает, Алик.

В эти дни бьют в Петропавловской крепости каждые четверть часа куранты, но никто их не слушает.

Считают пушки.

Пушки стреляют. Раз. Раз, два. Раз, два, три...

Одиннадцать раз.

Наводнение.

Теплый ветер, прорываясь к Питеру, несет к нему по Неве воду.

Я рад. А вода все прибывает. А ветер на улице, Алик, мой ветер, весенний наш, питерский!

Вода на прибыли.

Она затопила весь Берлин, и поезд унтергрунда всплыл в туннеле дохлым угрем, вверх брюхом.

Она вымыла из аквариума всех рыб и крокодилов.

Крокодилы плывут, не проснулись, только скулят, что холодно, а вода поднимается по лестнице.

Одиннадцать футов. Она у тебя в комнате. В Алину комнату вода входит тихо: на лестнице воде негде раскататься. Но в комнате воду встречают Алины туфли. Дальше – пьеса.

Туфли. Зачем вы пришли? Алик спит! (Они тебя тоже любят.)

Вода (тихим голосом). Одиннадцать футов, госпожи туфли! Берлин весь всплыл вверх брюхом, одни тысячемарковые бумажки видны на волнах. Мы – реализации метафоры. Скажите Але, что она снова на острове, ее дом опоясан Опоязом.

Туфли. Не шутите! Аля спит. Глупая высокая вода! Аля устала. Але нужны не цветы, а запах цветов. Але от любви нужен только запах любви и нежность. Больше ничем нельзя грузить ее плечи.

Вода. О госпожи мои Алины туфли! Одиннадцать футов. Вода на прибыли. Пушки стреляют. Теплый ветер прорывается сюда и не пускает нас в море. Теплый ветер настоящей любви. Одиннадцать футов. Ветер так силен, что деревья лежат на земле.

Туфли. О вода на чужую мельницу. Нехорошо пользоваться в любви правом сильного!

Вода. Правом сильной любви?

Туфли. Даже правом сильной любви. Да. Не мучь ее силой. Ей не нужна даже жизнь. Она, моя Алик, любит танец за то, что это тень любви. Люби Алю, а не свою любовь.

И вода уходит назад, тяжело таща по полу портфель с корректурами. Когда вода уходит, туфли говорят одна другой:

– Ох уж эти мне литераторы!

Туфли не злые, но их пара, а две женщины, стоя рядом друг с другом так долго, не могут не сплетничать.

Это письмо я написал и переписал. Теперь я буду в честь твою все переписывать.

Так бог зарегистрировал радугу в честь «Всемирного потопа».

## ПИСЬМО ДЕСЯТОЕ

О женщине, выбирающей платье, и о вещах, имеющих руки. Тут записано одно недоразумение с фраками. Но главное содержание письма – это рассказ о том, как раз в шляпе Петра Богатырева завелась керенка, как он умел не плакать в Москве и как заплакал в пражском ресторане.

Итак, я пишу о чужой культуре и чужой женщине.

Женщина, может быть, и не совсем чужая.

Я не жалуясь на тебя, Аля. Только ты – очень женщина.

Ты говоришь: «Когда очень долго хочется какого–нибудь платья, то потом не стоит и покупать – как будто поносила и сносила наизусть».

В магазине же женщина, несомненно, флиртует с вещами, ей все нравится.

Психология это европейская.

Конечно, сама вещь виновата, если она не умеет становиться любимой.

Особенно вещи, имеющие руки.

Но каждый солдат в своем ранце носит свое поражение.

На поле битвы, убитый, он только узнает свою судьбу.

Мы не умеем быть легкими.

Жена Ивана Грекова, знаменитого хирурга, обиделась на меня и Мишу Слонимского за то, что мы пришли к ней на вечер во френчах и валенках. Остальные были во фраках.

Разгадка нашей невежливости была простая: у тех были старые фраки: фрак долго не стареет и может пережить революцию. А мы фраков никогда не носили. Носили сперва гимназические и студенческие пальто, а потом солдатские шинели и френчи, перешитые из этих шинелей. Мы не знали иного быта, кроме быта войны и революции. Она может нас обидеть, но мы из нее уйти не сможем.

Магазинная психология нам чужда, мы привыкли к немногим вещам, лишнее отдаем или продаем. Наши жены носили мешки, и размер ноги у них увеличивался на один номер.

Европа нас разбивает, мы горячимся в ней и принимаем все всерьез. Ты знаешь белокурого Петра Богатырева. Глаза у него голубые, рост маленький, брюки короткие; брюки бывают особенно коротки у коротконогих. Ботинки Богатырева не зашнурованы.

По улицам он то идет медленно на цыпочках, то бегаёт наискось зайцем, – не говорит, а галдит.

Этот эксцентрик родился в семье цехового, в селе Покровском, на Волге. За умение хорошо декламировать попал в гимназию. Кончил. Пошел в университет филологом и здесь занялся теорией анекдотов.

Пишет Богатырев много и потом теряет рукописи.

В голодной Москве Богатырев не знал, что он живет плохо. Жил, писал, халтурил, как и все, но не злобно.

Шел Богатырев вечером по сугробам Москвы из театра домой, устал, снял шапку, вытирает лоб.

И вдруг в шляпе завелась керенка.

Оглянулся, видит – какой–то военспец уходит.

Погнался.

– Товарищ, мне не нужно.

– Да вы не стесняйтесь, возьмите.

Богатырев не взял, но не обиделся.

Никто нас не может обидеть, потому что мы работаем.

Никто нас не может сделать смешными, потому что мы работаем.

Никто нас не может сделать смешными, потому что мы знаем свою цену.

А нашу любовь, любовь людей, никогда не носивших фраков, никто из женщин, не носивших вместе с нами тяжесть нашей жизни, не может понять.

Богатырев читал по институтам, собирая революционный фольклор, дружил с Романом Якобсоном.

Когда Роман уехал в Прагу, онб выписал к себе Богатырева.

Приехал Богатырев, брюки короткие, ботинки не зашнурованы, в чемодане одни рукописи и рваные бумаги, и все спутано так, что нельзя сказать, где исследование и где штаны.

Покупал Богатырев сахар, держал его в карманах и ел, одним словом, пытался удержать русский быт.

Но Роман, со своими узкими ногами, рыжей и голубоглазой головой, любил Европу.

Он похож действительно на твоего брата.

Роман повел Богатырева в ресторан: сидел Петр среди неисцарапанных стен, среди разной еды, вин, женщин. Заплакал.

Он не выдержал. Нас размораживает этот быт.

Нам этого не нужно. Впрочем, для создания параллелизмов годится все.

Петр написал книжку «Чешский кукольный и русский народный театр», потом приехал в Берлин, а я издал эту книжку, потому что ты так занята, что у меня много свободного времени. И еще потому, что я умею работать.

Богатырев же сшил себе три костюма, ходит же в каком-то четвертом, – очевидно национальном, московском.

Сейчас он выдерживает даже «Прагер–Диле».

А заплакал он не из сентиментальности, а так, как плачет стекло в комнате, которую затопили после долгого промежутка.

## ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ

Оно написано, очевидно, в ответ на замечание, – сделанное, вероятно, по телефону, так как в деле не сохранилось никаких письменных следов его, – относительно манеры есть и содержит в себе также отрицание факта необходимости носить брюки со складкой. Все письмо снабжено библейскими параллелями.

Клянусь тебе – брюки не должны иметь складки.

Брюки носят, чтобы не было холодно.

Спроси у Серапионов.

Наклоняться над пищей, может быть, и в самом деле нехорошо.

Ты говоришь о нас, что мы не умеем есть.

Мы слишком низко наклоняемся к тарелкам, а не несем пищу к себе.

Что же, будем удивляться друг на друга.

Многое для меня удивительно в этой стране, где брюки должны иметь спереди складку; те, кто бедней, кладут на ночь брюки свои под матрац.

В русской литературе этот способ известен, он применяется – у Куприна – профессиональными нищими из благородных.

Сердит меня здешний быт!

Так сердился Левин («Анна Каренина»), когда увидел, что в доме варят варенья не по левинскому способу, а по способу семьи Кити.

Когда судья Гедеон собирал партизанский отряд для нападения на филистимлян, то он прежде всего отправил домой всех семейных.

Потом ангел божий велел привести всех оставшихся воинов к реке и взять в бой только тех, кто пьет воду из горсти, а не наклоняется к ней и не лакает, как собака.

Неужели мы плохие воины?

Ведь, кажется, когда здесь рушится все, рушится скоро, это мы уйдем по двое с винтовками за плечами, с патронами в карманах штанов (без складки), уйдем, отстреливаясь из-за заборов от кавалерии, обратно в Россию.

Но над тарелками лучше не наклоняться.

Страшен суд судом Гедеона! Что, если он не возьмет нас в свое войско!

Библия любопытно повторяется.

Однажды разбили евреи филистимлян. Те бежали, бежали по двое, спасаясь, через реку.

Евреи поставили у брода патрули.

Филистимлянина от еврея тогда было отличить трудно: и те и другие, вероятно, были голые.

Патруль спрашивал пробежавших: «Скажи слово шабелес».  
Но филистимляне не умели говорить «ш», они говорили «сабелес».  
Тогда их убивали.  
На Украине видал я раз мальчика—еврея. Он не мог без дрожи смотреть на кукурузу.  
Рассказал мне:  
Когда на Украине убивали, то часто нужно было проверить, еврей ли убиваемый.  
Ему говорили: «Скажи кукуруза».  
Еврей иногда говорил: «кукуружа».  
Его убивали.

## ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ,

написанное между шестью и десятью часами утра.  
Изобилие времени сделало письмо длинным. В нем три части.  
Важно же в нем только упоминание о том, что женщины в берлинском ночном притоне умеют держать вилку.  
Шесть часов утра.  
За окном, на Kaiserallee, еще темно.  
К тебе позвонить можно в половине одиннадцатого.  
Четыре с половиной часа, а потом еще двадцать пустых часов, между ними твой голос.  
Постыла мне моя комната. Не мил мне мой письменный стол, на котором я пишу письма только тебе.  
Сижу влюбленный, как телеграфист.  
Хорошо было бы завести гитару и петь.  
Поговори хоть ты со мной,  
Подруга семиструнная,  
Душа полна такой тоской,  
А ночь такая лунная.  
Нужно писать халтуру. Рекламную фильму для мотоциклеток.  
Мысли о тебе, о мотоциклетке, об автомобиле путаются в моей голове.  
Буду писать письмо. Фильма подождет.  
Я пишу тебе каждую ночь, рву потом и бросаю в корзину. Письма оживают, срстаются, и я их снова пишу.  
Ты получаешь все, что я написал.  
В твоей корзинке для сломанных игрушек первый тот, который подарил тебе, прощаясь, красные цветы. Ты позвонила к нему и поблагодарила; и тот, кто подарил тебе янтарный амулет, и тот, от которого ты радостно приняла из стальной проволоки сплетенную маленькую дамскую сумочку.  
Твоя повадка однообразна: веселая встреча, цветы, любовь мужчины, которая всегда запаздывает, как всасывание свежего газа в цилиндр автомобиля.  
Мужчина начинает любить через день после того, как он сказал «люблю».  
Поэтому не нужно говорить этого слова.  
Любовь все растет, человек загорается, а тебе уже разонравилось.  
В технике автомобиля это зовется опережением выпуска.  
Только я, разорванный как письмо, все вылезаю из корзинки для твоих сломанных игрушек. Я переживу еще десяток твоих увлечений, днем ты разрываешь меня, а ночью я оживаю, как письмо.  
Вот еще нет утра, а я уже на страже.  
Окно на улицу открыто.  
Автомобили тоже проснулись или еще не легли спать.  
Аль, Аль, Эль, – кричат они: им хочется выговорить твое имя.  
Сижу в комнате моей болезни, думаю о тебе, об автомобилях. Так смешней.  
Ты повернула мою жизнь, как червячный винт шестеренку.  
Шестеренка же не может повернуть руля. В технике это называется: необратимая передача. Необратима моя судьба.

Только время, как поют в одесской блатной песне, придуманной Лившицем, принадлежит мне: я могу делить ожидание на часы, на минуты, могу считать их. Жду, жду. Жалко, нет гитары.

Чего бы мне ждать? Буду ждать солнца. Солнце встанет часов в восемь. Осветит Kaiserallee, и улица станет похожа на Каменноостровский проспект.

На Каменноостровском в Петербурге стояла та гимназия, которую я окончил.

Год был какой-нибудь, но, кажется, 1913-й. Мы были абитуриентами гимназии. Мы сильно хотели кончить гимназию и выкатиться на улицу, кувыркаясь как деревянный обруч.

Воздух был наполнен желаниями, они плыли над Каменноостровским, перьями, крыльями. Облака были перистые.

Мы хотели скорее поймать жизнь. Но слов не знали, думали, что женщину можно взять, как вещь за ручки.

Горячими или холодными руками хватались за жизнь.

Хотели узнать любовь под разными номерами. Перерезали на гимназических вечерах провода, а если заболели серьезно, то охотно стрелялись, как будто хотели узнать еще один номер. К этим смертям была привычка. Мы были morituri, что значит долженствующие умереть.

Morituri хотели только попробовать еще один номер.

Нет, лучше сидеть в комнате, не спать в шесть часов утра, в семь пойти на базар за цветами. Лучше всю жизнь прожить под гитару.

Странные в Берлине притоны. Попал я в Nachtlokal.

Комната обыкновенная, на стенах висят фотографии.

Пахнет кухней. Пианино играет заглушенно. Скрипач пикирует на странной скрипке с вырезанными насквозь деками. Публика молчаливо пьяна. Выходит голая женщина в черных чулках и танцует, неумело разводя руками; потом выходит другая, без чулок.

Не знал, кто сидит в комнате кроме нас. Скрипач обходит столики, собирает деньги. Подходит к сидящему в углу мрачно пьяному человеку. Тот говорит ему что-то.

Скрипач берет свою безгрудую скрипку, и в воздухе повисает тоненькая-тоненькая «Боже, царя храни». Давно я не слышал этого гимна.

Женщина станцевала свое, надела готовое, довольно нарядное платье и сидит за соседним столиком, ест что-то.

– Смотри, она умеет держать даже вилку, – сказал мне Богатырев.

Умение есть было у нас модным вопросом.

Пошли домой. В передней подает пальто какая-то женщина. Отдавая номерок, всматриваюсь ей в лицо. Это она сейчас танцевала в чулках. Все устроено очень портативно и, вероятно, на семейных началах. Разврата же, по всей вероятности, нет. Есть люди со словами и без слов. Люди со словами не уходят, и, поверь мне, я счастливо прожил свою жизнь.

Без слов нельзя ничего достать со дна.

Светлеет, мне незачем кончать писать. Время принадлежит мне. Лившиц прав.

На части расплодилось мое бессонное письмо. Свяжем, прежде чем порвать.

В богумильской легенде бог хочет достать песок со дна моря.

Но бог не хочет нырять под воду. Он посылает черта и наказывает ему: «Когда будешь брать, говори – не я беру, а бог берет».

Нырнул черт на самое дно, докрутился до дна, схватился за песок и говорит: «Не бог берет, а я беру».

Самолюбивый черт.

Не дается песок. Выплыл черт синим.

Опять посылает его бог в воду.

Доплыл черт до дна, скребет песок когтями, говорит:

«Не бог берет – я беру».

Не дается песок. Выплыл черт, задыхаясь. В третий раз посылает его бог в воду.

В сказке все делается до трех раз.

Видит черт – податься ему некуда.

Не захотел он портить сюжета. Заплакал, может быть, и нырнул. Доплыл до дна и сказал:

«Не я беру, – бог берет». Взял песок и выплыл. А бог из песка, взятого со дна чертом по божьему повелению, создал человека.

Расхотелось дальше писать. Не нужны мне письма. Не нужна мне гитара. И мне все равно, похожа или не похожа моя любовь на необратимую передачу.

Мне все равно. Я знаю: ты не положишь даже моего письма в коробку на правой стороне твоего стола.

### ПИСЬМО ТРИНАДЦАТОЕ

Оно написано в Россию; из него ясно, что автор страдает навязчивой идеей. В письме говорится о том, как трудно даже после открытия Эйнштейна жить, не занимая ни времени, ни пространства. Кончается письмо выражением негодования на неправильность употребления местоимения «мы» в Берлине.

Дорогие друзья, почему вы так мало пишете мне?

Неужели вынули вы меня из своего сердца?

Спасите меня от людей–теней, от людей, выпряженных из оглобель, от ржавчины, от всей жизни, которая говорит мне одно:

«Живи, но не занимай у меня ни времени, ни места».

И еще говорит:

«Вот тебе день и вот тебе ночь, а ты живи в промежутках. Только утром и вечером не приходи».

Друзья мои, братья! До чего неправильно, что я здесь!

Идите все на улицу, на Невский, просите, требуйте, чтобы мне разрешили вернуться.

Во избежание неприятностей, можно ехать по Невскому в трамвае.

А сами держитесь за землю, друзья.

Я связан с Берлином, но если бы мне сказали: «Можешь вернуться», – я, клянусь Оползлом, пошел бы домой, не обернувшись, не взявши рукописей. Не позвонив по телефону.

Мне запретили звонить.

Что вы пишете сейчас?

Починен ли провал мостовой на Морской, против Дома искусства?

Лучше мертвым лечь в эту яму, чтобы исправить дорогу для русских грузовых автомобилей, чем жить бесполезно.

А автомобилей в Петербурге много?

Как издаетесь вы?

Мы издаем довольно много.

Только здесь «мы» – смешное слово.

Одна женщина звонила мне по телефону. Я был болен.

Поговорили. Сказал, что сижу дома.

А она мне говорит, уже вешая трубку:

«Мы сегодня идем в театр».

Так как я только что с ней говорил, то не понял:

«Кто же мы? Я болен».

До чего неверно! Мы – это я и еще кто–нибудь.

В России «мы» крепче.

### ПИСЬМО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Об Иване Пуни и жене его, Ксане Богуславской. О том, как любит художник и как нужно любить художника, о друзьях Пуни и о том, как рождаются книги и картины. Содержание письма дидактическое.

Трудно даже в письмах, даже через черную бумажную полумаску, одетую мной на тебя, трудно даже во сне видеть мне твое лицо.

Женщина без мастерства, чем ты занимаешь свое время? Ну разве хорошо, Аля, отнимать хлеб у людей и отдавать собакам?

Ведь они собаки, халтурщики и собаки.

Берлин опоясан для меня твоим именем.

Не доходят вести из мира.

А Ксана Богуславская–Пуни больна дифтеритной ангиной. Бедная девочка, бедная художница и жена художника! Я внимательно смотрел на нее и ее мужа до встречи с тобой.

Ваню Пуни знаю уже десять лет, с «Трамвая В» – это название выставки.

Он никогда не видит ничего кругом, хотя не влюблен, он, кажется, никого не любит и умеет не тянуться к людям, а рассеянно принимать их.

У него одна печальная любовь – к картинам. Как я не сумел радостно любить тебя, так Пуни нерадостно любит на всю жизнь искусство.

Ты никогда не будешь права передо мной, потому что не имеешь ни мастерства, ни любви, и если есть нравственность, то она не может охранять того, кто сам так силен.

Зачем быть правым человеку, который каждый миг может сказать мне: «Я не просила тебя любить меня» и отложить меня в сторону?

Не удивляйся, что я кричу, когда ты не делаешь мне больно.

Через тебя я узнал принцип относительности. Представь себе Гулливера у великанов: держит его великанша в руке, – чуть–чуть, почти не держит, а просто забыла выпустить, а вот сейчас выпустит, и кричит в ужасе бедный Гулливер, звонит по телефону – не бросай меня!

Иван Пуни влюблен в свои картины; печально он смотрит на судьбы искусства, для него все не просто, и он не уверен в любви завтрашнего дня.

Раз ночью пришел я к нему с Романом Якобсоном, Карлом Эйнштейном, Богатыревым, еще с кем–то.

Час или два было, не помню; Пуни еще работал в своей мастерской. На полу, на стульях, на кровати лежали тюбики красок.

Он принял нас без радости, без изумления, как будто мы – пассажиры, а его комната – вагон.

Мы говорили друг с другом о многом, все о горьком.

Ели картошку, которую брали из угля. Пуни дал сало, сварил картошку, но не заметил нас. Он смотрел печально и внимательно на картину.

А раз я видел его хохочущим перед своей картиной; он может смеяться над конструкцией, как над остроотой.

Ксана Богуславская – жена художника и художница.

Она неплохой, хотя и сладкий, художник сама, скорее даже хороший, потому что сладость ее сознательна, – это прием, а не слезы.

И самое прекрасное в ней то, что она влюблена в картины своего мужа. Ревнует один вариант к другому, волнуется из–за того, что будет дальше.

А чтобы жить, художнику нужно халтурить. От халтуры же болят физически плечи. На стоящих же картин нельзя продать, или, вернее, прежде чем их признают, нужно долго–долго терпеть. Мы часто шутили называли дом Пуни «святое семейство», а иногда – «торговый дом с ограниченной ответственностью». А семейство между тем действительно святое: если все перевести с берлинского языка на древний, то получается бегство в Египет, причем Ксана будет Иосифом, Пуни – матерью, а картина – младенцем.

Трудно жить всякому, любящему женщину или свое ремесло.

К Пуни ходят друзья: белокурый немец Фриг с красивой женой, латыш Карл Залит, шумный, как африканский христианин IV века, Арнольд Дзеркал, молчаливый, похожий на шведа, огромный, хорошо одетый, сильный и непонятный для меня. Бывает еще там Руди Беллинг, французского типа немец, скульптор, по сложению похожий на кузнечика; это по его моделям сделаны экспрессионистические манекены в окнах Берлина.

Все эти люди, когда смотрят картины, спокойны и тихи. А Ксана глядит на холсты влюбленными глазами. Пуни много работал все время.

Картины едят его. Работать так трудно!

А вещи рождаются, как дети.

Их зачинают весело, весело и не постыдно, носят трудно, рожают больно, а живут они потом горько.



## ПИСЬМО ПЯТНАДЦАТОЕ

Алино же четвертое, о том, что она ничего не хочет.

Милый, сижу на твоём нелюбимом диване и чувствую, что очень хорошо, когда тепло, удобно и ничего не болит.

У всех вещей сдержанно–молчаливый вид хорошо воспитанных людей.

Цветы же прямо говорят: мы знаем, но не скажем, – а что они знают – неизвестно!

Куча книг, которые я могу читать и не читаю, телефон, в который я могу говорить и не говорю, рояль, на котором я могу играть и не играю, люди, с которыми я могу встречаться и не встречаюсь, и ты, которого я должна была бы любить и не люблю.

А без книг, без цветов, без рояля, без тебя, родной и милый, как бы я плакала.

Свернулась я сейчас калачиком и, как истая женщина Востока, созерцаю:

Слежу за глупым повторяющимся узором печки, нелепо подражаю чайнику – одну руку в бок, другую выгибаю, как носик, – и радуюсь, что так похоже, щурю глаза на отчего–то дрожащий куст белой азалии.

Ни о чем не мечтаю, не думаю.

Милый, я тебя не обижаю, пожалуйста, не думай, что я тебя обижаю. Я чувствую, что начинаю казаться тебе самоуверенной; нет, я знаю, что я никуда не гожусь, не стоит на этом настаивать.

Покупки лежат нераспакованные на столе. Еще очень недавно я пришла бы домой и разделась бы, чтобы померить новую ночную рубашку, а сейчас она лежит завернутой в бумагу.

Аля

## ПИСЬМО ШЕСТНАДЦАТОЕ

В нём развивается замечание Али о трансатлантических пароходах, говорится о танцах на палубе, автомобилях, Борисе Пастернаке, московском Доме печати и о нашей судьбе.

Ты мне хорошо рассказывала про трансатлантический пароход. Ведь я для твоих слов – копилка. Ты рассказывала, что на таком пароходе все время чувствуешь, как он тянет. Не движение само, а именно тягу, ход и потенцию хода. Для автомобилиста это понятно. Автомобили тянут все по–разному. Хорошая машина очень приятно упирает в твою спину, как бы ладонью, толкает тебя. Главная прелесть хорошей машины – характер ее тяги, характер нарастания силы. Ощущение, похожее на нарастание голоса. Очень приятно нарастает голос–тяга «фиата». Нажимаешь педаль газа, а машина в восторге несет тебя. Бывают машины, берущие сильно, но жестко, особенно помню одну такую: шестидесятисильный «митчель». Все ощущения на автомобиле другие: чувствуешь тягу и покой или тягу и тоску. Но все на основе ощущения упирающегося в тебя движения.

Трансатлантический пароход я не видел. Но люблю его и понимаю. Должно быть, очень хорошо танцевать на полу, который идет, целоваться и думать, когда мысли немножко отстают от движения, как сердце при опускании лифта.

Это похоже на мысли под музыку, но лучше. Похоже на разговор Долохова («Война и мир») под пение «Ах, вы сени, мои сени!» – когда он не смог посориться с товарищем.

Рождается новый мир, новые ощущения, еще не все их замечают. Нашу землю тянет куда–то на буксире. Твоя сестра сидела как–то и Доме печати в Москве. Было, вероятно, холодно, много газетного народа. Она же сидела с Пастернаком, Борисом. Он говорил как обыкновенно, слова бросал кучной толпой то в одну, то в другую сторону, и самое главное не было сказано. Самое главное слово.

А сам Пастернак был таким хорошим, что я его сейчас опишу. У него голова в форме яйцеобразного камня, плотная, крепкая, грудь широкая, глаза карие. Марина Цветаева говорит, что Пастернак похож одновременно на араба и на его лошадь. Пастернак всегда куда–то рвется, но не истерически, а тянет, как сильная и горячая лошадь. Он ходит, а ему хочется нестись, далеко вперед выбрасывая ноги. Пастернак сказал твоей сестре после многих непонятных слов:

– Вы знаете, мы как на пароходе.

Этот человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки Дома печати, тягу истории. Он чувствует движение, его стихи прекрасны своей тягой, строчки их рвутся и не могут улечься, как стальные прутья, набегают друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Хорошие стихи.

В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере ее понимает, жил и раньше в Германии, с ним сейчас молодая, хорошая жена, – он же очень тревожен. Не из попытки закруглить письмо скажу, мне кажется, что он чувствует среди нас отсутствие тяги. Мы беженцы, – нет, мы не беженцы, мы выбеженцы, а сейчас сидельцы.

Пока что.

Никуда не едет русский Берлин. У него нет судьбы.

Никакой тяги.

Как отчетливо я это чувствую. Может быть, тебя привлекают чужие люди, англичане, американцы, может быть, тебе скучно с нами, потому что ты тоже чувствуешь это. У тех людей есть механическая тяга, тяга трансатлантического парохода, на палубе которого хорошо танцевать джимми. Мы теряем своих женщин. Нужно уже думать о себе. Мы, мужчины, двигатели внутреннего сгорания, наше дело бурлачить. Для палубы у нас нет бальных башмаков.

## ПИСЬМО СЕМНАДЦАТОЕ

О неизбежности и предсказанности развязки. В ожидании ее корреспондент пишет сперва о Гамбурге, потом о сереньком, в полоску, Дрездене и, наконец, о городе готовых домов – Берлине; дальше речь идет о кольце, через которое продеты все мысли автора, о ночном пути его под двенадцатью железными мостами и о встрече. И еще о том, что слова бесполезны.

Совершенно спутался, Аля! Видишь ли, в чем дело: я одновременно с письмами к тебе пишу книгу. И то, что в книге, и то, что в жизни, спуталось совершенно. Помнишь, я писал тебе про Андрея Белого и про метод? В любви есть свои методы, своя логика ходов, без меня и без нас установленная. Я произнес слово любви и пустил дело в ход. Началась игра. Где любовь, где книга, я уже не знаю. Игра развивается. На третьем или четвертом печатном листе я получу свои шах и мат. Начало уже сыграно. Никто не может изменить развязки.

Трагические концы, минимум – разбитое сердце, предсказаны романом в письмах.

А пока расскажу только для себя о месте, где происходит действие.

Берлин трудно описать.

Если описывать Гамбург, то можно сказать что-то о чайках над каналами, о магазинах, о домах, наклонившихся над каналами, о всем, что принято рисовать.

Когда въезжаешь в свободный порт города Гамбурга, то раздвигаются шлюзы как занавес. Театральный эффект. Громадное водяное поле, кланяющиеся подъемные краны, черные черпаки, набирающие из пароходов в рот уголь. Челюсти у них откидываются сразу в обе стороны, как у крокодилов. Высокие, вышиной в выстрел из нагана, решетчатые подъемники порталного типа. Плавучие элеваторы, которые могут высосать за день до 35 000 пудов зерна. Подплыть к такому сосуну и сказать: «Дорогой товарищ, высоси из меня, пожалуйста, 35 000 любовных чертей, которые завелись в душе».

Или попросить самый большой кран, чтобы он поднял меня за шиворот и показал запруженную шлюзами Эльбу, много железа, пароходы, перед которыми автомобили – только блохи. И чтобы сказал мне паровой кран: «Смотри, сентиментальный щенок, на железо, поднятое дыбом. Не хорошо ныть и плакать, а если не можешь жить, то всунь свою голову в железный угольный черпак, чтобы ее откусило».

Правильно!

Гамбург описать можно.

Если описывать Дрезден, то, конечно, работы будет больше. Но есть выход, к которому в новой русской литературе часто прибегают.

Возьмем какую-нибудь деталь Дрездена, – например, то, что автомобили в нем чистенькие и обиты внутри серой материей в полоску.

Дальше все так просто, как для подъемного крана поднять одну тонну.

Нужно уверять, что Дрезден весь серенький в полоску, и Эльба – полоска на сереньком, и дома серенькие, и Сикстинская Мадонна серенькая в полоску. Вряд ли это будет правильно, но зато убедительно и очень хорошего тона.

Серенького в полоску.

Но трудно описать Берлин. Его не ухватишь.

Русские живут, как известно, в Берлине вокруг Zoo.

Известность этого факта нерадостна.

Во время войны говорили: «Как известно, немцы весной обыкновенно наступают». Как будто немцы наступают, как весна.

Русские ходят в Берлине вокруг Старой кирки, как мухи летают вокруг люстры. И как на люстре висит бумажный шарик для мух, так на этой кирке прикреплен над крестом странный колючий орех.

Улицы, видные с высоты этого ореха, широкие. Дома одинаковые, как чемоданы. По улицам ходят дамы в котиковых пальто и в тяжелых кожаных ботах, а среди них ты в мышинном пальто, отделанном котиком.

По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так как везде город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов. Памятники – как сервизы. Мы никуда не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов.

Зимы нет. Снег то выпадает, то тает.

В сырости и в поражении ржавеет железная Германия, и ржавчиной срастаемся, ржавея вместе с ней, нежелезные мы.

На Kleiststrasse, против дома, где живет Иван Пуни, стоит дом, где живет Елена Феррари.

У нее лицо фарфоровое, а ресницы большие и оттягивают веки.

Она может ими хлопать, как дверцами несгораемых шкафов.

Между этими двумя знаменитыми домами вылетает унтергрудн из-под земли и с воем лезет па помост.

Поезд бежит из вокзала на Wittenbergplatz, взвывая как тяжелый снаряд на подъеме.

Дальше поезд проскакивает за красной киркой, а кирки так похожи в Берлине друг на друга, что мы их различаем только по улицам, на которых они стоят.

Проскакивает поезд за красной киркой через пролом дома, как через триумфальную арку.

Дальше идет форум всех берлинских поездов, Gleisdreieck. Для русских, живущих среди немцев, как среди берегов, Gleisdreieck – пересадка.

Отсюда поезд бежит на Leipzigerplatz и на другие площади, где нищие продают спички и спокойно лежат покрытые попонками собаки – поводьры слепых.

Всхлипывают шарманки, они не играют ни «Ach, mein lieber Augustin», ни «Deutschland, Deutschland über alles», они просто стонут. Это механический стон Берлина.

Если не поехать на площади, а выйти из пустых ворот Gleisdreieck, то не увидишь ни немцев, ни профессоров, ни шиберов.

Кругом, по крышам длинных желтых зданий, идут пути, пути идут по земле, по высоким железным помостам, пересекают железные помосты, проходя по другим помостам, еще более высоким.

Тысячи огней, фонарей, стрелок, железные шары на трех ногах, семафоры, кругом семафоры.

Тоска, эмигрантская любовь и трамвай № 164 завели меня сюда, я долго ходил по мостикам над путями, которые переkreщиваются здесь, как переkreщиваются нити шали, проводимой через кольцо.

Это кольцо – Берлин.

Это кольцо для моих мыслей – твое имя.

Я возвращался часто ночью от тебя и проходил под двенадцатью железными мостами.

Идешь, поешь. Думаешь, почему к железному сердцу Германии – Gleisdreieck – и к железным воротам Гамбурга жизнь дает только готовые вещи – дома, как чемоданы, трамваи, на которых некуда ехать. Иду, возвращаясь.

Иду дорогой под двенадцатью железными мостами.

Идти далеко. На углу Postdamerstrasse каждую ночь вижу все одну и ту же проститутку в красной шляпе.

Она напевает что-то, увидя меня, потом говорит на непонятном мне языке.

Иду мимо, мне далеко.

Что делать, товарищ в красной шляпе!

На свете много разных зверей, и все они по-своему славят и хулят бога.

Ты ныряешь на дно морское без слов и выносишь со дна моря один песок, текучий, как грязь.

А я имею много слов, имею силу, но та, которой я говорю все слова, – иностранка.

## ПИСЬМО ВОСЕМНАДЦАТОЕ

О японце Тарацуки, и его любви к Маше. О горестном сходстве людей всех цветов. О Фузияме. В конце письма – упрек.

Я очень сентиментален, Аля. Это потому, что я живу всерьез. Может быть, весь мир сентиментален. Тот мир, адрес которого я знаю. Он не танцует фокстрота.

Был у меня в России в 1913 году ученик, японец. Фамилия его была Тарацуки.

Служил он секретарей в японском посольстве.

А в квартире, где он жил, была горничная Маша из города Сольцы. В Машу влюбились – дворники, жильцы, почтальон, солдаты.

А ей ничего не было надо. У нее уже была в Сольцах дочка шести лет, которая звала маму дурой.

В комнате Тарацуки было тепло. Я часто сидел рядом с ним и читал ему Толстого.

Всегда читал слишком быстро.

Лицо Тарацуки и мое лицо отражались в зеркале, висящем на стене.

У меня лицо все время меняется, его лицо было неподвижно, как будто оно было покрыто не кожей, а скорлупой.

Мне казалось, что из нас двоих – человек, вероятно, только один.

Его мир был для меня без адреса.

Тарацуки влюбился в Машу. Она смеялась, взвизгивала, когда рассказывала об этом.

Он провожал ее, когда она гуляла с белой собачкой. Тарацуки любил ее 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 год.

Пять лет.

Раз он пришел к Маше и сказал ей:

– Послушай, Маша. У меня есть бабушка, она живет на большой горе Фузияме, в саду. Она очень знатная и любит меня, и еще бегаёт в том саду любимая белая обезьяна.

(Не удивляйтесь стилю Тарацуки – это ведь я учил его русскому языку.)

– Недавно белая обезьяна убежала от бабушки.

Бабушка писала мне об этом.

А я ответил, что люблю девушку по имени Маша и прошу разрешения на брак. Я хотел, чтобы ты была принята в семье.

Бабушка ответила, что обезьяна уже вернулась, что, она очень рада и согласна на брак.

Но Маше было очень смешно, что у Тарацуки есть желтая бабушка на Фузияме.

Она смеялась и ничего не хотела.

Потом наступила революция.

Тарацуки разыскал Машу, которая была без места, и стал снова просить ее:

– Маша, здесь ничего не понимают. Это не пройдет так, здесь будет много крови.

Едем ко мне в Японию.

Революция продолжалась.

Тарацуки позвал Машу в посольство. Вещи в посольстве упаковывались. Маша пошла.

Там их принял посол и торопливо сказал:

– Барышня, вы не понимаете, что делаете, – ваш жених богатый и знатный человек, его бабушка согласна.

Подумайте, не упускайте счастья.

Маша не ответила ничего.

А когда они вышли на улицу, то она ответила своему японцу: «Я никуда не поеду» – и поцеловала его в стриженую голову.

Тарацуки явился к ней еще раз. Он был очень грустен. Он говорил:

– Милая Маша. Если ты не едешь, то подари мне маленькую белую собачку, с которой гуляешь.

Так как был голод и собаку уже нечем было кормить, то Маша ее подарила.

Последнее письмо Тарацуки было из Владивостока. Вот что было в письме:

«Я привез сюда твою собаку и скоро поеду с ней дальше, у вас будет очень тяжело для тебя, я жду ответа, напиши, и я приеду за тобой».

Но едва успело дойти письмо, как железная дорога порвалась в сотнях мест.

А Маша все равно не ответила бы. Она осталась.

Ее по–прежнему любили все. Революции она не боялась, потому что у нее не было знатной желтой бабушки.

Она работает сейчас на заводе «Военно–санитарных заготовлений», – кажется, так.

Когда она вспоминает японца, то жалеет его.

Ее все любят. Она настоящая женщина, она как трава, у нее как будто нет имени, нет самолюбия, она живет не замечая себя.

Мне тоже жаль японца.

И я думаю о том, что я напрасно смотрел в зеркало и неправильно замечал, что я и японец – разные.

Он очень похож на меня, этот японец.

Не думаю, что это будет способствовать укреплению военного могущества его страны.

А ты – не Маша.

На твоём небе вместо звезд – твой адрес. Впрочем, все это не так хорошо, как жалобно.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПИСЬМУ ДЕВЯТНАДЦАТОМУ

Алиному, об аспиристине, селедке с картошкой, телефоне, любовной инерции, англичанине–танцоре и о кормилице Стеше. В предисловии подробно объяснено, почему само Алино письмо не нужно читать.

Письмо Алино лучшее во всей книге. Но не читайте его сейчас. Пропустите и прочтите, уже окончив книгу. Я объясню вам сейчас, почему это нужно сделать.

Я сам не прочел его в свое время. Поцеловал, пробежал отдельные кусочки, но оно было написано карандашом, и я не прочел.

Сейчас объясню почему. Я – глухарь. То есть я клепал в жизни котлы, придерживая клещами изнутри заклепки. В ушах гром. Вижу, как шевелятся у людей губы, но ничего не слышу. Меня оглушило жизнью – глухие же люди очень замкнуты.

Прочел Алино письмо только недавно, 10 марта, уже дописав книгу. Читал четыре часа. Письмо прежде всего очень хорошо написано. Честное слово, я его не писал. В нем настоящая правда про любовную инерцию и еще одна ненаписанная правда об инерции несчастья.

Мне за границей нужно было сломиться, и я нашел себе ломающую любовь. И уже не глядел на женщину и сразу пришел к ней с тем, что она меня не любит. Я не говорю, что иначе она меня бы полюбила. Но все было predetermined. Это письмо нарушает схему о двух культурах потому, что женщина, написавшая так про Стешу, – своя.

Итак, дорогие друзья, не читайте этого письма, Я нарочно поэтому перечеркиваю его красным. Чтобы вы не ошиблись.

Как композиционно понять это письмо? Ведь оно все же вставлено?

Но скажите, на какого черта вам нужна композиция? А если нужна – извольте! Для иронии произведения необходима двойная разгадка действия, обычно она дается понижающим способом, в «Евгении Онегине», например, фразой: «Уж не пародия ли он?»

Я даю в своей книге вторую повышающую разгадку женщины, к которой писал, и вторую разгадку себя самого.

Я – глухой.

Если вы поверите в мое композиционное разъяснение, то вам придется поверить и в то, что я сам написал Алино письмо к себе.

Я не советую верить... Оно Алино.

Впрочем, вы вообще ничего не поймете, так как все выброшено в корректуру.

#### ПИСЬМО ДЕВЯТНАДЦАТОЕ,

Которое не надо читать. Оно написано Алей, когда она заболела, бумага для письма попалась линованная, а письмо самое лучшее во всей книге, но его не надо читать, поэтому оно перечеркнуто.

О чем можно писать на этой ученической бумаге?

Только не считай ошибок и не ставь баллов. Сжевала три аспирина, выпила удивительно количество разных горячих вещей, гуляла по квартире босиком в шубе, разговаривала с кем-то по телефону, ела селедку с картошкой, долго ничего не делала, а теперь пишу тебе.

К этой женщине, когда она тебе позвонила, ты прибежал рысцой. Кокет или гадость, или то и другое вместе!

Если бы ты был женщиной, то мой так называемый Вертхейм оказался бы мелочной лавочкой рядом с твоим предприятием. Но твоя любовная инерция меня немного пугает. Прямо жутко. Ты кричишь, раздражаешься на собственный голос и еще пуще кричишь. А ну как ты по инерции объяснишься в любви чему-нибудь совершенно неподходящему? Не злись только. Сшей себе новый костюм, и чтобы было шесть рубашек – три в стирке, три у тебя, галстук я тебе подарю, чисти сапоги. А со мной говори о книгах, я буду стоять на задних лапках совсем вертикально и слушаться.

Теперь буду спать. Неужели я заболею и завтра не смогу танцевать?

Такой хороший англичанин и танцор (два равноценных достоинства). Неужели заболею?

Такой холод. Мне нужны ботики или автомобиль.

Заложить душу дьяволу? Может быть, и не худо в закладе.

Вчера целый день думала о моей кормилице Стеше.

Я вот думаю и уезжаю в обратную сторону на трамвае, – потом плачу.

Я больше похожа на Стешу, чем на маму. Стеша белая и розовая, полная, хохотунья, совершенно незлобивая и любит мужской пол. Оттого не раз была кормилицей.

Каждый раз, как в Воспитательный идти, приходила к папе – денег нет.

Папа ее ругает, что она с того негодяя не взяла.

– Бог с ним, барин!

Меня она любит, как дочь родную. Двухмесячную кормила меня щами и как-то отравила, сама наевшись косточек от вишневого варенья, которое варили на даче. Когда я подросла, приходила ко мне с гостинцами, стояла и говорила «вы»; когда народ уходил, садилась со мной чай пить и говорила «ты». Когда я совсем большая выросла, стала я понимать ее веселый нрав. «У моей барыни подруга живет, не пойму я – ровно как монашки!» А сама хохочет и такая вся теплая, Стешей от нее пахнет, как в ее деревянном сундуке, когда она крышку поднимает: ситцем и яблоками. Носверху, глазки хитрые.

Кухарка считала, что ко мне ходит слишком много молодых людей, и думала, что за прикрытой дверью происходят безобразия. «Что ты, – говорит, – Стеша, ты вот, говорят, незаконного ребенка прижила, а разве они себя до этого доводят!»

Как-то служила она в очень богатом доме. В доме случилась кража.

Как всегда, Стеша к папе в слезах, что ее в участок волокут.

Папа ее спрашивает:

– А ты где была, когда кража случилась?

– В Ново-Девичьем монастыре, у монашки в гостях.

– Вот ты и скажи, тебя и отпустят.

– Что вы, барин, монашку в такое дело путать!

Так и не сказала ни за что, сидела в тюрьме сколько-то, потом воры нашлись, и ее выпустили.

Зато, когда после революции мама ее уговаривала идти голосовать, она сказала, что после этой истории с серебряными ложками ее в участок калачом не заманишь.

На мою свадьбу ей давно—давно было обещано шелковое платье.  
Так она его и не получила...  
Даже сон прошел, так я ее люблю, Стешу.  
Целую, милый, только бы не разболеться.  
Аля  
За что я на тебя со Стешей обрушилась?

#### ПИСЬМО КОРОТКОЕ ДВАДЦАТОЕ

Пускай ты другим пишешь синие письма, я люблю тебя, Аля!

#### ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Алино пятое. В этом письме пишется об острове Таити, на котором совсем нехорошо. На острове парходики пахнут газOLIном, и это опять нехорошо. Этот остров слишком далекий, чтобы его любить. Он остается далеким, даже когда живешь на нем. В письме рассказывается еще о лошади по имени Танюша и ее отплытии на остров Мореа. От Таити до этого острова полтора часа езды.

Милый!

О Таити я вспоминать люблю, но рассказываю неохотно. Мама всегда говорила, что я неинтеллигентно отношусь к событиям и окружающему миру: я не знаю, сколько на Таити жителей, белых и черных, сколько километров в окружности, какой высоты горы. Меня просто тянет обратно к милому острову, фантастическому морю. Вода синяя, как цветные чернила, коралловый риф опоясывает остров; со знакомым шумом разбиваются о рифы волны, и пена образует гигантский белый невянувший венок; белый цветочек – тиарэ – за ухом темного улыбающегося лица и ваниль без усталости пахнут; крабы бочком шныряют по берегу; солнце садится за Мореа. Это я знаю, вижу, ощущаю.

Впрочем, речь не о том; я хотела рассказать тебе о Танюше. Андрей подарил мне маленькую лошадку. Назло экватору, температуре и кокосовым орехам, я назвала ее Танюшей. Очень была довольна, когда старый черный Тапу звал ее «Танюса». Ходила я за ней сама, чистила, кормила и поила. Она тоже ко мне хорошо относилась. Приходила к террасе за бананами и легонько ржала. Когда Танюша отъелась и стала блестящая и красивая, характер ее круто изменился: не желала, чтобы на нее садились, а как сядешь, начинает вертеться и так и сяк, пятится, все равно, что бы за ней ни было – вода, колючий забор, люди. А потом и совсем убежала в глубь острова – ищи ее! Андрея как раз не было, он часто уезжал осматривать другие острова. А у моей спальни было пять дверей и окно! Все настезь! Ночи на Таити такие беззвучные, насыщенные, такие яркие, что сами черные ни за что ночью от дома не отойдут. Я боялась до одурения, до слез. Наконец догадались перед дверью положить Тапу. Как раз после побега Танюши я всю ночь проплакала. Я часто плакала в те времена. Тапу услышал и думал, что я боюсь – муж приедет и будет бить меня за то, что лошадь пропала. Наутро говорит: «Ты не плачь, я Танюсу найду, и твой тане (муж) ничего не узнает». Разослал во все стороны веселых черных мальчишек, и Танюшу водворили на место.

Когда приехал Андрей и узнал про побег, то сейчас же и продал ее. Он относился к лошадям как к людям и нашел, что она выказала такую черную неблагодарность, которую потерпеть нельзя. Танюшу погрузили на парходик и увезли к англичанину на Мореа. Как ее, верно, качало, бедную!

Ты пишешь обо мне – для себя, я пишу о себе – для тебя.

Аля

#### ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ,

неожиданное и, по-моему, совершенно лишнее. Содержание этого письма, очевидно, убежало из другой книги того же автора, но, может быть, это письмо показалось необходимым составителю книги для разнообразия. Письмо это разошлось с письмом о Таити.

Пришлось мне быть недавно в театре «Scala». Это на Lutherstrasse. Номера были разные: акробат кувыркался на шесте, поставленном на плече другого акробата, две гимнастки так быстро вертелись на трапециях, что снизу казалось, что они обратились в зеленые вазы, тени же от них, падающие на занавес, все время оставались человеческими. Такую большую программу не уложить в одну фразу. Был там еще отвратительного вида человек, который сперва делал партерную гимнастику, взяв в зубы двухпудовую гирию, а потом зубами поднимал с полу, схватив за спинку, три или четыре тяжелых, связанных вместе стула. Мне, человеку с зубами очень плохими, это не понравилось.

Веселей всего смотрелись велосипедисты: они кружились по сцене, поставив дыбом свои велосипеды, на одном заднем колесе и в конце концов уехали за кулисы, сев на какие-то круги, уехали не торопясь, да еще трубили все в трубы.

Тому Соьеру это бы очень понравилось.

Балалаечники потом играли.

Танцевали русские актеры.

Художник-моменталист рисовал разные карикатуры.

Нарисовал спекулянта, а потом пририсовал к нему решетку.

Меня поразила в этом *variété* полная несвязанность его программы.

Есть два отношения к искусству.

Первое характерно тем, что произведение рассматривается как окно в мир.

Словами, образами хотят выразить то, что лежит за словами и образами. Художники такого типа заслуживают имени переводчиков.

Другой вид отношения к искусству – это рассматривать его как мир самостоятельно существующих вещей.

Слова, отношения слов, мысли, ирония мыслей, их несовпадение и являются содержанием искусства. Если искусство можно сравнить с окном, то только с нарисованным.

Сложные произведения искусства обычно являются результатом комбинаций и взаимодействий прежде существовавших, более простых и, в частности, меньших по размеру произведений.

Роман состоит из кусков – новелл.

Пьеса состоит из слов, острот, движений, комбинаций движений и слов, из сценических положений. Для Шекспира удачная острота актера – самоцель, а не средство обрисовать тип.

Личность героя в первоначальном романе – способ соединения частей. В процессе изменения произведений искусства интерес переносится на соединительные части.

Психологическая мотивировка, правдоподобность смены положений начинают интересовать больше, чем удачность связанных моментов. Появляются психологический роман и драма и психологическое восприятие старых драм и романов.

Это объясняется, вероятно, тем, что «моменты» к этому времени изношены.

Следующая стадия в искусстве – это изнашивание психологической мотивировки.

Приходится изменять, «остранять» ее.

Любопытен в этом отношении роман Стендаля «Красное и черное», в котором герой действует насилуя себя, как бы назло самому себе; у него психологическая мотивировка действия противопоставлена действию.

Герой действует по романтически-авантюрной схеме, а мыслит по-своему.

У Льва Толстого психология подбирается героями к поступкам.

Достоевский противопоставляет психологию действующих лиц их моральной и социальной значимости.

Роман развивается в темпе уголовно-полицейском, а психология дана в масштабе философском.

Наконец все противопоставления исчерпываются.

Тогда остается одно – перейти на «моменты», разорвать соединения, ставшие рубцовой тканью.

Самое живое в современном искусстве – это сборник статей и театр *variété*, исходящий из интересности отдельных моментов, а не из момента соединения. Нечто подобное замечалось во вставных номерах водевиля.

Но в театрах такого рода виден уже новый момент, момент соединения частей.



В одном чешском театре, такого же дивертисментного типа, как «Scala», мне пришлось видеть еще один прием, кажется применяемый уже давно в цирках. Экцентрик в конце программы показывает все номера, пародируя и разоблачая их. Например, фокусы он демонстрирует, стоя спиной к публике, которая видит, куда пропадает исчезнувшая карта.

Немецкие театры находятся в этом отношении на очень низкой ступени развития.

Более интересный случай представляет из себя книга, которую я сейчас пишу. Зовут ее «Zoo», «Письма не о любви» или «Третья Элоиза»; в ней отдельные моменты соединены тем, что все связано с историей любви человека к одной женщине. Эта книга – попытка уйти из рамок обыкновенного романа.

Пишу я книгу для тебя, и писать мне ее физически больно.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Ответ на письмо о Таити. Начинается воспоминаниями. Вспоминается январь, письмо же написано в середине февраля. Но воспоминания кажутся уже недостоверными. Век пара, электричества и джимми ускорил темп жизни. Письмо кончается попыткой написать посвящение, последние абзацы письма даны как опыт патетического стиля. Так их и рассматривайте. (Второе письмо в тот же день)

Ты написала о себе для меня.

Ты можешь улыбнуться для меня, обедать для меня или прийти для меня куда–нибудь с кем–нибудь. Я ничего не могу сделать для тебя.

Ты, наверное, не помнишь слов, которые ты мне написала на листке записной книжки.

Если бы они были правдой на одну только минуту, если бы ты их забыла, то я тоже смог бы писать о себе для тебя или хоть о тебе для тебя.

Но книжка потеряна, и письма нельзя предъявить ко взысканию.

Прости, Аля, что слово «любовь» опять голым вылезло в моем письме. Я устал писать не о любви. В моих письмах все время чужие люди, как при встречах с тобой, втроем, вчетвером, а иногда и в целом хоре.

Отпусти на свободу мои слова, Аля, чтобы они смогли прийти к тебе.

Разреши мне писать о любви.

Но не стоит плакать, я ведь сам веселый и легкий, как летний зонтик.

Письмо твое хорошее. У тебя верный голос – ты не фальцетируешь.

Мне немножко даже завидно.

Ты была на Таити, и тебе, кроме того, легче писать.

Ты не знаешь – и это хорошо, – что многие слова запрещены.

Запрещены слова о цветах. Запрещена весна. Вообще все хорошие слова пребывают в обороте.

Мне надоели умное и ирония.

Твое письмо вызвало у меня зависть.

Как мне хочется просто описывать предметы, как будто никогда не было литературы и поэтому можно писать литературно.

Хорошо еще было бы написать длинными фразами что–нибудь вроде: «Чуден Днепр при тихой погоде».

Я тоже хочу написать о «невянущем», – нет, лучше о «неувядающем» венке.

Буду писать о венках, а разгон возьму с твоего письма.

Аля, я не могу удержать слов!

Я люблю тебя. С восторгом, с цимбалами.

Это – слова.

Ты загнала мою любовь в телефонную трубку. Это я говорю.

А слова говорят: «Она – единственный остров для тебя и твоей жизни. От нее нет тебе возврата. Только вокруг нее море имеет цвет».

И говорим мы вместе.

Женщина, не допустившая меня до себя! Пускай ляжет у твоего порога, как черный Тапу, моя книга! Но она белая. Нет, иначе. Не нужно упрека. Любимая! Пускай окружит моя книга твое имя, ляжет вокруг пего белым, широким, немеркнувшим, невянущим, неувядающим венком.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ,

нерадостное, чем оно не отличается от других писем. В нем говорится о немцах, которые умеют умирать, о женщинах, которых мы теряем, о Марке Шагале, об умении держать вилку и значении провинциализма в истории искусства.

Ты чувствуешь себя связанной с культурным миром.

С которым, Аля? – их много.

Каждая страна имеет свою культуру, и ее нельзя взять иностранцу.

У меня болит сердце за Петербург, я думаю о его мостовых, а ты не можешь вернуться к России, ты любишь Францию, но не умрешь от тоски по ней.

Ты – человек слишком общеевропейской культуры.

Если бы автомобиль ничего не весил, он не мог бы ехать, тяжесть дает опору его колесам.

Я не писал бы этого тебе, если бы не любил.

Но мучай меня тем, что я для тебя ничего не вешу, мир вокруг Али не имеет веса.

У Богатырева рядом на квартире отравилась газом немецкая семья. Мать оставила записку: «На свете нет места немецкому труженику».

Немцы, мне стыдно, что я не могу помочь вам!

Аля, прости мне мою нерадостную любовь; скажи, на каком языке скажешь ты последнее слово, умирая?

Я говорю тебе разные заговоры, сравниваю тебя со всеми. Говорят, что в психоз люди уходят сознательно, как в монастырь. Легче вообразить себя собакой, чем жить человеком.

Хочется мне разорвать на куски и по городу разбросать то, что люблю.

Не умею.

Раз собрались мы недавно в ателье.

В комнате были петербуржцы и москвичи.

Кто-то заговорил о визах. Рассказывают, что прежде, год, два тому назад, русские говорили друг с другом о паспортах так же охотно, как замужняя женщина о родах.

Как-то разговорились и в этот раз. Мужчины – те больше были совсем без паспортов, живут, потому что прижились.

Но женщины!

Франуженки, швейцарки, албанки (честное слово), итальянки, чешки – и все-все всерьез и надолго.

Обидно для мужчин растратить своих женщин. Воображаю, что было в Константинополе!

Страшно видеть похожие судьбы. Наша любовь, наши браки, бегства – только мотивировки.

Теряем мы себя, становимся соединительной тканью.

А в искусстве нужно местное, живое, дифференцированное (вот так слово для письма!).

Мы потеряем мастерство, как теряем женщин.

Ты чувствуешь себя связанной с культурой, знаешь, что у тебя хороший вкус, а я люблю вещи другого вкуса. Люблю Марка Шагала.

Марка Шагала я видел в Петербурге. Похожий, как мне показалось, на Н.Н. Евреинова, он был вылитый парикмахер из маленького местечка.

Перламутровые пуговицы на цветном жилете. Это человек до смешного плохого тона.

Краски своего костюма и свой местечковый романтизм он переносит на картины.

Он в картинах не европеец, а витебец.

Марк Шагал не принадлежит к «культурному миру».

Он родился в Витебске, маленьком, провинциальном городишке.

Позже, во время революции, напух Витебск, в нем была большая художественная школа. В то время часто напухал то один, то другой город: то Киев, то Феодосия, то Тифлис, раз даже одно село на Волге – Марксштадт – напухло философской академией.

Так вот, витебские мальчишки все рисуют, как Шагал, и это ему в похвалу, он сумел быть в Париже и Питере витебцем.

Хорошо уметь держать вилку, хотя в Европе это умеет делать и барышня из *Nachtlokal*'я. Еще лучше знать, какую обувь надевать к смокингу и какие запонки вдеть в шелковую рубашку. Для меня эти знания мало применимы.

Но я помню, что в Европе все – европейцы по праву рождения.

Но в искусстве нужен собственный запах, и запахом француза пахнет только француз.

Тут мыслью о спасении мира не поможешь.

Полезно введение провинциализма, переkreщивание его с традиционным искусством. «Балалаечники», «Карусель» и прочее плохо тем, что все это подделывает русский провинциализм.

Это сбивает людей. Мешает будущей работе. Картинам, романам.

А хорошо писать – трудно, это всегда говорили мне друзья.

Жить по–настоящему больно.

В этом ты мне помогаешь.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

О весне, «Prager Diele», Эренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердце, которое истрепывается, в то время, как с чужих губ только слезает краска. О моем сердце.

Уже градусов семь тепла. Осеннее пальто обратилось в весеннее. Зима проходит, и что бы ни случилось, меня не заставят перетерпеть эту зиму сначала.

Будем верить в свое возвращение. Весна приходит.

Ты мне сказала, что у тебя весной такое впечатление, как будто ты что–то потеряла или забыла и не можешь вспомнить что.

Весною в Петербурге я ходил по набережным в черной накидке. Там белые ночи, а солнце встает, когда мосты еще не навешены. Я много находил на набережных. А ты не найдешь, ты только сумела заметить потерю. Иные набережные у Берлина. Они тоже хороши. Хорошо по берегу каналов ходить в рабочие кварталы.

Там расширяются местами каналы в тихие гавани, и подъемные краны нависают над водой. Как деревья. Там, у Hallesches Tor, еще дальше места, где ты живешь, стоит круглая башня газовых заводов, как у нас на Обводном. К тем башням, когда мне было восемнадцать лет, я провожал любимую каждый день. Очень красивы каналы и тогда, когда по берегу их идет высокий помост железной городской дороги.

Я уже вспоминаю, что потерял.

Слава богу, весна.

Из «Prager Diele» вынесут на улицу столики, и Илья Эренбург увидит небо.

Илья Эренбург ходит по улицам Берлина, как ходил по Парижу и прочим городам, где есть эмигранты, согнувшись, как будто ищет на земле то, что потерял. Впрочем, это неверное сравнение – не согнуто тело в поясице, а только нагнута голова и скруглена спина. Серое пальто, кожаное кепи. Голова совсем молодая. У него три профессии: 1) курить трубку, 2) быть скептиком, сидеть в кафе и издавать «Вещь», 3) писать «Хулио Хуренито».

Последнее по времени «Хулио Хуренито» называется «Трест Д. Е.». От Эренбурга исходят лучи, лучи эти носят разные фамилии, примета у них та, что они курят трубки. Лучи эти наполняют кафе.

В углу кафе сидит сам учитель и показывает искусство курить трубку, писать романы и принимать мир и мороженое со скептицизмом.

Природа щедро одарила Эренбурга – у него есть советский паспорт.

Живет он с этим паспортом за границей. И тысячи виз.

Я не знаю, какой писатель Илья Эренбург.

Старые вещи нехороши.

О «Хулио Хуренито» хочется думать. Это очень газетная вещь, фельетон с сюжетом, условные типы людей и сам старый Эренбург с молитвой; старая поэзия взята как условный тип.

Роман разворачивается по «Кандиду» Вольтера, правда, с меньшим сюжетным разнообразием.

В «Кандиде» хорошо сюжетное кольцо: пока ищут Кунигунду, она живет со всеми и стареет. Герою достается старуха, вспоминающая о нежной коже болгарина.

Этот сюжет, вернее – критическая установка на то, что «время идет» и измены совершаются, обрабатывался уже Боккаччо. Там женщина–невеста переходит из рук в руки и наконец достается своему мужу, с уверениями в девственности.

А по дороге она узнала не одни только руки. Эта новелла кончается знаменитой фразой о том, что губы не убывают, а только обновляются от поцелуев.

Но ничего, я скоро вспомню то, что забыл. У Эренбурга есть своя ирония, рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта. В нем хорошо то, что он не продолжает традиций великой русской литературы и предпочитает писать, «плохие вещи».

Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого.

Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович и издает «Звериное тепло».

Он не только газетный работник, умеющий собрать в роман чужие мысли, но и почти художник, чувствующий противоречие старой гуманной культуры и нового мира, который строится сейчас машиной.

Меня же из всех противоречий огорчает то, что пока губы обновляются – сердце треплется и то, что забыто, истрепывается вместе с ним, неузнанное.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ,

О маске, аккумуляторных моторах, длине капота мотора «испана суиза», вообще о двигателях внутреннего сгорания и о том, что автомобиль «испана суиза» носил бы кольца в ушах, если бы был человеком. Как автомобилист, скажу: письмо наполнено тихой яростью и клеветой.

Сегодня проснулся среди ночи. Разбудила меня непонятность предмета, находящегося в моих руках.

Предмет оказался черной бумажной маской, а я сам посредине комнаты.

Очевидно, для меня хорошо было бы поехать в санаторий.

О любви же говорить мне вредно.

Поговорим об автомобилях.

Грустно ездить на такси!

Самое грустное ехать в электрическом моторе. У него не бьется сердце, он заряжен, наполнен тяжелыми аккумуляторами, но разрядятся пластины – и он станет.

Много машин завел я на своем веку, иногда они сами ударили меня обратным ударом; много людей поднял я на работу.

Иногда и в Берлине хочется завести мотор, с которым не может справиться шофер, раза два так делал, но на третий раз ошибся самым обидным образом.

Подошел заводить, а мотор электрический, у него радиатор поддельный и ручки, конечно, нет. Как завести машину, у которой нет сердца, которая не заводится? А вид у нее фальшивый: вроде пристяжной манишки и манжет; устроен спереди капот, будто бы для мотора, а там небось тряпки.

Притворяются двигателями внутреннего сгорания.

Бедная русская эмиграция!

У нее не бьется сердце.

В Берлине нельзя, невежливо говорить на улицах громко по–русски. Ведь сами немцы почти шепчут.

Живи, но молчи.

Мертвым аккумуляторным автомобилем, без шума и надежды, слоняйся по городу.

Раскручивай, затаив дыхание, то, что имел, а раскрутив, умри.

Мы заряжены в России, а здесь только крутимся, крутимся и скоро станем.

Свинцовые листы аккумуляторов обратятся в одну только тяжесть.

Кислота станет кисленькой.

Кисленькой тяжестью пахнут русские берлинские газеты.

Кисленькие и тяжелые слова я написал.

Поговорим лучше об автомобильных марках.

Тебе нравится «испана суиза»?

Напрасно! Не выдавай себя.

Ты любишь дорогие вещи и найдешь в магазине самое дорогое, если даже спутать ночью все этикетки цен. «Испана суиза»? Плохая машина. Честная, благородная машина с верным ходом, на которой шофер сидит боком, щеголяя своим бессилием, – это «мерседес», «бенц», «фиат», «делоне–бельвиль», «паккард», «рено», «делаж» и очень дорогой, но серьезный «крольс–ройс», обладающий необыкновенно гибким ходом.

У всех этих машин конструкция корпуса выявляет строение мотора и передачи и, кроме того, рассчитана на наименьшее сопротивление воздуха. Гонимые машины обыкновенно имеют длинные носы, высокие спереди; это объясняется тем, что именно такая форма, при большой скорости, дает наименьшее сопротивление среды. Ведь ты замечала, Аля, что птица летит вперед не острым хвостом, а широкой грудью?

Длина капота мотора объясняется, конечно, количеством цилиндров двигателя (4, 6, реже 8, 12) и их диаметром. Публика привыкла к долгоносим машинам. «Испана суиза» – машина с длинным ходом, то есть у нее большое расстояние между нижней и верхней мертвой точкой.

Это машина высокооборотная, форсированная, так сказать – нанюхавшаяся кокаина. Ее мотор высокий и узкий.

Это ее частное дело.

Но капот машины длинный.

Таким образом, «испана суиза» маскируется своим капотом, у нее чуть ли не аршин расстояния между радиатором и мотором. Этот аршин лжи, оставленный для снобов, этот аршин нарушения конструкции меня приводит в ярость.

Если я буду тебя ненавидеть, если я смогу спеть когда–нибудь:

Пропадайте те дорожки,

По которым я ходил! –

то я отправлю память о тебе не к чертям, а, именно в эту пустоту в «испане суизе».

Твоя «испана суиза» дорогая, но ерундовая.

На нее часто ставят кароссеры с откидывающимися набор сиденьями вместо дверки. Должно нравиться альфонсам.

У нее неприличный наклон руля и были бы кольца в ушах, если бы она была человеком. У твоей «испаны суизы» радиатор не на месте, она ходит в прицепных манжетах. Она никогда не будет любить тебя. Все это для меня интересней судеб русской эмиграции. Впрочем, у «испаны суизы» есть свой рекорд на большую дистанцию по гористой местности.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

О принципе относительности, и немце с кольцами в ушах. Тут же приводится сказка о мышонке, превращенном в девушку.

Разве может быть экзотичным человек, который носит кольца в ушах?

Правда, только на маскарадах.

И брюки щегольские, но слишком широкие для человека, который себя уважает. А на улице – бобровую шапку.

А ты тянешься к нему снизу вверх!

Что делать, Аля, от тебя узнаю я принцип относительности.

Впрочем, вот сказка.

Отшельник превратил мышь, которую он полюбил, – странная любовь, но чего не сделаешь от одиночества и Берлине, – в девушку.

Девушка отшельника не любила. Он ревновал ее.

Она ему говорила: «Так вот какая твоя любовь».

Девушка еще говорила: «Я хочу свободы прежде всего. И лучше уходи».

Отшельник позвонил ей по телефону и сказал; «Сегодня хороший день!»

Девушка сказала: «Я еще не оделась».

Отшельник сказал: «Я подожду. Поедем, я буду сопровождать тебя по магазинам».

Покупала девушка.

Потом вывез ее отшельник за город, в Ванзее.  
Солнце еще было в небе.  
Хотя магазинов много.  
Он сказал: «Хочешь быть женой солнца?»  
В то время на солнце набежало облако.  
Девушка сказала: «Облако могущественней».  
Отшельник был сговорчив, особенно с девушкой.  
Он сказал: «Хочешь, облако будет твоим мужем?»  
В этот момент ветер отогнал облако.  
Девушка сказала: «Ветер могущественней».  
Отшельник начал сердиться.  
Телефон испортил его нервы.  
Он закричал: «Я сосватаю тебе ветер!»  
Девушка обиженно отвечала: «Мне не нужен ветер, мне тепло и не дует. Я закрыта от ветра этой горой. Гора могущественней».  
Отшельник понял, что женщины в магазинах всегда долго выбирают и девушка думает, что она в магазине. Он ответил терпеливо, как приказчик: «Изволь гору!»  
Лицо девушки в это время просияло. Она стала совсем веселая.  
Отшельнику показалось даже, что он счастлив.  
Она указала ему пальчиком на низ горы и сказала: «Смотри!»  
Отшельник ничего не видел.  
«Как он красив, как он могуществен, он сильнее горы, вот существо моего быта, как он одет!»  
«Кто же?» – спросил отшельник.  
«Мышонок, милый отшельник! – сказала девушка. – Он прогрыз гору, посмотри, он уже любит меня».  
«Здорово, – сказал отшельник, – этого ты на самом деле полюбишь; ну хорошо, что ты не влюбилась хоть в человека из оперетки».  
И он поцеловал девушку–мышь в ее розовые уши и отпустил ее, дав ей мышиный паспорт. С этим паспортом, кстати, прописывают во всех странах.  
Не сердись за мышь.  
Сердце истыкано медными пуговицами, как куртка мальчика в лифте.  
Оно за день тысячу раз подымается и тысячу раз падает.  
Оно как мышь, разлинованная мышеловкой.  
Люблю тебя – как любит солнце. Как любят ветер. Как любят горы.  
Как любят: навек.

#### ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ,

с жалобой на то, что горе слишком коротко. Он требователен не по силам. Гора ему уже хватит на носовой платок. Кроме этого, в письме дан вариант известной сказки. Письмо это не было записано, а невысказанные слова становятся мыслью.

Клянись тебе... я скоро кончу свой роман.  
Женщина, не отвечающая мне!  
Ты загнала мою любовь в телефонную трубку.  
Мое горе приходит ко мне и сидит со мной за одним столом.  
Я разговариваю с ним.  
А доктор говорит, что у меня нормальное кровяное давление и моя галлюцинация – только литературное явление.  
Горе приходит ко мне. Я говорю с ним и внутренне подсчитываю листы.  
Кажется, только три листа.  
Какое короткое горе.  
Нужно было бы завести другое – в международном масштабе.  
А могло бы случиться иначе.

Я не сумел.

Я сумел только, как ты приказала, завести шесть рубашек.

«Три у меня, три в стирке».

Мне нужно было сломиться, и я нашел себе ломающую любовь; кончаю, я это тебе уже писал.

Человек точил нож о камень. Ему не нужен камень, хотя он и наклоняется к нему.

Это из Толстого.

У него длинней написано и лучше.

В моей судьбе все было predetermined.

Но могло быть и иначе.

Я дам вторую развязку роману.

Это будет из Андерсена.

Это то, что могло случиться.

Жил принц.

У него было две драгоценности: роза, выросшая на могиле его матери, и соловей, который пел так сладко, что можно было забыть свою собственную душу.

Он полюбил принцессу из соседнего королевства и послал ей:

1) розу,

2) соловья.

Розу принцесса подарила инструктору скетинг-ринга, а соловей умер у нее на третий день: он не выдержал запаха одеколона и пудры.

Дальше Андерсен рассказывает все неправильно.

Принц не переоделся вовсе свинопасом.

Он занял деньги, купил шелковые носки и туфли с острыми носками.

Один день учился улыбаться, два – молчать и три месяца привыкал к запаху пудры.

Он подарил принцессе:

1) трещотку, под которую можно было танцевать шимми,

2) какую-то игрушку, которая сплетничала, – вероятно, книжку с посвящением.

Принцесса действительно его целовала.

Ночь, в которую принцесса пришла к принцу, была действительно черная, дождливая.

Принцесса постучалась уверенно.

Принц скатился по перилам: ему каждую ночь казалось, что стучат, и кататься по перилам он научился в совершенстве.

Он открыл дверь, и (скажу для кубизма) ветер выбросил в четырехугольник дождь призмой и зонтик шаровым сектором.

Принц сразу узнал зонтик.

Он поклонился ниже своих ног (ведь он стоял на пороге) и сказал:

«Войдите, принцесса, в свой дом».

Она вошла; был дождь.

Она так устала, что шла по лестнице, не закрыв даже зонтика.

Принц посадил ее перед камином, разжег огонь, накрыл на стол и хотел бежать. Он хотел подарить ей:

1) розу,

2) соловья.

Принц был рассеян.

Вот тогда-то и засмеялась жареная рыба.

Жареная рыба смеется в восточных сказках. Подробности я сообщу в своих других книгах.

В европейской литературе, насколько мне известно, она засмеялась первый раз у меня.

Она смеется тогда, когда видит, что кто-то подарил свое сердце вместо трещотки.

В этот раз она смеялась до упаду, хлопала хвостом и брызгала соусом.

«Принц, – сказала она, – зачем ты портишь чужие сказки?»

«Андерсен оклеветал меня, – ответил принц.

Дом мой и мое сердце принадлежат принцессе!

Тот, кого любят, никогда не бывает виновен.

А ты лежи смиренно и не брызгайся соусом, потому что принцесса тебя будет сейчас есть».

«Ты съеден сам, о жареный принц», – сказала рыба.

Так сказала она и умерла во второй раз, от скуки: она не любила принцессу.

И вот вторая возможная развязка романа.

Принцесса живет в одном доме с принцем, потому что в городе очень мало свободных квартир.

Принц сделался игрушечным мастером: он чинит граммофоны и делает трещотки, под которые можно танцевать шимми.

Принцесса живет в его доме.

Но живет она с другими.

Оказывается, из одной точки можно опустить на прямую несколько перпендикуляров.

Все это можно понять, или хорошо зная неэвклидовскую геометрию, или дойдя до того, когда каламбур так мало смешит человека, как язва в желудке.

Все это – «как».

Все мои письма о том, «как» я люблю тебя.

## ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Алино последнее. В нем Аля пишет о том, как нужно писать любовные письма.

Это письмо кончается свирепой фразой: «Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем».

Автор книги искренне желает своим читателям никогда не получать таких писем.

Ты нарушаешь уговор.

Ты пишешь мне по два письма в день. Писем набралось много.

Я наполнила ящик письменного стола, запрудила карманы и сумочку.

Ты говоришь, что знаешь, как сделан Дон–Кихот, но любовного письма ты сделать не можешь.

И ты все злешь и злешь.

А когда пишешь любовно, ты захлебываешься в лирике и пускаешь пузыри... (пишу тебе в «Юге» чинно, одиноко, ожидая шницеля).

В литературе я понимаю мало, хотя ты льстец и утверждаешь, что я понимаю не хуже тебя; в письмах же о любви я знаю толк. Недаром же ты говоришь, что, войдя в какое–нибудь учреждение, я сразу знаю, что к чему и кто с кем.

Ты пишешь о себе, а когда обо мне, то упрекаешь.

Любовных писем не пишут для собственного удовольствия, как настоящий любовник не о себе думает в любви.

Ты под разными предлогами пишешь все о том же.

Брось писать о том, как, как, как ты меня любишь, потому что на третьем «как» я начинаю думать о постороннем.

## ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

и последнее. Оно адресовано во ВЦИК.

В нем опять говорится о двенадцати железных мостах.

Это письмо включает в себе просьбу о разрешении вернуться в Россию.

Заявление во ВЦИК СССР.

Я не могу жить в Берлине.

Всем бытом, всеми навыками я связан с сегодняшней Россией. Умею работать только для нее.

Неправильно, что я живу в Берлине.

Революция переродила меня, без нее мне нечем дышать. Здесь можно только задыхаться.

Горька, как пыль карбида, берлинская тоска. Не удивляйтесь, что я пишу это письмо после писем к женщине.

Я вовсе не ввязываю в дело любовной истории.



Женщины, к которой я писал, не было никогда. Может быть, была другая, хороший товарищ и друг мой, с которой я не сумел сговориться. Аля – это реализация метафоры. Я придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию.

Все, что было – прошло, молодость и самоуверенность сняты с меня двенадцатью железными мостами. Я поднимаю руку и сдаюсь.

Впустите в Россию меня и весь мой нехитрый багаж: шесть рубашек (три у меня, три в стирке), желтые сапоги, по ошибке начищенные черной ваксой, и синие старые брюки, на которых я тщетно пытался нагладить складку.

Примечания к текстам некоторых писем

Письмо четвертое

Юлий Айхенвальд (1872–1928), литературовед, литературный и театральный критик, публицист, переводчик, мемуарист, философ. В сентябре 1922 г. после ареста и сидения на Лубянке был выслан за границу вместе со многими учеными и писателями. Погиб в результате несчастного случая, попав под трамвай, 17 декабря 1928 года в Берлине.

Кульбин Николай Иванович (1868–1917), художник, представитель русского авангарда, исследователь рентгеновских лучей, автор ряда научных трудов, учебников, изобретений, обладал универсальным синтезирующим складом мышления.

«Это Горнфельд». Речь идет о некрологе на смерть Хлебникова, принадлежащем, вероятно, перу А.Г. Горнфельда и опубликованном в третьем номере журнала «Литературные записки» за 1922 г.

Письмо пятое

Алексей Михайлович Ремизов (1877–1957), писатель, основатель шуточного тайного литературного общества «Обезьянья Великая и Вольная Палата» («Обезвельволпал»). В 1919 году подвергся кратковременному аресту по делу левых эсеров. С 1921 года в эмиграции.

Михаил Кузмин, поэт серебряного века. Три года Кузмин учился в Петербургской консерватории у И.А. Римского–Корсакова; музыка осталась одним из главных его увлечений.

Письмо десятое

Михаил Леонидович Слонимский (1897–1972), русский советский писатель. Именно у Слонимского начали собираться члены литературной группы «Серапионовы братья» (в некоторых ранних источниках он указывал, что ему принадлежит также и название группы).

Петр Григорьевич Богатырев (1893–1971), филолог и педагог. В 1922 году был командирован в Чехословакию, где прожил до 1939 года, совмещая научную работу с преподаванием в Братиславском университете. Петру Богатыреву принадлежит перевод на русский язык «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека.

Роман Осипович Якобсон (1896–1982), русский лингвист. В 1920 году был одним из организаторов Пражского лингвистического кружка. Вынужденный эмигрировать в 1939 году, Роман Якобсон в 1941–м переехал в США, преподавал в Гарвардском университете, работал в Массачусетском технологическом институте. Первой значительной работой Якобсона было исследование особенностей языка поэта–футуриста Велимира Хлебникова.

Письмо одиннадцатое

«Серапионовы братья» – литературная группа, существовавшая в Петрограде–Ленинграде в 1920–х годах. История «Серапионовых братьев» недостаточно изучена, некоторые события известны лишь по мемуарным свидетельствам, кое–что навсегда утрачено. Многие «серапионы» стали впоследствии классиками советской литературы. Первое заседание «Серапионовых братьев» состоялось 1 февраля 1921 года. Огромную роль сыграл в истории группы Виктор Шкловский. Его статья «Серапионовы братья» (1921) оказалась первым упоминанием о «серапионах» в печати.

Письмо тринадцатое

ОПОЯЗ (название которого расшифровывается по одним источникам как общество изучения поэтического языка, а по другим – как общество изучения теории поэтического языка) – полупоформальный научный кружок, созданный около 1916 года группой теоретиков и историков литературы. Манифестом ОПОЯЗа можно считать ранние работы Шкловского «Воскрешение слова» (1914) и «Искусство как прием» (1917), в которых резко критиковался

подход к искусству (и литературе, в частности) как к «системе образов» и выдвигался тезис об искусстве как сумме приемов художника («формальный метод в литературоведении»).

Письмо четырнадцатое

Иван Альбертович Пуни (1894–1956), русский художник, представитель авангарда первой половины 20 века. Эмигрировал, уйдя вместе с женой по льду Финского залива в Куоккалу. В 1920–1922 годах жил в Берлине, с 1923 го – в Париже.

Ксения Леонидовна Богуславская (1892–1972) – живописец, график, театральный художник, дизайнер, поэтесса. С 1913 года – замужем за И.А. Пуни. Их квартира и мастерская на 6–м этаже дома 1/56 по Гатчинской улице в Санкт–Петербурге, где они жили с 1913 по 1915 год, была своеобразным «салоном», местом встреч художников и поэтов, авангардистов и футуристов.

Карл Эйнштейн (нем. Carl (Karl) Einstein), 1885–1940, немецкий поэт и прозаик, племянник Альберта Эйнштейна. В 1936–1938 гг. участвовал в гражданской войне в Испании на стороне Республики. При невозможности эмигрировать из Франции, оккупированной гитлеровскими войсками, во франкистскую Испанию, куда путь ему был закрыт, покончил с собой на француско–испанской границе (повесился).

Зале (Залит) Карл Фрицевич (1888–1942), скульптор.

О романе и его авторе читайте в нашей второй публикации – «Ave Шкловский, ave Виктор! Formalituri te salutant!»

Мария О.

Текст романа «ZOO или Письма не о любви» публикуется по изданию:

Виктор Шкловский «Жили–Были»–Москва.–1966.–«Советский писатель»

и не предназначен для коммерческого распространения и использования.

Оформление публикации максимально приближено к оригиналу книги.

## **И. БАБЕЛЬ. НОВЫЙ БЫТ**

(опубликовано в “Новой жизни”, 1918)

Мы в сыром полутемном сарае. Косаренко нарезывает ножичком картофель. Толстоногая босая девка поднимает запотевшее веснучатое лицо, взваливает на спину мешок с рассадой и выходит. Мы идем вслед за нею.

Полдень – синий в своей ослепительности – звучит тишиной зноя. На сияющих припухлостях белых облаков легко вычерчиваются овалы ласточкиного полета. Цветники и дорожки – жадно поглощенные шепчущейся травой –

обведены со строгой острою.

Проворной рукой девка прячет картофель в развороченной земле. Склонив голову набок, Косаренко ловит тонкими губами усмешку. Мелкие тени летают по сухой коже, наполняя желтоватое лицо неприметной дрожью морщинок, светлый глаз задумчиво сощурился, рассеянно трогая цветы, траву, бревно сбоку...

– Стрелковый Царской фамилии полк от нас неподалеку стоял, – шепчет Косаренко в мою сторону. – Там, кроме князей, никого и не увидишь... Сухих, гвардии полковник был, с царем учился, наш полк ему и дали, как флигель–адъютанта получил – маленько от долгов оправился, не из богатых был...

Косаренко уже успел рассказать мне о великих князьях, об Скоропадском, бывшем его генерале, о сражениях, в которых погибла русская гвардия...

Мы сидим на скамейке, украшенной Амуром, пузатым и улыбчивым. На фронтоне легкого здания сияет позолота надписи: Лейб–Гвардии Финляндского полка офицерское собрание. Мозаика цветных стекол забита досками, сквозь щели виден светлый зал, стены его покрыты живописью, в углу свалена резная белая мебель.

– Товарищ, – говорит Косаренке толстоногая девка, – делегат насчет грядки говорил, я грядку–то посадила...

Девка уходит. Мясистая спина ее туго обтянута кофтой, крепкие соски упруго ходят под ситцем, оттопыриваясь дрожащими холмиками. В руках девки – пустой мешок кажет солнцу черные дыры.

Пустошь представляла из себя лагерь Финляндского полка. Теперь земля принадлежит Красной армии. На пустоши решили развести огород, для этого из полка послали десять красноармейцев. О посланных этих мне сказали так:

– Они ленивы, привередливы, наглы и болтливы. Они не умеют, не хотят и не будут работать. Мы отослали их обратно и взяли наемных рабочих.

Полк насчитывает в своей среде тысячу здоровых, бездельных юношей, едящих и болтающих.

Огород этой тысячи обрабатывается двумя заморенными чухонцами, равнодушными, как смерть, и несколькими девушками петербургских окраин.

Им платят по 11 рублей в сутки, они получают фунт хлеба в день, над ними поставлен агроном. Заглядывая в глаза, агроном говорит всем навещающим его:

– Мы все разрушали, теперь стройка началась, хоть с изьянами, да стройка, на будущей неделе сорок коров купим...

Сказав про коров – агроном отскакивает, потом медленно приближается и вдруг – бормочет на ухо свистящим злым шепотом:

– Беда. Людей нет. Беда.

Я в поле. Земля треснула от тепла. Надо мной солнце. Подле меня коровы, не красноармейские, настоящие. Я счастлив, брожу точно соглядатай, втыкаю сапоги в рассыпающуюся землю.

Чухонцы, подпрыгивая, ходят за плугом.

Из десяти красноармейцев остался всего один. Он боронит. Борона ездит в неумелых и растерянных руках, лошади бегут, зубья легонько взрывают почву только с поверхности.

Красноармеец – мужик с хитринкой. Вместе с остальными хотели отправить в город и его. Он воспротивился – харчи хороши показались и жизнь привольная.

Теперь он бегаёт за скучающими лошадьми, за кувыркающейся бороной и, вспотевший, но важный, выпучив глаза, кричит мне яростно:

– Сторонись...

А девушки – те обливают грядки, работают неспешно, отдыхают, обняв колени в колодку, и лукавым певучим шепотом перебрасывают друг дружке бесстыдную городскую песню.

– Я на десять фунтов поправилась, – шныряя глазками, говорит одна из них, горбатенькая, с мелким сероватым личиком, – отсюда на Гребецкую в мастерскую не побежишь... Кабы всегда казенная служба в деревне была, я, может, и молоко б тогда для ребенка пустила...

Час шабаша. Солнце высоко. Стены белы. Мухи жужжат лениво. Мы лежим с Косаренкой на примятой траве.

Девки, закинув на плечи лопаты, не спеша идут с огорода. Чухонец, дымя трубкой, распрягает лошадь, поводя водянистыми светлыми глазами. Красноармеец спит на солнцепеке, выбросив вбок обутую в лапоть ногу и приоткрыв перекошенный черный рот.

Тишина. Задумчиво уставившись в землю, Косаренко шепчет небыстрые слова:

– Я двадцать два года в фельдфебелях был, мне уж удивляться нечему: а скажу вам, что не сознаю я себя – сон или настоящее? Был я у них в казарме – занятий нету, дрыхнут, на полу селедки, дрянь, щипаные... Долго ли продержимся?

Немигающие глазки устремлены на меня.

– Не знаю, Косаренко, надо б долго...

– Делать–то не с кем. Гляди!

Я гляжу. Чухонец распряг лошадей, присел на пень, бедными движениями поправляет портянки, красноармеец спит, пустынный двор облит белым зноем, длинные ряды конюшен стоят заколоченные.

Далеко от нас, на фронте легкого здания, сияет позолота слов: лейб–гвардия... офицерское собрание... Рядом со мной похрапывает Косаренко. Он забыл уж, о чем говорил. Солнце сморило его.

## И. БАБЕЛЬ. МОЗАИКА

(опубликовано в “Новой жизни”, 1918)

В воскресенье – день праздника и весны – товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца.

Он озаглавил ее: «Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства».

Бога товарищ Шпицберг называет – господин Бог, священника – попом, пописом и чаще всего – пузистом (от слова – пузо).

Он именует все религии – лавочка шарлатанов и эксплуататоров, поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского далай-ламу, «экскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем».

В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей – бабы, рабочие, довольные жизнью, бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II-го и Марии Феодоровны.

Рассказ прервала старушка. Она спросила:

– Где, батюшка, здесь речь говорят?

– Антихрист в Николаевской зале, – равнодушно ответил служитель.

Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся.

– В зале – антихрист, а ты здесь растабарываешь...

– Я не боюсь, – так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель, – я с ним день и ночь живу.

– Весело живешь, значит...

– Нет, – сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза, – невесело живу. Скучно с ним.

И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт – куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток.

Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после октября «маленько тронулся».

Я отошел в раздумьи. Вот здесь – старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек. И пришел к старику антихрист. И только и нашел черт дела на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона.

Скучные у нас черти.

Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко.

Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе «слова краткие, но антирелигиозные». Четыре человека тогда отличились – церковный староста, шуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из Гостиного. Они подступили к кафедре. За ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков.

Псаломщик начал елейно:

– Надобно, друзья, помолиться.

А кончил шепотком:

– Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах.

Сошедши, псаломщик добавил, от злобы прикрыв глаза и вздрагивая всем телом:

– До чего все хитро устроено, друзья.

О раввинах, о раввинах – то никто словечка не проронит...

Тогда загремел голос церковного старосты:

– Они убили дух русской армии.

Полковник в феске кричал: «не позволим», лавочник тупо и оглушающе вопил: «жулики», растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам, лектора прогнали с возвышения, двух рабочих красногвардейцев, израненных под Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком:

– Мы игру–то вашу видим. В Колпине вечерню до двух часов ночи служат.

Поп службу новую выдумал, митинг в церкви выдумал... Мы купола–то тряхнем...

– Не тряхнешь, проклятый, – глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась.

Во время пассива в Казанском соборе народ стоит с возжженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое, малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За Распятием искусно расположенные электрические огни. Чудится, что Распятый простерт в густой синеве звездного неба.

Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся набок от невыносимой боли, об оплевании, о задушении, о поругании святыни, совершаемом темными, «не ведающими, что творят». Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. «Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит».

У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне:

– Хор–то какво поет, службы какие пошли... В прошлое воскресенье митрополит служил... Никогда благолепия такого не было... Рабочие с завода нашего, и те в церковь ходят... Устал народ, измаялся в беспокойствии, а в церкви тишина, пение, отдохнешь...

## **И. БАБЕЛЬ. О ГРУЗИНЕ, КЕРЕНКЕ И ГЕНЕРАЛЬСКОЙ ДОЧКЕ (Нечто современное)**

(опубликовано в “Новой жизни”, 1918)

Два печальных грузина навешают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Ованес.

Дела плохи. Чай подают жидкий. Молодой смотрит на русских женщин. Любитель. Старик смотрит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло.

Молодой обнюхивает обстоятельства.

Обнюхал. Молодой надевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги.

Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Ованес покупает. Знакомая из государственного контроля варит на дому гузинаки.

Товар приносит барыш.

Идут дни и недели. У Ованеса на Моховой лавка восточных сластей.

У Ованеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Ованес не кланяется, а козыряет. Домовому старосте на именины подносится не что иное, как шоколадный торт.

Все уважают Ованеса.

В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед – отставной фельдшер Бурьшкин.

В институте, когда дочь Орлова – Галичка – переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в щеку. Родные и знакомые думали, что Галичка выйдет за инженера путей сообщения. У Галички стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком.

Фельдшер Бурьшкин состоит на службе при всех режимах. Бурьшкин начеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазные сапоги. Придаться нельзя.

Придрались. Бурьшкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый.

Удар среди ясного неба; Галичка переходит на жительство к Ованесу.

Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурьшкиным. Провизии мало. Управа выдала кету. С дочерью не встречается.

Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: все тюфяки, большевики – настоящие люди. Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями.

Галичка сидит у Ованеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галичка затеяла ежедневные горячие завтраки. В министерстве продовольствия, где она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах.

Генерал задумывается чаще.

Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галичка нежна и хороша необыкновенно. Ованес завел себе николаевскую шинель.

Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурьшкин забыт.

Городская управа выдала кету. Пенсию заплатили керенками.

Весна. Галичка с отцом проезжают по Невскому в экипаже. Бурьшкин бродит в рассуждении – чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно.

Бурьшкин решает купить гузинаки для умерщвления аппетита.

Лавка Ованеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик презирают его. Генерал рассказывает Ованесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурьшкин в ничтожестве.

Ованес не хочет дать фельдшеру сдачи с керенки. А у Ованеса есть мелочь.

– Декрет насчет сдачи читали? – спрашивает Бурьшкин.

– Наплевал я на декреты, – отвечает грузин.

– Нет у меня мелочи, – шепчет Бурьшкин.

– Коли нету – отдавай гузинаки.

– А в Красную Армию не хочешь.

– Наплевал я на Красную Армию.

– Ага!

Бурьшкин в штабе. Бурьшкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек. Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал трясущейся рукой с достоинством водружает пенсне.

Обыск у Ованеса. Найдены: мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца «Эгго», подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия «Модерн». Все кончено.

Ованес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации Пальмира и смотрит на женщин.

Бурьшкин исполнен энергии. Он – свидетель.

Аборт у Галички прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную Армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает фунт хлеба в день, очень весел. Вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает.

Подпоручик говорит, что теперь все больны.

Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал ослаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость.

Не оправившуюся от болезни Галичку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют, нельзя поехать в деревню.

## В. ВЕРЕСАЕВ. В ТУПИКЕ<sup>1</sup>

И ангелы в толпе презренной этой  
Замешаны. В великой той борьбе,  
Какую вел господь со князем скверны,  
Они остались – сами по себе.  
На бога не восстали, но и верны  
Ему не пребывали. Небо их  
Отринуло, и ад не принял серный,  
Не видя чести для себя в таких.  
Данте. «Ад», III. 37 – 42.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Жил старик со своею старухой  
У самого синего моря...

В бурю белогривые волны подкатывались почти под самую террасу белого домика с черепичною крышею и зелеными ставнями. В домике жил на покое, с женой и дочерью, старый врач-земец Иван Ильич Сартанов, постоянный участник в пироговских съездах. Врачам русским хорошо была знакома его высокая, худая фигура в косоворотке под пиджаком, с седыми волосами до плеч и некурчаващеюся бородою, как он бочком пробирался на съезде к кафедре, читал статистику смертных казней и в заключение вносил проект резкой резолюции, как с места вскакивал полицейский пристав и закрывал собрание, не дав ему дочитать до конца. Во время войны он стал было подводить на съезде статистику убитых и раненых на фронте, обронил слово «бойня» и очутился в Бутырках. Год назад, уже при Советской власти, он выступил в обществе врачей своей губернии с безоглядною, как всегда, речью против большевистских расстрелов. Чрезвычайка его арестовала и отправила в Москву с двумя спекулянтами и черносотенцем-генералом. По дороге Иван Ильич вспомнил молодость, как два раза бегал из сибирской ссылки, ночью на тихом ходу соскочил с поезда и скрылся. Друзья добыли ему фальшивый паспорт, и он, с большими приключениями, перебрался в Крым.

Бешено дул февральский норд-ост, потому Иван Ильич рубил дрова в сарае. Суетливо заглянула в сарай Анна Ивановна, с корзинкой в руке.

– Иван Ильич, я иду в потребилку, а Катя стирает белье. Брось рубить, пойдешь, заправь борщ. Возьми на полке ложку муки, размешай в полстакане воды, – холодной только, не горячей! – потом влей в борщ, дай раз вскипеть и поставь в духовку. Понял? Через полчаса будем обедать, как только ворочусь.

<sup>1</sup> Впервые отрывки из романа опубликованы в «Южном альманахе», Симферополь, 1922, кн. 1; в журналах: «Красная новь», 1922, ЛЬ 4, 5; «Петроград», 1923, ЛЬ 1; «На вахте», Грозный, 1924, ЛЬ 6; в сб. «Революционная проза», ЛЬ 1, Киев, 1924. Полностью - в кн.: «Недра». Литературно-художественные сборники. М., 1923, кн. 1 и 2; 1924, кн. 3. Написано в 1920 - 1923 годах.

Она беспокойно заглянула в истомленное его лицо и поспешно пошла к калитке.

Иван Ильич направился в кухню, долго копался на полке в мешочках, размешал муку и поставил борщ на плиту. Вошла Катя с большим тазом выполосканного в море белья. Засученные по локоть тонкие девические руки были красны от холода, глаза упоенно блестели.

– Смотри, папа, как белье выстирала.

Иван Ильич со страхом глядел на закипавшую кастрюлю.

– Да, да! Очень хорошо... Погоди, как бы не убежало!..

– Да не убежит. Посмотри! – Она развернула перед ним простыню. – Как снег под солнцем! Подумать можно, жавелевой водой стирано! Ну, теперь могу сказать, умею стирать. Скажи же, – правда, хорошо?

– Ну, хорошо, конечно!

– Я нашла секрет, как стирать. И как мало мыла берет!

– Охота класть на это столько сил. Побелее, посерее, – не все равно!

– Ну, уж нет! Делать, так по–настоящему делать... Как снег у нас на горах! Ах, как интересно!.. Ну–у, как ты мало восхищаешься!

– Погоди! Закипело!

Он озабоченно снял кастрюлю с плиты и поставил в духовку. Катя с одушевлением говорила:

– Я тебе объясню, в чем дело. Совсем не нужно сразу стирать. Сначала нужно положить белье в холодную воду, чтоб вся засохшая грязь отмокла. Потом отжать, промылить хорошенько, налить водой и поставить кипеть...

– Ну, матушка, я этого не пойму... Нужно идти дрова рубить.

– И все, больше ничего! Немножко только протереть... Ужасно интересно!

Пойду вешать.

Иван Ильич побрел в сарай, опять взялся за дрова. Движенья его были неуверенные, размах руки слабый. Расколет полено–другое, – и в изнеможении опустит топор, и тяжело дышит, полуоткрыв беззубый рот.

Донесся крик Кати:

– Папа, обедать! Мама пришла.

Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошел в кухню. Анна Ивановна сидела на табуретке с бессильно свисшими плечами, но при входе Ивана Ильича выпрямилась. Он свалил дрова в угол.

– Ну, что, достала керосину?

– Нету в потребилке. Даром только прошлась. И муки нету.

Катя поставила на стол борщ. Анна Ивановна подняла крышку, заглянула в кастрюлю и обомлела.

– Чего ты туда насыпал?

Иван Ильич обеспокоенно ответил:

– Как чего? Муки, как ты сказала.

– Ах, ты, боже мой! Так и есть!.. – Она зачерпнула борщ разливательной ложкой и раздраженно опустила ее назад. – Ты туда картофельной муки всыпал, получился кисель... Как ребенок малый, ничего нельзя ему доверить.

– Да что ты? Неужто картофельной? – Иван Ильич сконфузился.

– Как же ты не видел, что картофельная мука?

– Я вижу, белая мука, а какая, – кто ее знает! Ну, ничего! Ведь все питательные вещества остались. Дай–ка, попробую. Ну, вот. Очень даже вкусно.

Анна Ивановна, чтоб овладеть собою, стала раскладывать на плите дрова для просушки. Катя жадно ела и, откусывая хлеб, говорила:

– Хлеб–то зато какой вкусный! Настоящий пшеничный, и ешь, сколько хочешь. А помните, в Пожарске какой выдавали: по полфунта в день, с соломой, наполовину из конопляных жмыхов!

Поели постного борща и мерзлой, противно–сладкой вареной картошки без масла, потом стали пить чай, – отвар головок шиповника; пили без сахара. После несытной еды и тяжелой работы хотелось сладкого. Каждый старался показать, что пьет с удовольствием, но в теле было глухое раздражение и тоска.



Анна Ивановна обеспокоенно сказала:

– А Глухарь Тимофеем опять не пришел крышу чинить. Третий раз обманывает, что же это будет, как дожди пойдут!..

Катя вдруг рассмеялась.

– Господа, помните прежние времена, как, бывало, все ужасались на жизнь студентов? Бедные студенты! Питаются только чаем и колбасой! Представьте себе ясно: настоящий китайский чай, сахар, как снег под морозным солнцем, французская булка румяная, розовые ломтики колбасы с белым шпиком... Бедные, бедные студенты!

Все рассмеялись. Уж очень, правда, смешно было вспомнить и сравнить. Стало весело, и раздражение ослабело. Катя, смакуя, продолжала:

– Или, помните, калоши студенческие? Тусклые потрескавшиеся, с маленькой только дырочкой на одной пятке! Вы подумайте: калоши! Домой не приносишь лепешек грязи, чулки сухие и только чуть мокро в одной пятке!.. Правда, бедные студенты?

Наружная дверь без стука открылась, вошла в кухню миловидная девушка в теплом платке, с нежным румянцем, чудесными, чистыми глазами и большим хищным ртом.

– Добрый день!

– А, Уляша!.. Садитесь, попейте чайку.

Девушка поставила на стол две бутылки молока, покраснела и села на табуретку. Иван Ильич, расхаживая по кухоньке, спросил:

– Ну, что хорошенького слышали про большевиков? Где они сейчас?

– Вы, чай, лучше знаете.

– Откуда же нам знать?

– Вчера почта из города проезжала, ямщик сказывал, – в Джанкое.

Иван Ильич захохотал.

– Ого! Быстро они у вас шагают!.. Что же, ждут их на деревне?

Уляша промолчала и с неопределенною улыбкою взглянула в угол.

– Большевиков–то у вас, должно быть, не мало.

– Кто ж их знает... – Она застенчиво улыбнулась и вдруг: – Да все большевики!

– Вот как?

– И папаша большевик, и все наши большевики.

– И вы тоже?

– Ну, да.

– А что такое большевизм?

– Сами знаете.

– Нет, не знаю. Каждый по–своему говорит.

– Представляетесь.

– Ну, все–таки, – что же такое большевизм?

Уляша помолчала.

– Дачи грабить.

– Что?!

– Дачи ваши грабить.

Иван Ильич громко захохотал на всю кухню.

– Точно и верно определила. Молодец Уляша!

Катя сказала:

– Вот, Уляша, вы говорите, что и вы большевичка. Что же, и вы пойдете, например, нас грабить?

– Все пойдут. Уж теперь сговариваются. Отказываться никому не позволят. А нам что ж свое терять?

– Почему же именно дачников грабить?

– Они богатые.

– А мужики у вас в деревне не богатые? Вон, Албантов осенью одного вина продал на сто двадцать тысяч. Сами же вы говорили, что у каждого мужика спрятано керенок на двадцать – тридцать тысяч. И все у них есть, всякая скотина. Где же нам, дачникам, до них?

– Нет, мужики не считаются богатыми.

– Да почему же? Вон, у вашего отца – две лошади, две коровы, гуси, свинья, десятка два барашков... Да вы бы дня, например, не стали есть так, как мы едим. Теперь только мужики у нас и богаты.

– Мы работаем. А дачники все лето на берегу лежат голые, да цветы по горам собирают.

Катя возмущилась. Она стала говорить об интеллигентном труде, о тяжести его. Потом стала объяснять, что большевики хотят лишить людей возможности эксплуатировать друг друга, для этого сделать достоянием трудящихся землю и орудия производства, а не то, чтоб одни грабили других.

Возмущился Иван Ильич и напал на Катю.

– Это ты о социализме говоришь, а не о большевизме. Зачем ты тогда уехала из Совдепии?.. Нет, Уляша, большевизм именно в том, как вы говорите: грабь, хватай, что увидишь, не упускай своего! Брось работать и бездельничай. И только о себе самом думай.

Уляша выпила чай, сказала «спасибо» и встала.

– Папаша велел сказать, что с завтрашнего дня молоко по три рубля кварта.

Анна Ивановна всплеснула руками.

– Да что ты, Уляша, говоришь! Было полтора и вдруг три рубля, вдвое дороже!

– И потом больше не велел вам носить, сами ходите. Много, говорит, время уходит.

Иван Ильич решительно сказал:

– Ну, нечего тогда разговаривать. Столько платить не можем. Не надо. Пейте сами.

Глаза Уляши стали серьезными, она значительно ответила:

– Мы сейчас молока не пьем: великий пост.

Иван Ильич захохотал.

– Молоко пить нельзя, а людей грабить можно! Нет, Уляша, вы просто прелесть!

– В город будем возить сметану, творог.

– Ну, и возите себе.

Уляша застенчиво улыбнулась, покраснела и сказала:

– До свиданья вам!

– До свиданья.

Катя протянула печально:

– Значит, и без молока!

Иван Ильич сердито накинулся на нее:

– Я не понимаю, с чего ты вдруг вздумала защищать пред нею большевизм. Удивительно своевременно!

– Пусть же она знает, что такое большевизм в идее.

– «В идее!..» Чрезвычайки, расстрелы, разжигание самых хамских инстинктов – и идея!

Они стали спорить, сердясь и раздражаясь. Иван Ильич махнул рукою и ушел в спальню.

Лег на постель и стал читать газету. В обычном старом стиле сообщалось о доблестных добровольческих частях, что они, «исполняя заранее намеченный план», отступили на восемьдесят верст назад; приводилось интервью с главноначальствующим Крыма, что Крыму большевистская опасность безусловно не грозит; сообщалось, что Троцкий убит возмущившимися войсками, что по всей России идут крестьянские восстания, что в Кремле всегда стоит наготове аэроплан для бегства Ленина. Ничему этому не верилось, но все-таки приятно было читать.

Из деревни за Иваном Ильичом приехал на линейке красавец-болгарин: жена его только что родила к истекает кровью. Иван Ильич поехал. У роженицы задержался послед. Иван Ильич остановил кровотечение, провозился часа полтора. На прощание болгарин, стыдливо улыбаясь, протянул Ивану Ильичу бумажку и сказал:

– Вот примите малость!

Домой Иван Ильич воротился в сумерках. Катя спросила:

– Сколько тебе заплатили?

Он усмехнулся.

– Вот какая хозяйственная стала! Все сейчас же о деньге!

– Нет, серьезно, – сколько?

Иван Ильич неохотно ответил:

– Три рубля.

Катя ахнула.

– А фунт хлеба стоит семьдесят пять копеек! Значит, четыре фунта хлеба, гривенник на прежние деньги! Да как же ему не совестно! Ведь это Албантовы, первые богачи в деревне, они осенью одного вина продали на сто двадцать тысяч. Как же ты его не пристыдил, что так врачу не платят?

Иван Ильич решительно и серьезно ответил:

– Этим не торгуют и об этом не торгуются. Оставим.

– Да, выгодно для них! Сами за бутылку молока полтора рубля берут, а доктору платят трешницу. Вот где настоящие эксплуататоры!

– Марфа, Марфа! О многом печешься! – вздохнул Иван Ильич и пошел к себе.

Начиналась самая трудная пора дня. Керосину не было, и освещались деревянным маслом: в чайном стакане с маслом плавал пробочный поплавок с фитильком. Получался свет, как от лампы. Нельзя было ни читать, ни работать. Анна Ивановна вязала у стола, сдвинув брови и подняв на лоб очки. Когда-то она была революционеркой, но давно уже стала обыкновенной старушкой; остались от прежнего большие круглые очки, и то еще, что она не верила в бога. Иван Ильич медленно расхаживал по узкой спальне, кипя от вынужденного бездействия. В железной печке полыхали дровешки, от нее шел душный жар. По крыше шумел злобный норд-ост, море в бешенстве бросало на берег грохочущие волны. Катя убралась с посудой и ушла в бывшую комнату для прислуги за кухней, где она теперь жила зиму. Там, не жалея глаз, она села с книгой к своей коптилке.

Вечером пили в кухне чай. Снаружи в кухонную дверь постучались. Иван Ильич отпер.

– А-а, профессор!

Вошел профессор с женой, – знаменитый академик Дмитревский, плотный и высокий, с огромной головой. Его работы по физике были широко известны за границу. Несколько лет назад он открыл способ опреснения морской воды силою солнечной энергии и работал над удешевлением этого способа. Но все сложные аппараты остались в России, а он второй год проживал на своей крымской даче, паял мужикам посуду и готовил для потребилки жестяные коптилки. Кроме того, впрочем, два раза в неделю ездил в город и читал в народном университете лекции по физике. Среди рабочих они пользовались большою популярностью.

Сочным, жизнерадостным голосом, наполнившим всю кухню, профессор сказал:

– Ну, погодка! Еле дошли до вас. Ветер еще сильнее стал, с ног сшибает. Мокреть какая-то падает и сейчас же замерзает... Gruss aus Russland!\*

\* Привет из России! (нем.)

Он счищал ледяшки с седой бороды и усов. Профессорша скорбно вздохнула.

– Да, Gruss aus Russland! Так и представляется: холод, все жмутся в дымных, закопченных комнатах, грызут хлеб с соломой и ждут обысков.

Катя сняла со стола самовар и поставила на пол к печке.

– Садитесь, сейчас самовар подогрею.

– Не надо, мы уж пили.

– Все равно, мне нужен кипяток, отруби заварить для поросенка.

Профессорша села на табуретку возле плиты.

– А у меня горе какое, Анна Ивановна! Весь день сегодня плакала... Представьте себе, любимое мое кольцо с бриллиантом, свадебный подарок мужа, – пропало сегодня.

– Что вы говорите, Наталья Сергеевна? Ведь вы же его никогда с пальца не снимали!

– Да... Так странно! – Наталья Сергеевна машинально оглянулась и понизила голос. – Вы знаете княгиню Андожскую?

– Это, что у Бубликова живет, красавица такая?

– Да. Ее мужа, морского офицера, во время революции матросы сожгли в топке парового котла, все их имения конфискованы. Живет она с маленькой дочкой и старухой матерью у Бубликова, все, что было, распродала, он ее гонит из комнаты, что не платит. Ужасно несчастная. Так вот пришла она сегодня утром к нам, я тесто месила. Увидела кольцо и пришла в восторг.

«Как, – говорит, – можно с ним тесто месить! Ведь пачкается кольцо, портится!» – «Боясь, – говорю, – потерять, очень дорого мне это кольцо». Ну, все-таки убедила меня, сняла я

и положила на туалет. Через четверть часа она ушла, а после обеда хватилась я кольца – нету. Весь туалет обыскали, все отодвигали, – нету. Когда княгиня была, муж в столовой мыл пол, он видел, что княгиня подошла к туалету и странно как-то стояла... Только вы, пожалуйста, никому этого не говорите! – испугалась Наталья Сергеевна.

– Может быть, кто другой взял?

– Никого решительно не было больше. Я ей написала письмо, завтра утром пошлю. Уж не знаю... Пишу: вы для шутки взяли мое кольцо, чтоб напугать меня, зная, как оно мне дорого. Пошутили, и будет. Будьте добры прислать назад.

Катя взволнованно воскликнула:

– Да нет, это не может быть! Такая изящная на вид, отпечаток такой глубокой аристократической культуры!

– Тяжелое происшествие! – поморщился профессор.

– Господи, как мы все зачерствели! Ясно, погибает с голоду человек!

Наталья Сергеевна сочувственно вздохнула и, занятая своими заботами, продолжала:

– А вы слышали, у Агаповых вчера ночью выбили стекла. У священника на днях кухню подожгли. Чуют мужики, что большевики близко... Господи, что же это будет! Так я боюсь, так боюсь! Двое мы на даче с мужем, одни, он – старик. Делай с нами, что хочешь.

Катя нетерпеливо закусил губу и стала подкладывать в самовар угля. Она не выносила этого ноющего, тревожного тона профессорши, с вечными страхами за будущее, с нежеланием скрывать от других свои горести и опасения. Разве теперь можно так?

Профессор обратился к Ивану Ильичу:

– Заметили вы, как деревня опустела? Вся молодежь ушла в горы. Это – ответ деревни на мобилизацию краевого правительства. Ни один не явился. Говорят, пришлют чеченцев из дикой дивизии для экзекуции, решено прибегнуть к самым суровым мерам.

Иван Ильич захохотал.

– Это – добровольческая армия!

– Да-а... Дело с каждым днем усложняется. Говорят, на днях в деревне были большевистские агитаторы, собрали сход и объявили, чтобы никто не являлся на призыв, что красные войска уже подходят к Перекопу и через две недели будут здесь. А в городе я вчера слышал, когда на лекцию ездил: парходные команды в Феодосии бастуют, требуют власти советам; в Севастополе портовые рабочие отказались разгружать грузы, предназначенные для добровольческой армии, и вынесли резолюцию, что нужно не ждать прихода большевиков, а самим начать борьбу. Агитаторы так везде и кишат.

Анна Ивановна взволнованно сказала:

– Ведь ждали, в Феодосии должен был высадиться греческий десант!

– Да, но высадился он в Константинополе. Там революция, правительство бежало.

– Господи, что это творится в мире! – с отчаянием сказала Наталья

Сергеевна. – Неужели союзники бросят нас на произвол! Говорят, французы оставили Одессу... Я все об одном думаю: придут большевики в Крым, – что тогда будет с Митей?

Иван Ильич расхаживал по кухонке. Он угрюмо сказал:

– Охота ему была идти в добровольцы!

– Так ведь вы же знаете его: человек совершенно аполитический. Ему бы только сидеть в кабинете со своими греческими книгами, на уме у него только элевсинские мистерии, кабирь какие-то. Объявили призыв, – что же мне, говорит, – скрываться, жить нелегально? Я на это неспособен.

У Кати стало неестественное лицо, когда Наталья Сергеевна заговорила о сыне. Она равнодушно спросила:

– Давно он вам не писал?

– Давно. И все в боях. Так за него сердце болит!

Сильный стук раздался в кухню. Блеснули золотые погоны, молодой голос оживленно сказал:

– Мир вам! Здравствуйте! Папа и мама не у вас?

– Митя!!

Все вскочили и бросились навстречу.

Бритый, с тонким и обветренным лицом, с улыбающимися про себя губами, Дмитрий сидел за столом, жадно ел и пил, и рассказывал, с жадною радостью оглядывая всех.

Их полк отвели на отдых в Джанкой, он обогнал свой эшелон и приехал, завтра обязательно нужно ехать назад. Он останавливал взгляд на Кате и быстро отводил его. Наталья Сергеевна сидела рядом и с ненасытной любовью смотрела на него.

– Ну, что у вас там, как? Рассказывай.

– А вы знаете, оказывается, у вас тут в тылу работают «товарищи». Сейчас, когда я к вам ехал, погоня была. Контрразведка накрыла шайку в одной даче на Кадыкое. Съезд какой-то подпольный. И двое совсем мимо меня пробежали через дорогу в горы. Я вовремя не догадался. Только когда наших увидел из-за поворота, понял. Все-таки пару пуль послал им вдогонку, одного товарища, кажется, задел – дольше побежал, припадая на ногу.

Катя приглядывалась к Дмитрию. Что-то в кем появилось новое: он загрубел, движения стали резче и развязнее, и он так просто рассказывал о своем участии в этой охоте на людей.

Иван Ильич засмеялся.

– Ого, какой вояка стал!

Профессор поспешно спросил:

– Как дела у вас в армии?

– Знаешь, папа, смешно, но это так: мы там меньше знаем, чем вы здесь.

– Нет, я не про то. Какое в армии политическое настроение? За что вы, собственно, сражаетесь?

Дмитрий неохотно ответил:

– Розно. Есть части, совершенно черносотенные, только о том и мечтают, чтобы воротить старое – например, сводно-гвардейский полк, высший командный состав. Но офицерская молодежь, особенно некадровая, почти сплошь за учредительное собрание.

Иван Ильич захохотал своим раскатистым смехом.

– И вы верите, что вас не проведут на мякине, как наивных воробушков?

Дмитрий слабо и виновато улыбнулся. Катя размешивала деревянной ложкой заваренные кипятком отруби. Он спросил:

– Что это вы, Катя, мастерите?

– Месиво для поросенка. Сейчас пойду кормить. – Она надела пальто, повязалась платком. – Хотите посмотреть поросенка моего?

– Пойдемте! Давайте, я миску понесу... Мама, мы сейчас.

– Только оденься, холодно.

Ветер шумно пронесся сквозь дикие оливы вдоль проволочной ограды и бешено бил в стену дачи. Над морем поднимался печальный, ущербный месяц. Земля была в ледяной коре, и из блестящей этой коры торчали темные былки прошлогодней травы.

Катя с Дмитрием зашли по ту сторону дачи. Под лестницею на мезонин был чуланчик, из него несло взволнованное хрюканье и повизгивание.

– Давайте миску. – Катя отперла дверь и исчезла с мискою в темноте чулана. Послышался ее смеющийся голос: – Погоди, дурачок!.. Ах, ты, господи! Миску опрокинешь!.. Пошел прочь! Ну, ешь!

Она вышла из чулана. Дмитрий протянул ей обе руки.

– Ну, Катя, здравствуйте!

И крепко пожимал ей руки, и смотрел в похорошевшее лицо.

– Рассказывайте, Катя, как вы тут живете.

– Как живу. Я всегда хорошо живу. Может, надоест, а сейчас очень интересно все. Вот поросенок этот, – сколько нового, неожиданного, я и не думала, что свиньи такие умные. Наседка уж сидит на яйцах. В стирке я нашла новый способ. И еще очень интересно в кухне готовить. Вы знаете, – если слушать, у всех вещей свои голоса. Каждая кастрюля на плите, каждая сковородка имеет свой звук. Я, не глядя, слышу, когда закипает молоко, когда каша густеет. Очень интересно в этом шипенье и клокотанье ловить чуть слышные живые голоса. И новые кушанья выдумывать. Не видишь времени. Дни, как стрелки: проносятся – жжик, и падают.

Дмитрий смотрел на нее говорящими глазами и улыбался.

– Смотрю я на вас, и мне вспоминается Паскаль. Он говорит, что мысль наша всегда обращена к прошедшему и будущему, а о настоящем мы никогда не думаем, и поэтому никогда не живем, – только все надеемся жить... А вот вы это умеете, – из всего извлекать настоящее. Как это редко!

– Ну, Дмитрий, это все пустяки. Расскажите про себя. Правду. Что у вас?

– Что у нас... Катя, так скверно, так скверно, что хуже и нельзя! Нигде никаких решительно корней, народ относится к нам враждебно, весь пропитан большевистской злобой, совершенно одичал, звериные стали глаза и звериные алчные лапы, – только рвать, забирать себе все, что увидят. И сам тоже звереешь. Кругом кровь, грязь без конца. И в каком-то далеком прошлом представляется, – лампа с зеленым абажуром, Эсхил, Гераклит, несравненный мой Эрвин Роде, Виламовиц. И кажется, – никогда уже, никогда это никому не будет нужно. Происходит новое нашествие варваров. Ведь, по существу, это война против культуры, против всех высших духовных ценностей. Вместо науки – публицистика «Правды», вместо поэзии – Демьян Бедный, вместо живописи – толстопузые попы и звероподобные генералы на плакатах.

– Дмитрий, нельзя так. Это же временное.

– Временное? А культура гибнет, кругом всё разрушают, жгут, разваливают. Что мне до того, что в свое время пришло Возрождение? А Венера-то Милосская – без рук, фидиевы скульптуры безголовые, от Архилоха, Сафо, Гераклита остались одни клочья. А главное, и в народ я теперь потерял всякую веру. Теперь он открыл свой подлинный лик, – тупой, алчный, жестокий. Какой беспросветный душевный цинизм, какая безустойность! В самое дорогое, в самое для него заветное наплевали в лицо, – в бога его! А он заломил козырек, посвистывает и лущит семечки. Что теперь когда-нибудь скажут его душе Рублев, Васнецов, Нестеров?

Растрепанные тучи мчались по небу, бесшумные и стремительные. Ветер, как взбесившаяся хищная птица, налетал из-за угла, толкал обоих в спину и начинал яростно трепать оледенелые ветки акаций и тополей.

– Холодно вам, Дмитрий? А правда, не хочется уходить?

– Ничего, пусть холодно.

– Вот что. Пойдем на террасу. Она на юг, там тихо.

Стульев не было на террасе, был только большой садовый стол. На столе кучами лежала мерзлая земля, черепки разбитых садовых горшков, путаная мочала. Шум ветра был меньше слышен, но зато море грохотало. Под студено-зеленоватым лунным светом белые водяные горы вырастали, казалось, перед самой террасой и вдруг проваливались куда-то.

– Дмитрий, зачем вы все-таки идете вместе с ними? Неужели вы не чувствуете, за что борются ваши?

Дмитрий озлобленно ответил:

– За что бы ни боролись! С кем угодно, только против этих мерзавцев!.. Ох, Катя, вы их тут не знаете, в своем далеке. Если бы увидели своими глазами, – прокляли бы жизнь, прокляли бы все на свете... – Он взволнованно замолчал. – Я никому не хотел рассказывать, – ну, вам расскажу. Только не говорите никому. Я тут привез Агаповым кой-какие вещички их убитого сына Марка. Он убит, да. Но как... Под Татаркой был у нас бой. Впереди матросы шли на нас, в кожаных куртках, – сомкнутой колонной, по германскому образцу. Нужно отдать справедливость, – как львы, шли под пулеметным огнем. К вечеру разбили нас и погнали. Ротный наш командир упал с простреленной ногою, махнул нам рукой и устроил себе смерть под музыку.

– Это что такое?

– Ручную гранату под голову, дернуть капсюль и трах!.. Это у нас называется смерть под музыку. Чтоб живым не попасться в их руки... Рассеялись мы во все стороны. Едет в тачанке мужчина мещанистого вида. Револьвер ему ко лбу, снял с него пиджак, брюки, переделся и побежал балкою.

Катя вздрогнула.

– Вот вы еще чем можете возмущаться! – улыбнулся Дмитрий. – Вижу, тащится Марк, на руке несет другую свою руку, раздробленную в локте. Повел его. Уж ночь. Вдали лай собак,

огни. Осторожно подходим, вдруг: «Стой! Кто идет?» Взяли нас, повели. Железнодорожный полустанок, весь зал набит матросами. Огромный, толстый матрос, – я бы под мышку подошел ему, – подходит ко мне: «Кто такой?» – Мещанин, говорю, мелитопольский. Вижу, раненый человек, повел его, не знаю, кто таков. – «А-а, – говорит, – ваше благородие!» Развернулся и кулаком Марка в ухо.

– Раненого?

– Раненого. Пошел он летать под кулаками и пинками по всему залу. Перебитая рука мотается, вопль, – понимаете, животный вопль зверя, которого забивают насмерть...

Катя глухо застонала.

– Не надо!

Дмитрий беспощадно продолжал:

– Скоро замолк, а тело все летает из конца в конец. Тяжелыми сапогами с размаху в лицо, хохот, грубые шуточки... Толстый ко мне: «Ну-ка, товарищ, пойдись сюда!» Руку мне за пазуху. Нашупал во внутреннем кармане жилетки бумажник, вытаскивает. А там удостоверение мое, – поручик Дмитревский. Развернулся наотмашь, и дальше я ничего не помню... Очнулся в комнатке кассира, в окошечко билетной кассы из зала свет. Лежит рядом Марк с раздутым, черным лицом, со стеклянными глазами, уж не дышит. Ощупываю себя. Тело ноет, но кости целы. Вдали выстрелы, все ближе. Пулемет затрещал, звенят разбитые стекла. Суматоха, матросы попадали на пол. – «Это недоразумение! Свои!» Комиссар к телефону. Вдруг – «ура!» Нет, не «свои»... Граната ручная в залу, матросы поскакали в окна, выстрелы, лампа упала и потухла. Открывается дверь, входят двое в нашу комнатку, один нажал кнопку электрического фонарика карманного, свет упал на его рукав, – череп с перекрещенными мечами. Марковцы!.. Я хотел крикнуть, и только мог застонать. Они назад. – «Господа! Тут еще товарищи!» Я собрал все силы, крикнул: «свои! свои!» И опять потерял сознание.

Он замолчал. Катя вздрагивала короткими толчками всего тела.

Ветер завыл и с шумом пронесся поверху. Чудовищные волны лезли на берег, шипели пеною, разбивались с гулким, металлическим звоном и, задохнувшись, ползли назад.

– И вот теперь, Катя, подумайте...

– Не надо говорить... – Катя блуждала вокруг глазами. – Что это за звон кругом? Такой нежный–нежный?

Дмитрий с недоумением смотрел на нее.

– Я не слышу. Море гудит.

Катя настойчиво сказала.

– Нет, другой какой–то звон. Стеглянный, особенный.

– А ведь правда.

– Ах, вот что! Это ветки оледенелые звенят... Как странно!

Они подошли к перилам. Ледяшки, облепившие ветки акаций, стукались под ветром друг о друга, и мелодический, тихий, хрустальный звон стоял в воздухе, независимый от медного рева моря.

– Пойдем, – сказала Катя.

Они пошли. За домом рев моря стал глуше, и яснее раздавался по всему саду таинственный, нежный хрустальный звон.

Катя остановилась.

– Дмитрий! – Она, задыхаясь, смотрела на него. – Митя! Милый мой! Так вот что тебе приходится там...

Она вдруг охватила его шею руками и крепко поцеловала.

– Катя!

Девушка припала к его плечу, он заглядывал в ее румяное от холода, небывало–прекрасное лицо и целовал в губы, в глаза.

Катя, спеша, развешивала по веревкам между деревьями сверкающее белизною рваное белье. С запада дул теплый, сухой ветер; земля, голые ветки кустов, деревьев, все было мокро, черно, и сверкало под солнцем. Только в углах тускло поблескивала еще ледяная кора, сдавливавшая у корня бурые былки.

Пришел, наконец, штукатур Тимофей Глухарь с сыном Мишкой. Иван Ильич сговорился с ним.

– Ладно, пятьдесят рублей. Только уж хорошенько все замажьте, перемените, где нужно, черепицы. Года два, говорите, простоит крыша?

– И пять простоит, ручаюсь вам... Где известка? Мишка, пойдём.

Они замешивали известку. Иван Ильич спросил:

– Вы, говорят, большевик?

Тимофей поспешно ответил:

– Какой я большевик, что вы! Хулиганье это, мошенники, – слава богу, нагляделись на них.

– А ведь вы были в революционном комитете при первом большевизме.

– Заставили идти, что ж было делать? Не пошел бы – на мушку. А мне своя жизнь дорога.

Иван Ильич обрадовался и стал рассказывать о большевистских зверствах в России, о карательных экспедициях в деревнях, о подавлении свободы мысли среди рабочих, о падении производительности труда, о всеобщем бездельничестве.

Глухарь поддакивал.

– Это действительно! Да, конечно! Разве наш народ на всех станет работать! Каждый только и норовит для себя урвать.

Парень Мишка с неопределенною усмешкой слушал.

Катя развесила белье и поспешила к Дмитревским.

Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете готовился к лекции.

– А где Дмитрий?

– Дрова колет в сарае, сейчас придет. – Наталья Сергеевна почему-то сильно волновалась. – А вы знаете, мы вчера с Митей засиделись до пяти часов утра.

В дверь постучались. Срывающийся женский голос спросил:

– Можно войти?

Наталья Сергеевна побледнела.

– Княгиня. Вы знаете, я ей утром письмо-таки послала. Ах, боже мой!.. Можно, можно!

Растерянно улыбаясь, она суетливо пошла к двери. Княгиня вошла, – с огромными, широко открытыми глазами, с не улыбающимся лицом.

– Наталья Сергеевна! Я сейчас получила ваше странное письмо... Как вам это могло прийти в голову? Да разве бы я позволила себе так шутить с вами?.. Хорошо ли вы везде искали?

– Кажется, все переглядела.

– Ведь вы, я помню, на туалет кольцо положили. Отодвигали вы туалет?

Наталья Сергеевна поспешно ответила:

– Нет.

– Позвольте, я посмотрю.

Княгиня стала отодвигать туалет. Наталья Сергеевна продолжала сидеть на месте.

– Ну, так и есть! Вот же оно! У плитуса лежало, среди сора.

Она поднялась и протянула кольцо.

– Ах, так вот, где было... Да. Да.

Наталья Сергеевна взяла кольцо, избегая смотреть княгине в глаза. И та тоже не смотрела. И говорила облегченно:

– Ну вот! Слава богу! Я так рада... И как вы могли подумать, что я стала бы с вами так шутить. Не хватало бы, чтобы вы меня в краже заподозрили! – весело засмеялась она.

– Что вы, княгиня! – всполошилась Наталья Сергеевна.

Княгиня посидела немножко и ушла. Из кабинета вышел профессор и остановился на пороге. Молчали. Катя спросила:

– А вы смотрели за туалетом?

Наталья Сергеевна заговорщицки ответила:

– Все, все пересмотрела! Несколько раз отодвигала. И сору-то там никакого уж не было, я все вымела. А она так сразу и нашла!

Профессор поморщился и пошел обратно к себе в кабинет. Вошел с террасы Дмитрий.

– Ну, мама, дров наколот тебе на целый месяц. А-а, Катя!.. Мама, мы сейчас пройдемся, мне нужно отнести Агаповым вещи Марка.

– Скорей только возвращайтесь. Через полчаса завтрак будет готов.

Катя с Дмитрием вышли. Дмитрий сказал:



– Забыл я топор в дровяном сарае. Зайдем, я возьму.

В сарае Дмитрий обнял Катю и стал крепко целовать. Она стыдливо выпросталась и умоляюще сказала:

– Не надо!

– Ну, Катя...

– Вот сколько ты дров наколол!.. Где же топор?

– Э, топор! Его вовсе тут и нету.

Дмитрий крепко сжимал Кате руки и светлыми глазами смотрел на нее. Она сверкнула, быстро поцеловала его и решительно двинулась к выходу.

– Пойдем!

Они пошли вдоль пляжа. Зелено-голубые волны с набегающим шумом падали на песок, солнце, солнце было везде, земля быстро обсыхала, и теплый золотой ветер ласкал щеки.

Катя просунула руку под локоть Дмитрия и сказала:

– Вот что, Митя! Что ты вчера рассказал про себя, про Марка, – это что-то такое огромное, – как будто все эти горы вдруг сдвинулись с места и несутся на нас. Я всю ночь думала. Это и есть настоящая война. Если люди могут друг друга убивать, все жечь, разрушать снарядами, то пред чем можно тут остановиться? Так уж много нарушено, что остальное пустяки. А когда идут рыцарства и всякие красные кресты, это значит, что такие войны изжили себя и что люди сражаются за ненужное. И знаешь, мне начинает казаться: когда победитель бережно перевязывает врагу раны, которые сам же нанес, – это еще ужаснее, глупее и позорнее, чем добить его, потому что как же он тогда мог колоть, рубить живого человека? Настоящая война может быть только в злобе и ненависти, а тогда все понятно и оправдательно.

Дмитрий слушал с серьезным лицом, с улыбающимися для себя тонкими губами.

– Это оригинально.

– Нет, это правда. И вот, Митя... Те матросы, – они били, но знали, что и их будут бить и расстреливать. У них есть злоба, какая нужна для такой войны. Они убеждены, что вы – «наемники буржуазии» и сражаетесь за то, чтобы оставались генералы и господа. А ты, Митя, – скажи мне по-настоящему: из-за чего ты идешь на все эти ужасы и жестокости? Неужели только потому, что они такие дикие?

В глазах Дмитрия мелькнули страдание и растерянность, как всегда при таких разговорах.

– Это, Катя, сложный вопрос.

– Ничего не сложный.

Дмитрий украдкой оглянулся, поднес Катину руку к губам и шепотом сказал:

– Зачем, зачем теперь об этом говорить? Катя! Так у нас мало времени, – давай забудем обо всем. Когда мы опять свидимся! А мы будем ворошить то, чего все равно не изменить... Вот дача Агаповых. Зайдем.

– Я с какой стати? Не хочу я к ним. Я тебя здесь подожду.

– Ну, хорошо. Только отдам, и сейчас.

Он ушел. Садовник вскапывал клумбы у широкой террасы. Маленькая, сухая Гуриенко-Домашевская стояла у калитки своей виллы и сердито кричала на человека, сидевшего на скамеечке у пляжа.

– Пьянчужка несчастный! Тут тебе не кабак! Думаешь, большевики близко, так и нахальничаешь! Подожди, пока твои большевики подойдут!

Человек на скамейке отругивался. Катя узнала пьяницу столяра Капралова, сторожа Мурзановской дачи. Гуриенко ушла. Катя подошла к нему.

– Чего это она?

– Хе-хе! Ч-чертово окно! Пошел, говорит, прочь отсюда, мужик! Не смей тут петь, мне беспокойство!.. Да разве я у тебя? Я на бережку сажу, никого не трогаю... Какая язвенная! Сажу вот и пою!..

Мой полштоф в кармане светит,  
Рюмки гаснут на носу,  
Ночью нас никто не встретит,  
Мы проспимся на мосту...

Ты, говорит, большевик! Нет, говорю, я не большевик. А все-таки, когда большевики придут, – ей-богу, голову тебе проломлю!

– А вы не большевик?

– Нет, не большевик! Когда в летошнем году экономию Бреверна разносили, я им прямо объяснил: то ли вы большевики, то ли жулики, – неизвестно. Тащит каждый, что попало, – кто плуг, кто кабанчика; зеркала бьют. Это, я говорю, народное достояние, разве так можно? Вот дайте мне бутылочку винца, – очень опохмелиться хочется. «Ишь, – говорят, – какой смиренный!» Да-а... А вы что такое делаете? За это они меня теперь ненавидют... Жизнь разломали, – как ее теперь налаживать? И с той, и с другой стороны идет русский народ. Братское дело! Брат на брата, товарищ на товарища!

Глаза у него были умные и серьезные, тою интеллигентною серьезностью, при которой странно звучало: «каждый» и «в летошнем году». Катя из глубины души сказала:

– Ах, Капралов, зачем вы пьете!

– Гм! Как пью, – все видят. А как работаю – никто не замечает!

– Катерина Ивановна!

К ним бежала от дачи Ася Агапова.

– Катерина Ивановна! Мы арестовали Дмитрия Николаевича, не выпускаем его, пока не выпьет кофе. А он рвется к вам, совесть его мучит, и кофе останавливается в горле. Сжальтесь над ним, зайдите к нам!

Была она хорошенькая и вся сверкала, – глазами, улыбкою, открытою шейкою. Катя увидела, что не отделаешься, и встала. Капралов, когда она с ним прощалась, придержал ее руку.

– А только все-таки имейте в виду: будет народное одоление. Все равно, как мошкара поперла. Нет сильнее мошки, потому, – ее много. А буржуазии – горстка. И никогда ей теперь не одолеть. Проснулся народ и больше не заснет.

У Агаповых было чисто, уютно и тепло, паркет блестел. На белой скатерти ароматно дымился сверкающий кофейник, стояло сливочное масло, сыр, сардинки, коньяк. Деревенский слесарь Гребенкин вставлял стекла в разбитые окна.

Катя со всеми поздоровалась, подошла и к Гребенкину, протянула ему руку.

– Александр Васильевич, вы разве и стекольщик? Ведь вы же слесарь?

Гребенкин, с впалою грудью, исподлобья взглянул обрадованными глазами и развязным от стеснения голосом ответил:

– Я на все руки мастер: и слесарь, и стекольщик, и огородник, и спекулянт.

– Екатерина Ивановна, садитесь кофе пить, – позвала г-жа Агапова.

Катя чувствовала, – всем стало враждебно-смешно, что она поздоровалась с Гребенкиным за руку.

Г-жа Агапова рассказывала Дмитрию, как ночью кто-то выбил у них на даче стекла, как ограбили по соседству богатого помещика Бреверна.

– До чего дошло! До чего дошло! А как мы все радовались революции! Я сама ходила в феврале с красным бантом...

Муж ее, невысокий, с остриженной под машинку головою и коротко подрезанными усами, курил сигару и ласково улыбался.

– Ну, что же, ну, говорите нам прямо: как у вас дела в армии? – допрашивала Агапова. – Сумеете вы нас защитить или нет?

Дмитрий посмеивался.

– Сумеем!

Чухоточный адвокат Мириманов, – у него была в поселке дачка, и он по праздникам наезжал из города отдохнуть, – покосился на стекольщика и знающим голосом тихо сказал:

– Скоро уж не будет надобности вас защищать.

– Почему?

Мириманов посмеивался своими умными глазами.

– Скоро все так переменится, что вы даже не ожидаете. – Он помолчал. – Ленин уже два месяца ведет тайные переговоры с великим князем Борисом Владимировичем. Будет инсценирован государственный переворот. Идеиные вожаки большевизма заблаговременно исчезнут, а всех скомпрометированных прохвостов оставят на расправу, чтобы окружить большевизм

мученическим ореолом и уйти с честью. Ленин, Троцкий и другие получают пожизненную пенсию по пятьдесят тысяч рублей золотом и обязуются уехать в Америку.

– Дай–то бог! – вздохнула Агапова. – Там с ними уж легче будет управиться.

Борис, племянник Мириманова, шушукался с Асей. Лицо у него было бледное, а глаза томные и странно–красивые. Барышни Агаповы сверкали тем особенным оживлением, какое бывает у девушек только в присутствии молодых мужчин. Они изящно были одеты, и красивые девические шеи белели в вырезах платьев. Глаза их, когда случайно останавливались на Кате, вдруг гасли и становились тайно–скупающими и маловидящими.

Катя решительно отказалась от кофе, – потому что она была голодна, потому что ей очень хотелось всего этого вкусного после мерзлой картошки и чаю из шиповника. Дмитрий сидел с Майей, сестрой Аси, они с увлечением говорили о несравненной красоте православного богослужения. Майя смотрела медленными, задумчивыми глазами Магдалины, под взглядом которых так хорошо говорится.

Ася села за рояль и стала петь. Все песни ее были какие–то особенные, тайно–дразнящие и волнующие. Пела об ягуаровых пледах и упоительно мчащихся авто, о лиловом негре из Сан–Франциско, о какой–то мадам Люлю, о сладких тайнах, скрытых в ласковом угаре шуршащего шелка, и обжигающе–призывает был припев:

Мадам Люлю,  
Я вас люблю!  
Ей шепчут страстно и знойно...

Остро вспыхивали брильянты в серьгах Аси. И была дурманящая, сладострастно–ластящая красота в ее песнях. И только мешал шум стекольщика и его чахоточный, как будто намеренно–громкий кашель.

И сверкало солнце. И мягко качались за окнами малахитово–зеленые волны. На Катю музыка всегда действовала странно: охватывало сладкое, безвольное безумие, и душа опьяненно качалась на колдовских волнах, без сил и без желания бороться с ними.

Подошел Дмитрий. От него слегка пахло дорогим коньяком. Он сказал извиняющимся голосом:

– Пять минут еще посидим и уйдем. Знаешь, после бивачной жизни так приятна эта чистота, блеск, эти оживленные лица...

Старик Агапов тоже подошел.

– Странно, знаете, слушать... Девочка, с ее чистой душой, совсем сама не понимает, что поет. Вон, послушайте–ка!

И, благодушно улыбаясь, он потирал руки.

Ах где же вы, мой маленький креольчик,  
Мой смуглый принц с Антильских островов.  
Мой маленький китайский колокольчик,  
Изящный, как духи, как песенка без слов?  
Такой беспомощный, как дикий одуванчик...

Гребенкин прервал пение намеренно–громким, ни с чем не считающимся голосом:

– Хозяин, эти стекла коротки, – наставит кусок, или есть у вас стекла побольше?

Агапов, мягко улыбаясь, подошел к нему.

– Нет, побольше нету. Уж наставьте, ничего не поделаешь.

Потом, как–то странно нараспев, читал стихи Борис, племянник Мириманова. И стихи все были такие же, говорившие о легком, бездумном веселье, праздной и богатой жизни, утонченно–сладострастном соприкосновении мужчин и женщин.

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,  
Я трагедию жизни претворю в грезе–фарс.  
Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском!..

Голос красиво и гибко пел, и баюкал на мелодических стихах. Катя вдруг отдала себе отчет, почему у этого Бориса глаза так странно–красивы и томны: они были искусно подведены снизу тонкою черною черточкой.

Катя с Дмитрием уходили. Барышни убеждали его отложить отъезд до завтра.

– Нынче именины Гуриенко–Домашевской, вечером все будут у нее. Она будет играть; Белозеров, наверно, придет, будет петь.

– Нельзя. Сегодня вечером должен быть в полку.

Они вышли. Катя жадно дышала морским ветром, с души смывалась колдовская красота баюкающей музыки. Она вздрагивала плечами и повторяла:

– Какая гадость! Какая гадость!

Дмитрий удивленно спросил:

– Что гадость?

– Все! Все! Почему гниль может быть такой красивой и душистой? Как будто парфюмерный магазин, где все дорогие духи разбились и пролились, и кружится голова, и не хочется уходить, и вдруг – солнце, ветер, простор... Ах, как хорошо!

Дмитрий слушал с улыбающимися про себя губами. В голове приятно кружилось от коньяку, сверкали пред глазами зовущие девичьи улыбки, было сладкое ощущение покоя и уюта.

– И за них–то вот бороться! Как она спрашивала: «сумеете вы нас защитить?» А тебе не хочется, когда ты смотришь на них, чтоб все это взлетело к черту, чтоб развалилась эта ароматно–гнилая жизнь?

Дмитрию хотелось закрыть душу от рвавшегося в нее из Кати буйно–злобного вихря, и не чувствовалось способности защищать эту жизнь, к которой, однако, в нем не было ненависти. Он взял в руки Катину руку и устало улыбнулся:

– Катя! Мне так ничего не хочется! Так не хочется! Одного только хочется: чтоб был мне какой–нибудь тихий уголок, чтоб никто не тревожил, и чтоб переводить Прокла.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые...

Не пожелал бы я никому этого блаженства!

– Неужели же тебе не интересно сейчас жить?

– Совсем не интересно. Гораздо интереснее было бы изучать все это, как давно минувшее.

Катя впилась в него пристальным, изучающим взглядом, от которого ему стало неловко.

– За что я полюбила тебя? – спросила она, как будто саму себя. И вдруг увидела его бесконечно–усталое лицо, умный, прекрасно сформированный лоб, что–то детски–беспомощное во всей фигуре, – и горячий, матерински–нежный огонек вспыхнул в душе.

Они шли, тесно под руку, по песку вдоль накатывавшихся волн. Дмитрий, с раскрывшейся душой, говорил:

– ...какая–то полная атрофия активности. Там, где нужно мыслить, изучать, искать, у меня энергия неистощимая. Но где в жизни хоть шаг нужно сделать самостоятельный, меня отчаяние охватывает, и сама жизнь становится скучной, грубой и темной...

– Что же это такое?

– Как, что такое?

– Вы же ничего не сделали. Как было, так и есть.

– А это что? Тут какая щель была, ай забыли? Везде, где нужно, подмазали. Что вы такое выдумываете!

– Ну, вот, посмотрите: даже небо сквозь щель видно.

– Так эта щель вбок идет. Будьте покойны, в нее вода не зальется, ручаюсь вам. Если хоть капля протечет, вы за мною пошлите, я вмиг заделаю.

– Ну, вот сейчас вмиг и заделайте.

– Ах–х ты господи! Ведь вот народ! Чтоб этих щелей не было, всю крышу надо перекрывать, я же вам сказывал.

– Вы мне сказывали, что крыша пять лет простоит.

Мишка, как молодой петушок, учащийся петь, сказал:

– Нешто по крыше такой можно лазать? Две черепицы примажешь, а заместо того десять подавишь.

– Э, Мишка, пойдем! Не надо нам ваших пятидесяти рублей. Рады прижать рабочего человека. Эксплуататоры!

– Ваших мне пятидесяти рублей не нужно...

Катя прервала отца.

– И правильно! Конечно, не нужно давать. Сами же они видят, что ничего не сделали.

– Не сделали! Для хозяйского глаза все мало. За грош рады всю кровь высосать из рабочего человека!

Иван Ильич с отвращением молчал и доставал деньги.

– Да зачем же, папа, ты даешь? Пусть суд установит, – стоит эта работа пятьдесят рублей?

– Э, пусть его совесть это устанавливает!

Иван Ильич, не глядя на Глухаря, протянул деньги. Глухарь сунул их в карман и ласково сказал:

– Если печечку занедобится поправить, или потолок заштукатурить, вы пришлите. Мы это тоже можем. До свидания!

Катя напала на отца: как можно было давать деньги за такую работу! Пусть бы в суд подавал!

– Катенька! Смотреть противно! Ну его к черту, только бы с глаз долой!

– Ах, эти интеллигенты наши мягкие! На казнь пойдет – не дрогнет. А что несправедливо назовут эксплуататором, – нет, уж лучше что угодно! Пусть лучше первый жулик обирает средь бела дня, как дурачка!..

Катя порывисто повернулась и пошла в дом.

Гуриенко–Домашевская, известная пианистка, была именинница. Маленькая и сухая, с огромными черными глазами, она с привычно преувеличенным радушием артистки встречала гостей и каждому говорила приятное.

Сидели в просторной, богато обставленной зале и пили чай. Стол освещался двумя кухонными лампочками со стеклами. Чай разливался настоящий. На дне двух хрустальных сахарниц лежало по горсточке очень мелко наколотого сахара. Было вволю хлеба и сыра брынзы, пахнущего невымытыми овцами. Стояло десяток бутылок кислого болгарского вина.

С горько–юмористической хвастливостью хозяйка говорила:

– Вы посмотрите только, вы посмотрите, господа: какое царское освещение! Какие яства! И чай – настоящий! И даже сахар к нему! Роскошь–то

какая... Нужно же перед голодной смертью попировать, как следует, всюю! И в голосе ее было: да, я, знаменитая артистка, имя которой встречается во всяком энциклопедическом словаре – вот как я принуждена жить, и вот что ожидает меня по чьей–то чудовищной несправедливости.

– Не правда ли? Нужно благодарить бога. То ли еще бывает! Певец Беркутов умер в Петрограде от голода, скрипач Менчинский повесился в Москве... Буду и я ждать, что мне готовит судьба...

Возле Кати сидел молчаливый инженер Заброта, с светло–голубыми глазами и длинной шеей чахоточного. Специальности своей он не любил и пятый год на грошевом жалованье работал бухгалтером в деревенском кооперативе. Через Катю он наклонился к Ивану Ильичу и сипло спросил вполголоса:

– Вы получили приглашение на организационное собрание отдельного кооператива дачников?

– Да. В чем тут дело?

– Я хотел об этом сговориться с вами. Гуриенко–Домашевская, Агапов и другие задумали основать дачный кооператив, чтоб отделиться от деревни. Мотивируют тем, что крестьяне неохотно пропускают в правление интеллигенцию и закупают только то, что нужно им самим.

– И верно! – подтвердила Катя. – Мука и ячмень, например, у них у самих есть, они их в потребилке и не держат, а мы нигде не можем достать.

Заброта сурово поглядел на нее.

– Можно их убеждать. Но отделиться – значит загубить деревенский кооператив.

Иван Ильич решительно сказал:

– Не годится!

– И потом: как же интеллигенцию не пропускают? Председатель правления – Белозеров.

– Ах, Белозеров ваш, – воскликнула Катя. – Певец он, конечно, великолепный. Но не нравится он мне. Ищет популярности и во всем поддакивает мужикам. А у самого почему–то всегда все есть, – и мука, и сахар, и керосин. А мы ничего не можем достать.

Местный дачевладелец, о.Златоверховников, с наперсным крестом на георгиевской ленте, рассказывал о большевиках. Он был полковым священником в одной из добровольческих частей и на неделю приехал к себе отдохнуть. Большой, крепкий, с крупными чертами лица, он говорил четким, крепким басом. Недавно под Мелитополем большевики распяли на церковных дверях священника, а в алтаре устроили пирушку с девками. Священник был старик, уважаемый всею паствою. «Товарищи» приставили к нему караул и никого не подпускали. Он пять дней висел на гвоздях и умер от жажды.

Катя засмеялась.

– По крайней мере, раз пятьдесят я уже слышала про этого распятого священника и девок в алтаре, и всё в разных городах.

О.Златоверховников замолчал и внимательно поглядел на Катю.

– Удивительного ничего нет. Во многих городах они это и делают.

И отвернулся. Заброда наклонился к Кате.

– Вы при нем поосторожнее. Он – «даровой сотрудник», в постоянных сношениях с контрразведкой. Доносы написал на полдеревни. Я ему руки не подаю.

Катя прикусила язык. Она заметила, что и все говорили при нем с опаскою.

О.Златоверховников продолжал рассказывать.

– Только удивляться приходится, какое это дикое зверье. Хуже зверья! Кончен, например, бой. Обыкновенно у всех в это время только одно желание: отдохнуть. А они первым делом бросаются раскапывать могилы наших и начинают ругаться над трупами. Находят на это силы! А уж про раненых что и говорить!

Адвокат Мириманов, со своею знающею улыбкою, заставлявшею всех ему верить, рассказал, что недавно в Москве предполагался съезд Коминтерна. Пред открытием зарубежных рабочих–делегатов пригласили на банкет. Фрукты, цветы зимою, шампанское. Декорированные комиссарши. Рабочие поглядели... «Россия ваша погибает от голода и холода, вы выдаете рабочим по полфунта хлеба с соломою, а сами пьете шампанское! Теперь мы знаем, что такое ваш коммунизм». И уехали обратно.

И много все рассказывали.

Как всегда, очень поздно пришел Белозеров, артист государственных театров. Бритый, с желтоватым лицом, с пышными, мелко вьющимися волосами. Его встретили радостными приветствиями. Добродушно и сдержанно улыбаясь, он здоровался. Барышни восторженно смотрели на него.

Хозяйка спросила:

– Вы сегодня из города. Что новенького?

Белозеров взглянул на о.Златоверховникова.

– Вот, батюшка, наверно, больше осведомлен. В городе потрухивают, слухи самые фантастические. Должно быть, так, беспричинные?

О.Златоверховников сказал веско:

– Работа агитаторов большевистских. Дела очень прочны. Вся паника оттого, что войска отступили к Перекопу. Но Перекоп, это – Фермопилы, один полк легко может задержать целую армию. А Деникин тем временем совершает перегруппировку войск.

Белозеров принял из рук хозяйки стакан чаю и подсел к красавице княгине Андожской. Сейчас же, как мухи каплю сиропа, его кольцом обсели дамы.

О.Златоверховников простился и ушел. Белозеров проводил его глазами и потом сказал встревоженно:

– Дела, господа, очень плохи. Не сегодня–завтра большевики будут по эту сторону Перекопа. В городе паника. Сорок банкиров и фабрикантов наняли за двести тысяч отдельный пароход и собираются уезжать.

Гуриенко–Домашевская желчно засмеялась.

– То–то, должно быть, наш большевик деревенский радуется, Афанасий Ханов! Опять его пора приходит... Одного я не понимаю: как его добровольцы не повесят? При первом большевизме был комиссаром уезда, а спокойно расхаживает себе на воле, и никто его не трогает.

Профессор Дмитревский сказал:

– Это прекраснейший человек. И очень интересный, с ищущей душой.

Хозяйка низко поклонилась Дмитревскому.

– Очень вас благодарю, профессор, за эту прекрасную душу! Когда был комиссаром, встречает меня: «мы вашу дачу, Антонина Павловна, реквизируем под народный дом». – Прекрасно! – говорю. – А свой двухэтажный дом в деревне вы подо что реквизируете?

– И свой бы дом реквизировал. Вы знаете, ведь он нижний этаж его отдал под кооператив даром, ничего за это не берет.

– Это верно, – подтвердил Заброда.

– Пусть свое отдает! А какое же он имеет право распоряжаться моим? Я тоже тяжелым трудом нажила свою дачу. Никого не эксплуатировала, все зарабатывала вот этими руками!

Жена профессора вздохнула.

– Да. Другие вот уезжают. А нам приходится тут сидеть и ждать.

Агапов, скромно сидевший с сигарой в уголке дивана, вдруг сказал, ласково улыбаясь:

– Ничего не поделаешь: придется сидеть и ждать. Нужно же сказать правду: идет истинно народная власть. И пусть приходят, я рад. Хоть какой–нибудь порядок.

Все удивленно молчали. Хозяйка, подняв брови, глядела на Агапова.

– Раньше вы, Михаил Михайлович, иначе говорили... Вот как отберут у вас большевики ваш миллион, который вы из Москвы привезли, тогда узнаете, какой порядок.

– Какой миллион? – Агапов весело засмеялся про себя. – Я бога благодарил, что удалось провезти сорок тысяч. А говорю я с высшей точки. Рад я, не рад, а признать нужно, что только у большевиков настоящая сила.

Белозеров настороженно прислушивался. Профессор Дмитревский своим громким, полным голосом сказал:

– Да, печально это, но я с Михаилом Михайловичем вполне согласен. Широкие народные массы за большевиков, – это неоспоримо.

Иван Ильич вскипел:

– Та–ак–с!.. И отсюда выходит, – идти большевикам навстречу? Приветствовать их приход? Если широкие народные массы за еврейский погром, то прикажете мне идти с ними, бить жидов?

Профессор мягко возразил:

– Я этого не говорю. Но борьба с ними бессмысленна и не имеет под собою почвы. Добровольцы выкидывают против них затрепанные, испачканные грязью знамена, и народ к белым откровенно враждебен. Сейчас же только эти две силы и есть. Надо же нам, истинным демократам и социалистам, честно взглянуть правде в глаза, как бы она тяжела ни была.

Заброда неодобрительно замычал. Закипел ярый спор между Иваном Ильичом и профессором. Агапов поддерживал профессора. Мириманов молча слушал, едко улыбаясь про себя. Хозяйка и остальные гости были за Ивана Ильича, но, от их поддержки, спор все время сбивался с колеи: у них была только неистовая злоба к большевикам, сквозь которую откровенно пробивалась ненависть к пробудившемуся народу и страх за потерю привычных удобств и выгод.

Как только спор стал принимать острый характер, и в колючих глазах хозяйки забегали недобрые огоньки, профессор искусно замял разговор и стал просить хозяйку сыграть.

Гуриенко–Домашевская погасила огоньки в глазах и ласково улыбнулась.

– Ну, как хозяйка, уж начну первая. А потом будем просить спеть Владимира Ивановича.

Гуриенко села за рояль. Она играла Бетховена, Шопена. Большие глаза ее засветились загоревшимся изнутри светом и стали прекрасными. И вдруг все злобное, придавленное, испуганное стало таять в людях и испаряться. В полутемной зале засияла строгая, величавая красота.

Кате бросилась в глаза княгиня Андожская. Она грустно сидела, опустив голову на руку, – изящная, с отпечатком тонкой, многовековой культуры в лице и движениях. Но чисто вымытая шея пестрела красными точками от блошиных укусов; красивые руки были красны, в черных трещинках; спереди во рту не хватало одного зуба. И это кольцо! Это кольцо! Как последняя горничная... Пройдет еще полгода, – и вся многовековая культура сползет с

нее, как румяна под дождем, станет она вульгарною, лживою, с жадно приглядывающимися исподтишка глазами, – такую, каких она раньше так презирала и чьими трудами создавалось благородное ее изящество. Лежит прекрасная лилия, вырванная с корнем, и уж не будет ей жизни, и другие какие-то цветы зацветут на развороченной почве... А возле Белозерова сидели барышни Агаповы. Их еще не коснулось лихолетье: бриллианты в ушах, белые ручки, изящные платья... А они, – они тоже уже назади? Или выплывут из моря, куда их сбросит налетающий вихрь, и опять воротятся со своими лиловыми неграми и томно-сладострастными креольчиками?

Гуриенко заиграла «Осеннюю песню» Чайковского. Затасканная мелодия под ее пальцами стала новой, хватающею за душу. Липовые аллеи. Желтые листья медленно падают. *Les sanglots longs des violons de l'automne\**. И медленно идет прекрасный призрак прошлого, прижав пальцы к глазам.

\* Долгие рыдания осенних скрипок (франц.).

Княгиня низко опустила голову, плечи ее стали тихонько вздрагивать. Катя быстро пересела к ней.

– Ну, княгиня, не надо!.. Я давно на вас смотрю... Нужно стать выше судьбы, нужно бодро нести все, что бы ни послала жизнь...

Она взяла в руки ее руку и стала нежно гладить. Княгиня удивленно взглянула, – они были едва знакомы, – и вдруг порывисто сжала в ответ руку Кати. И молчала, сдерживая вздрагивания груди, и крепко пожимала Катину руку.

Ни сна, ни отдыха измученной душе,  
Мне ночь не шлет отрады и забвенья –

запел Белозеров.

Это был какой-то пир: пел Белозеров, опять играла Гуриенко–Домашевская; потом пели дуэтом Белозеров с княгиней. Гости сели за ужин радостные и возрожденные, сближенные. И уж не хотелось говорить о большевиках и ссориться из-за них. Звучал легкий смех, шутки. Вкусным казалось скверное болгарское вино, пахнувшее уксусом. У Ивана Ильича шумело в голове, он то и дело подливал себе вина, смеялся и говорил все громче. И все грустнее смотрела Анна Ивановна, все беспокойнее Катя.

Расходились. Иван Ильич, с всклоченными волосами, жарко жал руки Домашевской и Белозерову.

– Спасибо вам, мои хорошие! Встряхнули душу красотой. Легче стало дышать!

Было тихо, тепло. Ущербный месяц стоял высоко над горами. Впереди по шоссе шли Анна Ивановна и Катя с княгиней, за ними сзади – Иван Ильич, Белозеров и Заброда. Иван Ильич громко говорил, размахивая руками.

У канавки шоссе, близ телеграфного столба, густой кучкою сидели женщины в черных одеждах, охватив колени руками. Месяц освещал молодые овальные лица с черными бровями. Катя взгляделась и удивилась.

– Смотрите! Да ведь это наши деревенские! Васса, Дока! Вы это? Чего вы тут сидите?

Женщины молчали. Наконец одна сказала:

– Дикая орда идет из города.

– Какая дикая орда?

– Один болгарин наш прискакал, подал весть: всех девок себе забирают.

– Да что это за дикая орда?

Деловито вмешался Иван Ильич:

– Не понимаешь! погоди, я сейчас разберу... Это дикая дивизия значит, чеченцы. Правильно?

– Ну, да.

– Вы-то чего же, красавицы, испугались?

– Наши у фонтана стерегут. Как дадут весть, в горы побежим, в сады.

Иван Ильич захохотал пьяным смехом.

– Да не за вами они идут, дурочки! Они парней идут ловить, что на мобилизацию не явились. Им лучше скажите, чтоб в горы утекали!



Девушки молчали.

– Ну, ну! Сидите уж! Оно, конечно, все–таки вернее и вам уйти... Сидите, девочки мои хорошие!

Пошли дальше. Иван Ильич вздохнул.

– Эх, хорошо бы выпить теперь! Как следует! Так, чтобы этот однобокий дурак на небе заплясал.

– Выпить сейчас хорошо, – согласился Белозеров. – Знаете, что? Зайдем ко мне. У меня вино есть. Хорошее! Барзак, старый.

– Да неужто?! Благодетель! Вот это так штука!.. Нюра, Катя! – закричал он. – Вы дойдите одни до дому, – ничего, тут недалеко. А мы к маэстро на часок зайдем, по пьяному делу.

Белозеров жил совсем один в маленькой уютной дачке недалеко от шоссе. Месяц светил в большие окна, в углу блестел кабинетный рояль. Белозеров зажег на столе две толстых стеариновых свечи. Осветилась над роялем полированная ореховая рама с Вагнером в берете.

Иван Ильич удивился.

– Ого! Вот буржуй! Как живет! И свечи есть.

Белозеров лихо подмигнул.

– В Петрограде еще запасся, давно. Я человек коммерческий. Покупал у кондукторов по двадцать пять копеек фунт. Столько напас, что перед отъездом с полпуда знакомым распродал по два рубля за фунт.

– Ловко! – расхохотался Иван Ильич. – Слышишь, хохол? – обратился он к Заброде. – Знакомым по два рубля, а незнакомым, наверно, рубликов по пяти. Вот они где, спекулянты–то!.. Ты, брат, у меня смотри! – погрозил он Белозерову пальцем. – Певец ты божественный, но душа у тебя... по–до–зрительная! Я тебя насквозь вижу!

Белозеров кисло улыбнулся и пошел за вином.

Уж несколько опорожненных бутылок стояло на столе. Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Иван Ильич говорил. Он рассказывал о бурной своей молодости, о Желябове и Александре Михайловне, о Вере Фигнер, об огромном идеалистическом подъеме, который тогда был в революционной интеллигенции.

– И вот теперь все разбито, все затоптано! Что пред этим прежние поражения! За самыми черными тучами, за самыми слякотными туманами чувствовалось вечно живое, жаркое солнце революции. А теперь замутилось солнце и гаснет, мы морально разбиты, революция заплывана, стала прибыльным ремеслом хама, сладострастной утехой садиста. И на это все смотреть, это все видеть – и стоять, сложив руки на груди, и сознавать, что нечего тебе тут делать. И что нет тебе места...

Дрожащею рукою он налил в стакан вина и жадно отхлебнул.

– А что они с народом сделали, – с великим, прекрасным русским народом! Вытравили совесть, вырвали душу, в жадного грабителя превратили, и звериное сердце вложили в грудь.

Иван Ильич поколебался и вдруг решительно махнул рукою.

– Ну, уж все равно! Расскажу вам, что со мною случилось, как сюда ехал... На маленькой станции неожиданно двинулся наш поезд, я прицепился на ходу к первому попавшемуся вагону, вишу на руках и только одним носком опираюсь на подножку. На ступеньках и площадке солдаты, мужики. Никто не двинулся. Ледяной ветер бьет навстречу вдоль вагонов, стынут руки, нога немеет. А наверху – равнодушные лица, глаза смотрят на тебя и как будто не видят, шелуха семечек летит в лицо. «Товарищи, – говорю, – сдвиньтесь хоть немножко, дайте хоть другой ногой на подножку стать. Я только до первой остановки, там в свой вагон перейду»... Молчат, лущат семечки. Кажется, начни кто на их глазах живого потрошить человека, они так же будут равнодушно глядеть и шелуху выплевывать на ветер... И проскочила у меня мысль: вот для кого я всю жизнь мыкался по тюрьмам и ссылкам, вот для кого терпел изымательства станковых и околоточных... Вышел, наконец, какой–то человек из вагона, крикнул: «Не видите, что ли, человек замерзает на ветру, сейчас сорвется? Сукины вы дети, подвиньтесь, дайте место!» И чуть–чуть только пришлось двинуться, – один коленкой шевельнул, другой плечом повернулся, – и так оказалось легко взойти на площадку! А правду скажу: еще бы минута, – и в самом деле сорвался бы, и уж самому хотелось пустить руки и полететь под колеса... К черту жизнь, когда такое может делаться! О, друзья мои! Друга мои милые! Год уж прошел, а все горит у меня эта рана!

Он опустил лохматую голову на локоть; плечи, дергаясь, поднимались и опускались. Белозеров молча сел к роялю, взял несколько аккордов и запел:

О, Волга–мать, река моя родная!  
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная.

Иван Ильич изумленно поднял голову.

– Что это? Это наша старая волжская песня, студенческая... Откуда вы ее знаете? Вы разве с Волги сами?

– С Волги. Не мешайте, – строго сказал Белозеров.

О, Волга–мать, река моя родная!  
Течешь ты в Каспий, горюшка не зная,  
А за волной, волной твоей свободной,  
Несется стон, великий стон народный...

Речные просторы чувствовались в голосе, и молодая печаль, и молодая, жаркая ненависть, какую горят только сердца, сжечь себя готовые в жертвенном подвиге. Иван Ильич жадно слушал с полуоткрытым, как у ребенка, ртом.

Ты все несешь, плоты и пароходы.  
Что ж не несешь сынам своим свободы?  
Тебе простор, тебе гулять приволье,  
А нам нужда, и труд, и подневолье...

Иван Ильич рыдал. Долго рыдал. Потом поднял смоченное слезами лицо и ударил кулаком по столу.

– Да! И все–таки... Все–таки, – верю в русский народ! Верю! Вынес он самодержавие, – вынесет и большевизм! И будет прежний великий наш, великодушный народ, учитель наш в добре и правде! В вечной народной правде!..

Покачиваясь и поддерживая друг друга, шли они с Забродой по шоссе. Красный полумесяц уходил за горы. С севера дул холодный ветер. Иван Ильич, с развевающимися волосами, – шапку он забыл у Белозерова, – грезил кому–то кулаком навстречу ветру и кричал громовым голосом, звучавшим на весь поселок:

– Палачи русского народа!!

Вошедши в кухню, он натолкнулся в темноте на составленные стулья, – кто–то на них спал. Голос Кати сказал:

– Папа, это я.

– Чего ты тут улеглась?

– Леонид у нас.

– Леонид? Что ему тут нужно, подлецу?

– Тише, он в моей комнате спит. Приехал, говорит, проведать, отдохнуть.

– Знаю я, зачем он приехал... Приятный сюрприз!

Ворча, он ушел к себе в спальню.

Проснулся Иван Ильич поздно. Долго кашлял, отхаркивался, кряхтел. Голову кружило, под сердцем шевелилась тошнотная муть. Весеннее солнце светило в щели ставень. В кухне звякали чайные ложечки, слышался веселый смех Кати, голос Леонида. Иван Ильич умылся. Угрюмо вошел в кухню, угрюмо ответил на приветствие Леонида, не подавая руки.

Катя оживленно болтала, наливала Леониду чай, подкладывала брынзы.

– Ешь! Как ты похудел! И даже сединки в волосах. Это в двадцать восемь лет!

Иван Ильич, – мрачный, с измятой бородой, – пил чай в молчал.

Катя взяла с холодной плиты миску с ячменным месивом.

– Подожди минутку, сейчас поросенку дам поесть, приду.

И ушла. Иван Ильич хмуро спросил:

– Ты из Совдепии?

– Да.

– Зачем приехал?

– Вас проведать. Отдохнуть. Устал.

Иван Ильич приглядывался к нему: по–прежнему в темных волосах – ярко–седой клоч над левым виском; добродушные глаза, добродушный голос, но губы решительные и недобрые.

Воротилась Катя. Она очистила кухонный стол, выложила из кошелки семь цыплят и стала их кормить рубленым яйцом.

– Вчера вылупились. Посмотри, какие.

– Прелесть!

– Правда, как будто пушистые желтые яички на ножках? И такие серьезные, серьезные!

Леонид взял цыпленка, закрыл его ладонями и стал нежно на него дышать.

– Ты знаешь, я решила в этом году завести полсотни кур. Будем жить куриным хозяйством. Противно смотреть на дачников, – стонут, ноют, распродают последние простыни, а сидят сложа руки. Будем иметь по несколько десятков яиц в день. Сами будем есть, на молоко менять, продавать в городе.

Смотри: сейчас десяток яиц стоит 8 – 10 рублей...

Ивану Ильичу было досадно, что Катя с таким увлечением посвящает в свои хозяйственные мечты этого чужого ей по духу человека. Он видел, с какою открытою усмешкою слушает Леонид, – с добродушною усмешкою взрослого над пустяковою болтовнею ребенка. А Катя ничего не замечала и с увлечением продолжала говорить. Иван Ильич ушел к себе и лег на кровать.

– Еще я кабанчика откармливаю, осенью зарежем, – на всю зиму колбасы будут, ветчина, сало. А какие умные свиньи! Вот я никогда раньше не думала. Одно из самых умных животных... Хочешь, я тебе свое хозяйство покажу?

Леонид вскочил на ноги.

– Покажи.

Лицо его сморщилось от неожиданной боли, но он поспешил разгладить морщины.

– И хозяйство твоё, и вообще всю вашу дачку. Ведь я её ещё не видел.

Они вышли в сад. Леонид слегка прихрамывал. Солнце сверкало и грело. Сад был просторен, гол, но травка уже зеленела. На миндальных деревьях розовели набухшие бутоны. Сквозь ветки темнело море, огромное и синее.

Катя выпустила из чулана под лестницей поросенка. Он очумело выскочил, радостным карьером сделал несколько кругов, потом сразу остановился и, похрюкивая, стал щипать молодую травку.

– Смотри, какой жирный и большой! И знаешь, что я заметила? Что свиньи – очень чистоплотные животные. В грязь они лезут потому же, почему мы умываемся. Грязь засохнет и задушит на ней всех вшей, блох. А потом отскребет грязь об угол или ствол, – и чистенькая, как вымытая. И только нежная розовая кожа просвечивает сквозь щетину... Как все интересно, куда ни посмотришь!

Леонид жадно глядел на море.

– Хорошо у вас тут!

И вдруг он засмеялся неожиданно прорвавшимся, внутренним смехом.

– Странно! Какое у вас здесь тихое, мирное житие! А жизнь клокочет, как в вулкане...

Пойдем, покажи дачку.

Он брезгливо оглядел поросенка и, прихрамывая, пошел к террасе.

– Отчего ты хромаешь?

– Так... Телега опрокинулась, когда сюда ехал. Ушиб ногу. Пустяки.

Но Катя женским своим взглядом заметила неумело наложенную заплату на левом бедре и замытую кровь у ее краев.

– А это что? Вот ты зачем у меня вчера иголку брал... Ленька, что-то тут...

Она с любовью и с просьбой заглянула ему в глаза. Леонид сердито нахмурился.

– Вот пристала! Оставь ты меня, пожалуйста! Нежности эти бабьи...

Катя вздрогнула. Вдруг она вспомнила рассказ Дмитрия, как он стрелял по двоим, убежавшим от контрразведки, и как ранил одного в ногу.

Дача, кроме маленькой комнаты и кухни с каморкой, где Сартановы жили зимою, имела еще три больших летних комнаты.

– Славная дачка! – В углах губ Леонида задрожала дразнящая улыбка. – Когда мы будем здесь, мы её реквизируем под клуб коммунистической молодежи.

– А вы скоро будете здесь?

– Недельки через две, не позже.

Катя жадно спросила:

– Встречал ты за это время Веру?

– Встречал много раз. Она в Петрограде работает, в женотделе. Чудесная работница. – Он насмешливо улыбнулся. – А дядя к ней по–прежнему?

Катя грустно ответила:

– По–прежнему. Говорит, что Вера для него умерла. Мы при нем никогда не говорим про нее, сейчас же у него делается такое беспощадное лицо...

Расскажи подробно, – что она, как?

После обеда Катя стала гладить белье, а Леонид ушел в горы.

Воротился он в сумерки, с большим букетом подснежников, и установил его в стеклянной банке посреди кухонного стола. Сели пить чай. Иван Ильич по–прежнему недоброжелательно поглядывал на Леонида. Он спросил:

– Ну, что? Как дела у вас? По–старому, – арестовываете, расстреливаете?

Леонид сдержанно улыбнулся.

– Кого нужно, арестовываем и расстреливаем.

– А многих нужно?

– Многих. Контрреволюция так и шипит, так и высматривает, куда бы ужалить.

– Да, многих, многих! Всех, кто не большевик. Значит, почти весь русский народ. Много еще работы предстоит.

– Трудового народа мы не трогаем, его мы убеждаем, и знаем, что он постепенно весь перейдет к нам. А буржуазия, – да, с нею церемониться мы не станем, она с нами никогда не пойдет, и разговаривать мы с нею не будем, а будем уничтожать.

– Уничтожать? Я что–то не пойму. Как же, – физически уничтожать?

– Да хоть бы и физически. Не ликвидируешь их, – уйдут к Колчаку, к Деникину и будут сражаться против нас.

Катя ахнула.

– Леонид, что ты говоришь? Для марксизма важно уничтожение тех условий, при которых возможна буржуазия, а не физическое ее уничтожение... Какая гадость!

Леонид пренебрежительно взглянул на нее.

– Э, милая моя! С чистенькими ручками революции делать нельзя. Марксизм, это прежде всего – диалектика, для каждого момента он вырабатывает свои методы действия.

– Но погоди, – сказал Иван Ильич. – Ведь вы сами при Керенском боролись против смертной казни, вы Церетели называли палачом. И я помню, я сам читал в газетах твою речь в Могилеве: ты от лица пролетариата заявлял солдатам, что совесть пролетариата не мирится и никогда не примирится со смертной казнью. Единственный раз, когда я тебе готов был рукоплескать. И что же теперь?

Леонид изумленно пожал плечами.

– Удивительно! Мы уж совсем на разных языках говорим... Ну, да! Тогда речь шла о казни солдат, мужественно отказывавшихся участвовать в преступной империалистической войне. А теперь речь о предателях, вонзающих нож в спину революции.

– Но ведь ты говорил – пролетариат никогда не примирится со смертной казнью, в принципе!

– Полноте, дядя! Может, и говорил. Что ж из того! Тогда это был выгодный агитационный прием.

Катя гадливо вздрогнула. Иван Ильич схватился за грудь, прижал руки к сердцу и, закусив губу, шатающимся шагом заходил по кухне.

– Предали революцию! – с тоской воскликнул он. – Предали безнадежно и безвозвратно!

Леонид насмешливо блеснул глазами.

– Да неужели вы, дядя, не понимаете, что революция – не миндальный пряник, что она всегда делается так? Неужели вы никогда ничего не читали про великую французскую революцию, не слышали про ее великанов, – Марата, Робеспьера, Сен–Жюста или хотя бы про вашего мелкобуржуазного Дантона? Они тоже не миндальные пряники пекли, а про них вы не говорите, что они предали революцию... Ну, хорошо, мы предали. А вы, верные ее знаменосцы, – вы–то где же? Нас много, за нами стихия, а вы, – сколько вас?

– Вас много, потому что хамов много.

– Допустим. А вы, чистенькие, безупречные, – что вы делаете в это великое время? Вы, – я не знаю, может быть, вы за добровольцев?

– Нет, брат, избавь от этой чести!

– А тогда что же? Кто с вами? И что вы хотите делать? Сложить руки на груди, вздыхать о погибшей революции и негодовать? Разводить курочек и поросяточек? Кто в такие эпохи не находит себе дела, тех история выбрасывает на задний двор. «Хамы» делают революцию, льют потоками чужую кровь, – да! Но еще больше льют свою собственную. А благородные интеллигенты, «истинные» революционеры, только смотрят и негодуют!..

Иван Ильич ходил и молчал. Потом вдруг круто остановился перед Леонидом и спросил:

– Скажи, пожалуйста, для чего ты сюда приехал?

– Я уже вам говорил: отдохнуть.

– Зачем же тебе было ехать для этого сюда, пробираться через фронт, подвергаться опасностям? Ведь для «усталых советских работников» отдых у вас создается просто: выгони буржуя из его особняка, помещика из усадьбы – и отдыхай себе вволю от казней, от сысков, от пыток, от карательных экспедиций, – набирайся сил на новые революционные подвиги!

Леонид, улыбаясь про себя, молча отхлебывал из кружки чай. Иван Ильич тяжелым взглядом смотрел на него.

– А скажи, пожалуйста: если бы кто–нибудь приехал и остановился у тебя, кто, – ты верно знаешь, – всею душою против большевиков, и кто, ты подозреваешь, приехал работать против них, – что бы ты сделал?

Леонид взглянул вызывающе смеющимися глазами.

– Странный вопрос. Конечно, дал бы знать в чрезвычайку. Она бы мигом с ним разделалась.

– Донес бы, значит?

– И глазом бы не моргнул.

Иван Ильич тяжело дышал и смотрел на него. Лицо его краснело, в душе поднимался вихрь. Стараясь овладеть собою, он медленно и спокойно сказал: – Вот что, голубчик! Я не доносчик, и в жизнь свою никогда доносчиком не был. И на тебя не донесу. Но... уходи, милый мой, от нас сейчас же.

Катя порывисто двинулась, но ничего не сказала. Леонид, не допив стакана, с неопределенною улыбкою встал и медленно вышел. Слышно было, как он в Катиной каморке зажег спичкою коптилку, как укладывал свои вещи. Все молчали.

Анна Ивановна нерешительно сказала:

– До утра бы оставить его, пусть переночует. Куда он пойдет, на ночь глядя?

– Нет!! – бешено крикнул Иван Ильич. Лицо его стало темным, как чугун. – Сейчас же вон! Доносчик, палач, – не позволю поганить нашего дома! Иначе сам уйду! Так вы все и знайте!

Он зашагал по кухне и вдруг качнулся, как сильно пьяный. Анна Ивановна побледнела, Катя вскочила и подбежала к нему. Он отстранил ее рукою.

– Не–ет!.. Нужна, господа, хоть какая–нибудь брезгливость! Вы самого Иуду готовы в постельку уложить и укрыть тепленьким одеяльцем!.. Не–ет!..

Вошел Леонид с котомкою за плечами.

– Палку свою я, кажется, здесь оставил.

Он взял в углу палку. Глаза его смотрели кротко, в них было то хорошее, покорное и грустное, что Катя знала в нем в часы преследований и несчастий в былые времена. У ней сжалось сердце.

– Куда ты пойдешь?

– Наших тут везде много, приют найду где угодно. До свидания! – мягко сказал он.

– Погоди, Леня!

Катя быстро отрезала половину большого хлеба и подала ему.

– Э, дурочка, на что мне! Ведь у самих муки мало.

– Ну, ну, бери!

Он взял и вышел. Все молчали.

Муж и жена, с очумелыми глазами, полными отчаяния и усталости. С утренней зари до поздней ночи оба беспомощно трепались в колесе домашнего хозяйства, неумелые и растерянные. Пилили вдвоем дрова тупой пилой с обломанными зубьями и злобно ссорились. Он колотил поленья зазубренным топором, то и дело соскакивавшим с топористища. Она доила корову, которой смертельно боялась.

Корова брыкалась, ей связывали ноги. Жена опасливо доила, каждую минуту готовая отскочить, а муж стоял перед мордой коровы, косился на рога, грозил толстой палкой и свирепо все время кричал. И были у коровы такие же ошалелые глаза, как у хозяев.

Ложились поздно ночью, – никак не успевали управиться раньше, а к пяти утра нужно было вставать доить корову. Хоть бы раз выспаться всласть, – это было их высшим блаженством, о котором не смели и мечтать. И результатом чудовищной работы, выматывавшей все силы, было, что этот день, слава богу, кое–как сыты.

Катя помнила их два года назад. Счастливая, милая семья на уютной своей дачке, с детками, нарядными и воспитанными. Он тогда служил акцизным ревизором в Курске. У нее – пушистые, золотые волосы вокруг веселого личика. Теперь – лицо старухи, на голове слежавшаяся собачья шерсть, движения вульгарные. Распущенные грязные ребята с мокрыми носами, копоть и сор в комнатах, неубранные постели, невынесенная ночная посуда. И бешеные, злобные ссоры весь день.

– Катерина Ивановна, вы гладите свое белье?

– Конечно.

Она с торжеством посмотрела на мужа.

– Что?

– «Что»! Совершенно бессмысленная трата сил. Нелепое щегольство, когда и без того погибает от работы.

– «Щегольство»! Катерина Ивановна, посмотрите на меня, – правда, какая щеголиха? Ха–ха–ха!.. И то хуже кухарки всякой.

– Здравствуйте! Как живете?

– Плохо, конечно. Вещи распродают, – этим питаюсь. А вы?

– Все вещи распродал. Воруя.

– Распродам – тоже останется воровать.

По–крымски медленно надвигалась весна. Высокое солнце лило на землю нетерпеливый жар, но остывшее море перехватывало его и пускало в воздух острый холодок. Неспешно набухали почки акаций и тополей. Миндальные деревья, как повенчанные невесты, медленно сбрасывали свой воздушно–белый наряд и одевались в плотные зеленые платья. Скворцы черными четками усаживались к вечеру на холодеющие телеграфные проволоки, упоенно блеяли козлятами, квакали лягушками, свистели, как чабаны. Без северной тревоги и томления шла весна.

А в людях тревога. «Идут? Не идут?» Никто ничего не знал. Но чувствовалось, – что–то надвигается, что–то ломается и трещит... Свирепее и безудержнее становились реквизиции, разнузданнее войска. На дорогах казаки отнимали у мужиков муку и вино, забирали хороших лошадей и оставляли взамен своих, загнанных и охромевших. В городе офицеры сводно–гвардейского полка ворвались в тюрьму, вывели тридцать бандитов и большевистских комиссаров и расстреляли их на берегу моря. Богатые люди выезжали на пароходах в Новороссийск, Батум, Константинополь.

Смелее становился народный говор и ропот. Дерзче грабежи в экономиях и дачных поселках. Чаще поджоги. Безбоязненное уклонения от мобилизации. В потребиловке Агапов и Белозеров, осторожно оглядываясь, говорили, что добровольцы, собственно, обманули народ, и что истинно народную власть могут дать только большевики.

Привезли, наконец, муку в потребиловку. Сартановы уж неделю сидели без хлеба и ели разваренные кукурузные зерна. Катя пришла получить муку.

В прохладной лавке с пустыми полками народу было много. Сидели, крутили папиросы, пыхали зажигалками. Желтели защитные куртки парней призывного возраста, воротившихся из гор. Болгарин Иван Клиничев, приехавший из города, рассказал, что на базаре цена на муку сильно упала: буржуи бегут, везут на пароходы все свои запасы, а дрягили, вместо того, чтобы грузить, волокут муку на базар.

Штукатур Тимофей Глухарь злобно сказал:

– Ишь, сволочь какая! Народ с голодудохнет, а они муку увозят!

Толстая болгарка с черными, как сажа, бровями спросила продавщицу Маню:

– Сколько катушка стоит?

– Сорок рублей.

– Господи, что же это!

Глухарь отозвался:

– Дай, большевики придут, – сорок копеек будет стоить. Они все это спекулянтство уничтожат.

Катя, со всегдашнею своею привычкою говорить, что в душе, удивленно поглядела на него.

– Тимофей! Как же вы совсем еще недавно говорили, что вы против большевиков?

– А вам желается, чтоб у нас кадеты остались? Хе–хе! Не–ет! Довольно! Поездили на наших шеях!

– Я вам не говорила, что мне желательно.

– Еще бы теперь говорить! Вы теперь затаились. Чуете, что дело ваше плохо.

Осторожные болгары с молчаливою усмешкой поглядывали на Катю. Русские злорадно стали глумиться над добровольцами и ругать их. Веселый парень в солдатской рубашке без пояса запел:

Пароходик идет, вода кольцами,  
Будем рыбу кормить добровольцами!

Катя стала с чеком в очередь. Толстая болгарка подошла и стала перед нею.

– Послушайте. Марина, не видите, – очередь? Что же вы вперед заходите?

– Мне некогда.

– И мне тоже некогда.

– Подождете. Что вам делать? Мы работаем, а вы на берегу голые лежите.

Кругом засмеялись. Подвыпивший столяр Капралов вдруг грозно спросил болгарку:

– А кому какая польза, что ты работаешь? Кабы вы на общественную пользу работали, то было бы дело. А вы зерно в ямы зарываете, подушки набиваете керенками, – «работаем»! Сколько подушек набила? А приду к тебе, мучицы попрошу для ребят, скажешь: нету!

Он властно отстранил болгарку и обратился к Кате:

– Становитесь, барышня, в свою очередь. А твое вот где место. Ее отец хороший человек.

Болгары шурились и молча смотрели в стороны. Толстая болгарка не так уж уверенно возразила:

– А мы нешто плохие?

– Вы не хорошие и не плохие. Он за народное дело в тюрьме сидел, бедных даром лечит, а к вашему порогу подойдет бедный, – «доченька, погляди, там под крыльцом корочка горелая валялась, собака ее не хочет есть, – подай убогому человеку!» Ваше название – «файдасыз»\*!.. Дай, большевики придут, – они вам ваши подушки порастрясут!

\* Великолепное татарское слово, значит оно: «человек, полезный только для самого себя». Так в Крыму татары называют болгар. (Прим. В.Вересаева.)

Катя получила полтора пуда муки и волоком вытащила мешок наружу.

По шоссе в порожних телегах ехали мужики. Катя подбежала и стала просить подвезти ее с мешком за плату к поселку, за версту. Первый мужик оглядел ее, ничего не ответил и проехал мимо. Второй засмеялся, сказал: «двести рублей!» (В то время сто рублей брали до города, за двадцать верст.)

Из потребиловки мужик, с рыжеватой бородой и красными, обтянутыми скулами, вынес свои покупки и стал укладывать в телегу. Катя быстро спросила:

– Вы по шоссе поедете, мимо поселка?

Мужик, не оглядываясь, пробурчал:

– Нечего мне с тобой. Проходи!

Деревенские, сидевшие на скамеечке у потребиловки, засмеялись. Парень Левченко, с одутловатым, в прыщах, лицом, в солдатской шинели, сказал:

– Тащи–ка на своем хребте. Ноне на это чужих хребтов не полагается.

Катя вспыхнула.

– Знаете, что? Когда на почте неграмотный человек просит меня написать ему адрес на письме, – я не смеюсь над ним, потому что знаю: он не умеет писать, а я умею. А мешок поднять у меня нет силы. Не хотите помочь – ваше дело. Но как же вам не стыдно смеяться?

Сидевшие на скамейке молчали. Левченко улыбался нехорошою улыбкою. Мужик в телеге удивленно взглянул на Катю и вдруг сказал:

– Садитесь.

И сам положил ее мешок в телегу.

Они затряслись по шоссе. Катя усаживалась на своем мешке и радостно говорила:

– Ну, вот, видите: все–таки, все–таки люди добрее и лучше, чем кажутся! Ведь вот стало же вам совестно! Но скажите, – почему все теперь стали такие жестокие?

Мужик улыбнулся хорошою мужицкою улыбкою.

– Верно. Осатанел народ.

– Но почему же?

Он подумал, но не нашел ответа. Пошевелил плечами и стегнул кнутом лошадь. Легкий ветерок дул с залитых солнцем гор, пахло фиалками. Мужик разговорился. Он был из соседней степной деревни. Рассказал он, как после ограбления экономии Бреверна к ним в деревню поставили постоем казаков.

– Корми их, пои. Всё берут, на что ни взглянут – полушубок, валенки. Сколько кабанчиков порезали, гусей, курей, что вина выпили. Девоч за груди хватают, и не моги им ничего сказать, – сейчас за шашку. А мы чем виноваты? «К вам, – говорят, – след от колес ведет из экономии». Может, и из наших кто. Мало ли с войны солдат воротилось. Да ведь он оказываться не станет; если что своровал, схоронит. А к ответу всех поставили. Нашего брата, как хочешь, обижай. У зятя моего в Бараколе кадеты стали лошадь отымать, он не дает. «Я, говорит, через нее хлеб кушаю». – «Ну, вот покушай!» И из ливарвера ему в лоб. Бросили в канаву и уехали. Старики в город пошли жаловаться, все расписали, как было. Те опять приехали: «Вы, говорят, жаловались?» – «Мы». Отхлестали нагайками и – ходу!

Катя в беспомощном негодовании оглядывала сверкавшие солнцем дали.

– Да это и большевики не хуже!

– Кто их знает. Нам все одно. Царь ли, Ленин ли, – только бы порядок был и покой. Со всем житья не стало.

Мужик слегка подхлестывал кнутом лошадь. Несло от него чем–то светлым, тихим и крепким, что всегда чуялось Кате в мужиках сквозь их жадность, жестокость и грубость.

Подъехали к калитке дачи. Мужик внес мешок и отказался взять деньги.

Керосиновая лампочка тускло освещала пыльные выступы камней в подвале. Отдушины были завешаны дерюгами. Ася месила лопатой известку, Агапов, в фартуке, клал поперечную стенку, Майя подавала камни. Из–за стенки выглядывали ящики, мешки с мукою, бочонки.

Говорили шепотом.

– А золото я вот в эту щель вмазываю. Запомните, девочки! Вот, зеленый камушек, на высоте моего роста.

Вывели стенку под самый свод. Завалили ее старыми ящиками, пустыми бочками. Затрусили пол сором. Выходили из подвала поодиночке, зорко глядяваясь в глухую темноту ночи.

У профессора пили чай. Он сегодня ездил в город читать свои лекции в народном университете, и Катя забежала узнать новости. Профессор был заметно взволнован. Наталья Сергеевна сидела за самоваром бледная, с застывшим от горя лицом.

– Добровольцы по всем дорогам уходят в Феодосию, а оттуда в Керчь. В городе полная анархия. Офицеры все забирают в магазинах, не платя, солдаты врываются в квартиры и грабят. Говорят, собираются устроить резню в тюрьмах. Рабочие уже выбрали тайный революционный комитет, чтобы взять власть в свои руки.

Наталья Сергеевна сказала:

– У нас сейчас стирает девушка с деревни, рассказывала: в Насыпное заночевали два офицера, – их ночью убили, раздели догола, и трупы увезли куда–то.



С террасы вбежала девушка–прачка, хлопнула зазвеневшей стеклянной дверью, крикнула на бегу: «Кадеты идут!» и в ужасе пробежала в кухню.

Вышли на террасу. С горы по дороге спускался высокий молодой офицер с лентой патროнов через плечо, в очень высоких сапогах со шпорами... В руке у него была винтовка, из–за пояса торчали две деревянные ручки ручных гранат. На горе, на оранжевом фоне заходившего солнца, чернела казенная двуколка и еще две фигуры с винтовками.

– Скажите, здесь живет профессор Дмитревский?

– Это я.

– Вам письмо от вашего сына.

– Очень вам благодарен, поручик... Не зайдете ли выпить стакан чаю?

– Благодарю вас, меня товарищи ждут.

– Так ведите и их.

Офицер конфузливо улыбнулся.

– Ну, спасибо. Сейчас приведу.

Двуколка, нагруженная большим бочонком, спустилась с горы. Высокий взшел на террасу еще с двумя офицерами. Их усадили пить чай. Профессор и Наталья Сергеевна жадно стали читать письмо.

– Вам записочка от Мити, – сказал профессор Кате.

Записка была написана наскоро, взволнованным почерком. Митя писал, что их полк экстренно двинули к Керчи, что навряд ли скоро придется увидеться. «Катя, милая моя девушка! Навряд ли и вообще уж когда–нибудь увидимся. Прощай, не поминай лихом!»

Профессор спросил офицеров:

– Как положение?

Офицер в гусарской фуражке, с рыжими, подстриженными снизу усами, ответил:

– Обычное маневрирование. Из стратегических соображений войска передвигаются к Керчи.

Высокий усмехнулся, поколебался и вдруг махнул рукою.

– Какие там стратегические соображения! Просто гонят нас большевики. Да и гнать–то, в сущности, некого. Армии больше не существует, распозлась по швам и без швов, как интендантские сапоги. И надеяться больше не на кого. Союзники от нас отступились, французы отдали большевикам Одессу...

Гусар сумрачно покосился на него.

– Вы не профессиональный военный, поэтому все вам и кажется так страшно. Во всякой войне бывают колебания в ту и другую сторону. Вот соберемся с силами, подойдут пополнения – и погоним красных, как стадо овец, вот увидите. Их только раз разбить, а дальше работа будет уж только нам, кавалерии.

Третий, очень молодой артиллерист–прапорщик, смуглый, с родинкою на щеке и с серьезными глазами, сдержанно возразил:

– С таким командным составом никого не разобьем.

Высокий с негодованием воскликнул:

– Ох, уж этот командный состав!.. Совсем, как при царе: бездарность на бездарности, штабы кишат франтами–бездельниками, которые и носа не кажут на фронт. Воровство грандиозное, наши солдаты сидят в окопах в рваных шинелишках, в худых сапогах, а в тылу идет распродажа обмундирования, все мужики в деревнях ходят в английских френчах и американских башмаках. В ресторанах шампанское потоками, миллионы летят, как рубли... А мы что делали на фронте? Вместо того, чтобы защищать перешеек – ведь сами говорят: Фермопилы – бросили нас далеко на север, три тысячи против пятнадцати тысяч красных, для того, видите ли, чтобы соединиться у Дебальцева с Деникиным. Ну, конечно, разбили нас и отбросили... А теперь транспорт наших крымцев пришел к Деникину, – он их не принял: вы, говорит, убежали от большевиков, вы мне не нужны.

Профессор встал.

– Извините, вы мне позволите написать письмецо сыну?

Он ушел с женою. Катя, без кажущейся связи с разговором, сказала:

– На днях я ехала с одним мужиком из соседней деревни, он мне рассказывал: добровольцы отобрали у его зятя лошадь, последнюю, а когда он стал противиться, его застрелили.

Гусар враждебно смотрел на нее.

– Да ведь это все сказки! Как вы им верите!

Высокий устало отозвался:

– Нет, так бывает.

– Да ведь это же хуже большевиков!

– Мы хуже и есть. Недавно перестреляли из пулеметов сто двадцать красно-зеленых в каменоломнях. Они сдались, побросали винтовки, выкинули белый флаг. А мы их пулеметами.

– Сдавшихся!

– А они не так?

– Ну, и как на душе у вас?

Высокий усмехнулся.

– Ничего. Привыкли. Умом, конечно, понимаю, что нехорошо.

Замолчали. Катя сказала:

– Или вот еще, тот же мужик рассказывал. У нас тут недавно ограбили помещика Бреверна, к ним поставили казаков, и они ограбили мужиков. Одежду отбирали, припасы, вино.

Гусар тяжелым взглядом посмотрел на Катю. Она почувствовала, что он уж ненавидит ее всеми силами души.

– А как с ними иначе? Мы раздеты, голодаем, а они сыты, в тепле; продавать ничего не хотят, набивают подушки керенками...

Катя весело всплеснула руками.

– Да большевики совсем так же рассуждают о буржуях! Вот потеха!

Гусар прикусил губу. Прапорщик-артиллерист с родинкой тихо сказал:

– Если двадцатого числа не получим жалованья, придется и нам жить разбоем.

Высокий усмехнулся.

– А теперь не разбоем живем? Вон бочку вина везем, – заплатили мы за него?

Гусар заговорил взволнованно:

– Вы говорите – в сдавшихся стреляли. С немцами, с австрийцами мы были рыцари. А против большевиков мне совесть моя разрешает все! Меня пьяные матросы били по щекам, плевали в лицо, сорвали с меня погоны, Владимира с мечами. На моих глазах расстреливали моих товарищей. В родовой нашей усадьбе хозяевами расхаживают мужики, рвут фамильные портреты, плюют на паркет, барабанят на рояли бездарный свой интернационал. Жена моя нищенствует в уездном городишке... Расстреливать буду, жечь, пытать, – все! И с восторгом! Развалили армию, отдали Россию жидам. Без рук, без ног останусь, – поползу, зубами буду стрелять!

Высокий задумчиво курил папиросу.

– У меня такой ненависти к большевикам нету. Но я человек деятельный, сидеть в такое время, сложа руки, не мог. А выбор только один: либо большевики, либо добровольцы. И я колебался. Но когда в Петрограде, за покушение на Ленина, расстреляли пятьсот ни в чем не повинных заложников, я почувствовал, что с этими людьми идти не могу. И я пошел к тем, кто говорил, что за свободу и учредительное собрание. Но у большинства оказалось не так, до народа им нет никакого дела. А народ ко всем нам враждебен, тому, что говорим, не верит, и всех нас ненавидит. Выходить можем только по несколько человек вместе, вооруженными. Вон на днях где-то тут поблизости, на греческих хуторах, нашли голые трупы двух офицеров... Буржуазия на нас молится, но ни кровью своею, ни деньгами поддержать не хочет.

Катя воскликнула:

– Зачем же вы тогда остаетесь?!

Гусар быстро поднял голову.

– То есть как это?

Высокий безнадежно махнул рукою.

– Нет, уж не уйти. Да и куда? Буду тянуть до конца. А разобьют окончательно, – поеду в Америку ботинки чистить. Теперь ко всему привык. – Он показал свои мозолистые руки. – У меня своего – вот только эти сапоги. Имущество не громоздкое.

Мальчик-артиллерист с родинкою сказал:

– Что окончательно разобьют, я не верю. Пройдет же этот угар, народ поймет, что Россия, которую он же с такими муками создавал, не пустой звук. Нужно только продержаться, пока народ не отрезвеет.

– Мы недавно расстреляли двух офицеров, которые собирались уйти, – сказал гусар.

Вошел профессор с письмом.

– А вы, Екатерина Ивановна, не напишете Мите?

– Нет.

Офицеры стали прощаться. Профессор предлагал им остаться переночевать, но они отказались. Гусар и артиллерист пошли взнуздывать лошадь. Высокий задержался на террасе с Катей.

– Вы знаете, такой ужас, такой кошмар! – говорил он. – Как мы до сих пор не сошли с ума!

Катя украдкой быстро оглянулась и вдруг решительно спросила:

– Скажите, вы хороши с Дмитрием Николаевичем?

– Да.

– Тогда вот что. Уговорите его, чтобы он ушел. И уходите сами. Как можно все это выносить за дело, в которое не веришь!

Офицер медленно покачал головой.

– Нет, ничего не стану говорить.

И, не прощаясь, пошел к двуколке.

Колеса загремели по каменистой дороге. В сухих сумерках из-за мыса поднимался красный месяц. Профессор взволнованно шагал по террасе, Наталья Сергеевна плакала. Катя горящими глазами глядела вдаль.

– Господи, какие у этого рыжего глаза! Какие пустые дырки! – Она нервно повела плечами. – Ой, какие тяжелые глаза! Да, он и пытать будет, и застрелит, если кто уйдет, – все!

Профессор растерянно усмехнулся.

– Положение! Проваливаться куда-то в преисподнюю за дело совершенно чужое!

– Я завтра отправлюсь к нему, уговорю его уйти, – сказала Катя.

Профессор изумился.

– Что вы говорите! На фронт! Да кто вас пропустит? И как вы доберетесь туда?

Наталья Сергеевна радостно слушала.

– Попроюсь. Чего захочу, я всегда достигаю. Нельзя, нельзя ему там оставаться!

Они говорили долго и горячо. Губы Дмитрия не улыбались всегдашнею его тайною улыбкою, глубоко в глазах была просветленная печаль и серьезность. Катя страстно старалась вложить в его безвольную душу все напряжение своей воли, но чувствовала, – крепкая стенка огораживает его душу, и этой стенки она не может пробить.

А он держал в руках руку Кати, с тихой любовью смотрел на ее почерневшее от солнца лицо, осунувшееся от трудной дороги, на пыльные волосы...

– Катя, может быть, не хорошо прямо говорить тебе все, что сейчас в душе...

– Нет, именно все скажи, именно все!

– Да, я все-таки скажу... Вот, ты мне говоришь: уйди. Скажем, я пошел бы на эту гадость, – бросить товарищей в беде. Ну, а дальше? Куда уйти с тобою? Ведь красные меня либо расстреляют, либо мобилизуют, и я должен буду пойти с ними. Или скрываться, прятаться? Где? До каких пор? Папа тоже вот неуверенно говорит: «уходи». А когда спрошу: «куда?» – он начинает бегать глазами... Ужас в том, что выбора нет никакого. Либо с теми, либо с этими. А кто в промежутке... Да и ты сама. Тебя никто не будет заставлять, а тебе разве легче? Разве, с твоею активной натурой, ты сможешь удовлетвориться тем, чтобы говорить обеим сторонам: «уходите!» – уходите, и больше ничего!

Катя заломила руки. На это нечего было возразить. И туго натянутая воля, стремившаяся бросить в жизнь действенный поступок, оборвалась, как надрезанная тетива.

Они сидели на скамеечке под распускающимися тополями, у крыльца белого домика немца-колониста. Над приазовскими степями голубело бодрое утро, частые темно-синие волны быстро бежали из морской дали к берегу. По деревне синели дымки бивачных костров, и приятно пахло гарью.

Подошел солдат и сказал:

– Господин поручик!

– Да, да! Я сейчас!

Дмитрий быстро встал.

– Тебе, Митя, нужно идти. Прощай.

– Я тебя провожу до околицы. Мне все равно в ту сторону идти.

За низкими сараями артиллеристы торопливо устанавливали орудия с длинными хоботами. Солдаты пробивали в глиняных оградах бойницы. К деревне крупной рысью подъезжал отряд лохматых казаков, лошади играли. И везде солнце сверкало, и была бодрящая прохлада утра, и кипела взволнованная работа, и таинственно бухали в туманной дали редкие оружейные выстрелы. Скоро тут закрутится сверкающая смерть. Лица всех были сосредоточены, серьезны – и как прекрасны!

Дмитрий сказал:

– «Уйти». Уйти можно только... в царство теней. Когда уж слишком ясно почувствуешь, что и здесь ты все равно только безжизненная тень ненужной сейчас жизни...

Катя жадно глядела кругом и вдруг воскликнула страстно:

– Если бы я могла остаться тут вместо тебя!

Дмитрий потихоньку пожал ее руку и умиленно прошептал:

– Спасибо тебе.

Катя удивленно взглянула на него.

Катя сидела у фонтана под горой и закусывала. Ноги горели от долгой ходьбы, полуденное солнце жгло лицо. Дороги были необычно пусты, нигде не встретила она ни одной телеги. Безлюдная тишина настороженно прислушивалась, тревожно ждала чего-то. Даже ветер не решался шевельнуться. И странно было, что все-таки шмели жужжат в зацветающих кустах дикой сливы и что по дороге беззаботно бегают милые птички посорянки, похожие на хохлатых жаворонков.

С горы спускалась линейка. Подъехала к фонтану. Высокий болгарин сошел, чтобы поить лошадей. Катя с удивлением и радостью узнала Афанасия Ханова. И он ее тоже узнал.

– Барышня, что это вы? Куда в такое время собрались?

– Я домой иду. А вы из города?

Ханов не ответил. Разнуздal лошадей перед корытом. Потом сказал:

– Не годится сейчас ходить по дорогам. Садитесь, подвезу.

– Ах, спасибо! Так устала!

Попоили лошадей, поехали в гору, – по плохой дороге с торчащими в колеях белыми камнями. Катю давно интересовал Афанасий Ханов. Он был комиссаром уезда при первом большевизме в Крыму, его ругали дачники, но и в самых ругательствах чувствовался оттенок уважения. И у него были прекрасные черные глаза, внимательно прислушивающиеся к идущим в душу впечатлениям жизни.

У Кати был свой особенный бессознательный подход к людям. Она сама по-детски говорила всегда то, что думает и чувствует, и к душе другого человека подходила сразу, вплотную, без всяких условностей. Это удивляло – и часто налаживало на откровенность. Ханов незаметно разговорился по душе и стал рассказывать о себе.

– Раньше я, понимаете, торговал. Стою за прилавком, деньги сами в руки плывут. Двухэтажный дом себе построил – вон, где потребилка сейчас. А в мыслях все думается: не то это! Скучно как-то сердцу. Прикрыл, понимаете, дело, опять поворотился в мужики. Труднее стало жить, а в душе получилась легкость. А раньше, бывало, мужики виноград давят, а я скупаю вино и продаю, сам ничего не работаю. «Дураки, – думаю, – как же не видите, что из вас кровь сосут?» У меня в саду абрикосы, груши, персики, а сквозь забор, понимаете, ребяташки сапожника – до чего жадно смотрят! И я тогда понял, что это – права неправильные, что все это нужно ликвидировать. Вон Бреверн в коляске ездит, спит до двух часов дня, а у него тысячи десятин земли. Как это можно терпеть? И когда мне все это большевики объяснили, я сразу и понял.

– Афанасий! Да ведь это же совсем еще не большевизм. Это социализм, за это и мы. Ведь вы в прошлом году сами были комиссаром, вы видели, как людей грабили, резали, как издевались над ними. Разве кто думал о справедливом строе? Каждый тащил себе. Что из этого может выйти?

В ясных глазах Ханова мелькнула растерянность, как у человека, который с великим трудом утвердился среди болота на кочке и его вдруг хотят с нее столкнуть.

– Да нет, я, собственно... Я, пожалуй, сам не большевик... Я понимаю, что рано все делать. В социализм, понимаете, идти – нужно, чтоб руки были так. – Он вытянул вперед раскрытые ладони, как бы все отдавая. – А у нас – так. – Он жадно прижал стиснутые кулаки к груди.

Катя радостно засмеялась.

– Вот именно! А они этого кровью хотят достигнуть и грязью. Два года назад солдаты продавали на базаре в Феодосии привезенных из Трапезунда турчанок, – помните, по две керенки брали за женщину? А сегодня они – большевики, насаждают «справедливый трудовой строй». И вы можете с ними идти!

Ханов с любопытством спросил:

– Ну, а с кем идти? С кадетами?

– Зачем же с кадетами? Нужно свое образовать, соединиться всем, кто вправду за справедливость и свободу.

– Ну, хорошо. А вы вот: ваш батюшка на каторге был, вы в тюрьме сидели. Отчего же не соединяетесь?

Катя измученно засмеялась.

– Вот и давайте соединяться... Господи, что это?!

Через низкие ограды садов, пригнувшись, скакали всадники в папахах, трещали выстрелы, от хуторов бежали женщины и дети. Дорогу пересек черный, крючконосый человек с безумным лицом, за ним промчались два чеченца с волчьими глазами. Один нагнал его и ударил шашкой по чернокудрявой голове, человек покатился в овраг. Из окон убогих греческих хат летел скарб, на дворах шныряли гибкие фигуры горцев. Они увязывали узлы, навьючивали на лошадей. От двух хат на горе черными клубами валил дым.

И еще Катя увидела: старуха с растрепанными волосами, пронзительно крича, цеплялась за чеченца, а он тащил на руках в хату прелестную полуобнаженную девочку. В воздухе бились золотисто-смуглые руки, и выгибалась девическая грудь.

– Господи! Да что же это!

Катя хотела соскочить с линейки и броситься усовещивать чеченца. Ханов крепко охватил ее рукою и сильно ударил кнутом по лошадям. Они понесли под гору.

По дороге поспешно шел старик татарин с подстриженными усами, бледный и взволнованный. Катя крикнула ему:

– Слушайте, вы не знаете, что это там, из-за чего?

– Дикая езда приезжал. Греков порубал.

– За что? Садитесь к нам, расскажите. Ханов, можно?

Они поехали. Татарин сообщил, что недавно в соседней русской деревне мужики убили двух заночевавших офицеров, а трупы подбросили на хутора к грекам... Из города послали чеченцев для экзекуции.

Вечером Катя одиноко сидела на скамеечке у пляжа и горящими глазами смотрела в вольную даль моря. Крепкий лед, оковывавший ее душу, давал странные, пугавшие ее трещины. Она вспомнила, как ее охватило страстное желание остаться там, где люди, среди бодрящей прохлады утра, собирались бороться и умирать. И она спрашивала себя: если бы она верила в их дело, – отступилась ли бы она от него из-за тех злодейств, какие сегодня видела?

Было везде тихо, тихо. Как перед грозой, когда листья замрут, и даже пыль прижимается к земле. Дороги были пустынные, шоссе как вымерло. Стояла страстная неделя. Дни медленно проплывали – безветренные, сумрачные и теплые. На северо-востоке все время слышались в тишине глухие буханья. Одни говорили, – большевики обстреливают город, другие, – что это добровольцы взрывают за бухтою артиллерийские склады.

Дачники были в смятении. Болгары тоже чувствовали себя тревожно. Кучки бедноты стояли на деревенской улице и вполголоса переговаривались. По слухам, в соседней русской де-

ревне уже образовался революционный комитет, туда приезжали большевистские агитаторы и говорили, чтобы не было погромов, что все – достояние государства. Крестьяне наносили им вина, хлеба, яиц, сала и отказались взять деньги.

В страстную пятницу Анна Ивановна ходила в потребиловку и принесла известие, что в кофейне Авраими сидит восемь большевистских разведчиков с винтовками.

Перед обедом Иван Ильич, в кожаных опорках и грязной, заплатах рубашке, копал у себя на огороде грядки. Вдруг до него донесся надменно–повелительный голос:

– Эй, ты! Поди сюда!

Иван Ильич изумленно поднял голову. За проволочную ограду, сквозь нераспустившиеся ветки дикой маслины, виднелся на великолепной лошади всадник с офицерской кокардой, с карабином за плечами.

– Ну!! Живо!

Иван Ильич негодуя смотрел. Офицер сорвал с плеч винтовку и прицелился. Закусив губу, Иван Ильич медленно пошел к ограде. На шоссе были еще два всадника с винтовками.

– Что это за деревня? – Голос у офицера был взволнованный и решительный.

– Это не деревня, а дачный поселок Арматлук. Деревня там, за холмом.

Офицер разглядел лицо Ивана Ильича, увидел его очки и сразу стал вежлив.

– Скажите, пожалуйста, большая деревня?

– Большая.

– А жители кто?

– Больше болгары.

– Очень вам благодарен.

В этом надменном окрике и неожиданном переходе к вежливости и к «вы» только из-за очков Иван Ильич вдруг остро почувствовал тот старый, брезгливо огородившийся от народа мир, который был ему так ненавистен.

Офицер приложил руку к козырьку и вместе со своими спутниками медленно двинулся по шоссе к деревне. У поворота они остановились, долго разговаривали, поглядывая вперед, потом двинулись дальше. Иван Ильич в колебании смотрел им вслед. Они скрылись за холмом.

Иван Ильич трясущимися руками взялся за лопату. Вдруг за холмом затрещали выстрелы, послышалась частая дробь подков по шоссе. Пригнувшись к шеям лошадей, всадники карьером скакали назад. Офицер держал повод в правой руке, из левого плеча его текла кровь.

Настало светлое воскресенье. Из-за моря встало яркое солнечное утро, синее небо сверкало. Добровольцы исчезли, – без шума, без грома исчезли, растаяли неслышно, как туман под солнцем. По шоссе непрерывною вереницею катились линейки и тачанки, на них густо сидели мужские фигуры в красных повязках, с винтовками. Молодежь, выкопав из земли запряженные еще при немцах винтовки, отовсюду шла и ехала записываться в красную армию. По всей степи ярко цвели тюльпаны, алые, как свежая кровь. И повсюду горели букеты этих тюльпанов – в руках, в петлицах, на фуражках.

Промчался от города автомобиль с развевающимся красным флагом. На повороте шоссе автомобиль запыхтел, быстро заработал поршнями и остановился, окутавшись синим дымком. Поднялся с сиденья человек и стал громко говорить в толпу. Замелькали в воздухе белые листки воззваний, против ветра донесся восторженный крик: «ура!» Автомобиль помчался дальше.

Катя стояла у калитки сада и жадно смотрела на шоссе. Катилась мимо огромная, ликующая река, кипящая общим подъемом, а она одиноко стояла на берегу, чуждая и враждебная этому подъему. Вспомнились ей февральские дни в Москве, – как тогда было иначе! Как тогда билось сердце в один такт с огромным всенародным сердцем, как сладок был свист пуль над ухом на Каменном мосту, как забываем этот подъем над обыденною, маленькою жизнью! И все, о чем так светло грезились, – все это рухнуло, развалилось, все утонуло в трясине кровавой грязи...

Катя пошла в свою каморку за кухню, села к открытому окну. Теплый ветерок слабо шевелил ее волосы. В саду, как невинные невесты, цвели белым своим цветом абрикосы.

Чтобы отвлечься от того, что было в душе, Катя стала брать одну книгу за другою. Но, как с человеком, у которого нарывает палец, все время случается так, что он ушибается о предметы как раз этим пальцем, – так было теперь и с Катей.

Открыла «Жизнь Иисуса» Ренана и через две страницы натолкнулась:

«Есть люди, которые сожалеют, что французская революция несколько раз выходила из границ и что ее не совершили мудрые и умеренные люди. Не будем прикладывать наших маленьких программ рассудительных мещан к этим чрезвычайным движениям, стоящим столь высоко над нашим ростом. Контраст между идеалом и печальною действительностью всегда будет создавать в человечестве мятежи против холодного разума, считаемые посредственными людьми за безумие, – до того дня, когда эти восстания восторжествуют. Тогда те, кто сражался против них, первые признают в них высокий ум».

Открыла Герцена «С того берега»:

«Или вы не видите новых христиан, идущих разрушать? Они готовы. Они, как лава, тяжело шевелятся под землю, внутри города. Когда настанет их час, – Геркуланум и Помпея исчезнут, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете».

Катя глубоко задумалась. Она ведь все это читала совсем недавно, – как же она не восприняла тогда, не почувствовала того, что написано так ясно и так страшно определенно?.. «Правый и виновный погибнут рядом, это будет не суд, не расправа, а катаклизм. Они ближе, нежели вы думаете»... И вот они пришли, – пришли именно такими, какими все их предвидели, принесли то, о чем сама она мечтала всю свою сознательную жизнь. А она стоит, чуждая им, и нет у нее в сердце ничего, кроме ужаса и брезгливого омерзения.

Под окном хрюкнул поросенок. Он подошел к миске с водою, попил немного, поддел миску пятакон и опрокинул ее. Катя вышла, почесала носком башмака брюхо поросенку. Он поспешно лег, вытянул ножки с копытцами и замер. Катя задумчиво водила носком по его розовому брюху с выступами сосков, а он лежал, закрыв глаза, и изредка блаженно похрюкивал. Куры обступили Катю и поглядывали на нее в ожидании корма.

Кате вдруг стало смешно. Ей представилось: все, что кругом, – как будто это тихая подводная пещерка глубоко–глубоко в море. Там, наверху, сшибаются вихри, чудовищные волны с ревом бросаются на небо, земля сотрясается, валятся скалы, поросшие вековым мохом, зловеще ползет по склонам огненная лава, – а тут, в пещерке, мирно плавают маленькие козявочки, копошатся в иле, сосут водоросли. И что сама она такая же маленькая козявочка. Ахнет в дно подземный удар, расколет пещерку, бросит в нее шипящую лаву, – козявочки опрокинутся на спину, подождут лапки, удивятся и умрут.

Вечером к Ивану Ильичу пришел профессор Дмитревский. Он был слегка взволнован, и глаза его бегали.

– Пришел к вам посоветоваться. Сейчас на автомобиле приезжал ко мне из города представитель военно–революционного комитета, сообщил, что рабочие наметили меня кандидатом в комиссары народного просвещения. Спрашивал, пойду ли я. Что вы об этом думаете?

Иван Ильич расхохотался.

– А возможно просвещение, когда свободную мысль душат, когда издаваться могут только казенные газеты?

Профессор поспешно ответил:

– Я сказал, что подумаю, но что, во всяком случае, необходимое условие – свобода слова и печати, что иначе я просвещения не мыслю. Они заявили, что в принципе со мною совершенно согласны, что меры против печати принимаются только ввиду военного положения. Уверяли, что теперь большевики совсем не те, как в прошлом году, что они дорожат сотрудничеством интеллигенции. Через два два обещались приехать за ответом.

– И вы им верите? – смеялся Иван Ильич. – Мало они всех обманывали!

Заспорили жестоко. Катя энергически поддерживала профессора и доказывала, что нужно идти работать с большевиками. Иван Ильич с негодованием воскликнул:

– И ты – ты тоже бы пошла?

– Не пошла бы, а прямо и определенно пойду... Николай Елпидифорович, возьмите меня в свой комиссариат.

Профессор очень обрадовался. Он умиленно сказал:

– Славная вы девушка, Екатерина Ивановна! Если бы вы знали, как вы мне много даете!

Иван Ильич, ошеломленный, смотрел на Катю.

– Ты... ты вправду пойдешь?

– Обязательно!

Глубоко в глазах Ивана Ильича сверкнул тот же темный, сурово–беспощадный огонь, каким они загорались при упоминании о Вере. Он сгорбился и, волоча ноги, пошел к себе в спальню.

Приказ, за подписью коменданта Седого, объявлял, что, ввиду военного положения, гражданам запрещается выходить после девяти часов вечера. Замерло в поселке. Нигде не видно было огней. Тихо мерцала над горою ясная Венера, чуть шумел в темноте прибой. Из деревни доносились пьяные песни.

Была глухая ночь. На даче Агаповых все спали тревожным, прислушивающимся сном. В дверь террасы раздался осторожный стук. Потом еще. Агапов, трясущимися руками запахивая халат, подошел к двери и хриплым голосом спросил:

– Кто там?

Голос их кухарки, – кухня стояла отдельно от дома, – ответил:

– Барин, это я. Телеграмму почтальон принес.

Агапов отпер. Отстранив кухарку, в дверь быстро вошли три солдата с винтовками. Один, высокий, властно спросил:

– Ты – купец Агапов?

– Я.

Ноги затопали, три дула быстро вскинулись и уставились ему в грудь. Свеча в руке Агапова запрыгала.

– Погодите... Товарищи! В чем дело?

– Контрибуция на тебя наложена. Пять тысяч рублей.

Агапов ласково улыбнулся.

– Контрибуция? Превосходно. Раз наложена, то я что же? Я ничего возразить не могу... Сейчас вам вынесу.

Он торопливо вышел в дверь направо. Бледная кухарка тяжело вздыхала. Солдаты смотрели на блестящий паркет, на большой черный рояль. Высокий подошел к двери налево и открыл ее. За ним оба другие пошли. На потолке висел розовый фонарь. Девушка, с обнаженными руками и плечами, приподнявшись на постели, испуганно прислушивалась. Она вскрикнула и закрылась одеялом. Из темноты соседней комнаты женский голос спросил:

– Ася, что это ты?

– Что вам нужно? – спросила Ася.

Солдаты, не отвечая, стояли посреди комнаты и с жадным любопытством оглядывали бледные шелка кушеток, снимки с Беклина на стенах, кружева больших подушек вокруг черноволосой девичьей головки. Вдыхали розовый сумрак, пропитанный нежным ароматом.

В дверях ласково зажурчал голос Агапова:

– Товарищи, вот вам деньги. Пожалуйста в зал. Вы не беспокойтесь, тут вам делать нечего.

Из–за него выглядывала его жена, бледная, в ночной кофте.

Высокий коротко сказал:

– Обыск нужно сделать.

– Вы чего же ищете?

Солдат подумал.

– Оружие.

Он подошел к туалету и стал выдвигать ящички. Нашел два футляра с колечками и опустил колечки в карман. Венецианское зеркало туалета с невиданною четкостью отразило его лицо. Он выпрямился и подправил черные свои усики; заглянул в зеркало и другой солдат, совсем молодой. Его Агапов с удивлением вдруг узнал. Это был Мишка, сын штукатура Глухаря. И третьего он узнал – прыщеватого, с опухлым лицом: тоже деревенский, Левченко.

Глухарь взял со столика, около кровати, золотые часики.

– Борька, вот еще.



Высокий подошел. Он оглядел покрытую одеялом девушку.

– Что это у тебя на руке? Покажь.

Ася робко протянула нагую руку с гладким золотым браслетом.

– Сымай.

Она сняла и подала.

– Слазь с кровати. Обыск нужно сделать. Может, у тебя оружие под тюфяком.

Девушка растерянно приподнялась, закрываясь одеялом.

– Ну, ну, слазий!

Он сдернул одеяло. Как в горячем сне, был в глазах розовый, душистый сумрак, и белые девические плечи, и колеблющийся батист рубашки, гладкий на выпуклостях. Кружило голову от сладкого ощущения власти и нарушаемой запретности, и от выпитого вина, и от женской наготы. Мать закутала Асю одеялом. Из соседней комнаты вышла, наскоро одетая, Майя. Обе девушки сидели на кушетке, испуганные и прекрасные. Солдаты скидывали с их постелей белые простыни и тюфяки, полные тепла молодых тел, шарили в комодах и шкапах.

Потом они вышли в залу. Высокий сказал:

– До утра никому не выходить. И про все молчать. Коли станете рассказывать, воротимся и всех постреляем.

Они ушли, оставив дверь террасы настежь. Агапов запер дверь. Взволнованные, долго все сидели в Асиной спальне и обменивались впечатлениями. Кухарка рассказывала, как солдаты наставили на нее винтовки и принудили сказать про телеграмму. Валялись на полу затоптанные сапогами простыни, тонкий аромат духов мешался с запахом застарелого пота и винного перегара. Уже стало светать, когда все разошлись и легли спать.

Опять в дверь террасы раздался стук, – на этот раз сильный и властный. В спальне девушек голос с отчаянием сказал:

– Господи, когда же конец!

Вошли солдаты с винтовками и впереди – командир с револьвером у пояса.

– Оружие есть у вас? Бинокли, велосипеды? Военное обмундирование?

Агапов бледно и ласково улыбнулся.

– Этого ничего нету, товарищи. А золото, какое было, и наложенную контрибуцию сегодня ночью ваши уже взяли.

Командир, с седым клоком в темных волосах, удивленно поднял брови.

– Наши? Какую контрибуцию?

– Не знаю–с. Взыскали пять тысяч.

Командир закусил губу.

– Я сейчас велю выстроить перед вами весь наш отряд. Укажите, кто это сделал.

– Из вашего ли отряда, не знаю. Солдаты, но только здешние, деревенские.

– Кто такие?

– Извините, дал им слово их не называть.

– Все равно, назовете.

– Претензий на них я не имею.

– Я вас про это не спрашиваю. Потрудитесь назвать, кто такие.

Агапов огорченно улыбнулся и развел руками.

– Не могу–с!

– Товарищи, нарежьте в саду розог и снимите с него пиджак. Будем вас сечь, пока не назовете.

– Ну, это зачем же–с!.. Коли так, то, конечно... Глухарь Михайло, сын штукатура, и Левченко Игнат, недавно воротился из австрийского плена. Третьего не знаю, не здешний, – высокий, с черными усиками, товарищи называли его Борька.

– Хорошо. Сейчас сделаем у них обыск. К двенадцати часам приходите в ревком.

И, не деля обыска, они ушли.

Катя встала с солнцем. Выпустила и покормила кур. Роса блестела на листьях и траве. По затуманенной глади моря бегали под солнцем и ныряли тусклые красно–золотые змейки. По подъемам Кара–Агача клубились облака, но острая вершина его твердо темнела над розовым туманом.

Давно так сладко и так крепко Катя не спала, как в эту ночь. Тяжелый камень, много месяцев незаметно давивший душу, вчера вдруг сдвинулся, и душа, – помятая, слежавшаяся, – блаженно расправлялась, недоумевая и не веря свободе. Жадно дышала грудь крепким морским воздухом, солнце пело и звенело в душе. С Катей это часто бывало: вдруг как будто совсем другими стали глаза, все обычное, примелькавшееся встало пред ними, как только что возникшее чудо. Она неподвижно стояла среди сада и в остолбенении смотрела.

Медленно ступала по траве около колодца невиданно огромная и красивая птица с огненно–красной шеей, с пышным хвостом, отливавшим зеленою чернью... Петух? Это – «просто» петух? Миллионы лет, в муках, трудах и борьбе, создавалась из первобытной слизи эта сверкающая красота, – и вот шагает по траве простой петух, и никто не чувствует, во что обошелся он жизни и какой он чудесно–необычайный... Из косной земли выползло что–то гибкое, ярко–зеленое, живое, и светится под солнцем кустами барбариса. В тысячевековой миг с чудовищными усилиями слились друг с другом мертвые частицы, – и весело перебегают через шоссе осознавшая себя жизнь, забывшая о заплаченной судьбе невероятных своих страданиях. Смеется смуглое личико, тонкий стан качается, качаются на коромысле ведра, и сверкающие капли падают с них на дорогу.

Калитка протяжно скрипнула. С шоссе входили в сад два солдата с винтовками, с красными перевязями на руках. Катя весело спросила:

- Вам чего, господи?
- Оружие есть у вас?
- Нету.

Солдаты направились к дому. Не стучась, вошли в кухню. Иван Ильич умывался у раковины, Анна Ивановна поджаривала на сковородке кашу. Когда солдаты вошли с Катей, Иван Ильич повернул к ним свое лицо с мокрой бородой, Анна Ивановна побледнела. Иван Ильич спросил:

- Что скажете, граждане?

Враждебно глядя, один из солдат, с белыми бровями и усиками на загорелом лице, сказал:

– Пришли обыск сделать. Оружие есть у вас? Если бинокли есть, велосипеды, одежда военная, – должны выдать.

Иван Ильич брезгливо повел на них глазами.

- Обыскивайте.

И стал вытираться полотенцем.

Солдаты неуверенно оглядели закопченную кухню, заглянули в убогую Катину каморку, потом пошли в спальню. Было грязно, бедно. Белоусый для виду приподнял за угол тюфяк неубранной постели.

- Ну, что же! Нету ничего, – обратился он к товарищу.

Катя рассмеялась. Ей милы были их конфузливые лица и неуверенность.

– Да разве так обыскивают? Так вы ничего не найдете. У нас тут под тюфяком спрятано три пулемета.

- Нет, что ж!.. Сразу видать, что ничего нету.

Они пошли назад в кухню. Катя сказала:

- Садитесь, попьем чайку.

Солдаты удивились, переглянулись и со смущенною улыбкою ответили:

- Ну, спасибо. Сегодня ничего еще не пили, не ели.

Они поставили винтовки свои в угол.

Пили из кружек горячей настой шиповника, закусывая хлебом. Катя жадно расспрашивала. Белоусый, с посверкивающим улыбкою загорелым лицом, рассказывал:

– Мы составили свой партизанский отряд, дали клятву беспощадной борьбы и железной дисциплины. Командир у нас лихой, – товарищ Седой. Сознательный человек. Всем беспонятным дает понятие.

- А сами вы кто?
- Мы рабочие, из города.
- Отчего же вы такой загорелый?

– В горах уж целый месяц, – на ветру, на солнце. Ушли от кадетов, организовались, чтоб начать у них в тылу партизанскую борьбу, а тут как раз наши подошли от Перекопа.

– Вы сами тоже, значит, большевики?

Он с удивлением поглядел на Катю.

– Ну, да!

Иван Ильич спросил:

– А что такое большевизм?

Солдат с готовностью стал объяснять:

– Большевизм, это – за рабочую власть. Чтоб вся власть была у рабочих и крестьян. Сделать справедливый трудовой строй.

– И крестьянам чтоб была власть? Почему же вы тогда против Учредительного собрания? Крестьян и рабочих в России море, а буржуазии – горсточка. Что кому помешало бы, если бы в Учредительном собрании был десяток представителей от буржуазии? А между тем тогда всем было бы видно, что это всенародная воля, и всякий бы пред нею преклонился.

Солдат улыбнулся.

– Я вам сейчас все это объясню вполне полноправно. Мужик – темный, его всякий поп проведет и всякий кулак. А мы, рабочий класс, его в обиду не дадим, не позволим обмануть.

– Напрасно вы думаете, что наш мужик такой дурачок. И напрасно думаете, что у него нет своих интересов, отличных от интересов рабочего класса...

– Ваня! – позвала из спальни Анна Ивановна.

Иван Ильич пошел к ней. Анна Ивановна шепотом накинулась на него.

– Ваня, да что же ты это? Арестуют они тебя, – а там вдруг откроется, что ты бежал из России. Ведь вот какой неугомонный!

– Э, ч–черт! – Иван Ильич махнул рукою и лег на постель.

Солдат с любопытством спрашивал Катю:

– А вы за кого стоите?

– Я стою за социализм, за уничтожение эксплуатации капиталом трудящихся. Только я, не верю, что сейчас в России рабочие могут взять в руки власть. Они для этого слишком неподготовлены, и сама Россия экономически совершенно еще не готова для социализма. Маркс доказал, что социализм возможен только в стране с развитою крупною капиталистическою промышленностью.

Солдаты с недоумением смотрели на нее, и лица их становились все более настороженными. И все больше сама Катя чувствовала, что для них сейчас, при данном положении, то, что вытекало из ее слов, было еще более нежизненно, чем тот утопический социализм, о котором она говорила.

Белоусый поднял брови, подумал и сказал:

– Вы говорите, вы за рабочих. Так как же теперь? Мы, значит, власть взяли, – и отдать ее назад буржуазии, чтоб она развивала эту самую промышленность?

– Отдавайте, не отдавайте, а она все равно власть себе заберет. Или Россия совсем развалится.

Другой красноармеец – желто–бледный, с черной бородкой – резко спросил:

– А скажите – вот эта дачка, – ваша, собственная?

– Ну... Ну, да, наша! Но что же это меняет?

Он встал, взял из угла винтовку и пренебрежительно ответил:

– Ничего... Спасибо за угощение.

Они пошли из кухни. Катя провожала их до калитки. С черной бородкой сказал:

– Вот, брат Алеха, дело–то какое выходит, а? Пойдем–ка в город, поищем буржуев – может, какие еще остались. Отдадим им винтовки свои, – виноваты, мол, ваше степенство, получайте власть назад!

Катя радостно смеялась.

– И все–таки, все–таки я очень рада, товарищи, что видела вас. Вы действительно товарищи, вас я так могу называть... А то – хулиганы, грабители, обвешались золотыми цепочками, брильянты на пальцах, у мужика в вагоне отбирают последний мешок муки, и все – «товарищи».

По шоссе проходил красноармеец с винтовкой. Он крикнул:

– Гришка, Алешка! В двенадцать часов собирайтесь к ревкому! Бандитов судить.

Катя тоже пошла к двенадцати часам.

На площади, перед сельским правлением, выстроился отряд красноармейцев с винтовками, толпились болгары в черном, дачники. Взволнованный Тимофей Глухарь, штукатур, то входил, то выходил из ревкома. В толпе Катя заметила бледное лицо толстой, рыхлой Глухарихи, румяное личико Уляши. Солнце жгло, ветер трепал красный флаг над крыльцом, гнал по площади бумажки и былки соломы.

Из ревкома вывели под конвоем Мишку Глухаря и Левченко, с оторопелыми, недоумевающими глазами. Следом решительным шагом вышел командир отряда, в блестящих, лакированных сапогах и офицерском френче. Катя с изумлением узнала Леонида. С ним вместе вышли Афанасий Ханов, председатель временного ревкома, и еще один болгарин, кряжистый и плотный, член ревкома.

Леонид остановился у перил крыльца и привычно громким, далеко слышным голосом заговорил:

– Товарищи! Героическим усилием рабочих и крестьян в Крыму свергнута власть белогвардейских бандитов. Золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов соединились в так называемую добровольческую армию, чтоб удушить рабочий народ и отобрать у него обратно свои поместья и фабрики. Рабоче–крестьянская Красная Армия раздавила гнездо этих гадов. От нас не будет пощады никому, кто жил чужим трудом, кто сосал кровь из трудящихся. Мы выгоним их из роскошных дворцов и вилл, обложим беспощадной контрибуцией, отберем съестные припасы и одежду, заставим возратить все награбленное...

Слова были затасканные и выдохшиеся, но от грозного блеска его глаз, от бурных интонаций голоса они оживали и становились значительными. Леонид продолжал:

– Но, товарищи, это не значит, что наша Советская Социалистическая Республика разрешает любому желающему грабить всякого встречного буржуа и набивать себе карманы его добром. Все имущество буржуазии принадлежит республике трудящихся, помните это! Только она будет отбирать у них имущество, чтоб по справедливости разделить между нуждающимися... Между тем сегодня ночью три человека, – два из них – вот они, третий скрылся, – записавшись вчера вечером в Красную Армию, ночью сделали налет на поселок, взыскали в свою пользу контрибуцию с гражданина Агапова, награбили у него золотых вещей, белья, даже женских рубашек. При обыске мы нашли у них эти вещи...

Солдаты с загорающим негодованием слушали. И было это опять не от слов, а от грозного возмущения, каким горели слова, от гипнотического заражения ощущением неслыханной позорности совершенного.

– Гражданин Агапов! Расскажите, как было дело.

Выступил Агапов, с приплюснутым спортсменским картузиком на голове. Сладко и виновато улыбаясь, он рассказал, как его грабили, всячески смягчая подробности, и прибавил, что злобы не имеет и просит простить обвиняемых.

Леонид обратился к болгарам:

– Вы, товарищи, имеете что–нибудь против гражданина Агапова?

Из толпы неохотно ответили:

– Что ж иметь... Дачник как дачник.

Леонид вызвал барышень Агаповых. Ася, с вспыхнувшими злобою красивыми глазами, указала на Мишку Глухаря:

– Вот этот взял у меня со стола золотые часики.

Агапов растерянными горящими глазами старался удержать дочь, но она нарочно не смотрела на него. Вдруг старик Глухарь резко спросил:

– А скажи, где твой брат?

Ася смутилась.

– Какой брат?

– Какой–ой!.. Не знаешь? Ну–ка, подумай!

– Мы о нем уж полгода не имеем вестей.

– Ишь ты как! Не имеешь! Ну, а я имею. Он в кадетах служил офицером.

– Это мы исследуем, – зловеще сказал Леонид и обратился к арестованным:

– Что вы скажете?

Парни в один голос ответили:

– Пьяны были, товарищ начальник! Ничего не помним. Мы думали, что Борька Матвеев по приказу действует.

Леонид сурово оглядел их.

– Вы этого не могли думать. Всем записавшимся в наш отряд я вчера вечером ясно сказал, что грабить мы не позволяем... Товарищи! – обратился он к своему отряду. – Наша красная рабоче–крестьянская армия – не белогвардейский сброд, в ней нет места бандиту, мы боремся для всемирной революции, а не для того, чтоб набивать себе карманы приятными разными вещами. Эти люди вчера только вступили в ряды красной армии и первым же их шагом было идти грабить. Больше опозорить красную армию они не могли!

И как будто стальная молния пронизала напоенный солнцем воздух:

– Я предлагаю им наказание: расстрел!

Толпа глухо охнула. Арестованные побледнели и затряслись. Короткий стон выделился из гула. Глухариха с мертвенно–бледным лицом и закрытыми глазами валилась на руки соседок.

Леонид обратился к своему отряду:

– Как вы, товарищи?

– Расстрел! – пронеслось по рядам, и защелкали затворы винтовок.

Крестьянская толпа взволнованно гудела. Выделился голос:

– Не надо расстрела. Выпороть довольно...

– Выпороть! – подхватила толпа.

Леонид помолчал.

– Хорошо. Предлагаю пятьдесят розог...

– Много!

– Ну, двадцать пять. Больше разговаривать нечего... Товарищи, нарежьте розог!

Выступил Агапов.

– Прошу слова... Я бы предложил для светлого праздника совсем их простить. Они это сделали по неосознанности, сами теперь жалеют, а мы на них зла не имеем.

Леонид резко оборвал его:

– Приговор уже произнесен!

Красноармейцы шли от огорода с нарезанными прутьями. Парни трясущимися руками стягивали через головы рубашки.

Со смутным чувством омерзения и торжества Катя то взглядывала, то отворачивалась. Белели спины, мелькали прутья, слышались мальчишеские жалобные вопли. Уляша, вытянув голову, жадно и удивленно смотрела через плечи мужиков. Нервно смеясь, Катя подошла к ней.

– Ну что, Уляша, большевизм, это – дачи грабить?

Уляша застенчиво улыбнулась и опустила глаза. Катя, сквозь стыд, сквозь гадливую дрожь душевную, упоенно торжествовала, – торжествовала широкою радостью освобождения от душевных запретов, радостью выхода на открывающуюся дорогу. И меж бараньих шапок и черных свит она опять видела белые спины в красных полосах, и вздрагивала от отвращения, и отворачивалась.

Громко раздался в тишине голос Леонида:

– Теперь вы будете отправлены на фронт, в передовую линию, и там, в боях за рабочее дело, искупите свою вину. Я верю, что скоро мы опять сможем назвать вас нашими товарищами... – А третьего мы все равно отыщем, и ему будет расстрел... Товарищи! – обратился он к толпе. – Мы сегодня уходим. Красная армия освободила вас от гнета ваших эксплуататоров, помещиков и хозяев. Стройте же новую, трудовую жизнь, справедливую и красивую!

Потом выступил Афанасий Ханов. Он говорил путанно, сбиваясь, но прекрасные черные глаза горели одушевлением, и Катя прочла в них блеск той же освобождающей радости, которая пылала в ее душе.

– Товарищи! Вы сейчас, значит, слышали, что вам объяснил товарищ Седой. И он говорил правильно... Теперь, понимаете, у нас трудовая власть и, конечно, Советы трудящихся...

Значит, ясно, мы должны организовать и, конечно, устроить правильно большое дело... Чтобы не было у нас, понимаете, богатых эксплуататоров и бедных людей...

Катя шла домой коротким путем, через перевал, отделявший деревню от поселка. Открывалась с перевала голубая бухта, красивые мысы выбегали далеко в море. Белые дачи как будто замерли в ожидании надвигающегося вихря. Смущенно стояла изящная вилла Агаповых, потерявшая уверенную свою красоту. Кате вдруг вспомнилось:

Я трагедию жизни претворю в грезо–фарс...

Подведенные девичьи глаза, маленький креольчик и лиловый негр из Сан–Франциско... И грубая, мутно–бурлящая новая жизнь, чудовищною волною подлинных трагедий взмывшая над этой тихой, ароматно–гнилою заводью.

Толстый слой льда, оковывавший душу Кати, растрескался, и шел бурный ледоход, полный радостного шума и весеннего счастья самоосвобождения.

Около двух часов дня в автомобиле с красным флагом по шоссе пронеслись матросы. А в четвертом часу к Ивану Ильичу пришел худенький, впалогрудый почтальон с кумачным бантиком на груди, с огромной берданкой и передал приказ ревкома явиться к четырем часам в сельское правление.

– Зачем?

– Не знаю. Приказано собраться всем взрослым мужчинам из... – Он конфузливо улыбнулся: – из буржуазии. Кто не придет – на расстрел.

Иван Ильич захохотал.

– Вот так, вы меня возьмете и застрелите?

Почтальон виновато улыбнулся.

– Значит, и пожалуйста.

Катя пошла вместе с отцом. В сельском правлении собралось много дачников. Сидели неподвижно, с широко открытыми глазами, и изредка перекидывались словами. Были тут и ласково улыбающийся Агапов, и маленький, как будто из шаров составленный, владелец гостиницы Бубликов. В углу сидел семидесятилетний о.Воздвиженский, с темным лицом, и тяжело, с хрипом дышал.

Афанасий Ханов, бледный и взволнованный, то входил в комнату, то выходил.

Иван Ильич спросил его:

– Чего это вы нас сюда согнали?

– Не знаю. Комендант Сычев приказал. Он сейчас приедет из Эски–Керыма.

Вошел артист Белозеров, с пышным красным бантом, с неподвижным и торжественным лицом. В руках у него была бумажка и карандаш. С ним вошел студент Вася Ханов, племянник Афанасия, красивый мальчик–болгарин с черными бровями.

Белозеров сел к закапанному чернилами столу.

– Граждане! Прошу вас поочередно подходить к столу, я должен всех вас переписать.

Иван Ильич громко спросил:

– А позвольте узнать, с кем мы имеем дело?

– Член ревкома, – коротко ответил Белозеров, не глядя на Ивана Ильича.

Всех переписали.

Прошел час, другой. Комендант не приезжал. Собранные покорно ждали. Только Иван Ильич возмущенно ходил большими шагами по комнате. Когда вошел Ханов, он сердито спросил:

– Послушайте, господин, долго вы нас тут будете держать?

Ханов сконфуженно пожал плечами.

– Пойду, еще позвоню по телефону.

Позвонил в Эски–Керым. Комендант–матрос ответил:

– Всем ждать! Приеду.

Солнце склонялось к горам. Местные парни с винтовками сидели у входа и курили. Никого из мужчин не выпускали. Катя вышла на крыльцо. На шоссе слабо пыхтел автомобиль, в нем сидел военный в суконном шлеме с красной звездой, бритый. Перед автомобилем, в почтительной позе, стоял Белозеров. Военный говорил:

– Белозеров, артист государственных театров? Как же, как же! Я вас слышал в Петрограде... А это что там за народ?

– Буржуев собрали, по приказу товарища коменданта.

– А-а! – зловеще протянул военный. – Ну, до свидания! Очень приятно таких людей встречать в наших рядах.

Он благосклонно протянул руку Белозерову. Автомобиль мягко сорвался и поплыл по шоссе. Белозеров пошел к крыльцу. Катя пристально смотрела на него. Белозеров поспешил согнать с лица остатки почтительно-радостной улыбки.

Еще час прошел. Звенел телефон в соседней комнате. Темнело. В правление вошли Ханов и Белозеров.

Белозеров, с серьезным и непроницаемым лицом, сказал:

– Граждане! Я должен объявить вам печальную весть... А впрочем – для многих может быть и радостную, – поправился он. – Вы тоже имеете возможность послужить делу революции. Вы отправляетесь на фронт рыть окопы для нашей доблестной красной армии.

Все молчали. Стало тихо. Слышно было только хрипящее дыхание о.Воздвиженского.

Иван Ильич резко и властно сказал:

– На окопные работы, по советскому декрету, отправляются мужчины только до пятидесяти лет, здоровые. А здесь есть больные, старики.

Белозеров и Ханов недоуменно переглянулись. Опять пошли к телефону. Воротились. Белозеров объявил:

– Все мужчины, без всяких исключений! Больные и старые, – все равно. Все должны отправиться сегодня ночью. Предлагаю вам, граждане, к одиннадцати часам ночи собраться к кофейне Авраими. Должны явиться все записанные, под страхом революционной ответственности.

И он вышел. Катя налетела на Ханова.

– Как же так? Что это за распоряжение нелепое?

Ханов растерянно поежился.

– Сычев по телефону велел всех представить. Больных хоть на койках тащить. Если кого оставим, весь ревком на мушку.

– Да поймите, как же больной на койке будет рыть окопы? Вот, например, батюшка Воздвиженский. Ведь вы же сами понимаете, – нелепость!

И вдруг с холодным, усталым ужасом чей-то женский голос произнес:

– Господи! Их везут расстрелять!

Трепет пробежал по всем. Бледный Ханов вышел. Взволнованно стали расходиться.

Иван Ильич с Катей воротились домой. Был уже девятый час вечера. Анна Ивановна торопливо собирала белье и еду. Когда Иван Ильич вышел в спальню, она растерянно взглянула на Катю и сказала:

– Леонид объявит там, что Иван Ильич бежал из России от чрезвычайки.

Катя нетерпеливо воскликнула:

– Ах, мама, ну что за вздор говоришь!

Вошел Иван Ильич, они замолчали. Катя, спеша, зашивала у коптилки продранную в локте фуфайку отца. Иван Ильич ходил по кухне посвистывая, но в глазах его, иногда неподвижно останавливавшихся, была упорная тайная дума. Катя всегда ждала в будущем самого лучшего, но теперь вдруг ей пришла в голову мысль: ведь правда, начнут там разбираться, – узнают и без Леонида про Ивана Ильича. У нее захолонуло в душе. Все скрывали друг от друга ужас, тайно подавливавший сердце.

Только что поужинали, опять явился почтальон с винтовкой и уже сурово сказал:

– Что же не идете? Все уж собрались, вас ждут. Приказано вас привести.

Катя властно ответила:

– Можете идти. Мы сейчас выходим.

Почтальон помялся, сказал: «Поскорее велели!» – и ушел.

Оделись. Катя взяла саквояж. Иван Ильич остановился у двери:

– Ну, Анечка, тут простимся!

Он мягко улыбнулся беззубым ртом и раскрыл объятия жене. Анна Ивановна всхлипнула и припала к нему.

– Старенькая моя! – умиленно сказал он, и гладил рукою ее волосы.

Потом лицо его стало серьезным и прислушивающимся, он снял с пальца обручальное кольцо и протянул жене. Анна Ивановна отшатнулась.

– Ваня, что это ты!.. Зачем мне твое кольцо? Ведь это... Это только у покойников берут!

С тихой улыбкою Иван Ильич ответил:

– Может быть, так надо!

И они опять прильнули друг к другу.

– Ну, идем! – весело сказал Иван Ильич.

У кофейни стояло несколько мажар. Старуха жена и дочь поддерживали под руки тяжело хрипящего о.Воздвиженского, сидевшего на ступеньке крыльца. Маленький и толстый Бубликов, с узелком в руке, блуждал глазами и откровенно дрожал. С бледною ласковостью улыбался Агапов рядом с хорошенькими своими дочерьми. Болгары сумрачно толпились вокруг и молчали. Яркие звезды сверкали в небе. Вдали своим отдельным, чуждо ласковым шумом шумело в темноте море.

Секретарь ревкома Вася Ханов, с заплаканными глазами, отмечал по списку отправляемых. И вдруг у всех еще крепче стала мысль, что везут на расстрел.

Густо усадили арестованных в мажары. Рядом с возницами село по милиционеру с винтовкой. Подошел подвыпивший, как всегда, столяр Капралов. Поглядел, покрутил головой.

– Гм! Советская Федеративная Республика!

У крыльца была суета.

– Доктор, помогите! – позвали Ивана Ильича.

Старик священник лежал в обмороке.

– Скорее, граждане! – торопил Афанасий Ханов.

Иван Ильич осмотрел больного, пощупал пульс и суровым, не допускающим возражений голосом громко сказал:

– Гражданин Ханов! Этого больного нужно оставить, его нельзя везти.

Афанасий Ханов истерически крикнул:

– Что это такое? Прошу вас не рассуждать, товарищ доктор. Вас никто не спрашивает! Поднимите его, положите в мажару! – приказал он болгарам.

– Я вас предупреждаю, гражданин Ханов, что больной не вынесет дороги. Ответственность я возлагаю на вашу совесть!

– Не ваше дело! Прошу не разговаривать! – взволнованно кричал Ханов.

Священника положили в подводу. Капралов смотрел, сложив руки на груди.

– Гм! Федеративная Республика!

Мажары двинулись. Женщины рыдали. Только Анна Ивановна смотрела вслед скрипящим подводам, поджав губы, без слезинки, – она привыкла к непрерывным бедам, сыпавшимся на мужа всю его жизнь.

Болгары тихо переговаривались.

– Запьянствовал комендант в Эски–Керыме, потому сам не приехал.

– Это Васька Сыч, комендант–то! Я его сразу признал. До войны известный вор был в порту, а теперь гляди, – комендант, на машине ездит.

Кате не позволили ехать с отцом. Она бросилась в деревню, узнала, что ночью едет в город закупщик кооператива, устроилась с ним. Выехали они глухою ночью. Из моря вылез огромный, блестящий Скорпион и сидел в небе, поджав хвост. На перевале подул холодный ветер. Восток побледнел. За мостом подвода обогнала ряд мажар, густо усаженных арестованными с соседних дачных поселков. Молодые люди в изящных шляпах; толстый старик еврей с глазами навывкате и отвисшей губою; сизолицый отставной полковник. Сзади – линейка с пьяными красноармейцами. На шоссе откосах в глубокой предрассветной дреме кивали головками красные и желтые тюльпаны. Взошло солнце. Внизу, у бухты, голубел город, окутанный дымкою, сверкали кресты церквей, серели острые стрелки минаретов.

От возвращавшихся болгар–подводчиков Катя узнала, куда отвезли арестованных. По набережной тянулись дворцы табачных фабрикантов–миллионеров. Среди них белел огромный особняк с воздушными шпицами, похожий на дворец Гарун–аль–Рашида в сказках. Над чугунными решетчатыми воротами развевался красный флаг. Два часовых с винтовками отгоняли толпу женщин, теснившихся к решетке.



Сбоку дома солдаты выводили из подвалов арестованных, кричали на них, ругали матерными словами:

– Стройся вдоль стенки! В затылок!.. Куда прешь, борода? Вот я тебе, ай не знаешь? А еще генерал!

Солдат замахнулся прикладом на худощавого, сгорбленного генерала с седой бородой.

Толстая дама в шляпке сказала упавшим голосом!

– К стенке строят, расстреливать будут!

Мастеровой в отрепанном пиджаке возразил тоном опытного человека:

– Нет, в два ряда строят. Значит, не на расстрел.

Другая дама униженно говорила часовому:

– Вы мне позвольте только пальто передать мужу. Подняли его ночью, в одном пиджаке увезли, – как же он там, в окопах...

– А прикладом в спину хочешь?

Катя вскипела.

– Почему вы ей говорите «ты»?! Мы вам «вы» говорим. Советская власть это отменила, чтобы гражданам говорить «ты»! Это только в царское время так становые да урядники разговаривали с людьми. Солдат с удивлением оглядел ее.

– А за решетку хочешь? Вот я тебя сейчас в подвал отправлю.

– Нет, не отправите, не имеете права.

От ее решительного тона он замолчал и отвернулся.

Нервная дама в пенсне приставала к другому часовому:

– Но ведь мой муж – советский служащий, доктор. Вот документы. Дайте же мне пройти.

– Нельзя, товарищ!

– Его же расстреляют!

Часовой успокоительно сказал:

– Нет, только в окопы пошлют. Вон инструмент раздают... Ничего, пушай поработают в окопах.

– Да ведь он больной совсем!

Мастеровой в пиджаке враждебно возразил:

– «Больной». Что ж, что больной, за вас там даже безрукие сражаются, кровь свою проливают.

Подкатил автомобиль, развевались по ветру гвардейские желто–оранжевые ленточки матросских фуражек.

– Комендант!.. Сычев!

– Который?

– Вон тот, рыжий.

Дама в пенсне кинулась к нему.

– Товарищ комендант! Мой муж арестован, а он советский служащий, вот документы.

– К черту ступай! – Комендант отмахнулся и с другими матросами вошел в ворота.

Катя видела сквозь решетку, как его обступили арестованные. Комендант кричал, закинув голову и тряся кулаком, сыпал ругательствами. Катя поняла, что он совершенно пьян и ничего не станет слушать.

– Гнать всех в окопы! Никаких разговоров! – крикнул матрос и по мраморным ступеням вошел в парадный подъезд.

В толпе арестованных Катя увидела высокую фигуру отца с седыми косицами, падающими на плечи. Ворота открылись, вышла первая партия, окруженная солдатами со штыками. Шел, с лопатой на плече, седобородый генерал, два священника. Агапов прошел в своем спортсменском картузике. Молодой горбоносый караим с матовым, холеным лицом, в модном костюме, нес на левом плече кирку, а в правой руке держал объемистый чемоданчик желтой кожи. Партия повернула по набережной влево.

Подкатил к воротам другой автомобиль, вышло трое военных. В одном из них Катя узнала Леонида.

– Леонид!

Он удивился.

– Катя! Ты как здесь?

– Папу забрали, гонят на окопные работы.

– Что за нелепость! Ведь ему шестьдесят пять лет.

– И не только его. Посмотри, какие старики там, есть совсем больные... Священник Воздвиженский...

Леонид, не слушая дальше, прошел в подъезд.

Через минуту вышел красноармеец, выкликнул Ивана Ильича. Катя видела сквозь решетку, как отец спорил с ним, как тот сердился и на чем–то настаивал. Подошел другой солдат и взял Ивана Ильича за рукав. Иван Ильич выдернул руку.

– Э, черт! Еще разговаривать с тобой!

Солдат крепко схватил Ивана Ильича за руку под плечом, вывел за ворота и толкнул в спину.

– Ступай!

От толчка Иван Ильич пробежал несколько шагов поперек панели. Катя бросилась к нему.

– В чем дело?

Иван Ильич, не глядя на нее, быстро шагал вдоль набережной. Катя побежала за ним.

– В чем дело? Папа, что они с тобой?

Он остановился.

– Это что? Твои хлопоты? По протекции освободили? Через «товарища Леонида»? С какой стати мне одному уходить? Не благодарю тебя.

– Ну, папа... Погоди...

– Старик Воздвиженский умер ночью у нас в подвале.

Катя ахнула.

Загудела сзади сирена. Леонид со спутниками ехал на автомобиле. Катя остановила его.

– Леонид, одного только папу освободили. А там много еще стариков, больных. Священника Воздвиженского забрали совсем больного, он у них ночью умер в подвале.

Спутники Леонида насмешливо смотрели на Катю. Леонид нетерпеливо нахмурился.

– Освободили тебе его, чего же еще?

– А других? А за то, что комендант этот больного священника велел забрать, умирающего, и он умер?.. Это декрет запрещает. Неужели он не ответит?

– Извини, мне некогда... Товарищ шофер, можно ехать.

Через несколько дней почти все арестованные воротились домой. Командующий фронтом отправил их обратно, заявив: «На что мне эта рухлядь?»

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В Отделе, народного образования, – сокращенно: «Отнаробраз», – работа была ключом. Профессор Дмитревский, оказалось, был еще и прекрасным организатором. Комиссаром его не утвердили, – он был не коммунист. Комиссаром был юный студент–математик, не пытавшийся проявлять своей власти и конфузливо уступивший руководство Дмитревскому. Официально Дмитревский числился членом коллегии.

Он привлек к работе лучших местных педагогов и деятелей народного университета. Вводилось в школы трудовое начало, организовались вечерние курсы и рабочие клубы, расширена программа народного университета, намечалась сеть подвижных библиотек по уезду, увеличение числа школ. Педагоги сначала настороженно следили за начинаниями профессора: они ждали, что командовать над ними поставят школьных сторожей и ломовых извозчиков. Увидели, что не так, и охотно взялись за работу. Катю Дмитревский сделал своим секретарем. Ей много приходилось принимать рабочих, крестьян, и весело было иметь с ними дело.

И весело было, что смело ломались все застывшие формы школьного дела, что выносились из школ иконы, что баричи–гимназисты сами мыли полы в классах, что на гимназических партах стали появляться фабричные ребяташки. И хорошо было, что Дмитревский умел устранить из всего этого всякий оттенок измывательства. Он сам посещал школы, беседовал с учениками, объяснял им, что не нужно стыдиться физического труда, что религия – это частное дело каждого, что предметам одного религиозного культа не место в школах, где для

совместного обучения сходятся люди самых разнообразных вероисповеданий.

Дмитревский умел выбирать людей. Делами Отдела управлял бывший банковский служащий Гольдберг. Молодой, смуглый, с сверкающими зубами и смеющимися глазами; внутри его как будто была заложена тугая, никогда не ослабевающая пружина. Все он умел устроить, все умел добыть. Раньше всех других отделов выцарапывал жалование для служащих, организовал совместное получение хлебного пайка, добывал удобные помещения для клубов и библиотек, охранные грамоты для теснимых ученых и художников. Самые трудные дела поручал ему Дмитревский.

– Ну, что?

– Есть! – отвечал он, плутовски смеясь глазами.

Среди милых, но пассивных и мягких русских сотрудников он был как крутящийся волчок среди неподвижных кукол. И когда его звали:

– Арон Моисеич! – он весь взвизывался и, вместо «что?», спрашивал:

– Ради бога?

Приехал из Арматлука артист Белозеров и предложил свои услуги по организации подотдела театра и искусств. Ревком дорожил именами и с радостью принял его предложение. Белозеров немедленно реквизировал только что достроенный театр частного предпринимателя, хотя театры в Крыму в то время не реквизировались. Наробраз делал объявления: «предлагается гражданам», – Белозеров в своей области выпускал «приказы» и грозил расстрелом саботажникам, которые не регистрируют в Отделе своих музыкальных инструментов. Он быстро перезнакомился и сошелся со всеми влиятельными лицами; бывал у них на дому, пел им, пил с ними и сразу приобрел самое привилегированное положение. Заявил, что его зовут в Симферополь на огромный оклад, и ревком, не в пример прочим, назначил ему шестнадцать тысяч в месяц, когда все комиссары получали жалования по одной–две тысячи. Получал он какими–то способами и вино, и сахар, и мясо. Занимал две роскошные комнаты с ванной в реквизированном особняке. И он говорил:

– По душе я всегда был коммунистом.

Кате отвели номер в гостинице «Астория». Была это лучшая гостиница города, но теперь она смотрела грустно и неприветливо. Коридоры без ковров, заплеванные, белевшие окурками; никто их не подметал. Горничные и коридорные целый день либо валялись на своих кроватях, либо играли в домино. Никто из них не знал, оставят ли их, какое им будет жалование. Самовары рядом стояли на лавке, – грязно–зеленые, в белых полосах. На звонки из номеров никто не шел. Постояльцы кричали, бранились. Прислуга лениво отвечала:

– Кричи не кричи, а паном все равно не будешь!

Жили в гостинице советские служащие, останавливались приезжавшие из уезда делегаты, красноармейцы и матросы с фронта. До поздней ночи громко разговаривали, кричали и пели в коридорах, входили, не стучась, в чужие номера. То и дело происходили в номерах кражи. По мягким креслам ползали вши.

Катя встретила на улице с адвокатом Миримановым. По–всегдашнему изящно одетый, в крахмальных манжетах и воротничке. Кате понравилось, что он не старается теперь, как все, одеваться попроще. Он спросил, где она живет.

– Ради бога, переезжайте ко мне! Вы мне сделаете огромное одолжение. А то начнут уплотнять, нагонят «товарищей»... Я вам дам прекрасную комнату.

Огляделся и, понизив голос, сказал:

– Объясните мне, пожалуйста, – что же это кругом делается? Всё портят, ломают, загаживают. Ни в чем никакого творчества, какое–то сладострастное разрушение всего, что попадает на глаза. И какое топтание личности, какое неуважение к человеку!.. С гуннами вздумали устраивать социалистический рай!

Еще больше понизил голос и сказал, смеясь умными своими глазами:

– Хорошее недавно словцо сказал Ленин в интимном кругу: «Мы давно уже умерли, только нас некому похоронить». Единственная умная голова среди них.

Катя перебралась к Миримановым.

Жизнь катилась, шумя и бурля, – дикая, жестокая и жуткая, сбросившая с душ все сдержки, разнуздавшая самые темные страсти.

В одной из верхних квартир дома Мириманова жил бывший городской голова Гавриленко, а у него занимала комнату фельдшерица Сорокина, служившая в госпитале. Она иногда забегала по вечерам к Кате. Рассказывала, что в госпитале назначили главным врачом ротного фельдшера, что председателем комитета служащих состоит старший санитар Швабрин. Врачей он перевел в подвальные помещения, а их квартиры заселил низшими служащими. Врача–хирурга заставил мыть полы в операционной. Больные лежат без призора, сиделки уходят с дежурства, когда хотят. Врачи не смеют им ничего сказать.

Была эта Сорокина худенькая, безгрудая, с узким тазом, и вся душа ее была в ее больных. Вот что еще она рассказывала, – и беспомощный ужас стоял в бледных глазах.

– Недавно в тюремную палату к нам перевели из особого отдела одного генерала с крупным воспалением легких. Смирный такой старичок, тихий. Швабрин этот так и ест его глазами. Молчит, ничего не говорит, а смотрит, – как будто тот у него сына зарезал. Как у волка глаза горят, – злые, острые. И вчера мне рассказал генерал: Швабрин по ночам приходит – и бьет его!.. Вы подумайте: больного, слабого старика!

Для Кати ужасы жизни были эгоистически непереносимы, если смотреть на них, сложа руки, и перекипать душою в бессильном негодовании. Она кинулась отыскивать Леонида. Нашла. Он только что приехал с фронта. Злой был и усталый. Раздраженно выслушал Катю и грубо ответил:

– Эту твою фельдшерицу нужно бы арестовать и отправить в чрезвычайку, чтоб не распространяла таких клевет. Ясное дело, – больной бредит.

Но Катя видела, – в усталом взгляде его мелькнуло растерянное отчаяние, и она поняла: просто они не в силах обуздать того потока злодейства и душевной разнузданности, в котором неслась вышедшая из берегов жизнь.

А через день утром опять пришла Сорокина. И вся дрожала крупною дрожью, и губы прыгали. И рассказала: ночью она зашла в палату, где помещался генерал, видит: лежит он на полу мертвый, с синим лицом и раскинутыми руками. Она бросилась к дежурному врачу. Пришли с ним, – труп лежит на постели, руки сложены на груди. Синее лицо с прикушенным языком, темные пятна на шее. И Швабрин пришел, – глаза бегают. Дежурный врач отказался подписать свидетельство о смерти, – говорит, нужно сделать вскрытие. А главный врач, фельдшер этот: «Чего тут вскрывать, дело ясное. Давайте, я сам подпишу».

Объявили регистрацию офицеров. Приказ заканчивался так: «Кто не регистрируется в указанный срок, объявляется вне закона и будет убит на месте».

Пришел к Миримановым их племянник Борис Долинский, – тот юноша с подведенными глазами, который тогда пел у Агаповых красивые стихи об ананасах в шампанском. Мириманов сурово глядел на его растерянное лицо с глазами пойманного на шалости мальчишки.

– Что ж, брат, этого нужно было ждать. Не хотел сражаться вместе с нашими, не хотел с ними уходить, – теперь послужишь у красных, если совесть позволяет.

– Так ведь у меня же, правда, туберкулез легких. Они не возьмут.

– Процесс пустяковый, ты сам знаешь. И отсрочку–то на год тебе дали только благодаря протекции генерала Холодова.

Борис истерически плакал.

– Ну, что же... Ну, ведь и ваш же Николай тоже в красной армии...

Мириманов сердито сверкнул глазами.

– Во–первых, я этого точно не знаю. А во–вторых, если он действительно там, то уж никак не для того, чтобы способствовать торжеству «рабоче–крестьянской власти».

– Мама говорит, – пойди, зарегистрироваться.

– Конечно, что ж теперь делать. В горы ты не уйдешь.

Катя после службы зашла пообедать в советскую столовую. Столовая помещалась в нижнем этаже той же «Астории», в бывшем ресторане гостиницы. Столики были без скатертей, у немых зеркальных окон сохли в кадках давно не поливаемые, пыльные пальмы. Заплеванный, в окурках, паркет. Обед каждый приносил себе сам, становясь в очередь.

Сидели за столиками люди в пиджаках и в косоворотках, красноармейцы, советские барышни. Прошел между столиками молодой человек в кожаной куртке, с револьвером в желтой кобуре. Его Катя уже несколько раз встречала и, не зная, возненавидела всюю душой. Был он бритый, с огромною нижнею челюстью и придавленным лбом, из-под лба выползали раскосые глаза, смотревшие зловеще и высокомерно. Катя поскорей отвела от него глаза, – он вызывал в ней безотчетный, гадливо-темный ужас, как змея.

– Товарищи, можно сесть к вашему столику?

– Пошалоста!

Это были два немецких солдата, их каски с копьевидными верхушками стояли на столе. Катя со своею тарелкою супа села к столику. И сейчас же стала жадно по-немецки расспрашивать солдат, – кто они, как сюда попали, почему.

Тот, который отозвался на ее вопрос, – высокий и крепкий красавец с веселыми глазами, – рассказывал: он – спартаковец, был арестован немецким командованием за антимилитаристскую пропаганду в войсках; несколько раз его подвешивали на столбе, били. Перед уходом немцев из Крыма он бежал из-под караула.

Немец засмеялся и любовно ткнул товарища локтем в бок.

– Вот с этим парнем (mit diesem Kerl)! Он был моим караульным. Сбил его с пути истинного; изменил он кайзеру, забыл честь германского воина.

Товарищ его, с большими рыжими усами, стыдливо улыбался.

Первый с восторгом стал говорить о русских: во всемирной истории не бывало такого случая, – в первый раз не фразами одними, а делом люди пошли против войны, свергли биржевиков, которые бросили трудящихся друг на друга. И борьбу в стороны заменили борьбою вверх.

– А мы? Как ребята, мы дали затуманить себе головы нашим руководителям. Мы, дескать, не пойдем, – а вдруг те все-таки пойдут? Разве так можно было рассуждать? Все равно, как при атаке: я брошусь вперед, а вдруг остальные не двинутся с места? Каждый бросайся вперед и верь, что и другие бросятся. Только так и можно дело делать. И что теперь получилось? Цвет нации истреблен, накопленные богатства расточены, а победитель тклет паутинку и налаживается, чтоб приникнуть и пить из нас остатки крови. Конец Германии!

– А если бы вы победили, вы то же бы самое сделали с Францией.

– Ну, да (ja wohl)! В этом и ужас. Создавали культуру, науку, покоряли природу, – и все для того, чтобы превратить Европу в дикую пустыню, и людей – в зверей. Какой позор (welcher Unfug)! И вдруг русские: не хотим! Довольно! Molodtzi rebjata! И с любовью он оглядывал красноармейцев за соседним столиком, евших с заломленными на затылок фуражками.

В квартиру к Мириманову вселили десять солдат. Они водворились в кабинете Мириманова, выходившем на садовую террасу, и в комнате рядом.

Лежали в грязных сапогах на турецких диванах. Закоптелые свои котелки ставили прямо на сукно письменного стола, на нем же и обедали, заливая сукно борщом. Жена Мириманова, Любовь Алексеевна, – полная дама с золотыми зубами, – хотела поставить им простой стол, – они не позволили. Солдаты ничего не делали круглые сутки, но пола никогда не мели. Дрова кололи на террасе, разбивая цветные плиточки мозаичного пола; а спуститься пять ступенек, – и можно было колоть на земле. За нуждой ходили в саду под окнами. Пробовал их убеждать Мириманов, пробовала Катя, – они слушали, не глядя, как будто не с ними говорили, с predetermined нежеланием что-нибудь делать, о чем просят буржуи.

Вечером Катя готовила себе в саду ужин на жаровне. На дорожке три красноармейца развели костер и кипятили в чайнике воду. Двое сидели рядом с Катей на скамейке. Молодой матрос, брюнет с огненными глазами, присев на корточки, колот тесаком выломанные из ограды тесины.

Он опустил тесак и сказал:

– А на кой они нам черт, ваши образованные? Только то и делали, что за грудки нас хватили. Миллион народу, каждый расскажет, как измывались над ним. А теперь, – «я, – говорит, – образованный!» – А кто тебе дал образование? – «Отец». – А отец, значит, нас грабил, если тебе мог дать образование, значит, и ты грабитель!

– Дело не в том. А без просвещения, без культуры вы никогда не создадите социализма.

– Мы вашу буржуазную культуру попираем ногами.

– Вы, товарищ, повторяете чужие слова, а сами их не понимаете. Вот у вас винтовки, пулеметы. Это дала буржуазная культура. Бросьте их, сделайте себе каменные топоры, как наши далекие предки. В комнатах у вас, – как загажено все, как заплевано, никогда вы их не метете. А буржуазная культура говорит, что от этой грязи разводятся вши, чахотка, сыпной тиф. К нам войдете, – никогда даже не поздороваетесь, шапки не снимете.

– А вам так нужно: «Ах, милосливая государыня! Наше вам низжайшее! Позвольте ручку поцеловать!» – Солдаты на скамейке засмеялись. – Прошло времечко!

– Нет, нужно только, чтоб вы сказали: «Здравствуйте!» Чтоб видно было, что вы по-человечески относитесь.

– Никакого человечества! Борьба классов! Весь вред – от буржуазного элементу. Как ужа вилами, прижать – и растерзать! Почему до сих пор социализму нету? От них! Саботажничают, Антанту призывают! Всю эту сволочь нужно истребить, и чтоб осталась одна святость!

– Много у вас святости останется при такой кровожадности! Вот потому-то, что у вас почти все такие, социализма вы и не сможете устроить.

– Что?! – Матрос вскочил на ноги и с тесаком ринулся на Катю. – Не устроим?! – Он остановился перед нею и стал бить себя кулаком в грудь. – Поверьте мне, товарищ! Вот, отрубите мне голову тесаком: через три недели во всем мире будет социальная революция, а через два месяца везде будет социализм. Формальный! Без всякого соглашательского капитализму!.. Что? Не верите?!

Катя смеялась.

– Конечно, не верю.

– А говорите, тоже социалистка! – Матрос с изумлением оглядел ее. – Какая же вы социалистка?

Стушались сумерки. В темноте взволнованно вспыхивал огонек папироски во рту матроса. Он мало слушал Катю и только повторял беспощадно:

– Растерзать их всех, шкуры спустить и повесить на фонарях! Пусть все видят! Уничтожить! Вот как с офицером было! Попищали они у нас, как погоны мы с них срывали, да в море бросали с палубы вместе с погонами ихними! А то в топку прямо, – пожарься!

Позже Катя часто припоминала тот кровавый хмель ненависти, который гудел в эти годы во всех головах и, казалось, вдруг обнаружил звериную сущность человека. И спрашивала себя через несколько лет: куда же девались эти миллионы звероподобных существ, захлебывавшихся от бурной злобы и жажды крови?

Солдат на скамейке, скуластый парень с добродушным лицом, не торопясь, рассказывал:

– Мы на фронте только в газетах прочли, что погоны снимают, – не стали и приказа ждать, прямо офицера за погоны: «Ты что, сукин сын, погоны нацепил?» Если ливарвер найдем, штык в брюхо. Согнали всех офицеров в одно место, велели погоны скидать. Иные плачут, – умора!

И другой отозвался, бородатый:

– Да, изменение большое тогда пошло. Раньше, бывало: «Ваше высокопревосходительство!», «Ваше благородие!», «Рад стараться!». А тут командиру корпуса: «Ну-ка, товарищ, дай-ка прикурить». Не даст, – в ухо!

А матрос взволнованно говорил:

– Теперь у нас разговор короткий: труд! И больше ничего! Не трудящийся да не ест! Не хочешь работать, – к черту ступай! А как раньше бывало: руки белые, миллиарды десятин у него, в коляске развалился, кучер с павлиньими перьями, а мужик на него работает, да горелую корку жует!

– Вы говорите – труд. А я вот смотрю – меньше всех трудитесь сейчас как раз вы все. Я даже не могу понять: как не скучно так бездельничать!

Матрос опять ринулся на Катю, сумасшедше сверкая глазами.

– Что?! Бездельничаем?.. Вчера на субботнике вот как работали! До кровавых мозолей! Дрова пилили... Смотрите, руки какие! А вы что говорите!

Катя взглянула и вдруг расхохоталась. Схватила матроса за руку и потащила к костру.

– Слушайте, да что же это такое?! Ну-ка, ну-ка! Господи, какие нежные, барские ручки! Белые, мягкие, и два кровавых волдырика на них!.. Посмотрите мои.

Она протянула ладони, покрытые плотными, желтыми мозолями. Матрос сконфузился и спрятал руку.

– Нет, нет, дайте мне посмотреть! Что же это такое? Я такие ручки только в прежнее время у барышень видела, которые всегда в перчатках... Если сейчас людей сортировать по мозолистым рукам, то вас в первую очередь надо на мушку!.. Ха–ха–ха!

Скуластый солдат враждебно возразил:

– Мы сейчас кровь проливаем.

– «Кровь»... Вы – армия трудящихся. Глядя на вас, все мы должны уважать труд, а все только говорят: «Вот бездельники! еще больше, чем прежние офицеры!» У них тоже такие вот ручки белые были, как у вас. И они тоже говорили: «Мы кровь проливаем, потому бездельничаем».

– Вскипел, что ли, чайник?.. С разговорами вашими...

Матрос стал подкладывать щепки в костерик. Катя беззвучно смеялась про себя.

Продолжали разговаривать. Матрос сделался смиреннее и уже не кидался на Катю с тесаком.

Она спросила:

– А скажите, много вы на своем веку убили людей?

Матрос улыбнулся.

– Штучку эту видите? – Он хлопнул рукою по револьверу у пояса, вынул его и стал вертеть в руках. – Много бы она могла вам порассказать!

Катя с тоскою воскликнула:

– И неужели, неужели никогда совесть вас не мучит!

– С чего? А они как? Попадись к ним, – тоже разговаривать мало станут.

– И никогда вам не снятся те, кого вы убили?

Он не ответил. Замолчали. На меркнувшем западе, меж пирамидальных акаций, ярче сверкала Венера.

– Вы раньше крестьянином были?

– Крестьянствовал.

Катя тихо сказала:

– Ну, а так: не думается вам иногда? Вот бы все это поскорее кончилось, воротиться домой. Звезда на вечернем небе, пруд, скотина с луга идет домой... Нива своя, волны золотые идут по ржи...

Матрос поморщился и сказал:

– Эх! Никогда этого, думается, уж не будет!.. Зверем стал.

Потом подбодрился, взял себя в руки и другим голосом сказал:

– Своей нивы теперь не будет полагаться. Сознательность пойдет. Везде будет коммуна. Какой смысл? Каждый на своем клочке ковыряется, без солидарности. Будет общий труд, товарищество, общественная нива, и все, как один человек, будут выходить с косами.

Бородатый солдат, больше все молчавший, вдруг вскочил на ноги, взволнованно подошел к матросу.

– Вот! Бей меня тесаком по шее! Руби голову долой! Я десять лет свиной пас! Понимаешь ты это дело?

– Ну, свиной пас? Что понимать? – пренебрежительно спросил матрос.

– Десять лет свиной пас у барина! Сейчас у нас пять десятин на отрубе. Руби голову, а не отдам вам! На, – вымай тесак свой, руби!

– Вот дура! – Матрос растерянно взглянул на него. – Пьян!

– Нет, не пьян. И пусть Николай Второй опять будет!

К Мириманову пришла повестка: временным революционным комитетом на него налагается контрибуция в сорок тысяч рублей; деньги должны быть внесены в двадцать четыре часа; если не будут внесены к сроку. С гражданином Миримановым будет поступлено со всею революционную строгостью.

Мириманов изумился: деньги его лежали в банке, а на днях только было объявлено, что все вклады в банках конфискуются. Он пошел объясняться в ревком. Долго спорили, торговались. Наконец, спустили ему до пятнадцати тысяч. Мириманов внес.

Вдруг через два дня новая повестка: внести дополнительные двадцать пять тысяч. Мириманов опять пошел и решил добиться свидания с самим председателем ревкома Искандером. Воротился домой часов через шесть, бледный от подавляемого бешенства, гадливо вздрагивающий.

– Кричал на меня, как пьяный, топал ногами. «Все мы знаем, что вы золото лопатами загребали! Если не внесете – сгною в подвале!» – Он обратился к Кате: – Ну, объясните мне: вклады конфискованы, продавать вещи запрещено, дом теперь не мой, – откуда же прикажете достать денег? Все, что было, отдали им. А ты знаешь, кто этот Искандер? – спросил он жену. – Приказчик из универсального магазина Оганджанца и К№, я его помню, в мануфактурном отделе торговал, – молодой армяшка с низким лбом... И какой себе псевдоним взял, паршивец! Наверно, и не слыхал про Герцена.

Заплатить было нечем. Назавтра пришли милиционеры и увели Мириманова. Любовь Алексеевна проводила его до ворот Особого отдела. Дальше ее не пустили. Но она видела решетчатые отдушины подвалов, где сидели заключенные, в отдушины несло сырым и спертым холодом. А толпившиеся у ворот родственники сообщили ей, что заключенные спят на голом цементном полу.

Любовь Алексеевна истерически рыдала, сверкая золотом зубов, и говорила Кате:

– Ведь у него туберкулез легких! Его подвал убьет в одну неделю!

– Подайте прошение в ревком, укажите, что он тяжело болен. Не может же быть, чтоб на это не обратили внимания! Завтра же подайте.

– Екатерина Ивановна, пойдите со мной!

Назавтра они пошли.

Записывала на прием барышня с подведенными глазами, слушавшая высокомерно и нетерпеливо. Четыре часа ждали очереди в темном коридоре. Хвост продвигался вперед очень медленно, потому что приходили рабочие и их пропускали не в очередь. Наконец, вошли.

В просторном кабинете стиля модерн, за большим письменным столом с богатыми принадлежностями, сидел бритый человек. Катя сразу узнала неприятного юношу с массивной нижней челюстью, которого она видела в советской столовой. Так это и был Искандер! Но тут, вблизи, она увидела, что он не такой уже мальчик, что ему лет за тридцать.

Искандер молча взглянул на золотые зубы Любови Алексеевны странными своими глазами, как будто разошедшимися в стороны под придавленным лбом. Любовь Алексеевна протянула ему прошение и, волнуясь, стала говорить.

Он слушал, читал бумагу и кивал головою.

– Угу!.. Да... Так...

И все сочувственнее кивал головою.

– Хорошо. Все, что возможно, будет сделано. Не волнуйтесь.

Взял чернильный карандаш и на углу прошения стал писать.

– Вот. Пойдите, отдайте бумагу управляющему делами. По коридору вторая дверь направо.

Любовь Алексеевна растерялась от радости.

– Спасибо вам!.. Большое, большое вам спасибо, товарищ Искандер!

– Не стоит, сударыня. Это наш долг.

Они вышли. Любовь Алексеевна восторженно говорила:

– Смотрите, какой милый! Совсем не такой, как о нем говорили. Что он написал?

На площадке лестницы они стали читать. Любовь Алексеевна вздрогнула.

– Господи! Да что же это? Екатерина Ивановна, что же это здесь...

На прошении крупным, размашистым почерком было написано:

«Оставить эту нахальную бумагу без последствий. Держать в подвале, пока не внесет до копейки. А сдохнет, беда не велика».

Милиционер у двери в кабинет не хотел их впустить. Катя властно сказала:

– Да мы сейчас тут были, нам два слова.

Председатель ревкома разговаривал с толстой, заплаканной женщиной. Он взглянул на них, и Катя прочла в его глазах скрытно блеснувшее, острое наслаждение. Любовь Алексеевна подошла.



– Товарищ Искандер!.. Что же это, недоразумение? Вы издеваетесь надо мной...

Искандер вскочил с потемневшими глазами и топнул ногою.

– Вон!! Как вы смели сюда войти?

Катя вмешалась.

– Да послушайте! Поймите же: откуда им взять денег, если деньги были в банке, а из банка не выдают!

– Где хотите, доставайте! Нам хорошо известно, как он зарабатывал! Тысячи загребал. Юрисконсульт был у самых крупных фабрикантов; рабочих засаживал в тюрьмы. Пусть теперь сам посидит. Я вас заставлю распотрошить ваши подушки! Сегодня же переведу его в карцер, – будет сидеть, пока все не внесете.

Катя в бешенстве спросила:

– Скажите, пожалуйста, кому можно на вас жаловаться?

Искандер изумленно поднял брови, поглядел на нее и с наслаждением ответил:

– Можете телеграмму послать Ленину... Товарищ Григорьев!

В дверях появился милиционер.

– Чего вы сюда впустили этих? Гоните их вон!

Они вышли. Когда спускались по широкой лестнице, Любовь Алексеевна вдруг дернула Катю за рукав и покатила по мраморным ступенькам вниз.

Мучительный был день. Катя не пошла на службу и осталась с Любовью Алексеевной. Мириманова была как сумасшедшая, вырывалась из Катиных рук, билась растрепанною головою о стену и проклинала себя, что ухудшила положение мужа.

Только поздно ночью она заснула тяжелым, летаргическим сном. То и дело как будто кто-то другой рыдал в ней смутным, словно из другого мира звучащим рыданием.

На заре в прихожей зазвенели сильные, настойчивые звонки. Любовь Алексеевна со стоном проснулась и вскочила. Катя отперла.

Вошло четверо – двое мужчин и две женщины.

– Что вам нужно?

Один, высокий, с револьвером у пояса, властно спросил:

– Кто живет в этой квартире?

– Тут много живет...

– Рабочие или из буржуазии?

– В тех двух комнатах живут красноармейцы... Я – советская служащая...

– Вон в тех двух? Хорошо... Товарищи, сюда!

Они вошли в комнату Любови Алексеевны. Женщины подошли к комодам и стали выдвигать ящики. Высокий с револьвером стоял среди комнаты. Другой мужчина, по виду рабочий, нерешительно толкся на месте.

С револьвером сказал:

– Товарищ, что ж вы? – Он повел рукой вокруг. – Выбирайте, берите себе, что приглянется. Вот, откройте сундук этот.

Рабочий мялся. Катя спросила:

– Скажите, что это? Обыск?

– Изъятие излишков у буржуазии. Товарищ, пойдите-ка сюда!

Мужчина с револьвером открыл сундук.

– Вот, шуба меховая. Я думаю, пригодится вам?

Любовь Алексеевна, в кофточке, сидела на постели с бессильно свисшими, полными плечами и безучастно смотрела.

Рабочий конфузливо вынул шубу, отряхнул ее от нафталина и нерешительно оглядел. Женщины жадно выкладывали на диван стопочки батистовых женских рубашек и кальсон, шелковые чулки и пикейные юбки.

Одна, постарше, с желто-худым лицом работницы табачной фабрики, спросила нерешительно:

– Товарищ, а зеркало можно взять?

– Берите, берите, товарищ, чего стесняетесь? Видите, сколько зеркал. На что им столько! По три смены белья оставьте, а остальное все берите.

У женщины разгорались глаза. Младшая взяла с туалета две черепаховых гребенки, коробку с пудрой, блестящие ножницы.

Мужчина с револьвером обратился к рабочему, все еще в нерешительности смотревшему на шубу.

– Ну, товарищ, чего ж вы? Берите, нечего думать. Шуба теплая, буржуйская. Великолепно будет греть и пролетарское тело!

Любовь Алексеевна сказала:

– Послушайте, вы говорите, – изъятие излишков. Это единственная шуба моего мужа.

– А где ваш муж?

– Он... он сейчас арестован за невзнос контрибуции...

– Та-ак... – Мужчина усмехнулся. – Берите, товарищ! Ему в тюрьме и без шубы будет тепло.

Любовь Алексеевна уткнулась головой в подушку.

– Господи!.. Господи, господи! Когда же смерть? Когда же, когда же смерть!

Она рыдала в подушку, колыхаясь всем своим телом.

Женщины, с неприятными, жадными и преодолевающими стыд лицами, поспешно, как воровки, увязывали узлы. Рабочий вдруг махнул рукою, положил шубу обратно в сундук и молча пошел к выходу.

Через день Катя читала в газете «Красный Пролетарий».

### «ПОХОД НАШИХ РАБОЧИХ НА БУРЖУАЗИЮ»

22-го апреля состоялось торжественное заседание конференции Завкомов и Комслужей и разных комиссий при Завкомах. Зал театра «Иллюзион» был переполнен. Собралось свыше 800 рабочих и работниц. Раньше были обсуждены некоторые нерассмотренные вопросы конференции, как-то Собес и жилищный вопрос. В обоих докладах ясно вырисовывалась необходимость принять срочные решительные меры по отношению к буржуазии и облегчению участи рабочих. После этого был заслушан доклад тов. Маргулиеса о революционном движении на западе.

С внеочередным заявлением выступил предревком товарищ Искандер, который предложил революционные слова претворить в действия и эту же ночью произвести первое нападение на буржуазию для изъятия излишков.

Гром аплодисментов и несмолкаемые радостные клики всего собрания были показателем того, что предложение любимого вождя нашло пролетарский отклик у всех делегатов собрания.

Вопрос не вызвал споров. Он был слишком ясен, он был слишком понятен, слишком бесспорен!

Загорелись глаза у пролетариев, понасупились брови, сжались неволью в кулаки мозолистые руки. Уж мы покажем.

Предстояло просидеть в театре до пяти часов утра с тем, чтобы на рассвете двинуться на работу. Время пробежало весьма быстро. Члены союза «Всерабис» сколотили на скорую руку концерт, и зал начал жить небывало интенсивною жизнью. Знаменитый артист Белозеров затянул родную нашу «Дубинушку». Мощный голос певца звучал истинно революционным подъемом, и дружно подхватила рабочая масса припев. Все слились в один общий коллектив, спаянный великим огнем революционно-пролетарского гнева. Сцена не оставалась ни на минуту пустой. К двум часам ночи уже не было нужды в артистах-профессионалах.

Раскачалась рабочая масса. Один за другим вылезали на сцену простые рабочие и нехитрым языком, не смущаясь, рассказывали анекдоты, декламировали стихи.

К пяти часам утра коммунисты уже разбились на районы и на тройки, чтобы руководить отрядами. Очередь была за рабочей конференцией. Весело, толкая друг друга, перекидываясь шутками, выходила группа за группой рабочих на соединение с коммунистами в поход на буржуазию.

– Петь можно? – спросил у меня один рабочий.

– Не стоит, – ответил я.

– Чего бояться, ведь мы же рабочие! – возразил он, полный мощного сознания силы рабочего класса.

Спартак».

Любовь Алексеевна где-то достала двадцать пять тысяч и внесла в ревком. Мириманова выпустили.

В отделе Наробраза работа шла полным и ладным ходом. Открывались новые школы, библиотеки, студии, устраивались концерты и популярные лекции.

Однажды Дмитревский, когда остался у себя в кабинете один с Катей, пожал плечами и сдержанно усмехнулся.

– Все это, конечно, очень хорошо. Но ведь для того, чтоб такую огромную программу провести в жизнь, нужны средства богатейшего государства. Программы намечают широчайшие, а средств не дают. Народным учителям мы до сих пор не заплатили жалованья. Дело мы развертываем, а чем будем платить?

Приехал из Арматлука столяр Капралов, – его выбрали заведовать местным отделом народного образования. Он был трезв, и еще больше Катю поражало несоответствие его простонародных выражений с умными, странно-интеллигентными глазами. Профессор и Катя долго беседовали с ним, наметили втроем открытие рабоче-крестьянского клуба, дома ребенка, школы грамоты. Капралов расспрашивал, что у них по народному образованию делается в городе, на лету ловил всякую мысль, и толковать с ним было одно удовольствие.

Он сообщил, между прочим, что несколько барышень-дачниц хотят открыть частную школу. Болгары охотно соглашались платить, потому что программа предполагается много шире программы народной школы; особенно почему-то их прельщает, что дети их будут учиться французскому языку.

Дмитревский ответил:

– Мысль хорошая. Но только одно необходимое условие: школа должна быть бесплатной.

– Ну, где ж бесплатно! Барышни с голоду умирают. А болгары платить могут, они богатые.

– Все равно. По декретам, обучение всякого рода должно производиться совершенно бесплатно.

– Вы, значит, можете нам такую школу устроить бесплатно?

– Нет, у нас на это нет средств.

Капралов внимательно смотрел на него, и в глазах зажглись смеющиеся огоньки.

– Так как же?

Катя, с удивлением слушавшая профессора, вмешалась:

– Но ведь сами же они соглашались платить! А без платы ничего не выйдет. И хорошее культурное начинание заглохнет.

Глаза Дмитревского смотрели растерянно, но тем решительнее он ответил:

– Бедняки платить не в состоянии. И получится опять привилегированная школа. Пусть тогда общество сложится, платит от себя.

– Ну! Не знаете, что ли, наших мужичков. У кого детей нет, или учить не желает, – разве согласится платить?

– Тогда не могу разрешить.

В первый раз Катя повздорила с Дмитревским. Но он остался при своем.

В сумерках шла Катя через приморский сквер. Душно было, горячая пыль неподвижно висела в воздухе. От загаженной, с оторванными досками, ротонды, где в прежние времена играла музыка, шел тяжкий, отшатывающий запах: там уже третий день смердела в кустах дохлая собака с оскаленными зубами, и никто ее не прибирал. Поломанные кусты, затоптанная трава. И от домов за сквером тянуло давно не чищенными помойными ямами и отхожими местами. Хотелось вон из города, наверх в горы, где не загажена людьми земля, где плавают в темноте чистые ароматы цветущих трав.

По узкому переулку, мимо грязных, облупившихся домиков, Катя поднималась в гору. И вдруг из сумрака выплыло навстречу ужасное лицо; кроваво-красные ямы вместо глаз, лоб черный, а под глазами по всему лицу – вьевшиеся в кожу черно-синие пятнышки от взорвавшегося снаряда. Человек в солдатской шинели шел, подняв лицо вверх, как всегда слепые, и держался рукою за плечо скучливо смотревшего мальчика-поводыря; свободный рукав болтался вместо другой руки.

Катя, широко раскрыв глаза, долго смотрела ему вслед. И вдруг приборною волною взметнулась из души неистовая злоба. Господи, господи, да что же это?! Сотни тысяч, миллионы понаделали таких калек. Всюду, во всех странах мира, ковыляют и тащатся они, – слепые, безногие, безрукие, с отравленными легкими. И все ведь такие молодые были, крепкие, такие нужные для жизни... Зачем? И что делать, чтоб этого больше не было? Что может быть такого, через что нельзя было бы перешагнуть для этого?

Катя быстро шла вверх по переулку.

Ничего такого нет! Все допустимо. Все, что только возможно! И слава, – да, да, – и слава, привет тем, кто с яростною решительностью ринулся против этого великого мирового преступления! Вспомнился немец-солдат в «Астории», и как с любовью он оглядывал красноармейцев с заломленными на затылок фуражками.

Были до сих пор для Кати расхлябанные, опустившиеся люди, в которых свобода развязала притаившийся в душе страх за свою шкуру, были «взбунтовавшиеся рабы» с психологией дикарей: «до нашей саратовской деревни им, все одно, не дойти!» А, может быть, – может быть, это не все? Может быть, не только это? И что-то еще во всем этом было, – непознаваемое, глубоко скрытое, – великое безумие, которым творится история и пролагаются новые пути в ней?

По безумным блуждая дорогам,  
Нам безумец открыл Новый Свет,  
Нам безумец дал Новый Завет, –  
Потому что безумец был богом!

Катя шла по горной дороге, среди виноградников, и смеялась. Да, эти разнузданные толпы, лущившие семечки под грохот разваливающейся родины, – может быть, они бросили в темный мир новый пылающий факел, который осветит заблудившимся народам выход на дорогу.

На повороте лежал большой белый камень. За день он набрал много солнечного жару и был теплый, как печка. Катя села.

Внизу, вокруг дымно-голубой бухты, в пыльной дымке лежал город, а наверху было просторное, зеленовато-светящееся небо, металлическим блеском сверкал молодой месяц, и, мигая, загоралась вечерняя звезда. Там внизу, – какая красота в этой дымке, в этих куполах и минаретах, в светящихся под закатом белых виллах и дворцах! А под ротондой, с обнаженными ребрами стропил, гниет дохлая собака, и тянется по улицам кислая вонь от выгребных ям, и пыль в воздухе, и облупившиеся стены домов. Там ли была она права, судя о городе, или здесь, на высоте?

Быстрые мысли бежали через голову, и образы проносились, – жуткие, темные. Генерал с синим лицом, и сумасшедше наскакивающий матрос с тесаком, и бритый человек с темно-сладоострастным взглядом из-под придавленного лба. И мужики еще вспомнились, расхивавшие помещичьи усадьбы. Она видела в России эти отвратительные разгромы. Не люди, а жадное зверье, с одною меркою для себя и с иною меркою – для других. А с высоты, – с высоты, может быть, не так? Может быть, еще что-то, более широкое и важное? И, может быть даже, – великая, благословенная правда и полное оправдание?

Из верхнего этажа дома Мириманова, – там было две барских квартиры, – вдруг выселили жильцов: доктора по венерическим болезням Вайнштейна и бывшего городского голову Гавриленко. Велели в полчаса очистить квартиры и ничего не позволили взять с собою, ни мебели, ни посуды, – только по три смены белья и из верхней одежды, что на себе.

– Куда ж нам выселяться?

– Нам какое дело? Куда хотите.

Бледный Вайнштейн, вдруг вдвое потолстевший, – он надел на себя белья и одежды, сколько налезло, – ушел с многочисленной семьей к родственникам своим в пригород. Старик Гавриленко растерянно сидел с женой у Ми-риманова.

– Но скажите, пожалуйста, ведь все-таки, – какая же нибудь нужна законность. Ну, выселили, – предоставьте хоть чуланчик какой!

Мириманов процедил сквозь зубы:

– «Революционное правосознание!»

– Я одного не понимаю: зачем такое изысканное бесчеловечие? Как будто нарочно всех хотят восстановить против себя.

Жена Гавриленки рыдала.

– Где жить и чем жить? Все там осталось, продавать даже будет нечего. Была бы помоложе, хоть бы в хор пошла к Белозерову. А теперь и голоса никакого не осталось.

Она кончила консерваторию и до замужества с большим когда-то успехом выступала в московской опере.

К вечеру в квартиры наверху вселилось шесть рабочих семей. И по всему городу стояли стоны и слезы. Очищено было около ста буржуазных квартир.

Длинные очереди Гавриленко простаивал в жилищном отделе, наконец добирался. Ему грубо отвечали:

– Записали вас, – чего же еще! Дойдет до вас очередь, получите комнату.

Гавриленко, корректный и вежливый, возражал:

– Но ведь меня из моей квартиры выселили, я остался на улице. В буквальном смысле. Куда же мне деться?

– У нас коммунисты, ответственные работники, ночуют в коридорах гостиниц и ждут угла по неделям.

Выселили и фельдшерицу Сорокину, жившую у Гавриленки. Катя предложила ей поселиться с нею в комнате. Но в домовом комитете потребовали ордера из жилотдела. А в жилищном отделе Сорокиной сказали, что Катя сама должна прийти в отдел и лично заявить о своем согласии.

– Господи, какая формалистика! Целый день терять! Ну, дешево у них время!

Однако пошла. Простояла с Сорокиной длиннейшую очередь, добрались. Черноволосая барышня с матовым лицом и противно-красными, карминовыми губами нетерпеливо слушала, глядя в сторону.

– Ничего нельзя сделать. К вам вселят по ордеру жилищного отдела.

Катя остолбенела.

– Позвольте! В праве же я выбрать сожительницу себе по вкусу! И ведь тут же вчера нам сказали, что я должна только заявить о своем согласии.

– Не знаю, кто вам сказал.

Сорокина поспешно объяснила:

– Сказал товарищ Зайдберг, заведующий жилотделом.

– Ну, и идите к нему.

– Куда?

Барышня перелистывала бумаги.

– Товарищ, куда к нему пройти?

– Что?

– Куда пройти к товарищу Зайдбергу?

– Ах, господи! Комната ЛЬ 8.

В коридоре они встретили доктора Вайнштейна. Он с довольным лицом шел к выходу. Катя спросила:

– Получили ордер?

– Да.

– Как?

Вайнштейн втянул голову в плечи, поднял ладони, улыбнулся лукаво и прошел к выходу. Катя с Сорокиной вошли в комнату ЛЬ 8.

Щеголевато одетый молодой человек, горбоносый и бритый, с большим, самодовольно извивающимся ртом, весело болтал с двумя хорошенькими барышнями.

– Надежда Васильевна, Роза Моисеевна определенно говорит, что видела вас вчера вечером на бульваре с очень интересным молодым человеком...

Они болтали и как будто не замечали вошедших. Катя и Сорокина ждали. Катя, наконец, сказала раздраженно:

– Послушайте, будьте добры нас отпустить. Мне на службу надо. Лицо молодого человека стало строгим, нижняя губа пренебрежительно отвисла.

– В чем дело?

Катя объяснила.

– Ничего не могу сделать. Вы подлежите ответственности, что сами занимаете комнату, в которой могут жить двое, и не заявили об этом в отдел.

Поселят к вам того, кому я дам ордер.

Сорокина упавшим голосом сказала:

– Но, товарищ Зайдберг, ведь вы же вчера сами сказали, что требуется только личное согласие того, к кому вселяются.

– Ничего подобного я не говорил. Не могу вас вселить. Я обязан действовать по закону.

– В чем же закон?

– В чем я скажу... Я извиняюсь, мне некогда. Ничего для вас не могу сделать.

Катя в бешенстве смотрела на него. Бестолочь и унижения сегодняшнего дня огненным спиртом ударили ей в голову. Она пошла к двери и громко сказала:

– Когда же кончится это хамское царство!

Молодой человек вскочил.

– Что вы сказали?! Товарищи, вы слышали, что она сказала? Катя, пьяная от бешенства, остановилась.

– Не слышали? Так я повторю. Когда же кончится у нас это царство хамов!

– Надежда Васильевна! Кликните из коридора милиционера... Прошу вас, гражданка, не уходить. Я обязан вас задержать.

Вошел милиционер с винтовкой. Молодой человек говорил по телефону:

– Особый отдел?... Пожалуйста, начальника. Просит заведующий жилотделом... Товарищ Королицкий? Я сейчас отправлю к вам белогвардейку, занимается контрреволюционной пропагандой... Что? Хорошо. И свидетелей?

Хорошо.

Он стал писать.

– Вы не отпираетесь, что сказали: «когда же кончится это хамское царство?»

– Не отпираюсь и еще раз повторяю.

– Товарищ милиционер, подпишитесь и вы свидетелем, вы слышали. С этой бумагой отведете ее в Особотдел. Милиционер с винтовкою повел Катю по улицам. В комнате сидел человек в защитной куртке, с револьвером. Недобро поджав губы, он мельком равнодушно оглядел Катю, как хозяин скотобойного двора – приведенную телушку.

– Вы занимались контрреволюционной агитацией?

Катя усмехнулась.

– Странно было бы заниматься такой агитацией пред большевиками. Особник неожиданно ударил кулаком по столу.

– Чего смеешься, белогвардейка паршивая! Пропаганду разводишь в городе! Я тебе покажу!

Катя побледнела и выпрямилась.

– Если вы со мною будете так разговаривать, я вам слова не отвечу на ваши вопросы.

Он внимательно оглядел ее.

– Ого! Видна птичка по полету. В камеру Б! – распорядился он.

Это был подвал с двумя узкими отдушинами, забранными решеткою. Мебели не было. Стоял только небольшой некрашенный стол. Когда глаза привыкли к темноте, Катя увидела сидящих на полу возле стен несколько женщин. Она спросила с удивлением:

– Скажите, а коек здесь не полагается?

Седая женщина с одутловатым лицом ответила:

– Нет.

– Так как же?

– На полу. Что тут есть, – у каждого свое, доставлено из дому. Садитесь ко мне.

Катя подошла к двери и стала стучать. Грубый голос спросил:

– Что надо?

– Откройте, мне нужно вам сказать.

Дверь открыл солдат с винтовкой.

– Ну? что такое?

– Скажите, где же мне тут спать? Где присесть?

Солдат изумился.

– Где хочешь.

– Как же мне? На голом каменном полу? Дома даже не знают о моем аресте, у меня ничего нету. Дайте мне хоть голую койку.

– Не полагается.

– Как это может быть? Тогда позовите ко мне начальника.

– Пошел он к тебе!

– Потрудитесь не говорить мне «ты»! – вскипела Катя.

Солдат долго поглядел на Катю и надвинулся на нее.

– Будешь тут бунтоваться, я тебя скоро сокращу... Пошла!

Он толкнул ее в плечо и запер дверь.

Катя в беспомощном бешенстве оглядывалась.

Есть за весь день ничего не дали. Хлеб выписывали с утра, и она могла получить только завтра. Приютила Катю на своем одеяле та седая женщина, с которой она говорила.

Голодная и разбитая впечатлениями, Катя всю ночь не спала. В душе всплескивалась злоба. Через одеяло от цементного пола шел тяжелый холод, тело горело от наползавших вшей. И мелькало пред глазами бритое, горбоносое лицо с надменно отвисшею нижнею губою. Рядом слабо стонала сквозь сон старуха.

Два дня прошло. Любовь Алексеевна узнала от Сорокиной об аресте и принесла для Кати подушку, одеяло и тюфячок.

В камере сидело пять женщин. Жена и дочь бежавшего начальника уездной милиции при белых. Две дамы, на которых донесла их прислуга, что они ругали большевиков. И седая женщина с одутловатым лицом, приютившая Катю в первую ночь, – жена директора одного из частных банков. С нею случилась странная история. Однажды, в отсутствие мужа, к ней пришли два молодых человека, отозвали ее в отдельную комнату и сообщили, что они – офицеры, что большевики их разыскивают для расстрела, и умоляли дать им приют на сутки.

– А лица такие неприятные, глаза бегают... Но что было делать?

Откажешь, а их расстреляют! Всю жизнь потом никуда не денешься от совести...

Провела я их в комнату, – вдруг в дом комендант, матрос этот, Сычев, с ним еще матросы. «Офицеров прятать?» Обругал, избил по щекам, арестовали. Вторую неделю сижу. И недавно, когда на допрос водили, заметила я на дворе одного из тех двух. Ходит на свободе, как будто свой здесь человек.

День тянулся в полумраке, ночь – в темноте. Света не давали. Кате вспомнились древние, – раньше казалось, навсегда минувшие, – времена, когда людей бросали в каменные ямы, и странно представлялась какая-нибудь забота о них. Вспомнился когда-то читанный рассказ Лескова «Аскалонский злодей» и Иродова темница в рассказе. Все совсем так.

Жена директора банка тяжело стонала по ночам от ревматизма. Лица у всех были бело-серые, платья грязные, живые от вшей. Голод, бессветие, дурной воздух. В душах неизбежно жили ужас и отчаяние.

Катя узнала от товарок по заключению, что их камера, Б, – «сомнительная». Из нее переводят либо в камеру А – к выпуску, либо в камеру В – для расстрела. На днях расстреляли двух девушек–учительниц за саботаж и контрреволюционную пропаганду. Катя жадно спрашивала про них днем, а ночью бледные их тени реяли пред нею в темноте.

Позвали к допросу. Когда Катя входила в просторную комнату особняка, где ждал допрос, ее вдруг стала трепать такая дрожь, и так забилося сердце, что Катя пришла в отчаяние.

Сидело за столом трое, один из них – тот, который на нее тогда стучал кулаком. Сидевший в середине, бритый, спросил:

– Ваше имя, фамилия?

Катя сказала.

– Вы родственница товарища Сартанова–Седого?

– Это к делу не относится! – резко оборвала Катя.

Бритый внимательно поглядел. Тот, прежний, неподвижным взглядом уставился на Катю, и в тяжелых глазах его был уже предрешенный приговор.

Третий, широкоскулый, в матросской фуражке, с смеющимся про себя любопытством приглядывался к взволнованному лицу Кати, так странно не соответствовавшему ее резкому тону.

– Бывшее звание ваше?

– Дворянка, – с вызовом ответила Катя. И задыхалась, и прижимала руку к сердцу.

Бритый успокаивающе сказал:

– Да вы не волнуйтесь, дело пустяковое.

Катя с презрением возразила:

– Я вовсе не от допроса вашего волнуюсь.

Бритый предложил рассказать, как было дело. Допрашивал мягко и не враждебно. Катя все рассказала и прибавила, что в «хамском царстве» вовсе не раскаивается, что этот Зайдберг, правда, держался, как хам.

– И я думаю, вы на моем месте, если бы испытали все эти издевательства, тоже сказали бы так.

Бритый улыбнулся тонкими своими губами.

– Ну, я бы выразился осторожнее: назвал бы хамом его, если бы стоил, а не говорил бы вообще о хамском царстве... Можно увести, – обратился он к страже.

Катя еще больше заволновалась.

– Я имею сделать заявление.

– Пожалуйста.

– Вот какое заявление...

И вдруг она перестала дрожать, в душе стало радостно и твердо.

– Я сидела в царских тюрьмах, меня допрашивали царские жандармы. И никогда я не видела такого зверского отношения к заключенным, такого топтания человеческой личности, как у вас... Я сижу в камере подсудимых, дела их еще не рассмотрены, может быть они еще даже с вашей точки зрения окажутся невинными. А находятся они в условиях, в которых при царском режиме не жили и каторжники. У тех хоть нары были, им хоть солому давали, им хоть позволяли дышать иногда чистым воздухом. А вы бросаете ваших пленников в темные подвалы, люди лежат на холодном каменном полу, вы их морите голодом. Тюремщики обращаются с ними, как с рабами, кричат на них, говорят им «ты». Неужели же вас ни разу не заинтересовало зайти и посмотреть, как вот здесь, под полом, под вами, живут люди, которых вы лишили свободы?... И потом. Вы вот выявляете мою вину, – а почему вы не стараетесь выяснить, что ее вызвало? Почему не арестовываете людей вроде этого Зайдберга или вашего Искандера? Они своими действиями гораздо больше подрывают авторитет вашей власти, чем всякие контрреволюционные пропаганды.

Катя все высказала, что у нее накопилось. И когда ее вели назад в тюрьму, в душе было удовлетворение и блаженная тишина.

Рассказала о допросе, и что она им сказала. И вдруг все кругом замерло в тяжелом молчании. Смотрели на нее и ничего не говорили. И в молчании этом Катя почувствовала холодное дыхание пришедшей за нею смерти. Но в душе все-таки было прежнее радостное успокоение и задорный вызов. Открылась дверь, солдат с револьвером крикнул:

– Сартанова! Собирай вещи. Через час к выпуску.

Так говорили, и когда на волю выпускали, и когда уводили на казнь. Вчера выпустили



одну из дам, сидевших по доносу прислуги: все писали письма, чтобы передать с нею на волю. Теперь никто. И украдкою все с соболезованием и ужасом поглядывали на Катю. Ясно было, – все они понимают, что ее переводят в страшную камеру В. Кате стало весело, и смех неудержимо забился в груди: да неужели это, правда, смерть? И неужели бывает так смешно умирать? Она хохотала, острела, рассказывала смешные вещи. И что-то легкое было во всем теле, поднимавшее от земли, и с смеющимся интересом она ждала: десяток сильных мужчин окружит ее; поведут куда-то, наставят ружья на нее. И им не будет стыдно...

Но оказалось, выпустили на волю. Дома Катя узнала, что за нее сильно хлопотал профессор Дмитревский. Особенный эффект на них произвело, что она – двоюродная сестра Седого. Сообщили ей также, что приходил жилищный контролер и взял ее комнату на учет.

Домовым комитетам было объявлено: кто первого мая не украсит своего дома красными флагами, будет предан суду ревтрибунала. Гражданам предписывалось, под страхом строжайшей революционной ответственности, представить в ревком всю имеющуюся красную материю. Бухгалтер отдела с скрытою улыбкою сообщил Кате, что на табачной фабрике вывешено объявление завкома о поголовном участии в манифестации. Кто не пойдет, будет объявлен врагом пролетариата.

В отделе был получен церемониал манифестации. Дмитревский суетился и напоминал сотрудникам, чтоб ровно к десяти часам все собрались в отдел, а оттуда все вместе двинутся к сборному пункту у фонтана Орам–Тимура (теперь – фонтан Карла Либкнехта). Он рассматривал с художниками знамена и плакаты. Катя спросила:

– Нужно обязательно участвовать на демонстрации?

– Обязательно!

– А я не пойду. Противно. По принуждению. Дмитревский растерянно взглянул на нее.

– Конечно, насильно вас никто не станет заставлять. Но желательно, чтоб отдел был представлен полностью. Белозеров кипуче работал. В театре готовились к постановке «Ткачи», оркестры разучивали революционные марши, инструкторы по пению обучали по фабрикам хоры рабочих.

Катя пошла часам к одиннадцати посмотреть. На панелях в ожидании густо стояли зрители. Катя была уверена, что народу на демонстрации будет позорно мало, и в душе ей хотелось этого.

Был чудесный солнечный день, за деревьями сквера сверкало море. Вдали могуче загремел оркестр. Интернационал. Промчался на автомобиле Белозеров с огромным красным бантом на груди.

Музыка приближалась. Заалели под солнцем развевающиеся знамена, плескались красные флаги на домах.

Старый учитель гимназии, – Катя его однажды видела у Миримановых, – вполголоса говорил соседу:

– Людям одеться не во что, а тысячи аршин материи тратят на флаги и знамена!

За музыкой слышен был хор человеческих голосов. Медленно колыхаясь, надвигались темные массы людей, над ними качались плакаты и знамена.

Маленький мальчик с одушевлением говорил:

– Мама! Мама! Гляди! Вон – они идут! С флагими.

– Значит, крестный ход ихний.

– Осади назад!

Милиционеры грубо оттесняли зрителей винтовками на тротуары. Катя вспомнила прежние первомайские демонстрации и жертвенный огонь мученичества в глазах участников. Никто тогда не расчищал перед ними дороги, и Белозеров бы тогда не обучал рабочих хоров.

Шли мимо ряды красноармейцев с винтовками на плечах, с красными перевязями на руках. Катя увидела в рядах знакомых немцев в касках. Могучие мужские голоса пели, сливаясь с оркестром:

Весь мир насилья мы разроем  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим!  
Кто был ничем, тот будет всем.

И шли ряды. Рабочие в пиджаках, работницы в светлых платьях, советские служащие, кокетливые барышни на высоких каблучках, с колеблющеюся походкою. Проплывали плакаты на длинных палках:

Да здравствует международная социальная революция! Да здравствует книга в руках пролетариата!

– В первый раз слышу, чтоб кто–нибудь желал здоровья книге!

Да здравствует братство трудящихся! Нет ни русских, ни евреев, ни татар, ни немцев! Есть братья–рабочие и враги–капиталисты!

У Кати начинала колыхаться и подъемно звенеть душа от торжественно–боевого темпа музыки, от алого плеска знамен, блеска солнца, от токов, шедших от этой массы людей. Всё шли, шли мимо; обрывки песен выплескивались из живого потока:

Мы потеряем лишь оковы,  
Но завоюем целый мир!

Людские волны укатывались к площади, и новые надвигались.

Вперед, друзья! Идем все вместе,  
Рука с рукой, и мысль одна!  
Кто скажет буре: «Стой на месте!»  
Чья власть на свете так сильна?

Задержка какая–то впереди, процессия остановилась. Худощавый рабочий средних лет, державший палку от плаката, отер пот с лысеющей головы, довольно улыбнулся, поглядел вперед, назад.

– Бог даст, одолеет рабочий класс капитал, тогда будет хорошо! У Кати больно защемило в душе. Вспомнились гнусные подвалы и безвинные люди в них с опухлыми лицами, раскосые глаза Искандера, тлеющие темно–кровавым огнем... Не может же этот не знать обо всем! А если знает, – как может смотреть так благодушно и радостно? Опять двинулись. Плакат:

Женщины Востока! Вы были рабынями мужчин, теперь вы стали свободными людьми!  
Дружно на общую работу для счастья трудящихся!

Шли рядом татарки, всё молодые, в низких фиолетовых бархатных шапочках, сверкавших позументами и золотом. Ярче позументов сверкали прелестные глаза на овальных лицах. Как будто из мрачных задних комнат только что выпустили этих черноглазых девушек и женщин на вольный воздух, и они упоенно оглядывали залитый солнцем прекрасный мир.

Море голов и лес знамен на Генуэзской площади (теперь – площадь Урицкого). Трибуна, обтянутая красным сукном, с зелеными ветвями мимоз. Один за другим всходили ораторы. Воздух был насыщен радостным электричеством победного торжествования. Катя видела во круг жадно прислушивающиеся лица, празднично светящиеся глаза. И как будто не отдельные души были в людях: одна общая душа, большая, как море, торжествовала какое–то великое достижение. Иногда Катю втягивало и уносило с собою это общее настроение – и потом вдруг отшатывало: столько злобы и ненависти было в несшихся призывах.

Зачем? Зачем теперь? Неужели и так не слишком много этой ненужной злобы? Почему ни одного призыва к благородству и великодушию победителей?

Выступил Леонид. Его речь понравилась Кате. Ругнул буржуев, империалистов и стал говорить о новом строе, где будет счастье, и свобода, и красота, и прекрасные люди будут жить на прекрасной земле. И опять Катю поразило: волновали душу не слова его, а странно звучащая в них музыка настроения и крепкой веры.

А потом над трибуной появилась огромная седая голова профессора Дмитревского. В последнее время Катя морщилась от некоторых его поступков, ей казалось, – слишком он приспособляется, слишком не прямо ходит. Но тут он ее умилил. Ни одного злобного призыва. Он говорил о науке и ее великой, творческой роли в жизни. Чувствовалось, что наука для него – светлая, благостная богиня, что она все может сделать, и что для нее он пожертвует всем.

Дрогнувшим от волнения голосом профессор закончил так:

– Товарищи! Бывают моменты в истории, когда насилие, может быть, необходимо. Но истинный социализм может быть насажден в мире не винтовкой, не штыком, а только наукою и широким просвещением трудящихся масс!

Катя шла на службу и встретила на улице с профессором Дмитревским. Он взволнованно держал в руке газету.

– Вот. Читали? О Первомайском празднике?

– Нет.

– Прочтите.

В отчете, подписанном «Спартак», заключительные слова речи профессора были изложены вот как:

«Товарищи! Помните: в условиях переживаемого момента социализм сумеет насадиться не прекраснородушной болтовней мягкотелых соглашателей, а только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего!»

Профессор в бешенстве воскликнул:

– Что же это? Я иду в редакцию. Пойдемте вместе.

В грязной комнатке, заваленной стопами бумаги, пахло керосином от типографского мотора и скипидаром. Суровый господин в золотых очках, услышав имя профессора, расцвел, почтительно усадил его и сочувственно выслушал.

– Это Спартак отчет давал... Спартак! Поди–ка сюда!

Медленною походкою из соседней комнаты вошел болезненный молодой человек с ленивою, добродушною усмешкою, пережевывая кусок хлеба с сыром...

Катя изумилась: так вот какой этот Спартак!

Он слушал профессора, улыбаясь сконфуженною улыбкою.

– Я очень извиняюсь... Значит, я не расслышал. Но теперь что же можно сделать? Что написано пером, того не вырубишь и топором.

– Ну, уж нет, товарищ, извините! Вырубайте хоть топором, а я так оставить этого не могу.

С доброю своею улыбкою Спартак убеждающе возразил:

– А не все вам равно, профессор?

Катю дрожь омерзения охватила. О, да! Ему, этому писаке, – ему все равно! И с этою доброю улыбкою...

– Я категорически требую, чтобы напечатано было мое письмо в редакцию.

Вот оно. Здесь только восстановлено то, что я действительно сказал.

Они в замешательстве прочли. Редактор в золотых очках помолчал и сказал:

– Да, конечно, это полное ваше право. Но завтрашний номер, воскресный, уже сверстан, в понедельник газета не выходит. Так что, к сожалению, сможем поместить только во вторник... А кстати, профессор: не можете ли вы нам давать время от времени популярно–научные статьи, доступные пониманию рабочей массы? Мы собираемся расширить нашу газету.

– Об этом может быть речь, когда появится опровержение.

Профессор с Катей вышли. Катя воскликнула:

– Не напечатают! Вот увидите!

– Нет, это не может быть.

– Да как же им напечатать? «Не штыком, а просвещением». Когда они именно проповедуют, что штыком. – Катя засмеялась. – И очутились вы, Николай Елпидифорович, в их компании!

Во вторник письмо не появилось, и редактор по телефону очень извинялся.

Потом оказалось, метранпаж затерял заметку. Редактор просил непременно прислать новую и опять очень извинялся. Наконец, оказалось, – времени прошло уже столько, что решительно не имело смысла печатать: все давно уже забыли и о самом–то празднике.

У подъезда «Астории» стояла телега, нагруженная печеным хлебом, а на горячих хлебах лежал враспяжку ломовой извозчик. Мимо равнодушно проходили люди. Катя, пораженная, остановилась.

– Товарищ! Да что же вы такое делаете? Ведь вы весь хлеб примяли, посмотрите, что с ним стало! Ломовик лениво оглядел ее.

– А тебе что?

– Как что? Ведь этот хлеб люди будут есть. Вы подумайте, – выдают сейчас по полфунта в день. И вот, вместо хорошего хлеба, получают они слежавшуюся замазку, да еще испачканную вашими сапогами.

Ломовой зевнул и стал крутить папиросу.

– Съедят и так.

Катя стала говорить об общественной солидарности, что теперь больше, чем когда–нибудь, нужно думать и заботиться друг о друге, что теперь, когда нет хозяев, каждый сам обязан следить, чтобы все делалось хорошо и добросовестно.

Ломовик усмехнулся.

– Э! – Повернулся на другой бок и стал чиркать зажигалкой, гаснувшей под ветром.

У крыльца стоял в каске тот немец, с которым Катя недавно обедала. Они переглянулись. Немец pokrutil голову, улыбнулся и, как бы отвечая на что–то Кате, сказал:

– Nein, es wird bei Ihnen nicht gehen (Нет, дело у вас не пойдет)!

А у Миримановых происходило что–то странное. Вечером, когда темнело, приходили поодиночке то гимназист, то настороженно глядящая барышня, то просто одетый человек с интеллигентным лицом. Мириманов удалялся с пришедшим в глубину сада, они долго беседовали в темноте, и потом посетитель, крадучись, уходил.

Катя иногда встречалась с Леонидом. Она рассказывала ему о своих впечатлениях, хотела докопаться, как он относится ко всему происходящему.

Леонид либо отвечал шуточками, либо, с пренебрежительно–задирающею усмешкою, одобрял все, о чем рассказывала Катя.

– И это, по–твоему, допустимо? Это хорошо?

– Великолепно! Так и надо! Революция, матушка! Ее в лайковых перчатках делать нельзя. Наденешь, – все равно, сейчас же раздерутся.

А когда Катя попадала в слишком чувствительное место, Леонид становился резок и начинал говорить каким–то особенным тоном, – как будто говорил на митинге, – не для Кати, а для невидимой, сочувствующей толпы, которая должна облить Катю презрением и негодованием. И они враждебно расходились.

Катя, как всегда, старалась дорыться до самого дна души, – что там у человека, под внешними словами? Было это под вечер. Они сидели в виноградной беседке, в конце миримановского сада. И Катя спрашивала:

– Ну, как же, – неужели у вас на душе совершенно спокойно? Вот, жили здесь люди, их выбросили на улицу, даже вещей своих не позволили взять, – и вселили вас. И вы живете в чужих квартирах, пользуетесь чужими вещами, гуляете вот по чужому саду, как по своему, и даже не спросите себя: куда же тем было деться?

Он, покашливая, отвечал равнодушно:

– Девайся, куда хочешь, – нам какое дело? Они о нас думали когда?.. В летошнем году жил я на Джигитской улице. Хорошая комната была, сухая, окна на солнце. Четыре семейства нас жило в квартире. Вдруг хозяин: «Очистить квартиру!» Спекулянту одному приглянулась квартирка. Куда деваться? Сами знаете, как сейчас с квартирами. Уж как молили хозяина. И прибавку давали.

Да разве против спекулянта вытянешь? У него деньга горячая. Еле нашел себе в пригороде комнату, – сырая, в подвале, до того уж вредная! А у меня грудь уж тогда больная была. В один год здоровье свое сгубил на отделку.

Глаза его на худом лице загорелись.

– Пройдешься мимо, – отделал себе спекулянт квартиру нашу, живет в ней один с женой да с дочкой. Шторы, арматура блестит, пальмы у окон. И не признаешь квартиру. Вот какие права были! Богат человек, – и пожалуйте, живите трое в пяти комнатах. Значит, – спальня там, детская, столовая, – на все своя комната. А рабочий человек и в подвале проживет, в одной закутке с женой да с пятью ребятишками, – ему что? Ну, а теперь власть наша, и права другие пошли. На то не смотрят, что богатый человек.

– Так неужели можно брать пример со спекулянтов? Они жестоки, бесчувственны, – и вы тоже хотите быть такими же?

– Вселил бы я его в свой подвал, поглядел бы, как бы он там жил с дочкою своею, в курдюшках да с голенькими коленками! Идешь с завода в подвал свой проклятый, поглядишь на такие вот окна зеркальные. Ишь, роскошничают!

«Погоди, – думаешь, – сломаем вам рога!» Вот и дождались, – сломали! А что вещи, говорите, чужие, да квартира чужая, – так мы этого не считаем.

– Не в этом суть. Изменяйте прежние отношения, стройте новые. Но мне всегда думалось: рабочий класс строит новый мир, в котором всем было бы хорошо. А вы так: чтоб тем, кому было плохо, было хорошо, а тем, кому хорошо было, было бы плохо. Для чего это? Будьте благородны и великодушны, не унижайте себя мщением. Помните, что это тоже люди.

– Люди! Волки, а не люди. А волки, их и нужно понимать, как волков.

Вон, в первый большевизм было: арестовали большевики тридцать фабрикантов и банкиров, посадили в подвал. Наш союз металлистов поручился за них, заставил выпустить. А при немцах устроили мы концерт в пользу безработных металлистов, пришли в союз фабрикантов, а они нам – двадцать пять рублей пожертвовали. Вот какие милостивые! А мы–то, дураки, их жалели! Таких, как вы, слушались. Поумнели теперь. Тех слушаем, что вправду за нас... Нет, овцам с волками в мире не жить никогда: нужно волчьи зубы себе растить.

И Катя не могла достучаться до того, что ей было нужно. Не злоба тут была, как у того матроса, а глубоко сидящее отношение именно, как к волкам.

Чего злиться на волков? Но призывы Кати к благородству и великодушию звучали для ее собеседника так же, как если бы Катя говорила ему, что волкам в лесу холодно, что у них есть маленькие волчята, которых нужно пожалеть.

И все рассказы Кати о зверствах и несправедливостях в отношении к буржуазии он слушал с глубочайшим равнодушием: так вот слушали бы век назад русские, если бы им рассказывали о страданиях, которые испытывали французы при отступлении от Москвы.

Катя устало спросила:

– Вы сами, значит, коммунист?

– Ну, конечно.

– И много у вас на заводе коммунистов?

– Коммунистов не так, чтоб много. А много сочувствующих и склоняющихся.

Склонить всякого легко, только поговорить с ним. Ты что, имеешь какую на заводе собственность? А у себя дома имеешь? Койку, да пару табуреток? А дом у тебя есть свой? Будет когда? – Никогда. – Ну, вот, значит, ты и коммунист.

Катя шла по набережной и вдруг встретила – с Зайдбергом, – с начальником жилотдела, который ее отправил в тюрьму. Такой же щеголеватый, с тем же самодовольно извивающимся, большим ртом и с видом победителя. Катя покраснела от ненависти. Он тоже узнал ее, губа его высокомерно отвисла, и он прошел мимо.

– Эй, ты! – раздался с улицы повелительный окрик. Ехало три всадника на великолепных лошадях; на левой стороне груди были большие черно–красные банты.

– Что скажете, товарищи? – отозвался Зайдберг.

– Где тут у вас продовольственный комиссариат?

– Вот сейчас поедете по переулку навверх, потом повернете вправо...

– Веди, покажи.

Зайдберг холодно ответил:

– Я извиняюсь, товарищи. Я ответственный советский работник, и мне некогда.

Панель зазвенела под подковами, усатый всадник наскочил на Зайдберга и замахнулся нагайкой.

– Веди, сукин сын! Разговаривать еще будешь? Живо!

– Но позвольте, товарищи, я вам...

– Ну!!

Нагайка взвилась над его головой. Лицо Зайдберга пожелтело, губа уныло отвисла. Он слабо пожал плечом и повернул со всадниками в переулок.

И везде на улицах Кате стали попадаться такие всадники. У всех были чудесные лошади, и на груди – пышные черно–красные банты. Это вступил в город отряд махновцев. Советская власть радушно встретила пришедших союзников, отвела им лучшие казармы. Они слушали приветственные речи, но глаза смотрели загадочно. Однажды, когда с балкона ревкома тов.

Маргулиес говорил горячую речь выстроившимся в два ряда всадникам, один из них, пьяный, выхватил ручную гранату и хотел бросить на балкон. Товарищи его удержали.

В городе участились грабежи. Махновцы вламывались в квартиры и забирали все, что попадалось на глаза.

Под вечер Катя стирала в конце сада. На жаровне в тазу кипело белье.

Любовь Алексеевна крикнула с террасы:

– Екатерина Ивановна! Вас спрашивают.

По аллее из пирамидальных акаций шла, щурясь от заходящего солнца, высокая бледная девушка. Катя остолбенела, не веря глазам. Девушка шла с улыбающимся лицом, и с взволнованным ожиданием глядя на Катю.

– Вера!!

Все забыв, с мокрыми, мыльными руками, Катя бурно бросилась ее целовать.

Они смеялись, плакали. Сели на скамейку, задавали друг другу вопросы, и опять начинали целоваться.

– Как ты сюда попала?

– Из центра послали нас в Крым, целую партию ответственных работников... А ты работаешь с нами?

– Да, в Наробразе.

– Как я рада! Вера жадно расспрашивала про отца, про мать. И, поколебавшись, спросила:

– Захотят они меня видеть?

– Мама, – конечно. А папа... – Катя печально опустила голову. – Он о тебе никогда не говорит и уходит, когда мы говорим. Он не захочет.

Вера страдающе прикусила губу.

– А маму мы, лучше всего, устроим, чтобы сюда приехала. Ты где будешь жить?

– Еще не знаю. Пока остановилась в «Астории».

– Ой, в «Астории»!.. Перебирайся ко мне.

Вера ужасно обрадовалась.

– Вот хорошо, Катюшка!

– Только вот что: в жилищном отделе сказали, что мне не позволят выбрать сожительницу, а пришлют сами. На днях был жилищный контролер...

Вера спокойно усмехнулась.

– Не беспокойся, пропишут без всяких разговоров. Я скажу по телефону.

– А ты знаешь, что со мною там было? – Катя, волнуясь, рассказала о своем столкновении с начальником Жилотдела, и о том, как прорвалась «хамским царством», и как сидела в подвале.

Лицо Веры стало холодным.

– Какой у тебя, Катя, жаргон вырабатывается! Совсем, как у «объединенных дворян». Из-за того, что с тобою так поступили в Жилотделе, неужели вообще можно говорить о хамском царстве?

Катя замолчала и изумленно глядела на Веру.

– Из всего, что я тебе рассказала, тебя только это возмутило!.. Ну, а как он поступил? Как этих несчастных женщин гноят в темном подвале? Да и только ли это!

Катя рассказала о резолюции Искандера на прошении Миримановой, о генерале, задушенном в больнице санитаром. Глаза Веры как будто задержались непроницаемою внутреннею пленкою.

– Да ведь с этим генералом, может быть, вовсе и не так. Кто видел, что его задушил санитар? Показалось со страху этой твоей фельдшерице. Столько сейчас везде сплетен про нас!

Катя враждебно возразила:

– Но почему же ты заранее, ничего не зная, утверждаешь, что ничего такого не было? Ну, а эта гнусная резолюция Искандера? Ее–то я уж сама видела, сама читала. Это уж факт!

– Ну, а по существу–то, – ведь он оказался прав в конце концов, деньги они внесли. А потом: отдельные эксцессы, конечно, всегда возможны...

– Отдельные? Эх, Вера! А что ваши пленники валяются в подвалах на каменном полу, в темноте, без прогулок, – это тоже отдельный эксцесс?

– Нет, это, конечно, нехорошо... Но ведь власть только что утвердилась. Конечно, всё сразу не успевают организовать, недочетов много. Первые недели всегда самые ужасные и совершенно анархичные. Вот теперь с нами приехал новый предревком, он понемножку все наладит.

Катя пристально поглядела Вере в глаза и круто замолчала. Вера, такая прямая и честная, – и это виляние, это казенное стремление оправдать, во что бы то ни стало!..

Она сняла с жаровни таз и стала готовить ужин.

Ужинали, пили чай. Перестали говорить о том, что их разъединяло, и опять явилась сестринская близость. Легли спать в одну постель, – Катю поразило, какое у Веры рваное белье, – и долго еще тихо разговаривали в темноте.

Назавтра Вера с убогим узелком своего имущества перебралась к Кате. Ордер в Жилотделе она без всякого труда получила вне очереди. Вечером Вера, между прочим, сказала Кате:

– Да, знаешь, сегодня Корсаков, предревком новый, осмотрел помещения арестованных. Верно, – даже топчанов нет, прогулок не дают. Вообще, настоящая, как ты говоришь, Иродова тюрьма. Такое безобразия! Сместил начальника тюрьмы и отдал его под суд.

– Ты ему все рассказала?

– Ну да.

– О, Верка, значит, с тобою еще можно жить! А я вчера вынесла впечатление, что тебе до всего этого и дела нет.

На одном из запасных путей узловой станции стоял вагон штаба красной бригады. Был поздний вечер воскресенья. Из станционного поселка доносились пьяные песни. В вагоне было темно, только в одном из купе, за свечкой, сидел у стола начальник штаба и писал служебные телеграммы.

Смеющийся женский голос спросил у входа:

– Товарищ Храбров, вы здесь?

Начальник штаба нахмурился.

– Здесь.

Вошла дама с подведенными слегка глазами, с полным бюстом. Храбров неохотно поздоровался. Она значительно пожала ему руку и с веселым упреком воскликнула:

– И не поцелует руки! А еще бывший офицер!

– Я и офицером не целовал дамам рук, а теперь и подавно. – И сухо спросил: – Отчего вы до сих пор не уехали? Ведь литерату я вам выдал.

– Опоздала. Пошла на вокзал напиться, – ужасно хотелось лимонаду!

Ничего нет на станции, даже стакана воды не могла раздобыть. Вы ведь знаете, какая у нас везде бестолочь. Воротилась, – поезд ушел. Как саранча, идем мы, и все кругом разрушаем, портим, загаживаем, и ничего не создаем.

– Вы говорите, вы – жена коммуниста, ответственного работника. Могли бы шире смотреть, поверх этих мелочей.

Она вздохнула.

– Да, когда от этих мелочей жить невозможно!.. Ну, вы меня не приглашаете сесть, а я все–таки сяду.

Дама села и закурила папироску. Ногу она положила на ногу, и из–под короткой юбки видна была до половины голени красивая нога в телесно–розовом чулке и туфельке с высоким каблукком. От дамы пахло духами, в разрезе белого платья виднелись смуглые выпуклости грудей, и в Храброва шло от нее раздражающее электричество женщины, тянущейся к любви и ждущей ее.

– А вы все сидите, все работаете. Вчера поздно–поздно ночью я видела огонек в вашем вагоне... – И с нежным, ласковым упреком она сказала, понизив голос: – Зачем вы так выматываете себя на работе?

– Вы больше, чем кто другой, можете это понимать. Время такое, когда приходится работать по двадцать часов в сутки.

– Ну, да... – Она молча смотрела на него большими черными глазами и вдруг тихонько сказала: – Никогда, никогда я не поверю, чтобы вы, правда, по внутреннему убеждению, так работали для них.

– Для них? Марья Александровна, я не ослышался? Для них, а не для – «нас»? Дама загадочно засмеялась, посмотрела горячим взглядом и медленно

ответила:

– Ну, если вам так хочется... «для нас»...

Храбров вдруг решительно встал, засунул руки в карманы и сказал:

– Люся! Довольно!

Дама отшатнулась.

– Какая... Люся? Я – Мария Александровна.

– Вы – Люся Гренерт. Не узнаете меня? Коля Мириманов. В одно время учились в Екатеринославе. Вы были такою славною гимназисточкою, с такими чудесными, ясными глазами... И вот – стали шпионкой.

– Коля? – Она в испуге смотрела на него.

– Стыдно, барыня!

Дама медленно опустила голову и закрыла лицо руками. Плечи ее стали вздрагивать. Она заплакала.

– Как же я вас не узнала?.. Да, верно: я ихняя шпионка... Послушайте меня.

Она робко огляделась.

– Да, они меня заставили сделаться шпионкой. В Харькове мой муж, подполковник, был арестован, сидел у них в чека полгода, меня не допускали.

Сказали, что его расстреляют, и предложили пойти к ним на службу. Трое детей, есть нечего было, все реквизировали, из квартиры выгнали... Боже мой, скажите, что мне было делать!

– Что угодно! Умереть, предоставить мужа его судьбе, а на это не идти.

– Да, правда! И вот мне за это казнь. Вы знаете... Мне все–таки с тех пор ни разу не дали свидания с ним, и все время высылают с разными поручениями из Харькова. И я боюсь даже подумать... Душу мою они сделали грязной тряпкой, а его – все–таки расстреляли!.. О, если это зерно, я им тогда покажу!

И, как в бреду, она быстро зашептала, испуганно оглядываясь:

– Я завтра утром уеду. Я, конечно, нарочно не уезжала до сих пор... И я вам все скажу. За вами очень следят, ни одному слову не верьте, что вам говорят. Главный политком, Седой, он вам верит, а другой, латыш этот, Крогер, – он и в особом отделе, – он все время настаивает, что вас нужно расстрелять. Он–то меня к вам и подослал... И я боюсь его, – в ужасе шептала она, – он ни перед чем не остановится...

Снаружи вагона слышались мужские голоса, отдались шаги по приступочкам, в коридоре заговорили.

Дама побледнела и поспешно поднялась. Вошли политкомы Седой и Крогер, и с ними, – командир бригады, бывший прапорщик, с туповатым лицом.

Когда дама проходила мимо них к выходу, Крогер значительно переглянулся с нею. Седой оглядел ее с тайною брезгливостью.

Поздоровались. Седой сказал, посмеиваясь:



– Вот вы в какой приятной компании проводите вечера!

Храбров раздраженно обратился к Крогеру:

– Товарищ Крогер, уберите вы, пожалуйста, отсюда эту дамочку. Говорит, нечаянно тут застряла, я ей выдал литературу, а она все тут вертится. Я ей сказал, что больше не буду ее принимать, и велел гнать ее от вагона.

Крогер молча сел.

– И потом, вот что я хотел вас просить. У меня решительно не хватает времени на все. Отчего бы вашим помощникам не шифровать служебных телеграмм?

Это и для них полезно, – они, таким образом, все время будут в курсе наших самых даже мелких распоряжений...

Крогер поглаживал свои густые, белесые усы и украдкой приглядывался к нему серыми, как сталь, глазами. Он ответил медленно:

– Да, это я вам хотел сам приказать.

Они просидели часа два.

В автомобиле, по дороге к городу, Леонид с раздражением спросил:

– Да какие же у вас данные? Работает, как лошадь, все на нем держится.

Комбриг говорит, что без него окажется, как без рук.

– Значит, сам комбриг никуда не годится. Если бы я имел данные, я бы его арестовал без разговоров. А только я вижу: не из наших он. Зачем так много работает? Не по совести он у нас.

– Конечно. Спец, как спец. Следить нужно.

Крогер упрямо возразил:

– Арестовать нужно.

Позднюю ночью Храбров, усталый, вышел из вагона. Достал блестящую металлическую коробочку, жадно втянул в нос щепоть белого порошку; потом закурил и медленно стал ходить вдоль поезда. По небу бежали черные тучи, дул сухой норд-ост, дышавший горячим простором среднеазиатских степей; по неметеному песку крутились бумажки; жестянки из-под консервов со звоном стучались в темноте о рельсы.

Недалеко от стрелки темнела фигура с винтовкою за спиною. Храбров взгляделся и узнал своего ординарца, оренбургского казака Пищальникова.

– Товарищ Пищальников, это вы?

– Я, товарищ начальник.

– Чего это вы не спите?

– Не спится что-то. Все о доме думаю.

– Вы разве не добровольно пошли?

– Нет, по мобилизации взяли... Как скажете, товарищ начальник, скоро всему этому будет окончание?

– Не знаю, товарищ. Должно быть, долго еще нам с вами придется манежиться. Больно уж напористы белые.

Казак помолчал и вдруг сказал:

– Ваше благородие!

Храбров вздрогнул.

– Что вы, товарищ, с ума сошли?

– Никак нет... Дозвольте вас спросить, ваше благородие: неужто вы по совести пошли служить этой сволочи?

– Да я тебя арестовать велю! Ты с ума сошел!

– Никак нет... А только вот вам крест, – казак снял фуражку и широко, медленно перекрестился, – вы не от души им служите, нехристям этим.

Все время начеку, все время внутренне поджавшийся, Храбров хотел на него грозно закричать и затопать ногами. Но так из души вырвались слова казака, так он перекрестился, что Храбров шагнул к нему вплотную, заглянул пристально в бородатое его лицо и хриплым шепотом спросил:

– Крест у тебя на шее есть?

– Есть.

– Покажи.

Казак молча расстегнул ворот и вытянул за шнурок небольшой медный крестик. Храбров ошупал его, оглядел.

– Ну, я тебе верю, Пищальников. Чувствую, что тебе можно верить.

Казак радостно ответил:

– Так точно, ваше благородие!

– Хочешь России послужить?

– Что прикажете, все сделаю. Рад стараться.

– Хорошо. Скоро ты мне понадобишься. А сейчас разойдемся. Не нужно, чтобы нас видели вместе.

В субботу Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски–Керым. Катя попросила захватить ее до Арматлука: ей хотелось сообщить отцу с матерью о приезде Веры и выяснить возможность их свидания. Дмитревский поручил ей кстати ознакомиться с работой местного Наробраза.

После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный, с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто, хоть было жарко.

Мчалась машина, жаркий ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, осевшая от впечатлений последнего месяца, и заполнялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воздух.

В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай пришел небывалый.

Спутники Кати вполголоса разговаривали между собой, обрывая фразы, чтоб она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была Израэльсон, а псевдоним – Горелов. Его горбоносый профиль в пенсне качался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы, цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти, и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато–блестящий, как зубы.

По обрывкам фраз Катя понимала, о чем они говорят, и ей было смешно; они скрывали то, что все в городе прекрасно знали, – что в центральный совет рабочих профсоюзов прошли меньшевики и беспартийные. Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:

– На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель совета профсоюзов. Вот была речь! Как будто свежим ветром пахнуло в накуренную комнату.

Леонид пренебрежительно спросил:

– Что ж он у вас такое говорил?

– Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что прежде всего нужно стать диктатором над самим собой, что рабочие должны заставить всех преклониться пред своей нравственной высотой, пред своим уважением к творческому труду.

Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.

– Вот интеллигентщина!

Лицо его стало неприятным и колючим.

– И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.

Леонид прервал ее:

– Интересно, – какого он цеха?

– Иглы.

– Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас великолепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под видом родственничков набирают подмастерьев и эксплуатируют их совсем, как раньше.

– Само-собой! Раз не ваш, значит – спекулянт и буржуй!

– Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что буржуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трогательная заботливость!.. Вообще, необходимо обривизовать все эти выборы. Дело очень темное.

– Темное, несомненно, – отозвался Горелов и мягко обратился к Кате: – В провинции сейчас это то и дело наблюдается: более достаточные рабочие мелкобуржуазного склада пользуются темнотой истинно пролетарской массы и ловят ее на свои удочки.

– Ничего! Скоро просветим! – сказал Леонид. – Кто сам босой, тот не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.

– А наденет их и будет измываться над разутым.

Леонид задирающе усмехнулся.

– Конечно!

– А у тебя у самого очень хорошие сапоги.

Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня, спросил:

– Правда, недурные сапожки?

Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шофер слез и стал переменять камеру.

Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за плечами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером, пригнувшись к луке и с пьяной беспощадностью сеча лошадь нагайкою.

Леонид глядел им вслед.

– Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая. Когда мы от этих бандитов избавимся!

Поехали дальше. Через несколько верст лопнула другая шина. Шофер осмотрел и сердито сказал:

– Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые–перечиненые дают, так лохмотьями и расползаются.

Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид предъявил в ревкоме свои бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей нету: крестьяне заняты уборкою сена. Леонид грозно сказал, чтоб сейчас же была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхлябанно сидевшему с винтовкою на стуле.

– Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал лошадей. Станет упираться, арестуй.

Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная склянка с затычкой из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.

Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дремал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полукрытом рту длинные зубы.

Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры, с сверкавшей солнцем степи несло сосредоточенное жужжание косилок. Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:

– Вот человек – Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес жесточайшую цингу; язва желудка у него, катар. Нужно было молоко пить, а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала, – какой работник чудесный, какой организатор!..

Через полчаса подъехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочной–лохматой бородой, с озлобленным лицом.

Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.

Леонид спросил возницу:

– Здорово вашего брата обижают махновцы?

Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:

– Мужика всякий обижает...

И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.

– Войдет в хату, – сейчас, значит, бац из винтовки в потолок! Жарь ему баба куренка, готовь яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.

Проехала подвода, тяжело нагруженная бочонками вина, узлами. Вокруг нее гарцевали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесившеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница татарин, с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных кляч.

Леонид засмеялся.

– Какие вы близорукие, обыватели российские! – обратился он к Кате. – Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке–Руси шныряли бы вот такие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству не было.

– Вот, и при вас шныряют, а вы смиреннько смотрите.

– Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться, увидишь, долго ли будут шнырять.

Катя кивнула на мужика.

– Он не только про махновцев говорил. Сказал – всякий мужика обижают.

Леонид потянулся и зевнул.

Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком:

– Ка–кого коня загнали!

Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с далеко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прикушенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.

– Загнал с пьяных глаз, мерзавец! – с отвращением сказал Леонид.

Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага, над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что–то кричал, чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал целиться в линейку. Катя закричала:

– Смотрите, что он делает!

– Тпруэ!

Мужик испуганно натянул вожжи. Линейка стала.

Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкою в левой руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяною серьезностью коротко сказал:

– Ваши документы!

На груди его был большой черно–красный бант.

Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, небрежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.

– По–ли–ти–чес–кий комис–сар... – Он уставился на Леонида. – Советчик?

Не годится документ.

Леонид насмешливо спросил:

– Почему?

– Мы на вашу советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.

– А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их требуете?

– Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем. Он нам приказал: «Бей жидов, спасай Россию!». Приехали к вам сюда порядок сделать.

Обучить всех правильным понятиям... – Он озорным взглядом оглядел Леонида и, как заученно–привычный лозунг, сказал: – Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?

Леонид резко ответил:

– Я тебе показал документ, знаешь, кто я, – чего еще спрашиваешь!

– Молчи!.. – Он замахнулся на Леонида нагайкой. – Кто ты?

Леонид пожал плечами.

– Кто! Ну, коммунист.

– Нет, кто ты?

Катя рассмеялась.

– Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!  
Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.  
– Хе-хе!.. Верно!.. А ты, – он уставил на нее палец, – ты жидовка!  
– Вот так так! Я двоюродная сестра его!  
– Сестра!.. Знаем, что за сестры! Повидали их на войне. – И извивающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно–оскорбительные догадки.

Потом он сказал:

– Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон лежит. Повезешь в город.

Мужик сердито ответил:

– Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!

– Отойдет. Поворачивай!

– Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара, чего ж вам лучше!

Навстречу ехала пустая мажара, в ней сидели два грека. Они согнулись и глядели в сторону. Махновец властно сказал:

– Стой!

Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки моментально остановились. Он, не спеша, отдернул затвор и опустил винтовку.

– Слезай!

Греки слезли.

– Кто такие?

– Крестьяне, товарищ. За сеном едем.

– Вина не везете?

– Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?

Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице линейки.

– Ты мне ручаешься за них?

Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.

– За кого такое?

– Вот за этих. – Он указал на пассажиров.

– Я–то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, – почему я знаю.

– Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, – на мушку тебя.

Странно было Кате. Пять мужчин окружало его, а он, один против всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за плечами.

Махновец опять повернулся к грекам.

– Вон конь мой лежит. Подъезжайте, подберем его... В город свезете.

Старший из греков поспешно ответил:

– У нас лошади слабые, не вытянут.

Катя быстро наклонилась к Леониду и шепотом спросила:

– Неужели у тебя нет револьвера?

– Ч–черт! Такая глупость! Забыл.

Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида. Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая ноги.

Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозорничать, но он не знал, как.

Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник, все время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиной к махновцу. Вдруг взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.

– Ты... – зловеще протянул махновец. – Поди–ка сюда, жидовская харя! – И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.

Катя быстро переглянула с Леонидом. И дальше все замелькало, сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид схватил сзади махновца, властно крикнул: «Товарищи, вяжите его!» – и бросил на землю. Катя соскочила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, изо всей силы хлестнул кнутом по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувыркнулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнались по дороге в другую сторону.

Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он гораздо сильнее, – ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером моталась в воздухе над Леонидом и старалась повернуть револьвер на него. Не умом соображая, а какою-то властной, взмывшей из души находчивостью, Катя схватила руку с револьвером, – на длинных ногах неуклюже подбегал Горелов, – и всю грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, проехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером упиралась в землю. Катя схватила валяющуюся на земле винтовку с оборванной перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер вывалился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, – не подается.

– Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю, как выстрелить!

Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, – она мчалась в гору, мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил Леонида.

Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову махновца и вместе с ним упала наземь. Локоть его больно ударил ее с размаху в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали сжимать плотную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался где-то за спиной, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.

– Бросай! – задыхаясь, крикнул Леонид.

Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простреленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ругался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое, скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом, и, сникнув, повалился боком на землю.

– А Горелов где?

Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью. И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.

Вдруг Катя испуганно крикнула:

– Смотри!

Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.

– Махновцы! Удирать! – хрипло сказал Леонид. – Погоди! Придется отстреливаться.

Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.

– Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще подъедут, разберут, в чем дело. Не беги, пока на виду.

Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они оглянулись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников, они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало несколько человек.

– Бежим! – коротко бросил Леонид.

Пригнувшись, они побежали меж кустов к горам. Тонко, по-осиному жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пересекал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.

Катя крикнула, смеясь:

– Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо придется слезать с лошадей, либо в обход ехать!

Скакало по откосу уже человек пятнадцать, и на скаку стреляли.

Слышались выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными, параллельными друг другу овечьими тропками.

– Ну, только бы по ней взобраться, – тут цель для них хорошая, а там лучше будет... Не трусь, Катька!

– Дурак ты, Леонидка! – отозвалась Катя, – так чуждо совался его призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.

Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих каперсов. И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запыхало по сухой земле. Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались в поперечный овраг, другие стреляли с колена.

Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага два махновца сидели на коней. Леонид бросился за камень и прицелился. Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и опустился наземь.

Леонид сердито крикнул:

– Дура, ложись же! Чего стоишь!

Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось широкое ущелье, густо заросшее лесом...

Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто–ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные выстрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.

Леонид спросил шепотом:

– Что это у тебя?

Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.

– Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.

– Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.

– Снимай.

Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазанной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противоположной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно–серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.

Туман редел в голове. Непонятно было, откуда слабость в теле, откуда хлопанье пастушьего кнута по лесу. И вдруг все вспомнилось. Вспомнился взблеск выстрела перед усатым, широким лицом, животнo–оскаленные желтые зубы – Горелова? или лошади с прикушенным языком? Но сразу же потом – радостный свист пуль, упоение бега меж кустов, гребень горы и скачущие всадники... И такой позорный конец всего!

Рука была перевязана носовым платком, и френч Леонида накинута на грудь.

По лесу гулко раздавались еще мужские голоса, трещали кусты под ногами лошадей. Но уже много дальше. Иногда, словно удар пастушьего кнута, перекачивался по лесу выстрел.

Катя сконфуженно поднялась и медленно начала надевать кофточку.

– Какая нелепость! С чего это я?

Леонид сидел в одной рубашке, заправленной в брюки, и курил, пряча огонек в ладонь. Он заботливо оглядел Катю и мягко улыбнулся.

– Ничего, это бывает. Важно не распускаться, когда нужно. По закону, девице полагается хлопаться в обморок в минуту самой опасности, а мужчине, отбивая удары, взваливать драгоценную ношу на луку седла... А с тобою можно дела делать. Молодец девка!

Красный свет восходящего месяца бросал на камни сквозь листья ясеня неподвижно–черные узоры. Тихо было.

Леонид спросил:

– Ты через горы знаешь дорогу в Арматлук? На шоссе разумнее не выходить.

– Приблизительно знаю. Это – ущелье Гуяр–Бах, тут перевал должен быть около Кара–Агача... Пройдем.

Катя быстро встала.

– Погоди, дурочка, не спеши. Дай махновцам уйти.

Она опять села. В логове их под скалою было уютно, темно и необычно.

Гибкие ветви цветущей дерезы светлели перед глазами, как ниспадающие струи фонтана. И все вокруг было необычно и по–особенному прекрасно. Белели большие камни странной формы, не всегдашне мутен и тепел был красный свет месяца, и никогда еще не было в мире такой тишины.

Леонид положил руку на Катину руку и крепко пожал ее сверху.

– Спасибо тебе, Катюшка! Кабы не ты сегодня, кормить бы мне собою крымских ваших червей... Жалко, что ты не наша. Нам такие нужны.

Катя редко теперь видела его таким, – когда он бросал свой развязный, задирающе–пребрежителный тон и становился простым, искренним. Горячо задрожало в душе родное, тянущееся к нему чувство, как в те времена, когда он неожиданно являлся к ним из подполья, – исхудалый, нервный, – и гимназисточка–подросток жадно слушала его рассказы и толкование жизни.

– Если бы вы были другие! – вырвалось у нее.

Леонид помолчал и тихо сказал:

– Не можем мы быть другими.

– Но отчего же, отчего? Пойми, Леня, для меня это смертельный вопрос...

Зачем вы эту грязь разводите вокруг себя, эту кровь? Это хамство, это измывательство над людьми? Ведь такого циничного надругательства над жизнью никогда еще, нигде не было! Вы так все обставили, что только хамы и карьеристы могут к вам идти, и те, кому власть, как вино. И все человеческие слова отскакивают от вас, как вот если камушки бросать в эту скалу.

Он слабо усмехался и бил веточкой по голенищу сапога.

– Удивительные вы люди! Разве мы можем такие слова впускать себе в душу? Как ты не понимаешь? Все кругом до самого основания изменилось, прежние отношения сломались, душа должна перестроиться на какой–то совсем новой морали... Или уже нельзя будет жить.

– Говори так, Леня! Говори так! Не переходи на всегдашний тон.

Господи, какой он тяжелый! Как будто все время в маске человек!

– Вы как смотрите? Была хорошая, чистая, светлая жизнь, и ей только не давали развиваться давившие ее мерзавцы. Мерзавцев убрали, – и вот все пошло бы хорошо и гладко, да вмешались на беду эти подлые большевики и все вам напортили. Милая моя, ведь это же взрыв был, – взрыв огромных подземных сил, где вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь, смрад, – но и огонь очищающий, и лава полилась расплавленная. Подумай, какие человеческие силы могли бы это удержать?

– А вы не удерживали, а, напротив, разжигали.

– Конечно. И нужно было, чтоб огонь ударил в небо и чтоб лава полилась по миру. А что грязь и смрад, – так что же делать! Неужели ты думаешь, что, если бы все от нас зависело, мы не действовали бы иначе? Дисциплинированные, железные рабочие батальоны, пылающие самоотверженною любовью к будущему миру, обдуманная, планомерная реорганизация строя на новых началах... Эх, да смешно говорить! Ей–богу, как будто институтки в белых пелериночках, – и разговаривай с ними серьезно!

– Нет, вы эту грязь именно разводите, вы нарочно играете на самых подлых, эгоистических инстинктах, стараетесь разжечь их, а не боретесь с ними. Вы вперед забегаете, вы хуже тех, к кому приноравливаетесь.

– погоди. Пойдем. Не ночь же всю сидеть.

– Ну! Только что разговорились... Ну, что ж, ну, и ночь просидим!

Леонид надел куртку, поднял с земли винтовку и вышел из кустов.

– Тихо. Уехали... Ночь–то какая!

Месяц поднялся меж гор над ущельем и стал серебряным. Внизу чернел лес.

Впереди крутыми своими утесами уходил в небо могучий Кара–Агач. Катя оглядывала местность.

– Тут где–то сейчас горная дорога должна быть через перевал...

Они осторожно шли, оглядываясь и прислушиваясь. Но тишина в лесу стояла забытая, и бояться было нечего. Выбрались на горную, слабо наезженную дорогу. Кудрявые кусты орешника бросали на траву черные тени. Как очень давнишнее, Катя вспомнила взлохмаченно–потную, крутящуюся голову в своих руках, огонь выстрела перед побледневшим лицом. Лет пять–шесть назад смирный мужик ходил за плугом по своему полю, косил пшеницу. Думал ли он тогда, что кровавым хозяином пройдет по городам и селам и, пьяный, сложит под пулей голову на большой дороге?



Леонид заговорил:

– Ты одного не понимаешь. Подготовительная, начальная стадия революции и сама революция – две совсем разные вещи. Там самоотвержение, высокий идеализм, чистый, молодой порыв. Таковы были девятисотые годы с первой революцией нашей. Но тогда шли десятки, – ну, сотни тысяч. А теперь поперли миллионы. Некультурные, дикие, озлобленные. Не за человечество они идут, не за лучшее будущее, а за себя, – просто за самих себя, – полные злобы, мести, жадности. Но ведь ты марксистка, как же ты этого не учиываешь? В этом – то и сила всякой настоящей революции. Пойми ты, что старая психология идейного нашего революционера – интеллигента здесь не только не нужна, а вредна, опасна... Ну, вот ты, например. Ты работала для революции, в тюрьмах сидела, в ссылке была. Потому, что ты видела, что рабочие, крестьяне угнетены, страдают, – и ты возмущалась. Очень все хорошо, и честь тебе. Но теперь угнетены буржуазия, интеллигенция, ты возмущаешься за них. Конечно, по – человечеству сказать, все – люди, и не виноваты буржуи, что родились буржуями. И вот, ты двоишься. Источник, из которого шло твое революционное настроение, потек по другому направлению. А мы идем за рабочих не потому, что они какие – то лучшие люди. Такие же! А потому, что классовый эгоизм толкает их на разрушение всяких классов и на создание нового мира. И со старую меркою подходить тут нельзя. Вот почему наша милая, отзывчивая интеллигенция со своею чистенькою моралью оказалась не у дел.

– Да, спасибо вам за вашу новую мораль! Ведь самодержавие, – само самодержавие, с вами сравнить, было гуманно и благородно. Как жандармы были вежливы, какими гарантиями тогда обставлялись даже административные расправы, как стыдились они сами смертных казней! Какой простор давали мысли, критике... Разве бы могло им даже в голову прийти за убийство Александра Второго или Столыпина расстрелять по тюрьмам сотни революционеров, совершенно непричастных к убийству?... Гадины вы! Руку вам подашь, – хочется вымыть ее!

Она вздрогнула и повела плечами.

Леонид сдвинул брови и резко сказал:

– Вот тут – то мы и начинаем говорить на разных языках. Для нас вопрос только один, первый и последний: нужно это для революции? Нужно. И нечего тогда разговаривать. И какие страшные слова вы ни употребляйте, вы нас не смутите. Казнь, так казнь, шпион, так шпион, удушение свободы, так удушение.

Провокация нужна? И пред провокацией не остановимся. А эксцессы... Эксцессы мы очень бы рады и сами искоренить. Понятно, что у чекиста, в его страшной работе, голова легко пьянеет от власти и крови. Вы только не знаете, сколько из них самих попадает у нас под расстрел. Но чтобы на этом основании устыдиться и уничтожить чрезвычайки, и с закрытыми глазами ходить среди заговоров и покушений на революционную власть, ну, нет – с! Плохо рассчитали!

Мы не такие дурачки, и на удочку вашу не попадемся!

Опять, как обычно, в голосе его зазвучали митинговые ноты, когда он, как будто, говорил не для собеседника, а для невидимой, сочувственной ему толпы. И как обычно, между ними запрыгали враждебные, колющие искорки.

Катя замолчала. Ей хотелось продолжать разговор в прежнем созвучном тоне, но настроенность у обоих исчезла. Она огорченно опустила голову. И оттого, что она не возражала, что на девической щеке чернели запекшиеся царапины от револьвера, Леониду сделалось стыдно, и опять она стала ему близка и мила. Он поднял брови, почесал в затылке, дружественно просунул руку под ее локоть и смущенно сказал:

– Ну, ничего!.. Ночь – то какая, посмотри.

Катя все время бессознательно чувствовала эту ночь. Справа тянулись крутые обрывы Кара – Агача, в лунном тумане они казались совсем близкими. И казалось под лунным светом, – какие – то там на горе огромные порталы, стройные колонны, величественные входы невиданно – большого храма. Опять стало просто. Леонид держал ее под локоть, и они шли рядом. Он заговорил по – прежнему хорошо:

– Помнишь, утром, на площади у вас в Атматлуке, когда мы судили за грабеж ваших парней, записавшихся в красную армию? Неужели же, ты думаешь, не хотелось бы мне, чтобы все у нас были такие, как тогдашний мой отряд из рабочих, – горящие, серьезные, дисциплинированные?... И вот, – что кругом делается! Грабежи, пьянство, притесняют всех одинаково; мужики с каким нас встречали восторгом, а теперь начинают ненавидеть. Даже махновскую

эту сволочь мы вынуждены до времени терпеть. Ведь большинство у нас – люди деклассированные, развращенные империалистической войной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. Сразу их не перевоспитаешь. Только медленно, идя вместе с ними, мы постепенно сможем их организовать. И, конечно, приходится совершенно перестроить свою душу. Я помню октябрьские дни в Москве. Теперь смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись пролить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего оружейного выстрела, чтобы, упаси боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каждому из нас пришлось видеть, переиспытать!

Кате стало неприятно, что рука Леонида касается ее локтя.

– погоди! На минутку!

Она высвободила руку, наклонилась к кусту, сорвала под ним две веточки цветущего шпорника. И усердно стала их нюхать.

– Ну! Ну! – жадно сказала она. – Дальше!

– Ну, вот... – Леонид шел, качая в руке винтовку. – В банкирском особняке, где я сейчас живу, попалось мне недавно «Преступление и наказание» Достоевского. Полкниги солдаты повыдрали на сигарки... Стал я читать. Смешно было. «Посмею? Не посмею?» Сидит интеллигентик и копается в душе. С какой-то совсем другой планеты человек. Ну, вот сегодня, с махновцем этим... Ты первого человека в жизни убила?

Катя вздрогнула от неожиданно так заданного вопроса.

– Ну! Как ты говоришь...

– Как говорю... Да, мы с тобой убили. – Он лукаво глядел на нее и улыбался.

Катя тоскливо повела плечами.

– Ну, да.

– А, может быть, его не стоило убивать.

– Мне тоже думается.

– Что он за револьвер взялся на Горелова, – так можно было разговорить.

С пьяным русским человеком это легко, только шуточка вовремя. Не то, что с латышом, например, – эти звереют в хмелю. А мы убили. И вот ты долгие годы будешь задавать себе вопрос: «Права ты была? Не права?»... А я... Есть мне время об этом думать! Какая-то огромная, совершенно бессознательная жизнь в коллективе. Сегодня он, завтра я. Так все это неважно! Важно, что земля трясется, что гнилье рушится, что все, о чем вы говорите: «поосторожнее, да не сразу!» – все летит к черту. Ведь по всей Европе от нас идут подземные удары, бьют снизу в просторы летаргической Азии. Все ворошится, просыпается.

Придавленные чувствуют, что все они – одна огромная, братская стихия, что нет никаких разъединяющих Христов, Будд, Аллахов, нет каких-то священных Франций, Германий, Индий, Китаев, что все это обман. Один только вечный, священный, неразрывный объединитель – Труд... И думать о каком-то махновце убитом, о том, что нас убьют, о ботинках, снятых с барина, о том, что мы рот зажимаем трусам и предателям, которые все это хотят остановить.

«Поосторожнее, да помирнее, да чтобы не обидеть кого, да слишком рано еще»... И это тогда, когда все силы мировые нужно напрячь, когда все в том, чтобы дружно вскочили все сразу.

Катя усердно нюхала цветы. Справа в лунной дымке все тянулись обрывистые утесы, как порталы и колонны. В своем волнении и своей тоске Катя не могла отвлечься, сделать усилие сбросить обман зрения. И было у ней живое ощущение не диких скал, а бесконечно огромного храма нечеловеческих размеров.

С вершины перевала открылась туманная, голубая под луной арматлукская бухта меж выбегающих мысов, в поселке краснели огоньки.

– Вот это поселок ваш?

– Да.

– Выбрались. – Леонид опять взял Катю под руку. – Катя, мы больше никогда так не будем говорить. Мы чужие. Ты считаешь меня жестоким, а моя трагедия – что во мне слишком мало стали. Ты хорошая девчурка, и мне не хочется, чтоб мы были врагами. Знай, что мне часто бывает очень тяжело, иногда кажется – не хватит сил все это выдерживать. Не случайность,

что среди нас так много морфинистов и кокаинистов. И очень много в условиях работы, что калечит душу. Не стоим мы на высоте. Но выбора нет. Вспомни иногда об этом, когда слишком захлестнет тебя ненависть.

Катя опять высвободила руку и бросила цветы наземь. И задыхалась, и слезы звенели в голосе, когда она сказала:

– Да, мы чужие... Мне припоминается, я читала у Лиссагарэ. Один версальский офицер, во время расстрела коммунаров, воскликнул: «нужно иметь очень твердые политические убеждения, чтоб выдерживать душою то, что мы делаем!» Но вот что обидно, о чем плакать хочется... Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгинете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости, – и тогда сиянием вас окружит история, и вы яркою, призывною звездю будете светить над всем миром, и всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобия, – всё простят!

И даже ничему не захотят верить... Где же, где же справедливость!

Леонид тихонько посмеивался. Они молча стали спускаться с перевала.

Фитилек в стакане с маслом тускло освещал милую, знакомую, закоптелую кухню. Катя, с голыми руками и плечами, сидела на табуретке и одушевленно рассказывала о схватке с махновцами, а Иван Ильич перевязывал ей простреленную руку. Анна Ивановна ахала и любовно смотрела на Катю в круглые свои очки, – в глазах Ивана Ильича были холод и отчуждение.

Катя оделась.

– Да, еще вот что. Вера приехала из России, работает у нас в городе.

Анна Ивановна радостно всплеснула руками.

– Да что ты?

Иван Ильич потемнел, в глазах его мелькнул обычный беспощадный огонек.

Он прошелся по кухоньке и с сдержанною, недоброю усмешкою спросил:

– Что же, в чрезвычайке служишь?

– Ах, оставь ты, папа! – раздраженно отозвалась Катя.

Он молча заходил по кухне. Анна Ивановна жадно расспрашивала про Веру.

Иван Ильич сказал:

– Когда она была учительницей на донецком руднике, она публично не подала руки врачу, присутствовавшему при смертной казни; ее тогда уволили за это и выслали из донецкого края. Что же, и теперь она не подает руки людям, причастным к казням?

– Ну, папа, я не хочу с тобой об этом говорить... Видеть ее ты, конечно, не желаешь?

– Откровенно говорю: не желал бы.

– Ну, мама, мы с тобой в понедельник поедem в город, ты с ней там увидишься.

Сели ужинать. Иван Ильич, сурово нахмурившись, ел молча.

Катя с удивлением спросила:

– А вы всё в кухне живете и в маленькой комнатке? Отчего не перебираетесь на летнюю половину?

Анна Ивановна измученно вздохнула.

– Там солдаты–пограничники живут. С мезонина глядят в подзорную трубу на море. Уж такое мне горе с ними! Воруют кур, колят на щепки балясины от террасы, рубят столбы проволочной ограды. Что стоит сходить в горы, набрать хворосту? Ведь круглые сутки ничего не делают. Ходит же Иван Ильич. Нет, лень. Вчера две табуретки сожгли.

Катя вскипела.

– Так нужно начальнику их заявить!

– Он говорит: представьте с личным, я такого расстреляю. И ведь, правда, расстреляет. За табуретку!

Скудный был ужин. Очень скудный, – маисовая каша без масла. Хлеба не было.

Анна Ивановна сообщала местные новости. Ревком состоял из Афанасия Ханова и еще трех мужиков болгар. Агапов, – представь себе, Агапов! – стал заявлять, что это не настоящий ревком, что в нем не представлена местная беднота. Приехала из города чрезвычайная тройка, сменила ревком. Ханова, как коммуниста, оставили, но намылили ему голову за мягкость. Назначили в ревком Гребенкина и Тимофея Глухаря. Теперь главная там сила – Гребенкин. Свиристует всюду. И первым делом дачу Агапова занял под ревком, а Агапова выселил. Вот

тебе и подслужился Агапов! Гребенкин на даче Яновича, где был сторожем, занял три лучших комнаты, завладел всей одеждой, хранившейся в сундуках. У деревенских богачей, Албантовых и Стамовых, отобрал коров, лошадей, и роздал бедным мужикам. Дает мужикам ордера на мебель и посуду дачников, на белье.

Ивана Ильича новый ревкома, в порядке трудовой повинности, обязал лечить безвозмездно все местное население. За это ему выдается из ревкома по два фунта муки в неделю.

– И какие мужики требовательные стали, настойчивые! Таскают то и дело, по самым пустяковым поводам, и непременно, чтоб сейчас пришел! Нарыв на пальце у него, и Иван Ильич, старик, должен тащиться к нему, – сам ни за что не придет. Сытые, отъевшиеся, – и даже не спросят себя; чем же мы–то живем?

А у самих всегда – и сало на столе, и катык, и барашек жареный.

Иван Ильич примирительно сказал:

– Ну, все–таки... Вот вчера Цырулиева дала бутылку молока.

– Первый, кажется, случай. Да! Раз еще как–то фунт брынзы дали... На днях пьяный вломился к нам Тимофей Глухарь, орал: «Эксплуататоры! Я вам покажу! Если хоть одна жалоба на тебя будет от мужиков, засажу в подвал на две недели!» И вдруг потребовал, чтобы Иван Ильич записался в коммунисты. – «Отчего, – говорит, – не желаете? Значит, вы сочувствуете белогвардейцам»...

Сам в новеньком пиджаке и брюках, – реквизирует у Галицкого, помнишь, у шоссе его дачка? Акцизный контролер из Курска.

Пришел инженер Заброта, бухгалтер деревенского кооператива, – длинный, с большим кадыком на чохоточной шее. Увидел Катю, нахмурился. Поколебавшись, неохотно подал ей руку и сейчас же отвернулся: он не прощал ей, что она пошла служить к большевикам.

Медленно курил он толстую крученку из плохого табаку и сиплым голосом своим рассказывал: кооператив закрыт, весь товар взят на учет и вот уже месяц лежит без движения. Деревня без мануфактуры, без обуви, без керосина и спичек. И никакие представления не помогают. Один ответ: ждать распоряжений!

Им хорошо, у самих всего в избытке. Спешить некуда!

Водянисто–голубые глаза его светились суровой ненавистью.

– Я не могу понять, – что это? Уверенность ли в безграничном терпении русского народа, или выражение полного отчаяния от сознания своего банкротства?

Катя возразила:

– Не знаю. Что–то неуловимое, мне непонятное, – но другое что–то, что дает им силу. Страшную, неодолимую силу. А помимо их – либо махновщина, в основе еще более ужасная, либо деникинщина, возвращение к старому.

– А теперь уже не воротились к старому? Все, как прежде, только в еще более российских формах. Для народа разницы нет, измываются ли над ним станковые с урядниками, или комиссары с Гребенкиными... То же рабство, та же тупая реакция.

– Нет! Все–таки тут революция, самая настоящая. А не реакция.

Заброта пренебрежительно оглядел ее.

– Смертные казни, подавление самодеятельности, удушение печати... Вот так революция!

И отвернулся.

Жарким золотым светом смеется воздух, соленым простором дышит темно–синее море, зовущий аромат льется от белых акаций.

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по–прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по–прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. У них отобрали лучшую одежду, наложили контрибуцию в три тысячи рублей. Уплатить было нечем, и пришлось продать корову. И, хотя уже не было коровы, с них требовали семь фунтов масляного продналога.

Он – с ввалившимися, неподвижными глазами. У нее, вместо золотистого ореола волос, – слежавшаяся собачья шерсть. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

– Екатерина Ивановна! Объясните вы ей, пожалуйста: ведь можно кормить маленьких цыплят пшенной крупой, не варя ее.

– По–моему, можно. Я просто крупую кормила.

– Вот видишь. И так погибаем от работы, а она: нет, это вредно для цыплят, нужно им варить кашу!

Катя пошла на деревню отыскать Капралова, и еще – купить чего-нибудь съестного для своих. Ее удивило: повсюду на крестьянских дворах клубился черный дым, слышался визг свиней, адели кровавые туши. Встретилась ей Уляша.

Чудесные, светлые глаза и застенчивая улыбка на хищных губах. Катя спросила:

– Что это, праздник какой скоро, что ли? Почему везде свиней колот?

– Нет, праздника нету. А только... Слышно, по одной свинье позволят держать каждому, остальных будут отбирать.

– Так вы всех лишних спешите резать!

– Ну да!

– Это к лету-то! Кто же летом свиней колот? – Катя засмеялась. – Ну, что, Уляша, нравится вам большевизм?

Уляша застенчиво улыбнулась и взглянула в сторону.

– Нет. Что же это делают! Кому охота работать, если все отбирают. Цену объявляют пустяковую, «по твердой цене», и все верно лишнее отдай им. Вино забрали, уж не знаем, работать ли виноградники, или бросить. Люди все время в разгоне по нарядам, а нужно сено возить.

– Зато земля теперь ваша. И вещи у дачников для вас отбирают.

– Вещи – что! Их и купить можно. А за землю мы Бреверну не так уж много платили. И в городе хорошо торговали. А теперь торговлю прекратили... Только и ждем, что авось прогонят их.

Катя хохотала.

– Нет, продажного ничего нету.

– Ну, брынзы, может быть, муки? Хоть сала, – ведь вот, вы свинью колете.

– А на что нам деньги? Ничего на них не купишь. Да и не надобно нам.

Все теперь есть. Это раньше было: вы ели, а мы смотрели. А теперь мы будем есть, а вы – посмотрите. Хе-хе-хе!

– Вот так – шоссе идет, а так, на горке, хата стоит. В отдельности от хуторков. И все люди, что в хате жили, от тихва перемерли. Не знаю, дезинфекцию сделали ли, нет ли. Хату на замок заперли, запечатали. Шел ночью прохожий один, видит, – огонек. Подошел к хате. В окошке лампа горит.

Постучался, не отвечают. На двери замок висит, печать. Подивился он. Дело летнее, переночевал на воле. Утром зашел в хуторки. Его там угостили, а, может, по нынешнему времени, и за деньги купил, – уж не могу сказать. Поел. Спрашивает: «Кто это там на горке живет?» – Никого нету, пустая хата. – «Как так пустая? Там огонь горел».

Стали мужики вспоминать, – верно, по ночам огонь горит. Оказался тут камманист один. Винтовку взял, наган, влез в окошко и в печку спрятался.

Думали, – не зеленые ли по ночам собираются?

Только полночь пробило, вдруг лампа на столе сама собою зажглась. Сидят два старичка и разговаривают. Один, – борода длинная, как полагается:

саваофская; у другого кучерявенькая. Сидят и разговаривают, – вообще, значит, разговаривают о жизни, об ее продолжении. Один говорит: «Нет, Никола, не хватает терпения моего. Всех хочу уничтожить». А другой ему:

«Подожди, потерпи еще немножко. Может, переменится все, одумаются люди, получше станут. Тихомирье придет».

Ну, на этом и сговорились. Первый и говорит, головы не поворачивая:

«Михаил, вылезай!»

А камманиста Михаилом звали. Притулился он в печке, думает, – не к нему. А старичок опять: «Вылезай, Михаил, мы ведь знаем, что ты в печке».

Нечего делать, вылез.

– Вот. Будешь ты тут стоять, пока не придет изменение.

И врос он в землю по пояс.

Утром другие камманисты пришли, стали откапывать. Никакая кирка не берет. Так до сих пор и стоит середь хаты, в земле по пояс. Комиссия приезжала из Симферополя, опять откапы-

вали, думали, – не белогвардейская ли пропаганда. Ничего подобного. Все записали, как было, Ленину послали телеграмму.

Под ярким солнцем над бывшей кофейнею Авраими развевался новенький красный флаг и желтела вывеска! «Рабоче–крестьянский клуб». В раскрытые окна несся громкий голос оратора.

Катя зашла. За стойкою с огромным обзеленевшим самоваром грустно стоял бывший владелец кофейни, толстый грек Авраими. Было много болгар. Они сидели на скамейках у стен и за столиками, молча слушали. Перед стойкою к ним держал речь приземистый человек с кривыми ногами, в защитной куртке.

Глаза у него были выпученные, зубы темные и кривые. Питомец темных подвалов, не знавший в детстве ни солнца, ни чистого воздуха.

– Товарищи! Вы должны понимать, что теперь у нас социализм, все должны помогать друг другу. Вы вот говорите: мануфактуры нету, струменту нету. Как же рабочий может работать, как он может заготавливать вам товар, ежели у него нет хлеба? Вы должны доставлять им хлеб, чтоб учредилось братство трудящихся. Вы – им, они – вам. Вам добыли землю, мы прогнали помещиков и отдали вам...

Он говорил громким, привычным к речам голосом, все время делал по два шага то в одну сторону, то в другую и махал кулаком, как будто вколачивал гвозди.

– Товарищи! У нас теперь есть всякие отделы: отдел народного хозяйства, отдел социального обеспечения, – просто сказать; собес, – отдел народного просвещения. Неужели это не ясно? Все устроено по–социалистически, для трудового народа. Раньше, при царе Николке, попы вас учили: а да бе, а как буквы в склады сложить, тому не учили. Учили, как нужно на пузо эпитрахиль спускать, как нарукавники надевать, а настоящему понятию не учили. А теперь вам дается образование настоящее, социалистическое. Все это нужно понимать.

И нужно работать сообща, все, как один человек. Товарищи! Социал–предатели, меньшевики и эсеры, подкупленные буржуазией, наущают вас не давать хлеба советской республике, запрягивать его в ямы, чтобы голодом взять советскую власть и все поворотить на старое. Ну, только это напрасно! Если меж вас есть такие кулацкие элементы, которые за контрреволюцию, то железная рука пролетариата заставит их переменить свои понятия. Мы люди дошлые, глаза у нас острые. Под какие ометы не закапывайте зерно, мы везде сыщем. И тогда такому кулаку будет плохо!

Болгары слушали с непроницаемыми лицами, медленно мигали и молчали.

Ревком помещался в агаповской даче. На бельведере развевался большой красный флаг. Крестьянские телеги стояли в саду. Привязанные к деревьям лошади объедали и обламывали кусты. Клумбы цветника были затоптаны. В зале на заплыванном паркете толпились мужики, красноармейцы. Рояля не было. – его перевезли в клуб. Агапов с семьею ютился в гостинице Бубликова.

В бывшей Асиной спальне сидел за письменным столом Афанасий Ханов. Он радостно поздоровался с Катей.

– Проведать приехали? Ну, как у вас в городе работа идет?

Катя спросила, не будет ли сегодня или завтра утром подводы в город, чтобы ей поехать с матерью.

– Я сам на заре еду, и со мной еще товарищ один. Приходите в ревком, прихватчу вас.

Каждую минуту его отрывали. Вошли два солдата с винтовками, протянули измятый клочок бумаги.

– Вина? Не могу товарищи, отпустить. Только по записке коменданта.

– Что нам комендант! Нам указ только командир полка. Вот записка его.

– Что за записка! Даже без печати... Поймите, товарищи, ведь это народное достояние, вино у нас на учете, не могу я его раздавать.

– Да много ли мы просим? Дайте ведра два, и ладно!

– Не могу, – понимаете?

Солдат в фуражке артиллериста сказал:

– Всего двое нас, потому и разговариваем. Дай, вдесятером придем, тогда разговор будет другой.

Они ушли, угрожая ворча. Ханов измученно потирал лоб ладонью.

– Понимаете, вот каждый день так. В четверг пришли к складу, милиционеров наших на мушку, вышибли дверь погреба и увезли, понимаете, целую бочку. Ведь вот какой народ!

Пришел столяр Капралов. Катя обрадовалась.

– А я как раз вас ищу.

Капралов не был пьян, умное лицо его было серьезно, без пьяно-юмористических огоньков.

– Меня прислал Отдел узнать, как у вас тут идет работа.

– Вот хорошо, что приехали. О многом нужно потолковать.

Вошел Гребенкин и сел за стол. Капралов сказал ему:

– Сашка, на завтра нужно двух барышень пригласить, сделать перепись безграмотным.

Гребенкин усмехнулся.

– «Пригласи-ить»? Ишь, какие нежности! Мобилизуем. Вот, две девицы агаповские без дела шляются. Их пошлем.

Катя удивилась.

– Зачем же насильно заставляешь? Наверно, много найдется желающих и по доброй воле. Все ведь голодные.

– Спрашивать их еще, – «желаете ли?» Го-го!

– Двух мало, – заметил Капралов. – Запасную еще наметь, – может, какая больна окажется.

– Больна-а? – Гребенкин грозно нахмурил брови. – Нам тогда скажи. Мигом вылечим.

Капралов с одушевлением и волнением рассказывал Кате, что сегодня в зале Бубликовской гостиницы у него идет первый концерт-митинг. Будет декламировать кой-кто из дачников, княгиня Андожская будет петь и агаповская барышня. Просил он Гуриенко-Домашевскую, она тоже согласилась.

– Да будет тебе! Вот человек! – возмутился Гребенкин. – «Просил», «согласилась»... Обязана идти без разговоров! Не те времена.

Катя вскипела.

– Какое хамство! Зачем вам, Гребенкин, нужны эти измывательства над людьми? Непременно власть свою показать! Как урядники в старые времена.

Какая гадость! Гуриенко-Домашевская знаменита на всю Россию.

В колючих исподлобья глазах Гребенкина мелькнула мягкая, слегка сконфуженная усмешка. Ханов лениво сказал:

– Он озорничает. Что вы его слушаете.

– Ничего не озорничаю. «На всю Россию»... Сколько лет тут живет, – почему же ни разу не собралась мужикам поиграть? Заплати ей пять целковых с рыла, тогда пожалуйста! Вон какую себе дачу выстроила... Всех теперь заставим работать на народ, на простых людей!

И чувствовалось, как от своих слов он сам разжигался злобою.

Тихонько вошел Агапов, – осунувшейся, но по-всегдашнему ласково улыбаясь. При входе он снял свой картузик. Гребенкин грубо сказал:

– У нас тут богов никаких нет, наденьте шапку.

– Нет, я к тому... Жарко-с! – Агапов обратился к Ханову. – Получил я повестку от ревкома, – завтра идти в лес дрова рубить.

Глаза Гребенкина злорадно загорелись. Он удивленно сказал:

– Ну, да. Отчего же вам дровец не порубить?

– Помилуйте, мои годы не те!

– Как не те? Те самые. Вам сорок девять лет, – до пятидесяти мы всех мобилизуем на общественные работы. Мужиков гоним. – отчего же вас нельзя?

– Я понимаю, я не о том... Конечно, трудовая повинность, общественные обязанности... Да сердце-то у меня, извольте видеть, больное.

– Сердце у вас от жиру больное. Моцион вам очень даже будет полезен.

– Я вам представлю свидетельство врача.

Ханов сказал:

– Ну, что ж, назначим комиссию, пусть доктор освидетельствует.

– Ерунда! – отрезал Гребенкин. – Знаем мы эти свидетельства! Всякую чухотку пропишут, если попросить. Нечего, гражданин, разговаривать. Не явитесь завтра, – в подвал вас отправлю.

Катя вспомнила, как два месяца назад Гребенкин вставлял здесь стекла.

Висели на стенах чудесные снимки Беклина, в полированных рамках из красного дерева; на бледно-зеленой шелковой кушетке сидел грузный болгарин, заведовавший нарядом подвод. Агапов помялся и вышел.

Оратор пришел, которого Катя слушала в клубе. Он бросил на стол фуражку и отер потную голову.

– Ну, народец у вас! Добром дела с ним не сделаешь. Чую, что без молодцов моих не обойдется.

– Не обойдется, – подтвердил Гребенкин. – Хлеба у всех, сколько угодно.

Позакопали в землю и прибедняются.

Ханов примирительно возразил:

– Ну, оставь! Кто закопал, а кто и вправду бедный.

– Ты молчи! Кулак! Все родственники тебе, сватья да кумовья. Вот ты их и покрываешь.

– Ах, оставь ты, Сашка!

Катя обратилась к Капралову:

– Пойдемте?

Они вышли. Совсем другой был Капралов, – никогда его Катя таким не видала: светлый, сосредоточенный.

– Я вас не узнаю, Капралов. Какой-то вы совсем новый. Пить вы бросили, что ли?

– Бросил. Не до того.

Пошли в библиотеку, – в ней помещался отдел народного образования. За столом сидела секретарша Отдела и библиотекаря Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского. Катя подробно стала знакомиться с делами. Был уже открыт клуб, дом ребенка, школа грамоты. Капралов просил устроить присылку из города лекторов по общеобразовательным предметам и режиссера для организации любительских спектаклей.

– Сцену мы уже устроили. Неделю целую я работал, даже будку суфлерскую приделал, – хороша вышла будочка!

И еще сильнее Катю поразили умные, интеллигентные глаза Капралова, при которых странно звучали его простонародные выражения.

Он спросил:

– Как у вас в городе с книгами? Отбирают их у буржуазии?

– Забирают из квартир бежавших. У остальных только регистрируют.

– А как вы скажете? Хочу у дачников отобрать книги, не стану на вас смотреть.

– Вот уж вы какой большевик стали, Капралов. А не противно вам это?

– Чего противно? У дачников вон сколько книг в шкапах, да на этажерках.

Лежат без пользы, пылятся. А у нас в библиотеке одна «Нива» да «Вокруг света».

– Вы подумайте, Капралов, кто же тогда станет покупать себе книгу, если ее у него каждую минуту могут отобрать?

– Ну, когда другие времена будут... А сейчас нужно отобрать. Что ж народу читать?

В обеденном зале Бубликовской гостиницы рядами стояли скамейки, в глубине была сооружена сцена с занавесом; и надпись на нем: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Густо валила публика, – деревенские, больше молодежь, пограничники–солдаты. Капралов, взволнованный и радостный, распоряжался.

Катю он провел в первый ряд, где уже сидело начальство, – Ханов, Гребенкин, Глухарь, все с женами своими. Но Катя отказалась и села в глубине залы, вместе с Конкордией Дмитриевной. Ей было интересно быть в гуще зрителей.

Не хватало мест. Толпа заполнила проходы. Лушили семечки и ждали с нетерпеливым любопытством. И странно было видеть новую эту публику здесь, где раньше обедали за столиками чопорные и разодетые курортные гости.



Третий звонок. Сопrotивляясь и цепляясь за непослушную проволоку, стал раздвигаться занавес. И застрял на половине. В зале засмеялись. Выскочил Капралов и отдернул до конца. Внизу, скрытая суфлерскою будкою, горела яркая лампа–молния. На эстраду вышел давешний оратор.

– Товарищи! Рабоче–крестьянская армия выгнала из Крыма белогвардейскую нечисть. Теперь у нас везде власть трудящихся... Товарищи! Революция начинается везде! В Венгрии утвердилась власть советов, тоже и в Персии. В Германии революция. Мировой пролетариат поднял голову и ринулся на борьбу со своими угнетателями–капиталистами...

Он опять делал в стоптанных своих сапогах два шага то в одну, то в другую сторону, и все время как будто вколачивал кулаком гвозди. Лицо его, с ярко освещенным подбородком и затененным лбом, выглядело необычно, по–концертному.

Говорил он о жестокой борьбе, какую приходится вести советской власти на всех фронтах, о необходимости поддержать ее, ругал меньшевиков и эсеров, предавших революцию.

Местная молодежь слушала жадно, вытянув головы. Привычные красноармейцы равнодушно глазели по сторонам и ждали того интересного, что будет дальше. Оратор кончил возгласами в честь всемирной пролетарской революции, советской власти и ее вождей. Красноармейцы затаили:

Вставай, проклятьем заклеименный,  
Весь мир голодных и рабов!

Зрители нестройно подхватили. Оратор оглядел зал грозными глазами и зычно крикнул:

– Встать!! Шапки долой!!

Катя возмущенно проговорила:

– Господи, что это! Совсем, как в прежние времена с «Боже, царя храни»!

– Вы что же, Манечка, не встаете? Слышите: «вставай, проклятьем заклеименный».

– Мы не клейменные.

– Как это так, не клейменные? В песнях всегда правильно говорится. Вы – проклятьем заклеименная.

– Ничего подобного!

Потом Ханов говорил, сбиваясь, трудно находя слова, но с горячим одушевлением. А потом выступил Капралов и спокойно, не волнуясь, стал говорить простым, беседующим тоном:

– ...Вы подумайте, товарищи. Без умственности мы далеко не уйдем. Вот ты на косилке выехал ячмень косить, говоришь: «Мы работаем, а они что делают? Только книжки читают!» Ну–ка, а погляди на косилку свою: ты, что ли, ее выдумал? Хватит у тебя на это мозгов твоих? В нее, брат, мозгу–то этого самого вон сколько положено! Не нашего с тобою мозгу. Вот ты это и помни. И спасибо тому скажи, кто этакую умственную штуку выдумал. А не то, чтобы над книжками смеяться. Сам за книжку возьми, не гляди, что борода у тебя снегом запорошена. Иди к нам в школу грамоты, учи, иди в библиотеку к нам, книжки читай. Только тогда мы силу возьмем, когда станем умные.

Правильно сказали великие писатели Шекспир и Михайлов–Шеллер, что сила народа – в его просвещении...

Для чего–то задернули занавес и опять отдернули.

На эстраду вышла княгиня Андожская со свертком нот, за нею – Майя. Майя села за рояль, а княгиня выступила на авансцену. И у нее тоже лицо от освещения снизу было особенное, концертное.

Конкордия Дмитриевна шепнула Кате:

– Славный этот Капралов наш. Выхлопотал у ревкома для всех исполнителей по десять фунтов муки и по фунту сахару, Гребенкин противился, хотел даром заставить, но Капралов с Хановым настояли. И вы знаете, Бубликов недавно хотел выгнать княгиню из своей гостиницы за то, что денег не платит за номер. Дурень какой, – в нынешнее–то время! Ханов посадил его за это на два дня в подвал. Успокоился.

Княгиня, бледная от волнения и, – Кате показалось, – от унижения, суровыми глазами смотрела поверх толпы. Тихо, понемногу нарастая, зарокотали аккорды. Княгиня запела:

Бурный поток, чаща лесов,  
Голые скалы – мой приют...

Она спела. Господи, что началось! Как будто с грохотом посыпалась с потолка штукатурка, – такие крепкие затрещали рукоплескания. Бешено кричали:

«Браво! Браво! Бис!» И когда она вышла раскланяться, – опять: «Браво! Андожская!» И красноармеец какой-то упоенно крикнул: «ур-ра!!!»

Княгиня сдержанно кланялась, и слабая улыбка появилась на губах, и в прекрасных глазах блеснула удивленная радость.

Она опять запела. И еще несколько песен спела. Буйный восторг, несшийся от толпы, как на волне, поднял ее высоко вверх. Глаза вдохновенно горели, голос окреп. Он наполнил всю залу, и бился о стены, и – могучий, радостный, – как будто пытался их растолкнуть.

Зал ревел и гремел. Катя бросилась за кулисы. Княгиня, с новым лицом, сидела в плетеном кресле. Восхищенный Капралов топтался вокруг.

Гуриенко–Домашевская говорила:

– Прелестно, княгиня, восхитительно! Никогда вы так не пели!

Катя, задыхаясь от радости и душивших ее слез, горячо жала обеими руками руку княгини.

– Скажите! Ну, скажите мне! Разве такое что-нибудь вы испытывали прежде, когда пели в ваших салонах, когда это у вас было от безделья? Какую вы целину затронули! Разве вы не чувствуете, что вы сейчас делали огромное дело, что никогда они вам этого не забудут?

Зал шумел. Княгиня остановившимися, прислушивающимися к себе глазами глядела на Катю.

– Никогда, никогда вы этого и сами не забудете! Правда?

Княгиня повела головою и коротко, с неулыбающимися глазами, вдруг сказала:

– Позвольте вас поцеловать.

И крепко поцеловала Катю.

Вечер прошел великолепно. Капралов торжествовал и ходил именинником.

Декламировали из Некрасова, Бальмонта; пела Ася, княгиня спела с нею дуэт из «Пиковой Дамы». И еще даже больше, чем Андожская, зал захватила Гуриенко–Домашевская за роялем.

– Друзья мои! – обращалась она к зрителям, чтобы не говорить слова «товарищи». С тепло светящимися, восторженными глазами, подробно объясняла содержание каждой пьесы, которую собиралась играть, и потом играла.

Труднее всего увлечь простую публику игрою на рояле, но огромный талант Домашевской одолел трудность.

В заключение она, вместе с Майей, сыграла в четыре руки пятую симфонию Бетховена. Душу зрителей, незаметно для них, стали изнутри окатывать светлые воздушно легкие волны, и скоро огромный, сверкающий океан бурно заплескался по залу, взметываясь вверх, спадая и опять вздымаясь, и качая на себе зачарованные души. Катя видела полуоткрытые рты, слышала тишину без сморканий и кашля. И казалось ей, – это плещется древний, древний, первобытный океан, когда души не были еще так отгорожены друг от друга, а легко сливались в одну общую, радостно–подвижную душу.

Выехали из Арматлука рано утром, когда алое солнце только-только выглянуло из-за моря и уставший за ночь месяц, побледнев, уходил за горы в лиловую мглу. В тихом воздухе стояла сухая, безросная прохлада, и пахло сеном.

Ехали на линейке Афанасий Ханов, вчерашний оратор Желтов и Катя с матерью. Вез их болгарин Петр Гаштов.

Желтов, добродушно улыбаясь, говорил:

– Да, кряжистые мужички у вас! Никакой их пропагандой не прошибешь.

Придется нам тут поработать. Вот Гребенкин у вас в ревкоме парень, видно, дельный. Его возьмем в помощь.

Катя сказала:

– Я не совсем понимаю. Вы весь хлеб отбираете у мужиков?

– Ну, да. Не весь, а называется – хлебные излишки.

– Платите вы им?

– Конечно, платим. По твердым ценам.

– По твердым! Да что ж там, пустяки! Семьдесят рублей за пуд пшеницы, а она сейчас две с половиной, три тысячи стоит.

Желтов настороженно оглядел Катю и резко спросил:

– А вы хотите, чтобы мы по спекулятивным ценам платили? Чтобы кулаки наживались на рабочем голоде?

Катя кротко возразила:

– Вовсе я ничего не хочу, я вас только спрашиваю. И мне интересно вот что: получит он от вас семьдесят рублей за пуд, – что же он за эти деньги купит? Катушка ниток стоит сорок рублей. Не хватит и на две катушки.

Гаштов с козел отозвался:

– Теперь за катушку уж пятьдесят пять просят.

– Ну, да, это конечно... Правильнее было бы товарообмен. А только что ж делать, если нет товару! Рабочие в городах без хлеба сидят, – какая же может быть работа? И сейчас нам не до катушек, приходится для фронта работать, империалисты напирают со всех сторон. Неужели не ясно? Такое время, всем нужно терпеть. Не до наживы. Приходится силком отбирать, если не хотят отдавать добром.

– Да, видела я год назад, как сюда ехала! Мужик из Новгородской губернии. Продал последнюю коровенку, купил в Сызрани два мешка муки, а в Туле продовольственный отряд все у него отобрал. «С чем, – говорит, – я теперь домой поеду?» И тут же, у всех на глазах, бросился под поезд. Худой, изголодавшийся... Господи, что было! – взволнованно воскликнула Катя.

Гаштов, повернув лицо от козел, жадно слушал. У Ханова глаза стали растерянные. Анна Ивановна испуганно дергала Катю за рукав.

– Таких мы жалеем. А монополии хлебной никак нельзя отменить. Сейчас спекулянтство пойдет. Вы поймите: революция! Неужели не ясно? Как в осажденной крепости! – Желтов начал сердиться. – Вы тех вините, кто антанту призвал, Деникиных и Колчаков вините, да! Рябушинских. Они хотят костлявой рукой голода задушить революцию, а социал–предатели им подпевают и мужиков против нас восстанавливают... А кто им землю отдал? Ну–ка, товарищ, скажи, – землю вам Деникин отдал или нет?

– Землю–то, это, действительно...

– Вот видишь! Землю вы себе сохранить желаете, а кто вам ее отдал?

Рабочий! А как о том, чтоб его поддержать, – наше дело сторона! Вот почему название вам – кулаки!

Ханов оживился и сказал:

– Понимаешь ты теперь, Петро? Я же вам всегда то самое говорю. Что нужно на общую пользу думать, а не только что для себя.

Гаштов молчал и бережно похлестывал лошадей.

Желтов продолжал:

– Мужиков мы жалеем. Временем приходится их прижать, да душою мы за них. А вот социал–предатели эти, наймиты буржуазии, что везде агитацию ведут, – эту всю сволочь надобно уничтожить без разговору. Таким – колено на грудь и нож в живот!

– Вот в том–то и слабость ваша...

– Чтоб не смущали народ! Без всяких разговоров, – в город! Пожалуйста в Особый Отдел!

Было ясно, что он это о ней. У Кати на душе стало дерзко–весело и спокойно–спокойно.

– В этом и слабость ваша. Вместо того, чтоб убеждать, – колено на грудь и нож в живот. Двое вас тут мужчин против меня одной, – а какие у вас доводы? Нож в живот, пожалуйста в Особый Отдел!

Желтов поспешно сказал:

– Я не о вас.

– Как же не обо мне? Конечно, обо мне. Да и все равно, про кого бы ни было. Вот я вчера слушала вас в клубе. Вы думаете, вы убедили мужиков?

Конечно, нет. А почему? Они слушали и молчали. Попробуй вам кто возразить, вы бы сейчас: «Кулацкий элемент! Контрреволюционер! Колено на грудь! В Особый Отдел!» Они и молчат, и все ваши слова сыпятся мимо.

– Детские слова говорите! Миролюбие какое–то! Толкуют же вам, – революция! Неужели не ясно? Никакого миролюбия!

– Я и не говорю про миролюбие. Боритесь. Пусть враги боятся вас, пусть ненавидят. Но чтоб уважали вас, чтоб чувствовали, насколько вы выше их.

– А разве это не уважительная картина? Вот, приехал я к ним позавчера: на берегу у моря дом, на доме красный флаг, а в доме всю ночь при огоньке работают два коммуниста, – он вот, и Гребенкин. А кругом все злобятся, ненавистничают, камень щупают за пазухой. Или как красная армия наша кровь проливает на фронте...

– Неужели же это теперь кого–нибудь убедит? Будет вам, товарищ! Кровь свою и белые проливают. И средневековые рыцари–разбойники были очень храбры, и всякий бандит храбр.

Анна Ивановна в отчаянии наставила на Катю круглые свои очки и еще раз дернула ее за рукав. Желтов спросил:

– Чего же вам надо?

– Вот чего. Когда ввели в Петербурге классовый паек, то рабочие Балтийского судостроительного завода отказались получать увеличенный паек, они вынесли резолюцию: когда все кругом одинаково гибнут от голода, стыдно одним получать больше, чем другие. Вот это истинный героизм, истинное благородство! Таким людям я поверю, что они борются за правду и справедливость. Но это один–единственный раз было, только один! А вообще, – что кругом делается! Раньше одна была белая кость, – дворянин, теперь другая стала, – рабочий.

Вдруг Ханов взволнованно соскочил с линейки и пошел рядом с нею.

– Не хочу с вами ехать, не хочу вас слушать! Вы, может быть, не контрреволюционерка, но вы опаснее самых вредных агитаторов! Я во всем согласен с товарищем. Таким нужно колено на грудь!

– И нож в живот, Ханов?

– Оставьте меня, я не хочу с вами разговаривать!

Он быстро пошел в гору, обгоняя медленно тащившуюся линейку. Когда он на перевале сел обратно в линейку, Желтов и Катя беседовали дружелюбно и мирно. Желтов раздумчиво говорил:

– А все–таки таких, как вы, нужно бы... Уж не знаю, что бы...

Расстрелять не за что, а вред большой... У вас образование, нам трудно с вами. Дай вот, образование отнимем у вас, себе возьмем, – тогда вы против меня ничего не сможете сказать, как теперь я против вас.

Вера прибежала со службы повидаться с матерью. Без слов обе бросились друг другу в объятия, целовались, глядели друг на друга и опять целовались.

Вера сказала:

– Мамочка! Постарела ты как!

Обнялись, и вдруг горько заплакали. Сидели и плакали.

– Ну, а ты как? – Анна Ивановна утирала глаза и жадно разглядывала

Веру. – Бледная, худая... Ведь вам теперь хорошо живется, коммунистам. А ты еще хуже стала.

Вера осторожно расспрашивала про отца. Анна Ивановна опасливо покосилась на открытое окно.

– Ты ведь знаешь, – он бежал из России от чрезвычайки. Как ты скажешь, – не арестуют его ваши за побег?

– Тут же никто про это не знает.

– Но объясни ты мне, Верочка, – за что? Неужели человек не имеет права действовать по совести, говорить то, что думает? Ведь вы говорите, теперь социализм...

У Веры глаза стали непроглядными, она прикусила губу.

– Мамочка, время такое. Потом, конечно, все это отменят.

Она убежала к себе на службу, – шла какая–то конференция.

Вечером все вместе сидели за самоваром, ужинали. Разговаривали особенными, домашними словами, вспоминали милые мелочи прошлого, смеялись.

Анна Ивановна сказала:

– А ты все такая же. И не подумает никто, что большевичка.

Родной разговор, и поющий самовар, и мама в круглых очках, покрывающая чайник полотенцем. И теплый ветерок в окна. И странно было Кате: все такое милое, всегдашнее, а они –

такие разные, разделенные; папа далеко, с непрощающими глазами, и непроглядные глаза у Веры, смотрящие в сторону.

Анна Ивановна пересмотрела белье Веры и ахнула: пара заплатанных рубашек, дырявые полотенца.

– А говорят, у вас, большевиков, ни в чем нет недостатка!

Села чинить.

Ночью у Кати сильно заболела голова, и грустный трепет побежал по телу.

К утру она лежала в жару, в простреленной руке была саднящая боль, вокруг ранки – ощущение странного напряжения.

Вера устроила Анне Ивановне обратный проезд Катя хотела встать, чтоб проводить ее, но Вера не позволила, и Катя осталась в постели.

К вечеру температура была сорок. В полусознании Катя слышала голос Веры и еще чей–то другой женский голос, незнакомый.

Видела незнакомое лицо с чудесными глазами, лучившимися, как два прожектора. И ласково–твердый голос говорил:

– Повернитесь, Катерина Ивановна... Вот так, довольно.

И мягкие белые руки мазали больную ее руку коричневою мазью и ловко бинтовали ее.

Утром Катя с удивлением спросила Веру:

– Что это, сон был? Мне казалось вчера, – кто–то нежный и ласковый ухаживал за мною и глаза как вечерние звезды.

– Нет, правда. Это Надежда Александровна Корсакова, врач.

– Что за Корсакова?

– Жена нового председателя ревкома... Катюрка, а только как же ты мне не сказала, что ты ранена! Только сегодня Леонид приехал из Эски–Керыма и рассказал про твои подвиги. Милая моя девочка! Какая же ты молодец! Катя покраснела и засмеялась.

– А что у меня такое?

– Рожа вокруг раны.

Катя прохворала дней шесть. Заходил проводить профессор Дмитревский с женой, однажды заехал Леонид. Каждый день приходила Корсакова. И приход ее вносил в душу свет и тишину. Она была высокая, плотная и некрасивая. Но глаза, когда загорались чудесным своим светом, вдруг освещали все лицо и делали его прекрасным. И мил был ее неожиданный, вдруг вырывающийся из глубины груди смех. Катя, видимо, очень ей понравилась. Надежда Александровна несколько раз вспоминала про ее схватку с махновцем и шутила, что следовало бы ей дать орден Красного Знамени.

– А случай этот, с махновцем, – сообщила Надежда Александровна, – внес большую смуту в отношения, и без того напряженные. Махновцы рассказывают, что советские жида–комиссары поймали на дороге их товарища и зверски замучили: разбили прикладом кисть руки, прострелили живот, колено, и в конце концов убили выстрелом в рот; улика налицо – на дороге остался труп одного жида–комиссара, которого, защищаясь, убил махновец. Теперь они держатся еще более вызывающе, открыто ведут агитацию против евреев и советской власти, а войск в городе мало, и они это знают.

Катя сказала:

– Вот самые страшные для вас враги! Какие против них лозунги могут выдвинуть большевики? Грабь все, что увидишь, измывайся над буржуями, – это и их лозунги. А они еще говорят, что не нужно у мужиков отбирать хлеб, и что следует избивать жидов. С этим согласится и всякий ваш красноармеец.

Надежда Александровна переглянулась с Верой и засмеялась изнутри вырвавшимся смехом.

– Екатерина Ивановна, какой вздор! Ну, где вы видели таких красноармейцев? Вы повторяете эти скверные интеллигентские сплетни... Как не надоест! Видели бы вы их в деле! Я много работала на фронте, в госпиталях, на перевязочных пунктах. Какое горение души, какой настоящий революционный пыл!

Ее глаза засветились умилением и восторгом.

– Ведь это все больше рабочие, добровольно пошедшие на лишения, на увечье и смерть. Голодные, разутые, раздетые, – как львы, дерутся целыми неделями. А у вас представление, – шайки разбойников, идущих набивать себе карманы. Эх, Екатерина Ивановна!..

В сумерках в город вступили два пехотных полка с тайным назначением.

Поздно ночью в саду у себя, в виноградной беседке, сидел, покашливая, старик Мириманов, и с ним – военный с офицерской выправкой, с пятиконечной звездой на околыше фуражки. Шептались, оглядываясь. Старик Мириманов рассказывал о своих злоключениях, а военный слушал, мрачно горя глазами.

Старик сказал:

– Ну, я рад, что ты жив–здоров. Тому, что ты на их сторону перешел, я никогда не верил... Дай тебе бог!

Он с умилением перекрестил сына, всхлипнул и крепко его поцеловал.

Украдкой подошла Любовь Алексеевна, села рядом на скамейку. Военный спросил:

– А Боря где?

– На службе у них. В военном комиссариате, что–то делает в регистрационном отделе.

– Почему не ушел с нашими?

Старик презрительно махнул рукой. Любовь Алексеевна оправдывающе стала объяснять:

– Ведь ему по болезни дана была отсрочка на год. Он надеялся, что и красные его не возьмут.

Военный сурово слушал, ударяя стеклом по голенищу сапога.

– «Трусават был Ваня бедный»...

– Впрочем, кой–какие сведения иногда нам дает. Только очень боится.

Товарищ Седой с нетерпением говорил:

– Это, наконец, скучно! Командир бригады – форменный остолоп; единственное достоинство, – что коммунист; а при отсутствии других достоинств это – недостаток. Обезоружить и сплавить махновцев удалось только благодаря тактичности и находчивости Храброва. С огромной инициативой, бешено храбр. Недаром солдаты прозвали его «Храбров». И командуемый фронтом тоже настаивает, чтоб отдать бригаду Храброву.

Крогер упрямо повторил:

– Он нас предаст.

– Данные?

– Если бы были данные, я бы его прямо расстрелял.

Леонид смеялся.

– У нас с вами – сказка про белого бычка!.. На то вы и политком, – наблюдайте за ним.

– Я наблюдаю.

В воскресенье вечером Катя пошла с Верой к Корсаковым. Надежда Александровна встретила ее с ярко засветившимися прожекторами глаз и крепко расцеловала. Мужу своему она сказала:

– Вот, Михаил! Девушка, про которую я тебе рассказывала: голыми руками одолела вооруженного до зубов махновца. Достояна ордена Красного Знамени.

– Слышал, слышал... Мы ее назначим начальницей партизанского отряда. В тыл Деникину отправим, на Кубань... Юрка, хочешь к этой девушке в партизанский отряд поступить?

Мальчик, лениво жевавший ветчину, оглядел Катю и скептически протянул:

– Ну–у...

– Не годится?

Надежда Александровна засмеялась.

– Партизаны на машинах не ездят. А ему бы только на автомобиле кататься, – один интерес.

– Как это? Ты ведь коммунист, Юрка?

– Ну да.

– Так в порядке партийной дисциплины. Без разговоров.

– Ну–у!..

Звонок. Вкатился толстый человек.

– Товарищ Корсаков, на десять минут разговорцу!

Надежда Александровна возмутилась.

– Да что это, товарищ Климушкин! Ведь каждый день видите в ревкоме.

Дайте человеку хоть в воскресенье поужинать спокойно.

– Ну, ну... Ваше превосходительство, не сердчайте. Пять минут всего.

Был он с живыми, умно–смеющимися глазами, с равномерной, пухлою полнотою, какою полнеют люди, сразу прекратившие привычную физическую работу. Бритый, и только под носом рыжел маленький, смешной треугольничек волос. Катю покорило, что вошел он, не сняв фуражки.

Протянул руку Корсакову. Корсаков пожал, оглядел его и покачал головою.

– До чего его разносит! И чего ты такой толстый? Компрометируешь советскую власть. Как тебя на митинга выпускать?

– Чтой–то, брат, сам не пойму. Толстею не судом.

– Идите скорей, кончайте ваши дела.

– Ну, ну... В одну минуту!

Они ушли в кабинет. Поговорили. Климушкин ушел, не оставшись ужинать. Надежда Александровна, смеясь, стала про него рассказывать. Бывший

молотобоец, теперь комиссар юстиции. Работник удивительный. – Вот, действительно, толст неприлично, но даже и это у него как–то мило.

Поразительная способность сразу схватить дело, сразу ориентироваться в нем и выдвинуть самое важное. Это, я заметила, специально – пролетарская черта. Интеллигент возьмет–ся: что? как? да почему? А он по намеку ловит. И инстинктом берет правильную пролетарскую линию. Спецы–юристы из сил выбиваются, чтоб оплести его буржуазною своей «законностью», а он ее рвет, как паутину, ни в чем не отклоняется от своего пути.

Корсаков лениво сказал:

– Сановничества много стало. Удивительно, как портит людей положение. С Джигитской улицы пять минут ему ходьбы до ревкома, – ни за что не пойдет пешком, обязательно вызывает машину. Уж ниже его достоинства. Нет каких–то устоев.

Надежда Александровна враждебно взглянула и спросила с насмешкою:

– Как у вас, интеллигентов?

– А ты не интеллигентка?.. Да, у идейных интеллигентов. Эти как–то прочнее, не так легко голова кружится. Отдельные люди там, пожалуй, крепче и цельнее. Но средний тип, в массах, – менее устойчивы, легче злоупотребляют властью. С просителями грубы и презрительны, с ревизуемым сядут ужинать, от самогончику не откажутся... Ну, да пройдет со временем. Закваска, все–таки, прочная.

– Вот буржуазная психология! А я как раз заметила наоборот; именно интеллигенты при первой же возможности возвращаются к своим прежним барским привычкам... Да вот, ты же первый. Постоянно – то тебе невкусно за столом, того не хочется...

Корсаков зевнул и лег на короткий сундук около буфета, лицом кверху, ногами упираясь в пол.

– У старых работников это еще ничего, – школа есть, – сказал он. – А вот у новых, недавних, – черт их знает, на чем душу свою будут строить. Мы воспитание получали в тюрьмах, на каторге, под нагайками казаков. А теперешние? В реквизированных особняках, в автомобилях, в бесконтрольной

власти над людьми... Надежда Александровна вставила:

– В кровавых боях на фронтах...

– Да, в боях... Но нам не только защищаться, – ах, черт возьми, – нам нужно и созидать. Бои, это – пустяки. И быки испанские в боях великолепны, а социализма с ними не создашь.

Кате нравилось, что Корсаков говорит прямо, что думает, – не то, что Надежда Александровна или Вера. И когда говорилось так, без казенного самохвальства, с сознанием чудовищной огромности и трудности встающих задач, ей приемлемее становились их стремления.

Надежда Александровна раздраженно возражала Корсакову – долго и убедительно. Он молча слушал, закрыв глаза, вытянув туловище на сундуке, запрокинув лицо к потолку. Катю поразило, какое его лицо усталое и бледное.

Бородка торчала кверху, рот был полуоткрыт, как у мертвеца. Легкий храп забороздил воздух.

Надежда Александровна тихонько засмеялась.

– Смотрите, спит!

Вера шепнула:

– Как низко голова лежит. Подушку бы подложить.

– Нет, разбудим тогда.

Замолчали. От тишины Корсаков проснулся, быстро поднялся на сундуке и потрянул головой. Взглянул на часы.

– Пора ехать.

– Куда еще?

– Военком просил на заседание. Вздремнул, теперь освежился.

И уехал. Надежда Александровна сказала:

– Теперь до поздней ночи. И потом до света будет сидеть в кабинете за бумагами. И так изо дня в день. Спит часа три–четыре. А сердце больное...

Ну, а ты, партизан, иди–ка спать! – обратилась она к сыну.

Вера спросила:

– На скрипке он теперь продолжает играть?

– Где там! Со времени революции и в руки не брал.

– А помнишь в ссылке, в Верхоленске? На именинах Хуторева. Белая ночь в раскрытые окна. И вы трио составили, – Engellied\*. Хуторев на гитаре вместо пианино, Михаил Тихонович на скрипке, а ты пела.

---

\* Ангельская песня (нем.). Имеется в виду «Серенада» Г.Браги.

Покойной ночи, мама!

Меня тот звук манит с собой...

Правда, ангельская песня! Как будто с неба звуки неслись. Петров сидел в уголке и вдруг захлюпал. И я, – так глупо: реву, захлебываюсь; вышла из избы, чтобы вам не мешать. Бледные звезды на зеленоватом небе, черные сосны...

Ясные лучи ударили из зрачков Надежды Александровны.

– Да, бывают такие минуты. Вдруг все заполнится такую красотой, все вдруг станут такие близкие.

– А Хуторев сам. Помнишь, он тогда читал стихи. Мы собрались проститься с ним, пред его бегством. Я тогда в первый раз услышала эти стихи. Как к осужденному на смерть приходит священник и уговаривает его покаяться. Тот отвечает, что каяться ему не в чем. Священник настаивает. И вот осужденный в его присутствии начинает свое покаяние:

Прости, господь, что бедных и голодных

Я горячо, как братьев, полюбил!

Прости, господь, что вечное добро

Я не считал бессмысленною сказкой!..

Все замолчали. Вера из глубины души вдруг сказала:

– Как тогда было хорошо!

Надежда Александровна отозвалась:

– Хорошо!

Катя взволновано заглянула Вере в глаза.

– Да, Вера? Да? Правда? Правда, тогда лучше было? Лучше было в жалкой избенке, на опушке тайги, чем в этом дворце на берегу Крыма?

Вера виновато улыбнулась.

– Лучше.

Надежда Александровна засмеялась своим изнутри вырывающимся смехом.



– Дай бог, значит, чтобы Колчак с Деникиным победили и опять нас отправили туда! Только не отправят, – просто повесят.

Катя спросила:

– А удалось Хутореву этому бежать?

Надежда Александровна ответила:

– Да...

И тяжелое легло молчание. Катя пылливо заглядывала в не смотрящие на нее глаза.

– Ну? Ну? А дальше? Что с ним было дальше?

– В прошлом году расстрелян. За участие в мятеже левых эсеров.

Мириманов смотрел своими умными, смеющимися глазами и, покашливая, спрашивал Катю:

– Вот, вы видите с ними, имеете возможность их наблюдать. Замечают они хоть что-нибудь, что творится кругом, отдают себе в этом отчет? Магазины и базары закрыли, торговлю запретили, а сами выдают по полфунта невыпеченного хлеба. Как же, по их представлению, могут питаться люди, которые не получают комиссарских пайков?.. Сейчас в море пошла камса. Улов небывалый, – а рыбакам запрещено продавать рыбу в частные руки, – все полностью должны представлять в продовольственный комиссариат. Везде рыбные инспектора, контролеры с воинскими отрядами. Привезли из уезда в продком полторы тысячи пудов рыбы, а соли не припасли. Вся рыба сгнила, теперь ее потихоньку закапывают в землю, чтобы не видел народ. А подходят все новые обозы. Что с ними делать, – не знают. Какая, подумаешь, мудреная загадка! Пятилетний ребенок ответит: продавать! Нет, нарушится принцип!.. Вы только подумайте: голод, разруха, каждый фунт пищи важен, – а они гноят тысячи пудов! И думают, что народ ничего не видит, что можно его накормить митинговой болтовнею! Послушайте–ка, что народ говорит о них на базаре. Все поголовно против них, большевистский дурман рассеялся окончательно. Спасибо им! Сами поработали над этим успешнее самых ярых своих врагов.

Он улыбнулся и достал из жилетного кармана клочок бумажки.

– На днях у ихнего Маркса я прочел чудесную заметку, – как раз к современному положению. Послушайте: «Корабль, нагруженный глупцами, быть может, и продержится некоторое время, предоставленный воле ветра, но будет неизбежно достигнут своею судьбою, именно потому, что глупцы об этом не думают». Только, – глупцы ли? Екатерина Ивановна, поверьте мне: это не глупость и не безумие. Это – сознательная дезорганизаторская работа по чьей–то сторонней указке.

Шмыгающей походкою шла по набережной женщина с воровато глядящими исподлобья глазами, с жидкою шишечкою волос на макушке. Наклонилась, подняла на панели дно разбитой бутылки с острыми зубцами, оглянулась настороженно и бросила через каменные перила в море.

Катя смотрела.

– Зачем вы это?

Женщина улыбнулась, и вдруг все ее лицо осветилось удивительно милою улыбкою.

– Наступит кто, – еще ногу себе напорет.

Так это по нынешнему времени показалось Кате необычным, – чтоб кто–нибудь подумал о других. Вечером она рассказала Вере. Вера рассмеялась.

– Как она выглядит? С крошечной пуговкой на макушке, ходит, как летучая мышь летит?

– Да, да!

– Это Настасья Петровна наша.

Вера рассказала: работница табачной фабрики, двое детей, муж пьяница, дрягиль, здоровенный мужик, жестоко бил ее и детей, пропивал не только свой, но и ее заработок. Сообщили им об этом в Женотдел, Вера пошла к ней, убедилась подать прошение о разводе. Народный суд развел их, детей оставил ей, а его выселил из квартиры вон, к его безмерному изумлению и ее столь же безмерной радости. Теперь она стала восторженной коммунисткой, – кто бы, – говорит, – стал раньше думать о моем горе, кто бы такие законы поставил? Вера взяла ее к себе в Женотдел.

– Ты, Катя, все вертишься в среде шипящих, и у тебя соответственный взгляд на все. Рабочей среды ты совсем не знаешь. Если бы ты подошла ближе, пригляделась бы, – сколько бы увидела прекрасного! Есть еще у нас в отделе одна татарка молодая, Мурэ. Как будто божественное откровение ее осенило и перевернуло всю жизнь. Великолепная вырабатывается агитаторша, татары в злобе, а татарки слушают, как посланницу с неба... Вот что. Завтра Настасья Петровна в первый раз делает работницам своей фабрики доклад о делегатском собрании, на которое она была ими делегирована. Хочешь, пойдём?

– Хочу, конечно.

– Говорить она, вероятно, совсем не умеет, не знаю, как у нее выйдет.

Но все–таки помотришь всех.

Назавтра пошли. В конторе фабрики собралось работниц пятьдесят.

Настасья Петровна испуганно смотрела исподлобья бегающими глазами, краснела, вдруг освещалась милою своею улыбкою.

Председательствовавшая Вера сказала:

– Ну, товарищ Синюшина, расскажите нам, что вы слышали на делегатском собрании.

– Ой, товарищ Сартанова, боюсь я! Как же это я? Я никогда доклада не делала.

– Вы и не делайте доклада. Просто расскажите товарищам, что там было.

Вы мне сказали, вам очень понравилась речь товарища Маргулиеса. Что он говорил?

– Уж не знаю, право, как...

Одна старая работница увещевающе сказала:

– Что ты, Настя, право? Чай, тут все свои. Чего бояться?

Настасья Петровна покраснела, набралась духу.

– Ну, вот так. Говорил, что революция, – это все равно, как ребеночек.

Сперва–наперво – так, бог весть, что; не разберешь даже, то ли человек, то ли зверюшка какая. Вот, как выкидыши бывают. Все даже пугаются. А потом понемножку образуется. На свет родится, так уж видно всякому, что вправду маленький человек. Потом глазками начинает смотреть, сознательность приходит. Потом головку станет подымать, а там уж и ходить начнет. Вот все говорят: непорядки всякие, бестолочь, голод, ничего большевики не умеют наладить. Это все равно, что ребеночку новорожденному говорить: почему не ходишь?

– Ишь, хорошо как!

– Ведь верно, девушки!

Настасья Петровна воодушевилась.

– Все, говорит, помаленечку придет, нужно только всем стараться сообща.

Все ведь нужно совсем по–новому устраивать, никогда еще ни в каких странах этого не бывало, чтоб рабочие сами собой управлялись, разве легко с непривычки?

Вошел рабочий, поглядел с усмешечкой.

– Бабье собрание?

Вера сказала:

– Товарищ, уходите, пожалуйста, не мешайте.

– Я что ж? Я только послушать.

– Нет, нет, ступайте.

– Уходи, Шабров, чего тебе тут?

Он усмехнулся, ушел. Настасья Петровна поискала растерянные мысли, нашла и продолжала:

– Потом, значит, объяснил, что такое будут большевики, что такое разные другие. Большевики говорят: нужно нахрапом брать, иначе нельзя. Ну, правда, убивства, обиды всякие, а нужно сразу утвердить, чтоб никакого не было разговору. А другие, – уж как им прозвание, позабыла, – «предатели», что ли? – они, значит, всего опасаются: чтобы понемножку все, да чтобы кому не было обиды, да чтоб поладить со всеми, да чтоб буржуи не озлобились. А буржуазия пользуется, только и глядит, чтоб все назад отобрать, и о том не думает, чтоб нас не обидеть.

Работницы шумно и одушевленно обменивались впечатлениями.

– Уж вот хорошо ты, Настя, объяснила! Как на ладошке.

Вера, улыбаясь, сказала:

– Ну, видите, и доклад сделали, и ничего в этом нет страшного.

Настасья Петровна сияла улыбкою, оправляла растрепавшуюся на макушке шишечку и с гордостью повторяла:

– Я сейчас доклад делала.

Как кузнечики, стучали наперебой пишущие машинки. Тк–тк! Тк–тк–тк–тк!

Дзинь! Грррр... Тк–тк–тк!

– Мой муж пропал без вести. Я вышла за другого.

– Да что вы? И давно пропал?

– Два месяца.

– Почему же вы думаете, что пропал?

– А писем не пишет.

Тк–тк! Тк–тк–тк!..

– Ну, а если вдруг воротится?

– Что ж мне было делать? Я молодая. Мне без мужчины скучно.

Крутился вихрь, – какая–то сумасшедшая смесь гордо провозглашаемых прав и небывалого унижения личности... Мелькали клочья растерзанных понятий о собственности, тени обесцененных человеческих жизней, осмеянные образы обезображенных христов и богородиц, призывы к братству и ненависти, обрывки разорванных брачных цепей, выброшенные яти и еры, спутавшиеся числа календарных стилей.

Иван Ильич стоял среди закоптелой своей кухонки, скрестив на груди руки, с презрительным лицом. Чадила копилка. Люди во френчах и матросских бушлатах перетряхивали тюфяки, поднимали половицы, складывали в портфель бумаги и письма. Прислонившись к плите, бледный Афанасий Ханов смотрел, не принимая участия в обыске.

Бритый человек с револьвером сказал:

– По предписанию чрезвычайной комиссии из Москвы вы арестованы, гражданин.

Иван Ильич ответил устало:

– И слава богу. Мне надоела ваша большая тюрьма. Ведите в малую.

В черной толпе вооруженных людей его повели через темный сад, среди благоухания белых акаций. Загромыхал по шоссе грузовик. Меж винтовок и солдатских фуражек затряслась на звездном небе широкополая шляпа Ивана Ильича. Анна Ивановна неподвижно стояла у раскрытой калитки и смотрела вслед.

Надежда Александровна, взволнованная, прибежала к Вере и сообщила об аресте Ивана Ильича. Глаза ее светились нежною ласкою и участием.

– По предписанию из Москвы. Михаил мне сейчас сказал по телефону. Сам только что узнал.

Вера, страшно бледная, молчала с неподвижным лицом. Катя рванулась: нужно было действовать. Надежда Александровна сказала:

– Приходите вечером. Михаил все узнает, расскажет.

Вечером они пошли. Корсаков развод руками.

– Ну, что тут можно сделать! «Вы агитировали против смертной казни?» – «Агитировал, и всегда буду агитировать».

Надежда Александровна нетерпеливо повела плечами.

– Какая окостенелость взглядов! Как он, право, не может понять!

Корсаков сказал Кате:

– Единственно, что могу сделать, это поместить его в возможно сносные условия. Велю дать вам свидание. Уговорите его, чтоб он, по крайней мере, держался не так вызывающе и презрительно. Сам себе подписывает приговор.

Время сейчас грозное.

В том же особняке, куда Катю водили на допрос, где она сидела в подвале, ей дали свидание с отцом. Ввели Ивана Ильича в комнату и оставили их одних. В раскрытые окна несло просторным запахом моря и водорослей, лиловые гроздья глициний, свешиваясь с мрамора оконных притолок, четко вылеплялись на горячей сини неба.

Иван Ильич с суровыми глазами говорил:

– Вы все, нынешние, даже самые хорошие, так привыкли к постоянным компромиссам с совестью, что у нас уже почти нет общего языка.

– Да нет, папа, погоди! При чем компромисс? Не задирай их только.

– Катя! Меня спрашивают: «Вы против смертных казней, производимых советскою властью?» А я буду влиять, уклоняться от ответа? Это ты называешь – не задирай!.. Я тут всего третий день. И столько насмотрелся, что стыдно становится жить. Да, Катя, стыдно жить становится!.. Каждый день по несколько человек уводят на расстрел, большинство совершенно даже не знает, в чем их вина. А Вера с ними, а ты водишь с ними компанию...

Когда свидание кончилось, Иван Ильич обнял Катю, поцеловал и сказал:

– Катя, я тебя прошу: не ходи ко мне больше на свидания. Мне с тобою тяжело.

– Спички шведские, головки советские! Пять минут вонь, потом огонь!

– Друзья, друзья! А что же хлеба не покупаете? Не забываетесь! Вот хлеб свежий!

– Сколько–о? С ума сошел!..

Налетала милиция, торговцы, оглядываясь, бежали с лотками, рысью катили тележки, вскачь уносились на грохочущих телегах. Продавцов и покупателей вели под конвоем в милицию, конфисковали товар.

Все равно, что гроза налетевшая. Или наводнение. Непонятное, но неотвратимое. А через полчаса опять:

– Спички шведские...

– Креста нету на тебе! Сто рублей картошка!

– Бери, гражданин, не ходи дальше! Дешевле нигде не найдешь.

Воротишься, – за эту цену не отдам.

Средь пыли и солнца, средь базарных выкриков и поросячьего визга – странная, долгая трель:

– А–а–а–а...

– Вот любительский табачок! Покуривай, мужичок!

A–a–ah!.. E strano poter il viso suo veder!

Ah!.. Mi posso guardar, mi posso rimirar...

Di', sei tu? Marguerita! Di', sei tu?..\*

\* А–а–ах!.. Странно смотреть на себя!

Ах!.. Могу взглянуть на себя и любоваться собой...

Ты ли это? Маргарита! Ты ли это?.. (итал.) – фрагмент арии Маргариты из оперы Ш.Гуно «Фауст».

Старая женщина в отрепанном пальто, в деревянных сандалиях, пела, высоко подняв голову, мучительно–стыдящимися глазами глядя поверх толпы.

Видно, была красавица, чувствовался хороший когда–то голос и хорошая школа.

И вдруг Катя узнала: жена бывшего городского головы Гавриленки, которых тогда выселили от Миримановых.

Катя съезжилась, – не глядя, сунула ей в руку все деньги, какие были, и побежала прочь.

В горах, в недоступных лесных чащах, скрывались зеленые. Они перехватывали продовольственные обозы, обстреливали из засады проезжающие автомобили. По вечерам делали налеты на поселки и деревни, забирали припасы, бросали на дорогах изрешеченные пулями трупы захваченных комиссаров. Между тем войск на фронте было мало, снимать их на борьбу с партизанами было невозможно.

Везде чувствовалась организованная, предательская работа. Два раза загадочно загоралось близ артиллерийских складов. На баштанах около железнодорожного пути арестовали поденщика; руки у него были в мозолях, но забредший железнодорожный ремонтный рабочий заметил, что он перед едою моет руки, и это выдало его. Оказался офицер. Расстреляли. Однако через пять дней, на утренней заре, был взорван железнодорожный мост на семнадцатой версте.

Надежда Александровна зашла к Вере переговорить об устройстве дня работниц. (Она заведовала отделом агитпропаганды). Потом пили чай. Надежда Александровна взволнованно говорила:

– Весь наш Особый Отдел нужно бы расстрелять. Вялый, никакой инициативы. Арестовывает случайно попавшихся, но совершенно не умеет поставить широкой разведывательной работы. Теперь, впрочем, все переменится.

Скоро приезжает Воронько.

Катя ахнула.

– Воронько?! Тот, знаменитый?

– Да.

– Г–господи, какой ужас!

Надежда Александровна удивленно взглянула на Катю. Вера была бледна.

– Почему ужас?

– Этот зверь?.. И тут польется кровь реками, как на Подолии, на Киевщине!

Надежда Александровна веско и отдельно сказала:

– Это один из самых прекрасных и самых замечательных людей, каких я когда–нибудь встречала... Вот белогвардейская оценка! – Она засмеялась и обратилась к Вере: – Ты знаешь, недавно в заграничных газетах был помещен его портрет с подписью: «Начальник Ч.К.Воронько, палач Украины». Если бы увидели его, – хорош палач!

Катя враждебно возразила:

– Для вас он, конечно, не палач. Вот если бы он ваших отцов и детей отправлял на расстрел, вы бы другими глазами смотрели... Ну, скажите мне: сама вы, – такая, какая вы есть, – пошли бы вы в чрезвычайку?

Надежда Александровна в изумлении глядела на Катю.

– Конечно! Какой тут может быть разговор!.. Нет, положительно, нужно бы всем коммунистам по очереди работать в чрезвычайных комиссиях, чтобы все видели, как мы относимся к этой работе.

– И вы не знаете, – скажите, что, правда, не знаете, – какие сладострастные убийцы–садисты вырабатываются в ваших чрезвычайках. Вон, рассказывают про здешнего особника, Белянкина... А был, наверно, хорошим рабочим.

Глаза Надежды Александровны стали очень маленькими, темными и колючими.

– Да, бывают, я это хорошо знаю. Но только, – уж извините, не из рабочих. В Курске, пред нашим отъездом сюда, Михаил хотел освободить одного арестованного, – никаких данных против него. А чекист, потрясая руками: «они всю жизнь нас давили, расстреливали нашего брата–рабочего. И его расстрелять!» Михаилу он показался подозрительным. Велел навести справки.

Оказалось, – бывший жандармский офицер. Расстреляли.

Когда Надежда Александровна ушла, Катя сказала, мрачно глядя в окно:

– Если я случайно где–нибудь с этим Воронько встречу, я ему не подам руки!

На скамейке под окном, облокотившись о спинку, неподвижно сидел Мириманов и как будто дремал.

С Надеждой Александровной при каждой новой встрече отношения Кати портились все больше. Надежда Александровна не могла с нею говорить без раздражения. Вопросы, которые Катя ставила с обычною своею прямою, были для Надежды Александровны, как докучливо–нудное жужжание мухи, бьющейся в пыльной паутине.

Катя заметила: все человечество резко делилось для нее на три расы.

Первая – пролетариат; это была божественно–лучезарная и божественно–безупречная порода людей, полная мощи, благородства и вещего понимания жизни. Вторая – люди ее партии: тесная семья дорогих товарищей, занятых важным, единственно нужным для жизни делом. И третья – все остальное: злобно–хлюпающая слякоть, только и думающая, чтобы залить свою зловонною жижею светлое пламя революции. Насколько было возможно, она сторонилась их с брезгливым чувством. Все их слова и дела были для нее сознательною ложью, саботажем и подкопом под революцию.

В революцию она была влюблена, как иная жена бывает влюблена в своего мужа: в нем все хорошо, у него не может быть ошибок и недостатков, малейший отрицательный отзыв о нем воспринимается ею, как обжигающее душу оскорбление.

Катя говорила ей:

– Смотрите, все кругом рассказывают: ваш жилищный отдел, – это сплошное гнездо взяточников, за деньги можно получить какую угодно квартиру, без взятки никогда не получишь ничего.

Острые гвозди маленьких глазок злобно устремлялись на Катю.

– Докажите!

И странно было: черные эти гвоздики, – неужели это те же огромные окна, из которых, как из прожекторов, лились снопы такого чудесного света?

– Надежда Александровна, как же это может доказать частный человек? А для власти, если только она захочет исследовать, это не составит никакого труда.

– Извините, Катерина Ивановна. Власти некогда заниматься обывательскими сплетнями.

А Корсаков, ее муж, Кате нравился все больше. Он ясно видел всю творившуюся бестолочь, жестокость, невозможность справиться с чудовищными злоупотреблениями и некультурностью носителей власти. В официальных выступлениях держался, как будто ничего этого нет, но в частных разговорах откровенно признавал все. Он крепко верил в конечную цель, в общую правильность намеченного пути, но это не мешало ему признавать, что путь идет через густейшую чашу стихийных нелепостей и самых ребяческих ошибок.

Когда Катя говорила с Надеждой Александровной или когда читала газеты, у нее было впечатление: пришли, похваляясь, самонадеянные, тупые, не видящие живой жизни люди, разжигают в массах самые темные инстинкты и, опираясь на них, пытаются строить жизнь по своим сумасшедшим схемам, а к этим людям со всех сторон спешат примазаться ловкие пройдохи, думающие только о власти и своих выгодах.

Когда Катя разговаривала с Корсаковым, ей представлялась картина: хрупкая ладья несется по течению в бешеном, стихийном потоке, среди шипящей пены и острых порогов, а сидящие в ладье со смертельными усилиями только следят, чтобы ладья не опрокинулась, не дала течи, не налетела на подводную скалу. И верят, что, в конце концов, выплывут на широкую, светлую реку. А толчки, перекатывающиеся волны, треск бортов, – все это было естественно и неизбежно.

С Корсаковым у Надежды Александровны были постоянные столкновения.

Корсаков говорил, устало потягиваясь и потирая ладони меж сжатых колен:

– Нелепость очевидная: с нашей неорганизованностью мы совершенно не в силах держать в своих руках все производство и всю торговлю. На дворах заводов образовались кладбища национализированных машин, – ржавеют под дождем, расхищаются. Частная торговля просачивается через все поры...

Надежда Александровна ядовито возражала:

– Значит, опять разрешить частную торговлю, вернуть фабрики хозяевам?

– Да, что–то тут нужно сделать... Рано или поздно придется ввести какие–то коррективы.

Надежда Александровна в негодовании вскакивала из–за стола.

– И это говорит коммунист! Положительно, таких людей надо бы выбрасывать из партии и расстреливать!

Корсаков посмеивался.

– И даже расстреливать?

– Да, и расстреливать.

Два раза Анна Ивановна приезжала на свидание с Иваном Ильичом. А потом произошло вот что.

Восемь солдат проходило через Арматлук. Узнали они, что есть склад вина, дали в зубы охранявшему склад милиционеру–почтальону, прикладами сбили замок, добыли вина и стали на горке пить. Подпили. Остановили проезжавшую по шоссе порожнюю линейку и велели извозчику–греку катать их. Все восьмеро ввалились на линейку и в сумерках долго носились вскачь по улицам дачного поселка с гиканьем и песнями. А потом стали стрелять в цель по собакам на дворах. Пьяные заснули в степи за поселком. Грек уехал.

А утром Люба, дочь соседнего сторожа, увидела на дворе Сартановской дачи, перед свиною закуткой, труп Анны Ивановны. Около нее лежала миска с разлившимся хлебовом для поросенка. В левом боку была пулевая рана.

Дали по телефону знать в город, на следующий день приехали Катя с Верой. Смотрели они на спокойное, прекрасное в смерти лицо матери, – странное без круглых очков, такое милое и невозвратное. И горько плакали, и с ужасом думали, что будет с отцом, когда он узнает. Видела Катя арестованных солдат, бледных от похмелья и испуга, – испуга только за себя, а не за сделанное. Их гнали в город на расстрел. И все это было ненужно, и кому от этого стало бы легче? Во рту как будто был тошнотный вкус крови, а в душе – тупой ужас пред жизнью.

За время, пока дача была без призора, исчез поросенок, раскрави кур. В кухне высадили окно, выломали из печки духовку и бак.

Гостей собралось много. Было сегодня рождение Корсакова, кстати воскресенье, и все обрадовались случаю передохнуть от чудовищной работы, беззаботно поспражничать.

Белозеров, в заношенной куртке защитного цвета, положил ладонь на рояль, лицо его стало серьезно и строго. Разговоры затихли. Он дал знак аккомпаниатору.

Перед воеводой молча он стоит.  
Голову потупил, сумрачно глядит.  
С плеч могучих сняли бархатный кафтан,  
Кровь струится тихо из широких ран,  
Скован по рукам он, скован по ногам...

Как всегда, когда Катя слушала Белозерова, ее поразила колдовская сила, преображающая художника в минуты творчества. Мрачно–насмешливый взгляд исподлобья, дикая энергия, кроваво–веселая игра и чужими жизнями, и своею. Все муки, все попытки – за один торжествующий удар в душу победителя–врага.

А еще певал я в домике твоём;  
Запивал я песни все твоим вином;  
Заедал я чарку хозяйскою едой;  
Целовался сладко – да с твоей женой!!.

Где в своей душе берет он все, – этот дрянной человечешко с угодливою, мещански приобретательскою натурою? Как может лупоглазый кролик преображаться в самого подлинного тигра?.. Даже не посмел надеть своего смокинга, – к приходу большевиков нарочно раздобыл эту демократическую куртку.

На цыпочках вошел в залу седоватый человек в золотых очках. Корсаков приветливо кивнул ему головою. Он огляделся и тихонько сел на свободный стул подле Кати.

Белозерову хлопали восторженно, он еще пел. «Нас венчали не в церкви», «Не шуми ты, мать–дубравушка». Кате стало смешно: песни всё были разбойничьи; очевидно, – самый, думает, подходящий репертуар для теперешних его слушателей.

Корсаков лениво сказал:

– Спойте: «В двенадцать часов по ночам встает император из гроба».

Белозеров недоуменно взглянул и ответил с сожалением:

– Я этих нот не захватил.

Вдруг электричество мигнуло и разом во всех лампочках погасло. Из темноты выскочили лунно–голубые четыреугольники окон.

– Пробка перегорела.

– Нет, во всем городе темнота.

– Дежурный у доски заснул на станции. Сейчас опять зажжется.

Но не зажигалось. Электричество вообще работало капризно. Надежда Александровна пошла раздобывать свечей. Гости разговаривали и пересмеивались в темноте.

Искусственно–глубоким басом кто–то сказал:

– Товарища Корсакова в круг! Советский анекдотик!

Все засмеялись, подхватили, стали вызывать.

Корсаков помолчал и спросил:

– «Путешествие русского за границу» – не слышали?

– Нет. Валяйте.

Прежний бас:

– Вонмем!

Корсаков стал рассказывать.

– Гражданин Советской республики, отстояв тридцать семь очередей, получил заграничный паспорт и поехал в Берлин. На пограничной немецкой станции получил билет, – бегом на запасный путь, где формировался поезд, и с чемоданчиком своим на крышу вагона. Подали поезд к перрону. Кондуктор смотрит: «Господин, вы что там? Слезайте!» – «Ничего, товарищ, я так всегда езжу, я привык!» – «У нас так нельзя, идите в вагон». – «Видите ли, товарищ, у меня нет права на проезд ни в штабном поезде, ни в поезде В.Ч.К.» – «Да билет–то есть у вас?» – «Вот он, вот он, билет». – «Так идите в вагон».

Гражданин почесал за ухом, слез, вошел в вагон, – пулею в уборную и заперся.

Стучатся. «Некуда, некуда, товарищ! Тут двадцать человек сидит!» Поезд пошел, пассажиры толкаются в уборную, – заперто. Пришел кондуктор. «Эй, мейн герр\*! Вы там долго будете сидеть?» – «До Берлина!» – «До Берлина? Вот странная болезнь!» \_\_\_\_\_

\* господин (от нем. mein Herr). Сидевший рядом с Катей господин прыснул от смеха.

– Кондуктор отпер дверь своим ключом. «Так, господин, нельзя. Иногда уступайте место и другим».

Рассказал Корсаков, как обыватель приехал в Берлин, как напрасно разыскивал Жилотдел, как приехал в гостиницу. Таинственно отзывает швейцара. – «Дело, товарищ, вот в чем: мне нужно переночевать. Так, где–нибудь! Я не прихотлив. Вот, хоть здесь, под лестницей, куда сор заметают. Я вам за это заплачу двести марок». – «Да пожалуйста в номер. У нас самый лучший номер стоит семьдесят марок». – «Суть, видите ли, в том, что я поздно приехал, Жилотдел был уже заперт, и у меня нет ордера...»

После многих приключений в Берлине, обывателя в конце концов посадили в железную клетку и над нею написали:

Р.С.Ф.С.Р.

(редкий случай феноменального сумасшествия расы)

Вошла Надежда Александровна с двумя зажженными кухонными лампочками и раздраженно сказала:

– Все с белогвардейскими своими анекдотами!

Толстый Климушкин закатиисто хохотал. Господин рядом с Катей смеялся детским, неостанавливающимся смехом, каким смеются серьезные люди, у себя не имеющие смешного. Надежда Александровна с упреком взглянула на него.

– И вы тоже!

Господин вытирал под очками слезы.

– Очень, очень остроумно!

Он понравился Кате, она с ним заговорила. Серьезно и хорошо он отвечал на такие вопросы, на которые другие либо раздражались, либо отвечали задирающе–насмешливо.

Он говорил, выпуская сквозь усы дым из трубки:

– ...Это с самого начала можно было предвидеть, и логика вещей, естественно, привела к этому. Только подумать, – в свое время у нас в руках находились и Краснов, и Деникин, и Корнилов. Краснов, арестованный, был у нас в Смольном, – и его отпустили на свободу под честное слово, что не пойдет против нас. И сколько потом понапрасну пролилось из–за этого рабочей крови!.. Враги внутри еще страшнее. Принимают лояльный вид, а тайно саботируют всякое наше начинание, дезорганизуют все, что могут, и в критический момент перебрасываются к нашим врагам.

В полумраке Катя видела серьезные глаза под высоким и очень крутым лбом, поблескивала золотая оправа очков, седоватые усы были в середине желто–рыжие от табачного дыма. Обычного вида интеллигент, только держался он странно прямо, совсем не сутулясь.

Катя сказала:



– Ну, хорошо. Это бы все еще можно, – если не принять, то понять. Но ведь арестовывают и уничтожают часто совершенно невинных, по одному подозрению, даже без всякого подозрения, просто так.

– Бесспорно. Но тут лучше погубить десять невинных, чем упустить одного виновного. А главное, – важна эта атмосфера ужаса, грозящая ответственность за самое отдаленное касательство. Это и есть террор... Бесследное исчезновение в подвалах, без эффектных публичных казней и торжественных последних слов. Не бояться этого всего способны только идейные, непреклонные люди, а таких среди наших врагов очень мало. Без массы же они бессильны. А обывательская масса при таких условиях не посмеет даже шевельнуться, будет бояться навлечь на себя даже неосновательное подозрение.

Со смутным ужасом Катя глядела в поблескивавшие в полумраке очки над нависшим лбом. А собеседнику ее она, видимо, нравилась, – нравились ее жадные к правде глаза, безоглядная страстность искания в голосе. Он говорил – хорошим, серьезным тоном старшего товарища:

– В тех невиданно трудных условиях, в которых революция борется за свое существование, это единственный путь. Путь страшный, работа тяжелая. Нужен совсем особый склад характера: чтоб спокойно, без надсады, идти через все, не сойти с ума, – и чтоб не опьяняться кровью, властью, бесконтрольностью. И обычно, к сожалению, так большинство и кончает: либо сходят с ума, либо рано–поздно сами попадают под расстрел.

Катя тряхнула головою, чтобы сбросить наваливавшуюся тяжесть.

– Ах, нет!.. Господи! Вот я чего не понимаю. Я слышу по голосу, я вижу, – вы идейный, убежденный человек. И вот – вы, Надежда Александровна, Седой... Вы все так легко об этом говорите, потому что для вас это теория; делается это где–то там, вне поля вашей деятельности. Ну, скажите, – ну, если бы вам, самому вам, пришлось бы... Как ваша фамилия?

– Воронько.

Катя отшатнулась.

– Во... Воронько?!

– Да.

Как ребенок, Катя в ужаснувшемся изумлении раскрыла рот и неподвижно глядела на Воронько.

Он улыбнулся про себя.

– Вы думали, – у меня не только руки, но даже губы в крови?

Катя молча продолжала смотреть. Обычное лицо русского интеллигента вдруг стало таинственно–страшным, единственным в своей небывалости. Она растерянно сказала:

– Я ничего не понимаю...

Подошел Корсаков и заговорил с Воронько.

Шумно ужинали, смеялись. Пили пиво и коньяк. Воронько молчаливо сидел, – прямой, с серьезными, глядящими в себя глазами, с нависшим на очки крутым лбом. Такая обычная, седенькая, слегка растрепанная борода...

Сколько сотен, может быть, тысяч жизней на его совести! А все так просто, по–товарищески, разговаривают с ним, и он смотрит так спокойно... Катя искала в этих глазах за очками скрытой, сладострастной жестокости, – не было. Не было и «великой тайной грусти».

Дома Катя ушла одна в сад. Верхушки кипарисов и пирамидальных акаций острыми языками черного пламени тянулись к ярким звездам, дрожавшим мелкою дрожью.

Это спокойствие и бессмущаемость перед тем, что он делает... И ведь, может быть, у него где–то в России есть дети, он их ласкает. Что это? Что это? Как ни старалась, она не могла соединить своего впечатления от него с тем, что о нем знала. И теперь она готова была считать вероятным, что про него с обычным своим умилением рассказывала Надежда Александровна, – что он живет бедняком и аскетом, обедает вместе с солдатами своей чеки, личной жизни совсем не знает. Перед революцией он пять лет провел в каторжной тюрьме.

Но как, – как может быть он таким? Катя быстро ходила по дорожкам сада, сжав ладонями щеки и глядя вверх, на дрожавшие меж черных ветвей огромные звезды.

И вдруг Кате пришла мысль: мораль, всякая мораль, в самых глубоких ее устоях, – не есть ли она нечто временное, служебное, – совсем то же, что, например, гипотеза в науке? Перестала служить для жизни, как ее кто понимает, – и вон ее! Вон все, что раньше казалось незыблемым, без чего человек не был человеком?

В сущности, и до сих пор, – разве это всегда не было так? Вот, совсем недавно. Заманить тысячи людей в засаду и, не сморгнув, перебить их из дальнобойных орудий. Двинуть на окопы неожиданные, неведомые врагу танки и, как косилкою, начисто выкосить людскую ниву пулеметами. Возмущаться ядовитыми газами, а потом сказать: «Вы так, – ну, и мы так!» И возвращаться в орденах, слышать восторженные приветственные клики, видеть свои портреты в газетах, считать себя героем, исключительно хорошим человеком. Держать на коленях сына, смотреть в его восторженные глаза и рассказывать о своих злодеяниях. К этому привыкли, так делают все. И человеку поэтому не стыдно.

Только поэтому?

Утром, лежа в постели, Катя сказала Вере:

– Папу освободят, я теперь убеждена. Я сегодня пойду к Вороньке.

Вера, с неподвижным лицом, повела головою и глухо ответила:

– Он не освободит.

– Освободит, увидишь. Страшно иметь дело с Искандерами, с Белянкиными.

А Воронько поймет, что папа за человек. С ним можно говорить человеческим языком.

Пошла. Трудно было добиться свидания. Воронько никаких посетителей лично не принимал. Но Катя сумела проникнуть к нему.

Воронько внимательно выслушал.

– Нет. Он закоренелый контрреволюционер, освободить нельзя. Мы имеем сведения от местных рабочих, что он при белых энергично агитировал против советской власти.

Катя изумилась.

– От местных рабочих? Каких рабочих?

И вдруг вспомнила: наверно, Тимофей Глухарь, который чинил у них крышу.

– Впрочем, если ваш батюшка согласится дать подписку, что не будет агитировать против смертной казни и советской власти, и если за него поручатся в этом отношении ваша сестра и товарищ Седой, – я его освобожу.

И в спокойных, невраждебных глазах его за золотыми очками Катя увидела, что решений своих этот человек не меняет. Она сказала упавшим голосом:

– Он такой подписки не даст.

– Я знаю. Я ему уж предлагал.

– Товарищ Воронько! – Голос Кати зазвенел. – Вы отлично понимаете, что папа не контрреволюционер, а самый настоящий революционер, что он восстает не против революции, а только против ваших методов.

– Важны не его взгляды на революцию, а его действия.

– Господи! Что ж вы с ним сделаете?

Воронько глядел так же серьезно и бесстрастно, только чаще, чем нужно, совал в рот мундштук трубки и сжатыми губами пропускал дым сквозь закопченные усы.

– Если тут все будет благополучно, и сообщение наладится, отправим в Москву... Вот, товарищ Сартанова, все, что могу вам сказать.

И он указал на плакат:

Не задерживайте лишними разговорами.

Кончив свое дело, уходите.

Катя открыла было рот, – сжала зубы, пошла к двери. Нечаянно наткнулась плечом на косяк. Вышла.

По коридору навстречу вели под конвоем арестованного. Катя рассеянно взглянула, прошла мимо. И вдруг остановилась. До сознания дошло отпечатавшееся в глазах горбоносое лицо с большим, извивающимся ртом, с выкатившимися белками глаз, в которых был животный ужас... Зайдберг!

Начальник Жилотдела, который тогда Катю отправил в подвал. Она глядела вслед. Его ввели в кабинет Вороньки.

Давно–давно уже не было спокойного сна и светлых снов. Тяжелые кошмары приходили по ночам и давили Кате грудь, и душной подушкой наваливались на лицо.

Матрос с тесаком бросался на толстого буржуя без лица и, присев на корточки, тукал его по голове, и он рассыпался лучинками. Надежда Александровна, сияя лучемерными прожекторами глаз, быстро и однообразно твердила: «Расстрелять! Расстрелять!» Лежал, раскинув руки, задушенный генерал, и это был вовсе не генерал, а мама, со спокойным, странным без очков лицом. И молодая женщина с накрашенными губами тянула в нос: «Мой муж пропал без вести, – уж два месяца от него нет писем».

Катя очнулась и быстро села на постели. Сердце стучало тяжелыми, медленными толчками. За незавешенными окнами чуть брезжил туманный рассвет.

Глухо, таинственно и грустно в монастыре на горе ударил колокол. Еще удар и еще, – мерно один за другим. Сосредоточенно гудя, звуки медленно плыли сквозь серую муть. И были в них что–то важное, организующее. И умершее. И чувствовалось, – ничего уж они теперь не могут организовать. И серый, мутный хаос вокруг, и нет оформливающей силы.

Вера во сне стонала, потом вдруг заплакала протяжно, всхлипывая.

Вздрыгнула и замолчала, и закутала одеялом голову. Должно быть, проснулась от собственного плача.

Катя тихонько позвала:

– Вера!

Не откликнулась. И грустно, уединенно звучал в тумане далекий колокол.

Надежда Александровна встретила Катю словами:

– Ну, Екатерина Ивановна, радуйтесь! Вы оказались правы. В Жилотделе раскрылись злоупотребления чудовищные, взятки брали все, кому не лень.

Сегодня утром, по приказу Вороньки, расстреляли весь Жилотдел в полном составе. Ордера аннулированы, назначена общая их проверка.

Катя натопорщилась, как еж.

– Чего ж мне радоваться? Когда власть бесконтрольна, когда некому жаловаться, и никто не знает своих прав, – всякие другие будут такими же.

Звонок. Быстрыми шагами вошел в столовую человек в защитной куртке. Не здороваясь, хлопнул ладонью по скатерти, оглядел стол.

– Самовар? Хорошо. Сыр? Масло? Больше ничего не надо. Коньяк есть?

Надежда Александровна засмеялась.

– Кажется, есть. Посмотрю в буфете.

– Великолепно. На стол! Лорд–мэр дома?

– У себя в кабинете.

– Очень хорошо. Четверть часа разговору. Потом сюда к вам. Через полчаса в уезд... Тук–тук!

Он исчез в дверях кабинета. Надежда Александровна, смеясь, переглядывалась с Верой.

– Так всегда. Как вихрь. Три дня назад приехал из Симферополя, – и все в Продотделе закрутилось и закипело. Вот увидишь, неделя всего пройдет, – и вагоны хлеба вырастут, как из земли.

Катя спросила:

– Кто это?

– Губпродком, комиссар продовольствия. Колесников. Удивительный человек. Вот энергия! Всегда на ходу. Когда спит, – никто не знает. Весь живет в деле. Понимаете, как будто все время пьян своим делом.

Вера сдержанно заметила:

– Да, энергичный. Я с ним зимой работала в Тамбовской губернии. Только не нравится он мне. Жестокий невероятно. Мужиков десятками расстреливал. И так равнодушно, деловито, – как будто баранов.

Надежда Александровна выставляла из буфета коньяк, холодное мясо, винегрет.

– А зато его уезд по количеству представленного хлеба оказался первым в России.

– Да... А все–таки... И себе самому ни в чем не отказывает. И коньяк у него всегда, и всего вдоволь. Совестно было приходиться к нему. И потом: через каждые полгода новая жена.

– Конечно, это всё... Но я не знаю. Сколько гляжу, – все больше убеждаюсь, что общественная нравственность и нравственность личная очень редко совпадают. По–видимому, это – две совершенно различные области. И как бы он мог так работать, если бы ел хлеб с соломой? А потом, – если нужно, то он может и целыми днями ничего не есть, спать под кустом на дожде.

Вошли Колесников и Корсаков, продолжая разговаривать. Колесников быстро сел, взял бутылку с коньяком, посмотрел на этикетку.

– Мартель, три звездочки. Очень хорошо.

Налил большую рюмку, выпил и жадно стал есть. И еще выпил. Корсаков пить отказался. Из желтой склянки он зачерпнул ложечку белых крупинок и проглотил.

– Что это?

– Глицерофосфат.

– Чтоб умным быть?

– Да.

– Помогает. В прошлом году сахару не было, я с глицерофосфатом чай пил.

Так все на улицах пугались, – до того было умное лицо!

Надежда Александровна сияющими глазами смотрела и смеялась, радуясь на него. В раскрытых окнах было темно, и поблескивали молнии.

– Поскорее прекратил. А то еще за интеллигента российского примут.

Катя встрепенулась.

– А что же бы тут было плохого, если бы приняли за интеллигента?

Колесников стал ругать интеллигенцию. Катя сцепилась с ним. Как можно так относиться к интеллигенции! Ее обратили в каких–то париев, она погибает от голода и холода, – погибает вся умственная сила страны. Недавно профессор Дмитревский получил из Петербурга письмо. Знаменитый историк, академик Зябрев, чтоб не умереть с голоду, продал всю свою библиотеку за два пуда муки. Воротился домой, увидел пустые библиотечные полки – и повесился тут же в кабинете... И моральный уровень нашей революции так низок, так мало в ней благородства именно потому, что она оттолкнула от себя интеллигенцию.

Надежда Александровна скучливо поморщилась.

– Господи! Эти интеллигентские разговоры без конца!

Колесников смеющимися глазами с любопытством оглядел Катю: как, мол, сюда такая залетела? Он налил еще рюмку, выпил.

– Ну, барышня, давайте языками потреплем. Для дивертисменту. Что за моральный уровень такой у интеллигенции вашей? Прогнившая труха, а не уровень. Старые заслуженные словца. В помойку выкинуть эти окурки.

Чистота души. На кой она кому нужна? Любовь к страждущим братьям... Чепуха!

Долг народу... Ч–чепуха! Сочувствие народное, «глас народный». Наплевать!

– И на сочувствие народное?!

– Наплевать!

– И на сочувствие рабочих?

– Если за нами не идут, – наплевать! И их устраним. Заставим идти за собою. Не доросли, линии не видят, а нам из–за того на месте топтаться?

Давать им разводиться меньшевистскую слякоть?

Он протянул руку к бутылке. Надежда Александровна придержала бутылку.

– Смотрите: гроза, дождь так и льет. Вы все–таки хотите ехать?

– Через две минуты.

– Тогда не дам вам больше пить.

Он ладонью отрезал бутылку от Надежды Александровны.

– Никогда не бываю пьян. Когда до грозящей точки, – противно становится вино.

Выпил рюмку.

– Вот, барышня хорошая. Усвойте. Интеллигенция ваша нам ни к чему.

Только две нужны категории: бывшие кадровые офицеры, – боевики, фронтовики, вот с этим! – Он потряс сжатым кулаком. – Да еще инженеры. Не ваши интеллигенты мягкие, а инженеры американского типа, чтобы умели дело делать, не сантименты разводите. А до профессорских штанов нам нет дела.

– Каких штанов?

– Ну, книг, что ли!

Он встал.

– Еду! – Подошел к буфету, открыл. – Ого! Еще целая бутылка коньяку. Реквизирую.

Лил южный дождь, грохотал гром. В бурную темноту уносился ухающий стон автомобильной сирены.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Медленно извиваясь, по городу расползались глухие слухи. Замирали на время, прикипали к земле – и опять поднимали голову, и ползли быстрее, смелее, будя тревогу в одних, надежду – в других.

Рассказывали: на севере Петроград в руках Юденича, и он уже подходит к Твери; добровольцы взяли Синельниково и Харьков; махновцы перешли на сторону Деникина. Советские газеты сообщали, что Деникин овладел Донецким бассейном.

Военный комиссар Ворошилов докладывал на съезде, что разбойничьи банды Григорьева рассеяны по лесам, но «идейное кулацкое ядро» кристаллизуется и представляет серьезную опасность. Передавали, что григорьевцы вовсе не рассеяны, – напротив: Григорьев идет к Перекопу на соединение с Махно, его лозунги: власть свободно избранным советам, отмена хлебной монополии и коммун, истребление евреев. Посланные навстречу красные войска перешли на его сторону. Советская власть в панике, на фронте полный развал, дисциплины никакой, солдаты пьянствуют и дезертируют.

Катя встретила на улице певца Белозерова.

– Владимир Иванович, вы слышали? Говорят, дела большевиков плоховаты.

– И вы верите! Какой вздор! И кто эти слухи распространяет! Сейчас мне это самое говорил и Семенов, член коллегии земотдела. Буду сегодня в ревкоме, спрошу тамошних моих приятелей.

Возвращаясь со службы, Катя опять встретила Белозерова. Он шел, обняв каждую рукою по десятифунтовой банке, – одну с медом, другую с абрикосовым вареньем; через плечо висел окорок. Катя рассмеялась.

– Что это у вас?

– Сегодня утром на вилле Бенардаки открыли две замурованные комнаты. Полны были золотой и серебряной посудой, мануфактурой, всевозможными припасами. Садовник донес. Вот, снабдили меня в ревкоме.

– А что вам сказали насчет общего положения дел?

– Вздор, конечно. Я так и думал. Работа провокаторов. Дела великолепны.

Спросили меня: «Кто эти слухи распространяет?». Я сказал про Семенова. «Как фамилия? Семенов? А вот мы его запишем и покорнейше попросим!»

– Да неужели вы назвали фамилию?

Белозеров удивился.

– А что?

– Владимир Иванович, ведь это у порядочных людей называется доносом!

Неужели вам не стыдно?

– А зачем они подрывают авторитет советской власти? Так им и надо!

Ездил Белозеров в Арматлук, – отвезти кой-какие принакопленные запасы и проверить сохранность своей дачи, огражденной всякого рода очень грозными бумажками. Дача охранялась специальным милиционером от ревкома.

В деревне тоже только и было разговору, что об уходе большевиков.

Белозеров вывесил на дверях ревкома грозное объявление, что, мол, до сведения моего дошло о провокационных слухах, распространяемых злонамеренными лицами... Рабоче-крестьянская власть установилась в Крыму навсегда... распространители злостных слухов будут караться революционным трибуналом расстрелом на месте...

Неизвестно, в качестве кого подписал Белозеров это свое объявление. Он был только заведующим подотделом театра в Наробразе.

А слухи в городе становились настойчивее, тревога – ощутительнее. Шли повальные обыски. Произвели обыск и у Мириманова. Но, как всегда при повальных обысках, обыск был спешный и поверхностный. По ночам голубой луч прожектора пылливо шарил по морю и по горам над городом. Рассказывали, что в море были замечены миноноски, что им сигнализировали из садов на горах. Из уезда с береговых пунктов тоже доносили о появлении разведочных судов и о сигнализации с гор. Передавали, что на севере Крым вот-вот будет отрезан.

Профессор Дмитревский волновался и был задумчив. Катя расспрашивала Веру, – что слышно? Вера поспешно отвечала, что все идет хорошо. Но чувствовалось, – опять надвигается буря.

Рабочие, поселенные в верхнем этаже дома Мириманова, с угрюмыми лицами спешно укладывались и уносили куда-то свои вещи.

В сумерках к Мириманову приходил бородатый казак с красною звездою на околыше. Катя уж и раньше несколько раз видела его. Через полчаса Мириманов ушел из дому и эту ночь не ночевал дома.

На краю города, в стороне от шоссе, стоит грязное двухэтажное здание с маленькими окнами в решетках. Поздним вечером к железным воротам подкатил автомобиль, из него вышли двое военных и прошли в контору. В темной конторе чадила коптилка, вооруженные солдаты пили вино, пели песни.

Один из военных властным голосом спросил:

– Комендант тюрьмы здесь?

Сидевший за столом матрос неохотно отозвался:

– Я комендант.

Военный отвел его в угол и на ухо спросил:

– Приказ, товарищ, получен вами?

– Получен. Сейчас ведем.

– Вот что. У вас тут есть арестант, подлежащий отправке в Москву.

Доктор Сарганов. Нам нужно лично быть убежденными, что он больше... не будет опасен. Распорядитесь, чтобы его привели.

Матрос благодушно улыбнулся.

– Не хотите ли еще кого? Хоть десяточек берите. Хватит на всех.

– Нет, нужно только его. – Он обратился к своему спутнику. – Товарищ Чанг, вы примете арестанта, а я подожду в машине.

Спутник-китаец ответил:

– Халясо.

Первый военный ждал в автомобиле, усевшись на сиденье рядом с шофером, впереди. Китаец вышел из ворот с Иваном Ильичом. Руки Ивана Ильича были связаны позади веревкою. Он сильно оброс и шел, почему-то прихрамывая.

Китаец сел рядом с ним.

Военный на переднем сиденье коротко шепнул шоферу:

– В штаб Духонина.

Машина заворчала, плавно сорвалась с места и покатила к шоссе. Там свернула влево от города и помчалась в горы.

Иван Ильич удивленно огляделся.

– Куда вы меня везете?

Китаец не ответил. Иван Ильич выпрямил спину, глубоко вздохнул и поглядел на теплый, сухой сумрак, окутывавший придорожные кусты, на яркие звезды над горами. И еще раз он глубоко вздохнул, потом откинулся на спинку сиденья, опустил голову и больше ее уж не поднимал.

Машина мчалась по шоссе, средь тихого аромата лесных трав. Все молчали. Военный, сидевший рядом с шофером, вдруг сказал:

– Стой!

Остановились над лесистым откосом, отгороженным от шоссе рядом столбиков.

– Вы проедете дальше, – там можно будет повернуть машину.

И слез. Китаец тоже вышел и велел выйти Ивану Ильичу. Первый военный побледнел и срывающимся шепотом сказал на ухо китайцу:

– Я сам. Садись обратно в машину.

Китаец бесстрастно моргнул узенькими глазными щелками и полез назад.

Автомобиль покотился дальше. Внизу, где мягкая дорога впадала в шоссе, он повернул и, не спеша, двинулся обратно. Остановился над откосом, дал призывный гудок. Как бы в ответ, внизу, под черными купами ясеней, коротко ударил револьверный выстрел. Из кустов вышел военный, вкладывая в кобуру большой револьвер Кольта, молча сел в автомобиль рядом с китайцем.

Машина помчалась к городу.

Через полчаса после отъезда автомобиля от тюрьмы железные ворота широко распахнулись, вышла большая толпа людей, окруженная вооруженными солдатами.

Жители татарской слободки, еще не спавшие, слышали за окнами взволнованные мужские голоса, женский плач, пьяную матерную ругань, удалявшиеся по направлению к свалкам. Старик татарин, вышедший к калитке посмотреть, через четверть часа услышал в темноте за свалками далекие вопли, сухие ружейные залпы, перемежающиеся отдельными выстрелами. Прорезал тишину безумный, зверино–предсмертный вопль, оборвавшийся выстрелом, и все стихло.

Улицы были пустынные. Ходили патрули вооруженных рабочих. В учреждениях висели объявления о вздорных слухах, злобно распространяемых провокаторами, и приказывалось всем служащим быть на местах. Однако почти никто не явился. Катя нагнала на улице Белозерова. С желтым, спавшимся лицом, он тащил огромный узел с вещами.

Катя смотрела смеющимися глазами.

– Ну, что, Владимир Иванович, – провокационные слухи?

Белозеров покрутил головой.

– Плохо дело.

– Куда это вы?

– В советской квартире оставаться неудобно. Перебираюсь к знакомым на частную.

Кате захотелось его подразнить.

– А ведь, пожалуй, придется вам дать ответ в кой–каких ваших действиях.

Он еще больше пожелтел, в глазах прополз унылый испуг.

– Собственно, что ж я такого делал? – Потом покрутил головою и бледно улыбнулся. – А ведь, чего доброго, – повесят!

– Ну, не повесят. Споете им из «Жизни за царя»: «Чую правду».

У крыльца военного комиссариата стояла кучка красноармейцев. Один насмешливо спросил Белозерова!

– Что, товарищ, на дачу перебираетесь?

– Да, знаете, – на прежней воздух что–то плох стал.

В толпе засмеялись. Сзади до них донеслось:

– Пулю бы ему в спину!

Белозеров свернул в переулок.

На набережной просто одетая женщина, по виду прислуга, подбежала к парню с винтовкой и крикнула:

– Патруль! Останови эту женщину! Она контрреволюционерка!

Хорошо одетая дама спешила уйти в боковую улицу.

– Держи, а то уйдет!

Милиционер побежал за дамой и схватил ее за руку.

– Что вам надо?

– Она сейчас пропаганду пуцала. Говорила, что слава, мол, богу, большевиков гонют. Грабителями называла большевиков.

– Что вы... Оставьте меня... Чего вы меня хватаете?

– Ты что говорила?

– Ничего я не говорила... Спрашивала только, правда ли, что большевики уходят из города.

– Ишь, какая теперь смиренная стала! Нет, ты говорила: туда им и дорога, сволочи поганой. Придут доброволы, они вам всем покажут, как нас обижать...

Веди ее, патруль! Я в свидетелях.

Парень с обеими женщинами пошел к Особому отделу.

На бульваре, у постамента снятого памятника Александру Второму, Катя встретила Мириманова. Он спросил глухим голосом:

– Вы слышали, что они сегодня ночью сделали?

– Что?

– Расстреляли всех заложников и политических арестованных. Вывели из тюрьмы и расстреляли за свалками.

– Что вы говорите?!

– Там уж целая толпа родственников.

– Господи! Да ведь в тюрьму, наверно, и папу перевели!..

Катя бросилась прочь. Вбежала в Женотдел. В загаженных комнатах был беспорядок, бумаги валялись на полу, служащих не было. В дальней комнате

Вера с Настасьей Петровной и татаркою Мурэ жгли в комнате бумаги. Вера исхудала за несколько часов, впалые щеки были бескровны.

– Вера! Скорей, пойди сюда!

Они вышли в пустую комнату.

– Ты знаешь, что сегодня ночью... Говорят, ночью расстреляли всех, кто в тюрьме.

Вера, прикусив губу, ответила:

– Да. Расстреляли. Увезти невозможно, а оставить – значит освободить. Опять пойдут против нас.

– Расстреляли! Всех! Значит, и папу!.. Господи! И это тоже нужно было для революции? Честного, благородного, непреклонного! Ни пятнышка на всем человеке!

Катя прорвалась рыданиями.

– Проклятье вашей революции, которая привлекает к себе только подлецов и хамов и уничтожает всех благородных! И ты, – ты тоже с этими палачами! А ведь раньше ты руку отказалась подать доктору только за то, что он присутствовал при казни!.. Вера, Верочка! Что же это такое случилось?

– Ну, Катя!..

– Что такое случилось? Верочка, да неужели же это возможно? По бледным щекам Веры непроизвольно лились слезы, но лицо было неподвижно и строго. Катя сказала:

– Пойдем, посмотрим трупы. Может, отыщем папу.

– Пойдем.

Ивана Ильича среди трупов не оказалось.

Под вечер в комнату к ним поспешно вошла Надежда Александровна.

– Вера, едем. Машина у крыльца, наши ждут... Что это с тобою?

Вера безучастно спросила:

– Куда едем?

Надежда Александровна удивилась.

– Как куда? В Джанкой. Приказ – немедленно эвакуироваться всем ответственным работникам, ты же знаешь. Военским частям тоже приказ, – как можно скорее уходить с позиций.

– Да, да... – Вера повела глазами, словно стараясь что-то припомнить. – Да. Захватите других товарищей.

– Ты с ума сошла, Вера! Обязательно должна и ты ехать. Что же тогда партийная дисциплина?

– Конечно, я еду. За мною обещал заехать Леонид. Я его жду.

– Ну, это другое дело. Только не задержитесь. Деникинцы высадились в Трехъякорной бухте и идут наперерез железной дороги. Может быть, уже отрезали нас.

– Да, конечно...

Надежда Александровна пристально вглядывалась в Веру. Ее поразил ясный, радостный свет, сиявший на ее лице, и страдальчески сжатые губы.



– Вера, чего ты, право? Всегда же бывают неудачи. Приходится отдать Крым. Вообще это была ошибка, не следовало его сейчас занимать, Троцкий определенно это заявил.

– Да, это верно.

– Ну, пока!

Глаза Надежды Александровны вспыхнули светлыми прожекторами, с мягко-материнскою нежностью она обняла Веру, заглянула ей близко в глаза и крепко поцеловала. И еще раз с сомнением заглянула ей в глаза. Потом с усмешкою обратилась к Кате:

– До свиданья! Вы, наверно, рады, что возвращаются белые. Но недолго им тут быть!

Катя с ненавистью взглянула на нее и ничего не ответила.

– Значит, на повороте, у оврага, где разбитое дерево...

– Так точно!

Они стояли близко друг от друга и, глядя в стороны, говорили вполголоса. Пищальников продолжал седлать лошадей, а Храбров вышел из сарая и жадно закурил.

Спешно грузились на дворе фурманки. По улице проезжали орудия. Над крылечком в вечерних сумерках еще трепыхался красный флаг. Из помещения штаба вышел Крогер и холодно сказал:

– Нужно спешить, пока месяц не взошел. Едем.

– Едем. Лошадей седлают... Товарищ Мохов, через час вы выступите по маршруту, не дожидаясь нас. Мы выезжаем на позиции, пойдем вместе с полками.

– Хорошо, товарищ Храбров, – отозвался начальник штаба.

Пищальников вывел из сарая трех оседланных лошадей.

Храбров и Крогер, а сзади них Пищальников поехали крупной рысью через безлюдную деревню, разрушенную артиллерийским огнем. Выехали в степь. Запад слабо светился зеленоватым светом, и под ним черным казался простор некошеной степи. Впереди, за позициями, изредка бухали далекие пушечные выстрелы белых. Степь опьяненно дышала ароматами цветущих трав, за канавкой комками чернели полевые пионы.

Ехали молча. Лошадь Пищальникова горячилась, прыгала, то на скакивала сзади почти на круп лошади Крогера, то отставала, и Пищальников ругался на нее.

– Застоялся, Ирод!.. У, чума тебя возьми!..

Уродливую массу зачернелась над оврагом разбитая снарядом ветла, с надломившимся, поникшим к земле стволом. Опять лошадь Пищальникова наскочила сзади на лошадь Крогера. Быстрым движением Пищальников выхватил шашку, сжал коленями бока лошади и, наклонившись, с тяжелым размахом ударил Крогера по голове. Крогер охнул, повалился на гриву, и еще раз Пищальников полоснул его наискось по затылку.

Лошадь скакала, изогнув шею, на боку ее висел вниз головою Крогер, запутавшийся в поводьях и стремянах, а рядом, нагнувшись, скакал Пищальников и старался схватить лошадь за узду.

Слезли с коней. Храбров коротко сказал:

– Стащи его в овраг.

В овраге, под кустом тальника, Храбров обшарил карманы латыша, вытащил у него печатку и жестяную коробочку с чернильною подушкой. Засветил карманный электрический фонарик и приложил печати к заготовленным заранее бумагам.

Пищальников обтирал с шашки кровь о потник крогеровой лошади.

– Ну, вот, Пищальников. Скачи на позиции, отдай по бумаге каждому из командиров и приезжай назад. Буду ждать там подальше, в овраге... Спустишься в овраг, свистни.

– Слушаю, ваше благородие!

Пищальников радостно поскакал, а Храбров с двумя лошадьми пошел в глубь оврага.

Тихо было. Над степью поднялся красный, ущербный месяц. Привязанные к кусту лошади объедали листву, и слышно было их крепкое жевание. В росистой траве светились мирным своим светом светляки. Храбров сидел на откосе и курил.

С дороги донесся осторожный свист. Храбров откликнулся. Продираясь сквозь кусты, подошел Пищальников, ведя на поводу лошадь, и доложил:

– Выступают.

Они сидели и прислушивались. Долго сидели. Месяц поднялся выше. Глухой, медленный топот ног донесся от дороги и сдержанный говор. Пищальников выполз на край оврага и наблюдал из-под пушистого куста тамариска. Все новые проходили толпы, с тем же темным топотом.

Пищальников сошел вниз.

– Все прошли. Дорога пустая.

Храбров вскочил.

– Ну, Пищальников...

Они поглядели друг на друга, – вдруг обнялись и крепко поцеловались.

– Едем!.. Погоди.

Храбров снял с околыша пятиконечную звезду, бросил ее наземь и растоптал каблуком.

Потом вырезал в орешнике палку и привязал к ней в виде флага свой носовой платок.

Жадно дыша степным воздухом, они скакали к опустевшим окопам, навстречу свободе.

Солнца еще не было видно за горами, но небо сияло розовато-золотистым светом, и угасавший месяц белым облачком стоял над острой вершиной Кара-Агача. Дикие горы были вокруг, туманы тяжелыми темно-лиловыми облаками лежали на далеких отрогах. В ущелье была тишина.

Командир полка, бывший ефрейтор царской службы, спросил:

– Это – ущелье Гяур-Бах? Верно?

Красноармеец, с белыми усиками на бронзовом лице, ответил:

– Верно, верно! Говорю вам, места эти мы хорошо знаем, весною, как в партизанах были, все эти горы исходили вдоль и поперек.

Командир полка и политком со скрытым недоумением перечитывали приказ.

Командир озабоченно оглядывал широкое ущелье с каменистым руслом ручейка, крутые обрывы скал по бокам. Впереди, на отроге горы, чернел лес, в двигавшихся клубах розовевшего тумана мелькали шедшие к опушке серые фигуры разведчиков.

Лица солдат были серые от бессонной ночи и пыли. Солдат с белыми усиками радостно говорил:

– Места знакомые. Помнишь, Гриша, весною из того самого леска мы обоз с провиантом отбили у белых.

Другой солдат, с черной бородкой на желтовато-бледном лице, отозвался:

– Как не помнить! С голоду там подыхали в горах. – Он засмеялся. – Как ты тогда на муку-то налетел? Увидал, братцы, муку, затрусился весь. Ну ее горстями в рот совать! Рожа вся белая, как у мельника. Потеха!

Белоусый зевнул продрогшим зевком и потопал ногами.

– Хорошо бы теперь в открытую подраться. Надоело в окопах сидеть.

Теплый ветерок дул от невидимого моря. Далеко где-то бухали пушечные выстрелы.

– Стой, где же это пушки стреляют? Вот так штука! Неужто уж в Крыму белые?

– Не иначе, как в Эски-Керыме стрельба.

– Ишь, св-волочи... Высадку, что ли, сделали?

Смутная тревога пронеслась по рядам. Лица стали серьезны, глаза внимательно оглядывали горы.

Показалось солнце. Зазолотившиеся клубы тумана, как настигнутые воры, стремглав катились по скатам вверх, бесшумно перекатывались через кусты, срывались с вершин и уносились в сверкающую синь.

Вдруг в лесу гулко раздались выстрелы. Под гору, пригнувшись, бежали назад разведчики, один, подстреленный, упал и закувыркался с винтовкою.

Охнул и со стоном опустился наземь чернобородый. Лес ожил и загудел выстрелами.

Ничего нельзя было понять. Валились вокруг убитые и раненые, люди метались, ища прикрития. Лес быстро и мерно тикал невидимыми пулеметами, трещал залпами. Командир, задыхаясь, крикнул:

– Товарищи! Засада!.. Рассыпайся! Назад к шашше!

Бежали, пригнувшись. Припадали за камнями, отстреливались и перебежали дальше. Чернобородый, опираясь прикладом в землю, с выпученными глазами прыгал на одной ноге.

Вдруг на противоположной стороне, у входа в ущелье, на выступе горы замелькали цепи. Стройные фигуры юнкеров перебежали, стреляя, от куста к кусту. Двое устанавливали за большим камнем пулемет.

Держась за окровавленную голову, командир крикнул с веселым отчаянием:

– Вперед, товарищи! Пробивайся к шашше!.. Да здравствует трудовая власть!

И, шатаясь, побежал. Белоусый, потрясая винтовкою, обогнал его. – Ура!

– Ур–ра–а!!!

Солдаты бурно побежали в гору на юнкеров. А в спину, из леса, частым грозовым дождем сыпались пули; люди, дергаясь в судорогах, катились с откосов. Из глубины ущелья скакали казаки.

Город отрезан!

Это на следующий день все повторяли. Большинство ответственных работников успело ночью проскочить на автомобилях (железнодорожный мост накануне опять был взорван кем–то), но некоторые попали в руки белых. Войска с позиций прошли мимо города и тоже успели выйти из кольца. Только два полка, на основании каких–то странных распоряжений из штаба бригады, ушли куда–то в сторону, в горы. Там они попали в засаду и были истреблены до последнего человека. Небольшой отряд засел в каменоломнях, в шести верстах от города, и собирался защищаться. Рабочая молодежь из города маленькими группками пробиралась тоже в каменоломни, но по дороге туда, рассказывали, уже рыскали разезды кубанских казаков.

Утром Вера поспешно связала в узелок немногочисленные свои пожитки.

Лицо ее было окаменевшее, но глаза светились освобождающею душу радостью. И вся она странно светилась. Катя с изумлением глядела на нее.

– Куда ты?

– Ну, куда! К товарищам, конечно. В каменоломни.

– Вера, да что ты?!

Катя хотела начать ее убеждать, но слова не дошли до губ, когда она почувствовала душою это блаженное свечение Вериного лица: как будто радость пришла, освобождавшая от всех раздумий и мук, и впереди ждало что–то несомненное и бесконечно светлое.

Катя впиалась глазами в лицо Веры, и, задыхаясь, спросила:

– Вера... Мы больше не увидимся?

– Отчего же? Не знаю... Все может быть.

Катя зарыдала и охватила руками шею Веры.

– Вера! Прости меня!

– За что? Девочка моя, да что ты? За что простить?

– Ты знаешь, ты знаешь!.. Но я не могла удержаться, слишком больно было за папу... Господи! И ты, – ты тоже уходишь!

Она плакала жалобным детским плачем. Вера гладила ее по голове.

В шестом часу вечера в город без сопротивления вошли кубанские казаки и стали биваком на базаре.

Утром Катя вышла на улицу. Блестели золотые погоны. Повсюду появились господа в крахмальных воротничках, изящно одетые дамы. И странно было: откуда у них это после всех реквизиций?

На стенах были расклеены большие афиши:

Сегодня, 12 июня 1919 года,

в пользу доблестной Добровольческой армии

в Городском театре

дан будет спектакль

с участием артиста Государственных театров

В.И.БЕЛОЗЕРОВА.

Сообщалось, что пойдет пьеса «В старые годы» с участием лучших сил труппы и что затем выступит В.И.Белозеров в любимейших номерах своего репертуара.

Из вестибюля театра взволнованно выходили актеры. К Кате подошла премьерша театра, Борина–Струйская, с красивым и нервным лицом.

– Читали вы афишу?

– Да.

– Представьте себе, мы все тоже узнали об этом спектакле только сегодня из афиши. Вчера вечером Белозеров явился к коменданту города и от лица труппы заявил, что мы желаем дать спектакль в пользу добровольцев... Мы не большевики. Но как же это можно? На днях только получили жалованье от большевиков, а сегодня – играть в пользу добровольцев! Сейчас был в театре Белозеров, мы на него. А он: «Хорошо! Не хотите, – ваше дело. Поеду к коменданту, заявлю, что труппа отказывается играть в этом спектакле»...

Каков подлец! Ну, что же нам делать? Приходится играть. Каждому своя шкура дорога.

В «Астории» играла музыка. На панели перед рестораном, под парусиновым навесом, за столиками с белоснежными скатертями, сидели офицеры, штатские, дамы. Пальмы стояли умытые. Сновали официанты с ласковыми и радостными лицами. Звякала посуда, горело в стаканчиках вино.

Из ресторана вышел Белозеров с довольным, успокоенным лицом, в свежем летнем костюме. Увидел Катю, дрогнул и вежливо, низко поклонился. Катя с холодным удивлением оглядела его и отвернулась.

Молодой хорунжий–кубанец вежливо разговаривал с Миримановым.

– Уверяю вас, вам же будет удобнее, если полковник поселится у вас. Он и двое нас, адъютантов, и уж никто больше не будет вас тревожить. Знаете, первые дни всякие бывают неприятности. А у нас вы будете себя чувствовать, как у Христа за пазухой.

Через два часа они приехали. Полковник поселился в кабинете, адъютанты в соседней комнате. Обедали они в столовой.

Долго, до поздней ночи, в столовой гудели голоса, приходили и уходили люди, то и дело хлопала дверь. Мириманова это заинтересовало. Он вошел в столовую, как будто, чтобы взять графин.

Полковник пил вино. На столе стояли бутылки. Адъютант писал в большой тетради, а перед ним лежала груда золотых колец, браслетов, часов, серебряных ложек. Входили казаки с красными лицами и клали на стол драгоценности.

– А–а, господин хозяин!

Полковник радушно вытянул руки в его направлении.

– Присаживайтесь. Могу предложить стаканчик винца?

Мириманов сел.

– Что это у вас тут на столе?

– Это? Военная добыча.

Мириманов удивленно смотрел.

– Какая военная добыча?

Полковник переглянулся с адъютантом и засмеялся, как при наивном вопросе ребенка.

– Ну! Какая!.. Вы что же думаете, казаки наши не хотят пить–есть?.. Но вы поглядите, какая «организованность»! «Товарищи» бы позавидовали. Не каждый сам для себя, а в громаду несут, в полковой фонд.

Мириманов задумчиво поглаживал усы.

– А вы не думаете, полковник, что это может раздражать население, возбуждать его против добровольческой армии?

– Да ведь мы не так, как махновцы: те с пальцами отрезают кольца, а мы снимаем. И больше все у жидков.

Ночью, среди притаившейся тишины, изредка слышались вдалеке крики «караул!» и одиночные ружейные выстрелы.

Жители прятались по домам. Казаки вламывались в квартиры, брали все, что приглянется. Передавали, что по занятии города им три дня разрешается грабить. На Джигитской улице подвыпившие офицеры зарубили шашками двух проходивших евреев.

Шли обыски и аресты. В большом количестве появились доносчики–любители и указывали на «сочувствующих». К Кате забежала фельдшерница Сорокина, с замершим ужасом в

глазах, и рассказала: перед табачной фабрикой Бенардаки повешено на фонарных столбах пять рабочих, бывших членов фабричного комитета. Их вчера еще повесили, и она сейчас проходила, – все еще висят, голые по пояс, спины в темных полосах.

Арестовали и профессора Дмитревского. Жена его, Наталья Сергеевна, пришла в контрразведку. Ротмистр с взлохмаченными усами, очень напомилавший прежних жандармских ротмистров, встретил ее сурово.

– Нет, ему никакого снисхождения не будет. Можно еще простить учителя какого-нибудь, который с голоду пошел к ним на службу. Но он, – тайный советник! – и связался с этими негодьями!

– Но ведь он заведовал просвещением. Он не большевик, он смотрит, что самое убийственное оружие против большевиков, как и против самодержавия, – просвещение. Он пошел к ним, как шел раньше к самодержавию.

Ротмистр покоробился при таком упоминании о самодержавии. Он резко ответил:

– Вы, госпожа Дмитревская, этими фразами нас не убедите. У нас против него есть такой один документик...

И он развернул перед нею газету «Красный пролетарий» с отчетом о первомайском празднике.

– Вот что он говорил, ваш поклонник просвещения! «Социализм сумеет насадиться только беспощадной винтовкой и штыком в мозолистой руке рабочего».

Наталья Сергеевна побледнела.

– Тут его слова извращены, он говорил совсем другое!

– Ну, конечно! Что ж вам еще на это возразить.

Наталья Сергеевна указывала, сколько людей спас Дмитревский от расстрела и тюрьмы своими хлопотами.

– Это, сударыня, нас очень мало трогает. Чем больше компрометировали бы себя большевики, тем для нас было бы выгоднее.

Само же европейское имя Дмитревского, видимо, ничего не говорило ротмистру. Большевики ценили крупных деятелей науки и искусства, относились к ним подчеркнуто бережно. Здесь же Дмитревский был только тайный советник.

Катя бросилась к Гольдбергу, бывшему управляющему делами их отдела. Оба они развили чисто электрическую деятельность. Катя написала заявление, где, как свидетельница, рассказывала об извращении газетным отчетом речи профессора, об их совместном посещении редакции. Гольдберг отыскал несколько других свидетелей, слышавших речь и согласившихся дать показания. Расшевелил учительский союз, союз деятелей науки и искусства, убедил их подать заявление с ходатайством за Дмитревского как европейского ученого, гордость русской науки. Собирал под ходатайством подписи и у именитых граждан. Бывший городской голова Гавриленко охотно подписался. Катя обратилась к Мириманову.

Мириманов отрицательно помотал головою и ответил:

– Нет, извините, – не подпишу. Зачем он к ним пошел? Сама себя раба бьет...

– Но ведь вы же знаете, как он корректно все время держался, как он всегда...

– Екатерина Ивановна! Все мы отлично понимаем, для чего он пошел к большевикам: спасался от издевательств, сберегал дачу свою от разгрома. И для этого выбрасывал иконы из школ, говорил демагогические речи... Должен был знать, на что идет.

Депутация шла по коридору «Европейской гостиницы», занятой управлением командования. Были в депутатии председатели учительского союза, союза деятелей науки и искусств, городской голова Гавриленко, Катя с Гольдбергом.

Вызвали адъютанта.

– Нам нужно видеть коменданта города. Вы нам назначили прийти сегодня в пять часов.

– Пожалуйста, немножко подождите. Его еще нет.

В ожидании, они медленно расхаживали по коридору с стоявшими у дверей часовыми-кубанцами. В глубине коридора показался сухощавый казачий офицер.

Он вдруг остановился перед молодым казаком-часовым и сказал:

– Здравствуй!

Казак ответил:

– Здравия желаю, господин есаул!

– Что? Не слышу!

Казак подтянулся и громко повторил:

– Здравия желаю, господин есаул!

– Не слышу, черт твою мать дери!!!.. Как руки держишь, с–сукин сын?!!

Часовой вытянул руки по швам и гаркнул на весь коридор:

– Здравия желаю, господин есаул!!

Офицер постоял, молча погрозил пальцем перед его носом и вошел в номер.

Катя в изумлении спросила казака:

– Неужели у вас и теперь офицеры так разговаривают с солдатами?

Часовой, сконфуженно улыбаясь, покрутил головою.

– Он так всегда с молодыми казаками. Хочет, чтоб мы были казаки, а не бабы. Он хороший, мы его любим.

Оказалось, это и есть комендант. Но адъютант попросил еще немножко подождать. Ждали долго. За дверью номера слышались грозные, раскатывающиеся крики, робкий голос что–то отвечал.

Катя опять вызвала адъютанта. Он вышел растерянный.

– Господа! Вот что я вам скажу: утро вечера мудренее. Придите лучше завтра.

Катя настаивала.

– Завтра, завтра приходите. Сейчас не совсем удобно. Прошу вас, уходите!

И он исчез в номере. За дверью слышался шум, грозные выкрики. Подошел Гольдберг.

– Мне сейчас сказали: комендант пьян, и лучше его сегодня не тревожить.

Дверь стремительно распахнулась. В коридор, шатаясь, выскочил молодой офицер в коричневом френче. Он крикнул, всхлипывая:

– Посмотрите, что они со мной делают!

Рука держалась за расшибленные зубы, из перебитого носа лилась кровь, пуговицы френча были оборваны. Часовые втокнули его обратно в номер. Катя узнала Бориса Долинского, племянника Мириманова.

Опять за дверью зарокотали пьяно–грозные выкрики:

– Руки по швам, мерзавец! Большевикам проданся! А еще офицер!

Вышел адъютант.

– Потрудитесь уйти. Сказал же я вам!

Катя крикнула:

– Господи! Вы там избиваете человека!

Часовые выпроводили их вон.

Катя шла по улице и дрожала мелкою внутренней дрожью. И вдруг ей вспомнились подведенные глаза Бориса, его кокетливо поющий голос:

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском,

Я трагедию жизни претворю в грезо–фарс...

Навстречу, под руку с офицером в блестящих погонах, шел, весело болтая, певец Белозеров.

На стенах и каменных заборах висели объявления новой власти. Не приказы большевиков – грозные, безоглядные и прямо говорящие. Скользко, увилено сообщалось о твердом намерении идти навстречу «действительным» нуждам рабочих, о необходимости «справедливого» удовлетворения земельной нужды крестьян. И чувствовалось, – это говорят чужие люди с камнем за пазухой, готовые уступить только то, чего никак нельзя удержать, – и все отобрать назад, как только это будет возможно.

Мириманов, довольно посмеиваясь, писал в суд исковое прошение о взыскании с рабочих, живших в его доме, квартирной платы и убытков за побитые стекла, испорченные водопроводные краны. Вселились обратно Гавриленко и доктор Вайнштейн. Мириманов предложил им свои безвозмездные услуги по отобранию у рабочих унесенных ими вещей. Гавриленко поморщился и отказался. Вайнштейн лукаво улыбнулся, поднял ладони и ответил:

– Нет, бог с ними! Что с возу упало, то пропало. Разве я знаю, что будет опять через два месяца?

Загорелый, оживленный и радостный, Дмитрий сидел у Кати, с жадною любовью оглядывал ее и рассказывал:

– В народных массах совершился несомненный перелом, большевизм изживается. В Купянске жители встретили нас на колених, с колокольным звоном. Когда полки наши выступали из Кубани, состав их был двести – триста человек, а в Украину они вступают в составе по пять, по шесть тысяч.

Крестьяне массами записываются в добровольцы. В Харькове рабочие настроены резко антибольшевистски, не позволили большевикам эвакуировать заводы. Вот увидишь, через два месяца мы будем в Москве.

Катя устало слушала.

– А не кажется вам, Дмитрий, что вы все время вдеваете толстую нитку в узенькое игольное ушко, и все силы на это кладете? Не кажется вам, что ваша нитка никогда в это ушко не пройдет?

Дмитрий дрогнул и удивленно взглянул на Катю.

– «Вам»? Катя, ты сказала – «вам»?

Она сказала «вам», но не заметила этого. Покраснела и с усилием стала говорить «ты».

Когда через полчаса ушел Дмитрий, оба почувствовали, что ничего между ними нет.

Из Арматлука пришла в город Конкордия Дмитриевна, дочь священника Воздвиженского, и сообщила Кате, что Иван Ильич дома, у себя на даче. Уже с неделю дома, пришел пешком, рано утром. Только он очень болен, все лежит. И совсем без призора.

Катя, сумасшедшая от радости, расспрашивала, что случилось с отцом, как он попал домой.

– Не знаю. Он ничего не рассказывает.

Катя в полчаса собралась и пошла в Арматлук.

Пришла она под вечер. В спальне своей лежал Иван Ильич со страшно исхудалым, темным лицом и запавшими глазами. Он слабо и радостно улыбнулся навстречу Кате, и улыбался все время, когда она, рыдая, целовала его руку.

С трудом, на каждой фразе останавливаясь, он рассказал, как его вывели из тюрьмы и повезли на автомобиле в горы, как посадили на дороге и как военный повел его под откос в кусты.

– Ну, думаю, конец! Вдруг он говорит: «Дядя, не бойтесь ничего, это я».

Вглядываюсь в темноте: «Леонид! Ты?» – «Тише! Идите скорей!». Спустились под откос, он развязал мне руки. Наверху зашумел приближающийся автомобиль, загудел призывной гудок. – «Не пугайтесь, – говорит, – я сейчас выстрелю. С час посидите тут, а потом идите к себе, в Арматлук. В город не показывайтесь, пока мы еще здесь». Выстрелил из револьвера в кусты и пошел наверх.

Иван Ильич помолчал, потом спросил:

– А с другими что сделали?

– Всех расстреляли ночью за свалками.

Про Анну Ивановну они не говорили. Катя спросила:

– А что с тобою?

– Не знаю... Сначала думал, – ревматизм. Холодно было в подвале и сыро.

Сильнейшие боли в колене, – в одном, потом появились в другом. И слабость бесконечная, все бы лежал, лежал. По бедрам красные точки, как от блошиных укусов. А вчера посмотрел, – багровые и желто-голубые пятна на бедрах...

Ясное дело, – цинга. Только странно, что на деснах ничего. Но так бывает.

Это все пустяки.

Он устал говорить и закрыл глаза.

– Ты что-нибудь ел сегодня?

– Да, да, ел. Старуха Воздвиженская принесла супу.

– Я сейчас что-нибудь приготовлю.

Катя пошла в кухню. Плита была снята, духовой шкаф и котел выломаны, виднелись закоптелые кирпичи. В комнатах, где жили солдаты, с диванов и кресел была срезана материя, голые пружины торчали из мочалы. Разбитые окна, грязь.

Столбы проволоочной ограды были срублены, по неогороженному саду бродили коровы. Объединенные фруктовые деревья и виноградник, затоптанные гряды огорода. В пустом курятнике белел давно высохший куриный помет, пусто было в чуланчике под лестницею, где жил поросенок.

Кате вдруг со смехом пришло в голову:

...мы старый мир разроем  
До основанья, а затем...

Она вяло побрела в кухню.

За поселком, под шоссевым мостом, чабаны нашли труп застреленного татарина. Спина его была исполосована стальными шомполами. Узнали председателя ревкома соседней татарской деревни. Сгубил его георгиевский его крест, который он нацепил, чтобы умилистить белых. Накануне вечером казаки, гнавшие арестованных в город, пили вино в кофейне Авраими. Урядник бил татарина по щекам и говорил:

– Этакую грязь разводил, – а еще крест носишь!

И сговаривались между собою:

– Всем по двадцать пять шомполов вкатим по дороге, а этого прямо в канаву.

Арестовали в саду во время работы Афанасия Ханова. Арестовали почему–то и Капралова, увезли обоих в город. Гребенкин скрылся. Тимофей Глухарь тоже скрывался, а вечером, в сумерках, бегал по дачам и просил более мягкосердечных дачников подписать бумагу, что они от него обиды не имели.

Почтительно кланялся, стоял без шапки.

Агапов, ласково и торжествующе улыбаясь, ходил с милиционером по крестьянским хатам и отбирал свою мебель, посуду и белье. Вечерами же писал в контрразведку длинный доклад с характеристикой всех дачников и крестьян.

Бубликов немедленно высадил из квартиры княгиню Андожскую. Все комнаты своей гостиницы он сдал наехавшим постояльцам. Круглая голова его, остриженная под нолевой номер, сияла, как арбуз, облитый прованским маслом.

Откуда их столько появилось? Было непонятно. По пляжу и по горам гуляли дамы в белых платьях и господа в панاماх, на теннисных площадках летали мячи, на песке у моря жарились под солнцем белые тела, тела плескались в голубых волнах.

Урожай выдался колоссальный. По шоссе с утренней зари до полной темноты скрипели мажары с ячменем, почерневшие от солнца мужики проезжали из степи с косилками, проходили с косами. Они поглядывали на берег, белевший телами, в негодующем изумлении разводили руками и говорили:

– А они, – они опять голые на песке лежат!

В женскую камеру городской тюрьмы, позвякивая шпорами, вошли два офицера, за ними – начальник тюрьмы и солдаты. Молодой офицер выкликнул по списку!

– Сартанова!

Вера отозвалась. Офицер постарше спросил:

– Это которая?

– Что по дороге в каменоломни поймана, господин полковник. Сама заявляет, что коммунистка.

Вызвали еще четырех работниц. Полковник громко сказал:

– Этих пятерых. Завтра утром на тех же свалках, где они сами расстреливали. Перевести в камеру номер семь.

Начальник тюрьмы почтительно наклонился к нему.

– Там мужчины, господин полковник.

– Что ж из того! Вы их этим не удивите. Привыкли ночи спать с мужчинами. Только веселей будет напоследок. У них это просто.



Спутники засмеялись.

В тесной камере Ъ 7 народу было много. Вера села на край грязных нар. В воздухе висела тяжело задумавшаяся тишина ожидаемой смерти. Только в углу всхлипывал отрывающийся женский голос.

Рядом с Верою, с ногами на нарах, сидел высокий мужчина в кожаных болгарских туфлях–пасталах, – сидел, упершись локтями в колени и положив голову на руки. Вера осторожно положила ему ладонь на плечо. Он поднял голову и чуждо оглядел ее прекрасными черными глазами.

– Товарищ, не нужно падать духом.

Он поспешно ответил:

– Нет, я, понимаете, ничего... Так только, задумался...

– У вас семья есть, дети?

– Да. Только я не об этом.

Он помолчал, внимательно поглядел на Веру.

– Вы, товарищ, коммунистка?

– Да. А вы?

– Я, понимаете, тоже коммунист. А только... Фамилия ваша как будет?

– Сарганова.

– Сарганова? У нас в поселке дачном доктор один есть, тоже Сарганов фамилия.

Вера быстро спросила:

– Вы из Арматлука?

– Да.

– Где сейчас доктор Сарганов?

– Дома. Его было арестовали, а в последний день, видно, выпустили.

Только теперь он дома.

Вера задыхалась.

– Верно?

– Ну да. Сам его видел.

Он с удивлением глядел на Веру. Она прижалась головою к столбу нар и беззвучно рыдала, закрыв глаза руками. А когда опять взглянула на него, лицо было светлое и радостное.

– А вы родственница ему?

– Это отец мой... Ну, да! – Она овладела собой.

– Хороший человек. И дочка его, Катерина Ивановна, – тоже хорошая.

Очень она интересно, понимаете, о жизни всегда разговаривает. Выходит, – сестрица вам.

А вы вот коммунистка. У меня на этот счет мысли всякие.

– Какие мысли?

Он помолчал.

– Вообще, – насчет жизни... Вот, говорим мы, – чтобы всем хорошо стало. А делаем так, что все еще хуже. Я вот был председателем ревкома. Сколько всяких делал зверств! А из города приезжают, кричат: «Что ты их жалеешь?

Какой ты коммунист! Ты, видно, кулацкого элементу!» Мужиков всех разобидели, они нас ненавидют. А я ведь сам мужик. И с интеллигенцией тоже, – как бы ее поприжать да поиздеваться над нею. Батюшку вашего в тюрьму потащили, – за что? Понимаете, сам его арестовывал, а потом неделю целую во сне видел.

– Слушайте, товарищ... Как ваша фамилия?

– Ханов.

– Слушайте, товарищ Ханов. Что вы говорите, – это все и мне так близко!

Скажите мне, – вы раньше когда–нибудь читали Евангелие?

– Читал. Я раньше и Толстова много читал, даже жить было по нем начал.

Да как–то у него все это... Не получил я покою.

– Так вот, в Евангелии есть: «кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее». Пришло такое время, что нельзя думать о чистоте своей души, об ее спокойствии. С этим – как бы все было легко! Вы только подумайте: ну, что – лишения, смерть? Какие пустяки! Правда, как все это было бы легко? Разве вас сейчас смерть мучает, которая вас ждет? Я вижу: вас мучает, что перед вами смерть, а позади – кровь и грязь, грязь, в которой вы все время купались.

Ханов изумленно глядел на Веру.

– Как вы это узнали?.. Да, да. Понимаете, – вот, как вы сказали, – в грязи купался!

– Вот. В том и ужас, что другого пути нет. Миром, добром, любовью ничего нельзя добиться. Нужно идти через грязь и кровь, хотя бы сердце разорвалось. И только помнить, во имя чего идешь. А вы помнили, – иначе бы все это вас не мучило. И нужно помнить, и не нужно делать бессмысленных жестокостей, как многие у нас. Потому что голова кружилась от власти и безнаказанности. А смерть, – ну, что же, что смерть!

Стали подходить другие осужденные.

Вера говорила, и все жадно слушали. Вера говорила: они гибнут за то, чтоб была новая, никогда еще в мире не бывавшая жизнь, где не будет рабов и голодных, повелителей и угнетателей. В борьбе за великую эту цель они гибнут, потому что не хотели думать об одних себе, не хотели терпеть и сидеть, сложа руки. Они умрут, но кровь их прольется за хорошее дело; они умрут, но дело это не умрет, а пойдет все дальше и дальше.

На замасленном столе тускло чадила одинокая коптилка. В спертую вонь камеры сквозь решетчатое окно чуть веяло свежим воздухом, пахнувшим горными цветами.

Красавец брюнет с огненными глазами, в матросской куртке, спросил:

– А как скажете, товарищ, – скоро социализм придет?

Вера почувствовала, какой нужен ответ.

– Теперь скоро. В Германии революция, в Венгрии уже установилась советская власть, везде рабочие поднимаются.

– Через два месяца будет?

– Ну, не через два... – Вера поглядела на него и улыбнулась. – Через два–три года.

– Это ничего. Столько можно подождать. – Матрос радостно засмеялся. –

То–то они так злобятся: чуют, что кончено их дело!

Рабочий в пиджаке, с умными, смеющимися глазами, отозвался:

– И ничего не кончено. Не выйдет у нас никакого социализму. Не такой народ.

Ханов нетерпеливо отмахнулся.

– Ну, ты, Капралов, – всегда вот так!

Матрос, сверкая глазами, ринулся на него.

– Как не выйдет?!

– Не выйдет. Не будет ничего. Не справится народ. Больно работать не любит. Только когда для себя. И опять прихлопнут вас буржуи, как перепелок сеткой.

Вера с удивлением смотрела на него.

– За что же вы сюда попали?

Ханов засмеялся.

– Он у дачников книжки отбирал для общественной библиотеки, а они на него и показали. Вот и попал в загон, как козел меж барашков.

Спорили, шутили, смеялись. Засиделись до поздней ночи и улеглись спать, не думая о завтрашнем, и спали крепко.

Толпа людей рыла за свалками ров, – в него должны были лечь их трупы.

Мужчины били в твердую почву кирками, женщины и старики выбрасывали лопатами землю. Лица были землистые, люди дрожали от утреннего холода и волнения.

Вокруг кольцом стояли казаки с наведенными винтовками.

Солнце вставало над туманным морем. Офицер сидел на камне, чертил ножнами шашки по песку и с удивлением приглядывался к одной из работавших.

Она все время смеялась, шутила, подбадривала товарищей. Не подъем и не шутки дивили офицера, – это ему приходилось видеть. Дивило его, что ни следа волнения или насады не видно было на лице девушки. Лицо сияло рвущейся из души, торжествующею радостью, как будто она готовилась к великому празднику, к счастливейшей минуте своей жизни.

Девушка выпрямилась, блаженно взглянула на синевшее под солнцем море, на город под ногами, сверкавший в дымке золотыми крестами и белыми стенами вилл. И глубоко вдохнула ветер. Рядом привычными, мужицкими взмахами работал киркою высокий болгарин в светло-зеленых пасталах.

– Товарищ Ханов, правда, как хорошо?

На всю жизнь в памяти офицера осталось ее лицо. Он не мог бы сказать, красиво ли было это лицо, и все-таки такой красоты он никогда больше не видел.

Офицер ощерил зубы под подстриженными темными усиками и встал.

– Стройся! Спинай ко рву!

Ханов ревниво отстранил ставшего подле Веры Капралова, расправил широкую свою грудь и восторженно вздохнул. Никогда не знала его душа такой странно-легкой, блаженной радости, как сейчас, под направленными на грудь дулами. Он запел, и другие подхватили:

Вставай, проклятьем заклейменный.

Весь мир голодных и рабов...

Матрос, горя глазами, тряс кулаком в воздухе:

– Да здравствует советская власть! Да здравствует социализм! Не долго уж вам, проклятые!..

Офицер бешено крикнул:

– Пли!!

Дачка на шоссе. Муж и жена. И по-прежнему очумелые глаза, полные отчаяния. И по-прежнему бешеная, неумелая работа по хозяйству с зари до поздней ночи. Он – с ввалившимися щеками, с глазами, как у быка, которого ударили обухом меж рогов. У нее, вместо золотистого ореола волос, – слезавшаяся собачья шерсть, бегающие глаза исподлобья, как у затырканной кухарки. И ненавидящие, злобные друг к другу лица.

– Не стану я поливать абрикосов! Понимаешь ты это? И так погибаем от работы. Не до абрикосов!

– Ты-то погибаешь? Баринном живешь, все на меня свалил. Ну, что ж делать, придется мне и абрикосы поливать.

– Ну, да послушай же, наконец, Лидочка! Сообрази хоть немножко...

– Ах, оставь! Все, все на меня рад свалить! Клещом каким-то, паразитом настоящим впился в меня и сосет все силы, все соки... Да еще зудит с утра до вечера. О, жизнь проклятая!

Четыре подводы перед кофейнею. Деревенские парни с красными от вина лицами. Заливались гармоники.

Катя спросила:

– Вы – мобилизованные?

Парень, свесившимися через грядку сапогами, ответил с усмешкою:

– Ну да, значит, – мобилизованные.

– Воевать едете?

– Нет, не воевать.

– А что же?

Парень помолчал.

– Мир вам привезти.

– Как же это?

– А вот так. Будет воевать, надоело. Через месяц придем к вам назад с красными флагами и вот этак мир вам принесем. – Он расставил ладони, как будто держал в них большой, хрупкий шар. – И будет спокойствие.

– Я не пойму. К большевикам перейдете?

– Зачем? Нет. А просто, значит, принесем мир. Чего нам воевать со своими? Вот у меня двух братьев большевики взяли, с собою угнали, а меня сюда гонят. И у всех так. Кому эта война нужна? Просто, сговоримся и уйдем.

В один ясный вечер, когда уже отзвенели цикады, и лиловые тени вползали на выбегающие мысы, и, в преднощной дремоте, с тихим плеском ложились волны на теплый песок, – Иван Ильич лежал на террасе, а возле него сидела Катя, плакала и жалующимся, детским голосом говорила:

– Мне больше не хочется жить! Зачем? Опять в этой разоренной дырке сколачивать щепочку со щепочкой, кур разводить, кормить поросенка... Не хочу! Из-за чего биться, из-за чего выматывать силы?

Иван Ильич ясными глазами смотрел на тускневшее, жемчужное море. Он медленно сказал:

– Жить хорошо, когда впереди крепкая цель, а так... Жизнь изжита, впереди – ничего. Революция превратилась в грязь. Те ли одолеют, другие ли, – и победа не радостна, и поражение не горько. Ешь собака собаку, а последнюю черт съест. И еще чернее реакция придет, чем прежде.

– Господи, как я устала! Наверно, так земля устанет в свой последний день!

Иван Ильич положил исхудалую руку на ее руку, загорелую и загорелую, тихо улыбнулся и вдруг сказал:

– Давай умрем.

Катя вздрогнула, выпрямилась и впиалась глазами в его глаза.

– Убить себя? – Она вскочила. – У меня мелькала эта мысль... Нет, ни за что! Сдаться, убежать! Забиться в угол и там умереть, как отравленная крыса!.. Ни за что! Какая скупость к жизни, какая убогость!.. Нет, я хочу умереть, но чтоб бороться! Пусть меня пилами режут пополам, пусть сдирают кожу, но только, чтоб не было бегства!

Иван Ильич тихонько плакал и целовал ее руку.

– А за что бороться... Девочка моя, как я тебе завидую! Если бы я был молод!

Она в ответ целовала его седую, растрепанную голову, и слезы лились по щекам.

– Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу, – ничего, ничего это никому не нужно!

И Катя увидела, – ясный свет был в глазах Ивана Ильича, и все лицо светилось, как у Веры в последний день.

Гуще становились сумерки. Зеленая вечерняя звезда ярко горела меж скал.

Особенная, редкая тишина лежала над поселком, и четко слышен был лай собачонки на деревне. Они долго сидели вместе, пожимали друг другу руки и молчали. Иван Ильич пошел спать. Катя тоже легла, но не могла заснуть. Душа металась, и тосковала, и беззвучно плакала.

Катя встала, на голое тело надела легкое платье из чадры и босиком вышла в сад. Тихо было и сухо, мягкий воздух ласково прикивал к голым рукам и плечам. Как тихо! Как тихо!.. Месяц закрылся небольшим облачком, долина оделась сумраком, а горы кругом светились голубовато–серебристым светом.

Вдали ярко забелела стена дачи, – одной, потом другой. Опять осветилась долина и засияла тем же сухим, серебристым светом, а тень уходила через горы вдаль. В черных кустах сирени трещали сверчки.

Катя похоронила Ивана Ильича, распродала мебель, лишние вещи, и однажды утром, ни с кем не простившись, уехала из поселка, неизвестно куда.

1920–1923

## ПРИМЕЧАНИЯ

### В ТУПИКЕ

Впервые отрывки из романа опубликованы в «Южном альманахе», Симферополь, 1922, кн. 1; в журналах: «Красная новь», 1922, ЛЬ 4, 5; «Петроград», 1923, ЛЬ 1; «На вахте», Грозный, 1924, ЛЬ 6; в сб. «Революционная проза», ЛЬ 1, Киев, 1924. Полностью – в кн.: «Недра». Литературно–художественные сборники. М., 1923, кн. 1 и 2; 1924, кн. 3. Написано в 1920 – 1923 годах.

Работе В.Вересаева над крупными произведениями обычно предшествовали многолетние размышления, находившие отражение либо в дневниковых записях, либо в его очерках и публицистике. Так было и с романом «В тупике». Через несколько месяцев после Февральской революции 1917 года писатель выпустил почти одновременно три небольшие брошюры – «Бей его! (О самосудах)», «Наплевать! (Борьба за право)», «Темный пожар (О свободе слова)». В них намечены многие мотивы будущего романа. Сочувствуя развернувшимся революционным событиям, помогая им не только словом, но и делом как председатель художественно–просветительской комиссии при Московском совете рабочих депутатов, В.Вересаев

вместе с тем был очень обеспокоен, что свободу «темная часть народа поняла так: всякий делай, что хочешь, законов никаких не надо исполнять. Такое мнение очень опасно для свободы и революции».

Прокатившаяся по Москве волна самосудов толпы чревата, по мнению писателя, самыми опасными последствиями. «...Жизнь человеческая – вещь драгоценная, и к ней нужно относиться очень бережно». «Пролитая кровь» «начинает пьянить голову», «пятнает и калечит» людям толпы «душу совсем так же, как всякому палачу» («Бей его!»)

Без законов, без твердого права нет и не может быть демократического государства. Это – первейшая забота революции. «Трудно жить в стране, где люди вяло и равнодушно смотрят на попрание своих прав» («Наплевать!»).

Закон должен запрещать бесправие, но не душить свободу, так как она обязательное условие истинного человеческого существования. «Свободный гражданин понимает, как необходима для страны свобода слова, он всеми силами стоит за эту свободу и не позволяет нарушать ее, даже когда запрещают говорить то, чему сам он не сочувствует. Он понимает, что, если сегодня запрещают говорить другому, то завтра могут запретить говорить и ему самому.

Поэтому он требует, чтобы всякий имел право говорить то, что он думает. Этим – то именно гражданин свободной страны и отличается от жителя страны рабской. Всякий раб, конечно, желает свободы слова для себя и для тех мыслей, которым он сочувствует. Но раз сам он почувствует за собою силу, то сейчас же начинает преследовать других за неприятные ему мысли с такою же свирепостью, с какою раньше другие преследовали его самого. Приходится признать, что мы в России еще очень плохо понимаем настоящую свободу слова.

Мы то и дело грубо нарушаем ее и даже сами не замечаем этого и воображаем, что стоим за свободу... Мы слишком еще рабы... Зачинается на Руси темный подземный пожар, – пожар злобной ненависти ко всякому чужому мнению: люди стремятся зажать друг другу рот, скрутить, сократить, не дать пикнуть... С этим пожаром необходимо дружно бороться...» («Темный пожар»).

Потребовалось три года, чтобы эти мысли писателя начали принимать форму романа. В.Вересаев приступил к работе над ним в Крыму, где жил с сентября 1918 г. по октябрь 1921 г. на своей даче в Коктебеле, недалеко от Феодосии.

По свидетельству писателя, в романе нашли отражение события Гражданской войны, которые он наблюдал тогда в Крыму. Арматлук – это Коктебель; изображенный в романе город – Феодосия. Многие персонажи имели реальных прототипов. Так, В.М. Нольде, племянница и литературный секретарь В. Вересаева, свидетельствует: «Катя напоминает Наташу из повести «Без дороги», может быть потому, что прототипом и той, и другой героини в значительной степени была Мария Гермогеновна – жена писателя» (В.М. Нольде «Вересаев», Тула, 1986, стр. 131). Об Н.А.Марксе, многие черты которого воспроизведены в образе академика Дмитриевского, упоминалось в предисловии к настоящему тому. Прототипом пианистки Гуриенко–Домашевской была артистка Московского Большого театра М.А. Дейша–Сионицкая, имевшая дачу в Коктебеле.

О жизни В.Вересаева в Крыму так вспоминал И.Эренбург: «...Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика... В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк... Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет – ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных... Я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный, а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман «В тупике», где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого–демократа, то его дочери–большевички». (И.Г.Эренбург. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 8, М., 1966, стр. 306 – 307).

Несмотря на тяжелые условия жизни, В.Вересаев много занимался литературным трудом: помимо работы над романом, в эти годы им написаны пьеса «В священном лесу», рассказ «Со-

стяжание». Активно помогал он и установлению в Крыму Советской власти. В апреле – июне 1919 года, когда восточный Крым был в руках большевиков, В.Вересаев работал членом коллегии Феодосийского наробраза, заведовал отделом литературы и искусства.

Заканчивал роман В.Вересаев уже по возвращении в Москву. Его очень тревожила возможность прохождения «В тупике» через цензуру. О событиях, которые способствовали публикации романа, он рассказал в сохранившейся мемуарной зарисовке, написанной в 1938 г. и недавно опубликованной в журнале «Огонек» (1988, ЛЬ 30):

«Я кончал свой роман «В тупике». Он должен был печататься в альманахе «Недра». Возможность прохождения романа сквозь цензуру вызывала большие опасения. Редактор издательства «Недра» Н.С.Ангарский имел какие-то служебные отношения к тогдашнему заместителю председателя Совнаркома Л.Б.Каменеву. В декабре месяце 1922 года Ангарский обратился к Каменеву с просьбой, нельзя ли было устроить у него чтение моего романа.

– А, вот и прекрасно! – сказал Каменев. – Первое января – день у всех свободный. Пригласим кое-кого и послушаем!

Первого января я с женой приехал в Кремль к Каменеву. Понемножку собирался народ, мне в большинстве совершенно незнакомый. Роман написан в виде отдельных сцен, можно сказать – в стиле *blanc et noir*\*: как мне говорил один партиец, за одни сцены меня следовало посадить в подвал, а за другие предложить в партию.

\* белое и черное (франц.).

Начал я читать. Стратегический мой план был такой: сначала подберу сцены наиболее острые в цензурном отношении, а потом в компенсацию им прочту ряд сцен противоположного характера. Читал около часа. Обращаюсь к Каменеву:

– Может быть, можно сделать перерыв?

Каменев смущенно спросил:

– А вы долго собираетесь еще читать?

– Около часа.

– Нет, это совершенно невозможно. Тут еще товарищи Шор, Эрлих и Крейн что-нибудь сыграют нам, а потом сядем ужинать. Почитайте нам еще минут десять, а за ужином поговорим о прочитанном.

Нечего делать. Постарался подобрать для окончания несколько наиболее ярких в положительном смысле сцен, но все-таки в общем получилось такое преобладание темных сцен над светлыми, что дело мне представилось совершенно погибшим. Кончил. Жена сидела как приговоренная к смерти. Подошел смущенный Ангарский.

– Викентий Викентьевич, что же это такое?

Я стал расспрашивать Ангарского, кто здесь присутствует.

– Вот этот – Дзержинский, вот – Сталин, вот – Куйбышев, Сокольников, Курский.

Одним словом, почти весь тогдашний Совнарком, без Ленина, Троцкого, Луначарского. Были еще Воронский, Д.Бедный, П.С.Коган, окулист профессор Авербах и другие.

Поиграли Шор, Эрлих и Крейн. Сели ужинать. Началось обсуждение прочитанного. На меня яро напали. Говорили, что я совершенно не понимаю смысла революции, рисую ее с обывательской точки зрения. Нагромождаю непропорционально отрицательные явления и т.п.

Каменев говорил:

– Удивительное дело, как современные беллетристы любят изображать действия ЧК. Почему они не изображают подвиги на фронте гражданской войны, строительства, а предпочитают лживые измышления о якобы зверствах ЧК.

Раскатывали жестоко. Между прочим, Д.Бедный с насмешкой стал говорить об русской интеллигенции и прибавил:

– Недавно мне говорил Ив.Дм.Сытин: «Много этой сопливой интеллигенции толклось у меня в передней, когда я издавал «Русское слово».

Забегая вперед, скажу, что я в своем заключительном слове сказал Д.Бедному:

– Что же касается той «сопливой интеллигенции», о которой говорил товарищ Д.Бедный, то я отвечу ему вот что: товарищ Демьян, если вы хотите судить о достоинстве женщины, то не обращайтесь за экспертизой к содержанию публичного дома. Уверяю вас, информация

его будет очень односторонняя. Вот Сытин говорит об интеллигенции, которая толклась у него в передней.

Соответствующая интеллигенция у него и толклась. А вот я вам скажу, что сам этот Сытин толкался у меня в передней, приглашая сотрудничать у себя в «Русском слове», и никакого результата не добился. И так было, конечно, не со мной одним.

Точно не помню, кто еще что говорил. Помню, еще очень сильно нападал профессор П.С.Коган. Говорили еще многие другие. Потом взял слово Сталин. Он в общем отнесся к роману одобрительно, сказал, что Государственному издательству издавать такой роман, конечно, неудобно, но, вообще говоря, издать его следует. После этого горячую защитительную речь сказал Ф.Э.Дзержинский.

– Я, товарищи, совершенно не понимаю, что тут говорят. Вересаев – признанный бытописатель русской интеллигенции. И в этом новом своем романе он очень точно, правдиво и объективно рисует как ту интеллигенцию, которая пошла с нами, так и ту, которая пошла против нас. Что касается упрека в том, что он будто бы клеветает на ЧК, то, товарищи, между нами – то ли еще бывало!

На меня он произвел впечатление чарующее. За ужином я сидел рядом с ним. Он меня между прочим спросил:

– А скажите, пожалуйста, где сейчас находится этот Искандер, о котором вы пишете?

В моем романе был выведен председатель ревкома, садически жестокий армянин, взявший себе псевдоним «Искандер». Я ответил, что после прихода белых Искандер бежал из Феодосии в Карасубазар. Но его выследили дашнаки и застрелили из револьверов при выходе из парикмахерской, куда он зашел с целью преобразить свою наружность. Когда меня это спрашивал Дзержинский, глаза его блеснули так холодно и грозно, что я почувствовал, что плохо пришлось бы этому Искандеру, если б он был жив.

Между прочим, я его спросил, для чего было проделано в Крыму то, что мне пришлось видеть там, помнится, в 1920 году. Когда после Перекопа красные овладели Крымом, было объявлено во всеобщее сведение, что пролетариат великодушен, что теперь, когда борьба кончена, предоставляется белым выбор: кто хочет, может уехать из РСФСР, кто хочет, может остаться работать с Советской властью. Мне редко приходилось видеть такое чувство всеобщего облегчения, как после этого объявления: молодое белое офицерство, состоявшее преимущественно из студенчества, отнюдь не черносотенное, логикой вещей загнанное в борьбу с большевиками, за которыми они не сумели разглядеть широчайших народных трудовых масс, давно уже тяготилось своею ролью и с отчаянием чувствовало, что пошло по ложной дороге, но что выхода на другую дорогу ему нет. И вот вдруг этот выход открывался, выход к честной работе в родной стране. Вскоре после этого предложено было всем офицерам явиться на регистрацию и объявлялось, те, кто на регистрацию не явится, будут находиться вне закона и могут быть убиты на месте. Офицеры явились на перерегистрацию. И началась бессмысленная кровавая бойня. Всех являвшихся арестовывали, по ночам выводили за город и там расстреливали из пулеметов. Так были уничтожены тысячи людей. Я спрашивал Дзержинского, для чего все это было сделано? Он ответил:

– Видите ли, тут была сделана очень крупная ошибка. Крым был основным гнездом белогвардейщины. И чтобы разорить это гнездо, мы послали туда товарищей с совершенно исключительными полномочиями. Но мы никак не могли думать, что они так используют эти полномочия.

Я спросил:

– Вы имеете в виду Пятакова? (Всем было известно, что во главе этой расправы стояла так называемая «пятаковская тройка»: Пятаков, Землячка и Бела Кун.)

Дзержинский уклончиво ответил:

– Нет, не Пятакова.

Он не сказал, кого, во из неясных его ответов, я вывел заключение, что он имел в виду Бела Куна.

Рассказывал он кое-что про себя. Между прочим, рассказал с усмешкой, что во время империалистической войны он содержался в Варшавской каторжной тюрьме; перед сдачею Варшавы немцам его перевели в Орловский централ. «Если бы знали, то, пожалуй, не так бы старались увезти к себе».

Он на меня произвел впечатление глубоко убежденного и хорошего человека. Роман мой в это время еще не был окончен. И когда я там во второй части выводил председателя ЧК Воронько, я думал о Дзержинском.

Этот вечер сыграл решающую роль в появлении моего романа на свет. Когда в Главлите ознакомились с романом, там расхохотались и сказали:

– И вы могли думать, что мы разрешим такую контрреволюцию?

– Успокойтесь. Политбюро почти в полном составе слушало этот роман и одобрило к печати.

Каждое новое издание романа снова задерживалось Главлитом, в каждый раз требовалось новое вмешательство свыше, чтобы пропустить роман. Однако последнее издание его – кажется, 1929 года – было уже порядком пощипано цензурой, а потом уже издавать его оказалось невозможным.

Между прочим. По поводу английского перевода романа «Times» писала: «Говорили, что в СССР нет свободы печати; мы же из предисловия романа с удивлением узнали, что автор – не эмигрант, не сидит в советской тюрьме, а благополучно живет и здравствует в Москве».

Отзывы в прессе о романе были разноречивы. Часть критиков оценила его резко отрицательно. П.Жуков в заметке «Писательский тупик» иронизировал: «Это не роман... но автор – в тупике... Типичное провинциальное обозрение из «толстого» дореволюционного журнала. Без конца, без финала», «отголосок... всех сплетен», «нехудожественный роман», ««В тупике» – вчерашний день русской литературы» («Жизнь искусства», 1924, ЛЬ 3). Мысль об архаичности романа, его отгороженности от актуальных проблем эпохи развивал и Ю.Тынянов:

«...При всем напряжении фантазии трудно представить себе, чтобы шло дело о современности... вы все время чувствуете себя в небольшом, уютном кузове идейного романа 90-х годов. Герои очень много говорят и любят плакать» («Литература сегодня» – «Русский современник», 1924, ЛЬ 1). «...Как случилось, – спрашивал В.Вешнев, – что В.В.Вересаев, связавший свою судьбу с трудовой демократической интеллигенцией, оказался в эпоху пролетарской революции «в тупике»?» И на поставленный вопрос критик отвечал так: «В.В.Вересаева можно определить, как художника марксистской интеллигенции», но «симпатии его с самого начала и до конца на стороне меньшевистского крыла русских марксистов», он примыкал к той интеллигенции, которая «обладала двумя органическими пороками: предрасположенностью к безжизненной отвлеченности, неумением применить марксистскую диалектику на практике и непониманием, незнанием трудовых масс, несмотря на то, что вела революционную работу среди этих масс» («В.В.Вересаев в русской общественности». – «Известия», 1925, 6 декабря). Высказывалось даже мнение, что В.В.Вересаевым сознательно «искажена действительность», в силу чего кровавые беззакония, чинившиеся белогвардейцами в Крыму, приписаны красным (Б.Горянов. «Об «объективной» литературе». – «Книга и революция», 1929, ЛЬ 1).

Однако большинство из непринявших роман критиков полагали, что дело не в злонамеренности автора, – просто «его душа не опалена знойным ветром революции» (заметка без названия О.Леонидова в «Политработнике», 1922, ЛЬ 8 – 9), и, хотя он не эмигрировал, а остался на родине и «пытается сопутствовать революции», он «все-таки не свой, а чужой», так как «не слился», «не сросся» с революцией (Я.Окунев. «Братья – писатели». – «Журналист», 1923, ЛЬ 7).

Это в целом негативное отношение к роману оспаривали его горячие сторонники, которых тоже было немало. «В потоках стихов и прозы» В.Львов–Рогачевский отметил три «струи»: «С одной стороны, агит-стихи и полит-проза, героический романтизм и голый идеологизм боевой партийной литературы», «с другой стороны, беспозвоночный, беспрограммный, безлозунговый натурализм» и «наконец, третьи пытаются подняться на историческую высоту и осмыслить, уяснить огромный сдвиг, пережитый Россией», – яркий пример этому роман «В тупике». «Только такой писатель, как Вересаев, за которым давно уже упрочилась репутация объективного и правдивого историка революционной общественности, мог подойти к острой и сложной теме о российской интеллигенции пред лицом революционных событий». В романе «говорится впервые о том, что у всех накопело и наболело», при этом написан «с классической простотой» («Наши дни в современной литературе». – «Пламя», 1923, ЛЬ 2). «В



тупике» – «более чем художественнопроизведение: это документ эпохи» (В. Львов–Рогачевский «Беллетристика наших дней». – «Корабль», 1923, Лб 1 – 2), на основании которого «у читателя складывается твердое убеждение в безнадежности и полной обреченности самого дела контрреволюции» (Н. Ангарский. «В. Вересаев и русская интеллигенция». – «Известия», 1925, 29 ноября). Высокие художественные качества романа отмечали многие рецензенты, особо выделяя мастерское изображение таких персонажей, как Иван Ильич, Катя, Дмитревский, Андожская, Уляша, Белозеров, Вера, Ханов, «молчаливой фигуры стекольщика», лирических сцен Кати и Дмитрия, вечера в доме Агаповых.

Но все же в критике тех лет преобладало более сдержанное отношение к роману, хотя в общем скорее одобрительное. Отмечалось, что В. Вересаев вновь предстает «Нестором русской интеллигенции», который объективно «отразил в своих произведениях все «узловые» моменты «интеллигентской истории» последних двадцати пяти лет» (Вяч. Полонский. «Интеллигенция и революция в романе В. В. Вересаева («В тупике»)). – «Печать и революция», 1924, кн. первая). При этом подчеркивался явно сочувственный взгляд В. Вересаева на революцию, что отличало его от многих собратьев по перу: «Старые русские писатели, наши маститые: Ив. Шмелев, Сергеев–Ценский, Ив. Бунин и даже Максим Горький слишком остро пережили разгром старого... Только один Вересаев, историк нашей революционной общности, продолжал идти в ногу с наиболее активной частью революционной интеллигенции» (Там же). Но ему мешало стремление к «неограниченной объективности», «местами доходящей не только до карикатурности, но и памфлета... Плохи белые, но еще хуже красные. Плохи красные, но как будто еще хуже белые» (Ник. Смирнов. «По журналам и альманахам». – «Известия», 1924, 24 февраля). Однако за этой кажущейся объективностью «просвечивает довольно явственно» «сочувствие писателя к людям в тупике». Поэтому в центре авторского внимания оказались не большевики, не революционно настроенные рабочие, а меньшевичка Катя и народник Иван Ильич: «Вересаев повествует, главным образом, об эсеровско–меньшевиствующей интеллигенции» (А. Воронский. «Литературные отклики. В тисках». – «Правда», 1922, 20 декабря). «Вересаев хотел быть объективным», но, «изображая своих героев, зашедших в тупик, он смотрел на революцию их глазами, в редких случаях, как художник, подымаясь над ними...

Мы не упрекаем Вересаева в умышленно злобном изображении революции. Он явно симпатизирует последней... «В тупике» – роман не только посвященный интеллигенции, но и написанный «интеллигентом». В. В. Вересаев неотделим от его героев; он – один из тех многих, которые «на бога не восстали, но и верны ему не пребывали», «колеблясь между приятием революции и ее осуждением...» (Вяч. Полонский. «Интеллигенция и революция в романе В. В. Вересаева («В тупике»)). – «Печать и революция», 1924, кн. первая). Все это не дает основания рассматривать роман как широкое полотно о революции и Гражданской войне – «оставим за романом место художественного документа о распаде и перерождении старой, либеральной и «право–социалистической» интеллигенции. В этом его ценность» (Ник. Смирнов. «По журналам и альманахам». – «Известия», 1924, 24 февраля).

Эта часть критики, сожалеющая, что В. Вересаев не проникся в полной мере идеями большевизма, спорила с писателем как раз с тех позиций, которые, по его мнению, способны привести революцию к краху. Не существует «абсолютной ценности человеческой личности вообще» как нет и «общечеловеческой самодовлеющей морали», утверждал А. Воронский. Это «мыльные пузыри», они «лопнули» в революционном «урагане»; «благо революции превыше всего; все хорошо, что целесообразно, что ведет к победе» («Литературные отклики. В тисках». – «Правда», 1922, 20 декабря). «Жестокость, грубость, аморализм», – вторил Вяч. Полонский. – без этого «революции не бывает и быть не может. Если хочешь принять революцию – прими ее со светлыми идеалами и с кровавым путем, который к идеалам этим ведет («Интеллигенция и революция в романе В. В. Вересаева («В тупике»)). – «Печать и революция», 1924, кн. первая).

Своего рода подведением итогов этой дискуссии стала статья А. Лежнева о первом десятилетии советской литературы, где критик констатировал: «Одно только произведение, вышедшее из «недр» старой литературы, сумело в те годы привлечь всеобщее внимание, стать «событием» – «В тупике» В. Вересаева» («Художественная литература». – «Печать и рево-

люция», 1927, Лб 7). А в наши дни, когда оглядываются на пройденный русской литературой путь, значительность романа кажется еще большей. Крупный советский историк В. Логинов в диалоге с критиком А. Егоровым, опубликованном 28 октября 1987 года в «Литературной газете», говорил: «...О трагедии интеллигента в революции, о поисках выхода рассказал Алексеи Толстой в «Хождении по мукам».

Я бы поставил рядом (а то и выше) роман Викентия Вересаева «В тупике». Изданный в двадцатых годах, он заслуживает того, чтобы жить сегодня». После первой публикации в сборниках «Недра» роман издавался еще восемь раз. В силу того, что, по свидетельству В. Вересаева, последнее прижизненное издание романа «В тупике» (1931, а не 1929 года, как ошибочно указал писатель в воспоминаниях) было сильно «пощипано цензурой», его текст печатается по предпоследнему изданию: В. В. Вересаев. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1930.

Ю. Фохт–Бабушкин

## Л. СЕЙФУЛИНА. ПРАВОНАРУШИТЕЛИ

Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (Новониколаевск), 1922, № 2.

1

Его поймали на станции. Он у торговок съестные продукты скупал.

Привычный арест встретил весело.

Подмигнул серому человеку с винтовкой и спросил:

– Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку?

Тот даже сплюнул.

– Ну, – дошлый! Все, видать, прошел.

Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека.

В комендантской губчека спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно и весело.

– Как зовут?

– Григорий Иванович Песков.

– Какой губернии? – брезгливо и невнятно спрашивал комендант.

– Дальний. Поди–ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново–вознесенский.

– Как же ты в Сибирь попал?

– Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.

Сказал – и гордо оглядел присутствующих.

– Да каким чертом тебя сюда из Иваново–Вознесенска принесло?

Степенно поправил:

– Не чертом, а поездом.

На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что–то пером на бумаге, ответил только солидным плевком на пол.

– Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы.

Детей питерских с учителем сюда на поправку вывезли. Красный Крест, что ли, ихний. Это дело не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкормите, дескать. Ну а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревню убег.

– Что ты там делал?

– У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат, на работу спорый!

– Ну а добровольцем ты у Колчака служил?

– Служил. Только убег.

– Как же ты в добровольцы попал?

– Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.

– Что же ты от красных бежал? Боялся, что ли?

– Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.

Солдаты снова дружно захохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:

– Обыскать.

Так же охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные – все скрашивали. И заморенное помятое яичико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.

– Деньги–то ты где набрал?

– Которые украл, которые па торговле нажил.

– Чем же ты торговал?

– Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим

– Ну, хахаль! – подивился комендант. – Родители–то у тебя где?

– Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым–то и с детьми за хлебом куды–то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.

И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропаций». Но свет глаз Тришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.

– Что ж ты у Колчака делал?

– Ничего. Записался да убег.

– Так ты красной партии? – вспомнил комендант.

– Красной. Дозвольте прикурить.

– Бить бы тебя за куренье–то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?

– Четырнадцатый, в Григория–святителя пошел.

– Святителей–то знаешь? А поминанье зачем у тебя?

– Папашку записывал. Узнает – на небе–то легче будет.

Мать забыла, а Гришка помнит.

– А ты думаешь, на небе?

– Ну а где? Душе–то где–нибудь болтаться надо. Из тела–то человеческого вышла.

Комендант снова потускнел.

– Ну, будет! Задержать тебя придется.

– В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно.

Посидим. До свиданьица.

Гришку долго вспоминали в чеке.

Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека.

Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.

– И чего человек старается? – дивился Гришка. – И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой–то башкой...

Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо.

Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели.

Разбередил очкастый.

По вечерам в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.

– Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.

Ночью плохо было. Мальчишки возились, и «учитель» покрикивал. Чем–то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог.

Дивился:

– Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.

И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:

– Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!

И целует.

Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает:

детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чувствуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился.

Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило.

Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.

Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно.

Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой...

Дать бы ему подзатыльник, хорошему–то! А то еще учительши ходили:

– Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.

Ну и встанут. В зале с девочками вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай.

А то еще руками вот этак разводят и головой то на один бок, то на другой.

Где гнутся над омутом лозы...

Спервоначально смешно было, а потом надоело. Башка–то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был «Интернационал»! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!

Вставай, проклятьем заклейменный...

Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам–то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все–таки за «Интернационал» Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа.

Тетя какая–то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:

– Надо петь: весь мир жидов и жиденят.

А Гришка красной партии. Знает: и жида люди. Это Советскую власть ими дрызнят. Ну и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. Аукак белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:

– Дурья башки! Чего я тут воровать стану? Кормят пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет.

Вот сбегу, тогда украду.

Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить не учат. Говорят, инструменту нет. А эту «пликацию» из бумаги–то вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборную на стенке наклеил и карандашом подписал: «Тут тебе и место сия аптека для облегченья человека Григорий Песков».

Писать–то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрюмый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит на всех – чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:

– Курить человеку правильному не полагается.

Куренье – дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил, – охота задымить папироску. А тетя Зинд всех голубчиками зовет. По го–4 ловке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.

– Это нехорошо; голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговицы все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку прочитаю?

А ты порисуй.

Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал:

«Анкетов никаких нилюблю и нижалаю».

Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:

– У–у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.

Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговицы застегивает, и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает.

Девчонки все пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку с мальчишками охальничают. Манька с копей – ничего. Песни жалостные поет и книжку читать любит. Но и с ней Гришка не разговаривает. Боится. Нагляделся на девчонок–то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать!

В монастыре детский их дом был. За высокими стенами. И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:

– Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся – малолетние правонарушители. Важно! По–простому сказать, воры, острожники, а по–грамотному – пра–ва–на–ру–шители.

Это название нравилось так же, как «Интернационал».

Гришка гордился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.

Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задвигаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет. Снег мягким стал. Канавки уже нарыли, и вода в них под тоненьким, тоненьким ледочком. Сани по дороге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами не стук–стук, а чвакчвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радостные.

Осенью на них желтые мертвые листья трепыхались, а зимой снег. Теперь все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори. Дышат не надыхаются. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день по улице криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!. На дворе хорошо, когда по–своему играть дают. А как с учителями хороводы да караваи – неохота.

В лапту можно.

Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили. И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутков своих выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне сутились. Тогда на баб живых ходили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и прокричали:

– Ленин... Сафнарком!

Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла.

Веселее жить стало.

II

Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали.

Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Врывался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лице весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорялся он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые–стали.

А Гришка жил в себе Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часового, агента чеки и воспитателей прибавили.

Но случай помог.

Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой череде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Ближе к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили церковью монастырской пользоваться. Но потихоньку каждая жалобу свою излипа.

По утрам поодаль от высокой монастырской стены останавливалась крестьянская подвода. Иные дни – две–три. С видом виноватым, съездившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно, ласково говорили с часовыми, юркали в калитку. Двор встречал их отзвуками чуждой новой суеты.

В воздухе звенели слова: «товарищ», «детдом», «правонарушители».. Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых, с готовым вопросом в детских глазах, шли в задние малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим дающим тайную лепту излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия На собраниях в церкви монастырской, совместно с верующими, уговаривала: «всякая власть от бога».

Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывая, поскорбела:

– От храма божьего отрывают.

И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.

– Монахинь выселяют!

– Театры в монастыре будут...

– С икон ризы снимают...

– С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.

– Мать–игуменью в чеке пытали.

Из домов весть крылатая на базар, что на площади рядом с монастырем, перекинулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна, в тревоге, – за капусту три тысячи недополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью, визгливой и бестолковой:

– Матушка, царица небесная, троеручица! Что же это, холеры на их нет... сует деньги, а сам дирака! Коммунист лешачий!.. Жидово племя! Микола–милосливый... Молитвы, вишь, помешали... Чисто черти, ладана боятся. Невесты Христовы, матушки наши... да куда же пойдут? Задави их горой, ироды, антихристово семя!.. А, на–кося. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Придико еще... Лихоманка собачая!..

Мужики языка не распускали, но с базара, торг закончив, не уехали. Ближе к монастырю лошадемок подвинули.

Подали подводы для монашек. Большие ворота открыли. Часовые около них встали. И, точно проводом тайным, весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из–под черного клобука мать Евстолия. И в воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлопали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней, как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весеннем, черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:

– Матушки наши! Молитвенницы! Простите, Христа ради!

За ней другая. Еще звонче крикнула:

– Куды гонют вас от храма божьего?

Третья прямо в ноги лошади игумниной. И петуха из рук выпустила.

– На нас не посетуйте! Богу не пожальтесь!

Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц на плач прохожие метнулись. Конный солдат с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила.

К нему ринулась:

– За что над верой Христовой ругаетесь? Покарат!.. Дай срок, покарат!

Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины:

– Не дадим монастырь на разгром!

– Кому монашки помешали? Кого трогали?

Юркий и седеакий учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задрезжал старческий выкрик:

– Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?

Толпу подхлестнул:

– Правое нет!

– Ленину жалобу послать!

– Произвол местных властей!

– Богоотступники! В жидовскую синагогу никого не поселили. Жиды, хриstopродавцы!

– Ага! Да! В мечеть да в костел не пошли! В православный монастырь подзаборников поселили. В православный... Ни в чей...

А «подзаборники» шумной ватагой уж со двора высыпали.

Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под ноги, как щенки бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сияли серые глаза, и головенка с восторгом из стороны в сторону покачивалась.

Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красные. А монашки чисто куклы черные на пружинах. Туды–суды кланяются. Губы поджали.

– Ишь, изобиделись!

И, набрав воздуху в легкие, полный задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал; – Сволочь чернохвостая!

Диким концертом бабы отозвались:

– Над матушками пащенок ругается!

– Молитвенницу нашу материт!

Смяли бы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил.

К стене монастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было. Другой тоже оправился и во двор крикнул:

– По телефону скажите! Наряд нужно!

Но шум уж разнесся по городу. С разных концов мчались конные.

– Расходись... Расходись...

– Граждане, которы не монастырски, назад подайтесь...

Назад!..

Монашка одна визгнула и наземь кинулась. Конный к ней метнулся:

– Подсадьте матушку на подводу... Под бочок, под бочок берись. Клади... Гражданка игуменына, на подводу пожалуйте.

Подмогните! Проводите!

Смешливый стекольщик, в толпе застрявший, загоготал; – Ишь ты! Ухажер военный подсыпался.

Живо подхватили:

– Гы–гы... Га–га... И монашкам хочется с кавалерами–га.

– Хотится с ухажерами пройтиться... Ха–ха–ха...

– Лешаки–окаянные. Хайло–то распустили. Матушки наши!

Печальницы!..

– Ы–ы–ы... Еще на копеечку, тетенька, поголоси, советску десятку отвалою...

– Охальники! Кобели проклятые]

– Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.

– Гы–гы–гы... «Пойдем, Маня». Фу–ты; ну–ты, ножки гнуты... Юбка клош, карман на боку... Барышни–сударышни!

– Глянь–ка, глянь–ка, монашки добро укладывают.

– Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позади сундуки тащат.

– У игуменьи в подполье чугуна с золотом нашли.

– Сто аршин мануфактуры!

– Какие мученицы, подумаешь! Не на улицу выгоняют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?

– Я, как коммунист, губисполком одобряю.

– А я не коммунист, но тут я их понимаю. Детей девать некуда. П–а–нимаю.  
– Знамо, околевать ребятам–то, што ли? Им тут покои да послушницы, а дети под заборами.  
– Которы сироты... В пролубь их, што ли?  
– Ну–ну, расходись... Граждане, граждане! Осадите!  
Монашки юбки подобрали. Суетливо вещи укладывали.  
Иконописность свою потеряли. Толпа гудела. Сочувствие монашкам в разговорах сгасло.

Гришка от стены тихонько отделился и в толпу шмыгнул.

### III

Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по разным городам шманяться пришлось. И говорит: «Планида у меня такая беспокойная». Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а не понял. А теперь вспомнил, к себе применил:

– Планида у меня беспокойная.

Сейчас, к слову сказать, ребятам там «бутенброты» с чаем дают, а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда неохота все–таки. Да брюхо–то несговорное.

День протерпит, два, а там и замает человека. И припасы – ау!

Все изничтожили. Шестеро их на кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губнаробразовский с кучером обворовали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище на ночевки пристроились. Деньги у тех–то были, да и Гришка с себя рубаху да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь, привяжется.

– Кто ты есть? Откуда?

А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И не посмотрит!

Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто билетика не дал. В детской, когда без карточек, с тарелок доедать дают, а нынче погнали. «Рабкрину» какую–то ждут. В один дом сунулся.

– Подайте, Христа ради... Отца на войне убили, мамка от тифу в больнице померла.

Вашей вытолкали.

– Иди, – говорят, – у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.

Дивится Гришка.

– Дак нешто нас комиссары развели? Отцы да матерья.

А к им подбросили. Ну, дак, говори с дураками! А есть охота.

Столовые уже закрывают. Эх ты, незадача какая вышла!

С горя дал башкиренку – тоже у столовой стоял – по уху, а тот ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.

– Товарищ... дайте на хлеб...

– Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.

– Ишь, пошел, порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!

Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел:

– Почем десяток?

– Проваливай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.

Гришка глаза прищурил:

– Ох, какой зазнаистый! А може, у меня десять тыщ есть.

– Есть у тебя десять тыщ, других омманывай. Ну–ка, покажи!

– Стану я всякому показывать. Може, и побольше было.

– Ёыли да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!

– А ну, дай!

– И дам!

– А ну, попробуй!

– А попробую!

Встали посреди панели и друг на друга наскакивают. А туг барыню какую–то нанесло:

– Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?

А у того папироски–то в ящике в руке. Сдуру–то и сунься:

– Высшего сорту. Сколько? Десяток?



А она его за рукав:

– Пойдем–ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотный? К родителям сходим.

Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну, денек!

– А денек уж сгасал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая, розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.

Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стенами каменными огорожено, а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у них, в углу меж двух стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жгли. Но часто нельзя. Догадываются.

Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу «настреляли» и Гришке оставили. Две девчонки от сытости песню тихонько заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали. В яме сидели плотно. Тесно, а лучше. Теплее, да и по ночам не страшно. А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно – лучше.

А когда месяц на небо выпялится и тихо кругом – страшнее.

Далеко собаки пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одно слово могила. Чудится, затаился кто–то и рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрит. Из ямы выглянешь, кресты месьяц освещает. Все кресты да памятники стоят прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят. Сегодня ночь темная, ветренная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали, слушать стали.

Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька и рассказ повел:

– А вот я вам, товарищи; расскажу, какой случай был.

В одном городе... Ну, дак вот, барышня одна так–то... Не го реалистка, не то емназистка... Пришла ето домой да «ах»... да «ах, папаша, ах, мамаша, помираю». Дрык–брык, да на пол упанула. Мамашка ето к ней, папаша к ей, а она «помираю да помираю». Ну, канешно, сичас за дохтуром. Дохтура привезли.

Вот так и так, господин дохтур, помирать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, канешно, и квасом и шиколатом, а она, «нет, нет, помираю». Дрыг–брык, и не дышит. Ну дохтур уехал, канешно.

Маменька это повыла, повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же на кладбище. Она, канешно, там лежала, лежала да давай шебаршиться. Слушает сторож, шебаршится!

Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниньщ. Они людей понабрали, могилку разрыли, а она уж вдругорядь померла, канешно. А, видать, шебаршилась. Ножку одну вот эдак под себя подвернула. И говорит тогда дохтур: с ей был листаргический сон. И в газете так пропечатали. Я тогда маманьке с папанькой своим приказал: меня не хороните, пока я не прокисну и не протухну. Да–а.

Ребята слушали, затаив дыхание. А как кончил, Польшка–дура завывла: «Боюсь».

Гришка ее урезонивая:

– Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.

А Васька божится:

– Ей–tk), лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.

Петька–старшой, сам парнишка, – ровесник Гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:

– Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, он те пострашнее Васьшного покажет. А ты, пустобрех, заткнись!

Васька обозлился:

– Ишь ты! «Заткнись»! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бляблю хорошую, так поверишь.

В это время в лесу: бах–бах! За стеной кладбищенский лес сразу начинался.

Дети затихли.

– Стреляют, – прошептала Анютка.

Тихо сказала, но страха в голосе уж не было. Не в первый раз они выстрелы слышали.

Гришка в темноте деловито брови нахмурил.

– Это которых на расстрел. Контрреволюционеров.

– А пошто? – Польша пискнула.

Петька отозвался:

– Вот дура. Который раз тебе говорю: супротив советской власти которые.

Завозился молчаливый Антропка:

– А я боюсь, когда человек стреляют. Больно.

А в лесу опять: бах–бах! Затаились. Слушали с любопытством. Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех, в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе видал. У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы проглотив, тихонько сказал:

– В тюрьму бы их лучше.

Петька презрительно сплюнул:

– А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал.

Его как?..

– А в тюрьму его...

– А он убежит, да опять убьет.

– А солдатом к нему приставить, он не убежит..

– А он солдатом убьет.

– А у него ривольверту нету, не убьет..

Крыль Петьку. Подумал – и сказал только:

– Ты дурак, Антропка!

А Гришка ничего не говорил, а думал:

«Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?»

И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.

Затаили выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще? Не дождались. Пришел сон, веки смежил и всякие мысли отвел.

Антропка только во сне взвизгивал тихонько.

Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным. Тьма скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в губчека и в расстрел играли. Петька председателем губчека был. В одной руке будто бы револьвер держал, а в другой из пулемета стрелял. Польшку с Анюткой расстрелять водили.

Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело командовал:

– Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..

В звонких детских криках не было ни кошунства, ни жути, ни гнева. Они в простоте жизнь больших воспроизводили. А солнышко грело жарко. Будто лаской своей обещало: новую игру еще придумают, эту забудут.

День веселый удался. Парижскую коммуноу праздновали.

В детской столовой без карточек кормили. Кладбищенские жильцы в близкую очередь попали и покормились. А потом по улицам с народом за красными флагами ходили. «Интернационал» пели. На площадях ящики высокие красным обтянули. На них коммунисты руками размахивали и про Парижскую коммуноу что–то кричали. Один Гришке больше всего поглянулся.

Большой да кудлатый, орластый. Далеко слышно! По ящику бегают, патлами трясет, а потом как по стенке ящика ударит кулаком:

– Шапки долой! Буду говорить о мучениках коммуны!

Здорово и внятно рявкнул. Гришка слова запомнил, а потом сам в толпе кричал:

– Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!

Около бабы какой–то закричал, она ему затрещину влпила:

– Свиненок, вопит без ума! Кака така коммуна–то – не знает, а орет!

Гришка голову, где влетело, погладил и дальше радостный помчался. Как не знает? Знает. Коммуна – это у коммунистов, а Парижеска .. Город такой есть. За Москвой где–то. Слышал

еще в детском доме: «большой город Париж, в его приедешь – угоришь». Нет, Гришка, брат, знает. Снова в буйном восторге заорал:

Сваею собственной рукой!

Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тоненьким голоском визжала. Что – не разберешь, а смотреть на нее смешно. Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голоском передразнил: и–ти–ти–ти! И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.

Пальто чистое, и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками машет и орет:

– Товарищи, прашу вас анракинуть капитал!

Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к «ящику»:

– Убедительно прашу вас апракинуть капитал!

Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили.

В толпе захохотали:

– Вот те опрокинул капитал!

– И чем натрескался? – завистливо удивился хриплый бас.

Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел:

– Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!

Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого–то искали, а нашли Гришкину комму. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые красноармейцы ругались, но не били.

#### IV

После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек. Три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:

– Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!

– И на что вас рожали? Тьфу. Ну ты, голомызай, не веньгай! Биз тебе тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по–русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом аа длинную рубаху взял и за нее за собой тащил. Тюбетейка в грязь упала. Старший поднял и набекрень ему ее нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучий, но монотонный.

– Ига кайттырга ты–лэ–эм! (домой хочу).

Ворчал старший в ответ:

– Катырга, катырга... Знамо, каторга. И вам, и нам с вами.

А ты не скрипи! Коли тебе жизнь определила каторгу, скрипи не скрипи толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили. Проходящие на ребят оглядывались. Седой господин, с воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал и громко сказал:

– Безобразие! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку–то?

Старший к нему дернулся:

– А жалостливый, дык возьми к себе! Каждый день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?

Господин возмутился. Дети дальше брели.

В наробразе, известно, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Старенький делопроизводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет.

Барышня с челкой завитой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек тербит и сердится:

– В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают!

Что это...

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, и в одном белье, и в ремушках разных.

В приемник Гришкину партию отправили. Там сказали:

– Некуда. Не примем.

Назад привели. Старший сопровождающий плюнул и ушел.

Двое других сигарки завернули и на пол на корточки присели отдохнуть. Гришку замутило. И от голода, и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоски. На пол сел, мутными глазами в потолок уставился, крепко губы сжал. Лицо стало скорбным и старым. А в комнату бритый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавливал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытоптались. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.

– Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все эти бумажки надо. А ты, башкурдистан, чего воешь? Автономию просишь?

Глаза узкие шурил и тонкие губы кривил. Над всем смеялся.

Как говорил, руки все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. ВесЪ трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил.

Дела.

– Подождите, товарищ Мартынов, – затянула жалостно старшая барышня. Всегда вы с шумом. Вот голова кругом идет. Куда их девать?

– Сортиры чистить, землю рыть... Куда? Место найдется.

Эй ты, арба башкирская. Долго еще проскрипишь?

И похоже передразнил: – – И гы–гы–гы...

У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись.

И скрип свой прекратил.

– Ну, так, барышни, как? Все бумажечки, бумажечки? По инструкции, с анкеточками?

И опять ладони одна о другую.

– Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.

– А вот хорошо, товарищ Мартынов, – обрадовалась старшая. – Мы вам сейчас отберем.

Тут есть такие, у которых дела уж рассмотрены.

– Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам со стулом повернулся. На белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся:

– Эй, ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот скраснел и затормошился:

– Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл, – а я...

– Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или с ножиком?

– Нет, я не дерусь.

– Не дерешься? Дурак. А ты што прозеленел?

Это Гришке он.

Гришка глянул, как он на стуле вертелся и руки одна об Другую скоро, скоро шваркал, и засмеялся. Вспомнил:

«Обезьяну эдакую беспокойную в зверинце видал. Похоже.

И руки длинные, и мордой чисто дразнится».

– Что смешно? Рожа–то что у тебя зеленая?

Гришка носом шмыгнул и в ответ:

– Прозеленеешь. Не пимши, не емши с утра тут!

– Не привык разве без еды?

– Привыкать, привыкашь, а все брюхо ноет.

– Из тюрьмы, што ль бежал?

– Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.

– Пострижку уж делали? Это, друг, у них не монастырь,, а меди–ко–пе–да–го–гический городок зовется. Сукины дети – придумают? Што же ты бежал?

– А так. Неохота там.

Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала:

– Дефективный. Очевидно, категория – бродяжников.

– Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?

– Песков Григорий.

– Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?

– Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. А только так теперь не полагается. Малолетних правонарушителей устроили.

Захохотал негромко, нутром, и лицо человеческое стало – не обезьянье.

– Слышите, товарищ Шидловская, правонарушителей устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?

– Дух от их нехороший. А надо, так буду.

– Ну, ладно. Со мной поедешь.

– Куда?

– Там увидишь.

– Скушно будет – убегу. И через часовых убегу, – со злым задором Гришка кинул.

– У нас часовых нет. Беги. А плохой будешь, так и сами вышибем. Под задницу коленкой!

Нам барахла не надо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выспрашивать стал. Смирных да ласковых не брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиренка скрипучего.

– Через три дня на вокзал приходите, а завтра здесь ждите.

Для тела покрывку найдем.

– Так ведь их надо куда-нибудь устроить, товарищ Мартынов, на эти дни. Нельзя же их без надзора.

– Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Морду больно хорошо скроил Мартынов.

– Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражает! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные...

– Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдете продукты получать!

– Ну, слушайте, это же безобразия! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

– Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Аида продукты получать!

– Да ведь они у вас все разбегутся!

– Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медико-педагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка:

«Этот ничего. Мужик стоящий».

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом – мануфактуру, в третьем – крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И все на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:

– Эй вы, барахольщики, что брюхо распустили. Навертывайте, навертывайте. Башкурди-стан, с Николаем воду носи!

Скот напоить надо.

И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым Летел во двор с гортанным криком. Гришка ожил. Главное дело – весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уже земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тороватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить.

Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли.

Одежда легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки – как первый сои чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал.

Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему–рассказали. Гришке он сказал:

– Родителей нет – это, друг, хорошо. Родители – барахло!

Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили – и ладно. Сам живи.

– Да, а милиционер говорил: вы – как навоз.

– Навоз – хорошо. От навоза – хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем.

Молоко – это хорошо.

Мяса не ел, над ребятами смеялся:

– Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

– Это говядина, не собачатина!

– Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо!

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой – кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели, кто какую знал и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что вышло:

Ай дын бинды дынды бинды.

Ай дын бинды дынды бинды.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроешь, ножки под себя крест–накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал.

Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почувал: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:

– У–гу–гу–гу–гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихоньким быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили.

Ух и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

У

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:

– Кто была первая дева?

Горы отвечали:

– Ева–а!

Смеялся Гришка:

– Ишь ты, каменюги, разговаривают.

И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:

– Хозяин дома–а?

Горы сообщали гулко и раскатисто:

– ...Ома–а!

– Эха это называется. Ха–ар–ашо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин еов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.

Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый. Вчерашнее тепло за ночь не растерял.

Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут:

– У–у–у–х... у–у–у... у–х.

Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится.

– У–ух–ху–ху–у–у!..

И Гришкины босые ноги обольет.– Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет – саднит. А хорошо!

– Дери, матушка–вода, отмывай.

Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду. Охватила, прильнула, и опять кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.

– Го–го–го–го!

А с горы ребячий отклик несется:

– Песк–о–ов! Гришка–ка горласт–а–а–й!

И трое, по пояс голые, в штанишках коротких, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.

Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по–звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.

– Рожка трубить скоро нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?

– А я–то не работал? Магомет прилипучий! Ране всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза–то не разлепил?

– Ну латна, Латна. Аида, башкой мыряй, глядеть хочу.

А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно на песок выбежал. На руки вниз головой стал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.

Тайчинов восторгом захлебнулся:

– Баш...кой мырят! Башкой! Уй–уй–уй!..

Синеглазый полячонок Войцеховский тоже «башкой мырнул». Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.

Степенно в воде пофыркивал крепкий плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рывкнул:

– Ого–го–го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро–о!

Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. А когда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплеывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает.

Какие–то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро вдоль и поперек мерили. Ребят с собой в лодку по очереди брали. Так вот эти говорили по–ученому: вода в нем радиоактивная. Ребята с гордостью друг другу передавали:

– В нашем озере вода радиоактивная.

Большое озеро. Как РТЗ лесу выйдешь к нему, широко и вольно сразу станет. Берега горами вздыбились – горами высокими, лесистыми. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома–дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились.

На крутизне надбережной семь дач красуются. Колония детская. Отошла подальше от деревни и других дач.

Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая парусная «Диана». На палках двух высоких холстина надписью яркой манит:

«Трудом и знанием побеждена стихия».

Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал.

«Побеждена стихия». Во–о!

Слово–то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь – богатырем охота стать. И озеро – стихия. Оттого и шумит.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился. Круглыми серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте из лесу большой старый пенек выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пенек, как живое лицо стариновское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит.

А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

– Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб – хны!..

Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:

– Хны!.. Хды!.. Хны!.. Сергей Михалыч, хны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. Хны – хорошо, хны – плохо. Хны – быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услышал. В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым в кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами.

Дров–то вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колот. Мартынов увидел, рощу скроил и руки потер.

– Ага, Песков – хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, но властно запел рожок!

– Ту–ру–ру–туру–ру–туру.

Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые – всякие. Мылись, плескались, барахтались.

Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженные, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились.

Мчались все на террасу–столовую, как на приступ.

Махоньякая черноголовка–девочка прозвенела из толпы!

– Дежурные, чай пить идем.

Гришка, в сером халате кухонном, с террасы–закричал!

– Эй, эй!.. Я стих составил. Слушай–ти–и:

Рожок поет, Чай пить зовет!

Надточий в ответ рявкнул;

– Не чай, а кофю...

Мартынов тут как тут. Морду скроил и, как дьякон в церкви, пробасил!

– Я без чаю не скучаю, кофю в брюхо наливаю. Графья, не хотите ли кофею?

Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.

– Кто луки разбросал? Хны! Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха ФеДяхин, ты вчера в ночное ездил? Еще йто?

Опять скачки устраивали?

Расставив ноги, В землю у склада врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал. Жаловался.

– Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева? Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!

– Работники – барахло! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется. Хны!



А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает, Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все все равно.

А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озеро, лес – хорошо! А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Так. Не знал Гришка. Только, как посмотрит, все кругом краше станет. Как вместе дежурили, таз с помоями с ней, как икону, нес. Мартынов два раза заприметил. Крякнул.

«Растет, мерзавец!» – подумал и «хны» сердито сказал.

Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая.

Нет хватанья и мути во взглядах. Вся короста шелудивая, от прежних скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.

– Григорий Песков, хны!

Смотрел и за другими зорко. Были с девочками взгляды нежные. Лысяева Нюрой–большой ребята поддразнивали, но не было мутного вожеления, рано созревшего. К девочкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было того, что в городах в детских домах часто случалось. Сам дивился.

– Вот она мать–природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут. – Морду скроил, по ногам себя ударил и мыслью закончил: «В свое время хороший приплод дадут».

Терраса широкая гудела. Вся колония здесь. И дети, и воспитатели, и кучер с пекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии – и сотня детей.

После чаю все в разные стороны партиями рассыпались.

Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались.

Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди дорогу на грибное место указывал. Первый ходок в колонии.

Все места знал. На ночевку в лес один раз за семь верст ходили; одеяла забыли. Сбегал – одеяла принес. Потом целый день с охотником вприпрыжку без усталости ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

– Место! Аида!

За работу принялись.

Другая партия на лодке с песнями отплыла. На тот берег за рябиной ярко–красной. Еще мороз не, хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посередине ни складочки. Ну, день сегодня!

Гришка в третьей партии. С большими самыми, версты за три на ферму, с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колонисты сарай строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.

Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.

В наробразе смеялись:

– Электрификацию в своей колонии не затеваете ли?

Посмеивался, руки потирал, а заявлял твердо:

– Затеваю. Электрическую машину на зиму поставлю.

Дружно над ним издевались. А машину из губернского города, действительно, привез.

В наробразе дивились;

– Ну, хват!

А ребята говорили:

– Мартынов, это – хны!

И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по–другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

«Всяких людей видал, а этакое нет. Рвач!»

Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копеек. И сироты из детских домов. И правонарушители, как Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал...

...Ходу здоровым! Вор, мошенник – давайте. Коли тело здо1 ровое, выправится.  
Не все выправлялись. Где–то прочно внутри заседала гниль.  
Томились в обстановке достойного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после.  
Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.  
Воспитателей много назад угнал.  
– Инструкции пишите – это у вас хорошо выходит.  
Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисо ванью обучать хотела. Все цветочки рисовала ц платочки на голове по–разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.  
Гришка, как увидел, громко запел:  
– Богородице деву радуйся!  
И прозвали ее «богородицей». А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:  
– А дождя не будет?  
Тайчинов визжал:  
– У–уй... Страшна! Размокнит.  
Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребята там что? Руки сплели, посадили.  
А она улыбки, как подарочки, во все стороны.  
Мартынов увидел и рявкнул:  
– Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь.  
Ее в город надо срочно доставить.  
И увезли.  
До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть.  
В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли ойоло Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый «Интернационал» и руеские песни проголосные.  
У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры–большой. Ух и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не заставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб – другая стрела для Тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.  
И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.  
Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил.  
Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но, когда кричал Мартынов: «Спать, спать», – уходить не хотелось. Но он, посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры.  
По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без видений печальных. И тут мальчишки охальничали спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главное дело – целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.  
А лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет да и отдыхать прячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.  
О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали. Не хвалили.  
Одна комиссия сказала:  
– Образовательной работы нет. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом возрасте.  
Мартынов дергался, руки потирал и похохатывал:

– А вам бы для картиночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от нас. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу засядут. Сейчас некогда. Работать надо, чтоб зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!

Московская одна баба, худая, рыжая, приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде нюхала и губы поджимала:

– Здесь морально–дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.

Мартынов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся:

– Вы книжечку об этом напишите. Нам на подтирку пригодится.

И вдруг свирепел:

– Воров из города привез. Где замки у нас? Только на складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? На ночь в швейной открытой всю мануфактуру оставляем. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож – собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков.

Всю Сибирь исколесил. Весь матерный лексикон изучил. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить – не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите которые!

Ну, ну. То–то! Хны!

Пожимала плечами москвичка.

– С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться придут, а вы через день их гоните.

По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:

– Это – да. Матерей не люблю! Барахоят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не сидят. «Ах, мамашенька...», «Ах, сыночек». Это, товарищ–мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хны!

Губы надула и уехала московская. Ее тоже на работу потянули было.

В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были.

Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир нагуливали. Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:

– Что, бульвары тут для вас? Мамамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте!

Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет.

Внизу Михрютка лает. И подпись:

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок».

Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Некогда было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

– Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до середины допряла. Березы облетели.

Бор глухим, сумрачным стал. Насушилось небо. Злобно плакало проливным дождем. Озеро больше не синело. Прочернело и с ревом береца било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки – юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подуя. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил.

Сорвать хотел.

И не только дождь и хмаль с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал.

Своем «хны» не ласкал, а ругался.

На собрание детям сказал:

– Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно– пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали.

На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забьгаи, Гришка про Америку недавно услышал, а теперь глазами засиял:

– Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это – Америка.

А в старой колонии Европа. Вот дак ух!

И ребята подхватили:

– Аида в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчишки, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут, не–проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и: летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлебт»ору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибежали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было – не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить:

– К нам их, в колонию!

Собранием постановили своим отделением считать этот детский дом. Хлеб и на них распределить. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева были еще плохие. Летом что запасли, подъели. Грибов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопали. Половину деревня украли. Огород мало дал. Из города ничего! Крупа кончилась. Щеки у ребят поблекли и втянулись.

Уставали, раньше спать расходились. Но смех еще часто звучал.

Мартынов посмеивался еще и командовал:

– Пояса потуже! Чемоданы подтяните. Хны!

Но реже морды кроил и часто на станцию ездил. Ночью одной озеро разбушевалось. С гулом тоскливым о камни билось.

Потом злобой вскипело и раскатывалось:

– У–ух... Уу–ух. У–уф!

Ветер стены рвал. Разбить хотел. В трубе гудел: вышибу–у, вышибу–у. Когда стихал, вой доносился. Волки или собаки голодные? Электричество еще не провели. К стеклам темная ночь прилипла и дачи мраком жутким затопила. Дети уснуть не могли. Разговор тоже все обрывался. Слушали, как стены трещали и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И веем, кто близко, проклятье посылало.

Гришка покрутил головой:

– Стихия.

Но богатырем стать уж не думал. Вся колония маленькой, хрупкой представилась. И всеми забытой. Одни, в горах. А кто–то за стенами плачет, грозит, воем похоронным отпевает.

Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчинов с тоской сказал:

– Смирть близко гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнули. Войцеховский крикнул испуганно. Но Цоступь тяжелая успокоила.

Гришка радостно встретил:

– Сергей Михалыч?

– Я!

И в спальню вошел. Гришка у двери спал. На его кровать тяжело вдавился.

– Не спите еще. Разговорчиками занимаетесь? Хны!

У Гришки жуть прошла. И другие мальчишки радостно завозились.

– Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мигом уснем!

А Мартынов устало сказал:

– Дело табак, Григорий Песков. Дело – хны!

– А што?

Тайчинов с кровати к Мартынову скакнул. Все завозились.

– Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь – хны. Не прокормимся.

Взвился Гришка:

– Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в колени Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

– Сантименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:

– Зачем в город? Помирать – дак тут!

– Корой прокормимся!

– А там чем кормить будут?

– Не належай, Васька! Тут колония лопается, а он в ухо.

– Сергей Михалыч, не позволяйте!

И все загудели на разные голоса:

– Тут останемся! Никуда не поедем!

– Да–да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а тоже говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть – не помрем, а изведемся.

Надточный успокоительно забасил:

– Хибаж до новины не дотягнем? Дотягнем. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился:

– Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

– Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почувал в них страшную человеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:

– Не отдам.

*Впервые опубликован в журнале «Сибирские огни» (Новониколаевск), 1922, № 2. Печатается по изданию: Сейфуллина Л. Н. Собр. соч. в 4-х т.т. 1. М.. Художественная литература, 1968.*

## БОРИС ПИЛЬНЯК. МАТЬ СЫРА–ЗЕМЛЯ<sup>1</sup>

Посв. А. С. Яковлеву

Крестьянин сельца Кадом Степан Климов пошел в лес у Йвового Ключа воровать корье, залез на дуб и – сорвался с дерева, повис на сучьях, головою вниз, зацепился за сук оборками от лаптей; у него от прилива крови к голове лопнули оба глаза. Ночью полесчик Егор доставил лесокрада в лесничество, доложил Некульеву, что привел «гражданина самовольного порубщика.» Лесничий Некульев приказал отпустить Степана Климова. Климов стоял в темноте, руки по швам, босой (оборки перерезал Егор, когда стаскивал Климова с дуба, и лапти свалились по дороге). Климов покойно сказал:

– Мне бы провожатого, господин товарищ, глаза те вытекли у меня, без остачи.

<sup>1</sup> Повесть впервые опубликованна в 1925 году в 4-м номере журнала «Круг». Печатается по: <http://readr.su/boris-pilnyak-mat-sira-zemlya.html>

Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, – то место, где были глаза, уже стянулось в две мертвые щелочки, и из ушей и из носа текла кровь.

Климков, остался ночевать в лесничестве; спать легли в сторожке у Кузи. Кузя, лесник и сказочник, рассказывал сказку про трех попов, про обедни, про умного мужика Илью Иваныча: про его жену Аннушку и пьяницу Ванюшу. Ночь была июньская и лунная. Волга под горой безмолствовала. Ночью приходил старец Игнат из пещеры, за которым бегал пастух Минька, старец определил, что глаз Степану Климкову не вернуть – ни молитвой, ни заговором, – но надо прикладывать подорожник, «чтобы не вытекли мозги.» –

– – ...Главный герой этого рассказа о лесе и мужиках (кроме лесничего Антона Ивановича Некульева, кроме кожевенницы Арины–Ирины – Сергеевны Арсеньевой, кроме лета, оврагов, свистов и посвистов) – главный герой волченка, маленький волченка Никита, как назвала его Ирина Сергеевна Арсеньева, эта прекрасная женщина, так нелепо погибшая и мерившая – этим волченком – погибшим за шкуру – столь многое. Он, этот волченка, был куплен за несколько копеек в Тетюшах – подлинных, а не в тетюшиных, с маленькой буквы, на Волге, в Казанской губернии, весной. На пароходной конторке его продавал мальчишка, его никто не покупал, он лежал в корзинке. И его купила Ирина Сергеевна.

Он только–только научился открывать глаза, его шкурка цветом походила на черный листовой табак, от него разило псиной, – она взяла его к себе за пазуху, пригрела у своей груди. Это ей пришло на мысль сравнить цвет его шерсти с табаком, – он маленький, меньше чем котенок, дурманил ее, как табак, прекрасной таинственностью. Мальчишка, продавший волченка, рассказал, что его нашли в лесу на поляне, – мальчишки пошли в лес за птичьими яйцами и набрали на волчий выводок (волчата были еще слепыми), пять волченковых братишек умерли от голода, он один остался жив. – Волченка не мог лакать. Ирина Сергеевна отстала от парохода, достала в Тетюшах – по мандату – соску, такую, какими кормят грудных детей, – и кормила волченка из этой соски, – она шептала волченку, когда кормила его:

– Ешь, глупыш мой, – соси, Никита, – расти!

Она научилась часами – матерински – говорить с волченком. Волченка был дик, он пугался Ирины Сергеевны, он залезал в темные углы, поджимал под себя пушистый свой хвостик, – и черные его сторожкие глаза сосредоточенным блеском всегда стерегли оттуда, из темноты, каждое движение рук и глаз Ирины Сергеевны, – и когда глаза их встречались, – глаза волченка, не мигающие, становились особенно чужими – смотрели с этой трехугольной головы двумя умными блестящими пуговицами, – но весь треугольник головы, состоящий из острой пасти и черных тоже острых ушей, – был глуп, никак не страшный. И от волченка страшно пахло псиной, все прокисало его духом. –

– – Есть в волжской природе – Саратовских, Самарских плесов – какая то пожухлость. Волга – древний русский водный путь – текла простором, одиночеством, дикостями. Июлем на горах пожухла трава пахнет полынью, блестит под луной кремень, пылятся, натруживаются ноги, – и листья на дубах и на кленах тверды, как жестяные, сосну не рассадить силой, спокойствует лишь татарский нектен, нет цветов, и костры на горах – не смешиваешь их со сполохами – видны с Волги на десятки верст, сквозь пыль Астраханской мги. И тогда известно, что пыль рождена – кузнечиками, июньским кузнечиковым стрекотом. Справа – горы в лесах, за горами – степи, слева – займища, за займищами степи. Вдали во мгле за Волгой видны не русские колокольни: это немецкие «колонки».

Когда то, кажется император Павел, дал князю Кадомскому дарственную грамоту, где императорской рукой было написано:

– ..... «Приедешь, Ваше Сиятельство, на Волгу в гор. В., там в тридцати верстах есть гора Медынская, взойдешь, Ваше Сиятельство, на эту гору и все, что глаз Вашего Сиятельства увидит – твое –» – на Волге, в степных уже местах, на горах и по островам, на семьдесят верст по берегу, возникли Медынские леса, возрос строевой – сосновый – лес, дубы, клены, вязы, – заросли, пуши, раменье, саженьцы – двадцать семь тысяч десятин. У Медынской горы в лощине стал княжий дом, оторопел девятьсот семнадцатым годом. Ничего, кроме лесных сторожек, да кордонов, в лесах не было, деревни и села отодвинулись от лесов, посторонились лесам и князю. – Лесничий Некульев так писал друзьям в губком о дороге к нему: – «... пароходом надо добраться до села Вязовы; в Вязовах надо найти – или полесчика Кузьму Егорова Цыпина, и он протрясет шестнадцать верст на телеге, по лесам, по горам и буеракам, – или рыбака

Василия Иванова Старкова (надо спрашивать Васятку–Рыбака), и он отвезет – на себе – вверх по Волге двенадцать верст. Это врут, что только в Китае ездят на людях: в наших местах это тоже практикуется, – Старков впряжется в ляму, сын его сядет к рулю, ты в лодку, – и бичевой, как триста лет назад, на себе, по очереди, они дотянут тебя до лесничества. Он же, Старков, если его спросить: – «сколько у вас в Вязовах коммунистов?» – ответит: – «коммунистов у нас мало, у нас все больше народ, коммунистов токмо два двора.» – А если добиваться дальше, кто же собственно этот народ? – он скажет: – «народ – знамо: народ. Народ в роде, как бы, большевики.» – –

Леса стояли безмолвны, пожухли, в ночи. – Но если–б было такое большое ухо, которое слыхало бы на десятки верст, – в лесном шорохе и шелесте в ночи, оно услыхало бы многие трески падающих деревьев, спиленных воровски, дзеньканье пил, разговоры в лощинах, на горах, в пещерах и шалашах самогонщиков и дезертиров, шаги и окрики, и пальба в небо полесчиков и лесников, посвисты и пересвисты, и совиный крик, и людской крик, и стоны битых, и топоты копыт. Ночами далеко видны лесные костры, и если эти костры люди зажгли в лощине, – далеко по росе стелется дым, – страшны ночные костры, и страшные были рассказываются около ночных российских костров. Волки далеко обходят костры. – Дни в лесах – в июле – всегда просторны, и пахнут леса татарским некленом. – Лесные люди – лесничие, полесчики, объезчики, лесники – убежденнейше убеждены, что весь человеческий мир разделен на них, лесничих, полесчиков и лесников и на «граждан самовольных порубщиков.» –

– – Был бодрый солнечный день, когда лесничий Антон Некульев, бодрый и веселый человек, разыскал в Вязовах полесчика Кузьму Цыпина, рассказал ему, что он новый лесничий, что он коммунист, что на пароходе была теснотища чертова, что ему надо в сельский совет, что ночью ему надо в Медынь, что Ленин, чорт подери, – башка! Он не говорил о том, что за ним едет еще шестнадцатеро мастеровых, чтобы не дать разграбить леса, ибо эти леса играли решающую роль в пароходном движении по Волге, – что дан ему и его шестнадцатерым мандат расправляться вплоть до расстрелов. – В сельском совете, в тишине и покойствии, сидели председатель и секретарь, пили самогон и закусывали соминой, – председатель велел секретарю подать третий стакан Некульеву. – Цыпин слушал и смотрел все обстоятельно; утром еще, как только приехал Некульев, по кордонам послал в Медынь эстафету, чтобы выехал Кузя за новым лесничим, – слова «эстафета» и «кордон» застряли в лесном лексиконе от княжеских времен. Цыпин слушал Некульева обстоятельно, но, будучи страстным охотником, в ответ рассказывал о тетеревах, о лисицах, о двустволках, – рассказал, впрочем, как убили мужики предшественника лесничего: убили в доме, выпороли ему кишки, кишками связали по рукам и по ногам, – все стремились всунуть в рояль, но не всунули, и вместе с роялем сбросили с обрыва к Волге, – рояль и до сих пор висит на обрыве, застрял в тальнике; – а охота в тех местах царская, – ежели, например, покорыститься травить лису в январе, когда она голодает, можно в зиму набрать шкур штук сто, – только, конечно, не дело это для ружейного охотника, – наоборот, позор. – Кузя приехал на шарабане, где передние колеса были заменены тележными, а задние остались на резине. Кузя выстроился во фронт, руки по швам, зарпортовал – честь имею явиться... – Некульев подал ему руку, хлопнул по плечу. Кузя сказал:

– Честь имею доложить, так что, лучше нам заночевать здесь, а то глянь – пришибут еще ночью, которые порубщики. Честь имею, так что народ стал прямо сволочь, одно безобразие.

Цыпин оказался иного мнения о положении вещей. Рассуждал:

– Это чтобы товарища Антона Ивановича Некульева тронуть? – Да он сам коммунист, большевик. Теперь леса наши. Это – чтобы тронуть? – Да я вас до Ивова ключа провожу, по степу поедем, в объезд. У Антона Ивановича наган, у тебя – винтовка, у меня – винтовка, сыну велю итти вперед, двухстволку дам. Да мы их всех перестреляем! Это чтобы большевиков трогать, – на то он и приехал, что леса наши. Теперь бери сколько хошь, без воровства, по закону.

Степи в июле удушливы, томит стрекот кузнечиков и пахнет полынью. Все время мигали зарницы. Спустились с горы, проехали овраг, проехали мимо ветрянок, и кругом полегла степь, испоконная как века. Поехали в объезд. Цыпин скоро заснул, Кузя мурлыкал себе под нос. Было очень темно и тихо, только трещали кузнечики. Снова спустились в балку и слышно стало, как пищат, посвистывают неподалеку сурки, – Кузя слез с шарабана, повел лошадь

под уздцы, сказал, что сурки своими норами всю дорогу изрыли, чего доброго лошадь ногу сломают. Выехали на гору и увидели, как далеко в степи, на горах, над Волгой в безмолвии разорвалось небо молнией, – грома не докатилось. – «Гроза будет,» – сонно сказал Цыпин. – И опять распахнулось небо, также безмолвно, только теперь слева, над степями подлинными. Лошадь побежала рысью, сухой чернозем разносил топот копыт и тарыхтение колес гулко, – показалось, что кузнечики стихли, – и огромная половина неба, от востока до запада порвалась беззвучно, открыла свои бесконечности, рядом с дорогой склонили подсолнечники тяжелые свои головы, – и тогда по степи прокатились далекие огромные дроги грома, стало очень душно. Молнии вспыхивали уже бессчетно, все небо рвалось молниями в лоскутья и все небо стало кегельбаном, чтобы веселым стихиям катать кегли грома. Цыпин проснулся, сказал: «Надо–ть, Кузя, к пастухам ехать, в землянке дождь пересидим, мокнуть никак не охота.»

Гроза, просторы, громы, молнии – показались Некульеву необычайной радостью, на все дни бытия его в лесах запомнилась ему эта ночь, – этак хорошо иной раз в молодости перекричать грозу, покричать вместе с громами! – До пастушьей землянки не успели доехать: заметался по степи ветер во все стороны, молнии металась и громы гремели со всех сторон, – дождь окатил шагах в ста от землянки и вымочил сразу, до нитки. Чернозем на тропке к землянке расползся в миг, ручей потек в землянку. Крикнул кто–то испуганно: – «Какой черт еще тут ходит?» – Лошадь у плетня стала покорно. Некульев в ярком молнийном свете нацелился, как шагнуть к землянке, – и в кромешном дождевом мраке покотился в лужу. В громах услышал рядом разговор: – «Ты Потап? Это я, Цыпин.» «Спички у нас вымокли. Тебя, что на охоту понесло, что ли?» «Не, барина везу, коммуниста, нового лесничего.» – Опять разорвалось молнией небо, мимо пробежал мальченка в землянку, – сказал, проваливаясь вместе с землянкой во мрак: – «Тятень, опять волки пришли, стая. Тама лошадь чужая стоит, чужая, возле ней!» Кузя остался сидеть у лошади под шарабаном, – Цыпин и Некульев с ружьями, старик пастух с палкой, пошли к лошади. Лошадь нашли влезшую на плетень, она храпела, а Кузя стоял стряхивая с себя грязь, часто–часто и плаксиво подматершинивая. – «Сел под шарабан, как светанет молонька, каак маханет сивый на плетень, – как только затылок цел остался?!» «Дурак, это волки!» – «Нну?» – Стащили с плетня лошадь, заменили лопнувшую чересседелку веревкой. Решили ехать дальше. Поехали. Дорогу сразу развезло, текли ручьи. Спустились в овражек. Сказал Цыпин: – «Ты, Кузя, мостом не ездей, лошадь ногу сломат. Тута у моста, – пояснил он Некульеву, – барина–князя мужики убили.» По овражку мчал ручей, дождь прошел, гроза уходила, молнии и громы стали реже. Стали подниматься из овражка, ноги у лошади поползли по грязи, расползлись, – слезли. Стали подталкивать шарабан, – влезли на пол–горы и вновь поползли вниз, все вместе, и лошадь, и шарабан, и люди; лошадь упала, пришлось выпрягать. Полыхнула молния и увидели – наверху на краю овражка, шагах в десяти рядком, сидела стая волков. Сказал Цыпин: – «Надо–ть тащить телегу, ночевать здесь нельзя, волки замают.» – Вывели сначала наверх лошадь, потом вытащили шарабан. – Некульеву все время было очень весело.

Дождь прошел. Въехали во мрак, и шелесты, и запахи, и в брызги с ветвей – в лес. Цыпин слез, отстал, пошел в сторожку к приятелю. Некульев недоумевал, как это в этом сыром и пахучем мраке, где ничего не видно, хоть глаз выткни, разбирается Кузя и не путает дорогу. Кузя был молчалив.

– Когда князя–барина мужики порешили убить, – этот самый Цыпин пришел ко князю Кадомскому и говорит: – «Так и так, уехать вам надо, громить вас будут, порешили мужики убить.» – Князь лакею. – «Приказать заложить тройку!» – А Цыпин ему: – «Лошадей, ваше сиятельство, дать вам нельзя, мы не позволим.» – Князь заметался, вроде прасола нарядился, сапоги у купца взял, картуз и на шею красный платок, – жена шаль надела. Вышли они ночью, потихоньку, – а у мосточка им навстречу Цыпин: – «Так и так, ваше сиятельство, на чаек с вашей милости, что упредил.» – Дал ему князь монету, рубль серебром, – и кто убил князя – неизвестно.

Кузя замолчал. Некульев тоже молчал. Ехали шагом в кромешном мраке. Изредка горели на земле ивановские червячки.

– А то вот еще, кстати сказать, жил в одном селе мужик, очень умный, хозяйственный мужик, звали, скажем, Илья Иванович, – начал не спеша и напевно Кузя. – А у него была



жена красавица, молодуха, и жена мужу верная, звать – Аннушка. А село было большое и в нем, заметьте, три церкви разным богам... И вот пошла Аннушка к обедне, а кстати сказать, в каждой церкви обедни начинались в разное время. Идет Аннушка, а навстречу ей поп: – «Так и так, здравствуй, Аннушка», – а потом в сторонку: – «Так и так, Аннушка, как бы нам встретиться вечерком, на зорьке?» – «Чтой–то вы, батюшка?» – ему Аннушка, да шасть от него, прямо в другую церкву. А навстречу ей другой поп: – «Так и так, здравствуй, Аннушка!» – и опять в сторону: – «Так и так Аннушка, не антирисуешься ли ты со мной переночевать?»

– Ты это про что говоришь–то? – спросил недоуменно Некульев.

– А это я сказку рассказываю, – очень все любят, как я рассказываю.

– – И еще был бодрый солнечный день, – день, который благостным солнцем вышел из сырого мрака степной грозовой ночи, когда до одури пахло и лесною, и землею, – благодатью. Легкие бухнули, как рубка от воды, хорошо пахнет, когда неклёны топятя солнцем. Оторопелый белый дом ящерками и осколками стекол грелся на солнце, и с виноградника на террасе, едва лишь коснуться его, зрелые падали капли дождя. Волга над обрывом плавила солнце, нельзя было смотреть. Если вставить рамы, привинтить дверные ручки, замазать отдушники и дверцы к печам, застлать растащенный паркет новым полом, – дом будет по-прежнему исправен, все пустяки! – И из дальних комнат, глухо отчеканивая потолочным эхо шаги, в комнату, где на наружной двери была вывеска – «контора», – вышел бодрый человек в синей косоворотке, в охотничьих сапогах, – красавец, кольцекудрый, молодой. Пенснэ перед глазами сидели как влитые, – совсем не так, как непокорствовали волосы. В конторе, скучной как вся бухгалтерия земного шара, на чертежном столе лежали планы и карты, и на другом – зеленое сукно было залито чернилами и стеарипом многих ночей и писак, – и солнце в окна несло бодрость всего земного шара. Навстречу Некульеву шагнул Кузя. Руки по швам, – и был Кузя босоног, в синих суконных жандармских штанах и бесцветной от времени рубахе, не подпоясанный и с растегнутым воротом, и были у Кузи огромные бурые – страшные – усы, делавшие доброе его круглое лицо никак не страшным, а глуповатым. Кузя сказал:

– Честь имею доложить, там объездчики пришли, мужики, – лесокрадов объездчики доставили. А еще спрашивает вас женщина. – Допустить?

– Пускай всех.

– Честь имею доложить, старый лесничий со всеми вот в это окошко говорили, специально на этот случай велено в стене дыру сделать.

– Пускай всех.

На несколько минут в конторе был митинг, ввалили мужики; – кто из них был пойман на порубке, кто пришел ходоком – разобрать возможности не было; объездчики выстроились по–солдатски, в ряд, с винтовками. Загалдели мужики миролюбиво, но сторожко: – «Леса теперь наши, сами хозяева!» «Как ты товарищ сам коммунист, – желам пилить в Мокром буреке, как он Кадомский!» – «Немцы из–за Волги, – ежели на нашу сторону в леса поедут, все ноги переломаем!..» – «Татары вот тоже либо мордва.» – «Ты, товарищ–барин, рассуди толком, – мы пилили и желаем продать в Саратов по сходной цене!» – Сказал Некульев весело: – «Дурака, товарищи, ломать нечего и нечего дураками прикидываться. Что я коммунист, – это верно, а грабить лесов я не дам. И сами вы знаете, что это не дело, а орать я тоже умею, глотка здоровая.» – Рядом с Некульевым стал мужик, босиком, в армяке, в руках держал меховую шапку, – Некульев сказал: – «Ну что ты шапку ломаешь, как не стыдно, надень!» – Мужик смутился, шмыгнул глазами, поспешил надеть, сдернул, злобно ответил: – «Чай здесь изба, образа висят!..» – Попарно, не спеша и покойно вошли в комнату шестеро, немцы, все в жилетах, но оборванцы, как и русские. – «Konnen Sie deutsch sprechen?» – спросил немец. – Мужики загалдели о немцах, – вон, наши леса! – Некульев сел на стол, вытянул вперед ноги, покачался на столе, заговорил деловито: – «Товарищи, вы садитесь на окнах, что ли, – давайте говорить толком. Тут вот арестованные есть, так я их отпущу, и пилы и топоры верну – не в этом дело. А лесов без толку пилить нельзя, посудите сами» – – и заговорил о вещах, ясных ему, как выеденные яйца. – Мужики и немцы ушли молча, многие к концу разговора шапки, все же, понадевали, последним сказал Некульев дружески: – «Делать я, товарищи, буду, как необходимо, и сделаю, что надо, – а вы как хотите!..» Некульев любил быть «без дураков».

Кузя выстроился во фронт, сказал:

– Честь имею доложить, – яишек вы не хотите ли, либо молока? У самих у нас нету, – Маряша в колонку к немцам сплават. –

– Мне вообще надо с твоей женой поговорить, чтобы кормила меня, – давайте есть вместе. Яиц купите. –

И было солнечное утро, и был бодр и красив молодостью и бодростью Некульев, и стоял босой, руки по швам глупорожий Кузя, – когда вошла в контору прекраснейшая женщина, Арина Арсеньева, кожевенница. Конторское зеленое сукно было закапано многими стеари-нами и чернилами.

– «Мне надо получить у вас ордер на корье. Драть корье мы будем своими силами. Вот мандат, – корье мне нужно для шихановских кожевенных заводов» – и на мандате вправо вверху «пролетарии всех стран, соединяйтесь!», – и на документах, на членской книжке – прекрасные обоим слова Российская Коммунистическая Партия. – «Ваш предшественник убит? – князь убит?» – «Мужики кругом в настоящей в крестьянской войне с лесами.» Разговор их был длинен, странен и – бодр, бодр как бодрость всего солнца. – У одного – там где-то, лесной институт в Германии, Российские заводы и заводские поселки, быть революционером – это профессия, в заводских казармах, в коридорах тусклые огни, и так сладок сон в тот час, когда стучит по комарам будило («вставайте, вставайте, – на смену, – гудок прогудел!») – а мир прекрасен, мир солнечен, потому что – через лесной институт, через окопы на Нароче – от детства на Урале, от книг в картонных переплетах (долины под горою, – а за горою, в дебрях, где кажется и не был человек, медведи и монах в землянке) – твердая воля и твердая вера в прекрасность мира – «без дураков»: – это у Некульева, – и все шахматно верно и здесь, в Медынах, и там в Москве, и в Галле, и в Париже, и в Лондоне, и на Уральских заводах. – И у нее: – Волга, Поволжские степи, Заволжье, забор на краю села, – по ту сторону забора разбойные степи и путины, по эту – чаны с дубящейся кожей и трупный запах кож и дубья – и этот запах даже в доме, даже от воскресных пирогов, пухлых, как перина, и от перин, как в праздник пироги, и ладан матери (мать умерла, когда было тринадцать лет и надо было мать заменить по хозяйству и научиться кожевенному делу) и, отец, как бычья дубленая кожа из чана, и часы с кукушкой, и домовая за печкой, и черти, – и тринадцати лет в третьем классе гимназии – уже оформилась под коричневым платицем грудь, – и обильно возросла к семнадцати заволжская красавица девушка–женщина; Петербург и курсы встретили туманной прямолинейностью, но туманы были низки как потолки дома, и на Шестнадцатой Линии в студенческой не надо было изводить клопов, – но все же потолки после них – дома, когда умер отец – показались еще ниже, душными, закопченными, домового за печкой уже не было, а запах кож напомнил таинственное детство; – она вошла в дом – как луна в ночь, старший приказчик – бульдогом – принес просаленные бухгалтерские книги, а жандармы прикатали крысами, шарили, шуршали, – ни с домом, ни с бухгалтерией, ни с крысами примириться нельзя, никогда, кричать громко право дала красота, и тюремные коридоры стали Петербургскою прямолинейностью, где луну никогда и никак не потушишь: это у Арины Арсеньевой, – и тоже все шахматно верно и кожевенные заводы (ими пахнет детство) нужны для Красной армии, их необходимо пустить. Годы у женщин сменяют солнечность лунно-стью: семнадцати–летняя обильность к тридцати годам – тяжелое вино, когда все время было не до вин. – «И эти места, и леса, все Поволжье я знаю доподлинно.» – –

На солнце от зелени виноградников свет зеленоват, расправляется воздух, – Некульев заметил: О зеленом свете такие стали синие венки на белках Арины, а зрачки уходят в пропасть – и показалось, что из глаз запахло дубленой кожей. – В контору вошли трое: мужик, баба, паренек–подросток. Мужик неуверенно сказал:

– Честь имею явиться, второй после Кузи лесничий, с одиннадцатого кордону. Егор Нефедов. А это моя жена, Катя. А это сын, Васятка.

Лесника перебила жена, заговорила обиженно: – «Ты, барин, Кузе сказал, что с Маряшей ишь хочешь. Как хоtiшь, твоя барская воля, а то можно и у нас, не хуже чай Маряшки. Мы избу строим, муж мой маломощный, грызь у него, мы из Кадом. – Как хоtiшь, твоя барская воля. У Маряшки ведь трое малолеток, мал–мала меньше, а нас всего трое.» – Катя подобрала губы, руки уперла в боки, воинственно выжидая. – Некульев молча по очереди пожал всем

руку, сказал: «Ступайте с богом, буду знать.» – И Арина Арсеньева заметила в солнце: синяя бритая кожа скул и подбородка Некульева – тверда, крепка. Арина сказала тихо, с горечью:

– Вы знаете, когда «влазины» бывают, – влазины, это так называется новоселье, – ведь до сих пор крестьяне у нас вперед себя пускают в избу петуха и кошку, а потом уже идут люди и надо – по поверью – входить ночью в полнолуние. Ночью же и скотину перегоняют. И до рассвета в ту ночь хозяйка–баба голая дом обегает три раза. Это все для домового делается. –

Глава первая – Ночи, дни.

Спросить о лесе Маряшу, Катяшу, Кузю, Егора – расскажут.

– В лесах по суздам и раменьям живет леший – ляд. Стоят леса темные от земли до неба, – и не оберешься всевозможных Марьяшиных фактов. – Неоделимой стеной стоят синеющие леса. Человек по раменьям с трудом пробирается, в чаще все замирает и глохнет. Здесь, рядом с молодой порослью, стоят засохшие дубы и ели, чтобы свалиться на землю, приглушить и покрыться гробяною парчею мхов. И в июльский полдень здесь сумрачно и сыро. Здесь даже птица редко прокричит, – если же со степей найдет ветер, тогда старцы – дубы трутся друг о друга, скрипят, сыпят гнилыми ветвями, трухой. – Кузе, Маряше, Катяше, Егору – здесь страшно, ничтожно, одиноко, бессильно, мурашки бегут по спинам. На раменьях издревле поселился тот чорт, который называется лядом, и Кузя рассказывал даже про видимость черта: красивый кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а не на левую; левый лапоть надет на правую ногу, а правый на левую; глаза горят как угли, а сам весь состоит из мхов и еловых шишек; видеть же ляда можно, если посмотреть через правое лошадиное ухо.

Белый дом в ложине у Медынской горы днями стоял тихо, в зелени, прохладный, как пруд. Ночами дом шалел: напряженным Некульевским глазам – на глаза попадалась – битая мебель, корки порванных книг, всякая ерунда. На террасе в мусорном хламе Некульев нашел песочные часы, – песок из одной стеклянной колбы перетекал в другую каждые пять минут, лунными ночами поблескивало зеленовато стекло колб; днями Некульев забывал об этих песочных часах, но ночами многие пяти–минутки он тратил на них; Некульев любил быть без дураков, он не замечал, что у него – помимо сознания и воли – каждый шорох в доме, каждый глупый мышинный пробег – покрывает гусиной кожей спину, и появилась привычка не спать ночами, бодрость никогда не покидала, но все казался кто–то – не то третий, не то седьмой какой–то, и каждая ночь была как все. Была луна и под горой на воде ломались сотни лун, дом немотствовал, деревья у дома стояли серебрянными, расположилась тишина, в которой слышны лишь совы. Лунный свет бороздил паркет в зале. Окна Некульев тщательно закрыл, но в окнах не было стекол. Три двери в зале Некульев задвинул мебельной рухлядью и подпер дрекольем. У одной из дверей стоял диван, и Некульев лежал на нем. На стуле рядом висел наган в расстегнутой кобуре, к дивану в ногах была прислонена винтовка. На диване лежало большое здоровое красивое тело, вот то, что глупо покрывается от каждого шороха гусиной кожей. Некульев покойно знал, что у Ивового ключа стерегут лес Кандин и Коньков, двое мастеровых, и они твердые ребята, мазу не дадут. А горами пешком не пройдешь, не то чтобы приехать на телеге, если же проберутся сюда, то секретной дверью, оставшейся от помещика–князя и случайно найденной, он пройдет в подвал, а оттуда под землей в овраг, а там – ищи, свищи!.. – Лампенка горела, чтобы отвести глаза, в правом крыле дома, где окна были тщательно завешаны. – Луна заглядывала в окна, в дом, где все было разбито. Некульев поднялся с дивана, взял револьвер, отодвинул кол от двери и пошел темными комнатами, еще неуверенно, ибо плохо привык к дому, – на кухне он попил у ведра воды и вернулся обратно; в дверях прислушался к дому, не заметив, что тело покрылось гусиной кожей, – подпер дверь колом; – и опять отпер поспешно: когда брал ведро, положил на подоконник револьвер, забыл его, поспешно пошел назад. На окне в зале в пыльном лунном свете лежали песочные часы, – Некульев стал пересыпать песок, склонил кудрявую голову к мутно стеклянным колбам.

И тогда – нежданно застучали в окно там, где была лампа, – неуверенный голос окликнул: – «Эй, кто тама, выходите. Милиционер требует!» Некульев ловкой кошкой взял винтовку, бесшумно выглянул в разбитое окно: стоял на луне у дома с багром в руках паренек, осматривался кругом, в тишину. Некульев покойно сказал: – «Ты кто такой?» – Паренек обрадованно заговорил: – «Иди, тебя требует милиционер!» – «Ты почему с багром?» «А это я от собак. Собак–от нетути? – Милиционер на берегу, в лодке!»

Парнишка, Кузя и Некульев (эти двое с винтовками) по обрыву спустились к Волге. У берега стояли три дощаника. По берегу ходил милиционер с наганом и саблей в руках и с винтовкой за плечами. Милиционер закричал:

– Вы что-же, черти, спите, когда лес воруют?! – Я ездил ловить самогонщиков, два дощаника поймал, три дня ловлю, не спал, еду сейчас мимо Мокрой горы, а с горы с самой верхушки, смотрю, летят вниз бревна, – лесокрады работают, а вы спите! Я сам бы поймал лесокрадов, да вишь у меня только два понятых, а остальные самогонщики с поличным, – уйду – разбегутся. Сорок ведер самогонки везу, три дня не спал... Так прямо с верхушки и сигают, и на воде два пустых дощаника!..

Милиционер влез в лодку, скомандовал самогонщикам, – мужики впряглись в лямку, потащили бичевой дащаный караван, безмолвно. Милиционер покрикивал и поводил дулом револьвера. Луна светила безмолвно и сотни лун кололись на воде. Горы и Волга немотствовали. Дощаники скрылись за косой. Кузя привел двух лошадей, одна под седлом, другая с мешком сена на спине. – Кузя, Некульев лесными тропками, горами, молча, с винтовками на перевес, помчали к Мокрой горе. Лошадей оставили в Мокрой Балке, – вышли к Волге; Волга, горы, тишина, – прокричал сыч, посыпался под ногами гравий, пахнуло полынью откуда-то, – тишина, – и на горе затрещало дерево, сорвалось с вершины, покатилося вниз под обрыв, потащило за собой камни. Кузя и Некульев пошли под обрывом, – в тальнике увязли два дощаника, один уже наваленный бревнами, еще сорвалось с вершины бревно, – и сейчас же рядом в десяти шагах негромко свистнул человек, а другой свистнул на горе, и третий свистнул, – и мир замер. И тогда одиноко на горе раскололся винтовочный выстрел. Кузя присел за камень, – Некульев толкнул его – вперед – коленом, перезамкнул замок винтовки и – твердо пошел к дощаникам, – толкнул на воду пустой и навалился, чтобы столкнуть нагруженный, – сверху выстрелили из винтовки, – пуля шлепнулась в воду. «Кузьма! иди, толкай!» – на отвесе, наверху красный вспыхнул огонек, лопнул выстрел, шлепнулась пуля. По огоньку – сейчас же – выстрелил Некульев, и с горы закричали: «Ой, что ты делаешь, лешай! – Не трожь дощаники!»

Некульев сказал:

– Кузя, чаль, толкай веслом, иди на руль, гони от берега, а то подстрелят!

Луна потекла с весла. С берега кричали: «Барин, касатик, прости Христа ради, отдай дощаники!»

Некульев сказал:

– Эй, черт, лошадей как бы не украли!

Кузя ответил:

– Пошто, – мы сейчас их возьмем. Бояться теперь нечего. Мужик охолонул, мужика теперь страх взял.

Подплыли к Мокрой Балке, к дощанику – трое подошли мужики, – вязовские, в слезах, один из них с винтовкой, – замолили о дощаниках. Некульев молчал, смотрел в сторону. Кузя – тоже молча пошел в балку, привел лошадей, впрег их в лямку, – тогда строго заявил: «Лес воровать, сволоча!? Садись в дощаник, под арест! Там разберут, как леса воровать!..»

Мужики повалились на колени. Некульев недовольно шепнул:

– На что их брать? Куда мы их денем? – Ничего, постращать не вредно!

Лошади шли берегом по щебню медленно. Горы и Волга замерли в тишине, но луны уже не было: за Волгой в широчайших просторах назревало красным – пред днем – небо, похолодело в рассвете, села на рубашке роса.

– Сказочку вам не рассказать ли? – спросил Кузя.

Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко. – (Через два дня – ночью – эти дощаники исчезли, их кто-то украл.)

И опять в ночи задубасили в окна, – «Антон Иванович, – товарищ лесничий, – Некульев, – скорей вставай!» – и дом зашумел боцами, шорохами, шопотами, свечи и зажигалки закачали потолки, – «у Красного Лога – потому как ты коммунист, мужики из Кадом – всем сходом с попом поехали пилить дрова – по всем кордонам эстафеты даны – полесчика Илюхина мужики связали, отправили на съезжую!» – У конного двора, против людской избы стоят взмыленные лошади, так крепко пахнет конским потом (Некульеву от детства сладостен этот запах), – яркая звезда зацепилась за вершину горы (какая это звезда?) и рядом под деревом горит Иванов червячек. Кузя вывел лошадей, – но ему лошади не досталось и он побежал пешком.

– Ягор, ты винтовку–то пока повези, чего тащить–то? – На лошадей и карьером в горы, в лес, – «эх черт! все просеки заросли! глаз еще выхлестнешь!»

Лес стоит черен, безмолвен, на вершинах гор воздух сух, пылен, пахнет жухлой травой, – в лощинах сыро, холодновато, ползет туман, в лощинах кричат незнакомые какие–то птицы – («эх, прекрасны волжские ночи!»). Конским потом пахнет крепко, лошади дорогу знают.

– Эх, и сволочь же мужичишки. Ведь не столько попользуются сколько повалят и намнут! – Сознательности в мужике нет никакой! – Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село, а жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул, – сын Ванятка подлез в подпол, там собака нору прорыла, норой – на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. И так кажинную ночь стерегись!

Верховых догнал Кузя, бежал рысью, сказал Егору:

– Ягорушка, теперь ты побежишь, а я поеду, отдохну малость.

Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя поудобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело:

– Вот бы теперь хоровую грянуть, как разбойники! – И свистнул в темноту леса длинным разбойничьим посвистом, хлопнула крыльями рядом во мраке большая какая–то птица.

...На опушке Красного Лога редкою цепью залегли полесчики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь, – отбыла та минута, когда – на минуту – и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы – затихают в безмолвии, синие пошли полосы по земле – из леса на опушку вылетела сова, пролетела безмолвно, и тогда прокричала в лесу первая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. Но его прикрыла ночь, и только через час докатились до опушки несложные тарахтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль уперлась в лес, скрипы колес, тарахтенья ободьев, конские храпы, человечьи шопоты, плач грудного ребенка, – стали рядом, уперлись в лес. Два древних дуба у проселка на просеке – у самого корня подпилены, только–только толкнуть – упадут, завалят, запрудят дорогу.

Тогда из мрака строгий объездничий окрик:

– Э–эй! Кадомские! мужики! Не дело, верти назад!

И тогда от обоза – сразу – сотнеголосый ор и хохот, слов не понять и непонятно – люди–люди кричат иль лошади и люди заржали в перекрик друг другу, – и обоз ползет все дальше. Тогда – два смельчака, мастеровые, коммунисты, Кандин и Коньков – последнее усилие, храбрость, ловкость валят на дорогу колоды древних двух дубов, и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана – бессмысленно, по лесу – полетели наганые, винтовочные, дробовые перестрелы. Пол обоза стало, лошади полезли на задки телег. – «Сворачивай!» – «верти назад!» – «Пали!» – «Касатики, вы бабу задавили!» – «Попа, попа держи!» – Лес темен, непонятен, – на просеке лошадь не своротишь, лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. – «Да лошадь, лошадь не замайте! хомут порвешь, ты, сволочь!» – Непонятно, кто стреляет и зачем?

К рассвету прискакал Некульев. У опушки горел костер. У костра сидели полесчики, пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На полянке стояли понуро телеги и лошади. Стояли в сторонке под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище тихого становища. – Некульеву пошел навстречу Кандин, вместе с ним приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроено и шепотом заговорил:

– Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба, думали телег штук пять арестовать, отделили их дубами. Для острастки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона. Стреляли сами мужики, убили мальчика и лошадь, одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться по добру по здорову, чтобы мужики разобрались сами собой, чтобы наши концы в воду, – но тут уже не было возможности сдерживать наших ребят, начали ловить, арестовывать, отбирать оружие...

У Некульева в руке был наган, он сказал растерянно:

– Фу ты, чорт, какая ерунда!

Мужики повалили к Некульеву, повалились в ноги, замолили:

– Барин, кормилец, касатик! – Отпусти Христа ради. – Больше никогда не будем, научены горьким опытом!

Некульев заорал, – должно быть злобно:

– Встать сию же минуту! Чорт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано – лесов грабить не дам, ни за что! – и недоуменно, должно быть, – а вы тут вот человека убили, эх!.. где мальченка?! – Все село телеги перепортило, эх!

– Отпусти Христа ради! – Больше никогда не будем!..

– Да ступайте пожалуйста – человека от этого не вернешь, – поймите вы Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески! – и злобно, – а если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит, – расстреляю! – Идите пожалуйста куда хотите.

Коньков, тоже приехавший с Некульевым, спросил – со злобой к Некульеву:

– А попа?!

– Что попа?

– Попа никак нельзя отпускать! Его негодяя, надо в губернскую чеку отослать!

Некульев сказал безразлично:

– Ну что же, шлите!

– Чтобы его мерзавца там расстреляли!

Солнце поднялось над деревьями, благостное было утро, и невеселое было зрелище дикого становища.

И опять была ночь. Безмолствовал дом. Некульев подошел к окну, стоял, смотрел во мрак. И тогда рядом в кустах – Некульев увидел – вспыхнул винтовочный огонек, раскатился выстрел и четко чекнулась в потолок пуля, посыпалась известка. – Стреляли по Некульеву.

И было бодрое солнечное утро, был воскресный день. Некульев был в конторе. Приводили двух самогонщиков, Егор тащил на загорбке самогонный чан. – Приехал из Вязовов Цыпин, передал бумагу из сельского Совета, «в виду постановки вопроса об урегулировке леса, немедленно явиться для доклада тов. Некульеву.» – Цыпин был избран председателем сельского совета. – Некульев поехал, ехали степью, слушали сусликов; Цыпин рассказывал про охоту, был покоен, медлителен, деловит. – И потом, когда Некульев вспоминал этот день, он знал, что это был самый страшный день в его жизни, и от самой страшной – самосудной – смерти, когда его разорвали–б на куски, когда оторвали–б руки, голову, ноги, – его спасла только глупая случайность – человеческая глупость. – В степи удушьем пищали суслики. В селе на площади перед церковью и пред Советом толпились парни и девки, и яро наяривал в присядку паренек – босой, но в шпорах; Некульева шпоры эти поразили, – он слез с телеги, чтобы внимательно рассмотреть: – да, именно шпоры на босых пятках, и лицо у парня неглупое. А в Совете ждали Некульева мужики. Мужики были пьяны. В Совете нечем было дышать. В Совете стала тишина. Некульев не слышал даже мух. К столу вместе с ним прошел Цыпин, – и Некульев увидел, что лицо Цыпина, бывшее всю дорогу медлительным и миролюбивым, стало хитрым и злобным. Заговорил Цыпин:

– Чего там, мужики! Собрание открыто! Вот он, – приехал! А еще коммунист! Пущай, говорит, что знает..

Некульев ощупал в кармане револьвер, вспомнились шпоры, шпоры спутали мысль. Некульев заговорил:

– В чем дело, товарищи? Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад.

– Ляса таперь наши, жалам их по закону разделить по душам...

Перебили:

– По дворам!

Заорали:

– Нет, по душам!

– Нет, по дворам!

– Нет, говорю, по душам!

– Да что с им говорить, ребята! Бей лесничего своим судом!

Некульев кричал:

– Товарищи! Вы меня вытребовали, чтобы я сделал доклад... Страна наша степная, лесов у нас мало. У нас, товарищи, гражданская война, вы что помещиков желаете?! Если леса все вырубить, их в сорок лет не поправишь. Леса валить надо с толком, по плану. У нас, товари-

щи, гражданская война, уголь от нас отрезан. Эти леса держат весь юго-восток России. Вы – помещиков желаете?! Лесов воровать я не дам. –

– Мужики! Теперь все наше! Пушай даст ответ, почему Кадомские могут воровать, а мы нет?! Откуда он взялся на нашу голову?!

– Жалам своего лесничего избрать!

– Бей его, робята, своим судом!

Некульев запомнил навсегда эти дикие, пьяные глаза, полезшие ненавистно на него. Он понял тогда, как пахнет толпа кровью, хотя крови и не было. – Некульев кричал почти весело:

– Товарищи, к чорту, тронуть себя я не дам, – вот наган, сначала лягут шестеро, а потом я сам себя уложу! – Некульев придвинул к себе стол, стал в углу за столом с наганом в руке. Толпа подперла к столу.

Завопил Цыпин:

– Минька, беги за берданкой, – посмотрим, кто кого подстрельнет!

– Стрели его, Цыпин, своим судом.

Некульев закричал:

– Товарищи, черти, дайте говорить!

Толпа подтвердила:

– Пушай говорит!

– Что же вы – враги сами себе? Я вот вам расскажу. Давайте толком обсудим, меня вы убьете, что толку?.. Вы вот садитесь на места, я сяду, поговорим... – Некульев в тот день говорил обо всем, – о лесах, о древонасаждениях, о коммунистах, о Москве, о Брюсселе, о том, как строятся паровозы, о Ленине, – он говорил обо всем, потому что, когда он говорил, мужики утихали, но как только он замолкал, начинали орать мужики о том, что – что, мол, говорить, бей его своим судом! – И у Некульева начинала кружиться от запаха крови голова. Цыпин давно уже стоял в дверях с берданкой. День сменился стрижеными сумерками. Мужики уходили, приходили вновь, толпа пьянела. Некульев знал, что уйти ему некуда, что его убьют, и много раз, когда пересыхало в горле, надо было делать страшные усилия, чтобы побороть гордость, не крикнуть, не послать всех к черту, не пойти под кулаки и продолжать – говорить, говорить обо всем, что влезет в голову. – Некульева спасла случайность. В дом ввалилась компания «союза фронтовиков», молодежь, пьяным пьяна, с гармонией, их коновод – должно быть председатель – влез на стол около Некульева, он был бос, но со шпорами, – он осмотрел презрительно толпу и заговорил авторитетно:

– Старики! Вам судить лесничего, товарища Некульева, нельзя! Его судить должны мы, фронтовики. Вон – Рыбин орет боле всех, а отсиживал он у лесничего в холодной или нет!? Нет! Судить могут только те, которые попадались на порубках, а которые не попадались – катись отсели на легком катере. А то голыми руками хотят лес забрать! Как мы попадались на порубках ему в холодную, – леса нам и в первую очередь и нам его судить. А Цыпина судить вместе с им, как он ему первый помощник и сам леший!

Стрижинный вечер сменился уже кузнечиковой ночью. – Парень был пьян, около него стояли, тоже пьяные, его друзья. Тогда пошел ор, гвалт: «Вре!» – «Правильно!» – «Бей их!» – «Цыпина лови, старого чорта!» – И тогда началась свальная драка, полетели на стороны бороды, скулы, синяки, запыхтел тяжелый кулачный ор. – Некульева забыли. Некульев, очень медленно, совсем точно он недвижим, полушаг в полушаг, подобрался к окну и – стремительно кошкой бросился в окно. – Никогда так быстро, так стремительно – бессмысленно – не бегал Некульев: он вспомнил, осознал себя только на заре, в степи, в удушливом сусличном писке. –

(В сельском совете, за дракой, не заметили, как исчезнул Некульев, и в тот вечер баба Груня, жена рыбака Старкова, а на утро уже много баб говорили, что видели самим глазами – вот провалиться на этом месте, если врут – как потемнел Некульев, натужился, налились глаза кровью, пошла изо рта пена, выросли во рту клыки, стал Некульев черен в роде чернозема, – натужился – и провалился сквозь землю, колдун.)

И такой был случай с Некульевым. Опять, как десяток раз, примчал объездчик, сообщил, что немцы из-за Волги на дощаниках поплыли на Зеленый Остров пилить дрова. Некульев со

своими молодцами на своем дощанике поплыл спасать леса. Зеленый Остров был велик, причалили и высадились лесные люди незаметно, – был бодрый день, – пошли к немцам, чтобы уговорить, – но немцы встретили лесных людей правильной военной атакой. Некульев дал приказ стрелять, – от немцев та-та-такнул пулемет, и немцы двинулись навстречу организованнейшей цепью, немцы наступали по всем военным правилам. И Некульев и его отряд остались вскоре без патронов и стали пред дилеммой – или сдаться или убежать на дощанике, – но дощаник был очень хорошей мишенью для пулемета, – лесники заверили, что, если немец разозлится, он ничего не пожалеет. – Их немцы взяли в плен. Немцы отпустили пленников, но забрали с собой за Волгу, кроме лесов, дощаник и Некульева. – Некульев пробыл у немцев в плену пять дней. Его – по непонятным для него причинам – выкупил Вязовский сельский Совет во главе с Цыпиным (Цыпин и приезжал за Волгу в качестве парламентаря.) – Пассажирский пароход на всю эту округу останавливался только в Вязовах, – вязовские мужики заявили немцам, что, – ежели не отпустят они Некульева, – не будут пускать они немцев на свою сторону, как попадет немец – убьют; необходимо было немцам справлять на пароход масло, мясо, яйца, – немцы Некульева отпустили. –

Глава вторая. – Ночи, письма и постановления.

Вечером пришел Кандин, привел порубщика; порубщик залез на дерево, драл лыко, оборвался, зацепился оборками от лаптей за сучья, повис, у него вытекли глаза. Некульев приказал отпустить порубщика. Мужик стоял в темноте, руки по швам, босой, покойно сказал: – «Мне бы провожатого, господин-товарищ, – глаза-те у меня вытекли.» Некульев наклонился к мужику, увидел дремучую бороду, пустые глазницы уже затянулись; шапку мужик держал в руках, – и Некульеву стало тошно, повернулся, пошел в дом. – Дом был чужд, враждебен: в этом доме убили князя, в этом доме убили его, Некульева, предшественника, – дом был враждебен этим лесам и степи; Некульеву надо было жить здесь. Опять была луна, и кололись под горой на воде сотни лун. Некульев стал у окна, пересыпал песочные часы, – отбросил часы от себя – и они разбились, рассыпался песок... – Когда бывали досуги, Некульев забирался в одиночестве на вершину Медынской горы, на лысый утес, разжигал там костер, и думал, сидя у костра; оттуда широко было видно Волгу и заволжье, и там горько пахло полынью. Некульев вышел из дому, прошел усадьбой – у людской избы на пороге сидели Маряша и Катяша, на земле около них Егор и Кузя, и сидел на стуле широкоплечий мужичище, не по летнему в кафтане и в лаптях с белыми обмотками. – Некульев вернулся с горы поздно.

У людской избы было мирно. Луна поблескивала в навозе перед избой. За избой вверх к лесам шла гора, заросшая орешником и неклёном, – Маряша все время прислушивалась к колокольчику в орешнике, чтобы не зашла далеко корова. Дверь в избу была открыта и там стонал ослепший мужик. Кузя встал с полена, лег на навоз перед порогом, стал продолжать сказку.

– ... ну вот, шасть Аннушка – да прямо в третью церкву, а ей навстречу третий поп: – «Так и так, здравствуй, Аннушка», – а потом в сторону: – «Не желаешь ли ты со мной провести время те-на-те?» – Так Аннушке и не пришлось побывать у обедни, пришла домой и плачет, кстати сказать, от стыда. Неминуемо – заметьте – рассказала мужу. А муж Илья Иваныч, человек рассудительный, говорит: – «Иди в церкву, жди как поп от обедни пойдет и сейчас ему говори, чтобы, значит, приходил половина десятого. А второму попу, чтобы к десяти, а третьему – и так и далее. А сама помалкивай.» – Пошла Аннушка, поп идет из церкви: – «Ну, как же, Аннушка, насчет зорьки?» – «Приходите, батюшка, вечерком в половине десятого, муж к куму уйдет, пьяный напьется.» – И второй поп навстречу: – «Ну, как же, Аннушка, насчет переночевать?» – Ну, она, как муж, и так и далее... Пришел вечер, а была, кстати сказать, зима лютая, крещенские морозы. Пришел поп, бороду расправил, перекрестился на красный угол, вынает заметьте – из-за пазухи бутылку, белая головка. – «Ну, говорит, самоварчик давай поскорее, селедочку, да спать.» – А она ему: – «Чтой-то вы, батюшка, ночь-то длинная, наспимся, попитайтесь чайком», – ну, кстати сказать, то да се, семеро на одном колесе. Только что поп разомлел, рядком уселся, руку за пазуху к ей засунул, – стук-стук в окно. Ну, Аннушка всполошилась – «ахти, мол, муж!» – Поп под лавку было сунулся, не влезает, кряхтит, испугался. А Аннушка говорит, как муж велел: – «Уж и не знаю, куда спрятать?»



– Вот нешто на подоловке муж новый ларь делает, – в ларь полезай». – Спрятался первый поп, а на его место второй пришел, тоже водки принес, белая головка. И только он рукой за пазуху, – стук–стук в окно. – Ну и второй поп в ларе на первом попу оказался, лежат друг на друга шепчутся, щипаются, ругаются. А как третий поп начал подвальяживать – стук в калитку, – муж кричит, вроде выпимши – «жена, отворяй!» Так три попа и оказались друг на друге. Муж, заметьте, Илья Иваныч, в избу вошел, спрашивает жену, шепчет: – «В ларе?» Аннушка отвечает: – «В ларе!» – Ну тут муж, Илья Иваныч, как пьяный, в кураж вошел. – «Жена, говорит, желаю я новый ларь на мороз в амбар поставить, овес пересыпать!» – Полез на подоловку. Илья Иваныч так рассудил, заметьте, что отнесет он попов на мороз, запрет в амбаре, попы там на холоду померзнут денек, холод свое возьмет, взбунтуются попы, амбар сломают, побегут, как очумелые, всему селу потеха. Однако, вышло совсем наоборот, не до смеху: стал он тащить ларь с подоловки, попы жирные, девяти–пудовые, – не осилил Илья Иваныч, полетел ларь вниз по лестнице. Да так угодил ларь, что ткнулись все попы головами и померли сразу!.. Да... – Кузя достал кисет, сел на корточки, стал скручивать собачку, заклеивая тщательно газетину языком, – собрался было дальше рассказывать.

Луна зацепилась за гору. Колокольчик коровы загремел рядом, мирно, корова жевала жвачку. Мимо прошел Некульев, пошел в гору, к обрыву. Замолчали, проводили молча глазами – Некульева, пока он не скрылся во мраке. Сказал шепотом Егорушка:

– Гля, – пошел, Антон–от! Опять пошел – отправился. Костры сжигать... Груня Вязовская, знающая бабочка, баит – колдун и колдун. Я ходил, подозревал: наломает сухостою, костер разведет, ляжет возле, щеки упрет и – гляит, гляит на огонь, глаза страшные, и стекла на носу–те, горят как угли, – а сам травинку жует... Очень страшно!.. А то встанет к костру спиной, у самого яру, руки назад заложит и стоит, стоит, смотрит за Волгу, как только не оборвется. Ну, меня страх взял, я ползком, ползком, до просеки, да бегом домой. Гляжу потом, идет домой, вроде, как ничего.

– И к бабе своей ездит, – сказал Кузя. – Приедет, сейчас в степь гулять, за руки возьмутся. И тоже, заметьте, костер раскладывать... Пошли они раз к рощице, я спрятался, а они сели – ну, в двух шагах от меня, никак не дале, двинуться мне невозможно, а меня мошка жигат. Начали они про коммуну говорить, поцеловались раз, очень благородно, терпят, – а мне нет никакого терпенья, а двинуться никак нельзя, я и говорю: – «Извините меня, Антон Иваныч, мошка заела!» – Она как вскочит, на него «это что такое?» – Сердито так. – Мне он ничего не сказал, как бы и не было...

– Надо–ть идтить часы стоять, – пойду я, до–свиданьица, – сказал старик в кафтане.

– И то ступай с богом, спать надо–ть, – отозвалась Маряша и зевнула.

Кузя высек искру, запалил трут, раскурил сигарку, осветились его кошачьи усы. – «Так, стало–ть, кстати сказать, мужику в смысле глаз помочь никак невозможно?» – строго спросил он, – «ни молитвой, ни заговором?»

– Помочь ему никак нельзя, леший глаза вылупил. Надо–ть подорожником прикладывать, чтобы мозги не вытекли, – сказал старик. – Прощевайте! старик поднялся, пошел не спеша, с батогом в руке вниз к Волге, светлели из–под кафтана белые обмотки и лапти.

Вслед ему крикнула Катяша: – «Отец Игнат, ты, баю, зайди, у моего бычка бельма на глазах, полечи!»

Заговорил напевно Кузя: – «Да–а, вот, кстати сказать, выходит, хотел Илья Иваныч над попами потешаться, а вышло совсем наоборот...

– Я тебе яичек принесла, Маряш, – сказала, перебивая Кузю, Катяша. Для барина. Ты почем ему носишь?

– По сорок пять.

– Я за двадцать у немцев взяла. Потом сочтемся.

– У тебя, Ягорушка, как в смысле хлеба? – спросил Кузя.

– Хлеба у нас нет, все на избу истратили. Мужик лесу теперь не берет, – сам ворует. В смысле хлеба – табак. Вот брату моему в городе повезло, прямо сказать, счастье привалило. Приходит к нему со станции свояк, говорит: – «Вот тебе сорок пудов хлеба, продай за меня на базаре, отблагодарю, – а мне продавать никак некогда.» Ну, брат согласился, продал всю муку, деньги в бочку, в яму, – осталось всего три пуда. Тут его и сцапали, брата–то, – мили-

ция. Мука—то выходит ворованная, со станции. Ну, брата в холодную. — «Где вся мука?» — «Не знаю.» — «Где взял муку?» «На базаре, у кого — не припомню.» Так на этом и уперся, как бык в ворота, свояка не выдал, три недели в тюрьме держали, все допрашивали, потом, конечно, отпустили. Свояк было к нему подкатился, — а он на него: «Ах ты, пятая нога, ворованным торговать?! В ноги кланяйся, что не выдал!» — «А деньги?» — «Все, брат, отобрали, бога надо благодарить, что шкура цела осталась...» — Свояк так и ушел ни с чем, даже благодарил брата, самогон выставил... А брат с этих денег пошел и пошел, торговлю открыл, в галошах ходит, — прямо с неба свалилось счастье, — Егор помолчал. — Яйца у меня в картузе, восемь штук, — возьми, Маряш.

— Лесничий, кстати сказать, как приехал, — прямо все масло да яйца, хлеб ест без оглядки, с собой привез. И все примечает, все примечает, глаз очень вострый, заметьте, — сказал Кузя.

— И ист, и ист, все сметану, да масло, да яйца, — прямо господская жизнь! — оживленно заговорила Маряша. — Крупы привез грешенной, отродясь не видала, у нас не сеют, — варила, себе отсыпала, ребята ели, как сахар, облизывались. И исподнее велит стирать с мылом, неделю проносит и скинет, совсем чистое, — а с мылом!.. Я посуду мыла, а он бает — «Вы ее с мылом мойте», — а я ему: — «что—е—те мыло, баю, у нас почитатца поганым!..»

В избе вдруг полетело с дребезгом ведро, пискнул раздавленный циленок, закудаhtала курица, — на пороге появился мужик, тот, что ослеп, — с протянутыми вперед руками, в белой рубашке, залитой кровью, — бородатая голова была запрокинута вверх, мертвых глазниц не было видно, руки шарили бессмысленно. — Мужик заорал визгливо, в неистовой боли и злобе:

— Глазыньки, глазыньки мои отдайте! Глазыньки мои острые!.. — упал вперед, в навоз, споткнувшись о порог.

— Вперед лыка не дери, — успокоительно сказал Кузя. — Видишь отца звали, сказал, ничего не выйдет.

Бабы и Кузя потащили мужика обратно в избу. Егорушка отходил несколько шагов от избы, к амбару, к обрыву, помочиться, вернулся, раздумчиво сказал: — «Потух костер—от, идет, значит, назад. Спать надо—ть», зевнул и перекрестил рот. — «Отдай тогда яички, сочтемся.» — Егор и Катяша пошли к себе на другой конец усадьбы, в сторожку. Кузя в людской зажег самодельную свечу, снял картуз; — побежали по столу тараканы. На постели на нарах стонал мужик. На печи спали дети. Висела посреди комнаты люлька. Кузя из печки достал чугунок. Картошка была холодная, насыпал на стол горку соли (таракан подбежал, понюхал, медленно отошел), — стал есть картошку, кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Маряша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, сшитой из мешка, распустила волосы, качнула люльку, — кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люльке заплакал ребенок, — в невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Маряша качать люльку — и, качая, спала. Прокричал мирно в коридоре петух.

На утро и у Кузи и у Егорушки были свои дела. Маряша встала со светом, доила корову, бегали по двору за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными пузами; шестилетняя старшая — единственная говорившая — Женька, тащила мать за подол, кричала — «тря—ря—ря, тяття, тяття» — просила молока. Корова переходила, молока давала мало, — Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий, бодрый, вышел на солнышко, пошел на Волгу купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей, Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту, — и со свирепым лицом — «кыш вы, озари!» — стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком и в подоле — восемь штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью: — «Старайси? Спать с собой скоро положит!» — Маряша огрызнулась: — «Ну—к что ж, — мене, а не тебе!» Было Маряше всего года двадцать три, но выглядела она сорокалетней, высока и худа была, как палка, — Катяша же была низка, ширококостна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как и подобало ей быть в ее тридцать пять лет.

Кузя поутру ушел в лес, винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо, руки спрятал в карманы, шел не спеша, без дороги, ему одному знакомыми тропинками, посматривал степенно по сторонам. Спустился в овраг, влез на гору, зашел в места совсем забытые и

заброшенные, глухо росли здесь дубы и клены, подрастал орешник, – стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты, посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу, подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку, – картуз надел набекрень. Прошел еще четверть версты по обрыву и пришел к пещере. Кузя окликнул: – «Есть что ли кто? Андрей, Васятка?» – Вышел парень, сказал: – «Отец на Волгу пошел, сейчас придет». Кузя сел на землю около пещеры, закурил, парень вернулся в пещеру, сказал оттуда: – «Может хочешь стаканчик свеженькой?» – Кузя ответил: «Не.» – Замолчали, из пещеры душно пахло сивухой. Минут через десять из-под горы пришел мужик, с бородой в аршин. Кузя сказал: – «Варите? Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достань мне, кстати сказать, пудика два. Потом Егор влазины исправлять будет, нужен ему самогон, самый лучший. Доставь. Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и снорови, отдашь Маряше.» Поговорили о делах, о дороговизне, о качестве самогона. Распрощались. Вышел из пещеры парень; сказал: – «Кузь, дай бабахнуть!» – Кузя передал ему винтовку, ответил: – «Пальни!» Парень выстрелил, – отец покачал сокрушенно головой, сказал: – «В дизехах ведь ходит, Василий–то...»

На обратном пути Кузя заходил в Липовую долину на пчельник к Игнату, покурили. Игнат, по прозвищу Арендатель, сидел на пне и рассуждал о странностях бытия: – «Например, раз, сижу вот на этом самом пне, а мне чижик с дерева говорит: – пить тебе сегодня водку!» Я ему отвечаю: – ну, что, мол, ты глупость говоришь, кака еще така водка?.. – Ан, вышло по его: пришел вечером кум и принес самогонки!.. Птица – она премудрость божия. Или, например, раз, твой новый барин; зашел я к нему, разговорились; – я его спрашиваю, как он понимает, при венчании вокруг наложка посолонь надо ходить или против солнца? А он мне в ответ: – ежели, говорит, в таком деле с солнцем надо считаться, то придется стоять на одном месте и чтобы наложкой вокруг тебя носили; потому как солнце в небе неподвижно, а вертится земля. – Отпалил, да–а! А я ему: – А как же, например, раз Иисус Навин, выходит, землю остановил, а не солнце?.. И все это пошло от Куперника. Этого Куперника на костре сожгли; мало, я–бы его по кусочкам, по косточкам, изрезал бы, своими руками... А табак – это верно, чортова трава. Я тут посадил себе самосадки, для курева, две колоды меда пришлось выкинуть»...

Уже совсем дома, у самой усадьбы Кузя напал на полянку со щавелем, лег на землю, исползал брюхом всю полянку, ел щавель. Дома Маряша дала мурцовки. Поел и пошел чистить лошадь, выскреб, обмыл, стал запрягать в дрожки. Вышел из дома Некульев, – поехали в леса.

Катяша и Егорушка на селе строили новый дом. Постройка была кончена, оставалось отправить влазины и освятить. Давно уже Егорушка изготовил из княжеского шкафа – из красного дерева – кивот, – и с самого утра, подоив корову, Катяша занималась его уборкой. Непонятно, как у нее имелись этикетки пивоваренного завода «Пиво Сокол на Волге», с золотым соколом по середине, – Катяша расклеивала их по кивоту, по красному дереву, вдоль и поперек, и вверх ногами, потому что грамотной она не была. И у Егорушки, и у Катяши был праздник – влазины; Некульев дал Егору отпуск на неделю. Утром же Егорушка и Катяша ходили к Игнату на пчельник узнавать свою судьбу. Игнат изводил их страхом. Игнат сидел в избе на конике, – на Егорушку и Катяшу даже не взглянул, только рукой махнул, – садитесь, мол. Между ног у себя Игнат поставил глиняный печной горшок, стал смотреть в него и говорить, – не весть что. Плюнул направо, налево, в Катяшу (та утерлась покорно), и началось у Игната лицо корчиться судорогами. Потом встал из-за стола и пошел в чулан, поманил молча Егора и Катяшу; там было темно и душно, и удушливо пахло медом и пересохшей травой. Игнат взял с полки две церковные свечи, взял за руки Егора и повернул его на месте три раза, посолонь, – поставил его сзади себя, перегнулся вперед и начал замысловато скручивать свечи, – одну свечу дал Егору, другую – Катяше: сам же стал что–то поспешно бормотать; затем свечи опять отобрал себе, сложил обе вместе, взял руками за концы, уцепился зубами за середину, ощерились зубы, перекошилось лицо, – и Егорушка и Катяша безмолвствовали в благоговейном ужасе, – Игнат зашипел, заревел, заскрежетал зубами, глаза – так показалось в темноте и Егорушке и Катяше – налились кровью, закричал: «Согни его судорогой, вверх тормашками, вверх ногами. Расшиби его на семьсот семьдесят семь кусочков, вытани у него жилу живота на тридцать три сажени.» – Потом Игнат совершенно покойно объяснил, что

жить «в новом доме» они будут хорошо, сытно, проживут долго, сноха будет черноволосая, и будет только одно несчастье «через темное число дней, ночей и месяцев», – ослепнет бычок, придется пустить его на мясо. – Катяша и Егорушка шли домой радостные, дружные, чуть подавленные чудесами, – свечи Игнат им отдал и научил, что с ними делать: в новом доме подойти к воротному столбу, зажечь там свечу и попалить столб, а потом с зажженной свечей пойти в избу, прилепить там свечу к косяку и так три ночи подряд, и так сноровить, чтобы последний раз сгорели свечи до–тла и потухли–б сразу, – первые же два раза тушить свечи левой рукой, обязательно большим и четвертым пальцами, – и чтобы не ошибиться, а то отпадут пальцы. – Некульев уже уехал, когда вернулись Катяша и Егор, принесли Егору ведро самогону. Егор стал запрягать лошадь, Катяша задержалась, замешкалась со сборами, наклеивала на кивот – «пиво Сокол на Волге», «пиво Сокол на Волге». Егорушка от нечего делать ходил в барский дом, зашел в комнату, где поселился Некульев, потрогал его постель, прилег на нее, примериваясь; на столе лежали недоеденная сметана и в коробке из под монпансье сахарный песок, – слюнил палец и тыкал им сначала в сметану, потом в сахар, – потом облизывал палец; на окне лежали зубной порошок, щетка, бритва: Егорушка задержался тут надолго, – попробовал порошок, пожевал его и выплюнул, помотав недоуменно головой, – взял зеркальце и зубной щеткой разгладил себе бороду и усы; – лежала около зеркальца безопасная бритва, рассыпаны были ножички, – Егорушка все их осмотрел, пересчитал, выбрал, какой похуже, и спрятал его себе в карман; в конторе Егорушка сел за письменный стол Некульева, сделал строгое лицо, оперся о ручки кресла, расставив локти и сказал: – «Ну что, которые там, лесокрады! – Выходи!..» – – В семейных отношениях Егорушки главенствовала Катяша; – вскоре перед их избой стоял воз; были на возу и кивот «в соколах на Волге», и поломанное кресло с золоченой спинкой, и две корзинки – одна с черным петухом (вымененным у Маряши), другая с черным котом (прибереженным еще с весны; кот и петух нужны были для влазин), – и сундук с Катяшиным – еще от девичества – добром; – и на самом верху воза сидела сама Катяша, уже подвыпившая самогону, она махала красным платочком, приплясывала сидя, орала «саратовскую», – «шарабан мой, шарабан»... Маряша с детишками стояла рядом с возом, смотрела восхищенно и завистливо; Катяша смолкла, покрестилась, покрестились и Егор, и Маряша, и дети, Катяша сказала: – «Трогай с богом!» Попросила Маряшу: – «За скотиной ты посмотри, Игнат придет наведаться, покажи!..» – Поехали, Егор пошел с вожжами пешим, опять завизжала Катяша: – «Шарабан мой, американка, а я девчонка–а шарлатанка!..» – –

При Некульеве единственное было собрание Рабочкома. Собрали его хорошие ребята, мастеровые–коммунисты, Кандин и Коньков. Собрание было назначено на завтра, но многие съехали с вечера, – дальним пришлось проехать верст по сорок. Вечером в парке на крокетной площадке разложили костер, варили картошку и рыбу. У Некульева собирались на «подторжье», чтобы столкнуться перед торгом Рабочкома, – кто потолковее и кто коммунисты. Коньков был хмур и решителен, Кандин хотел быть терпеливым; говорили о революции, о лесах и – о воровстве, о гомерическом воровстве в лесах, – говорили тихо, сидели тесным кругом, со свечей, в зале, Некульев лежал на диване; – сказал тоскливо Коньков: – «Расстреливать надо, товарищи, – и первым делом наших, чтобы была остратка. Что получается, – мы воюем с мужиками, а кто похитрее из мужиков – идет к знакомому леснику, потолкует, сунет пудишко, – и лесник отпускает ему, что только тот захочет, – получается, товарищи, одно лицемерие и чистое безобразие. Простите, товарищи, признаюсь: привязался ко мне шиханский мужик, – дай ему лесу на избу, – день, другой, – я сижусь голодный, а он и самогону, и белой, – я так ему морду избил, что отвезли в больницу, – не стерпел.» – Ответил Кандин: – «Я морды бил, прямо, скажу, не раз, хорошего в этом мало. Обратное, надо рассудить: – получает лесник жалование, на хлеб перевести, – полтора целковых; на это не проживешь, воровать надо, – ты смотри, как живут, свиньи у бар чище жили. В лесном деле нужна статистика: установить норму, чтобы больше ее не воровали, и виду не показывать, что замечаешь, потому – воруют от нужды. А если больше ворует, – значит, от озорства, – тогда, наоборот, можно расстрелять. Святых нет, – а дело делать надо!» – Говорили о Рабочкоме. – Рабочком создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой. Некульев молчал и слушал, свеча освещала только диван, – ни Коньков, ни Кандин не знали, как повести на утро заседание Рабочкома, чтобы не оторваться от всех остальных лесных людей. – В парке запели песню и

стихли, Некульев пошталным, в парк. У костра сидели люди, все оборванцы, все одетые по разному, все с винтовками. Против огня лежал Кузя, подпер щеки ладонями, смотрел в огонь и рассказывал сказку. Кричало на деревьях всполошенное костром воронье. Некульев присел к огню, стал слушать.

... – И выходит, кстати сказать, хотел Илья Иваныч посмеяться над попами, а вышло наоборот. Открыл Илья Иваныч ларь – лежат три попа друг на друге и все мертвые, и холодеют уже на морозе. Испугался Илья Иваныч, отнес попов в амбар, разложил рядышком, – пришел в избу, сел к столу, думает, а самого, заметьте, цыганский пот прошибат... Ну, только Илья Иваныч очень был умный, посидел часик у стола, подумал и – хлоп себя по лбу! Пошел в амбар, попы уже заоченели, – взял одного попа, поставил его около клетки, облил водой, на попе сосульки повисли. Пошел Илья Иваныч тогда в трактир и, заметьте, прихватил с собой бутылочку, которую поп не допил, там гармошка играет, народ сидит, – и у прилавка, кстати сказать, сидит пьяница Ванюша, ждет, как бы ему поднесли. Илья Иваныч к Ванюше: – «Пей!» – дал ему бутылку. Ванюша выпил, пьяный стал, – ему Илья Иваныч и говорит: – «Дал бы еще, да некогда. Надо иттить, – ко мне, вишь, утопленник пришел на двор, – надо его в прорубь на Волгу отнести.» – Ну, Ванюша вцепился: – «Давай я отнесу, только угости!» – А это самое и надобно было Илье Иванычу, говорит нехотя: – «Ну уж коли что, из-за дружбы, – отнесешь, придешь, в избу, угощу!» – Ванюша прямо бегом побег. – «Где утопленник?» – «Вона!» – Ванюша попа схватил, на плечо и прямо к воротам, – а Илья Иваныч к нему: – «Да ты погоди, надо его в мешок положить, а то народ напугаешь.» – Положили, заметьте, в мешок, Ванюша понес, а Илья Иваныч второго попа из амбара выставил, облил водой, ждет. Прибегает Ванюша, прямо в избу: – «Ну, где выпивка?» А ему Илья Иваныч: – «Нет, брат, погоди, плохо ты его отнес, слова не сказал, – он опять вернулся.» – «Кто?» – «Утопленник.» – «Где?» Вышли на двор. Стоит поп у клетки. Ванюша глаза вытаращил, рассердился: – «Ах ты такой сякой, не слушаться!» – схватил второго попа и побег к проруби, – а Илья Иваныч ему в след: – «Ты как будешь его в воду совать, скажи – упокой, господи его душу, – он и не пойдет!» – Это, чтобы помолиться, все-таки, за попа. – Только Ванюша со двора, – Илья Иваныч третьего попа и, – прибегает Ванюша, – а Илья Иваныч ему выговаривает: – «Эх ты, Ванюша! Не можешь утопленника унести, – ведь опять вернулся. Придется мне уж с тобой пойтить, чтобы концы в воду. Неси, а я позадь пойду, посмотрю, как ты там управляешься.» – Отнесли третьего попа, посмотрел Илья Иваныч, – спускает попов в воду Ванюша как следует, успокоился и говорит: – «Ну, все-таки, ты Ванюша потрудился, пойдём – угощу!» – Да так его напоил, что у Ванюши всю память отшибло, забыл как утопленников таскал. Так что про попов и не дознались, куда их черти дели. – Вот и сказке конец, а мене венец, – сказал Кузя.

Некульев отошел от костра, пошел во мрак, обогнул усадьбу, – пошел на гору, к обрыву, подумать, побыть одному... –

Утром, на той же крокетной площадке, где многие так у костра и ночевали, собралось человек семьдесят лесников и полесчиков. Под липой поставили стол, принесли скамьи – но многие лежали и на травке вокруг площадки. Костер не потухал. Винтовки составили – по военному – в козлы. Избрали президиум.

От этого собрания остался нижеследующий протокол:

СЛУШАЛИ: 1. Доклад тов. Конькова о Международном положении\*1.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 2. Доклад тов. Кандина о плане работ Рабочкома.

а) Культурно-просветительная работа.

б) Средства Рабочкома и расходные статьи.

ПОСТАНОВИЛИ: 2. В виду разбросанности лесных людей по лесам, Культкомиссии не избирать\*2; выписать на каждую сторожку по газете, расходы 1) канцелярские принадлежности, 2) подвода в город, 3) суточные.

СЛУШАЛИ: 3. Предложение тов. Конькова отчислить от зарплаты в фонд по устройению памятника революции в Москве.

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Отчислить однодневный заработок.

СЛУШАЛИ: 4. Донесение Председателя Кадомского Сельсовета Нефедова о том, что в расчетных ведомостях по 27 кордону были вымышленные фамилии, за которых получал

объездчик Сарычев. – Сарычев предъявил вышеупомянутые ведомости и указал, что правильность их заверена печатью и подписью Предсельсовета Нефедова, написавшего вышеозначенные донесения.

ПОСТАНОВИЛИ: 4. В виду неясности вопросов и несообразности донесения на самого себя – направить дело к доследованию, отослав копию в Угрозыск.

СЛУШАЛИ: 5. Дело о племенном быке, съеденном объездчиком и лесниками с 7 кордона; из Племяхоза был взят плембык за круговой порукой, – бык был убит и съеден, а в Племяхоз был направлен акт, что бык умер от сибирки.

ПОСТАНОВИЛИ: 5. В виду незаконного поступка с быком, с лесников Стулова, Синицына и Шавелкина и объездчика Усачева удерживать ежемесячно 3–х дневный заработок и направлять его в кассу Племяхоза.

\*1 В докладе Коньков сделал ошибку, указав, что Европа и Россия – географически в разных материках.

\*2 Выяснилось, что половина лесников безграмотны, Кузя шептал, голосуя, Егорушке: – «Ничего, выкурим!»

СЛУШАЛИ: 6. Пожелание лесника тов. Сошкина не делать общих собраний по воскресеньям\*3.

ПОСТАНОВИЛИ: 6. Утвердить.

СЛУШАЛИ: 7. Предложение объездчика Сарычева о вступлении всех сразу в РКП.

ПОСТАНОВИЛИ: 7. Оставить вопрос открытым\*4.

Первое письмо, которое написал Некульев с Медыньских гор, было такое, – он не закончил его: –

«... у черта на куличках, где нет почты ближе как в шестнадцати верстах, а железной дороги – в ста, – в проклятом доме над Волгой, в доме, который проклятье помещиков перенес и на меня, – в жаре и делах, по истине чертовщинных! – Живу я робинзоном, сплю без простыней, ем сырые яйца и молоко, без варева, хожу полуголый. Кругом меня дичь, срам, мерзость. Ближайшее село от нас – 16 верст, но под обрывом идет – «великий водный путь», и я часто толкую с теми, кто бичевой идет по Волге, таких очень много, каждый день проходит добрые десятка два дощаников, часто около нас отдыхают и варят уху; – так вот дней пять тому назад тащил бичевой мужик свою жену, привязанную к дощанику; он мне сообщил, что в его жену вселилось три черта, один под сердце, другой в «станову жилу», третий – под мышку – а верстах в ста от нас есть замечательный знахарь, который чертей может изгонять – так вот он к нему и везет жену; вчера он возвращался обратно, в ляме шла уже его жена, а он барствовал на дощанике, – сообщил, что черти изгнаны. – Тема этого письма – люди, с которыми я живу, – это два лесника с женами и детьми. Один из них построил себе избу из краденого \_\_\_\_\_»

\*3 Встал тогда на собрании с травки босой паренек в армяке и сказал, волнуясь: – «Я так думаю, товарищи, мы, выходит, пожелаем, чтобы собрание Рабочкома не делали в воскресенье, потому, как граждане самовольные порубщики в будни все в поле на работе, их там не поймашь, – а в воскресенье они сидят дома, тут их и ловить с милицией.»

\*4 Товарищ Кандин тогда говорил, что вопрос вступления в РКП – вопрос совести каждого, – Сарычев обиделся на него, – говорил: – «...а если вы думаете, что Кадомский Васька Нефедов, председатель, доносчик, правду на меня наплел, – так он сам первый жулик, а которые фамилии были подписаны – так они люди странные, теперь уехали домой, на Ветлугу.» – – леса, который он же призван охранять, и обставил ее обломками мебели из усадьбы, – но это не главное, а главное то, что прежде чем вселиться в избу, он пускал туда черную кошку и петуха, а под печку клал краюху хлеба с солью – для домового, а жена его – голая – обегала дом, чтобы «отворотить глаз». У него заболел бычок, заслезились глаза, – ветеринар уж не так далеко, в Вязовах, – но он позвал местного знахаря (этот знахарь, мужик – арендатор пчельника, приходил раза два ко мне поговорить, – я и не полагал, что он колдун, – мужик, как мужик, только чуть похитрее, грамотен и болтает что–то про Коперника), – так знахарь бычка осмотрел, нашептал что–то, снял какую–то пленку с глаз у бычка, посыпал солью, – и бычок ослеп; тогда Катяша, жена Егора, достала «змеиной выползины», высушила, истолкла в порошок и этой змеиной выползиной – лечит бычка, присыпает ему ослепшие уже глаза. Жену второго лесника зовут Маряшей; сначала я ее звал Машей, – она сказала мне: – «И что–е–те как вы зовете мене? Мене все зовут Маряшей!» – Детей у нее трое, лет ей 23, – моей «жисти» она зави-

дует до слюней: – «и–и–иии, и все те с маслом, и молока сколько душа жалат!» – Детям своим молока она не дает, продает мне: мне противно, но я знаю, – если я не буду брать у нее, то умру с голоду, ибо вечно так голодать, как они, не умею, – а она молоко оставит на масло и творог – и все равно продаст. Маряша ни разу не была в городе, в своем уездном городе, в тридцати верстах; она ни разу до меня не видела гречневой крупы – «у нас такой не сеют!» – и сразу же украла у меня добрую половину для детей; у нее в живых трое детей, которые ходят голыми, еще двое померли, ей 23, и у нее уже женская какая–то болезнь, про которую охотно рассказывает всем ее муж Кузя, – и ни одного ребенка не принимала у нее даже... знахарка–баба: сама родила, сама резала пуповину, сама мыла за собою кровь, отсылая мужа на этот случай в лес. Дикарство, ужас, – черт знает, что такое! – Ко мне отношение такое. – Вчера приходил немец из–за Волги, предложил масла; я спросил, – почему?

– «Как раньше брали, по 25.» – А с меня Маряша и Кузя, и Катяша брали по шестидесяти. У меня лопнуло терпенье, я позвал Маряшу и Катяшу и сказал им – как им не стыдно, ведь вижу я, как они обманывают и обворовывают меня на каждом шагу и на каждой мелочи, – ведь я же по–товарищески и по–хорошему держу себя с ними и буду вынужден считать их за воровок и не уважать, – этакое лирическое нравоучение прочел им. Не сморгнули. – «Мы по нарощку за то, нарочно мы, то–есть!..»

«А к обеду в этот день вдруг стерлядку мне: – «это мы тебе в подарок!» – Послал я их к черту со стерлядками. Я для них – барин и больше ничего, – я не пашу, мою белье с мылом, делаю непонятные им вещи, читаю, живу в барском доме, стало быть, – барин; заставляю я ходить их на четвереньках – пойдут, заставляю вылизать пол – вылизут, и сделают это на 50% из–за рабственного страха, а на 50 – из–за того, что – может барину это и всерьез надо, ибо многое из того, что делаю я, им кажется столь же нелепым, как и лизание полов, – сделают все что угодно, – но у меня выработалась привычка все время быть так, чтобы за спиной у меня никого не было, ибо я не знаю, не покажется ли в данную минуту Катяше или Кузе необходимым сунуть мне в спину нож: быть может это излишняя осторожность, ибо они на меня смотрят, как на дойную корову, и я слышал, как Катяша с завистью говорила, что меня «бог послал» Маряше, ибо Маряша, ставя мне самовар и убирая мою комнату и контору, имеет полное право и возможность, одобренные Катяшей, систематически обворовывать меня!.. Да, так, а я – честный коммунист. Я не понимаю, как наши мужики понимают честь, ведь должна же она у них быть. Они живут, ничего не понимая, и вот Егор строит новую избу по всем знахарьим правилам, когда идет мировая революция!.. – Это весь народ, который я вижу вокруг себя, но кроме них есть еще невидимый – это те сотни, а, может и тысячи, которые вокруг меня растаскивают леса, с которыми я борюсь не на живот, а на смерть. У меня такое ощущение, что все вокруг меня воры, вор на воре сидит, не понимаю, как не воруют друг друга, – хоть, впрочем, забыл, – я же сам был украден немцами и они держали меня спрятанным в темном чулане!.. Да, так. Дети у Маряши ходят голыми, потому что нечего надеть, и все они в жесточайшей часотке, – сначала я стал было столоваться вместе с Кузей, но мне было тошнотворно от грязи и – было стыдно есть при детях, потому что они голодны, не едят даже вдоволь хлеба и картошки, – а мясо, там масло, яиц никогда не видят... А вот Мишка – пастух, который с нами говорит на коровьем, не похожем на человеческий, языке, по–человечески говорит с трудом, – нашел в лесу землянку, уже развалившуюся в овраге, в глуши, – землянка в гору вросла, – и в землянке полуистлевшая псалтирь, спасался, должно быть, какой–то праведник: интересно знать, мыло он признавал поганым или святым?.. А знахарю – «Арендателю» чижик предсказывает, когда он будет пить самогонку. А сам пастух Минька знаменит тем, что в прошлом году, еще до меня, в его стаде у коровы родился телок с человеческой головой, – телка этого бабы убили, и молва решила, что отцом телка является Минька: быть этого, конечно, не могло, – но что Минька, который с коровами лучше говорит, чем с людьми, мог возжелать к коровам – это пусть лежит на его совести»...

– – Некульев не дописал тогда этого письма. Он сел писать его вечером, вернувшись с горы, где раскладывал костер, и просидел за столом до поздней ночи. Писал в конторе, горели на столе две свечи, отекали стеарином, – лили на зеленое сукно стеарин ко многим другим стеариновым ночам на сукне, в этом доме, горьком, как табачный мед. И вдруг, Некульев почувствовал, что вся кожа его в мурашках, – первый раз осознал эти привычные мурашки,

– поспешно ощупал револьвер, – вскочил из-за стола, схватил револьвер, чтобы стрелять, – и тогда в контору вошел Коньков, с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом, землистым от пыли. Коньков сказал:

– Товарищ Антон! Илья Кандин – убит мужиками, на порубке. В Кадомы, в Вязовы, в Белоконь пришли разведочные военные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют! –

Глава третья. – О матери сырой земле и о прекрасной любви.

Расспросить мужиков о матери сырой-земле, – слушать человеку уставшему, – станут перед человеком страхи, черти и та земная тяга, та земная сыть, которой, если-б нашел ее богатырь Микула, повернул бы он мир. Мужики – старики, старухи, – расскажут, что горы и овраги накопили огромные черти, такие, каких теперь уже нет, своими рогами – в то самое время, когда гнали их архангелы из рая. Мать сыра-земля, как любовь и пол, тайна, на которую разделила – она же мать сыра-земля – человека, мужчину и женщину, – манит смертельно, мужики целуют землю сыновне, носят в ладонках, приговаривают ей, заговаривают – любовь и ненависть, солнце и день. Матерью сырою-землей – как смертью и любовью – клянутся мужики. Мать сыру-землю – опахивают заговорами, и тогда, в ночи запрягается в соху вместо лошади голая вдова, все познавшая, а правят сохой две голые девки, у которых земля и мир впереди. Женщине быть – матерью сырой-землей. – А сама мать сыра-земля – поля, леса, болота, перелески, горы, дали, годы, ночи, дни, метели, грозы, покой. – – Мать сыру-землю можно иль проклинать, иль любить.

У Некульева был большой труд. Юго-восток отрывали донцы и уральцы, из Пензы к Казани шли чехи, Волгу сщемили, щемили. Волгу спасали Медьни. У Мокрых Балок, в Починках, у Островов, на Залогах, – в десятках мест грузились баржи с дровами, лесами, осмиреками, двенашиками, тесами. И в ночи, и в дни приходили издыхающие пароходы, – ночами сыпали пароходы гейзеры искр, – брали дрова, свою жизнь, чтобы шлепать по зарям и водам лопастями колес, пугая дали. Из Саратова, из Самары, из уездов, из степных городов – приезжали отряды людей с пилами, тех, чья воля была победить и не умереть, рабочие, профессора, студенты, курсистки, учительницы, матери, врачи, молодые и старые, мужчины и женщины, – шли в леса, пилили леса, сбивали себе руки, колени, кровяные набивали мозоли, тупыми пилами боролись за жизнь – жгли ночами костры и пели голодные песни, спали в лесах на траве, плакали и проклинали ночи и мир, – и все же приходили пароходы, хрипели дровяным дымом, профессора становились за кочегаров, профессорские пиджаки маслелись, как рабочие блузы. – Некульев был тут, там, мчал туда, верхом на гнедой княжеской лошади, сзади Некульева на хромом меринке ковылял Кузя: все, что делалось, необходимо было – во что бы то ни стало, и Кузя помахивал часто наганом. –

... Была ночь. Некульев не дописал тогда письма, свечи запечатлевали новую стеаринную быль на зеленом конторском сукне. И тогда в комнату вошел Коньков с револьвером в руке, весь в пыли, с лицом землистым от пыли, и Коньков сказал шепотом, как заговорщик: – «Товарищ Антон! Илья Кандин убит мужиками на порубке. В Кадомы, Вязовы, Белоконь пришли разведочные отряды, установить нельзя, белые или красные. Мужики бунтуют!» – – Тогда Конькова Некульев встретил в гусином страхе – с револьвером в руках, и он опустил револьвер, сел беспомощно на стол, чтобы помолчать минуту о смерти товарища. – Но тогда оба они крепко сжали ручки револьверов, тесно сдвинувшись друг к другу: за окном зашелестел десяток притаенных шагов, перезамкнулись затворы винтовок, и в миг в дверях и в окнах возникли черные точки винтовочных дул, – и в комнату вошел матрос, покойно, деловито, револьвер у него не был вынут из кобуры. – «Товарищи, ни с места. Руки вверх, товарищи. – Документы!» – «Вы коммунист, товарищ?» – «Вы арестованы. Вы поедете с нами на пароход». – Земля сворачивала уже в осень и ночь была черна, и волжские просторы повеяли сырою неприязнью. У лодки во мраке выли бабы, и прощались с ними, как прощаются новобранцы, Егорушка и Кузя. Пыхтели во мраке пароходы, но на пароходах не было огня. Сели, поплыли. Кузя подсел к Некульеву: – «Это что же, расстреливать нас везут?» – Помолчал. – «Я так полагаю, я все-таки босой, прыгну я в воду и уплыву»... – Крикнул матрос: – «Не шептаться!» – «А ты куда нас везешь, за то?» – огрызнулся Кузя. – «Там узнаешь, куда.» – Ткнулись о пароходный борт, – «Прими конец», – «Чаль!» – Пароход гудел



человеческими голосами. Некульев выбрался на палубу первым. – «Веди в рубку!» – В рубке толпились вооруженные люди, у одних пояс, как у индейцев перьями, был завешен ручными гранатами, другие были просто подпоясаны пулеметными лентами, махорка валила с ног. – И выяснилось: седьмой революционный крестьянский полк потерял начальника штаба, а он единственный на пароходе умел читать по-немецки, а военную карту заменяла карта из немецкого атласа; карта лежала в рубке на столе – вверх ногами; седьмой крестьянский полк шел бить казаков, чтобы прорваться к Астрахани, – и чем дальше шел по карте, тем получалось непонятней; Некульев карту положил как надо, – с ним спорили, не доверяя; а потом всю ночь сидел Некульев со штабистами – матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом; матросы поняли легко, повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел выцветшими стекляшками, Некульев был отпущен; Коньков сказал, что он останется на пароходе; Егорушка и Кузя спали у трубы, Некульев растолкал их. –

– И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу к седьмому (и первому и двадцатому) революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина. –

... Такие люди, как Некульев, – стыдливы в любви; – они целомудренны и правдивы всюду. Иногда, во имя политики и во имя жизни они лгут, – это не есть ложь и лицемерие, но есть военная хитрость, – с собою они целомудренно – чисты и прямолинейны и строги. – Тогда, в первый Медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро, – и потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Некульев сказал – всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим – «люблю, люблю!» – чтобы в этой любви были только солнце и человек: тогда пьяно пахло липами и была красная луна, и они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье – драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. – У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которое она хотела выпрямить в прямолинейность, – и она возрастала обильно – матерью сырой-землей – как тюльпанная (только две недели по весне) степь, – кожевенница Арина Арсеньева, прекрасная женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая (вот чтобы эти пироги есть) стояли нары рабочих, и для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волченоч (о волченке потом...). Но за домом и за заборами – дом стоял на краю села – была степь по прежнему, жухлая, одиночащая, в увалах и балках, такая памятная лунными ночами еще с детства. А каждая женщина – мать. Надо было на тарангасе мчать в леса на обдирку корья; надо было мчать в город в совнархоз и там ругаться; надо было лезть на всяческие рожны на митингах в селе, на совещаниях в городе; надо было говорить о голье, о бахтарме, о дерме, о золении, о дублинии, об обдирке, обсышке, о шакше (сиречь птичьим помете), – и надо было иной раз рабочих обложить – в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили; за забором стояли низкие бараки, рядами стояли чаны для промывки и зазолки, сзади пристроена была боенка, строились бараки для мыловаренного и клеевого заводов, стоял амбарушка, где рушили в пыль лошадиные кости: надо было все перестраивать, делать заново и по-новому. Надо было носить пиджак по-мужски, револьвер на ремне, – и сапоги надо было шить на заказ: мала была ножка! И не надо – не надо было склоняться вечерами над волченком, смотреть ему в глаза, нежные слова говорить ему, и вдыхать его – горький лесной запах! – И вот в солнечный бодрый день – всю матерью сырой-землей, подступавшей к горлу, – полюбила, полюбила! – И тогда, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, когда Некульев сказал – «люблю, люблю», – остались только луна, только мать сыра-земля, и она отдалась ему – девушка-женщина в тридцать лет, отдав все, что собрано было за эти тридцать весен. – Он, Некульев, приезжал к ней вечерами и приходил наверх в мезонин; иногда ее не было дома, тогда, дожидаясь, он рылся в чуждых ему книгах о кожевенном деле и пытался играть с волченком; но волченоч был враждебен ему: волченоч забивался в угол, съеживался и оттуда смотрели чужие, немигающие, абсолютно-осторожные два глаза, следящие за каждым движением, ничего

не опускающие, – и волченочек скалил бессильную маленькую свою морду, и от волченка гнусно пахло псиной, кислым, недостойным человека... Входила Арина, и Некульеву каждый раз казалось, что это входит солнце, и он слепнул в счастье. Некульев не замечал, что всегда она кормила его вкусными вещами, ветчиной, свининой, и очень часто были или пухлые пироги, или сдобные пышки, которые Арина – удосуживалась, все же! – пекла сама. Некульев не замечал, что весь этот дом, даже пироги, пропахли странным, непонятным ему запахом, – кожей, что–ли. – Потом Некульев и Арина шли в степь, спускались в балку, где наверху склоняли головы солнц подсолнухов, а внизу пересвистывались и замирали неподвижно, стражами сурки, поднимались на другую сторону балки, – и были там в местах совершенно первобытных, где не проходили даже татарские орды. Арина отдавалась Некульеву всею матерью сырой–землей, – Некульев думал, что в руках его солнце. – У них не было влазин с черным петухом и с черной кошкой (хотя и было полнолуние) – потому, что у них были любовь и счастье.

И это счастье расколотилось вдребезги, как вдребезги бьют глиняную посуду на деревенских мужичьих свадьбах. – Некульев понял запах Арины и пересилить его не мог.

Некульев приехал днем. В мезонине был только волченочек. У заводских ворот сидел сторож, старик, он сказал: – «Лошадей часотошных пригнали из армии, дохлых, порченных, – пошла туда Арина Сергевна.» – Некульев пошел по заводу, прошел мимо громоздких протухших чанов, побрезговал зайти в бараки, калиткой вышел на другой двор, – и там увидел. – На дворе стояло штук сорок совершенно измызганных лошадей, без шерсти, слепых, обезноживших (когда лошади «безножат», тогда ноги их как дуги), лошади походили на ужасных нищих старух, лошади сбились в безумии в табун, головами внутрь – хвостов у лошадей не было, и были лишь серые чешуйчатые репицы на месте хвостов, которые судорожно дрожали. И тут же, за низким заборчиком, убивали лошадей, одну за другой, отрывая каждую насильно от табуна. Открылись воротца туда, на бойню, – четверо вталкивали в ворота противящуюся лошадь, один из них ломал репицу хвоста, вынуждая лошадь итти убиваться, – вышла из ворот Арина, ударила поленом лошадь по шее, лошадь качнулась от удара и пошла вперед. Арина была в окровавленном фартуке и в кожаных штанах. Некульев побежал к воротам. Когда он взбежал туда, лошадь уже лежала на земле, дергались судорожно ноги, сползли с зубов мертвые губы и язык был зажат в зубах вместе с желтой слюной, и двое рабочих уже хлопотали над лошадью, распарывая – живую еще – кожу; сломанная репица лошади торчала вверх. Некульев крикнул: – «Арина, что вы делаете?!» – Арина заговорила деловито, но очень поспешно, так показалось Некульеву: – «Кожа идет на обделку, жировые вещества идут на мыло, белками мы откармливаем свиней. Сухожилия и кости идут на клееварню. Потом кости размалываются для удобрения почвы. У нас все используется.» Руки Арины были в крови, земля залита была кровью, – рабочие обдирали лошадь, другие конские трупы валялись уже ободранные, – лошадь подвесили за ноги, на блоке, к виселице. Некульев понял: здесь пахнет так же, как всегда от Арины, и он почувствовал, что горло его сжала тошнотная судорога. Некульев приложил руку ко рту, точно хотел рукою зажать рвоту, повернулся и молча пошел вон, за заборы, в степь. Некульев был целомудрен в любви. Он был всегда бодр и любил быть «без дураков» – в степи он шел как дурак, без картуза, который забыл в мезонине у волченка. Больше Некульев не видел Арины. –

Леса лежали затаенно, безмолвно, – по суземам и раменьям (говорил Кузя) жил леший, – горели в ночах костры, недобрые огни. Если бы было такое большое ухо – оно услышало бы как перекликаются дозорные, как валятся деревья, миллионы поленьев (чтобы топить Волгу и революцию), услышало бы свисты, посвисты, пересвисты, окрики и крики. – Лежала в лесах мать сыра–земля. – Был рассвет, когда над лесами полетели ядра, чтобы ядрами ставить правду. – Некульев прошел в дом, позвал за собой Кузьму и Егора, сказал, став за стол:

– Товарищи. Я ухожу от вас, в Красную Армию. Поступайте как знаете. Если хотите, идемте со мной.

Кузя помолчал. Спросил Егора: – «Ты как понимаешь, Ягорушка?» – Егор ответил: – «Мне нельзя иттить, я избу новую построил, никак к примеру нельзя, все растащить, – я лучше в деревню уеду.» – Кузя за обоих ответил – руки по швам:

– Честь имею доложить, так что мы остаемся при лесах!

Некульев сел к столу, сказал: – «Ступайте, что останется от меня, разделите по–ровну, я уйду только с винтовкой. Кузьма, приди через час, я дам тебе письма, отвезешь.» – Кузьма и Егор вышли. Над домом разорвался снаряд.

Некульев написал на клочке, поспешно:

«В Губком. – Товарищи, я покидаю леса. Я спешу, потому что около идет бой. Я уйду в Красную армию, но это не конец, – я хочу работать, только не с землей, чтобы черти ее прокляли: пошлите меня на завод. Работать надо, необходимо.»

«Ирине Сергеевне Арсеньевой. – Арина, прости меня. Я был честен – и с тобой, и с собой. Прощай, прости навсегда, ты научила меня быть революционером.»

.....

О волченке.

Была безлунная ночь. Шел мелкий дождик. Ирина шла из степи, прошла селом, слушала, как воют на селе собаки, село замерло в безмолвии и мраке. Вошла во двор, прошла мимо чанов, никто не повстречался, – поднялась в свой мезонин. Прислушалась к тишине – рядом здесь в комнате дышал волчонок. Зажгла свечу, склонилась над волченком, зашептала: – «Милый мой, звереныш, ну, пойдись ко мне!..» – Волчонок забился в угол, сидел на задних лапах, поджал под себя пушистый свой хвост и черные его глаза стерегли каждое движение рук и глаз Ирины. И когда глаза их встретились, глаза волченка, не мигающие, стали особенно чужие, враждебными навсегда. Ирина нашла волченка еще слепым, она кормила его из соски, она нянчилась с ним как с ребенком, она часами сидела над ним, перешептывая ему все нежные слова, какие знала от матери, – волчонок рос у нее на руках, стал лакать с блюдца, стал самостоятельно есть, – но навсегда волчонок чувствовал себя врагом Ирины. Приручить его возможности не было; и чем больше волчонок рос, тем враждебнее и чужее был он с Ириной, он убегал от ее рук, он перестал при ней есть, – они часами сидели друг перед другом, между ними была его миска, она знала – он был голоден, она умоляла его нежнейшими словами – «ешь, ешь, голубчик, – ну ешь–же, все равно я не уйду отсюда!» – волчонок следил своими стекляшками глаз за ее глазами и руками, и был неподвижен, не смотрел на миску, – пока не уходила она, тогда он поспешно съедал все до дна; он ворчал и скалился, когда она протягивала руку; он был врагом навсегда, приручить его возможности не было; Ирина много раз замечала, что наедине волчонок живет очень благодушно, своими собственными интересами: он бегал по комнате, изучал и обнюхивал вещи, грелся на солнце, ловил мух, благодушествовал, задираал вверх ноги, – но как только входила она, он вбирался в свой угол, и оттуда смотрели два черных абсолютно–внимательных глаза. – – Ирина поставила свечу на полу, и села против волка на корточки, сказала – говорила: – «милый мой, звереныш, Никитушка, – ну, пойдись ко мне, – у тебя ведь нет мамы, я приласкаю тебя на руках!» Свеча коптила, мигала, – мир был ограничен – мир Ирины и волченка – спинкой кровати, стеной, печкой, и потолок уже не был виден, потому что коптила свеча и потому что обе пары глаз смотрели друг в друга. Ирина протянула руку, чтобы погладить волченка – и волчонок бросился на эту руку, бросился в смерть, страшной ненавистью, – впился зубами в пальцы, упал в злобе, не разжимая челюстей; – Ирина отдернула руку, волчонок повис на зубах, – на руке, – волчонок сорвался с руки, срывая мясо с пальцев, ударился о кровать, – и сейчас же по–прежнему сел волчонок в углу и оттуда смотрела пара немигающих его абсолютно–внимательных зрачков, точно ничего не было. И Ирина горько заплакала – не от боли, не от крови, стекавшей с руки: заплакала от одиночества, от обиды, от бессилия – как ни люби волка, он глядит в лес, Ирина была бессильна пред инстинктом – вот пред маленьким вонючим, пушистым комком лесных, звериных инстинктов, что сейчас засел за кроватью, – и перед теми инстинктами, что жили в ней, правили ей, – что посылали ее сейчас в дождь, в степь, плакать на том увале, где отдавалась она Некульеву; – и в бессилии, обиде, одиночестве (чем больше любила она волченка, тем злее был он с ней) больно ударила она волченка по голове, по глазам и упала в слезах на постель, в одиночестве, в несчастии. Свеча осталась около волченка. –

Тогда в окно полетел камень, посыпалось стекло, – и за окном крикнул подавленный голос:

– Товарищ Арсеньев! Беги! Что ты глядишь, все уж ушли, – казаки в селе, скорей! – Айда в леса!

и за окном послышался поспешный топот копыт – от села к степи, к лесам. –

...Степь в осени блекнет сразу, сразу заволакивается степь просторною серой тоской. Утро пришло в дождевой измороси, неумытое, очень тоскливое. Мимо разбитых заводских ворот проехал с песнями конный казачий отряд. Из ворот выехали три казака и слились с остальными.

ми, никто не слышал, как рассказывали казаки о прекрасной бабе–коммунистке, доставшейся им на случайную ночь... А у заводских разбитых ворот, когда стихла песня, опять стала тишина. – На дворе на заводе, стояли чаны, пропахшие мертвой кожей и дубьем, и в средний чан был воткнут кол и на кол была посажена Ирина – Арина Сергеевна Арсеньева. Она была раздета до–нога. Кол был воткнут между ног; ноги были привязаны к колу. Лицо ее – красавицы – было безобразно от ужаса, глаза вылезли из орбит. Она была жива. Она умерла к вечеру. Никто за весь день не зашел на заводской двор.

Кузя опоздал к Арине с письмом Некульева. Он пришел ночью. Дом и двор были отперты, никого не было. Он пробрался в мезонин, зажег спичку, здесь было все разгромлено. В углу за кроватью стоял на полу подсвечник с недогоревшей свечей и смотрели из за подсвечника два волчьих глаза. Кузя зажег свечу, осмотрел внимательно комнату, поковырял на полу следы крови, сказал вслух, сам себе: – «Убили, что–ли? Либо подрали, – и тут громили, значит, черти!» – Потом остановил свое внимание на волченке, осмотрел, усмехнулся, сказал: – «А говорили, что волченка, ччудакии! Это лиса!» – Кузя собрал все вещи в комнате, завернул их в одеяло, перевязал веревкой, – взял с постели простыню, спокойно ухватил за шиворот лисенка, закутал его, – взвалил узлы на спину, потушил свечу, подсвечник засунул в карман, и пошел вон из комнаты.

Вскоре Кузя шел лесом. Лес был безмолвен, черен, тих. Некульев удивлялся бы, как Кузя не выткнет себе во мраке глаз. Кузя шел кратчайшим путем, горами, тропками, – о лешем он не думал, но и не посвистывал. Узлы тащить было тяжело.

Кузю, должно быть, поразила история с волченком, потому что он по многу раз рассказывал Егору, и Маряше, и Катяше: – «А говорили, что волченка, ччудаки, а это – лиса! У волченка хвост как полено, а у этого на конце черна кисть, и, заметьте, – уши черные. Конечно, где господам про это знать: это даже не каждый охотник отличит, а я знаю!»

По осени, к снегам уже сомнения не было, что этот волченка оказался лисой. Кузя лисенка убил, освежевал и из его шкуры сшил себе треух. –

Москва, 20 ноября 1924 г.

Поварская, 26, 8.

## В. КАВЕРИН. КОНЕЦ ХАЗЫ<sup>1</sup>

Памяти Льва Лунца.

I.

В дни, когда республика, сжатая гражданской войной, голодом, блокадой, начала, наконец, распрямлять плечи, изменяя на географической карте линию своих очертаний, в Петрограде, который только что остыл от схватки с мятежным Кронштадтом, на Лиговке, единственной улице, до сих пор сохранившей в неприкосновенности свои знаменитые притоны, из дома, принадлежавшего когда–то барону Фредериксу, министру царского двора, где живут главным образом учительницы музыки и иностранных языков, те самые, что по праздничным дням носят на груди часики, приколотые золотой булавкой, из антресолей, которыми зовется в этом доме второй этаж, 12–го сентября, в 9 часов утра, ушла и не вернулась обратно стенографистка Екатерина Ивановна Молотова.

В доме барона Фредерикса много круговых коридоров, и у каждого коридора есть свой представитель.

В пределах своего коридора, коридорный представитель является верховной властью.

За труд, который несет верховная власть, она пользуется, кроме почета, каким–нибудь значительным удобством – отдельным чуланчиком на замке или своим собственным ключом от выходной двери.

Когда извозчик едет на Старо–Невский, то как бы он ни был пьян, колеса его пролетки никогда не вернутся по направлению к Адмиралтейству. Мировой порядок никому не позво<sup>лит</sup> исчезнуть из комнаты, из дома, из улицы, из города, так, чтобы этого никто не заметил.

<sup>1</sup> Детективная повесть В. Каверина «Конец хазы» впервые опубликована в 1925 году. Печатается по: В. Каверин. Конец хазы // [http://modernlib.ru/books/kaverin\\_veniamin/konec\\_hazi/](http://modernlib.ru/books/kaverin_veniamin/konec_hazi/)

Поэтому представитель коридора, в котором жила стенографистка Молотова, через четыре дня после того, как она ушла и не вернулась обратно, заявил о странном происшествии управдому. Управдом, которого все в доме называли Кузьмич, – пропитый до костей человек с сизыми усами, – закурил трубку.

Спустя четверть часа он для чего-то заглянул в домовую книгу, сплюнул, обругал свою хозяйку и, наконец, сообщил об исчезновении стенографистки в милицию.

Еще через два-три дня в дом барона Фредерикса явился участковый надзиратель, чтобы на месте выяснить все обстоятельства, которые могли служить причиной незаконного события.

Он допросил соседок по комнате Екатерины Молотовой. Одна из них оказалась старушкой, торговавшей всякой рухлядью на Мальцовском рынке и называвшей себя кружевницей.

Она поминутно смеялась в свой сухонький кулачок, была глуховата, носила очки на носу и на голове малиновый чепчик.

Другая была проституткой, по прозвищу «Кораблик».

Из показаний старушки в малиновом чепчике выяснилось:

1. Что Екатерина Молотова жила одна, сильно нуждалась и служила стенографисткой в одном из петроградских государственных учреждений.

2. Что никто ее, стенографистку Молотову, не посещал, кроме какого-то высокого человека в кожаной куртке и в желтых сапогах со шпорами, который был у нее раза два-три за несколько дней до ее исчезновения.

3. Была ли она с этим человеком в каких-либо близких отношениях неизвестно, но в последнее свое посещение высокий человек со шпорами стенографистку Молотову, прощаясь, поцеловал и передал ей письмо.

Это свидетельница видела собственными глазами и об этом в тот же вечер сообщила даже по секрету своей знакомой Анне Власьевне Лопуховой, учительнице музыки, которая живет в первом этаже, в 17 номере.

4. Бывала ли где-либо Екатерина Молотова и где бывала преимущественно, об этом свидетельница ничего решительного сказать не могла.

Проститутка, по прозвищу «Кораблик», показала, что Молотова имела характер угрюмый и необщительный, что она много курила (по целым дням не выпускала папиросы изо рта), что по ночам она часто бредила (так что «Кораблик» даже просыпалась от крика), но что за всем тем она никого не марьяжила и хоть была хороша лицом, но вела себя как законная елдочка и по вечерам никуда не бегала.

Участковый надзиратель, чувствуя неловкость, придержал шашку, задал еще два-три вопроса, но больше ничего не узнал.

Тогда он решил (и с этим согласились все присутствовавшие), что стенографистка Молотова покончила самоубийством.

Этим решением еще неокрепшего ума молодого участкового надзирателя петроградская милиция закончила розыски пропавшей стенографистки.

Только старушка в малиновом чепчике не была вполне уверена в том, что ее бывшая соседка уже отправилась туда, где ее не сумеет найти никакой уголовный розыск.

Она запомнила на допросе одно незначительное обстоятельство, которое, может быть, дало бы кое-что в руки участкового надзирателя.

На другой день после исчезновения Екатерины Ивановны Молотовой старушка в малиновом чепчике нашла у дверей ее комнаты письмо. Она нацепила очки на нос и прочла это письмо.

Письмо гласило:

«Многоуважаемая Екатерина Ивановна,

Александр Леонтьевич говорил мне, что вы Нуждаетесь в постоянной работе, которая максимально обеспечила бы вашу жизнь. Для дел Нашего союза, имеющих скоро расширяться в значительной степени, необходима стенографистка. Если вы ничего не имеете против Подобное предложение, то передайте о вашей согласии Александру Леонтьевичу и Благоволите в четверг 13-го зайти по адресу, который он сообщит вам.

Уважаемый вами С. Карабчинский».

## II.

Был второй час ночи. Пинета спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Он чуть слышно посапывал и спал спокойно, хотя уже неделю ничего не ел, кроме хлеба, который уже не рассыпался на ладони от неудачной примеси и международной блокады.

Этот хлеб он получил от булочника на Петроградской стороне за то, что нарисовал ему вместо вывески большую французскую булку, которая вышла такой пышной, что так и хотелось ткнуть ее пальцем.

Последнее время он только тем и зарабатывал, что рисовал вывески для мелких лавочников на Петроградской стороне и Васильевском острове. Но с каждым днем заказы таяли.

Республика, вместо того, чтобы помочь Пинете, обложила вывески особым налогом, и французская булка, нарисованная неделю тому назад, была его последней работой. Он съел эту последнюю булку и спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Ему приснилась отличная рисовая каша с маслом; каша пыхла и лопалась, и каждая дырочка тотчас же наполнялась прозрачным маслом. Он облизнулся и открыл уже было рот, но в эту самую минуту кто-то открыл дверь его комнаты и зажег спичку.

Спичка вспыхнула и погасла.

Пинета вздохнул во сне, открыл глаза и приподнялся на локте.

– Одну минуту, – сказал человек, открывший дверь.

Новая спичка вспыхнула, осветила снизу небритый подбородок и погасла.

– А, чорт! – сказал человек с небритым подбородком. – Сашка, зажги же одну спичку, не горит!

– В чем дело?

Кроме изодранных брюк, рубахи, которую не на что было сменить, старых полотен и алюминиевого лекала, сохранившегося от того времени, когда Пинета был в институте гражданских инженеров, ему нечего было терять. Поэтому он несколько не испугался, зевнул и сел на постели.

Вошедший зажег, наконец, спичку, отыскал электрический выключатель и повернул стерженек: лампочка не загорелась.

– Там лампочки нет, – объяснил Пинета, – да вы скажите толком, что вам нужно?

– Фонарь остался в машине, – сказал с досадой второй человек, тот, которого называли Сашкой; он каждую минуту зажигал новую спичку и она горела до тех пор, пока не начинала жечь пальцы.

– Сашка, сходи за фонарем, – сказал первый. – Не беспокойтесь, инженер, мы пришли к вам по делу.

– Обыск, – подумал Пинета, – или воров. Вернее обыск.

Он совсем успокоился, еще раз потянулся и сбросил одеяло на пол.

Дверь снова отворилась, и при свете фонаря Пинета, наконец, рассмотрел своих посетителей.

Первый был толстый еврей, небольшого роста. У него были пухлые губы и брезгливый еврейский нос; на голове сидела кожаная фуражка, сплюснутая в блин. Такие фуражки носили когда-то в западных губерниях еврей-рыбники. И в самом деле, от него как будто пахло немного свежей рыбой.

Второй – высокий белокурый человек, с глазами, похожими на оловянные бляхи, был как будто выструган перочинным ножом и притерт, как стеклянная пробка.

Он был одет по-военному, в кителе, на плечах которого остались еще дырочки от погон, с португеей через плечо, и напоминал гвардейского офицера.

– Вашу старушку мы заперли в комнате, инженер, и только что из уважения к вам не затешили ее, честное слово? – сказал рыбак.

– Что же вам от меня нужно? – повторил Пинета.

– Нам нужно от вас прямо пустяков, – сказал рыбак, садясь на стул и устраиваясь на нем со всеми удобствами, – но из этих пустяков мы с вами найдем кой-чего интересного.

– Сидеть! – вдруг крикнул он, увидев, что Пинета протянул руку к своим брюкам, висевшим на спинке кровати.

Пинета опустил руку и посмотрел на него с удивлением.

Рыбник вытащил браунинг и, вскинув рукой, отвел предохранитель.

– Да какого чорта вам от меня нужно? – взбесился Пинета. – Вы хотите, чтобы я говорил с вами в подштанниках? Говорите прямо и уберите, пожалуйста, револьвер.

Рыбник сунул револьвер в карман и назвал себя.

– Шмерл Турецкий Барабан, – сказал он так, как будто не сомневался в том, что Пинете известно это имя, – а это мой товарищ, Саша Барин.

Высокий посмотрел на Пинету равнодушно.

– Воры, – решил наконец Пинета.

– Дело заключается в том, – продолжал человек, назвавший себя Турецким Барабаном, – нам известно, что вы, инженер Пинета, хороший специалист по своему делу. Каждый человек имеет свою специальность; так вот ваша специальность понадобится нам на некоторое время.

– Вам понадобится моя специальность? – переспросил Пинета. – Очень рад! Это любопытно.

– Поэтому складывайте ваш чемодан – только самое необходимое – и едем.

– Это чрезвычайно любопытно! А скажите... вам в каком же роде понадобится моя специальность?

– Барабан, довольно болтовни, – сказал белокурый человек, представленный Пинете, как Саша Барин. – Обо всем вы узнаете на месте, – сурово сказал он, обратившись к Пинете. – Одевайтесь.

– Не тревожьтесь, – добавил Барабан. – Оставь его, Сашка. Спокойствие! Терпение! Вы можете быть совершенно спокойны за вашу судьбу. – Вашу хозяйку мы сейчас же выпустим. – Напишите бедной старушке пару слов: не нужно заставлять ее искать вас понапрасну. – Сашка, дай ему кусочек бумаги!

Барин подошел к столу и, не оборачиваясь к Пинете спиной, вырвал из блокнота, лежащего на столе, лист клетчатой бумаги.

– Наденьтесь! – сказал Барабан, – мы напишем ей маленькое письмо, вашей старушке.

Пинета натянул брюки, послушно сел к столу и взял в руки карандаш.

– Пишите, – сказал Барабан. – Дорогая моя старушка... – Как ее зовут?

– Марья Александровна.

– Тогда лучше так: дорогая Марья Александровна! Я уезжаю на шесть–семь дней в провинцию. Не беспокойтесь за мое отсутствие. До свиданья. Ваш Пинета. – Написали?

Пинета повернулся к нему, чуть–чуть улыбаясь.

– Ну, написал.

– Теперь, пожалуйста, укладывайте ваш чемодан и торопитесь, честное слово!

Пинета немного подумал, звонко хлопнул себя по лбу и чему–то рассмеялся.

– Так вот оно в чем дело!

Он вытащил из–под кровати корзину, бросил в нее подушку, одеяло, полфунта махорки, несколько карандашей и алюминиевое лекало, – это было все, что у него осталось.

– Очень любопытно, в самом деле, – сказал он, надевая серую блузу, запачканную краской, – как это вы так ловко догадались о моей специальности?

Барин хмуро посмотрел на него и указал на дверь рукою, вооруженной револьвером.

– Идите.

Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Под ногами хрустел осенний лед на подмерзших лужах. Растерянная луна, как поплавок, ныряла в косматых облаках.

За углом стоял автомобиль, и Барабан сказал, прикрывая за собою дверцу:

– Это дело стоит работы. Ого, это дело большого масштаба!

Первое время они ехали молча. С 10–й линии Васильевского острова автомобиль повернул на Университетскую набережную и, глотая торцы, помчался к Биржевому мосту.

Барин вертел в руках папироску; Пинета уставился на него.

– Я забыл дома папиросы, – сказал он, заложив ногу на ногу. – Я надеюсь, что в том месте, куда вы меня везете, я найду достаточное количество папирос?

Барин вытащил из кармана золотой портсигар, на котором толпились монограммы, эмалевые слоны, мухи, и молча протянул его Пинете.

Пинета закурил, пощелкал языком и понюхал дым.

– Ничего себе. Я, впрочем, предпочитаю южные табаки.

– Ага, – равнодушно ответил Сашка Барин.

Автомобиль оставил за собой Биржевой мост, свернул на Александровский проспект и полетел по проспекту Карла Либкнехта.

Под разбросанным светом луны, которая металась в облаках, не зная куда деваться, вставали рядом с деревянными домишками, более приличными уездным городам, пустыри, почерневшая зелень и огромные серые стены домов, каждая с каким–нибудь одним узким окном, которое светилось высоко, под самой крышей.

Барабан приподнялся и задвинул маленькие занавески на окнах. Полоски света, проскользнувшие сквозь щели, пробежали по груди и ногам Пинеты.

Пинете вдруг стало весело. Он осторожно притушил о каблук догоравшую папиросу и сказал, немного приподнявшись, оборотясь к Сашке Барину:

– У меня на голове есть, знаете ли, любопытная шишка.

Автомобиль подпрыгнул и он на секунду прервал свое неожиданное сообщение.

– То–есть я хочу сказать, что у меня на голове есть шишка, из–за которой я по наследственности страдаю острым любопытством. Например, сейчас мне очень хочется узнать, кто же вы, чорт вас возьми, такие?

Сашка Барин скосил на него глаза и закурил новую папиросу.

– Мы – налетчики, – объяснил он довольно равнодушно.

– Мы – организаторы, – поправил Барабан, – вы ничего не потеряете от знакомства с нами, инженер.

Машина повернула куда–то в переулок и стала сильно подбрасывать на ухабах.

– А вот еще вопрос, – сказал Пинета. – На какого дьявола понадобился вам инженер Пинета?

– Завтра мы с вами будем иметь об этом деловой разговор. Вы нам нужны по одному коммерческому делу, по делу большого масштаба.

Больше никто не сказал ни слова; Пинета начинал уже подремывать, забившись в самый угол автомобиля, и рисовая каша с маслом в огромной суповой миске снова начала пыхтеть и лопаться перед ним, как вдруг машина вздрогнула и остановилась перед полуразрушенным домом.

Барин выскочил из автомобиля; Пинета вылез вслед за ним и огляделся.

Они были на пустынной улице, которая почти ничем на улицу не походила; это был, должно быть, самый конец одной из захолустных улиц Петроградской стороны.

Пинета перебрал в уме улицы, выходившие на проспект Карла Либкнехта.

– Мы на Лахтинской – или, скорее всего, мы на Бармалеевой.

Пустырь, перед которым остановилась машина, был когда–то трехэтажным домом; перед ним был разбит небольшой садик, обнесенный решеткой. Прямо напротив пустыря стояло ободранное деревянное строение, походившее на сторожевую будку.

Шагах в двухстах от пустыря приземистыми деревянными домами кончалась улица.

Пинета взглянул на своих спутников: Барабан остался в автомобиле, наставлял своего молчаливого товарища и о чем–то советовался с шоффером. До Пинеты долетело только одно слово, сказанное, видимо, шофферу:

– На гопу!

Автомобиль заворчал, вздрогнул и, сорвавшись с места, полетел обратно.

Сашка Барин подошел к Пинете и положил руку ему на плечо.

– Пройдите в ворота.

Они прошли на двор, покрытый кирпичами и размокшей штукатуркой, превратившейся в кашу из песка и извести, миновали арку и вышли во второй двор; в глубине двора стоял небольшой флигель с крытым подъездом; двери его были заколочены наглухо и подъезд засыпан расколовшимся кирпичом.

Они обогнули флигель.



– Вот сюда, – сказал Сашка Барин, указывая рукою на каменную лестницу, которая вела вниз, в подвал.

Пинета послушно спустился по лестнице. В подвале пахло какой-то прелой сыростью и было почти темно.

Барин зажег фонарь.

– Идите, – сказал он, подталкивая Пинету рукой, – там лестница.

Они поднялись по винтовой лестнице. Лестница вела во второй этаж, к двери, обитой черной клеенкой.

Барин постучал, и почти в ту же самую минуту из-за двери послышался неторопливый голос:

– Кто там?

– Отвори, Маня.

Женщина в пальто, наскоро наброшенном на плечи, отворила им дверь и, придерживая пальто рукой, отступила немного в сторону, чтобы пропустить вошедших.

Они вошли в кухню, довольно чисто прибранную.

– Что нового? – спросила женщина в пальто, поправляя волосы, упавшие ей на глаза.

– Ничего.

– Что же, Барин, останешься или нет?

Барин, не отвечая, провел Пинету по коридору, отворил ключом дверь в полутемную комнату и сказал, поворачиваясь к нему:

– Здесь вы будете жить пока. Попробуете бежать – хуже будет.

Пинета остался один. Он поставил свою корзину под кровать и снова засмеялся чему-то. Начинало светать. Узкое окно маячило в утреннем свете.

Пинета стянул сапоги и одетый лег на кровать; он долго припоминал одно слово, которое вертелось у него на языке и которое он никак не мог произнести. Наконец вспомнил и сказал про себя, набрасывая на ноги одеяло:

– Хаза!

III.

Гражданская война, грохотавшая по России пулеметами от Баку до Кольского полуострова, не пощадила этого города, построенного на слиянии двух рек и обнесенного каменной стеною, которую в свое время с большим упорством долбил каменными ядрами Стефан Баторий.

Через реку был переброшен мост. Тотчас за мостом начиналась площадь осенью на ней тонули неосторожные дети; за площадью важно шли железные ряды, старинные здания с каменными навесами вдоль фасада, за железными рядами снова площадь, на которой толпились когда-то стекольные магазины.

Стекла плохо выдерживают революцию, и в стекольных магазинах были выбиты стекла.

За площадью стремительно скатывалась вниз улица; где-то за садами эта улица ударялась в тюрьму, походившую на четырехугольный каменный сундук.

В тюрьме – коридоры и камеры, в камере под номером 212 солдатская кровать, решотка, огромная, как небо, параша и политический арестант Сергей Травин, который все послал к чорту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

«Пещера Лейхтвейса» была единственной книгой, ходившей среди заключенных. Кроме Лейхтвейса, из рук в руки передавались буквари и полное собрание сочинений Смайльса – остаток тюремной библиотеки.

Смайльса особенно любили читать старые, проржавленные до костей уголовные; они учились жить по Смайльсу.

Сергей предпочитал «Пещеру Лейхтвейса».

Утром после равнодушного звонка открывалась дверь, и молодой смотритель в кожаных штанах, с рязанским лицом, вставлял нос в отверстие двери.

– Один?

– Один.

Нос ухмылялся, сверял тождество Сергея Травина с цифрой, начертанной мелом над дверным глазком, и удалялся, грохоча каблуками.

Сергей вскакивал, натягивал штаны и бежал по коридору за кипятком.

В коридоре было свежо, камень охлаждал босые ноги. У чанов с кипятком толпились, переругиваясь, арестанты.

После чая и уборки, за время которой самый опытный курильщик не успел бы выкурить папиросы, он снова бросался на кровать и лежал до полудня. В полдень рязанский нос и равнодушный звонок объявляли о прогулке.

Арестантский дворик был черным экраном, на котором перед Сергеем Травиным стремительно летели сентябрь, осеннее солнце и небо.

Прогулка кончалась через десять минут; потом снова окно, решетка, кровать, параша и арестант Сергей Травин, который все послал к чорту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

В 10 часов вечера он прочитывал одну страницу «Пещеры Лейхтвейса». Каждая перевернутая страница означала новый день. Он читал таким образом 156 страницу, в ней говорилось о том, что несчастная графиня Клэр попала, наконец, в пещеру благородного и злополучного Лейхтвейса, и сам Лейхтвейс плакал на этой странице горькими слезами. Он оплакивал свою погибшую жизнь.

Так проходили дни; коридорный был хохлом с сизыми усами, он говорил Сергею:

– Ой, ты ж сгнешь так, матери твоей сын, помяни мое слово!

Хохол был прав: так бы оно и случилось, если бы на 162 странице Сергей не получил письма. Это письмо заставило его совершить несколько поступков, свойственных Лейхтвейсу: он дважды громко захохотал, до кости прокусил руку, рассадил голову в кровь о дверной косяк и сделал несколько тысяч лишних шагов по комнате.

Письмо, подписанное Екатериной Молотовой, в кратких фразах извещало его о том, что Екатерина Молотова исполняет обещание, данное ею когда-то, уведомить его, Сергея Травина, о ее намерении с ним расстаться, просит не поминать ее лихом, никогда и нигде ее не искать и посылает ему пару теплого белья, гимнастерку и полфунта светлого табака.

На этом оканчивалось письмо; в коротеньком постскриптуме добавлялась просьба о том, чтобы он, Сергей Травин, поберег себя, не слишком огорчался и не вздумал кого-либо, кроме нее, винить во всем, что произошло.

В этот день Сергей так и не уснул ни на одну минуту – он шагал по камере и обдумывал план побега.

Тюрьму он знал плохо; ему известно было, что большой тюремный двор с трех сторон замыкался зданиями и с одной стороны стеною; у входа в тюремный двор ему запомнилась полосатая николаевская будка, а в глубине двора, у входа в главный корпус, – полуразбитая часовня.

В первые дни заключения Сергей, как всякий арестант, обдумал десятки разных планов побега; среди них были планы с переодеванием и гримом, план с обольщением сестры милосердия в тюремной больнице; каждый из них удался бы разве только Лейхтвейсу, и то при отсутствии часовых.

Наконец, был план, над которым всерьез задумывался не один Сергей Травин.

За стеною большого тюремного двора протекала река, в которой по целым дням барахтались мальчишки и бабы полоскали белье.

По мудрой мысли –ого губернатора барона Адлерберга, при котором строилась тюрьма, «стены означенной должны быть омываемы водами реки –овы, дабы уподобленная крепости святых Петра и Павла, в столице нашей Санкт–Петербурге, городская тюрьма наша истинным и устрашающим оплотом справедливого правосудия служила».

К ночи Сергей решил воспользоваться услугой, которую ему оказывал барон Адлерберг. С этим он заснул, и ему приснился человек с длинным, как адмиралтейская игла, носом. Этот человек грозил ему пальцем и сверкал глазами. Сергей схватил его за адмиралтейскую иглу и проснулся.

Он подбежал к окну. На дворе было пасмурно и, должно быть, дул ветер. Он увидел стену, которую, согласно проекта барона, омывала река, и уборную, открытую сверху, без дверей, заставленную широкой доскою. В уборной сидел орлом конвойный, он держал винтовку одной рукой.

Таково было положение дел в сентябре 16 числа, в тот день, когда Сергей Травин, политический арестант, задумал побег по плану барона Адлерберга.

---

На другой день на прогулке он разыскал Ветрилу, тюремного истопника из уголовных.

Ветрила был с головы до ног пропитан керосином, носил роскошные горемыкинские бакенбарды, и его история была не сложнее мировой истории или даже несколько проще ее.

Сергей показал ему глазами на здание, прилегавшее к тюремной стене.

Это был цейхгауз, в котором держали теперь, кроме арестантского обмундирования, также керосин и дрова.

Ветрила посмотрел на цейхгауз, на всякий случай мигнул и погладил бакенбарды.

– Понял? – спросил Сергей.

Ветрила упомянул о матери.

– Самое главное – привязать к трубе веревку, оттуда на стену и...

Ветрила немного подумал, посмотрел на Сергея недоверчиво и свернул козью ножку.

Они поговорили еще десять минут, и на следующий день Сергей Травин окончательно решил освободить камеру 212 от арестанта, который или спал 24 часа в сутки или с точностью машины Эмери читал героическую «Пещеру Лейхтвейса».

В этот день Ветрила, с опасностью для жизни и карьеры, заматал веревку вокруг трубы цейхгауза.

Потом он крякнул и смылся, как смывается пятно с клеенки.

Вместо него появился другой, новый Ветрила, от которого уже не пахло керосином; он был чуть повыше ростом и носил не горемыкинские, но скорее свойственные норвежским писателям бакенбарды.

Новый Ветрила с ленивым видом пошел к цейхгаузу, сплюнул, подтянул штаны и, войдя, плотно закрыл за собой дверь.

За дверью он сразу вырос на ладонь, посмотрел в замочную скважину и, сдерживая дыхание, поднялся на чердак.

Две крысы, каждая величиной с детскую голову, сидели на разбитом рундуке и мигали глазами.

Ветрила, потерявший на лестнице одну бакенбарду, просунул голову сквозь чердачное окно и вылез на крышу.

Крыша трещала под ногами, как нанятая.

Он ползком добрался до трубы, размотал веревку и, выставив свое второе лицо в небо, стал спускаться по глухой стене цейхгауза.

На другой стороне реки стояли пустые рыбные лавки; вверх по реке за мостом плыла задрипанная баржонка.

Сергей измерил на–глаз, сколько придется плыть до другого берега, и выпустил из рук веревку.

---

Издранное полотно болталось на высокой палке и летело в небо.

Огромный косматый мужик в клетчатых штанах и дырявом пиджаке сидел на корточках, равнодушно тер Сергею спину, сгибал и разгибал руки и ноги, бил кулаком в грудь.

– Беглый? – вдруг спросил он, увидев, что Сергей открыл глаза.

Сергей промычал что–то.

– Значит, ты – беглый арестант.

Мужик оставил, наконец, Сергея в покое, сел на какой–то чурбан и подтянул на высокой палке веревку.

Сергей попытался приподняться на локте, но не мог, – локоть скользил на мокрых досках.

– А вот что ты мне скажи, – продолжал мужик, – какой ты есть арестант политический или уголовный? Если ты политический, так я тебя в сей же час обратно в воду брошу.

– Уголовный, – пробормотал Сергей.

– Уголовный? – вдруг обрадовался мужик. – Да ну? Вот это здорово! Я сам уголовный! Я, брат, при царском режиме шесть лет в арестантских сидел! Как же! Если ты уголовный, так что же ты лежишь, как под иконой? Вставай, Иван, чай пить будем!

Сергей с трудом приподнялся и сел, уцепившись рукой за канат, привязанный к палке. Он был босой, штаны изорвались, рубаха висела лохмотьями на плечах.

Мужик посмотрел по сторонам, схватил его под мышки и поставил на ноги; у Сергея потемнело в глазах.

– Это твое счастье, – сказал мужик, – что сегодня со мной моей бабы нет. Она бы тебе всыпала ядрицы!

Он вытащил из кармана целую доску кирпичного чая, отломал кусок, раскрошил его на огромной ладони и бросил в чайник.

Сергей, наконец, пришел в себя и отдышался.

– Послушай, дядя, – пробормотал он, – продай мне пиджак и достань где-нибудь штаны и шапку.

– Как же я могу продать тебе свой пиджак? – обиделся мужик. – Ах ты, сволочь этакая! А если этот пиджак у меня самая парадная одежда? Штаны, изволь, могу тебе продать! Штаны есть запасные.

Сергей покачался на одном месте и опять лег.

– Рубаху...

– Что ж тебе рубаха, – снова сказал мужик, – если ты в одной рубахе под забором замерзнешь, все равно, как курица. Покупай пиджак!

Сергей встряхнулся, провел руками по лицу, несколько раз с шумом втянул в себя воздух и встал.

К вечеру того же дня, одетый в пиджак, через который легче всего было увидеть небо, и в клетчатые штаны, на которых легче всего было играть в шашки, Сергей, обойдя город кругом, добрался до вокзала.

Никто не задержал его.

Он остановился у паровоза, стоявшего недалеко от вокзала, и спросил у черного, как театральный негр, машиниста о том, когда отходит поезд в Петроград.

Машинист сплюнул на руки, растер слюну и показал на длинный ряд вагонов, еще не прицепленных, должно быть, к паровозу.

– В 11 ночи!..

---

#### IV.

К длинной плеяде имен славных архитекторов, строивших город, прибавилось еще одно. Это имя столько раз гремело пулеметами гражданской войны, столько раз летело к небу с раскрашенных плакатов, столько раз заставляло гореть одни сердца и каменеть другие, столько тысяч людей отправило гулять по чужедальним морям и столько тысяч по таким отдаленным странам, откуда даже дошлый еврей не найдет обратной дороги, – что нет нужды называть его.

У этого нового архитектора, который предпочитает строить памятники, заводы, электрические станции, – были жесткие руки. Он перетрясал города, а так как города наполнены домами, то наиболее дряхлые из них смялись и осели вниз, уступая жестокому напору. Дома рассыпались на кирпичи, из кирпичей складывали печки, а кирпичные печки, как известно, держат тепло гораздо лучше жестяных времянок.

Зимой кирпичи примерзали и их вырубали топором.

Не только стекла, но и старики плохо выдерживают революцию, – стекла рушились, а старики умирали от огорчений.

В ослепшем доме жить – страшно; у слепой стены, где еще так недавно важно обсуждались по вечерам политические события, где ребятишки играли в палочку–скакалочку и бросались мячами, – теперь случайный пешеход делал все, что полагается делать в пустынном месте случайному пешеходу.

Крысы бежали с гибнущего корабля, и водосточные трубы убеждались в близкой кончине мира.

Милиция огораживала дом старыми двуногими кроватями или другой дрянью как могилы огораживают решеткой.

Вода заливала подвалы, дом за год старел на 20 лет, начинал походить на проститутку, и это подрывало его окончательно.

Ему ничего больше не оставалось, как рассыпаться своим кирпичным телом, он умирал, нужно полагать, без сознания.

Но не каждый дом умирал без всякого сопротивления.

Были дома, построенные с расчетом на тысячелетие, – они, старые вандейцы, уступили только фасад руке, потрясающей город.

Вот в таких домах и начиналась настоящая жизнь.

Пинета проснулся. Он раскрыл глаза, которые никак не хотели раскрываться, и сел на постели. В первую минуту он не мог вспомнить, что произошло с ним накануне, потом вспомнил, вскочил, натянул сапоги и принялся осматривать свое новое жилище.

Комната, в которую его проводил человек по прозвищу Сашка Барин, была когда-то, по-видимому, кладовой. В таких комнатах в старинных барских домах хранили варенье и всякие сушеные фрукты. Возле дверей висела некрашенная кухонная полка. Где-то под потолком маячило узкое окно.

Пинета встал на спинку кровати, подскочил и, уцепившись руками за подоконник, посмотрел через стекло. Окно выходило в коридор.

Он соскочил с грохотом. Несколько кусочков штукатурки упали на пол, и он тотчас же глазами отыскал место, откуда они вывалились: на противоположной от окна стене была когда-то проделана дыра для переносной печки.

Не успел он сдвинуть с места небольшой стол, стоявший в углу, чтобы добраться до этой дыры, соединявшей его, быть может, с потустенным миром, как дверь в его кладовую отворилась. Вошел толстый маленький человек в приплюснутой кожаной фуражке, тот самый, который накануне вечером назвал себя Турецким Барабаном.

– Извиняюсь! – сказал он входя и протягивая Пинете короткую руку, которая как будто еще минуту тому назад держала леща или жирного налима.

– Пожалуйста! – весело ответил Пинета, пожимая руку.

Барабан сел на стул и вытащил из кармана затасканный кожаный портсигар.

– Курите! Или вы кажется еще не завтракали? Сейчас же прикажу подать вам завтрак!

Пинета с достоинством выпятил губы, сел на кровать и заложил ногу за ногу.

– (Ага, значит будут кормить...)

– К завтраку я предпочитаю тартинки.

– Тартинков у нас, извиняюсь, нет! – ответил Барабан.

Он постучал в стену кулаком и крикнул: – Маня!

Никто ему не ответил.

– Она спит, – объяснил Барабан. – Маня!..

– Паскудство! – вдруг заорал он таким голосом, что Пинета вздрогнул и посмотрел на него с удивлением.

Барабан подождал немного, вскочил и, подойдя к двери, сказал на этот раз почему-то совершенно тихим голосом и без всякого выражения: – Маня.

Маня Экономка была единственным человеком, жившим в хазе постоянно. Она носила кружевные переднички, закалывала на груди белоснежную пелеринку и была самой спокойной и чувствительной женщиной на свете. Налетчики ее уважали.

– Маня, подайте инженеру чай и булки и сходите мне за парой пива... Нет, возьмите две пары пива!

– Вчера вы интересовались узнать, инженер, – начал он, обратившись к Пинете, – кто мы такие, чем занимаемся и вообще все междрумения нашего дела?

– Поговорим после завтрака о наших междрумениях, – отвечал Пинета серьезно.

Барабан почувствовал, что над ним шутят, побагровел и хлопнул себя по коленке:

– Довольно! – закричал он, хватаясь за задний карман брюк, – ты еще не знаешь с кем ты говоришь, елд, малява!

Тут же он погладил себя по жилету и пробормотал:

– Спокойствие! Терпение!

– (Ах, чорт его возьми, с ним, пожалуй, и шутить нельзя!)

Некоторое время они сидели молча.

Маня Экономка принесла пару французских булок, холодный чай и четыре бутылки пива. Она посмотрела на Пинету с любопытством, поправила свою кружевную пелеринку и вышла.

Пинета поставил на колени чай и, не глядя на Барабана, принялся уписывать за обе щеки французскую булку.

– Мы, конечно, понимаем, – начал тот снова, слегка наклонившись всем телом вперед и даже притрагиваясь рукой к плечу Пинеты, – что мы должны кой–чего объяснить вам из нашего дела.

Пинета дожевал булку и залпом выпил чай.

– Объясните.

– Дело, видите ли, обстоит в следующем: мы не какая–нибудь шпана, которая по ночам глушит втемную случайных прохожих, мы также не простые маравихеры, то–есть различные воры по разнообразным специальностям. Инженер, мы не фармазонщики, не городушники, мы также не простые налетчики! Мы – организаторы и берем дела только большого масштаба. Я не говорю, что у каждого человека есть свое прошлое и настоящее по хорошему мокрому делу, но это только средство, инженер, и больше ничего.

Барабан замолчал и с удовольствием откинулся на спинку стула, как бы отдыхая после своей утомительной речи.

– Что же касается дела, которое мы собираемся предложить вам, то дело обстоит в следующем: нам требуется некоторая подработка по сейфам. Откровенно говоря, мы не взяли кассиров не потому, что это рискованная работа, и не потому, что не нашелся подходящий шитвис! Очень просто: по нашим сведениям кассирам не справиться с сейфами госбанка!

Пинета широко открыл глаза и привстал с кровати.

– С сейфами госбанка?

– Ну да, с сейфами госбанка! То–есть, иначе говоря, у нас нет хорошего специалиста, который бы быстро и безопасно в какие–нибудь полчаса открыл сейфы госбанка. Все остальное для нас – пха, инженер!

– Вот так штука, – сообразил Пинета, – теперь я начинаю понимать, почему меня увезли... Сказать – не сказать, сказать – не сказать, сказать – не сказать?... Не сказать!

– Ну, что вы мне скажете?

– Так значит, – сказал Пинета, отдуваясь, как будто бы он только что решил трудную задачу, – дело в сейфах госбанка?

– Именно! – подтвердил Барабан, – дело именно в сейфах госбанка.

– Стало быть, – продолжал Пинета, – вы решили, что я – лучший специалист по сталелитейному делу и увезли меня для того, чтобы я устроил вам все технические приспособления для взлома сейфов госбанка?

– О, вы попали в самую точку!

Пинета почувствовал себя так, как будто заново начал жить.

– Отлично! Я не понимаю только, для чего вам было везти меня сюда! Об этом мы могли бы сговориться на моей квартире.

– Это мне начинает нравиться, – сказал Барабан, похлопывая его по коленке, – к сожалению, до сих пор мы не знали вас, инженер Пинета, – в следующий раз мы будем просто предупреждать вас в письменной форме, ха, ха, ха!

Он откинулся на спинку кресла, взвизгнул и закатился хохотать до слез, отмахиваясь обеими руками и вздрагивая круглым, как футбольный мяч, животом.

Пинета терпеливо подождал, когда он кончит.

– Я знаком приблизительно с устройством сейфов госбанка. Они построены по образцу... по образцу... – Пинета задумался на мгновение – по образцу ливерпульских сейфов!

– Да, да, – подтвердил Барабан, все еще колыхаясь от смеха и вытирая носовым платком заплаканные глаза, – кажется именно по образцу ливерпульских.

– Так вы полагаете, – начал снова Пинета, – что для этой работы мне потребуются какие–нибудь предварительные приготовления?

– Полагаю ли я так? – переспросил Барабан. – Не очень. Откровенно говоря, я совсем не специалист по кассирному делу. Может быть, вы справитесь со всем с этим на месте!

– А когда вы думаете начать самое–то дело?

Барабан посмеялся про себя и посмотрел на Пинету с иронией:

– Оставьте эти пустяки, инженер. О чем вы спрашиваете меня? Мы же не дети, честное слово! Мы же организаторы. Лучше скажите мне, сколько дней вам нужно на подработку?

Пинета задумался.

– Мне нужно дней 5 – 6, – ответил он и подумал: чорт возьми, это что же я делаю! – и тотчас ответил себе – все равно, не умирать же с голода.

– Но мне необходимо знать, – продолжал он, – во-первых, расположение электрической сети госбанка, во-вторых...

– Отлично, – отвечал Барабан, хлопнув его по коленке, – эти сведения мы вам доставим немедленно.

– Во-вторых, – продолжал Пинета, – будьте добры купить... – Он остановился на мгновение и быстро закончил: 15 аршин лучшего гуперовского провода и катушку этого, как его... Румкопфа.

– Как фамилия?

– Рум... Румкорфа, – твердо повторил Пинета.

– И 15 аршин гуперовского провода?

– Да, и ни в коем случае не меньше 15 аршин.

– Будет сделано.

– Это покамест все, – закончил Пинета, – а потом посмотрим.

– Все! – закричал Барабан. – Отлично. Это же Запад! Инженер Пинета. Что значит специалист!

Он откупорил бутылку пива и первому налил Пинете. Потом, перевернув бутылку вверх дном, он доверху наполнил свой стакан.

– За дело! – сказал он, мигая глазами, – за дело большого масштаба!

Они чокнулись.

Но Барабан выпил не сразу. Сперва он выпятил губы и, чуть-чуть прищурившись, долго дул на пузырящую пену, стекавшую по граненому стеклу. Потом он слегка подался вперед, поджимая живот, и с любовью посмотрел пиво на свет. Наконец, положив руку на грудь, он сразу отхлебнул из стакана.

И пиво, похожее на жидкий янтарь, отчаявшись в спасении, само полетело в рот Барабана.

---

Дыра от переносной печки – четырехугольный след, оставленный 18-м и 19-м годом, оказалась дверью в потустенный мир.

Едва только Барабан ушел, как Пинета приставил стол к стене, на которой сохранился этот след, взобрался на стол, уцепился за сломанный кирпич, торчавший из стены боком, и взглянул в потустенный мир.

Он увидел довольно большую комнату в два окна с закоптелым потолком и обрывками обоев на стенах. В комнате не было никакой мебели; кухонный стол стоял между окон; в углу, наискось от наблюдательного пункта Пинеты, стояла кровать.

Скосив глаза насколько было возможно, Пинета увидел на кровати женские ноги в черных чулках и черных же парусиновых туфлях.

Пинета никогда не тяготел к монашескому образу жизни и был достаточно опытен, чтобы верно определить возраст обладательницы парусиновых туфель; нельзя сказать, чтобы он был недоволен соседством. Однако же он не был уверен в том, что его соседка не принадлежит к союзу налетчиков, переселившим его накануне ночью с Васильевского Острова на Петроградскую сторону, и поэтому не решился окликнуть ее.

Больше он ничего не открыл на горизонте потустенного мира.

Он соскочил со стола и принялся ходить по комнате с твердым намерением обдумать план действий, который должен был доставить ему превосходство над налетчиками.

Через несколько минут он уселся за стол, оперся на него локтями и заснул, уронив голову в руки.

Ему приснился Сашка Барин с его вежливым орлиноносым профилем гвардейского офицера.

– Я еду в южную Америку, – сказал он Сашке Барину, – мне очень нравится, что в южной Америке восход и заход начинаются одновременно.

– Поезжайте лучше на Стрелку, – отвечал Сашка Барин.

Он закурил, и дым поплыл вокруг Пинеты кругами.

– Зачем вы меня увезли? – спрашивал Пинета, тщетно стараясь понять, что это говорит он – Пинета.

– Как зачем? – отвечал Сашка Барин, – да для того, чтобы ограбили этого ювелира!

– Какого ювелира? Ювелира Костоправа или Перчика?

– Уж это все равно какого. Лучше, знаете ли, Костоправа.

– Костоправа, так Костоправа, – сказал Пинета. Он махнул рукой и проснулся.

Еще не раскрывая глаз, он услышал голос Барабана.

– Он с нею, в той комнате, рядом, – подумал Пинета.

Барабан сдержанным голосом уговаривал в чем-то свою собеседницу.

Пинета попытался вслушаться в то, что он говорил, и при первых же словах, которые он услышал, откинулся на спинку стула и открыл рот от удивления.

Барабан говорил о том, что он скучает, что всякая работа стала ему нипочем, что он не может жить без той, которой он это говорил.

– Катя, что же вы ничего не скажете мне, Катя?

Пинета приподнял голову и услышал, как женщина отвечала голосом, которому с трудом давалось спокойствие и твердость, что она скорее выбросится в окно, чем согласится на то, что ей предлагают, требовала, чтобы ее выпустили из этой ловушки сию же минуту, и соглашалась продолжать разговор только при одном условии:

– Скажите мне, участвовал ли в этом деле Александр Леонтьевич или нет?

Пинета снял сапоги, встал из-за стола и бесшумно занял прежний наблюдательный пункт, оставшийся от тяжелых времен 18-го и 19-го года.

На этот раз он увидел в соседней комнате девушку лет 22-х, которая сидела на кровати, продев руку сквозь железные прутья кроватиной спинки, с силой сжимая эти прутья, и грызла зубами недокуренную папиросу.

Недалеко от нее спиной к Пинете стоял человек, в котором Пинета без всякого труда узнал Турецкого Барабана.

Пинета услышал продолжение разговора:

– Фролов, ого! Вы не знаете еще, что это за воловер!

Девушка откусила мокрый конец папиросы и принялась крутить из него шарик. Пальцы у нее дрожали.

– Вы все лжете о деньгах!

– Чтобы я так жил, как все – чистая правда! – отвечал Барабан. Он для убедительности даже пристукнул себя кулаком в грудь.

– Он не получал от вас никаких денег за это. Просто разлюбил... – Девушка еще раз с металлическим стуком откусила конец папиросы... – И больше ничего!

– Ей-богу, – сказал Барабан, – и такого мерзавца разве можно любить? Это же просто подлец, честное слово!

– (Экая жалость! – подумал Пинета, – что же он от нее хочет, старый пес?)

– Разве он стоит вашей любви, это паскудство? – убеждал Барабан. – Он уже теперь гуляет с другой. Ха, разве он помнит о вас, Катя?

Пинета видел, как крупные капли пота выступили у него на шее. Барабан как будто немного растерялся, сделал шаг вперед и схватил девушку за руку.

– Как вы смеете!

Она свободной рукой ударила его по лицу, вырвалась и убежала на противоположный конец комнаты. Теперь Пинета мог бы дотронуться до нее рукою.

Барабан побагровел и с яростью ударил кулаком о спинку кровати.

– Разобью! – вдруг закричал он хриплым голосом, размахивая рукою.

Пинета с грохотом соскочил со своего наблюдательного пункта. Все стихло в соседней комнате.

Только дверь распахнулась с шумом и снова захлопнулась.

Спустя несколько минут Пинета снова заглянул в дыру для временки: его соседка горько плакала, взявшись обеими руками за голову.

– Не плачьте, – сказал Пинета, – тише. Мы с вами удерем отсюда, честное слово, не стоит плакать.



## V.

Вокзал плавно подкатился к поезду, вздрогнул и остановился неподвижно...

Пар последний раз с хрипом прокатился меж колес и задохся.

Люди пачками выбрасывались на платформу, кричали, целовались, бранились и тащили узлы, чемоданы, корзины к выходу. У выхода стоял контролер с лицом Бонапарта. Контролер проверял билеты с таким видом, как будто занимался делом государственной важности.

Сергей соскочил с подножки и пошел вдоль платформы к паровозу.

Фуражка с истрепанным козырьком лезла ему на глаза; он был серый, как крот, и походил на человека, который потерял что-то до крайности необходимое и теперь ищет без конца, хоть и знает, что никогда уже не найдет.

Дойдя до паровоза, он остановился и задумался, потирая рукою лоб.

Из-под паровоза проворно вылез черный, весь в копоти и смазочном масле, мальчишка. Мальчишка чистил паровоз, гладил его по тупому носу, протирал замусоренные глаза; он выгибался как акробат, чтобы достать до самых укромных мест, балансировал на одной ноге уж больше из озорства, чем по прямой необходимости. Роба его сияла черным блеском. Он увидел Сергея и заорал, размахивая тряпкой:

– Эй, шпана, чего уставился!

Сергей посмотрел на него ничего не понимающими глазами.

– Скажите, пожалуйста, мальчик, как отсюда пройти на 1-ую роту?

Мальчишка вместо ответа залез в какую-то дыру и оттуда выставил Сергею отлакированный зад.

Сергей вдруг хлопнул себя по лбу.

– Да что же это я! Нужно итти, бежать, искать Фролова!

Он всунул билет Бонапарту и быстро выбежал на улицу. Рикши смотрели на него с презрением. Начинался дождь.

Сергей поднял ворот пиджака, насадил по самые уши фуражку и отправился по Измайловскому проспекту. Измайловский проспект был гол и мрачен.

Полотна бродячих ларьков намокли, посерели, старухи, которые со времени основания города торгуют на Измайловском проспекте, тоже намокли, повесили сморщенные носы и засмолили короткие трубочки.

У одной из них, тотчас за мостом, Сергей купил пачку папирос, сунул ее мимо кармана и прошел дальше.

Старуха выползла из-под своего навеса, равнодушно посмотрела ему вслед и положила папиросы обратно.

Спустя четверть часа он добрался до 1-ой роты, отыскал дом под номером 32 и постучал в дверь, на которой было написано смолою «дворницкая».

Сонный дворник объяснил ему, что прежде Фролов жил в пятнадцатой квартире, а теперь переехал в двенадцатую квартиру, первый подъезд налево, третий этаж.

Сергей поднялся по лестнице и дернул за звонок.

– Что нужно?

– Отворите пожалуйста. Здесь живет товарищ Фролов?

– Здесь.

Унылый мастеровой с мандаринскими усами впустил его в кухню.

– Могу я его увидеть?

– По коридору вторая дверь, – хмуро отозвался мастеровой, – еще не встал, должно быть.

Сергей рванул ручку двери и вошел в комнату.

Высокий человек в синих жандармских штанах со штрипками лежал на постели, уткнувшись лицом в подушку. В комнате стоял тугой запах табака, селедок и еще какой-то дряни.

Сергей подошел к нему и ударил его по плечу.

– Вставай!

Фролов перевернулся на другой бок; Сергей потащил его за руку и посадил, подбросив под спину подушку.

– Что? Кто это? Чорт возьми! Ты! Сергей!

Он торопливо соскочил с постели и натянул на ноги высокие желтые сапоги со шпорами.

– Очень рад тебя видеть. Чорт возьми! Ты свободен?

– Свободен.

Сергей подошел к нему вплотную и сказал, притопнув ногой от нетерпения:

– Идем! Вот что, послушай... У меня нет с собой этого... револьвера. Не можешь ли ты достать пару револьверов, таких, чтобы не давали осечки?

Фролов опустил глаза и почему-то подтянул пояс.

– На чорта тебе револьверы?

– На чорта мне револьверы! Нужно! Послушай, у тебя ведь всегда были револьверы.

– Изволь.

Фролов сунул руку под подушку («у него револьвер наготове», – подумал Сергей) и вытащил оттуда браунинг.

– Бери, но только... Сергей, ты что – бежал из тюрьмы?

– Не твое дело.

– Да ты скажи, может быть, тебя спрятать нужно?

– К чорту! – закричал бешеным голосом Сергей, – едем!.. Или тебе нужно этих... как там, секундентов?

Фролов с треском сел на стул, вытянул ноги и захохотал так, что Сергей даже испугался немного.

– Ты что, со мной стреляться вздумал? Ты с ума сошел, честное слово! Послушай, теперь на дуэлях не дерутся. Ну, едем, чорт с тобой!

Фролов вдруг посмотрел на него и принял серьезный вид.

– Сергей, ты наверное жрать хочешь?

– Едем!

– Ну, заладил – едем, едем. Поедем через час, над нами не каплет. Пожри немного, а то промахнешься. Разве голодному можно на дуэль... Что ты!

Фролов вдруг захопотал, зажег где-то за стеной примус, достал стаканы, заварил чай и через несколько минут принес яичницу.

Сергей ел с жадностью.

Фролов сидел против него на кровати, пощелкивал по сапогам откуда-то взявшейся тросточкой и курил толстую папиросу.

– (Неужели убежал из тюрьмы? Из-за... Не может быть! Из-за девчонки?.. Знает...)

– Ты что, ко мне прямо с вокзала?

– Не твое дело, откуда!

– Чудак, да я просто так спросил.

Фролов потушил папиросу о каблук, посмотрел на Сергея исподлобья и задумался на одну минуту.

– Сергей, я тебя давно не видел. Никак с 18-го года. Расскажи же, чортов сын, как ты жил?

Сергей кончил есть и, не отвечая, схватился за фуражку.

– Поедешь ты или нет, говори прямо?

Фролов тоже вскочил и остановился перед ним, придвинувшись к нему вплотную.

Теперь он смотрел на него с ненавистью, сжав зубы.

– А ты думаешь, я испугался, мать твою так! Едем!

Он выдвинул ящик стола, взял второй револьвер и зарядил его новой обоймой.

Оба спустились по лестнице, сторонясь друг друга.

Фролов крикнул извозчика:

– На Острова!

Ехали молча. Фролов, дымя папиросой, глядел на серые стены домов, вдоль улиц, которые вдруг открывались за каждым углом, читал вывески: «Продукты питания», кафэ «Кавказский уголок».

На одной вывеске, висевшей криво, он прочел только одно слово «качества».

Фролов засмеялся, повторил про себя это слово и с испугом обернулся к Сергею.

– Не услышал ли...

Сергей сидел, забившись в самый угол пролетки. Он снял фуражку и много раз проводил рукой по голове, как будто с усилием припоминая что-то. Время от времени он машинально расписывался у себя на колене – С. Травин – С. Травин С. Травин и ладонью в ту же минуту как бы стирал эту подпись.

Мимо них потянулись какие-то красные здания, стало совсем пусто, снова пошел дождь.

С. Травин обернулся к А. Фролову и сказал, сжимая рукою браунинг:

– Можно здесь.

– Что ты, совсем с ума сошел. Где же ты здесь стреляться будешь? Скоро приедем.

Он ткнул извозчика в спину.

– Подгони, дядя.

Дождь усилился. Извозчик вытащил откуда-то из-под сиденья кожаный фартук, накинул его себе на спину и погнал лошадь во всю мочь.

Красные здания вскоре остались позади, мимо полетели какие-то деревянные домишки с огородами, наконец пролетка перекадилась через мост и поехала по лесной дороге.

– Здесь, – сказал Фролов.

Оба одновременно соскочили с пролетки.

– Ты нас здесь подожди, дядя, – сказал Фролов.

– Да долго ли ждать-то?

– Недолго... Или вот что.. поезжай-ка с богом, я тебе заплачу.

Они отправились по узенькой тропинке вглубь леса.

Желтые листья падали на них и ложились под ноги. Мокрые сучья задевали по лицу. Деревья редели.

Наконец Фролов остановился и обернулся к Сергею.

– На сколько шагов?

– На сколько хочешь. На 10 шагов.

– До результата?

– До результата.

Фролов обломал толстую ветку и от дерева до дерева провел барьер. Потом сделал 10 шагов по направлению к Сергею.

Он сосчитал громко до десяти и суковатой палкой провел барьер противника.

– Кому первому стрелять? – спросил Сергей.

– Стреляй ты, если хочешь. Твоя выдумка.

– Ты вызван; стало быть, первый выстрел за тобой.

– Иди ты к чертовой матери.

Фролов вытащил из кармана коробку спичек, взял две спички и надломил одну из них.

– Целая – первый выстрел.

Сергей с закрытыми глазами нащупал спичечную головку, быстро вытащил спичку и открыл глаза.

– Целая, – сказал Фролов чуть-чуть хрипловатым голосом. – Нужно написать записки, что ли?

– Какие записки?

– «Прошу в моей смерти...»

– Ах да! У тебя есть бумага и карандаш?

– Есть.

Сергей быстро написал на клочке бумаги: «Прошу в моей смерти никого не винить. Сергей Травин».

Фролов сделал то же самое.

Они сошлись и, не глядя один на другого, молча показали друг другу свои записки.

– Стрелять по команде «три», – сказал Фролов, – осмотри браунинг, не выронил ли ты дорогой обойму?

Сергей посмотрел на него в упор: Фролов был бледен, на скулах у него играли жесткие желваки.

– Фролов, ты... Неужели ты не знаешь, за что?

– Знаю. Из-за твоей девочки. Становись к барьеру. Считаю... Раз...

Сергей остановился на черте, медленно наводя на него револьвер.

– Два...

Фролов почти отвернулся от Сергея, согнутой правой рукой защищая корпус.

– Три.

Сергей нажал курок. Раздался сухой и легкий треск, и ветка над головой Фролова треснула и надломилась. Кусочек коры сорвался с дерева и упал к его ногам.

– Мимо...

Фролов повернулся к Сергею всем телом и с силой раздвинул, как будто связанные губы.

– Теперь ты считай, – сказал он.

Сергей для чего-то переложил револьвер в левую руку.

– Раз... два... три!

Одновременно с коротким револьверным треском он почувствовал в левом плече боль, как будто от пореза перочинным ножом.

Он невольно вскрикнул, просунул руку под пиджак и дотронулся до порезанного места.

Рука была в крови.

Фролов сунул револьвер в карман и сделал шаг по направлению к Сергею.

– Ничего нет, – сказал Сергей, побледнев и сжав кулаки. – Становись к барьеру. Я стреляю. Считай.

Фролов пожал плечами и вернулся обратно.

– Я буду считать, – сказал он, – но только... Может быть... А, впрочем, пустяки. Считаю: раз...

Сергей поднял браунинг и с ужасным напряжением принялся целить между глаз противника.

– Два...

Он вдруг изменил решение и начал водить револьвером по всему телу Фролова. Он направлял браунинг на живот и видел, как живот втягивался под черным дулом, он направлял браунинг на грудь, и грудь падала с напряженным вздохом. Наконец, он вернулся к исходной точке: револьвер устоялся между глаз и остановился неподвижно.

– Три!

Сергей нажал курок.

Фролов сделал шаг вперед, взмахнул обеими руками, как будто отмахиваясь от чего-то, и упал лицом вниз, в мокрые листья, в землю.

Ноги его в высоких желтых сапогах со шпорами вздрогнули, подогнулись и вновь выпрямились, чтобы не согнуться больше.

Сергей бросил браунинг в траву, подбежал к нему и перевернул тело: пуля попала в левый глаз – на месте глаза была кроваво-белесая ямка.

Он поднялся с колен и несколько минут стоял над убитым неподвижно, сдвинув брови, как будто стараясь уверить себя в том, что все это – дуэль и смерть Фролова – произошло на самом деле.

Где-то далеко на дороге загромыхла телега.

Сергей снова бросился к мертвецу и принялся расстегивать на нем френч.

Френч никак не расстегивался.

Наконец, расстегнулся, и Сергей вытащил из бокового кармана записную книжку, карандаш и бумажник. Бумажник был набит продовольственными карточками и вырезками из газет.

В записной книжке Сергей нашел три письма.

Первое письмо было набросано на клочке бумаги.

Сергей прочел:

«...Сенька вчера купил со шкар четыре паутинки. Если можешь, дядя, пришли мне липку. Сижу под жабами на Олене. Не скажись дома, дядя, брось своих бланкеток, задай винта до времени. Скажи Барабану, что на прошлой неделе раздербанили без меня. Жара, дядя. Здравствуй...»

Сергей не понял ни одного слова, сунул обрывок бумаги в карман и развернул второе письмо. С первого взгляда он узнал почерк Екатерины Ивановны. Екатерина Ивановна писала Фролову, что ждала его накануне до поздней ночи, упрекала в том, что вот уже третий

раз он ее обманул, звала его к себе, обещала рассказать о том, как она теперь плохо спит по ночам, о том, какие глупые сны ей снятся про Фролова, как будто бы он стал хромать и лицом похудел ужасно.

Сергей с ненавистью посмотрел на склоненную голову Фролова. Труп свесил голову на грудь, ноги раздвинулись, царапая землю; он равнодушно косил на Сергея выбитым глазом.

Сергей отвернулся от него и огляделся вокруг: никого не было поблизости, солнце скользило между стволами почерневших берез и полосами ложилось на примятую траву лужайки.

Он старательно, с какой-то особенной аккуратностью сложил пополам письмо Екатерины Ивановны и положил его в боковой карман пиджака. Третье письмо было написано затейливым почерком, с завитушками, пристежками и множеством больших букв, которыми начиналось чуть ли не каждое слово. Сергей прочел:

«Уважаемый Павел Михайлович.

Некоторые затруднительные Обстоятельства заставляют Меня просить вас не отказать в нижеследующей Просьбе. Будьте добры 23-го июля сего года в 7 часов Вечера положить на крайнее Левое окно Грибовского пустыря, что на Песочной улице, 1025 р. 65 к. золотом в Запечатанном конверте. Извиняюсь за некоторую Назойливость, которого трудно избежать в Подобного рода Делах.

Позвольте также Уведомить Вас, что в случае которого конверта на месте Не окажется, то Мы никак не можем, к искреннему Сожаления, поручиться за вашу Драгоценную жизнь.

В случае Же, если вы доведете вышеуказанную Мысль до сведения мильтонов, то Мы никак не ручаемся за Жизнь И вашей Глубокоуважаемой Супруги.

С почтением Турецкий Барабан.»

На конверте было написано красным карандашом: «Дяде – для передачи по Назначения».

Внизу за подписью стояла печать.

Сергей взглянул в печать: это была церковная печать церкви Гавриила архангела.

Он снова огляделся вокруг, отыскал глазами небольшой пенек, поросший мхом, и уселся на этот пенек, схватившись руками за голову и напрасно стараясь собрать разбегающиеся мысли.

– Так значит Фролов... вор... или нет, скорее... этот... как называется... налетчик.

– Но если он – налетчик, если она была с ним, так значит... так значит... так значит... Не может быть.

Он стал ходить по лужайке, заложив руки за спину, в одной руке крепко сжимая записную книжку Фролова.

– Так где же она? – сказал он сам себе, остановившись в раздумьи и потирая рукою нахмуренный лоб.

Раскрытый бумажник, лежавший на траве, возле трупа, обратил на себя его внимание.

Он поднял бумажник, сунул его в карман френча, снова застегнул френч, стер линии, служившие барьером, снова положил труп Фролова лицом вниз, в землю, отыскал брошенный в траве браунинг.

С силой разжимая пальцы руки, уже начинающей коченеть, он вложил в нее револьвер, достал бумажник и, собирая в строку танцующие перед глазами буквы, снова прочел о том, что Фролов в своей смерти просит никого не винить.

Тут только он заметил, что все время не выпускает из рук записной книжки Фролова.

Он заглянул в эту записную книжку, прочел на оборотной стороне переплета кроваво-красную подпись «Memento mori» и увидел под надписью плохо нарисованный череп с двумя костями.

Он подумал немного, хотел было положить книжку туда, откуда он ее взял, но вместо этого положил ее в карман своих шашечных штанов.

Никого не было видно кругом: он опустил ворот пиджака, нахлобучил на уши фуражку и зашагал между деревьев на городскую дорогу.

VI.

Особым распоряжением все дома были вновь учтены и перенумерованы.

На месте угловатого фонаря с резными номерами появился фонарь, похожий на китайский веер.

Но учет миновал пустыри и полуразрушенные здания. Таким образом хазы выпали из учета, из нумерации, из города. Они превратились в самостоятельные республиканские государства, неподведомственные Откомхозу.

За полуразрушенным фасадом засел бунт против нумерации и порядка.

Этот бунт был снабжен липой, удостоверяющей личность республиканца.

Нельзя решиться на большое дело без делового разговора. Мелкая шпана уговаривается на Васильевском – в «Олене», в Свечном переулке, в гопах, разбросанных по всему городу.

Но мастера своего дела скрываются в хазу, единственное место, где честный налетчик может сговориться о деле, пить, спать и даже любить, не кладя ногана под подушку.

В хазе совещаются, обсуждают планы на работу, пропивают друзей, идущих на жару – на опасное дело.

Ненумерованный бунт, скрывшийся за полуразрушенным фасадом, часто бывал штабом бродячей армии налетчиков; штаб руководил борьбой и давал боевые задания.

Было время, когда хороший налетчик еще не поддавался регистрации.

Эти времена теперь вспоминают мертвецы, расстрелянные порядком, и у них дрожат истлевшие сердца, и кости ударяются одна о другую.

– Уважаемые компаньоны! Наше последнее дело потребовало неотложно быстрое совещание, больше того, нужно уже ускорять всю механацию, пора!

Шмерка Турецкий Барабан ударил кулаком о стол и побагровел от гнева.

– Вы уже знаете, что этот проклятый жиган Васька Туз сгорел из-за какой-то говенной покупки. В чем дело? Почему нарушают работу, вы – горлопаны, вы прават-доценты! Разве так работают, разве работают на стороне, когда вас ждет дело большого масштаба? Что же вы молчите? Отвечайте!

Никто не отвечал; все молчали; каждый работал на стороне.

Барабан продолжал, успокаиваясь:

– Но не в том-то дело. Подработки происходят, как нужно. Вчера мы увезли инженера. Барин, расскажи об инженере.

Сашка Барин поднял голову – узенькая красная полоска от высокого воротника кителя осталась у него на подбородке. Он медлительно отложил в сторону недокуренную папироску и начал:

– Инженера Пинету мы увезли для подработки по сейфам. Барабан наколол его как хорошего специалиста. Вчера Барабан говорил с ним, и он обещал сделать все, что надо; он берется приготовить в 5 – 6 дней, если ему доставят все, что нужно для работы. На мой взгляд этот инженер может оказать нам услуги насчет телефонной станции.

Барин замолчал, снова всунул в рот папироску и достал из кармана зажигалку.

– Аз эр из клуг, бин их шейн\*1, – сказал Барабан с презрением, – эту предпоследнюю пусть он оставит для нас. На это мы справимся без инженера Пинеты. Пятак, что нового у тебя?

Сенька Пятак был франтоватый мальчишка лет 22-х. Он носил черные усики, вздернутые кверху, и ходил в брюках с таким клешем, что нога болталась в нем, как язык в колоколе.

Веселый в пивушке, в кильдиге, на любой работе, он терялся на этих собраниях, которые устраивал Турецкий Барабан. Турецкий Барабан всегда любил торжественность и парламентаризм.

Пятак кратко отчитался в своей работе: он сказал не больше 25 слов, из которых ясно было, что все, порученное ему на прошлой неделе, он выполнил, что на телефонную станцию пробраться может когда угодно, что телефонистка Маруся третий день на него тарашится и «старается для него маркоташками».

– Дело идет на лад! – объявил Барабан и застучал волосатым кулаком в стену.

– Маня, дай нам пива.

– Дело идет на лад! – повторил он через несколько минут, расплескивая по столу пиво. – Студент, что нового у тебя?

В самом углу комнаты сидел обтрепанный человек в изодранном пальто с каракулевым воротничком и в новенькой студенческой фуражке. Он был прозван Володей-Студентом за то, что во время работы всегда носил студенческую форму.

– Ничего нового. Работаю по–прежнему. Сарга кончилась.

– Сарга кончилась! – передразнил тот, – каждый день у тебя сарга кончается!

Володя–Студент обиделся, почему–то снял фуражку и привстал со стула.

– Да что ты, смеешься что ли? А нужно мне вкручивать баки сторожам. Нужно поить–то их или нет? Попробуй–ка, приценись к самогонке.

– Хорошо, об этом мы с вами переговорим после, Студент. Вы тут кой–чего протрепали с вашей самыркой. Так не работают, имейте это в виду.

Володя–Студент окончательно обиделся, сплюнул на пол и принялся свертывать огромную козью ножку.

– Отличное дело, протрепал. Если я протрепал, так пусть с ними хоть Пятак возится.

– Молчать, Студент! – Барабан побагровел и стукнул по столу так, что пивные стаканы со звоном ударились один о другой. – Кто тут балабес, ты или я? Ты забыл, что такое хевра, сволочь, паскудство!

---

\*1 Если он умен, то я красив.

Барабан вдруг успокоился, выпил пива и сказал, с важностью выдвигая вперед нижнюю губу:

– Да, это верно. Деньги нужны. Сколько у меня еще есть? У меня еще есть на пару пива! Значит что? Значит нужно работать.

Он помолчал с минуту и продолжал, проливая пиво на жилет, который как будто пережил на своем веку всю мировую историю.

– Но ни в коем случае не итти на это самим. Нужно пустить шпану. Вы знаете, о чем я говорю? Я говорю о двух адресах: во–первых, ювелир Пергамент на Садовой, во–вторых... Пятак знает во–вторых.

– На Бассейной, что ли? – пробормотал Пятак, который решительно ничего не знал ни о первом, ни о втором адресе.

– Нет, не на Бассейной, а на Мильонной. У кого? У одного непаца. Это нужно будет сделать в течение ближайшей недели. Саша и Пятак, это вы возьмете в свои руки.

– Об этом нужно сговориться со шпаной, – снова повторил он.

Пятак вдруг вскочил и с жалостным видом хлопнул себя кулаком в грудь.

– Мать твою так, Барабан, да не филонь ты, говори толком! Есть работа, что ли? Навели тебя? На Мильонной?

– В чем дело? Ну да, нужно сделать работу по двум адресам.

Он снова перечислил эти адреса, загибая на правой руке сперва один, потом другой палец.

– Во–первых, с ювелиром Пергаментом на Садовой, во–вторых с одним непацом на Мильонной.

Пятак внезапно успокоился и снова молча уселся на то же место.

– Между прочим, – сказал Барабан, поднеся руку ко лбу и как будто вспомнив о чем–то, – я предлагаю прежде всего почтить вставаньем память Александра Фролова, по прозвищу Дядя. Покойный был нашим дорогим другом, умер в расцвете своей плодотворной деятельности. Сколько раз я говорил ему: «Дядя, оставь носиться с часами, брось свои любовные приключения, будь честным работником, Дядя». Теперь его нашли со шпалером в граблях. Конечно, его погубила женщина. На нем ничего не нашли. Вечная тебе память, дорогой товарищ.

Барабан снова пролил пиво на живот, но на этот раз старательно вытер жилет огромным носовым платком.

– Еще хорошо, что не зашухеровался со своим бабьем, – заметил Пятак, тоже интеллигент, малява!

– Пятак, оставьте интеллигенцию в покое! – вскричал Барабан, – я учился на раввина, я всегда был интеллигент, и интеллигенция тут не при чем. Интеллигенция, это – Европа, это...

Барабан со звоном поставил бокал на стол.

– Оставьте, Пятак, это грызет мне сердце.

Пятак, смущенный, вытащил коробку папирос с изображением негритенка и принялся закуривать.

– Собрание кончено, – сказал Барабан. – Почему не пришел Гриша?

– Он, кажется, на работе, – отвечал Барин, – третьего дня я видел его в Олене. Говорил, что все идет удачно.

– Собрание кончено, – повторил Барабан, – можно итти. Не засыпьте хазы. Студент, завтра ты получишь, сколько тебе нужно. Саша, ты можешь остаться со мной на одну минуту?

Пятак и Володя–Студент ушли.

Сашка Барин сидел, заложив ногу за ногу, опустил голову на грудь и блестя точным, как теорема, пробормотал.

Барабан подсел к нему и спросил, легонько прихлопнув его по коленке.

– Ну, что ты мне скажешь, Саша Барин?

– Относительно чего? – ответил тот, равнодушно покачивая ногою.

– Не притворяйся, Саша. Я говорю про девочку.

– Девочка скучает.

– Саша, ты помнишь, что ты мне обещал?

– Помню. Да что мне с ней делать, если она о вас слышать не хочет?

Шмерка Турецкий Барабан встал, снова начиная багроветь.

– Приткну! – вдруг сказал он, с бешенством сжимая в кулаки короткие пальцы. – Накрою, как последнюю биксу. Она меня еще узнает.

– Не стоит беситься, Барабан. Дай ей шпалер, она сама себя сложит. Лучше пошли к ней Маню–Экономку. Может быть ее Маня уговорит? Чего она тебе далась, Барабан, – не пойму, честное слово!

Барабан сел в кресло и вытащил из заднего кармана брюк трубку. Он долго и старательно набивал ее, стараясь не просыпать табак на колени, наконец закурил и сказал, полуобернувшись к Сашке Барину.

– Не будем больше об этом говорить. Ты должен меня понять, Саша!

VII.

Сергей Травин шел по Лиговке в изодранном пиджаке и нахлобученной на самые уши фуражке, немного покачиваясь из стороны в сторону и, как солдат, махая в такт шагам одной рукою. Другая болталась в грязной платке, подвязанной под самую шею. Он шел вдоль забора, заплатами ржавой жестию. Двое рабочих сидели друг против друга на деревянных чурбанах и пилили трамвайный рельс, поминутно поливая рассеченную сталь кислотой.

Сергей остановился возле них и долго с бессмысленным вниманием смотрел, как они работали.

Один рабочий был еще мальчик, лет 16–ти, другой – старик с бабьим лицом, в изодранной кондукторской фуражке.

– Ну и что же? – сказал Сергей, сам не ожидая, что он сейчас что–то скажет, – ну и ни черта вам не перепилить, пожалуй.

Рабочие молча продолжали свое дело, попеременно наклоняясь друг к другу размеренными движеньями; они походили на игрушку – кузнеца и медведя, ударяющих по деревянной наковальне своими деревянными молотками.

Сергей повернулся и пошел дальше, растерянно блуждая по улице глазами.

Заплатами жестию забор сменился обшарпанным домом. У подъезда два безобидных каменных льва скалили зубы. Над львами висел кусок картона, на котором был нарисован сапог со свернутым набок голенищем.

– Принимаю заказы. Сапожник Морев, – прочел Сергей.

Он еще раз почти неслышно повторил все это про себя, как будто с тем, чтобы непременно запомнить.

– Сапожник Морев. Именно Морев.

Он поднял брови, прошел несколько шагов, остановился, отправился дальше, пересек Обводный канал, и вдруг снова остановился, хлопнув себя по лбу и вспомнив, наконец, что ему напомнила эта фамилия.

– Вот оно в чем дело. Memento mori! Череп с костями. Где она, эта записная книжка?

Он принялся пересматривать карманы пиджака, вытащил письма, сунул их обратно и, наконец, нашел записную книжку Фролова – маленькую тетрадку, переплетенную в кожаный переплет.

Он оглянулся вокруг, повернулся к мосту и, облокотившись о перила, принялся читать записную книжку; он читал с напряженным вниманием, не пропуская ни одной строки.



Он прочел:

«1. Любовь бывает только раз в жизни.

Де-Бальзак.

2. «На прошлой неделе работали с Сашей на Песках. Купили бинбер, Саша хотел отначить для Кораблика – не дал. Бинбер продали в Олене на блат.

3. Я звал тебя, но ты не оглянулась.

Я слезы лил, но ты не снизошла,

Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты, Манечка, ушла!

Сергей перевернул страницу: дальше шли какие-то рисунки. Двое людей с револьверами за поясом несли в руках знамя; на знамени было написано печатными буквами:

«Манечка, дай сыграть,

Дай на шпалер двадцать пять».

На следующей странице Сергей прочел стихотворение «Под душистою веткой сирени».

За стихотворением шла краткая заметка:

«Сегодня, 27-го июня, Пятак записал на Елагином какого-то брица. Смылся».

Вслед за заметкой Сергей прочел длинную выписку из какого-то переводного романа:

«Дорогая Антуанетта. Я хочу одним словом рассеять все твои страхи. Слушай: если я тебя брошу, я буду достоин тысячи смертей. Отдайся мне окончательно. Я дам тебе право меня убить, если я изменю. Я сам напишу эту бумагу, в которой изложу некоторые мотивы, по которым будут вынуждены меня убить; я объявлю также мои последние распоряжения. Ты будешь владеть этим завещанием, каковое узаконит мою смерть, и можешь, таким образом, отомстить мне, не боясь ни людей, ни бога».

Далее без всякого перехода следовало замечание:

«Буй сработал перацию на Васильевском. Купил порт.»

Бурей жизнь моя изрыта,

Дух исканий помертвел,

Хлещет смерть и в ней сокрытый

Жизни налетчика предел.

\* \* \*

Слышу возглас похоронный.

Росхлись, мазы! И вперед!

Рвите грудь мою вороны,

Пусть будет все наоборот!

\* \* \*

Разошлись больные нервы

Пред работой на беду.

Жизнь моя! Милашка – стерва!

Я на мокрое иду!..

Сергей вдруг отступил на шаг и, размахнувшись, швырнул записную книжку в Обводный канал.

Потом он оборотился и пошел дальше по Лиговке, немного покачиваясь из стороны в сторону и, как солдат, махая в такт шагам здоровой рукой.

Старушке в малиновом чепчике, той самой, что называла себя кружевницей, выдался счастливый день: во-первых, она нашла серебряное колечко с затейливой буквой М, во-вторых, ее соседка, известная злыдня, сегодня ошпарила себе руку.

Поэтому старушка в чепчике сидела на ступеньках четвертого подъезда дома Фредерикса, рассматривала затейливую букву на колечке, смеялась в кулачок и мурлыкала про себя:

– Пусть Новый год

С собой несет

Игры, подарки,

хотя Новый год по справедливости должен был принести старушке в чепчике три аршина земли на Смоленском кладбище.

Так она пела и грелась на солнце, когда Сергей Травин, растерянно поглядывая вокруг себя глазами, на которые лучше всего было одеть синие консервы, подошел и молча остановился перед нею.

Старушка хотя и заметила странные глаза человека с подвязанной рукой и в нахлобученной на самые уши фуражке, но ничего не сказала и продолжала мурлыкать свою песенку.

– Не знаете ли вы, – спросил Сергей, обратив, наконец, вращающиеся глаза на старушку в чепчике, – где здесь живет Молотова, Екатерина Ивановна?

Старушка прервала перечисление предметов, которые она хотела бы получить на Новый год, и отвечала:

– Молотовой нет.

– Как нет? Она не живет здесь?

– Живет–то живет, да сейчас нет.

– Ничего, я подожду ее. Какой номер ее комнаты?

– Она ушла, – сказала старушка в чепчике, начиная смеяться в кулачок, третью неделю не приходит.

Сергей затряс головой и схватил ее за руку.

– Как третью неделю? Уехала? Одна? Да говорите же, что же вы молчите!

– Ушла, не уехала, – повторила старушка в чепчике, смотря на Сергея с удовольствием, – ушла и не вернулась обратно. Надо полагать, пропала окончательно.

– Не оставила ли она чего–нибудь? Записки или адреса?

– Ничего она нам не оставила. Кто ж ее знает? Девушка одинокая, – ушла да и не вернулась.

– А все–таки может быть... что–нибудь осталось?

– А остался от нее шиш, – сказала убежденно старушка в чепчике, – примус один, да и тот сломанный.

– А все–таки – позвольте мне пройти в ее комнату. Или там уже кто–нибудь другой живет?

– Никто не живет. Пустая комната.

Старушка в чепчике встала, вытащила откуда–то из–под юбки ключ и молча показала его Сергею.

Они вошли в подъезд и поднялись по лестнице.

– Будет темно, – сказала старушка в чепчике, – держитесь рукой за стены.

Они свернули за угол и несколько минут в полной темноте кружились по лабиринтам дома Фредерикса. Наконец старушка в чепчике остановилась перед одной из дверей, выходящих в круговой корридор, и вставила ключ в замок.

– Вот здесь она и живет.

Сергей остановился на пороге и с напряженным вниманием оглядел комнату Екатерины Ивановны.

Комната имела такой вид, как будто хозяйка ее с минуты на минуту должна была вернуться.

На ночном столике лежала открытая книга, подушки на кровати были смяты и одеяло отброшено; штора окна была отдернута наполовину.

Сергей вошел в комнату.

– Может быть вы разрешите, – сказал он тихим голосом, – посмотреть здесь ее письма, книги?

– Пожалуйста, посмотрите, – сказала старушка в чепчике, – а только ничего не найдете.

Он подошел к маленькому письменному столу, на котором в беспорядке разбросаны были книги, взялся за корешок, потряс над столом каждую из них, в надежде, что откуда–нибудь выпадет письмо или записка, и ничего не нашел; тогда он попытался выдвинуть ящик стола. Ящик легко выдвинулся; он был полон всякой рухлядью – тряпочками, лентами, даже соломенная шляпа была затиснута куда–то в самый угол.

Но среди рухляди стали попадаться бумаги. Тогда он сразу высыпал все, что было в ящике, на стол и наткнулся на связку писем, перевязанных простой тонкой веревкою.

Едва только он развернул одно из них, как его поразил до странности знакомый почерк.

Он взглянул на подпись, прочел: «твой Сергей», с размаху швырнул письма на стол, повернулся и пошел к двери.

– Я ничего не нашел здесь, бабушка, спасибо вам.

Старушка подошла к нему поближе.

– А вы Екатерине Ивановне будете брат или другой родственник? Я вижу, что вы очень интересуетесь ее судьбою.

Она посмеялась в кулачок и продолжала:

– Я вам могу все рассказать, если хотите. За один раз тридцать копеек.

– Как это тридцать копеек?

– Меньше никак, никак не могу.

– За какой же один раз?

– За одно гаданье. Я очень, очень гадаю на картах.

– Нет, бабушка, спасибо за услугу.

Сергей сунул ей какие-то деньги и вышел; но не успел он отойти и десяти шагов по коридору, как старушка позвала его обратно.

– Молодой человек!

– Что вам, бабушка?

– Нужно уж вам сказать: на другой день, как ушла Екатерина Ивановна, я нашла в ее комнате письмецо. Должно быть она его уходя-то и обронила. Вот это письмецо у меня имеется.

Старушка снова полезла куда-то под юбку и вытащила оттуда небольшое письмо, без печатей и марок, переданное, должно быть, из рук в руки.

Сергей молча взял у нее письмо и пробежал его глазами: это было предложение поступить на службу в какой-то союз в качестве стенографистки. Имя Фролова попадалось в письме два раза.

Сергей прочел до конца и вдруг вскинулся как бешеный.

Он в одну минуту вывернул карманы своего пиджака, отыскал среди бумаг, взятых у Фролова, письмо с вымогательством 1025 рублей от какого-то Павла Михайловича и его глубокоуважаемой супруги и принялся сравнивать оба письма с быстротой, от которой строки метались и прыгали в глазах.

Оба письма были написаны одною рукой.

– Они ее утащили, мерзавцы! – проворчал он, серый, как крот, от ярости.

Сунув все бумаги в карман, он повернулся и вышел.

Старушка в чепчике проводила его внимательным взглядом, снова посмеялась в кулачок и вернулась на свое место.

У нее сегодня счастливый день: во-первых, человек с подвязанной рукой дал ей много денег, во-вторых, она нашла серебряное колечко с буквой М, а в-третьих, ее соседка, известная злыдня, до локтя ошпарила себе руку.

VIII.

– Клей!

– Да ну? Посый?

– Не посый, так я бы с тобой говорить не стал!

– Врешь!

Сашка Барин нахмурился.

– Я с тобой в пустяках работал?

– Ну, ну. На сдюку, что ли?

– Я с тобой не на сдюку работал?

– А как шевелишь, на сколько дело ворочает? На скирью стекленьких будет?

– Поднимай выше.

– На чикву?

Барин покачал головой и с большим вниманием начал рассматривать свои ногти.

– На пинжу? На сколько же, чорт побери?... Неужто...

Барин наклонился к нему через стол:

– На лондру стекленьких!

Тетинька открыл рот, стукнул зубами:

– Труба! А где?

– Где? – это я тебе скажу на Бармалеевой. Один ювелир...

– Ну как, идет?

Тетинька замолчал и стал задумчиво сощелкивать с колен хлебные крошки.

– Жара!

– Подо мной без жары еще не работали.

– Погоди, Сашка. Мы подумаем!

– Кто это мы?

– Да я со Жгутом!

– Я твоего Жгута дожидаться не буду. Будешь работать, так приходи сегодня вечером на Бармалееву. Нет, так...

Сашка Барин прошел к дверям и у самых дверей столкнулся с вертлявым мальчишкой. Мальчишка носил длинную кавалерийскую шинель и в руке держал тросточку.

– Вот и Жгут!

Жгут, не здороваясь, пошел к столу, сбросил фуражку и выплюнул из рта папиросу.

– Слышали, братишки?.. Гришка Савельев засыпался.

Барин вернулся, закурил и сел, положив ногу на ногу.

– На квартире! Пришли и взяли. Лягнул кто-то... Теперь плохо, пожалуй, стенку дадут.

Жгут побегал по комнате, хлопнул себя по лбу и закричал:

– А про Кольку Матроса слышали? Я его вчера в Народном доме встретил; он открыто признал – хвастал, е... его в душу мать. Говорил, что всех продаст.

Жгут подошел к Сашке Барину.

– Не скажись дома, Сашка, он ведь про вашу хевру знает!

– Ничего не знает. Воловер.

– Он говорил, что скоро начальником бригады будет, меня звал на службу в угрозыск.

Тетинька выругался по матери, Сашка Барин равнодушно посмотрел на Жгута своими оловянными бляхами.

– Жгут, – сказал Тетинька, – есть работа. Барабан нахлил.

– Малье!

– Если малье, так сегодня вечером приходи на Бармалееву. Там договоримся. Дело посое.

Барин кивнул головой и вышел.

– Аристократ, конечно, и сволочь, – сказал Тетинька, подмигнув глазом на двери, – но фартовый же парнишка, ничего не скажешь, честное слово.

---

Пустыри, хазы, ночлежные дома города, 200 лет летящего чорт его знает куда своими проспектами, иногда поднимаются на стременинах. Наступает время работы для фартовых мазов, у которых руки соскучились по хорошей пушке. Шпана, до сих пор мирно щелкавшая с подругами семечки на проспектах Петроградской стороны и Васильевского Острова, катаясь на американских горах в саду Народного дома, проводившая вечера в пивных с гармонистами или в кино, где неумолимый аппарат заставлял американок нежного сложения подвергаться смертельной опасности и быть спасенными Гарри Пилем, любимым героем папиросников, – теперь оставляет своим подругам беспечную жизнь.

Зато в гопках в такие дни закипает работа: в закоулочных каморках, отделенных одна от другой дощатыми перегородками барыги, скупают натыренный slam, наводчики торгуют клеем, домушники, городушники, фармазонщики раздербанивают свою добычу. Гопа гудит до самого рассвета, и если бы ювелир Пергамент в такую ночь встал с постели и провел два часа на Свечном переулке, так он соорудил бы целый арсенал под прилавком своего магазина.

Первым со скучающим видом вошел Барин. За ним Тетинька и Жгут.

Барин вытащил ноган и приблизился к прилавку. За прилавком стоял пожилой еврей, который, судя по внешнему виду, верил в бога и аккуратно платил налоги.

– Ключ!

Из второй комнаты, в глубине магазина, выбежал молодой человек с пробором.

Он зашел было за прилавок, потер руки, поклонился, но тут же увидел ноган Сашки Барина и побледнел так, как будто ему за это хорошо заплатили.

– Ключ!

Пожилой еврей затрясся, замигал глазами, ущипнул себя за подбородок и опустил руку в карман пиджака.

Жгут перевернул на стеклянной двери дощечку с надписью: «Закрето».

Ключ с трудом влез в замочную скважину и отказался повернуться.

– Не запирается! Не тот ключ!

Сашка Барин оборотился к двери, и тогда пожилой еврей, верящий в бога, сорвался с места. Серебряная вилка полетела в окно и воткнулась в подоконник.

– А, шут те дери! – заорал Тетинька, вытаскивая револьвер, – выходи из–за прилавка, сволочь!

– Зекс! – сказал Барин.

Он подошел к хозяину и приставил ногу к животу, на котором болталась цепь с брелоками.

– Последний раз говорю, дадите ключ или нет?

Рука вторично опустилась в карман, и на этот раз ключ повернулся дважды.

– Теперь пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату, – вежливо заметил Барин.

Молодой человек с пробором открыл рот и окаменел; Тетинька дал ему пинка, он завизжал поросенком и, механически шагая, отправился в соседнюю комнату.

Пожилой еврей уже сидел там, закрыв лицо руками, качался из стороны в сторону и говорил по–еврейски.

Тетинька утвердился на пороге с револьвером в руках и начал утешать своих пленников.

– Ничего, ребята! Тут ни хрена не поделаешь, бывает! Дело наживное. Очистили – и никаких двадцать. А вы еще вилок бросаетесь, сволочи! Рази можно?

– Не мои вещи, не мои вещи, – бормотал еврей.

– А рази можно чужими вещами торговать? Что ты!

Барин быстро и аккуратно укладывал драгоценности в небольшой чемодан. Жгут набивал карманы часами и кольцами; через несколько минут он тикал с головы до ног на разные лады.

– Готово.

Барин остановился на пороге соседней комнаты.

– Ложитесь!

– Ложитесь, вам же лучше будет, малявые! – подтвердил Тетинька.

Молодой человек с пробором вскочил и лег на пол с таким видом, как будто это доставляло ему большое удовольствие.

– Лицом вниз!

Пожилой еврей со стоном грохнулся на пол.

– Кажется, того... – сказал Тетинька.

– Если вы закричите или поднимитесь с пола раньше, чем через полчаса, сказал Барин, – так... Впрочем вставайте, чорт с вами, и помогите вашему старику! Он, кажется, умирает.

Человек с пробором впал в транс и только тихо посапывал.

– Ну, шут с ними! – сказал Тетинька, – айда!

Они вышли, закрыли за собой дверь и заставили ее конторкой.

Жгут завертывал в клочок бумаги часовые инструменты, стекла.

– Жгут, ты засыплешься из–за этой дряни! Айда!

Ключ повернулся в замке сперва изнутри, потом снаружи.

Первым вышел Жгут. За ним Тетинька и Барин.

На углу они постояли немного, закурили, поговорили о погоде и разошлись в разные стороны.

IX.

На углу Рыбацкой улицы, против пустыря, на котором все собаки Петроградской стороны познают радость жизни, стоит ресторан Прянова.

В этот ресторан каждую ночь приходят с дамами военморы в удивительных штанах, лавочники в пиджаках и косоворотках и просто так неизвестные люди. Эти люди предпочитают носить пальто с кушаком и фуражку с золотыми шнурами, надвинутую на глаза или сброшенную на затылок.

Если никому неизвестный человек, как всякий человек, хорошо знает все, что было вчера, то он никогда не уверен в том, что его ожидает сегодня. Поэтому в карманах его пальто на всякий случай лежат еще 2 – 3 шапки: беспечная кепка, строгий красноармейский шишак и хладнокровная, как уголовный кодекс, панамка.

Военморы тащат из кармана бутылочку, пьют ерша и, полные морского достоинства, до поздней ночи играют на бильярде.

Лавочники скромно слушают музыку и терпеливо, подолгу выбирают подходящую для короткой встречи подружку.

Просто так неизвестные люди садятся по–двое, по–трое где–нибудь в уголку и говорят о том, что Васька Туз сгорел, а Соколов продает, о том, что Седому посчастливилось найти посуу хазовку на Васильевском и что лягавые ходят за Паном Валетом Шашковским.

Внизу на улице возле ресторана Прянова гуляют барышни в цветных платочках, повязанных по самые глаза. Они гуляют от одного кинематографа до другого, от Молнии до Томаса Эдиссона и обратно, лущат семечки, рассматривают снимки боевика в 24–х частях, поставленные под стекло витрины, скучают и ищут друга на час, на ночь, на год, на целую вечность.

К полуночи, когда гаснут кинематографические огни, проспект Карла Либкнехта погружается в темноту, – только ресторан Прянова еще сверкает, шумит, волнуется, и бильярдные игроки гулками, как револьверный выстрел, ударами пугают кошек, уже сменивших собак и подобно собакам испытывающих на заброшенном пустыре живейшее из жизненных наслаждений.

Тогда начинается жаркая работа для милиционеров. Посетители Пряновского ресторана, нагрузившись вволю, начинают сомневаться в реальности и целесообразности всей вселенной: они начинают крушить все вокруг, и иная барышня из сил выбивается, чтобы спасти ночь, уговорить буйного друга и увести его от беспощадного, как мировой закон, мильтона.

---

Сергей Травин бродил по городу.

Он искал в ночлежных домах, в пивных, в самых глухих притонах, человека, имя которого – С. Карабчинский – стояло в письме, полученном от старушки в малиновом чепчике и прозвищем которого – Турецкий Барабан – было подписано письмо за церковной печатью. Любой агент сказал бы, что у него губа не дура, потому что за этим же самым человеком в течение года безуспешно охотился уголовный розыск по делам, перед которыми похищение какой–то стенографистки было пустою шуткой.

Сергея не знала шпана.

Его считали, не без оснований, за лягавого, и при появлении его в гопках на Обводном канале, на Свечном 11, – тотчас умолкали или начинали говорить о достоинствах Кораблика перед Машкой Корявой, о погоде, о кинематографе, о политике, притворяясь либо простыми папиросниками, либо молчаливыми служащими трамвайного парка.

Однажды в чайной на Лиговке Сергей рискнул показать какому–то клешнику, с которым разговорился по–дружески и вместе пил чай, письмо за подписью Турецкого Барабана.

Клешник внимательно прочел письмо и посмотрел на Сергея, чуть–чуть сдвинув брови:

– Чего?.. Наводишь?

– Я хочу узнать, не скажете ли вы мне, где найти этого самого человека, который подписал письмо?

Клешник вскочил и, ни слова не говоря, побежал к двери.

Уходя, он обернулся к Сергею и сказал, скривив рот и грозя ему кулаком:

– Что же ты, лярва, думаешь, что я своих продавать буду?..

Как–то ночью Сергей забрел в ресторан Прянова, поднялся наверх и сел за стол, прямо напротив зеркала.

Из зеркала на него посмотрело лицо, которое он не узнал и которое стоило продать за николаевские деньги.

Он пересел за другой столик и спросил пива.

Ресторан был полон.

Под картиной, изображающей не то сосновый лес осенью, не то гибель Помпеи, располагалась компания подгулявших торговцев, которыми распорядился толстый, багровый человек с обвислыми усами.

Багровый человек одновременно ругал официантов, шутил с барышнями и с удивительным искусством подсвистывал струнному оркестру.

Недалеко от них, за круглым столиком, сидели трое парнишек лет по 15–ти, задававших форсу и игравших под большими.

Один из них, заложив ногу на ногу, каждую минуту кричал струнному оркестру:

– Наяривай, наяривай! – и открывал, круглый как яйцо, глаз.

Двое других спорили друг с другом о достоинствах какой–то Лельки Зобастенькой, курили без конца и беспрестанно пили пиво.

Говорили все разом, и смешанный говор изредка прорезывала мелодия знаменитой «мамы».

Веселенькие цветочки прыгали на обоях, с золоченых карнизов спускались какие–то кудрявые гардины, на стене, прямо напротив Сергея, было прибито объявление:

«Согласно постановления администрации

Сквернословие воспрещается.

С виновных в таковом будет взиматься штраф».

Внизу в уголку было приписано мелкими буквами:

«Коли так, так и чорт с вами».

Сергей приглядывался к своим соседям.

Рядом с ним сидели два молчаливых посетителя, которые, не обращая никакого внимания на все, что происходило вокруг, спокойно тянули пиво, изредка обмениваясь друг с другом двумя–тремя словами.

Оба курили: один, степенный, лет 35–ти, курил трубку; другой, одетый под военмора, в фуражке с щегольским козырьком, держал в руках сигаретку.

Сергей допил свое пиво и пересел поближе к соседям.

– Разрешите, – сказал он, вытащив из коробки папиросу и наклоняясь с папиросой в руках к тому, что курил сигарету.

Тот молча дал Сергею прикурить.

– Вы позволите мне здесь посидеть, – сказал Сергей, – там, знаете ли, ужасно бьет в уши оркестр.

Человек с трубкой едва заметно показал на него глазами своему товарищу.

– Пожалуйста, садитесь.

Некоторое время все трое молча тянули пиво.

Подгулявший торговец с отвислыми усами держал за жилетку какого–то маленького человечка и кричал во весь голос:

– Нет, ты мне скажи, если я к твоей жене приду, она мне что?.. она мне даст или не даст? Вот ты, например, на железной дороге производишь хищения! Так по этому поводу она должна мне дать или не должна?

Куривший трубку прижал пальцем потемневший пепел и спросил, обратившись к товарищу:

– Этого как фамилия, не знаешь?

– Этот с Ситного, мучной лабаз на углу Саблинской, – ответил тот.

– А вы как, тоже торговлей занимаетесь? – спросил Сергей.

Старший чуть–чуть повел глазами, постучал пальцем по столу и отвечал:

– М–да. Торгуем. Мебельщики.

– (Знаем мы, какие вы мебельщики, – подумал Сергей.)

– Как теперь торговля идет? Теперь многие возвращаются обратно в Петроград, должно быть снова обзаводятся мебелью?

Старший пососал трубку и ответил спокойно:

– М–да. Ничего. Не горим. Хотя покамест больше покупаем.

Младший чуть–чуть не захлебнулся пивом, поставил стакан на стол и взял в рот немного соленого гороха.

«Принимают меня за агента», – подумал Сергей.

Он перегнулся через стол и спросил словами, которые усвоил себе во время своих скитаний по петроградским кабакам:

– А клея нет?

Старший вынул трубку изо рта.

– Как?

– А клея, спрашиваю, не предвидится?

– Это что же такое значит клей? – спросил старший с таким видом, как будто ему сказали что–то даже оскорбительное, пожалуй, – клей нужно не у мебельщиков, а у москательщиков спрашивать.

«Не дается, – снова подумал Сергей, – принимает за агента».

Старший подозвал официанта, расплатился и поднялся со стула, пыхтя трубкой; младший мигом вскочил и насмешливо раскланялся с Сергеем.

Сергей остался сидеть, следя за ними глазами; оба прошли в соседнюю комнату – в биллиардную.

На столе лежали пивные бутылки, какой–то гарниз на жестяной тарелочке, блюдечко с горохом.

Сергей заплатил за пиво; встал из–за стола с намерением уйти от Прянова; в одно мгновение ему опротивели веселенькие цветочки на обоях, струнный оркестр, багровый человек с отвислыми усами.

Однако, не успел он сделать и двух шагов, как кто–то хлопнул его по плечу:

– Ну, дружок, что заработали сегодня?

Он обернулся: перед ним стояла девушка лет 22–х, в клетчатой мужской кепке, надвинутой низко на лоб. В руке она держала тросточку и похлопывала ею по высоким красным ботинкам с острыми каблучками.

– Ну, одолжите папироску!

Девушка села на стул и потянула его за рукав.

– Садитесь.

Сергей послушно уселся.

– Я давно на вас смотрю, у вас, миленький, очень симпатичные глаза. Что ж это вы такой скучный? Выпейте лучше пива, чем скучать!

– Одну минуту, – сказал Сергей, – не знаете ли вы случайно, кто это вот тот высокий с трубкой, там, около окна, видите, выходит из биллиардной?

– Вот тот? Это один такой человек.

– Какой это такой человек?

– Ну да! А вам зачем это знать нужно, а?

– Просто так. А кто же он такой, этот человек?

Девушка перегнулась к нему через стол и спросила шопотом:

– А вы кто? Лягавый? Скажите мне, я никому не скажу.

– Нет, я не лягавый.

Сергей заказал пива, вытащил коробку с папиросами и предложил закурить.

Девушка взяла две папироски, одну закурила сейчас же, другую положила куда–то за козырек своей кепки. Она не сидела на месте, вертелась, вскакивала каждую минуту и смотрела в зеркало, выставив вперед подбородок.

– А как вас зовут, барышня?

– Сушка.

Она засмеялась, села рядом с ним и заложила ногу за ногу. Коротенькая, потрепанная юбочка задернулась, и маленькая нога в высоком красном ботинке открылась до колена.

– Пейте, пожалуйста, пиво, – сказал Сергей.

– Мерси.

Она отпила немного, поставила бокал на стол.

Оркестр гремел, затихал, гремел снова и все чаще плакал о том, что плохо жить без пальто и без теплого платочка, когда настанут зимние холода, столь чувствительные в нашей северной столице.

– Вот теперь у нас плохой оркестр играет, – говорила Сушка, следя глазами за длинным скрипачом, который извивался как ярмарочный змей вместе со своей скрипкой, – а вот весной играл маэстро Фриде, так многие из–за одного оркестра приходили.



Она увидела, что Сергей смотрит мимо нее, куда-то поверх клетчатой кепки, в зеркало, мимо зеркала на золоченые карнизы, мимо карнизов в темные оконные стекла.

– Скажите, миленький, почему вы такой скучный? Вы мне скажите, я и раньше заметила, что вы скучали.

– Нет, какой же я скучный, я веселый, – сказал Сергей, – пейте, пожалуйста. Так вы значит здесь часто бываете?

– Ну что же – пейте, да пейте! Расскажите мне лучше причину.

– Какую причину?

– Экой же вы несговорчивый! Ну, дайте мне вашу руку, – я умею гадать по линиям рук. Сейчас расскажу все, что с вами случилось.

Она взяла руку Сергея и деловито запыхтела папироской.

– Я у одной хиромантки когда-то служила в горничных, вот она меня и выучила. Ой, какая у вас нехорошая рука.

– Почему же нехорошая?

– Потому что у вас линия жизни непервоначальная.

– Как это так – непервоначальная?

– Мне вас даже жаль, миленький, вам что-то очень не везет последнее время.

Сергей вдруг вскочил и отнял у нее руку.

– Ну ладно, довольно.

Сушка тоже встала и, небрежно похлопывая тросточкой по своей истрепанной юбченке, подняла голову и лукаво заглянула ему в лицо.

– Брось, не скучай по ней, фартицер! Я тоже топиться хотела, когда меня мой студент бросил. И ничего. Видишь, до сих пор гуляю!

Сергей отступил на шаг и посмотрел на нее с таким видом, как будто перед ним стояла не проститутка Сушка, а доктор тайной магии Бадмаев или граф Калиостро.

– Откуда вы знаете, что она меня бросила?

– А что, правда или нет?

– Правда.

– Хм, откуда знаю? А ты думаешь, фартицер, что вас мало таких шляется?

Сергей молча уселся против нее.

– Знаете что, барышня, бросим этот разговор, выпьем лучше пива. Или может быть портвейну?

Сушка пыхтела папироской и напевала сквозь зубы:

Мальчик девочку любил  
И до дому проводил,  
И у самого крыльца  
Ланца дрица а ца ца!  
Вот идет девятый номер.  
На площадке кто-то помер.  
Тянут за нос мертвеца,  
Ланца дрица а ца ца!

Сергей пил портвейн из стакана. Он один выпил почти всю бутылку – цветочки на обоях вдруг врезались в глаза с удивительной отчетливостью, потом сплелись, расплелись и свернулись.

Скрипач с бешенством встряхивал белокурыми волосами, летел за смычком и ни с чем возвращался обратно.

– Слушайте, барышня... – Сергей для убедительности даже стукнул себя кулаком в грудь.

– Не в том, понимаете ли дело, что бросила... Я бы, может быть, и сам ее бросил... Если бы... А, долго рассказывать! Пейте лучше портвейн.

Он опустил голову на грудь и закрыл глаза.

– А теперь, когда я его...

Он сжал кулаки с такой силой, что ногти врезались в ладони.

– Да я бы сразу ее забыл, если бы я ей все сказал! А я не могу сказать, потому что она пропала!

Сушка поставила локти на стол и слушала его с вниманьем.

– Куда же она пропала?  
– Неизвестно куда. Никаких следов. Пропала, как дым.  
– Выпейте теперь сельтерской, – посоветовала Сушка.  
– Послушайте, барышня... я вам одну вещь покажу... А вы мне скажите, что эта вещь означает; то–есть не вещь, собственно говоря, а письмо. Самое настоящее письмо и подписано, знаете ли..... Нет, не скажу.

Он оглянулся вокруг себя, внезапно начиная трезветь.

– Или вот что... пойдете куданибудь отсюда и там... я вам его покажу.

Сушка кивнула головой.

– Идет. Только, знаете что... я сперва выйду, а вы потом расплатитесь. Я вас внизу на улице подожду.

Она встала, чуть–чуть покачиваясь, прошла между столиков, мимоходом заглянула в бильярдную, как будто ища кого–то глазами, но тотчас же отвернулась и начала спускаться по лестнице.

Сергей подозвал официанта, расплатился и, держась руками за все, что попадалось по пути, добрался до выхода.

Спускаясь по лестнице, он увидел, что Сушка открывает выходную дверь.

Он спустился вслед за нею и на последних ступеньках вплотную столкнулся с давешним человеком в фуражке с лакированным козырьком, одетым под военмора.

Человек, на которого он наткнулся, воротился назад, посмотрел на Сушку, которая спешила перебежать улицу, приподнимая короткую юбочку, потом на Сергея, сплюнул сквозь зубы, заложил руки в щегольские штаны и присвистнул каким–то особенным свистом.

Х.

«19 сентября в 1 час дня в больнице Жертв Революции скончался агент уголовного розыска Н. И. Рюхин, который несколько дней тому назад был ранен налетчиком в одном из домов Фурштадтской улицы.

– Этого, кажется, Пятак накрыл!

Смерть последовала после операции извлечения из области живота агента Рюхина застрявшей там пули. Незаметный герой умер на своем служебном посту, его сразила пуля этого негодяя–бандита.

Покойный Н. И. Рюхин определенно отличался особым усердием в исполнении возложенных на него оперативных заданий.

Не пора ли взять в железные рукавицы эту паразитарную братию?»

Сашка Барин бросил газету на окно и, не слушая о чем говорил, картавя, Турецкий Барабан, закурил папиросу и задумался.

Он был недоволен: с тех пор, как Барабан замарьяжил эту девчонку, дела идут все хуже и хуже.

Хевра начинает трещать, Пятак работает на стороне, дело с госбанком загнивает. Напрасно не отдали на сдюку последнюю работу – было чисто сделано. Нужно сплавить девчонку, или Барабан потеряет последний форс.

– Уважаемые компаньоны! Рыхта для госбанка должна была потребовать достаточное время. Мы сделали подработки, как нужно.

– В чем раньше было дело? Дело раньше было в том, чтобы найти хороший шитвис, но, во–первых, сейчас нельзя подобрать хороших кассиров. Откровенно говоря: мальчиком нельзя же открыть сейф. Тогда я сказал, что я недаром учился на раввина. Мы будем работать по новейшей системе, за нашей спиной – Запад.

Шмерка вытер вспотевший лоб платком и продолжал:

– Я сказал: пусть нам дорого встанет такая лаборатория, не нужно забывать, что нас ждет дело большого масштаба. Хевра не проиграет от такой постановки дела.

Пятак сидел против него с растерянным видом. Его клонило ко сну, и он с трудом раздвигал слепящиеся веки.

– Компаньоны! – продолжал Барабан, закладывая пальцы за пуговицы своего жилета. – Сработать госбанк, это не портняжить с дубовой иглой, компаньоны. Для этого нужно иметь под рукой – цивилизацию!

– Я говорю! – меня не интересуют бумаги, которые завтра будут – пха, и которые вы можете достать, наставив шпалер на лоб. Нам нужно рыжевьё! Нам нужна наховирка! Подавайте нам звонкую монету!

– Ладно, отлично, – равнодушно сказал Барин, – на какой день мы назначим работу?

– Мы назначим работу на пятницу, – в четверг в госбанк будут сданы деньги кожтреста. Они пролежат только один день, – это мне известно досконально.

– Послушай, Барабан, – Барин говорил медленно, ровным голосом, – ты уже истратил деньги, которые получил от меня и Тетиньки за ювелира на Садовой?

– В чем дело? – спросил Барабан, – тебе нужны деньги, Сашка? Или, быть может, ты сам хочешь вести работу?

– Я спрашиваю, – спокойно повторил тот, – истратил ли ты деньги, которые мы передали тебе на прошлой неделе?

– Я не истратил эти деньги! – передразнил Барабан, – а как ты думаешь, откуда я знаю, что в четверг в госбанке будут деньги из кожтреста и где именно они будут лежать? Это стоит денег или нет? Мне нужно платить кожтресту или нет? Меня критикуют, а? Мне не доверяет хевра!

Пятак, наконец, отогнал сон, раздвинул слипшиеся веки и соскочил с окна.

Он заложил руки в щеголеватые штаны и прошелся по комнате.

– Какого рожна тебе нужно от него, Сашка? – сказал он со злобою, – чего ты пялишь на него лупетки, сволочь? Он плохо работает, Барабан? А в прошлом году, когда ты уговорил штымпа, он тебя не выручил? Ему бабки для дела, он после отчитается во что пошло, а ты хевру поганишь, жиган! А еще фэй называется!

Барин чуть-чуть побледнел, медленно поднялся со стула и вдруг, подпрыгнув, одной рукой схватил Пятака за ворот его матросской блузы, другой ударил его в лицо.

Кровь брызнула из рассеченной скулы.

Пятак, оскалив зубы, кинулся на него, но тут же остановился на мгновение, чтобы вытащить из-за пояса нож.

Барабан сорвался с места и бросился между ними.

– Довольно, – закричал он с гневом, – довольно этих глупостей! Ха! Это еще новое дело!

Пятак отошел в сторону, пряча нож. Он вытирал рукою кровь на разбитой скуле. Минуту спустя он вышел и тотчас же вернулся снова с папиросой в зубах.

Барин медленно опустился на стул.

– Мы делаем дело! – объявил Барабан, садясь на прежнее место. Спокойствие! Терпение! Барин, я отчитаюсь перед хеврой, когда угодно! Пятак, я не нуждаюсь в адвокатах! Я сам знаю, что я делаю, и то, что я делаю, не могут изменить ни мои защитники ни мои прокуроры! Баста, на этом покамест оставим пустяки, недостойные серьезных людей!

Он помолчал несколько минут.

– Дело обстоит в следующем, – продолжал он, – я остановился на пятнице. Да, именно в пятницу! В четверг мой инженер, между прочим, также закончит все приготовления.

Барабан замолчал, потемнел и как будто только теперь обиделся на подозрения Сашки Барина.

– Вот, если угодно, – сказал он с обидой в голосе, – отличный случай. Вы хотите реабилитации? Вы получите ее! Я вам докажу, Барин, могут ли в моих делах быть какие-либо междуметии? Я больше не хочу полагаться на одного меня. Пусть сам инженер расскажет о том, как он сделал это! Я его выдумал, этого инженера, и пожалуйста, отлично, проверяйте меня!

Он выбежал в коридор и спустя несколько минут вернулся с Пинетой.

Пинета был бледен, но весел. Он с комической важностью вошел в комнату и отвесил каждому из налетчиков в отдельности низкий поклон.

– Очень рад вторично с вами встретиться, – сказал он, протягивая Барину руку, – необыкновенно рад! Живешь–живешь один одинешенек и вдруг встречаешь знакомого, даже хорошо знакомого человека.

Барин посмотрел на него с удивлением, но, впрочем, с неожиданным для него радушием пожал протянутую руку.

– Пинета, – громко сказал Пинета, подходя к Пятаку.

Пятак нехотя ухмыльнулся, схватил руку, смутился и принялся закуривать.

Пинета был настроен очень весело. Барабан не успел еще начать демонстрацию своей блестящей выдумки, как Пинета подсел к нему совсем близко и по-приятельски хлопнул его по коленке.

– Ну, а ты как поживаешь, старичок?

Барабан молча снял с колена руку Пинеты, посмотрел на него внушительно и начал:

– Я уже говорил вам об инженере Пинете – лучшем специалисте по сталелитейному делу.

Пинета кивнул головой с одобрением.

– Действительно – лучший специалист в России!

– Мы пригласили инженера для того, чтобы он сделал нам в моментально то, что даже хороший шитвис не сделает в два часа с половиной. И он берется это сделать, как человек, понимающий, что такое есть настоящее дело.

– Я берусь это сделать в моментально, честное слово! – весело подтвердил Пинета.

– Прошу не перебивать, – продолжал Барабан, – сейчас он расскажет нам свой проект, но это, конечно, это же мой проект – проект вскрытия Ливерпульских сейфов в госбанке.

Он оборотился к Пинете с покровительственным видом:

– Говорите, инженер, не стесняйтесь!

Пинета встал и снова отвесил низкий поклон налетчикам.

Он вдруг стиснул зубы, сжал руки в кулаки и перестал смеяться.

– За 25 лет, которые я прожил, – начал он, делая шаг вперед и подходя к Барабану ближе, – я встречал очень много бездельников, которые притворялись настоящими людьми. Но такого макового бездельника, как вот этот толстый еврей, я не встречал ни разу.

– Он сошел с ума, – спокойно определил Барабан. – Бедняга, у него наверное есть старые родители.

– Вы думаете, что вы налетчики? – закричал Пинета, потрясая сжатыми кулаками: – Портачи!

Барабан откинулся немного назад и посмотрел на Пинету серьезно.

– Что вы хотите этим сказать?

– Портачи! – повторил Пинета с удовольствием. – Вы думаете, что вы увезли инженера Пинету, Михаила Натановича?

– Именно так, – подтвердил Барабан.

– Портачи! – в третий раз повторил Пинета, – вы увезли художника Пинету. Инженер Пинета – мой дядя – в прошлом году умер!

Все замолчали. Пятак было засмеялся, но тотчас же умолк и только свистнул от удивления.

– Инженер Пинета в прошлом году умер? – переспросил Барабан. – Что значит умер?

– Умер, как все умирают, – так это и называется; если бы вы тогда меня не увезли, так и я бы пожалуй умер. От голода.

– Он сошел с ума, – закричал Барабан, – гоните его! Этого не может быть! Не может быть, чтобы инженер умер!

Барин встал и не торопясь подошел к Барабану. Он наклонился к нему через стол, спокойно следя, как краска сбегала с лица, которое стиралось перед ним, как мел стирается губкой, и сказал, опустив углы губ и всматриваясь в Барабана с презрением:

– Эх ты... задница овечья!

Барабан, не поднимая головы, блеснул исподлобья глазами, снова побагровел, вытащил из заднего кармана револьвер и с силой, которой от него нельзя было ожидать, вдруг ударил Пинету в лоб рукояткой револьвера.

Пинета взмахнул руками и без крика свалился на пол. Тогда Барабан сорвался с места, с яростью закричал и ударил Пинету ногой в лицо.

И этот новый удар как будто сбросил с рук Барабана веревку. Он схватил табурет и принялся с размаху бить им по телу, которое под каждым новым ударом послушно отбрасывалось назад.

Он топтал Пинету ногами и бил по лицу до тех пор, покамест лицо не превратилось в красный блин с закрытыми глазами.

Тогда Пятак схватил его за руку и сказал, становясь так, чтобы защитить Пинету от новых ударов:

– Будет!

И схватив Пинету под мышки, он вытащил его из комнаты, проволочил через коридор и с помощью Мани–Экономки уложил на кровать.

– Его Барабан измордовал, – ответил он на расспросы Мани, – ты за ним тут походи, пожалуйста; он будет настоящий фай, помяни мое слово!

Он вернулся обратно и, еще не дойдя до комнаты, в которой так неожиданно был разыгран Турецкий Барабан, услышал горячий разговор. Он сразу же узнал ровный и вежливый голос Сашки Барина.

– О чем тут говорить? Ясно, конечно, что дело не в этом Пинете. Дело в том, что за последнее время ты склевался и потерял голову. Твое личное дело, Барабан, возиться со всякими девчонками, но чтобы это не касалось работы! Или чорт с тобой, бросай хевру и открывай гопу на Обводном.

Пятак засмеялся и отворил двери.

Барин попрежнему сидел на том же самом месте; он забросил ногу за ногу, курил и при каждом слове кривил гладкие, как бы отполированные губы. Барабан стоял перед ним, потупив голову, как нашаливший мальчик; он весь обвис, утомился и посерел.

– Я у тебя тогда спрашивал, какого дьявола нам нужен этот инженер? Когда мы приехали, я на лестнице спросил, – знаешь ли ты человека, которого нам нужно взять? – «Цивилизация, современная техника, Запад!» – вдруг передразнил он хрипловатым картавым голосом, расставив немного ноги и закинув голову совершенно так, как это делал Барабан, – «меня не интересуют бумаги, давайте нам наховирку и звонкую монету!»

Пятак подошел к нему сзади, дернул за рукав и глазами показал на Шмерку Турецкого Барабана.

Тот все еще не поднимал головы, но снова начал багроветь, почему–то начиная со лба, на котором выступили крупные капли пота.

Барин взгляделся в него, замолчал и принялся тащить из кармана своих офицерских брюк портсигар.

Барабан перевел затрудненное дыхание и поднял голову. Он был почти спокоен.

– Ладно, довольно разговоров, – сказал он, поглядев на обоих налетчиков так, как будто ничего не случилось.

– Работа назначена в пятницу?

Он стукнул кулаком по столу и закончил:

– Так значит работа будет сделана в пятницу!

XI.

Сушка жила на Васильевском Острове, на –ом переулке, у старой финки Кайнулайнен.

Это была старая высохшая финка, которой ничего не платили за комнаты, даже не уговаривались о плате и только удивлялись тому, что хотя она вовсе ничего не ест, но живет и даже страдает желудком.

Финка не жаловалась, не плакала, но каждый день писала по–фински открытки и опускала их в почтовый ящик, из которого уже более 2–х лет не вынимались письма...

Сергей шел за Сушкой, чуть пошатываясь, прищуривая то один, то другой глаз так, чтобы свет от фонаря разлетелся тонкими стрелами, и внезапно раскрывал глаза так, чтобы фонарь снова повис над улицей неподвижным и тяжелым шаром.

– Чорт меня возьми, куда я иду за этой шмарой? Мне нужно скрываться, уйти в нору, в подворотню, в землю.

Он взял свою спутницу под руку и заглянул в лицо. Сушка шла, опустив голову, похлопывая тросточкой по своей ветхой юбчонке.

– Сушка! Как тебя зовут?

– А тебе на что это знать, миленький?

– А кто это тебя окрестил Сушкой?

– Мой типошничек.

Какая–то густая сырость вдруг поползла Сергею за ворот пиджака, спустилась по спине и разошлась по всему телу. Он задрожал, поднял ворот и заложил руки в рукава.

– Бр... холодно. Что же это такое типошничек?

– Ну пойдём, пойдём, тут мильтоны шляются.

Они прошли освещённые улицы, – тротуары почернели, дома слились в огромные сплошные ящики с беспомощными, мигающими окнами.

– Может быть, за мной следят? – Может быть, кто–нибудь идет за мной – (он обернулся) – а сейчас спрятался вот там, вот в той подворотне?

– Вот уж никак бы я не поверила, – сказала Сушка, – что есть такой человек, который не знает, что такое типошник.

– Да ты мне скажи, что это такое?

Сушка замедлила шаги и притянула его поближе.

– Это мой... зуктер. – Ну, понимаешь?

– Зуктер? Зуктер так зуктер, шут с ним. А хороший он у тебя?

– У меня?

Сушка остановилась перед каким–то поганеньким задрипанным домишкой и застучала в ворота.

– У меня, брат, зуктер – прямо знаменитый человек. Его весь Петроград знает.

– А как его зовут?

Завиожал замок, и заспанный дворник впустил их во двор.

– Сюда, сюда, – говорила Сушка, таща его за рукав.

Они поднялись по лестнице, и Кайнулайнен впустила их в кухню.

Сергей поднес руку к лицу; ему вдруг невыносимо, до дрожи захотелось спать. Он зевнул с содраганьем и спросил почти про себя, с усилием разнимая слипшиеся глаза:

– Чем же он знаменит, твой зуктер?

– Эка дался тебе мой зуктер! Он.... ну.... ну, мебельщик.

Они были уже в комнате, когда Сергей услышал это слово, сказанное минуту тому назад.

Он вскинул брови, и тут же перед ним возникли кудрявые гардины, жестяные тарелочки, одесская мама и голос человека, курившего трубку:

– М–да. Торгуем... Мебельщики.

Он схватил Сушку за руки.

– Как? Что ты говоришь? Мебельщик?

Сушка, наконец, рассердилась на него.

– А тебе что за дело? – спросила она, вырывая руки и глядя на него сердито, – ты что, подрядился, что ли, допрашивать? Лягавый ты, что ли?

Сергей опомнился.

– Послушай, Сушка... Я хотел показать тебе письмо.

Он расстегнул пиджак, вытащил письмо, найденное им на мертвом Фролове, и, перегнув пополам, показал Сушке печать церкви Гавриила архангела.

Сушка нахмурила брови, вытащила изо рта папироску, немного побледнела и сказала, пригладившись к печати и забрасывая ногу на ногу.

– Ну, а чем ты мне докажешь, что ты не лягавый?

Сергей посмотрел на нее с отчаяньем. Он сел на кровать и опустил голову на руки.

– Ну, слушай, я тебе расскажу... чорт с ним, все равно, только бы отыскать ее...

Сушка вскочила, принесла разбитое блюдечко вместо пепельницы, сунула в него окуроч, закурила новую папироску и приготовилась слушать.

Сергей сразу начал говорить, говорить, говорить безостановочно, – шагая по комнате.

Он говорил как будто читая по книге, забывая о том, что Сушка и не знает вовсе того, о чем он ей говорил, ходил из угла в угол, останавливаясь, чтобы взмахнуть рукой, и снова начиная ходить.

– Не в том дело, не в том дело, что прислала письмо, – ну, что же, я и правда когда–то просил известить, сказать! Не в том дело, что ушла к другому, все равно к кому, даже к нему, к Фролову, к налетчику, как я это неделю тому узнал, а то, что он ее продал, понимаешь ли, продал?

– Лягавый! Лягавый! Да какой же я лягавый, когда мне самому скрываться надо; я – арестант, политический арестант, меня может быть по всей России ищут, – ну, не убьют, конечно, но ведь ищут, чтобы арестовать! И арестуют в ту же минуту...

Он остановился и поглядел куда-то поверх лица Сушки на стену, как будто там, на серой исцарапанной стене, находилось то самое, – человек, предмет или даже слово, которое было ему нужнее всего в эту минуту.

– Подожди, как ты назвал, Фролов, что ли?

– Ну да, Фролов, налетчик, понимаешь, нашел у него в записной книжке (и в книжке тоже есть, – видно, наверное, несомненно, что он – налетчик), нашел три письма, одно от нее, другое через Фролова какому-то человеку, письмо с шантажом. Вот оно, это самое, что я показывал, – с печатью. Ну, может быть, не налетчик, все равно, вор, грабитель. Или убийца? Наверное, наверное убийца.

Он остановился и взмахнул рукой, как бы отбросив Сушке в лицо последнюю, фразу.

– Чем же, чорт возьми, я докажу тебе, что я не лягавый? Ах да, хорошо, я покажу письма!

Он принялся рыться в боковом кармане своего пиджака, выбросил на стол грудку каких-то затрепанных бумажек, нашел письмо Екатерины Ивановны, то самое, которое он получил от нее в тюрьме, и положил его перед Сушкой.

Сушка развернула письмо, но не стала читать, а продолжала слушать.

– Что же мне было делать? – говорил Сергей, безостановочно шагая по комнате, – должен был приехать, непременно должен. Просила не беспокоиться, побережь себя, не винить... Кого не винить? Ее? Я ее ни в чем винить не буду, только бы найти, чтобы сказать, объяснить, да нет, хоть ничего не сказать, а только увидеть, узнать, что она жива.

Сушка все еще не читала письма, облокотилась на стол и задумалась, потирая рукою лоб, собранный в мелкие морщины.

– Я знаю, что продал, именно продал, – снова заговорил Сергей, – потому что нашел у нее письмо, понимаешь, подняла какая-то старуха у дверей, в коридоре; в нем он, Фролов, два раза упоминается и должен был сообщить адрес. Он должен сообщить адрес! Это не просто, что именно он. Почему же в письме не указан адрес? Вот, прочти, кем подписано, посмотри фамилию, не знаешь?

Сергей сел, снова вскочил и начал оттягивать ворот рубахи, который вдруг почему-то казался ему невероятно узким.

– Послушай, фartiцер, – да подбодрись, не склевайся, найдется, – заметил ты того, что встретился с тобой у Прянова в подъезде? Я видела, что ты встретился с ним, когда я перебежала улицу. Вот он и есть мой типшник. Он из той хевры, от которой письмо, то, с печатью, понимаешь? Это одна хевра, одна, понимаешь? Да я тебе сейчас ничего говорить не буду... Я все узнаю, что нужно.

Сушка откусила и сплюнула мокрый конец папиросы, покусала ногти и снова задумалась.

– Ну да! И еще у меня в той хевре подруга есть, зовут Маней, Маней Экономкой. Она тоже скажет, что знает. Но прямо скажу тебе, фartiцер, что это трудное дело. Одно слово: Барабан!

– Барабан? Ну да, Барабан подписал письмо. Одним почерком написаны оба, и то, с шантажом, и к ней, – один человек писал, потому-то я и догадался. Его-то именно я и ищу целую неделю. Кто он, где его найти, ты его знаешь?

Сушка задумчиво постукивала пальцами по папиросной коробке.

– Ну, знаю. Вот что, фartiцер! Приходи ко мне в четверг, часов в 10 вечера. Но прежде... Подожди, у тебя мать есть?

– Нет, у меня...

– Что?

– Никого нет! Один! А зачем?..

– Никого, ни сестры, ни брата?

– Никого, она только и была; да нет, не в том, видишь ли, дело...

– Ну, ладно, бог с тобой. Я тебе и так поверю. А ведь бывают такие накатчики, я-то не встречала, но знаю, что бывают; наговорит с три короба, письма пишет, а потом...

Сергей как-то сразу осел, утомился, побледнел. Он снова присел на диван, не слушая, что говорила Сушка, согнулся и даже закачался от невероятного желания уснуть, даже не уснуть, а хотя бы закрыть глаза, ничего не видеть и не слышать.

Сушка еще не кончила рассказывать ему о том, какие уловки иной раз подкатывают лягавые, как он уже спал, уткнувшись головой в спинку дивана и беспомощно бросив руки вдоль согнувшегося тела.

Сушка прервала себя на полуслове, встала, заглянула ему в лицо и раза два прошлась по комнате, прищуривая глаза и как будто примеряясь к чему-то.

– Маня Экономка – свой человек. Маня поможет, не выдаст, но Пятак?.. Ох, если узнает Пятак.

Она еще раз поглядела на Сергея.

– Жалко все-таки! – и поправила свесившуюся на пол руку.

Потом она разделась, вскочила в одной рубашке, бросила на Сергея какое-то изодранное пальто с торчащей во все стороны подкладкой, закурила папиросу и, наконец, улеглась в постель, закрывшись с головой одеялом.

XII.

До выполнения задуманного дела хороший налетчик ничего не пьет... Он по опыту знает, что на работу нужно идти с ясной головой, чтобы в случае опасности не растеряться и спокойно встретить все, что может встретить человек, который никогда не опускает предохранителя на браунинге и которому нечего терять, кроме жизни, а жизнь для хорошего налетчика продана наперед, он почти всегда уверен в том, что когда-нибудь попадется.

Вот почему он может сгореть, но никогда не потеряет голову и не упустит случая задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

Но на этот раз Шмерка Турецкий Барабан изменил своему обыкновению.

Он пил и с ним вся хевра пила в трактире «Олень» на Васильевском Острове.

Они сидели за столом в малине, небольшой комнате в два окна, которая обычно служила для уговора о работе и где содержатель «Оленя» принимал особо важных посетителей, которые по особым причинам предпочитали малину Шпалерке или стене, к которой идут налево.

В малине стояла мягкая мебель и были раскрашены стены.

На одной стене грациозно сплетались три грации, пожилые уже женщины с суровым выражением на лицах. Эти грации в причинных местах были еще раз подмалеваны посетителями малины.

На другой стене катилась пивная бочка, на которой сидел толстый, весь в складках иностранец, опрокинувший в рот кружку с пенистым пивом.

Обычно, из опасения, чтобы не накрыл угрозыск, рядом с малиной в узеньком полутемном коридорчике стоял на стреме трактирный мальчишка. Теперь не было никого. Барабан, который любил пить на свободе, снял мальчишку с его поста и отворил двери настежь.

– Хевра пьет, и пусть весь «Олень» знает об этом!

За круглым столом, накрытым скатертью с княжеской меткой, на котором стояли графины с водкой, ветчина, зажаренная так, что звонко хрустела на зубах, швейцарский сыр с дырками величиной с голубиное яйцо и маринованные грибы, круглые и скользкие как рыбий глаз, – сидели Барабан, Сашка Барин, Володя Студент и барышни.

За стеною в трактирной зале был слышен шум, стук посуды, глухой говор, гармонисты разливались и ревели Клабочку, кто-то хохотал, свистел и топал ногами.

Здесь, в малине, пили почти молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать пустыми разговорами.

Даже барышни приумолкли; впрочем, они были как будто только для того, чтобы не нарушать обычаев «Оленя».

Барабан сосредоточенно пил водку. Он был не брит и с коммерческим видом закладывал свои толстые пальцы за проймы жилета.

Сашка Барин, надевший для пьяного дня черный офицерский галстук, молча оглядывал круглый стол своими оловянными бляхами.

К полуночи пришел Пятак, как всегда одетый под военмора.

С его приходом все мигом изменилось.

– Ха, братишки! – заорал он, – выпиваете? Я тоже, если говорить правду, выпил. Но только я больше через маруху пью, а вы чего? Ну ладно, коли так, так налейте и мне...

– Пфа, – он покрутил головой и объяснил одним словом: – Марафет.

Барышни облепили Пятака. Он целовал одну, подталкивал другую и хватал за разные чувствительные места третью. Наконец, веселый и пьяный, добрался до стола и сел, положив ноги на соседний стул.



– Что же это вы молчите, братишки, а? – снова заорал он. – Девочки, танцовать! Где Горбун? Горбун, сукин сын! Позовите мне Горбуна! Моментально на месте устроим Народный дом.

Одна из барышень опрометью выбежала из комнаты искать Горбуна.

Горбуном звали любимца публики, здешнего Оленевского исполнителя чувствительных романсов.

– Ого, он хочет устроить здесь Народный дом, – сказал Барабан, – это предприятие. Пятак, эй, возьми меня в компанию!

– Становись, – кричал Пятак, – Володя Студент, становись, устроим качели!

Он двинул Володю Студента плечом, стал к нему спиной и крепко сплел его руки со своими.

– А ну, кто кого перекачает? Начинай. Раз!

И Пятак присел к земле с такой силой, что Володя Студент взлетел на воздух.

В следующую минуту он сделал то же самое, и теперь Пятак в свою очередь, болтая ногами в воздухе, изобразил качели Народного дома.

– Ррраз! – сказал Пятак.

– Два! – отвечал Володя Студент.

– Ррраз!

– Два!

– Ррраз!

– Два!

Так они поднимали друг друга до тех пор, покамест Володя Студент охнул и в полном изнеможении потребовал водки.

Пятак бросился на диван и отер пот, который катился у него по лицу градом.

– Перекачал!..

В это время, покачиваясь, с важностью, которая так свойственна всем горбунам, в комнату медленно вошел любимец Оленевской публики, маленький человек в длинном сюртуке с огромным горбом спереди и сзади и с волосатыми, как у обезьяны, руками.

Вслед за ним вошел огромный человек с цитрой, который как будто несколько стеснялся своего высокого роста. Это был аккомпаниатор Горбуна и его бессменный товарищ.

– А, Горбун пришел! – заорал Сенька Пятак, отнимая ото рта графин с водкой и ставя его на стол почему-то с большими предосторожностями.

– Номер второй! Горбун, исполняй «Черную розу»!

Горбун заложил руку за борт сюртука, отставил ногу назад и стал таким образом в позу.

Он для чего-то вытер платком руки, слегка поклонился и начал не петь, а говорить романс глухим, сдавленным, трагическим голосом.

Хевра слушала. Барабан сложил руки на животе, приподнял голову и моргал от удовольствия глазами.

– Черную розу – блему печали  
При встрече последней тебе я принес,  
говорил Горбун, с некоторой хищностью раздувая ноздри:  
– Полны предчувствий, мы оба молчали,  
Так плакать хотелось, но не было слез!  
Он опустил голову, сложил руки на груди и замолчал с видом приговоренного к смерти; но тут же подался вперед, с отчаянием поглядел на всех присутствующих и продолжал:  
– Помнишь, когда ты другого любила...  
Пятак, который успел заснуть на диване, внезапно проснулся от какого-то слова, произнесенного с шипеньем, и потребовал другой жанр.  
– Стой! – крикнул он, – я дальше и без тебя знаю. Братишки, пусть он нам споет «Мы со Пскова два громилы!»  
– Как это два громилы? – спросил Горбун тонким голосом, совсем не тем, которым он говорил свой романс, – что вы?  
– А что?  
– Разве мы можем исполнить такой романс? Что ты на это скажешь, Христиан Иваныч?  
Большой человек с цитрой крикнул «нет» таким голосом, как будто он взял хитрую ноту, по которой настраивал свою цитру, и снова замолчал.

– Не хотите? – грозно заорал Пятак, вскакивая с дивана, – не хотите, блошники? Так и х... с вами, мы сами споем! Братишки, покажем ему, как нужно петь хорошие песни! Девочки, подтягивай! Начинай!

Он поставил одну ногу на стол, приложил руку к груди и затянул высоким голосом:

– Мы со Пскова два громылы  
Дим дирим дим, дим!  
У обоих толсты рыла  
Дим дирим дим дим!  
Мы по хазовкам гуляли  
Дра ла фор, дра ла ла!  
И обначки очищали  
И м ха!

Через несколько минут вся хевра, даже Турецкий Барабан, пела так, что в малине дрожали стены.

– Вот мы к хазовке подплыли  
Дим дирим дим, дим!  
И гвоздем замок открыли  
Дим дирим дим, дим!  
Там находим двух красоток  
Дра ла фор, дра ла ла!  
С ними разговор короток  
И м ха!

Только Сашка Барин, пересевший от стола на диван, курил и молчал, поджимая губы.

К нему подседа было барышня в высоких ярко-красных ботинках, с черной ленточкой на лбу, но он оттолкнул ее и продолжал молча следить за Пятаком, который, разойдясь во-всю, вскочил на стол и, размахивая руками, дирижировал своим хором.

Барабан с тревогой посматривал на Барина:

– Ой, Сашка имеет зуб к Пятаку!

– Вот мы входим в ресторан  
Дим дирим дим, дим!  
Ванька сразу бух в карман  
Дим дирим дим, дим!  
Бока рыжие срубил  
Дра ла фор, дра ла ла!  
Портсигара два купил  
И м ха!

– Эй, буфетчик старина,  
Дим дирим дим, дим!  
Наливай–ка, брат, вина  
Дим дирим дим, дим!  
Вот мы пили, вот мы ели  
Дра ла фор, дра ла ла!  
Через час опять сгорели  
И м ха!

Пятак заливался во-всю, на шее у него трепетал кадык, он обнял двух барышень и вдруг, вложив два пальца в рот, свистнул так, что у всей хевры зазвенело в ушах, а барышни бросились от него врассыпную.

– Стой! – кричал Пятак уже хрипнувшим голосом, – шабаш! Кто гуляет? Хевра гуляет! Где хозяин? Давай еще номера! Танго! Хевра, братишки! Пускай нам дают танго! Народный дом! Барышни! Угощаю! Поднимите руки, кто еще не шамал?

Он позвал трактирного мальчишку, велел ему накрыть отдельный стол для барышень и повалился на диван в изнеможении.

Минуту спустя он уже расталкивал Турецкого Барабана, который внезапно впал в задумчивое и созерцательное настроение, лил пиво в фуражку Володи Студента и старался, чтобы одна из девочек изобразила собою перекидные качели Народного дома.

Из коридорчика, соединявшего малину с трактирной залой, появились, взамен Горбуна и его товарища, два новых артиста.

Это были знаменитые Оленевские тангисты – Джек и Лилит – оба одетые в черное с нарочитой, прямо щегольской скромностью; он – в гладкой блузе с глубоким мозжухинским воротом, она – в простом кружевном платье с воланами и длинными рукавами.

– Тангуйте, – кричал Пятак, – аргентинское танго! Мандолину! На мой счет! Лопайте, барышни!

Из толпы, теснившейся в узком коридоре, вытолкнули худощавого человека с бойким хохолком на голове и мандолиной под мышкой.

Музыкант сел, ударил по струнам косточкой, и тангисты, почти не касаясь друг друга, приподняв головы и глядя друг другу в глаза, сделали несколько шагов по комнате, поворотились обратно, расстались, и Джек склонился перед своей подругой с удивительной для «Оленя» скромностью.

Барабан все еще с тревогой следил за Сашкой Бариним.

– Ой, будет плохо Пятаку! Загнивает хевра.

– Будет! – кричал Пятак. – Теперь я! Теперь мой номер! Сушка! Барышни, позовите Сушку! Сейчас мы с ней исполним свое танго!

– Эй ты, смерть ходячая, – кричал он Джеку, – ты думаешь, я хуже тебя танцую! Сейчас мы, шут те дери, исполним такой танец... Сушка! Да где же она? Я же с ней пришел! Девочки!

Девочки почему-то молчали. Музыкант последний раз ударил косточкой по струнам и закончил танго.

Среди полной тишины Барин встал со своего места и медленно, ничуть не торопясь, подошел к Пятаку.

– Тю-тю, – вдруг сказал он, подмигнув одним глазом.

Пятак уставился на него с недоумением.

– Чего?

– Сушка-то тю-тю! – пояснил Барин, – другого кота нашла!

Должно быть об этом в «Олене» говорили уже давно, потому что едва эти слова были произнесены, как все закричали разом.

Барышни пересмеивались, Володя Студент засвистал, музыкант с хохолком почему-то ударил по струнам.

– Что ты сказал?! – Пятак вдруг протрезвел, сделал шаг вперед и схватил Барина за руки.

– Я сказал, что Сушка твоя тю-тю. С другим котом гуляет!

– Псира!

Пятак отступил назад, нащупывая в заднем кармане штанов револьвер. Девушки с визгом посыпались от него. Барабан вскочил, готовый вступить в драку.

– Оставь пушку! – спокойно сказал Барин, – это все знают. Что, марушечки, я правду говорю?

– Стой, не отвечай! – бешено закричал Пятак. – Если правда... Я сам! Я сам узнаю!

Он быстро сунул револьвер в карман, повернулся и выбежал из малины. Никто его не удерживал. Он пробежал трактирную залу и, бормоча что-то про себя, спустился по лестнице.

Он ушел, и все понемногу разбрелись из малины. Ушли артисты, изображавшие Народный дом, разбежались понемногу девочки, и за круглым столом остались только Турецкий Барабан, Сашка Барин и Володя Студент.

– Сволочь ты, Сашка, – сказал Барабан, – сволочь и паскудство. Ну к чему разыграл Пятака? Ведь перед работой пьем, перед делом большого масштаба пьем, мазы.

Барин ничего не ответил.

Пили почти молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать хохотом и пустыми разговорами.

Хевра пила и думала о том, что на-завтра нужно заряжать револьверы, что можно сгореть, но нельзя потерять голову, что нужно стараться задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

### ХІІІ.

Было еще не так поздно, часов 11 или 12 ночи, когда Пятак выбежал из «Оленя». Вокруг «Оленя» стояли извозчики, на углу пьяный, ласковый матрос объяснял милиционеру, который крепко держал его за руки, устройство военно-морских судов, вокруг них собралась толпа папиросников.

Папиросники гоготали.

Пятак выбежал из трактира без шапки и вспомнил об этом только у третьего от 7-ой линии квартала, и то потому только, что стал накрапывать дождь.

Пройдя несколько, он повернул в переулок. Он шел теперь, заложив руки в карманы штанов, посвистывая.

Баба, закутанная в изодранный зипун, с палкой в руках стояла у подворотни.

Пятак прошел мимо бабы и остановился посреди двора, подняв вверх голову.

Прямо над головой было небо, на котором плавало какое-то грязное белье, гонимое осенним ветром, под небом – крыша, под крышей слева от водосточной трубы – окно Сушки.

Пятак выругался: окно было освещено.

– Возвратилась, стерва!

Он отыскал за углом, рядом с помойной ямой, вход (где-то высоко горела угольная лампочка, которая догорала и никак не могла догореть) и поднялся по лестнице.

Финка Кайнулайнен отворила ему двери, сообщила, что у Сушки гости, и ушла, оставив Пятака в такой темноте, что, кажется, ее можно было схватить руками.

Он чиркнул спичкой. Спичка осветила коридор, который лучше было не освещать, обиделась и погасла.

Пятак зажег другую и отыскал комнату Сушки: тоненькая полоска света проходила между дверью и полом.

Он приложился ухом к замочной скважине и ничего не увидел: либо скважина была заложена бумагой, либо кто-то сидел очень близко к двери.

Зато он услышал разговор, который постарался запомнить.

– Ты мостик через Карповку знаешь, у газового завода? Ну, Бармалееву знаешь?

– Бармалеева? Это за Подрезовой?

– Там на углу возле мостика ты подожди. Я с Маней уговорилась, понимаешь. С подругой, которая в той хазе живет. Она тоже жалеет.

– Послушай, – заговорил мужской голос, – а что же... а как ты скажешь про меня?... Скажи, что знакомый, или... Или нет, скажи – Сергей Травин, она знает, кто я и все про меня...

– Да пустяки! Не все ли равно, кто? Небось, сама убежит, как стреляная.

Кто-то прошелся по комнате, и Пятак снова приложился глазом к замочной скважине: он увидел широкую мужскую руку, схватившуюся за спинку стула.

– Только бы удалось, только бы удалось, чорт возьми. А там я... Послушай, Сушка, а тебе за это?..

– На углу Бармалеевой, мать твою так, – вдруг сообразил Пятак, – на углу Бармалеевой?

Он скрипнул зубами.

– На Бармалееву хазу капает, стерва!

Мужская рука снялась с замочной скважины, и Пятак увидел Сушку: она стояла перед комодом, над которым висело небольшое зеркальце, и надевала свою полосатую кепку.

– Боюсь я одного человека, – услышал Пятак, – да что же с вами, шибзиками, поделаешь? Надо уже вам помочь!..

Пятак в темноте передернул плечами и подкрутил острые черные усики.

– Ну, погоди же, псиря! – подумал он, ощупывая нож за поясом, на котором держались его матросские штаны, – узнаешь ты, каково продавать мазов.

– Ну, теперь айда!

– А что если... она не захочет итти, когда узнает, что это я ее буду ждать... Может быть, не говорить имени, – сказать просто: один из друзей или...

– Эй, склевался ты, фартицер! Да подбодрись же! Ничего не скажу, скажу свой человек, и никаких двадцать.

Пятак услышал короткий стук повернутого выключателя. Только что он успел отскочить и, отбежав подальше по коридору, спрятаться за каким-то не то чуланчиком, не то сортиром,

как Сушка вместе со своим собеседником вышла из комнаты. Пятак подождал две–три минуты, вылез из–за своего прикрытия, добрался до кухонной лестницы и благополучно миновал выгребную яму.

На улице под первым же фонарем он узнал в спутнике Сушки того самого человека, которого несколько дней тому назад встретил с нею в ресторане Прянова. Он вспомнил Барина и как будто снова услышал медленный и насмешливый голос:

– Сушка–то тю–тю! Другого кота нашла!

– Да ведь какого кота! Не простого... – Пятак сжал кулаки, – а лягавого.

Шел мелкий промозглый дождишка. Почти никого уже не было на улицах. Бородатые, с палками в руках, сторожа перед каждым домом вырастали из мокрого тротуара.

Сушка со своим спутником свернули на набережную Невы.

Пятак прятался за углы, в подворотни, в подъезды и шел за ними.

– Сушка продает Бармалееву хазу?! Убью лярву, своими руками убью!

Биржевой мост внезапно открылся во всю длину, как будто кто–то взял его двумя руками за фонари и разом вытянул за два передние фонаря до Зоологического переулка.

Пятак перебежал от Биржи на другую сторону и спрятался в тень, отбрасываемую маяком: он четко различил на мосту две фигуры, под светом фонаря отбросившие длинные тени на деревянный тротуар.

В ту же минуту эти темные фигуры сорвались с места и побежали так, как будто кто–то с оружием в руках гнался за ними.

Пятак выбежал на мост.

Едва только он прошел несколько шагов, как услышал тяжелый, прерывистый звук цепей.

– Мост! А! Мост поднимают!

Те, за которыми он следил, перешли мост и стали спускаться к набережной с той стороны Невы.

Он побежал бегом, но не успел пробежать и 20 шагов, как увидел, что деревянная часть моста медленно начинает подниматься.

Он остановился на одну секунду, но тут же с бешенством притопнул ногой и снова пустился бежать. Цепи скрипели, и с каждым оборотом машины мост начинал пухнуть и коробить деревянную спину.

Он, наконец, добежал до пролета, которым оканчивался разорванный на–двое мост.

Под ним скрипели цепи и видны были какие–то железные уступы, оси и визжащие блоки; еще ниже смутно блестела белесая, подслеповатая вода. Пятак остановился еще на одно короткое мгновение, увидел вдалеке темные фигуры, которые вступили уже в свет фонарей, где–то на Кронверкском проспекте, и перевел дыханье.

В следующее мгновенье он, как будто сбрасывая всю свою силу в напряженные ноги, уже летел вниз. Перед ним неясно мелькнули темные очертанья машин и светлая полоса воды; он упал на носки, едва удержался на ногах и несколько мгновений простоял неподвижно, взявшись рукой за голову и только чуть–чуть покачиваясь из стороны в сторону.

Потом он потащил было из кармана смятую папиросную коробку, нашел окурок, сунул его в рот и поискал спичек.

Спичек не нашлось; он выругался, выплюнул окурок и побежал по мосту бегом.

Сушка и ее спутник шли вдоль Народного дома. Немного погодя они свернули на Сытнинскую площадь, и больше у Пятака не оставалось никаких сомнений.

– Продала! А, хоть бы встретить кого–нибудь на Белозерской. Хоть бы Барабан знал!

Он никак не мог обдумать, что нужно делать, как предупредить эту неожиданную опасность; когда прошли Белозерскую и он не встретил никого из мазов, он решил действовать своими силами.

Покамест он остановился в подворотне где–то за Малым проспектом, пощупал, на месте ли нож, быстро пересмотрел обойму браунинга и поднял предохранитель; он не знал, с кем ему придется иметь дело.

– У лягавого наверное не одна пушка в пальте!

Он потуже затянул ремень на штанах, сунул браунинг в карман и вышел из подворотни: Сушка одна перебежала улицу.

– Ах, мать твою так, уходишь!

Он, больше не остерегаясь, бросился за ней.

Сушка быстро шла по Бармалеевой. У фонаря она остановилась, закурила папиросу и пошла дальше. Она напевала Клавочку.

– Он сел на лавочку  
И вспомнил Клавочку,  
Ее глаза и ротик, как магнит,  
Как ножкой топает,  
Как много лопает,  
Как стул под Клавочкой жалобно трещит!

Пятак вдруг остановился.

– Я тут хляю за ней, а он тем временем... Ах, курва, да что же это я!

Он бросился назад.

Никого не было на пустынной, как будто вычумленной улице.

Чернели полуразвалившиеся стены на пустырях. Дождь перестал, и сквозь разорванные тучи снова начала высовывать свой синий рог луна. Шагах в двухстах на проспекте Карла Либкнехта дребезжала на мокрых камнях пролетка.

Пятак пробежал до Малого и остановился; он знал, что тот, кого он искал, ждет Сушку где-нибудь недалеко. Он несколько раз прошел туда и обратно, заглядывая во все углы, во все подворотни. Никого не было.

Тогда он побежал назад, к Бармалеевой хазе.

Не успел он добраться до полуразрушенной решетки, которая окружала пустырь, как увидел, что Сушка воротилась обратно.

Он заметил, что она переделалась, сменила свою полосатую кепку на длинную шаль и шла как-то несмело, поминутно оглядываясь и ища кого-то глазами.

Пятак отошел в сторону и остановился у деревянного домишки, похожего на сторожевую будку. Справа от него виден был мост через Карповку.

Пятак вжал голову в плечи, передернул плечами и достал нож.

Женщина минуту постояла возле хазовой решетки, точно поджидая кого-то; все движения ее стали как-то неуверенны и несмелы.

Несколько минут она оставалась на том же месте, потом быстро перебежала дорогу и пошла по Бармалеевой.

Пятак пропустил ее мимо себя, вышел из-за своей засады, догнал двумя шагами, взмахнул рукой и, внезапно оскалив зубы, ударил ее ножом в спину между лопаток...

---

Сергей остался ждать во дворе полуразрушенного дома на Малом проспекте.

Он присел на груды камней, возле какой-то канавы, пролежавшей тотчас же за разбитой стеною.

Беловатый рассыпчатый кирпич, бесшумно раздававшийся под ногою, покрывал двор.

Сергей сидел перед надтреснутой стеною с темно-серыми пятнами, походившими на театральные рожи с изогнутыми ртами.

Какие-то пустяки все лезли в голову; очень явственно стучало сердце.

Он долго тер голову, стараясь вспомнить что-то необходимое, нужное сию минуту, без всякого замедления.

Это необходимое было лицо Екатерины Ивановны, которое вылетело у него из головы, из глаз и ушло куда-то, откуда его вернуть было невозможно.

Вместо лица Екатерины Ивановны все лезли на глаза театральные рожи.

Снова пошел дождь. Он снял свою фуражку, и маленький, протертый сквозь сито дождь с уверенностью и как бы с чувством собственного достоинства стал падать на голову, круглую и костяную, как бильярдный шар.

Прошло минут двадцать, как ушла Сушка.

Надоело ждать; он вскочил и принялся ходить по двору, заглядывая в темные стекла, топчя осколки стекла, разбитый кирпич.

Заброшенный сарай скривился на сторону, дверь повисла на одной петле. Сергей толкнул ее ногой, и она проскрипела ржавым басом.

Прошло еще с полчаса. Он, наконец, потерял терпение и выглянул из пустыря: никого не было видно.

Он прошел через ворота, загнул за угол и вышел на Бармалееву.

Шагов за 20 он различил темную фигуру какого-то человека; издалека он принял его за матроса.

Человек шел по другой стороне улицы, заложив руки в штаны и как будто высматривая кого-то.

Он был без шапки, ворот матросской блузы был приподнят и должно быть зашпилен булавкой.

– Уж не меня ли он высматривает?

Человек в матросской блузе остановился в тени деревянного строения, которым кончалась Бармалеева улица. Немного погодя из-за решетки, окружавшей пустырь, на другой стороне улицы показалась женщина в длинной шали, накинутой на голову.

Человек в блузе пропустил ее мимо, сделал шаг за нею.

Еще минута, и Сергею показалось, что его голова оторвалась от тела и, как бы взбесившись, полетела по воздуху. Он услышал отчаянный женский крик, который он узнал и от которого у него ушло, провалилось, упало, чорт его знает куда, сердце.

Он бросился бежать и, еще не добежав, увидел, что матрос наклонился над женщиной, закутанной в шаль, и качал головой, как будто с сожалением:

– Ах, так это ж не она, не Сушка!

В следующую минуту матрос исчез, как будто растаял в воздухе.

Сергей добежал и ничком повалился на землю. Еще прежде чем добежать, он знал почти наверное, что женщина, лежавшая лицом вниз возле сторожевой будки, была Екатерина Ивановна.

XIV.

Рот был сжат и казался узким, как карандашная линия, глаза открыты и в них еще стояли слезы – все это Сергей разглядел под светом луны, выставившей на несколько минут свои рога из-под изодранных облаков.

Он вскочил на ноги и с бешенством царапнул себя по лицу руками.

– Помогите!!

Тут же он как будто испугался своего громкого голоса, снова стал на колени и принялся для чего-то поддерживать руками запрокинутую голову Екатерины Ивановны.

Голова легко перекатывалась в руках, и через несколько минут стало казаться, что она отделилась от тела.

Он снова вскочил и с испугом огляделся вокруг себя; но тут же он как будто позабыл все, что случилось, озабоченно потер лоб и прошелся так, как бы раздумывая, туда и обратно, от одного дома до другого.

– Помогите, – сказал он еще раз и вдруг бросился к Екатерине Ивановне, схватил ее, поднял на руках и понес, крепко прижимая к себе.

Он прошел, спотыкаясь и с трудом ступая потяжелевшими ногами, не более десяти шагов, как увидел высокого человека в полупальто, которое в темноте казалось женской юбкой, одетой на плечи.

Человек стоял у телеграфного столба и с нерешительным видом глядел на Сергея.

– Помогите!

Человек в полупальто повернулся и бросился бежать опрометью. На углу Малого он трусливо поглядел назад и исчез.

– Да как же это, чорт возьми! Что же делать?

Сергей присел на тумбу, не выпуская из рук негибкого тела, которое вдруг показалось ему похожим на куклу.

– И голова вертелась в руках совершенно как у куклы. И глаза...

Он произнес эти слова вслух и испугался этого.

– Что ж, я с ума схожу, – ведь нужно же помочь; ведь ранили, должно быть кровь идет!

Он осторожно ощупал грудь, руки, лицо, провел рукой по спине и вдруг вскрикнул и вытащил руку.

Рука была в крови, на кончиках пальцев остались следы крови.

– Только бы донести, чтобы помочь, перевязать, остановить кровь!

Он снова вскочил и на этот раз бегом пустился бежать по Бармалеевой.

Улица зашаталась, покатила вниз, дома как сломанные декорации накренились над ним, крыши заслонили небо.

Он добрался, наконец, до проспекта Карла Либкнехта, и здесь под первым же фонарем снова заглянул в лицо Екатерины Ивановны.

Лицо внезапно показалось ему отвратительным – нижняя челюсть отвалилась, слюна залила подбородок, один глаз закрылся.

Он положил тело на землю, возле тумбы, и увидел, что весь испачкался кровью, – повсюду, на груди, на руках, даже как будто на подбородке были темные пятна. Он порылся в карманах, вытащил заскорузлый платок и принялся старательно вытирать руки. Пятна сразу отошли, затерлись.

– Помогите же, чорт возьми, ведь нужно перевязать, сейчас же, немедленно.

Откуда-то из-за угла выплыл милиционер.

– В чем дело, гражданин?

Сергей молча вытирал руки и, оттянув край пиджака, смотрел, есть ли на нем пятна.

– В чем дело, гражданин?

– Да нет, ну, в чем же дело?.. – отвечал Сергей.

– Гражданин, в чем дело, что с этой гражданкой?

– Я не успел добежать, понимаете, как тот в матросской блузе... Я кричал, да никого не было. Один встретился было...

Милиционер быстро нагнулся к Екатерине Ивановне, дотронулся до нее рукой.

– Мертвая, что ли?

Он выпрямился, испуганно схватился рукой за кобуру, болтавшуюся у него на поясе и пронзительно свиснул.

– Да нет же, какая мертвая! Ранили, нужно помочь, перевязать, у вас должен же быть бинт под рукой, дежурный бинт, понимаете?

Второй милиционер подбежал к ним с угла Лахтинской и остановился, придерживая рукой шашку.

– Этого надо в дежурку... Мертвая.

Первый милиционер посмотрел на Сергея и взял его за плечо.

– Извозчик!

Сергей пошатнулся и попытался снять с плеча руку милиционера.

– В дежурку? Зачем, в какую дежурку? Чудаки, вы думаете, – это я? Поймите вы, что кто-то в блузе, я не успел добежать, как он... А я уже не мог помочь, ведь я же нес ее на себе, не мог даже поддержать голову.

Милиционер посадил его в пролетку. Он сел и продолжал говорить с горячностью.

– Карпухин, эту придется должно быть в Петропавловскую, – сказал милиционер.

– Поезжай, – добавил он и ткнул извозчика локтем в спину.

– Стойте, – а как же она? – закричал Сергей. – Поймите же вы, чорт возьми, что нужно перевязать рану!

– Сидите смирно, гражданин, – отвечал милиционер.

Сергей закинул голову, вытянул голову и закрыл глаза.

– Оружие есть? – вдруг спросил милиционер.

– Ни о чем я с вами не буду говорить, – раздраженно сказал Сергей, – если вы могли оставить без всякой помощи... Куда вы меня везете?

– Оружие есть? – с испугом повторил милиционер.

Он вытащил револьвер одной рукой, а другой мельком ощупал одежду Сергея.

– А-вввв, – вдруг завыл Сергей, – не везите меня, говорю вам, это тот, в матросской блузе... Разве я стал бы... Да я ее искал по всему городу...

Извозчик остановился.

Милиционер вытолкнул Сергея и сам соскочил с пролетки.

– Идите вперед!

Они поднялись по лестнице и прошли через полутемный, захарканый коридор.



В коридоре Сергеем, как час тому назад у Сушки, вдруг нестерпимо захотелось спать. Он потянулся, зевнул.

– Да вить ни продавали ничиво, – сказал из угла чей-то густой голос, ничиво, ни капильки, вить гли сибя гнали, исключительно гли сибя, ей-богу.

Милиционер оставил Сергея в коридоре и сам скрылся за дверью.

– А что до того, что гражданину Коврину, так вить кливита, ей-богу все кливита, – продолжал голос, – гражданин Коврин, он и непьющий, он совсем у бабки покупал, он же сволочь, ей-богу. Он рази может так пить?

Милиционер вернулся снова, взял Сергея за плечо и молча втолкнул его в комнату.

Комната была какая-то клоповая, задрипанная и вся увешанная инструкциями и приказами.

За столом сидел участковый надзиратель, небольшой, коренастый, похожий немного на калмыка, впрочем, с вежливым и даже участливым лицом.

Он писал что-то с деловым видом, старательно выводя буквы.

Сергей прочел вверх ногами.

– Протокол.

Участковый надзиратель поднял на него глаза и спокойно промолвил:

– Как ваша фамилия, гражданин?

– Да нет же, не в том дело, как фамилия. Ведь убили ее, понимаете! Или нет, еще может быть и не убили!

Сергей вдруг взволновался и двинулся куда-то; но не успел он и на шаг отойти от стола, как участковый надзиратель повторил:

– Как фамилия?

– Травин.

Сергей побледнел и ударил себя в лоб рукой. – Что я сделал! Ведь Травин же, в самом деле Травин!

Но тут же он добавил, как будто назвать имя было совершенно неизбежно, когда названа фамилия.

– Сергей. Сергей Травин.

– Сергей Травин, так, – промолвил надзиратель. – Документы имеются?

– Документы. Да нет, у меня и не может быть никаких документов. Ведь я...

– (Только бы не сказать, не сказать, не сказать, что бежал, что скрываюсь).

– Что вы?

– Нет, ничего.

Надзиратель медленно отложил ручку в сторону, отодвинул от себя протокол и уставился на Сергея с вниманием.

– Травин? Сергей Травин?

Он помолчал с минуту.

– Ну, хорошо. Так значит документов у вас не имеется. Так. А как зовут женщину, у трупа которой вы были задержаны?

Слово «труп» показалось Сергеем похожим на деревянную круглую колотушку, которой разбивают мясо.

– Труп! Да нет же! Я, еще когда ехали на извозчике, хотел сказать, что бывают такие случаи, что оживляют, понимаете ли, оживляют! Каким-то образом сжимают в руке сердце и оно начинает биться.

– К сожалению, труп, – вежливо сказал участковый надзиратель, – так как же зовут эту женщину?

– Молотова, Екатерина Ивановна.

– Молотова, Екатерина Ивановна, – записал надзиратель, – какая профессия и сколько лет?

– Не знаю сколько. Стенографистка.

– Стенографистка, отлично; а где же она проживает, вам известно?

– Да ее украли, понимаете? Продали ее этому Барабану! То-есть я не уверен, что именно ему, именно Барабану, но думаю да, думаю, что ему!

Надзиратель вскочил и во все глаза посмотрел на Сергея.

– Ба-ра-ба-ну! Какому Барабану?

– Ну да, Барабану! Он налетчик, вы должны были знать это имя! Я хотел даже одно время обратиться к вам, но...

Надзиратель сел с треском и, разбрызгивая чернила, с ужасной быстротой принялся писать что-то.

Через минуту он снова обратился к Сергею, стараясь говорить вразумительно и спокойно.

– Гражданин, успокойтесь. Успокойтесь, гражданин! Скажите мне, известно ли вам место-пребывание этого человека, которого вы называли Барабаном?

– Известно! Впрочем нет! Не совсем известно. Должно быть где-то на Бармалеевой. За Малым проспектом. Там у них эта... как называется?... Ну же!... Да! Хаза.

Надзиратель снова подскочил.

– Хаза?!

– Ну да, хаза! Там они держали ее, понимаете ли, ее, Екатерину Ивановну. Я искал ее по городу больше недели, бегал по притонам, по ночлежным домам, наконец нашел, должен был увидеть, увести с собой, и вот... Вы знаете ли, я еще не успел добежать, как он подошел к ней, два шага не больше, и ударил в спину.

– Кто он?

– Не знаю, кто! Какой-то в матросской блузе, ворот зашпилен.

– Подождите... (Надзиратель снова принялся выводить аккуратные буквы). Так... искал стенографистку Молотову... так... подбежал человек, одетый, по показаниям задержанного, в матросскую блузу, и ударил в спину...

– Каким оружием ударил?

– Не знаю. Вся спина... в крови.

– А откуда же вам известно, что эта женщина была задержана у себя налетчиком Барабаном?

– Откуда известно? Да из письма же! Из письма, которое я нашел у ней в комнате, в доме Фредерикса!

– Где? Так! В доме Фредерикса! Имеется у вас это письмо?

В эту самую минуту Сергей вспомнил, что письмо, которое он взял у старушки из дома Фредерикса, подписано фамилией Карабчинского, а вовсе не прозвищем Барабан.

– Имеется у вас это письмо?

– Н... нет. Я его оставил...

– Где?

– Дома.

– Позвольте узнать, – участковый надзиратель ласково наклонился к нему, где вы имеете местопребывание? Я прошлый раз позабыл об этом спросить.

– Я? Я тут остановился... на Литейном.

– Так. На Литейном. Номер дома позвольте?

– Номер дома? – Сергей назвал первую попавшуюся цифру – двадцать три.

– Литейный двадцать три, – с готовностью, как бы подтвердил, надзиратель. Он пересмотрел протокол: – Значит вы показали, что разыскивали эту самую стенографистку, и, наконец, узнали, что она находится в помещении, занимаемом Барабаном на Бармалеевой улице. Так. А от кого же вы это узнали?

Сергей вдруг посмотрел на него со злобой.

– Послушайте, оставьте меня! Я совсем разбит, я больше не могу, честное слово, не могу выдержать. Кроме того, я не скажу вам, от кого я это узнал. Я дал честное слово.

– Нет, вы не волнуйтесь, пожалуйста, – сказал надзиратель, – может быть вы курите? Разрешите, я вам предложу папироску. Так. Значит дали честное слово. Так и запишем: дал честное слово.

Он немного помолчал и потом продолжал спрашивать, сам закуривая папиросу.

– А где же вы были в момент совершения убийства?

– Я? Недалеко! Шагах может быть в двадцати, не больше. Я ждал ее, понимаете ли, один человек устроил это, чтобы она вышла, ну бежала, что ли, оттуда, из хазы, ночью. А меня оставили ждать на углу Малого.

– Так, так, так. Стало быть эта самая хаза-то по Бармалеевой за Малым. Запишем... гражданин Травин... Травин, экая знакомая фамилия... н-ну, ладно, так... Травин показал, что в мо-

мент совершения убийства он находился в двадцати шагах, на углу Малого проспекта... А вам и видеть его так же случилось?

– Кого?

– Да этого самого Барабана?

– Да нет же. Я же говорил, что из письма, только из письма о нем знаю.

– А других прозвищ, кроме Барабана, не знаете?

– Знаю, кажется, его фамилию... Там было еще одно письмо... впрочем нет, просто говорили, что фамилия Карабчинский.

– Карабчинский?

Участковый надзиратель даже потемнел, кровь прилила к лицу.

Он вскочил и выбежал в соседнюю комнату.

– Оперативный отряд! Да! Кутумова! Да, да!

Сергей посмотрел на стол, заваленный бумагами, на стены в клоповых запятых. Позади него, засунув руку за пояс, стоял и тарасил сонные глаза молодой безусый милиционер.

– Много, да, да, много, опасный налетчик, – говорил в соседней комнате надзиратель... – а это уже как вам будет удобнее, товарищ! Проверьте да, разумеется, проверьте, потому что сведения случайные.

Он вернулся и снова сел за стол.

– Так. Отлично. А вот, между прочим, вы упомянули о том, что эта самая стенографистка, которую убили, каким же образом она попала на Бармалееву улицу?

Сергей отвел глаза от клоповой стены, встрепенулся и снова начал говорить, говорить, с убедительными жестами наклоняясь через стол к участковому надзирателю.

– Как это каким образом? Не знаю. В том письме, которое я достал, только приглашение занять место, понимаете ли, место стенографистки, ведь она стенографистка отличная, ну и это письмо подписано Карабчинским. Я потому и стал догадываться, что ее украли, понимаете, ведь она к себе домой не являлась больше двух недель, и это там, на Лиговке, в милиции должно быть известно.

– Так. Вероятно известно. А вы как же, гражданин Травин, давно уже живете в Петрограде или приехали только для того, чтобы разыскать эту стенографистку?

– Я? да нет, я... приехал сюда. Я не живу здесь постоянно.

– А где же вы проживаете постоянно?

Сергей замолчал. Надзиратель постучал косточками пальцев по столу и повторил вопрос.

– Я приехал из Тамбова, – сказал, наконец, Сергей, – да, из Тамбова.

– Ах, из Тамбова? Так. Запишем: из Тамбова. А какого числа вы приехали?

– Недели две или три, не знаю. Да не все ли равно, какого числа, вот вы спрашиваете о пустяках, а я мог бы пока помочь раненой.

– Убитая уже отправлена в Петропавловскую больницу, – сказал надзиратель, – вы можете быть на этот счет совершенно спокойны, гражданин Травин! Ах да! Травин, именно Травин!

Он пощипал складки между бровями и задумался, как будто стараясь припомнить что-то.

Сергей посмотрел на него в упор, и вдруг ему снова показалось, что его голова полетела по воздуху, а тело падает к ногам безусого милиционера.

Надзиратель встал и прошелся по комнате туда и назад.

– Поди-ка, позови ко мне товарища Поппе, – сказал он милиционеру.

Тот вышел и через минуту явился с маленьким человечком в штатском платье.

– Товарищ Поппе, у вас имеется сообщение П-ого Гепеу о задержании бежавшего отсюда арестанта?

– Да-с, – отвечал маленький человек в штатском.

Сергей закрыл глаза: все рухнуло, он стоял в каком-то необыкновенно узком коридоре и дрожащими руками держался за трещину в стене, за клоповую запятыю на обоях.

– Товарищ Поппе, – снова спросил надзиратель, – вы не помните, как фамилия этого арестанта?

– Нет-с, никак не припомню сейчас, – отвечал человечек в штатском.

– Так будьте добры, разыщите-ка мне эту бумажку и принесите сюда.

Надзиратель снова закурил и принялся снимать со своей форменной куртки пылинки, волоски.

– Так вы приехали из Тамбова? М–гм. А как же случилось, что с вами нет никаких документов?

Сергей даже и не слышал, о чем его спрашивали.

– А чем же вы занимались в Тамбове?

Человечек в штатском принес бумажку и подал ее через стол квартальному надзирателю.

– Мыг, ымыг, мыни, мыним, – прочел тот, – так... предлагается вам... Сергея Травина... мыгы, мыгым, мыгым – так, задержать...

– И подписи, – сказал он, значительно поглядев на Сергея, – и надлежащие подписи. Так значит...

Он замолчал на мгновение.

– Так значит, вы арестованы. Ничего не могу поделать. М–да. Это вы самый и есть бежавший арестант. Что вы на это скажете?

Сергей отвернулся от него.

– Ничего вы мне на это не скажете, – с удовлетворением сказал надзиратель, – а ведь оригинальный, честное слово, оригинальный случай!

XV.

– К сожалению, – сказал приказчик, ласково глядя на Пинету, – вам придется переменить голову. У нас нет ни одной фуражки, которая подходила бы к вашей голове.

– Мама, неужели придется переменить голову? – спросил Пинета.

– Здесь нет ничего такого экстраординарного, – отвечала мама, – мне известны даже такие случаи, когда меняли не только голову... но и другое. Да, да, нечего смеяться, – и другое.

На улицах огромные каменные тумбы и свет снизу, через какие–то особенные стеклянные решотки.

Мама вела Пинету за руку по улицам, в небе качалась круглая голова, похожая на ярмарочные воздушные шары.

Снова магазин.

– Будьте так добры, гражданин, – сказала мама, почему–то раздувая ноздри, – подходящую голову. Видите ли, дорос до седых волос и теперь не подходит фуражка.

«До каких седых волос? – подумал Пинета, – я же вчера, я же третьего дня родился».

Приказчик принес голову какого–то турка или перса. Голова походила на утиное яйцо.

– Вот, пожалуйста, подходящего размера.

– Да, это подходящего размера, – определила мама.

– Мама, как же это, ведь это какой–то турок! Не могу же я в самом деле менять голову на голову какого–то грязного турка!

– Никакие не турки, – отвечала мама, – пожалуйста, заверните мне эту голову.

– Прекрасная голова, – заверил приказчик, – голова масседуан, агратан, за пять копеек с бархатом. Вы будете довольны, уверяю вас!

Снова улицы, улицы, улицы.

«В чем же, чорт возьми, дело, – подумал Пинета, – зачем же менять голову! Чорта с три, ведь можно же переменить фуражку».

Улицы исчезли. Потолок и узкое окно мелькнули перед ним, и он снова закрыл глаза.

Кто–то постучал в двери: раз, два, три!

– Войдите! – закричал Пинета хриплым со сна голосом.

Он провел рукой по лбу и, наконец, очнулся.

– Кто там! Войдите!

Никто не входил. Пинета прислушался: стучали в соседнюю дверь.

Должно быть никто не открывал, потому что спустя несколько минут Пинета услышал мужской голос.

– Откройте же. Откройте же, наконец!

– Это Барабан, – догадался Пинета.

– На одну минуту, – говорил Барабан, – для делового разговора, честное слово, для делового разговора.

– Да откроешь ты или нет, стерва! – вдруг заорал он, разозлившись.

Пинета снова закрыл глаза; его как будто качало из стороны в сторону; сквозь сон он услышал, как дверь трещала под ударами.

– Ее здесь нет! – закричал Барабан. – Убежала? Выпустили? Хамы, разбойники!

Перед Пинетой вырезалось четкими буквами – убежала.

Он тихонько повторил про себя – убежала, – попытался приподняться и сесть на постели, но снова со стоном упал назад и как будто ушел в темную комнату без окон и дверей, куда уж никак не мог проникнуть даже громкий человеческий голос.

Второй раз Пинета очнулся часов в 6 утра. Кто-то камнем бросил в стену его комнаты. Немного погодя тот же звук повторился с большей силой.

– Стреляют, что ли?

Он сполз с постели и, держась руками за все, что попадалось на пути, добрался до двери, хотел постучать, но потерял равновесие и свалился на пол.

Тут же на полу он от боли с силой вытянул ногу; нога пришлась прямо в дверь, и дверь отворилась.

«Забыли запереть, – подумал Пинета, – должно быть все разбежались».

Он прополз несколько шагов по коридору и добрался до соседней комнаты, той, которую раньше занимала его соседка.

И здесь дверь была отперта. Пинета встал, держась за стены, добрался до окна и расплюснул нос о стекло.

Он увидел во дворе человека, который лежал на земле, за грудой камней.

На нем была шинель с красным воротником и фуражка с красным околышем.

Воротник и околыш в одну минуту объяснили Пинете положение дел.

Человек поднимал вверх голову и старательно целился из винтовки по нему, Пинете.

Раз! – и стекло разлетелось со звоном.

Пинета шатаясь отошел в сторону и сел на стул.

Разбитое стекло еще долго звенело у него в ушах каким-то особенным звоном...

Часов в 6 утра Пятак вбежал во двор, бросился в подвал, влетел вверх по лестнице и плотно задвинул за собой тяжелый засов.

Он остановился посреди кухни и выругался по матери.

– Мильтоны! Мильтоны идут. Вставайте!

Маня Экономка стояла перед ним в одной рубашке и тряслась от страха.

– Барабан здесь? Да говори же ты, сволочь! Барабан!!

Пятак выскочил в коридор и лицом к лицу столкнулся с Барабаном.

– Где? Откуда идут?

– С Большого! Чуть не сгорел! Поздно! С Газовой заложили!

Барабан хмуро посмотрел на него и сложил было губы, чтобы свистнуть.

– Стой! А с Карповки?

– Чорт его знает, Карповку! Окружают!

Барабан свистнул.

Он свистнул не напрасно; дом, в котором находилась хаза, стоял в самом конце Бармалеевой улицы.

Слева можно было уйти по Газовой, справа по набережной Карповки; если оба выхода были заложены, оставалось пробираться через пустыри на –ый переулок. Барабан выбросил из кармана кожаный портсигар и с яростью схватил папиросу зубами.

– Маня, – сказал он, – Маня, беги через пустыри на переулок. Посмотри, есть ли там мильтоны и бегом возвращайся назад. Что у нас есть?

– А! – закричал он вдруг, ударяя по столу рукой с такой силой, что вся рука налилась кровью. – У нас мало... У нас мало патронов!

Он замолчал и оглядел всех, кто был в комнате. Барин, только что вставший с постели, одетый как всегда так, что ни один крючок его офицерского кителя не оставался незастегнутым, был немного бледнее, чем обычно.

Он чему-то улыбался и крутил толстую, как шпингалет, папиросу.

Пятак, отдышавшись, прилаживал к окну оторванный ставень.

Володя Студент стоял отвернувшись, пристально разглядывая какую-то царапину на руке.

– Ну, – сказал Барабан, сжимая руки так, что на ладонях остались овальные следы от ногтей. – Ну! Теперь выбирать! Теперь уже выбирать! Что же? Отстреливаться или сдаваться?

Барин поднял глаза и с презрением пыхнул папироской.

Пятак заложил руки в штаны и выругался.

Студент обернулся, двинулся было куда-то, но остался на месте.

– Значит, – сказал Шмерка и замолчал. Он глубоко вздохнул и вытащил из кармана револьвер.

– Пятак, ты будешь стоять справа, там, где лежит этот мальчишка! Барин и я – в столовой.

– Студент, ты, – Барабан схватил его за руку и дернул к себе. – Да ободрись, малява! – Ты стреляй из кухни.

– Ну! – повторил он, – что она не приходит, эта стерва?

– Ну!

Пятак отодвинул ставню и заглянул в окно.

– Идут.

Еще через две минуты в дверь застучали.

– Отворите! Милиция!

Пятак длинно и мастерски выругался.

Барабан подошел к самой двери и крикнул:

– Уходите вон, хамы!

---

Пинета все покачивался на стуле из стороны в сторону.

Он качался с закрытыми глазами, как мусульмане, когда они творят свой намаз.

Он был сильно избит, руки и ноги горели, как будто их со всех сторон облепили горчичниками, в голове звенело.

Кто-то закричал позади него:

– А, фай, здравствуй! Ну что, отдышался?

Пятак подбежал к окну, глянул и отскочил назад в ту же минуту.

– Вот тебе, баунька, и Юрьев день, – проворчал он, – чуть ли не целую бригаду притащили, бездельники!

– Это вы о чем... говорите? – пробормотал Пинета.

Он говорил как будто про себя, но Пятак услышал и обернулся.

– Что брат!! Амба! Амба, братишка! Пой отходную! Гореть!

И в подтверждение того, что дело – амба, что придется гореть, пуля с треском ударила в оконную раму.

– Шалишь, лярва, – яростно ворчал Пятак, тоже как будто про себя, – не дадимся, елды! Не возьмешь!

Он схватил с кровати подушку и заткнул ею еще раньше выбитое пулей окно.

Бережно вытащив из кармана обойму от браунинга, он принялся вщелкивать в нее патроны.

Набив обойму, Пятак стал на колени перед окном и приподнял снизу подушку.

Подоконник служил ему опорой, он просунул браунинг между подушкой и рамой и начал ту работу, которую каждый налетчик считает нужным выполнить перед смертью.

Пинета творил свой намаз и думал: «Бригада... Наверное, угрозыск».

Он написал на стуле – угрозыск – и прочел назад – ксызоргу.

– А налетчиков? Один, два, три, много четыре. Плохо!

Пятак отстреливался; глаза у него заблестели, волосы свалились на лоб; он стрелял из браунинга; запасный ноган торчал у него из кармана штанов.

«Плохо, – думал Пинета, – убьют! Вот сволочи! Бригада! Все на одного, один на всех!»

Он кое-как встал, подошел к Пятаку сзади и положил руку на плечо:

– Послушай, – сказал Пинета довольно тихим голосом, – дай-ка мне второй револьвер! Чорта ли они на нас целой бригадой нападают!

Пятак обернулся к нему и рассмеялся, несмотря на то, что пули били вокруг него в стену одна за другой.

– Фай, честное слово, – вдруг весело закричал он, – я говорил, что фартовый парнишка!

Пуля со звоном ударила в раму, и новое, верхнее стекло посыпалось в комнату.

Пятак отбежал, вытащил из кармана ноган и протянул его Пинете.

– Помогай, братишка! Да что уж, все равно! Х... на кон, братишка, тут и он – Антон! Гореть! Пинета заглянул во двор; теперь уже не один, а человек двенадцать в фуражках с красным околышем залегли за камнями, в пустыре, недалеко от остатков кафельной печи, которая как будто молилась день и ночь, подняв к небу обломки труб, похожие на руки.

Только винтовки и фуражки кое-где торчали из-за камней.

Высокий человек в овальной шофферской шапке бегал между ними, распорядясь должно быть осадой хазы.

Пинета долго целил в этого человека из своего ногана, но ноган отказывался повиноваться.

Он нажимал курок по-всякому – и указательным, и средним пальцем, и двумя пальцами сразу, – ноган не стрелял, до тех пор покамест Пятак не крикнул, что нужно прежде отвести курок. Пинета отвел курок и снова прицелился в овальную шофферскую шапку.

Рука у него дрожала, он никак не мог навести мушку; наконец навел. Человек в овальной шапке перевернулся на одном месте, упал, тотчас же вскочил и остановился неподвижно, как будто его тут же вбили ногами в землю. Потом снова упал.

Один из милиционеров выполз из своей засады, схватил его за плечи и, опрокинув на себя, потащил в сторону.

На месте шофферской шапки через 2 – 3 минуты появился человек в полной форме милиционера с португеей через плечо.

– Их тут сколько угодно и еще два, – пробормотал со злобой Пятак.

Пинета в недоумении сел на стул и опустил вниз руку с ноганом.

Кусок штукатурки упал на него и с головы до ног засыпал высохшей известью.

Он озабоченно почистил платье и снова подошел к окну.

– Эй, поберегись, братишка! – крикнул Пятак.

Последние остатки стекол посыпались в комнату.

– Залпом стреляют, бездельники!

Пятак вытянул из браунинга пустую обойму и снова начал набивать ее патронами, которые он тащил теперь прямо из кармана штанов.

Набив обойму, он вывернул карман и яростно сплюнул.

– Пропало наше дело, братишка! – крикнул он Пинете. – Во, брат! – он повертел в руке обойму, – последняя!

– Наплевать, отобьемся, – отвечал Пинета, не вставая, впрочем, со стула и даже не поднимая руки с ноганом. Все это – и маленькие люди, спрятавшиеся на дворе за грудой камней, и свист пуль, и воронки на стенах, и Пятак, вщелкивающий патроны в обойму, – казалось ему какой-то игрою – в хоккей или другой игрой с замысловатым названием, которое он никак не мог припомнить.

– Хо-хо! – закричал Пятак с восхищением, – отобьемся? Ого! Вот так парнишка! Отобьемся, говоришь? Отобьемся, так отобьемся!

Тут же он со злобой скривил губы, быстрым движением подтянул штаны и огляделся вокруг себя почти с отчаянием; бежать было некуда.

Оставалось одно: снова стать на колени перед окном, просунуть браунинг между подушкой и рамой и до последнего патрона делать ту работу, которую каждый хороший налетчик считает нужным сделать, прежде чем сгореть и закурить свою последнюю папиросу.

---

Барабан и Сашка Барин отстреливались от мильтонов со стороны Бармалеевой.

Комната, которую Барабан назвал столовой, ничем не напоминала столовую; даже обеденного стола в ней не было.

На дверях висели изодранные суконные портьеры, в углу стояла кирпичная печка, рядом с нею разбитый рояль, на почерневшем от дыма потолке было написано зонтиком или палкой «Лохматкин хляет», у окна, немного отступая вдоль по стене, Барабан и Сашка Барин с двумя ногами и одной винтовкой держались против отряда милиции.

Внизу, за обломками решетки, когда-то окружавшей дом, засели два десятка людей с винтовками, которые могли стрелять с утра до вечера и до нового утра беспрерывно.

Они курили, смеялись и не торопясь играли свою игру, в которой им вперед отдавалось 24 фигуры. У них были жены, дети и до 12-ти часов свободного времени ежедневно.

Против них с третьего этажа с двумя ноганами и одной винтовкой защищали себя двое людей, у которых не было ни жен, ни детей и на всю остальную жизнь оставалось очень мало, не более трех часов времени, которое измерялось количеством патронов, а не часовой стрелкой.

Барабан был спокоен так, как будто еще не прошли далекие времена, когда он готовился быть раввином, как будто он сидел за столом в пятницу, а не отстреливался от целого отряда милиции.

Время от времени он задумывался и начинал напевать про себя какую-то еврейскую песню.

Он напевал:

Хацкеле, Хацкеле,  
Шпил мир а казацкеле  
Ун хочь анореме.  
А би а хвацке!

В этом месте он стрелял, внимательно вглядываясь, как будто желая увидеть, достиг ли его выстрел цели, и продолжал петь, качая головой:

Орем из нит гут,  
Орем из нит гут  
Ло мир зих нит шемен  
Мит ейгенер блут!

Он заглянул в окно и закричал Барину, который в ту минуту прицелился, выбрав чей-то неосторожный околыш для своего ногана:

– Стой, Сашка!

Барин опустил руку, и оба услышали довольно звонкий голос, который кричал снизу, должно быть из-за решотки, служившей прикрытием для осаждавших.

– Прекратите стрельбу! С вами хотят говорить!

– Ого! – сказал Барабан, – с нами хотят говорить? Что такого хорошего скажут нам миллионы, а?

Он крикнул чуть-чуть охрипшим, но веселым голосом:

– Ну, говорите, мы вас слушаем, вояки!

– Прекратите стрельбу! С вами будут говорить! – кричал тот же голос.

Должно быть он кричал уже давно, потому что еще трижды повторил ту же самую фразу, прежде чем кричавший услышал голос Барабана:

– Ну, ну, довольно уже кричать! Мы не стреляем... Халло, мы вас слушаем! вдруг заорал он совсем развеселившись.

– Пятнадцать минут на то, чтобы сдать оружие, – долетел до них уже другой, хрипловатый, но твердый голос. – Если вы сдадитесь добровольно, то будете согласно законам отданы под суд, в случае дальнейшего сопротивления вы будете расстреляны на месте. Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь!

– Они нам обещают так много, – сказал Барабан, – что можно лопнуть, только представляя себе это удовольствие! Что ты на это скажешь, Сашка?

Барин оборотился к нему и так скривил губы, что не оставалось никаких сомнений в том, как он относится к предложению осаждавших.

– Болтовня! – коротко сказал он, перевернув несколько раз барабан револьвера и пересматривая пустые гнезда. Шмерка вдруг задумался.

– Послушай, Саша, а может быть до суда удастся...

– Нам ничего больше не удастся!

– Так значит...

Шмерка снова остановился, но тут же подбежал к окну и с силой ударил кулаком по оголенной раме.

– Слушайте вы, герои! Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы сдали вам оружие? У нас так много оружия, что вам не увезти его на двенадцати автомобилях!

– Отданы под суд, – вдруг передразнил он, – ваши законы! По этим законам мой сын, если бы у меня был сын, уже семь лет читал бы по мне кадыш! По этим законам я уже двадцать



раз отправился бы налево! Что касается до того, что мы будем расстреляны на месте, то вы можете быть, таки да, уверены, что кое-кто из вас отправится вместе с нами.

Он обернулся к Сашке Барину и улыбнулся ему лицом, которое стоило закрыть обеими руками.

Но в ту же минуту он снова оборотился к окну и закричал, топнув ногой и ударя кулаком по подоконнику:

– Гов-ня-ки!

---

Пятак расстрелял последнюю обойму. Он вскочил с колен, рукавом вытер запотевшее от напряжения лицо и обратился к Пинете:

– Ну, братишка, ты что-то сдрейфил. Отдай-ка мне ноган.

И он несколько раз перевернул барабан револьвера, который Пинета молча отдал ему: в ногане застряли еще две пули.

Пятак вышел из комнаты и притворил за собой двери.

В кухне, с револьвером в руках, валялся Володя Студент, который был годен теперь только на то, чтобы пугать ворон на огороде. Глаза застеклились и видели такую посуду хазу, которую не откроет ни один лягавый, даже съевший собаку на своем деле.

Он защищался до последнего патрона. Револьвер был пуст.

Пятак оттащил его в сторону и, несмотря на то, что пули начали уже ударять вокруг него в стены, сел у окна и положил голову на руки.

Так он сидел минут десять, до тех пор покамест его как будто подтолкнул кто-то в подбородок. Он поднял голову: по двору вдоль стены шли, крадучись, двое милиционеров с винтовками в руках; один поднял голову, присел и шмыгнул в подъезд. (Подъезд вел на черную лестницу.)

Другой остановился, махнул рукой товарищам, которые толпились за углом под аркой.

Еще двое вышли из-за угла и, прижимаясь к стене, стали переходить двор.

Пятак посмотрел на пустые гнезда своего револьвера и скрипнул зубами.

Он выбежал из кухни в коридор и крикнул:

– Барабан, с кухни хляют!

Потом осторожно подкрался к двери, медленно, без скрипа отодвинул засов, на цыпочках отошел в сторону от двери и остановился в выемке, где висели кухонные тряпки и всякая дрянь.

Ждать пришлось недолго: через несколько минут он услышал на лестнице шаги.

Дверь отворилась, в кухню просунулись сперва винтовка, потом лицо человека, честно зарабатывающего свои 44 рубля в месяц.

Лицо обвело кухню глазами, посмотрело на Володю Студента и внезапно рванулось к двери.

Пятак выждал минуту, когда милиционер повернулся к нему спиной, выстрелил и бросился вниз по лестнице. Он свалил ударом ноги в чувствительное место другого милиционера, встретившегося ему внизу у выходной двери и выбежал во двор.

Со всех сторон, из подворотни, из-за угла, из второго двора вдруг выплыли и двинулись на него люди с винтовками.

Он выстрелил наугад и молча побежал к воротам. Уже в самых воротах на него насели, сбили с ног и прикладом винтовки вышибли из него всякую способность что-либо соображать и вместе с этой способностью мысль о том, что в его ногане не осталось больше ни одного патрона.

Он очнулся на извозчике с окровавленным лицом и скрученными на спине руками. По обеим сторонам его сидели милиционеры; оба внимательно следили за каждым движением Пятака.

На улицах начиналось движение, бегали трамваи, розовые арбузники раскладывали свои тележки.

Пятак помотал головой и сплюнул.

– Э-эх, мать твою в сердце, сторел!

Шмерка Турецкий Барабан больше не просил Хацкеле о том, чтобы тот сыграл ему веселую песню, и стрелял теперь из винтовки. Сашка Барин с пустым ноганом, который годился теперь только на то, чтобы забивать им гвозди, бродил по комнате и обсуждал план действий. План был прост, как карандаш.

– Барабан, – сказал он, останавливаясь и закладывая руки за спину, – стой, довольно стрелять!

Барабан обернулся к нему.

– Можно смыться?

– Э, брось, какое там смыться! Дай винтовку!

– Закуриваешь?

– Нет, – неопределенно ответил Сашка Барин и взял винтовку.

Он еще немного побродил по комнате, постучал прикладом об пол, заглянул в дуло.

Винтовка весила 11 фунтов и была той самой дальнобойной винтовкой системы Бердана, о которой узнает каждый новобранец на вторую неделю своей службы.

Он поднял эту дальнобойную систему и щелкнул затвором.

Барабан подошел к нему и положил руку на плечо.

– Сашка!

– Э, брось, – медленно отвечал тот, – что ты, в самом деле, филонишь?

Он поставил винтовку между ног, как будто собираясь встать на караул перед Барабаном и немного присел для того, чтобы дуло пришлось как раз между кадыком и подбородком.

Барабан отвернулся, его затрясло, ударило в пот. Барин потянул руку вниз, ощупал затвор, потом ухватился за курок.

В ту же минуту комната задышала шумом и оборвалась в бездну. Перед самым его лицом с ужасным шумом разорвался маленький ослепительный шарик, похожий на глаз.

Кто-то сверху ударил по голове, и боль от удара волнами прошла по телу, сдавила грудь и пробкой заткнула горло...

Он лежал, грянувшись лицом об пол и подобрал под себя винтовку.

Барабан опустил голову; у него перехватило горло, и он не мог проглотить слюны, которая, как склизкая глина, двигалась под высохшим языком. Он присел на пол и начал тащить из-под трупа винтовку.

Пятак закричал что-то из коридора, немного погодя выстрелили совсем близко, за стеной, – он даже не обернулся к двери.

Винтовка была крепко зажата посиневшими пальцами. В ней застряли еще два патрона. Он постоял, подумал, выронил винтовку из рук, подошел к окну и повалился животом на подоконник.

На дворе суетились, бегали туда и назад милиционеры.

Барабан посмотрел вниз, рыгнул и засмеялся.

– Халло! – крикнул он, размахивая руками. – Хазейрим! Берите меня! Целуйте меня под хвост! Теперь я вижу...

Он перевалился через подоконник, как толстая жаба слетел вниз и упал на кучу мусора возле помойной ямы.

Здесь он открыл глаза, увидел небо, землю, пять револьверов, поискал в кармане портсигар и dokonчил свою мысль.

– Теперь я вижу, что может быть лучше всего, если бы я таки стал раввином!

## **М. БУЛГАКОВ. БАГРОВЫЙ ОСТРОВ**

Роман товарища Жюля Верна

С французского языка на эзоповский переведено Михаилом Булгаковым

Действующие лица.

Островитяне

Сиси Бузи – царь всея мавров и эфиопов, самодержавный владыка острова до прибытия европейцев; огневодопоклонник (т.е. поклонник огненной воды, еще проще – алкаш).

Рики Тики Тави – главнокомандующий всеми вооруженными силами острова, фантастический ненавистник мавров, но огненной воде не враг.

Коку Коки – или «пройдоха Коку Коки», авантюрист, погревший руки на стихийном бедствии и временно узурпировавший власть, но плохо кончивший.

Эфиопский парламентар – смутьян.

Рядовой солдат – мавр.

Эфиопы и мавры – войны, рыбаки, узники каменоломен и другие.

Европейцы

1. Лорд Гленарван – известный аглицкий буржуй, акула британского империализма, выведенная на чистую воду товарищем Жюль Верном.

2. Мишель Ардан – известный французский буржуй, союзник и конкурент лорда Гленарвана в деле ограбления цветных народов. Акула французского империализма.

3. Собственный корреспондент американской «Нью Йорк Таймс» на острове. Истории известно, что он является жертвой тропического триппера. Кроме этого, ничего больше о нем истории не известно.

4. Капитан Гаттерас – оголтелый колонизатор на службе у лорда Гленарвана; за систематическую пьянку в служебное время и халатность разжалован лордом в рядовые канониры (пушкари). С горя стал пить еще больше.

5. Филеас Фогг – еще один прислужник лорда, такая же зараза, если не хуже.

6. Профессор Жак Паганель – ученый холуй французских колонизаторов, сиречь Мишеля Ардана и компании. Близорук, в очках, рассеянный паразит с подзорной трубой под мышкой. Пить, правда не пил, а что толку?

Матросы, солдаты, надсмотрщики и другие.

Действие происходит в первой половине XX века.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА

### 1. История с географией

В безбрежных просторах океана, который, – вероятно, за его постоянные штормы и волнения, – весьма остроумно был назван некими шутниками Тихим, под ... градусов широты и ... долготы находился большой необитаемый остров. Время шло, и остров постепенно был заселен и освоен прославленными, родственными друг другу племенами – красными эфиопами, так называемыми белыми маврами, и еще маврами некоего неопределенного цвета, не то черного с желтизной, не то желтого с чернотой. Впрочем, пьяные матросы с изредка забредавших сюда судов отнюдь не утруждали себя излишне скрупулезным различием всех тонкостей туземной окраски и всех подряд островитян называли попросту черно...ыми.

Когда знаменитый мореплаватель, лорд Гленарван, на своем корабле «Надежда» впервые причалил к острову, то он открыл, что здесь господствует довольно своеобразный социальный строй. Несмотря на то, что красные эфиопы десятикратно превосходили своим числом белых и разноцветных мавров, вся полнота власти на острове была в руках исключительно этих последних. На троне, воздвигнутом под сенью пальм, восседал царственный властелин острова Сиси Бузи в роскошном наряде из рыбьих костей и консервных банок. После него занимали почетные места – верховный главнокомандующий Рики Тики Тави и главный жрец всея мавров и эфиопов.

Их охраняла отборная, вооруженная увесистыми дубинками, лейб гвардия, набранная из самых разноцветных мавров.

Красные же эфиопы смиренно обрабатывали маисовые поля, принадлежащие белым маврам, ловили для них, а так же для разноцветных мавров рыбу и собирали черепаши яйца.

Лорд Гленарван незамедлительно приступил к совершению известной процедуры, какую он производил всегда и везде, где бы не появлялся: водрузил на вершине горы британский флаг и на своем прекрасном английском языке с оксфордским произношением торжественно изрек:

– Отныне этот остров принадлежит британской короне!

Однако, тут произошло досадное недоразумение. Эфиопы, которые не владели никакими языками, кроме своего собственного, и в силу этой невежественности ни черта не поняли

из английской речи благородного лорда, с радостными воплями обступили имперский флаг. Островитян привела в восторг его прекрасная ткань и они, разорвав флаг на множество кусков, тотчас начали сооружать себе из них красивые набедренные повязки. В наказание за подобное святотатство матросы, по приказу лорда, схватили осквернителей, разложили под пальмами, содрали у них с бедер злосчастные повязки и нещадно выпороли.

Так состоялось первое приобщение темных эфиопов к цивилизации, после чего лорду пришлось вступать в непосредственные переговоры с самим Сиси Бузи. Его высочество нахально заявил благородному лорду, что остров принадлежит ему, Сиси Бузи, и никакого флага не надо.

В ходе переговоров выяснилось, что еще до прибытия к этим берегам лорда Гленарвана, остров открыли уже дважды. Сначала здесь побывали немцы, а затем еще и другие, которые ели лягушек. И в доказательство своих слов Сиси Бузи указал на красовавшееся на его шее ожерелье из консервных банок. В заключение его царское величество дипломатично выразить весьма тонкую мысль:

– Огненная вода – это очень вкусно, да!

– Вижу, вижу, что вы уже успели об этом пронюхать, собачьи дети, – с оксфордской изысканностью буркнул себе под нос благородный лорд и, хлопнув по приятельски Сиси Бузи по плечу, великодушно дозволил ему считать сей чудный островок по прежнему его собственностью. Что же касается британского флага, то договорились, что он тоже останется висеть на верхушке горы, – он ведь там никому не мешает. А в остальном все остается без изменений, так как и было раньше. После этого начался товарообмен. Матросы извлекли из трюмов стеклянные бусы, банки залежалых сардин, сахарин и бутылки с огненной водой. Эфиопы же с ликованием вытащили к берегу целые горы бобровых мехов, слоновой кости, рыбы, черепаших яиц и жемчуга.

Сиси бузи забрал всю огненную воду себе, сардины тоже, а стеклянные бусы и сахарин милостиво уступил эфиопам.

С этого момента наладились регулярные сношения острова с цивилизованным миром. В бухте то и дело причаливали теперь корабли, с них выгружали на берег английские «драгоценности», а на борт принимали эфиопские «безделушки». На острове поселился собственный корреспондент «Нью Йорк Таймс» в белых штанах и с неизменной трубкой в зубах, который вскоре заболел здесь тропическим триппером. По совету местных эфиопских медиков корреспондент лечил свою хворобу водным раствором спирта, изготовленным по особому рецепту: две капли воды на стакан спирта. Эта микстура в какой то степени облегчала мучения страдальца.

В мореходные атласы мира сей райский уголок был занесен под названием Острова Эфиопов.

## 2. Сиси Бузи пьет огненную воду

Жизнь на острове очень быстро достигла небывалого расцвета. Главный жрец, верховный главнокомандующий и сам Сиси Бузи буквально купались в огненной воде. Физиономия Сиси Бузи вспухла и блестела как лакированная. Восхищенная гвардия мавров, украшенных стеклянными бусами, окружала его шатер сплошной стеной.

На проплывающие мимо корабли с острова частенько доносились оглушительные вопли:

– Да здравствует наш великий вождь Сиси Бузи! Да здравствует наш главный жрец! Ура! Ура!!!

Это орали пьяные мавры, особенно старались наиболее цветастые из них.

А у эфиопов царило глухое молчание. Поскольку бедняги не получили доступа к огненной воде и были лишены права участия в священнодействиях с нею, вместо чего им вменялось в обязанность лишь работать, пока не протянут свои ноги, то в их рядах стало нарастать возмутительное недовольство. Нашлись, как в подобных случаях водится, и всякие зловердные подстрекатели агитаторы. Подзуживаемые ими эфиопы, наконец, уже громко возроптали:

– Братья, да где же справедливость на этом свете? Разве это по божьему закону деется – всю водку зажилили себе мавры, все шикарные бусы тоже только для мавров, а для нас только этот занюханый сахарин? И после этого мы еще работай?

Как и следовало ожидать, все это кончилось для оппозиции большими неприятностями. Едва узнав о начавшемся брожении умов, Сиси Бузи, не мешкая, направил к эфиопским вигвамам карательную экспедицию, которая под предводительством верховного главнокомандующего доблестного Рики Тики Тави привела, как выражался Сиси Бузи, всех смутьянов к общему знаменателю. А там, где еще вчера сияли блеском королевские вигвамы, сегодня громоздились только бесформенные руины.

Когда поголовная порка окончилась, раскаявшиеся эфиопы, низко кланяясь, благодарили за науку и в один голос повторяли:

– Сами роптать больше не будем и детям своим закажем!

Так на острове снова были восстановлены мир и процветание.

### 3. Катастрофа

Вигвамы Сиси Бузи и главного жреца стояли в наиболее живописной части острова, у подножия потухшего триста лет тому назад старого вулкана.

Но однажды ночью вулкан вдруг, совершенно неожиданно, проснулся и сейсмографы в далеком Пулкове и Гринвиче зарегистрировали ужасное сотрясение.

Над огнедышащей горой взметнулся в небо высокий столб дыма и пламени, затем градом посыпались камни, и, наконец, подобно клокочущему кипятку из самовара, хлынула раскаленная лава.

К утру все было кончено.

Объятые ужасом эфиопы узнали, что они остались без своего обожаемого монарха и без главного жреца. Судьба сохранила им лишь верховного главнокомандующего, доблестного Рики Тики Тави. А там, где еще вчера сияли блеском королевские вигвамы, сегодня громоздились только бесформенные груды постепенно застывшей лавы.

### 4. Гениальный Коку Коки

Вся стихийно собравшаяся после катастрофы толпа уцелевших островитян в первый момент была как громом поражена, все стояли оцепеневшие. Но уже в следующий момент в головах эфиопов и немногих оставшихся в живых мавров зародился естественный вопрос:

– Что же теперь дальше? Как быть?

Вопрос породил брожение. Гул голосов, вначале неясный и едва слышный, стал нарастать все более и более, кое где уже готова была начаться свалка. Неизвестно, к чему бы это привело, не случись тут новое удивительное явление. Над волнующейся толпой, выглядевшей словно алое маковое поле с редкими белыми и цветными вкраплениями, внезапно возникла сначала испитая физиономия с бегающими глазками, а затем и вся тщедушная фигура известного на острове горького пьянчуги и бездельника Коку Коки.

Эфиопы вторично остолбенели, словно громом трахнутые. Причиной тому был, прежде всего, необычный внешний вид Коку Коки. Все от мала до велика привыкли видеть его либо отирающимся в бухте, где выгружались на берег заманчивая огненная вода, либо поблизости от вигвама Сиси Бузи, где этот деликатес распивался. И всем было доподлинно известно, что Коку Коки – природный цветной мавр высокой кондиции. Но теперь он предстал перед изумленными островитянами весь обмазанный красным суриком, с головы до пят покрытый эфиопским боевым узором. Даже самый опытный глаз не мог бы сейчас отличить этого вертлявого плута от любого обычного эфиопа.

Коку Коки покачнулся на бочке сперва вправо, потом влево, разинул свою широкую пасть и громогласно изрек странные слова, которые восхищенный корреспондент «Нью Йорк Таймс» тотчас записал в свой блокнот:

– Отныне мы свободные эфиопы, объявляю всем благодарность!

Никто в толпе эфиопов не мог понять, почему и за что именно Коку Коки объявлял им свою благодарность. Тем не менее вся огромная человеческая масса ответила ему изумительно громовым «ура!»

Это «ура!» в течение нескольких минут неистовствовало над островом, пока его не оборвал новый возглас Коку Коки:

– А теперь, братья, ступайте приносить присягу!

Пришедшие в восторг от новой идеи эфиопы вразнобой загалдели:

– Так кому же мы будем теперь присягать?

И Коку Коки величественно обронил:

– Мне!

На сей раз остолбенели от изумления мавры, но их замешательство было недолгим. Первым опомнился от оцепенения сам бывший главнокомандующий Рики Тики Тави.

– А ведь каналья прав! – воскликнул он. – Это как раз то, что нам сейчас нужно. Пройдоха попал в самое яблочко! – и подал пример, первым же низко склонился над новоявленным вождем народа.

Мавры подхватили Коку Коки на руки и высоко подняли его над толпой.

Целую ночь по всему острову ярко пылали веселые огни, бросая отблески в высокое небо. Вокруг них повсюду плясали ликующие эфиопы, празднуя установленные свободы. Они совершенно опьянели от радости и от огненной воды, каковую щедрый Коку Коки повелел выдавать всем без ограничения.

Радисты проплывавших мимо кораблей встревоженно шарили в эфире, тщетно пытаясь уловить какую либо весть с острова. На кораблях собирались уже было на всякий случай для порядка хорошенько обстрелять остров, но тут весь цивилизованный мир успокоился радиogramмой, поступившей, наконец, от специального корреспондента «Нью Йорк Таймс».

«Большой сабантуй. Точка. Болваны на острове празднуют национальный праздник байрам. Точка. Пройдоха оказался гениален. Точка.»

## 5. Мятеж

События, меж тем, развивались стремительно и, в результате, политическая обстановка на острове очень скоро вновь стала крайне напряженной. Еще в первый день своего правления Коку Коки, стремясь угодить эфиопам, переименовал остров в Красный или Багровый в честь эфиопской красной расцветки. Но эфиопы оказались равнодушны к славе и на них не произвело никакого впечатления сие переименование, зато оно вызвало недовольство среди мавров.

На другой день Коку Коки решил угодить маврам и официально утвердил одного из них, а именно того же Рики Тики Тави, во вновь восстановленной должности верховного главнокомандующего. Однако, маврам он отнюдь не угодил этим, а лишь вызвал у них зависть и склоку, поскольку каждый из них сам был бы не прочь заполучить такую должность. А эфиопскую общественность возмутил уже сам факт возвышения одного из мавров.

Тогда на третий день наш герой принял решение угодить самому себе, соорудив с этой целью из пустых консервных банок новый персональный головной убор и водрузил его на свою голову. Получилось очень красиво и как две капли воды походило на царскую корону незабвенного Сиси Бузи. Но эта акция вызвала уже всеобщую оппозицию: мавры были убеждены, что лишь кто либо из них может быть достоин такой короны, а эфиопы, будучи к тому же деморализованы обильным употреблением огненной воды, выступали против короны вообще, усматривая в этом реставрацию монархии. Недаром у них до сих пор начинали чесаться спины при одном воспоминании о том, как покойный Сиси Бузи, по его любимому выражению, «приводил их к общему знаменателю».

Тем не менее, пока огненной воды хватало, никакие оппозиции и фракции не могли всеерьез поколебать авторитет вождя. Вспомним, что когда островитяне приносили ему присягу, Коку Коки торжественно провозгласил основной программный принцип нового строя: «Огненную воду каждому по потребности!» Поэтому главной задачей и венцом государственной деятельности Коку Коки являлось – обеспечить страждущих огненной водой. И вот тут то он и провалился, так как оказался не в состоянии выполнить намеченную программу. Объяснялось это очень просто: если теперь огненную воду могли получить все по потребности, то потребности эти все росли и росли и оказались ненасытными, но откуда же пополнять запасы? Чтобы найти выход из надвигающегося кризиса, Коку Коки приказал перегнать на огненную воду весь годовой урожай маиса. Но и этого хватило ненадолго и в то же время это мероприятие ударило по желудкам как эфиопов, так и мавров: урожай пропили быстро, и если мавры кое что сохраняли еще в запасе, то эфиопам вскоре уже нечего было ни пить, ни есть, кроме

дождевой воды и лесных кокосов. В стране бурно росло всеобщее негодование и политическая обстановка обострилась до предела. Авторитет правителя рухнул и сам он отныне укрывался от разъяренных соотечественников в своем вигваме, где отлеживался в полном бездействии.

И вот в один прекрасный день в вигваме верховного главнокомандующего Рики Тики Тави неожиданно появился некий эфиопский посланец с коварно бегающими глазками подстрекателя и смутьяна. Командарм в это время как раз был занят важным делом и не расположен к аудиенциям: он пил огненную воду и с хрустом загрызал ее жареным молочным поросенком.

– Чего тебе, эфиопская морда, здесь надо? – с досадой спросил он, отрываясь от своего занятия.

Эфиоп пропустил комплимент в свой адрес мимо ушей и сразу приступил к сути.

– Ну как же это так, – начал он свою демагогию. – Так дело не пойдет. Для вас, значит, водка и поросятина, а для нас... Это что же получается – опять как при старом режиме?

– Ах, так... Поросятинки тебе тоже, говоришь, захотелось? – мрачно, но все еще сдерживая себя, спросил старый вояка.

– Ну, а как же? Ведь эфиопы тоже люди! – дерзко ответил эфиопский представитель, нахально переминаясь при этом с ноги на ногу.

Доблестный Рики Тики Тави не мог далее вынести подобной наглости. Славный воин одним рывком ухватил за хрустящую ногу поросенка, развернулся и со всего размаху так двинул им в зубы незадачливому посетителю, что все кругом полетело: из поросенка брызнул и полетел во все стороны жир, изо рта у эфиопа – кровь, а из глаз его посыпались слезы вперемежку с зелеными искрами.

– Вон! – рявкнул командарм и на том окончил дискуссию.

Мы не знаем, что предпринял злополучный эфиопский смутьян, возвратившись к своим, но доподлинно известно, что к вечеру весь багровый остров гудел, как потревоженный пчелиный улей. А ночью с проходившего мимо фрегата «Ченслер» внезапно увидели в районе южной бухты вздымавшееся в двух местах огненное зарево. И в эфир полетела с фрегата радиодиаграмма:

«Огни на острове точка По всей вероятности эти эфиопские ослы опять загуляли точка Капитан Гаттерас».

Увы, бравый капитан ошибся. То не праздничные огни горели. Это полыхали жарким пламенем вигвамы мятежных эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики Тики Тави.

На утро огненные столбы сменились одними дымами и было их теперь не два, а уже девять. На следующую ночь косматое пламя пожарищ свирепствовало уже в шестнадцати местах. Газеты Парижа и Лондона, Рима и Нью Йорка, Берлина и других городов пестрели в эти дни крупными, кричащими заголовками:

– Что же происходит на Багровом Острове?

И тогда весь мир был ошеломлен зловещей телеграммой, поступившей, наконец, от известного своей оперативностью спецкора «Нью Йорк Таймс»:

«Уже шестой день горят вигвамы мавров точка Огромные полчища эфиопов... (неразборчиво) Пройдоха Коку Коки сдел... (далее неразборчиво)».

А днем позже мир был потрясен новой сенсационной телеграммой, которая поступила уже не с острова, а из одного из европейских портов:

«Эфиопы устроили грандиозный мятеж точка остров в огне точка вспыхнула эпидемия чумы точка горы трупов точка пятьсот авансу точка корреспондент».

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОСТРОВ В ОГНЕ

### 6. Таинственное каное

Прошло еще несколько дней. Когда вдруг – рассвет едва начал брезжить – часовые на европейском побережье заметили в предутренней мгле какое то подозрительное движение и подали тревожный сигнал:

– Неизвестные корабли на горизонте!

Лорд Гленарван вооружился подозрительной трубой и, выйдя вместе со всеми на берег, долго всматривался в приближавшиеся черные точки.

– Не могу понять, – промолвил наконец джентльмен, – но все это выглядит так, словно это каноэ дикарей.

– Гром и молния, – воскликнул Мишель Ардан, опуская свой бинокль, – ставлю вашингтонский доллар против измочаленного и рваного рубля выпуска 1923 года, что это мавры!

– Да, это так, – подтвердил профессор Паганель.

Когда каноэ подошли к берегу, оказалось, что Ардан и Паганель были правы.

– Что все это значит? – спросил вылезавших на берег мореходов благородный лорд, впервые в своей жизни испытывая крайнее удивление.

Вместо ответа неожиданные пришельцы разразились рыданиями. У них был настолько несчастный вид, что на них было жалко смотреть. Лишь после того, как мавры несколько пришли в себя и чуть чуть отдышались, они оказались в состоянии рассказывать.

Из обрывочных, бессвязных слов этого жуткого рассказа вставала ужасная картина событий на багровом острове. Полчища эфиопов... Проклятые подстрекатели разагитировали этих болванов и натравили их... Наглые требования: всех мавров – к черту!.. Снаряженная Рики Тики Тави карательная экспедиция разбита в пух... Пройдоха Коку Коки сбежал первым на своем персональном каноэ... Остатки карательной экспедиции во главе с Рики Тики Тави, спасая собственную жизнь, вынуждены были погрузиться на эти утлые суденышки, пересекли океан и прибыли к своему старому знакомому – лорду, чтобы просить убежища.

– Сто сорок чертей и одна ведьма! – разразился хохотом Ардан. – Они хотят спрятаться в Европе. Скорее – о?

– А кто будет содержать и кормить всю эту братию? – ужаснулся Гленарван. – Нет, вы должны вернуться на свой остров.

– Ваше сиятельство, да ведь мы теперь даже носа туда сунуть не можем, – жалобно заныли мавры, – эфиопы всех нас поубивают. Да и крова мы лишились: наши вигвамы обращены в дым и пепел. Вот если бы послать на остров ваши вооруженные силы, чтобы расправиться с этой дрянью...

– Благодарю вас за предложение, – возразил им лорд с изысканной иронией, – нашли дураков. – Он достал из портфеля и показал маврам газету с телеграммой корреспондента. – У вас там во всю свирепствует эпидемия, а любой из моих матросов стоит больше, чем весь ваш паршивый остров.

– Ой, как верно вы изволили выразиться, ваше превосходительство, – угодливо залебезили перед Гленарваном новоиспеченные иммигранты. – Известное дело, все мы и дерьма никакого не стоим. А что касается чумы, то мистер корреспондент описал все точно, как есть. Эпидемия разрастается и голод тоже...

– Так, так, – промолвил лорд после некоторого размышления. – Ну, что ж... Ладно. Будем посмотреть... – и он скомандовал беглецам:

– А ну, марш всем в карантин!

## 7. Иммигрантские страдания или гостеприимство по джентльменски

Никаким пером не описать тех неисчислимых мучений, что пережили горемычные мавры, будучи гостями благородного лорда. Уж чего только они не натерпелись! В иммиграционном карантине их, первым делом, промыли с головы до пят в крепком растворе карболки. До последних дней своей жизни никто из них не мог забыть эту едучую карболовую ванну! Затем всех их загнали в какую-то ограду, напоминающую загон для ослов, где бедняги и жили томительно долгое время. Карантинным властям было заботливо предписано установить несчастным беженцам продовольственное довольствие с таким расчетом, чтобы они не могли умереть с голоду. Но поскольку определить точную норму по такой методике было невозможно (тем более, что у каждого карантинного работника были свои родные и знакомые), то стоит ли удивляться, что за время пребывания в карантине добрая четверть мавров отдала богу свои души.

Когда, наконец, сочли, что иммигрантов уже в достаточной мере помариновали в карантинном загоне, лорд Гленарван столь же заботливо занялся их трудоустройством.



– Даром жрать наш хлеб эта банда не будет, – проворчал он и распорядился всех оставшихся в живых после карантина мавров отправить на работу в каменоломни вновь открытого гранитного карьера. Здесь они и трудились, повышая свою квалификацию под руководством опытных наставников, снабженных бичами из туго сплетенных буйволовых жил.

## 8. Мертвый остров

Все корабли получили жесткий приказ – на пушечный выстрел не приближаться к острову, который был объявлен зоной карантина. Капитаны строго придерживались этого запрета. Ночами издали было видно иногда слабо мерцавшее на острове сияние, а днем порывы ветра порой доносили оттуда черный дым и стойкое зловоние. Трупный смрад стлался над голубыми волнами.

– Да, острову капут, – говорили между собой матросы, разглядывая в подзорные трубы коварные зеленые берега этого, некогда столь приветливого клочка земли.

Вести о положении на острове доходили и до мавров. Обратившись на лордовых харчах в бледные тени, они уже не ходили, а лишь семенили по своей каменоломне. Но теперь каждое новое известие о трагедии Красного Острова вселяло в них злорадное оживление.

– Так им, подлецам, и надо! Чтоб они передохли там, эфиопские скоты, все до одного! А когда они там попоколевают, мы снова возвратимся туда и овладеем своим островом. И этому пройдохе Коку Коки, как поймаем, то своими руками повыпускаем кишки одну за другой...

Лорд Гленарван хладнокровно продолжал сохранять невозмутимое молчание.

## 9. Засмоленная бутылка

Волны прибоя выплеснули ее на европейское побережье. Бутылку тщательно обработали карболкой и, в присутствии самого лорда, вскрыли. Внутри нашли бумажку, исписанную эфиопскими каракулями. Опытный переводчик, разобравшись с трудом в этой грамоте, вручил ее Гленарвану. Это был отчаянный призыв о помощи.

«Мы умираем от голода. Маленькие дети погибают. Чума все еще свирепствует. Разве мы не люди? Пришлите на остров хлеба! Ваши, любящие вас эфиопы».

Рики Тики Тави, узнав о бутылочной почте с острова, даже позеленел от злости и с воплем бросился к лорду.

– Ваша светлость, бога ради! Да пусть они там подышают! Это после того, как они посмели бунтовать, их же еще и снабжать хлебом...

– Я отнюдь не намерен этого делать, – холодно возразил лорд и вытянул бывшего командарма хлыстом вдоль хребта, дабы он впредь не совался со своими непрошенными советами.

– Собственно говоря, это уже свинство, – процедил сквозь зубы Мишель Ардан, – можно было бы послать хоть немного маиса...

– Весьма благодарен вам за ваш совет, мсье, – сухо отрезал Гленарван, а кто должен платить за это мне? И без того этот мавританский сброд скоро сожрет у нас все до крошки. Я бы рекомендовал вам, мсье, воздержаться впредь от подобных глупых советов.

– Вы так полагаете, сэр? – протянул француз, иронически прищуриваясь. – В таком случае вы меня чрезвычайно обяжете, если укажете удобное время вам для нашей встречи у барьера. И клянусь вам, мой дорогой сэр, что с двадцати шагов я влуплю пулю в ваш благородный лоб с той же точностью, как в Собор Парижской Богоматери.

– К моему сожалению, я не могу поздравить вас, мсье, если вы будете в двадцати шагах от меня, – отвечал лорд, – ибо тогда ваш вес увеличится как раз на вес той пули, которую я буду вынужден всадить вам в глаз.

Секундантом лорда на дуэли был сер Филеас Фогг, секундантом Ардана – профессор Паганель. В результате вес Ардана остался без изменения. Выстрел же Ардана был результативней лордовского, только поразил он не лорда, а одного из мавров. Мавры засели в окружающих кустах и с любопытством наблюдали оттуда за ходом поединка двух благородных мужей. Пуля Ардана как раз и угодила точно между глаз одному из этих любопытных зрителей. Бедняга испустил дух, не приходя в сознание.

Мишель Ардан и лорд Гленарван обменялись рукопожатиями и оба джентльмена с достоинством разошлись.

А жертву дуэли по быстрому закопали здесь же в кустах.

Так завершился сей драматический поединок, но история с засмоленной бутылкой имела неожиданное продолжение. Оказалось, что в каменоломнях далеко не все разделяли взгляды Рики Тики Тави. Нашлись и свои смутьяны, которые совсем по другому восприняли призыв с Красного Острова. В ближайшую же ночь пятьдесят мавров совершили дерзкий побег из карьера, сели в каноэ и покинули европейские берега, оставив лорду исключительное по своей наглости послание:

«Благодарим вас всех за карболку и за чутких наставников с их учебными пособиями из буйволовых жил. А ты, буржуй, проклятый лорд, еще попадешься нам, и тогда мы тебя еще не так поблагодарим. Уж мы тебе ноги из ж... повыдергиваем! А сейчас мы возвращаемся на наш остров, чтобы помириться и побрататься с эфиопами. Лучше на родине от чумы протянуть ноги, чем здесь издыхать от твоей протухшей солонины. С общим приветом – мавры».

Покидая европейские берега, мавры прихватили с собой в дорогу подзорную трубу, сломанный пулемет, сто банок сгущенного молока, шесть блестящих дверных ручек, выломанных заранее, десять револьверов и двух белых женщин.

Лорд Гленарван приказал выпороть подряд всех оставшихся мавров и аккуратно записал в свою записную книжку стоимость всех похищенных беглецами предметов.

## 10. Сенсационная депеша

Прошло шесть лет. Изолированный карантин от всего мира остров был забыт. Проплывавшие время от времени мимо моряки видели в свои бинокли только пышно растущую зелень на пустынном побережье, отдельные скалы и развалины пожарищ вдали.

Семь лет необходимо было выждать для того, чтобы очаг эпидемии погас сам собой и остров вновь стал безопасен. К исходу седьмого года на остров должна была прибыть экспедиция, которая провела бы разведку и подготовила бы условия для обратного переселения мавров, чтобы вновь заселить и колонизировать эту землю. Сами же мавры, исхудавшие как скелеты, пока все так же томились в каменоломнях лорда Гленарвана.

Но в самом начале седьмого года цивилизованный мир вдруг был потрясен совершенно неожиданной сенсационной радиограммой. Радиостанции Америки, Англии и Франции приняли ночью депешу следующего содержания:

«Чума прошла. Благодарение богу живы и здоровы, чего и вам желаем. С уважением ваши эфиопы».

На следующее утро газеты Америки и Европы вышли под огромными заглавиями:

«Остров радирует! Таинственная депеша! Живы ли на самом деле эфиопы?»

– Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки, – зарычал Мишель Ардан, узнав о содержании таинственной депешы с красного острова, – меня поражает не то, что они там выжили, а то, что они еще рассылают радиограммы. Уж не сам ли сатана соорудил для них радиопередатчик?

Известие с острова повергло лорда Гленарвана в глубокую задумчивость. А мавры были совершенно растеряны. Рики Тики Тави назойливо умолял лорда:

– Ваша милость, теперь остается только одно: прикажите, как можно скорее, отправить экспедицию, а то что же получается? Остров принадлежит ведь нам. Сколько мы еще будем здесь париться.

– Будем посмотреть, – отвечал, не спеша, лорд.

## 11. Капитан Гаттерас и таинственный баркас

В один прекрасный майский день на горизонте перед Багровым Островом возник дымок корабля и вскоре на рейде бросил якорь фрегат. Капитан Гаттерас по приказу лорда Гленарвана прибыл сюда на разведку. Ванты и реи корабля были усеяны матросами, с любопытством вглядывавшимися в берег. Их взорам открылась следующая картина: на спокойных водах колыхалась целая флотилия с иголки новеньких, видимо, только что построенных, каноэ. Над

этой легкой флотилией возвышался какой то неизвестный, неведомо откуда взявшийся, баркас. В то же время разъяснилась и загадка радиogramм. Из изумрудной зелени тропического леса вздымалась вверх антенна примитивно сделанного радиоприемника.

– Тысяча чертей, – вскричал капитан, – эти болваны соорудили здесь какую то кривую мельницу!

Матросы захохотали и наперебой стали отпускать шуточки по поводу этого нескладного детища эфиопской творческой мысли.

От корабля отвалила шлюпка и доставила капитана с несколькими матросами на берег.

Первое, что бросилось в глаза отважным мореплавателям и произвело на них сильное впечатление, это то, что повсюду виднелись огромные массы эфиопов. Остров, казалось, кишел ими. При том не только взрослые, но и огромные толпы подростков окружали капитана. У самого берега расположились с удочками целые гирлянды упитанных эфиопских малышей, непринужденно болтавших в воде своими толстыми ножками.

– Черт меня побери, – вне себя от изумления воскликнул капитан, – но похоже на то, чума капитально пошла им впрок! А эти карапузы выглядят так, словно их каждый день кормят геркулесовой кашей! Ну хорошо, посмотрим дальше...

Далее их весьма поразил старый баркас, стоявший у берега в бухте. Опытному моряку достаточно было одного лишь взгляда на это суденышко, чтобы убедиться в том, что баркас строился на одной из европейских верфей.

– Это мне не нравится, – процедил Гаттерас сквозь зубы, – если только они не украли где нибудь эту дырявую калошу, то, значит, какая то каналья во время карантина тайно посещала остров и сумела установить связи с этими обезьянами. Ох, сдается мне, что баркас не иначе, как германский! – И обернувшись к эфиопам, громко спросил: – Эй, вы, краснокожие черти! Где это вы сперли вон ту посудину?

Эфиопы ответили лукавыми ухмылками, показывая при этом свои белые, как жемчуг, зубы. Но беседовать на эту тему они явно не желали.

– Что, вы не хотите отвечать? – капитан нахмурился. – Ладно, сейчас я сделаю вас более разговорчивыми.

С этими словами он решительно направился к баркасу, но эфиопы решительно преградили ему и матросам путь.

– Прочь с дороги! – прорычал капитан, привычным движением хватаясь за задний карман, отягощенный увесистым кольцом.

Но эфиопы и не думали уступать. В мгновение ока Гаттерас и его матросы были зажаты в плотной толпе. Шея капитана густо побагровела. И тут как раз он заметил в толпе одного из тех мавров, что столь дерзко сбежали в свое время из каменоломни.

– Смотрите ка, старый знакомый! – воскликнул Гаттерас. – Ага, теперь знаю, что здесь подстрекатели. А ну, иди ка сюда, грязная образина!

Но грязная образина даже не шевельнулась в ответ, а только нагло прокричала:

– Моя не пойдет!

Взбешенный капитан Гаттерас с проклятиями озирался вокруг и его фиолетовая, налившаяся кровью шея составляла красивый контраст с белыми полями пробкового тропического шлема. В руках многих эфиопов он увидел теперь ружья, весьма напоминавшие карабины германского образца, а один из мавров был вооружен похищенным у лорда Гленарвана параллелумом.

Лица матросов, обычно столь лихих и дерзких, сразу побледнели. Капитан бросил отчаянный взгляд на черно синее небо, а затем на рейд, где вдали покачивался на волнах его фрегат. Оставшиеся на борту матросы спокойно прохаживались по палубе и явно не подозревали о грозной опасности, которой подвергался их капитан.

Гаттерас сделал над собой невероятное усилие и взял себя в руки. Шея его постепенно вновь приобрела нормальный цвет – угроза апоплексического удара на сей раз миновала.

– Пропустите меня обратно на мой корабль, – необыкновенно вежливо попросил он охрипшим голосом.

Эфиопы расступились, и капитан Гаттерас со своими матросами ретировались на корабль. Через час с рейда послышался грохот цепей поднимаемого якоря, а еще через час на горизонте залитого солнцем моря было видно только маленькое облачко стремительно удалявшегося дыма.

Потрясенный пережитым, бравый капитан всю обратную дорогу без просыпу пил горькую. На подходе к европейскому побережью он с пьяных глаз посадил свой фрегат на мель, за что и был снят суровым лордом с командования кораблем и разжалован в рядовые канониры.

## 12. Непобедимая армада

В бараках мавров у каменного карьера происходило нечто неопишное. Они издавали потрясающие душу победные клики и буквально ходили на головах.

В этот день им целыми ведрами выдавали первоклассный золотисто желтый бульон, от которого они не могли оторваться. Ни на ком больше не было видно прежних грязных лохмотьев, каждый получил красные ситцевые штаны, а также сурик для наведения боевой раскраски. Перед бараками возвышались составленные в пирамиды скорострельные винтовки и пулеметы.

Но Рики Тики Тави превосходил всех своим наиболее впечатляющим видом. В носу его блестели кольца, волосы на голове были украшены разноцветными перьями. Лицо сияло как у коверного рыжего на арене цирка. Он носился повсюду как шальной, без усталости повторяя одно и то же:

– Прекрасно, прекрасно, прекрасно! Ну теперь вы у меня попляшете, мои милые! Еще немножко, и мы будем у вас. Эх, только бы до вас добраться!.. – он производил своими пальцами такое движение, словно вырывал у кого то глаз.

– Становись! Смирно! Ура! – вопил он беспрерывно и носился взад и вперед перед строем своих отяжелевших от бульона красавцев.

В порту уже стояли под парами три броненосных крейсера, которые должны были принять на борт сформированные из иммигрантских вояк батальоны. В этот момент случилась непредвиденная заминка, приковавшая всеобщее внимание. Перед уже изготовившимся к посадке строем вдруг откуда ни возьмись возникла оборванная исхудалая фигура с коротко подстриженной головой. Озадаченные мавры, всмотревшись пристальнее в странную фигуру, неожиданно узнали в ней ни кого иного, как самого, бесследно исчезнувшего Коку Коки. Да, это был он, собственной персоной! Бывший всемогущий диктатор багрового острова, пользовавшийся столь всеобщим и увыв, столь кратковременным обожанием своих соотечественников после бегства с острова, оказывается, скрывался инкогнито, покрытый рубищем, в толпе прочих беженцев или же слоняясь вокруг каменоломен. Как преходящая земная слава!

И теперь он имел наглость появиться перед строем мавров и с льстивой улыбкой принялся канючить:

– Что же это, братья, меня вы уже совсем забыли, что ли? А ведь я такой же, как и вы, мавр. Возьмите меня с собой на остров, я вам еще пригожусь!..

Но до конца он не договорил. Рики Тики Тави, весь позеленев, рывком выхватил из за пояса широкий, острый нож.

– Ваше преосвященство, – от волнения командарм никак не мог вспомнить подходящий титул, – Ваше... Ваше премногоздравие, – дрожащими от ярости губами, наконец, выговорил он, обращаясь к лорду Гленарвану, – этот... да, вон тот, это же и есть тот самый Коку Коки, из за которого весь шурум берум, вся эта... ихняя эфиопская революция заварилась! Ваше блестящее сиятельство, дозвоьте, бога ради, я ему своими руками секир башка сделаю!

– Это ваши внутренние дела, а мы в них не вмешиваемся. Впрочем, если это вам доставит удовольствие, пожалуйста, я не против, – добродушно, с отеческой лаской в голосе ответил ему лорд. – Только давай по быстрому, чтобы не задерживать посадку на корабли.

– Моя шустро делать, – радостно вскричал главнокомандующий и Коку Коки успел только чуть пискнуть, как Рики Тики одним мастерским ударом раскроил ему горло от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан обошли торжественно весь строй и лорд произнес напутственную речь:

– Вперед, на усмирение эфиопов! Мы будем помогать огневой поддержкой нашей корабельной артиллерии. По завершению похода все получают денежное вознаграждение.

Грянул военный оркестр и под его бравурные звуки все доблестное воинство полезло на корабли.

### 13. Неожиданный финал

И вот наступил долгожданный день, когда Красный Остров, словно чудесная жемчужина в океане, предстал перед взорами наших мореходов. Суда встали на якоря и высадили на берег отряды вооруженных до зубов мавров. Рики Тики Тави, преисполненный боевым духом, выпрыгнул первым на прибрежный песок и, размахивая саблей скомандовал:

– Орлы, за мной!

И мавры посыпались, вслед за ним, из десантных шлюпок на берег.

И тогда произошло следующее. По всему острову, словно из под земли, поднимались навстречу непрошенным гостям вооруженные бойцы. Эфиопы решительно наступали сомкнутыми рядами. Их было так много, что зеленый от буйных тропических зарослей остров в мгновение ока превратился в действительно багровый, словно оправдывая свое название. Огромные массы надвигались на пришельцев со всех сторон и над этим красным океаном вздымался, колыхаясь, густой лес штыков и копий. И этот грозный океан отнюдь не представлял собою стихии, он был строго организован – то тут, то там виднелись в нем подобные буграм вкрапления – решительные командиры отдельных подразделений. В них без труда можно было опознать тех самых отчаянных беглецов, что столь дерзко ускользнули некогда из каменоломен лорда Гленарвана. Командиры мавры, как и их войны, все были в багровом эфиопском боевом снаряжении и грозно потрясали револьверами. По выражению их лиц и по жестам было ясно, что терять им нечего. Они ничего не хотели знать, кроме боевого призывного клича: «Вперед!» На что эфиопы столь же единодушно отвечали с таким ревом, что кровь стыла в жилах: «Вперед! Бей их, собачьих детей!»

И, когда противники, наконец, сошлись, то все увидели, что иммигрантская рать во главе с Рики Тики Тави не более, чем щуплый островок, захлестываемый со всех сторон бурлящим красным океаном.

– Клянусь рогами сатаны, – ужаснулся Мишель Ардан, стоявший вместе с лордом на флагманском мостике, – ничего подобного я никогда еще не видел!

– Да они в момент сбросят этих наших парней назад в море! – добавил сэр Филеас Фогг.

– Прикрыть немедленно наш десант заградительным артогнем! – приказал лорд Гленарван и вновь прильнул к линзам бинокля.

Капитан Гаттерас – ныне канонир на флагманском крейсере – тотчас повиновался и четырнадцатидюймовое орудие, извергая огонь, грозно гаркнуло. Но поскольку капитан фрегата успел уже с раннего утра основательно приложиться к фляжке с ромом, то эффект выстрела получился не совсем таким, на какой рассчитывали. Снаряд сделал значительный недолет и, вместо того, чтобы врезаться в густые эфиопские ряды, ударил аккуратно в стык обоих противников. Мощный взрыв разметал в клочья 25 эфиопов и 40 мавров. Второй выстрел оказался еще более эффектен: 50 эфиопов с одной стороны и 130 мавров лорда Гленарвана с другой стороны.

Третьего выстрела уже не последовало.

Лорд Гленарван, наблюдавший в бинокль изумительные результаты артиллерийской поддержки, которую оказывал его маврам храбрый капитан, изрыгнул такое проклятие, каких и не найдешь ни в одном, даже оксфордском словаре. Он швырнул на палубу свой бинокль, схватил, подбежав, Гаттераса за горло и оттолкнул его от пушки.

– Что вы делаете, пьяная скотина! – прорычал лорд, – вы же лупите по маврам, черт бы вас побрал! Я семь лет дрессировал эту банду для своих целей, а вы мне ее за семь минут всю перебьете!

А бедняги мавры в это время, получив от капитана Гаттераса два столь веселых гостинца, были охвачены небывалым смятением. Ряды их были поколеблены, отовсюду неслись стоны и проклятия. Жалобные стенания и ругательства слились в один сплошной рев.

Рычал и ревел, тщетно пытаясь перекрычать своих подчиненных, и сам Рики Тики Тави. Вокруг него все словно кипело в каком то диком водовороте. Но вот из этого водоворота выделилось искаженное ненавистью лицо одного из рядовых воинов. Он подскочил к растерявшемуся командиру и с пеной у рта выкрикнул ему прямо в лицо:

– Ну что, докомандовался? Сначала ты заманил нас к лорду в гости и сдал всех ему в каменоломни. Там нас семь лет терзали, сколько там наших костей осталось? А теперь что? Хочешь и остальных угробить?! Впереди эфиопы, позади пушки!! Ааа ах!

Он взмахнул своим ножом и уверенным движением всадил его обанкротившемуся вождю точно между пятым и шестым ребром слева.

– Помо... – со стоном выдавил из себя командарм, – ...гите! – Закончил он уже на том свете.

– Ура! – дружно воскликнули при виде этой сцены эфиопы.

– Мы сдаемся! Ура! Братья, мы заключаем мир! – вопили с энтузиазмом мавры, крутясь в бушующих волнах эфиопского прибоа.

– Ура! – радостно отвечали эфиопы.

И все смешалось друг с другом в какую то невообразимую кашу.

– О, холера, дьявол, гром и молния! – неистовствовал Мишель Ардан, не в силах оторваться от бинокля. – Пусть меня повесят на осине, если эти болваны там не мирятся!!! Смотрите же, сэр, они братаются друг с другом!

– Я вижу, – ледяным голосом ответил лорд. – Но мне хотелось бы знать, каким образом мы сможем теперь возместить все наши убытки по содержанию и прокормлению этой орды?

– Ах, послушайте ка, дорогой сэр! – дружелюбно промолвил вдруг француз, – ничем вы не сможете здесь поживиться, кроме тропической лихорадки. И, вообще, я бы советовал вам, сэр, кончать всю эту волюнку и, не теряя времени сниматься с якоря... Поберегитесь! – Внезапно оборвал он себя на полуслове и резко пригнулся. Лорд машинально последовал примеру Ардана. И как раз вовремя – целая туча эфиопских стрел, вперемежку с мавританскими пулями, пронеслась прямо над их головами.

– Дайте им как следует! – проревел взбешенный лорд капитану Гаттерасу.

Гаттерас отбросил в сторону пустую уже фляжку из под рома, бросился к орудию и пустил в осмелевших противников новый снаряд. Он разорвался с большим перелетом, мощным взрывом вышибло зубы у гревшегося на солнышке крокодила, а осколками, как бритвой, срезало хвосты у двух мартышек. А объединенное войско мавров и эфиопов ответило новой тучей стрел, которые оказались гораздо точнее нацеленными. На глазах у лорда семь матросов, скончавшись, рухнули на палубу и забились в судорогах. Лица их стали медленно покрываться подозрительными пурпурно красными пятнами.

– К черту с этой экспедицией! – загремел на мостике решительный голос Ардана. – Отчаливайте, сэр! Вы что, не видите – у этих парней отравленные стрелы! Или вы хотите приволочь с собой на хвосте чуму в Европу?

Благородный лорд, стиснув кулаки, разразился градом проклятий, которые мы совершенно не в состоянии здесь привести.

– Всыпать им еще на прощание! – прошипел он сквозь зубы Гаттерасу.

Вконец окосевший от рома и от всего пережитого, артиллерист Гаттерас сделал как попало несколько прощальных выстрелов, и корабли снялись с якорей. Выпущенная с берега вдогонку новая туча стрел уже не достигла спешно удиравшую армаду.

Спустя полчаса корабли экспедиции уже плыли в открытом море. В пенящейся за кормой воде плыли семь трупов отравленных и выброшенных за борт матросов.

А остров окутался туманной дымкой, постепенно скрывшей его изумрудно зеленые берега.

#### 14. Последнее прости

Ночью тропическое небо над Красным Островом расцветилось, как никогда, многочисленными праздничными огнями. И с проходивших мимо кораблей полетели экстренные радиogramмы:

«На острове сабантуй небывалых масштабов точка По всему острову гонят шнапс из кокосовых орехов!»

Вслед за тем радиоантенны на Эйфелевой башне в Париже перехватили зеленые молнии, которые преобразились в аппаратах в слова неслыханной по своей дерзости телеграммы:

«Гленарвану и Ардану! Отмечая праздник нашего великого объединения, шлем с него вам, су... (неразборчиво) что мы на вас ложили... (непереводимая игра слов)... с пробормом... (неразборчиво) с нашим к вам почтением эфиопы и мавры».

– Отключить аппаратуру! – взревел Мишель Ардан.

Станция онемела. Зеленые молнии погасли, и что было дальше – никто не знает.

Первая републикация осуществлена в газете «Комсомолец Киргизии» 20.01.1988 Кацевым А.С.

## КЫРГЫЗСКАЯ ПЕЧАТЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ (историческая справка)

Если обратиться к истории, то в Киргизии Советская власть была установлена в конце 1917– начале 1918 гг. Она вошла в состав Туркестанской АССР, образовавшейся в апреле– мае 1918 года. До конца 1920 года Киргизия, как и весь Туркестан, оказалась в огне гражданской войны. Затем молодая республика приступила к восстановлению разрушенной экономики, созданию новых форм общественной жизни, большое внимание уделялось вопросам культуры. Однако если в учреждениях Туркестанской АССР создавались самостоятельные узбекский, туркменский отделы, то для казахов и кыргызов подобные учреждения были общими и назывались “казахско–кыргызскими”. В Ташкенте, а затем и в Верном был открыт казахско–кыргызский институт просвещения. А журналы и газеты “Жас кайрат”, “Тилши” выходили на казахско–кыргызском языке.

В октябре 1924 года в результате национального размежевания Средней Азии была образована Киргизская автономная область в составе РСФСР, которая в феврале 1926 года преобразовалась в Автономную республику. Все это способствовало консолидации кыргызского народа в нацию, социальному и культурному развитию. Важную роль в этом процессе играла печать.

7 ноября 1924 года вышло первое периодическое печатное издание на кыргызском языке – газета «Эркин–Тоо». Трудно переоценить значение этого события в становлении и развитии национальной культуры. Первыми журналистами страны стали политические и общественные деятели, представители науки и культуры тех лет. Первым редактором газеты был Осмонкул Алиев, в последующем работавший народным комиссаром просвещения Кирг. АССР. На страницах первой кыргызской газеты «Эркин–Тоо» печатались С. Карачев, К. Тыныстанов, И. Арабаев, М. Элебаев, Т. Джоллодошев, и др. В подготовке к печати первых номеров газеты активное участие принимали киргизские студенты, обучавшиеся тогда в учебных заведениях Ташкента А. Токомбаев, Х. Карасаев.

Заголовок первого номера «Эркин–Тоо» гласил, что газета, рожденная седьмой годовщиной Великой Октябрьской революции, является «ядром киргизского государства». А в обращении к читателям, подчеркивается, что роль газеты важна именно сейчас, когда кыргызский народ получил автономию. Причем газета обещала читателям, что будет писать не только о деятельности правительства, но и будет сообщать правительству о положении народа. Создатели считали, что газета должна стать орудием борьбы с темным, невежественным миром, который, по их мнению, со всех сторон окружает простой киргизский народ. А сообщения о деятельности мирового, российского, среднеазиатского рабоче–крестьянского движения должны были стать, своего рода, методическими указаниями для киргизских бедняков и дехкан.

В статье «Эркин–Тоо. Кыргызский народ» И. Арабаев ученый–просветитель, автор нового кыргызского алфавита на основе арабской графики, пишет, что так сложилась жизнь народа, что у кыргызов на первом месте «свобода», а на втором «горы». Но сколько пришлось пережить народу ради этой свободы и ради этих гор. Он не указывает на какие–то конкретные события, а лишь описывает перенесенные народом страдания и у читателя постепенно складывается картина тяжелого, временами трагического прошлого кыргызского народа. А теперь рабоче–крестьянское правительство и коммунистическая партия отдает в народные руки эти долгожданные «свободу и горы». И. Арабаев спрашивает у читателей, какое будущее у народа, у которого нет свободы и нет гор, и призывает народ следовать за путеводителем новой жизни газетой «Эркин–Тоо».

В своих выступлениях «День великого октября» и «Об учении и народных школах» С. Карачев, один из основателей кыргызской профессиональной прозы, первый ответственный секретарь газеты «Эркин–Тоо», напоминает, что Великая октябрьская революция дала «угнетенным народам свободу, судьба народа в его собственных руках и в этот момент весь кыргызский народ должен в едином потоке устремиться к учению и знаниям. Молодые люди, учившиеся в таких городах как Алма–Ата, Ташкент обучают детей в школах, открывающихся в каждом селе. Нас радуют любые народные начинания в деле просвещения». Но автор



подчеркивает, что «мы еще далеки от намеченного». Так он пишет об отсутствии элементарных условий в школах, что многие из них построенные «силой революции» и сделанные кое-как и до сегодняшнего дня остаются хлевом («ат-кепе»). Сыдык Карачев с сожалением пишет, что нет тех, кто мог бы рассказать народу о пользе учения, нет людей, способных повести за собой, заинтересовать и изменить отношение простых людей к учению. Он открыто пишет о равнодушии руководителей сельских исполкомов и комитетов. Под школы отводятся зачастую заброшенные здания без крыши и если есть окна, то нет стекол, пни и кирпичи вместо парт и стульев. Карачев обращается к читателям с предложением, которое актуально и в наши дни: «расходы на тои, поминки, скачки, которые бытуют в народе, надо использовать в деле образования». Главной силой способной изменить ситуацию он считает молодых людей, выходцев из народа, получивших образование в учебных заведениях Алма-Аты и Ташкента: «Ваш долг быть в каждом деле впереди и показывать дорогу простому народу». И напоминает: «проявил халатность в деле образования сегодня, а завтра твоя участь хуже, чем у скотины на продажу!». Именно поэтому С. Карачев считает, что если для советского правительства вопросы учения, обучения являются третьеочередным «полем битвы», то для самого народа это первоочередное «поле для возделывания». Завершает статью призыв – направить всю решимость, смелость и ресурсы на образование.

Положение женщины в кыргызском обществе и вопросы их обучения также волновали авторов и создателей газеты «Эркин-Тоо». Так в редакционной статье «О равенстве женщин» отмечается, что если не уделять должного внимания решению этого вопроса, мы «не сможем ступить даже на последнюю ступень культуры». А надежды на изменения в жизни кыргызских девушек: возможность учиться, выбирать профессию и мужа, связаны с новым руководством области и коммунистической партией.

Как видим, основоположники отечественной журналистики считали главнейшей задачей печати – донести до народа, что после перенесенных бед и страданий, он обрел свою государственность, дальнейшая судьба народа в его собственных руках и только образование поможет сохранить наследие Октября. Каждая строчка в первой кыргызской газете «Эркин-Тоо» это призыв – участвовать в строительстве нового государства и новой жизни, а «успех строительства зависит от каждого».

## ЭШЕНААЛЫ АРАБАЙ УУЛУ

*Ишеналы Арабаев (1882–1933) – известный кыргызский ученый–просветитель, один из ярких представителей национальной интеллигенции. Однако попав в 1920–х годах в оппозицию официальному курсу государственного строительства, он был отстранен от активной политической деятельности и необоснованно репрессирован.*

*Наряду с просветительской деятельностью И. Арабаев занимается и политикой. В 1918 г. он возглавляет Пишпекский филиал партии «Алаш», оказывающей благотворительную помощь беженцам–кыргызам, возвращавшимся из Китая на родину. В 1920 г. И. Арабаев с другими кыргызскими представителями обращается с письмом «К товарищу Ленину лично», в котором сообщает о бедственном положении кыргызов горных уездов и просит уделить особое внимание беженцам. В 1921 г. он – делегат I–го съезда союза «Кошчи». В 1922 г. И. Арабаев был в Москве на IX Всероссийском съезде Советов. С 1922 г. он – зам. председателя Семиреченского союза «Кошчи», один из инициаторов создания самостоятельной Горной области кыргызов. В 1924 г. – председатель академического центра Кара–Киргизской области.*

*Дополненное и переработанное учебное пособие И. Арабаева по кыргызскому языку переиздается в 1925 г. В период борьбы за ликвидацию неграмотности большую роль сыграл его букварь для взрослых. В те же годы он создает учебные пособия для начальных классов по арифметике, природоведению, переводит на кыргызский язык начальный курс географии, значительное количество общественно–политической литературы, в том числе несколько работ В. И. Ленина. И. Арабаев был одним из инициаторов и авторов заявления так называемой «тридцатки» – первого серьезного документа, противостоящего официальному курсу укрепления всевластия партаппарата. В 1925 г. этот документ был направлен в ЦК РКП(б), Средазбюро и Киргизский обком партии. Ответом на заявление «тридцатки» явилось исклю-*

чение лидеров из партии и освобождение их от руководящей работы. И. Арабаев, имевший опыт преподавания в Среднеазиатском университете, остался работать рядовым преподавателем в республиканской совпартиколле и в медтехникуме. В 1933 г. он был арестован и обвинен в участии в политическом деле «Социал–туранской партии». 10 мая 1933 г. погиб в застенках ГПУ в Ташкенте. Лишь 9 июля 1958 г. И. Арабаев был реабилитирован.

## **ЭШЕНААЛЫ АРАБАЙ УУЛУ. ЭРКИН-ТОО. КЫРГЫЗ КАЛКЫ (СВОБОДНЫЕ ГОРЫ. КЫРГЫЗСКИЙ НАРОД)**

Канча жүз жылдан бери калк катарына кире албай асман айрырарлык жер кату болуп, жалгыз сыйынганы кара кылары тоо болуп, жайыкка чыкса жан жанындагы күчтүү улуттар канды суудай агызып, эркеги кул, катыны тул болуп келгени ар кимге анык белгилүү.

Ошол көргөн зордук–зоосбулуктардын арасында али күнчө маданияттан ыраак калып, батырап анан ошол учу кыйры жок башы асманга жеткен аркайган тоолордун арасына кирип баш калкалап эркин осүп ээси суйлоп келген. Тизилген берметтей болгон, кыркаар тартып катарлашкан калың тоолордун арасында туулуп, ошол тоолордун арасында аркар–кулжа, эчки–текелер менен бирге даң салып, чөптүн, гүлүн, жыгачтын, бүрүн, суунун тунугун, жаратылыш сыйлыгын кучкан кыргыз калкы сен элең... дегидей осүп, далагай тартып, бириң адырда, бириң шабырда, кайсың тоодо, кай бироо зоодо болуп, тондоосун осүп, тойос суйлоп же бир абдан чоң кысымчылыкта баш кошбосоң, же болбосо бир ашатыкта баш кошуп бири–бири менен аша үндөшө албай келген эл элең.

Кыздын ойну болгондо боз балдар эң мурун ошол “Эркин–тоо” дон баштап ырдоочу эле .

Эркин–тоо, эркин–тоо, эркин–тоо,  
Эркин–тоого мен чыксам,  
Эл карааны көрүнбөйт  
Көлдө жаткан көп өрдөк  
Ылаачын тийсе бөлүнбөйт.

Касабада кар жатат,  
Ботосу менен нар жатат,  
Жеңеси менен кыз жатат,  
Жеңесин өпсө жез татыйт  
Кызын өпсө алма шекер бал татыйт.

Мындын башка эң жакшы деп, макталган алардын баарында эркиндик тоо жөнүнөн келет.

Мындан чыкты кыргыздын көңүлүнчө эн кызык туюлуп, көзүнө эң сонун көрүнгөн нерсе эң мурун “эркиндик” экинчиси “тоо” экени. Ошол эркиндик хам “тоо”суна жөн койбос улам бир күчтүрөөгү келип мазасын алып, эң аягында, кече келип зулум(никалай)дын колуна түшүп, баягы эркиндик өнүп, тоо жөргөмүштүн түрүнө түшкөн чынында чырмалып, торлонуп кайран “эркиндик менен тоо” чыркырап төбөсү... сүйгөнүн сагынып, саргарып атын айтып ырдаган боз балдарга кыргыздын колго карматпай турган сулуу кыздарды ийилип мойнун созуп бетинен оптюрюп, азоо жылкыдай үркүп назданган сулуулардын боюн эритип, мончоктой бетинен оптүүгө күргүштөгөн эркиндик менен баягы тоо.

Эркиндикти сүйө эринен айрылганда колдо бар күчүн жыйнап аны кайтарып алууга тырышчу эркиндикке чыгуу үчүн эң азиз болгон жынын аябай ошонун колуна курбан боло жалпы жараталыштын эң чоң бурчу экени белгилүү. Кыргыз калкы болсо, ошол “эркиндик” ошол “тоо” тууралы канча кызыл уук болгон канча кызыл канын агызып кыргызга учурап башы–баян, аягы саян балгон. Кызыл кыргыз болушуп качып ата–бабадан, катын–эрден айрылып ичинен чыккан азиз мерсентин азыкка сатып эмдигиче тыбыша албай жүргөнү да ошол “эркиндик” ошол “тоо”нун азабы. “Тоо” сүйүү кыргыз негиздүү тиричилиги ошол “тоо”до болгондугу. Кыргыздын эң чоң жомогунда (Манаста) айтылган:

Карагай калың талы көп,  
Карарып жаткан малы көп  
Кара малдан тоо көп  
Карды салык бээ көп.

Калайынан күмүш көп  
Кара эгинден күрүч көп.  
Боз коёндон түлкү көп.  
Ыйлагандан күлкү көп.  
Бакасы иттей чуулаган,  
Балыгы тайдай туйлаган.

Мына мынды көрсөтүлгөн кыргыздын эмгекчилеринин эмгегин кандай чарбага сиңирүү-го керек экени кыскасы кыргыз “тоо”суна эмгекчилер турган кыргыз эмгекчилеринин мунсуз кыла турган негиздүү чарбасын мына ушул кыска сүйдүм сөз менен түшүндүрүп кеткен.

Мындан көрүндү кыргыз эмгекчилери жыгаччылык, чарбачылык, кенчилик, дыйканчылык, аңчылык жери тоо болгондуктан тоонун карды саалык деп жакшы ат туудура турган жагы жылкынын асылын жакшыландыруу керек экенин көрсөтүп кеткен. Жанакы кыргыздын укурук тийбеген азоо тайдай туйлаган сулуу кыздырынан өдө боюн балкытып “эрк” менен “тоо”ну издегенде эңкейип мойнун буруп аркардай бетин тозо бергени анан ошол кыргыз тиричилигинин тиреги болгон “тоо”догу түгөнбөс байлыктар.

Ал эми кеммунист партиясы майданга чыгып, кеңеш өкмөтүн көрүп бүтүн дунуйо эмгекчилерине өзүлбөс силян жүргүзүп барк, эркке чындап ураан чакырыгында көбөөлдөп чыккан балыктай кыргыз кор–курдагы көзүн жылтыратып көбчүлүк ураанына кошулду. Мынакей кедей өкмөтү кеммунист партиясы “кыргыз сен дагы бир уруу журтсуң” деп баягы сагынып, саргарып күткөн, , канча ирет каныңды төккөн баягы тордолгон “ эркиндик менен тоонду” колуна берип...?

Кыргыз кедейлери эркке чыктың эл бол, эсинди жыйнап энчилеш табынды тоодой аркасын, күндөй жарыгын тийгизип олтурат.

Мына ушу максаттарды калың кара кыргыз калкына сиңирүү жана да калк катары билим берип маданиятка жакындаштыруу, жогорку айткан жалпы жанге кичүүлөргө жүгүртүлгөн талабыңды бекем кармап, нык жабышуу үчүн кыскасы азыркы жарык заманга ылайыктуу журт болуу үчүн эң биринчи шарт кезит, кыргыз–кыргыз болгондон бери өз тилинде журнал, кезит дегенди көрбөй ары жети түтүн ааламдагы бери чети өз журтунун арасындагы тиричилик, саясат, маданияттан кабарсыз караңгыда калган мына эми эркин –тоо өзүнчө өкмөт болуп энчисине баягы “тоо”суу тийген соң кеммунистун кеңештин жолун тиричилик, саясат, маданиятка чылым–билимден кабардар болуп эмгекчилик табын таанысын деп мына бу кезитти чыгарып олтурат. Бул кезиттин атын баягы көңүлдүү элжиреткен “эркин” менен “тоо”ну эриктүү койулду. Ал эми кыргыздын эмгекчилери качантан бери жоголгон эригин сагынып “сейнек” болуп “кукук” деп самырдай какшаган, жоголгон эркине кошулуп колуна тийди. Бек карма! Бул эркин–тоо үчүн төгүлгөн жаптарың, сатылган баштарың, ажыраган тендериң, кыйратылган сөөктөрүң, эрдериң кул болгон катындарың күң болгон бек карма кыргыз бек карма!

Каз аяба жаныңды! Жумша аяба малыңды! Бул эрик менен тоо жок болгондо билбейсиңби алыңды! Бек карма кыргыз бек карма! Кеммунист кедей!

Жашың менен карыңар ар жагы кыргыз эркин тоону алыңар!

Баягыда жоготуп таппай жүргөн маалыңар бек кыргыз бек карма!

Кембагап менен кедейге келген дөөлөт конгон бак жан аябай белсенип күрөшөр керек. Ошончолук жарагың мына эркин тоо. Белиң талса сүйүнөр таягың мына эркин тоо. Бек карма кургуз бек карма!

Мына журт мындай эң чоң жолбашчыңыз боло турган жагыңды көздө.

Эркин–тоо ары чети бүтүн дүнүйө эмгекчилердин бери чети жалпы россия топурагында болгон эмгекчилеринин эң чоң улуу күнү болгон 7– октябрь күнү Сиздерге белек кылып чыгарып олтурат.

Жашасын бүтүн дүнүйө эмгечилери деп жолду бек чаап кедейликтен куткарып, эркке чыгарган жолдош Лениндин жолу жашасын эмгек негизинде курулган эрктүү кыргыз облусу.

Эшенаалы Арабай уулу

## СЫДЫК КАРАЧЕВ

*Сыдык Карачев (1900–1937) – прозаик, поэт, журналист С 1918 по 1920 г. служил в рядах Красной армии, принимал участие в ликвидации Бухарского эмирата. В 1921–1923 гг. учился в Ташкентском военном училище им. В.И. Ленина. В 1923 году работал в организации “Союз кошчу” (“Союз батраков”) в городе Караколе. Ответственный секретарь газеты “Эркин–Тоо”. Работал литсотрудником, а затем редактором Киргосиздата.*

*С. Карачев начал свой творческий путь как поэт и прозаик, пишущий на татарском и казахском языках. В газетах “Комек” и “Ак жол”, в журналах “Шолпон”, “Жас кайрат”, “Аел тендиги”, с 1918 по 1924 г. было опубликовано около тридцати стихотворений несколько рассказов, множество публицистических статей и театральных заметок С. Карачева. В них изображается тяжелая жизнь кыргызского народа в прошлом и те изменения, которые принесла власть Советов. В каждом публицистическом выступлении он призывает кыргызский народ к овладению знаниями.*

*Выступления С. Карачева в “Эркин–Тоо” это своего рода «программные статьи» редакции.*

### СЫДЫК КАРАЧЕВ. УУЛУ ОКТЯБРЬ КҮНҮ<sup>1</sup> (ДЕНЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ)

Бүгүнкү күн, ач көз залиим байлар, ак сөөктөр, капиталистер, генералдардын иш башынан куулуп, барса калбес сапарга айдалып аягы асманга келген кези.

Бүгүнкү күн эче жүз жылдардан бери кедей кембагалдар табын кулдукта караңгылык, надандыкта мал ордуна айдап кул ордуна иштетип доорон сүргөн арам тамак, кан ичелердин түбөлүк жоголуп жерге жеткен куну... Жарды–жалчы кедейлердин камкору жолбашчысы аркылуу жолдош Лениндин Кызыл туу кармап “бүтүн дүнүйөө эмгекчилери бириккиле” деп уран салып жер дүнүйө жаңырткан күнү...

Кедей кембагалдардын аззатык, тендик эркиндик алып кол–аягы бийлөдөн бошоп жарыкчылыкта туура жолго аяк баскан күнү...

Эзилген, жнчылган эрксиз журттардын өз тизгинин өз колуна тийип араларында тегиздик туугандык ыйама күчөгөн күнү...

Сайда саны жок кумда изи жок “болуп саргарып камыккан, зарыкан күн чыгыш улуттарынын бай манаптар колонизатор, кулактардын зордугунан кулдугунан бошонуп журт катарына кошулган күнү...

Бул биздин кымбаттуу ардактуу Октябрыбыздын жети жылдык улуу майрамы! Мындан алты–жети жылдар илгери, 1917 жылы февраль айына дейде россия мамлекети зоо артагыраак кара журук–таш Романовдар тукуму бийлеп келди. Булар эзелден бери тарта кедей кембагалдар табын кысып, эзип, жаркчылык жүзүн көргөзбөй караңгылык наадандыкта кармады. Падышанын берген буйругу буйрук болуп, эч бир чек койулбастан, бузулбастан иш жүзүнө орундалып турду.

Өз сөзүн сөз кылуу, өз сөзүн ишке ашыруу үчүн ар вакта иш башына байлар манаптар, ак сөөктөр, чоң курсактардан койду. Аларды ар жерде ар кайда колдоп, курматтап кедейлердин канын сүлүктөй соруп турууга жиберди. Кедейлер байдан көргөн кордугун сүйлөп арыз кылып барганда падыша төрөлөрү, улуктары кедейдин арызын кулагына илбей, байдын сөзүн сүйлөп, байдын ырын ырдап байкуш кедейди тергеп, тилдеп айдап чыгарчу.

Мыны минтип шору каткан кедей, маңдай тери–таман акысына ээболбой арыз бергени үчүн жоопкер болуп сасык түрмөлөрдө саргарып жатчу. Бай–манаптар “ак–падыша”нын аркасында жыргап–куунап, кылбаган бузуктук, кылбаган ....<sup>2</sup> калтырбай эмгекчил калктын мойнуна минип комузуна бийлетип дооран сүрдү.

Падыша өкмөтүнүн диниди урматтап, динди жактагандыгына таянып поптор, молдо, эшен, кожолор эмгекчилердин олдум талдым дегенде тапкан бирин экин пулдарын алдап карындарына толтурду.

<sup>1</sup> Печатається по: Эркин-Тоо, 1924 №1.(расшифровка Акматовой Ш.).

<sup>2</sup> В расшифровке стоит (?).

Алда кайдагы эски бузук фатыфарлар менен караңгы элдин көзүн будалап заман окусу, заман билим, деген жемиштерди уу кылып көрсөтүп кедей табынын наадандык билимсиздигине, эзилишине себепкер болду.

Түркүстан шекилдүү жерлерди колония жасап алып, анда жашаган элдерди ынтымак-ырашкерин кошпой; араларына салкындык, душмандык салып бири-бирөө менен талаштырып, эрегиштирип, митаамдык саясатын жүргүздү. Россиядагы орус дыйкандардын жерин помещиктерге тартып берип аларды ач-жыланач эче миң чакырымдан түркстанга, сибирге көчүрдү. Түркүстандын жакшы жерлеринин баарына озүнүн ач көз пейли пас колонизатор, кулактарын толтурду. Кыргыз, казак өндөнгөн элдерди “өлсөң өл, тирилсең тирил” деп тоо-таштын арасына айдады.

1914-жылы бүтүн дүнүйө капиталистеринин урушуна кошулуп дын үчүн буйуму урап” канча миллион жумушкер, дыйкан балдарынын кандары чачылып кырылууна себепкер болгон ушул “ак падыша”нын акмак өкмөтү болгон. Аягында 1917 –жылы февраль айында төңкөрү болуп падыша таж-тактысынан айрылып күлү көккө сапырылды. Бирок мамлекетти ала өгүз желмогуздай кайтадан өз колуна алып, кедей-кембагал, жумушкерлер табын алдап кайтадан эски заң, эски жосунга салууга ойлошту, байлар тарабын, жактап аларды көтөр-мөлөөгө киришти. Таттуу тилдүүлөрдүн алдап соологонуна абыдан бышыгып маш болгон жумушкерлер бу жолу алардын баарысын түбөлүгүн түз кылып өкмөт башынан айдап ишти өз колуна алды.

Ушинтип кызыл тууну көтөргөн кызыл каарман жумушкерлер октябрь төңкөрүшүн жасашты.

Мына ошонтип, октябрь төңкөрүшү кедей, эмгекчилерди өз жасымышын тиричилигин кем-кетигин өзү чече турган кеңештер өкмөтүн дүнүйөгө келтирди, жерсиз, суусуз какшап жүргөн кедейлерди жердүү кылды. Аларды жерге олтургузуп бузулуп иштен чыккан чарвасын түзүшкө, оор турмушун жеңилдетип көркөм жолго коюуга себепкер болду. Наадандык караңгычылык кесепети менен укуксуз, эриксиз болгон аялдар эркектер менен тепе-тен-тендик алып, ургаачылардын эркек колунда куурчак эмес, кара башыл адам баласы экендиги иш жүзүнө баарыга билдирип олтурат.

Окуу турсун окуунун жыты жетпеген элдердин баарына телегейин текши кылып окуу, билим өнөр таркатып, күч кайратын аябай, окуу журттарын салдырып атат. Кедей кембагалдарды сабатсыздыгын жоготуп, аларды саясаттан кабардар кылып тап сезимин күчөйтүп, өкмөткө партияга жакындатып жатат. Октябрь төңкөрүшү түптүгөлү менен сактап жарды жалчы кедейлер табын коргой турган улут кызыл аскерин түзүшүнө кең жол мүмкүндүк берип олтурат. Кедейлер ач, жылаңач калбасын деп калаа менен талааны бир бирөнө байланыштырып жакындатып, жай соодагер, кызыл кулактарды кагып чыгаруунун чарасына киришти. Аягында ар бир журттун өз тагдырын өз колуна берип; өз тиричилигин өзү табууга жарыкка чыгып эркин тоо дем алууга, улуттар теңдигин жүзөгө чыгаруу үчүн улут мамлекеттерин жасоого тендик берди.

Мына булардын баарысы да Октябрь төңкөрүшүнүн кедей кембагал эзилген шордууларга берген жемиши. Кондурган багыты...

Жашасын, эзилген журттарды азаттыка чыгарган ортокчулдар партиясы!

Жашасын, 3-интернационал!

Жашасын, жолдош Ленин чапкан жолу, осуяттары!

Жашасын, эмгекчилердин урматтуу улуу күнү Октябрь майрамы!

С.К.

### **С. КАРАЧЕВ. ОКУУ ХАМ ЭЛ МЕКТЕПТЕРИ<sup>1</sup> (ОБ УЧЕНИИ И НАРОДНЫХ ШКОЛАХ)**

Биздин кыргыз-казак калкы эче жүз жылдрадан бери көчмөнүү турмуш менен мал багып, мал өөрчүтүп өмүр сүргөн. Отуруктуу турмуш буларда такыр жок болгондуктан ар качан малына жайлуу, ыктуу, чөптүү жер издеп бир орундан экинчи орунга которулуп бир жерде турук албастан көчүп жүрүшкө туура келген.

<sup>1</sup> Печатается по: Эркин-Тоо, 1924 №2(расшифровка Акматовой Ш.).

Мурунку уакта жер сууга өзү ээ өзү бий болгон кыргыз–казак калкы тилеген жерине көчүп, жайлап, малын багып, этин жеп эркин тибигаттын жайылган талааларында эриктүү толорунда кам–кайгы жок, эрке турмуш менен эрке өскөн.

Бир чети көчмөн, бир чети мал багуу менен тиричилик кылып күн өткөргөн кыргыз–казак дароо эле окуу жолуна кирип билимге жармашып кете албаган тиричилик жагы менен табийгат тарабынан эч кандай кысуу көрбөгөн кыргыз–казак калкы окуу окутуу иштерине чын ниети менен шымаланып кирүүгө мойну жар бербей кымызын ичип, ырын ырдап, малын багып күнүн өткөрө берген.

Качан туркстанды орустар алып, жер–суу тарылып колдон күч–кубат дөөлөт эрк кетип мурдуна суу жеткен кезде бул калктын көздөрү азыраак ачылган.

Окууга аз да болсо киришип, илимге азыраак көзүнүн кыйыгын салып чети белин кара-на баштаган падышалык сайасаты жергиликтүү калктарды кандай да болсо караңгычылыкта, надандыкта кармоо болгондуктан окуу окутуу иштери көңүлдөгүдөй болуп тамыр жайа албай илгерилей албастан аксагандын үстүнө аксап келди.

Залим Неколай падышалык сүргөн кезде кыргыз–казак арасында жаңы тартиптүү окуу таралып кай бир жерлерде татар мугалимдерди окутуп жүргөндүгүн сезип татарларды мугалимдик кылууда таптакыр тыйды.

Аларга кыргыз–казак ичинде окутууга руксат бербей жолдоруна каша кармады.

Калыкты агартуу–көгөртүү ордуна түркстан улуттары арасында мисионерлик иштин илгери сүрүп алда–кайдагы “динди” таркатуу камына киришти.

Улуу октябр төңкөрүшү болуп баары эзилген журттарга эркиндик өз тагдырын өз колуна тийген заманда биздин кыргыз калкы жалпы–жайык окууга умтулуп окуу журттарына агылды.

Алма–Ата, Ташкент шекилдүү шарлардын ичиндеги окуу орундарына Ала–Тоо аразында айласы кетип окууга суусап жүргөн кыргыз жаштарды төлдө жер–жерлерде болсо айыл сайын мектептер ачылып мектептер салынып журт окуу ишине тыш–тырмагы менен жабышкандай болду. Кай, кайда болсо да кыймылдап кызуу, жандуу сүрөттө билимге жармашып, агартуу ишине киришип жаткан элди көргөндө эрктүү, эриксиз сүйүө турган элек.

Бирок окуу иштери биздин арабызда мыктоо, негиздөө орун алып көңүлдөгүдөй болуп санаган–санаага жеткен жок.

Окуу–окуту иштери кеңештер өкмөтүнүн 3–катарындагы майданы болсо, эл арасында анчалык тамыр жайып өрдөп илгери баса алган жок деп айтсак жанылышкан болбойбуз.

Караңгычылык, нандандык арасында анкоо өсүп ар жактан чондук кордук көрүп, маданият жүзүнөн караганда айбан катарында саналган кыргыз калкы ушу кезге чейин окуу жагынан барча журттан кийин калып олтурат. Жер–жердеги мектептер төңкөрүш эпкени менен салынып, чала–була жасалып бул күнгө дейре “ат кепе” болуп жатат. Ал мектептерди түзөтүп, жазатып ишке ашыра турган эл жок.

Элге окуунун кымбатын пайдасын бере турган жемиштерин сүйлөп элди окууга кызыктырып оңдой турган ак жүрөк азаматтар, жол башчыларыбыз жок.

Эл ичиндеги мектептердин аты быр саны жок.

Айагы барып селсполком, селком кошчулардын башчыларына “мектебиңер барбы?” “окуу иштеринер кандай түрдө?” деп сурасаң мектебибиз салынып жатат, балдар окуп аткансыйт”-деп кош көңүл жооп менен ыраазы кылат.

Мектебин барып өз көзүң менен көрсөң ыйлогоо да күлүүгө да билбей аң–таң каласың. “Мектеп”деп арнап атап койгону үстү жабылбай, устундары жетишпей эшигинин бир жагы болсо бир жагы жок, тизген кирпичтери жаан–чачын менен урап атам замандан калган күмбөздү эске түшүрүп көңүл айнытат.

Кай бир айылдарда андай эмес, мектеп бар. Балдар чуулдап окуп жатканын көрөсүң. Бирок мунда дакей, жетпеген жерлери чачтан көп.

Мектеп үйүнүн ичине кирсек асты тактайсыз, чаң–топурак, терезеси болсо да айнеги жок, каршы–терши шамал болуп мектептин ичине куйун ойнойт. Балдар олтура турган парта жок, дөңгөч кирпич.

Кыштын кырчылдаган катуу суугунда ушу чыдай албай тиши–тишине тийип “Акыйнек” айтып олтуруп окуган окуу ою анда окуучу окутуучуданда келе турган пайда баарыга маалим болсо керек.

Кеңештер өкмөтүнүн жол башчысы, тоскоочусу ортокчулдай партиясы тендик–тегиздик уранын жер дүнүйөгө чачып эзилген күн чыгыш улуттарын азаттыкка чыгарып оз жазмышын оз колуна тапшырып олтурат. Улуттар азаттыгын жузого чыгырып ишке ашып олтурган кезде биз баштакыдай окуу–окутуу иштерибизге салкын карап салактык кылсак эч вакытта эл катарына кошулуп байгеге аралаша албайбыз.

Эл арасындагы азаматтар, кызматкерлер куру сөз, жыйрак уулданы баштап ушу баштан калың кара журтка окуунун пайдасын түшүндүрүп мектептерди аякка бастыруунун камын көрүү керек.

Окусуз, билинсиз адам баласынын дүнүйөдө жашашы мүмкүн эместигин чогулуштарда айрым–ачык далилидер менен сүрөттө жарийа кылып уру токтом эмес жандуу иш кылдыруу барыбыздын мойнубуздагы аткара турган бурчубуз. Биздин окуу калк агартуу жумушубуз бул куйдо барганда биз сайасы чарба кожолугу жактан бүгүн болбосо эртең башкаларга дем болуп “байакы–байакы бай кожонун байагы” болуп каларыбызда талаш жок

Кыргыз калкы ичинде болуп келе жаткан той–аш, ат чабыш, жорбо сыйактуу иштерди окуу жолуна окуу пайдасына жумшоо керек.

Ошолордон түшкөн пайданы мектеп жолуна сарп кылып “эски кумбос” болуп аткан мектептерди күлүп турган окуу журтуна айландырууга барак ак жүрөк адал ниеттүү азаматтар жалпы–жайык умтулуп, жеңди шымаланып ишке кирушүү тийиш.

Кыргыз ортокчул азаматтары!

Ар жерде, ар иште жол башчылык кылып, жол көрсөтүп, караңгылык чоңдугун журт үстүнөн жоготуу силердин милдетинер.

Окуу иштери жаткан–турган чагыңарда да эске алып элге мектеп ачууга түзөтүүгө, окууну биринчи кезектеги аткара турган карызы экендигин көрсөтүүнү унутпагыла! Бай кайрат, бай үмүт–тилек силерде!

Келечектеги жаш өспүрүм жаш муундарга аларга, бир олго болордук иш көрсөтүп жол чаап кетүү силердин карызыңар.

Жаш муундар алдында эмне кылдыңар? дегенде жеген ашыңарды актап адам баласы сыйактуу турмуш менен турганыңарды адалдап кызарып–татарбастан кыла турган ишиңер иш жүзүндө көрсөткүлө!

Заман окуу заманы...

Окуу ишине салактык кылсаң эртенки күндө “Анжыйанга” айдаган малдан жаман экениңди унутпа!

Бар кайрат, күч–кубат, мал–жан окууга жумшалсын!

Карач.

## **КАТЫН–КЫЗДАР ТЕНДИГИ<sup>1</sup> (О РАВЕНСТВЕ ЖЕНЩИН)**

Улуу октябр өзгөрүшү тендик жемишин күн чыгышдагы эзилген калкка чачылганда, биздин кыргыз катын–кыздар, тезек терип жүрүп тендик энчисинен куру калган окшойт себеби: мурунку эски заманда калк малга сатылып өз теңине тийе албай шору кайнап келген кыргыз катын–кыздары эле.

Октябрь өзгөрүшү берген тендик энчи биздин катын–кыздарыбызга эл катары тийген болсо, калың малдын тамырына балта чабылып, катын–кыз сата турган жармаңке эбак таркап кетер эле.

Катын–кыздар баасы күндөн күн артылып кыздуу кишилер кыр ашып бара жатат. Кыздын аты кыз эмес кырк жылкы болуп кыздарын малга эсеп кыла турган болду.

Мындай кыз базары көтөрүлүп олтурса, колунда түгү жок кедей шордуулары кандай кайдан алса болот. Жана кыргыз ичиндеги мектептерде бир жүз бала окуса ичинде кыз балдардан бирөө да жок. Улуттар арасында эң артта калып караңгылык каптап калган кашкарлык (уйгур) агайындардын катын–кыздары да тендик энчисинен тең алып олтургандыгы ачык көрүнө турат. Маселен: Тешкентеги ар бир мектептерде бетиндеги пардасын таштап окуп жүргөн кашкарлык туугандардын катын–кыздары көрүнөт.

<sup>1</sup> Печатається по: Эркин-Тоо, 1924 №2(расшифровка Акматовой Ш.).

Жана алар Орто Азия топурагындагы эзилген катын–кыздырды караңгылык пердесинен куткаруу камына киришип ташкендеги чыгып турган кезиттерге жазып тургандыгы кезит окуган азаматтарга белгилүү чыгар. Ташкентдеги окуп жүргөн талапкер чамасындагы кыргыз балдарынын ичинде кыргыз кыздарынан окуп бирөө да жүргөнү жок. Эми бул эмне ни көргөзөт?

Бул кыргыз катын–кыздарына теңдик тийбегендикти хам кыз баланы эркек баласындай көрбөгөндүктүү көргөзөт.

Мурунку заманда кызды 10–14 жашка чыгарып карадалы кылып берген кыргыз, эми 14–15 жаштагы жаш кыздан көктөйүндө соолтуп “буудайдын барар жери тегирмен, кыз деген буйлалаган төө”деп дагы бир нече макал, үгүттөрдү айтып, алдап соолоп бечераны аткарып берет. Өзүбүздүн бир мүчөбүз болгон катын–кыздарыбызды, мындай көз менен карап жүрө берсек, жакында эл болуп маданиятка жакындап аяк баса албайбыз. Кыргызды–да өзүнчө бир улут деп кеңеш өкмөтү таанып бул да эл болуп журт катарына барсын деп эриктүү облуст кылып олтурганда, катын–кыздар теңдигине жакшылап көз салбасак маданияттын эң аякы баскычында баса албайбыз.

Эми окуган үстөл башындагы кыргыз азаматтарынын алды жактан үмүтү тилеги болсо, өзүнүн карындашын болгон катын–кыздыры теңдигине чыны менен көз салар.

Артыкча жол башчыбыз болгон кемунист картийасы чарасына киришер деп ишенебиз.



## ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

### АЛДАШ МОЛДО

Среди акынов–письменников начала XX века следует отметить творчество *Алдаша Молдо Жэеникеева* (1876–1930). Часть рукописного наследия автора была опубликована на кыргызском языке в 1990–е годы. Произведений Алдаша Молдо отличает “...историческая достоверность описываемых событий и лиц, отсутствие вымысла и аллегорических образов. Такое качество присуще всем без исключения произведениям акына. Отсюда и особенность их языка и стиля – открытость и прямота, называние вещей своим именем. Вот, к примеру, названия некоторых ... его произведений: “1912–жылы болгон бир окуя” (“Событие, имевшее место в 1912 году”), “1913–1914–жылдардагы хуторлор тууралуу” (“О хуторах 1913–1914 годов”), “1916–жылкы үркүндүн алдында” (“В канун бегства в 1916 году”), “Алтын шаар” (название города в Китае), “Көл баяны” (Рассказ об Иссык–Куле”) и т.д.

Установка на правду, поэтика факта непосредственно выражена поэтом в одном из его произведений: “Жазбадым жалган, буруусун, Жаздым анык, дурусун” (“не писал я лжи и того, чего не было, а писал то, что в действительности имело место”)<sup>1</sup>.

Современники акына знакомились с его произведениями как устно, так и в рукописных текстах. Х. Карасаев вспоминал, что в детстве знал “Үркүн” наизусть, а у его дедушки еще в Китае поэма была в рукописи.

“Үркүн” одно из первых произведений, в котором автор разъясняет слушателям и читателям значение для кыргызского народа установления Советской власти и обращается к соотечественникам, находящимся на чужбине, с призывом вернуться на Родину:

*Кең Ысык–Көл, Жети–Суу,  
Киндик кескен жериме.  
Уруяттын маанисин,  
Түшүндүр бириң бириңе,  
Көчпөй бирөө калбасын,  
Жардамдаш ага–иниңе*

*Кысылгандан сатпасын  
Кысталып катын –балсын.*

*Калса уулуң кул болот  
Кызың калса күң болот*

### АЛДАШ МОЛДО. ҮРКҮН (ОТРЫВОК)

*Алдаш Молдо мен атым,  
Акундук менин санатым.  
Алсам колго калемди  
Замананын сапатын  
Жаза салмай адатым*

*Жакшы менен жаманын,  
Жашап турган адамын  
Баян кылып газалга  
Жаза салган адатым*

<sup>1</sup> Эркебаев А. Малоизученные страницы истории киргизской литературы. Б.: «ЖЭКА» ЛТД, 1999. – С. 137.

Кулак сал сөзгө агайын,  
Аз гана көңүл ачайын.  
Уккула кары–жашыңар  
Үркүп келдик Алты–Шаар,  
Кайран эл карып болдуңар,  
Кайгы зарга толдуңар.  
Кыштан чыгаар үйүң жоок  
Кыш чилдеде тоңдуңар

Уккан жалган, көргөн – чын,  
Кедейлер алсыз, байлар тың.  
Соодагерлер кутурду  
Буттап сатып апийим

<...> Ак–суунун казий, муфтусу,  
Аябай кылды чоңдукту.  
Нафисине кул тартып,  
Казий, муфту мунафык<sup>1</sup>  
Булар шариятты будалап,  
Динге да кылат зордукту.  
Амбалдын лийин бурмалап,  
Абийри кеткен кызталак,  
Акыры уылды кордукту.

Окуп көрсөм гезитин,  
Шаңзун–ажун бегимдин.  
Кулатып падша залимин  
Бөлкөндүк (полковник) жандыралысын.  
Битирбор, Маскөө эллине  
Тийиптир күндөй жарыгы.  
Урияты чыгып Лениндин.  
Ишенгиле эл–журтум,  
Төгүнү жок кебимдин.

<...> Алдаш Молдо апендең  
Алды колго каламын  
Журт иеси агайын,  
Барыңа жаздым саламым.

Жаздан калбай кетели,  
Жөө–жалаңдап жетели,  
Кең Ысык–Көл, Жети–Суу,  
Киндик кескен жериме.  
Уруяттын маанисин,  
Түшүндүр бириң бириңе,  
Көчпөй бирөө калбасын,  
Жардамдаш ага–иниңе

Кысылгандан сатпасын  
Кысталып катын –балсын.

Калса уулун кул болот  
Кызың калса күң болот

---

<sup>1</sup> Акмак, бузуку

Өмүр бою тукумун,  
Башына түшкөн түнөрүп,  
Капкараңгы түн болот.  
Азамат дегин Ленинди,  
Ааламга аты билинди,  
Уруятын узартса,  
Көзүн ачат элинин.  
Тушоосун чечет илимдин,  
Чачат журтка билимин.  
Падыша залим Николай  
Балакет баскан иттер – ай!  
Билимге качан тең кылды?  
Артыкча биздин кыргызды.  
Бирине бирин жем кылды  
Бүркүт кылып болушту.  
Биргоборун (Приговорун) кылдырып,  
Боорубуз мене жылдырып.  
Алып койду зордуктап  
Атадан калган конушту.

Ушул жерден кыскарттым  
Уруят заман баянын.  
Сөзүм бүтүү тамамат,  
Дуга кылып кой жайгын.  
Кудайга жаны аманат,  
Уруятты чыгарган,  
Узун болсун өмүрү,  
Узарсын Ленин азамат!

## К. ТЫНЫСТАНОВ

*Тыныстанов Касым (1901–1938) – ученый языковед, поэт, драматург, общественный деятель, профессор. В 1924 году был секретарем, председателем отдела Академического центра Туркестанской АССР, в 1925 году был редактором первой кыргызской газеты “Эркин–Тоо”. С 1927 по 1930 гг. – комиссар народного просвещения Киргизской АССР. Тыныстанов принимал активное участие в разработке кыргызской национальной письменности, в деле перехода с арабского алфавита на латинский, а затем на русский. Создал первые учебники по кыргызскому языку. Репрессирован в 1938 году.*

*Первые стихи К. Тыныстанова начали появляться в начале 1920–х гг. в Ташкенте на страницах казахских газет и журналов. В 1925 году они под названием “Сборник стихов Касыма” вышли отдельной книгой в Москве. В сборник вошли тридцать два оригинальных стихотворения (пейзажная и интимная лирика, революционно–агитационные стихи), один перевод (“Стрекоза и муравей” И. Крылова) и большая поэма “Жаныл Мырза”. Как пишет известный отечественный литературовед С. Джигитов “Творчество К. Тыныстанова представляло собой значительное явление в истории киргизской словесности. Оно в первую очередь отличалось своей новизной мировосприятия, образного выражения, стихосложения. Тыныстанов – литературный первопроходец, заставивший киргизскую речь впервые заговорить довольно необычным образом, достаточно свежо, экспрессивно, красиво».*

*Поэма “Жаныл Мырза” основана на сюжете популярного кыргызского дастана, повествующего о драматической судьбе девушки–воина, вождя. Но не смотря на фольклорные истоки сюжета поэма бесспорно явление письменной, профессиональной авторской поэзии. В отличие от других вариантов эпоса поэма К. Тыныстанова заканчивается смертью героини. Поэзия Тыныстанова оказала влияние на творчество многих молодых*

поэтов тех лет, как вспоминает писатель Т. Сыдыкбеков «...все, кто умел читать, знали стихи Тыныстанова, носили сборник с собой. Молодежь его стихи знала наизусть...»

*В сентябре 2001 года прошла международная научная конференция, посвященная 100-летию К. Тыныстанова. Изданный к юбилею “Сборник стихов Касыма” воссоздает по содержанию издание 1925 года. На русский язык произведения поэта перевели ответственные отечественные ученые и переводчики В.И. Шаповалов и М.А. Рудов.*

## **К. ТЫНЫСТАНОВ. СЕГОДНЯ<sup>1</sup>**

Лик солнца блестит сегодня.  
Исчезла ночь сегодня.  
Кровавое, не издавшее ни звука, лишённое воздуха,  
Тревожное время прошло сегодня.

Задуманные цели исполнились сегодня.  
Каждому воздана своя доля сегодня.  
Радуетя и трудящийся, некогда истекавший кровью,  
Природа склоняет свою голову сегодня.

Растения, все живое, радуется сегодня,  
Беспощадное черное сердце растерзано,  
И те, кто кипел многие годы в крови,  
В здравии увидят друг друга сегодня.

Из капкана вырвались трудящиеся сегодня,  
Топором свалили знамена врага сегодня.  
Все объединившись, издав победные кличи,  
В согласии стоят у красного знамени сегодня.

Проснувшись, каждый удивляется сегодня:  
“Откуда радость пришла к нам сегодня?”  
Красное знамя блестит и словно говорит:  
“Трудящиеся, праздник сегодня, праздник сегодня”.

Товарищи, поднимайте знамя, шагайте вперед,  
Не лежите без дела дома, а на народ равняйтесь.  
Есть слово, которое оставили почтенные старики:  
«Тот, кто будет в стороне от народа, не дойдет далеко!»  
1920

## **К. ТЫНЫСТАНОВ. СПРОСИ-КА, ДРУГ МОЙ, СПРОСИ!**

Сорока летит, стрекочет,  
Где молодые – не знает,  
Или сказать не хочет,  
Или подачки желает,  
А может быть знает до срока,

<sup>1</sup> Тыныстанов К. Сборник стихов Касыма. – М.: Центриздат народов СССР, 1925. – 111 С. (на кирг. яз). В сборник вошли стихи К. Тыныстанова, написанные в начале 1920-х годов в Ташкенте на страницах казахских газет и журналов. Печатается по: Эркебаев А. Малоизученные страницы истории киргизской литературы. Б.: «ЖЭКА» ЛТД, 1999. – С 161-162.

Проклятая эта сорока?  
Что с ними могло случиться? –  
Спроси–ка, мой друг, спроси–ка!  
Летит сорока, кружится,  
Сама сдурела от крика.  
Трещит, не смолкая, сорока,  
Скрывает что–то, пройдоха.  
А ветер сказку слагает,  
Колышут высокие травы,  
Свистит, рыдает, играет,  
Устраивает забавы.  
Но в сказке его, однако,  
О молодежи нет знака.  
Такой вот чудесный ветер!  
Спроси же, мой друг, спроси же,  
Что у него на примете,  
Что им забавником, движет?  
Не выдает о молодежи,  
Сказку плетет похоже.  
Медь бубенцов прозвучала–  
Пришел караван усталый.  
В пути ему предстояло  
Узнать обо всем не мало,  
И караванчики были  
В далеких землях и ближе.  
О чем они там говорили?  
Спроси же, мой друг, спроси же!  
Что караванчики знают,  
О чем расскажут они нам? –  
Не видели, – отвечают, –  
Мы были в мире пустынном.  
Зимою на перевале  
Бредут вереницей люди.  
Куда беглецов загнали?  
Что с ними, бедными, будет?  
Зимой высоту такую  
Не каждый может осилить.  
О чем беглецы толкуют?  
Спроси же, мой друг, спроси их!  
Быть может на перевале  
Они молодых видали  
Шли с ними, может быть, рядом,  
Спросить у беженцев надо.  
Где наши сверстники, друг мой?  
Скажи не молчи, подумай.  
Они в Урумчи попали?  
Слух есть, что там их видали.  
Доходят вести оттуда,  
Что сверстникам нашим худо.  
Скажи или ты скрываешь  
К тебе дошедшие вести?  
Не спрашивай, друг, узнаешь, –  
И сердце замрет на месте.  
Я вижу, и ты страдаешь,

Скажи, как есть, честь по чести.  
Как темная ночь, их доля,  
Там на чужбине рыдают,  
Томятся они в неволе  
Вернуться домой мечтают.  
Возлюбленных разлучили,  
В рабов юнцов обратили.  
Проклятье! Сколько страданья  
Выпало юным в изгнанье!  
Не слушай, мой друг, не надо!  
Их мучают там безбожно.  
Чтоб описать муки ада,  
Слов подыскать невозможно.  
Услышишь, и страшно станет.  
В лед сердце, как от мороза.  
Вот так же от стужи вянет  
Во цвете нежная роза.  
От юных мы ждем рожденья  
Грядущего поколения,  
Неужто они погибнут?  
Конца страданья не видно.  
Что слышно, примут ли власти  
В судьбе несчастных участие?  
Спроси, мой друг, не робея,  
Спроси, мой друг, поскорее

## **К. ТЫНЫСТАНОВ. ДЖАНЫЛ МЫРЗА**

Поэма

Далек тот век...  
На прошлое взгляни –  
То были удивительные дни,  
И коль старик под перебор комуза  
Вспомянет их, то сердца не вини.  
Подкрутит деревянные колки,  
И вырвется струна из–под руки,  
И слитно вспомнят голос и движенье  
Печаль и боль забывшейся строки.  
Струна звенит –  
Словно река шумит,

Певец заплачет – сердце защемит,  
Пусть это даже каменное сердце,  
Его печаль немая истомит.  
Те дни...  
Кто смог тогда их оценить,  
А оценив – сберечь и сохранить?  
Увы, спохватываемся случайно,  
Но ни вернуть не можем, ни забыть.  
И если так, зачем лицом поник

И над комузом плачешь ты, старик,  
Зачем трех струн безудержные слезы?  
Истаял век и нам оставил – миг.  
И коль не оценили годы те,  
Как воспитаем юных в чистоте? –  
Пусть прошлое сердца соединяет  
В его невоплотившейся мечте.  
Коль не умеем прошлое почтить,  
Как сможем мы грядущему простить?  
Струна комуза,  
Ты – воспоминанье,  
Нас всех соединяющая нить.  
Нет уж тех дней и не с чем их сравнить,  
Нет уж тех дней и их не возвратить,  
И я – лишь путник, что вспугнул, как птицу,  
Людскую память –  
Чтобы вновь забыть...

### 1

Настанет осень, тьмой тесня живых,  
Поблекнет зелень – и весь мир притих,  
Дыханье стужи испугает землю.  
Нет ничего длинней часов ночных,  
И в эти ночи постигаешь ты,  
Как он нелегок – груз твоей мечты.  
Почудится комуз, и затрепещешь:  
Мелодия – в безмолвье пустоты.  
А музыка далекая – легка,  
Донеслась она издалека,  
Она тебе неспешно все расскажет,  
Что было скрыто в смутные века.  
И вздрогнешь ты – и прошлое опять  
Придет к тебе, не даст спокойно спать,  
И вспыхнувшая кровь набухнет в жилах.  
И вновь захочет грудь твоя дышать.  
И сон ушел, и мрак ночной угрюм,  
И ты во власти невеселых дум,  
Тревога обессиливает душу  
И вновь ответа не находит ум.  
И спят пространства, скованные льдом,  
И луч рассвета не заглянет в дом.  
А где же голос дальнего комуза?  
И вновь ответа не находит ум.  
И спят пространства, скованные льдом,  
И луч рассвета не заглянет в дом.  
А где же голос дальнего комуза,  
Что звал меня и разлучил со сном?..  
Я встал и вышел. В вышине луна  
Туманом осени заслонена  
И грустный отсвет лунного тумана  
Вокруг подчеркивает тишина.  
Речные камни светятся в ночи,  
Река – вся из серебряной парчи,  
И волчий след, сплетаясь с лисьим следом,  
Уходит в даль, где теплые ключи.

Я шел на звук комуза – грустный звук,  
Не ведая, на север ли, на юг,  
И оказался на базаре людном,  
Где шел народ, теснясь за кругом круг.  
Сидел старик с комузом в стороне,  
Был худ, оборван. Словно в полусне,  
Он пенью в такт покачивался тихо:  
Узнал я песню, что приснилась мне.  
Он нищим выглядел издалека,  
Но не лежало перед ним платка  
Для подаянья. Он лишь пел негромко –  
И песнь была печальна и горька.  
На торжище божились и клялись,  
В моем сознание день и ночь слились –  
Кто я, где дом мой, как сюда попал я? –  
Но песнь звала в неведомую высь.  
Игры не прерывая, старец встал  
И прочь побрел, и будто бы не звал  
Меня – но силой властной влекомый,  
Пошел за ним я и догнал.  
Мы шли недолго – сразу, в стороне  
Присели молча.  
Обратясь ко мне,  
Старик спросил, хочу ли я услышать  
Его рассказ.  
Кивнул я в тишине.  
– Не лгу я песней.  
Средь людских забот  
Мне не нужны богатства, юрты, скот,  
Я людям ложь не выдаю за правду,  
И кто не верит – пусть уходит тот.  
В плену бывшего, я пою о том,  
Что прежде было, в веке золотом,  
А сколько было вправду золотого,  
Кто знает? – это все в пережитом.  
У прошлого в грядущем смысл двойной.  
Кто шепчет: юность, миг цветущий мой!  
Кто вспоминает прожитое счастье...  
Но есть у прошлого и смысл иной.  
Увы, воспоминанья вороша,  
О чем болит, кровоточит душа? –  
Две чаши на весах бегущей жизни,  
Что взвесит память, горький суд верша?  
Кто глух душою, тот не тратит сил.  
Поведать обо всем не хватит сил,  
Быть может, сам комуз расскажет лучше,  
Коль мой рассказ покажется уныл.  
Кто хочет знать, как век ушедший жил,  
Как человек, судьбу нашедший, жил,  
Пусть, жаждущий к источнику приникнет:  
Запой комуз, напхни о Джаныл!..  
Старик насвай достал из кушака  
И пальцами коснулся струн слегка,  
Как будто приласкал их.



Нежный рокот  
Озерных волн пришел издалека,  
Луна из туч рванулась на простор  
Потоком золотым по склонам гор,  
И под его рукой по-человечьи  
Вздыхнул комуз  
И начал разговор.

2

– Пока века неслышимые шли,  
О, Ала-Тоо, кто в твоей дали  
По вечным звездам вольно вел кочевья,  
Чьи тропы по просторам пролегли?  
Кто сплывал примером свой народ? –  
Земля цвела, приумножая скот,  
И коль все жили в счастье и довольстве,  
Что ж на вершины пал холодный лед?  
Покуда ветер меж вершин гулял  
И вольный люд легко его вдыхал,  
Кто мудро и неспешно жизнь киргизов  
Хранит от бед, берег и направлял?  
И коль вы были, мудрецы, тогда,  
Зачем же вы ушли, отцы, тогда? –  
С уходом вашим снегом на вершинах  
Застыла рек бессмертная вода.  
Коль мудрых биев, зная, вспомним мы,  
То среди них Тагая вспомним мы,  
Он жил давно, но в памяти народа  
Он жив и ныне, светоч среди тьмы.  
Он мудрым был и мудрости учил,  
Он добрым был – и мир его почтил.  
Тюльку и Учуге – его потомки.  
Сказав о них, мы вспомним о Джаныл.  
О, кто – непозабытые – они?..  
Как далеки промчавшиеся дни,  
Как скоротечен бег их – бег куланов,  
Мгновенью промелькнувшему сродни!  
Что сказал тогда смеющийся смельчак?  
Пыл состязанья, праздный гул атак,  
Равнялся юный на батыров славных,  
Героем жаждал стать и так и сяк.  
Два кровных брата – Учуге с Тюльку –  
Коней осаживали на скаку,  
Смелы в бою и веселы с друзьями.  
Чего б желать им на своем веку? –  
В них молодость и сила разлита,  
Но подступила зрелости черта.  
Кому-то улыбается удача,  
Но чья-то не сбывается мечта.  
... Пришла весна, и кочевать пора,  
Семья Тюльку готовится с утра,  
Все собрано, навьючены верблюды,  
Разносит ветер пепел от костра.  
В отъезде муж, жене – всех торопить,  
Чтобы в пути чего не позабыть,

Но с умыслом или захлопотавшись,  
Свекровь в седло забыла посадить.  
Хранить обычай – старших уважать,  
Им честь за их заслуги воздавать,  
Родителям во всем повиноваться –  
Есть в этом истинная благодать.  
Родился сын – собой горда жена,  
Но чтить тот род всегда она должна,  
Куда была просватана и замуж,  
Обычаю согласно, отдана...  
С восходом люди тронулись к горам.  
Подобна пестрой ленте, зрима нам  
Неспешного кочевья вереница,  
Вокруг разноголосье, смех и гам,  
Идут гурты, отары, табуны  
В плену пьянящих запахов весны,  
Звенит ответно бляенью и ржанью  
Посуда, что набита в курджуны.  
Тюльку лишь к вечеру сумел догнать  
Кочевку.  
И заголосила мать:  
– Гони сноху и отбери ребенка,  
Чтобы меня не смела оскорблять!  
Не стал доискиваться всех причин  
И проводил жену послушный сын,  
Обычаю он грустно подчинился,  
Хоть понимал – останется один.  
Осиротел Тынай, сынок Тюльку,  
Он к матери святому молоку  
Теперь вовек привыкнуть не сумеет,  
Не прикоснется мать к его виску.  
А сам Тюльку стал хмурым, помрачнел.  
Жениться вновь не стал – не захотел,  
Перегорело молодое сердце.  
И каждый, кто встречал его, – жалел.  
Прошло два года.  
Новая весна  
Пришла в наш мир надеждами полна,  
И на ущелий молодую зелень  
Упала солнце юного волна.  
Ах, к осени осыплются цветы,  
Ручьи иссякнут, выцветут мечты –  
Узри, о человек, в картине этой  
Бессмысленность всегдашней суеты.  
Тюльку все так же мрачен и суров,  
Порой не скажет за день и двух слов,  
И взор его тяжел и равнодушен.  
Тревожились в аиле: нездоров!  
Что ж он так занедужил, затужил,  
Неужто бобылем прожить решил?...  
Но сам Тюльку вдруг понял с удивлением,  
Что думает все время о Джаныл!  
«Джаныл – вот бы на ком жениться мне,  
Умчать ее однажды на коне,

Украсть жену, в обычаях киргизов,  
И жить в любви в родимой стороне.  
Но если не смогу ее украсть,  
Уж лучше мне в бою бесславно пасть!  
Неужто ханша юная Какшаала  
Отвергнет страсть, предпочитая власть!..»  
Созвал он приближенных. Сели так:  
Здесь – Учуге, Атакозу, Чубак,  
А на почетном месте – Предсказатель,  
Мудрец, вперявший взор в предвечный мрак  
(Его послал к Тюльку хан Шырдакбек),  
И им Тюльку открылся: – Человек  
Один не может жить, душа устанет  
И сократится жизни краткий век.  
– В твои тревоги сердцем погружен,  
Вчера, Тюльку, я видел вещий сон, –  
Откликнулся негромко Предсказатель, –  
И вот скажу я, что поведал он:  
Неколебима юная Джаныл,  
Но некто есть, один на целом свете,  
Кто б и такое сердце покорил.  
Нет трусу выхода, коль дух в огне,  
Для храбреца – нет выхода вдвойне,  
И поклялись батыры кровной клятвой  
Идти в набег к далекой стороне,  
Где камни с гор несет седой Какшаал,  
Где стойбища уйгуров среди скал,  
Где юную владычицу Какшаала  
Боготворили все – и стар, и мал.  
Заточены мечи и стрелы их,  
И в полдень и в ночи – пределы их,  
Доспехи медным солнцем обжигают  
И не сдержать руке коней лихих.  
Вот, четверо, они пустились в путь,  
Что будет дальше – знал ли кто–нибудь,  
Дошла ли весть о них к Какшаальским высям?  
Звени, комуз, о прошлом не забудь!  
... Кто ты, Джаныл? Твой лик во мгле седой  
Доселе полон давнею бедой:  
На свете не было судьбы печальней,  
На свете девы не было такой.  
Всех удалью беспечною веселя,  
Джаныл прекрасна, как сама земля,  
Где род ее от века вел кочевья,  
Судьбу о лучшей жизни не моля.  
Воительница! Трон ей ни к чему,  
Жизнь женская – ни сердцу, ни уму,  
Мужской характер, ум – остер и зорок,  
Мырза – ее назвали потому.  
Установленьям предков вопреки,  
Она и одевалась по–мужски,  
Ее друзья – лишь беркут да борзая,  
Лук, стрел колчан и юные деньки.  
За нею ехали издалека,

К Джаныл тянулась не одна рука,  
Иные захватить ее пытались,  
Но был готов отпор для чужака.  
И тот, кто полонить ее хотел,  
И тот, кто полюбить ее хотел.  
Узнали слишком поздно: нет спасенья  
От хищных, тонких, оперенных стрел.  
Одной свободы жаждала она,  
Блаженным одиночеством полна.  
В стрельбе из лука не было ей равных!  
Вот так–то – не ребенок, не жена –  
Она жила в придуманном раю  
И не желала жизнь менять свою  
В те дни, когда решил Тюльку с друзьями  
Невесту отыскать в чужом краю.  
... В тот день Джаныл охотилась вдали,  
Борзая впереди неслась в пыли,  
Летели стрелы в пустоте простора,  
Любую цель они настичь могли.  
К ее айлу дерзостью полны,  
Скакали смельчаки – хитры, сильны.  
Вернувшись к вечеру,  
Джаныл узнала;  
Пришли враги, угнали табуны.  
Ночь свой покров взметнула над землей,  
Но лук с натянутой тетивой  
Джаныл из цепких рук не выпускала,  
Когда гнала коня в простор ночной.  
Борзая молча мчалась впереди,  
Внезапно родилось в ее груди  
Короткое тревожное рычанье.  
Поводья брошены – конец пути.  
Вот спешила и, привязав коня,  
Вгляделась в ночь, в багровый плеск огня,  
Где у костра сидел Тюльку с друзьями,  
Все – на ладони, как при свете дня.  
Кипел казан. И в черной глубине  
Оврага, в тальниках, на самом дне  
Захваченный табун дремотно пасся.  
Джаныл на все смотрела в тишине.  
Их – четверо. Но взор остановив  
Лишь на одном Тюльку, она призыв  
Неведомого чувства ощутила,  
И защемило сердце: он – красив!  
Но тут тайган, учуяв кровь, завыл,  
К огню метнулся.  
– Это пес Джаныл! –  
Вскричал Тюльку.  
В ответ запели стрелы,  
И каждый павший – навсегда застыл.  
Любовь, ты – пламя адского костра,  
Любовь – лиса, коварна и быстра,  
Что опытного беркута обманет.  
Любовь, ты – ветер, вспыхнувший с утра,

Он веет, властный, неостановим...  
Любовь – мираж, волнующийся дым.  
Одновременно близкий и далекий,  
Твой свет недостижим, непостижим.  
Лежат джигиты на ковре травы.  
Земля, соскучась по людской крови,  
Пьет жадно, как вампир, ее по капле:  
Вот – молодые, сильные! – мертвы...  
Джаныл очнулась.  
Медленно сошла  
По склону вниз – и молча замерла,  
Над умирающим Тюльку склонилась  
И прошептала, словно позвала:  
– Мой милый, женщина я, признаюсь,  
Я этой слабости своей боюсь,  
Я женщина – но я вас победила,  
Ты слышишь? – победила!  
Что за грусть  
Быть беззащитной на своем веку –  
Скажи, об этом думал ты, Тюльку?  
Вот как мы встретились...  
Теперь – расстаться? –  
И потянулась к острому клинку.  
И отрешенно к камню подошла,  
Клинок, заплавав, к горлу поднесла,  
Почувствовала вдруг, что умирает,  
В слезах затихла, словно умерла...  
Ночь таяла.  
Край неба посветлел.  
Костер стал пеплом возле мертвых тел.  
О смерти, о любви невоплощенной  
Печально ветер утренний запел.  
Но солнца луч, прорвавшись, заблестал  
И ветер вновь вздохнул и замолчал –  
И вытер слезы на лице прекрасном.  
И верный конь копытом застучал.  
Умолкла скорбь.  
И вздрогнула Джаныл,  
И поскакала молча в свой аил.  
Лежат в овраге четверо джигитов,  
Кто их воспел,  
Кто их похоронил?..

**3**

Минувшее, ты – ветер: был – и стих.  
Минувшее, ты – мгла глубин морских.  
Ты словно праздник, за которым – будни.  
Минувшее, кто твой предел постиг?  
Минувшее, тень сказочного дня,  
Что вспыхивал, иной судьбой маня.  
Минувшее, непрожитое счастье,  
Угасший отблеск вещего огня...  
Печалюсь о судьбе моей земли,  
Печалюсь о героях, что ушли,  
О древних песнях и о вольных людях

Печалюсь: след от них исчез вдали.  
Печалюсь о забытых мудрецах,  
Чей правый суд нам памятен в веках,  
Печалюсь – ибо маревом забвенья  
Наш застлан взор, и свет померк в глазах.  
Где ты, непогребенная любовь?  
Убитым небо – их последний кров,  
Могильщики их грифы да вороны,  
Что каркают: большая будет кровь!  
Копья Тюльку безглавое древко  
К седлу приторочив,  
Недалеко  
Ходили соплеменники за вестью,  
Стяг, символ скорби реет высоко.  
А дни бегут, разматываясь в год,  
И смерть Тюльку покоя не дает.  
Пытались мстить, но скоро возвращались,  
Терпя потери, угоняя скот.  
В степях Таласа с кличем боевым  
«Киргизы и казахи, отомстим!»,  
Все чаще о судьбе Тюльку с друзьями  
Роптал народ, и шли вожди за ним.  
Но час настал, и зазвучало: мечь! –  
И всадников вокруг не перечеть,  
И ханы, чье обличье – власть и мудрость,  
Танке и Шырдакбек сегодня здесь.  
Совет родов решил: да будет так,  
Коль Учуге, Атакозу, Чубак  
И сам Тюльку, погибнув на чужбине,  
Не отмщены – пусть ждет расплаты враг.  
Кто в силах удержать копьё в руках,  
Кто в силах робость одолеть и страх,  
Кому Джаныл деянье ненавистно,  
Кто родичей непогребенный прах  
Забыть не может – все здесь, взметены,  
Видением побед возбуждены,  
Торопятся на битву, как на праздник,  
Спеша на смерть, не зная зла войны.  
Стреноженные кони на лугу,  
Принюхиваясь, фыркают во мглу,  
А молодые воины храбрятся:  
Вот бы сейчас ударить по врагу!  
Поодаль же, собравшись на холме,  
Отцы родов беседуют во тьме,  
Чураются они братоубийства:  
Как быть? – у всех лишь это на уме.  
Хмур и печален Предсказатель был,  
Иного средства наказать Джаныл  
Не знал, и значит, от кровопролитья  
Род оскорбленный не отговорил.  
Тогда решил он съездить в те места  
И выведать, чего же ждут уйгуты,  
И крепко ли их заперты врата.  
Он, исходивший вдоль и поперек

Все земли предков, сам себя обрек  
На трудное и хлопотное дело,  
Он знал, что будет, полон был тревог.  
Хан Шырдакбек его благословил,  
Народ Тюльку его благодарил,  
И выехал поспешно Предсказатель  
Разведать, что творится у Джаныл.  
В поездке был он скор, как обещал,  
Вернулся, все увидев,  
Рассказал,  
Что на земле уйгуров все спокойно.  
И войско поднялось – как пенный вал!..  
И за аилом двинулся аил,  
Хан Шырдакбек в седле неспешен был,  
Он видел все.  
А рядом с ханом ехал  
Джаныл любимец – мальчуган Адыл.  
Отрядами на юг войска пошли,  
С таласской, чуйской двинулись земли,  
Сияли копья, бердыши и луки,  
Ряды сливались длинные в пыли.  
И среди воинов один ли был,  
Кто не мечтал бы захватить Джаныл,  
Кто, между тем, при этом о добыче,  
Откинувшись в седле, не говорил?..  
Все ближе осень.  
Хмурые сырты  
Печальной сединою налиты,  
Иссякли реки – выпило их лето,  
И облетели первые кусты.  
Изъела пыль ковры зеленых трав.  
В безводье обойдясь без переправ,  
Отряды скорой рысью друг за другом  
Пришли к Какшаал, коней не потеряв.  
Привал, за ним полдневный переход.  
Что там –  
Джаныл с уйгурским войском ждет?  
Посоветались.  
Молвил Предсказатель,  
Кому что делать, чей за кем черед:  
– На три отряда все разделены.  
Пусть первый под покровом тишины,  
Чтобы ослабить конницу уйгуров,  
К утру угонит все их табуны.  
В ущелье узком пусть второй отряд  
Расположится скрытно –  
Из засад  
Он бросится, когда войдут в теснину  
Уйгуры, нас тесня за рядом ряд.  
А третий –  
Бой начнет, врага маня.  
Когда Джаныл прорвется из огня,  
Абыл, сынок,  
Бросайся из засады –

Пошли отряды.  
По тропе своей  
Шел каждый, как велел им Предсказатель.  
Все ниже солнце, тени все длинней.  
Абыл галопом скачет в свой отряд,  
Глаза подростка радостно горят:  
Сам схватит он Джаныл –  
Вот это подвиг! –  
И все о нем тогда заговорят.  
Когда совсем был маленьким Адыл,  
Однажды на коленях у Джаныл  
Сидел – он помнит.  
И Джаныл сказала:  
– Как этот мир печален и уныл.  
Ты, мальчик, вижу, вырастешь – оплот  
Сородичей, и будет горд народ  
Тобой –  
Но сторожит тебя погибель...  
Адыл запомнил тот далекий год.  
Стемнело.  
Скрыла мгла второй отряд.  
Как ночь темна,  
Как зорок ее взгляд! –  
И, задремав, бойцы, казалось, слышат:  
О них негромко скалы говорят.  
В вершинах елей ветер зашумел,  
Мрак отступать, как будто, не хотел,  
Но край небес окрасился зарницей –  
Как будто кровью алой заалел.  
На берегу Какшаала начат бой  
И пылью все охвачено седой,  
Отбит и угнан в спеть табун уйгуров,  
Стоят бойцы – стена перед стеной,  
Так сходятся – однажды на веку...  
Но вот в рядах сородичей Тюльку  
Как вздох: –  
Джаныл Мырза! –  
Она – прекрасна,  
Летит, пуская стрелы на скаку!  
И дрогнула воинственная рать,  
Вниз по ущелью стала отступать –  
Все уже стены скал,  
Джаныл все ближе,  
Все сбилось в кучу, где своих искать?  
Вдруг – всадник! –  
И стремительно Абыл  
Хватает под уздцы коня Джаныл.  
Все замерло.  
Джаныл клинок взметнула!..  
И прынул иноходец.  
И застыл.  
Что ж дрогнула, Джаныл, рука твоя –  
Иль дрогнула, Джаныл, душа твоя? –  
Да, это мальчик, тот, кому погибель



Ты предсказала, грусти не тая.  
И выпал лук из рук.  
И спала злость.  
И что-то в сердце вдруг оборвалось,  
Джаныл клинок, не глядя, уронила  
И прошептала только:  
– Не сбылось...  
Так, славой прежнею озарена,  
Джаныл была врагами пленена  
И старому седому богатею  
Навечно как рабыня отдана,  
Ушли войска, похоронив своих,  
Дележ добычи вдалеке затих.  
И только ветер над Какшаальским кряжем  
Печально пел  
О павших и живых...

#### 4

Что если барса, жившего в снегах  
Вблизи вершин, парящих в облаках,  
Пленить и заточить навеки в клетку? –  
Не выжил бы и медленно зачах:  
Живя в неволе, заперт на засов,  
Он вечно б слышал гул родных лесов,  
Ему б шумели ветры, пели реки  
На тысячу свободных голосов...  
Так и Джаныл.  
От мест родных вдали  
Ей шорохи и шепоты земли,  
Напев комуза, горный гром лавины  
Звучали ясно, из ума не шли.  
Тюльку ей снился,  
И во сне она  
Слова любви шептала – все, сполна,  
Все, что не довелось ему услышать.  
А годы шли – за осенью весна...  
Джаныл тюрьмой казалось все вокруг.  
А рядом жили, не изведав мук,  
И шумно жизни радовались люди.  
Таков наш мир,  
Иного нет, мой друг.  
О празднестве однажды весть пришла,  
На пышный той аилы позвала,  
Все взволновались: пусть на состязанье  
Джаныл покажет, какова была!  
Пришел об этом ей сказать Адыл,  
Почтительно он голову склонил:  
Джене, народ мечтает вас увидеть  
Как средоточье ловкости и сил.  
Пусть юные поучатся у вас,  
Джигиты с вас пускай не сводят глаз,  
Вы на ристалище всем покажите,  
Что луч великой славы не погас!  
Рабыня я.  
Но ею не была,

Своей рукой победы я брала.  
Взяв в плен меня, ты думал: победитель! –  
Жалея, я удар не нанесла,  
В тебе предугадала жожака  
И вещая не поднялась рука.  
Я думала, меня убьют как жертву –  
Смерть лучше. Жизнь в неволе так горька...  
Адыл, отговори их!  
Видишь сам –  
Я узница,  
Я взора к небесам  
Не поднимаю.  
Но плотну свободы –  
И снова в плен загнать себя не дам.  
Коль на коне – судьба не прекословь,  
Не удержать – не то прольется кровь!..  
Нет, пусть уж дни свои окончу в клетке,  
Где сгинет жизнь, как сгнула любовь.  
– Тигрица грозная, Джаныл Мырза,  
Тебе ль по-женски опускать глаза? –  
Сядь на коня и победи батыров,  
Своим явленьем храброму грозя!  
С себя одежды плена совлеки –  
Уж лучше сгинуть от чужой руки,  
Ведь слепнут не от каждого удара,  
А побеждают – судьбам вопреки.  
– Ну что ж, меня никто не подчинил,  
Жизнь не согнула, мир не изменил,  
И как бы сам тот мир ни изменился,  
Всегда я буду прежнею Джаныл.  
Где конь мой серый? – приведите мне,  
Где лук и стрелы? – принесите мне,  
И сколько бы вас ни было,  
Узнайте,  
Кто я, Джаныл, когда я на коне!..

## 5

Как вы прекрасны, пастбища в цвету,  
Где ветер ветру шепчет на лету  
Напев, которым вольные киргизы  
Земли родной творили красоту!..  
Прослышав, что Джаныл на той придет,  
Издалека уже валил народ,  
Хотелось всем красу ее увидеть  
И удали отчаянной оплот.  
Шли слухи, что она решит бежать,  
И вмиг, ее готовые догнать,  
Коней своих джигиты горячили,  
Вот-вот огонь готов был запылать.  
Ревет толпа.  
Вдруг, сразу – тишина:  
Джаныл!..  
И появляется она,  
Под нею пляшет серый иноходец,  
Как лед, ее улыбка холодна.

Как в прежние промчавшиеся дни,  
Очей пылают черные огни,  
Чернь тонких стрел и серебро булата  
И кованое золото брони.  
Круг зрителей все ближе, все тесней.  
Вздохнула дева, все вздохнули с ней:  
– Адыл, неужто прошлое вернулось?  
Кайни, подбрось повыше тебетей!  
Едва взлетела кунья шапка ввысь,  
За нею стрелы черные взвились –  
Пятнадцать раз лишь тетива пропела,  
И возгласы в молчании слились.  
Цель на лету поймав, как шерсти клок,  
«Надень!» – швырнула.  
Тот надеть не смог.  
Взглянул Адыл, а тебетей – без верха,  
Остался только куний ободок.  
Джаныл, я вновь тобою побежден! –  
Адыл воскликнул.  
Повод бросил он  
Как знак покорности – себе на шею.  
Вокруг народ, молчал, заморожен.  
Кайни, прощай.  
Далек мой долгий путь,  
Теперь с него мне жизнь не повернуть, –  
Джаныл сказала, голос не повысив,  
Коня успев лишь бешено хлестнуть.  
Сквозь замершие толпы мчит она  
Все дальше – навсегда, озарена  
Каким-то неземным прощальным светом.  
Людская расступается стена.  
Жаль, не сразились, – хвастуны ворчат.  
Жаль, девкой отпустили, и не взят  
В залог наследник этой храброй крови, –  
Так вслед постарше люди говорят.  
... Кто разлучен с родимой землей,  
С народом, где он возрастал душой,  
О них не вспомнит?.. Родина залечит  
Любую боль – когда она с тобой.  
Летит Джаныл, как птица от беды,  
И вот –  
Какшаал, свет гор и плеск воды!  
Но что это?! –  
На вымершем безлюдье  
Пожарищ давних черные следы.,.  
Уйгуров с их возлюбленной земли,  
Где жили и любили, скот пасти,  
Где кочевала радость без опаски,  
Напав, китайцы в рабство увели.  
Народ и так войной ослаблен был,  
Измучен, разорен, ограблен был –  
И вот лишь Кур–гора белеет голо.  
Где ж ты была, защитница Джаныл?  
Увидев это, как не умереть?

Раскаяньем по сердцу хлещет плеть,  
Уже не сердце это – пепелище,  
Гудит бездомный ветер над хребтом,  
Поет и плачет горько об одном,  
Кто умер от любви, кто жив в разлуке,  
Чье имя позабудется потом.  
Земля, где вольной юности полна,  
Жила беспечно, радостно она,  
Не приняла ее и не узнала,  
Ограблена, навек оскорблена.  
Идет к оврагу медленно Джаныл,  
Где смертный жар уже давно остыл.  
Четыре черепа лежат, оскалясь,  
Но кто из них  
Ее любимым был?  
Встав на колени, смотрит: нет примет.  
Где ты, Тюльку?  
Где юность, давний след?  
Но одинаково мертвы глазницы,  
В их пустоте глумливой – ей ответ.  
И давит зной,  
И жизнь – отчуждена,  
Бессмысленна, забыта, не нужна.  
И зрение, и слух ослабевают  
От боли. Но слабеет и она.  
Клинок Тюльку, хранимый все года,  
Джаныл достала.  
Сталь его седа.  
И медленно она заговорила:  
– Одной не жить мне, знаю, никогда,  
К чему свобода, коль такой ценой,  
Любовью, видно, крепок свет земной.  
Прости, Тюльку, я жизнью расплатилась.  
Я женщина.  
И я теперь с тобой...

\*\*\*

Зеленый дол на кладбище похож.  
Белеют кости, и ржавеет нож.  
Земля, вампир, сыта чужою кровью,  
Ты память душ ушедших не тревожь!  
Живую кровь земля охотно пьет,  
Над мертвыми за веком век идет,  
И ветер их молитвой отпевает,  
Но, видно, никогда не отпоет.  
Ах, жизнь...  
Мгновенный прошлого полет  
На будущее света не прольет,  
Но все же вспомним, братья, предков наших  
Вольнолюбивый, радостный народ.  
И вспомним, как судьбой осуждена,  
Была в народе этом рождена  
Джаныл Мырза –  
Воительница – дева,  
Чья жизнь была прекрасна и страшна...

## А. ТОКОМБАЕВ

*Аалы Токомбаев (1904–1988) – патриарх кыргызской советской поэзии. Он создал на кыргызском языке поэтические произведения различных жанров: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатиры, поэмы и роман в стихах «Кровавые годы». Ведущее место в творчестве поэта занимает политическая лирика.*

*Его стихотворение «Время приходит Октября» (в некоторых источниках «Эпоха Октября») было опубликовано в первом номере газеты «Эркин–Тоо». Аалы Токомбаев был тогда двадцатилетним учащимся Среднеазиатского Коммунистического университета (САКУ). Эта публикация во многом определила дальнейший творческий путь поэта...*

### А. ТОКОМБАЕВ. ОКТЯБРДЫН КЕЛГЕН КЕЗИ<sup>1</sup> (ВРЕМЯ ПРИХОДА ОКТЯБРЯ)

Октябр күлүмсүрөп келген кези,  
Энчисин өз–өзүнө берген кези,  
Мурунку көргөн душмандарды  
Ичинен момундарын терген кези.

Бул күндө октябрдын ийчи кези,  
Кедейге кызыл желек тийчи кези,  
Колуна курал–жабдык алып кедей  
Ак төрөнү төшүнөн тилген кези.

Бул күндө өңчөй кедей чыккан кези,  
«Теңдик» деп «тегизсиз» деп жыккан кези;  
Кошулуп андан мындан эмгекчилер,  
Жыйналып кызыл тууга аккан кези.

Бул айда теңдик кадам баскан кези  
Жан кыйып кызыл канды чачкан кези;  
Куйругу некалайдын алсызданып,  
Кылчактап артын карап качкан кези.

Ал күндө душманыбыз шашкан кези,  
Ачылып кедей орун баскан кези,  
«Тилексиз капиталды жок кылам» деп,  
Кедейлер душман көрүн казган кези.

Душманын кедей бүгүн баскан кези,  
Үрөйү залымдердин качкан кези,  
Көз жайнап, жүрөк кайнап эмгекчилдер,  
Уранын туш–тушунан чачкан кези.

Лениндин берип кеткен белеги бар,  
Тапшырган кедейлерге желеги бар;  
Ачык жол айкындатып алып кеткен  
Артында ленинизм тереги бар.

Кедей тап Лениндин айткан сөзүн,  
Үйрөнүп билбегендин ачтың көзүн,  
Тезенип Ленинизм терегине,  
Ачылсын күң көкүрөк жайык төшүн.

<sup>1</sup> Печатается по: // Эркин-Тоо. 1924. № 1 (расшифровка Акматовой Ш.).

Жашасын, Лениндин түзгөн жолу,  
Жоголсун караңгынын курган тору,  
Жолуна октябрдын кедей түшүп,  
Жетишсин муратына созгон колу...  
А. Токомбаев. САКУ

**Авторы–составители:**  
*А.С. Кацев*, д-р филол. наук, профессор,  
*А.Т. Омурканова*, канд. филол. наук, доцент

**РЕВОЛЮЦИОННЫЙ  
ДЕРЖИТЕ ШАГ...**

**1917–2017**

**К 100–ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

**Учебник–хрестоматия**

**Часть I**

Подписано в печать 31.07.2018.  
Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Печать офсетная  
Объем 72,0 п.л. Тираж 150 экз. Заказ 1 а

Отпечатано в типографии КРСУ  
720048, г. Бишкек, ул. Горького, 2